

# ЧАЙКОВСКИЙ



Александр  
Тюняев



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Александр Познанский — автор многочисленных статей и монографий о Петре Ильиче Чайковском, изданных в США, Великобритании, Германии и Японии. Кропотливые архивные поиски последних лет нашли отражение в новой биографии композитора, основанной на документальных материалах — многотомной переписке и малодоступных мемуарах его современников, в результате чего сложился совершенно иной, не похожий на устоявшийся в XX веке образ гения русского музыкального искусства.

---

- [Предисловие](#)
- [Часть первая: Петербург \(1850–1865\)](#)
  - [Глава первая. Потерянный рай](#)
  - [Глава вторая. Императорское училище правоведения](#)
  - [Глава третья. «Особенные дружбы»](#)
  - [Глава четвертая. Светская интерлюдия](#)
  - [Глава пятая. Петербургская консерватория](#)
- [Часть вторая: Москва \(1866–1876\)](#)
  - [Глава шестая. Милый «мизантроп»](#)
  - [Глава седьмая. Желаемое и действительное](#)
  - [Глава восьмая. Московский «мирок»](#)
  - [Глава девятая. Первый фортепианный концерт](#)
  - [Глава десятая. Искушения и меланхолия](#)
- [Часть третья: Встреча с судьбой \(1877–1878\)](#)
  - [Глава одиннадцатая. Майские иллюзии](#)
  - [Глава двенадцатая. Июльские надежды](#)
  - [Глава тринадцатая. Сентябрьский тупик](#)
  - [Глава четырнадцатая. Финал трагикомедии](#)
- [Часть четвертая: Изгнанник \(1878–1879\)](#)
  - [Глава пятнадцатая. Избирательное сродство](#)
  - [Глава шестнадцатая. Одиночество и свобода](#)
  - [Глава семнадцатая. Невидимые встречи](#)
  - [Глава восемнадцатая. Опасная близость](#)
- [Часть пятая: Время странствий \(1879–1888\)](#)
  - [Глава девятнадцатая. Высший свет](#)
  - [Глава двадцатая. Бедный солдатик](#)
  - [Глава двадцать первая. Парижские страдания](#)

- [Глава двадцать вторая. Загадки дневника](#)
  - [Глава двадцать третья. Тифлиссские страсти](#)
  - [Глава двадцать четвертая. Барские шалости](#)
  - [Часть шестая: Слава \(1888–1893\)](#)
    - [Глава двадцать пятая. Творческий подъем](#)
    - [Глава двадцать шестая. Горькое расставание](#)
    - [Глава двадцать седьмая. «Четвертая сюита»](#)
    - [Глава двадцать восьмая. «Патетическая» симфония](#)
    - [Глава двадцать девятая. Роковая случайность](#)
    - [Глава тридцатая. Смерть в Петербурге](#)
  - [Эпилог](#)
  - [Основные даты жизни и творчества П. И. Чайковского](#)
  - [Основные источники \(переписка, дневники, семейные воспоминания, хронология жизни и творчества\)](#)
  - [Использованы материалы из следующих архивов](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
-

## Предисловие

Жизнеописание Петра Ильича Чайковского — непростая задача для биографа. Причин тому несколько. Одна из важнейших — это необходимость преодоления устоявшихся клише, вызванных преднамеренным сокрытием многих фактов его биографии. Эти ложные представления до сих пор прочно сидят в читательском сознании как в России, так и на Западе, что легко объясняется влиянием идеологии, моды и предрассудков. Часто они противоречат друг другу до такой степени, что нелегко найти другой пример соизмеримого культурного (не политического) значения.

В России лубочный образ композитора начал формироваться еще его родственниками, прежде всего братом Модестом, автором трехтомного жизнеописания Петра Ильича, изданного в начале XX века и основанного на тщательно отобранных материалах и обходившего молчанием факты, могущие — даже в отдаленной степени — скомпрометировать великого человека в глазах тогдашнего общества.

В советский период эта тенденция была доведена до абсурда, вплоть до купирования при публикации его писем в Полном собрании сочинений таких слов, как «гадина», по поводу ненавистной ему жены. Добавим к этому идеологические требования, согласно которым всенародно любимый композитор должен был обязательно принадлежать к «прогрессивно-демократической русской интеллигенции». Соответственно, его искренние монархические убеждения, религиозные искания и яростный антикоммунизм полностью игнорировались. В результате получился едва ли не иконописный образ автора Шестой симфонии, начисто лишенный каких бы то ни было предосудительных характеристик. При этом забывалось, что великих художников, не способных испытывать нравственные терзания или угрызения совести, не бывает<sup>[1]</sup>.

Ситуация за пределами России оказалась иной. Незнание многих биографических фактов в сочетании с различными слухами о «патологических» склонностях композитора привело к возникновению образа, который долго доминировал в западной культуре. Чайковский предстал перед читателями как страдающий одиночка в мире, лишенном понимания и терпимости, в лучшие минуты — меланхолический мизантроп, в худшие — пребывающий на грани безумия или предающийся истерическим самобичеваниям в связи с невозможностью жить «как все», и

наконец, одержимый суицидными идеями (а то и греховно совершающий самоубийство) на почве некой, часто не называемой вслух, неискупимой вины. К этому стереотипу сводимы и стоический интроверт из романа Клауса Манна «Патетическая симфония», и эксцентрический невротик из фильма Кена Расселла «Любовники музыки». Такая картина соответствовала примитивным понятиям многих людей на Западе о «загадочной русской душе», порожденным весьма поверхностным прочтением Достоевского. Исключением стал лишь роман-биография Нины Берберовой «Чайковский. История одинокой жизни», изданный в 1936 году в Берлине. Однако книга эта имеет больше литературную, чем научную ценность.

Если до середины прошлого столетия русский композитор рассматривался главным образом как «клинический случай», то в последние десятилетия в нем видят по преимуществу «сексуального мученика», жертву «патриархального» самодержавного строя. И то и другое далеко от истины. Подобные извращенные представления отразились даже на стиле и технике исполнения музыки Чайковского, и лишь недавно положение стало меняться.

Кульминацией процесса мифотворчества стало распространение (и даже принятие некоторыми специалистами) дикой фантазии, исходившей из настроенных на сенсационность кругов советской около музыкальной субкультуры, о «заговоре правоведов», якобы организовавших «суд чести» и приговоривших человека, бывшего предметом национальной гордости, к самоубийству за «осквернение мундира». Здесь советский миф наложился на миф западный — не только о Чайковском, но и об императорской России, где — по мнению сторонников этой, мягко говоря, «версии» — действовали порядки, более напоминающие тайные средневековые судилища или ку-клуксклан<sup>[2]</sup>. Одна из задач этой книги — демифологизация облика композитора, равно как и страны, во славу которой он творил.

Важной этической проблемой, с которой сталкивается любой биограф, является право — или отсутствие его — на нелюбезное изображение протагониста повествования, что предполагает, среди прочего, изыскания в области личной жизни, часто именуемые «перетряхиванием грязного белья». В позапрошлом и значительной части прошлого века считалось недопустимым вторгаться в интимные сферы, в лучшем случае можно было коснуться их походя. Предпочтение отдавалось смягчению отрицательных черт характера и поведения биографического субъекта. В наши дни, напротив, в силу торжества сексуальной революции и общего

кризиса ценностей модно делать акцент именно на этих сторонах жизни, тем самым способствуя самоутверждению как авторов биографий, так и их читателей. Такая установка на негатив, нередко вызванная отсутствием симпатии к тому, о ком идет речь, а иногда и соображениями рыночного порядка, подспудно означает лишение выдающегося человека особенного статуса, традиционно за ним закрепившегося. Иными словами, напрашивается вывод о том, что те, кто почитались великими, по сути дела, ничем не отличаются от нас с вами. Это может льстить нашему самолюбию, но — как в глубине души знает каждый — не имеет отношения к истине.

Оба заблуждения — «идеализация» и «развенчание» — одинаково вредоносны, тем более принимая во внимание ситуацию, сложившуюся в современной русской культуре. С одной стороны, нашей традиции и психологии вплоть до недавнего времени был присущ «культ гения», из-за которого отбрасывались, как несущественные, поступки или высказывания признанных гениальными людей, в случае обыкновенных смертных чреватые нравственным протестом. Этим, однако, нарушалась — причем в сфере политики роковым образом — одна из главнейших заповедей: «Не сотвори себе кумира!» С другой стороны, похвальная реакция на советскую практику «социалистического реализма», то есть безудержного восхваления в прошлом и настоящем всего, что могло быть идеологически востребовано властями, временами рискует перейти в разрушительный и само разрушительный нигилизм.

Для адекватного разрешения этой дилеммы следует глубже осознать нравственное несовершенство человеческой природы как таковой. Эта истина, которую оптимистический либерализм склонен не замечать, провозглашается — пусть в различных терминах — как религией, так и наукой: с точки зрения христианского богословия, темное измерение нашей души есть порождение первородного греха; с точки зрения психоанализа — проявление сил подсознательного, укорененных в либидинозно-агрессивном принципе удовольствия. Сказанное справедливо по отношению ко всем без исключения представителям человеческого рода независимо от их врожденных талантов или достижений (ср.: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас». I Ин. 1:8).

Существенно, однако, что творческие натуры именно тем и отличаются от прочих, что обретают способность к преобразению собственных греховных побуждений и мотивов во вневременные ценности духовного порядка, тем самым оправдывая достоинство человечества и

утверждая его созидательный потенциал. Поэтому объективность, насколько она возможна в этом жанре, будучи обязанностью биографа, требует учета как положительных, так и отрицательных черт персонажа, но при этом ни в коей мере не предполагает уничижения его личности или заслуг. В этом свете постмодернистские атаки на великих людей из-за малопривлекательных сторон их характера, поведения или взглядов более всего напоминают известное лаянье моськи на слона.

Приведем пример контраста между человеком и художником, имеющий отношение к нашей теме. 16/28 марта 1878 года Чайковский писал Надежде Филаретовне фон Мекк: «Прочтите объемистую книгу Отто Яна о Моцарте. Вы увидите из нее, что это была за чудная, безупречная, бесконечно добрая, ангельски непорочная личность. Это было воплощение идеала великого художника. <...> Чистота его души безусловная». Мнение это — как и установка биографа, на которого ссылается композитор, — основано в первую очередь на возвышенных чувствах, неизменно порождаемых музыкой великого австрийца. И лишь после публикации избежавшего цензуры полного издания семейной переписки Моцарта в 1963 году обнаружилось, что он страдал пристрастием к скабрёзной лексике и скатологической фиксации на предметах, и по сию пору не подлежащих обсуждению в приличном обществе — факт, мало согласующийся с представлением об «ангельской непорочности» и «безусловной чистоте души». Стоит ли на этом основании усомниться в величии композитора или гениальности его сочинений? Разумеется, нет! Но следует еще раз задуматься о бесконечной сложности психической жизни и «загадке человека».

Не являлся исключением и Петр Ильич. Ему не были чужды приступы эгоизма и злобы, греховного уныния, плотских вожделений и тому подобного, чему немало свидетельств, прежде всего его собственных, как станет ясно из содержания этой книги. Взгляды его были во многом ограничены и не лишены заблуждений. Но при этом он отличался развитой склонностью к интроспекции, не заблуждаясь насчет желаемых добродетелей, а напротив, судил о своих недостатках и даже пороках с поразительной трезвостью и по совести. И в этом смысле он был моральнее многих, ибо не лгал самому себе. Более того, при всем темном, что проявлялось в его душе или в поступках, невозможно не признать, что в самых основах своей человечности Чайковский — как и Моцарт — был личностью светлой, способной на очень высокое чувство, благородное подвижничество, бескорыстие и щедрость — достоинства, на фоне которых меркнут его те или иные менее благовидные черты.

Рассуждая о греховных началах в человеке вообще, и Чайковском в частности, мы не имели в виду наиболее заметную особенность его личности — его гомосексуальность, ставшую общеизвестным фактом еще в 1934 году, сразу после издания переписки композитора с Н. Ф. фон Мекк. Современная наука пришла к выводу, что эта форма сексуального поведения не является ни извращением, ни болезнью. Наша природа изначально бисексуальна, и ориентация индивида определяется влиянием множества факторов на разных стадиях его психофизиологического развития, и это исключает до сих пор бытующее мнение о «нетрадиционном» выборе как следствии половой распущенности. Однополая любовь относится к числу бесспорных жизненных реалий, присутствующих на всем протяжении истории человечества. Сила и созидательный характер этой любви многократно засвидетельствованы, вплоть до Священного Писания (и это несмотря на библейский запрет любовных отношений между мужчинами) — в знаменитом плаче Давида о Ионафане: «Любовь твоя была для меня превыше любви женской» (II Цар. 1:26). Невозможно отрицать и значительность вклада обладающих подобными вкусами людей в мировую культуру — от древних греков до Шекспира, Леонардо и Микеланджело, Пруста и Бенджамена Бриттена. Из числа великих русских к этой же гениальной плеяде «эротических нонконформистов» принадлежит Чайковский.

Сама по себе гомосексуальность — равно как и гетеросексуальность — пребывает, будучи биологическим фактом, вне этических категорий. Нравственное измерение порождается в обоих случаях не половыми характеристиками предмета любви, а глубиной и красотой самого чувства, способностью к самоотдаче и жертве ради любимого человека. Существо эроса, согласно Платону, заключается в конфликте между высоким духовным побуждением и потребностями плоти, притом что по разным причинам осуществление гармонии между ними не всегда достижимо. Как мы увидим, герой этой книги был обуреваем устремлениями обоего рода, и именно разрыв между ними, так и не преодоленный, составлял смысл его любовной драмы, а отнюдь не муки совести, вымышленные в большинстве своем биографами по поводу «неортодоксальности» его желаний. Как мы увидим, он не воспринимал свою ориентацию трагически, но с годами научился не обращать внимания на общественное мнение и нашел способы удовлетворять плотские желания в рамках существовавшего положения вещей. Добавим к этому эстетический компонент, очень для него важный: в отличие от многих «сочувственников», он менее всего стремился удовлетворить сексуальный голод с кем попало, но ценил в юношах



внешнюю привлекательность, даже если многие из них оставались для него недоступны.

Из сказанного понятно, почему эта сторона частной жизни композитора должна трактоваться по-обыденному, без налета сенсационности или скандала. Она будет описана здесь в тех подробностях, которых заслуживает, принимая во внимание ее роль эмоционального стержня внутренних переживаний композитора. Задача биографа требует известного сопереживания душевным состояниям биографического субъекта, невозможного без сочувственного описания его эротических проблем.

Сверх того, несмотря на методологические сложности, возникающие при анализе взаимосвязи биографических обстоятельств с воплощением художественного замысла, тем более в сфере музыки, интуиция и здравый смысл подсказывают, что особенности его страстных чувств, обостренные восприимчивость и впечатлительность не могли не отразиться на творческом процессе, придавая музыке его лучших вещей катарсический пафос, и поныне поражающий наш слух.

Настоящая книга, однако, по жанру и замыслу — не музыковедческое исследование, а биография, жизнеописание, не ставящая своей целью интерпретацию сочинений Чайковского или его художественных идей и взглядов, о которых уже написано немало. Наша задача — предложить по возможности предельно точное описание обстоятельств его внешнего и внутреннего бытия. Специфика имеющихся в нашем распоряжении источников, и прежде всего обширнейшее эпистолярное наследие композитора (более семи тысяч писем), позволяет в подробностях осветить события его необыкновенно насыщенной эмоциональной жизни, что до некоторой степени повлияло на принятую нами стратегию в отборе материала. Отсюда же — обилие цитат, позволяющее слышать голос композитора во всем богатстве и своеобразии его интонаций.

В дневниковой записи, сделанной им самим 28 июня 1888 года, читаем: «Мне кажется, что письма никогда не бывают вполне искренни. Сужу по крайней мере по себе. К кому бы и для чего бы я ни писал, я всегда забочусь о том, какое впечатление произведет письмо, и не только на корреспондента, а на какого-нибудь случайного читателя. Следовательно, я рисуюсь. Иногда я стараюсь, чтобы тон письма был простой и искренний, т. е. чтобы так казалось. Но кроме писем, написанных в минуты аффекта, никогда в письме я не бываю сам собой. Зато этот последний род писем бывает всегда источником раскаяния и сожаления, иногда даже очень мучительных».

При всей справедливости этого высказывания, мы увидим, что «последний род писем» для Петра Ильича был отнюдь не редкостью, а степень откровенности, прежде всего в переписке с младшими братьями-близнецами, Анатолием и Модестом, временами выглядит ошеломительной — особенно имея в виду менталитет, характерный для его эпохи. Тем самым отчасти опровергается заявленное им в приведенной цитате — невозможно представить себе, что в письмах и интимных пассажах, о которых идет речь, их автор «рисовался» или «заботился о впечатлении», производимом на адресата. Это же справедливо и насчет большинства дневниковых записей, коротких и лаконичных, сделанных им для себя, без оглядки на возможного читателя, где он сплошь и рядом выносит нелестные суждения о себе самом.

Мемуарные свидетельства, с другой стороны, также весьма многочисленные, требуют известной осторожности. Присущий им по преимуществу панегирический тон, заданный еще Модестом Чайковским в трехтомном жизнеописании знаменитого брата (в отличие от написанной им же автобиографии), вольно или невольно искажает подлинный облик композитора. Добавим к этому неизбежные в данном литературном жанре субъективность, иногда конъюнктурность и ошибки памяти, в тех или иных случаях делающие необходимой фактическую проверку сообщаемых сведений.

Настоящая биография композитора — итог наших многолетних изысканий. На воссоздание облика реального Чайковского, без шелухи мифов и сантиментов, человека из плоти и крови, ушло почти четверть века. Первый вариант этой биографии, вышедшей на английском языке: «Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man» [Чайковский. В поисках внутреннего «я»] (New York, 1991), опроверг представление о нем как о мученике запретных страстей в глазах как простых поклонников его творчества, так и профессиональных музыковедов. Портрет композитора, воссозданный на основе его опубликованной переписки, дневников и мемуаров современников, но прочитанных заново, был настолько не похож на привычный и удобный для многих образ Чайковского, что на первых порах мог даже вызывать недоумение. Но как это явствовало из подзаголовка, то был лишь поиск, наша первая попытка вернуть миру музыки настоящего и живого, лишенного ретуши великого человека. Многое оставалось еще сокрыто в советских архивах и спецхранах, куда доступ простым смертным был закрыт, и как говорилось выше, почти все материалы, связанные с Чайковским, подверглись жесткой, хотя часто противоречивой, цензуре: некоторые фрагменты текстов, сохраненные в

одних изданиях, изымались в других, и наоборот.

Благодаря политическим изменениям, произошедшим в России, на протяжении следующих десяти лет мы могли уже работать в российских музеях, библиотеках и архивохранилищах и после ознакомления с оригинальными документами Дома-музея П. И. Чайковского в Клину и в Российской национальной библиотеке с удовлетворением осознали, что наша интуиция при написании английской книги сработала верно. Практически все предположения и гипотезы, в ней изложенные, подтвердились, включая, часто дословно, реконструкции купированных мест. Осознание этого стало для нас большой наградой. С другой стороны, само чтение писем, написанных рукой Чайковского, приблизило к ощущению тайных движений его души, в зависимости от почерка, внешнего вида письма или даже конверта. Тем самым поиск той личности, какой он был на самом деле, вошел в завершающую стадию, и в результате оказалось возможным написание книги, предлагаемой читателю.

Вот одно из характерных высказываний Петра Ильича о себе самом: «В своих писаниях я являюсь таким, каким меня создал Бог и каким меня сделали воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в коей я живу и действую. Я не изменил себе ни разу. А каков я, хорош или дурен, — пусть судят люди». В этой книге предпринята попытка рассказать о нем именно о таком, каким его «создал Бог», воссоздав также контекст «воспитания, обстоятельств, свойств того века и страны», в которых жил, любил и творил композитор. И хотя временами его тревожило, что «когда-нибудь будут стараться проникнуть в интимный мир» его чувств и мыслей, во все то, что он в течение жизни «так бережливо таил от соприкосновения с толпой», мы имеем смелость надеяться, что этот рассказ не оскорбит его памяти. Ибо нами руководило отнюдь не любопытство, а стремление усмотреть, в том числе и в интимных деталях жизни, глубинные пути к сопереживанию музыкальных замыслов этого удивительного гения чувств.

## **Часть первая: Петербург (1850–1865)**

## Глава первая. Потерянный рай

Он родился 25 апреля 1840 года<sup>[3]</sup> на Камско-Боткинском заводе Вятской губернии Сарапульского уезда, далеко от Москвы и Петербурга. «Явился он на свет слабеньким, с каким-то странным нарывом на левом виске, который удачно был оперирован вскоре после рождения». Назвали его Петром, он стал вторым сыном горного инженера Ильи Петровича Чайковского и его жены Александры Андреевны (урожденной Ассиер). У него был брат Николай, который родился двумя годами раньше; у братьев была также единокровная сестра Зинаида, дочь отца от первого брака.

О детстве и отрочестве Петра Ильича до нас дошло не так много сведений, они разбросаны по его немногочисленным письмам родителям, в отчетах и воспоминаниях его гувернантки Фанни Дюрбах и в устных преданиях родственников, собранных его братом Модестом Ильичом. Сам Петр Ильич «в противоположность большинству людей... неохотно вспоминал о годах ранней молодости и не находил в них ничего особенно интересного или приятного... — вспоминал его консерваторский друг Николай Кашкин. — Если Чайковскому случалось вспоминать какие-нибудь случаи из его детской жизни, то это делалось ради опровержения господствующего мнения о прелести детей, их доброте и прочих привлекательных качествах; по его мнению, дети были хуже взрослых, и он доказывал это положениями примерами из своих личных воспоминаний, хотя примеры эти имели всегда более или менее исключительный характер».

Говоря о ранних письмах Чайковского, тот же Кашкин отмечает, что в них видна «замкнутость в самом себе, остававшаяся в нем на всю жизнь. В этом не было ни скрытности, ни тем более лживости, а простая застенчивость, не позволявшая быть откровенным с кем бы то ни было относительно самых дорогих планов и стремлений; только решив что-нибудь окончательно и бесповоротно, он сообщал об этом, да и то не всегда. Его пугало чужое непонимание, ибо всякое враждебное прикосновение к дорогим ему чувствам или мыслям отзывалось на нем чрезвычайно болезненно. <...> Как мало, в сущности, он сообщал о своих действительных интересах и как везде он заботился о том, чтобы доставить удовольствие корреспонденту».

Подробности детства Петра Ильича, собранные его братом Модестом, также не дают отчетливой картины. «...Пересказы эти все почти идут из женских уст и потому отмечают подробности, особенно пленяющие

женщин в детях: послушливость последних, симпатичность и привязчивость к своим защитницам и покровительницам. Мужчина-воспитатель, быть может, подметил бы и другие качества», — справедливо отмечает опять же Кашкин в своей рецензии на биографию Модеста. Поэтому, дабы представить картину детства и отрочества композитора, нам придется заново восстановить не только контекст его семейной жизни, что потребует известного количества цитат, но и контекст эпохи в сочетании с современными представлениями о детской психологии.

Род Чайковских берет свое начало в украинском казачестве. Прадед композитора по отцовской линии Федор Чайка в середине XVIII века жил на Полтавщине, в селе Николаевке. Его сын Петр, в честь которого было дано имя его знаменитому внуку, поступив в Киевскую академию, был записан в соответствии с традицией того времени как Чайковский. После окончания Русско-турецкой войны, в которой Петр Федорович участвовал полковым лекарем, судьба рода Чайковских оказалась надолго связанной с Уралом. В 1785 году в дворянскую книгу, составленную по указу Екатерины II, в числе других служащих Вятской губернии было занесено и имя Петра Федоровича. Здесь, на Урале, прошла вся жизнь П. Ф. Чайковского, служившего в разных местах то лекарем, то дворянским заседателем, то городничим. В 1776 году он женился на Анастасии Степановне Посоховой, дочери офицера, от этого брака родилось много детей, одним из сыновей и был отец композитора Илья Петрович.

Не надо быть специалистом в области психоанализа, чтобы осознать принципиальную важность впечатлений и переживаний раннего детства для дальнейшего психосексуального развития личности. Речь идет не только об отношениях ребенка с отцом и матерью, но и об особенной эмоциональной атмосфере, присущей каждой семье. Поэтому здесь уместно вкратце описать характеры родителей и проследить — насколько это возможно — семейные обстоятельства формирования личности будущего композитора.

Отец его, Илья Петрович Чайковский, к началу 1840-х годов в чине подполковника дослужился до начальника Камско-Воткинского металлургического завода на Урале. Особенностью его личности была эмоциональность, вернее, то, что принято называть сентиментальностью. Модест Ильич Чайковский так описывает своего отца: «Доброта или, вернее, любвеобильность составляла одну из главных черт его характера. В молодости, в зрелых годах и в старости он совершенно одинаково верил в людей и любил их. Ни тяжелая школа жизни, ни горькие разочарования, ни седины не убили в нем способность видеть в каждом человеке, с которым

он сталкивался, воплощение всех добродетелей и достоинств».

То, что Модест Ильич не преувеличивает, и то, что эта «любвеобильность», особенно в отношении к близким, могла принимать формы, доходящие до эксцесса, подтверждается немногими опубликованными отрывками из писем Ильи Петровича. Хотя в письмах его второй жене Александре, матери композитора, преобладала любовная лексика, окрашенная риторикой того времени, язык этих писем был своеобразным, отчасти истерическим. «Что значат эти слезы? — писал тридцативосьмилетний Илья Петрович двадцатилетней невесте перед их свадьбой в 1833 году. — Скажите, прошу Вас, скажите откровенно. Я не думал их видеть, но если увидел, то могу ли не полагать, что я тому причиною. Милая, обожаемая! <...> С этой минуты, когда произнесли роковое да, когда огонь пробежал по моим жилам, когда я считал себя наверху счастья небесного, когда все потемнело в глазах моих, и я видел только Вас — я больше и больше терзаюсь мыслью: не раскаиваетесь ли Вы поспешностью этого счастливейшего для меня слова. <...> Три ночи я не смыкал глаз, Ваши слезы осудили меня не спать четвертую ночь...» Спустя десять лет интонация его писем к ней ничуть не изменилась: «Ангел мой! Прощаясь с тобой вчера, я не заплакал явно только потому, чтобы не показать себя малодушным в глазах окружающих, но несмотря на то, что крупные слезы невольно потекли из глаз — и я закрыл их, лаская Петю, неутешно плачущего о том, что Мама не взяла его в Петербург...»

Потоки любви выглядели чрезмерными и тогда, когда годы спустя (30 декабря 1865 года) шестидесятилетний Илья Петрович заканчивал письмо своему двадцатипятилетнему сыну, будущему композитору, следующим образом: «Целую тебя в глазки и всего с ног до головы». А по свидетельству Модеста, и в восьмидесятилетнем возрасте он «почти каждый раз трогался представлением до слез, хотя бы пьеса ничего умилительного не представляла».

Есть основания полагать, что любвеобильность Ильи Петровича могла иметь и отчетливый эротический аспект. Из имеющихся свидетельств он рисуется законченным женолюбом, впрочем, всегда и неизменно в рамках нравственности и закона: характерный эпизод описывает, к примеру, в своих воспоминаниях гувернантка Фанни Дюрбах: «...г. Чайковский подошел ко мне (то есть незнакомой очень молодой женщине. — А. П.) и без всяких фраз обнял и поцеловал как дочь».

Илья Петрович обладал, вероятно, способностью создавать вокруг себя неопределимую и невинную, но привлекавшую женщин эротическую ауру, свойство, отчасти передавшееся по наследству и его сыну. Будучи

трижды женатым (третий раз в семидесятилетнем возрасте) и родив семерых детей, Илья Петрович был апологетом семейственности. В письмах периода собственной катастрофической женитьбы композитор настаивает, что страстное желание отца видеть его женатым было одной из важных причин, подвигнувших его на роковое решение. «Вы знаете, — писал Петр Ильич Надежде Филаретовне фон Мекк из Вены 23 ноября/5 декабря 1877 года, — что я женился отчасти, чтобы осуществить его давнишнее желание видеть меня женатым». На матримониальные планы сына старик реагировал восторженно. Вот, к примеру, отрывок из его письма от 29 декабря 1868 года по поводу известия о помолвке Петра Ильича и Дезире Арто: «Дезире т. е. желанная, непременно должна быть прекрасна во всех отношениях, потому что мой сын Петр в нее влюбился, а сын мой Петр человек со вкусом, человек разумный, человек с дарованиями и, судя по характеру, он должен избрать себе жену таких же свойств». А вот письмо от 27 июня 1877 года в ответ на сообщение композитора о его предстоящей женитьбе на Антонине Ивановне Милюковой: «Милый, дорогой и распрекрасный сын мой Петр! Толя [Анатолий, младший брат композитора. — А. П.] передал мне письмо твое, в котором ты просишь моего благословения на женитьбу. Оно и обрадовало меня и привело в восторг, так что я перекрестился и подпрыгнул даже от радости. Слава Богу! Господь да благословит тебя!!!»

Резюмируя, можно допустить, что характер отца и его взгляды на должные взаимоотношения полов оказали известное влияние на психологическое развитие Петра Чайковского, причем влияние это было, по всей вероятности, амбивалентным. С одной стороны, сентиментально-патетическое поведение Ильи Петровича должно было лишь стимулировать и без того повышенную нервную возбудимость, присущую конституции будущего композитора, и содействовать возникновению специфически свойственного ему «родственно-эротического» комплекса, о котором будет подробно говориться далее. С другой стороны — возможно, на уровне неосознанном, — репутация отца, прославившего женолюбом, могла провоцировать у мальчика и обратную реакцию — хотя бы в силу подсознательного детского бунта против отцовского авторитета — и тем самым способствовать его отдалению от женщин, порождая одновременно конфликт между долгом и желаниями, от которого Петр страдал в течение длительного времени, излечившись лишь жестоким опытом своей трагикомической женитьбы.

В 1886 году в автобиографии, написанной по просьбе парижского издателя своих сочинений Феликса Маккара, композитор отметил: «По



матери я немного француз». Модест Ильич в своих воспоминаниях сообщает, что их мать приобрела прекрасное знание французского и немецкого в доме своего отца «полуфранцуза, полунемца». Генеалогические исследования последних лет полностью подтверждают это утверждение Модеста. Дед их по матери — Андрей Михайлович Ассиер (правильнее произносить Асье) — родился в католической семье, в саксонском городе Мейсене, рядом с Дрезденом в 1778 году. Настоящее его имя было Генрих (по-немецки его полное имя писалось как *Michael Heinrich Maximilian Acier*; окончательный русский вариант его имени, отчества и фамилии появился лишь после принятия Ассиером российского подданства). Отец его (прадед композитора), Мишель Виктор Ассиер, родился во Франции и служил «модельмейстером» на знаменитой Мейсенской Королевской фарфоровой фабрике; мать, Мария Кристина Элеонора, родилась в Германии и была дочерью австрийского офицера Георга Виттига. Некоторые фарфоровые скульптуры работы Виктора Асье сохранились в фондах Эрмитажа, куда были привезены по заказу Екатерины II. Генрих Ассиер был «выписан» из Дрездена в семнадцатилетнем возрасте в 1795 году генералом П. И. Мелиссино, в качестве учителя французского и немецкого языков для петербургского Артиллерийского и Инженерного корпусов. В 1800 году после женитьбы на дочери дьякона Екатерине Михайловне Поповой (1778–1816) началось его стремительное продвижение по служебной лестнице. К моменту выхода в отставку в 1830 году он был чиновником по особым поручениям при министре финансов, получил два ордена и большое количество престижных наград и владел тремя домами в Петербурге. Есть предположение, что подобное продвижение по службе было бы невозможно без покровительства российских масонов.

Модест Ильич как-то упомянул, что Андрей Ассиер страдал нервными припадками, очень близкими к эпилепсии, унаследованными его старшим сыном Михаилом Андреевичем. А о брате он писал: «Единственно вероятным наследием предков у П[етра] И[льича] можно отметить его выходящую из ряда вон нервность, в молодые годы доходившую до припадков, а в зрелые — выражавшуюся в частых истериках, которую, весьма правдоподобно, он получил от деда Андрея Михайловича Ассиера». Тем не менее следует признать, что ни отец, ни мать композитора не производят впечатления болезненно неврастенических натур. Так, например, о характере матери, второй жены Ильи Петровича, восемнадцатью годами его моложе, Модест сообщает: «В противоположность своему супругу Александра] А[ндреевна] в семейной

жизни была мало изъяснительна в теплых чувствах и скупа на ласки. Она была очень добра, но доброта ее, сравнительно с постоянной приветливостью мужа ко всем и всякому, была строгая, более выказывавшаяся в поступках, чем в словах». На фоне отцовской ярко выраженной экспансивности сдержанность матери — в силу ее темперамента или, возможно, также из педагогических принципов — должна была по природе своей стимулировать повышенную чувствительность маленького Пети. Однако Александра Андреевна, несомненно, очень любила второго ребенка, именно он был для нее «сокровищем, золотом семьи». Сам же мальчик буквально обожал мать, боготворил даже землю, по которой она ступала. И это — не преувеличение. Как явствует из повествования Модеста Ильича, во время поездки на Сергиевские воды в 1845 году маленький Петя «ни с кем не делил ласк и внимания боготворимой матери», и это в его душе «оставило самое светлое и отрадное воспоминание детства». «...Помнил он также то неземное счастье, которое испытал, припав к груди матери после трех или четырехмесячной разлуки, и очень, очень долго, уже совсем зрелым мужчиной без слез он не мог говорить о матери, так что окружающие избегали заводить речь о ней». По словам самого композитора, его мать «была превосходная, умная и страстно любившая своих детей женщина».

Об исключительной восприимчивости и чувствительности маленького Пети нам известно не только от Модеста, получившего эти сведения, разумеется, из вторых рук, но и от непосредственного и чуткого наблюдателя — гувернантки детей Чайковских Фанни Дюрбах. Как и для других членов семьи, четырехлетний мальчик сразу сделался ее любимцем. «Вечно с вихрами, небрежно одетый, по рассеянности где-нибудь испачкавшийся рядом с припомаженным, элегантным и всегда подтянутым братом, он на первый взгляд оставался в тени рядом с ним, но стоило побыть несколько времени с этим неопрятным мальчиком, чтобы, поддавшись очарованию его ума, а главное — сердца, отдать ему предпочтение перед окружающими». По воспоминаниям Модеста, Фанни «в течение почти пятидесяти лет хранила как святыню малейшую его записочку, клочок бумаги, испачканный детской рукой». Фанни Дюрбах утверждала, что прелесть этого ребенка проявлялась «ни в чем особенно и решительно во всем, что он делал. В классе нельзя было быть старательнее и понятливее, во время рекреации же никто не выдумывал более веселых забав; а в сумерки под праздник, когда я собирала своих птенцов вокруг себя и по очереди заставляла рассказывать что-нибудь, никто не фантазировал прелестнее. <...> Впечатлительности его не было пределов,

поэтому обходиться с ним надо было очень осторожно. Обидеть, задеть его мог каждый пустяк. Это был стеклянный ребенок».

Известно несколько примеров этой чрезвычайной впечатлительности Пети Чайковского. Один из них относится к его дружбе со сверстником, сыном одного из заводских служащих Веничкой Алексеевым, лишившимся матери, которого Чайковские брали обучаться вместе со своими детьми. За какую-то шалость, в которой Веничка был особенно упорен, Фанни намеревалась наказать его строже. Петя вступился за друга, требуя, чтобы все участники, а с ними и он сам, хоть и невиновный, были наказаны одинаково. Об этом Веничке мальчик еще долго тосковал после отъезда из Воткинска.

Чувствительность ребенка, перераставшая в сентиментальность, проявлялась решительно во всем, особенно в его детских, написанных главным образом по-французски, совершенно неумелых, но при этом производящих впечатление странной искренности, стихах. В них говорится о сиротах, мертвых детях, материнской любви и бедных животных. Вот названия произведений, написанных семилетним мальчиком: «Смерть ребенка Павла», «Мать и ребенок, которого она любит», «Смерть птицы». Последним произведением такого настроения восьмилетнего Пети было сочинение в прозе и называлось оно «Смерть»: «Ах! Хороший человек не боится умереть. О! Он знает хорошо, что его душа пойдет к Богу. Также дети хорошие, чистые, благочестивые и послушные. О! Они будут ангелами на небе! Я хотел бы быть таким!»

«Любовь к несчастным сказывалась также в его необычной симпатии к Людовику XVII, — пишет Модест Ильич. — По словам Фанни, он не устал расспрашивать все подробности страдальческой кончины невиновного мученика. Вполне зрелым человеком он продолжал интересоваться несчастным принцем; в 1868 году, в Париже приобрел гравюру, изображавшую его в Тампле, и оправил ее в рамку. Вместе с портретом А. Г. Рубинштейна это были первые и очень долго единственные украшения его помещения».

А вот случай, демонстрирующий кажущуюся почти невероятной восприимчивость к музыке мальчика, еще никак пока не обнаружившего своей яркой одаренности. Он тоже рассказан со слов гувернантки Модестом Ильичом: «Однажды у Чайковских были гости, и весь вечер прошел в музыкальных развлечениях. <...> Петя сначала был очень оживлен и весел, но к концу вечера так утомился, что ушел наверх ранее обыкновенного. Когда Фанни через несколько времени пришла в детскую, он еще не спал и с блестящими глазами, возбужденный, плакал. На вопрос,

что с ним, он отвечал: “О, эта музыка, музыка!” Но музыки никакой не было в эту минуту слышно. “Избавьте меня от нее! Она у меня здесь, здесь, — рыдая и указывая на голову, говорил мальчик, — она не дает мне покоя”». Повышенная возбудимость и чувствительность его доходили до истерики. Обратной стороной медали были слезливость и неуравновешенность, особенно усилившиеся после отъезда из Воткинска.

Музыка часто звучала в семье Чайковских. Илья Петрович любил слушать оркестриную — небольшой самоиграющий механический орган, на котором воспроизводились записи произведений Моцарта, Россини, Беллини, Доницетти. Звуки «Дон Жуана», услышанные в детстве, положили начало поклонению Моцарту. Александра Андреевна хорошо пела и в молодые годы играла на арфе. Романс Алябьева «Соловей» остался на всю жизнь любимой пьесой Чайковского и всегда вызывал яркое воспоминание о пении матери. Вероятно, она была первой, кто подвел Петю к фортепиано. Мальчик рано проявил замечательный слух и музыкальную память, позволявшие ему подбирать на инструменте все услышанное. В конце августа 1844 года Илья Петрович писал жене, уехавшей по делам в Петербург, что Петя и его сестра Саша (родившаяся двумя годами позже Петра) распевают сочиненную ими песенку «Наша мама в Петербурге». Вероятно, автором этой песенки был четырехлетний Петя. Таким образом, эту песню можно считать первым творческим опытом будущего композитора.

Фанни Дюрбах вспоминала, что «после занятий или долгих фантазирования на фортепиано он приходил ко мне всегда нервный и расстроенный». Наблюдая день за днем своего ученика, Фанни решила воспрепятствовать неумеренному, как ей казалось, увлечению музыкой. Музыку она не любила и видела в мальчике лишь литературные таланты. Особенно гувернантка беспокоилась за здоровье своего подопечного. Она не могла не видеть возбуждающего действия, которое производила музыка на ее любимого Пьера. Но как велико было желание ребенка выражать свои чувства посредством музыки! Однажды Петя увлекся каким-то ритмом, «разыгрывая свои лучшие вдохновения», и так барабанил по оконному стеклу, что разбил его и сильно поранил руку. Это происшествие побудило родителей, несмотря на сопротивление Фанни, пригласить учительницу музыки для сына.

Позднее сам Чайковский вспоминал, что его склонность к музыке проявилась в четыре года: «Мать, заметив, что я испытываю самую большую радость, слушая музыку, пригласила учительницу музыки Марию Марковну [Пальчикову], которая преподавала мне музыкальные основы. <...>

Вскоре я достаточно хорошо играл на фортепиано, так что я мог освоить все возможные модные вещицы, как например “Безумец” (Le Fou) Калькбренера, в каковом я усматривал самый ослепительный из всех шедевров. Мое быстрое продвижение, которое выражалось так же в музыкальных импровизациях, не могло не вызвать удивления в тесном семейном кругу в заштатном, провинциальном местечке Вятской губернии на Урале, где прошли годы моего детства. Так продолжалось — причем мои природные способности к музыке не привлекали особенного внимания моих родителей, предназначавших меня к карьере чиновника».

Иногда в Воткинске гостил некий офицер Машевский, молодой человек, который умел замечательно исполнять мазурки Шопена. Для маленького Пети его приезды были всегда радостью. Как-то раз специально для Машевского он приготовил самостоятельно две мазурки и исполнил их так хорошо, что растроганный офицер расцеловал его при всех. «Я никогда не видела Пьера, — вспоминала Фанни, — таким счастливым и довольным, как в тот день».

В 1843 году семья Чайковских увеличилась, у Петра появился еще один брат — Ипполит. Чайковские принадлежали к мелкому дворянству уже не в первом поколении, и теперь семья жила вполне зажиточно, если не сказать богато, занимая довольно значительное положение в провинциальном Воткинске. Но все-таки в феврале 1848 года Илья Петрович Чайковский оставил службу на металлургическом заводе и решил попытать счастья в Москве или в Петербурге. Фанни Дюрбах, к которой были привязаны все без исключения Чайковские, должна была покинуть их, найдя работу в семье местного помещика.

В сентябре этого же года Илья Петрович перевез детей и жену в Москву, где надеялся получить новое назначение. Старшие дети, Николай и Петр, поступили в школу. Разлука с любимой гувернанткой, родным домом и другом Веничкой стала для Пети первой серьезной душевной травмой. 30 октября он писал Фанни: «Мы в Москве уже более трех недель, и каждый день все члены нашей семьи вспоминают о Вас, у нас так грустно. <...> Нельзя вспомнить эту жизнь в Воткинске, мне очень хочется плакать, когда я думаю об этом».

Чайковские прожили в Москве около месяца, где планы Ильи Петровича получить желанную должность провалились. В ноябре он перевез семью в Петербург, надеясь, что в столице ему больше повезет с работой. Николая и Петра отдали в частный пансион Шмеллинга, где мальчики «вместо прежних товарищей..<...> увидели ораву мальчишек, встретивших их как новичков по обычаю приставаниями и колотушками».

Им пришлось усердно заниматься из-за того, что в связи с переездами было пропущено много учебного времени. Мальчики уходили в пансион ранним утром, возвращались домой в пять часов и затем весь вечер готовились к занятиям на завтра.

Расставание с привычной воткинской обстановкой, с близкими людьми, пребывание в пансионе Шмеллинга не могли не отразиться на и без того эмоционально хрупком ребенке. Корь, физически не опасная в его возрасте, «довершила его нервное расстройство». Начались сильные припадки, и доктора определили страдание спинного мозга. Никаких более сведений об этой болезни, по признанию самого Модеста, не имеется. Однако можно предположить, что уже тогда Чайковский страдал неврастением и его проблемы носили не физический, а психический характер. Неудивительно, что в это время его поведение и настроение частично теряют черты прежнего благодушия. «Дети уже не те, — пишет Александра Андреевна, — что были в Воткинске; свежесть и веселость исчезла. Николай постоянно бледный и худощавый, Пьер — тоже». В письме к Фанни в феврале 1850 года Александра Андреевна жалуется на то, что Петя очень изменился характером: «Он стал нетерпелив, и при каждом слове, которое ему говорят и которое ему не по вкусу, — слезы на глазах и ответ готов». Родители решили больше не посылать Петю к Шмеллингу, а Николая определили в другой, более спокойный пансион Гроздова, где он оставался до поступления в Горный корпус.

Однако переезд в Петербург положительно повлиял на развитие музыкальных способностей будущего композитора. Его родители договорились с профессиональным преподавателем об уроках, и несмотря на то что из-за Петиной болезни состоялось всего несколько занятий, они оставили заметный след. Годы спустя на вопрос о том, когда он начал сочинять музыку, Чайковский часто отвечал, что он делает это с тех самых пор, как только музыку узнал. «И он в полном смысле слова узнал [музыку], — пишет Модест Ильич, — во время его первого приезда в Петербург».

Но надолго Чайковские там не задержались. В мае 1849 года Илья Петрович был назначен управляющим частными металлургическими заводами в Алапаевске и вся семья (за исключением Николая, оставшегося учиться в Петербурге) должна была возвратиться на Урал. Алапаевск оказался маленьким и неинтересным рабочим городком. У Чайковских не было культурного общества, как в Воткинске или в Петербурге. В этом унылом краю Петр продолжал тосковать по своей прошлой жизни. Анастасия Попова, двоюродная сестра Чайковского, писала Фанни Дюрбах,

что «когда мы получили Ваше письмо... <...> Петенька читал его вслух и очень много плакал. Он очень любит Вас». В 1849 году он сам признавался любимой гувернантке в письме из Алапаевска: «Весь вечер был веселым для взрослых, но мне, представьте, дорогая и хорошая Фанни, не хватало моего брата, моего друга и моей доброй и чудной наставницы, которую я так любил в Воткинске. О, как бы я был бы счастлив, если бы мог провести время с ней или, хотя бы, с Веничкой и Колей».

Старший брат Николай, учившийся в это время в Петербургском горном корпусе, упомянут здесь не случайно. В эмоциональной жизни Петра Ильича он играл важную роль лишь в самые ранние годы детства и начала отрочества. Модест Ильич свидетельствует, что Николай был «самым блестящим по внешности» из детей; «ловкий, красивый, изящный, до страсти любивший физические упражнения, он в отношении к Петру Ильичу был совершенно то же, что Володя в “Детстве и отрочестве” Льва Толстого к Коле». Кроме того, что Николай отлично учился, он был превосходным пианистом и в Горном корпусе «сделал такие успехи в музыке, что превзошел всех своих однокашников», — писал Петр в 1850 году Фанни. Вполне возможно, что пример старшего брата мог оказать какое-то влияние на занятия музыкой его самого.

Воспитанием девятилетнего Пети в основном занимались его единокровная сестра Зинаида и их кузина Лидия. У обеих девушек, однако, не было особенных педагогических дарований. Ребенок часто вызывал упреки в лености и нерадивости к учению, но не в связи с музыкальными упражнениями. Напротив, Лидия сообщала Фанни 7 июня 1849 года: «... иногда между собой танцуем или поем под музыку Пети. Он очень мило играет, можно подумать, что взрослый. Нельзя сравнить его теперешнюю игру с игрою на Боткинском заводе». Сам Чайковский писал ей же: «Я никогда не покидаю фортепиано, которое меня очень радует, когда мне грустно».

Между тем родители по-прежнему весьма прохладно относились к страстному увлечению сына музыкой. Не спрашивая его желания, они решили сделать из него юриста или военного. Несмотря на известный жизненный успех, некое чувство социальной неполноценности у них сохранялось: инженерное сословие, к которому принадлежал Илья Петрович, в России тех времен было не слишком в почете. В случае удачи образование, полученное в одном из элитных учебных заведений, могло бы стать трамплином для карьеры Петра на государственной службе. И на самом деле, Императорское училище правоведения в Петербурге, куда в конце концов было решено его отдать, в какой-то степени способствовало

повышению статуса мелкого дворянства. Кроме того, полагали родители, строгая дисциплина, которой славилось училище, окажет благотворное влияние на нравственное воспитание их сына. С другой стороны, профессия музыканта тогда вообще не являлась престижной, как впоследствии, да и специальных музыкальных учебных заведений в стране еще не существовало. Такое решение родителей стоило Петру тринадцати лет сомнений в истинности своего призвания.

В конце 1849 года в семье появилась новая гувернантка Анастасия Петрова, только что окончившая Николаевский институт в Петербурге. Она начала готовить Петю к поступлению в Императорское училище правоведения.

1 мая 1850 года семья Чайковских пополнилась близнецами, названными Анатолием и Модестом. Теперь у Пети стало четыре брата, однако в это время, как кажется, он был близок только с младшей сестрой Александрой (Сашей). Рождение близнецов и празднование именин отца тем же летом были последними радостными событиями в алапаевской жизни мальчика.

В начале августа 1850 года с матерью и сестрами Зинаидой и Александрой он выехал в Петербург для поступления в подготовительный класс Училища правоведения. Во время хлопот Александры Андреевны по устройству сына Илья Петрович писал ей из Алапаевска, чтобы она «не забыла, конечно, подумать и о музыке, грешно бросить начатое доброе дело», и наказывал «почаще ездить на гулянья и в театры». В Петербурге мальчик испытал одно из сильных художественных переживаний. 22 августа он побывал с матерью на представлении оперы Глинки «Жизнь за царя». Первый раз в жизни он услышал русскую оперу в исполнении большого оркестра, хора и певцов. Если десятилетний мальчик еще не мог оценить все достоинства постановки, то красота и сила музыки Глинки не могли не поразить его музыкального воображения. Годом позже он в письме к матери отметит годовщину со дня первого посещения этой оперы. Сестра Глинки, Л. И. Шестакова, вспоминала, как Чайковский в зрелые годы признавался ей, что «ему особенно дорога первая опера Глинки, ибо он слышал ее в счастливые годы своей юности». В середине октября Петр побывал на балете (вполне вероятно, тоже впервые) Адольфа Адана «Жизель», с итальянской балериной Карлоттой Гризи в заглавной партии. Об этом событии, правда, нет упоминаний в тогдашней его переписке, но нет сомнения, что это действо не оставило его равнодушным.

Александра Андреевна прожила в Петербурге до конца сентября, навещая сына в подготовительных классах и забирая его домой в



воскресные дни. Но очень скоро настало время возвращаться в Алапаевск. Илья Петрович уже предвидел сыновние страдания, которые вызовет эта разлука, когда 16 сентября писал своей жене: «Милый Петя привык к ласкам отца и матери, но теперь долго не будет иметь это счастье — и как чувствительный с трудом расстанется, натурально ты внушишь ему courage». Так оно и было. Модест Ильич в своей биографии так описывал эту сцену: «Пока ехали туда (на Среднюю Рогатку, откуда по московской дороге отъезжающие покидали Петербург. — А. П.), Петя поплакивал, но конец путешествия представлялся отдаленным и, ценя каждую секунду возможности смотреть на мать, он сравнительно казался покоен. С приездом же к месту разлуки он потерял всякое самообладание. Припав к матери, он не мог оторваться от нее. Ни ласки, ни утешения, ни обещания скорого возвращения не могли действовать. Он ничего не слышал, не видел и как бы слился с обожаемым существом. Пришлось прибегнуть к насилию, и бедного ребенка должны были отрывать от Александры Андреевны. Он цеплялся за что мог, не желая отпускать ее от себя. Наконец, это удалось. Она с дочерьми села в экипаж. Лошади тронули, и тогда, собрав последние силы, мальчик вырвался из рук Кейзера (сопровождающего родственника. — А. П.) и бросился с криком безумного отчаяния бежать за тарантасом, старался схватиться за подножку, за крылья, за что попало, в тщетной надежде остановить его. <...> Никогда в жизни без содрогания ужаса Петр Ильич не мог говорить об этом моменте».

По словам самого композитора, то был «один из самых ужасных дней его жизни». Даже тридцать лет спустя он признавался: «Я не могу спокойно ехать по этим местам, не переживая вновь то безумное отчаяние, которое овладело мной, когда экипаж, увозивший все самое дорогое мне, скрылся из глаз».

Нельзя не согласиться с Модестом Ильичом, предвосхитившим современное научно-психологическое понятие импринтинга: «Хотя в горестях и утратах он узнал потом в жизни несравненно более значительные и грозные, испытал лишения и бедствия, куда тяжелейшие и мучительные, пережил разочарования и страдания, рядом с которыми эта временная разлука только маленькая, неприятная подробность существования, но так верно то, что важно не событие, а воздействие его на нас, что до самой смерти, помирившись со всеми невзгодами, забыв все тяжелое из прошедшего, он никогда не мог помириться, никогда не мог забыть жгучего чувства обиды, отчаяния, которое испытал, бежа за экипажем, отрывающим у него мать».

В письмах родителям, посылавшихся десятилетним Чайковским из Петербурга в течение двух лет пребывания в подготовительных классах Училища правоведения, мы опять видим проявления его повышенной чувствительности. Письма эти поражают избытком ласкательных, уменьшительных эпитетов, захлебываются нежностями и патетическими излияниями тоски вкупе с непрестанными (часто тщетными) мечтаниями, а то и мольбами о скорейшем свидании с отцом и матерью. Примеры столь неординарных лексики и интонации многочисленны и разнообразны: «Прощайте, милые, чудесные и прекрасные Мамочка и Папушичка» (8 ноября 1850); «Милые и прекрасные Папаша и Мамаша. Целую вас крепко, мои милые, в ручки, ножки и все тело ваше», «целую миллионы раз ваши ручки и прошу вашего благословения» (23 ноября 1850); «прощайте, моя милая Мамаша, мой ангел-утешитель, одним словом, моя прекрасная Мамаша» (1 февраля 1851); «я знаю, что это заставит вас плакать, я тоже плакал, но слезы не помогают, мои прекрасные ангелы» (5 марта 1851); «я думаю, что ваши добрые сердечки сжалятся над нами, и вы приедете» (7 апреля 1851); «не знаю, что вам писать, мои прекрасные родители-ангелочки, душечки, милочки, добрые и все что вам угодно, но только скажу, что я вас так люблю, что у меня нет слов, чтоб выразить это» (12 апреля 1851); «я хотел бы расцеловать вас всех вместе, я старался быть хорошим весь год, чтобы поцеловать моих обоих ангелов вместе» (11 июня 1851); «поздравляю вас мой Ангел Папаша со днем вашего Ангела и желаю вам всех благ на свете, а вас, моя милая душенька мамашинька, с дорогим именинником» (20 июля 1851); «Милый мой Ангел Мамаша!. Так надо вас повеселить бабочка моя, которая любит своего Петрушку или Попку, который вас обожает и который с жадностью ждет той минуты, чтобы поцеловать вашу прекрасную ручку» (7 августа 1851); «а тут мы вас расцелуем так, что вы и не поедете больше в противную Алапаху, останетесь жить вот тут и все. Впрочем, может быть, Папаша опять раздумал, опять не захочет поехать к своим цыплятам» (26 августа 1851); «тогда я буду самым счастливым из смертных, и я опять очень надеюсь, что увижу вас» (2 декабря 1851); «целую ваши ручки от всего сердца, мои ангелы, и не знаю даже, как выразить, как я вас люблю» (7—10 января 1852); «вы нам пишете, прекрасные ангелы, что приедете в Мае, и так значит, мы и не увидим, как пройдет Март и Апрель и как настанет этот счастливый месяц в году. Как будем мы счастливы, когда расцелуем вас, прекрасные мои; я от радости скакну до потолка» (9 марта 1852); «но вот скоро, скоро я не буду писать вам письма, а буду говорить с моими ангелами лично. Ах, как приятно будет первый раз в жизни приехать домой

из Училища, посмотреть на вас, расцеловать вас, мне кажется, что это будет для меня самое большое из счастья, которые со мной случались» (28 марта 1852).

Если иметь в виду, что в большинстве писем подобные выражения встречаются в каждом по несколько раз, странность впечатления увеличивается. Памятуя о том, что сам стиль этих сентиментально-страстных писаний нельзя полностью объяснить ни исключительно духом времени (хотя влияние семейной обстановки, а в особенности лексикона Ильи Петровича, дает себя знать), ни исключительно возрастом писавшего, имеет смысл обратиться на этот счет к соображениям Модеста Ильича.

«Первое, что бросается в глаза, это поразительная любвеобильность корреспондента. Из всех тридцати девяти писем нет ни одного, в котором он отозвался о ком-нибудь неодобрительно, нет ни одного лица, о котором он сказал что-нибудь кроме похвалы. Все окружающие добры к нему, ласковы, внимательны, ко всем он относится с любовью и благодарностью. <...> Кроме того, особенно характерна искренность и прямота этих писем. <...> Она также ярко выступает из сравнения писем двух братьев. Николай, от природы менее чувствительный... <...> так обращается к родителям, что на каждом шагу чувствуется формальность, прикрывающая — при несомненной наличности сильной любви к родителям — холодность настроения в момент писания самого письма. <...> Ничего подобного в письмах младшего брата. Он не скупится на ласковые выражения и хорошие отзывы; наоборот, гораздо чаще прибегает к ним, но всегда так, что невольно веришь искренности его, — видишь, что письмо диктуется не только головою, но и сердцем».

Этот комментарий Модеста Ильича существенен для нас не как панегирик обожаемому брату, уже в раннем отрочестве словно обладавшему всеми добродетелями, но как констатация того, что уже в детской переписке, при всей наивности ее и обилии общих фраз, проявились некие психологические черты, присущие единственно его личности: способность к страстной привязанности и склонности к эмоциональному эксцессу. Качества эти, в зависимости от темперамента и мировоззрения, можно объяснить сентиментальностью или романтизмом, восхвалить или подвергнуть осуждению. Важно, однако, следуя за Модестом Ильичом, подчеркнуть естественность проявления их в случае Чайковского: во всей детской (как позднее и взрослой) переписке нет ни тени фальшивой интонации — несмотря на сделанное им однажды в дневнике признание, что он «рисует» в письмах. Это означает, что в момент написания письма, как бы он сам ни расценивал это позже,

Чайковский переживал именно то, о чем писал, и если ему хотелось плакать или, наоборот, радоваться, — он мог поведать об этом интимным корреспондентам с очаровательной непринужденностью. Это свойство, очевидно, ответственно за обезоруживающую откровенность его в переписке не только с родными, которым он доверял себя полностью (особенно братьям Анатолию и Модесту), но, в известной степени, даже с Надеждой фон Мекк, ему духовно близкой, несмотря на предельные деликатность и такт, которых в его положении требовала эта переписка.

Каковы были привязанности будущего композитора в годы его учебы в приготовительных классах Императорского училища правоведения? Об этом, несмотря на сохранившиеся письма, мы знаем мало. Первоначально наблюдение и некоторую опеку над братьями Чайковскими в Петербурге осуществлял приятель Ильи Петровича — Модест Алексеевич Вакар, позже — его брат Платон, бывший правовед. Возможно, по его рекомендации Петя и был отдан в училище. С отношениями к семье Вакаров связана постигшая мальчика в этот период психологическая травма: во время эпидемии скарлатины Петя занес (сам заболел) в их дом эту болезнь, которой заразился их старший сын Коленька (пяти лет) — «любимец и гордость родителей». Петя этого ребенка обожал. «Коля Вакар просто Ангельчик, я его очень люблю», — писал он родителям в октябре 1850 года. В конце ноября «ангельчик» Коля Вакар скончался. «Нужно знать, как еще долго спустя, в течение большей части своей жизни Петр Ильич относился к смерти не только близких ему и знакомых, но и совершенно чужих людей, в особенности если они были молодые, чтобы представить себе, как страшно, как тяжело отразилось на нем тогда это событие, — пишет Модест Чайковский. — Для понимания его ужасного положения надо принять во внимание то обстоятельство, что хоть его и успокаивали неверными названиями болезни умершего, но, по его словам, он знал, что это была скарлатина, и что эту болезнь принес в дом никто другой, как он, и что окружающие вопреки разуму и усилиям над собой не могут все-таки в глубине души не винить его, — его, который по природной любвеобильности только и думал всю жизнь, с тех пор, как себя помнил, о том, чтобы всюду вносить с собой утешение, радость и счастье!»

Известны нам также два имени его одноклассников — и единственное упоминание о них в письмах мы находим опять-таки в сентиментальном контексте: «В среду 25 апреля я праздновал мое рождение и очень плакал, вспоминая счастливое время, которое я проводил прошлый год в Алапахе, но у меня были — 2 друга Белявский и Дохтуров, которые меня утешали. Мамашичка, Вы видели, когда я поступил в приготовительный] кл[асс],

Белявского, я вам говорил, что он мой друг» (письмо от 30 апреля 1851 года).

И все же было бы ошибкой думать, что подросток постоянно пребывал в печали и сентиментальном настроении. Как и все дети его возраста, он не прочь был предаваться веселью и проказам. В одном из писем родителям описывается, как он с приятелями играл веселую польку на рояле, а другие ученики танцевали и наделали столько шума, что разгневали преподавателя, запрещавшего танцевать в эти часы. При его появлении все кинулись врассыпную, и только один Петя замешкался. На вопрос: кто именно танцевал — мальчик отвечал, что танцующих было так много, что он никого не запомнил. Преподаватель, Иосиф Берар, который вел литературу и французский язык, был любимым учителем Пети, и мальчик долго еще потом раскаивался в своем обмане. По словам композитора, Берар, человек почтенного возраста, обладал исключительно ангельской добротой («настоящий ангел доброты»), и отчасти благодаря его влиянию десятилетний Петя снова начал писать стихи по-французски, как это было еще при Фанни. Сохранилось одно из стихотворений этого периода, наивное, но искреннее:

Когда молюсь от сердца я,  
Господь мою молитву слышит.  
Молитва наша есть сестра.  
Она, как свет,  
Нам душу освещает.

Вместе со своими соучениками Петя побывал на балу в Дворянском собрании, где впервые близко увидел императора Николая I. На балу было очень весело, мальчик танцевал и участвовал в лотерее — выиграл игрушечного солдата в треуголке и «ризинку (sic), абделанную (sic) слоновой костью». В июне 1851 года Петю пригласили погостить в деревню, однако главной темой писем родителям явилось страстное желание вернуться в Петербург. Наконец в сентябре его отец ненадолго приехал в столицу для устройства личных дел. Жизненные условия в Алапаевске оставались тягостными. А Саше и Ипполиту пора уже было поступать в школу. Поэтому Чайковские начали искать способ вернуться в Петербург.

Несколько недель Николай и Петр, к величайшему утешению и удовольствию последнего, прожили вместе с отцом. Но с отъездом

родителя братья уже считали недели и дни до прибытия всей семьи. Между тем конфликт с правлением вынудил Илью Петровича подать в отставку с поста директора Алапаевских заводов, в силу чего отъезд стал действительно неизбежным. Глава семьи, однако, не торопился, видимо, надеясь на помощь друзей, пытавшихся добиться для него подходящей должности в Петербурге. Процесс этот затянулся на шесть лет, которые Чайковские, обосновавшись, наконец, в городе на Неве с мая 1852 года, прожили, надо полагать, на накопленные сбережения. Судя по всему, денег иногда не хватало, что заставляло переезжать с места на место и время от времени жить совместно с родственниками. Илья Петрович и Александра Андреевна сняли квартиру недалеко от училища на Сергиевской улице в доме 41, принадлежавшем генерал-майору Николаеву.

Пока же, ожидая воссоединения, Петя продолжал тосковать. В январе 1852 года он пишет родителям, что недавно, музицируя на школьном рояле, он стал исполнять алябьевского «Соловья» и при исполнении этой вещи погрузился в воспоминания: «Ужасная грусть овладела мною, то я вспомнил, как играл ее в Алапаеве вечером и вы слушали, то, как играл ее 4 года тому назад в С.-Петербурге с моим учителем г. Филипповым, то вспомнил, как вы пели эту вещь со мной вместе, одним словом, вспомнил, что это всегда была ваша любимая вещь. Но вскоре появилась новая надежда в моей душе: я верю, в такой-то день или в такую-то ночь вы снова приедете и я снова буду в родном доме. Целую ваши ручки столько раз, сколько капель в море».

В мае он успешно выдержал вступительный экзамен в Училище правоведения и был принят на младший курс. Это было первое петербургское лето, которое Петр, наконец, провел вместе со своей семьей. Его отец снял усадьбу на Черной речке, что в северной части города, и пригласил туда двух своих молоденьких племянниц, Лидию и Анну, так и оставшихся жить с ними. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, Анна и ее юная кузина быстро подружились с Петром, и дружба эта сохранилась на протяжении всей их жизни. Много лет спустя Анна (в замужестве Мерклинг) вспоминала, что Чайковский был в то время «мальчиком худеньким, нервным, сильно восприимчивым. Он всегда ластился и нежился около Александры Андреевны. Вообще он отличался ласковостью, в особенности к матери. Я помню его висящим у меня на руках...».

Модест Ильич назвал эту эпоху жизни брата «самой бедной по биографическому материалу»: «Единственное, что он вспоминал из этого времени, это (опять же! — А. П.) посещения Александрой Андреевной

училища, свой восторг при этом и, как ему удавалось видеть ее иногда и посылать воздушные поцелуи из углового дортуара IV класса, когда она посещала свою сестру... жившую... окна в окна с Училищем правоведения».

Осенью 1853 года семья Чайковских переехала совсем близко к своему любимому сыну-правоведу и сняла квартиру в Соляном переулке, 6, в доме Лещевой возле Пустого рынка.

На фоне столь пылкой привязанности к матери, которую Петр «любил какой-то болезненно-страстной любовью», ее внезапная смерть от холеры 13 июня 1854 года должна была обернуться для него невыразимой трагедией. Спустя двадцать пять лет, в годовщину ее смерти, он признавался в письме Надежде Филаретовне фон Мекк, что «это было первое сильное горе, испытанное мною. Смерть эта имела громадное влияние на весь оборот судьбы моей и всего моего семейства. Она умерла в полном расцвете лет, совершенно неожиданно, от холеры, осложнившейся другой болезнью. Каждая минута этого ужасного дня памятна мне, как будто это было вчера».

Ипполит Ильич позже вспоминал: «Когда мамаша впала в тяжкое состояние болезни, всех детей без исключения перевели в дом тети Лизы на Васильевский остров 2-й линии. <...> Когда почувствовалось приближение смерти мамашы, не помню кто, но кто-то приехавший из Соляного переулка, кажется, тетя Лиза, обсуждали, кого повезти из детей под благословение матери. Помню, что взяли Сашу и Петю. <...> Брат Коля... двое малюток [Модест и Анатолий. — А. П.] и я остались в доме Шилле. Видя грусть Коли, мне стало жутко. Я как был, чуть что не без шапки, которую от меня спрятали намеренно, бросился бежать с Васильевского в Соляной переулок. Мне было тогда 11 лет. Не зная обстоятельно расположения Петербурга, я обращался к прохожим с расспросами. Видя меня взволнованным, многие обращали на меня внимание, и на вопросы куда я тороплюсь, я, не без некоторой рисовки, объяснял, что тороплюсь к умирающей матери, чем вызывал заметное ко мне сострадание. Подбежал я к воротам нашего дома как раз тогда, когда выходили из ворот Петя и чуть ли не Маня с Сашею, объявившие мне, что “все кончено”. Меня вернули домой, не позволив подняться в квартиру».

Можно себе представить, что происходило в сознании мальчика в последующие месяцы, если только через два с лишним года (в 1856-м) он почувствовал себя в состоянии написать о случившемся Фанни Дюрбах: «Наконец, я должен Вам рассказать про ужасное несчастье, которое нас постигло 2 с половиной года тому назад. Через 4 месяца после отъезда

Зины Мама внезапно заболела холерой, и хотя она была в опасности, благодаря удвоенным усилиям врачей, она начала поправляться, но это было ненадолго; после трех-четырех дней улучшения она умерла, не успев попрощаться с теми, кто ее окружал. Хотя она была не в силах внятно говорить, понятно было, что она непременно желает причаститься, и священник со Св. Дарами пришел как раз вовремя, так как, причастившись, она отдала Богу душу».

В день похорон жены заболел холерой и Илья Петрович. Он находился на грани жизни и смерти несколько дней, но выздоровел. Оставаться в квартире, где умерла Александра Андреевна, семье Чайковских было тяжело и невыносимо. Ближе к осени Илья Петрович нашел новую квартиру — в доме Гаке на 4-й линии Васильевского острова. К этому времени Ипполита определили в Морской корпус, а сестру Сашу отдали в Смольный институт. Жить без жены Илье Петровичу было непривычно, тем более с двумя маленькими сыновьями: он был совершенно не приспособлен к уходу за детьми. Чтобы скрасить тоску и одиночество, он предложил брату, Петру Петровичу, семьями съехаться в доме Остерлова, на углу Среднего проспекта и Кадетской линии (дом 25), на что тот с радостью согласился. В конце года вместе с малышами, Модестом и Анатолием, Илья Петрович переехал на Кадетскую линию. Петр Петрович, генерал в отставке и участник пятидесяти двух сражений, слыл большим чудаком, семья его состояла из пяти дочерей и трех сыновей, и когда семьи братьев собирались вместе, квартира становилась тесной и неудобной. Молодому же поколению, наоборот, нравилось проводить время вместе, и часто случалось, что за шумными беседами дети засиживались далеко за полночь, что вызывало неудовольствие старших.

Прожив вместе с братом три года, Илья Петрович решился на еще один переезд: этот раз он снял квартиру в доме А. П. Заблоцкого-Десятовского (№ 39, по 8-й линии Васильевского острова), автора основательного исследования «О крепостном состоянии России» и редактора «Земледельческой газеты». Окнами новая квартира выходила во двор, занимала два этажа — третий и четвертый. Вести хозяйство и ухаживать за близнецами стала четырнадцатилетняя Александра, забранная раньше времени из института. Лишь на выходные дни к ним приходили из расположенных недалеко Горного и Морского корпусов Николай и Ипполит, а Петр, с Фонтанки, чаще всего приезжал на извозчике.

Жена Анатолия Ильича, Прасковья Чайковская, также подчеркивала культовое отношение композитора в зрелом возрасте к памяти матери: «Хотя он потерял ее в четырнадцатилетнем возрасте, он не мог говорить о



ней без слез на глазах. Каждый год в день ее рождения он шел в церковь и молился за нее». Однако не следует преувеличивать влияние ее смерти на его еще очень юную душу. Модест, один из главных творцов «мифа о Чайковском», старается уверить читателя, что это событие потрясло Петра до самых глубин и едва ли не определило дальнейший ход его душевной жизни. На первый взгляд это кажется убедительным, тем более что и сам композитор со скорбью вспоминал смерть матери в письме к Н. Ф. фон Мекк от 23 ноября/5 декабря 1877 года из Вены: «Я, несмотря на победоносную силу моих убеждений, никогда не помирюсь с мыслью, что моя мать, которую я так любил и которая была таким прекрасным человеком, исчезла навсегда, и что уж никогда мне не придется сказать ей, что после двадцати трех лет разлуки я все так же люблю ее».

Этому утверждению, однако, противоречит позднейшее, хоть и беглое признание, сделанное им в письме Модесту в апреле 1891 года после смерти их сестры Александры и в связи с тревогой по поводу того, как может отразиться смерть матери на его любимом племяннике Владимире Давыдове, которому тогда было двадцать лет: «Боюсь ужасно за Боба, хотя и знаю по опыту, что в эти годы подобные горести переносятся сравнительно легко». Придаточное «хотя и знаю по опыту» выглядит почти как оговорка, но мы знаем из психоанализа, что именно оговорки и сходные формы речи адекватно передают работу подсознания (то есть чувств), в то время как позитивные заявления, в силу их зависимости от защитных механизмов, часто предназначены к диссимуляции — сокрытию или искажению подлинных переживаний. И действительно, научные исследования свидетельствуют, что дети, потерявшие кого-то из родителей в раннем отрочестве, довольно быстро преодолевают вызванный болью импринтинг и в дальнейшем развиваются без особенных проблем. Прочитанная же фраза из письма Чайковского к фон Мекк естественно вписывается, как интонацией, так и содержанием, в стиль их отношений, особенно на ранней стадии, когда композитор и его благодетельница только узнавали друг друга. Как бы то ни было, в материалах, которыми мы обладаем, отсутствуют указания на то, что смерть матери соединилась в сознании Чайковского с «топосом Петербурга» настолько прочно, чтобы придать мрачный колорит его восприятию этого города, как иногда полагают.

В памяти Модеста Ильича остался незабываемый образ или, скорее, ощущение их матери в год ее смерти. Уже на склоне лет он писал: «Первое воспоминание: я сижу на руках у женщины, кругом кусты желтой акации и внизу по дорожке прыгает лягушка, у меня в руках серебряный стаканчик.

<...> Мне было всего 4 года и 44 дня. Я более ничего о ней не помню, но знаю чувство неизъяснимой любви к большой темноволосой женщине, отличающейся от всех других именем “мамаша”. В одном этом слове таилось нечто сладостное, нежное, причиняющее блаженное чувство радостного удовлетворения, успокоения, выделявшее существо, носившее его, из ряда всех людей. Тосковать о ней, плакать, считать себя обиженным жестоко, несправедливо отходом ее от нас, как-то ревновать к окружающим ее покойникам Смоленского кладбища и в воображении сладостно млеть, целуя ей руки и колени, я не переставал всю жизнь. Теперь в старости реже, а прежде очень часто видел ее во сне и всегда с чувством обиды, что она нас оставила, и с чувством ревности к тем, с кем она теперь. Мне всегда ее недоставало. Недостает и до сих пор».

Конечно, испытание смертью самого близкого ему тогда человека не могло не остаться для Петра Ильича без душевных последствий. Как и в случае Модеста, в сознании его сохранился идеализированный образ матери, в том или ином смысле оказавший влияние на пафос идеального, характерный для его лучших музыкальных сочинений. Детские счастливые годы в Воткинске одарили его воображение темой «потерянного рая», придав силы творчески противиться вторжению жестокой реальности и тем самым порождая, пусть еще неосознанно, «страх и трепет», долженствующий впоследствии придать его искусству экзистенциальный смысл.

## Глава вторая. Императорское училище правоведения

В 1852 году Петр Чайковский поступил в Императорское училище правоведения. Начался новый период жизни, связанный с ключевыми моментами формирования личности будущего композитора. Девятилетнее пребывание его в этом закрытом учебном заведении мало освещено в биографической литературе. Доступный исследователям материал до недавнего времени ограничивался, главным образом, лишь небольшой главой в первом томе биографии Чайковского, написанной братом Модестом Ильичом и опубликованной в начале прошлого века, где автор сознательно умалчивает о некоторых очень важных фактах.

Причин тому несколько. Во-первых, годы, проведенные Чайковским в училище, вообще бедны эпистолярными и дневниковыми записями. Писем этих лет почти не сохранилось. Дневник под названием «Всё» Чайковский случайно сжег в 1866 году. Во-вторых, по мнению многих биографов, именно в этом учебном заведении подросток впервые столкнулся с проявлениями гомосексуальности. Поэтому на изучение этого периода жизни композитора в советском чайковствовании было наложено строжайшее табу.

Достоверным источником информации могли бы стать воспоминания одноклассников, но доступные нам мемуары бедны по содержанию, сбивчивы, неполны и носят апологетический характер. Не нужно забывать, что они прошли через руки Модеста, который старательно скрывал обстоятельства интимной жизни великого брата, откорректировав документы в соответствии с главной линией своего биографического труда. В последнее время стало возможно исследование неизвестных прежним биографам композитора архивных документов. Эти материалы позволяют восстановить жизнь Чайковского-подростка в стенах училища более или менее достоверно.

Обширные сведения об Училище правоведения содержатся в воспоминаниях утопического социалиста В. И. Танеева «Детство и школа», написанных еще в 1870-х годах и опубликованных только в 1959-м. Материалы эти не попали в поле зрения ранних исследователей и были, возможно, сознательно, проигнорированы советскими авторами. Владимир Танеев — старший брат известного композитора Сергея Танеева и ровесник Чайковского, пришедший в училище двумя годами позже Петра,

довольно обстоятельно, хоть и весьма субъективно, описал быт и нравы этого учебного заведения.

Сам композитор, несмотря на многолетнюю дружбу в последующие годы с Сергеем Танеевым, его брата Владимира откровенно не любил.

К воспоминаниям Танеева следует относиться, однако, с осторожностью. Крайне пристрастный и нетерпимый, как по отношению к самодержавному строю вообще, так и к тогдашней системе образования в частности, он был склонен к односторонности, вплоть до карикатурных образов, в изображении и характеристиках воспитателей и воспитанников училища.

Училище правоведения, сводчатые окна которого выходят на Фонтанку и Летний сад, было основано в 1835 году принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским с целью воспитания для государственной службы компетентных юристов из высших классов общества и судейских чиновников «нового образца» из среднего слоя дворянства. До тех пор юридическая деятельность считалась привилегией разночинцев. Новое учебное заведение вскоре приобрело высокую репутацию, первоначально не без либерального оттенка. Кроме того, «правоведская» треуголка была в общественном мнении окружена таким же ореолом великосветскости, как и красный воротник лицеиста или каска пажа.

Училище правоведения — учебное заведение закрытого типа для мальчиков от 12 до 17 лет. За семь лет учебы оно давало редкое в своем роде сочетание среднего и высшего образования, делая акцент на профессиональном обучении юридическим дисциплинам, что обеспечивало учащимся привилегированное положение на государственной службе.

Подросток, закончивший приготовительный класс и успешно сдавший вступительный экзамен, зачислялся на младший курс (включавший классы с седьмого по четвертый, по нисходящей линии), где четыре года изучал предметы, в целом соответствующие гимназической программе общего образования — физику, естественную историю, математику, географию, языки и литературу. После четвертого ученик переходил в третий класс, уже на старший курс, где еще три года обучался специальным предметам, таким как энциклопедия законоведения, римское право, государственное право, гражданское и уголовное право, финансовые и политические законы, судебная медицина, уголовное и гражданское судопроизводство, гражданская и уголовная юридическая практика. Последний, первый класс, был выпускным.

Внутри этого учреждения с его суровыми правилами младший и

старший курсы жили отдельной жизнью и практически никогда не пересекались. Каждый курс имел свои спальни и свою большую залу, из которой открывались двери, ведущие прямо в классные помещения. Залы обоих курсов разделялись большой массивной дверью. Столовая и сад были общими, но для старшего курса завтраки, обеды и прогулки назначались на час позже.

Во главе училища стоял директор, обладавший неограниченной властью. Два инспектора (один — инспектор классов, другой — воспитанников) и двенадцать воспитателей строго следили за выполнением предписаний. Каждый новый класс поручался особому воспитателю, который доводил его до выпуска. Среди официально принятых руководящих принципов начальства было воспитание подрастающего поколения «в духе христианской любви и преданности Царю и Отечеству» и обучение его «организованному и систематическому труду».

Не случайно девизом училища, выгравированным на форменном значке, были слова «*Respice finem*» — «Предусматривай цель», а жизненным правилом, которое внушалось будущим правоведам, — «*Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere*», что означает: «Честно жить, никого не обижать, каждому воздавать свое», что подразумевало стремление к идеалу и уклонение от компромиссов.

К тому времени, когда Чайковский поступил в училище, образ жизни в нем и дисциплинарные повинности производили впечатление почти военного режима. Но всего несколькими годами ранее учащихся окружала гораздо менее суровая обстановка, чем в других императорских учебных заведениях. Принц Ольденбургский нередко приглашал воспитанников во дворец и обходился с ними как с членами своей фамилии, устраивая для них даже званые вечера. Первый директор училища Семен Антонович Пошман тоже устраивал у себя дома званые вечера, куда правоведа приходили пообщаться и потанцевать, часто вместе с родителями и близкими. Столь либеральная атмосфера существовала до 1849 года, когда Николай I во всех императорских училищах ввел строгую военную дисциплину, что явилось реакцией на распространение революционных идей, пришедших из Европы. Прежний дух относительной свободы так никогда и не возродился.

Несомненно, юному Чайковскому было трудно, особенно вначале, привыкнуть к жесткому ежедневному распорядку, который неукоснительно соблюдали все учащиеся, — шесть дней в неделю в классе проводились семичасовые занятия, два-три часа уходило на подготовку к урокам и еще два-три часа отводилось на трапезу и посещение церкви. Воспитанникам

оставалось совсем немного времени на отдых и личные дела. Только в воскресенья и праздники наступало облегчение от строго регламентированной жизни. Существовали подробные правила поведения, которые предписывали учащимся быть честными, почтительно относиться к власти, поддерживать порядок и не забывать о вежливости в классе, соответственно одеваться и блюсти внешний вид, исполнять свой долг и избегать «безнравственного поведения».

Константин Арсеньев, пришедший в училище на четыре года раньше Чайковского, вспоминал, что «главным способом воздействия на учеников оставались угрозы, брань и крики». Как правило, телесным наказаниям подвергались только учащиеся младшего курса. Высшей мерой считалась публичная порка — иногда в присутствии и младших, и старших воспитанников. Подобные экзекуции стали обычными с приходом в январе 1850 года нового директора, бывшего полицмейстера города Риги, генерал-майора Александра Петровича Языкова, полагавшего, что они дисциплинарно полезны для младших классов. Школьный день начинался под бой барабанов, а после завтрака учащиеся маршировали. Увлечшись борьбой с крамолой, Языков объявил воспитанникам настоящий террор. «Директор был довольно высокий, плешивый человек. Он ни минуты не мог постоять на месте, беспрестанно вертелся, мотал головой, махал руками, дрыгал ногами, делал какие-то па и пируэты, точно участвовал каждую минуту в балете. <...> Воспитанники прозвали [его] шарлатаном и дрыгой. <...> Вид его постоянно был гневный, свирепый, бешеный. Он страшно ворочал огромными белками. Он кричал ужасно насильственным голосом...» — описывал Языкова Владимир Танеев. «Он постоянно подкарауливал, подслушивал, ходил в мягких замшевых сапожках без каблуков, без звука, когда его именно всего менее ожидали; высматривал кого-нибудь с незастегнутыми пуговицами, с длинными волосами, с папиросой, с куском собственного пирога, с посторонней книгой и, высмотрев добычу, кидался на нее неожиданно как тигр, как пантера, единым взмахом, с вытянутыми вперед руками, со сверкающими глазами и громадным, диким, презрительным, раздражающим все нервы криком: “А! Это что? Штучки?..” Хуже всего были его глаза, огромные, навывкате, воловьи, тупые, бессмысленно-злые. Он останавливал их на собеседнике, старался внушить ими страх и трепет...»

В качестве воспитателей были подобраны военные офицеры. Учредили новую должность инспектора воспитанников, состоящую в том, «чтобы ходить по училищу, высматривать, ловить, наказывать, сечь». Им был назначен Александр Рутенберг — «высокий, худой с гневным,

свирепым выражением лица человек. Он всегда говорил сквозь зубы, как бы сдерживая накопившуюся злобу. Никогда ни ласки, ни снисхождения, ни милости, ни доброго чувства к воспитанникам или к кому-нибудь не было видно на этом ужасном лице. Одна походка его наводила страх и ужас. Он делал большой шаг, тяжело ставил ногу на пол, немного скользил ею вперед, причем звенела и царапала пол его шпора. Скрип этих сапог и звон этих шпор ужасно действовал на мои нервы. Я помню их до сих пор», — пишет Танеев.

Телесные наказания, однако, не были отличительной чертой лишь этого учебного заведения. Порка розгами составляла обычную форму воспитания подрастающего поколения во многих странах Европы и особенно в Англии XIX века. В России по причине крепостного права этот вид наказания практиковался в помещичьих имениях вплоть до реформы 1861 года. В закрытых учебных заведениях военного или полувоенного типа порка считалась нормой. «Система битья розгами была в те времена в величайшем ходу везде в наших заведениях и производилась во сто раз чаще, жесточе и непристойнее, чем у нас, и мы это знали», — отмечает в своих воспоминаниях Стасов. Наказание розгами, видимо, имело место и в семье Чайковских. Младший брат Петра Ильича — Ипполит, определенный отцом в Морской корпус, вспоминал, «что корпусная розга меня миновала, я знаком был только с домашней розгою, когда отец, быстро приговаривая: “не будешь, не будешь”, после пятой или шестой отпускал меня пристыженного».

Не исключено, что сцены телесного наказания оставили в сознании будущего композитора неизгладимый отпечаток и в какой-то мере способствовали развитию у него фобий, мнительности, чрезмерной ранимости и склонности к мазохизму. Сам он никогда, однако, не был порот в училище. Его одноклассник Иван Турчанинов вспоминает, что «несомненно, в Чайковском было что-то особенное, выделявшее его из ряда других мальчиков и привлекавшее к нему сердца. Доброта, мягкость, отзывчивость и какая-то беззаботность по отношению к себе были с ранней поры отличительными чертами его характера. Даже строгий и свирепый Рутенберг выказывал к нему особенную симпатию».

В середине 1850-х террор в училище ослабел. В 1855 году умер «свирепый» Рутенберг, а его пост занял Иван Алопеус, бывший артиллерийский полковник, по воспоминаниям, «чуть ли не самый добрый и мягкий из воспитателей». До назначения на новую должность Алопеус был классным воспитателем XX курса и успел полюбить милого и обаятельного подростка Чайковского. Он его называл уменьшительными

именами, как, впрочем, и других своих любимцев. «[Алопеус] имел гораздо более призвания к своему делу, чем Языков или Рутенберг, — писал Модест Чайковский, — и обнаруживал это в умении примирить требовательность с мягкостью, почти теплотой обращения. <...> Он сумел поставить себя так, что его не только боялись, но и любили. Петр Ильич всегда хранил о нем самое теплое и дружеское воспоминание».

Танеев же, считавший почти всех преподавателей шутами и идиотами, а воспитателей глупцами и ничтожествами, писал об Алопеусе не без глумливой снисходительности: «Воспитанники за его слабость и его презренное повиновение директору считали его добрым человеком, и только. У него, в самом деле, было доброе, глупое лицо, огромные желтые усы, которые придавали ему глупый вид, и огромный глупый лоб, который обличал совершенное отсутствие мысли. Репутацией глупого человека он был обязан исключительно мне. Пока я не обратил на него внимания, никто и не думал о размере его умственных способностей». Вряд ли можно полностью согласиться с этим, очевидно, пристрастным мнением, но и полностью игнорировать его не следует.

О прочих деятелях Училища правоведения нам известно и того меньше, но сказанное дает основание предположить, что главную роль в душевном развитии юного Чайковского сыграли отнюдь не преподаватели и воспитатели. На наш взгляд, значительно более плодотворным в этом отношении может оказаться анализ характерных черт училищного быта.

Классным воспитателем курса, на котором учился Чайковский, после повышения Алопеуса до ранга инспектора, был назначен барон Эдуард Гальяр де Баккара. Влияния на нравственную жизнь молодых людей, ему вверенных, он оказывал еще меньшее, чем его предшественник, — «страха он не внушал ни малейшего». Баккара преподавал французский язык и обращался с учениками «небрежно и презрительно». Педагогом он был, по-видимому, никудышным. В училище мало кто знал, что он увлекался спиритизмом. «Знаменитые французские писатели, давно умершие (прошлого столетия), диктовали ему целую массу невероятной ерунды. Его возили, как чучело, по всему Петербургу и показывали на спиритических сеансах. Вероятно, мозг его был сильно поврежден. Он скоро умер».

Танеев также подробно описывал, как обманом, по сговору преподавателя и учеников, сдавались экзамены. Конфликт между ложью и реальностью присутствовал буквально во всем, и особенно во взаимоотношениях учителей и учеников. За блестящим фасадом дисциплины скрывался моральный и поведенческий хаос, временами приближающийся к анархии, которую начальство никогда не подавляло и



часто предпочитало игнорировать. «Внутренняя жизнь воспитанников и прежде и теперь оставалась вне всякого прямого влияния со стороны начальников, — вспоминал позднее бывший правовед Константин Арсеньев. — Начальство и прежде и теперь заботилось только об исполнении известных внешних правил, о соблюдении известного внешнего порядка».

Воспитанники большей частью были предоставлены самим себе, создавая внутри училища коллизии, которые воспитатели не замечали или не хотели видеть. «Дикая сила господствовала неограниченно. Сильные обращались со слабыми с тем же насилием, как начальство с воспитанниками. <...> Воспитанники старших классов приставали к новичкам, дразнили их, били... <...> [Они] смотрели на воспитанников младшего курса свысока, а младшие на старшекурсников с почтением», — утверждал Танеев. В те времена такое положение вещей было достаточно типичным в закрытых школах для мальчиков. Прислуживание младших старшим, то, что обычно в английских школах этого типа называлось *fagging* (что-то вроде современной российской «дедовщины» в армии), существовало и в Училище правоведения.

Юности свойствен бессмысленный, порой доходящий до жестокости, садизм. Особенно в коллективах, сегрегированных по половому признаку, таких как армия или школы-интернаты и школы вообще. Подростковая психология воспринимает всякого, демонстративно выделяющегося из группы товарищей поведением, характером или внешностью, как бросающего вызов своему окружению, а значит, заслуживающего осуждения и даже наказания.

Класс Чайковского — несмотря на таких воспитанников, как Владимир Герард, ставший позднее основателем общества по защите детей от жестокого обращения, или известный своей гуманностью поэт Апухтин, или склонный к сентиментальности будущий композитор, — характеризовался Танеевым весьма необычным образом: «В этом классе все вели себя до самого выпуска как глупые школьники. Приставания они называли травлей. <...> У них было общество травли, которое имело свой устав и состояло из обер-травлмейстера и нескольких травл-мейстеров, которые дежурили по очереди. Травили они большей частью двух товарищей, Каблукова и Снарского, которые назывались вепрями. Каждое утро дежурный травлмейстер будил вепрей, объявляя им, что он сегодня назначен к ним дежурным и пускал в них сапогом. Травля состояла в постоянных насмешках, оскорбительных прозвищах, толчках, пинках, щипках и т. п. Бедные молодые люди — они кончили курс двадцати одного

года — не имели достаточно энергии, чтобы как-нибудь вооружиться против своих притеснителей. Если бы они убили кого-нибудь из своих притеснителей, то это было бы слишком слабое мщение за то, что они от них вынесли. Они были в постоянном нервном возбуждении. Они, очевидно, должны были остаться больными на всю жизнь».

Кроме одноклассников, сотоварищи будущего композитора травили и некоторых преподавателей. Федор Маслов, бывший одно время другом Чайковского, организовал так называемые «когорты», которые с визгом, криком, обзываниями провожали преподавателей по залам и лестницам. Однажды кто-то из правоведов даже плюнул сверху на преподавателя английского языка и попал ему прямо на лысину.

Можно допустить, что Танеев сгущает краски, приписывая все эти безобразия одному лишь XX выпуску. Но то, что подобное было, есть и будет составной частью любого закрытого мужского учебного заведения, в доказательствах не нуждается. Об эмоциях тонко организованного подростка, вызванных дикими поступками сверстников, можно только гадать. Присутствовал ли в них элемент сострадания к травимым (а сострадание часто — первая ступень в любви) и отвращения к преследователям? Если да, то его неприязнь к Танееву становится более понятной: последний, по его же воспоминаниям, принимал активное участие в разных выходках, а его друг Буланин приставал к приятелю будущего композитора Шадурскому и «смеялся над ним невыносимым образом».

Другое (по мнению начальства) зло — курение — было строжайше запрещено правоведам на младшем курсе, но терпимо на старшем. Константин Арсеньев отмечал, что если первым и основным требованием было безусловное подчинение начальству — «повиновение без возражений, без рассуждений», то за ним по степени важности следовало запрещение курить. «Большинство классных “историй”, — писал он, — которые я теперь припоминаю, происходили именно из-за куренья, — и все-таки оно продолжалось в прежних размерах. Курили в душник, курили в классах, в спальнях, на лестницах, в “камерах свободных прений”, курили не только отчаянные головы, но и многие из благонравных учеников. Строгость запрещения разжигала, по-видимому, охоту нарушать его».

Вероятно, из-за этой атмосферы запретного и таинственного, столь привлекательного для подростков, будущий композитор заразился болезненной страстью к курению, не оставлявшей его всю жизнь. Много лет спустя Чайковский писал, что в школьные годы тайное курение доставляло ему большое удовольствие именно из-за волнений и риска, с

ним связанных.

Равным образом процветало пьянство — опять же соблазн не столько «правоведческий», сколько свойственный подростковому возрасту вообще, объясняемый необходимостью самоутверждения и подражания взрослым. Однажды два воспитанника старшего курса приехали в известный ресторан Панкина и пожелали снять комнату. Выяснилось, что все комнаты заняты, но в одной из них находятся их товарищи-правоведы. Каково же было их удивление, когда, войдя туда, они «увидели двух очень молодых мальчиков: Буланина и Венъери. Они были пьяны». Новоприбывшие осторожно вывели их, посадили на извозчика и отправили в училище. Буланин был близким другом Танеева и, по утверждению последнего, начал пьянствовать с пятнадцатилетнего возраста, дойдя до приступов белой горячки. К последнему классу он совсем спился, но все же смог выдержать экзамен и закончить училище.

О пьяных правоведах, называемых сверстниками из других школ «чижиками» (из-за желтой опушки их мундиров), даже была сложена песенка-дразнилка, дошедшая до наших дней:

Чижик-пыжик, где ты был?  
На Фонтанке водку пил.  
Выпил рюмку, выпил две,  
Закружилось в голове.

Сам Чайковский откровенно написал в дневнике 11 июня 1886 года: «Говорят, что злоупотреблять спиртными напитками вредно. Охотно согласен с этим. Но тем не менее я, т. е. больной, преисполненный невровоз человек, — положительно не могу обойтись без яда алкоголя, против коего восстает г. Миклухо-Маклай. Человек, обладающий столь странной фамилией, весьма счастлив, что не знает прелестей водки и других алкоголических напитков. Но как несправедливо судить по себе — о других и запрещать другим, то чего сам не любишь. Ну, вот я, например, каждый вечер бываю пьян и не могу без этого. <...> В первом периоде опьянения я чувствую полнейшее блаженство и понимаю в этом состоянии бесконечно больше того, что понимаю, обходясь без Миклухо-Маклахинского яда!!! Не замечал также, чтобы и здоровье мое особенно от этого страдало. А впрочем: *quod licet Jovi, non licet bovi* (лат. — что позволено Юпитеру, не позволено быку. — А. П.). Еще Бог знает, кто более прав: я или Маклай».

Композитор, как свидетельствуют его дневники и письма родным,

любил выпить и употреблял алкоголь на протяжении всей жизни: больше или меньше — зависело от обстоятельств. Для него это было способом снять нервное и психологическое напряжение, что со временем превратилось в привычку.

Темы невротизма мы коснемся в дальнейшем, а пока отметим, что при понимании того, как складывались личные пристрастия и увлечения Чайковского, нельзя не учитывать влияние училищной среды. Для определения степени такого влияния в первую очередь нужно составить представление об общей психической конституции и поведенческих склонностях подростка. Танеев, например, сознательно противопоставлял себя всей школьной системе отношений и в результате почти всегда пребывал в гордом одиночестве. Поэтому неудивительно, что привычки и стереотипы поведения сверстников не оказали особенного влияния на формирование его характера. Другое дело правовед Чайковский. Будучи обаятельным подростком, любимым друзьями-одноклассниками, он не мог противостоять среде в силу природной мягкости характера и, как правило, плыл по течению, нимало не заботясь о последствиях. В отличие от Танеева, он был частью коллектива, который и определял во многом его поведение.

Нет сомнения, что эмоциональная атмосфера в Училище правоведения была гомоэротически насыщенной. Тому способствовало как раздельное воспитание, так и переходный возраст самих учащихся, чреватый, как известно, всевозможными сексуальными конфузиями. Низшим полюсом в сложившейся ситуации был отроческий разврат, который можно назвать обстоятельственной гомосексуальностью, когда партнеры вынуждаются к совершению гомосексуального акта по независящим от них обстоятельствам — например, из-за невозможности найти способ удовлетворения физических желаний с женщиной. Под гомосексуальностью мы будем понимать любой психофизический однополюсный контакт, приводящий к удовлетворению полового чувства.

Фактор этот, несмотря на широкую распространенность именно в закрытых учебных заведениях, относится к сфере, о которой предпочитали умалчивать как ученики, так и учителя. Современная наука установила, что гомоэротическая стадия на уровне сознания или подсознания сопровождает половое созревание любого мужчины. Подобные психологические переживания могут оказаться существенным аспектом формирования личности, но далеко не обязательно направят ее развитие в сторону исключительной или даже предпочтительной гомосексуальности.

В школе царил строгий распорядок жизни, с серьезным акцентом на

дисциплину в сочетании с образовательными идеями. По принятым в то время правилам мальчики и девочки всегда обучались отдельно, избегая контактов друг с другом до достижения брачного возраста. Окружающая среда активно препятствовала ранней гармонизации физической и страстной любви в душе подростка. Идеальный образ женщины, часто выносимый юношей из дома, в условиях закрытого учреждения быстро преображался в довольно циничное и снисходительное отношение к «слабому» полу. В окружении сверстников любое проявление интереса к женщине рассматривалось как слабость, женоподобие вызывало насмешку и грубую шутку.

Коллизия эта усиливалась благодаря старшекурсникам — тем, кто уже познал физическую сторону половых отношений после визитов к проституткам или «летних приключений» в имениях своих родителей. Истории на эти темы освещались в подробностях, со смакованием грязных деталей, и принимались на веру вне зависимости от того, были ли они реальным опытом или плодом фантазии. Вот признание все того же Танеева: «Я совсем не понимал, в чем состоят половые отношения, но все, что я слышал из разговоров своих товарищей об отношениях между полами, было так грязно, цинично, возмутительно, отвратительно, что я считал бы величайшим грехом одно прикосновение к женщине. Я с ужасом гнал от себя всякую мысль об этом». Подобное отношение к «прекрасному полу» было настолько сильным, что одолеть его оказывалось нелегко даже на старшем курсе. Появившись с некоторыми смелыми товарищами в публичном доме, 19-летний Танеев вообще не прикоснулся к женщинам, вызвав у друзей смех: «Во-первых, я представлял себе женщину всегда в виде чистой непорочной Болтиной (девушки, в которую он был влюблен с детства. — А. П.), и публичные женщины были мне вовсе не привлекательны. Во-вторых, я считал совокупление с женщиной вне брака за высочайший грех; я был весь проникнут христианскими идеями о любви, т. е. отвращением от женщин. В-третьих, я боялся дурных болезней. Наконец, если бы я решил коснуться публичной женщины, мне для первого раза пришлось бы взять у нее уроки, а брать уроки совокупления, показать себя незнающим, неловким, было бы мне так же тяжело, как брать уроки танцев и гимнастики, в которых я был так неловок». Довольно сложный, как видим, набор ощущений в отношении женского пола мог быть свойствен большинству юных правоведов. В силу тех или иных воззрений — возрастных, религиозных, личных, гигиенических, эстетических и других — гетеросексуальные связи оказывались недоступны в течение семи — девяти лет пребывания в училище и отодвигались на

неопределенное время после его окончания. Только наиболее отважные и отчаянные старшекурсники могли позволить себе сексуальные развлечения с женщинами легкого поведения.

Сочетание специфически обостренной в подростковом возрасте чувственности с абсолютным отсутствием женского пола в стенах училища было главной причиной сексуальных экспериментов воспитанников. Наконец, вступали в действие и социально-психологические законы замкнутых однополых групп, требующих реальных или символических инициаций, взаимного притяжения, отношений на оси любви-ненависти, тесного физического контакта — от драки до объятий. Все это исподволь определяло психосексуальное поведение юношей. Онанизм, столь распространенный у подростков, в подобных условиях неизбежно из «порока одиночек» превращался во взаимное рукоблудие и тем самым уже становился гомосексуальным актом.

Брат Чайковского, Модест Ильич, вспоминал, что во время его учебы в училище был рад «неписаных законов, не столь обязательных, но ставивших исполнителей его очень высоко во мнении большинства. Как то: курить доблестно. Пьянствовать еще доблестнее. Хвастаться похождениями с падшими созданиями еще доблестнее. Иметь венерическую болезнь лестно и внушает уважение. Онанировать гнусно. Быть пойманным в педерастии неблагоприятно. Играть при этом пассивную роль омерзительно. Еще хуже воровать у товарищей. Красть журнал для подглядывания поставленных отметок не есть преступление». Сам Модест, как и многие другие, не выдерживал давления этих неписаных правил. Он продолжает: «Не курил. Не пьянствовал. Проституток не знал. Все это отчасти из трусости, отчасти потому, что не мог постичь, какое можно находить в этом удовольствие. Был онанист. Был в душе педераст и млел... <...> при мысли о возможности принадлежать кому-нибудь как женщина».

Танцевальные уроки, проходившие раз в неделю, во время которых воспитанники танцевали друг с другом, один в роли кавалера, а другой — в роли дамы, также вносили дополнительный оттенок в гомоэротическую атмосферу школы. Играли роль и посещения бани, где подростки внимательно изучали физические изменения, происходившие с ними, на своем теле и на теле товарищей, внимательно отмечая ту или иную разницу в физическом развитии друг друга.

Наконец, пример старших товарищей, уже привыкших находить источник удовлетворения похоти во взаимных отношениях или через помыкание младшими, довершал этот чувственный компонент и легко направлял томившегося от обилия гормонов подростка в русло

гомосексуальности. Ведь далеко не все способны ограничиться мастурбацией, тем более в момент повышенного эротического возбуждения. Симпатичный Петр Чайковский оказался совершенно незащищен от подобного давления на психику. Конечно, часто гомоэротический импульс сводился лишь к эмоциональной влюбленности одного мальчика в другого. Вот что пишет о своих переживаниях один из современников Чайковского, оставивший нам довольно откровенную исповедь: «Я никогда не испытывал подлинных гомосексуальных ощущений. Однако вспоминаю, что между 12 и 13 годами вид одного товарища по классу, того же возраста, что и я, вызывал у меня легкое сексуальное возбуждение. У него была очень тонкая кожа, волосы, хоть и естественно подстриженные, но все-таки напоминавшие девические. Несомненно, по этой причине его присутствие было мне приятно: мне нравилось ущипнуть его немного за шею, обнять за талию. Я никогда не думал ни о сексе, ни о возможностях плотских отношений с ним, я даже не мечтал увидеть его голым, но, тем не менее, образ его являлся моему духу несколько раз в эротических снах: я видел во сне голую часть его тела (не половые органы, но, к примеру, руку или плечи), его обнимал, целовал его щеки, и все это приводило к поллюции. За все мое существование это — единственное воспоминание, связанное с гомосексуальностью. В остальном мы никогда не обменялись нежным словом, никакими знаками особенной дружбы. Я полагаю, что женственная тонкость кожи этого мальчика была единственной причиной моих эротических эмоций».

Рассказывали, что однажды военный министр князь Чернышев вызвал начальника военно-учебных заведений России Якова Ростовцева и передал ему приказание государя строго преследовать педерастию в военных учебных заведениях, причем министр прибавил: «Ведь это и на здоровье мальчиков вредно действует». — «Позвольте в том усомниться, ваша светлость, — отвечал Ростовцев, — откровенно вам доложу, что когда я был в пажах, то у нас этим многие занимались; я был в паре с Траскиным (впоследствии известный своим безобразием толстый генерал), а на наше здоровье не подействовало!» Князь Чернышев расхохотался.

Администрация, невзирая на собственные строжайшие запреты, смотрела на отроческий разврат как на неизбежное и неискоренимое зло и не придавала ему особенного значения, пока не возникало угрозы громкого скандала. Известен, например, случай, когда в начале 1840-х годов не указанная «болезнь» стала причиной исключения ученика в назидание другим. Повод к этому дали встревоженные родственники, заметившие «порок» у своего подопечного и попросившие директора принять меры.

Это событие вызвало бурю негодования среди воспитанников. «Что если бы весь свет вздумал так действовать — ведь, пожалуй, пол-России пришлось бы выгнать отовсюду из училищ, университетов, полков, монастырей, откуда угодно, все это в честь чистейшей доброй нравственности», — комментировал этот случай бывший правовед Стасов.

Еще более показателен случай, произошедший год спустя после окончания Чайковским училища. «Фигурантом» его оказался воспитанник III класса Владимир Зубов, брат одного из профессоров. Благодаря родству с преподавателем ему многое сходило с рук. Однажды стало известно, что во время летних каникул Зубов с приятелем изнасиловали воспитанника младших классов, некоего Фомина. По инициативе Танеева было созвано общее собрание старшего курса для обсуждения происшествия. Танеев признает, что настроение большинства участников склонялось в пользу виновных: «Я решился выгнать его во что бы то ни стало. Я занимался постановкою вопроса и ввел всех в заблуждение. Следовало поставить вопрос так: выгнать Зубова или нет. Я поставил вопрос так, что дело было решено заранее: подвергнуть Зубова нашему домашнему изгнанию или объявить о его поступке начальству. <...> Огромным большинством было решено не объявлять начальству, подвергнуть домашнему изгнанию». Его попытка добиться такого же наказания для соучастника преступления кончилась, однако, ничем: «Булгаков огромным большинством был оставлен». Далее Танеев сообщает: «Зубов в тот же вечер, как его судили, собрал свои вещи, уехал из училища и не возвращался. Исчезновение Зубова немедленно сделалось известным начальству. Времена были другие. Директор испугался. Он явился к нам (к нам, а не товарищам Зубова) и серьезно нас спрашивал, позволяем ли мы дать Зубову чин XIV класса. Мы сказали, что позволяем. Зубов получил XIV класс». В архиве училища сохранилось прошение матери воспитанника В. А. Зубова от 22 ноября 1860 года с просьбой уволить ее сына в связи с расстроенным здоровьем и необходимостью лечения.

Итак, воспитанник Зубов совершил тяжелейший проступок. Речь идет даже не о тайном пороке, когда двое застигнуты на месте преступления, а об изнасиловании. Администрация, либо не будучи осведомленной (в этом случае следует подивиться сплоченности учащихся в предотвращении доносов — ведь о происшествии знали 80 человек!), либо не желая действовать (в этом случае позиция начальства нетривиальна), не предприняла никаких мер.

Устраивается лишь пародия судебного заседания, и то самими воспитанниками, причем несколько человек желают выступить



защитниками подсудимого — этот факт должен был быть хорошо известен правоведам. По словам Танеева, они, в частности, говорили, что поступок Зубова был приватным (поразительное заявление, принимая во внимание соответствующий параграф тогдашнего уголовного кодекса), общественное вмешательство в который недопустимо.

В конечном счете собравшиеся осудили Зубова не из негодования по поводу устроенного им безобразия, а для того, чтобы избежать объявления о случившемся начальству, которое тем самым было бы вынуждено вмешаться, поскольку событие обретало гласность.

Администрация, взволнованная не столько преступлением Зубова, сколько угрозой возмущения воспитанников против нее самой, поспешила замять скандал и даже выдала провинившемуся чин по Табели о рангах — что означало фактически зеленую улицу в карьере. Воспитанники, удовлетворенные унижением начальства, не возражали — лишнее доказательство того, до какой степени им был безразличен «нравственный принцип» в приложении к однополой любви. Как видим из истории с Зубовым, правоведа были менее всего склонны преследовать кого бы то ни было. Модест Ильич в «Автобиографии» также отмечал, что за время его пребывания в училище в 1860-х годах периодически становилось известно о «педерастическом *flagrant delite* (пойманных на месте преступления. — А. П.)».

В связи с этим вполне естественно возникновение непристойного училищного гимна под названием «Песнь правоведов», который сохранился в неподцензурном заграничном издании русской эротической поэзии.

Трудно сказать, до какой степени эта песня отражает состояние правоведческих нравов, но то, что подобные сочинения были частью устного творчества почти в любом закрытом учебном заведении для подростков мужского пола — сомневаться не приходится. Иными словами, мы имеем дело с откровенным либертинажем среди воспитанников (то есть с нигилистическим отношением к социально адаптированным формам поведения), а в атмосфере либертинажа по определению будут процветать все формы сексуальной распущенности.

Одним из истинных предметов страсти будущих правоведов был театр, в частности, модный тогда Санкт-Петербургский Михайловский театр с его французской труппой и репертуаром, состоящим в основном из популярных камерных комедий. Со времен Екатерины II французский был языком русской аристократии и практически все ученики Училища правоведения росли в атмосфере французской культуры, Для многих

молодых людей французский театр был не только развлечением, но и школой фривольного отношения к предстоящей жизни и любви.

Модест Ильич в биографии брата утверждает, что «перед всеми светскими удовольствиями для Петра Ильича стоял театр, в особенности французский, балет и итальянская опера. В русском театре он бывал реже...». Чайковский никогда не переставал любить французский театр, но его отношение к нему было в основном отношением эстета. Он ценил его своеобразное искусство и элегантность и, приезжая в Париж, не пропускал ни одной театральной постановки.

Воспитанники училища часто посещали и итальянскую оперу. Всевозможные итальянские труппы постоянно гастролировали в Петербурге, их спектакли были традиционно более роскошными и дорогими, чем любые российские постановки. Итальянцы привозили свои самые лучшие оперы: «Отелло» и «Севильского цирюльника» Россини, «Сомнамбулу» и «Норму» Беллини, «Травиату» и «Риголетто» Верди. Кроме того, они ставили произведения Моцарта, Мейербергера и других композиторов.

«В балете его главным образом пленяла фантастическая сторона, и балетов без превращений и полетов он не любил, — вспоминал Модест Ильич. — От частых посещений он приобрел однако понимание в технике танцевального искусства и ценил “баллон”, “элеваку”», “твердость носка” и прочие премудрости. Выше всех балерин он ставил Феррарис. Больше всех балетов нравился ему, как впрочем и массе, “Жизель”, этот перл поэзии, музыки и хореографии».

Посещая театр и концерты, будущий композитор входил в соприкосновение с миром музыки, который более всего отвечал его собственным тайным стремлениям, еще окончательно не сформировавшимся и не реализованным.

Между тем воспитанник Чайковский не особенно проявил себя как музыкант, хотя в стенах училища музицирование поощрялось его основателем, принцем Ольденбургским, который был известным меломаном. Приглашались профессиональные и даже знаменитые музыканты (например Клара Шуман), устраивались концерты как в училище, так и во дворце принца, иногда силами учащихся. Среди выпускников училища были композитор Александр Серов и музыкальный критик Василий Стасов. Но в то же время, как заметил один бывший правовед: «Нельзя не сказать, что как ни заманчив этот музыкальный уголок в жизни Училища правоведения, он был не более как уголком, в который большинство воспитанников вовсе не заглядывало».

О том, что происходило в музыкальной жизни училища во время правления Языкова, почти ничего не известно. У старого преподавателя музыки Карла Кареля Чайковский, по-видимому, уроков уже не брал, а занимался у сменившего его Франца Беккера. О нем композитор лишь обмолвился в «Автобиографии»: «Этот последний, однако, прошел мимо ученика, который нуждался в толчке, чтобы двинуться вперед, так что ни о каком прогрессе не могло быть и речи». Разве что участие в училищном хоре под руководством Гавриила Ломакина способно было вызвать интерес будущего музыканта. В письме Надежде фон Мекк более чем через четверть века Чайковский вспоминал об этом с явным удовольствием. «В мое время в Екатеринин день у нас служил литургию ежегодно митрополит. С самого начала учебного курса мы готовились к торжественному дню; певчие в мое время были очень хорошие. Когда я был мальчиком, у меня был великолепный голос-сопрано, и я несколько лет сряду пел первый голос в трио, которое на архиерейской службе поется тремя мальчиками в алтаре при начале и конце службы. Литургия, особенно при архиерейском служении, производила на меня тогда (а отчасти и теперь еще) глубочайшее поэтическое впечатление».

Пожалуй, никто в те годы не разглядел в Чайковском будущего композитора. «Мои занятия музыкой в течение девяти лет, которые я провел в этом училище, были весьма маловажны... — вспоминал он. — И когда я возвращался во время каникул в родительский дом, там также целиком отсутствовала музыкальная атмосфера, благоприятная для моего музыкального развития: ни в школе, ни в семье никому не приходило в голову представить меня в будущем кем-либо другим кроме государственного служащего!» Владимир Герард говорил Модесту Ильичу: «Я отлично помню, как после спевков в Белой зале по уходе... Ломакина Петр Ильич садился за фисгармонию и фантазировал на задаваемые нами темы (конечно, большей частью из модных опер). Нас это забавляло, но не внушало никаких надежд на его славу в будущем». Федор Маслов вспоминал, что «в музыкальном отношении Чайковский, конечно, занимал первое место, но серьезного участия к своему призванию ни в ком из товарищей не находил. Их забавляли только музыкальные фокусы, которые он показывал, угадывая тональность и играя на фортепиано с закрытой полотенцем клавиатурой и прочее». Другой правовед отмечал, что, в отличие от Апухтина, «Чайковский не только не встречал поощрения со стороны начальства, но даже не пользовался особым вниманием со стороны товарищей». Как музыкант, вниманием директора училища пользовался Август Герке, одноклассник Владимира Танеева и сын

известного в России пианиста.

С 1855 по 1858 год Чайковский по воскресеньям брал уроки фортепианной игры у известного пианиста Рудольфа Кюндингера. Но занятия были нерегулярны, продолжались недолго и, как часто случается в судьбах великих людей, учитель не обнаружил в ученике особого дарования. Однако сам композитор высоко оценил влияние Кюндингера на развитие своего музыкального вкуса. В «Автобиографии» он писал, что это был великолепный преподаватель: «Каждое воскресенье я проводил с ним час и делал быстрый прогресс в игре на фортепиано. Он был первым, кто стал брать меня с собой на концерты».

Годы, проведенные в училище, не оставили у Чайковского теплых воспоминаний. По его окончании он избегал общения с соучениками, что отмечала и Алина Брюллова: «Другая маленькая странность была у него — нежелание встретиться с товарищами по Училищу правоведения, где он себя чувствовал очень одиноким и заброшенным. У меня было два знакомых, его товарищи, милейшие люди и совсем антимузыкальные, это тоже должно было составлять прелесть в глазах Чайковского: отсутствие музыкальных разговоров с профанами. Они часто обедали у меня. Петр Ильич всегда просительно смотрел на меня: “не приглашайте Д. и Ш., когда я у вас”. Конечно, просьба выполнялась беспрекословно. Исключение Чайковский делал только для Апухтина и Мещерского. Почему он относился хорошо к последнему — загадка». В июле 1887 года, по пути в Вену, Петр Ильич случайно встретился в поезде с бывшим соучеником бароном Василием Врангелем. Тот пожелал провести время в его обществе, но композитор, обманув барона, «просто удрал». Он писал Модесту 16/28 июля из Аахена: «Беседовать на ты с человеком, которого я не видел с 1859 г[ода] и с коим, кроме принадлежности к числу правоведов, у меня ничего нет общего», было невыносимо.

В 1885 году, по случаю пятидесятилетия Училища правоведения, композитор сочинил хор «Правоведская песнь», а также «Правоведский марш». В письме от 27 сентября того же года к фон Мекк он рассказывал, что «написал для училищного юбилея не кантату (заказанную организаторами торжеств. — А. П.), а просто хор, который на празднике должны петь воспитанники. Текст для этого хора также пришлось писать самому». Чуть позже Чайковский жаловался своей корреспондентке: «Теперь, когда до юбилея остался всего с небольшим месяц, меня еще просят написать что-нибудь для оркестра. С одной стороны, писать эти вещи чрезвычайно скучно и неприятно, с другой — отказаться неловко. И вот сегодня, просидев над нотной бумагой несколько времени, [сочинял]

темы для марша, который я решил все-таки написать и инструментовать». И в письме жене брата Анатолия от 4 ноября 1885 года он пришивался: «Отказать невозможно и, несмотря на крайнее отвращение, я уже несколько дней, не вставая с места, копчу над этим маршем».

«Правоведскую песнь» Чайковский посвятил памяти основателя и первого попечителя училища принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Стихи, написанные им для этой «песни», были исполнены подходящих для таких торжеств верноподданничества и патетики:

Правды светлой чистый пламень  
До конца в душе хранил  
Человек, что первый камень  
Школе нашей положил.  
Он о нас в заботах нежных  
Не щадил труда и сил.  
Он из нас сынов надежных  
Для отчизны возрастил.  
Правовед! Как Он, высоко  
Знамя истины держи,  
Предан будь Царю глубоко,  
Будь врагом ты всякой лжи.  
И, стремясь ко благу смело,  
Помни школьных дней завет,  
Что стоять за правды дело  
Твердо должен правовед.

Однако он решительно отклонил приглашение присутствовать на торжествах. Оба произведения были исполнены в отсутствие автора 5 декабря 1885 года. Модест Ильич, побывавший на юбилее, писал брату на следующий день: «Хор твой, с упрямством называемый всеми кантатой, был исполнен очень неважно, но все-таки успех имел огромный. Масса людей поручила мне передать тебе свои приветствия и, между прочим, весь твой выпуск. Марш, исполненный в Дворянском собрании во время обеда, тоже был приветствуем очень шумно».

Сохранилось весьма любопытное послание Апухтина к Чайковскому, в котором он благодарит композитора за сочинение стихов для хора, заказанных к юбилею. В письме этом, превосходно стилизованном под

язык XVIII века, Апухтин также высказал ряд язвительных и остроумных замечаний по поводу предстоящих торжеств и самого училища:

«Мой Господин,

Высококклонное письмо Вашего Превосходительства, сего 22-го сентября из Клинского почтового амта пущенное, я исправно получил и за оное Вас благодарствую, а наипаче за то, что Вы вирши мне от Его Высочества для школы де друа заказанные сами собрать изволили и тем немалую обузу с меня сняли. Уповаю, что сия пьеса Ваша кастратами школы оной изрядно пета будет и тем к сатисфакции публики, а также и к прославлению Вашего имени послужит. Что до меня надлежит, то я свои вирши расширять и читать не буду, понеже нужных для того сантиментов не имею, школу же де друа, яко для ябед и волокит сотворенную, не весьма в своем сердце ношу и даже довольно за подлую почитаю. А ежели бы по какому хазару Высокия Персоны, при юбилее находящиеся, послушать виршей пожелали, то может кто из повытчиков или же секретарей сенатских Вольтеровы стихи “О двух любвях” прогорланит, кои при Версальской школе де шевеле же читаны и великую апробацию дюка де-Шуазеля, аббата де-Берниса, маркиза Лонитапьигли и даже самого короля Луи пятнадцатого получили, а на наш Российский язык Его Сиятельством князем Антиохом Дмитриевичем отменно переведены были.

Впрочем, я есть Вашего Превосходительства нижайший раб А. Апухтин».

Сам факт этого письма доказывает разделенность выраженных в нем чувств автором и адресатом. Более того, упомянутые Апухтиным «кастраты школы оной» и само название стихотворения Вольтера «О двух любвях» в переводе Кантемира не могли не породить двусмысленности, в том числе и эротической. Но это иронизирование не помешало поэту написать глубоко прочувственное стихотворение к вышеупомянутому юбилею 1885 года: «И светел, и грустен наш праздник, друзья», которое от его имени прочитал на торжественном собрании Владимир Герард.

В последние годы жизни композитор побывал в училище всего пару раз: по делам своего племянника и 3 марта 1892 года, когда дирижировал оркестром, состоявшим из учащихся. Вероятно, Чайковский не считал себя чем-то обязанным училищу и его воспитанникам, притом что отказаться от сочинения музыки или даже стихов он — как и Апухтин — не считал возможным.

Годы отрочества формируют основные составляющие индивидуальности. Опыт, пережитый в эти годы, не исчезает никогда. Амбивалентное отношение Чайковского к Училищу правоведения требует

понимания. Что же побудило композитора согласиться написать марш в честь училища и в то же время отклонить официальные приглашения? Почему он избегал встреч с правоведами, за исключением Апухтина и князя Мещерского? Ответ следует искать в подростковых влюбленностях, пережитых им за время обучения. По всей видимости, именно этот аспект обретенного опыта, а не методы преподавания или содержание занятий оставил в нем наиболее глубокий след.

## Глава третья. «Особенные дружбы»

Высшим полюсом подростковой сексуальной амбивалентности было процветание в Училище правоведения «особенных дружб» — эмоционально напряженных и эротически окрашенных. Здесь идет речь уже не о роли обстоятельств, а о влюбленности в сверстника, часто стыдливо таимая от самого предмета обожания, а тем более от окружающих. Это состояние ярко описано в «Былом и думах» Александром Герценом, пережившим в свое время все оттенки подростковой «особенной дружбы» с Николаем Огаревым: «Я не знаю, почему дают какой-то монополю воспоминаниям первой любви над воспоминанием молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различия полов, что она — страстная дружба. Со своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности. Я давно любил, и любил страстно Ника, но не решался назвать его “другом”. <...> С 1827 года мы не разлучались. В каждом времени, отдельном и общем, везде на первом плане он со своими отроческими чертами, со своей любовью ко мне».

Даже гомофоб Владимир Танеев не выдержал гомоэротической атмосферы и пережил сильное чувство к другому правоведа, однокласснику Чайковского, — Федору Маслову. Маслова он запомнил еще с приготовительного класса, когда тот был «меньше всех ростом, худой, бледный и ему кто-то часто надирал уши». На рождественские каникулы 1858 года оба юноши остались в училище и сошлись поближе. Описание Танеевым своего друга исполнено страстной влюбленности: «Малютка вырос. Он был одних лет со мной, но уже кончал курс. Бледный, с большими задумчивыми глазами, худой, стройный, он казался мне необыкновенно красивым. <...> Он привлекал меня не только наружностью, о нем все говорили, что он умен, а это качество я ценил выше других качеств. Я решил во что бы то ни стало приобрести расположение и дружбу этого юноши, к которому меня тянуло. <...> Я почти никогда не говорил с воспитанниками других классов. Я даже редко говорил со своими товарищами. Подойти к кому-нибудь, заговорить особенно дружески, любезно — со мною этого никогда не случалось.



Маслов был мне совершенно незнаком. Я сделал над собою усилие... <...> Мы сблизились очень скоро. Мы провели вместе в училище все Рождество». Танеев устроил любительский спектакль на квартире у одного из правоведов, в котором участвовали Чайковский, Маслов и другие старшеклассники. Несмотря на то что Маслов плохо сыграл роль, Танеев готов был все ему простить, как это явствует из тона его записок: «Только мой милый Маслов, которого я считал образцом красоты и изящества и которому я дал роль живописца Александра в водевиле, так испортил эту роль, как нельзя хуже».

После выпуска Маслова из училища связь продолжалась. «Маслов, кончивший в прошлом году курс, служил в Сенате и жил в маленькой комнатке на Исаакиевской площади... <...> Я отправился к нему, сказался нездоровым и прожил у него все время до конца рождественских праздников. Я проводил время в совершенной праздности». Они остались друзьями на всю жизнь.

Федор Маслов был и другом Чайковского, особенно в начале младшего курса. Позже он вспоминал: «При поступлении в седьмой класс Петр Ильич особенно был дружен с Белявским, но вскоре последнего заменил я. Второе полугодие седьмого и первое полугодие шестого мы были почти неразлучны». Заметим, что младший брат Танеева — Сергей (будущий композитор) — позднее также сдружился и с семьей Масловых, и с Чайковским.

От подростка Чайковского исходило удивительное обаяние. Тот же Маслов утверждал, что он «был любимцем не только товарищей, но и начальства. Более широко распространенной симпатией никто не пользовался». Нет сомнения, что кроме личного обаяния он обладал природным даром нравиться, особенно тем, кто был приятен ему самому. «Очень скоро, как всегда и везде, ничего для этого не делая, Петр Ильич очаровал всех в училище», — отмечал Модест. «Мягкость и деликатность в отношении со всеми товарищами делали Петра Ильича всеобщим любимцем, — соглашался с этим Владимир Герард, — я не помню ни одной крупной ссоры его, никакой вражды с кем-либо».

Это мнение разделяли и другие его одноклассники. Танеев говорил Модесту, что «Чайковский был всеобщий баловень», а единственное упоминание о нем в его мемуарах связано с тем, что будущего композитора считали одним из самых красивых учеников старших классов. Александр Михайлов, бывший на четыре класса младшее композитора, оставил еще один портрет правоведа Чайковского: «Всегда задумчивый, чем-то озабоченный, с легкой, но обворожительной улыбкой,

женственнокрасивый, появлялся он среди нас, в курточке с засученными рукавами и целые часы проводил за роялем в музыкальной комнате. Играл он превосходно...»

Нет никаких оснований полагать, что Чайковский не принимал участия в эротических играх или сексуальных манипуляциях с приятелями — это шло бы вразрез как с потребностями подросткового развития, так и с его уступчивым, отнюдь не стоическим характером.

Вполне вероятно, что большинство «дружб» его в школе были эротически невинными, но некоторые из них становились тесными в «особенном» смысле. Нам уже известны имена его ранних привязанностей — Дохтурова и Белявского, утешавших одиннадцатилетнего Петю в день рождения по поводу разлуки с родными, и Федора Маслова, сблизившегося с ним в первые годы учебы. Другим духовно и душевно близким другом был Владимир Адамов, несмотря на то, что проучился с Чайковским в одном классе лишь несколько месяцев, так как перешел в класс старше. Тем не менее «два друга так сблизились за это короткое время, что не только в течение пребывания в училище, но и до самой смерти остались самыми близкими и интимными приятелями... <...> в минуты досуга постоянной темой разговора двух друзей были планы путешествия по Швейцарии и Италии; всю жизнь промечтали они вместе исходить пешком обе эти страны, но, как водится, мечты своей все-таки не осуществили. <...> Кроме того, Адамов страстно любил музыку, но дальше своего первобытного дилетантизма никогда в ней не пошел. Любовь эта у обоих приятелей выражалась в постоянном посещении итальянской оперы. Адамов всегда мечтал сделаться хорошим салонным певцом. <...> Дружба их не ослабела до смерти Владимира Степановича в 1877 году; это событие глубоко потрясло Петра Ильича. <...> Адамов всегда был настоящим интимным поверенным его... <...> [Чайковский] сделал себе из своего друга образец, которому тщетно хотел подражать», — пишет Модест Ильич.

Другой его ранний приятель Иван Турчанинов вспоминал: «Мы... знали еще в приготовительном классе, во второй год пребывания там Чайковского, так что я не был свидетелем его необычайной тоски по родным. Мы были всегда дружны, сохраняли наилучшие отношения во время пребывания в училище. Внешним поводом к более тесному сближению было то, что оба мы, начиная с 1856 года, ходили в отпуск на Васильевский остров и потому совершали всегда эти путешествия туда и обратно вместе. Период самых дружественных отношений наших был во время приготовления к экзаменам на старшем курсе. Тогда мы поочередно

гостили друг у друга, и я сделался своим человеком в доме Чайковских. После выхода из училища дороги наши разошлись, и мы редко встречались».

В V классе в 1854 году Петр сошелся со Львом Шадурским.

Повод сближения был курьезен: «Однажды... они оба были восхищены и обрадованы, когда им в первый раз в жизни удалось, без всякой посторонней помощи и объяснения, решить алгебраическую задачу. Удивление обоих было так велико, что они от восторга начали обнимать друг друга». Шадурский «по натуре был эстетик» и, по мнению Модеста, будущий композитор узнал в нем «своего брата» — не случайного чиновника. «Не только отвращение [к математике], но и вообще равнодушие к не подходящей натурам обоих молодых людей специальности породило их дружбу».

Одним из последних «интимных друзей» Чайковского был Владимир Герард, будущий общественный деятель и адвокат. О близости с ним говорит и фотография, висевшая около письменного стола композитора в Клину, — Чайковский и Герард были сняты вместе в год окончания училища. В своих воспоминаниях Герард сообщал: «Первые годы пребывания в училище мы были довольно чужды друг другу. В последних классах младшего курса, однако, уже началось сближение; некоторое время мы сидели за одним и тем же пультом. Настоящая дружба наша разгорелась в старшем курсе и в особенности в первом классе. В эту эпоху я вел дневник, в котором изливал восторженное чувство первой любви к одной даме, и помню, что одновременно благодарил судьбу за то, что рядом с этой любовью мне была ниспослана такая идеальная дружба. Помимо безотчетной взаимной симпатии нас связывала любовь к театру. <...> Оба мы любили общество. Я вспоминаю, как ради встречи с хорошенькой сестрой одного из правоведов мы вместе добивались приглашения на бал в пансион Заливкиной, и как эти старания увенчались успехом, и мы оба усердно танцевали».

С раннего детства будущий композитор стремился и к дружеским отношениям с представительницами прекрасного пола, каковая давалась ему легко, ибо нечто женственное было присуще и его собственной натуре. Так, двенадцати лет от роду мальчик близко сошелся со своей кузиной Анной Мерклинг, которая была старше его на десять лет. Позже он посвятит ей шуточный Менуэт-скерцозо для фортепиано. Сам Петр Ильич вспоминал: «Едва я взглянул на конверт, как на крыльях памяти унесся в давно прошедшее время, и мигом явилась столовая в Училище правоведения. Нос приятно щекочется запахом борща и каши (они всегда

бывали по четвергам), душа умиляется в ожидании битков, долженствующих явиться вслед за борщом, сердце сладостно сжимается при мысли о том, что до субботы осталось два дня, и тут-то, в довершение всех прелестей, своей торжественно-тихой походкой ко мне направляется швейцар Голубев с письмом в руках. Вижу милый почерк, разрываю конверт и читаю твою [А. Мерклинг] восхитительную болтовню».

По словам Модеста, их связывала как взаимная симпатия, так и «любовь к проказам». Например, они специально раздражали соседку по даче пением дуэта «Видишь ли ты эту лодку», а Петя намеренно доносил барышням, родственницам Анны Петровны, о подслушивании их разговоров поклонниками. «Поведение нашего героя очень благородное относительно барышень, тем не менее все-таки было маленьким предательством относительно [мужского окружения]», — справедливо отмечает биограф. В интимной дружбе с молодой и очаровательной Анеттой отразилась деликатная мягкость его еще подростковой души. Мир товарищей, где дружба была сильнее, серьезнее и напряженнее, временно уходил в сторону, он чувствовал себя удобнее и проще с девушкой, наделенной психикой столь же чувствительной, как и у него. «Им недостаточно было проводить неразлучно время по праздникам: по будням переписывались и, интересуясь малейшими подробностями жизни друг друга, обменивались тайнами сердца. <...> Он поименно мог перечислить всех ее институтских подруг, она же знала до подробностей правоведскую жизнь».

У нас нет возможности подробно анализировать роль сексуальной ориентации в биографии Алексея Апухтина или проследивать в его творчестве особенности сексуальных вкусов. За исключением его хвалебной биографии, написанной Модестом, ни словом не обмолвившимся по этому поводу, и двух биографических статей к изданиям его произведений в Библиотеке поэта, очень выборочно документированных и полностью игнорирующих данный предмет, мы не имеем последовательного изложения событий его жизни, не говоря уже о ее интимных деталях. До сих пор нет монографических работ об Апухтине, а связанные с ним архивы недостаточно изучены. Остается опираться на отдельные, часто случайные, упоминания о нем в доступных источниках и на интерпретацию — по определению до известной степени субъективную — тех или иных его поэтических текстов. Ни то ни другое, однако, не в состоянии создать полноценное впечатление о его противоречивой личности.

Соответственно, мы ограничимся здесь и далее, по ходу нашего

повествования, лишь некоторыми соображениями, способными хотя бы в общих чертах обрисовать незаурядного человека, существенно повлиявшего на будущего композитора в период его окончательного формирования как личности и сохранившего его дружбу на всю жизнь.

В подготовительный класс училища одиннадцатилетний Алексей поступил в 1852 году. Весной следующего года он блистательно выдержал экзамен в VII класс и уже осенью сразу перешел в VI класс, где учился тогда Чайковский. В скором времени его литературная одаренность была замечена и оценена окружающими. По словам Модеста Ильича, «не только семья, наставники и товарищи выказывают живой интерес к расцвету его таланта, но на его долю выпадает завидное счастье найти сочувственников в таких писателях, как И. С. Тургенев и А. А. Фет».

Нужно признать, что, упоминая об Апухтине, многие современники действительно подчеркивали его качества светского искusstителя, язвительность, остроумие и сарказм, едва ли не на грани цинизма. Эти оценки удивительным образом противоречат, однако, интонации и содержанию его поэзии, вплоть до того, что иногда кажется, будто мы имеем дело с двумя совершенно разными людьми. Почти треть своих стихотворений Апухтин написал в годы обучения в Училище правоведения, и в произведениях этих не обнаруживается ни следа приписываемого ему нигилизма. Напротив — в них господствуют модные для того времени мотивы нравственных и гражданских идеалов, мировой скорби и даже религиозных исканий. Творчество его, несмотря на часто встречающиеся клише, глубоко интимно, и в лучших своих проявлениях возвышается до подлинного трагизма, так или иначе отражая мучительные перипетии его личной жизни. Остается предположить, что контраст между внешним его поведением и внутренним миром, очевидный при сопоставлении отзывов о нем современников и его литературных достижений, объясняется психологической необходимостью оградить, с помощью эффектной иронической маски, душевную чувствительность и чрезвычайную ранимость — защитный прием, отнюдь не редкий.

Появление Апухтина в жизни Чайковского привело к разрыву последнего с его прежним «интимным другом» Федором Масловым, который впоследствии вспоминал об этом так: «Второе полугодие седьмого и первое полугодие шестого мы (Маслов и Чайковский. — А. П.) были неразлучны. С переходом в последний к нам присоединился Апухтин — мой земляк. Так дело продолжалось до конца 1853 года, когда произошел разрыв. Я заболел и некоторое время пробыл в лазарете. Выйдя оттуда, был очень удивлен, увидев своим соседом по пульту не Чайковского. Он сидел

со своим новым другом Апухтиным. Воспоследовала ссора. Прежние друзья перестали разговаривать между собой. В пятом классе мы помирились и до окончания курса, а затем на всю жизнь были в совершенно дружеских отношениях, но первоначальная интимность уже более не возобновлялась. С Апухтиным же я никогда уже более не сошелся». Интуитивно подросток ощутил, вероятно, необычное притяжение между своими друзьями и понял, что просто дружбы им уже недостаточно, а в борьбе за любовь проиграл перед интеллектуально обольстительным соперником, отчего и устроил сцену изменнику-другу.

Модест Ильич писал, что с этого времени и до окончания училища Апухтин «играл огромную роль в жизни Петра Ильича». Обожание идеализированного сверстника — распространенное явление в подростковой психике. Как правило, оно зиждется на восхищении его физическими достоинствами — красивой внешностью, спортивными успехами. Очевидно, что внешней привлекательностью и миловидностью (на которой настаивают все мемуаристы) будущий композитор значительно превосходил Апухтина, представлявшего собой тогда, по словам современника, «небольшого ростом, худенького белокурого юношу со светло-голубыми глазами и золотушного вида». Так что эротическая инициатива — в каких бы формах она ни проявлялась — исходила, скорее всего, от Апухтина. Со стороны же Чайковского, вероятно, имело место переживание другого рода — не столько физическое притяжение, сколько интеллектуальная заигнотизированность.

Уже тогда юный поэт посвящал другу стихи. Сохранились четыре его стихотворения той поры, обращенные к будущему композитору, первое — пародия на стихотворные опыты самого Чайковского, о котором чуть позже. Другое — написанное годом позднее, называется «Дорогой». В нем Апухтин вспоминает прогулку с ним по Петербургу. Мотив радостного блаженства от присутствия объекта нежных чувств отчетливо звучит в таких строчках:

Точно, помнишь, мы с тобою  
Едем по Неве.  
Все замолкло.  
Не колышет Сонная волна...  
Сердце жадно волей дышит,  
Негой грудь полна,  
И под мерное качанье  
Блещущей ладьи

Мы молчим, тая дыханье  
В сладком забытии...

Третье стихотворение, «П. И. Чайковскому. Послание», сочиненное Апухтиным летом 1857 года в своем имении Павлодар, было задумано как ответ на письмо Чайковского, отправленное без обратного адреса. И, наконец, «Экспромт» от 10 марта 1857 года, с пометой «Ч-му»:

Не пищи в воде чернилом,  
Мух безменом не лови,  
Не толкуй пред другом милым  
Об участие и любви, —  
В воду только грязь забьется,  
Муха дальше отлетит;  
Друг, как муха, отвернется,  
Как чернила, загрязнит.

Вероятно, в этих строках нашли отражение эмоциональные коллизии в школьном окружении юношей, вроде уже знакомой нам и имевшей место несколькими годами ранее, между Масловым, Апухтиным и Чайковским.

Отроческая психология влюбленности неявно отразилась и в известном стихотворении поэта, также адресованном его другу много позднее, когда роли их столь драматически поменялись местами:

Ты помнишь, как забившись в «музыкальной»,  
Забыв училище и мир,  
Мечтали мы о славе идеальной...  
Искусство было наш кумир,  
И жизнь для нас была обвеена мечтами.  
Увы, прошли года, и с ужасом в груди  
Мы сознаем, что все уже за нами,  
Что холод смерти впереди.  
Мечты твои сбылись.  
Презрев тропой избитой,  
Ты новый путь себе настойчиво пробил,  
Ты с бою славу взял и жадно пил

Из этой чаши ядовитой.  
О, знаю, знаю я, как жестко и давно  
Тебе за это мстил какой-то рок суровый  
И сколько в твой венец лавровый  
Колючих терний вплетено.  
Но туча разошлась. Душе твоей послушны,  
Воскресли звуки дней былых,  
И злобы лепет малодушный  
Пред нами замер и затих.  
А я, кончая путь «непризнанным» поэтом,  
Горжусь, что угадал я искру божества  
В тебе, тогда мерцавшую едва,  
Горящую теперь таким могучим светом.

Стихотворение нашло адресата в самое тяжелое для него время — в период нервного потрясения после неудачной женитьбы. Чайковский писал брату Анатолию из Сан-Ремо 21 декабря 1877/2 января 1878 года: «Получил сегодня письмо от Лели с чудным стихотворением, заставившим меня пролить много слез». Как мы увидим, в последний раз поэт обратился к Петру Ильичу со стихами «на случай» («К отъезду музыканта-друга») незадолго до смерти их обоих в 1893 году.

Нет сомнения, что после 1853 года увлечение их друг другом росло и крепло. Дружить с Апухтиным было, однако, непросто. «Он из окружающих к большинству относился с презрительным равнодушием, ко многим с отвращением и только к очень немногим с симпатией и любовью, — пишет Модест Ильич. — Сообразно с этим, он вызывал такое же отношение к себе: его мало любили, многие ненавидели и только редкие питали дружбу или сочувствие. <...> Молодой поэт и по натуре своей, и в силу привычки “баловня” был деспотичен в особенности с теми, кого любил. Будущий композитор — необыкновенно податлив во всем, что не касалось глубин его ума и сердца, где, напротив, всю жизнь остерегалась им ревниво полная независимость». Композитор и поэт часто ссорились, иногда надолго, но сохранили взаимную привязанность до конца жизни.

Сам Апухтин в прекрасных строках, написанных в семнадцатилетнем возрасте, то есть еще во время пребывания в училище, поведал о своей страстной (и как явствует из контекста, «эфебовой») любви, доводившей его до мыслей о самоубийстве:



Я расскажу тебе, как я в тоске нежданной,  
Ища желаниям предел,  
Однажды полюбил... такой любовью странной,  
Что долго верить ей не смел.  
Бог весть, избыток чувств рвался ли неотвязно  
Излиться вдруг на ком-нибудь,  
Воображение ль кипело силой праздной,  
Дышала ль чувственностью грудь, —  
Но только знаю я, что в жизни одинокой  
То были лучшие года,  
Что я так пламенно, правдиво и глубоко  
Любить не буду никогда.  
И что ж? Не узнаны, осмеяны, разбиты,  
К ногам вседневной суеты  
Попадали кругом, внезапной тьмой покрыты,  
Мои горячие мечты.

Стихи эти поразительны ранней осознанностью необычного характера описанной страсти. О ком идет речь? Установить это невозможно. Атмосфера, окружавшая в училище юного поэта — обожание друзей и покровительство начальства, — должна была немало способствовать его самоутверждению. Вкусы Апухтина открыто высмеивались в эпиграммах и пародиях на страницах некоторых петербургских газет и журналов.

Можно лишь предполагать, как, или насколько, сексуальная ориентация Апухтина повлияла на поведение Чайковского и его отношения со сверстниками. Большинство воспитанников были так или иначе вовлечены в разнообразные эротические игры. Однако, как это обычно и случается, лишь для немногих подобный опыт сыграл роль импринтинга, обусловившего их дальнейшее психосексуальное развитие. Для большинства он оказался не более чем забавой и постепенно стерся из памяти. Но именно Апухтин, уже не заблуждавшийся на свой счет, утонченный и всезнающий, мог преподать своему другу интеллектуальное и эмоциональное обоснование гомосексуальности со всеми надлежащими аксессуарами от Античности до Ренессанса и далее, приводя также доводы науки и здравого смысла. Подобное «умственное совращение» могло многократно активизировать изначальный импринтинг и навсегда закрепить в подростковом сознании положительно пережитые гомоэротические эмоции.

Обратим внимание на творческий аспект взаимоотношений двух молодых людей, очевидный уже в тот период. Один из правоведов вспоминал, что «искусство в стенах училища находило себе приют только в интимных кружках, которые группировались вокруг наиболее талантливых личностей, и выражалось только в совместном чтении и декламации литературных произведений, дилетантском исполнении музыкальных пьес, совместных хождениях в театры и концерты, и горячих спорах об искусстве». Скорее всего, кружок Апухтина, пребывавшего у администрации в фаворе, и был таким интимным пристанищем для немногих избранных, к коим принадлежал и Чайковский. В этом кругу концентрировалась и без того присущая училищу гомозеротическая напряженность. Создается впечатление, что Апухтин, с одной стороны, провоцировал соблазн, с другой — активно участвовал в процессе примирения Чайковского с собой и действительностью. Еще в ученические годы между ними возникло, хотя и шутовское, поэтическое соперничество. Будущий композитор деятельно «сотрудничал» в поэтическом отделе рукописного журнала «Училищный вестник», основанного Апухтиным. Неуклюжие стихотворные опусы юного Чайковского, «появлявшиеся почти в каждом номере школьного журнала, само собой разумеется, всегда вызывали дружный смех товарищей, и... Апухтин спешил немедленно отвечать на каждое выступление своего неудачливого собрата по перу». Например, он дружески высмеивал стихотворный опыт Чайковского в уже упоминавшемся нами шутовском послании «Гений поэта», написанном в 1855 году:

Чудный гений! В тьму пучин  
Бросил стих свой исполин...  
Шею вывернув Пегасу,  
Музу вздевши на аркан,  
В тропы лбом, пятой к Парнасу,  
Мощный скачет великан.

Тот, однако, не обижался и не прекращал писать. До нас дошли как его шуточные поэтические экспромты, так и тексты, написанные к собственным романсам, хорам и ариям из опер. Ироническое отношение Апухтина к литературной деятельности друга-музыканта может отчасти объяснить его уклонение от помощи композитору в работе над оперными либретто.

Плодотворным, однако, оказалось их сотрудничество в жанре романса. Поэт посылал Чайковскому свои стихи с просьбой положить их на музыку. По поводу стихотворения «В житейском холоде, дрожа и изнывая, я думал, что любви в усталом сердце нет...» он писал ему 25 октября 1877 года: «Если найдешь возможным, напиши музыку и перешли мне. Оно написано в счастливую минуту, и я страстно желал петь его. Пробовал сам написать романс — не удалось...» Композитор соглашался не всегда. На стихи друга Чайковский написал шесть романсов: «Кто идет», «Забыть так скоро», «Ни отзыва, ни слова, ни привета...», «Он так меня любил», «День ли царит», «Ночи безумные». Романс «Он так меня любил» является переводом Апухтина стихотворения французской поэтессы Дельфины Жирарден. Текст этот, как и текст романса «Забыть так скоро», отсутствует в апухтинских рукописях и авторизованных списках. Вероятно, поэт сам передал их композитору. Известно, что Апухтин не заботился о публикации своих стихов и легко дарил автографы друзьям и знакомым.

Предельная искренность лирического выражения стала причиной популярности романсов Чайковского в России. Он сумел услышать в привычном, а подчас и банальном слововыражении то образное содержание, которое трогало и волновало слушателя. Как у Чайковского, так и у Апухтина любовь была главной, ключевой темой, а именно любовь-страсть. Романс «Забыть так скоро» выразителен в развитии главной темы — прошедшей любви, образа, рожденного из интонации эмоциональной речи, с драматическим финалом. Романс «Ночи безумные» — страстный монолог-воспоминание, и, как с иронией отмечали некоторые критики, «со смыслом, но по собственному вкусу, поскольку в нем определенные понятия заменены одними символами». Романс «День ли царит» относится к вершинам творчества Чайковского, композиционно это — ария с почти симфоническим развитием. Стихи, на которые написаны романсы «Он так меня любил» и «Ни отзыва, ни слова, ни привета...», — яркие, страстные, неизбежно рождают вопрос, кому из своих обожаемых друзей поэт обратил эти достаточно противоречивые строки. Ответить на это теперь невозможно.

Творчество Апухтина, в лучших своих образцах, выше его сложившейся репутации автора, главным образом, модных романсов. Отдельные стихотворения его, такие как «Мухи», ценимые Иннокентием Анненским, или «Сумасшедший», в высшей степени замечательны, равно как и сильные психологической глубиной поэмы «Из бумаг прокурора» и «Год в монастыре», и ему нельзя отказать в законном месте среди русских лирических поэтов второй половины XIX века. Тем не менее он был

фигурой по-своему трагической, благодаря контрасту между крупным поэтическим дарованием, первоначально породившим надежды на появление едва ли не нового Пушкина, и уровнем его литературных достижений, каковые, несмотря на бесспорную и признанную талантливость, этих ожиданий так и не оправдали. Он не преуспел, как мог бы, вероятно, из-за недостатка честолюбия и творческой энергии, или по причине болезней (он страдал тучностью и тяжелой формой отдышки), в силу российской барственной обломовщины, или же, наконец, из-за любовных драм.

Говоря об «особенных дружбах» Чайковского в период обучения, нельзя не вспомнить о князе Владимире Мещерском, человеке, сыгравшем заметную роль в истории России конца XIX — начала XX века. Мещерский был личностью яркой и весьма одиозной. Выдающийся журналист-реакционер, издатель газеты «Гражданин», которую одно время редактировал Достоевский, советник и конфидендент двух последних царей, Александра III и Николая II, он неизменно оказывался в центре общественных страстей. Его карьера отличалась высшей степенью двусмысленности и сопровождалась частыми скандалами, вызванными его реакционными политическими взглядами и откровенно гомосексуальным образом жизни, возмущавшими многих. «Содома князь и гражданин Гоморры» — назвал его в язвительной эпиграмме философ Владимир Соловьев.

Советские биографы последовательно избегали делать акцент на дружбе Чайковского с Мещерским, притом что документы не оставляют сомнений по поводу их долговременных приятельских отношений. Несмотря на то что последний был двумя классами старше композитора, они продолжали общаться и по окончании училища. Пик дружбы пришелся на 1869–1880 годы, хотя, по словам Модеста Ильича, около 1870 года между ними произошло кратковременное, но сильное охлаждение. В переписке Чайковского этих лет часто встречаются вопросы о Мещерском и упоминания о встречах с ним. На каком то этапе, однако, упоминания о Мещерском стали не столь яркими и постепенно сошли на нет.

Нет оснований полагать, что в период обучения Чайковский, в отличие от Апухтина, уже осознавал себя законченным гомосексуалом. Как мы увидим, в последующие годы он все еще считал, что сможет полюбить женщину, и даже решился на женитьбу, ставшую для него катастрофой. Это свидетельствует о том, что подростковые эротические игры, бывшие для большинства его товарищей способом «разрядки сексуальной напряженности», слились в его случае с неким глубинным переживанием,

определившим дальнейшее направление его жизни. Здесь опять-таки стоит посетовать на практику умолчаний, избранную Модестом в упомянутом выше жизнеописании, скрывшем подробности пылкой и чувственной страсти, долго обуревавшей его брата, к воспитаннику Сергею Кирееву, окончившему училище в 1865 году.

В комментарии к «Письмам к родным», опубликованном в 1940 году, прямо указывается, что с Киреевым Чайковского «в правоведческие годы связывала “особенная дружба”». До недавнего времени, однако, насчет ее сути можно было лишь догадываться. Так, например, об этой привязанности Чайковского свидетельствуют две фотографии этого юноши, до сих пор висящие на стене рядом с его письменным столом в доме композитора в Клину. Быть может, Модеста беспокоил факт, что Кирееву в момент знакомства с будущим композитором было всего 12 лет? Лишь однажды брат-биограф неуклюже проговорился, сообщив, что Петр Ильич рассказывал ему, как, идя по спальне младшего курса (!) с одним из товарищей (Модест лицемерно утверждает: «...фамилии я не запомнил»), он отважился высказать уверенность, что из него, может быть, выйдет знаменитый композитор. «Промолвившись, он сам испугался безумию своих слов, но, к удивлению, слушатель не поднял его на смех и не только не стал опровергать, но поддержал его в этом самомнении, чем до глубины души тронул непризнанного музыканта». Модесту Ильичу, однако, было хорошо известно, что из всех друзей брата на младшем курсе в то время учился только Сергей Киреев. Вспомним также о строгих училищных правилах: «.. редко воспитанник старшего курса пройдет по зале младшего курса», а тем более окажется в их спальне. Если же Чайковский нарушал это правило, у него должны были быть на то особые причины.

Лишь сравнительно недавно ставшая доступной исследователям незаконченная рукопись «Автобиографии» самого Модеста Ильича позволила установить не только то, что он был прекрасно осведомлен о природе чувств, связывавших с Киреевым его брата, но и получить представление о драматизме и длительности этих переживаний. Словно испытывая угрызения совести от сокрытия истины, в этом исповедальном тексте Модест Ильич подробно изложил утаенное им при публикации трехтомного биографического труда. Приведем этот пространный эмоционально-насыщенный отрывок: «Это было самое сильное, самое долгое и чистое любовное увлечение его жизни. Оно имело все чары, все страдания, всю глубину и силу влюбленности, самой возвышенной и светлой. Это было рыцарское служение “Даме” без всякого помысла чувственных посягательств. И тому, кто усомнится в красоте и высокой

поэзии высокого культа, я укажу на лучшие любовные страницы музыкальных творений Чайковского, на среднюю часть “Ромео и Джульетты”, “Бури”, “Франчески”, на письмо Татьяны, которых “выдумать”, не испытавши, нельзя. А более сильной, долгой и мучительной любви в его жизни не было. Тех же, кто осмелится назвать такую любовь “грязной”, я спрошу, — многих ли они найдут между своими, кто, не смея надеяться на поцелуй, наперечет удостаиваясь прикосновения руки боготворимого существа, в течение более десяти лет хранили такое чувство.

Началось оно приблизительно в 1855–1856 году. И в 1867 году в Гапсале мы сидели на берегу моря: увидев вдали лодку и зная нелюбовь к катанию на воде Пети, я спросил его шутя: за сколько бы он согласился поехать на ней в Америку? “За деньги бы не согласился, а если бы этого пожелал Киреев, поехал бы и в Австралию”.

Вспыхнуло оно сразу при первой встрече. С. К. был правоведник, на 4 года моложе Пети. И тогда, когда одному было 16, а другому 12 лет, разница казалась пропастью. Она увеличивалась еще тем обстоятельством, что оба были на разных курсах, т. е. как бы принадлежали к двум разным заведениям в одном доме, общавшимся только в церкви. Вероятно, в церкви Петя И увидел в первый раз Киреева. Воспитаннику младшего курса иметь знакомство с воспитанником старшего — большая честь. Во время некоторых рекреаций, когда старшие могли приходить в залу младшего курса (никогда наоборот) прогуляться с курткой, золотым позументом на воротнике (у младших был серебряный), было всегда лестно для “малыша”. Не знаю подробностей, как завязалось знакомство, но знаю, что очень скоро девственно чистое и возвышенное чувство Пети было истолковано в дурном смысле, и оттого ли, что Киреева стали дразнить этой дружбой, или просто от антипатии, — он очень скоро и навсегда начал относиться презрительно-враждебно к у моему поклоннику.

Вместе с тем — должно быть, в глубине души польщенный постоянством этого культа, — жестокий мальчик, точно боясь и измены, иногда поощрял свою жертву снисходительным вниманием и неожиданной ласковостью с тем, чтобы потом также неожиданно грубым издевательством повергнуть его в отчаяние. Так, однажды, он хвастался перед товарищами, “что Чайковский все от него терпит”, и когда тот доверчиво подошел к нему, он размахнулся и при всех ударил его по щеке. И он не ошибся, — Чайковский стерпел. Непонятый, оскорбленный, бедный поклонник страдал тем больше, что был всегда так избалован симпатией окружающих. Но эти страдания вместо того, чтобы потушить

любовь, только разжигали ее. Недоступность предмета любви удаляла возможность разочарований, идеализировала его и обратила нежную привязанность в пылкое, восторженное обожание, столь возвышенно чистое, что скрывать его и в голову не приходило. И так искренне и светло было это чувство, что никто не осуждал его. (Кроме того, кто знает, получи эти отношения нормальное течение, они обратились бы скоро в нежную дружбу и, неся много счастья, не оставили бы такого глубинного следа в жизни Пети. Исчезла бы цель смягчить безжалостного кумира, убедить в глубине и красоте питаемого чувства: острота его притупилась бы, жгучих мучений было бы меньше, но также меньше силы, поэзии и продолжительности.)

Как рыцарь Средних веков Петя начертал СК на своем щите и все, что ни делал, все посвящал этому имени. Я не ошибусь, если скажу, что в жажде славы, мечтах о посвящении себя музыке, большую роль играло желание тронуть “жестокого” мальчика, заставить его оценить повергаемое к его стопам сокровище, заставить раскаяться в жгучих страданиях, которые он причинял своим презрительно холодным обращением и издевательствами.

И Петя достиг этого, но как достиг Финн над сердцем Наины (герои поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». — А. П.), когда было уже поздно. В начале семидесятых годов, когда музыкальная слава уже начала распространяться, к нему в Москву приехал Сергей Александрович Киреев, но уже не жестоким мучителем и властелином, а робким поклонником, заискивающим внимания знаменитости. Но это больше не был поэтический юноша, а очень прозаический мужчина, ничего кроме самой трезвой приязни не могший внушить своему бывшему поклоннику.

Продолжая сравнение со средневековыми рыцарями, скажу, что он, как они, поклоняясь даме сердца, в плотской любви изменяли ей, часто имели жен, так и Петя одновременно с культом СК имел много любовных увлечений другого характера, которым неудержимо отдавался со всем пылом страстной и чувственной натуры. Предметом этих увлечений никогда не были женщины: физически они внушали ему отвращение».

Поздравляя Модеста 26 марта 1870 года с окончанием училища, Чайковский писал: «Живо вспоминаю то, что 11 лет тому назад сам испытывал, и желаю, чтоб в твою радость не была замешана та горечь, которую я тогда испытывал по случаю любви к Кирееву». Надо полагать, именно эта память о перипетиях его романа с Киреевым во многом объясняет ту двойственность в отношении к училищу в зрелом возрасте, о котором говорилось выше.

По всей видимости, они встречались и после выпуска Чайковского. Косвенно на все те же «особенные отношения» намекает и письмо композитора сестре (в переписке с которой он особенно осторожен) от 10 марта 1861 года: «Сердце мое в том же положении. Святое семейство им завладело до такой степени, что никого не подпускает на расстояние пушечного выстрела. Сережа уже третий месяц как болен, — но теперь выздоравливает». Заметим, что в начале сообщается о здоровье друга и только потом, как бы из печальной необходимости, автор письма упоминает о сестре последнего Софье, в которую (как он пытается создать впечатление у адресатки) он был якобы влюблен: «Софи приезжала ненадолго из Саратова, и я имел счастье видеть ее в театре. Похорошела ужасно». О степени чувства Чайковского к брату ее Сергею, несомненно, говорит пусть и шутливая, употребленная им лексика: семейство его «святое».

Один из первых романсов Чайковского, написанный в конце 1850-х годов, «Мой гений, мой ангел, мой друг», был посвящен им его юношеской любви. Именно на это время приходится пик их отношений. Количество точек, которыми отмечено в рукописи посвящение, совпадает с количеством букв в обращении: «Сергею Кирееву». Неслучайно, наверное, и то, что факсимиле романса в первом томе биографии Модеста вклеено напротив той самой страницы, где идет речь о разговоре юношески честолюбивого Чайковского с младшим товарищем, имя которого якобы забыл автор книги.

В архиве училища нам удалось выяснить, что Сергей Александрович Киреев был сыном статского советника Александра Дмитриевича Киреева и племянником инспектора классов Павловского кадетского корпуса Михаила Киреева. Поступил в училище в 1855 году, рано потерял отца. В 1860 году, уже после окончания учебы Чайковского, путешествовал в каникулярное время с инспектором приготовительного класса Федором Тибо, на что было получено специальное разрешение его матери.

Трудно сказать, как позднее развивались отношения с Киреевым, но в 1867 году, уже будучи в Москве, Чайковский увиделся с ним в театре и так описал встречу брату Анатолию 31 октября «На днях я встретил в опере Киреева, а сегодня он был у меня; представляю тебе судить, как это было мне приятно. Какой он милый, хоть и не так хорош собой, как прежде» и далее: «Вчера целый день провел с Киреевым, вместе с ним обедал, а потом ездили с ним к цыганам, которых он очень любит».

О дальнейшей судьбе Сергея Киреева нам удалось только узнать, что он был мировым судьей в Калуге и умер в 1888 году.



Уместно указать на то, что училище окончили и братья Чайковского Анатолий и Модест, а также его любимый племянник Владимир Давыдов. «Прозрение» у Модеста по поводу собственных сексуальных вкусов, равно как и вкусов старшего брата, случилось, когда ему было 14 лет. Читаем все в той же «Автобиографии»: «Мы вечером с Анатолием возвращались в училище на извозчике, и он мрачно поведал мне “ужасную вещь”, которую узнал в этот день: “существуют гнусные люди, называемые ‘буграми’, которые не имеют сношений половых с женщинами, а только с мальчиками и, о горе, Петя один из них!” Я забыл, что еду в училище, что на неделе нет праздника и отпуск будет только в субботу, забыл все горести и исполнился невыразимой радости. Тяжелый камень упал у меня с плеч. Я не урод, я не одинок в моих странных вожделениях! Я могу найти сочувствие не только в жалких париях среди товарищей, но в Пете! Я могу влюбляться и не стыдиться этого, раз Петя понимает меня. “Я тоже бугр!” — невольно вырвалось у меня. Помню негодование Анатолия при этом восклицании, упреки в слепом подражании Пете, безнравственности, уродстве. Но что мне было за дело! Петя был со мною. Петя мог понять меня. Что же значило остальное? Тут же я узнал, что Апухтин, князь Шаховской, Голицын, Адамов — тоже “бугры”, и мне стала ясна смутная симпатия, которую я всегда питал к этим людям... Все стало иным с этого открытия. Человечество разделилось на “своих” и “чужих”. Находя среди первых не только Петю, но также таких выдающихся людей как Апухтин, по уму и таланту, и таких милых, добрых, изящных как Шаховской, Голицын, Адамов, слыша, что воплощение красоты и величия наследник Николай Александрович тоже “наш”, — прежнее самопрезрение за уродливые вкусы сменилось самодовольством, гордостью принадлежать к “избранным”.<...> Не смея затрагивать эту тему с Петей, и ни с кем из старших, я был confident таких же новичков среди “бугров”, как сам. <...> Через какое-то время “имел смелость, опираясь на авторитетный пример Пети, открыто говорить о своих ненормальных наклонностях [в училище]”».

В 16 лет Модест оказался уже основательно вовлечен в однополые отношения с товарищами по училищу. Он вспоминал, что «в эту эпоху моей жизни онанизм потерял острую форму болезни и, хотя продолжался, но в степени значительно слабейшей. Зато я познал радости и ужас совокупления. В первый раз я пережил весь страх и трепет невинной девушки, вырвался из душивших меня объятий, убежал, и только потом, задним числом прочувствовал в воспоминании всю сладость этой минуты. Затем с другим товарищем наоборот, уступая наплыву чувственной волны, испытывал неопишное блаженство “настоящей минуты”, с тем чтобы

после с омерзением относиться к себе и к нему, мучился угрызениями совести и ненавидел виновника моего “падения”. Но проходили дни, он опять звал меня, в голове туманилось, и я неодолимо, покорно шел за ним, обоготворял на мгновение и еще с большей ненавистью смотрел на него потом. Все три года старшего курса длилась эта связь и за все три года вне ее почти не говорили, не знали, не любили друг друга. <...> В самом конце Большой Мещанской улицы была гостиница “Лион”. Как человек, знакомый с ней, Бухаров (любовник Модеста, тоже правовед. — А. П.) распорядился всем. Мы очутились одни в номере на всю ночь».

Подводя итог сказанному, следует признать, что в Училище правоведения, как и в любом закрытом учебном заведении для мальчиков, совершенно определенно имела место «внешняя» гомосексуальность, вызванная обстоятельствами и не влиявшая на будущую сексуальную ориентацию большинства, несмотря на то, что в нее вовлекались почти все учащиеся.

Небольшой процент воспитанников участвовал в коллизиях, определявшихся гомосексуальностью «внутренней», и выражением этих коллизий становились так называемые «особенные дружбы». Сам этот факт еще не дает основания считать, что такой тип гомосексуальных предрасположенностей со временем необратимо превратится в гомосексуальность исключительную или предпочтительную. Многие зависело от личностных особенностей подростка и социальной среды, в которую он попадал после училища. В том, что ученический состав, как до появления там Чайковского, так и во время его обучения или после окончания, — изобиловал людьми с ярко выраженными гомоэротическими тенденциями или даже сознательно предпочитавшими этот род любви, можно не сомневаться.

Очевидно, что сама окружающая среда, а следовательно, молвы и характер поведения воспитанников определили некоторые привычки и пристрастия юного Чайковского, в том числе и любовные. Скорее всего, подросток принимал участие в сексуальных играх, распространенных среди большинства его товарищей — у нас нет оснований полагать иное, ибо ему не были присущи строгие принципы на этот счет. С другой стороны, он вряд ли стремился к последовательности, поскольку в отличие от сноба и нонконформиста Апухтина не любил выделяться в обществе. Решающим было то, что за время обучения он приобрел достаточно серьезный опыт возвышенных чувств — к Адамову, Герарду, Апухтину — и в особенности к Сергею Кирееву.

Фотография XX выпуска Училища правоведения сохранила для нас

изображение привлекательного подростка, к которому прижался его сосед, с нежностью держа друга за руку. Этот привлекательный подросток — Чайковский. Имя соседа — Владимир Герард. Из тридцати двух молодых людей это единственная пара, столь тесно физически соприкасающаяся друг с другом.

Психологическое состояние правоведа, только что покинувшего стены училища, отлично передал также испытанный его Константин Арсеньев: «Мы были юристами более по имени, чем на самом деле, а мечты о карьере отличались скорее наивностью, чем настойчивостью, и вовсе не были похожи на намерение пробить себе дорогу во что бы то ни стало. Наше душевное состояние в момент выпуска походило всего больше на лист белой бумаги, исписать его тем или другим должна была дальнейшая жизнь».

## Глава четвертая. Светская интерлюдия

Чайковский окончил Училище правоведения 13 мая 1859 года и уже через две недели приступил к работе в чине титулярного советника в Департаменте юстиции. «В наше время так учили, что наука выветривалась из головы тотчас после выпуска, — признавался он позднее, — только потом, на службе и частными занятиями можно было как следует выучиться. <...> В мое время училище давало только скороспелых юристов-чиновников, лишенных всякой научной подготовки. Благотворное влияние правоведов прежнего типа сказалось только тем, что в мир сутяжничества и взяточничества они вносили понятия о честности и неподкупности». Трудно сказать, следовали ли правоведы до конца этим принципам, но обязанностями в департаменте они не пренебрегали, а усердно, особенно в начале карьеры, занимались составлением различных бумаг. Хоть Чайковский и писал в одном из своих писем, что он «плохой чиновник», но сохранившиеся архивные документы опровергают это. Уже через шесть месяцев службы его начальник Хвостов в рапорте министру выразил желание зачислить Чайковского в штат Первого отделения, поскольку последний, «занимаясь постоянно с должным усердием, успел приобрести некоторую опытность». Департамент юстиции находился на Малой Садовой, и стоило Чайковскому оказаться за порогом своей службы, как он сразу попадал на Невский, а значит, и в круговорот петербургской жизни.

Отрезок жизни Петра Ильича начиная с поступления на службу в Министерство юстиции и заканчивая занятиями в консерватории — также недостаточно изучен его биографами. Хотя именно в эти годы он испытал невероятный подъем творческой энергии, вскоре нашедшей выход. Это было беспорядочное и тревожное время в жизни Чайковского. Серьезный конфликт между врожденной робостью и стремлением к независимости, между осознанием ответственности по отношению к работе и семье и зовом к чувственным удовольствиям, между искушением праздности и смутным, но растущим желанием заниматься творчеством, еще не осознанным как его близкими, так и им самим, терзал его душу. На первых порах он выражался в склонности к сумасбродным поступкам и в желании жить на широкую ногу.

Создается впечатление, что биографы композитора, начиная с Модеста, сознательно обходили по касательной подробности этого

внутреннего конфликта, ограничиваясь самыми необходимыми сведениями, торопясь перейти к началу его творческой карьеры. В период этой «светской интерлюдии» Чайковский, несомненно, находил множество возможностей удовлетворить свои любовные желания в мимолетных связях. Даже в опубликованной переписке есть совершенно очевидные намеки на такие контакты, несмотря на многократную цензуру, которой были подвергнуты изданные тексты.

Чтобы объективно оценить скрытые моменты интимной и светской жизни молодого Чайковского, необходимо увидеть их в контексте российских сексуальных нравов второй половины девятнадцатого столетия и понять ту особую обстановку, в которой оказался будущий композитор по выходе из училища. Российской культуре всегда было свойственно сочетание риторического и внешнего ханжества и необычайной распущенности в будничной жизни. Ни суровые запреты православной церкви, ни законы «Домостроя» не смогли уберечь русских людей — в особенности ее мужскую часть — от потворства своим сексуальным прихотям и греховным желаниям. Несмотря на всё свое влияние, Церковь не преуспела в борьбе с остатками и языческих верований, а к некоторым обрядам культа плодородия ей пришлось даже приспособиться.

Распространенное мнение о том, что в России издавна существовала традиция приравнивания гомосексуальности к уголовному преступлению, неверно.

Если на Западе, начиная с XII века, виновных в «мужеложстве» инквизиция сжигала на кострах, то «Домострой» в этом отношении, как и в отношении любого другого греха, предполагает лишь духовное покаяние. Иностранцев, посещавших Московскую Русь в XV–XVII веках, поражало и возмущало широкое и безнаказанное распространение «содомии» среди всех слоев населения — от крестьянства до царствующих персон. Саймон Карлинский, одним из первых обративший внимание на этот феномен, приводит несколько свидетельств, из которых, быть может, два наиболее поучительны. Одно — стихотворение английского поэта и дипломата Джорджа Тэрбервилла, посетившего Московию в разгар террора Ивана Грозного (1568), о сексуальных привычках простого русского земледельца:

Хоть есть у мужика достойная супруга,  
Он ей предпочитает мужеложца-друга.  
Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.  
Вот в грех какой его ввергает хмель.  
(Пер. С. Карлинского)

Столетие спустя известный хорватский деятель Юрий Крижанич негодовал, что «здесь, в России, таким отвратительным преступлением просто шутят, и ничего не бывает чаще, чем публично в шуточных разговорах один хвастает грехом, иной упрекает другого, третий приглашает к греху; недостает только, чтобы при всем народе совершали это преступление». Сохранилось множество подобных свидетельств. Иными словами, лица, склонные к подобному поведению при патриархальном строе, особенно не выделялись на фоне остального общества. Ни для кого уже не секрет, что наиболее яркие и деспотические из русских государей — Иван Грозный и Петр Великий — также практиковали «мужеложство». «Противоестественный блуд» как преступление вообще не упоминается ни в одном из юридических документов Киевской и Московской Руси — начиная с «Русской правды» Ярослава Мудрого и заканчивая «Уложением царя Алексея Михайловича» (1649).

Впервые эта тема как вид преступления возникла в «Кратком артикуле» князя Меншикова (1706), где за «ненатуральное прелюбодеяние со скотиной», «мужа с мужем» и за «блуд с ребятами» полагалось сожжение на костре, притом что наказание было взято из шведского воинского статута. Уже через десять лет Петр I резко смягчил кару до простого телесного наказания, и лишь в случае применения насилия — вечной ссылкой.

Заметим, что воинские уставы Петра касались только лиц, отбывавших службу в армии, и на остальное население не распространялись. Криминализация сексуальных отношений между мужчинами как одного из «половых», или «плотских», преступлений юридически состоялась лишь в 1832 году, при Николае I, то есть всего за восемь лет до рождения Чайковского. Как видим, о «давней» традиции не может быть и речи!

Но закон этот редко применялся в отношении правящего класса. В России тех лет репрессия гомосексуального поведения носила характер «случайный и неправомерный», иначе говоря, выборочный: не преследовались лица, сильные своим статусом, влиянием и связями. Именно такое положение вещей характерно для всего русского XIX века: власть имущие, подверженные этим склонностям, не без основания ощущали себя в полной безопасности. Минимума осторожности было в таких случаях достаточно для предотвращения даже светских скандалов. В редчайших ситуациях, когда дело все же доходило до суда из-за

неблагоразумия участников, власти прилагали все усилия, чтобы успешно замять происшедшее и предотвратить какие бы то ни было серьезные осложнения.

На протяжении столетий у правящего класса, особенно во времена засилья крепостного права, половая распущенность была нормой жизни и не считалась развратом. Русское дворянство, не имевшее представления о европейском рыцарстве, о куртуазной любви, не помышляло об этических заповедях в сексуальной сфере. Ему не внушалось твердых моральных устоев на сей счет, ибо власти не ставили своей задачей воспитание общественной нравственности. Начиная с конца XVIII века высший класс подвергся мощному влиянию Запада. Не последнюю роль сыграл приток, главным образом из Франции, литературы либертинажа, которая пусть и неофициально, но свободно распространялась в дружеских кругах. Влияние ее способствовало развитию нарочито легкомысленного стиля жизни в аристократической среде и верхушке интеллигенции, изображенного как в «Евгении Онегине», так и в «Герое нашего времени», где наряду с другими материями светского быта подробно обсуждается искусство соблазна. Что касается половой близости между мужчинами, то в России она, как правило, облекалась в форму отношений между лицами высшего и низшего социального сословия в барских имениях, монастырях, ремесленных мастерских, банях, тюрьмах и просто на улицах больших городов, таких как Петербург или Москва.

К середине XIX века какие бы то ни было сентиментальные представления о любовных отношениях ушли в прошлое и значительная часть как дворянства, так и интеллигенции вышла из подчинения религиозным и экономическим механизмам, сдерживающим сексуальные прихоти. Более того, половая распущенность стала для многих личностным выражением борьбы с политическим деспотизмом. Неудивительно, что некоторые современники Чайковского находили Италию, традиционно считавшуюся сексуально свободной страной, более консервативной, чем Россия, где, «несмотря на деспотический режим, нравы были гораздо свободнее». Литературный критик Николай Страхов со смешанным чувством сожаления и возмущения говорил Василию Розанову, эксперту по сексуальным вопросам того времени, что «европейцы, видя во множестве у себя русских туристов, поражаются талантливостью русских и утонченным их развратом».

Именно в середине позапрошлого века в российских столицах начала складываться новая «сексуальная» идентичность, выделявшаяся на фоне более традиционных отношений. Мужчины с неортодоксальной половой

ориентацией начали более интенсивно искать себе подобных. Они находили их в самых разных слоях общества в лице сексуально озабоченных и инициативных представителей городского населения, определявшихся ими как «тетки» (калька распространенного французского вульгаризма *tantes*). «Тетки» собирались в специфически известных районах Петербурга и Москвы и, пользуясь языком жестов и символов, подчеркнуто невинных, но несущих определенную информацию для посвященных, устанавливали контакт с другими мужчинами. Данная модель отношений ознаменовала решительный разрыв со старыми патриархальными формами мужской сексуальности, и отныне сексуальный рынок России развивался в соответствии с новой иерархией ценностей и новым символическим порядком. Образовалась, главным образом в больших городах, определенная гомосексуальная субкультура вроде той, что укоренилась в Западной Европе с начала XVIII века. Ее нельзя было не заметить. Вот как пишет об этом в лишь недавно обнародованных мемуарных заметках журналист В. П. Бурнашев: «В 30–40, даже 50-х еще годах на Невском проспекте в вечернюю пору, когда выходили на свою ловитву разнообразные гетеры в юбках, — являлось множество гетер в панталонах. Все это были прехорошенькие собой форрейторы... <...> кантонистики, певчие различных хоров, ремесленные ученики опрятных мастерств, преимущественно парикмахерского, обойного, портного, а также лавочные мальчишки без мест, молоденькие писарьки военного и морского министерств, наконец, даже вицмундирные канцелярские чиновники разных департаментов. Они не предлагали, как девки, своих услуг: но едва вы взглядывали на них, шедших всегда очень медленно и останавливающихся у газовых фонарей, чтоб лучше было их видеть, то улыбались, а ежели вы на эту улыбку отвечали улыбкою же, то эти гетеры мужеского пола завязывались за вами и преследовали, идя близко сзади или подле, пока вы не сядились на извозчика, чтобы удалиться от этого преследования, ежели преследуемый не был влюблен педерастски. В противном случае гетера-мальчик и развратник ехали вместе в какой-нибудь трактир, где нанимался номер, или в семейные бани — те, другие или третьи, каких была масса тогда с номерами. Впрочем, иные любители брали юношей к себе на квартиру. Между молодыми извозчиками, особенно лихачами, было весьма много пареньков, промышлявших этим гнусным промыслом. Само собою разумеется, что все эти субъекты щеголяли своим туалетом и носили канаусовые (шелковые. — А. П.) рубашки. Иные доводили свой гетеризм до того, что белились и красились. Таков был ежевечерний посетитель Невского проспекта юный (18–19—20-



летний) чиновник Левицкий, набеленный и нарумяненный, с шатеновыми локонами до плеч. Говорили, что этот мерзавец был во франках (французской болезнью в России называли сифилис. — А. П.), но не спереди, а в заднем проходе, чрез что он многих заражал. Расположение к мужеложству было в Петербурге так развито, что собственно невскопроспектные проститутки начали ощущать страшное к себе пренебрежение, а их хозяйки испытывали дефицит. <...> Зато сколько женщины ненавидели бугров и бардашей, столько их поклонники выражали им публично нежность...» «Бугр» и «бардаш» (французские *bougre* и *bardache*) в середине XIX века были жаргонными терминами для активных и пассивных гомосексуалов. Племянник писателя Ивана Гончарова вспоминал, что в конце 1868 года гуляя с ним по Невскому проспекту и остановившись у витрины магазина, где стояли еще два мальчика, он вдруг услышал «шипение дяди: “Пойдем, пойдем, пойдем скорее”... Дорогой он объяснил мне свою поспешность тем, что мальчишки, быть может, подсланы и могли заговорить с нами, а потом донести, что мы приглашали и совращали их... Всю дорогу он говорил мне об этом, — рассказал, что в Петербурге этот порок распространен...».

Атмосфера эта опьянила молодого Чайковского. Вырвавшись из достаточно жестких, несмотря на тайную распущенность, рамок училища, воспитанники наконец-то получили возможность отдаться на волю ветров и пуститься во все тяжкие — каждый согласно собственным наклонностям и вкусам. «В первые годы по выходе из училища, — пишет Модест Ильич, — он остается прежним юношей-школьником. Та же необузданная жажда веселья, то же постоянное стремление к удовольствиям во что бы то ни стало, тот же легкомысленный взгляд на серьезные стороны жизни остались ему присущи на свободе, как были и в школе». Невозможно не заметить разницу в поведении Чайковского в эти и последующие годы. Хорошо известно, что позднее Петр Ильич всеми силами стремился избегать многолюдного общества, действовавшего на него крайне болезненно. Сама мысль о каких бы то ни было сборищах чужих или малознакомых людей приводила его в отчаяние — вплоть до того, что на пике славы он готов был сбежать на полпути в Кембридж, куда направлялся для получения звания почетного доктората. Но в 1859–1865 годах ничего подобного не замечено. Будущий композитор с азартом отдавался бурной светской жизни. Позднее он признавался в письме брату Анатолию от 13 февраля 1878 года: «Мне смешно вспомнить, напр[имер], до чего я мучился, что не могу попасть в высшее общество и быть светским человеком! Никто не знает, сколько из-за этой пустяковины я страдал и

сколько я боролся, чтоб победить невероятную застенчивость, дошедшую одно время до того, что я терял за два дня сон и аппетит, когда у меня в виду был обед у Давыдовых!!!»

Итак, разгорелась нешуточная борьба с природной застенчивостью во имя светской жизни. На людях, однако, эта застенчивость практически не проявлялась. По мнению окружающих, Петр держался вполне естественно и выглядел очаровательно. Один из его друзей этой и более поздней поры, музыкальный критик Герман Ларош вспоминал: «Быть может, я нахожусь под действием самообмана, но мне кажется, что Чайковский 60-х годов и Чайковский 80-х — два различных человека. Двадцатидвухлетний Чайковский, с которым я познакомился в Петербургской консерватории, был светский молодой человек, с лицом, вопреки моде, уже тогда всеобщей, совершенно выбритым, одетый несколько небрежно, в платье дорогого портного, но не совсем новое, с манерами очаровательно простыми и, как мне тогда казалось, холодными; знакомых имел тьму, и когда мы вместе шли по Невскому, сниманиям шляп не было конца. Раскланивался с ним преимущественно (но не исключительно) народ элегантный. Из иностранных языков он знал по-французски и немного по-итальянски; <...> В это раннее время и еще долго после [он] совсем не умел ходить пешком и даже на самые маленькие расстояния нанимал извозчика, и если я сейчас говорил, что я хаживал с ним по Невскому, то это такое исключение, которое свойственно петербуржцу: по Невскому ходят такие, которые вообще не ходят. Особенно это верно относительно 60-х годов, когда по его широкому тротуару прохаживались безо всякой цели, взад и вперед».

Еще осенью 1857 года семья Ильи Петровича переселилась к Елизавете Шоберт, сестре покойной Александры Андреевны. 6 ноября 1860 года Александра Ильинична, сестра Петра Ильича, окончив Смольнинский институт, вышла замуж за сына декабриста Льва Васильевича Давыдова, и супруги уехали на Украину, в Каменку, родовое имение мужа, где он служил управляющим у своих старших братьев, родившихся до ссылки их отца и ставших наследниками семьи Давыдовых.

«Признаюсь, я питаю большую слабость к российской столице, — писал 23 октября 1861 года Чайковский сестре. — Что делать? Я слишком сжился с ней! Все что дорого сердцу — в Петербурге и вне его — жизнь для меня положительно невозможна. К тому же, когда карман не слишком пуст, на душе весело. <...> Ты знаешь мою слабость? Когда у меня есть деньги в кармане, я их всегда жертвую на удовольствие. Это подло, это глупо, — я знаю; строго рассуждая, у меня на удовольствия и не может

быть денег: есть непомерные долги, требующие уплаты, есть нужды самой первой потребности, — но я (опять-таки по слабости) не смотрю ни на что и веселюсь. Таков мой характер. Чем я кончу? Что обещает будущее? Об этом страшно и подумать. Я знаю, что рано или поздно (но скорее рано) я не в силах буду бороться с трудной стороной жизни и разобьюсь вдребезги; а до тех пор я наслаждаюсь жизнью, как могу, и все жертвую для наслаждения. Зато вот уже недели две, как со всех сторон неприятности; по службе идет крайне плохо, рублишки уже давно испарились, в любви — несчастье; но все это глупости, придет время, и опять будет весело. Иногда поплачу даже, а потом пройду пешком по Невскому, пешком же возвращусь домой — и уж рассеялся».

Состояние Чайковского в это время весьма характерно для молодого человека. В высшей степени одаренный, он еще не обрел своего призвания. Недюжинный запас энергии, заключающийся в подобной личности, не нашел пока творческого выражения: «либидо», в широком, энергетическом смысле этого слова, естественно обращается к гедонизму, который в этом возрасте неотделим от эроса.

Дружба Чайковского с Апухтиным, их постоянное общение привели к тому, что будущий композитор попал в апухтинский, и значит, и в специфически ориентированный круг. Письма Чайковского не оставляют сомнения в их прочной и нежной привязанности. «С Апухтиным вижусь каждый день, — пишет он сестре из Петербурга 10 марта 1861 года, — он продолжает снимать при дворе моем должность 1-го шута, а в сердце первого друга». Об Апухтине этих лет Модест говорит: «Его веселость и остроумие тогда, в первом расцвете молодости, когда еще он не был прикован к дивану болезненной полнотой, а наоборот, — был подвижен и предприимчив — делали его общество очень увлекательным. Его изобретательность в шутках, неиссякаемое веселье мальчишеских проделок окружали его компаниею таких же повес, и Петр Ильич, когда хотел, всегда был среди них радостным и желанным гостем».

После окончания училища Апухтин уже не скрывал своих сексуальных предпочтений. Один из современников вспоминал: «Он всей душой слился с золотой молодежью Петербурга и разделял ее увлечения с их “ночами безумными”. <...> В один прекрасный летний вечер петербургский beau monde на Елагинской стрелке при созерцании заходящего солнца обратил внимание на очень оригинальную амазонку в фантастическом костюме, окруженную блестящею кавалерийской молодежью. Кавалькада проскакала раза два, и многие знакомые, наконец, не без удивления признали в таинственной амазонке Апухтина». Биографы

поэта утверждают, что тот был избалован успехами, тщеславен, слабоволен и падок на легкие развлечения. Званные вечера, пикники, дружеские вечеринки, прогулки верхом, любительские спектакли — вот где друзья отводили душу. Конечно, в светских гостиных этот блестящий остро слов затмевал друга. Его эпиграммы, каламбуры, шутки были у всех на устах, стихи его собственноручно переписывала в толстую тетрадь сама Екатерина Сушкова-Хвостова, приятельница Лермонтова. Зато как музыкант Чайковский сразу выделялся среди толпы светских меломанов, распевавших модные арии и романсы или бойко игравших на фортепиано. Немногие могли исполнить с лету мотив услышанной вчера оперы или куплеты веселого водевиля. Кроме того, Петр мог сочинить несложные сопровождения к поставленной в домашнем кругу пьесе, написать вальс или музыкальную шутку и даже спеть итальянскую колоратурную арию. И хотя Чайковский и сам обладал повышенной чувствительностью, он все же осуждал сентиментальность приятеля, поскольку, очевидно, не любил проявлять ее на людях. Однако молодые люди не чуждались и весьма экстравагантных поступков. Так, заключив с друзьями пари, они отправились поздно вечером на квартиру к солистке итальянской оперы Эмме Лагруа, которая накануне отменила выступление из-за болезни... Они уговорили горничную впустить их, сказав, что приехали по неотложному делу, а оперная дива, полагая, что прибыл доктор или чиновники из дирекции удостовериться в ее болезни, велела их принять. Вот как описывает эту сцену один из мемуаристов: «Вошел Апухтин с приятелем [Чайковским] и заявил певице, что они орловские помещики, приехали специально из Орла на один день, чтобы услышать Лагруа в “Норме”, и тотчас по окончании спектакля должны возвратиться в Орел. Заявление было так категорично, с присовокуплением, что они ни за что не уйдут, пока Лагруа не споет им “Casta diva”. Нельзя же им возвратиться в Орел, не услышавши ее! И Лагруа, сначала расхохотавшаяся от претензии этих чудаков, поломалась, но кончила тем, что, как ни была охрипши, села за фортепиано и пропела им “Casta diva”. Пари было выиграно, что и требовалось доказать!» Эта ария была одной из самых любимых на протяжении всей жизни композитора.

Тогда же будущий композитор, возможно, через Апухтина, познакомился с князем Алексеем Голицыным, дипломатом и центральной фигурой уже другого круга, также практиковавшего гомосексуальный стиль поведения, и позднее открыто жившим со своим любовником Николаем Масалитиновым. Голицын, несмотря на искренний интерес к культуре, был по характеру человеком нелегким и чрезмерно любопытным. Тем не менее,

несмотря на редкие встречи, он на какое-то время стал одним из интимных друзей Чайковского. И Апухтин, и Голицын были типичными представителями среды, на фоне которой юный Петр Ильич мог безболезненно предаваться случайным амурным похождениям и которую Модест Ильич, а за ним и все последующие биографы тщательно избегали описывать в деталях. Очень молодой человек, отдающийся наслаждениям и осмысляющий себя в их контексте, как уже было сказано, движим в первую очередь мотивацией эротической. Пребывание в апухтинском окружении не могло не привести к известной стадии промискуитета — необязательно на уровне уличных контактов (как это случалось позже, когда композитор сознательно изгонял себя из высшего общества ради творческого труда), а на уровне светских любовных связей, естественных при подобном образе жизни, элегантных, кратких и легкомысленных. Это было своего рода комедией манер, которой наиболее пристал, наверное, английский эпитет **gay** в его чистом и изначальном значении «веселый», ныне употребляемый для обозначения часто далеких от веселости вещей. Это не значит, что Чайковскому более всего нравились взрослые молодые люди или сверстники — напротив, как станет ясно далее, он предпочитал подростков. Обстоятельства были таковы, что именно этот полусветский образ жизни предоставил ему наибольшие возможности в удовлетворении тайных желаний, и он, не раздумывая, выбрал путь наименьшего сопротивления.

В это же время Чайковский продолжал встречаться и поддерживать тесные отношения с другими правоведами: Владимиром Адамовым, Львом Шадурским, Владимиром Герардом и, как мы уже знаем, Сергеем Киреевым. Летом 1860 года он отдыхал в имении Шадурского. Как вспоминает Модест Ильич, брат проводил тогда много времени в «обществе Апухтина, лейб-гусара Петра Платоновича Мещерского, Адамова, Слатвинского, Тевяшева, постоянно то рассказывающим о спектаклях в незнакомых мне домах, то репетирующим дома». С упомянутым лейб-гусаром Чайковский познакомился еще в школьные годы, в одном из писем он называет его «симпатичная, теплая личность». Этот человек, как мы увидим далее, неожиданно сыграл существенную роль в судьбе Петра Ильича.

Еще одним ближайшим другом Чайковского был Владимир Юферов, впоследствии одесский прокурор и промышленно-банковский деятель. Он учился классом старше, как уже известный нам Адамов. Из письма будущего композитора сестре Александре от 10 марта 1861 года следует, что Юферов как будто ухаживал за последней: «Юферов совершенно забыл прежнее, хотя называет тебя эффектной дамой, а Леву все-таки ненавидит»

(Л. В. Давыдов — муж сестры Чайковского. — А. П.).

В эти же годы Петр Ильич сошелся и с «симпатичным брюнетом, имевшим плоское татарское лицо и маленькие глаза» — Иваном Клименко. Архитектор по образованию, вознамерившийся со временем работать на Московско-Курской железной дороге, Клименко был страстным любителем музыки. Хотя он так никогда и не развил музыкальных способностей и на протяжении всей жизни оставался дилетантом, он сумел выработать отличный музыкальный вкус. По воспоминаниям Модеста Ильича, Клименко «привязался [к Чайковскому] всей душой и один из самых первых предсказывал его значение в русской музыке». Вместе с тем Клименко обладал превосходным прирожденным чувством юмора, и в отношениях между двумя друзьями «установился какой-то особенно шуточный тон отношений, прикрывавший самую теплую взаимную дружбу». Об их первой встрече сам Клименко сообщал, что Чайковский сразу пленил его: «...очень молодой, необыкновенно-приветливый, благовоспитанный, бесконечно скромный и как-то по особенному красивый... <...> С этого памятного вечера мы почувствовали симпатию друг к другу, которая с каждой новой встречей усиливалась и выросла, наконец, в сердечнейшую привязанность». Их дружба длилась много лет и, судя по письмам, не была лишена шуточной эротической игры.

«Отделавшись от тягостной необходимости проводить известные часы в департаменте, — пишет Модест, — остальное время Петр Ильич мог бесконтрольно отдаваться удовлетворению ненасытной жажды удовольствий. Ничего другого не оставалось пока. Наоборот, все сложилось так, что не давало других помыслов. И дома, и среди приятелей царил один культ веселья и развлечений. Невозможно уследить за бесконечным разнообразием их в этот период жизни Петра Ильича. Его очаровательность порождала все новые и новые знакомства в сферах, между собой ничего общего не имеющих (так ли — или незаметным звеном, эти знакомства объединяющим, была та или иная степень сходства эротических предпочтений? А. П.). В изящных салонах, в театре, ресторанах, в прогулке по Невскому и Летнему Саду в модные часы дня, во всем, везде, он ищет и находит цветы радостей жизни. Поле их ему представляется необозримым, срывать их, кажется, хватит на всю жизнь, и ничего другого он не знает и не хочет знать...» «[Он] находил удовольствия повсюду, потому что сам в себе носил такую готовность воспринимать их, такую впечатлительность, что все увлекало его: и общество, и танцы, и холостые вечеринки, и ужины в кабачках, а главное — театр и природа». И далее: «Не проходило дня без приглашений на разного рода собрания и

общественные увеселения». И наконец: «В ней (жизни Чайковского в ту пору. — А. П.) было все, чтобы сделать молодость его в высшей степени приятной в смысле времяпрепровождения, и ничего, могущего отрезвить его беззаботное упоение существованием. <...> Следствием этого явилось не только легкомысленное отношение к задачам жизни вообще, но также и к людям. В постоянной погоне за удовольствиями его раздражали, расстраивали те, кто напоминали одним фактом своего существования о каких-либо обязанностях, о скучном долге. Хороши стали те, с кем было весело, несносны — с кем скучно. Первых надо было искать и избегать вторых. Поэтому отец, младшие братья, престарелые родственники были ему в тягость, и в сношениях с ними зародилось что-то сухое, эгоистическое, пренебрежительное. Впоследствии мы увидим до какой степени была поверхностна эта временная холодность к семье, но не констатировать ее существования в эту пору его жизни нельзя. Он не то, чтобы не любил семьи, но просто, как всякий молодой повеса, тяготился ее обществом, за исключением тех случаев, когда дело шло о каких-нибудь увеселениях или празднествах. Сидеть смирно дома — был крайний предел скуки, неизбежное зло, когда пусто в кармане, нет приглашений или места в театре».

Таково, по словам Модеста Ильича, было ощущение бытия молодого человека, душа которого еще недостаточно проснулась: чувства, требующие выхода, уже налицо, но до их глубины и тем более гениальности в выражении их еще далеко.

Осенью 1858 года отец Чайковского был назначен директором Петербургского технологического института. Незадолго до этого Илья Петрович вверил свое состояние одной знакомой, некоей вдове инженера, которая, потерпев неудачу в делах, потеряла все деньги — и его и свои собственные. В шестьдесят два года старший Чайковский внезапно оказался банкротом. Несмотря на бесконечные судебные тяжбы деньги возвратить так и не удалось, и он вынужден был заняться поиском нового места работы. Но в конце концов институтское начальство разрешило проблему, предложив ему и его семье просторную квартиру. В продолжение учебного года дом нового директора стал излюбленным местом сборищ студентов. Летом Илья Петрович арендовал загородный дом, двери которого были открыты для бедных студентов — тех, кто не мог позволить себе уехать домой на летние каникулы.

«Летом на даче Голова по Петергофской дороге мы жили вместе с воспитанниками Технологического института, — пишет Модест Ильич. — В первые годы даже в одном доме: мы — внизу, они наверху. Эта близость

породила очень интимные отношения с многими из них. И вот, по примеру Пети и Садовникова, у каждого члена семьи, начиная с тети Лизы, явились свои любимцы, которые по очереди приглашались к нам. И тетушка, и сестра, и кузины относились к этому полусуто — а я нет.

Помню, мой избранник назывался Антиповым, был белокур, с вьющимися волосами и довольно высок. Я трепетал от наплыва восторга при приближении его. Сердце билось, в голове туманилось, и я не мог говорить с ним от трепета. И так сладостно мучительны были мне эти встречи, что я боялся их и предпочитал издали следить за тонкой, стройной фигурой моего полубога и посылать ему издали весь запас ласкательных слов для излияния моего поклонения и любви. <...> Длилось это недолго. С окончанием лета Антипов исчез для меня навсегда. <...>

В начале этого периода Петя еще меньше, чем прежде, уделял нам внимание, даже увлеченный новыми впечатлениями расцвета молодости, и в нашей жизни активно не принимал участия. Наше поклонение ему от этого не умалилось. Все в нем мне было священно, хорошо, умно, благородно — и по-прежнему его отношение к людям, его понятия и взгляды на вещи — руководством и незыблемым законом.

В Технологическом институте его комната помещалась этажом ниже нашей квартиры. Она была для меня священным местом. На письменном столе у него лежали камни, привезенные на память с Иматры, куда он совершил поездку около этого времени. <...> На том же столе был портрет СК, Сергея Киреева».

Под влиянием, возможно, интимной обстановки будущий композитор давал волю своим чувствам в собственном поведении и даже манерах с риском вызвать неодобрение у ханжей. Но, очевидно, юношеское его обаяние действовало на окружающих поистине неординарно. Женственное начало, свойственное его натуре, все отчетливее проявлялось на публике.

«Его никто никогда не критиковал, — утверждает Модест. — Напротив, он умел и предосудительное претворять в дозволенное. Не только это, даже смешное в презрительном смысле у него выходило прелестным. Так он до страсти любил изображать танцовщиц, любил это и я, но окружающие, и большие, и сверстники, насмехались надо мной и презрительно называли кривлянием. <...> Петя это делал открыто и по вечерам близ дачи, во рву, отделяющем Новые места от Английского парка, давал целые представления, которым все аплодировали и никто не находил недостойным мальчика, сверстники же с удовольствием участвовали в них». И далее: «Он подробно объяснял мне разницу поз Лагруа... Ристори и других актрис, показывая, в чем заключается разница. <...> В балетных



танцах плавность, отсутствие резких... движений поставлялись им как главное достоинство, и он, танцуя, показывал, в чем это заключается, и, никак не добиваясь от меня этих достоинств, шутя называл Савренской (третьестепенная танцовщица русской оперы), а себя Феррарис — за плавность и классичность движений».

Однако несмотря на внешне развязное поведение, внутри он оставался тем же впечатлительным и пугливым подростком. Ипполит Ильич к странностям брата относил, по его своеобразному выражению, «трусливость к непрочности нашего организма»: «...стоило кому-нибудь указательные пальцы приставить к вискам, делая вид, что их надавливают, ему казалось, что человек этот если не умрет, то упадет в обморок, он от ужаса краснел и закрывал глаза».

Ларош отмечал: «Здоровьем он пользовался отличным, но необычайно боялся смерти, боялся даже всего, что только намекает на смерть; при нем нельзя было употреблять слова: гроб, могила, похороны и т. п., одно из величайших его огорчений в Москве состояло в том, что подъезд его квартиры (которую он по обстоятельствам не мог переменить) находился рядом с лавкой гробовщика». 24 августа 1865 года Чайковский писал сестре, что во время осмотра Софийского собора в Киеве «какая-то фигура, покрытая парчой (останки митрополита Макария), к которой монах заставил приложиться, навела на меня такой ужас, что я оттуда бежал и никакие увещевания моих деспотичных братьев не могли принудить меня продолжать эксплорацию киевских храмов». Такое поведение становится понятным, если вспомнить, какой след в его психике оставила смерть матери и друга детства Коли Вакара.

Обратной стороной «светской» жизни будущего композитора была необходимость ухаживания за девицами с перспективным выбором невесты. Но именно в первый петербургский период гомосексуальность уже стала эмоциональным и эротическим стержнем его личности, хотя он вряд ли тогда это осознавал. Скорее всего, видел в своих пристрастиях пережитки школьной поры и питал иллюзию, что стоит ему захотеть или по-настоящему влюбиться, он сможет переориентироваться на женщин без особого труда. Так что мотивацией ухаживания его за женщинами на этой стадии могло служить не только желание замаскировать свои истинные эротические устремления, но и искренний интерес к противоположному полу, основанный на своего рода самогипнозе — надежде образумиться и в конечном счете уподобиться всем другим. Такого рода отчаянную попытку он предпринял несколько позже.

Впрочем, более вескими причинами, вероятно, являлись любопытство

и интерес. Вот, например, письмо Чайковского сестре Александре от 9 июня 1861 года с длинным перечнем представительниц прекрасного пола, к которым он будто был более или менее равнодушен: «Софи Адамова рассказывала мне, что в прошлом году Вареньки обе были в меня серьезно влюблены... а слез сколько было пролито! Рассказ этот крайне польстил моему самолюбию... Недавно я познакомился с некою М-ме Гернгросс и влюбился немножко в ее старшую дочку. Представь, как странно? Ее все-таки зовут Софи. Софи Киреева, Соня Лапинская, Софи Боборыкина, Софи Гернгросс, — все Софьи! Вот многого премудрости.

Сегодня за чашкой кофе  
Мечтал о тех, по ком вздыхал,  
И поневоле имя Софья  
Четыре раза сосчитал», —

заканчивает в рифму Чайковский. Впрочем, следует учесть, что перед сестрой он часто рисовался из желания скрыть реальное положение вещей. Не мог же он делиться с ней впечатлениями о своих мимолетных любовниках. Самоиллюзии, общественные условности, необходимость маскировки — все это приносило в письма сестре известную долю неискренности. И конечно, отъезд Саши из Санкт-Петербурга оказался весьма своевременным.

Летом 1861 года Петр Ильич совершил первое путешествие за границу. Средств на самостоятельную поездку у него не было, и он воспользовался приглашением инженера, знакомого отца, Василия Васильевича Писарева, присоединиться к нему в качестве переводчика и секретаря. Илья Петрович дал сыну лишь небольшую сумму на личные расходы. Путешественники посетили Берлин, Гамбург, Антверпен, Брюссель, Лондон и Париж, но из всех увиденных городов благоприятное впечатление на них произвел только Париж. Сосуществование с Писаревым оказалось, однако, делом нелегким; известно, что лучше всего людская совместимость выявляется в путешествиях. В конце концов они расстались. Позже Чайковский писал сестре по этому поводу: «Если я в жизни сделал какую-нибудь колоссальную глупость, то это именно моя поездка. Ты помнишь Писарева? Представь себе, что под личиной той *bonhomie* [фр. — добродушия], под впечатлением к[ото]рой я считал его за неотесанного, но доброго господина, скрываются самые мерзкие качества души; я до сих пор и не подозревал, что бывают на свете такие

баснословно подлые личности; теперь тебе нетрудно понять, каково мне было провести три месяца неразлучно с таким приятным сотоварищем».

Возможно, что именно в Париже он встретил юношу, как пишет Модест Ильич, «большой красоты», некоего Фредерика, фамилию коего Чайковский так и не потрудился узнать, но которым он настолько сильно увлекся, что одел его с ног до головы, повел в ателье фотографироваться и сделал «своим компаньоном во время пребывания в этом городе». Об этом эпизоде «сохранилось вечное воспоминание в виде портрета, ныне красующегося в Клинском музее. <...> Портретом его он очень дорожил и отводил ему одно из видных мест».

По возвращении в Россию путешественника ожидала радостная новость: сестра Саша родила дочь Татьяну. По этому поводу Чайковский даже посвятил новорожденной племяннице, первой из четырех дочерей семьи Давыдовых, стихотворение. Через два года родилась Вера, вслед за ней, в 1864 году, Анна и через четыре года — Наталья.

Этой осенью его младшие братья, Анатолий и Модест, следуя по стопам брата, поступили в Училище правоведения, а сам он решил записаться в музыкальные классы, открывшиеся при Русском музыкальном обществе.

Смерть матери оставила младших членов семьи в несколько странном положении: Илья Петрович был любящим отцом, однако по складу характера вряд ли подходил на роль воспитателя — но младшим детям требовался именно последний, особенно близнецам Модесту и Анатолию. Во второй раз отец женился нескоро, к тому времени близнецы уже успели испытать влияния, сформировавшие их личности. Вначале бразды правления оказались в руках сестры Саши, которой пришлось одновременно играть роли и сестры и матери. После ее отъезда в Каменку десятилетние близнецы, которых Чайковский еще в детских письмах родителям называл «ангельчиками», оказались у него на руках. Старший брат Николай успешно делал карьеру горного инженера, а Ипполит служил военно-морским кадетом.

Одно из «ранних» воспоминаний Модеста о брате Петре, еще до отъезда сестры с мужем в Каменку, дает представление о восприятии его близнецами в тот период: «Когда он соглашался “мучить” нас, он не снисходил, а сам забавлялся, и это делало его участие в игре таким веселым для нас. Он импровизировал, создавал нечто, а стало быть, и сам веселился. Его игры ни на что не были похожи, все исходило от его странной и волшебной-обаятельной натуры».

С отъездом Александры произошло драматическое сближение

десятилетних детей с двадцатилетним юношей. Модест рассказывает в первом томе жизнеописания брата: «И вот однажды, в один из таких тусклых вечеров, когда мы готовы были повторять только слово: “скучно, скучно” и с нетерпением ожидать часа, когда велят идти спать, Анатолий и я сидели, болтая ногами, на подоконнике в зале и решительно не знали, что с собой делать. В это время прошел мимо нас Петя. С тех пор как мы себя помнили, мы росли в убеждении, что это существо не как все, и относились к нему не то что с любовью, а с каким-то обожанием. Каждое слово его казалось священным. Откуда это взялось, не могу сказать, но, во всяком случае, он для этого ничего не делал. <...> Уже от одного сознания, что он дома, что мы его видим, нам стало веселее, но какова же была наша радость, наш восторг, когда он не прошел мимо по обычаю, а остановился и спросил: “Вам скучно? Хотите провести вечер со мною?” И до сих пор брат Анатолий и я храним в памяти малейшую подробность этого вечера, составившего новую эру нашего существования, потому что с нею началось наше тройное единение...»

И Модест продолжает все в том же, несколько экзальтированном стиле: «Самый мудрый и опытный педагог, самая любящая и нежная мать с тех пор не могла бы нам заменить Петю, потому что в нем, кроме того, был наш товарищ и друг. Все, что было на душе и в голове, мы могли поверять ему без тени сомнения, что это ему интересно: мы шутили и возились с ним, как с равным, а между тем трепетали, как перед строжайшим судьей и карателем. Влияние его на нас было безгранично, его слово — закон, а между тем никогда в жизни далее хмурого лица и какого-то бичующего взгляда проявление строгости его не заходило. С его стороны в отношении к нам не было ничего предвзятого, никакой тени сознательно, твердо исполняемого долга, потому что к сближению с нами его привлекало одно чувство, подсказавшее вернее разума все, что было нужно для установления полной власти над нашими сердцами; поэтому-то он и был совершенно свободен и непринужден в нашем обществе. Он просто любил его и без наставлений, без требований мог заставить нас только выраженным желанием делать то, что считал хорошим. И вот мы втроем составили как бы семью в семье. Для нас он был брат, мать, друг, наставник — все на свете. Мы со своей стороны сделались его любимой заботой в жизни, дали ей смысл».

Последнее заявление не преувеличение. 10 сентября 1862 года Чайковский писал сестре: «Привязанность моя к этим человечикам, в особенности (это по секрету) к первому [Анатолию. — А. П.], с каждым днем делается больше и больше. Я внутренне ужасно горжусь и дорожу

этим лучшим чувством моего сердца. В грустные минуты жизни мне только стоит вспомнить о них — и жизнь делается для меня дорога. Я по возможности стараюсь для них заменить своею любовью ласки и заботы матери, к[ото]рых они, к счастью, не могут знать и помнить, и, кажется, мне это удастся». И много позже, описывая свое семейство «лучшему другу» — Надежде Филаретовне фон Мекк — и охарактеризовав близнецов, говоря его собственными словами, «дифирамбически» («Без преувеличения можно сказать, что эти два молодые человека составляют по своим нравственным и умственным качествам очень приятное явление. Меня соединяет с ними одна из тех взаимных привязанностей, которая и между братьями встречается редко»), он возвращается мыслью к далекому времени: «Конечно, и я не был для них матерью. Но я с самой первой минуты их сиротства хотел быть для них тем, что бывает для детей мать, потому что по опыту знал, какой неизгладимый след оставляет в душе ребенка материнская нежность и материнская ласка. И с тех самых пор между мной и ими образовались такого рода отношения, что как я люблю их больше самого себя и готов для них на всякую жертву, так и они беспредельно мне преданы». Итак, по мнению самого Чайковского, специфически окрашенные эмоции — особенные нежность и ласка, предполагающие некоторую меру телесной близости и обычно соединяющие ребенка с матерью, в данном случае были направлены на него самого — юношу, уже почти мужчину.

Лето 1862 года Чайковский провел в Петербурге. «На службе надеюсь получить в скором времени место чиновника особых поручений при министерстве; жалованье двадцатью рублями больше и немного дела. Дай Бог, чтобы это устроилось», — сообщал он сестре еще в прошлом декабре.

«Он не только усердствовал на Малой Садовой, но приносил работу на дом и писал доклады по ночам». Чайковский даже поселился на какое-то время с одним из своих новых приятелей Владимиром Тевяшевым на Моховой, неподалеку от места службы. Лишь по праздникам он позволял себе роскошь — ездить на дачу.

К осени Николай и Ипполит по роду службы покинули Петербург, а Анатолий и Модест стали жить в училище и лишь на выходные могли приезжать к отцу. В письме Александре Петр Ильич рассказывает: «Мы теперь живем с Папашей одни и, представь себе, что сверх ожидания нисколько не скучаем. <...> Обедаю я всякий день дома; часто приходит... некоторый известный тебе господин, по имени Герард, но так как и я и Папаша его любим, как брата, то, конечно, это доставляет нам большое удовольствие. Вечером довольно часто бываем в театре (в русском) или

играем в карты». Навещают их и родственники, особенно по душе Чайковскому пришелся шестнадцатилетний Алексей Давыдов, младший брат мужа сестры, который «так сделался хорош в лицейском мундире, что редкая женщина пройдет мимо него, не влюбившись; он приезжает обыкновенно вместе с Толей и Модей, а спит подле меня; мы друг другу говорим стихи и вечно смеемся».

Однако ревностная служба ожидаемых результатов не принесла. Модест свидетельствует, что Петра Ильича «обошли» назначением и вакансия выпала на долю другого: «Обиде и досаде его не было пределов, и я не боюсь высказать предположения, что эта неудача могла способствовать резкому повороту его в сторону музыкальной карьеры». Чайковский поступил в только что открывшуюся консерваторию. Он еще колебался, что предпринять, и в письме Александре Ильиничне от 10 сентября 1862 года рассуждал: «Службу, конечно, я окончательно не брошу до тех пор, пока не буду окончательно уверен в том, что я артист, а не чиновник».

И даже если Модест Ильич несколько утрировал и преувеличивал (письма рисуют более сложную картину), в основных чертах он, вероятно, был прав, когда заявлял: «С осени 1862 года ни о любительских спектаклях, ни о светских знакомых нет и речи. Музыка поглощает все. Его дразнят длинными волосами, охают перед его решением. <...> Петя представляется мне совершенно новым. Нежность к папаше, домоседство, возрастающая небрежность туалета, усидчивость в труде, внимание к таким нуждам нашим с Анатолием, заботы о таких вещах, которые прежде были несовместимы с обликом блестящего повесы. Его нежные ласки, полное отсутствие разговоров о спектаклях и балах, все вместе и удивляет, и умиляет и радуется...»

Несмотря на занятость в консерватории, начинающий музыкант продолжал встречаться с Апухтиным и его окружением. Лето 1863 года он провел в имении Апухтина Павлодар. Не этой ли встречей было навеяно посвященное будущему композитору стихотворение Апухтина «Судьба. К пятой симфонии Бетховена», написанное в том же году? Посвящение это сохранилось лишь в дневнике Модеста Ильича. В существующих публикациях посвящения Чайковскому нет. В стихотворении этом отчетливо звучит мотив любовного свидания, вплетенного в настойчивый рефрен судьбы, рока. И если учитывать пристрастие обоих правоведов к однополый любви, то особый смысл обретается, в частности, в следующих строках:

Ну вот идет она, и вмиг

Любовь, тревога, ожиданье,  
Блаженство — все слилось у них  
В одно безумное лобзанье!

Несомненно, в начале 1860-х годов сообщает Модест Ильич в «Автобиографии»: «...самое большое значение для Пети имел Апухтин. И блеск его неистощимого остроумия, и артистичность натуры, и главное, общая с Петей половая ненормальность делали его самым близким человеком, давали этому высоко даровитому поэту, очаровательнейшему собеседнику и неисправимейшему снобу, преимущество над всеми друзьями моего брата. Как и всегда при тесной дружбе взаимное влияние Пети и Апухтина было очень велико. Между прочим, совершенно чуждый “снобизму” Петя в эту эпоху заразился им от Апухтина, придавал значение знатности своих знакомых и предпочтительно имел приятелей титулованных и принадлежащих элегантному кругу».

Однако знакомства, и прежде всего любовные связи Чайковского, имели и обратную сторону, став причиной скандального события, о котором мы узнаем все из той же «Автобиографии» Модеста Ильича: «Образовался тогда кружок золотой молодежи, в котором преобладали светские педерасты, но были и молодые люди, привлеченные просто остроумием и симпатичностью среды. Они избрали ресторан Шотана, где собирались поболтать и посмеяться по вечерам за общим столом и образовали там подобие клуба, в котором не происходило ничего предосудительного. В один прекрасный день по чьему-то доносу ресторан Шотана был закрыт как место сборища педерастов и все участники ужинов были обесславлены на весь город названием “бугров”. Начали ходить фантастические рассказы об оргиях, там происходивших: многие дома закрыли двери “шотановцам”; многие знакомые перестали им кланяться, и некоторые из опозоренных молодых людей принуждены были покинуть Петербург. В числе “шотановцев” были Петя и Апухтин и навсегда получили репутацию “бугров”. Думаю, что в отрезвлении Пети и резком переходе от привычек элегантного бездельника сначала к трудолюбивому чиновнику, а потом замарашке-музыканту — история Шотана имела немалое значение. Он здесь в первый раз столкнулся с жестокой несправедливостью людей, презирающих и негодующих на то, что должно было вызвать при разумном и ясном понимании, в крайнем случае — сожаление к непоправимому природному недостатку. Конечно, как ничто другое на свете Шотановский скандал не изменил наклонностей Пети, но

он стал осторожнее в своих любовных похождениях и, затаив обиду, стал избегать общества, где его репутация могла стать причиной уязвления самолюбия, а с этим вместе — искать интересов вне светских отношений. Затем, я думаю, что при сознании несправедливости осуждения того, что исправить вне человеческих сил, в то же время жестокое отношение общества к педерастии повлияло до некоторой степени на брезгливое отношение Пети к себе. Несмотря на внутренний протест, он не мог не подпасть влиянию общего отвращения к этому недостатку и, взглянув на себя глазами этих беспощадных и несправедливых судей, тоже беспощадно отнесся к своим увлечениям и дошел до того отчаяния, того недовольства собою, которое вызвало перерождение светского повесы в нежного сына и брата, плохого чиновника в хорошего музыканта». О подробностях и последствиях этой, казалось бы, удивительной метаморфозы поговорим в следующей главе.



## Глава пятая. Петербургская консерватория

Осенью 1861 года Чайковский неожиданно для всех начал заниматься в общедоступных музыкальных классах, открытых в левом флигеле Михайловского дворца. Наверное, неслучайно его интерес к музыке совпал с решающим моментом в русской музыкальной жизни. В 1859 году стараниями одного из выдающихся деятелей русского музыкального Олимпа того времени Антона Григорьевича Рубинштейна и под покровительством великой княгини Елены Павловны было образовано Русское музыкальное общество. Целью общества значилось «развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России и поддержка отечественных талантов». До этого музыку преподавали лишь в аристократических домах и частных школах. И как итог — отечественные русские музыканты были большой редкостью. Концерты классической музыки исполнялись зарубежными гостями, чаще всего немцами. Но к середине 1860-х годов Русское музыкальное общество уже познакомило широкую публику с лучшими произведениями европейской и российской музыки. Наиболее значительным достижением общества стали бесплатные музыкальные классы. Они были открыты для всех, и в них преподавали профессионалы. Желающие могли посещать курсы теории музыки, пения, хорового искусства, фортепиано, скрипки, виолончели. В дополнение к классам музыкального общества была образована бесплатная музыкальная школа хорового пения. Классы и школа быстро стали популярными, удивляя количеством и разнообразием тех, кто хотел учиться музыке, но не мог оплачивать частные уроки: среди них можно было увидеть чиновников, военных, купцов, лавочников и студентов, а также молодых женщин. Рубинштейн с удовлетворением отмечал, что «ученики и ученицы всех положений, средств и возрастов заполнили эти классы».

Надо отдать должное родителям Петра Ильича, они рано почувствовали потребность ребенка заниматься музыкой и, как мы помним, наняли ему учительницу еще в Воткинске, а затем уже в Петербурге Илья Петрович пригласил для пятнадцатилетнего сына опытного пианиста-педагога Рудольфа Кюндингера. Эти частные уроки длились три года, в течение которых правовед Чайковский каждое воскресенье исправно «проводил с ним час и быстро прогрессировал в игре на фортепиано». В 1858 году занятия пришлось прекратить, отец семейства оказался не в состоянии платить за уроки. На вопрос Ильи Петровича, стоит ли его сыну

посвятить себя музыкальной карьере, Кюндингер «отвечал отрицательно, во-первых, потому что не видел в Петре Ильиче гениальности, которая обнаружилась впоследствии, а во-вторых, потому, что испытал на себе, как было тяжело в то время положение “музыканта” в России». Несмотря на это Чайковский сохранил самые теплые воспоминания о немецком пианисте: Кюндингер был «первым, кто стал меня брать с собой на концерты, программа которых включала классические композиции. Мое предубеждение против [немецкой] классической музыки постепенно начало исчезать». «Этому выдающемуся артисту я обязан тем, что понял, что мое подлинное призвание — музыка; это он сблизил меня с классиками и открыл мне новые горизонты моего искусства», — писал он позднее парижскому издателю Феликсу Маккару. Не без участия Кюндингера Петр Ильич, до той поры поклонник итальянской музыки, познакомился и с творчеством Моцарта. «В один прекрасный день, — вспоминает Чайковский, — мне довелось, вопреки собственным намерениям, услышать “Дон Жуана”. <...> Для меня это явилось настоящим откровением. Невозможно описать то воодушевление, тот восторг, то состояние опьянения, которые охватили меня. Многие недели напролет я не мог делать ничего другого, кроме как разыгрывать вновь и вновь партитуру этой оперы. Даже во сне я не мог оторваться от этой божественной музыки, которая преследовала меня вплоть до счастливых снов. <...> Моя любовь к итальянской музыке сохраняется даже сегодня, хоть и в весьма ослабленной мере. Я бы мог сравнить эту любовь с дорогим воспоминанием юности. С Моцартом дело, конечно, обстоит совершенно иначе. В числе великих мастеров, он тот, к кому я испытываю наибольшее притяжение; таким он остался для меня с тех пор и таким он останется навсегда».

Что же касается страсти к итальянской опере, то она вспыхнула у Чайковского под влиянием другого знакомого, также времен Училища правоведения, итальянца Луиджи Пиччиоли. Случайное знакомство быстро переросло в искреннюю дружбу. Пиччиоли был известным в Петербурге преподавателем пения, позднее он преподавал на музыкальных бесплатных курсах, а затем стал консерваторским профессором. С семьей этого певца и вокального педагога Петр Ильич познакомился через тетку, сестру матери Екатерину Андреевну Ассиер, в замужестве Алексееву, увлекавшуюся пением. В жизнеописании брата Модест Ильич рисует довольно курьезный портрет этого персонажа: «Дружба с Петром Ильичом завязалась у него в середине пятидесятых годов. В это время ему было лет под пятьдесят. Петру же Ильичу едва перевалило за шестнадцать. Впрочем, насчет

возраста Пиччиоли никто ничего не мог знать, потому что он никогда не сознавался в своих годах. Несомненно, было одно, что он был с крашеными волосами и набеленный. Злые языки говорили, что ему чуть ли не семьдесят лет и что кроме косметиков он носил сзади головы манишку, стягивающую морщины с лица. <...> Как бы то ни было, по годам он годился в деды своему приятелю и, тем не менее, между ними завязалась дружба на совершенно равной ноге, потому что под обликом хотя и подкрашенного, но все же старца Пиччиоли имел пылкость и увлекательность юноши. Остроумный, подвижный, влюбленный в жизнь вообще и постоянно в какую-нибудь из своих учениц в частности, он питал отвращение и страх ко всему, что напоминало старость, страдание и смерть. Подходящим для него другом был именно наш жизнерадостный Петр Ильич того времени».

В течение девяти лет, с 1856 по 1865 год, Чайковский часто посещал семью Пиччиоли, занимался с ним музыкой, слушал его пение и изучал итальянский язык. Но главным достижением музыканта было то, что он привил своему юному другу и ученику любовь к итальянской опере. По прошествии времени Чайковский признается в «Автобиографии», что именно Пиччиоли «был первым, кого заинтересовало мое музыкальное дарование. Влияние, которое он на меня оказал, было огромным: даже до сих пор я еще не вышел целиком из-под его власти. Пиччиоли был закоренелым врагом немецкой музыки, которую он считал неуклюжей, бессодержательной и педантичной, в то время как к итальянской музыке он питал чрезмерную любовь. Соответственно, я стал вдохновенным почитателем Россини, Беллини, Доницетти и по душевной простоте полагал, что Моцарт и Бетховен могут лишь вгонять человека в сон и что нет более ничтожной материи, чем опера Моцарта или симфония Бетховена. Ну, в этом отношении я, конечно, претерпел основательные перемены; <...> но и по сей день я испытываю некое приятное настроение духа, когда звучат богатые красотою арии, каватины, дуэты Россини с их руладами, и не могу слушать без слез некоторые мелодии Беллини».

Не подлежит сомнению, что влияние Пиччиоли, как и Кюндингера, способствовало постепенному утверждению мушки как главного дела в жизни Чайковского. Поворот этот наметился в 1861 году и точкой отсчета можно считать его письмо сестре от 10 марта: «Я был у Пиччиоли. Оба они так милы, к[ак] прежде. Она велела тебе передать тысячу поклонов и сказала, что любит тебя по-старому. <...> За ужином говорили про мой музыкальный талант. Папаша уверяет, что мне еще не поздно сделаться артистом. Хорошо бы если так; — но дело в том, что если во мне есть

талант, то уже наверно его развивать уже невозможно. Из меня сделали чиновника — и то плохого; я стараюсь по возможности исправиться, заняться службою посерьезнее — и вдруг в то же время изучать генерал-бас (курс теории музыки. — А. П.)?»

Чайковский понимал, что по выходе из училища он был в музыкальном смысле заурядный дилетант, которых в петербургском обществе вращалось достаточно. «Я очень часто испытывал поползновение что-нибудь сочинить, но какое-то внутреннее чувство всегда удерживало меня от этого. То я хотел стать музыкантом, свободно владеющим всеми средствами своего искусства, то остаться дилетантом, ограниченным и невежественным. <...> Между тем иногда меня охватывало как бы предчувствие, что со временем я еще брошусь целиком в объятия музыки. Разумеется, когда я говорил об этом моим друзьям, они смеялись надо мной. <...> Я много выезжал в свет, танцевал, участвовал в любительских спектаклях — короче, совсем не заботился, чтобы мои музыкальные занятия выходили за рамки очередного исполнении любимого “Дон Жуана” или разучивания небольшой салонной пьесы. Однако, при этом, время от времени, я заставлял себя разучивать симфонию Бетховена. Странно! Эта музыка настраивала меня на грустный лад и на неделю превращала в несчастного человека. С той поры меня заполнило неистовое желание написать самому симфонию, каковое при каждом соприкосновении с музыкой Бетховена прорывалось снова, но я слишком сильно чувствовал тогда мое невежество, мое полное бессилие во владении композиторской техникой, и это чувство доводило меня до отчаяния. Я все более и более впадал в уныние, испытывал глубокую неудовлетворенность своей судьбой, моя должность в [Министерстве юстиции] наскучила мне, я был разочарован и глубоко несчастен».

Перелом происходил медленно — «сладкая жизнь» сопротивлялась, и те или иные пережитки ее сохранялись еще долго. Окончательному решению, возможно, помог случай. Чайковский вспоминает все в той же «Автобиографии»: «В 1861 году я познакомился с молодым лейтенантом гусарского гвардейского полка, большим почитателем истинной музыки, какое-то время даже посещавшим музыкально-теоретический курс, который [Николай] Заремба тогда преподавал для дилетантов. Этот офицер (Петр Платонович Мещерский, уже упоминавшийся нами ранее. — А. П.), с которым меня вскоре связала сердечная дружба, немало удивился, когда однажды я начал импровизировать на фортепиано на предложенную им тему. Чем ближе он меня узнавал, тем более его изначальное удивление перерастало во внутреннее убеждение, что я музыкант с головы до ног и

должен избрать музыку предметом серьезных и регулярных занятий. Он привел меня к Зарембе, который взял меня учеником...»

В октябре 1861 года в письме сестре будущий композитор мельком сообщает: «Я начал заниматься генерал-басом, и идет чрезвычайно успешно; кто знает, может быть, ты через года три будешь слушать мои оперы и петь мои арии», а в декабре он объясняет ей причины такого решения: «Я писал тебе, кажется, что начал заниматься теорией музыки и очень успешно; согласись, что с моим изрядным талантом (надеюсь, ты это не принимаешь за хвастовство) было бы неблагоразумно не попробовать счастья на этом поприще. Я боюсь только за бесхарактерность; пожалуй, лень возьмет свое, и я не выдержу; ежели напротив, то обещаюсь тебе сделаться чем-нибудь. Ты знаешь, что во мне есть силы и способности, — но я болен тою болезнью, к[ото]рая называется обломовщиною, и если не восторжествую над нею, то, конечно, легко могу погибнуть. К счастью, время еще не совсем ушло».

Решающую роль в выборе Чайковским своего призвания сыграл Антон Рубинштейн. Еще в ученические годы Петр Ильич был впечатлен личностью знаменитого пианиста, композитора и дирижера. Модест Ильич, вспоминая об этом времени, писал в биографии брата, что в доме князя Белосельского, что на Невском проспекте, рядом с Аничковым мостом, состоялся «благотворительный спектакль любителей. Петр Ильич и мы, двое близнецов, были в числе зрителей. Между последними был также Антон Григорьевич Рубинштейн во цвете своей своеобразной, если так можно выразиться, чудовищной красоты гениального человека, и тогда уже — на вершине артистической славы. Петр Ильич показал мне его в первый раз, и вот сорок лет спустя у меня живо в памяти то волнение, тот восторг, то благоговение, с которым будущий ученик взирал на своего учителя. На сцену он уже не смотрел, а, как влюбленный юноша, трепетно следил издали за недоступной ему красавицей — не отрывая глаз от своего “божества”, — в антрактах незаметно ходил за ним, старался расслышать его голос и завидовал счастливым, которые могли пожать ему руку. В сущности, это чувство (я бы сказал “влюбленности”, если бы оно не было основано на вполне сознательном отношении к артистическим и человеческим достоинствам Антона Рубинштейна) не покинуло Петра Ильича до гробовой доски». Как мы увидим, чувство это оказалось односторонним.

В музыкальных классах Чайковский выбрал теорию композиции: вначале он занимался не очень серьезно, но «как настоящий любитель». Это и понятно, музыкально одаренному ученику на первых ступенях

изучения гармонии многое было уже хорошо знакомо, оставалось лишь привести имеющийся опыт **И** систему. Рубинштейн, считая курс теории музыки основным, чисто заходил в класс и просматривал работы учащихся. Однажды он попросил Чайковского остаться после занятий и заявил, что у него имеется несомненный талант, но что он работает слишком небрежно, и посоветовал взяться за дело основательно или оставить его совсем, ибо даровитому человеку не подобает заниматься музыкой кое-как. Впечатленный до глубины души словами обожаемого музыканта, молодой человек решил поменять свое отношение к учебе и отныне с рвением приступил к занятиям.

Возникавшее убеждение его в своем будущем отразилось в эпизоде, рассказанном Модестом Ильичом: «В конце 1862 года, несколько месяцев после поступления в консерваторию, однажды он ехал на извозчике с братом Николаем Ильичом. Последний принадлежал к числу тех близких, которые осуждали задуманное решение бросить службу и поступить в консерваторию; поэтому воспользовавшись случаем, он начал отговаривать брата и, между прочим, высказал, что надежды на талант Глинки в нем нет и что, стало быть, он осужден на самое жалкое существование музыканта средней руки. Петр Ильич сначала ничего не ответил, и оба брата доехали молча до того места, где им нужно было разойтись, но когда через несколько минут он вышел из саней, то как-то особенно взглянул на Николая и проговорил: “С Глинкой мне, может быть, не сравняться, но увидишь, что ты будешь гордиться родством со мной”».

Восьмого сентября 1862 года открылась преобразованная из музыкальных классов Санкт-Петербургская консерватория — первое учебное заведение подобного рода в России. Рубинштейн возглавил ее, а Чайковский стал одним из первых студентов и, наряду с шестью другими учащимися, стипендиатом прославленного пианиста. С самого своего основания консерватория учредила такую образовательную программу, которая могла бы дать учащимся настоящую профессиональную подготовку. Каждый студент должен был изучать основные дисциплины, а также пройти курс, ориентированный на область его индивидуальной специализации. Чайковский снова предпочел теорию музыки и композиции, куда входили классы фортепиано, оркестрового инструмента и дирижирования. К осени 1863 года он успешно закончил классы гармонии и контрапункта Николая Зарембы и под руководством Рубинштейна приступил к изучению инструментовки. Кроме того, Петр Ильич дополнительно занимался по классу органной музыки с Генрихом Штилем, брал уроки флейты у Цезаря Чиарди и фортепиано — у Антона Герке.

Несмотря на занятость, он находил время и петь в хоре Императорского русского музыкального общества в группе басов, которая тогда исполняла как баритоновые, так и басовые партии.

Николай Иванович Заремба, музыкант немецкой школы, не был настоящим композитором. Писал он очень мало и почти не публиковал своих сочинений. За свою жизнь он создал лишь одну симфонию, квартет и ораторию — скромные достижения для консерваторского профессора. Герман Ларош, описывая Зарембу, подчеркивал одаренность его как лектора, умевшего привести в единую и стройную систему материал, но довольно беспомощного в практической части. Обучение у Зарембы не особенно привлекало и Чайковского.

Зато молодой человек оказался полностью во власти яркой артистической индивидуальности Антона Рубинштейна. Он вспоминал, что в те ранние годы обожал своего профессора «не только как великого пианиста, великого композитора, но также человека редкого благородства, откровенного, честного, великодушного, чуждого низким чувствам и пошлости, с умом ясным и с бесконечной добротой — словом, человека, парящего высоко над общим уровнем человечества. Как учитель, он был несравнен. Он принимался за дело без громких фраз и долгих разглагольствований — но всегда очень серьезно относясь к делу».

Основанное на импровизации и слегка небрежное преподавание Рубинштейна разительно отличалось от педантизма преподавательского стиля Зарембы. Рубинштейн был энергичным и требовательным, заставлял своих учеников заниматься делом и покровительствовал им. Если Заремба, стоя на кафедре, просто указывал на технические ошибки в ученической работе, то Рубинштейн расхаживал по аудитории с упражнением в руках, образно и ярко объясняя слушателю его задачу, требуя исправления ошибок и приводя в пример сочинения известных композиторов. Иногда он внезапно прекращал вдохновенную фортепианную импровизацию, комментируя форму или содержание произведения, о котором шла речь. Он неуклонно подталкивал учеников к преодолению, главным образом, их исполнительской робости, которая, как ему виделось, могла быть разрушительной, и пытался вывести их музыкальное воображение на свободу. Иногда он, начиная урок композиции, читал стихотворение, предлагая учащимся «набрасывать тут же музыку для одного или нескольких голосов, кто как чувствовал и понимал. Сочинять надо было в эскизах, и на следующий день работы должны были приноситься уже законченными и переписанными».

Внимательно следя за работой своих учеников, Рубинштейн не

скупился на похвалы. Студент Чайковский продолжил удивлять его. Так, например, однажды он счел необходимым прервать занятия у Зарембы и, пригласив собравшихся слушателей к себе в аудиторию, ознакомить их с сочиненным Чайковским музыкальным эскизом к поэтической балладе Жуковского «Ночной смотр». На этот текст ранее уже был написан романс самим Глинкой, но начинающий композитор представил собственную сложную его интерпретацию и аранжировку, не имеющую ничего общего с сочинением именитого предшественника. Этот эпизод свидетельствует о публичном признании маэстро консерваторских сочинений юноши. Отметим, что рубинштейновская методика сочетала практическое сочинительство с инструментовкой, в силу чего студенту приходилось много упражняться на разных музыкальных инструментах и тем самым приобретать необходимый опыт.

По воспоминаниям товарищей по учебе и самого Рубинштейна, трудолюбие Чайковского оказалось поразительным. Будучи самым добросовестным студентом, он смог быстро освоить весь необходимый объем знаний и мастерства и уже в сентябре 1863 года числился в списке преподавателей консерватории, где являлся «репетитором по теории». Именно в эти годы был заложен фундамент строгой музыкальной самодисциплины, столь характерной для его дальнейшей жизни и ставшей основой высокопрофессионального отношения к техническим аспектам музыкального ремесла.

Поступление в консерваторию породило, однако, конфликт между потребностью чувственных удовольствий, требовавшей продолжения «сладкой жизни», и необходимостью упорного труда, отнимавшего бездну времени и сил. Энергетическое «либидо» сублимировалось из мира плоти в сферу духа. Секс, или, скорее, сопряженное с ним поведение, с одной стороны, и музыкальное творчество — с другой, вступили в противоречие. В той или иной степени конфликт этот сохранялся на протяжении всей жизни композитора, временами даже усугубляясь. Но уже в этот ранний творческий период он делал попытки уклониться от светского общения, искал уединения, дабы сосредоточиться на своих музыкальных штудиях. Из воспоминаний Василия Бесселя известно, что, посещая курсы по теории музыки, Петр Ильич почти ни с кем не общался.

В течение этого периода он близко сошелся с Германом Ларошем, позднее ставшим известным музыкальным критиком. В то время Ларош выглядел как «мальчик, с лицом, напоминавшим мне... бюст Шиллера, с прямыми листовскими волосами и с такой худобой в лице... <...> что у него фаса не было, — один профиль», — вспоминал Клименко. Он же



отмечал, что Чайковский и Ларош «представляли изумительную 4-ручную парочку: они так знали друг друга и так угадывали один другого при исполнении музыки, что получался ансамбль восхитительный. <...> Мне не раз говорили другие, что Маня (уменьшительное от Герман. — А. П.) и Петя так прониклись друг другом, что свободно могут импровизировать в четыре руки; я этому не верил до тех пор, пока мне не случилось убедиться в этом лично: однажды... они при мне импровизировали в 4 руки увертюру в руссиниевском стиле; это было и удивительно, и уморительно в одно и то же время, так что я был и ошеломлен и хохотал до упаду». Но, как кажется, помимо музыки, Чайковский и Ларош не имели каких-либо иных общих интересов и постепенно прекратили интимные встречи, но на всю жизнь остались хорошими знакомыми, ценя интеллектуальное общение друг с другом. Даже в столь молодом возрасте Ларош поражал эрудицией в области музыки и способностью давать решительные оценки. Под его влиянием Чайковский осознал степень собственной неосведомленности и спешил заполнить бреши в музыкальных познаниях. В обществе Лароша он просиживал допоздна в консерваторской библиотеке, изучая произведения Шумана и Бетховена в переложениях для игры в четыре руки и современную русскую музыку, особенно Глинки. Вместе они ходили на вечерние концерты в зал городской думы, деньги на которые выделялись Русским музыкальным обществом, на репетиции и отчетные концерты студентов консерватории. Любопытно, что одним из главных пристрастий был в то время ныне совершенно забытый французский композитор Анри Литольф, чьи оркестровые увертюры «Робеспьер» и «Жирондисты» пробудили в Чайковском интерес к программной музыке.

Однако и при такой колоссальной нагрузке эротические устремления продолжали искать выход. Даже в консерваторском окружении он находил молодых людей приятной внешности и яркого характера и относился к ним с чувственно окрашенным вниманием. Одним из таких был, по-видимому, «мальчик шестнадцати лет» и весьма привлекательной наружности. По словам Лароша, они «с отверстыми объятиями» приняли его в свой кружок. «Это был полунемец, полуангличанин, сын переводчика в Адмиралтействе — Иосиф Леджер. Небольшого роста, тоненький, белокурый и бледный, с безумно-восторженными голубыми глазами, какие не редко бывают у англичан, он бросался в глаза своей несколько эксцентрической наружностью. В сравнении с большинством учеников это был образованный молодой человек с литературными наклонностями, свободно говорящий по-английски, по-немецки и по-французски и, хотя не без ошибок — по-русски». Дальнейшая судьба Леджера сложилась трагически:

поменяв много профессий, он уехал во Францию, где погиб под колесами экипажа в 1889 году.

В воспоминаниях о Чайковском Ларош, вряд ли случайно, подробно описывает короткую жизнь этого юноши и посвящает ему не меньше места, чем, например, Николаю Губерту, который, как известно, стал одним из наиболее близких друзей композитора. Это наводит на мысль, что между Леджером и Чайковским существовали довольно близкие отношения, по крайней мере в консерваторский период, несмотря на отсутствие его имени в опубликованной переписке. Любопытен, однако, контекст упоминания его в дневнике. В летних парижских записях 1886 года читаем 1 июня: «Леджер (Таинственная и загадочная личность)». Как мы увидим дальше, в дневниковом лексиконе Чайковского слова «таинственный» или «загадочный» так или иначе связаны с влечением к мужчинам. И еще, записи от 8 июня: «Леджер провожал меня до Colonne». Ничего более о взаимоотношениях этого человека с Чайковским нам неизвестно.

Одиннадцатого апреля 1863 года студент консерватории Чайковский подал прошение об увольнении из департамента Министерства юстиции «по домашним обстоятельствам». 1 мая он был отчислен из штата и отныне считался «причисленным к министерству», то есть пребывал как бы в резерве, без получения жалованья. Время для этого было выбрано неудачно. Той же весной Илья Петрович оставил место директора Технологического института и вышел на пенсию. Материальное положение семьи Чайковских оказалось весьма стесненным. Будущему композитору пришлось давать уроки музыки и аккомпанировать певцам, пытаясь хоть сколько-нибудь заработать.

Позднее Чайковский вспоминал: «Не могу не умилиться при воспоминании о том, как мой отец отнесся к моему бегству из Министерства юстиции в консерваторию. <...> Хотя отцу было больно, что я не исполнил тех надежд, которые он возлагал на мою служебную карьеру; хотя он не мог не огорчиться, видя, что я добровольно бедствую ради того, чтобы сделаться музыкантом, — но никогда, ни единым словом он не дал мне почувствовать, что недоволен мной; он только с теплым участием осведомлялся о моих намерениях и планах и ободрял меня всячески. Много, много я обязан ему. Каково бы мне было, если б судьба дала мне в отцы тиранического самодура?..»

В это же время Елизавета Шоберт приобрела пансион и разъехалась с Чайковскими. Именно тогда в их семье появилась Елизавета Михайловна Александрова (урожденная Липпорт) в качестве домохозяйки и фактической жены Ильи Петровича. Дети сначала отнеслись к ней

неприятно, а потом полюбили, оценив со временем ее такт и доброту. Через два года Илья Петрович с ней обвенчался.

Вспоминая это время в интервью корреспонденту еженедельника «Петербургская жизнь» в 1892 году, Чайковский признался, что после «Дон Жуана» Моцарта и «Жизни за царя» Глинки он более всего продолжает любить оперу Серова «Юдифь»: «Мне кажется, что испытанные в годы юности художественные восторги оставляют след на всю жизнь и имеют огромное значение при сравнительной оценке нами произведений искусства, даже в старческие годы... <...> Опера была впервые дана в мае 1863 года, в чудный весенний вечер. И вот наслаждение, доставляемое мне музыкой “Юдифи”, всегда сливается с каким-то неопределенным весенним ощущением тепла, света, возрождения!»

В следующем, 1864 году начинающий композитор провел целое лето в гостях у князя Голицына. Модест Ильич дает понять, что перемена, произошедшая с братом, привела к охлаждению отношений со стороны некоторых его друзей. Голицын, однако, по его словам, «...не только не отвернулся от бедного учителя музыки и консерваториста, но напротив, отнесся к нему с большим сочувствием, чем прежде, помогал найти уроки, часто звал к себе на роскошные обеды и ужины и, наконец, уговорил провести вместе с ним лето в его великолепном поместье, в Тростинце, Харьковской губернии. <...> Пребывание это оставило в Петре Ильиче воспоминание чего-то сказочного. Никогда до этого он не был окружен такой роскошью и великолепием. Свобода ему была предоставлена полная; местоположение оказалось чудное, прогулки разнообразные, одна другой лучше. По утрам и днем он проводил время за работой и в одиноких экскурсиях, и только часы обеда и по вечерам сидел в обществе князя и его гостей. Чтобы дать понятие о том, с каким вниманием относился к своему гостю хозяин, достаточно упомянуть о том празднестве, которое он устроил 29 июня в честь Петра Ильича. Днем, после обедни был торжественный завтрак, а вечером имениннику перед ужином, когда все стемнело, было предложено сделать прогулку в экипаже. <...> Коляска направилась в лес, где вся дорога была обставлена пылавшими смоляными бочками, а в павильоне среди чащи был устроен праздник для народа и роскошный ужин в честь виновника торжества».

Именно у Голицына композитор впервые встретится с Николаем Дмитриевичем Кондратьевым, выпускником Училища правоведения и поклонником мужской красоты. Позднее их отношения перерастут в долгую и непростую дружбу. Модест Ильич тем не менее вспоминал в «Автобиографии», что у брата его «к прежним друзьям-“шотановцам”

замечалось, к моему огорчению, все возрастающее отчуждение. Он отзывался с презрением о их пустоте, мало-помалу отходя от общения с ними и только “поддерживая” сношения с теми, которых ценил за качество, постороннее их интересам. Это отчуждение от собратьев по несчастью особенно ярко сказалось в течение лета 1864 года, когда Петя жил у князя в Тростинце. Среди роскошной обстановки, балуемый и хозяином и гостями, он только тяготился обществом педерастов, которыми [был] окружен, и устраивает свою жизнь так, чтобы по возможности меньше видеть их».

В Тростинце Чайковский написал оперную увертюру к драме Островского «Гроза» — это его первый опыт в области инструментальной программной музыки. Сочинение было далеко от совершенства, но интересно благодаря использованию народной песни, которая в будущем предопределила формирование его мелодического стиля. Позже он вспоминал: «Рубинштейн только один раз рассердился на меня: я ему принес после летних каникул увертюру под названием “Гроза”, в которой наделал глупостей по части формы и инструментовки. Он был огорчен и объявил, что дает себе труд преподавать искусство композиции вовсе не для того, чтобы создавать глупцов». По мнению Лароша, «Гроза» — «музей антимузыкальных курьезов». Таким образом, несмотря на, казалось бы, благоприятные условия для творчества, молодой композитор пока еще не справлялся с им самим поставленными задачами.

Рубинштейн поручил Чайковскому вести занятия в классе гармонии, дав ему таким образом возможность немного заработать. В следующем году он предложил ему перевести с французского работу Франсуа Огюста Геварта «Руководство к инструментовке». Этот труд в переводе Петра Ильича был издан в России в 1866 году.

Переводом Чайковский занимался главным образом летом, которое впервые проводил в имении Давыдовых в Каменке, недалеко от Киева. В дальнейшем Каменка станет его летним убежищем на долгие годы. Это живописное местечко, населенное в основном украинцами и евреями, имело даже предмет собственной гордости — сахарный завод. В истории России она обрела известность благодаря частым посещениям декабристов; однажды здесь побывал и Пушкин. Как уже говорилось, владельцами поместья тогда являлись сыновья декабриста Василия Львовича Давыдова — Петр и Николай, которым тот успел его завещать перед смертью в 1855 году. Петр жил в Москве, а Николай тихо обитал в Каменке вместе с семейством брата Льва, передав последнему, как экономически более подкованному, бразды правления хозяйством, состоявшим из восьми так

называемых экономий. Если с Львом, как супругом сестры Саши, Петр Ильич приятельствовал, то с его старшими братьями никаких личностных отношений не возникло, он тяготился их обществом и встречался с ними только из приличия.

Впечатления от первого лета, проведенного в Каменке, оказались чрезвычайно благоприятны. «Никогда я не проводил еще такого приятного лета; в праздности упрекнуть себя не могу, а между тем, как много милых воспоминаний», — писал он сестре из Киева, возвращаясь в Петербург с близнецами, тоже гостившими у Давыдовых, и девятнадцатилетним Алексеем, младшим братом ее мужа.

В деликатном вопросе отношений Чайковского с Анатолием и Модестом, впрочем, как и всей его внутренней жизни, главным источником информации остается переписка композитора. При скрупулезном сравнении всех ее изданий можно легко обнаружить, что купюры, сделанные родственниками и редакторами, связаны главным образом с интимными переживаниями корреспондентов.

В тогдашнем русском обществе возможность перлюстрации привела к появлению различных языковых условностей по отношению к таким темам, как политика и секс. История цензуры, уходящая в глубь времен, заставила русских научиться говорить и писать метафорическим, эзоповым языком или зашифровывать слова, когда обсуждались предметы, осуждаемые общественностью или властью. Особые слова и фразы обретали дополнительный двоякий смысл, без особого труда улавливаемый единомышленниками. Как пример приведем казус с безобидным словом «стихийный». Вероятно, не без оснований власти решили, что в сознании многих оно ассоциируется с идеей революции, и в конце концов запретили его употребление. Результатом стало некое двоемыслие, хорошо известное гражданам Советского Союза. Оно проникло в самые потаенные уголки сознания и даже подсознания, сделавшись привычкой и рефлексом, и привело к постоянной, хотя не всегда отчетливо сознаваемой самоцензуре. Подобным образом кодированный язык оказывался единственно доступным способом говорить о предметах или намерениях, обычно полагаемых скандальными или шокирующими. К последним принадлежали, по сути, все аспекты сексуальности. Между официальными запретами и сексуальной вседозволенностью, фактически существовавшей во всех слоях общества, зияла пропасть.

Столетия назад, как, впрочем, и сегодня, русский язык страдал отсутствием приемлемой лексики для обозначения понятий, связанных с сексом; последние обсуждались в печати исключительно в юридических

или медицинских терминах. Даже механика человеческой сексуальности часто искажалась или понималась неверно. История знает один грустно-курьезный официальный документ — резолюцию Николая I по поводу случая с молодой дворянкой, которая тайно вышла замуж без родительского благословения. «Брак, — постановил царь, — аннулировать, дочь вернуть отцу и считать девицей».

Многие современники Чайковского, гораздо лучше образованные в таких вопросах, нежели государь, предпочитали прибегать к парафразам, эвфемизмам или уклончивым выражениям в беседах или письменном общении на табуированные темы. Петр Ильич не являлся исключением. Сказанное делает особенно примечательной откровенность Чайковского в переписке с близнецами. Ознакомление *de visu* с оригиналами писем не оставляет сомнения, что почти всегда он излагал мысли свои и переживания, связанные с любовно-сексуальной сферой, прямым текстом, не стесняясь в выражениях, хотя — казалось бы, должен был бы опасаться, что со временем эта интимная переписка может стать достоянием общественности. Лишь иногда, главным образом во время пребывания за границей, учитывая возможность почтовой перлюстрации, он прибегал к намекам и аллюзиям, понятным только его корреспондентам.

Если исключить вероятность вовлечения братьев в однополый инцест, то и тогда остается достаточно оснований предположить наличие сильной эротической напряженности между ними. Ранее мы уже говорили о некоем «родственно-эротическом» комплексе, свойственном эмоциональной жизни семьи Чайковских и исходившем, по всей вероятности, в первую очередь от чувственно-сентиментального характера отца — Ильи Петровича. Комплекс этот сохранился у композитора на всю жизнь, причем очевидно, что специфические проявления его нельзя осмыслить или описать лишь в терминах сугубо родственной любви. В переписке братьев эрос как таковой часто проступает за патетическими излияниями, притом что в какие-то моменты грань между ним и братской или семейной привязанностью оказывается почти неразличимой.

Осенью 1863 года, когда Петру пришлось жить с отцом на Загородном проспекте, произошло наибольшее сближение его с младшими братьями, как раз вступившими в период полового созревания. Модест Ильич вспоминал: «К прежней вере в непогрешимость и вере Пете вошло чувство до такой степени охватившее все помыслы и все пожелания, что вне воли нашего друга и покровителя все представлялось недостойным внимания. Вполне счастлив я мог быть тогда, когда он был со мной. В его отсутствие во всем хорошем, что я мог делать — угождал ему во всем дурном —

больше всего мучился мыслью заслужить его упрек. Высшим несчастьем казалась утрата его любви, его холодный взгляд — высшим наказанием. В его отношениях к нам не было никакой предвзятой системы: педагог он был никуда не годный уж по одному тому, что нервный и впечатлительный, судя по настроению, бывал очень несправедлив. Дулся не за дело, ласкал тоже не за дело. Но он любил серьезно, с глубоким чувством нежности он интересовался нами, вызывал полную откровенность, сам в пределах возможного в сношениях взрослого с детьми был откровенен. Во всем без слов всегда давал чувствовать, что желает нам только добра — и все это ставило его выше совершенных педагогов на свете, обращало в ничто все ошибки, все несправедливости и отдавало наши души и умы всецело в его руки».

В период пребывания близнецов в Училище правоведения и в течение нескольких лет по его окончании отношения Чайковского с каждым из них развивались по-разному. Как явствует из письма сестре от 10 сентября 1862 года, будущий композитор в то время откровенно предпочитал Анатолия. Подтверждает это и сам Модест в «Автобиографии»: «До этого сближения всегда считалось, что из нас близнецов он больше любит меня. После — несомненно, он больше любил Анатолия, и это предпочтение было единственным пятном самого светлого периода моей жизни. Я не столько завидовал Анатолию, сколько огорчался, жалел себя, считал неоправданным по достоинству и возвращался к давно знакомому любованию своим исключительным положением “белого скворца” среди черных. Предпочтение Анатолия сводилось к тому, что Петя чаще и более ласкал его, охотнее гулял с ним, и когда не было места троим, брал его, а не меня. Но зато когда он в сотый раз садился играть «Дон Жуана», если меня тут не было, кричал: “Модя! На место!» И я был безмерно горд и счастлив, что в поверенные в его восторги перед Моцартом слушатели избирался я, а не Анатолий».

Отношения же начинающего музыканта с его будущим биографом, тогда очень юным, отличались напряженностью и противоречивостью. Во всяком случае, письма рисуют картину, весьма отличную от единения душ, которое станет характерным для них в зрелый период жизни, когда «Модя» окажется самым интимным и незаменимым конфиденнтом мировой знаменитости. Нет сомнения, что Модест стремился во всем подражать старшему брату. В письме самому Модесту от 12 марта 1875 года, написанному не без раздражения и даже с известной жестокостью, читаем: «Меня бесит в тебе, что ты не свободен ни от одного из моих недостатков — это правда. Я бы желал найти в тебе отсутствие хотя бы одной дурной

черты моей индивидуальности, — и никак не могу Ты слишком на меня похож, и когда я злюсь на тебя, то, в сущности, злюсь на себя, ибо ты вечно играешь роль зеркала, в котором я вижу отражение всех моих слабостей. Ты можешь таким образом вывести заключение, что если я питаю антипатию к тебе, то, следовательно, таковую питаю и к себе. Ergo [следовательно. — *лат.*], ты дурак, в чем никто и никогда не сомневался». Сходство это позднее также бросалось в глаза и некоторым мемуаристам. «Модест Ильич был как бы двойником Петра Ильича — до такой степени решительно во всем был похож на своего старшего брата, — отмечал в своих воспоминаниях актер Юрий Юрьев. — Я убежден, что они мыслили, ощущали и воспринимали жизнь совершенно одинаково. Даже голосом, манерой говорить они были схожи».

В письме к фон Мекк от 23 ноября 1877 года композитор дает брату следующую характеристику: «Модест (натура необыкновенно богато одаренная, но без определенной склонности к какой-либо одной сфере деятельности) служил не особенно блестяще. Он больше интересовался книгами, картинами, музыкой, чем своими докладами». Естественно, что описывая брата «лучшему другу», он стремился представить его с самой выгодной стороны, но даже в этих словах ощущается недоговоренность.

На самом деле он оценивал способности брата пессимистичнее, чем это выражено в приведенной цитате. «Мне кажется, что это будет какая-то неудавшаяся личность, хотя и не лишенная интереса», — писал он своему зятю Льву Васильевичу Давыдову. Учился Модест не так успешно, как его брат. Окончил он училище на год позже, чем Анатолий, так как еще в 1865 году его оставили на второй год в пятом классе «главным образом оттого, что ему будет трудно по молодости лет и при наклонности его к головным болезням быть в четвертом классе».

1 февраля 1869 года Чайковский высказался по поводу его возможностей совершенно недвусмысленно: «Ты имел несчастье родиться с душою художника, и тебя постоянно будет тянуть в этот мир высочайших духовных ценностей, но так как вместе с чуткостью артистической натуры ты не одарен никакими талантами, то берегись, ради бога, поддаваться своим влечениям». После этой горькой пилюли последующие строки могли восприниматься молодым адресатом лишь как стремление подсластить ее вкупе с нравоучительной нотацией: «Помни, что, с другой стороны, ты имеешь все нужные способности, чтобы быть заметным человеком и на том поприще, к которому тебя готовит училище, а потому умоляю тебя, Модинька, учись хорошенько и привыкай к мысли, что ты должен служить и добиваться на службе карьеры. Если ты, решившись быть



разочарованным и меланхолическим юношей, перестанешь учиться или не будешь серьезно относиться к твоим будущим служебным обязанностям, то сделаешь себя, а потому и всех нас, несчастными».

Кроме того, будущий композитор нелицеприятно высказывался даже о внешности Модеста, и неясно — делал он это сознательно или же не думая о боли, которую подобное замечание должно было вызвать у юноши, уже начавшего осознавать свою гомосексуальность: «Карточка твоя заставила меня с грустью подумать, что ты в действительности далеко не так обаятельно хорош, как на портрете».

Наконец, немалое удивление вызывает откровенный пассаж из письма тому же адресату начала или середины февраля 1866 года, вероятно, лишь по недоразумению сохраненный в советском издании 1940 года: «О том, что Толя к тебе пристаёт, чтобы ты не занимался онанизмом, то в этом я его поощряю. Только постоянным надзором и даже именно приставанием можно тебя отучить от этого постыдства. Я даже Толстому (правовед, одноклассник Модеста. — А. П.) хотел писать, чтоб он следил за тобой и стыдил тебя в случае, если попадешься. На онанизм вообще следует смотреть как на отвратительную привычку, вкореняющуюся очень глубоко, и поэтому-то лучше оскорблять иногда твоё самолюбие и делать маленькие неприятности, чем допустить до гибели. Ты знаешь, что Анатолий если иногда и действительно надоедает тебе своим гувернёрством, то ведь, в сущности, он это делает по любви и желанию всяческого добра. Точно так же и ты наблюдай за его несносным гримасничаньем и доводи его до бешенства, лишь бы он отучился».

Этот необычный текст наводит на противоречивые размышления. С одной стороны, поразительна свобода, с которой братья Чайковские общались на темы, в тогдашнем благопристойном обществе полагаемые более или менее запретными, подлежащими скорее исповеди, чем эпистолярному наговню. Всем известно, что проблема мастурбации принадлежит к числу весьма болезненных переживаний подросткового возраста. Но в данном случае не вызывает сомнений, что Модест сам обратился к брату, запросил его мнения и защиты от приставаний близнеца (цитированное рассуждение идёт под рубрикой: «Ответы на твои вопросы следующие»). Итак, один из братьев, Анатолий, как видно, этой привычкой не страдал (что само по себе факт нетривиальный). Более того, одобряется его слежка за другим братом как нечто похвальное и само собой разумеющееся. Наконец, предполагается возможность вовлечения в этот контроль третьего лица (одноклассника). Приходится признать, что ситуация эта, по общепринятым стандартам, ненормальна. С другой

стороны, суждение Чайковского о самом пороке весьма сурово: «постыдство», «отвратительная привычка», «погибель». И однако, он вполне спокойно приравнивает ее к «гримасничанью» Анатолия — то есть осуждаемый Церковью сексуальный грех к дурным манерам в обществе. И вообще тон всего пассажа на удивление отстраненный, он вставлен между словами утешения и несколько искусственным афишированием своего якобы любовного увлечения племянницей Тарновских Елизаветой. Как бы то ни было, следует признать очевидную странность коллизии, связывавшей трех братьев на очень глубоком уровне. В какой мере сознательное здесь пропорционально бессознательному, установить нельзя, но описанная нетривиальность ощущается вполне зримо.

Подчеркнем, что письмо это было написано в период, когда Чайковский наверняка уже был в курсе того, что братец Модест «слишком на него похож» и в любовных предпочтениях. Не совсем ясно, в какой степени собственное его поведение могло способствовать подобному развитию сексуальности Модеста. В любом случае, чувства его на этот счет, поскольку они имели место, могли проявляться неоднозначно. Так, например, в «Автобиографии» Модест отмечает: «Подозвав меня, он заставлял говорить: “Пита, Пита — питатура, Пито, Пито... Пите... Питу... Петруша!” — и после этого позволял поцеловать себя, и ничто не казалось столь остроумным и милым». Наконец, когда близнецам уже исполнилось 17 лет, старший брат признался им в своих сексуальных предпочтениях, о которых они давно уже знали по слухам. «Летом 1867 года [на отдыхе] в Гапсале, — пишет Модест далее, — в наших отношениях произошла существенная перемена: из детей мы с Анатолием обратились в товарищей Пети. Здесь впервые он заговорил с нами о своей половой ненормальности, и я стал наперсником во всех его любовных похождениях. Вспоминать былое он всегда любил при нас и теперь, когда стало возможным говорить не только о детстве и об училище, но и о том, что он перечувствовал, я, как более сходный с ним морально, стал ему ближе, чем Анатолий. <...> Тем не менее любил он Анатолия». (Последний, насколько известно, вырос полноценным гетеросексуалом.)

Особый интерес представляет фрагмент из письма Петра Ильича Модесту от 13 января 1870 года, связанный с уже цитированной диатрибой по поводу онанизма: «Если есть малейшая возможность, старайся быть не бугром. Это весьма грустно. В твои лета еще можно заставить себя полюбить прекрасный пол; попробуй хоть один раз, может быть удастся».

На первый взгляд текст этот свидетельствует о намерениях автора письма охранить младшего брата от гомосексуальных искушений, намекая

на тяжкие психологические последствия оных. На деле же все обстояло далеко не столь определенно. Чайковский иногда не выдерживал и собственными двусмысленными действиями, пусть и в шутливой форме, только подогревал его интерес. Вот характерный образчик из его письма Модесту осенью 1865 года: «Обед в субботу 16 октября по церемонially назначен у королевы Нидерландской Екатерины Андреевны (Алексеевой. — А. П.). Кавалерам быть в полном парадном мундире, дамам в русском платье. При великой княжне Модестине дежурной фрейлиной назначается княжна Ленина. Быть никак не позже 11/2, ибо тетя Катя не любит ждать. Петр IV-й». Мы еще столкнемся со склонностью композитора к игре с мужскими и женскими именами. Вероятно, он испытывал в этот период незначительные затруднения в сфере, именуемой современной наукой гендерной идентификацией, — которые в более острой форме могут привести к трансвестизму. В его случае такого рода игра неизменно служит показателем гомосексуального поведения или переживаний. Фигурировавший в цитате Николай Ленин (советские издатели «Писем к родным» настолько оскорбились тождественностью фамилий, что переделали Ленина в Лепина, дабы не бросить тени сомнения на моральный облик вождя мирового пролетариата, и только в Полном собрании сочинений была восстановлена правильная транскрипция) учился в одном классе с Модестом и, как следует из контекста, обладал аналогичными вкусами.

Модест с шестнадцати лет начал активно практиковать однополые отношения — сперва в училище с товарищами, а затем и за его стенами. Письма его этого времени брату пестрят рассказами о сексуальных приключениях, причем в том же самом окружении князя Голицына и Апухтина, в котором вращался и сам Чайковский до отъезда в Москву.

Петр 10 сентября 1869 года писал Анатолию: «С Модестом виделся там [в Петербурге] каждый день. Я перед тем получил от него глупейшее письмо с требованием объяснений моей холодности; никакой холодности не было, просто мне в Москве противно было убедиться, что он такой же, как я». В следующих письмах он называет Модеста уже ласково «бугренком». В декабре знакомит его с известным гомосексуалом Петром Оконешниковым, но уже месяц спустя спохватывается и пишет: «Я очень боюсь, чтоб Оконешников не компрометировал тебя частыми посещениями училища, он очень добрый малый, но бывать с ним часто вместе не годится». Во всем этом прослеживаются не столько соображения нравственности, сколько характерная для него в тот период боязнь общественного мнения. Уже одно общение с человеком соответствующей

репутации может, как ему казалось, привести к компрометации, даже если человек этот «очень добрый малый».

Трудно сказать, была ли гомосексуальность Модеста хотя бы отчасти вызвана сознательным или подсознательным стремлением подражать старшему брату. Принимая во внимание свойственное ему обожание «Петеньки», полностью этого исключить нельзя. Такое впечатление может, впрочем, оказаться обманчивым, ибо у самого Чайковского долго сохранялось двойственное отношение к собственной ориентации. Как мы увидим ниже, с одной стороны, гомосексуальность не вызывала у него ни самоистязаний, ни нравственного осуждения и, за исключением редких минут особенной ипохондрии, мыслилась им в первую очередь как источник удовольствия.

С другой стороны, он не мог не реагировать на взгляды окружающих, порождавшие в нем беспокойство, а иногда — психологическую муку: к ним, несмотря на частые заявления об обратном, он всегда оставался очень чувствителен; Амбивалентная эротическая игра стала источником как забавы, так и опасений. Как мы видели, он мог впасть в искушение пофлиртовать, балуясь с братьями или их друзьями, извиняя себя тем, что удовольствие, которое испытывают они и он сам, безвредно. Ибо однополый эрос есть свойство молодости и не препятствует возникновению в более позднем возрасте влечения к женщинам — мнение, которого он придерживался вплоть до женитьбы.

В том, что именно этот эрос, в более или менее сублимированной форме, был в те годы присущ взаимоотношениям братьев Чайковских, нельзя усомниться, читая, например, в письме Модесту от 1 февраля 1869 года: «Скоро пришлю весьма крупную сумму денег для Толи, которого поручаю тебе расцеловать. (А рад этому случаю понежничать с братцем?)». При желании здесь можно вычитать едва ли не провокацию. Или в письме Модесту от 3 апреля 1869-го: «Как бы я тебя за это с аппетитом поцеловал!»

В плане эмоциональной напряженности бросается в глаза неравноправность на этом этапе старшего и младшего брата — будущего конфиденета. Позиция Модеста однозначна: безоговорочное обожание. Сам Чайковский этим пользуется не без злорадного кокетства. «Твой обожаемый тобою» — так подписывает, например, он письмо от 3 марта 1870 года. Более того, в их отношениях присутствует и садомазохистский элемент: иначе трудно объяснить адресованные Модесту эпистолярные пассажи о его бесталанности, некрасивости, онанизме. Очевидно, что к этому брату композитор вначале имел немало претензий, видя в нем

собственное кривое изображение. Но многочисленные излияния нежных чувств убеждают в искренности и силе их взаимной любви, с течением лет обретшей непоколебимую твердость.

Если Модест Чайковский при всех своих проблемах все же отличался известными дарованиями и не остался незамеченным современниками (он написал несколько пьес и рассказов, перевел «Сонеты» Шекспира, из-под его пера вышла монументальная биография его брата, прозаический слог которой весьма изыскан), то второй близнец, Анатолий, был, по-видимому, человеком во всех отношениях обыкновенным. Основными достоинствами его представляются доброта, порядочность и преданность старшему брату, почти столь же безграничная, как у Модеста. Думается, однако, что именно в силу непохожести на себя самого Петр Ильич долгое время откровенно предпочитал Анатолия. Племянник композитора Юрий Давыдов вспоминает: «Второй брат-близнец, Анатолий Ильич, обладал очень нервным, экспансивным характером. Эти черты в соединении с мнительностью значительно осложняли ему жизнь. <...> Брата Петра он любил до самозабвения и, как и Модест Ильич, готов был ради него на любые жертвы. Отвечая ему взаимностью, Петр Ильич любил его, пожалуй, больше всех братьев».

Письма Чайковского этого времени Анатолию создают впечатление эротического накала со стороны композитора, который гораздо менее ощущается в переписке с Модестом. Кроме того, изъявления нежности и любви в них заметно преобладают над поучениями: «Ты, кажется, знаешь, что я тебя люблю более кого-либо (это включает и Модеста? — А. П.), и если я прежде мог проводить два лета сряду без тебя, то, во-первых, я всегда по тебе скучал, а во-вторых, мы тогда круглый год жили более или менее вместе. Итак... если ты останешься в Петербурге, то и я проведу его [лето] там же» (3 мая 1866); «Вот и еще одного греющего аппарата! — (надо полагать, двусмысленность этого выражения не отметилась у него даже в подсознании. — А. П.) лишился надолго, и это лишение весьма для меня чувствительно. Я говорю о Тольке» (А. И. Давыдовой, 7 июня 1866); «Целую тебя крепко, крепко во всякие места!» (8 ноября 1866); «Голубушка моя!» (1 декабря 1866) — довольно странное обращение в женском роде к шестнадцатилетнему юноше! А в одном из ответных писем старшему брату Анатолий приписывает в конце: «Целую твои ручки, попку и всего-всего» (5 февраля 1866).

Уровень экстаза и патетики в переписке Петра Ильича с этим братом поистине поразителен; его нельзя объяснить даже присущей композитору склонностью к приподнято-эмоциональной лексике. Сопоставимыми

оказываются лишь его обращения к Бобу Давыдову, адресату Шестой симфонии, который, как известно, был наисильнейшей страстью в его жизни. Интересно при этом, что Петр Ильич не строил иллюзий по поводу тех или иных талантов своего любимца. Тем не менее в характеристике, данной ему в письме «лучшему другу» — Н. Ф. фон Мекк 5 марта 1878 года, — чувствуется особенное пристрастие; в таких словах он не высказывается о Модесте даже в разгар их близости: «Анатолий очень общителен, очень любит общество и имеет в нем большой успех. Он любит искусство как дилетант; оно не составляет для него необходимого элемента в жизни. Он усердно служит и самым добросовестным и честным образом добивается самостоятельного положения на служебном поприще. Он не обладает поразительным красноречием, ни вообще какую-либо блестящею способностью. Всего этого у него в меру. В нем есть какое-то пленительное равновесие способностей и качеств, вследствие которого обществом его дорожат одинаково и серьезные умы, и ученые люди, и артисты, и умные женщины, и просто пустые светские дамы. Я не знаю ни одного человека, который, подобно ему, пользовался бы такой искренней общей любовью всех сословий, положений, характеров. Он очень нервен, очень чувствителен и, как я уже сказал выше, добр до бесконечности».

Еще в период пребывания близнецов в Училище правоведения Чайковский готовил Анатолия к добротной, но не выдающейся карьере. «Касательно преследующей тебя мысли о ничтожности и бесполезности советую тебе эти глупейшие фантазии отбросить, — писал он ему 6 февраля 1866 года. — Это чрезвычайно несовременно; в наше время такие соболезнования о своей персоне были в моде, это было общее веяние, свидетельствовавшее только о том, что наше воспитание делалось крайне небрежно. Юношам в 16 лет не годится тратить время на обдумывание своей будущей деятельности. Ты должен только стараться, чтобы настоящее было привлекательно и таково, чтобы ты собою (т. е. 16-летним Толей) был доволен. А для того нужно...» — и далее идет список наставлений, заканчивающийся: «Но главное, главное — много не воображать про себя и готовить себя к участи обыкновенного смертного». Такое полное взаимное доверие существовало между ними всю жизнь.

Чайковский был доволен работой, проделанной им в Каменке летом 1865 года. Помимо перевода трактата Геварта он сочинил концертную увертюру и записал темы украинских народных песен. Однако путешествие назад в Петербург оказалось довольно неприятным, даже опасным. В какой-то момент их лошади вдруг понесли к крутому речному обрыву, а потом чудом развернулись, буквально в последнюю минуту,

выскочив на мост. Кроме того, двигавшийся впереди кортеж великого князя Николая Николаевича поглощал на своем пути все съестные припасы. Модест вспоминал, что около двух суток они провели только на хлебе и воде.

Петербург встретил их дождем и грозами. Неудобства путешествия и мрачная погода были, однако, вскоре забыты. Чайковский узнал, что за день до их приезда, 30 августа, в Павловске под управлением знаменитого композитора Иоганна Штрауса впервые были исполнены его «Характерные танцы» для симфонического оркестра, позднее включенные в оперу «Воевода» как «Танцы сенных девушек». Это было первое публичное исполнение произведения Чайковского. Ноты попали к Штраусу скорее всего через его друга, владельца музыкального магазина в «Пассаже» Августа Лейброка, дочь которого была сокурсницей Чайковского по консерватории. В начале 1860-х годов Лейброк издал его итальянский романс «Mezza notte» («Полночь»).

Возвратившись из Каменки, Петр Ильич поселился в квартире в доме Голицына на Мойке, но вскоре съехал, сначала к тетке Елизавете Шоберт на Пантелеймоновскую улицу, а затем, в ноябре на Караванную в квартиру Алексея Апухтина, когда тот покинул Петербург. Незадолго до этого Илья Петрович отправился на год погостить к старшей дочери Зинаиде на Урал. Мачеха Чайковского Елизавета Михайловна, с которой Зинаида была не в самых лучших отношениях, осталась в столице со своими родственниками.

В апухтинской квартире Петр Ильич обрел, наконец, спокойствие, необходимое для учебы и сочинительства. В октябре он писал сестре: «К окончанию консерваторского курса мне задано большое сочинение (кантата на слова гимна Шиллера «Крадости». — А. П.), которое потребует тишины, покоя и инструмента». Нужно признать, что выбор Рубинштейна, заказавшего ему кантату, вызывавшую в памяти знаменитый финал Девятой симфонии Бетховена и с тем же текстом, был довольно странен; результат не мог не произвести впечатление претенциозности и потому был обречен на провал, даже если бы был признан талант автора.

Между тем финансовое положение Чайковского оставляло желать лучшего. Помимо оплаты квартиры, прислуги и прочих насущных вещей, надо было платить долги. Он стал подумывать, не вернуться ли на государственную службу, и кто-то из его друзей даже подыскал ему место «надзирателя за свежей провизией» на Сенном рынке. Но три с половиной года, отданные консерватории, необратимо определили его дальнейшую жизнь. 8 сентября 1865 года Петр Ильич писал Александре: «Начинаю помышлять о будущем, т. е. о том, что мне придется делать по окончании в

декабре курса консерватории, и все более и более убеждаюсь, что уже мне теперь нет другой дороги, как музыка. От службы я очень отстал, да и притом при имеющихся свершиться преобразованиях места получить будет трудно. (Вне Петербурга и Москвы я жить не в состоянии.) Весьма вероятно, что уеду в Москву».

Решение посвятить себя музыке — итог длительной борьбы в глубине души бывшего правоведа, с ревнивой самонадеянностью и скрытностью переживавшего этот критический момент своего бытия. Внешние обстоятельства складывались как будто благоприятно. В конце августа были исполнены «Характерные танцы», а в сентябре брат его любимого профессора, композитор и пианист Николай Рубинштейн предложил ему место преподавателя в открывавшейся через год Московской консерватории. Кроме того, Чайковский был уже автором смычкового квартета и увертюры (F-dur), исполненных студентами консерватории в Петербурге. Итак, казалось бы, он имел полное основание признаться в октябре в письме сестре, что «вообще же, несмотря на некоторые невзгоды, расположение духа у меня довольно розовое, кажется, оттого собственно, что снedaющее меня самолюбие (это мой главнейший недостаток) в последнее время было польщено несколькими музыкальными успехами и впереди я предвижу другие».

Чайковский оказался плохим провидцем. В конце года его «розовое расположение духа» было серьезно омрачено по его же собственной вине. 29 декабря, испугавшись публичного экзамена, предшествовавшего исполнению его кантаты, он не явился на выпускной концерт. Кантата была исполнена в отсутствие автора под управлением Антона Рубинштейна. Начинаящий композитор навлек на себя сильнейший гнев учителя, пригрозившего ему лишением диплома и сдержавшего свое слово: диплом был выдан Чайковскому лишь 30 марта 1870 года, когда директором консерватории стал Николай Заремба. Этот документ давал его обладателю звание «свободного художника» и свидетельствовал о награждении серебряной медалью. Золотой медали тогда не удостоился никто. Оценки, содержащиеся в дипломе, были следующие: «Успехи по теории композиции по классу профессора Зарембы и инструментовке по классу профессора А. Рубинштейна — отличные, игры на органе по классу профессора Штиля — хорошие, игры на фортепиано — весьма хорошие, и дирижировании — удовлетворительные».

Композитор Александр Серов, присутствовавший на концерте, был разочарован: «Нет, не хороша кантата; я от Чайковского ожидал гораздо большего». Мало того, Цезарь Кюи, также бывший на концерте, разразился



в газете «Биржевые ведомости» чрезвычайно ядовитой статьей, в которой заявил, что «консерваторский композитор г. Чайковский совсем слаб... и если б у него было дарование, то оно хоть где-нибудь прорвало бы консерваторские оковы». Одного этого было вполне достаточно, чтобы привести молодого музыканта в полное отчаяние.

Когда он спросил Рубинштейна, что тот думает о его пьесе, наставник со всею ясностью дал понять, что работа оставляет желать лучшего, и не согласился включить кантату в предстоящий концерт Русского музыкального общества, пока Чайковский не внесет в нее «большие изменения», на что тот ответил отказом. При жизни композитора кантата больше не исполнялась.

В письме сестре, написанном 15 января 1866 года уже в Москве, Чайковский сумел скрыть и последствия пропуска экзамена, и неудачу с кантатой, но не свое тогдашнее настроение: «Писал свою кантату, к[ото]рою те, кому надлежало произвести над нею приговор, остались очень довольны. Вообще же я страдал до невероятия хандрою и ненавистью к человеческому роду. Эта болезнь духа в настоящее время, благодаря перемене места и новым впечатлениям, несколько ослабла, но далеко не прекратилась. Чему приписать это, я не знаю, но только никак не плохому положению финансов». Апатия, порожденная упадком духа и творческим провалом, здесь спрягается с мизантропией, сказываясь на душевном здоровье. Это станет характерной чертой психической жизни композитора, защитной реакцией на критику (как справедливую, так и нет) или собственную, нередко заниженную, самооценку.

Только друг Герман Ларош поддержал потерявшего уверенность в себе молодого композитора. В письме от 11 января 1866 года Ларош назвал кантату «самым большим музыкальным событием в России», а Чайковского — «единственной надеждой нашей музыкальной будущности». Он завершил письмо пророческими словами: «Ваши творения начнутся, может быть, только через пять лет: но эти, зрелые, классические, превзойдут все, что мы имели после Глинки. <...> Образцы, которые вы дали до сих пор — только торжественные обещания превзойти ваших современников».

История отношений учителя и ученика заслуживает особого внимания. Покидая консерваторию, Чайковский испытывал самые горькие чувства. На его искреннюю любовь и обожание за три года обучения кумир его практически никак не отреагировал. Вполне возможно, что на подсознательном уровне чувства эти были неразделенной любовью, и даже любовной драмой. На склоне лет Модест Ильич поведал об этом в

«Автобиографии»: «Как это ни покажется чудовищным, я положительно утверждаю, что чувства Пети к Антону Григорьевичу и к Сереже Кирееву были однородны и лишь по свойству своих объектов разнствовали. В первом — гениальный талант, в образе аристократической мощи и благородства, конечно, не вызывал мечтаний о поцелуе, во втором — красота не могла не служить стимулом для благоговейного подражания — по характеру, по силе и проявлению само чувство было то же. Петя так же трепетал от наплыва восторга, приближаясь к Антону Рубинштейну, как и к Кирееву, так же терялся и робел в их присутствии, так же был счастлив их видеть, так же страдал от жестокости обоих и, главное, так же был полон стремления сломить их упорное презрение к каким-нибудь ярким проявлениям возвышенности своего духа и благородства своей привязанности. Разница еще заключалась в том, что долгая борьба с равнодушием кумиров в истории любви к Кирееву закончилась грустным торжеством Финна над Наиной, в истории же любви к Рубинштейну, несмотря на все подвиги и усилия, так и осталась бесплодной».

«Он был прославленный и великий музыкант, я — скромный ученик, видевший учителя только при исполнении им обязанностей и не имевший понятия о его личной жизни, — писал Петр Ильич Чайковский в 1892 году немецкому музыкальному критику Эугену Цабелю. — Нас разделяла пропасть. <...> Я надеялся, что работая и понемногу пробивая себе дорогу, я смогу когда-нибудь преодолеть эту пропасть и добиться чести стать другом Рубинштейна. Этого не случилось. Прошло с тех пор почти 30 лет, но пропасть стала глубже. <...> Я не стал, и никогда не стану его другом. Эта неподвижная звезда всегда в моем небе, но видя ее свет, я чувствую, что она очень далеко от меня».

Молодой композитор так и не дождался от Рубинштейна ни дружеского жеста, ни ободрения, ни помощи в творческой карьере, хотя, как мы видели, в чисто практических делах, например в поисках подработок, таковая им ему во время учебы оказывалась. «Тон сдержанности и благосклонного равнодушия» — так охарактеризовал сам Чайковский отношение к себе учителя. Очевидно, что за холодностью знаменитого музыканта скрывалось неприятие музыки и личности своего ученика, и Петр Ильич не мог этого не чувствовать. Если в начале своей композиторской деятельности он объявил Рубинштейну, по определению Лароша, «молчаливый протест» касательно неприятия им его первых композиторских опытов, то позднее Чайковский уже не мог сдерживать откровенного раздражения: «Этот туз всегда относился ко мне с недоступным высокомерием, граничащим с презрением, и никто, как он, не

умел наносить моему самолюбию глубоких ран. Он всегда очень приветлив и ласков со мной. Но сквозь этот привет и ласку так ловко он всегда умел выразить мне, что ни в грош меня не ставит».

Причин, объясняющих такое отношение учителя к ученику, несколько. Будучи пианистом-вундеркиндом, рано познавшим небывалый успех, Рубинштейн со временем выработал привычку создавать между собой и окружающими дистанцию, мешавшую ему выстраивать глубокие человеческие отношения, а тем более достойно оценивать качества и преимущества других музыкантов. Питаясь иллюзией, что он не только великий пианист, но и великий композитор, сочинение музыки он считал своим основным призванием. Однако профессиональная среда, в которой Рубинштейн стремился утвердиться как композитор, так и не оценила его творений, а его авторитет в музыке принимала в силу его исполнительской славы. Он хорошо понимал это и очень страдал. Отчасти из-за этого суждения его о других композиторах и даже студентах неизменно бывали резки, пристрастны и беспощадны.

Появление на сцене Чайковского, так поздно проявившего свой талант, незаурядно одаренного и фантастически работоспособного, не могло не вызвать раздражения или даже чувства ревливой зависти «маэстро». Более того, неортодоксальная сексуальная ориентация ученика, о которой он наверняка был осведомлен, могла являться дополнительной причиной для неприязни.

В 1889 году Антон Рубинштейн, тем не менее, признал, что «Петербургская консерватория дала России ряд чрезвычайно сильных талантов» и среди них «самый гениальный — Чайковский», который «становится общеевропейской величиной». Однако тут же добавил: «Он, я думаю, дошел теперь до своего апогея. Я не думаю, чтобы он пошел дальше». Учитель оказался не очень прозорливым. Чайковский «пошел дальше». Впереди были такие шедевры, как опера «Пиковая дама», балет «Щелкунчик» и Шестая симфония.

## **Часть вторая: Москва (1866–1876)**

## Глава шестая. Милый «мизантроп»

Шестого января 1866 года в старой енотовой шубе, уступленной ему Апухтиным, Чайковский приехал в Москву. Выбор был сделан — Петр Ильич решил окончательно посвятить себя музыке. Для такого решения ему потребовалась известная доля мужества. Хотя музыка и являлась необходимой составляющей быта русских дворян, а среди любителей встречались выдающиеся исполнители и знатоки, подавляющее большинство видело в ней лишь развлечение. В среде аристократов бытовало представление о слуге-музыканте, увеселяющем господ, и людям «порядочного общества» казалось постыдным зарабатывать на жизнь игрою или пением. До недавнего времени свободный человек, не имевший крепостных корней, мог сделаться музыкантом-профессионалом единственно в силу каких-нибудь несчастных обстоятельств. Только много позже профессия музыканта стала модной в образованной среде.

С отменой крепостного права толпы слушателей-разночинцев заполнили концертные залы, музыкальные школы и консерватории. Вот что писал один из выпускников Московской консерватории, открывшейся в сентябре 1866 года: «В то время большая часть учившихся были люди бедные, без того светского воспитания, которое дается почти всегда в состоятельных семействах; почти все артисты по призванию, каста, которая, говорят, всегда и везде отличается известной беспорядочностью и неумеренностью в проявлении своих чувств, как хороших, так и дурных. <...> Многие теперь поступают совсем не с целью сделать карьеру певца, артиста или виртуоза, особенно женщины, а чтобы получить музыкальное образование. Прежде с понятием о консерватории соединялось понятие о карьере артистической, не приобретшей еще такого положения, какое имеет уже теперь всякий, порядочно это заведение окончивший. <...> Другая причина свободного поведения учащихся была та, что состав профессоров был более артистический, нежели педагогический, а приемы их были очень свободны».

Душой Московской консерватории был Николай Григорьевич Рубинштейн, замечательный пианист и дирижер, человек большой душевной силы и обаяния. Расчетливый, когда дело касалось общественных денег, он становился щедрым до безрассудства, когда шла речь о его собственных. Он достиг одинаковой популярности и в кругу московского студенчества, и среди членов Английского клуба. Дворовым

шарманщикам, извозчикам и трактирным и церковным хористам он был так же хорошо знаком, как и прославленным артистам и любителям музыки, с которыми встречался не только в концертных залах и театрах, но и за карточным столом. «Рубинштейн был небольшого роста, но плотного телосложения, с довольно широкими плечами, крепкими руками, с плотными и точно железными полными пальцами. Эти пальцы могли издавать звуки страшной силы. Рояли некрепкого устройства разбивались ими как щепки. На его концертах необходим был запасной инструмент. Волосы его, впоследствии значительно поредевшие, поднимались вверх и надвигались над широким и умным лбом и острым, хотя и круглым носом. Общее выражение лица его... всегда было чрезвычайно строгое и внушительное. Говорил он... тоже очень громко и начальственным голосом, и привычка к постоянному укрощению учеников и учениц, к водворению порядка в оркестре сделала его манеры резкими и повелительными. Внешнее впечатление для не знавших его было самое суровое и подавляющее» — такой портрет Рубинштейна оставил один из выпускников консерватории.

С учащимися Рубинштейн вел себя довольно бесцеремонно; одного кларнетиста он бил по щекам, пока тот не заплакал, другого, опоздавшего на занятия, заставил раздеться догола и вновь одеться за пять минут. Свой класс он набирал сам, и «попасть к нему считалось, конечно, большим счастьем». Впрочем, он был человеком добрым, несмотря на репутацию самодура. Жалованья он никогда не получал — все деньги уходили на содержание бедных учеников, его стипендиатов. В квартире Рубинштейна, расположенной в самом здании консерватории, постоянно проживали студенты.

Следует отметить, что учившиеся в консерватории молодые женщины представляли собой особый контингент. «Более буйного народа я не видывал ни в одном учебном заведении, — пишет мемуарист. — И это слово “буйный” относится почти вполне к женскому полу. Не знаю, чем объяснить такие нравы при таком строгом правителе, каким был Рубинштейн. <...> Некоторые из них вели себя совершенно как сумасшедшие: в классах кричали, кривлялись, упрямились, жеманились, падали в обморок, даже убегали из класса и положительно выводили профессоров из терпения, так что те отправлялись в директорскую просить содействия. Рубинштейн относился к этим выходкам хладнокровно. Если девица падала в обморок, он говорил: “уберите ее”, или “вылейте ей стакан воды на голову”. Это средство было самое действенное и заставляло оживать бесчувственных. <...> При сходе женского пола в рекреационных

залах поднималась возня, превосходившая всякое вероятие: шум платьев, визгливость голосов и истерические вскрикивания...» В такой необычной и эротически насыщенной атмосфере Московской консерватории оказался Чайковский.

Так что неудивительно, что первой реакцией главы этого учебного заведения стало искреннее желание помочь молодому преподавателю привыкнуть к новой обстановке. Более того, он предложил ему поселиться в своей директорской квартире, где Чайковский прожил до сентября 1871 года. Он писал братьям из Москвы 10 января 1866 года: «Живу я у Рубинштейна. Он человек очень добрый и симпатичный; с некоторою неприступностью своего брата ничего общего не имеет, зато, с другой стороны, он не может стать с ним наряду, как артист. Я занимаю небольшую комнату рядом с его спальней, и, по правде сказать, по вечерам, когда мы ложимся спать вместе (что, впрочем, будет случаться, кажется, очень редко), я несколько стесняюсь; скрипом пера боюсь мешать ему спать (нас разделяет маленькая перегородка), — а между тем теперь ужасно занят. Почти безвыездно сижу дома, и Рубинштейн, ведущий жизнь довольно рассеянную, не может надивиться моему прилежанию». В общем, Николай Григорьевич относился к нему по-отечески. Из письма Чайковского братьям 23 января 1866 года: «Этот последний ухаживает за мной, как нянька, и хочет непременно исполнять при мне эту должность. Сегодня он подарил мне насильно 6 рубашек, совершенно новых... <...> а завтра хочет насильно везти заказывать платье. Вообще это удивительно милый человек. <...> Не могу умолчать при перечне моих здешних друзей об Агафоне, лакее Рубинштейна, препочтенном старике, и о прелестной белой кошке, которая и в эту минуту сидит у меня, и я ее страстно ласкаю». Их дальнейшие отношения, временами очень бурные, отличались подлинной глубиной и сердечной приязнью. Но время от времени между ними пробегала и черная кошка. Через девять лет, 9 января 1875 года, Чайковский писал Анатолию: «Рубинштейн под пьяную руку любит говорить, что питает ко мне нежную страсть, но в трезвом состоянии умеет раздражать меня до слез и бессонницы».

Почти сразу по прибытии молодой петербургский музыкант завоевал уважение коллег. В сентябре 1866 года вместе с Рубинштейном и князем Владимиром Одоевским, известной фигурой в литературных кругах, он выступил на официальном торжественном открытии консерватории. А позднее, в следующем декабре, снова представлял консерваторию во время приезда в Москву французского композитора и дирижера Гектора Берлиоза, будучи его переводчиком и гидом. Берлиоз дал два концерта в Москве и

был восхищен оказанным ему восторженным приемом. На торжественном банкете в его честь Чайковский произнес «красивую речь по-французски, в которой он со свойственным ему энтузиазмом сделал оценку высоких заслуг... парижского гостя».

Первыми московскими друзьями Чайковского среди музыкантов стали Николай Дмитриевич Кашкин, Карл Карлович Альбрехт и Николай Альбертович Губерт. Профессор Кашкин часто выступал в роли критика его произведений, понимающего и великодушного. Наряду с чисто профессиональными интересами оба разделяли вкус к картам и кутежам. Что же касается Карла Альбрехта, инспектора консерватории, Чайковский стал фактически членом его семьи. Он часто обедал у Альбрехтов и вообще доставлял им большое удовольствие своим присутствием. К тому же он высоко ценил блестящие музыкальные способности друга и сожалел, что тот не избрал композиторскую стезю. Николая Губерта Чайковский знал еще по Петербургской консерватории. Он приехал в Москву в начале 1870-х в качестве профессора музыкальной теории. Вскоре за ним последовал и Герман Ларош, приглашенный Рубинштейном преподавать историю музыки. Таким образом, рядом с Чайковским образовался интимный круг дружеских и близких душ, разнообразивших не только его профессиональную рутину, но и досуг. Тогда же он познакомился с Петром Юргенсоном, положив начало их сотрудничеству и тесным личным связям. За пять лет до этой встречи Юргенсон основал в Москве собственное музыкальное издательство и позднее предложил Чайковскому воспользоваться его услугами, на что тот охотно согласился, несмотря на то, что имел договоренность с петербургским издателем Василием Бесселем, — вызвав этим напряженность в отношениях с последним.

До официального открытия консерватории композитор вынужден был преподавать в организованных при ней музыкальных классах, куда записалось много молодых особ. «Уроки мои еще не начались, но вчера я должен был делать экзамен всем поступившим в курс. Признаюсь, я ужаснулся при виде такого громадного количества кринолинов, шиньонов и т. п. Но не теряю надежды, что мне придется пленить этих фей, так как вообще здешние дамы ужасно страстны. Рубинштейн не знает, как ему отбиться от целого полчища дам, предлагающих ему свои... любезности», — пишет Чайковский маме 15 января 1866 года. В том же роде братьям: «Уроки мои идут очень успешно, и я даже пользуюсь необыкновенным сочувствием обучаемых мною москвитянок, которые вообще отличаются страстностью и воспламененностью». Илья Петрович на подобные известия реагировал в свойственном ему неподражаемом



стиле. В письме от 5 февраля 1866 года он писал: «Я воображаю тебя сидящим на кафедре: тебя окружают розовые, белые, голубые, кругленькие, тоненькие, толстенные, белолицые, круглолицые барышни, отчаянные любительницы музыки, а ты читаешь им, как Аполлон сидел на горке с арфой или с лирой, а кругом грации такие же точно, как твои слушательницы, только голенькие или газом закрытые, слушали его песни. Очень бы мне любопытно было посмотреть, как ты сидишь, как конфузишься и краснеешь...»

Об образе жизни Чайковского в то время дает представление написанное 25 апреля 1866 года письмо Анатолию. Приводим его почти целиком:

«Давно от тебя не получаю ни одной строчки и несколько о том тоскую. Вообще я забыт всеми и о том, что делается в Петербурге, не имею понятия. День мой теперь сделался довольно регулярен и по большей части проводится следующим образом. Встаю между 9 и 10 часами; ваяясь в постели, разговариваю с Рубинштейном] и потом пью с ним чай; в 11 часов или даю урок до 1 ч[аса] или сажусь за симфонию (к[ото]рая, между прочим, идет вяло) и таким образом сижу в своей комнате до половины третьего, при этом ко мне заходит обыкновенно Кашкин или Вальзек (профессорша пения, сделавшаяся моим новым другом). В 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> иду на Театральную площадь в книжный магазин Улитина, где ежедневно прочитываю все газеты; оттуда иногда хожу гулять на Кузнецкий мост. В 4 часа обедаю по большей части у Тарновских, иногда у Нилусов (всего в эти 3 недели был 3 раза) (московские знакомые. — А. П.) или в трактире. После обеда или опять иду гулять или сижу в своей комнате. Вечером почти всегда пью чай у Тарновских, но иногда бываю в клубах (3 раза в Артистическом; 2 раза в Купеческом и 1 раз в Английском), где читаю журналы. Домой возвращаюсь часов в 12; пишу письма или симфонию, а в постели долго читаю. Сплю в последнее время отвратительно; мои апоплексические удары возобновились с большей силою, чем прежде, и я теперь уже, ложась спать, всегда знаю, будут они у меня или нет, и в первом случае стараюсь не спать; так, напр[имер] третьего дня я не спал почти всю ночь. Нервы мои расстроились опять донельзя; причины тому следующие: 1) неудачно сочиняемая симфония; 2) Рубинштейн] и Тарновский, которые, заметив, что я пуглив, целый день меня пугают самыми разнообразными способами; 3) не покидающая меня мысль, что я скоро умру и даже не успею кончить с успехом симфонию; словом, я, как обетованного рая, жду теперь лета, ибо надеюсь, что в Каменке обрету спокойствие, забвенье всех

неудач и здоровье. Со вчерашнего дня перестал пить водку, вино и крепкий чай. Хотя у Тарновских я бываю часто, потому что чувствую там себя как дома и никто, слава Богу, уже давно меня не занимает, но они подчас меня ужасно бесят своею невообразимой пустотой и чисто московскою привязанностью ко всему отсталому, старому. <...> Вообще, я ненавижу род людской и с удовольствием удалился бы в пустыню, с самой незначительной свитой».

В этом письме, как и ранее в письме сестре, Чайковский не мог (или не желал) признать настоящие причины расстройства (водка, вино и крепкий чай), а считал таковыми не желающую сочиняться симфонию («Зимние грезы»), повышенную пугливость и постоянный страх смерти. Впрочем, в конце письма мы читаем, что он предпочел бы больше не пить. Реакция на творческие проблемы у него оставалась одной и той же на протяжении многих лет — ненависть к роду людскому, мешающему работать, и хандра. Тем не менее заметим, что в пустыню он желает удалиться не один, а со свитой, то есть, иными словами, он сохраняет добрые чувства к избранным лицам и о мизантропии в полном смысле этого слова речи не идет.

Здесь мы впервые встречаем упоминания об ощущениях, названных им «удариками». Вот профессиональные показания его врача Василия Бертенсона: «В детстве Петр Ильич очень часто пробуждался среди ночи в истерических припадках; в зрелые годы нервность эта выражалась у него в бессоннице и явлениях, которые он называл “удариками”, т. е. внезапном пробуждении от какого-то толчка с ощущением непреодолимого ужаса. Эти “ударики”, временами повторяясь почти каждую ночь, доводили его до ненависти к постели, длившейся месяцами, и тогда он засыпал не иначе, как в халате, то сидя в кресле, то прикорнув на диване».

«Ударики», несмотря на «здоровье в вожделенном состоянии», как он сам отмечал, продолжали беспокоить композитора и позже, летом того же года, когда он поселился вместе с Модестом на даче некоего Мятлева под Петербургом. Модест сообщает об этом времени: «Несмотря на усидчивость и рвение, сочинение шло туго, и чем дальше продвигалась симфония, тем нервы Петра Ильича расстраивались все более и более. Ненормальный труд убивал сон, а бессонные ночи парализовали энергию и творческие силы. В конце июля все это разразилось припадками страшного нервного расстройства, такого, какое уже больше не повторялось ни разу в жизни. Доктор... призванный лечить его, нашел, что он был “на шаг от безумия”, и первые дни считал его положение почти отчаянным. Главные и самые страшные симптомы этой болезни состояли в том, что больного преследовали галлюцинации, находил ужасающий страх чего-то и

чувствовалось полное омертвление всех конечностей».

Трудно сказать, мог ли биограф преувеличить последствия переутомления своего брата, делая упор на нестабильность его психического состояния и тем самым подготавливая читателей к удобной ему интерпретации событий, последовавших за женитьбой Петра Ильича — стратегии, о которой далее мы поговорим подробнее. Но поскольку известно, что один из предков Чайковского страдал эпилепсией, то нельзя исключить, что и у композитора имели место некоторые признаки того же расстройства.

Заметим, однако, что от природы склонный к излияниям, Чайковский распространялся в своей переписке о тех или иных проблемах со здоровьем, придавая им космические масштабы. Некритическое чтение этих текстов и породило к жизни образ душевнобольного, «живую иллюстрацию учебника по психическим отклонениям», более напоминавшую его собственное мнительно-фантастическое представление о себе, чем реальное восприятие его окружающими людьми. Но ведь понятие о нормальности покоится не на внутренней, а на внешней оценке, иначе говоря, модусе социального поведения, а в этом плане Чайковский, даже несмотря на гомосексуальность и при всех его идиосинкразиях, был ничуть не менее безупречен, чем любой из нас.

В его случае темы физического и психического здоровья составляют две стороны одного сюжета. Иначе говоря, основой его психофизической конституции был, по всей вероятности, острый невроз с многократными и разнообразными соматическими проявлениями. Из этого, однако, не следует, что композитор был психически болен. Скорее напротив, несмотря на отдельные эмоциональные эксцессы, он отличался редким душевным здоровьем, если под таковым понимать безукоризненное чувство меры и приличия. В конечном счете именно способность к самообъективности, трезвому взгляду на собственную личность отличает невротика от психопата, теряющего вместе с ощущением себя и ощущение реальности. Фобии Чайковского (которых было немало) носили вторичный и поверхностный характер. Несмотря на предрасположенность, он не стал ни запойным алкоголиком, ни наркоманом (как его сестра и племянница), ни суицидным психотиком (как его племянник Боб Давыдов), ни сексуальным маньяком. Что же до невроза, то наука считает его очевидным атрибутом любого талантливого и творчески ориентированного индивида. Это сложная и богатая нюансами область, не без успеха трактуемая современной психологией.

Сказанное не означает, что Петру Ильичу были неведомы моменты

безумия. Крупная творческая личность — в спектре бесконечно многообразном — не может не заглянуть в собственные или космические бездны, в том числе и те, которые грозят лишением разума. Творчество, однако, неизбежно поднимало его из бездн к вершинам, оно становилось несокрушимой потребностью, и уже по одному этому всевозможные толки о его якобы суицидности выглядят психологически неправдоподобными. В этом контексте не следует драматизировать гомосексуальный аспект, на который он до кризиса 1876–1877 годов не обращал особенного внимания, а позднее научился, и притом мирно, сосуществовать с ним. Несомненно, под давлением общественного мнения он не избежал подсознательного конфликта, что содействовало невротическим и неврастеническим тенденциям. В нашем подсознании, однако, скрывается великое множество таких неразрешенных конфликтов. Для Петра Ильича гомосексуальность была одним из них, но совсем не обязательно основополагающим. Просто о ней, в силу биографических случайностей, мы знаем больше, чем, например, о роли, которую играли в формировании его душевного мира отец, мать или сестра, не говоря уже о многом другом, присущем человеческой природе и никому неведомом, кроме самого человека. Ведь мысль о том, что глубины нашей психологии не имеют ни границ, ни дна, стала уже тривиальной.

Выше говорилось о том, что невроз Чайковского проявлялся психосоматически, то есть умонастроение его и самочувствие находились в сложной взаимосвязи. Отчасти этим объясняется его способность к резкой смене настроений и вообще импульсивность, парадоксальным образом сочетавшаяся с постоянным стремлением к рутинному распорядку и железной дисциплиной в отношении работы. Сам композитор прекрасно осознавал взаимосвязь своей физиологии и психики. Родные, включая престарелого отца, были также отлично осведомлены о его периодических нервных расстройствах. «Пуще всего меня беспокоят твои нервные припадки. Старайся, мой друг, сам предупреждать их, только не наедине, а в доброй хорошей компании, сам затевай разговоры, пляши, скачи, смейся и пр. и пр. стакан сахарной воды или несколько капель валерианы очень полезно», — писал Илья Петрович сыну 23 марта 1869 года. Как мы убедились из выше цитированного письма Анатолию, подобное чаще всего случалось не без причины.

Нервное состояние оборачивалось маниакальной мнительностью, которая, впрочем, вскоре исчезала. «Кроме жгучей и ядовитой тоски по тебе на меня напал какой-то страх, очень неопределенный, но очень мучительный. Мне вдруг показалось, что я должен заболеть! Что тогда мне

делать? <...> Как я буду страдать, страдая здесь один так далеко. <...> Одним словом, всякий вздор лез мне в голову. Разумеется, теперь все это как рукой сняло», — писал Петр Ильич Анатолию 4 декабря 1877 года.

Под влиянием «гетеросексуального крена», испытанного им сразу по приезду в Москву не без участия Николая Рубинштейна и из-за стремления к новому образу жизни, прежние его петербургские знакомые временами вызывали у него раздражение, особенно те, кто был далек от музыки и не поддерживал его выбора: «.. в последнее время пустота и ничтожность этих людей стали особенно сильно бросаться мне в глаза!» (Из письма братьям 16 августа 1866 года.)

Скорее всего, таким же негативным по отношению к прежним друзьям настроением было проникнуто и не сохранившееся послание композитора Апухтину, на которое поэт ответил в мае 1866 года: «Ты, кажется, увлекся в Москве историческими воспоминаниями и выбрал для подражания Андрея Курбского: удрал куда-то и валяешь мне оттуда ругательные письма. Ты решительно сошел с ума, называя меня “придворным стихоплетом Голицына” и т. п. Прочитав твое письмо, я, конечно, пришел в ярость и начал искать глазами Василия Шибанова, чтобы вонзить в него что-нибудь вроде жезла, но вместо твоего верного слуги я увидел старого почтальона, не удобопронзаемого и просящего 3 к., которых у меня не было. Касательно содержания твоего письма, я могу только удивляться странному противоречию: выражая разочарование в Голицыне и С<sup>0</sup>, проповедуя горделиво-презрительный и совершенно справедливый взгляд на людей, ты в то же время, как наивная институтка, продолжаешь верить в труд, в борьбу! Странно, как ты еще не упомянул о прогрессе. Для чего трудиться? С кем бороться? Пепиньерка милая, убедись раз и навсегда, что “труд” есть иногда горькая необходимость и всегда величайшее наказание, посланное на долю человека, что занятие, выбранное по вкусу и склонности, не есть труд, что музыкальная деятельность для тебя такой же труд, как для г-жи Н. Д. Нилус разговоры с Митей или для Масалитинова покупка нового галстучка. Неужели же то, что я люблю красотою Х., считать тоже Трудом?»

Ранее говорилось, что поза «искусителя» — с налетом цинизма — составляла одну из черт не столько натуры, сколько «персоны», светской «маски» Апухтина, скрывавшей чувствительность и ранимость. Лучший способ защиты — нападение, из чего проистекает, надо полагать, и отчетливо агрессивный, поучительный тон цитированного письма. Атака на душу, не менее, а то и более склонную к сантиментам, чем его собственная, мало приспособленную к разочарованию жизнью, должна была доставлять

поэту некое извращенное удовольствие. В известном смысле, здесь прослеживается коллизия, характерная уже для их отношений школьных лет: с одной стороны, идеалистически настроенный ум, с другой — проповедь личных удовольствий или, в исторических терминах, романтизм «гейдельбергского» толка (вспомним Ленского) и протест против этого романтизма.

Письмо не оставляет сомнений, что Апухтин продолжал быть в курсе интимной жизни своего друга: обратим внимание на снисходительно-уменьшительное (Пепиньерка), причем в женском роде. Тон этот временами мог казаться Чайковскому оскорбительным. Кроме того, в избранной им роли «совратителя» Апухтин (кроме сферы эроса) ничуть не преуспел. Несмотря на припадки мизантропии, Чайковский так и не обратился в этический релятивизм или нигилизм, до конца жизни дохранив юношеское представление об идеалах, составляющее важную сторону его человеческой привлекательности.

Быть может, именно в этом заключается причина глубинного — в плане ценностном — неприятия поэта Петром Ильичом. Неприятие, однако, не означает отвержения. Письма Чайковского не оставляют сомнения в прочной и нежной привязанности его к Апухтину, несмотря на то, что ссоры — иногда длительные — были для них нередки.

Судя по переписке тех лет, Чайковский мыслями своими часто пребывал в Петербурге. В конце марта 1866 года он не выдержал длительной разлуки с братьями и друзьями и отправился на пару недель в столицу.

Весной того же года Петр Ильич познакомился с актером и баритоном Константином де Лазари, хорошо известным москвичам под сценической фамилией Константинов. В своих воспоминаниях де Лазари оставил забавное описание их первой встречи. Однажды он остался ночевать в квартире Рубинштейна и утром велел слуге Агафону подать чаю. Через мгновение он услышал другой голос, «нежный и похожий скорее на контральто», требующий того же. Надев халат, де Лазари отправился в соседнюю комнату и с удивлением обнаружил там молодого человека «очаровательной внешности, с чудными, выразительными глазами», бывшего еще в постели, который спросил, что ему нужно, и заявил, что он еще не одет, смущенно «закрывая свою грудь одеялом». Де Лазари, заметив, что незнакомец ведет себя «точно пугливая барышня», сказал, чтобы тот не боялся и назвал свое имя. «Я профессор здешней консерватории Чайковский», — ответил молодой человек. «Вы — профессор?! — воскликнул де Лазари. — Что вы меня дурачите? Какой же

вы профессор! Ученик какой-то». — «Ну как вам угодно», — как будто сердясь, ответил юноша.

Веселый и общительный де Лазари, знавший всю театральную Москву, познакомил своего нового друга со знаменитым актером Провом Михайловичем Садовским, которому тот сразу понравился: «С первого момента появления скромность, чудное лицо, милый смех и вообще какое-то особенное очарование П. И. Чайковского обворожили всех».

Однажды де Лазари отвез композитора на дачу к Владимиру Петровичу Бегичеву — начальнику репертуара московских казенных театров. Там он был представлен певице Марии Васильевне Шиловской, супруге Бегичева. Как вспоминает де Лазари, «Марья Васильевна была тогда уже толстой, жирной, пожилой женщиной лет сорока пяти, со странным комическим носом, маленькими усиками и томными глазами; она была привлекательной, но не такой, которая могла бы рассчитывать на ответную страсть со стороны избалованного общей любовью красавца Бегичева. Ревновала она его ко всем. Всем своим близким и интимно принятым в доме Марья Васильевна говорила — ты. С ней вместе жили ее сыновья [от первого брака. — А. П.], получавшие по 50 000 рублей дохода в год каждый: Константин, 17 лет, впоследствии автор романа “Месяц плывет” и который кончил жизнь в страшной бедности актером московских театров, и Владимир 13 лет, впоследствии граф Васильев-Шиловский, умерший миллионером. Опекуншей своих детей и их состояния [доставшегося им от их покойного отца. — А. П.] была Марья Васильевна, имевшая 40 000 ежегодного дохода. Все эти деньги целиком проживались. Хозяином Марьи Васильевны и этих денег был Владимир Петрович Бегичев, ничего не жалевавший на приемы, обеды и вечера».

Далее де Лазари вспоминает, что во время одного вечера у Шиловских, после исполнения Марией Васильевной очередного романса Володя, «редкой красоты мальчик, как видно любимец матери», подошел к ней и «фамильярно помял ей лицо, а она, поцеловав его, сказала: “Встань и пой!” И мы услышали, как чудным, нежным альтом, с тонкой фразировкой запел этот мальчик. Я удивился, а Пров Михайлович [Садовский] — тот и рот разинул. Мы начали целовать его, просили петь еще, но пробило половину двенадцатого, и Володю увели наверх». Нет сомнения, что на Чайковского он произвел неизгладимое впечатление, тем более что это был тот самый Владимир Шиловский, про которого де Лазари говорил Чайковскому перед тем, как привести его в дом Бегичева, «что в семье есть очень талантливый мальчик, который наверно будет нуждаться в музыкальных уроках, и за него станут платить большие деньги».

«Это был тогда 14-летний мальчик, — рассказывает Модест Ильич, — слабый, болезненный, с запущенным вследствие этого воспитанием, но одаренный, как тогда казалось, феноменальными способностями к музыке. Кроме того, он обладал необыкновенно красивой внешностью, чрезвычайно оригинальной прелестью манер, складом ума, несмотря на плохое образование, наблюдательного и острого. По рекомендации Рубинштейна, Петр Ильич попал к нему в учителя теории музыки и в сезон 1866—67 года у него установились уже самые лучшие отношения с учеником». Последнее замечание существенно; нельзя усомниться в глубокой привязанности композитора к Шиловскому, хотя при этом эмоциональная инициатива почти всегда исходила от ученика.

На протяжении многих лет отношения их были сложными, чреватými истериками и разрывами, часто по вине Шиловского, унаследовавшего от матери тяжелый нрав. Однако в самом начале Чайковский испытывал, по-видимому, от нового знакомства нечто вроде восторга. Читаем в его письме тетке Екатерине Алексеевой от 4 октября 1867 года в Баден-Баден, где в то время отдыхал и Шиловский: «Воображаю, как Вы полюбили моего Володьку: этот господинчик как будто создан для того, чтобы пленять и очаровывать всех и каждого. Дай Бог, чтобы впоследствии своим талантом он также блистал, как и остальными качествами. А талант у него весьма замечательный». Молодого композитора «привязывала к своему ученику не только его талантливость, симпатичность и жалость к его болезненности, но в большей мере также и та любовь, доходившая до особого поклонения, которую он внушил мальчику».

В первый московский год Чайковский переживал не только по поводу старых и новых друзей. Снова и снова, дома и на людях, он сталкивался с проблемами, касающимися его отношений с женщинами. С одной стороны, непрекращающееся давление отца, страстно желавшего видеть своего сына женатым, с другой — сильный и властный Рубинштейн, со своей агрессивной гетеросексуальностью и дерзким поведением в отношении слушательниц консерватории, невольно ставили его в весьма затруднительное положение. Как отмечают мемуаристы, у Рубинштейна «ночлегом пользовались не только ученики, но и ученицы, и следствием этого было то, что Ник[олай] Григорьевич] потом часто посещал этих учениц в номерах, где они жили, и в квартирах». Чайковский вполне отдавал себе отчет в том, что для достижения успеха он, по крайней мере, должен не только постоянно уступать Рубинштейну, но и стараться всеми силами ему нравиться, даже по линии собственных амурных дел. Между тем эротически заряженная атмосфера Московской консерватории



требовала хоть какой-то реакции с его стороны на прославивших своенравными и любящих пофлиртовать юных особ. По существу, все, кто теперь окружали Чайковского, побуждали его следовать правилам игры и приступить к ухаживаниям за какой-нибудь подходящей девицей, имея в виду последующую женитьбу.

Если принять во внимание условности эпохи, мы перестанем удивляться вере Чайковского, что он способен на любовь к женщине, при этом продолжавшего предаваться сексуальным экспериментам со сверстниками и друзьями. Заметим, что эта вера косвенно свидетельствует о существовании устойчивого мнения среди его сверстников насчет гомосексуальных игр юношей: таковые воспринимались как нечто само собой разумеющееся в подростковом возрасте и отнюдь не препятствовали любовным отношениям с женщинами в будущем. Той же точки зрения придерживался и молодой Чайковский. Судя по всему, до поры до времени он был не слишком обеспокоен этой темой, полагая, что сможет закрутить роман с женщиной, стоит ему только захотеть.

Мы уже знаем, что женское присутствие и влияние всю жизнь играли важную роль в формировании личности Петра Ильича. Еще ребенком он испытывал самые нежные чувства к матери и гувернантке Фанни Дюрбах (которую, много лет спустя и незадолго до своей смерти, он сумел разыскать во Франции), позднее — к сестре Александре и Анне Мерклинг. Разумеется, эти проявления любви нельзя отнести к сфере эроса, ибо возникли они слишком рано, а в отношении матери и сестры говорить о чем-то подобном возможно лишь во фрейдистском смысле.

Эта родственная привязанность должна была отразиться в том числе и на развитии его психосексуальности. В частности, она привела и к тому, что любовь к женщинам — а именно так называется интимная дружба с сестрой или кузинами подростковым сознанием — в течение долгого времени продолжала казаться ему чувством доступным и обыденным, ибо тесные отношения с ними были одной из составляющих его развития в период полового созревания.

Как утверждают мемуаристы, молодой композитор был красивым, интересным и, по-видимому, сексуально привлекательным. Вот как описывает Чайковского времен Московской консерватории один из его учеников: «Как памятен мне его тогдашний внешний облик: молодой, с милыми, почти красивыми чертами лица, с глубоким, выраженным взглядом красивых темных глаз, с пышными, небрежно зачесанными волосами, с чудной русой бородкой, бедновато-небрежно одетый, по большей части — в потрепанном сером пиджаке; Чайковский торопливой

походкой входил в свою аудиторию, всегда слегка сконфуженный, слегка раздраженный, словно досадуя на неизбежность предстоящей скуки».

Через несколько недель после приезда в Москву он познакомился с племянницей соседей Рубинштейна Тарновских — Елизаветой Дмитриевой, которую родные называли «Муфка». Столкнул молодых людей вместе сам Рубинштейн, одно время занимавшийся с Муфкой музыкой. Чайковский писал Модесту в феврале 1866 года: «Я бываю довольно часто у соседей Тарновских. Там есть одна племянница, которая до того прелестна, что я подобного еще ничего не видал. Я, признаться, очень ею занят, что дает Рубинштейну] случай приставать ко мне наиужаснейшим образом. Как только мы приходим к Тарновским, ее и меня начинают дразнить, наталкивать друг на друга т. д. Зовут ее дома Муфкой, и я в настоящее время занят мыслью, как бы достичь того, чтобы и я имел право называть ее этим именем; для этого стоит только покороче с ней познакомиться. Рубинштейн был в нее тоже очень влюблен, но уже давно изменил».

Илья Петрович, с величайшими вниманием и непониманием следивший за сердечной жизнью любимого сына, восторженно отреагировал 14 марта 1866 года на не сохранившееся до наших дней письмо с описанием Муфки: «Откровенно тебе скажу: в твоём письме больше всего мне понравилась племянница. Она должна быть премиленькая, прехорошенькая и уж непременно умненькая. Я так ее полюбил, что непременно хочу ее видеть. Ты, пожалуйста, доставь мне возможность, когда я приеду в Москву». Старичок напрасно радовался. Уже 16 апреля Петр пишет братьям: «...у Тарновских бываю так же чисто, как и прежде; к Муфке совершенно охладел, ее замужество с Салютенковым, кажется, расстраивается, вообще я в ней очень разочарован». Он не стал уточнять причины своего охлаждения. Итак, Чайковский оставался равнодушным к прекрасному полу, а если и воспламенялся, то ненадолго. Зато женщины влюблялись в него неоднократно и были готовы его обожать, причем отнюдь не всегда платонически.

Музыка молодого профессора консерватории все чаще звучала на публичных концертах. 1 мая 1866 года Антон Рубинштейн дирижировал его Увертюрой f-moll в Михайловском дворце в Петербурге. В письме, уже цитировавшемся выше, Апухтин писал: «Был я на общедоступном концерте (и сделал эту жертву исключительно для твоей увертюры, так как самое название концерта “общедоступный” преисполнило меня гневом). Аплодировал Вашей увертюре с увлечением и остался очень доволен».

Лето 1866 года Чайковский провел под Петербургом на даче, которую снимала свекровь сестры Саши, Александра Ивановна Давыдова. Отдыхал он в компании шестнадцатилетнего Модеста. Анатолий же по финансовым соображениям вынужден был поехать в Каменку. Тем же летом композитор совершил вместе с Апухтиным короткое путешествие на Ладожское озеро и посетил монастырь на острове Валаам. Построенный еще в X веке, монастырь был окружен скитами отшельников, рассыпанными во множестве по озерным островкам. Суровая красота пейзажа с его густыми лесами и необъятными просторами произвела неизгладимое впечатление на обоих путешественников и была позднее описана в апухтинской поэме «Год в монастыре».

Все лето Чайковский работал сутками, обычно ночью, когда стихала суэта в доме, над своей симфонией «Зимние грезы». Он завершил ее в набросках в начале мая, а в июне приступил к оркестровке. Но физическое переутомление и нервное напряжение из-за бессонных ночей помешали ему закончить симфонию, и оркестровка не была завершена до самого возвращения в Москву. Еще будучи в Петербурге, он решил показать незаконченную работу своим бывшим профессорам Антону Рубинштейну и Николаю Зарембе. Оба преподавателя симфонию нещадно раскритиковали, сильно обидев Чайковского, которого их критика совсем не убедила.

«Московскому Рубинштейну», Николаю, симфония, напротив, очень понравилась, и в декабре, во время концерта Русского музыкального общества было исполнено из нее скерцо. Целиком симфония прозвучала год спустя — 3 февраля 1868 года, дирижировал ею Николай Рубинштейн. Исполнение прошло с успехом, автора много раз вызывали. Это стало первым настоящим триумфом Чайковского, но успех не повлиял на его способности к самокритике. Видя множество недостатков в работе, он решил переписать часть фрагментов, но осуществил этот замысел лишь шесть лет спустя — в 1874 году.

В ноябре 1866 года Чайковский получил официальный заказ написать увертюру на тему датского гимна, которая должна была исполняться в честь прибытия в Москву русского престолонаследника, будущего Александра III и его невесты, принцессы датской Дагмары, впоследствии ставшей императрицей Марией Федоровной. Однако торжества отложили до апреля 1867 года, и увертюра Чайковского так и не была исполнена из-за слишком насыщенной программы празднества. Но все же труд этот был вознагражден парой золотых запонок — знак признания со стороны императорской фамилии, многие члены которой, включая и самого

виновника торжества, вскоре окажутся в числе самых пылких поклонников его творчества. Премьера увертюры состоялась 29 января 1867 года и была встречена весьма одобрительно, дирижировал ею Николай Рубинштейн. Самому Чайковскому это сочинение тоже нравилось, и много позже он писал, что оно «по качеству музыки куда лучше, чем [увертюра] “1812”».

Московской зимой 1866/67 года композитор часто бывал в так называемом Артистическом клубе, основанном Рубинштейном и драматургом Александром Островским в октябре 1865 года. Множество вечеров он провел там за игрой в карты, интерес к которой быстро превратился в страсть. Его партнеры, выдающиеся актеры — Пров Садовский и Василий Живокини, стали преданными его поклонниками. В то время Чайковский подружился с Островским, тогда уже знаменитым литератором, и однажды попросил его написать либретто для оперы, которую замыслил на основе драмы «Гроза». Двумя годами раньше, еще учась в консерватории, он уже, как мы помним, произвел на свет неудачную увертюру под таким же названием. Но, к разочарованию своему, узнал от драматурга, что над таким же оперным проектом уже работает другой молодой композитор. Как бы в порядке компенсации Островский согласился написать для своего нового друга, без всякой оплаты, либретто по еще одному своему произведению — исторической пьесе «Воевода, или Сон на Волге». В начале марта 1867 года Петр Ильич получил от него текст первого акта и немедленно сел за работу над первой своей оперой с рабочим названием «Воевода». Он сочинял быстро и с увлечением, но по причине отсутствия опыта совершил множество сценических ошибок. Позднее он вынужден был признать, что опера получилась плохая, была написана слишком поспешно и в форме, трудной для исполнения: «Я просто писал музыку на данный текст, нисколько не имея в виду бесконечное различие между оперным и симфоническим стилем».

В конце апреля оригинал либретто Островского был им утерян и работа временно приостановилась. Петр Ильич пытался сделать несколько набросков вокальных партий, но безуспешно. Островский пообещал воссоздать утрату, но к середине июня был готов только текст первого акта, и в их совместной работе наступила очередная пауза. Композитор смог вернуться к этой опере только осенью, оставшиеся части либретто писал сам и целиком закончил ее к июлю следующего года.

Лето 1867 года он встретил буквально в нищете. Сначала решил было провести часть лета с Анатолием в Финляндии, но деньги иссякли за неделю, и братьям пришлось возвратиться в Петербург. Тогда они отправились к Давыдовым, матери его зятя и двум ее дочерям, с которыми

провел предыдущее лето и которые в этот раз отдыхали в Эстонии, в городке Гапсале, где Чайковский планировал остаться до осени. Три брата (Модест приехал еще в начале лета) жили впроголодь, поскольку столовались они отдельно от Давыдовых, которые на сей раз не проявили надлежащего гостеприимства. Из-за безденежья Чайковский покупал в кухмистерской только по две порции еды, чего было явно недостаточно. По воспоминаниям Модеста, Давыдовы об этом знали, но предпочитали не замечать. Кроме того, композитора, при его растущей нетерпимости к скоплению людей, особенно когда он чувствовал потребность в творчестве, стало раздражать изобилие новых знакомых дачников, постоянно навещавших дом Давыдовых.

Даже в письме сестре, бывшей замужем за Львом Давыдовым, он не смог сдержать раздражения по поводу пребывания в Гапсале: «С тех пор как наш замкнутый кружок прорвался и целые кучи знакомых хлынули на наших (т. е. Давыдовых), а следовательно отчасти и на меня, — я стал хмуриться и внутренне даю себе слово никогда не жить летом в таких местах, где люди чуть не каждый день танцуют, делают друг другу визиты ежеминутно. <...> Но вот что скверно: я имею случаи в Гапсале беспрестанно убеждаться в том, что во мне гнездится болезнь, называемая мизантропией; на меня находят здесь страшные припадки ненависти к людям. Но об этом поговорю когда-нибудь с тобой подробнее».

Некоторые биографы, цитируя несколько последних строк этого письма, делают вывод об аномальности его «мизантропии». В контексте же обстоятельств, сложившихся тогда в жизни композитора, такая «мизантропия» выглядит вполне безобидно — лишь раздражением на курортников, мешавших уединиться и спокойно отдыхать или работать, что в подобных ситуациях случается почти с каждым. Он, однако, любил преувеличивать свои эмоциональные проблемы, и это было известно всем. С тем же нервно-психосоматическим комплексом связана и эта особенность поведения и мироощущения зрелого Чайковского. Вот что сообщает его любимый врач Василий Бертенсон: «Говорят, что Петр Ильич был мизантроп. Так ли это? Правда, он избегал людей и лучше всего чувствовал себя в одиночестве, и это до такой степени, что даже такие близкие его сердцу люди, как сестра и братья, бывали ему в тягость, и в некоторые периоды он по временам был счастлив тогда, когда, кроме слуг, при нем никого не было. Правда, всякий человек, нарушивший его правильный строй жизни и вторгавшийся к нему без спроса, был ему “личный враг”. Правда, в особенности во время артистических триумфов за границей и в русских столицах, по рассказам очевидцев, “удрать” от

поклонников и спрятаться от друзей было заветнейшим и непрестаннейшим его желанием. Но все это проходило отнюдь не из нелюбви к людям, а, напротив — от избытка любви к ним. Кто знаком с его биографией, тот знает, что вся его жизнь была любовь ко всему существующему; от букашки до человека, от фиалки до благоуханного и яркого творения молодого художника, всему и всем желал блага и истинно был счастлив только, когда ему удавалось кого-нибудь осчастливить, кому-нибудь помочь и что-нибудь прекрасное поддержать». В рассуждениях Бертенсона страдает логика, но, с точки зрения психологии, они вполне компетентны.

Сам композитор, отличавшийся повышенной рефлексией, так же осознавал в себе фундаментальное противоречие. Ему всю жизнь не давала покоя дилемма: когда он был в России, то мечтал путешествовать по Европе, а когда оказывался за границей, на него нападала тоска по дому. Возникал болезненный страх одиночества. «Знаешь, что меня даже беспокоит это невыносимое состояние духа, которое нападает на меня каждый раз, когда я за границей бываю один! — писал он Модесту 3/15 июля 1876 года. — В этом есть что-то болезненное! Представь, что я вчера раз десять плакал. Я знаю только одно. Продолжаться так не может. Если невыносимая хандра не пройдет к концу недели, то я махну в Лион. Может ли быть польза в лечении, когда места с тоски не найдешь!»

Признавая свою склонность к тому, что он именовал «мизантропией», Чайковский тем не менее отвергал — в применении к себе — буквальный смысл этого понятия. «Я мизантроп не в смысле ненависти к людям, а в смысле тягости, испытываемой от соприкосновения с обществом людей. Но есть зато отдельные человеческие индивидуальности, мне близкие..<...> которые заставляют меня любить человека и удивляться его совершенству», — писал он фон Мекк 15 октября 1879 года.

В Гапсале было одно обстоятельство, которое, вероятно, способствовало усилению его раздражительности. Это касалось чувства, ответить на которое он не был готов. Переписка Чайковского с родными создает впечатление, что в этом случае отношения с женщиной могли выйти за рамки легкомысленного флирта. Но и здесь инициатива исходила не от него самого. Примечательно, однако, что, несмотря на давление семьи, он сумел превратить зарождавшийся (и одобряемый окружающими) роман в ни к чему не обязывающую дружбу. «Насчет того, что ты мне писала о воспоминаниях, оставленных в Каменке, — читаем в письме сестре еще в октябре 1865 года, — я отказываюсь верить, это не лезет мне в голову, и если б было справедливо, т. е. серьезно, то действовало бы на

меня очень неприятным образом».

Речь идет о Вере Васильевне Давыдовой, младшей сестре Льва Давыдова, зятя Петра Ильича. Нет сомнений, что молодая девушка испытывала к композитору довольно глубокое чувство. К этой теме, в характерной попытке перевести отношения в совершенно иной план, он обращается в письме Александре 8 августа 1867 года: «Ты спрашиваешь, отчего я решился ехать в Гапсаль, зная, что в нем живет особа, для которой мое присутствие небезопасно! Во-первых, оттого, что некуда было больше деться; во-вторых, мне хотелось провести со всеми ними лето, а в-третьих, мне кажется, что если то, что ты предполагаешь, существует действительно, то скорее мое отсутствие вредно для нее, чем присутствие. Когда меня нет, мою особу можно себе воображать, пожалуй, достойную любви, но когда женщина, любящая меня, ежедневно сталкивается с моими далеко не поэтическими качествами, как то: беспорядочностью, раздражительностью, трусостью, мелочностью, самолюбием, скрытностью и т. д., то поверь, ореол, окружающий меня, когда я далеко, испаряется очень скоро. Может быть, я слеп и глуп, но клянусь тебе, кроме самого простого дружеского расположения я ничего не замечаю. Итак, не сердись на меня и ради бога не думай, что я с какою-то печоринскою гордыней и злобой воспаляю намеренно нежное сердце, чтобы потом поразить его еще более холодным равнодушием. На такую крупную подлость я совершенно не способен, тем более, что нет предела любви и уважению, которые я питаю ко всему этому семейству».

Хотя есть все основания полагать, что чувства девушки всегда оставались безответными, именно в Гапсале напряженность в отношениях между ними достигла апогея. Но Чайковский отказывался признавать это. Оправдываясь перед сестрой и возражая ей, он пишет 11 октября 1867 года: «Или я совершенно глуп, или В[ера] В[асильевна] такая актриса, какой давно не бывало; если я прежде и мог еще опасаться того, что ты считаешь за совершившийся факт, то в это лето я убедился окончательно, что кроме самой будничной, так сказать, обыкновенной, хотя и сильной дружбы с ее стороны ничего нет. <...> Что касается до предположения твоего, что я из пустого тщеславия разжигаю ее чувство, то я надеюсь, что ты эту мысль уже покинула. <...> Клянусь тебе вести себя впредь так, как ты найдешь нужным, и, если ты велишь, я откажусь от всяких поездок в Петербург, так как быть в Петербурге и не быть у них невозможно».

Во всяком случае, именно в это время он написал три пьесы для фортепиано, «Воспоминания о Гапсале», посвященные Вере Давыдовой (рукопись этих пьес она всю жизнь бережно хранила в особой папке), и

создается впечатление, что в цитированном выше письме Петр Ильич или кривил душой, или находился во власти иллюзии. Не исключено, что не желая ее обидеть, он мог поддерживать в ней состояние влюбленности. Как бы то ни было, уже через год, по крайней мере с одной стороны, дело дошло до рассуждений о браке. Читаем в его письме сестре от 16 апреля 1868 года: «Одно, что меня мучит и тревожит, — это Вера. Научи и наставь мне: что делать и как поступить в отношении ее? Я хорошо понимаю, чем бы все это должно было бы окончиться, — но что прикажешь делать, если я чувствую, что я бы возненавидел ее, если б вопрос о завершении наших отношений браком сделался серьезным. Я знаю, что она из гордости, а другие по неведению или по посторонним соображениям нисколько не воображают об этом, но я знаю также, что, несмотря ни на какие препятствия, я бы должен был принять на себя инициативу в этом деле и благоприятное решение его считать для себя величайшим счастьем, ибо таких созданий, как она, нет. Но я так подл и неблагодарен, что не могу поступить, как бы следовало, и, ради бога, разорви это письмо».

Как видно, даже мысль о браке с девушкой, к которой он по-человечески искренне расположен, повергает Чайковского в отчаяние. Наконец, в длиннейшем письме Александре от 24 сентября 1868 года он с многочисленными оговорками, но настойчиво обосновал свой окончательный отказ: «Итак, напиши ей, чтоб она не допускала той мысли, что я ее не понимаю и ей не сочувствую. Время одно может утешать наши раны, устранить недоразумения и сделать наши отношения такими простыми и искренними, какими мы оба желаем, чтобы они были».

В этом письме уже прослеживаются некоторые принципы, осуществленные им позднее во взаимоотношениях с Надеждой фон Мекк. Главнейший из них — требование от женщины, испытывающей к нему целый спектр эмоций, в том числе и любовных, ограничиться единственно «духовной» дружбой. В этом смысле Вера Давыдова предвосхищает Надежду Филаретовну.

Вера Давыдова сумела выполнить невысказанное требование композитора — вывести свое отношение из сферы эроса в сферу дружбы, духа и интеллекта. В 1871 году она вышла замуж за вице-адмирала Ивана Ивановича Бутакова, который был старше ее на двадцать лет, и родила ему трех сыновей. До конца жизни она оставалась близким Чайковскому человеком — пылкой поклонницей его творчества и даже пыталась оказывать ему практическую помощь. Например, благодаря ей композитор познакомился с великим князем Константином Константиновичем. В 1884 году Чайковский посвятил ей романс «Усни». Символично, что именно у



Давыдовой композитор обедал в роковой день накануне последней своей болезни.

О повышенной сентиментальности Чайковского говорилось немало. Нет сомнения, что слова «плакать», «слезы» — из числа наиболее употребляемых в его лексиконе. В наше время сентиментальность воспринимается скорее негативно, но это результат воздействия иного культурного контекста. В XIX веке на протяжении долгого времени в ней усматривали здоровое выражение естественных эмоций — точка зрения, на самом деле не лишенная резона. Очевидно также, что процесс сочинения музыки не может не быть глубинно связан с сильнейшими переживаниями.

Большинство знакомых воспринимали Петра Ильича как человека совершенно нормального, и более того, весьма привлекательного, не только внешне, но и своими душевными качествами. Он вызывал у них целый спектр чувств — от простой симпатии до искреннего обожания. «На моих глазах просто не по дням, а по часам росла популярность Чайковского, — писал Константин де Лазари. — Все, кто только с ним входил в сообщение, сразу подпадали под его очарование. К началу сезона 1868—69 года это был уже один из самых больших любимцев Москвы, не только как композитор, но и как человек. <...> Да и нельзя было не любить его. Все, начиная с его моложавой наружности, чудных, глубоких по выражению глаз, привлекало к нему неотразимо. Больше же всего — эта поразительная в таком таланте скромность и трогательная доброта. Никто не умел так задушевно, мило обойтись с каждым, ни у кого не было такого детски-чистого и светлого взгляда на людей. Каждый чувствовал, говоря с ним, какое-то тепло, какую-то ласку в звуке его голоса, во взгляде. В консерватории он был кумир учеников и учениц, среди товарищей — всеобщий любимец, во всяком кружке знакомых — самый желанный гость. Его просто разрывали на части приглашениями и, не имея духа отказать никому, он принимал их, но это его очень тяготило, потому что отвлекало от работы сочинительства».

Удивительно, но современники не замечали у композитора «мизантропии», приступов ипохондрии и прочих форм идиосинкразии. Герман Ларош, например, утверждал: «...число людей, производивших приятное впечатление, людей, нравившихся ему [Чайковскому], людей, которых он за глаза, в интимной беседе восхвалял за симпатичность, доброту и т. д., иногда приводило меня просто в изумление».

Внутренний его облик в той мере, в какой он предстает из личной переписки или воспоминаний очень близких ему людей, может показаться невротичным, однако в реальной жизни он был иным — полным энергии, с

развитым чувством юмора по отношению к себе и окружающим, любящим повеселиться и пошутить. Об этом пишет в своих воспоминаниях Иван Клименко: «Смешлив Петя был ужасно», «Петя обнаруживал удивительное самообладание при самых смешных положениях, которые он сам, впрочем, и создавал». Мемуарист живо описывает, как Петр Ильич останавливает совершенно незнакомого человека, ехавшего навстречу на извозчике. Тот «смотрит с вопросительным недоумением на Петю и приподнимает шапку, а Петя ему: “Ах, извините! Я ошибся, пожалуйста, простите!” Все это было сделано им так серьезно, что я никоим образом не мог подумать, что это есть ответ Пети на мое предложение раскланиваться» с незнакомыми людьми, «что мы иногда проделывали с ним». Или другой случай. В компании Рубинштейна, Юргенсона, Кашкина, Губерта и Клименко Чайковский как-то ехал в поезде: «Петя расшалился, изображал “балетные” речитативы (он чудно это делал), становился в разные балетные же позы; вдруг предлагает нам: “Хотите, господа, я пропляшу мазурку перед дамами” (которые ехали в соседнем купе. — А. Я.). И не дождавшись ответа, с азартом запел мазурку из “Жизни за царя” и ринулся отважно с вдохновенным лицом к последнему купе, танцуя мазурку, а потом, сказав дамам скромно “pardon”, сделал при них же поворот назад и тем же аллюром мазурки возвратился к нам, сохраняя полную серьезность выражения на лице. Потом, разумеется, он принял участие в нашем дружном хохоте». Или наконец, комический поступок уже времени творческой зрелости, о котором Петр Ильич поведал Римскому-Корсакову: «Однажды... спасаясь от назойливого визита Корсова (оперный певец, баритон. — А. П.), [он] целых три часа пролежал, не шевелясь, под диваном у себя в кабинете, на котором, в ожидании возвращения Чайковского, преспокойно расположился Корсов, желавший во что бы то ни стало повидать его и убедить сочинить для него вставную арию в оперу “Опричник”». «Когда же, наконец Корсов убрался, — сказал Петр Ильич, — я как сумасшедший подбежал к письменному столу и тут же, задыхаясь от злобы, написал просимое. Можете себе представить, что это была за ария».

Приведенные примеры вряд ли напоминают поведение человека, балансирующего на грани безумия. Напротив, в них проявляется в первую очередь игровой момент (а это одна из основ любого творчества), выраженный в эксцентричности, спонтанности, озорстве, а именно, качествах, которые принято называть юностью души. Несомненно, бывали моменты, когда Чайковский испытывал чувство отчаяния. Чрезмерная обостренность восприятия, вскормленная детским «потерянным раем»,

закаленная испытанием смерти матери, прошедшая через целую серию мучительных кризисов (вкуче с высокой степенью интеллектуальной честности), время от времени должна была делать его жизнь невыносимой. И наконец, как справедливо заметил Ларош, он «принадлежал к числу тех немногих счастливицев, у которых жизнь устроилась в полном согласии с требованиями их сознания и их внутренней природы». Если вмешательство в процесс работы мгновенно выбивало его из колеи и повергало в отчаяние и пресловутую «мизантропию», то творческое усилие неизменно выводило его из уныния.

Тем более лишены основания попытки интерпретации этой сложной и богатой индивидуальности единственно с точки зрения различных аномалий, равно как и стремления некоторых биографов усмотреть в Чайковском едва ли не хрестоматийный случай нервной патологии и даже психопатии. При этом делается вывод о неразрешимости сексуального конфликта, вызванного несовместимостью его сексуальных склонностей с репрессивной общественной средой и якобы порождавшего в нем невыносимые страдания, которые довели его даже до самоубийства. Творческую жизнь художника нельзя сводить к эротическим проблемам, даже в сколь угодно сублимированном виде: ибо по вычете их остается личность, обладавшая душевным многообразием и немалым духовным опытом.

## Глава седьмая. Желаемое и действительное

По завершении учебного года композитор 26 мая 1868 года в компании Владимира Шиловского, его отчима Владимира Бегичева и друга их семьи Константина де Лазари отправился в длительное путешествие по Европе. Шиловский не только пригласил Чайковского присоединиться к ним, но и пообещал оплатить все расходы. По этому поводу 20 июля/1 августа из Парижа Петр Ильич писал сестре письмо-оправдание: «Ты уже, верно, знаешь при каких обстоятельствах и с какой обстановкой я поехал за границу. Обстановка эта в материальном отношении очень хороша. Я живу с людьми очень богатыми, притом хорошими и очень меня любящими. Значит, и в отношении компании очень хорошо. Тем не менее я сильно вздыхаю по отчизне, где живет столько дорогих для меня существ, с к[ото]рыми я не могу жить иначе, чем летом. Меня немножко бесит мысль, что из всех лиц, к[отор]ые были бы рады прожить со мной свободные три месяца, я избрал не тех, кого я больше люблю, а тех, кто богаче. Правда, что тут важную роль играет престиж заграницы». Поездка, однако, оказалась не совсем удачной: «Неделю прожил я в Берлине и вот уже пять недель живу в Париже. Мы мечтали, уезжая, что побываем в самых живописных местах Европы, но вследствие болезни Шиловского и необходимости посоветоваться с одним здешним доктором попали сюда, и нас держат здесь против воли». Однако воспоминания де Лазари рисуют более приятную картину их совместного путешествия: «Поехал я, как и другие, за счет В. С. Шиловского. Кассиром денег Володи и распорядителем (поскольку тому было только шестнадцать лет. — А. П.) был В. П. Бегичев. Поехали мы через Петербург, где пробыли двое суток, на Берлин и Париж. В Берлине провели целую неделю, два раза побывали в Зоологическом саду, посмотрели дворец и три раза были в загородном театре. Скучая и истратив, сам не понимая на что, 400 талеров, повез нас Бегичев в Париж. <...> На другой день встали мы очень рано. Выпили кофе, и Владимир Петрович роздал нам денег на жизнь и удовольствия. Хозяин денег, Володя, получил 400 франков, Чайковский и я — по 200. <...> Чайковский и Шиловский отправились куда-то жить и наслаждаться, а меня взял с собой Бегичев — гулять по городу и восхищаться всем, чем он заранее уже восхищался. <...> На другой день утром все рассказывали свои приключения, и конечно, больше всех, как видно, имел удовольствия Чайковский. Они с Шиловским были в Опера-комик, и он сказал мне, чтоб

я тоже туда шел. <...> Чайковский с Шиловским обедали всегда вместе, а Бегичев всегда со мной. Важный, довольный тем, что все называют его графом, постоянно при ордене, таскал он меня по самым дорогим ресторанам и без зазрения совести тратил чужие деньги. <...> Через месяц у Владимира Петровича уже и совсем их не было, и мы должны были во всем себе отказывать. За глаза Володя называл Владимира Петровича вором и говорил, что ему отомстит. Каждый день мы с Чайковским ходили в Опера-комик и доставляли себе там громадное удовольствие. Были мы и на первом представлении “Гамлета” (Тома) и, сидя рядом со знаменитым Обером, восхищались славным баритоном Фором». «Петр Ильич не мог достаточно наглядеться» на композитора Даниеля Обера и, «всматриваясь с благоговением в черты этого старца, все повторял мне: “Какой симпатичный!”».

Вернувшись в начале августа в Петербург, Чайковский навестил братьев, которые по-прежнему жили с Давыдовыми, как и в предыдущие два сезона, но в этот раз на даче в Силламягах (близ Нарвы), и в конце месяца отбыл в Москву, так как в начале сентября начинались занятия в консерватории. За лето он успел отвыкнуть от классов и «в первый урок так сконфузился, что принужден был минут на десять уйти, дабы не упасть в обморок», — как он сообщал в письме Анатолию 10 сентября. И далее: «Не помню. 2-го или 3-го встретился с Апухтиным в театре. Он сначала не хотел даже меня узнавать, так был сердит, но после долгих объяснений, наконец, умилоствовался. На другой день мы с ним обедали в Английском клубе, и там после обеда с ним сделалось дурно, так, что я страшно перепугался, но не потерялся, схватил его и потащил с большим трудом в сад, где вскоре он оправился. Должно быть, лишнее скушал что-нибудь. Следующий вечер мы с ним были у Шиловских, где он пленил всех своими рассказами. Затем он два дня пробыл в имении Шаховских, а вчера я с ним свиделся в опере. Давали “Отелло”. Пела прелестно Арто, и дебютировал очень хороший молодой тенор Станио. После оперы были в клубе и время провели приятно».

Как мы видим, Чайковский и Апухтин целую неделю наносили визиты своим друзьям. Будучи поклонниками итальянской музыки, они неслучайно попали на первое представление итальянской оперы, где слушали французское меццо-сопрано Дезире Арто. Впервые она появилась на сцене Большого театра еще весной 1868 года, но этой осенью ей предстояло сыграть заметную роль в жизни Петра Ильича.

«Роман» композитора с певицей Арто был самым поэтическим, может быть, единственным в своем роде эпизодом в личной жизни Чайковского.

Здесь мы отметим лишь психологические детали, упущенные другими биографами. Если коллизия с Верой Давыдовой предвосхищала позднейшую коллизию с Надеждой Филаретовной фон Мекк, то история с Арто напоминает неудачную женитьбу Чайковского на Антонине Милюковой. В обоих случаях артистические наклонности участников событий играли важную роль. Принципиальная разница, конечно, заключалась в предмете выбора: Арто была крупной личностью, выдающейся певицей и умной женщиной, а Милюкова ничем особенным не выделялась, не будучи даже «дамой, приятной во всех отношениях».

Дезире Арто — сценический псевдоним Маргерит Жозефин Монтаней, французской певицы (сопрано, позднее — меццо-сопрано) бельгийского происхождения, которая училась у Полины Виардо и с 1858 года выступала в «Гранд-опера». Композитор обратил на нее внимание только в период ее осенних гастролей в Москве. Невозможно переоценить значимость для Чайковского того факта, что Арто принадлежала миру искусства и музыки. Осмелимся предположить, что именно это составило психологическое основание его влюбленности. Недаром Ларош подчеркивал, что для композитора Арто стала «как бы олицетворением драматического пения, богиней оперы, соединившей в одной себе дары, обыкновенно разбросанные в натурах противоположных». Де Лазари признавал, что «действительно, было чем увлекаться. В этой несравненной певице совместились все: и голос, нежный, страстный, проникающий в душу, и сценический талант, равного которому я не знаю, и колоратура, которой она могла сравняться с одной Патти, и музыкальность». Надо полагать, что молодой композитор влюбился не столько в нее, сколько в ее исполнительское мастерство и ее голос. Тем более что по описанию Лароша это была «тридцатилетняя девушка с некрасивым и страстным лицом». Де Лазари, соглашаясь с ним, вспоминал, что «лицом она была некрасива: нос ее был широк, губы немного слишком толстые, но, несмотря на это, в выражении глаз, в манерах, изящных и грациозных, в обращении со всеми, в умении каждому сказать милое слово, приветливо поклониться... было столько прелести, что обаяние ее распространялось решительно на всех».

В доме Бегичевых Арто и Чайковский начали встречаться еще весной, но имя ее не появлялось в письмах композитора до самой осени. А 25 сентября, после концерта в Большом театре, где он побывал с Апухтиным, он писал Анатолию: «Арто — великолепная особа; мы с ней приятели». Ему же через месяц,

21 октября: «Я очень подружился с Арто и пользуюсь ее весьма

заметным благорасположением; редко встречал я столь милую, умную и добрую женщину». В ноябре последовало новое излияние на эту тему, теперь уже Модесту, но излияние не эротическое, а артистическое: «Ах! Модинька (чувствую потребность излить в твое артистическое сердце мои впечатления), если б ты знал, какая певица и актриса Арто! Еще никогда я не бывал под столь сильным обаянием артиста, как в сей раз. И как мне жаль, что ты не можешь ее слышать и видеть. Как бы ты восхищался ее жестами и грацией ее движений и поз!» (Вспомним, что братья много внимания уделяли культуре позы и жеста у певиц и балерин и даже имитировали женщин.)

В разгар гастролей Арто в Москве Мария Васильевна Шиловская устроила обед в ее честь. Восхищенная хозяйка даже встала на колени перед певицей и при всех поцеловала ей руку. Де Лазари рассказывал, что «забыв все подробности, я как теперь вижу лица Арто и Чайковского, смотрящих друг на друга, их взаимное смущение во время разговора и сияющие восторгом глаза». Более того, он приводит слова композитора о том впечатлении, которое она на него произвела: «Мне трудно понравиться, но эта женщина прямо с ума меня свела. Ей-богу, я никогда не представлял себе, что могу до такой степени увлечься. Когда она поет, я испытываю нечто совсем еще мне неведомое! Новое, чудное!.. А какая у нее рука!.. Я давно такой не видывал! Одна эта рука, с ее грацией во всяком движении, способна заставить меня позабыть все на свете».

К декабрю увлечение Чайковского стало очевидно для всех. Князь Владимир Одоевский после концерта, в котором участвовала Арто и присутствовал Чайковский, отметил в дневнике 22 ноября: «Чайковский что-то ухаживает за Арто». А брат Анатолий писал 3 декабря из Петербурга: «Я слышал, что в Москве только и говорят, что о твоей женитьбе на Арто», затем — 24 декабря: «Нечего и говорить, что наделали тут слухи о твоей женитьбе, потому что сам ты знаешь, насколько знающие тебя могут ожидать от тебя такой штуки». В этом контексте понятно начало письма композитора Модесту, написанное в середине декабря: «Давно не писал тебе, друг мой Модоша, но у меня было множество обстоятельств, лишивших меня возможности писать письма, ибо все свободное время я посвящал одной особе, о которой ты, конечно, слышал, и которую я очень, очень люблю. Кстати, скажи Папаше, чтобы не сердился на меня за то, что я не пишу ему о том, что все говорят. Дело в том, что решительно еще ничего нет, и что когда наступит время и все разрешится так или иначе, я ему первому напишу».

Модест отреагировал на такое заявление брата следующим образом:

«Так ты, может быть, женишься? Ты не поверишь, мой милый дорогой Петруша, как для меня странно звучит этот звук, и признаться сказать, мне не очень-то верится в искренность всего этого. Извини меня, мой милый, ты, может быть, рассердишься на меня за мое недоверие к тебе, но для меня это так ново, так неожиданно и не так приятно, что я не решаюсь верить этому с полной верой». (Как показали события, сомнения брата-конфиданта имели под собой основания.)

Наконец само торжественное письмо родителю от 26 декабря 1868 года: «Так как до Вас, конечно, доходили слухи о моей предполагаемой женитьбе и Вам, быть может, неприятно, что я сам о ней ничего Вам не писал, то я Вам сейчас объясню, в чем дело. С Арто я познакомился еще прошлой весной, но был у ней всего один раз после ее бенефиса на ужине. По возвращении ее нынешней осенью я в продолжение месяца ни разу у нее не был. Случайно встретились мы с ней на одном музыкальном вечере; она изъявила удивление, что я у ней не бываю; я обещал быть у нее, но не исполнил бы обещания (по свойственной мне тугости на знакомства), если б Антон Рубинштейн, проездом бывший в Москве, не потащил меня к ней. С тех пор я чуть не каждый день стал получать от нее пригласительные записочки и мало-помалу привык бывать у нее каждый вечер. Вскоре мы воспламенились друг к другу самыми нежными чувствами, и взаимные признания в оных немедленно за сим воспоследовали. Само собой разумеется, что тут же возник вопрос о законном браке, которого мы оба с ней весьма желаем и который должен совершиться летом, если ничего тому не помешает. Но в том-то и сила, что существуют некоторые препятствия. Во-первых, ее мать, которая постоянно находится при ней и имеет на свою дочь значительное влияние, противится этому браку, находя, что я слишком молод для дочери, и, по всей вероятности боясь, что я заставлю ее жить в России. Во-вторых, мои друзья, и в особенности Рубинштейн, употребляют самые энергичные меры, дабы я не исполнил предполагаемый план жениться. Они говорят, что, [сде]лавшись мужем знамени[той] певицы, я буду играть весь[ма] жалкую роль мужа моей жены, то есть буду ездить с ней по всем углам Европы, жить на ее счет, отвыкну и не буду иметь возможности работать, словом, что когда моя любовь к ней немножко охладет, останутся одни страдания самолюбия, отчаяния и гибели. Можно было бы предупредить возможность этого несчастья решением ее сойти со сцены и жить со мной в России; но она говорит, что, несмотря на всю свою любовь ко мне, она не может решиться бросить сцену, к которой привыкла и которая доставляет ей славу и деньги. В настоящее время она уехала уже петь в Варшаву, [мы остановились на том, что [лето]м я приеду



в ее имен[ие] ([бли]з Парижа) и там должна решиться наша судьба.

Подобно тому, как она не может решиться бросить сцену, я, со своей стороны, колеблюсь пожертвовать для нее всей своей будущностью, ибо не подлежит сомнению, что я лишусь возможности идти вперед по своей дороге, если слепо последую за ней. Итак, милый Папочка, Вы видите, что положение мое очень затруднительно; с одной стороны, я привязался к ней всеми силами души, и мне кажется, в настоящую минуту невозможным прожить всю жизнь без нее, с другой — холодный рассудок заставляет меня призадуматься над возможностью тех несчастий, которые рисуют мне мои приятели. Жду, голубчик, чтоб Вы мне написали Ваш взгляд на это дело».

Мы видим, что тон и интонация этого письма далеки от пылкой страсти: к последней, по определению, холодный рассудок отношения иметь не может. Любящий папаша ответил 29 декабря 1868 года, по обыкновению в своем неподражаемом стиле и с несокрушимым оптимизмом: «Друзья-приятели сознают твой талант, но боятся, чтобы ты не потерял его с этой важной переменой. Я против этого. Если ты ради таланта бросил службу, то, конечно, не перестанешь быть артистом даже и тогда, когда на первых порах не будешь счастлив; так бывает почти со всеми музыкантами. <...> Добрый друг сумеет возбудить твое вдохновение — успевай только записывать. С такой особой, как твоя желанная [Desiree], ты скорее усовершенствуешься, чем потеряешь свой талант. <...> Оставляй ей театральные подмостки не следует, а тебе не следует бросать занятие артиста по призванию... <...> Зачем предполагать, что ты лишишься возможности идти вперед по своей дороге, если слепо станешь следовать за ней? Это значит, что ты как будто не имеешь своего характера, а будешь простым прихвостнем, станешь только носить ее шлейф, а потом улизнешь в толпу как ничтожный прислужник? Нет, мой друг, будь ты прислужником, но только прислужником самостоятельным: когда она будет петь твою арию, так чтобы аплодисмент принадлежал вам обоим, — зачем же тогда слепо следовать. <...> Испытали ли вы себя?.. Испытайте еще раз и потом уже решайтесь...»

Сестра Саша отреагировала более бурно, написав 31 декабря: «Вот уже три дня, что я получила твое письмо, дорогой Петруша, и все еще не могу успокоиться, сердце бьется, в жар бросает, спать не могу, а все оттого, что радость пополам с тревогой; мне кажется, что так должны чувствовать матери, отдающие замуж шестнадцатилетнюю дочь. Итак, ты женишься, это очевидно. Одно из самых сильных, затаенных моих желаний сбывается; как же, казалось бы, не ликовать, а тут как назло тревожные мысли так и лезут». Не родительское благодушие, а женское сердце и дружеское

беспокойство оказались правы.

Об этом романе писали Модест, Ларош, Кашкин. Наиболее интересны, однако, воспоминания де Лазари: «Арто жила с матерью в гостинице “Шевалье”. Поклонников у нее была масса. Каждый спектакль ее буквально осыпали цветами и подарками, но никто не подносил более ценных и обращающих на себя внимание, как маленький, круглый, живой и энергичный, черный с узенькими хитрыми глазками армянин [Элларов], неизменно, каждое представление, в котором участвовала Арто, сидевший в первом ряду. Он влюбился в Арто до безумия и следил за ней шаг за шагом. <...> Главным образом он поставил себе за правило тронуть своим ухаживанием старуху-мать... Едва он узнает, что Арто на репетиции, как уже спешит в гостиницу к матери. Говорит ей о своих богатствах на Кавказе, о великолепном дворце, который у него там, что по-настоящему он князь и проч... Он рассказывал ей небылицы, будто Чайковский сын Садыка-паши (псевдоним третьестепенного писателя. — А. Я), разоренный игрок, весь в долгах, и прочий вздор, которому иностранка могла тем легче поверить, что не знала совсем условий русской жизни. Кончилось тем, что мать Арто вооружилась страшно против Петра Ильича».

Не исключено, что в числе наветов хитроумным маклером Элларовым были использованы и обвинения в гомосексуальности. Де Лазари продолжает: «Однажды в декабре я пришел к нему и застал его не веселым, как все предшествующее время, а убитым и расстроенным... “Слушай, Костя, был я вчера у нее. Сначала она была со мною мила, как всегда, но потом я заметил, что ей не по себе, что у нее есть какая-то забота. Я спросил, что такое. В это время пришла мать и едва мне поклонилась. Тогда я догадался, что кто-то насплетничал ей на меня. “Моя мать вооружена против вас, — сказала мне Арто, — но что бы мне ни говорили, как бы ни старались нас разъединить, знайте, что я всегда буду вам верна и никому, кроме вас, принадлежать не буду, но вы поймите, что мне все-таки тяжело видеть, что матушка поддалась клеветам, которые на вас возводят”. Как я ни старался узнать, что и кто говорит обо мне, она не хотела сказать и, продолжая уверять, что любит по-прежнему, просила уйти, чтобы дать ей возможность переговорить с матерью и постараться успокоить ее. Как видишь, веселиться мне нечему!” Я старался утешить его, как мог, но все было тщетно. Однако через несколько времени отношения Чайковского с матерью Арто снова возобновились, и перед отъездом своей невесты в Варшаву Петр Ильич опять стал часто бывать в гостинице “Шевалье”. Свадьба их была отложена до лета и должна была происходить во Франции в имении Арто».

Дальнейшее известно. Вероятно, в начале года до Чайковского дошли слухи, что с его невестой не все благополучно. Он писал Анатолию: «Касательно известного тебе любовного пассажа, случившегося со мной в начале зимы, скажу тебе, что очень сомнительно, чтоб мое вступление в узы Гименея состоялось; это дело начинает несколько расстраиваться: подробности рассказывать еще теперь преждевременно; когда увидимся, может быть, расскажу...»

Как Чайковский писал своему отцу, труппа Арто закончила гастроли в Москве и уехала в Варшаву. Там и произошло неожиданное: Арто вступила в брак с баритоном труппы Мариано Падиллаи-Рамос. Де Лазари рассказывает, как было получено в Москве это известие: «Однажды, уже в январе, вечером, часов в семь, входит к Петру Ильичу в комнату Николай Григорьевич, держа письмо какое-то и громко смеясь: “Знаешь, Петя, какое известие я получил? Прочти, или я, лучше, сам тебе прочту его. Господи, как я рад! Слава Богу, слава Богу! — Арто замуж вышла! И знаешь за кого? Падиллу! Ну, не прав ли я был, когда говорил тебе, что не ты ей нужен в мужья?! Вот ей настоящая партия, а ты нам, пойми, нам, России, нужен, а не в прислужники знаменитой иностранке”. Чайковский не сказал ни слова. Он только побледнел и вышел. Через несколько дней его уже узнать нельзя было. Опять довольный, спокойный и всецело занятый одной заботой — творчеством».

Странная история. Еще более странен комментарий Петра Ильича в письме Модесту от 1 февраля 1869 года: «История с Арто разрешилась самым забавным образом; она в Варшаве влюбилась в баритона Падиллу, который здесь был предметом ее насмешек, и выходит за него замуж! Какова госпожа? Нужно знать подробности наших отношений с ней, чтобы иметь понятие о том, до какой степени эта развязка смешна».

Интонация этого пассажа несколько настораживает: трудно избавиться от ощущения, что гомосексуальность композитора каким-то образом повлияла на происходящее. Впрочем, у нас нет никаких конкретных данных для таких предположений. Может, певица поверила наветам армянина (мог ли тот представить доказательства «содомических слухов»?) и, уезжая из Москвы, уже знала, что свадьбы не будет? Или же она действительно неожиданно влюбилась в Падиллу? Или же обманывала Чайковского еще в Москве, забавлялась игрой с его чувствами? Или же Петр Ильич с какого-то момента начал обманывать ее, а чувство к ней было потеснено другим?

Илья Петрович, реагируя на печальное известие, оказался, как и следовало ожидать, на высоте: «Поступок M-lle Арто меня радует. Слава

Богу, значит, что она не совсем увлекла тебя; интриганка, страстная женщина и фальшивая — вот кто она. Стало быть, не пара тебе — да и Бог с ней». Бледность Чайковского при известии о замужестве своей невесты не обязательно рассматривать как свидетельство потрясения от любовного фиаско — ведь уже через несколько дней он обрел спокойствие и вернулся к работе. Он вполне мог побледнеть от унижения и оскорбления самолюбия.

Однако чувства его были ранены, о чем свидетельствуют переживания осенью того же года. «Скоро мне предстоит свидание с Арто. Она здесь будет на днях, и мне, наверное, придется с ней встретиться, так как вслед за ее приездом начнутся репетиции “Domino noir” с моими хорами и речитативами и мне необходимо присутствовать на этих репетициях. Эта женщина сделала мне много вреда, и я, когда увидимся, расскажу тебе, — каким образом, но, тем не менее, меня влечет к ней какая-то необъяснимая симпатия до такой степени, что я начинаю с лихорадочным нетерпением поджидать ее приезда. Увы! Это все-таки не любовь», — читаем в письме Анатолию 30 октября 1869 года. Двумя неделями ранее он сообщал Модесту: «Итальянская опера у нас в полном ходу: Маркизио очень замечательные певицы, но после Арто я не в состоянии кого бы то ни было слушать с наслаждением. Кстати, эта исключительно прелестная женщина в Петербурге и проживет там 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> месяца (не знаю хорошенько, зачем); постарайся ее увидеть и думай, смотря на нее, что я чуть было не связался с ней узами Гименея». На что Модест ответил сразу 11 ноября: «Неделю тому назад слышал в концерте Арто, которая привела меня в неожиданный восторг. <...> Вообще же как женщина, своими манерами и лицом, она произвела на меня сильное впечатление, может быть, потому, что я при этом думал о том чувстве, которое она в тебе возбудила».

Кашкин рассказывал о случившемся эпизоде в свойственных ему сентиментальных тонах: «Мне пришлось сидеть в партере рядом с Чайковским, волновавшимся очень сильно. При появлении артистки на сцене он закрылся биноклем и не отнимал его от глаз до конца действия, но едва ли много мог рассмотреть, потому что у него самого из-под бинокля катились слезы, которых он как будто не замечал». Чайковский часто плакал, слушая музыку, и в данном случае его слезы могли быть вызваны скорее эмоциями, связанными с пением, чем воспоминаниями о минувшей любви. Их следующая встреча, произошедшая через шесть лет, в 1875 году, когда певица снова появилась в Москве в «Гугенотах» Мейербера, описана тем же мемуаристом: «В консерватории встретил Чайковского я, и мы

вместе отправились в директорскую комнату к Н. Г. Рубина штейну, но швейцар нам сказал, что к нему вошла какая-то посторонняя дама, и мы остались в приемной, откуда дверь вела в директорскую, ожидать выхода посетительницы, сообщая друг другу разные новости. Дверь директорской отворилась, вышла дама, которую я не узнал сперва, а Чайковский вдруг вскочил с места и весь побледнел. Дама в свою очередь слегка вскрикнула и так смутилась, что стала искать выхода в глухой стене, и потом, увидевши, наконец, дверь, быстро ушла в переднюю. Чайковский с минуту постоял молча, а потом разразился громким хохотом и сказал: «И я думал, что влюблен в нее». Вышедший вслед за дамой Н. Г. Рубинштейн с изумлением смотрел на эту очень быструю молчаливую сцену, потом мы все немножко поговорили о неожиданности такой встречи, и тем дело окончилось».

А в письме Анатолию от 11 декабря 1875 года Чайковский отозвался о ней весьма холодно: «Вчера здесь дебютировала Арто, которая потолстела до безобразия и почти потеряла голос, но талант взял свое». В ноябре 1868 года, на пике их не удавшегося романа, композитор посвятил ей фортепианную пьесу. Двадцать лет спустя, в 1888 году, они встретились как добрые приятели, и Петр Ильич галантно сочинил для нее шесть романсов. По-видимому, Надежда Филаретовна фон Мекк была права, когда с присущей ей проницательностью написала «бесценному другу», что единственная ей известная любовь к женщине в его жизни была, по ее мнению, платонической.

Той же осенью 1868 года Чайковский сочинил симфоническую фантазию «Фатум». Текст поэта Константина Батюшкова прилагался к первому исполнению фантазии 15 февраля 1869 года:

Ты знаешь, что изрек,  
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?  
«Рабом родится человек,  
Рабом в могилу ляжет,  
И смерть ему едва ли скажет,  
Зачем он шел долиной скорбной слез,  
Страдал, терпел, рыдал, исчез!»

Кашкин и Иван Клименко утверждали, что сам Чайковский вкладывал в содержание фантазии «нечто автобиографическое» и «личное, касающееся только его одного», — что именно, остается, однако, неясным,

— не исключено, что роман с Арто каким-то странным образом подействовал на его творчество. Текст Батюшкова был предложен их общим знакомым Сергеем Рачинским, профессором ботаники Московского университета и большим любителем музыки, еще до первого исполнения фантазии. Музыка «Фатума» плохо увязывается не только с этим стихотворным отрывком, но и с самим названием: величественное вступление, лирическое и полуплясовое *allegro* и светлый мажорный конец поэмы. Публика, собравшаяся на первое исполнение, также осталась в недоумении от несоответствия программы и музыки. Тем не менее новое сочинение Чайковского ей в целом понравилось. Критики же фантазию не оценили. Неровная по своему качеству, она вскоре была забракована самим сочинителем и партитура ее уничтожена.

Тридцатого января 1869 года в Большом театре состоялась премьера его первой оперы «Воевода». Спектакль прошел с успехом: автора вызывали 15 раз и поднесли ему лавровый венок. Однако профессионалы увидели в этой опере лишь задаток большого будущего композитора, поскольку сюжет ее был беден и, несмотря на общую русскую тональность, в ней слышались различные влияния — в основном немецкие и итальянские. Друг Петра Ильича Ларош, к тому времени оставивший свои композиторские амбиции и полностью посвятивший себя музыкальной критике, опубликовал статью об опере «Воевода», где заявил: «Опера Чайковского богата отдельными музыкальными красотами. Но в общем драматическом ходе она обличает в композиторе ограниченную способность применяться к разнообразным задачам слова и ситуации и отсутствие русского народного элемента». Эти упреки настолько сильно ранили Чайковского, что он решил прервать с Ларошем всякие отношения. И хотя через несколько лет они вновь приятельствовали, о возврате к прежней близкой дружбе уже не было речи. После представления композитор забрал партитуру оперы, и вскоре ее постигла та же участь, что и «Фатум». Оба сочинения были восстановлены по уцелевшим оркестровым голосам после смерти автора.

Несомненно, он искал свой собственный стиль — не столько русский, сколько европейский в своей основе, — обстоятельство, в то время еще не осознанное им до конца. Все его последующие попытки написать оперу в подчеркнуто русской манере — «Опричник», «Чародейка» и другие воспринимаются как насилие над складом личности, органически вобравшей в себя влияние французской, итальянской, немецкой и русской городских культур. Недаром испытание временем прошли только те оперные произведения, в которых Чайковский смог достичь сопереживания

общеевропейским ценностям: «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», «Пиковая дама», «Иоланта». Московский период творчества Петра Ильича с его загульной великорусской стихией, сопровождаемой верой в собственную способность адекватно воспроизвести народный элемент, как это сделал Мусоргский в «Хованщине» или «Борисе Годунове», был полезен ему только в смысле симфоническом. Русская, славянофильская идея была, несомненно, чужда Чайковскому. Основы его оперного психологизма лежали в строгой петербургской культуре, знакомой нам по романам Достоевского и поэзии Пушкина. Мешанина разнородных элементов и направлений, чем всегда отличалась Москва, особенно в шестидесятые годы XIX века, привнесла в его оперное творчество, как справедливо заметили некоторые критики, «налет провинциализма и безвкусыя».

С начала января 1869 года композитор работал над новой оперой «Ундина». В июле партитура была закончена. С детства Чайковский любил эту поэму Василия Жуковского, написанную на сюжет сказки Фридриха де ла Мотт Фуке. Дитя вод Ундина в человеческом облике стала возлюбленной рыцаря Гульбранда. Однако, согласно заклятию, она должна вернуться в подводное царство, если рыцарь ей изменит. И когда он увлекается Бертальдой, Ундина исчезает в водах Дуная. Рыцарь вскоре умирает, а верная Ундина, превратившаяся в ручей, обвивает его могилу, чтобы никогда не разлучаться с любимым. Сюжет этот, пленивший романтиков, привлек Чайковского тоской по человечности, самоотверженностью любви. Друзья высоко оценили работу композитора, и он отправил «Ундину» в Петербург для постановки в Мариинском театре. Однако она была отклонена за «ультрасовременное направление музыки, небрежную инструментовку и отсутствие мелодичности». Чайковский очень расстроился и тяжело переживал неудачу. Разыскав партитуру в 1873 году в Петербурге, он сжег ее, и об опере можно судить лишь по трем сохранившимся отрывкам — интродукции, арии Ундины из первого акта и хоре, дуэте и финале из того же акта, вошедших в программу концерта в марте 1870 года.

Светская жизнь, как и следовало ожидать, плохо сочеталась с работой. В начале марта 1869 года Петр Ильич получил приглашение на бал-маскарад, устроенный московскими артистическими кругами. Пришел он туда в женском платье. Существует несколько версий этой истории, но никакая из них не внушает доверия. Согласно одной, он появился на балу с матерью Владимира Шиловского, согласно другой — заключил пари с Кашкиным, что будет неузнаваем. Первая страдает продуманной

водевильностью, другая, очевидно, написана дочерью Кашкина после ознакомления с первой версией на страницах «Исторического вестника». Учитывая особенности психологии композитора и характера Шиловского, скорее всего\* появление в женском платье было инспирировано последним и поддержано Чайковским, с юности любившим исполнять женские роли в балете и обожавшим шутки. По-видимому, оба друга появились на балу в женских платьях, Чайковский «в роскошном домино из черного кружева», бриллиантах, «в руках веер из страусовых перьев», Шиловский — в костюме ведьмы. По другой версии, в костюме ведьмы была Мария Васильевна, его мать.

Всю весну и лето 1869 года внимание Чайковского было сосредоточено на разных семейных и рабочих проблемах. В мае Анатолий окончил Училище правоведения и получил должность в Уголовной палате в Киеве. Июнь и июль композитор провел в Каменке у сестры, куда съехалась вся семья, а в начале августа вернулся в Москву.

Жить в одной квартире с Рубинштейном было не очень удобно. Но Чайковский настолько ощущал себя подвластным начальственному Николаю Григорьевичу, что не смел заикнуться о переезде в отдельную квартиру, боясь его рассердить или обидеть. Так, ему пришлось поменять вместе с ним несколько квартир. Но в этом были и преимущества: он мог у Рубинштейна столоваться, а слуга последнего Агафон и его жена ухаживали за композитором.

«Однажды Н. Г. Рубинштейн захворал, — вспоминает Кашкин, — пролежал целый день в постели, а вечером несколько человек из консерваторских профессоров собрались развлекать больного, в том числе и Петр Ильич. Рубинштейн... от нечего делать приготовил целый рассказ, рассчитанный на жалость и впечатлительность [Чайковского]. В Москве стояли в то время жесточайшие морозы, доходившие до 35 Реомюра, — они-то и дали тему рассказа. Когда Петр Ильич уселся в своей задумчивой позе, Николай Григорьевич обратился к нему жалобным тоном: “А слышал ты, Петр Ильич, какой был ужасный случай неподалеку отсюда?” — “Что такое?” — жалобно в тон ответил Петр Ильич. Тогда последовал длинный тягучий рассказ о бедном, плохо одетом мальчике, которого с утра послали продавать по улицам мороженые яблоки. Конечно никто в такой мороз не покупает мороженых яблок, а мальчик жестоко зябнет, но не смеет вернуться домой, ибо ничего не продал. Наконец, его начинает клонить сон, но он знает, что на морозе сон есть смерть и потому всячески борется с пагубным желанием: бегают, прыгает, бьет рука об руку. Однако ничего не помогает, сонливость берет верх, мальчик, не будучи в силах далее



бороться, садится на лавочку и засыпает. “И что же ты думаешь? — закончился рассказ. — Просыпается уже мертвым”. Эффект превзошел ожидания рассказчика, ибо Петр Ильич, не заметив никакой несообразности, вскочил с места и с величайшим волнением, прерывающимся голосом сказал: “Ах, Боже мой, какой ужас!.. Проснулся и мертв!..” Когда хохот присутствующих заставил Чайковского очнуться, то он не сразу сообразил, в чем дело, а потом с досадой стал говорить, что если так рассказывать, то всякий поверит».

Осенью 1869 года он написал увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта». Замысел ее связан с именем Милия Балакирева, который не только предложил Чайковскому сюжет на тему Шекспира в качестве симфонического произведения, но и составил вплоть до деталей план увертюры, к сожалению, не сохранившийся. В конце сентября композитор приступил к работе, продвигавшейся, однако, очень туго. Узнав об этом, Модест в письме от 18 октября предложил собственную подробную программу: «Я был крайне удивлен, узнав, что ты пишешь увертюру к “Ромео и Юлии”, во-первых, потому, что я сам, недавно прочитав эту вещь, сочинил на нее увертюру, а во-вторых, потому, что ты, сам того не подозревая, исполнил одно из заветнейших моих желаний. <...> Вот программа моей увертюры. Сначала вражда двух семейств, изображаемых *ff* и *Presto*, затем мало-помалу из всякого шума и чепухи (изображающей вражду) выходит дивный гимн любви (*pp*), трубы и виолончели изображают любовь и характер Ромео, а скрипки и флейты — Юлии. Наконец гимн этот доходит до ужасающей страстности и принимает зловещий тон, все время прерываемый первой темой ссоры, но вдруг внезапно из страшного *ff* — пауза и затем мрачная фраза, оканчивающаяся тихими прерывающимися аккордами. Неправда ли, недурно!!!»

Это, как ни странно, помогло. Ровно через месяц, 18 ноября, Чайковский пишет брату: «...заказанную тобой увертюру к “Ромео и Джульетте” я благополучно окончил». Более того, в письме ему же от 2 марта 1870 года признает: «...в сочинении [увертюры] я так много обязан тебе».

Впервые она была исполнена 4 марта 1870 года под управлением Николая Рубинштейна, но это событие, к сожалению, осталось незамеченным. Но композитор был уверен в выдающемся качестве этой увертюры. «Кажется, это произведение лучше всего, что я написал», — писал он Анатолию 7 марта. В увертюре-фантазии «Ромео и Джульетта» автор задействовал три музыкально выраженных принципа шекспировской трагедии: вражду семейств, любовь молодых сердец и вмешательство

монаха Лоренцо. Три эти силы находятся в постоянной напряженной борьбе, приводящей в итоге к трагедии юных влюбленных. Нет сомнения, что музыка создавалась с необыкновенным вдохновением и энтузиазмом. В увертюре впервые зазвучали главные темы будущего творчества Чайковского: психологическая драма несбывшейся любви и неутоленность юношеской страсти в соприкосновении с поглощающей темой смерти. Осторожность всегда необходима при привязывании музыкальной композиции к биографическим событиям, любое произведение искусства скрывает опыт, ставший источником вдохновения, и в то же время выходит за его пределы. С точки зрения психологии творчества, два этих момента обязательно соединяются, таинственно и непредсказуемо. В «Ромео и Джульетте» Чайковского можно увидеть интимное звено между страстной музыкой и тайной драмой, разворачивавшейся в жизни самого автора во время написания пьесы. Нельзя исключить, что тема Шекспира слилась в сознании композитора не только с его безответной любовью к Сергею Кирееву, как утверждает Модест, но и с трагической историей Эдуарда Зака, очевидно, являвшегося предметом сильнейшей его страсти, и о котором, к сожалению, известно очень мало.

Эдуард Эдуардович Зак родился 13 июня 1854 года в семье русских немцев. В 1867 году он поступил в Московскую консерваторию вместе со своим двоюродным братом Рафаилом Кёбером, ставшим впоследствии профессиональным пианистом. В 1868 году по программе второго года он обучался в классе профессора Чайковского. Через два года решил покинуть консерваторию. Лето 1870 года молодой человек провел с Кёбером в Нижнем Новгороде. Сохранились два письма Кёбера Чайковскому этого периода, одно из них с припиской Зака, в которой он называет Петра Ильича на «ты», что свидетельствует о их близких отношениях. Записка написана несколько безграмотно. Видимо, русский язык юноша знал не очень хорошо: «Здесь в Нижнем Новгороде много хороших людей... Руфуша и я их ужасно любим. Я уже давно купаюсь с плотов и выучился порядочно плавать. <...> Мне тут очень хорошо и я весь июнь проленился, пробыл у матери и отца...» В конце августа молодые люди вернулись в Москву, где Чайковский и Кёбер, как это явствует из второго письма, намеревались пристроить Эдю в гимназию, куда он «может выдержать экзамен... разве только на латынь не смотреть».

С 1871 по 1872 год Зак служил на железной дороге в местечке Конотоп у старшего брата Чайковского Николая. В письме Петра Ильича брату от 28 сентября 1871 года читаем: «Очень тебе благодарен за сведения о Заке и за участие, которое ты в нем питаешь. Это чрезвычайно меня трогает и

свидетельствует о твоём добром сердце и способности ценить хороших людей. Я тебя хочу просить о следующем. Так как ты (к величайшему моему удовольствию) хочешь избавить на зиму Зака от поездок, то не сочтешь ли возможным и полезным для него дать ему в скором времени кратковременный отпуск в Москву? Я нахожу, что это необходимо для него, чтобы освежиться в среде несколько высшей, чем та, которая его окружает. Я боюсь, как бы не огрубел он и как бы не заглохли в нем инстинкты к умственному усовершенствованию. Наконец, ему необходимо повидаться с матерью, которая ноет в тоске о нем. Прошу тебя, голубчик, если ты находишь мое мнение основательным, дозвожь и даже прикажи ему проездиться в Москву; ты этим и мне доставишь большое удовольствие. Я сильно стосковался по нем и боюсь за его будущность: боюсь, чтобы физическая деятельность не убила в нем его высших стремлений. Скажу тебе откровенно, что если я замечу в нем нравственный и умственный упадок, то употреблю меры к приисканию ему другой деятельности. Но как бы то ни было, а мне совершенно необходимо его видеть. Ради бога, устрой это».

Письмо это наводит на размышления. Завершающее предложение действительно звучит слегка отчаянной нотой, которая предполагает большое желание Чайковского вновь встретиться с юношей. По-видимому, Зак был принят на службу Николаем по рекомендации брата, и это был тяжелый физический труд. Через пару лет Зак объявился в Москве, и 16 мая 1873 года Чайковский послал записку Карлу Альбрехту с просьбой разрешить тому присутствовать на ученическом спектакле в драматическом классе консерватории. Со временем он вошел в круг Шиловского. В письме Чайковского Альбрехту от 18 июня 1873 года читаем: «А что Зак? Удалось или нет?» — о чем конкретно идет речь, неясно. Но по непонятным причинам 2 ноября 1873 года девятнадцатилетний Эдуард Зак застрелился.

Мать Зака писала композитору: «Я узнала из газет про несчастье, которое случилось с Эдуардом. <...> Как Вы единственный, который может знать причину, которая заставила его посягнуть на свою жизнь, прошу Вас покорнейше, напишите мне все, что Вы об этом происшествии знаете, что побудило его на этот поступок. Я Вас прошу и умоляю как несчастная мать, напишите мне, где он похоронен и поставьте на его могиле какой-нибудь крестик».

Рафаил Кёбер в ответ на несохранившееся письмо композитора, где тот оповещал о смерти Зака, писал ему из Йены: «Страшно вспомнить о нем. Последний раз, как я его видел... он мне сказал, что его жизнь не может иначе кончиться как насильственной смертью. Эти слова были

сказаны с такой горечью, что глубоко запали мне в душу и подтвердили мое давнишнее предчувствие. Открыв Ваше письмо, первое слово, которое я прочел, Эдуард, и мне было достаточно этого, чтобы угадать остальное. Как последовательно развивалась его жизнь, чтобы кончиться катастрофой! Год от году она становилась безотрадной и пустой, пока он, наконец, увидел, что тот род деятельности, к которой его готовили от рождения, его удовлетворить не может. Он... вышел из колеи, развился слишком самобытно для того, чтобы приложить свое развитие к делу. Он жил в каком-то отдельном мире и был слишком мало подготовлен к какой-либо деятельности, подходившей под его умственные требования. Он сам с колыбели носил в себе зачатки этой грустной смерти, а я только был сильным орудием, которое ускорило ее. Я себя во многом могу обвинить. Я поссорил его с отцом, взял его из дома, я первый показал ему другой мир, и этим всем погубил его раньше. Я не думаю, чтобы Вы имели больше меня в чем-то раскаиваться. Во всяком случае, не будь нас, были бы другие причины и то же следствие. Всматриваясь в такую жизнь, как жизнь нашего милого Эди, можно уделаться полнейшим фаталистом».

Пятого ноября 1873 года Чайковский сообщил издателю Василию Бесселю (имя Эдуарда Зака здесь, однако, не упоминается): «Я теперь нахожусь под впечатлением трагической катастрофы, случившейся с одним близким мне человеком, и нервы Мои потрясены ужасно. Ничего делать я не в состоянии. Поэтому прошу тебя не торопить меня с фортепианными пьесами».

Наконец, в дневнике мы находим две мучительные записи — причем через четырнадцать (!) лет после смерти молодого человека, — сам срок более чем красноречиво свидетельствует о силе чувств: «Перед отходом ко сну много и долго думал об Эдуарде. Много плакал. Неужели его теперь вовсе нет??? Не верю». (4 сентября 1887 года.) И на следующий день, еще значительней: «Опять думал и вспоминал об Заке. Как изумительно живо помню я его: звук голоса, движения, но особенно необычно чудное выражение лица его по временам. Я не могу Представить, чтобы его вовсе не было теперь. Смерть, то есть Полное небытие его выше моего понимания. Мне кажется, что N никогда так сильно не любил, как его. Боже мой! Ведь что ни говорили мне тогда и как я себя ни успокаиваю, но вина моя перед ним ужасна! И между тем я любил его, то есть не любил, а и теперь люблю и память о нем священна для меня!» Запись эта (заметим, кстати, едва ли не длиннейшая об одном человеке во всех дневниках) замечательна во многих отношениях. Если принять во внимание содержащуюся в ней эмоциональную силу («я никогда так сильно не

любил, как его»), а с другой стороны, скудность сведений о Заке в биографиях композитора (характерно, что в трехтомнике Модеста он не упоминается во все), возникает впечатление почти неведомой нам, сложной и напряженной психодрамы, в которой Чайковский ощущал себя без вины виноватым. Очень жаль, что нет возможности установить, что именно имел в виду композитор, говоря о своей «ужасной вине» и о тщетном своем успокоении.

Шесть пьес на одну тему, о которых Чайковский упоминал в письме Бесселю, были закончены к концу ноября 1873 года. Этот цикл для фортепиано, посвященный Антону Рубинштейну, несет на себе печать трагических событий. Среди них — «Похоронный марш», все остальные пьесы, кроме финала, написаны в минорном ключе. Двумя годами позже Цезарь Кюи, самый строгий критик произведений Чайковского, признавал в своей рецензии, «что эта тетрадка с фортепианными пьесками весьма замечательна и ее следует причислить к самым лучшим произведениям». Некоторые исследователи творчества композитора склонны считать, что «на серьезные размышления наводит и факт появления Первого фортепианного концерта, сочинения в b-moll (тональности сонаты Шопена с известным похоронным маршем) менее через год после гибели Зака».

К моменту создания «Ромео и Джульетты» осенью 1869 года Заку было пятнадцать лет — расцвет подростковой красоты, которую Чайковский ценил более всего. «Нега и сладость любви» раскрылись в музыке главной темы увертюры. Мог ли он отдавать себе отчет, что во времена Шекспира роль Джульетты, как и все женские роли, всегда исполнялась актерами-мальчиками? Кто знает. Трудно, конечно, предполагать, какими таинственными и непредсказуемыми нитями увертюра связана с реальной жизнью, но в одном Николай Римский-Корсаков, также оставивший свой отзыв, несомненно, прав: тема эта «не поддается разработке, как и все вообще настоящие длинные и характерно замкнутые мелодии, но зато до чего она вдохновенна! Какая неизъяснимая красота, какая жгучая страсть; это одна из лучших тем всей русской музыки». С этого времени тема рока, любви и смерти в произведениях композитора будет доминировать.

Новый, 1870 год ознаменовался для Чайковского приездом в Москву Римского-Корсакова и Балакирева. Последний, говорится в письме Модесту 13 января, «все больше и больше начинает меня обожать, так что я, наконец, не знаю, как его благодарить за всю эту любовь». Римский-Корсаков также оказался дружески расположен и посвятил Петру Ильичу, по его словам, «очень хорошенький романс»: «Где ты, там мысль моя».

Всю зиму Чайковский много работал. Николай Кашкин вспоминал, что в консерватории «изредка на Петра Ильича находило состояние, когда он был совершенно погружен в себя, созерцая свой внутренний процесс творчества и относясь в *то* время до известной степени бессознательно ко всему внешнему миру и окружающим его. Его лицо принимало вид спокойной сосредоточенности, а глаза смотрели куда-то, как будто ничего не видя. Он, мне кажется, не отдавал себе отчета в том, что с ним делается нечто особенное, и продолжал вести Свой обычный образ жизни: аккуратно являлся в классы, поправлял, быть может, и рассеянно, работы учащихся, давал новые задачи и даже приходил на какие-нибудь сборища нашего товарищеского кружка и сидел молча в стороне, склонив немного голову и подпирая ее правой рукой — это была его обычная поза, если он о чем-нибудь сосредоточенно думал. Он как будто слушал, что говорилось кругом, но плохо понимал, хотя и отвечал на обращенные к нему вопросы. В это время он мог выслушать и сказать любую бессмыслицу с самым серьезным и спокойным видом. Мне он чрезвычайно нравился в такие минуты, и я не мог себе позволить подшутить над его состоянием, но другие, случалось, не выдерживали искушения.

Так например, Ларош, показывая на заглавном листе нот обозначение “Oeuvres posthumes”, спросил: Петр Ильич! Это значит сочинения, написанные “после смерти”? — Ну да, конечно, “после смерти”, — последовал спокойный ответ, а когда окружающие стали смеяться, то он им только сказал: “Ах, да отстаньте, Ларош, с вашими глупостями!”».

Среди новых сочинений этого периода выделяются шесть романсов (оп. 6). В начале 1870 года они были изданы, и два из них — «И больно и сладко» (на слова Ростопчиной) и «Нет, только тот, кто знал» (на перевод Льва Мея «Песни арфиста» из четвертой книги романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейртера») — сразу получили признание и часто исполнялись на концертах. По словам Лароша, «романсы эти не только выдвигаются из ряда обыкновенных сочинений в этом роде, но и между доселе известными мне произведениями г. Чайковского Шимают первое место, отличаясь именно такими качествами, которые у него встречаются реже всего: меткостью выражения и гармонической законченностью формы».

Чайковский продолжает встречаться с Апухтиным, проводит время со своим другом и в Москве и в Петербурге, периодически они переписываются. По воспоминаниям мемуариста, Апухтин «удивительно любезный и всегда почтительно вежливый с дамами и только слегка с ними остроумный... совершенно преображался в мужской компании. Такого поразительного, занимательного человека и увлекательного рассказчика, с

самым невинным лицом преподносившего по временам различного рода *horreur*'ы в стихах и прозе, я и потом почти не встречал. Когда говорил Апухтин, все и вся умолкали. Надобно сознаться, что срывавшееся с уст Апухтина, несмотря на цинизм, по временам доходивший до Геркулесовых столбов, было, однако, проникнуто таким остроумием, облечено в такую привлекательную форму, что ради этого одного забывалась более чем непринужденность содержания, и Алексея Николаевича слушали без конца...».

Избранный им стиль легкомысленного светского бонвивана не означает, что поэт не страдал от неразделенной любви. В неопубликованном и недатированном письме Апухтина Чайковскому, но определенно относящемся к этому времени, он признавался своему другу: «Как неисправимый идеалист, я снова влюблен и никогда еще не был влюблен как теперь. Вижу отсюда твою ироническую улыбку: всегда, мол, ты говорил это. Ноты ошибаешься: это действительно последняя любовь, в которую я вложил всю свою душу. Не говорю, что она вечная — завтра она может пройти и рассеяться, как дым — во всяком случае, она последняя! Я до того поглощен ею, что все остальное имеет в моих глазах какое-то фиктивное существование. Когда-нибудь я напишу тебе о любви моей — выйдет объемистый том, — писать об остальном я не в состоянии».

Вот первая (при жизни не опубликованная) редакция его стихотворения, написанного в 1869 году и обращенного к двадцатилетнему Алексею Валуеву, однокурснику Модеста по Училищу правоведения. Она сохранилась в дневнике последнего:

Сухие, редкие, нечаянные встречи,  
Пустой холодный разговор,  
Твои рассчитанно — уклончивые речи,  
И твой умышленно тяжелый строгий взор —  
Все говорит, что надо нам расстаться,  
Что счастье было... но прошло.  
И в этом также горько мне сознаться,  
Как кончить с жизнью тяжело.

По-прежнему везде неотразимо  
Вопрос меня тревожит роковой:  
Что на сердце твоём? Царит ли в нем покой,  
Или тоской оно томимо,  
И где-то ты теперь, и кто теперь с тобой.

По-прежнему тот день я ненавижу,  
Когда не выскажу тебе моей тоски,  
Твоей приветливой улыбки не увижу  
И не пожму твоей руки.

В письмах того времени Чайковский часто упоминал и другого своего приятеля времен Училища правоведения, князя Владимира Мещерского, постоянно занятого собственной карьерой журналиста и политика, также известного своей нетипичной сексуальной ориентацией. В это время он с помощью Мещерского пытался устроить будущее своих младших братьев — вначале Анатолия, потом Модеста. Читаем уже в цитированном письме Анатолию от 30 октября 1869 года: «Положим, что я имею о тебе довольно подробные сведения от Мещерского, но этого недостаточно. <...> Само собой, что мы видимся ежедневно и уже имели два-три крупных разговора... <...> мне нравится то, что он так тебя любит. Между прочим, он в Петербурге будет всячески о тебе заботиться». А 18 ноября 1869 года Петр Ильич сообщал Анатолию: «Не помню, писал ли я тебе, что Мещерский, уезжая отсюда, дал мне слово усердно хлопотать о тебе в министерстве, и я не сомневаюсь, что твое желание получить место следователя будет исполнено». И в письме Модесту от 1 ноября 1870 года читаем: «Быть может, и устроится твоя заветная мечта жить в Петербурге, если Мещерский энергично похлопочет». Готовность князя повлиять на будущее Анатолия и Модеста наводит на мысль о том, что Мещерский, возможно, испытывал эротический интерес к обоим юношам. Как бы то ни было, его усилия имели двойственный результат: карьера Анатолия медленно пошла вверх, а Модестово пребывание на государственной службе закончилось полным провалом.

В феврале 1870 года композитор, вдохновленный трагедией Лажечникова, шедшей в сезоне 1869/70 года в московских театрах, начал работу над оперой «Опричник». Но скоро стал хандрить, почувствовав, что творческий запал несколько иссяк. 1 мая 1870 года он жаловался Ивану Клименко на неудачи того года: «1) Болезнь, толстею непомерно; нервы раздражены до крайности; 2) финансовые дела совершенно плохи; 3) консерватория надоела до тошноты; все более и более убеждаюсь, что к преподаванию теории сочинения я не способен».

При этом взаимоотношения композитора с одним из его ранних и любимых учеников, Володей Шиловским, продолжали развиваться, в плане



как музыкальном, так и человеческом, не лишённые, однако, психологических проблем. Нужно отметить, что к середине 1860-х годов произведения Шиловского уже игрались в открытых концертах и спектаклях. Известно об исполнении двух его вставных арий к опере Фердинанда Кауэра «Леста, или Днепровская русалка» 13 декабря 1866 года в Большом театре и затем, в марте 1867 года, Концертной увертюры. По просьбе Чайковского он также написал антракт ко второму действию оперы «Опричник». Вероятно, к этому времени в характере Шиловского уже обнаружились разрушительные начала, не раз приводившие его впоследствии к истерии и скандалам. Отчасти, возможно, по причине ненормальности обстановки в их доме: «...вчера вечером я оттуда [из Царицына. — А.П.] проехал на дачу к Володе. <...> Володя здоров, но в их семействе разыгрываются теперь такие драмы, что, я боюсь, он опять свихнется», — писал композитор Анатолию 3 августа 1869 года. И далее: «Часто бываю на даче у Шиловского и ночую у него. Он живет отдельно и в начале сентября уедет; ужасно зовет меня ехать с ним, но я решительно отказываюсь, благоразумно сообразив, что в первый же месяц он мне надоест, что, находясь в материальной зависимости от него, я буду относиться к нему враждебно, и что, одним словом, несмотря на прелести Ниццы, я буду сожалеть о Москве и об потерянном положении». Итак, наряду с эмоциональными проблемами в отношениях с учеником присутствует и другая тема — материальная зависимость.

Однако Петр Ильич уступил просьбам Шиловского сопровождать его хотя бы до Петербурга, о чем и написал Анатолию: «Володя так просил меня проводить его, что я не мог отказать. Мне очень хотелось быть там инкогнито». Инкогнито не удалось. Родственники, узнав о его приезде, обиделись. В следующем году ситуация повторилась. «Шиловский очень зовет за границу; я бы, пожалуй, к нему на месяц и съездил бы, да ведь у него семь пятниц на неделе», — сообщает Петр Ильич Модесту 3 марта 1870 года. И 23 апреля пишет Анатолию об этом же: «Отчасти радуюсь, а отчасти сокрушаюсь; радуюсь, ибо за граница всегда имела в моих глазах обаяние, сокрушаюсь, во-первых, тебя не буду долго видеть, а во-вторых, боюсь, что Шиловский будет своими сумасшедшими выходками отравлять мне удовольствие, хотя в своих письмах он божится и клянется, что всячески будет меня покоить и лелеять».

Чайковский выехал в Петербург 17 мая, где провел два дня во встречах с друзьями и коллегами: с Балакиревым и его кружком, Модестом, Апухтиным и Адамовым. 20 мая он отправился прямо в Париж, где его ждал страстно желавший увидеться ученик. «От Питера до Парижа я ехал

безостановочно; устал страшно и подъезжал в ужасном волнении, — писал он Анатолию 1 июня из Содена в Германии, где Шиловский продолжил лечение. — Я боялся найти Шиловского умирающим, однако хотя он и очень слаб, но все же я ожидал худшего. Радость его при виде меня была неописанная. Мы пробыли в Париже трое суток и затем отправились сюда. <...> Сильно напуган был обмороком Володи, но все прошло благополучно. <...> Теперь тоска угомонилась: я очень серьезно отношусь к своей обязанности следить за Володей. Он висит на ниточке, доктор сказал, что при малейшей неосторожности он может впасть в чахотку, если же он выдержит хорошо лечение, то может быть спасен. Любовь его ко мне и благодарность за мой приезд так трогательны, что я с удовольствием принимаю на себя обязанность быть аргусом его, т. е. спасителем его жизни. <...> Вчера мы ездили с Володей на ослах. <...> А что будет, если я увижу Швейцарию, куда я непременно отправлюсь с Володей». 7 июня он писал Модесту: «Я энергически борюсь с тоскливыми настроениями, утешая себя мыслью, что я положительно спасаю Володю своим строгим надзором над ним. <...> На Володе благотворное влияние лечения уже заметно; у него появился отличный аппетит, сон, на лице краски, возвратилась способность подолгу ходить пешком, и даже начинает он толстеть».

Их совместное пребывание в Германии было, несмотря на праздную жизнь, ознаменовано несколькими событиями музыкального характера. Два дня композитор провел в Мангейме, где проходил музыкальный фестиваль в связи с 100-летием со дня рождения Бетховена. Программа этих торжеств была «весьма интересная», а качество исполнения музыки Бетховена «удивительное». В частности, он впервые услышал «Missa polemnis» Бетховена, по мнению Чайковского — «гениальное музыкальное произведение». Оставшуюся часть лета они пропели в Швейцарии, в Интерлакене.

Пребывание в Швейцарии было отнюдь не столь благополучно, как хотелось бы, и учитель не слишком наслаждался обществом ученика. По возвращении он сообщал Модесту 17 сентября 1870 года: «Володя до того нравственно опустился, уделался так отвратительно пошл и пуст, что на него остается рукой махнуть. Впечатление во мне от моей нынешней поездки осталось неприятное. Хотя я и ходил по Швейцарии и видел такие красоты, каких, не видав, и вообразить нельзя, но постоянное сожительство с таким пустяшным самодуром, каким сделался теперь Шиловский, хоть кому надоест». Но и такая ситуация не помешала его музыкальным занятиям. Так, по совету Балакирева, он нашел тогда время переделать

увертюру «Ромео и Джульетта»: заменил интродукцию, переписал середину и переделал инструментовку. В 1880 году композитор вновь обратится к этой увертюре и придаст ей окончательный вид.

Чайковский вернулся в Россию 24 августа и получил известие о том, что снова стал дядей: две недели назад Александра родила сына Дмитрия. 1 сентября он приступил к занятиям в консерватории, теперь уже по классу инструментовки. Разумеете», преподавание отнимало много времени и работа над новой оперой «Опричник» продвигалась медленно. В октябре он взялся сочинить музыку к балету «Сандрильона», но в конце концов забросил этот проект. В течение зимы он, однако, часто и с удовольствием посещал концерты.

В начале февраля 1871 года Николай Рубинштейн предложил ему составить программу для его собственного авторского концерта в Малом зале Российского благородного собрания. Пригласить большой симфонический оркестр стоило немалых денег, и тогда Рубинштейн посоветовал написать квартет для струнных инструментов. Чайковского настолько увлекла эта мысль, что в течение месяца он сочинил и инструментовал квартет.

Концерт состоялся 16 марта. В его программу входили фортепианные пьесы, исполненные Николаем Рубинштейном, дуэт из оперы «Воевода», романсы, новое вокальное трио «Природа и любовь» и Первый квартет. Все номера были встречены с энтузиазмом, но больше всего собравшиеся оценили новый квартет, особенно вторую его часть — *Andante cantabile*. Годом позже он произведет фурор в Петербурге. По известности и количеству исполнений к концу XIX века это сочинение заняло в России одно из первых мест среди творений Чайковского. С тех пор изящество, законченность формы и единство музыкальных частей в совокупности с захватывающей мелодической силой и благородством воплощения главных тем стали отличительной чертой его композиторского стиля. Ларош в своей рецензии на концерт отметил в квартете «прелесть сочных мелодий, красиво и интересно гармонизированных», хоть и не без иронии упомянул «несколько женственную мягкость» этой музыки.

Поразительна интенсивность развития дарования молодого Чайковского. За пять лет, с 1866 по 1871 год, он создал около трех десятков произведений. Среди них две оперы, одна симфония, две симфонические фантазии, увертюра, сборник из 50 обработок русских народных песен, двенадцать пьес для фортепиано, квартет и многочисленные переложения, переработки и сочинения к драматическим спектаклям. Из всего этого, несомненно, заявкой зрелого мастера стали Первая симфония, «Ромео и

Джульетта» и Первый квартет.

## Глава восьмая. Московский «мирок»

В сентябре 1871 года композитор наконец снял для себя отдельную квартиру на углу Гранатного переулкa в районе Спиридоновки. Квартира эта, по рассказу Кашкина, «была крохотная и состояла из двух комнат и кухни, в которой помещался деревенский парень, исполнявший должность слуги Петра Ильича и стряпавший ему обед, неизменно, кажется, состоявший из гречневой каши и щей, так как другого ничего этот слуга делать не умел. <...> Парень... обучался как искусству ухода за барином, так и кулинарному на самом Петре Ильиче и его желудке; Петру Ильичу приходилось быть при этом учителем, И, конечно, наука давалась не сразу, и происходили по временам комические недоразумения, подробности которых исчезли из памяти, но в то время заставляли много смеяться всех нас, консерваторских». Вероятно, Кашкин имеет в виду проблемы с пищеварением, которые Чайковский испытывал на протяжении всей своей жизни. «Эти хозяйственные неудобства не особенно тяготили Петра Ильича, — продолжает Кашкин, — но ограничиваться сообществом парня он не мог и завел даже себе мужчину-приживалку в лице некоего Бочечкарова, добродушно самодовольная ограниченность которого забавляла его по временам, но далеко не всегда».

Деревенским парнем, взятым Чайковским почти сразу по Переезде на собственную квартиру, был Михаил Софронов, 23-летний крестьянин Клинского уезда, прежде уже служивший у другого консерваторского преподавателя — Федора Лауба. Искушенный и испорченный пребыванием у прежних господ, Михаил в том же году познакомил композитора со своим младшим братом — двенадцатилетним Алексеем. Мальчик ему понравился, и, несмотря на то, что тот был абсолютно неопытен как слуга, Петр Ильич решил взять его к себе, в дополнение к Михаилу. Последнего Чайковский через пять лет рассчитал, и Алеша перешел в его единоличное пользование.

Молодой Михаил, вероятно, был недурен собой, ибо вызывал эротический интерес Модеста. В одном из писем своему брату, посвященных делам гомосексуальным, Чайковский пишет: «Предмет твоей любви — Михайло просит передать тебе, что ездил к Сергию, вынимал “часть” про твое здоровье. Этот Лепорелло делается замечательно комичен в последнее время. Впрочем, я им очень доволен, и еще больше его братом». В переписке с Модестом этих лет имя Алексей появляется особенно часто. Так, например, 14 сентября того же года Чайковский не без

удовольствия отмечает, что «Алексей Иванович Софронов, который теперь стоит сзади меня и чешет мне голову, просит очень тебе кланяться. Он такой же милый, как и был, только немножко вырос!». Чесание головы стало излюбленной лаской, которую слуга доставлял композитору. И много позднее Чайковский не забывал регулярно отмечать эту процедуру в дневнике.

Неудивительно, что со своей неустроенностью и холостяцкими привычками, постоянными переездами с места на место и неспособностью справиться с повседневными делами Петр Ильич очень привязался к Алеше Софронову. Обстоятельства сложились так, что юноша, особенно после расставания со своим братом, стал для композитора единственным человеком, в котором он неизменно нуждался. Судьба избрала его и сделала настолько значимым для Чайковского, что жизни их соединились навсегда.

Удовольствие от общества Алеши незаметно переросло в глубокое и устойчивое чувство. «Все московское мне кажется особенно милым, а уж воспоминание об Алеше просто болезненно меня томит», — пишет композитор Модесту 27 апреля 1874 года из Флоренции. А летом 1875 года он пишет своим слугам: «Милые мои Миша и Леничка! <...> Провожу время тихо и приятно. <...> Леня, здесь выстроили теперь отличную баню... и вчера мы в ней парились. А сплю в той же комнате и очень тоскую, что со мной нет, как в прошлом году, моего милого Лени, о котором я постоянно думаю». 7 июня 1876 года из Каменки: «Милый мой Леня! Очень я без тебя соскучился и со страхом думаю, что еще целые три месяца тебя не увижу. Как ты здоров и как поживаешь?»

Алеша был для Чайковского всем: слугой и спутником в путешествиях, экономом и нянькой, другом, учеником и в какой-то степени даже сыном. Вне всяких сомнений, какое-то время, в самом начале их отношений, он был и любовником своего барина. В конце 1877 года композитор, переживая один из мрачных периодов своей жизни, писал Анатолию о том, что нашел утешение в своем слуге: «Он чрезвычайно хорошо понял, что мне от него нужно теперь, и удовлетворяет с лихвой всем моим требованиям». Сексуальный подтекст здесь настолько очевиден, что советские цензоры в поздних изданиях переписки Чайковского купировали этот пассаж.

Временами он мог испытывать неудобство от подобной близости. Несмотря на силу своих чувств и представления о равенстве всех людей, композитор оставался сыном своего времени и был не в состоянии целиком избавиться от сословных предрассудков. В январском 1879 года письме Анатолию он раздраженно замечает: «Удивительная вещь, до чего он

бывает мил, когда его держишь на положении лакашки... <...> и до чего он тотчас же портится, когда... живешь с ним не как с слугой, а как с товарищем». Много позже, 22 мая 1886 года, он сделает запись в дневнике: «Должно признаться, что своей манерой вечно и по поводу всего спорить он *a la longue* [в конце концов. — *фр.*] делается невыносимым в смысле приятности сообщества. <...> Вообще я ценю и люблю Алешу вполне только в деревне, где все нормально и спорить не об чем». Тем не менее, даже несмотря на раздражительность, нередко испытываемую им по отношению к самым близким людям, в сохранившемся корпусе его писем и дневников обнаруживается поразительно Мало негативных отзывов об Алексее Софронове. Он мог ощущать противоречие между страстной привязанностью к молодому человеку, ставшему практически его воспитанником, и раздражением из-за его низкого происхождения, но тем не менее странная связь между господином и слугой продолжала крепнуть. В сентябре 1876 года, когда юноше исполнилось семнадцать лет, Чайковский писал Модесту: «Алеша очень вырос и невыразимо подурнел, но для сердца моего остался мил, как и всегда. Что бы ни случилось, а с ним я никогда не расстанусь».

С другим персонажем, упомянутым Кашкиным в цитированных выше воспоминаниях в связи с новой квартирой Чайковского, Николаем Львовичем Бочечкаровым, композитор познакомился скорее всего в окружении Шиловского. В биографии брата Модест Ильич дает весьма любопытное его описание: «Довольно полный, с усиками *a la Regence*, с почтенным видом важного не у дел сановника, проживавшего на покое в первопрестольной, с манерами старого фасона аристократов, с их оборотами речи, изобилующей столько же галлицизмами, как словечками, перенятыми у старых нянюшек. “Маво”, “тваво”, “давеча”, “намеднись”, “таперича” то и дело перемешивались с выражениями “не класть ноги” к кому-нибудь, “не брать чай”, а то и просто с французскими словами, как этого когда-то требовал “бонтон” и как до сих пор еще дамы говорят в глубокой провинции. Но так же, как и дамы, чуть нужно было связно сказать что-нибудь по-французски, он путался, потому что в сущности языка совсем не знал. Жил он “рентьером”, т. е. ровно ничего не делал, и это не только под старость, Но, кажется, с тех пор, как себя помнил».

По всей видимости, женские характеристики Бочечкарова («нянюшки», «дамы») подчеркнуты Модестом Ильичом не случайно. Он и далее акцентирует этот момент в его поведении: «...крестился он как важные дамы — маленьким, маленьким знамением на груди» или: «...не думаю, чтобы он хоть раз в жизни прочел хоть одно из Евангелий, но его

религиозность Московской кумушки и не нуждалась в этом». Уже это рассуждение наводит на мысль о гомосексуальном стереотипе.

И в те времена, и сейчас в мужских группах, практикующих однополую любовь, можно было часто наблюдать лиц, по разным причинам стремящихся имитировать женские манеры: они особенно тяготеют к устойчивым элементам данной субкультуры и отчасти характеризуют ее для мало посвященного наблюдателя. Их мотивы могут быть двоякими — личные склонности к феминизации или же, наоборот, социальное давление меньшинства, ожидавшего именно такого поведения от своих членов. Как бы то ни было, в случае с Бочечкаровым главным занятием его было разнесение сплетен: «Знала его добрая половина так называемого “общества” в Москве, а он знал всё, что в нем делалось. Встречали его везде с удовольствием, потому что своим бодрым и весьма веселым видом он всем был по душе; затем, всегда приносил кучу интереснейших новостей, как слышанных им накануне, так и вычитанных из полицейской газеты».

Особенно знаменательными были личные и финансовые обстоятельства Бочечкарова: «Курьезнее же всего в этом человеке было то, что, ведя такое приятное существование, имея всегда маску довольства жизнью и благополучия, он был нищий. У него не было решительно ничего, и жил он исключительно подаениями. <...> Большую же часть жизни его всегда с удовольствием поддерживали близкие знакомые, причем он принимал эту подачку так, чтобы и думать не смели за это обращаться с ним хуже, чем с другими... когда хотели посмеяться над ним, вскипал гневом и, не церемонясь, отделивал в пух и прах кого угодно. В результате его побаивались...»

Модест Ильич прилагает усилия, дабы внятно объяснить, почему именно эта несколько шутовская фигура привлекла Чайковского до такой степени, что когда «он с радостью узнал, что может содержать его», то уже «до самой смерти Бочечкарова взял на себя денежные заботы о нем». В изображении Модеста Ильича эти резоны по преимуществу эстетико-ностальгические: «Петр Ильич, до страсти любивший старину, в особенности московскую, как увидел Николая Львовича — так моментально влюбился в этот осколок прошлого, со всеми его чудачествами, предрассудками и вымирающими нравами. Слушать хотя бы речь Николая Львовича уже было ему наслаждением, а рассказами его он просто упивался, как интереснейшим чтением. Изучать привычки, слушать рассуждения, поучаться всевозможным предрассудкам этого старичка стало любимым его времяпрепровождением в свободные часы». И далее: «Когда



Петр Ильич переехал на собственную квартиру... <...> в его ежедневном обиходе Бочечкаров стал какую-то необходимостью, и ничто не действовало на него так примиряюще и успокоительно после нескольких часов тяжелого труда, как бесконечная болтовня этого вечно сиявшего довольством старичка. Иногда, впрочем, он являлся не вовремя, тогда Петр Ильич сердился, но стоило ему произнести какое-нибудь словечко, от которого пахло Москвой до нашествия французов, как гнев таял и сменялся хохотом, работа откладывалась и дружба восстанавливалась».

Казалось бы, нет оснований сомневаться в достоверности картины, нарисованной Модестом Ильичом, судя по которой Бочечкаров служил Чайковскому главным образом для увеселения в качестве то ли оригинала, то ли клоуна, то ли паразита. Человеческая природа такова, что даже столь неравноправные отношения могут привести к глубокой взаимной привязанности. Однако обращение к письмам и дневникам композитора делает очевидным, что обрисованная Модестом Ильичом идиллия страдает односторонностью и основательной недоговоренностью.

В отношениях этих двоих первостепенную роль играл фактор, биографом не названный. Сексуальные предпочтения Бочечкарова, лишь отдаленно угадываемые из текста Модеста Ильича, проступают в переписке с братьями вполне отчетливо. Более того, из той же переписки мы начинаем понимать, что старичок этот играл роль своеобразного связного между московскими гомосексуальными кругами и композитором, его информатором о различных обстоятельствах их жизни, а также, без сомнения, информатором последних о нем самом.

Во второй половине XIX века и в России, и в Европе вокруг гомосексуальности как социально-культурного явления сложилась непростая и отчасти парадоксальная ситуация. Ряд авторитетных новейших исследователей продемонстрировали, что к этому времени в европейских государствах отчетливо сложился феномен, который ныне принято именовать «гомосексуальной субкультурой». Причин тому было несколько. Процесс возникновения этой субкультуры был весьма длительным, истоки его можно усмотреть в Англии уже в XVII веке, но катализатором стали, по-видимому, два фактора — социально-политический переворот, вызванный французской революцией, и общий упадок влияния католической и протестантских церквей. В странах, подпавших под кодекс Наполеона, было отменено уголовное наказание за добровольную однополую связь между совершеннолетними в частных условиях, и это не могло не сказаться на юридической теории и практике ряда других наций. К интересующему нас времени в Германии, например, стихийно

возникло движение, даже с элементами организации, в пользу отмены соответствующего параграфа Имперского уголовного кодекса — как известно, перед самым началом Первой мировой войны этот вопрос уже разбирался в рейхстаге с большой вероятностью положительного решения.

Результатом стало общее ослабление напряженности, еще более поощряемое медицинскими и психиатрическими исследованиями. Многие ведущие авторитеты в этих областях — от Крафт-Эбинга до Хэвелока Эллиса — утверждали, что так называемые «сексуальные отклонения» не должны рассматриваться как преступление, ибо представляют собой разнообразные формы психических заболеваний, за которые их носители не могут нести ответственности. Как следствие, гомосексуальность стала караться властями лишь в случаях нарушения общественного приличия или громкого скандала, да и сама кара не только не шла ни в какое сравнение с суровыми мерами прежних времен, но обычно даже вовсе не соответствовала по мягкости своей наказаниям, предусмотренным законодательством. Можно сказать, что в течение длительного периода закон не применялся вообще или же применялся выборочно с неблагоприятными целями — для личных или коллективных полицейских вендетт.

Многие люди, в особенности принадлежавшие к привилегированным классам, культурному слою или художественной богеме, перестали заботиться о сокрытии своих неортодоксальных любовных вкусов. Их предпочтения были известны и игнорировались публикой их круга. Даже прогремевший процесс Оскара Уайльда в 1894 году был вызван скандалом, спровоцированным самим писателем. Уайльд обвинил в диффамации и клевете отца своего любовника лорда Альфреда Дугласа, подал на него в суд и проиграл свой иск.

С другой стороны, власти довольно равнодушно относились к сексуальным нравам низших классов до тех пор, пока под угрозу не ставились благочестие или общественное здоровье. Так что наибольшей опасности (и то — не столько уголовному преследованию, сколько публичному остракизму) подвергались представители средней прослойки, для которой благоприятное общественное мнение было основой материального или иерархического успеха — деловые люди, государственные служащие, отдельные категории интеллигенции (врачи, учителя, юристы), а также лица, делавшие политическую карьеру. Именно они составляли наиболее удобный объект для шантажа со стороны как властей, так и преступных элементов.

В России все эти процессы также имели место, хотя, может быть, и не

в столь откровенных формах. Многие юристы по причинам и теоретическим, и практическим начали подспудно осознавать назревавшую необходимость пересмотреть содержание законов о мужеложстве. Теоретически они пребывали под влиянием западноевропейских правовых и медицинских идей. Практически же должны были признать факт, что закон почти не применяется, а если применяется, то случайно и неравномерно.

В русской истории XIX века лица, единодушно относимые к приверженцам однополой любви, занимали многочисленные ответственные государственные посты, играли заметную роль в политической и культурной жизни страны. Достаточно назвать лишь наиболее громкие имена. Еще при Александре I в течение долгого времени одним из влиятельнейших людей был князь Александр Голицын, возглавлявший Министерство духовных дел и вовлекший в мистические искания самого императора (см. эпиграммы Пушкина на Голицына и его фаворита Бантыш-Каменского). При Николае I центральной фигурой был граф Сергей Уваров, министр просвещения и изобретатель формулы «самодержавие, православие, народность», определившей идеологическое лицо царствования. Вице-президентом Академии наук Уваров назначил своего фаворита князя Михаила Дондукова-Корсакова. Гомосексуальность их обоих ни для кого не была секретом (см. эпиграммы и дневник того же Пушкина). Один из наиболее заметных религиозных писателей этого времени, также внесший немалый вклад в построение официального фасада, Андрей Муравьев, был постоянным объектом аналогичных эпиграмм и замаскированных атак либеральной печати. Это лишь несколько общеизвестных фактов. И Голицын, и Уваров, и Муравьев в силу их реакционных воззрений и трудных характеров имели в самых разных лагерях несметное количество врагов, которые хотели навредить им и только искали удобного случая. Но никто из них не преуспел в чем-то подобном, несмотря на запрет мужеложства действующим законодательством. Далее инсинуаций, направленных на дискредитацию этих людей в общественном мнении, никто не шел.

При погружении в мемуарную или дневниковую литературу эпохи становится очевидным, что в узком кругу высшего света гомосексуальность тех или иных его представителей была предметом общеизвестным: о них ходили сплетни, во многих случаях вполне беззлые. Объекты этих пересудов ни в коем случае не подвергались бойкоту или исключению из салонов; напротив, часто придавали им дополнительный блеск. В условиях тесного общения — а именно таковой

была ситуация «большого света» — не много нужно, чтобы определить сексуальные предпочтения того или иного человека: жизнь аристократии в Лондоне, Париже или Санкт-Петербурге исторически всегда была у всех на виду. Манера поведения, преимущественно мужское окружение, пристрастие к обществу молодых людей, отсутствие любовных связей с женщинами — умному и наблюдательному современнику этого вполне хватало для проникновения в интимную жизнь аристократического собрата.

Все описанное — с одной стороны, очевидное ослабление угрозы наказания, с другой — необходимость относительной секретности для лиц, принадлежавших к среднему и менее защищенному классу, — породило специфическое положение вещей, при которых определенные круги сознательно и заметно выделяли себя из окружающей среды по линии сексуальных предпочтений. Сейчас они определяют себя как «геи», тогда они называли себя «тетками». В обеих российских столицах они создали определенное пространство, своего рода субкультуру, — «гомосексуальный мирок», как определил ее один из их современников. «Тетки» имели разные возможности удовлетворения своих сексуальных желаний. Они знали места — определенные улицы, скверы, площади, где собирались их единомышленники (или, скорее, едиnochувственники), рестораны, гостиницы, бани, где к их услугам под тайным или явным небрежением полиции были наемные проституты.

В письмах и дневниках композитора отчетливо прочитываются его неизменно сложные чувства по поводу собственной гомосексуальности, которую нужно было скрывать. «Гомосексуальный мирок» и люди, к нему принадлежащие, одинаково отталкивали и притягивали Чайковского, и он никогда не мог избавиться от этой дилеммы. Без сомнения, он всячески противился отождествлению самого себя с этой субкультурой, включая и свойственные ей «маньеризмы». Но вместе с тем ему импонировали некоторые аспекты поведения ее представителей, например, переодевание в женское платье на балах-маскарадах или привычка называть друг друга женскими именами.

Иван Клименко, «архитектор без дела», по определению Лароша, вместе с Бочечкаровым стал одним из первых гостей в новой квартире Чайковского. Еще в начале февраля 1868 года Петр Ильич писал Анатолию о его визите: «Ты знаешь, вероятно, что здесь уже месяца два живет Клименко, который [приехал] на одну неделю, но так прельстился Москвой, что не может никак уехать и, вероятно, в скором времени, окончательно переселится в Москву. Вот-то славный человек! Скажу, как

Модя: он так меня полюбил, что я не знаю, как и благодарить его». По письмам складывается впечатление, что, будучи ровесниками, они испытывали много удовольствия от общения друг с другом. Клименко подолгу живет у Чайковского; Петя, как тот его называет, «жмет ему любовно коленку» во время репетиции «Ромео и Джульетты», пишет ему прочувствованные письма: «Бессовестный! Не мнишь ли ты, что я менее тебя люблю, чем те лица, которых раньше меня ты удостоил своими письмами?»; «прости, душа, что долго не отвечал: но лучше поздно, чем никогда, моя милая Клименочка!.. Кончаю письмо мольбой: приезжай, неудержимо алкаю тебя». Однако нет причин предполагать, что между ними существовала хотя бы Какая-нибудь эротическая близость (Клименко был отчетливо гетеросексуален), за исключением разве легкой и двусмысленной игры, которую время от времени позволял себе композитор, о чем свидетельствуют обращения типа «моя милая Клименочка» или просто «Клименочка». Кроме того, их дружба, шаловливая, приятная, с большим количеством чудачеств и Проделок, о которых вспоминает Клименко, вызвала к жизни и массу шуточных стихов Чайковского, временами также пикантного содержания. Эти импровизации, разумеется, шуточные, но тем не менее обратим внимание — в них постоянно встречаются темы любви, блуда, измены:

Как бычок своей коровке,  
Иль как вор своей воровке,  
Как.....  
Чист душою, чужд измене,  
Старый Петр своей Климене  
Будет верен навсегда!

Комическая переделка фамилии Клименко в имя женского рода скорее всего навеяна аллитерацией Климена-Камена (то есть Муза). Но особенный интерес представляет письмо Чайковского от 12 сентября 1871 года Клименко в Царицыно, куда последний уехал на довольно долгий срок. Весь следующий абзац полностью отсутствует в Полном собрании сочинений и Писем композитора: «Но можешь ли ты, любимейшая из жен Моего гарема, ты, прекраснейшая и в то же время молодая Климена, хотя единую минуту усомниться в любви моей к тебе. Нет, молчание объясняется единственно ленью твоего сладострастного Султана; все откладывая приятную минуту собеседования с тобою, он, наконец, довел

оную до момента, полагаю, близкого к свиданию с тобой. Собственно говоря, не стоило бы и писать тебе, так как мы скоро увидимся; но я взял а руки перо по неусыпным просьбам моего дивана, который, по случаю переезда моего на новую квартиру, был обит новой материей, увядает в тоске по тебе и молит по приезде твоём в Москву упокоивать твои усталые члены на его упругих, снабженных новыми пружинами раменах. К его просьбам присоединяю и свою. Если ты хочешь доставить нам обоим немалое удовольствие, то остановись у меня и живи с нами столь долго, только тебе заблагорассудится. Надеюсь, что ты не заставишь Меня, т. е. Султана и его Диван, т. е. мое правительство наши Просьбы обратить в повеления, послушание коих влечет смертную казнь через сидение на коле. Я устроился очень мило и нисколько не раскаиваюсь, что решился переехать от Рубинштейна. Как я его ни люблю, а жить в полнейшей зависимости от Агафона [слуга Рубинштейна. — А.?] куда как не весело! Итак, жду тебя: ей-богу становится скучно без Климены». К письму этому Клименко сделал примечание: «Я уступил милому предложению и жил некоторое время у Петра Ильича».

Письмо это интересно тем, что позволяет нам представить, как работает подсознание гомоэротически ориентированного человека даже по отношению к лицу, которое не есть объект его любовных желаний. Письмо это говорит прежде всего о том, что Клименко был в курсе сексуальных предпочтений композитора. Забавно, что слово «диван» также означает совет или правительство при владетеле Османской империи. Тогда шутовское пожелание Султана, чтобы его друг «успокоил усталые члены» на «упругих раменах», привносит элемент эротической амбивалентности, доходящей до крайности в угрозе Султана, что в случае послушания он может подвергнуть «любимейшую из жен гарема» наказанию «через сидение на коле». В популярном романе французского писателя XVIII века Клода Проспера Кребийона-сына «Софа», безусловно, знакомом Чайковскому, именно диван выступает в повествовании главным предметом, который использует череда любовных пар, а «сидение на коле» — совершенно откровенный намек на гомосексуальный акт.

Как бы то ни было, жизненные обстоятельства вскоре развели Клименко и Чайковского: в мае 1872 года Клименко покинул Москву в поисках работы и, несмотря на большое желание вернуться, надолго застрял в провинции. Так что отношения их в последующие годы превратились большей частью в дружбу на расстоянии.

Переписка этих лет не оставляет сомнений, что привязанность Чайковского к братьям-близнецам, которые уже, окончив училище, начали

самостоятельную жизнь, оставалась по-прежнему сильной. Он пишет Анатолию в Киев, где тот служил: «Как-то ты поживаешь, мой милый мальчик? Очень много думаю о тебе и сокрушаюсь о твоём одиночестве»; «Толя, крепко целую твои ручки и прошу простить меня за мою подлость (задержку с высылкой денег. — А. П.). <...> Целую тебя до удушения»; «целую тебя в обе щеки и в бородавку на ухе»; «по крайней мере, с моей стороны молчание нельзя объяснить недостатком любви; сердце мое пылает к тебе по-прежнему»; «с нетерпением жду свидания с тобой, ибо не скрою, что буду смертельно рад облобызать тебя. Прощай, изменчивая, бесхарактерная, но очень любезная сердцу дрянь».

Письмо от 2 декабря 1871 года Чайковский заканчивает фразой «Целую тебя во все места» — и далее в полном издании писем следует примечание, что четыре слова неразборчиво. Но Как выясняется при ознакомлении с оригиналами писем, во Время провозглашения этого универсального целования Анатолий страдал от венерической болезни, что повергло композитора в отчаяние: «Я должен тебе прежде всего выразить мое скорбное недоумение насчет твоей болезни. Что у тебя шанкр, ТО это меня нисколько не удивляет, ибо с кем его не было? (Вспомни только, какой шанкр насадила мне Гульда у Фюрст в Петербурге!) Итак, ничего нет невиннее, как этот всем доступный орденский знак»; и далее: «...если ты не возненавидел женского общества». Болезнь продолжалась довольно долго — почти три месяца: «Но разве ты не надеешься оправиться от болезни в течение предстоящей зимы? <...> Не мучь меня и точно разъясни, в каком положении и градусе твоя болезнь». И рефрен в письме от 31 января 1872 года: «Я хочу тебя убедительно просить взять отпуск и приехать на месяц в Москву. Ты хоть, вероятно, и будешь немножко скучать здесь, но здесь есть превосходные доктора, которые быстро поставят тебя на ноги. Между тем тебе будет спокойнее, а мне в высшей степени приятно. Твоя болезнь и отдаление от меня причиняют мне много беспокойства, и ты бы просто оказал мне услугу, если б решился приехать».

Тема, связанная с венерическими заболеваниями братьев, Малоприятна, но ее следует коснуться, поскольку она может уточнить — или запутать — наши представления об особенностях интимной жизни композитора. Мог ли. Чайковский на самом деле, как это вроде бы следует из приведенной цитаты, получить «этот всем доступный орденский знак» от петербургской проститутки по имени Гульда в публичном доме некой Фюрст? Если да, то следовало бы признать, что, вопреки утверждениям Модеста Ильича в «Автобиографии», гомосексуальность старшего брата не была исключительной. Заметим, НТО разбираемый эпизод —

единственный во всем корпусе биографических материалов, допускающий вывод о том, что он мог иметь, как считают на этом основании некоторые авторы, определенный сексуальный опыт с женщинами». Равновероятны три объяснения: будучи на старших курсах училища, он, как и многие правоведа, из чистого любопытства прошел своего рода гетеросексуальную инициацию в публичном доме, окончившуюся неудачно (что могло лишь содействовать его последующему отталкиванию от женщин); во-вторых, Гульдой мог именоваться и юноша легкого поведения: как мы знаем, в этих кругах таковые часто называли себя женскими именами; и, наконец, Чайковский вообще мог придумать этот эпизод с проституткой, еще живя в Петербурге, чтобы повысить свой престиж в глазах братьев-подростков (особенно гетеросексуального Анатолия) и выглядеть как настоящий мужчина. Этот последний вариант нам представляется наиболее вероятным.

Если в жизни Анатолия все было ясно и просто, то к Модесту, по его выходе из училища весной 1870 года, композитор продолжал предъявлять претензии. Он, по-видимому, некоторое время предавался образу жизни, типичному для золотой молодежи (опять же утрируя недолгий «светский» период биографии Петра Ильича), к которой ни по положению, ни по средствам не принадлежал. Так, по окончании училища он уехал вместе со своим близким другом Валуевым в Симбирск, чем вызвал гнев Петра Ильича. «Я чрезвычайно недоволен Модестом, — писал он Анатолию 4 сентября 1870 года. — Выманив у Папаши около пятисот рублей, он их все прокутил; вместо Тамбова, где он в обществе Карцевых (семья двоюродной сестры. — А. П.) нашел бы себе значительную нравственную поддержку, он поехал в Симбирск, чтобы жить с пьяницей Валуевым и играть с ним с утра до вечера на билльяре». Валуев, как мы знаем, был одноклассником Модеста и возлюбленным Апухтина.

Письмо от 30 августа 1870 года звучит довольно грозно, правда, в конце уже снисходительней: «Модя! Ты меня приводишь в ярость. Не стыдно ли было тебе бессмысленно мотать деньги? Подлец. Заклинаю тебя энергически приняться за службу; под термином “энергически” я подразумеваю следующее: делай, что тебе велят, аккуратно, перед лицом начальства притворяйся почтительным, если нужно ухаживай за начальническими женами, — одним словом, не пренебрегай никакими средствами, чтобы обратить на себя внимание. <...> Нежно тебя лобызаю. Кланяйся Валуеву и скажи ему: “какой же он пьяница и плохой!” Еще раз не без нежности обнимаю. Твой обожаемый брат Петр». Письмо это интересно и тем, какую тактику сам Чайковский советует избрать брату для



достижения успеха. Это лишь увеличивает наше подозрение в том, что сам композитор мог в свое время завести искусственный роман с Муфкой, именно чтобы понравиться грозному Рубинштейну.

В этот же период в письмах очевиден и тесно сближающий старшего и младшего братьев интерес: общность в любовных предпочтениях. В их переписке фигурируют всевозможные сплетни о ссорах и скандалах между однополыми парами, изложенные с откровенностью, иногда на грани дурновкусия. О феминизации мужских имен как довольно распространенном явлении уже говорилось. Этого не избежал и Петр Ильич, видимо не без влияния Бочечкарова, любившего эту манеру общения. Письма Модесту этого периода несколько раз подписаны «преданной и любящей сестрой Петролиной». Позднее этот хорошо знакомый ему маньеризм даст Чайковскому возможность в переписке с Модестом подробно описывать именно свои уличные «приключения» с представителями более низких социальных слоев в России, но особенно за ее пределами, с характерной для подобных рассказов «подменной»: об объекте влечения мужчине говорится как о женщине. К такой конспирации братья прибегали отчасти и по объективным причинам: письма могли быть прочитаны случайными людьми, а корреспонденция из-за границы иногда перлюстрировалась российскими цензорами.

Что же до Бочечкарова, то он продолжал поставлять соответствующую информацию. «Он явился ко мне в вечер дня моего приезда в час пополудни, когда я уже лежал, и нарасказывал кучу сплетней», — писал композитор Модесту 28 января 1876 года. Для сравнения — весьма похожее в следующем году, с меланхолией: «.. опять придется ту же канитель тянуть, опять классы, опять Николай Львович, опять разные дразги» (ему же, 23 мая 1877 года).

Старичок этот иногда может показать и когти: он шлет письмо «самого подлого свойства» Модесту. Интонация упоминаний о нем в письмах Чайковского оказывается сложной: смесью сарказма и симпатии, раздражения и жалости. Однако по мере дряхления Бочечкарова жалость постепенно вытесняет все остальное: «Николай Львович по-прежнему достаивает меня своим знакомством; все находят, что за последнее время он постарел, и я сам начинаю замечать кое-какие морщинки, сделавшиеся очень заметными». С Бочечкаровым он часто обедает, гуляет по Москве и ходит в церковь. «Недавно были с ним на всенощной в Успенском соборе, где все его называли “Ваше превосходительство” или “Ваше сиятельство”», — читаем в письме Модесту. Резюмируя сказанное о Бочечкарове в сохранившейся переписке, можно лишь удивляться, до какой совершенной

степени он воплощал собой тип паразита из новой аттической или римской комедии — персонажа остроумного и беспринципного, второстепенного, но без которого не в состоянии обойтись высокопоставленные действующие лица, ибо только он и способен доставить им ценимые ими удовольствия.

Столь же незаменимым, как в античных пьесах, оказался он и в драме Чайковского. И совсем не удивительно в этом контексте узнать о еще одной роли Бочечкарова, как это явствует из писем, — гомосексуальной сводни. 16 сентября 1878 года Петр Ильич пишет Модесту: «От скуки, несносной апатии я согласился на увещевания Ник[олая] Льв[овича] познакомиться с одним очень милым юношей из крестьянского сословия, служащим в лакеях. Rendez-vous было назначено на Никитском бульваре. У меня целый день сладко ныло сердце, ибо я очень расположен в настоящую минуту безумно влюбиться в кого-нибудь. Приходим на бульвар, знакомимся, и я влюбляюсь мгновенно, как Татьяна в Онегина. Его лицо и фигура — *un reve* [как во сне. — *фр.*], воплощение сладкой мечты. Погулявши и окончательно влюбившись, я приглашаю его и Ник[олая] Львовича в трактир. Мы берем отдельную комнату. Он садится рядом со мной на диван, снимает перчатки... И... и... о ужас! Руки, ужасные руки, маленькие с маленькими ногтями, слегка обкусанными, и с блеском на коже возле ногтей, как у Ник[олая] Рубинштейна! Ах, что это был за страшный удар моему сердцу! Что за муку я перенес! Однако он так хорош, так мил, очарователен во всех других отношениях, что с помощью двух рюмок водки я к концу вечера все-таки был влюблен и таял. Испытал хорошие, сладкие минуты, способные помирить со скукой и пошлостью жизни. Ничего решительно не произошло. Вероятно, мало-помалу я помирюсь с руками, но полноты счастья, благодаря этому обстоятельству, не будет и не может быть».

Письма и дневники композитора пестрят упоминаниями о молодых людях или описаниями их (как правило, более или менее подросткового возраста), часто с употреблением эпитета «симпатичный» (означавшего, по всей вероятности, в лексиконе Чайковского — сексапильный), а то и с более развернутым выражением восторга перед мужской красотой, вроде, например, характерного: «Станция Минеральные Воды. Небесное явление в вагоне III класса, в бурке». Очевидно, что взгляд его отмечал юношескую привлекательность автоматически и на уровне рефлекса. Разумеется, ничего даже отдаленно подобного нельзя сказать о его восприятии привлекательности женщин — за исключением нескольких случайных упоминаний, последние его занимают мало. Юношеские руки вызывали в

Чайковском особенно острое притяжение, видимо, будучи для него фетишистски привлекательной частью тела. Он не забыл руки матери — женщины «с чудным взглядом и необыкновенно красивыми руками». Вспомним, как он восхищался руками Арто. «Митя (Жедринский, одноклассник Анатолия. — А. П.) был бы восхитительнейшим произведением природы, если бы не руки», — писал он Модесту 5 сентября 1878 года. Ему крайне неприятны «ногоподобные руки» взрослого мужчины.

Если Бочечкаров — представитель гомосексуального сообщества низкого пошиба, то фигурой, замечательным образом воплощавшей более высокие социальные круги, являлся Николай Дмитриевич Кондратьев, с которым молодой композитор познакомился еще летом 1864 года в имении князя Голицына. По образованию правовед, «но вышедший из училища, когда Петр Ильич еще и не поступал в него, так что не товарищество сблизило их», он, однако, не счел необходимым поступить на государственную службу, но избрал праздный образ жизни помещика и светского жуира, был предводителем дворянства Сумского уезда Харьковской губернии, «беспечно проживающим крупное состояние предков».

Во внешности и манерах, а отчасти и в образе жизни, Кондратьев, в отличие от Бочечкарова, казалось, был далек от соответствующего стереотипа. Сохранившиеся фотографии демонстрируют мужчину, лишенного каких бы то ни было признаков женственности — широкоплечего, плотного сложения, с квадратным лицом и тяжелым подбородком. Более того, он был женат и имел дочь. Модест Ильич обращает внимание на странность этой дружбы: «На первый взгляд не было ничего общего между скромным профессором консерватории, поглощенным интересами своего искусства, не светским, не общительным и работающим с утра до ночи, и этим архиизящным денди, с утонченно-аристократическими приемами обращения, светским болтуном, раболепно следящим за последним криком моды». И однако: «В действительности же они сошлись не только как приятели, но как друзья, связанные почти братскою любовью».

Нам же представляется, что их отношения были гораздо сложнее, чем это дает понять Модест Ильич, «...мало знал я людей, которые с таким упорством, с таким постоянством были “влюблены” в жизнь, которые бы умели ловко скользить мимо тяжелых сторон бытия и упрямо во всем, везде видеть одно радостное и приятное, — пишет он о Кондратьеве. — С утра до ночи, с детства до старости, всюду, в деревне, в столичной суете, в

чужих странах, в уездном городишке, даже на смертном одре... он умел находить возможность любоваться жизнью, верить в неизбежность отрадных сторон ее и смотреть на зло, горе, муки — как на нечто преходящее, непременно долженствующее исчезнуть и уступить место чему-то вечно радостному и приятному».

Цель Модеста Ильича ясна: на протяжении всего своего сочинения он подчеркивает жизнеутверждающий аспект личности Чайковского. В этой схеме и дружба с Кондратьевым освещается с известной предвзятостью: биографу важно доказать, что брату главным образом импонировала именно эта сторона его личности: «...для такого неисправимого оптимиста, как Петр Ильич, для такой чуткой отзывчивости к страданиям ближнего, какая была у него, — иметь перед глазами постоянное подтверждение того, что жизнь прекрасна, чувствовать себя в обществе счастливых, довольных, по возможности, быть причиной их довольства и счастья — составляло потребность для покоя и полного равновесия, при которых он только и мог сам быть счастлив и доволен».

Из писем и дневников складывается, однако, другая картина. Она ставит под сомнение психологическую мотивировку, заявленную Модестом, по крайней мере, в смысле ее исчерпанности, первостепенности и акцентов. Характеризуя свои отношения с Кондратьевым в спокойную минуту, Чайковский пишет Модесту 12 марта 1875 года: «...хоть я его и люблю, но уж, конечно, в десять раз меньше, чем тебя и Анатолия, а с другой стороны, я очень хорошо понимаю, что и он любит меня по-своему, т. е. настолько, насколько я не нарушаю его благосостояния, которое для него превыше всего на свете». В этом же направлении следует скорректировать и утверждение дочери Кондратьева — Надежды Николаевны: «А для отца не было на свете человека более любимого и лучшего друга, чем Петр Ильич». Обратной стороной жизнерадостности Кондратьева были припадки ипохондрии, вызванные пустяками: «...он, как избалованный ребенок, боялся всякой царапины, плакал, жаловался на них, ненавидел всеми силами души, иногда отчаивался», и это не могло не нервировать Петра Ильича, тем более что капризность сочеталась с непостоянством. «Кондратьев, — пишет композитор Модесту 28 февраля 1880 года из Парижа, — жаловался на тоску, объявил, что каж[дый] день плачет в три ручья, но из дальнейших вопросов оказалось, что живет припеваючи, имеет кучу знакомых, ежедневно бывает в театре и, словом, по-видимому, нимало не скучает».

Вообще, из текстов самого Чайковского вырисовываются достаточно бурные отношения между ними. По всей видимости, Кондратьев был

избалованным и эгоистическим самодуром, очень нелегким в общежитии, особенно для деликатной натуры композитора. Даже в переписке с фон Мекк, где Петр Ильич проявлял особую осторожность в суждениях о третьих лицах, он делится недовольством по поводу реакции Кондратьева на свою разворачивавшуюся и тяжело переживаемую матримониальную драму: «У меня есть один друг, некто Кондратьев, человек очень милый, приятный в обращении, но страдающий одним недостатком — эгоизмом. <...> Он человек очень состоятельный, совершенно свободный и готовый, по его словам, на всякие жертвы для друга. Я был убежден, что он явится ко мне на помощь. <...> В письме этом (полученном уже после бегства Чайковского за границу. — А. П.) мой друг очень жалеет меня и в конце пишет: “Молись, друг мой, молись. Бог поможет тебе выйти из этого положения!” Дешево и сердито отделался». И далее следует нелестное для Кондратьева сравнение с гротескным персонажем романа Теккерея (письмо от 5 декабря 1877 года). Любопытно, что фон Мекк не забыла эту жалобу и через два года припомнила, назвав поведение Кондратьева «по меньшей мере бабоватым» (письмо от 24 июня 1879 года), с чем Чайковский согласился. В феврале 1881 года он пишет Модесту из Рима о Кондратьеве: «...мне приятно, и даже для меня сущее благодеяние было найти здесь Ник[олая] Дмитриевича] и милейшего Сашу» (Легошина, слугу Кондратьева. — А. П.), после чего, впрочем, следует характерная оговорка: «...но боюсь, как бы не наступило то быстрое охлаждение, которое всегда у нас с ним случается из-за пустяка; а уж потом вернуться к искреннему тону бывает трудно». Или в дневнике после отъезда семьи Кондратьевых из Майданова, где они занимали дачу по соседству с Чайковским: «Чувствую пустоту и что-то печальное по случаю отсутствия Николая] Дм[итриевича]» (запись от 23 июля 1886 года); «испытываю если не тоску, то очень живое чувство недоставания Кондратьевых» (25 июля 1886 года). В том же дневнике, несколько ранее: «Что за загадка этот человек. И добр, и в то же время злит есть для него наслаждение» (11 июля 1886 года). Это, пожалуй, самая четкая формулировка противоречивых чувств, которые Чайковский должен был к нему испытывать.

И, однако, окончательное суждение, во время предсмертной болезни друга, категорически выносятся в его пользу. «Боже мой, как у меня сердце болит за Кондратьева. По страху и ужасу, который я испытываю при мысли, что он умрет, я вижу, что скверный исход его болезни произведет на меня ужасное действие. Судьба так сложилась, что Николай] Дмитриевич] для нас с тобой больше чем приятель и как бы самый близкий родной», — пишет он Модесту 10 апреля 1887 года. Не содержится ли в этой

последней, довольно странной фразе намек на существенное обстоятельство, которое определило во многих отношениях их дружбу и о котором умолчал осторожный биограф, — а именно сходство сексуальных пристрастий всех троих — помещика, композитора и его брата?

В начале 1870-х годов Чайковский часто проводил время в имении Кондратьева — Низы. По словам дочери Кондратьева, у отца были «воспитанники», о которых теперь ничего не известно, кроме одного — некоего Алексея Киселева, который фигурирует в письмах и дневниках Петра Ильича. Ненормальное положение вещей в кондратьевском имении композитор описал в письме Анатолию 3 сентября 1871 года: «...лакашки его до того распущены, что держат себя настоящими господами и третируют своих господ и их гостей как своих слуг. Происходящие от того беспорядки, недосмотры, неприятности ежедневно возмущали меня до глубины души». Очевидный намек на близкие отношения Кондратьева со слугой содержит и письмо Чайковского конца 1872 года: «Кондратьев провел в Москве 1½ недели и уехал за границу, похитив незабвенного Алешу Киселева». 3 марта 1876 года композитор сообщает Модесту: «Николай Дмитриевич с нетерпением ожидает от тебя письма. Он теперь покоен, так как его мерзавец Алешка уехал в деревню».

Далее между двумя друзьями возникает временное охлаждение. 14 октября 1876 года Модест узнает от брата подробности: «Отношения с ним хорошие с некоторым оттенком холодности; так, например, Николай Дмитриевич говорит мне не Петя, как прежде, а Чайковский. Оно не лишено комизма. Алексей появился (в Москве. — А. Я.), и Николай Дмитриевич утверждает, что он никогда так хорошо не вел себя, как теперь». Кризис повторился два года спустя, когда Чайковский снова гостил в Низах. Несмотря на столь неоднократные порицания его в письмах, композитор не перестает ощущать потребность в присутствии этого человека. На протяжении всего их знакомства вплоть до смерти друга он регулярно гостит летом в имении Кондратьева, постоянно общается с ним во время пребывания в Москве и Петербурге, часто живет с ним бок о бок в периоды поездок за границу — в Париже, Риме, Неаполе, — и в России, будучи соседом семьи Кондратьевых летом в Майданове, и, наконец, совершает «подвиг дружбы», приехав в 1887 году к умирающему Кондратьеву в Аахен и став свидетелем его последних дней.

Наряду с приведенными выше выпадами в письмах встречается и немало панегирических высказываний о Кондратьеве, свидетельствующих о том, что мнение Чайковского часто зависело от настроения, внутренних и

внешних обстоятельств. Скандалы в семье друга, очевидцем которых он был, не могли не вызывать у него неприятные, тягостные чувства, ставя нравственные проблемы, вызванные необходимостью вмешиваться (часто по просьбе одного из супругов) в чужие семейные дела и со временем приобретшие навязчивый характер. И все же 28 ноября 1873 года он писал Модесту: «...только в нынешнем году я убедился, что в сущности я довольно одинок здесь. У меня много приятелей, но таких с которыми душу отводишь, как, например, с Кондратьевым, — совсем нет».

Равным образом, несмотря на разочарование в Шиловском, композитор продолжает посещать его имение Усово, несколько раз он подолгу там жил и работал. В письме Анатолию от 3 сентября 1871 года он противопоставляет происходившему в поместье Кондратьева гостеприимство Шиловского: «У Шиловского, напротив, был окружен столь нежными заботами, что остался им весьма доволен». Следующие несколько упоминаний о нем вполне нейтральны, например: «Я сюда [в Москву] приехал 15 числа с Шиловским и время проводил очень весело, тем более что здесь находился Н. Д. Кондратьев». «У Шиловского я очень часто обедаю, но его сообщество мне крайне тяжело; он день ото дня становится взбалмошнее и тяжелее». Очевидно, Чайковский, выражаясь платоновским языком, оказался в положении не влюбленного, а любимого. Однако нет причин думать, что композитор уклонялся от эмоционального напора Шиловского. Скорее напротив — в большинстве случаев он ему поддавался. Резонно предположить, что он не без удовольствия уступал юноше и в любовном смысле: мы уже знаем, что Шиловский был внешне очень привлекателен: «редкой красоты мальчик», как его описал Константин де Лазари. Так что мы имеем здесь дело с ситуацией ученической влюбленности в учителя, который позволяет себя любить.

Неожиданно, в погоне за титулом, 24-летний Шиловский решил жениться на графине Васильевой. Резкое письмо Чайковского Анатолию по этому поводу 24 января 1874 года не оставляет сомнений насчет сексуальной практики молодого человека накануне женитьбы: «Модест прожил здесь неделю, но почему-то не у меня, а у Шиловского. Последний собирается Сделать ужасную нелепость, т. е. жениться; это будет его гибелью, тем более что женится он на богатой и молоденькой девушке, которая очень удивится, когда найдет у своего супруга детородный уд никуда не годный и безнадежно мягкий, даже не способный хоть распухнуть для приличия. Да и ндрав его тоже придется ей не по вкусу». В женихах Шиловский ходил три года, все это время, по-видимому, не оставляя своих привычек, а его отношения с Чайковским становились все

хуже. «Здесь находится Шиловский; на днях он едет за границу и проживет несколько времени в Петербурге. Дай бог, чтоб тебе он не действовал на нервы так, как мне; когда я его вижу, на меня как будто пудовую гирию повесят. Нет сил переносить его безалаберность и капризность», — писал композитор Модесту 29 октября 1874 года. В этом письме уже нет ни нот симпатии, ни сострадания, а одно лишь раздражение.

Время от времени у Чайковского возникали финансовые проблемы, причем он не исключал для себя возможности быть не содержанием — чуть ли не в буквальном смысле — у собственного ученика. «Я без особого труда мог бы эксплуатировать Шиловского, — писал он Модесту 12 марта 1875 года, — но ведь это значит отягощать себя чувством благодарности, ставить себя к нему в обязательные отношения». Чувство благодарности, надо полагать, включало в том или ином виде интимный элемент, чего ему, более всего дорожившему своей свободой, хотелось избежать. В способность этого юноши к благотворительности как таковой Чайковский не верил: «Насчет займа у Володи для Ларошей... скажу только, что это большая наивность. Не говоря уже о тугости Володи в отношении выдачи денег, я нахожу, что на сей раз он бы имел достаточные основания отказывать, ибо какое ему... дело до найму дачи детям Лароша». При всем своем неупорядоченном образе жизни ученик продолжал предъявлять права на учителя. «Шиловский, слава богу, уехал на другой день приезда в Питер, сыграв со мной отвратительно-драматическую сцену ревности, неоцененной любви и т. д.», — сообщает композитор Модесту 28 января 1876 года. И ему же, 10 февраля: «Обретаюсь в очень хорошем расположении духа, чему не мало способствовало отсутствие Шиловского, уезжавшего в Петербург».

В окружении Чайковского с петербургских времен был еще один знакомый, принадлежавший как к музыкальным (не столько профессиональным, сколько богемным) кругам, так и к гомосексуально окрашенному «полусвету», представленному фигурами вроде Кондратьева и Голицына. Это Сергей Донауров, выпускник Пажеского корпуса, поэт, сочинитель романсов, в свое время очень популярных. «Сошлись они не на музыкальной почве, по той простой причине, что Донауров не только музыкантом никогда не был, но и не считал себя таковым, — пишет Модест Ильич. — Прежде, когда он был элегантным атташе Министерства иностранных дел и принадлежал к светскому обществу — сочинение романсов было баловством, делавшим его желанным гостем в аристократических салонах, а потом, когда невыгодную службу пришлось бросить, — очень доходной статьей, потому что издатели брали его



вокальные произведения нарасхват до той поры, когда, наконец, они не вышли из моды. Как раз в то время, когда Донауров познакомился с Чайковским у Кондратьева, слава его дошла до апогея, и за каждый романс ему давали цену вчетверо большую, чем Петру Ильичу. <...> Он был очень остроумный, очень образованный человек, знаток в старинной живописи, которую изучил основательно в свою бытность секретарем посольства в Италии. Кроме того, он недурно владел стихом, главным образом французским. <...> Да и вообще это была одна из тех даровитых русских натур, которые берутся за все, и все спорится у них, но до известного предела, где начинается настоящая плодотворная деятельность. Тут у них чего-то не хватает, бросают начатое, увлекаются другим и опять, не доделав, — навсегда и во всем, до гробовой доски, дальше дилетантства не доходят и умирают, не оставив никакого следа». Описание, применимое, возможно, и к самому Модесту Ильичу.

Донауров сочинил много популярных романсов. На один из них — «Пара гнедых» — Апухтин написал пародию. Несколько романсов Чайковского он перевел на французский язык. Об ориентации Донаурова свидетельствует переписка Чайковского, в частности его письмо Модесту от 8 августа 1880 года: «Половина второго дня моего пребывания в Киеве была совершенно, впрочем, отравлена тем обстоятельством, что я встретил Женю Кондратьева (брата Николая. — А. П.), от коего узнал, что Донауров вместе с ним в Киеве и в припадке обычной мигрени. Скрепя сердце забежал к нему, а вечер пришлось провести вместе. Только теперь я убедился, что Донауров никогда не был мне симпатичен. Мне было неприятно его видеть. Физически он не переменялся ни на волос, да и вообще остался тот же, но только ужасно много врет и хвастается своими победами, оказывается, что чуть ли не вся действующая армия в последнюю войну проводила с ним ночи. Все в восторге от его ума, талантов, и все знают его романсы, чему он будто бы удивляется, но, в сущности, очень рад». Донауров, впрочем, не скрывал своих эротических пристрастий настолько, что был включен, наряду с князем Мещерским, в список самых известных гомосексуалов Петербурга по данным анонимной докладной записки «о пороке мужеложства», недавно обнаруженной в Российском государственном архиве.

Итак, Бочечкаров, Шиловский, Кондратьев, Голицын, Донауров по своему социальному и нравственному положению были, вероятно, достаточно типичными представителями разных слоев верхнего и среднего этажей гомосексуальной субкультуры и отчетливо ассоциировались с миром людей, сознательно выделявшими себя из окружающей среды по

принципу сексуальных предпочтений. Другие имена подобного рода мелькают на страницах дневников и писем — Булатов, Бенедиктов, Глебов, Оконешников, Масалитинов, Бибилов, — их социальный статус мог более или менее разниться, но в пределах одного и того же спектра поведения или жизненного стиля.

Как уже отмечалось, отношение композитора к этой публике было двойственно: она привлекала его сходством любовных интересов, но и отталкивала несхождением форм самовыражения и — более широко — взглядов на жизнь. Его личноети, в основе глубоко порядочной и традиционной, несмотря на известную — на уровне воображения — тягу к разного рода авантюризму, должна была претить манера поведения «теток», особенно нравственный релятивизм, распространенный в их среде. Релятивизм этот психологически понятен: однажды нарушив социальный запрет (пусть и несправедливый) и тем воинственно противопоставив себя обществу, уже не трудно, совершив умственную подстановку, отвергнуть все прочие запреты, будь то элементарные нормы человеческих отношений или десять библейских заповедей. Однако понять этот психологический ход не значит его одобрить. Есть много оснований полагать, что Чайковский, каковы бы ни были его собственные слабости или пороки, теоретически его решительно не одобрял. Так, 13 марта 1888 года он пишет в дневнике: «Русские тетки отвратительны». И тем не менее он не прерывал связей с ними и, более того, как мы увидим далее, двигался в поисках удовлетворения желаний вниз по ступеням социальной лестницы.

В середине ноября 1873 года композитор снял квартиру на Малой Никитской, «которая хоть и теснее, но зато уютнее прежней, — пишет он Модесту 28 ноября. — Впрочем, все к лучшему: и самые милые приятели, будучи многочисленны, мешают работать, а я, слава богу, не сижу сложа руки. Чтобы заключить достождным образом эту маленькую иеремиаду, скажу тебе, положи руку на сердце, что в сущности все меня ужасно любят, и я не знаю, как отблагодарить их за это; я, право, даже не понимаю за что... и т. д.». Последняя фраза не была преувеличением или хвастовством. С ростом популярности его творений Чайковский становился все более заметной фигурой в московских салонах, равно как и в музыкальном и культурном мире обеих столиц. О его музыке говорят, публикуются рецензии, газеты с удовольствием печатают его обзоры, его приглашают в гости, на приемы, с его мнением считаются, его обществом дорожат. Но имелась и обратная сторона. Теперь, неожиданно обнаружив себя в центре внимания, он сделался объектом всевозможных слухов, и доходившие до

него время от времени сплетни причиняли ему боль. Его связи с Шиловским, Бочечкаровым, Кондратьевым и миром «теток», естественно, не могли остаться для окружающих незамеченными. Кроме того, сама гомосексуальная среда отличалась склоками, скандалами и выяснением отношений. Легко представить, что все, кому было нужно и не нужно, могли узнать от Бочечкарова и иже с ним о многих событиях в доме композитора, где этот забавный старичок подолгу жил.

В письме к фон Мекк от 4 сентября 1878 года Чайковский поделился своими переживаниями на этот счет: «Я — человек, питающий величайшее, непреодолимое отвращение к публичности вообще и к газетной в особенности. Для меня нет ничего ужаснее, ничего страшнее, как быть предметом публичного внимания. Избравши деятельность артистическую, я, разумеется, должен быть готов всегда встретить в газете свое имя, и как это мне ни тяжело, но я не в силах помешать тому чтобы о моей музыке печатно говорили. К сожалению, газеты не ограничиваются артистической деятельностью человека; они любят проникать дальше, в частную жизнь человека, и касаться интимных сторон его жизни. Делается ли это с сочувствием или с явным намерением вредить, — для меня одинаково неприятно быть предметом внимания».

Надо полагать, что общение с описанным в этой главе московским полусветом, представлявшим собой своего рода эротический «андеграунд», не прошло для него без следа, отразившись в том числе и на творческой жизни. Оно должно было обострить в нем желание одиночества, очертив пропасть между духовным поиском, составляющим основу искусства, и тривиальным, а то и вульгарным вторжением окружающего мира; но оно же помогало ему — методом от противного — преодолеть соблазны суеты и тщеславия, убедиться в преимуществах напряженной самодисциплины, интроспекции и катарсического сопереживания бытия, во многом определивших важнейшие черты его гениальности.

## Глава девятая. Первый фортепианный концерт

В начале 1870-х годов Чайковский все сильнее тяготится своими обязанностями в Московской консерватории. На преподавание уходит много драгоценного времени, которое он с удовольствием посвятил бы сочинению музыки. От этих мыслей он периодически впадает в уныние. Один из его любимых учеников, скрипач Самуил Литвинов, оставил интересные воспоминания о преподавательской манере композитора: «Это был небольшого роста, нервный и подвижный человек. Он входил в класс быстрой походкой, с руками за спиной, слегка наклонив голову и смотря перед собой сосредоточенным и, как казалось, острым взглядом серых глаз. Петр Ильич садился к фортепиано, брал карандаш, продев его между пальцами так, что второй и четвертый пальцы оказывались на карандаше, а третий под ним, а иногда наоборот и, не выпуская его из пальцев, проигрывал наши задачи; на секунду остановившись, быстрым и резким движением подчеркивал скобкой параллельные квинты и октавы, продолжал затем игру дальше. Заметно было, что наши ошибки раздражали его. Объясняя правила гармонии, Петр Ильич не переставал прохаживаться по классу, характерно заложив руки за спиной, слегка наклонившись вперед. Мы его весьма побаивались (в то время мне было тринадцать лет)».

Другой учащийся консерватории, Ростислав Геника, вспоминал, что профессора композиции «нервировала банальная обстановка теоретического класса с его партами и обычным старинным разбитым желтым роялем с шлепающими пожелтевшими клавишами, с его черной с красными линиями доской; стоя у этой доски, Чайковскому приходилось писать нам задачи и примеры; я помню тот брезгливый жест, с которым он, бросив и мел, и серое холщовое полотенце, обтирал пальцы об платок. Его досадовала непонятливость большинства учениц, тупое, поверхностное отношение к сущности искусства всех этих будущих лауреатов, мечтавших лишь об эстраде и уверенных в том, что публика, аплодирующая их игре, не будет интересоваться их теоретическими познаниями».

Постоянная нужда в деньгах угнетала Чайковского. Он принадлежал к той категории людей, которые не чувствуют денег. Его гениальность не простиралась туда, где надлежало производить арифметические расчеты, и на протяжении всей его жизни деньги разлетались мгновенно. С непостижимой быстротой проживались и раздавались братьям, Бочечкарову и старым приятелям не только скромная ежемесячная

зарплата, но и сравнительно крупные суммы, приходившие временами от Шиловского. В это время его задолженность ростовщикам достигла довольно солидной величины.

Хоть как-то разрешить денежную проблему ему позволяла деятельность музыкального критика. В течение пяти лет, с 1871 по 1875 год, он регулярно делал обзоры московской музыкальной жизни в газетах «Современная летопись» и «Русские ведомости», заменяя уехавшего в Петербург Лароша. Несомненно, что кроме денег эта работа приносила ему, вошедшему в курс всех важных событий музыкальной Москвы, чувство удовлетворения. По долгу критика он прослушивал множество произведений, начиная от господствовавшей итальянской музыки до русского народного хора. С одинаковой страстью он боролся с засильем итальянской оперы, крайностями в пропаганде русской народной песни и воспитывал вкус читателей, просвещая их на предмет оперы русской. Смелые и энергичные статьи Чайковского иногда вызывали негативную реакцию



М. А. Ровенко



Александра Андреевна Чайковская (урожденная Ассиер), мать композитора, Илья Петрович Чайковский, отец композитора



Дом Чайковских в Воткинске Нитской губернии, в котором родился композитор





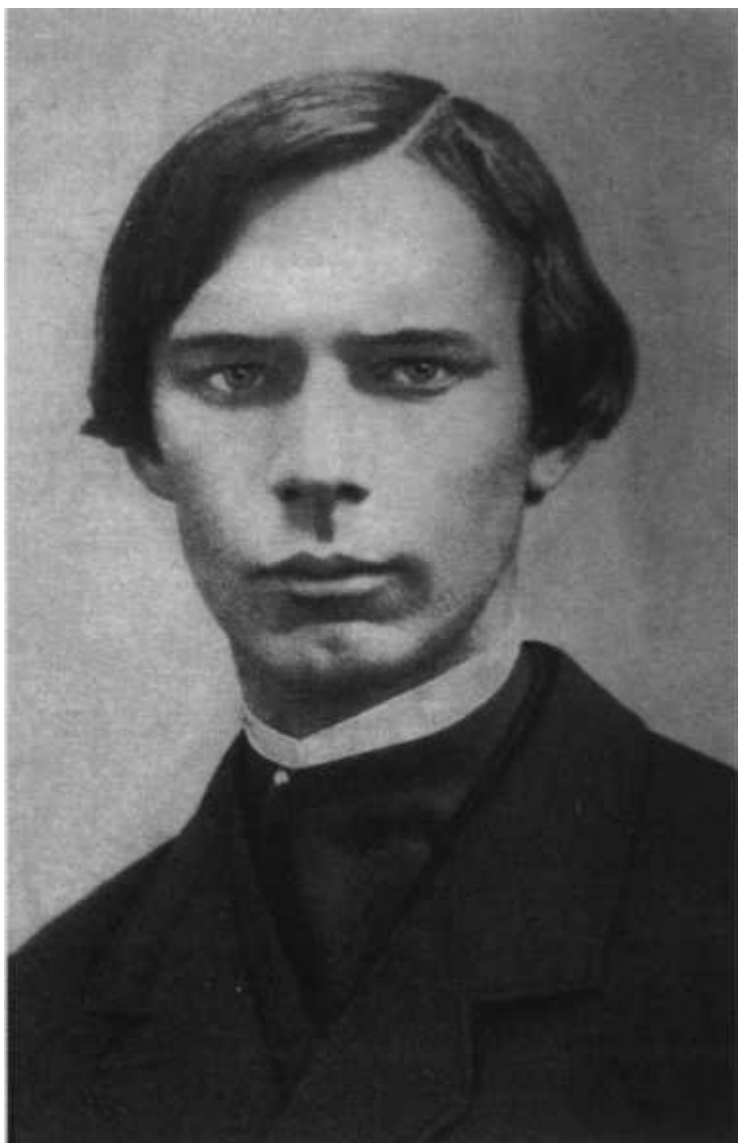
Петру Чайковскому восемь лет



Мария Марковна Пальчикова, первая учительница музыки Петра Чайковского



*Алексей Апухтин. 1859 г.*



Владимир Танеев, воспитанник XXII выпуска Училища правоведения



Семья Чайковских (слева направо): Петр, Александра Андреевна, Александра, Зинаида, Николай, Ипполит, Илья Петрович. 1848 г.



Пётр Чайковский воспитанник Императорского училища  
правоведения. 1859 г.



Воспитанники XX выпуска Училища правоведения. Петр Чайковский и первом ряду шестой справа. 29 *мая* 1859 г.

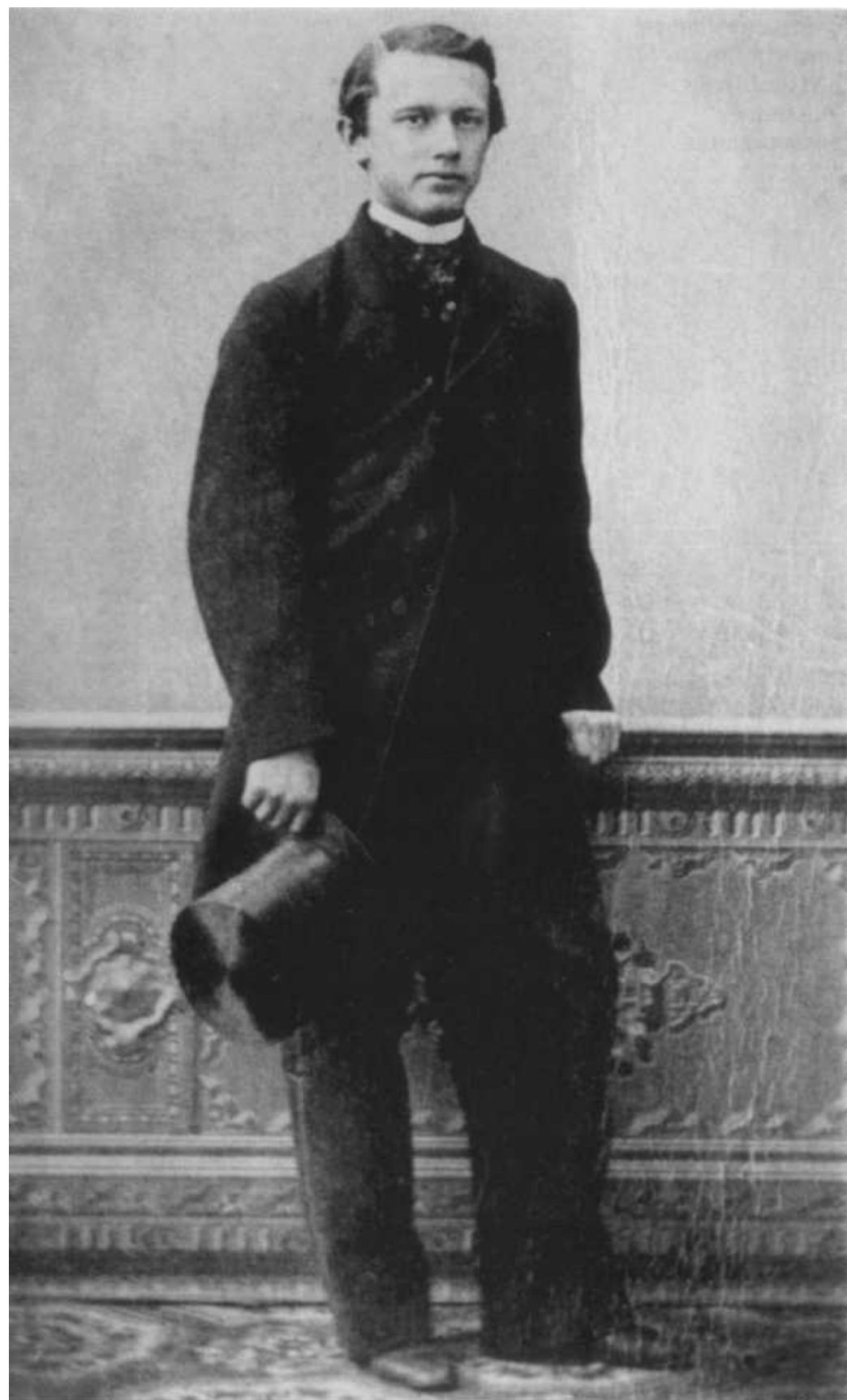


Императорское училище правоведения. Санкт — Петербург, Фонтанка, дом 6/2. *Первая половина XIX в.*



Воспитанники Училища правоведения гоняют мяч в перерывах между занятиями

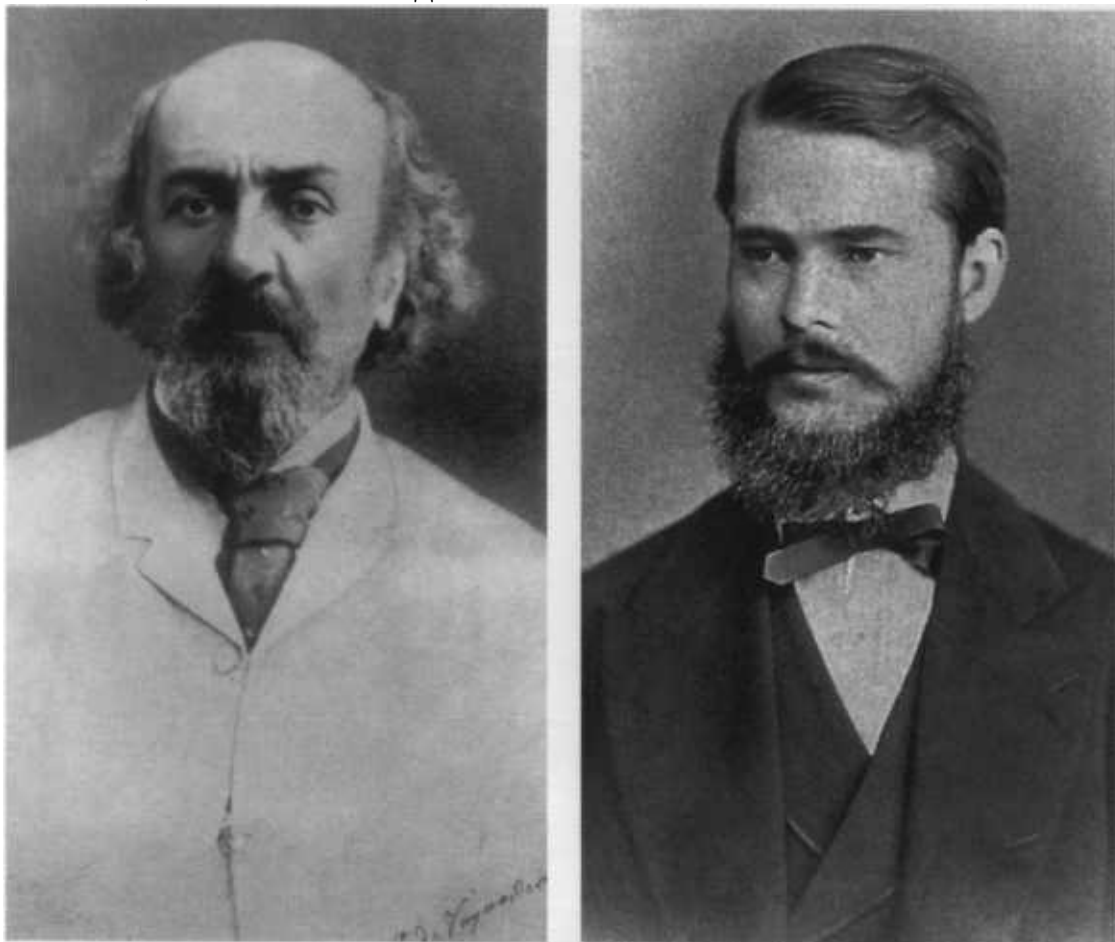




Петр Чайковский. 1860 г.



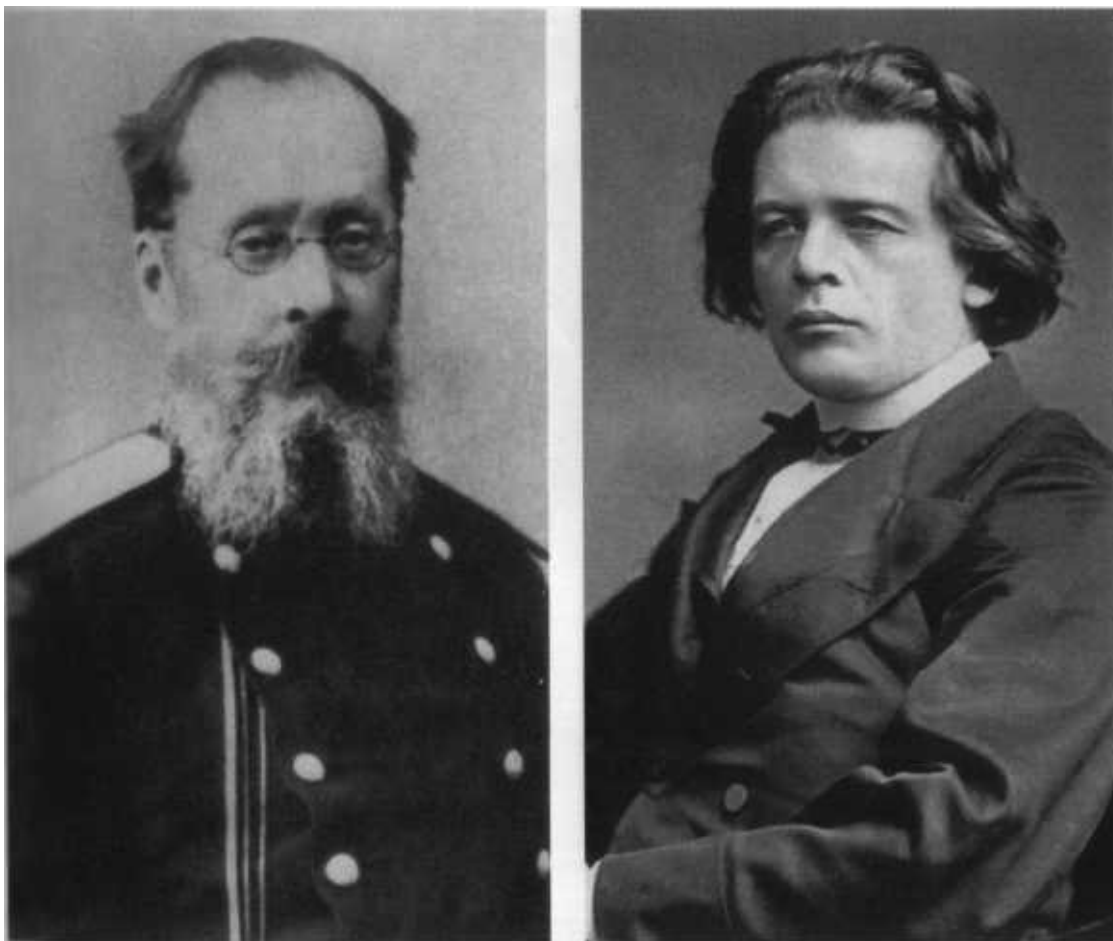
Ипполит, Анатолий и Модест Чайковские. 1862 г.



Константин де Лазари. 1860-е гг. Петр Юргенсон. 1860-е гг.



Музыкальный магазин И. И. Юргенсона в Москве. *Вторая половина XIX в.*



Цезарь Кюи. 1870-е гг. Антон Рубинштейн. 1865 г.



Николай Заремба. 1860-е гг. Николай Рубинштейн. 1872 г.



Модест Чайковский. 1868 г. Анатолий Чайковский. 1868 г.



Герман Ларош. 1865 г. Петр Чайковский. 1865 г.





Серебряная медаль Санкт-Петербургской консерватории



Диплом Петра Чайковского об окончании Санкт-Петербургской консерватории. 30 марта 1870 г.



Дезире Арто. 1868 г.



Здание Московской консерватории на Воздвиженке (не сохранилось).  
Вторая половина XIX в.



Дом на Кудринской площади (ныне улица Чайковского, дом 46) в Москве, где композитор жил в 1872–1873 годах



Сцена из балета «Лебединое озеро» в постановке Большого театра.  
*Гравюра. 1870 г.*



Сцена из оперы «Опричник». Гравюра. 1874 г.

националистически настроенных кругов, которые, начав с музыкальных споров, нередко переходили границы в сторону личных выпадов, чего композитор так боялся. Это и могло стать причиной того, что статья «Бетховен и его время», первая часть которой вышла в феврале 1873 года в газете «Гражданин», редактируемой князем Мещерским, так и не была закончена. 10 декабря 1875 года Чайковский опубликовал свою последнюю статью, отказавшись от публикаций такого рода.

Композитор продолжал работать над оперой «Опричник». Работа шла медленно, ему пришлось самому написать либретто, притом что фабула его особенно не вдохновляла. Русская тема была в то время необходима для успеха оперы, но в этом случае оказалась чуждой Чайковскому внутренне, не вызвав настоящего энтузиазма. С самого начала работы над «Опричником» он чувствовал противоречивый характер этого сочинения: несочетаемости идеи в целом и его собственных творческих усилий. Весной 1872 года он наконец закончил оперу и решил послать ее в Мариинский театр в Петербурге, поскольку после неудачного исполнения «Воеводы» на сцене Большого театра утратил желание ставить свое новое детище в Москве. Одобрен был «Опричник» только в конце декабря, но лишь после того, как композитор лично приехал в Петербург и сыграл

оперу для членов оперного комитета театра.

Несмотря на денежные и творческие проблемы, молодость и жизнелюбие брали свое: не будем забывать, что Чайковскому в то время было немного за тридцать. Скрывая трудности, он, как вспоминают его коллеги и друзья, на людях выглядел веселым и даже озорным молодым человеком. Об этом же свидетельствуют исполненные юмора и добродушия его письма к Клименко, братьям и сестре, то на церковнославянском, то на английском языке, а временами и просто в стихотворной форме.

Сестра композитора Александра 2/14 декабря 1871 года родила второго сына. Она писала брату: «После многих волнений и беспокойства, а потом сильных страданий, Бог дал мне сына Владимира; еще малютка лежал, едва появившись на свет... как я привстала взглянуть на него, и первые мои слова были — он похож на брата Петю, дай Бог, чтоб и человеком таким был! Действительно, Воля похож на тебя, и меня это очень радует». Чайковский и сестре отвечал: «...с ликованием сердца получил я известие о рождении тебе сына, а мне августейшего племянника».

В конце декабря 1871 года Шиловский снова позвал Петра Ильича за границу. Композитор сомневался, но все-таки согласился, сообщив о их отъезде брату Анатолию с указанием никому об этом не говорить. 16 декабря они выехали в Ниццу, прежде навестив в Петербурге князя Мещерского. В Ницце провели три недели. Для Чайковского было «чрезвычайно странно попасть из глухой русской зимы в место, где иначе, как в одном сюртуке, выйти нельзя, где растут апельсины, розы, сирень и цветут яркой зеленью деревья». Он много гулял, ему нравилось море, особенно утром, когда он сидел на берегу один «под лучами палящего, но не мучительного солнца».

Оторванный от творческого процесса, он оказался вовлеченным в вихрь светской жизни, которой наслаждались съехавшиеся со всего света праздные богачи. Естественно, настроение менялось в худшую сторону: от меланхолии до жгучей тоски. Причем особенностью этой тоски, которая отныне будет всегда сопровождать его в зарубежных путешествиях, было как страстное желание уехать из России, так и не менее страстное желание вернуться обратно, чуть ли не на следующий день.

В середине января его спутник вздумал посетить Геную и Венецию, а затем через Вену вернуться на родину. За время пребывания на юге Франции Чайковский написал тем не менее две пьесы для фортепьяно (ор. 10), посвященные Володе Шиловскому: «Ноктюрн» и «Юмореска».

А 5 февраля в Петербурге была исполнена увертюра «Ромео и

Джульетта» в Четвертом симфоническом собрании Русского музыкального общества, оцененная даже критиком музыки Чайковского Кюи как «произведение чрезвычайно талантливое». Поздней весной Петр Ильич не только завершил работу над «Опричником», но и написал кантату на стихотворение Якова Полонского к открытию Политехнической выставки в Москве, за которую ему заплатили целых 750 рублей. Кантата была исполнена 31 мая в концерте, устроенном на Троицком мосту. Занятия в консерватории уже закончились, и через несколько дней он отправился к сестре в Каменку.

Имение Давыдовых уже стало для композитора излюбленным местом летнего отдыха. Но в начале июля он вместе с заехавшим за ним Донауровым отправился в Киев, чтобы провести два дня в обществе Модеста (служившего под Киевом), Владимира Жедринского и их друзей. С Модестом и Донауровым 6 июля Чайковский отбыл далее в имение Кондратьева, где они весело прожили десять дней. Затем Чайковский принял очередное приглашение Шиловского.

По дороге в Усово, на одной из станций дилижансов, с ним произошел курьезный случай. Желая ускорить получение лошадей, композитор назвался камер-юнкером князем Волконским. Хозяин дилижансов сразу же сделал необходимые распоряжения, но вдруг Петр Ильич обнаружил, что забыл на предыдущей станции бумажник с 500 рублями и документами, которые могли изобличить его настоящую фамилию и тем самым поставить под сомнение получение назад бумажника. Однако все закончилось благополучно.

Месяц, проведенный у Шиловского, оказался очень продуктивным. Композитор был поглощен работой над Второй симфонией, продолжил ее и после возвращения в Москву 15 августа. К концу октября симфония была закончена. Той же осенью Чайковский опять переехал на другую квартиру со своими двумя слугами и собакой. Как и в прошлый раз, послал Ивану Клименко в Одессу приглашение навестить его. Сообщая ему о своей жизни и московских приятелях, отметил отсутствие особенных перемен: «Так же ходим в консерваторию, так же иногда сходимся и совокупно пием, причем Юргенсон отличается по-прежнему, и в сущности все хандрим. <... > Вообще хандра нас всех поедом ест, и это объясняется тем, что мы становимся старше, ибо я не могу скрыть от тебя, что каждое проходящее мгновение приближает нас к гробу. Что касается лично меня, то, по правде сказать, я один только интерес имею в жизни: это мои композиторские успехи».

Слова эти не были праздными. Несмотря на летние путешествия, он, к



своему удивлению, сумел проделать практически всю работу над Второй симфонией, названной Кашкиным «малороссийской». Уставший, но довольный этим новым сочинением, потребовавшим большого напряжения, он пишет Модесту по возвращении в Москву в начале ноября: «Это гениальное произведение (как называет мою симфонию Ник[олай] Дмитриевич] Кондратьев) близко к концу и, как только будет расписано на партии, так сейчас и исполнится». И добавляет: «Мне кажется, что это мое лучшее произведение в отношении законченности формы, — качества, которым я доселе не блистал».

Во Второй симфонии ярче, чем в любых других симфонических произведениях Чайковского, чувствуется влияние народного музыкального творчества. Она почти полностью состоит из вариаций тем и фольклорных мелодий, а темой финала стала украинская народная песня «Та внадівся журавель». Сам Чайковский так и называл эту симфонию — «Журавель». Тот факт, что «Могучая кучка» встретила эту вещь с одобрением, не случайность.

Декабрь прошел в переговорах о постановке «Опричника». 26 декабря композитор присутствовал в Петербурге на вечере у Римского-Корсакова, где его попросили сыграть что-нибудь из новой симфонии. После исполнения финала «вся компания», собравшаяся тогда, «чуть-чуть не разорвала меня на части от восторга», — сообщал он позднее Модесту. На следующий день Чайковский вернулся в Москву. Убедившись, до какой степени оторвался от столичной суетной жизни, он с нетерпением стал ожидать 11 января — дня исполнения симфонии. Однако концерт был отложен в связи со смертью попечительницы Русского музыкального общества великой княгини Елены Павловны, и впервые симфония прозвучала лишь 26 января. Ларош, специально по этому случаю приехавший из Петербурга в Москву, писал 1 февраля в «Московских ведомостях»: «Давно я не встречал произведения с таким могущественным тематическим развитием мыслей, с такими мотивированными и художественно обдуманными контрастами».

Несколькими неделями позже (13 февраля 1873 года), окрыленный триумфом и удовлетворенным честолюбием, он с восторгом и юмором пишет Модесту: «Вообще, близится время, когда и Коля, и Толя, и Ипполит и Модя уже не будут Чайковскими, а только братьями Чайковского. Не скрою, что это-то и есть вожаемая цель моих стараний. Своим величием стирать во прах все окружающее, — не есть ли это высочайшее наслаждение? Итак, трепещи, ибо слава моя скоро тебя раздавит».

В марте он за три недели написал музыку к сказке-феерии

«Снегурочка», только что сочиненной Островским. Премьера состоялась 11 мая: пьеса успеха не имела, музыка же публике понравилась. На деньги, полученные за «Снегурочку», Чайковский вознамерился еще раз съездить за границу, но предварительно навестить Кондратьева и сестру в Каменке. У Кондратьева он встретился с Апухтиным, простудился, купаясь в реке, и проболел несколько недель, оставшись лечиться у сестры.

Чайковский покинул Россию в конце июня и 1/13 июля в Дрездене встретился с Юргенсоном, тоже проводившим лето в Германии. Вдвоем они гуляли по окрестным горам, посетили театр, где слушали «Волшебную флейту» Моцарта, и картинную галерею. Затем отправились в Швейцарию, побывали в Цюрихе, Люцерне, Берне и Женеве. Кроме того, Чайковский, уже один, заехал в местечко Веве, где по просьбе сестры узнал о возможностях пансионного проживания для двух ее старших дочерей Тани и Веры. Квартиру он там для них не снял, но уединившись, смог немного побыть самим собой. Это включало и поиск юношей легкого поведения, что он часто делал, оказавшись один или с Шиловским в больших европейских городах. В дневнике он записал 12/24 июля: «Гулял по набережной в тщетной надежде!» На следующий день: «Попал в цирк. Желанья у меня непомерные, — да ничего нет!» Вечером, в тот же день, он, не совсем в духе от безуспешных поисков, отправился посмотреть местные достопримечательности: «Подымался на какую-то неизвестную гору, где на вершине нашел двух кретинок. <...> Среди этих величественно прекрасных видов и впечатлений туриста, я всей душой стремлюсь в Русь и сердце сжимается при представлении ее равнин, лугов, рощей. О милая родина, ты в стократ краше и милее этих красивых уродов гор, которые, в сущности, ничто иное суть как окаменевшие конвульсии природы. У нас ты так спокойно прекрасна! А впрочем, там хорошо, где нас нет».

Из Швейцарии он проследовал с издателем в Италию, думая проехать ее вдоль и поперек, но жара в Милане была настолько невыносимой, что вместо этого он предпочел отправиться на север, в Париж, где, по его мнению, «было хорошо во всякое время года». Письма Чайковского свидетельствуют о том, что это путешествие оказалось одним из самых приятных и помогло ему восстановить душевное равновесие до такой степени, что он смог приступить к работе над новым проектом: за несколько месяцев перед поездкой он встретился с музыкальным критиком Владимиром Стасовым, посоветовавшим ему несколько сюжетов для сочинений. В завязавшей переписке Стасов убедил композитора остановиться на «Буре» Шекспира. Петр Ильич нашел, что сюжет «Бури» «до того поэтичен», что он, несомненно, возьмется за воплощение этого

замысла при ближайшей возможности.

Рассеявшись и отдохнув, Чайковский вернулся в начале августа в Россию. Он сразу поехал к Шиловскому в Усово, где прожил две недели в одиночестве, «блаженствуя». Пять лет спустя, 22 апреля 1878 года, он вспоминал об этом в письме Надежде фон Мекк: «Я находился в каком-то экзальтированно-блаженном состоянии духа, бродя один днем по лесу, под вечер по неизмеримой степи, а ночью сидя у отворенного окна и прислушиваясь к торжественной тишине захоластья, изредка нарушаемой какими-то неопределенными ночными звуками. В эти две недели, без всякого усилия, как будто движимый какой-то сверхъестественною силой, я написал начерно всю “Бурю”. Какое неприятное и тяжелое пробуждение из чудного двухнедельного сновидения произвело возвращение из Москвы моего приятеля! Разом все чары непосредственного сообщества природы во всем ее несказанном величии и великолепии пали. Уголок рая превратился в прозаическую помещичью усадьбу. Проскучавши дня два-три, я уехал в Москву».

В начале октября композитор болел и не преподавал, но за это время написал шесть фортепьянных пьес (первую из них, «Вечерние грезы», посвятил Ковдратьеву, последнюю, «Темы и вариации», — Ларошу) и закончил инструментовку «Бури», обещанную Стасову, а также сочинил для своего петербургского издателя Бесселя «Шесть пьес на одну тему».

В середине ноября в очередной раз Чайковский переезжает на новую квартиру, «маловместительную, но уютную», общается с Кондратьевым и обедает у Шиловского. 7 декабря в присутствии автора впервые была сыграна фантазия «Буря» под управлением Николая Рубинштейна на Третьем симфоническом собрании Русского музыкального общества, произведя хорошее впечатление и на музыкантов, и на автора, принеся ему к тому же от Общества 200 рублей. Через год пьесу исполнили в Петербурге, где она снискала не меньший успех и высокую оценку «балакиревцев». «Что за прелесть Ваша “Буря”!!! Что за бесподобная вещь!» — восторженно писал Чайковскому Стасов.

Тем временем в Петербурге готовилась к постановке опера «Опричник», о чем композитору сообщали Бессель и главный дирижер Мариинского театра Эдуард Направник. Во второй половине января Чайковский приехал в Петербург для переговоров с Направником, внесшим в оперу (что допускалось правилами) некоторые изменения и сокращения, не слишком понравившиеся автору. Однако со временем Петр Ильич завязал с ним продолжительную и плодотворную дружбу, хотя дирижера считали человеком холодным и педантом. Через пять лет он посвятит

Направнику оперу «Орлеанская дева».

Весь декабрь и часть января нового, 1874 года Чайковский работал над Вторым квартетом. 18 января привел его в окончательный вид и в начале февраля на квартире у Николая Рубинштейна в присутствии его брата Антона состоялось прослушивание. Николай Кашкин вспоминал: «Все время, пока музыка продолжалась, Антон Григорьевич слушал с мрачным, недовольным видом и по окончании, со свойственной ему беспощадной откровенностью, сказал, что это совсем не камерный стиль, что он совсем не понимает сочинения и т. д. Все остальные слушатели, как и исполнители, были, напротив, в восторге». Естественно, резкие слова мэтра опять нанесли Чайковскому глубокую рану и переросли в результате в обиду на Рубинштейна, которая с годами только усиливалась. Следствием этого эпизода снова явился приступ мизантропии; композитор пишет Бесселю 18 февраля, что он «в более мрачном расположении духа, чем когда-либо». 5 марта он посетил концерт Антона Рубинштейна и в обзоре, опубликованном в «Русских ведомостях», несмотря на обиду, великодушно признал, что маэстро «играл много, долго и так хорошо, как только может играть виртуоз, обладающий и гениальным талантом и давно созревшим неподражаемым мастерством».

В конце марта Чайковский отправился в Петербург, чтобы присутствовать на репетиции «Опричника» и на его премьере 12 апреля. К этому дню из Москвы прибыла вся консерваторская профессура во главе с Николаем Рубинштейном. По словам Василия Бесселя, «представление было настоящим триумфом Чайковского». Затем в ресторане Бореля состоялся торжественный ужин, и автору оперы была вручена денежная премия — 300 рублей; кроме того, он получил от Бесселя по договору еще 700 рублей. 14 апреля Чайковский выехал в Италию, чтобы осветить в качестве рецензента газеты «Русские ведомости» первое представление оперы Глинки «Жизнь за царя» в Милане. Композитор находился под впечатлением от успеха собственной оперы и хвалебных рецензий на нее. Но немногим позже Цезарь Кюи подлил дегтя в бочку меда, написав в «Санкт-Петербургских ведомостях», что музыка «Опричника» «бедна идеями», будучи, по его мнению, очень слабой и «без единого счастливого вдохновения».

Впрочем, позднее, 25 апреля/7 мая 1874 года, во Флоренции Петр Ильич сам повторил этот приговор в письме кузине Анне Мерклинг: «Я должен открыться тебе: моя опера, по правде сказать, весьма слабое произведение; я очень недоволен ею, а вызовы и аплодисменты на первом представлении нимало не вводят меня в заблуждение». Подобные

заявления, часто повторявшиеся в его жизни, свидетельствуют о том, что он был способен не только на трезвый и критичный взгляд на результаты своего труда, несмотря даже на эйфорию и восторги слушателей, но и на глубокие сомнения в себе, подобно другим гениям, не теряя при этом веры в достижение творческих вершин.

Узнав, что в опере Глинки делаются изменения в угоду вкусу итальянской публики и что премьера перенесена на середину мая, Чайковский отказался от поездки в Милан, предпочтя просто насладиться Италией. 17/29 апреля он прибыл в Венецию, где раньше останавливался лишь проездом. Впечатление от нее оказалось тяжелым. «Венеция такой город, — писал он Модесту в этот же день, — что если бы пришлось здесь прожить неделю, то на пятый день я бы удавился с отчаяния. Все сосредоточено на площади Св. Марка. Засим, куда ни пойдешь, пропадешь в лабиринте вонючих коридоров, никуда не приводящих, и, пока не сядешь где-нибудь в гондолу и не велишь себя везти, не поймешь, где находишься. По Canale Grande проехать не мешает, ибо дворцы, дворцы и дворцы, все мраморные, один лучше другого, но в то же время один грязнее и запущеннее другого. <...> Зато палаццо дожей — верх красоты и интересное™, с романтическим ароматом Совета десяти, инквизиции, пыток, ублиеток (средневековая подземная тюрьма. — АП.) и т. п. прелестей. Я все-таки избегал его еще раз вдоль и поперек и для очистки совести побывал в других двух-трех церквях с целой бездной картин Тициана и Тинторетто, статуй Кановы и всяких эстетических драгоценностей. Но, повторяю, город мрачный, как будто вымерший. Не только лошадей, даже ни одной собаки я не видел».

На следующий день Чайковский сбежал из Венеции в Рим и по прибытии туда все утро бродил по городу, осмотрел Колизей, термы Каракаллы, Капитолий, Ватикан, Пантеон и собор Святого Петра и Павла и просто гулял по Corso. Шесть дней провел в Неаполе, где начал тосковать по близким, что не помешало ему тем не менее обойти все туристические достопримечательности города и окрестностей. Чайковский побывал в Помпее, взволнованно блуждая по развалинам заживо погребенных зданий, а 27 апреля / 9 мая остановился на день во Флоренции, которая ему очень понравилась. В начале мая он уже был в Москве, а с 23-го по 31 — экзаменовал студентов консерватории, перед тем как 1 июня уехать к Кондратьеву.

В Низах композитор приступил к работе над новой оперой на либретто Якова Полонского по повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». Она должна была называться «Кузнец Вакула». Условия и уход, которыми был

окружен композитор на протяжении почти шести недель, предрасполагали к сочинению, к которому он и предавался ежедневно с 12 до 3 часов дня. При этом он много купался, играл в карты, общался с Кондратьевым, когда сам этого хотел. В этот раз его сопровождал Алексей Софронов. Чайковский был рад, что взял его с собой, так как молодой слуга и тут оказался «премильным и преуслужливым созданием».

Шестнадцатого июля композитор переехал в имение Шиловского, где к 21 августа сумел закончить «Вакулу». Удовлетворенный работой, он тотчас же отправил оперу на анонимный конкурс Русского музыкального общества. Ему была нужна не премия, «хотя деньги тоже хорошая вещь», а победа, гарантировавшая постановку оперы в Мариинском театре. Для участия в конкурсе он заменил свою фамилию девизом «*Ars longa, vita brevis est*» (искусство долговечно, жизнь коротка. — лат.). Через несколько недель его привело в смятение известие, что окончательный срок подачи конкурсных работ не январь 1875 года, как он думал, а август. Пришлось больше года в волнении ждать результатов. «Все мои помыслы обращены теперь на мое любезное детище, на милого “Вакулу”, — писал он Анатолию 12 мая 1875 года. — Ты не можешь себе представить, до чего я люблю его! Мне кажется, что я положительно с ума сойду, если потерплю с ним неудачу».

В конце августа 1874 года Чайковский вернулся в Москву, где уже в пятый раз решил перебраться на новую квартиру, в этот раз на той же Малой Никитской улице. Он считал, что предыдущее его жилище слишком мало и неудобно для сочинительства и совместной жизни с двумя слугами. В сентябре у него гостил заметно потолстевший Апухтин, общение с которым всегда было ему интересно, но на тот момент Чайковский был слишком занят преподавательской работой. Кроме преподавания и правки новой оперы, он в течение осени изучал «Бориса Годунова» Мусоргского и «Демона» Рубинштейна. Музыка Мусоргского очень не понравилась ему: «пошлая и подлая пародия на музыку», в «Демоне» же, напротив, он нашел «преlestные вещи», хотя многое его не удовлетворяло и в нем. Примечательно, однако, то, что испытание временем выдержала именно опера Мусоргского.

Двадцать четвертого октября в Петербурге впервые прозвучал Второй квартет, а 16 ноября «Буря»; обе вещи имели большой успех. Даже вечно недовольный Чайковским Кюи отметил талантливость этих сочинений. Лароша же «Буря» не впечатлила. Рецензируя ее в газете «Голос», он отметил многочисленные подражания Шуману, Глинке и Берлиозу. Чайковский был весьма рассержен: «С какой любовью он говорит, что я

подражаю... кому-то. Точно будто я только и умею, что компилировать, где попало. Я не обижаюсь... я этого ожидал... Но мне неприятна общая моя характеристика, из которой явствует, что у меня есть захваты от всех существующих композиторов, а своего ни х..». Однако и сам он, как это часто с ним случалось неоднократно, по прошествии времени изменил свое отношение к этому произведению и при исполнении «Бури» пятью годами позже на концерте в Париже испытал «сильнейшее разочарование в самом себе». «Меня убивала мысль, что “Буря”, которую я привык считать блестящим моим произведением, в сущности так ничтожна!» — писал он Модесту 26 февраля/ 10 марта 1879 года.

Плохое настроение, навеянное статьей Лароша, отразилось на планах начать фортепьянный концерт, задуманный той же осенью, с тем чтобы он мог быть сыгран Николаем Рубинштейном в одном из его сольных выступлений в начале следующего года. 29 октября 1874 года Чайковский в письме Модесту упоминает, что «хотел было приняться за фортепьянный концерт, — да что-то не выходит». Тем не менее через десять дней в письме Бесселю он сообщает, что «начинает соображать новое большое сочинение» и что оно овладело всеми его мыслями. Специфика фортепьянно-концертного жанра была для него новой и давалась с трудом, но уже в конце ноября он весь «погружен в сочинение... концерта», хотя «дело идет очень туго и плохо дается», — сознается он Анатолию, и далее: «Я по принципу насилую себя и принуждаю свою голову измышлять фортепьянные пассажи; в результате — порядочно расстроенные нервы». Первый концерт для фортепьяно с оркестром был закончен 21 декабря.

А 24 декабря 1874 года Чайковский в присутствии Николая Рубинштейна и Николая Губерта сыграл только что оконченную вещь. Реакция его коллег по консерватории оказалась настолько неожиданной, что молодой композитор долго не мог после этого прийти в себя. 21 января/2 февраля 1878 года он подробно рассказал об этом злополучном дне в письме к фон Мекк: «Так как я не пианист, то мне необходимо было обратиться к специалисту-виртуозу, для того чтобы указать мне, что в техническом отношении неудобноисполнимо, неблагоприятно, неэффективно и т. д. Мне нужен был строгий, но, вместе, дружественно расположенный ко мне критик только для этой внешней стороны моего сочинения. Не хочу вдаваться в подробности, не хочу разъяснять все антецеденты, чтоб не вдаваться в бездну мелких дрызг, но должен констатировать тот факт, что какой-то внутренний голос протестовал против выбора Рубинштейна в эти судьи механической стороны моего сочинения. Я знал, что он не удержится, чтобы при сем удобном случае не посамодурничать. Тем не

менее он не только первый московский пианист, но и действительно превосходный пианист, и, зная заранее, что он будет глубоко оскорблен, узнавши, что я обошел его, я предложил ему прослушать концерт и сделать замечания насчет фортепьянной партии. Это был канун Рождества 1874 г. В этот вечер мы оба приглашены были на елку к Альбрехту, Николай [Григорьевич] с Губертом. Имеете ли Вы, друг мой, понятие о последнем? Это очень добрый и умный человек, совершенно лишенный всякой самостоятельности, очень многоречивый, нуждающийся в целом предисловии, чтобы сказать простое да или нет, не способный высказать решительного мнения в простой форме, всегда льнувший к тому, который в данном случае смелее и решительнее выражается. Спешу оговориться, что это делается не из подлости, а из бесхарактерности.

Я сыграл первую часть. Ни единого слова, ни единого замечания! Если бы Вы знали, какое глупое, невыносимое положение человека, когда он преподносит своему приятелю кушанье своего изделия, а тот ест и молчит! Ну, скажи хоть что-нибудь, хоть обругай дружески, но, ради бога, хоть одно сочувственное слово, хотя бы и не хвалебное. Рубинштейн приготавливал свои громы, а Губерт ждал, чтобы выяснилось положение и чтобы был повод пристать к той или другой стороне. А главное, Я не нуждался в приговоре над художественной стороной. Мне нужны были замечания насчет техники виртуозной, фортепианной. Красноречивое молчание Рубинштейна имело очень знаменательное значение. Он как бы говорил мне: “Друг мой, могу ли я говорить о подробностях, когда мне самая суть противна!” Я вооружился терпением и сыграл до конца. Опять молчание. Я встал и спросил: “Ну что же?” Тогда из уст Н[иколая] Григорьевича] полился поток речей, сначала тихий, потом все более и более переходивший в тон Юпитера-громовержца. Оказалось, что концерт мой никуда не годится, что играть его невозможно, что пассажи избиты, неуклюжи и так неловки, что их и поправлять нельзя, что как сочинение это плохо, пошло, что я то украл оттуда-то, а то оттуда-то, что есть только две-три страницы, которые можно оставить, а остальное нужно или бросить или совершенно переделать. “Вот, например, это, — ну, что это такое? (при этом указанное место исполняется в карикатуре). А это? Да разве это возможно!” — и т. д. и т. д. Я не могу передать Вам самого главного, т. е. тона, с которым все это говорилось. Ну, словом, посторонний человек, попавший бы в эту комнату, мог подумать, что я — маньяк, бездарный и ничего не смыслящий писака, пришедший к знаменитому музыканту приставать с своей дребеденью. Губерт, заметивши, что я упорно молчу, изумленный и пораженный, что человеку, написавшему уже очень много и



преподающему в консерватории курс свободной композиции, делают такой выговор, произносят над ним такой презрительно-безапелляционный приговор, которого и ученику, сколько-нибудь способному, нельзя произнести, не просмотревши внимательно его задачи, — стал разъяснять суждение Н[иколая] Г[ригорьевича] и, не оспаривая его нисколько, лишь смягчать то, что его превосходительство выразил уж слишком бесцеремонно.

Я был не только удивлен, но и оскорблен всей этой сценой. Я уже не мальчик, пытающий свои силы в композиции, я уже не нуждаюсь ни в чьих уроках, особенно выраженных так резко и недружественно. Я нуждаюсь и всегда буду нуждаться в дружеских замечаниях, — но ничего похожего на дружеское замечание не было. Было огульное, решительное порицание, выраженное в таких выражениях и в такой форме, которые задели меня за живое.

Я вышел молча из комнаты и пошел наверх. От волнения и злобы я ничего не мог сказать. Скоро явился Рубинштейн и, заметивши мое расстроенное состояние духа, позвал меня в одну из отдаленных комнат. Там он снова повторил мне, что мой концерт невозможен, и, указав мне на множество мест, требующих радикальной перемены, сказал, что если я к такому-то сроку переделаю концерт согласно его требованиям, то он удостоит меня чести исполнить мою вещь в своем концерте. “Я не переделаю ни одной ноты, — отвечал я ему, — и напечатаю его в том самом виде, в каком он находится теперь!” Так я и сделал.

Вот тот случай, после которого Рубинштейн стал смотреть на меня как на фрондера, как на тайного своего противника. Он значительно охладел ко мне с тех пор, что, однако же, не мешает ему при случае повторять, что он меня страх как любит и все готов для меня сделать».

Событие это стало тяжелым испытанием для молодого, но честолюбивого композитора, тем более что идею фортепьянного концерта дал Чайковскому сам Рубинштейн. Пару недель спустя, 9 января 1875 года, он жалуется Анатолию, что все рождественские и новогодние праздники «находился под сильным впечатлением удара, нанесенного моему авторскому самолюбию и не кем иным, как Рубинштей[ном]. <...> При личном свидании я расскажу тебе, как было дело. Да и Губерт твой тоже обозлил меня по тому же поводу. Эти господа никак не могут отвыкнуть смотреть на меня, как на начинающего, нуждающегося в их советах, строгих замечаниях и решительных приговорах. Дело идет о фортепианном концерте, который я целые два месяца писал с большим трудом и стараниями; но это несчастное произведение не удостоилось чести

понравится гг. Рубинштейну и Губерту, которые выразили свою неапробацию очень недружеским, обидным способом. Если принять в соображение, что они считаются моими друзьями и что во всей Москве нет никого, кто бы мог с любовью и вниманием отнестись к моему сочинению, то ты поймешь, что мне было очень тяжело. Удивительное дело! Разные Кюи, Стасовы и С<sup>0</sup>, хоть и пакостят мне, но при случае дают чувствовать, что интересуются мной гораздо больше моих так называемых друзей. Кюи написал мне очень милое письмо. Сегодня я получил письмо от Корсакова, которое меня очень тронуло. Я очень, очень одинок здесь и, если б не постоянная работа, я бы просто ударился в меланхолию. Да и то правда, что проклятая бугромания образует между мной и большинством людей непроходимую бездну. Она сообщает моему характеру отчужденность, страх людей, робость, неумеренную застенчивость, недоверчивость, словом, тысячу свойств, от которых я все больше становлюсь нелюдимым. Представь, что я теперь часто и подолгу останавливаюсь на мысли о монастыре или чем-нибудь подобном. Пожалуйста, не вообрази, что я чувствую себя и физически скверно. Здоров совершенно, сплю хорошо, ем еще лучше».

Неодобрение Рубинштейном концерта вызвало у Чайковского затяжной психологический кризис. Обычный для него приступ ипохондрии из-за критики своих произведений он связал, как мы видим, с заброшенностью, одиночеством и даже с «бугроманией». Для настроения его в тот момент характерно начало цитированного письма: «Терпеть не могу праздники. В будни работаешь в указанное время, и все идет гладко, как машина; в праздники перо валится из рук, хочется побыть с близкими людьми, отвести с ними душу и тут-то является сознание (хоть и преувеличенное) сиротства и одиночества. Но в самом деле я в Москве живу, собственно говоря, немножко сиротой. На праздники на меня даже по этому случаю сильная хандра напала. У Давыдовых скучно, с консерваторскими приятелями и их женами я таки не особенно близок. Словом, очень мне хотелось в Питер, — да денег мало было. Кроме того, что никого здесь нет (кого бы я мог в настоящем смысле слова назвать другом, хотя бы таким, как был для меня Ларош или как теперь Кондратьев)».

Очевидно, что на тот момент главный источник его меланхолии не имел прямого отношения к переживаниям по поводу собственных неортодоксальных вкусов, как это иногда хотят видеть некоторые биографы. Настроение, отразившееся в письме, содержит характерные симптомы любого неврастенического состояния, независимо от

сексуальной ориентации человека.

Мы знаем, что композитор часто находился в окружении большого количества людей. Это не смущало его в «светский» период его ранней юности, именно тогда, когда он более или менее открыто предавался однополым любовным утехам, и, лишь приняв решение посвятить свою жизнь музыкальному творчеству, он стал периодически испытывать раздражение от избыточного окружения — именно потому, что оно мешало его работе, а отнюдь не из-за каких-то воображаемых душевных терзаний сексуального характера. Тем более показательным, что как в обсуждаемом письме, так и в последовавших за ним фигурирует гомосексуальный Кондратьев, называемый лучшим другом и, очевидно, продолжавший быть его поверенным. Именно ему первому Чайковский шлет «в одном из сильных ипохондрических припадков» этой зимы письма интимного свойства. Кондратьев, в свою очередь, делится их содержанием с их общим другом князем Мещерским. От последнего Анатолий и узнает детали «фортепьянного кризиса» брата, обиженно пишет ему и требует объяснения, очень огорченный степенью доверительности брата к другому человеку. Очевидно, что если бы источником кризиса были действительно угрызения совести сексуального свойства, композитор скорее предпочел бы уклониться от тесного эпистолярного общения с другом-гомосексуалом в стремлении вырваться из круга подобных переживаний и проблем.

Депрессия продолжалась до весны. Только 12 марта он сообщает Модесту, что хоть ипохондрия «действительно порядочно меня терзала в течение этой зимы, но нисколько не повлияла на мое здоровье, которое находится в вожделенном состоянии. Теперь, с приближением весны, это прошло. Вероятно, мне пришлось писать Кондратьеву в одном из сильных ипохондрических припадков и очень может быть, что теперь, прочитав мое письмо, я бы раскаялся в преувеличенном описании моего духа». Об этом свидетельствует и письмо Анатолию от 9 марта 1875 года: «Всю эту зиму в большей или меньшей степени я постоянно хандрил и иногда — до последней степени отвращения к жизни, до призывания смерти. Теперь, с приближением весны, эти припадки меланхолии совершенно прекратились, но так как я знаю, что с каждым годом или, лучше сказать, с каждой зимой они будут возвращаться в сильнейшей степени, то я решил весь будущий год отсутствовать из Москвы. Где я буду и куда денусь, еще не знаю, но я должен переменить место и окружающую среду».

Желание сменить местожительство и обстановку станет отныне навязчивым и будет постоянно присутствовать в мыслях Чайковского вплоть до фатального 1877 года. Он станет сознательно и подсознательно

искать повода для разрыва с опостылевшей консерваторией и коллегами, с которыми «нельзя отвести душу» и всецело отдаться творчеству. Такой случай представится ему через два года.

А пока, придя в себя от уничтожительной критики Рубинштейном Первого концерта, он продолжал рутинную деятельность в консерватории. На званом вечере у того же Рубинштейна композитор познакомился с венгерским скрипачом Леопольдом Ауэром, которому посвятил «Меланхолическую серенаду», написанную в феврале вслед за фортепьянным концертом. К середине апреля он закончил шесть романсов, а 4 мая состоялась премьера «Опричника» на сцене Большого театра. Композитор «со стоическим мужеством переносил систематическое обезображивание этой злосчастной оперы, и без того уже безобразной» на репетициях, однако на публику она произвела самое благоприятное впечатление.

Последние экзамены в консерватории таили особый смысл: его любимый и многообещающий ученик, девятнадцатилетний Сергей Танеев заканчивал обучение. Младший брат Владимира Танеева, язвительного летописца Училища правоведения, он более всех других психологически поддерживал своего учителя композиции. Этой же весной Чайковский побывал на первом публичном концерте молодого музыканта, виртуозно сыгравшего Первый фортепьянный концерт Брамса. Танеев помог ему и Юргенсону с корректурой его собственного Первого фортепьянного концерта и выразил желание исполнить его публично, чем тронул Чайковского до такой степени, что он надписал имя Танеева на партитуре. Таким образом было положено начало крепкой дружбе между учеником и учителем.

Однако из чисто практических и даже оппортунистических соображений в первых числах июня Чайковский по совету коллеги-пианиста Карла Клиндворта и с его помощью послал свой фортепьянный концерт известному немецкому пианисту, композитору и дирижеру Гансу фон Бюлову, предварительно посвятив сочинение ему. В ответ Бюлов прислал восторженное письмо, в котором назвал концерт «совершеннейшим» из всех других знакомых ему его творений: «По идеям это так оригинально без вычурности, так благородно, так мощно, так интересно в подробностях, которые своим обилием не вредят ясности и единству общего замысла; по форме это столь зрело, столь полно “стиля”, намерение и воплощение сочетаются так гармонично. <...> Одним словом, это настоящее сокровище».

Сразу после экзаменов композитор отправился к Шиловскому в Усово,

где на три недели с головой погрузился в работу над очередной — Третьей симфонией. Закончил он ее в начале июля уже в Низах у Кондратьева и даже успел ее инструментовать. С обретением мастерства ускорился и темп работы. В архивах сохранились сведения о дате начала и окончания написания каждой части этого сочинения, свидетельствующие о том, что (несмотря на переезды из одного имения в другое) эскизы симфонии были готовы менее чем за два месяца. Остаток июля и первую половину августа Чайковский отдыхал в Вербовке (деревне, соседней с давыдовской Каменкой), вторую — снова в Усово. Шиловскому, в поместье которого он провел так много плодотворных часов, и была посвящена новая симфония. Ее премьерное исполнение под управлением Николая Рубинштейна с успехом прошло 7 ноября 1875 года.

К 1 сентября Чайковский возвратился в Москву и, к своему удивлению, узнал, что Танеев уже выучил его Первый фортепьянный концерт и готов выступить с ним публично. Тем не менее на российской премьере, состоявшейся 1 ноября в присутствии автора в Петербурге, это произведение исполнил Густав Кросс. Концерт потерпел полный провал: он «был отчаянно изувечен, в особенности благодаря дирижеру оркестра (Направнику), который сделал все на свете, чтобы аккомпанировать так, что вместо музыки это была сплошь ужасная какофония. Пианист Кросс играл его добросовестно, но плоско, безвкусно и без всякой прелести. Пьеса не имела никакого успеха. <...> Но что мне за дело до успехов здесь, когда я знаю, что благодаря Вам она пробьет себе дорогу», — писал композитор 19 ноября Гансу фон Бюлову. Петр Ильич не ошибся в своем изначальном выборе. Фон Бюлов опередил российских коллег, с огромным успехом исполнив концерт еще 13/25 октября в Бостоне с оркестром под управлением Бенджамина Джонсона Ланга.

А 21 ноября это произведение с блеском сыграл в симфоническом собрании Русского музыкального общества в Москве Сергей Танеев. За пультом стоял Николай Рубинштейн. Это событие порадовало композитора, но он еще оставался под впечатлением петербургской неудачи. Рубинштейн, так презрительно отозвавшийся о Первом концерте при первом знакомстве, довольно скоро оценил его красоту и глубину и, начиная с 1878 года, стал выступать с ним в Петербурге и в Москве. На Парижской выставке в 1879 году исполнением этого сочинения Чайковского он вызвал настоящую сенсацию. Позднее, 4 января 1880 года, вспоминая заявление Рубинштейна о том, что концерт «невозможно играть», композитор с иронией писал Танееву: «...что было невозможно в 1875 [году], сделалось совершенно возможным в 1878-м».

Оригинальность и новаторский характер столь знаменитого впоследствии концерта российские музыкальные критики оценили не сразу. Ларош писал, что «концерт занимает весьма и весьма второстепенное место между сочинениями Чайковского», и выделил лишь «светлую, торжественную, пышную интродукцию», а Кюи назвал его «талантливым, но легоньким» сочинением, в котором «много приятного», но нет «глубины и силы».

В конце ноября 1875 года в Москву для участия в программе Русского музыкального общества приехал Камиль Сен-Санс. По словам Модеста Ильича, это был человек «небольшого роста, подвижный, с еврейским типом лица, хотя не еврей по происхождению, остроумный, с дозой самобытности, которая всегда была мила Петру Ильичу в людях, с каким-то умением сразу же становиться интимным; <...> он сразу очаровал Петра Ильича и сошелся с ним очень близко». Так близко, что Чайковский увидел в этой приязни нечто должествующее иметь значение в будущем. У Сен-Санса и Чайковского оказалось много общих симпатий и антипатий как в сфере музыки, так в других искусствах. Оба композитора были балетоманами и «прекрасно подражали танцовщикам». Как мы знаем, в юности Чайковский мастерски изображал балетные фигуры. Модест Ильич рассказывает, что, желая друг другу похвастать своим искусством, они на сцене консерваторского зала в присутствии только Николая Рубинштейна исполнили маленький балет «Галатhea и Пигмалион». Сорокалетний Сен-Санс был Галатеей и с необычной добросовестностью взял на себя роль статуи, а тридцатипятилетний Чайковский взялся быть Пигмалионом. Посылая свою фотографию 27 января/8 февраля 1876 года, композитор напомнил Сен-Сансу о их совместной постановке.

В разгар общения с Сен-Сансом пришло сообщение, что опера «Кузнец Вакула» получила первую конкурсную премию и принята к постановке в Мариинском театре в следующем сезоне. Воодушевленный победой, композитор в конце декабря отправился сопровождать брата Модеста в Европу.

Разочаровавшийся и уставший от жизни и работы в провинции, тот подыскивал себе другое занятие в Петербурге или Москве и однажды получил предложение стать воспитателем восьмилетнего глухонемого мальчика, сына Германа Карловича Конради, агронома и землевладельца, главного управляющего имением Карловка в Полтавской губернии, принадлежавшего великой княгине Елене Павловне, и его жены Алины. Чайковский горячо поддержал намерение брата принять это предложение. По условиям родителей Коли Модест должен был немедленно поехать на

год во французский город Лион для изучения метода звукового обучения глухонемых в частной школе Жана Гугентоблера, с тем чтобы применять его в своей педагогической работе. Только после этого они собирались заключить с Модестом официальный договор, который был окончательно оформлен лишь в ноябре 1877 года.

Когда Модест обдумывал возможность воспитательной карьеры в семье Конради, князь Мещерский предложил ему место своего секретаря и компаньона. Поразмыслив, молодой человек эту идею отклонил, чем заслужил одобрение старшего брата, который написал ему 3 марта 1876 года: «Что ты решаешься принять окончательно предложение Конради, этому я не могу не радоваться, точно так же, как и тому, что ты отклонил сопутствие Мещерского. Господи! Как бы ты (т. е. не Господь, а ты, Модя) раскаялся, если б имел неосторожность принять его предложение, впрочем, любезное и дружеское!» Композитор захотел отправиться вместе с братом, развеять его сомнения в правильности выбора и заодно навестить сестру Александру, поселившуюся с детьми около Женевы, в Швейцарии, пока ее муж занимался постройкой большого семейного дома в Каменке. Модест должен был воссоединиться со своим будущим воспитанником уже в Лионе, где мальчик учился под присмотром гувернантки Софьи Ершовой.

Двадцатого декабря братья выехали из Петербурга в Берлин и провели там два дня, развлекаясь и отдыхая. Ровно через неделю они прибыли в Женеву, где их встретил муж сестры Лев с дочерьми Таней и Верой, Александра опять была беременна. Чайковский писал Анатолию 31 декабря 1875/12 января 1876 года: «Саша потолстела животом, но очень добра и здорова. Дети так же милы, как и в Вербовке. Таня здесь утратила вид праздной барышни и поэтому производит впечатление очень приятное. Бебинька (Боб. — А. П.) вырос; он жестоко тиранит меня и Модеста и, разумеется, мы с блаженством исполняем его приказания».

Погостив в Женеве неделю, братья решили съездить в Париж. 8/20 января посетили Комическую оперу, где впервые слушали «Кармен» Бизе, произведшую на обоих очень сильное впечатление. Годы спустя Чайковский писал фон Мекк: «Это музыка без претензии на глубину, но такая прелестная в своей простоте, такая живая, не придуманная, а искренняя, что я выучил ее чуть не наизусть всю от начала до конца».

Пробыв в Париже всего два дня, 10/22 января он расстался с Модестом, который вскоре должен был уехать в Лион, и в тоскливом состоянии отбыл в Россию. Оказавшись в разлуке с братом, Чайковский ощутил острую боль. «Милый Модя! Если б ты знал, до чего я о тебе тоскую!» — писал он ему на следующий день из Берлина. «Вчера я весь

вечер плакал, и сегодня при воспоминании о тебе у меня все время болит сердце и наворачиваются слезы. В этой скорби о человеке, который хоть и очень близок моему сердцу, но оставлен мною не среди дикой страны, а в самом центре цивилизации, есть нечто преувеличенное. Это все еще остатки нравственного недуга, которым я страдал в Москве и который рассеялся во время нашего путешествия вдвоем. Теперь, очутившись один, я погрузился опять в самые мрачные мысли». Даже со скидкой на времена присущие Чайковскому припадки истерической сентиментальности, в чем он здесь косвенно признается сам, этот тон существенно отличается от его предшествующих обращений к Модесту, или наставительных или полушутливых. Под «московским недугом», вероятно, нужно понимать хандру весны 1875 года, связанную с фортепьянным концертом, и разочарование вообще в консерватории и Москве, но очевидно, что на этот раз близость брата и заграница подействовали на него целительно.

Возможно, отсутствие Анатолия, которому композитор дотоле отдавал предпочтение, сыграло свою роль. Теперь письма Модесту приобретают особенно нежную интонацию, ранее свойственную лишь для писем Анатолию. Серьезность нового этапа их отношений подтверждается содержащимся в нем рассуждением о религии: «Я очень рад, что ты религиозен. Теоретически я с тобой ни в чем не согласен, но, если б мои теории Тебя пошатнули в твоей вере, я бы на тебя разозлился. Я столько же горячо готов с тобой спорить о вопросах веры, сколь горячо желаю, чтоб ты остался при своих религиозных верованиях. Религиозность в том виде, как она проявляется в тебе, свидетельствует о высокой пробе металла, из которого ты отчеканен». И в конце письма: «Вообще имей в виду, что я тебя очень, очень, очень люблю!» При желании эту фразу можно трактовать в том смысле, что отныне Модест в чувствах композитора занимает положение равноправное с Анатолием.

Четырнадцатого января 1876 года Чайковский приехал в Петербург. Он вознамерился провести здесь неделю: в это время должны были исполняться его Второй квартет и впервые — Третья симфония. Увидеться с ним желали все: Анатолий и Мещерский, Ларош и Кондратьев, Давыдовы и Апухтин. Дни были расписаны по часам, кроме того, ему предстояли деловые встречи и посещения оперы. Композитор слушал «Тангейзера» Вагнера, «Рогнеду» Серова и новую оперу Цезаря Кюи «Анджело». Последняя ему не понравилась, несмотря на то что автор на этот раз «рассыпался в нежностях» по отношению к человеку, которого он так беспощадно критиковал в печати.



А 19 января 1876 года у Чайковского состоялся серьезный разговор с директором Петербургской консерватории Михаилом Азанчевским относительно своей командировки за границу на два года. Чайковский, однако, испытывал характерные колебания, о чем написал Модесту на следующий день: «Весьма может статься, что это дело устроится с будущего года, оно для меня и желательно, и странно, ибо я все-таки ужасно люблю святую Русь и боюсь по ней стосковаться».

Под управлением Эдуарда Направника 24 января прозвучала Третья симфония, а четырьмя днями раньше — Второй квартет. В прессе отзывы о симфонии и квартете разнились. Ларошу обе вещи очень понравились: «По силе и значительности содержания, по разнообразному богатству формы, по благородству стиля... и по редкому совершенству техники симфония г. Чайковского составляет одно из капитальных явлений музыки последних десяти лет не только у нас, конечно, но и во всей Европе». О Втором квартете он заметил: «Быть может, из всех произведений композитора это самое своеобразное и оригинальное». Отзыв Кюи тоже был благоприятным, но гораздо более сдержанным: «Симфония представляет действительно серьезный интерес. Первые три части лучше остальных, четвертая часть представляет только звуковой интерес, почти без музыкального содержания, пятая часть вроде полонеза, самая слабая часть». Как это с ним бывало, Петр Ильич воспринял эти и подобные замечания враждебно и, словно не заметив похвал в Ларошевом отзыве, написал Модесту 11 февраля 1876 года: «К симфонии моей пресса отнеслась довольно холодно, не исключая и Лароша. Все сошлись в том, что в ней не заключается ничего нового и что я начинаю повторяться. Неужели это так?»

Тем временем журнал «Нувеллист» с января 1876 года каждый месяц начал печатать в качестве приложения фортепьянные пьесы «Времена года», которые композитор сочинял в свободное время ради денег. В конце января он получил письмо от Ганса фон Бюлова об «исключительно горячем приеме» его Первого квартета в Бостоне, а также приглашение приехать в Байрейт на первое представление тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга».

Музыка Чайковского начинает все шире распространяться за пределами России. Это не могло не радовать его самолюбия, стимулируя творческое воображение. Он возвратился к работе над Третьим квартетом, начатым еще во время зимней поездки в Париж, и 18 февраля закончил его инструментовку, посвятив его памяти талантливого скрипача, профессора Московской консерватории Фердинанда Лауба, умершего в прошедшем

году.

Тем временем в Лионе Модест овладевал знаниями и навыками, необходимыми для воспитания глухонемого ребенка. Сомнения в правильности выбранного места службы не оставляли его, поскольку все было внове: и школа для глухонемых, и методы общения с воспитанником. 28 января 1876 года Петр Ильич писал брату: «Обдумай хорошенько: дело теперь в Лионе; взвесь все pro и contra и, если по зрелом размышлении окажется, что труд не по силам, откажись. Я виделся с Конради несколько раз, и мне кажется, что люди они хорошие». И в письме от 11 февраля подбадривал: «Твое пребывание в Лионе во всяком случае принесет тебе большую пользу, хотя бы в отношении французского языка, на котором ты по возвращении должен будешь говорить превосходно — иначе я с тобой не знаком».

Вернувшись в Москву в конце января, композитор продолжал делиться с Модестом новостями и сплетнями, неизменно окружавшими Бочечкарова, а также рассказывал о неприятностях в имении Кондратьева в связи с его слугой-любовником Алексеем Киселевым: «Часто вижусь с Кондратьевым, у которого дома разыгрывалась все время драма, героем которой является все тот же невыносимый Киселев. Теперь он в деревне, куда направлен по моему настоянию».

А у Модеста были нешуточные литературные амбиции, но присутствие в его теперешней жизни Коли Конради не давало им осуществиться, ведь избрать путь воспитателя маленького мальчика ему посоветовал брат, авторитет которого был непререкаем и советы которого не обсуждались. Тем не менее он начал писать, сначала повести, из которых одна, «Ваня, или Из записок счастливого человека», была опубликована в 1887 году в журнале «Русский вестник», а позже — несколько пьес, исполнявшихся с переменным успехом. Чайковский имел высокое мнение о литературных способностях брата. «У Модеста серьезный, положительный талант, — писал он Анатолию. — Если б к этому присоединить ту выдержку, терпение, усидчивость в труде, которыми могу похвастать я, то у него уже давно было бы написано несколько замечательных вещей». На каком-то этапе Петр Ильич пытается помочь начинающему автору советом: «Ради бога, пиши свою повесть. Только труд, и именно художественный труд, может отвлечь мысли от *miseres de la vie humaine* (невзгод человеческой жизни. — фр.)».

В Лионе Модест встретился с Камилем Сен-Сансом. Последний был «очень любезен», назвав его уже знаменитого брата «*ce cher Tchaïkovsky*» (этот милый Чайковский, — фр.) и сообщив, «что получил... письмо с

карточкой» от него, но не был осведомлен насчет исполнения увертюры «Ромео и Джульетта» в Париже. Петр Ильич на это реагировал раздраженно: «Я немножко разозлился за то, что ты спрашивал Сен-Санса, когда будут играть мою увертюру. Ведь он может вообразить, что я умираю от страстного желания быть иггранным в Париже. Положим, что в сущности оно так и есть, но Сен-Санс никоим образом не должен знать этого». Однако в том же году Чайковский сам обратился к французскому дирижеру Эдуарду Колонну с просьбой об устройстве в Париже авторского концерта с оплатой всех расходов. Однако денег на концерт не нашлось, и в итоге с мыслью об этом проекте пришлось временно расстаться.

Второго марта 1876 года на вечере в доме у Николая Рубинштейна впервые был исполнен Третий квартет Чайковского. Квартет вызвал всеобщее одобрение, но наименьшее у самого автора. На следующий день он писал младшему брату: «Очень хвалят, но я не совсем доволен. <...> Мне кажется, что я немножко исписался, начинаю повторять себя и не могу выдумать ничего нового. Неужели моя песенка спета и дальше я не пойду? Весьма грустно». В том же месяце квартет был представлен публике еще трижды: в консерватории по случаю приезда туда великого князя Константина Николаевича, затем — на концерте Ивана Гржимали и наконец — на втором квартетном собрании Российского музыкального общества. Чайковский сообщал в письме Модесту от 24 марта, что квартет «очень всем нравится. Во время *Andante* (*Andante funebre e doloroso*) многие (как говорят) плакали. Если это правда, то торжество большое. Зато возобновленный здесь “Опричник” исполняется самым срамовским и компрометирующим меня образом».

Московские музыкальные критики оценили квартет по достоинству: «Превосходное, вдохновенное сочинение, вполне достойное как имени его автора, так и имени незабвенного Лауба». В Петербурге это сочинение впервые прозвучало 19 октября, и Цезарь Кюи тотчас откликнулся двусмысленной рецензией на него: «Жиденькие темки, интересная обработка — вот характер этого квартета». На второе исполнение в Петербурге, уже через четыре года, 30 октября 1880-го, тот же Кюи отозвался еще категоричнее: «Чайковский повторяет сам себя. <...> Этот квартет походит на некрасивую актрису, которая, однако, привлекает на себя взоры зрителей, благодаря искусной гримировке и роскоши одежды».

Мнения Кюи давно забыты, а квартеты Чайковского до сих пор волнуют сердца слушателей. Они явились важной вехой в творчестве композитора. Симфоническое начало, заложенное им в камерно-инструментальную основу квартетов, дало его следующим произведениям

новое звучание. Они стали предтечей балета «Лебединое озеро» и Четвертой симфонии. Их психологическая глубина и мелодическое вдохновение, эмоциональная правда и связь с классическим симфонизмом Бетховена заявили в полную силу о многогранном таланте их создателя.

## Глава десятая. Испытания и меланхолия

Заказ написать музыку для балета «Озеро лебедей» пришел из дирекции Большого театра еще весной 1875 года. В письме Римскому-Корсакову от 10 сентября того же года Чайковский признался: «Я взялся за этот труд отчасти ради денег, в которых нуждаюсь, отчасти потому, что мне давно хотелось попробовать себя в этого рода музыке». Два действия балета композитор успел завершить еще в августе, гостя у сестры, затем несколько раз возвращался к этому сочинению осенью и только в марте следующего года основательно сел за инструментровку.

Несомненно, что любовь к балету, ярко проявившаяся в нем с ранней юности, сыграла решающую роль в его согласии написать музыку в новом для себя жанре. Кашкин вспоминал, что Чайковский «набрал из театральной библиотеки балетных партитур и начал изучать этот род композиции в деталях, в общем приемы ее были ему известны из посещений балета. В то время для него идеалом балета была “Жизель”, в которой он пленялся и поэтичностью сюжета Т. Готье, и мастерством композиции А. Адана. Разумеется, сочинению музыки предшествовали долгие совещания с балетмейстером Большого театра, с помощью которого была выработана программа танцев и весь сценарий балета». Точных документальных данных об авторе либретто не сохранилось, однако есть основания предполагать, что оно было написано Юлиусом Рейзингером, балетмейстером, прибывшим из Австрии в октябре 1873 года и создавшим несколько либретто для балетных постановок в Большом театре. Происхождением Рейзингера может быть объяснен и выбор сюжета, основанного на немецком сказочном фольклоре.

Петр Ильич сообщил Модесту 24 марта: «Вчера в зале театральной школы происходила первая репетиция некоторых номеров из первого действия этого балета. Если бы ты знал, до чего комично было смотреть на балетмейстера, сочинявшего под звук одной скрипочки танцы с самым глубокомысленным и вдохновенным видом. Вместе с тем завидно было смотреть на танцовщиц и танцоров, строивших улыбки предполагаемой публике и наслаждавшихся легкой возможностью прыгать и вертеться, исполняя при этом священную обязанность. От музыки моей все в театре в восторге».

Через четыре дня Чайковский отбыл в имение Константина Шиловского и вернулся в Москву 12 апреля с уже законченной партитурой

балета. В конце ее написано: «Конец!!! Глебово, 10 апреля 1876 г.».

Премьера состоялась только 20 февраля 1877 года в бенефис балерины Пелагеи Карпаковой. «Театр был положительно полон, — писал один из очевидцев, — что объясняется единственно интересом публики послушать новое музыкальное произведение одного из видных и довольно популярных русских композиторов. Если судить по количеству вызовов, которыми публика приветствовала композитора, то, пожалуй, можно сказать, что балет его имел успех. И действительно, в балете есть несколько очень удачных мест, например мелодия вальса, повторяющаяся несколько раз, красивая, певучая, с оттенком русской народной песни, мелодия, проходящая в увертюре и далее по всем действиям. <...> Оркестрован весь балет замечательно красиво, что, однако, не выкупает некоторой монотонности и педантизма, изобличающих недостаток фантазии композитора. <...> Поставлен был балет нельзя сказать чтобы очень удачно. В танцах было мало движения, оригинальности, интереса». Рецензент газеты «Русские ведомости», скрывшийся под псевдонимом Скромный наблюдатель, отмечал, что «того же, что особенно прельщает в балетах — красивых танцев, обилия картин и всевозможных превращений, — в “Лебедином озере” совсем нет. В нем только три декорации. <...> В постановке танцев г. Рейзингер также проявил если не искусство, соответствующее его специальности, то замечательное умение вместо танцев устраивать какие-то гимнастические упражнения. <...> Во всяком случае, лучшим в этом балете остается музыка г. Чайковского». Корреспондент «Современных известий» раскритиковал сюжет балета: была выбрана «бессодержательная и тяжелая немецкая сказка», оркестру «не мешало бы сыгратся получше, но говоря вообще, балет прошел удачно и публике понравился. Были вызваны и г. Рейзингер, и г. Вальц (декоратор. — А.П.), и г. Чайковский. Последний удостоился наибольших оваций, хотя, по свойственной всем талантам скромности, и уклонялся от них».

Такова была атмосфера первой постановки «Лебединого озера» в Москве. Балет пользовался успехом у зрителей и выдержал на сцене Большого театра почти шесть сезонов и 39 спектаклей. Нет оснований думать, что автор был недоволен своей работой, тем более что критика в целом отнеслась к музыке балета вполне положительно, упрекая лишь Рейзингера в плохой хореографии. Как любой творческой личности, Чайковскому иногда казалось, что он мог бы добиться лучшего: так, например, несколько месяцев спустя после премьеры, 7/19 декабря 1877 года, он писал Сергею Танееву: «В Вене я слышал балет “Sylvia” Leo Delibes’a; именно слышал, потому что это первый балет, в котором музыка

составляет не только главный, но и единственный интерес. Что за прелесть, что за изящество, богатство мелодическое, ритмическое и гармоническое. Мне было стыдно. Если б я знал эту музыку ранее, то, конечно, не написал бы «Озеро лебедей»». Вряд ли можно признать этот самоуничижительный отзыв справедливым. Как и балет Делиба, так и «Лебединое озеро» — стали основой мирового балетного репертуара. Впрочем, в глубине души композитор знал, что он создал музыкальный шедевр. 9/21 февраля 1888 года в Праге после представления второго акта балета он напишет в дневнике: «Лебединое озеро. Минута абсолютного счастья. Но только минута».

Преподавание в консерватории было ему психологически противопоказано, ибо он не видел в нем особенного смысла, поскольку огромное количество учеников и учениц с большим «рудом осваивали только формальные стороны предмета, не Проникая в его сущность. Он поощрял лишь талантливых студентов. Согласно воспоминаниям, далеко не всем нравилось, что «он одним ученикам уделяет много времени и совсем не обращает внимания на других».

Вообще с учениками, не с ученицами, отмечал один из выпускников консерватории, «Петр Ильич был удивительно мягок, деликатен и терпелив; с некоторыми из старших учеников он был в близких чисто приятельских отношениях», в противоположность другим «зlostным» профессорам он снисходительно относился к ученикам и помогал им всевозможными способами.

Сохранились любопытные воспоминания Самуила Литвинова, студента консерватории, будущего скрипача, о том, что, в возрасте тринадцати лет он стал предметом внимания Чайковского, который не только его «осыпал похвалами за игру» на скрипке, но и вообще не пропускал случая, чтобы не заметить его. Когда его родители за неимением средств забрали сына из консерватории, чтобы подготовить к другой карьере, композитор неожиданно вмешался и сделал Самуила своим стипендиатом, то есть сам стал вносить за него консерваторскую плату.

Однажды брат Анатолий, который в то время был увлечен флиртами с окружавшими его женщинами, познакомился в Петербурге с начинающей актрисой Александрой Гламой-Мещерской и, несмотря на то, что та была замужем, увлекся ею. Как вспоминает актриса, Николай Рубинштейн как-то застал их вместе за пением романсов — она аккомпанировала Анатолию Ильичу, который «имел небольшой голос и выступал лишь в домашней обстановке». После этой встречи Рубинштейн посоветовал ей поступить в театральный класс Ивана Самарина при Московской консерватории, что

она и сделала.

Анатолий попросил брата посодействовать ему во встречах со студенткой. Только так можно объяснить ответ Чайковского от 12 января 1877 года на письмо брата: «К Гламше я не пойду, покамест она меня не позовет. Я с ней виделся не раз и был очень внимателен. Она очень хорошенькая женщина, но, увы, это для меня ничего не стоит, и я, признаться, буду рад, если можно будет обойтись без посещений ее». В 1878 году Глама-Мещерская дебютировала на сцене Александринского театра в Петербурге и со временем стала заметной драматической актрисой и театральным педагогом. Делать выводы, что Чайковский был сам заинтересован в этой студентке на основании вышеприведенного отрывка из письма, как поступают некоторые биографы, нет никаких оснований.

Всю весну 1876 года Чайковский проболел, простудившись на охоте в Глеbove, а летом по совету врачей решил отправиться за границу и пройти курс лечения на водах в Виши. Кроме того, в начале августа он намеревался посетить Байрейт, где должны были состояться Вагнеровские торжества, а также Лион, чтобы повидаться с Модестом.

Приняв последний экзамен в старшем классе, 26 мая композитор отбыл из Москвы. Перед поездкой во Францию он решил провести две недели в Каменке, чтобы повидаться с отдохнувшим там Анатолием, но по пути туда заехал в кондратьевское имение Низы, где продолжались семейные драмы, связанные все с тем же лакеем Киселевым, устраивавшим шумные попойки. «Однажды ночью, выведенный из себя, я вышел из флигеля, в котором проживал, и сделал невыразимый скандал. Разбудил хозяина дома и объявил решительно, что если Алексей на другой день не будет изгнан, — я уеду. Алексея не изгнали, и вследствие этого обстоятельства я нахожусь в Киеве, откуда уезжаю завтра рано утром», — писал он Модесту 2 июня.

Четвертого июня Чайковский был уже в Каменке, но, купаясь в Днепре в Киеве, снова простудился и вынужден был две недели лечиться. 18 июня он выехал в Вену, где намеревался по просьбе Льва встретиться с Александрой, возвращавшейся с детьми из Швейцарии. К этому времени семейство Давыдовых пополнилось еще одним ребенком — сыном Юрием, родившимся 24 апреля / 6 мая в Швейцарии.

В Вене Петр Ильич почти неделю ожидал Александру. Письмо Модесту от 23 июня/5 июля проливает свет на случайные увлечения Чайковского за границей: «Представь себе: встретил! <...> Знакомство произошло очень быстро (она очень молода, белокура и обладает рукой, достойной кисти великого художника); (ах, сколь сладко целовать эту



чудную ручку!!!) Мы провели вечер вместе, т. е. в цирке и в Пратере. Вчера мы не расставались, т. е. совершили вместе загородную далекую экскурсию. Сегодня утром она была у меня, потом я ходил с ней по лавкам и экипировал с ног до головы; вечер опять провели вместе и сейчас только расстались. <...> Дело в том, что моя красотка гимназистка, и должна в понедельник 10-го числа кончить свои экзамены; до этого дня мне уехать отсюда невозможно, ибо она хочет (ее воля для меня закон) проводить меня до Мюнхена. Мне же оттого нельзя отказать себе в этом блаженстве, что до сих пор настоящего дела (т. е. целой ночи, проведенной вместе в постели) не было. Итак, я уеду отсюда с ней в понедельник вечером; утром во вторник мы будем в Мюнхене, где проведем день и проночуем, следовательно, только в среду я выеду из Мюнхена прямо в Лион, где и надеюсь включить тебя в свои объятия».

Сообщая Модесту о своих встречах с молодыми людьми из низших социальных слоев, с уличными проститутками, он часто описывал их в женском роде или называл женскими именами, что иногда даже соответствовало их реальным прозвищам. В данном случае эти уловки диктовались практическими соображениями, а именно, началом совместной жизни Модеста с Колей Конради, когда письма могли быть прочитаны, случайно или намеренно, его родственниками. Профессиональные путаны мужского пола часто вводили своих поклонников в заблуждение по поводу рода своих занятий, выдавая себя за представителей более высокой социальной прослойки и уверяя их в том, что якобы случайно оказались на улице. Возможно, в данном случае «красотка» лишь выдавала себя за «гимназистку».

Судя по переписке, Чайковский, повидавшись с сестрой и ее семейством, освободился несколько раньше, чем рассчитывал. В письме Анатолию от 3/15 июля 1876 года он поделился первыми впечатлениями от воссоединения с братом и знакомства с его воспитанником: «Не могу тебе описать, до чего мне было приятно увидеть Модеста и его семью (Модест жил с Колей Конради и его гувернанткой Софьей Ершовой. — А. П.). Я застал их вечером во время укладывания Коли в постель. Коля с первого раза совершенно и навеки обворожил меня. Потом пошли с Модестом в Cafe и поболтали до 12 часов ночи. Следующие два с  $1\frac{1}{2}$  дня я проводил таким образом. Утром в восемь часов Модест с Колей приходили ко мне [в гостиницу] по дороге к Гугентоблеру. До двенадцати часов я проводил время один; остальной день мы проводили все вместе. Любовь моя к Коле, основанная, во-первых, на его чудном кротком нраве и уме, а во-вторых, на

глубоком сожалении к нему, возрастала в геометрической прогрессии с каждой минутой, и теперь это для меня одно из самых близких сердцу существ в мире».

Петр Ильич обожал детей. В том совсем не обязательно усматривать педофилические инстинкты, хотя они, в очень слабой степени, и могли подсознательно присутствовать. Скорее здесь сказались сентиментальность, присущая, как мы знаем, всему семейству, изначальная сильная привязанность к близнецам (составившая потребность в постоянном эмоциональном воспроизведении, называемом психологами «импринтингом»), позднее распространившаяся на племянников, а также, возможно, потребность в выражении отцовских чувств. Особенно полны восторженных излияний о Модестовом воспитаннике письма композитора, написанные летом 1876-го и зимой 1877/78 года.

Для характеристики этих отношений достаточно привести лишь некоторые из этих отзывов в письмах Модесту 1876 года: «Не знаю, что будет завтра (я тебе буду писать очень часто), но теперь я только живу мыслью, что ты через неделю приедешь. <...> Поцелуй от меня Колю очень нежно; я его обожаю» (2 июля). «Обнимаю тебя с невероятной нежностью. Поцелуй от меня Колю в глазки, шейку и ручки» (27 июля); «Поцелуй от меня Колю в глазки и в ладонь! Ах, как я люблю этого ребенка!» (8 августа); «Модя, поцелуй этому божественному мальчику ручку, ножку, но особенно чудные глазки! Ты не знаешь, до чего я его обожаю. Нет минуты, чтоб я не думал о нем!» (19 августа).

Чайковский не перестает подчеркивать дарования Модеста как педагога. Выразительный панегирик его воспитательному таланту вкупе с дополнительной характеристикой брата находим в письме Надежде фон Мекк от 5/17 марта 1878 года. Пассаж этот стоит того, чтобы быть приведенным полностью, ибо раскрывает всю меру эволюции — несравненно в лучшую сторону, — которую претерпело мнение композитора о брате: «Модест умнее Анатолия. Я даже имею основание утвердительно сказать, что он очень умен. Он мало общителен и склонен, подобно Вам и мне, удаляться от людей. Натура его артистическая. Со службой он никогда не мог примириться и до такой степени пренебрегал ею, что внушал мне серьезное беспокойство. Мне казалось тогда, что это один из многочисленных представителей типа неудавшегося человека, в котором дремлют какие-то силы и не знают, как им проявиться. Совершенно случайно он попал в педагоги, и только тут обнаружил все свои чудные свойства. Друг мой! Я видел Колю, когда он только что поступил под руководство брата, два года тому назад, и вижу теперь: то,

что Модест сделал из этого мальчика, достойно удивления! И каких трудов это ему стоило! Сколько нужно было ума, таланта, характера, такта, любви, чтобы довести, правда, богато одаренного от природы, но глухонемого и выросшего в самой неблагоприятной среде мальчика до того состояния, в котором он находится теперь. Это просто подвиг, перед которым я преклоняюсь».

Пребывание Коли и Модеста в Лионе преследовало две цели: знакомство последнего с методикой обучения и воспитания глухонемых и постановку произношения звуков у мальчика. С первых же дней занятия пошли успешно. Коля быстро сошелся с товарищами по школе и с интересом стал заниматься, хотя долго удержать его на одном месте стоило больших трудов. Он был непредсказуем в поступках и очень подвижен. 30 мая 1876 года Модест писал матери ребенка Алине Конрада: «Занимается он положительно хорошо, несмотря на то что завален работой. <...> Содержание моих с ним занятий за эту неделю следующее: полчаса утром и столько же вечером — фразеология, полчаса утром и столько же вечером — произношение и по столько же — арифметика и чистописание, остальное время я употребляю неравномерно на устную беседу, диктовку и чтение. Произношение я прохожу с ним всегда вместе с Гугентоблером, который один с ним до сих пор не занимался по случаю болезни в горле. Успехи наши заключаются в отчетливом произношении гласных а, е, и, согласных п, т, д, б, с, ш и сегодня наконец, л, которая давалась очень нелегко».

Обучение Коли происходило не только во время уроков, но и во время прогулок, дома за игрой и едой. Как сказано в цитированном письме композитора к фон Мекк: «Один Модест во всем мире может удовлетворить его любознательность. А любознательность эта необыкновенная; все интересует этого мальчика, способности которого поистине необыкновенны. Выходит, что брату приходится учить его не только на уроке, но и весь остальной день и во время прогулки, и за столом и всегда».

Довольный картиной, увиденной в Лионе, Чайковский через три дня отправился на воды в Виши. По приезде он сообщал Анатолию: «Здесь соединилось все, чтоб сделать мое пребывание невыносимым». Ему не нравились подъем в 5 часов утра для принятия ванны, давка из-за каждого стакана минеральной воды, суэта курортного города с его светским характером времяпровождения, и даже природа его окрестностей. Но самое главное — одиночество отравляло ему каждую минуту жизни. Не выдержав целиком курса лечения, он выдумал историю для доктора,

согласно которой по «семейным обстоятельствам» не мог оставаться в Виши более одиннадцати дней, и 12/24 июля вернулся в Лион к Модесту и Коле.

Весь остаток июля они провели вместе, путешествуя вчетвером (с гувернанткой) на пароходе по реке до Авиньона, где остановились на сутки, а затем по железной дороге прибыли на юг Франции в Монпелье, где обосновались в местечке Палавас на берегу Средиземного моря. Однако пребывание в Палавасе оставило у всех неприятные воспоминания. В первый же день все четверо заболели от местной воды дизентерией.

Постоянно размышляя о Модесте, Коле и судьбе сведшей их всех вместе, Петр Ильич покинул Палавас не без сожаления и через Париж направился в Байреит. В Париже как всегда много гулял по улицам, покупал себе одежду, а друзьям и слугам Михаилу и Алексею — подарки. Он написал оттуда Модесту: «Вообще меня теперь прорвало и деньги я кидаю с каким-то сладострастием. Плевать, лишь бы было весело. К сожалению, несмотря на мою любовь к Парижу, я все-таки очень скучаю о тебе, хотя далеко не так как после нашей разлуки зимой. Оно понятно, я теперь за тебя спокоен: я знаю, что ты находишься а bon part (на верном пути. — фр.). К тому же, я получил такое обожание к Коле, что мне теперь было бы просто ужасно, если бы он остался на чужих руках».

В Байреит на представление «Кольца нибелунга» Вагнера он приехал 31 июля/12 августа. Встречал его коллега по Московской консерватории профессор и пианист Карл Клиндворт, вместе с которым на торжества из России прибыли Николай Рубинштейн, Ларош и Кюи. Чайковский познакомился с Францем Листом и побывал у Вагнера. К сожалению, нам не известны никакие подробности этой встречи. Общение с Ларошем оказалось мало приятным, поскольку он с утра до вечера пил и ссорился с Кюи. Байреит был крошечным городом, а собралось там несколько тысяч человек. Естественно, это вызвало массу неудобств и суеты, которую Петр Ильич не любил. Выяснилось, что его хорошо знают и произведения его исполняются в Германии — факт, принесший в его байрейтскую жизнь много дополнительных встреч и разговоров о музыке.

Первое представление «Золота Рейна» состоялось 1/13 августа, на следующий день — «Валькирии», а затем он прослушал «Зигфрида» и «Гибель богов». Тетралогия Вагнера заинтересовала его в первую очередь как сценическое представление, зрелище. Что касается музыки, то первое впечатление оказалось тяжелым. «С последними аккордами “Гибели богов” я почувствовал как бы освобождение из плена, — написал он Модесту 8/20 августа из Вены. — Может быть, “Нибелунги” очень великое

произведение, но уж наверное скучнее и растянутое этой канители еще никогда ничего не было. Нагромождение самых сложных и изысканных гармоний, бесцветность всего, что поется на сцене, бесконечно длинные диалоги, темнота крошечная в театре, отсутствие интереса и поэтичности в сюжете — все это утомляет нервы до последней степени. Итак, вот чего добивается реформа Вагнера? Прежде людей старались восхищать музыкой, теперь их терзают и утомляют. Разумеется, есть чудные подробности, — но все вместе убийственно скучно!!! (Во сколько тысяч крат мне милее балет “Сильвия”!!!!)».

Из Байрейта Чайковский отбыл 6/18 августа и, остановившись в «преlestном» Нюрнберге, в течение суток написал отчет о пребывании на Вагнеровских торжествах для газеты «Русские ведомости», который был вскоре опубликован как четвертая и пятая статьи из серии байрейтских очерков. Отметив, что «Кольцо нибелунга» произвело на него «подавляющее впечатление не столько своими музыкальными красотами, которце, может быть, слишком щедрою рукою в нем рассыпаны, сколько своею продолжительностью, своими исполинскими размерами», он признавал, что тетралогия Вагнера «составит одно из знаменательнейших явлений истории искусства». Тем не менее, как мы видим, выбор слов здесь хорошо продуман: впечатление двусмысленно охарактеризовано как «подавляющее», а слово «знаменательное» не обязательно предполагает достойное одобрения.

Композитор покинул Нюрнберг 7/19 августа и на следующий день был уже в Вене. Еще через день он выехал в Россию, куда добрался 11 августа и поселился в соседнем с Каменкой селе Вербовке, также принадлежавшем семье Давыдовых. Как позднее, 17 сентября, признавался он в письме Льву Давыдову, пребывал он «в ужасном нравственном состоянии и с убийственно расстроенными нервами».

Байрейт с его артистической помпезностью и невероятным скоплением народа постепенно вытеснялся в его мыслях раздумьями о путешествии в Лион, Палавас и об отношениях, связавших братьев Чайковских с Колей Конради. Из Вены он пишет Модесту 8/20 августа: «Как я рад, что мы снялись в Монпелье! Ты не согласишься, как мне приятно взирать на наш квартет и вспоминать все подробности совместного пребывания. Когда я вспоминаю тебя, то не иначе, как в твоём голубом сюртучке в плетеных туфлях с книгой под мышкой, зонтиком и Колей, которого ты тащишь по песку за руку».

Картина эта может показаться совершенно идиллической, но она вряд ли полностью соответствовала действительности. Из общения с братом и

его воспитанником летом 1876 года композитор сделал довольно неожиданные выводы. Необычные отношения с глухонемым мальчиком, суетливым, нервным, с великим трудом изъяснявшимся с окружающими, вызывающим одновременно сожаление, боль, любовь и умиление, подняли в душе сентиментального Чайковского волну самых противоречивых чувств. 19 августа 1876 года он пишет Модесту из Вербовки, где он отдыхал, большое письмо, посвященное местным новостям и заканчивающееся следующими словами: «Я переживаю теперь очень критическую минуту жизни. При случае напишу тебе об этом поподробнее, а покамест скажу одно: я решился жениться. Это неизбежно. Я должен это сделать, и не только для себя, но и для тебя, и для Толи, и для Саши, и для всех, кого люблю. Для тебя в особенности! Но и тебе, Модя, нужно хорошенько подумать об этом. Бугроманство и педагогия не могут вместе ужиться. Впрочем, обо всем об этом я тебе напишу из Москвы».

Не дожидаясь ответа от Модеста, он распространился о своем решении 10 сентября: «Итак, вот теперь полтора месяца, что мы с тобой расстались, но мне кажется, как будто с тех пор прошло несколько столетий. Я много передумал за это время о себе, и о тебе, и о нашей будущности. Результатом всего этого раздумывания вышло то, что с нынешнего дня я буду серьезно собираться вступить в законное брачное сочетание с кем бы то ни было. Я нахожу, что наши склонности суть для нас величайшая и непреодолимейшая преграда к счастью, и мы должны всеми силами бороться с своей природой. Я очень люблю тебя, очень люблю Колю, весьма желаю, чтобы вы не расставались, для вашего общего блага, но условие *sine qua non* прочности ваших отношений — это чтобы ты не был тем, чем был до сих пор. Это нужно не для *qu'en dirat'on* (молвы, — фр.), а для тебя самого, для твоего душевного спокойствия. Человек, который, расставшись с своим (его можно назвать своим) ребенком, идет в объятия первой попавшейся сволочи, не может быть таким воспитателем, каким ты хочешь и должен быть. По крайней мере я не могу без ужаса вообразить тебя теперь в Александровском саду под ручку с Оконешниковым. Ты скажешь, что в твои года трудно побороть страсти; на это я отвечу, что в твои года легче направить свои вкусы в другую сторону. Здесь твоя религиозность должна, я полагаю, быть тебе крепкой подпорой. Что касается меня, то я сделаю все возможное, чтобы в этом же году жениться, а если на это не хватит смелости, то во всяком случае бросаю навеки свои привычки и постараюсь, чтобы меня перестали причислять к компании Грузинского. Напиши об этом твое мнение». И в завершение письма опять: «Думаю, исключительно об искоренении из себя пагубных

страстей».

Как явствует из этой откровенной цитаты, в принятии композитором решения связать свою жизнь с женщиной должна была сыграть роль эротическая атмосфера в отношениях учителя и ученика, еще ими неосознанная. Из этого отнюдь не обязательно следует, что Модест, человек, судя по всему, достаточно ответственный, намеренно позволял себе какие-нибудь вольности, да и Коля Конради был еще в то время в возрасте более чем нежном. Чайковский с его богатым воображением легко мог представить, к чему способны привести через несколько лет такие отношения воспитателя с воспитанником, почувствовать ужас перед открывающейся безнравственностью, чреватой к тому же чудовищным скандалом. Идея эллинской пайдеи — эротической составляющей основы правильного воспитания — была для России времен Александра II в высшей степени чуждой.

Испытанный ужас Петр Ильич легко распространил и на собственное будущее: в конце концов, и он должен был постоянно иметь дело с учениками. Вся нравственная неустойчивость его существования, пребывавшего бок о бок с бездною и позором, открылась ему с полной ясностью, на время подавив вообще присущее его личности этическое безразличие к вопросу о сексуальных предпочтениях. Тем более что традиционные отношения с братом требовали от композитора оставаться примером надлежащего поведения — примером, который мог бы спасти Модеста от падения, без обязательного расставания с его воспитанником, столь страстно обоими братьями любимым. Необходимость самому принести при этом известную жертву не могла не льстить самолюбию, легко способному усмотреть в сделанном выборе героический шаг.

Есть основания предполагать, что до середины 1870-х годов Чайковский, как это и поныне случается в молодости с многими гомосексуалами (о чем свидетельствует, в частности, посвященная этим темам научная и художественная литература), не допускал мысли о том, что его особенность непреодолима. Бисексуальность человеческой природы была обоснована научно еще Фрейдом, а с возникновением социологии сексуальности в 1950-х годах стало известно, что в той или иной форме, возрастной фазе, и в различных пропорциях она встречается чаще, чем исключительная гомосексуальность — другой вопрос, что в силу общественных условностей об этом предпочитают не говорить. В ближайшем окружении композитора очевидным примером бисексуального мужчины был Кондратьев, имевший жену и дочь. Можно предположить, что ход мысли еще молодого композитора на сей счет был приблизительно

таков: я буду предаваться моим склонностям, пока обстоятельства не заставят меня измениться и, сделав усилие, создать семью, чтобы жить, как прочие нормальные люди.

Решение жениться, однако, время от времени ослабевает, и он снова пишет Модесту через неделю, но гораздо рассудительней: «Не могу тебе высказать того ощущения сладостного покоя и почти счастья, которое я испытываю в моей маленькой, уютной и тихой квартирке, когда прихожу вечером домой и беру в руки книгу. В такие минуты я, наверно, не менее тебя ненавижу ту прекрасную незнакомку, которая заставит меня изменить свой образ жизни и свой антураж. Не бойся за меня. В этом деле я не намерен торопиться, и будь уверен, что если я и самом деле свяжусь с женщиной, то сделаю это весьма осмотрительно».

И еще с большей определенностью пишет Анатолию 20 сентября: «Я чувствовал, что вру, когда говорил тебе, что вполне решился на известный тебе крутой переворот образа жизни. В сущности, я на это вовсе еще не решился. Я только имею это серьезно в виду и жду чего-то, что бы заставило меня действовать. А покамест я должен признаться, что моя уютненькая квартирка, мои одинокие вечера, моя обстановка, тишина и покой, среди которых я обитаю, — все это имеет для меня теперь какую-то особую неоцененную прелесть. Мороз дерет по коже, когда подумаю, что со всем этим нужно расстаться... А расстаться нужно. Повторяю, что я имею серьезно в виду переродиться, но хочу только приготовить себя к этому постепенно. Впрочем, по этому поводу пришлось бы говорить слишком много».

Эта идея причинила массу беспокойства родственникам — не только Модесту, имевшему на то причины, но и тонко чувствовавшей сестре. Из ее письма брату от 27 сентября: «О тебе, Петруша, я часто думаю, до того часто, что все мне снится то, что ты женат, что женишься, и плачу я и волнуюсь. Все меня пугает твое предвзятое решение. Иной раз я уже смирюсь, представляя себе, что ты женишься на Соне Переслени, все-таки это близкое, знакомое мне существо и если пока еще не представляет полной гарантии счастья, которое она сумеет дать, зато среда, из которой выйдет она, правила, с детства внушенные, и умственное развитие дают право думать что оценит и поймет счастье, могущее быть в ее руках! Ну, да это я напрасно написала, может быть, ты и думать перестал о ней как об одной из конкуренток». Композитор ответил на это 6 октября с нежностью и в уже знакомом тоне: «Пожалуйста, мой Ангел, не беспокойся насчет моей предполагаемой женитьбы. Во-первых, я вовсе не располагаю решиться на этот шаг в ближайшем будущем, и во всяком случае, в



нынешнем году (т. е. учебном году) этого наверное не случится. Но в течение этих нескольких месяцев я хочу только присмотреться и подготовиться к супружеству, которое считаю по разным причинам очень хорошим для меня делом. Будь уверена, что я не брошусь без оглядки в омут неудачного брачного союза». И далее, об упоминаемой сестрой молодой особе (похоже, что окружающие время от времени пытались навязать ему в жены родственниц, в данном случае, племянницу Льва Давыдова): «Соня Переслени (которая, впрочем, вряд ли и пошла бы за меня) окончательно вычеркнута из списка кандидаток. Я имел случай убедиться в исключительном бессердечии этой девицы. Если это бессердечие приложить к ее взбалмошности, то выходит нечто, нисколько для меня не подходящее».

— Итак, как видим, Петр Ильич занялся проблемой методически и всерьез, притом что, как он сам позже заявил в одном из писем к фон Мекк, он дожил до тридцати семи лет «с врожденною антипатиею к браку». «Приготовление» к женитьбе проходило не без колебаний, иногда тяжелых. В письме Модесту от 28 сентября того же года, после страстного обоснования необходимости жениться чувствами близких, читаем: «Во всяком случае, не пугайся за меня, милый Модя. Осуществление моих планов вовсе не так близко, как ты думаешь. Я так заматерел в своих привычках и вкусах, что сразу отбросить их, как старую перчатку, нельзя. Да притом я далеко не обладаю железным характером и после моих писем к тебе уже раза 3 отдавался силе природных влечений. Представь себе! Я даже совершил на днях поездку в деревню к Булатову, дом которого есть не что иное как педерастическая бордель. Мало того, что я там был, но я влюбился как кошка в его кучера!!! Итак, ты совершенно прав, говоря в своем письме, что нет возможности удержаться, несмотря ни на какие клятвы, от своих слабостей».

Несмотря на всю решимость и словесный пафос, он менее чем за месяц имел три гомосексуальных контакта. Выражение «природные влечения» (именно эти слова он последовательно употребляет в письмах) показывает, что Чайковский ни в коей мере не считал свои склонности аномалией — во всех написанных им и нам известных текстах нет ни малейшего намека на то, что он считал себя сексуально патологической личностью.

Далее в цитируемом письме: «И все-таки я остаюсь при намерениях, и будь уверен, что так или иначе я их осуществляю. Но и не необдуманно. Во всяком случае, я не намерен надевать на себя хомут. Я вступлю в законную или незаконную связь с женщиной не иначе, как вполне обеспечивши свой

покой и свою свободу. А покамест еще ничего определенного в виду нет». Под свободой, очевидно, понимается теперь уже и свобода предаваться «слабостям», от которых «нет возможности удержаться, несмотря ни на какие клятвы».

Мы вряд ли ошибемся, утверждая, что семейное давление — не обязательно открытое — было одним из важнейших обстоятельств, побуждавших композитора к женитьбе. Надо полагать, что особенно тягостным фактором являлся отец Илья Петрович, патетически мечтавший о верной жене для своего любимого Петеньки — вспомним, как он отреагировал на помолвку Петра Ильича с Дезире Арто. Позднее, 23 ноября/5 декабря 1877 года, композитор прямо писал фон Мекк: «Вы знаете что я женился отчасти, чтобы осуществить его давнишнее желание видеть меня женатым».

Роль семьи подчеркнута и в более раннем письме от 3 июля, где он объясняет Надежде Филаретовне обстоятельства принятия своего решения: «Меня поддерживало в этом решении то, что мой старый восьмидесятидвухлетний отец, все близкие мои только и мечтают, чтобы я женился». Не удивительно, что по известии о предстоящей женитьбе старый господин впал в состояние истерическое: «Милый, дорогой и распрекрасный сын Петр! Толя передал мне письмо твое, в котором ты просишь моего благословения на женитьбу. Оно обрадовало меня и привело в восторг, так что я перекрестился и даже подпрыгнул от радости. Слава Богу! Господь да благословит тебя!!!» (письмо сыну от 27 июня 1877 года). Очень любя отца, Чайковский тем не менее пробовал под всяческими предлогами уклониться от выполнения его пожеланий. Например, он писал родителю 22 ноября 1872 года: «В отношении женитьбы моей скажу Вам, иногда мне и самому приходит в голову обзавестись хозяйшккой, такой же толстенкой и добренькой как Ваша пышка (мачеха Петра Ильича — Елизавета Михайловна. — А. П.), — да только боюсь, как бы мне не раскаяться потом. Я получаю хоть и совершенно достаточно (около 3000 в год), но по безалаберности вечно нахожусь в затруднительных обстоятельствах. Одному-то оно ничего, а каково с женой и малыми ребятами!»

В ответ на не сохранившееся письмо сына от 5 февраля 1870 года с его антиматримониальными сетованиями Илья Петрович утверждал: «Что толщина мешает тебе нравиться женскому полу, — не беда; я люблю тебя более всего женского пола на свете. Кроме того, ты носишь в себе какой-то талисман, в тебя против твоей воли и собственных твоих опасений все влюбляются, несмотря на толщину».

Нет сомнения, что проблема близких — в том или ином смысле — сыграла решающую роль. Об этом откровенно говорится в письме Чайковского Модесту от 28 сентября 1876 года, в котором он возражает на «антиматримониальные» аргументы брата: «Помню, что многие из них несостоятельны, многие напротив, совершенно согласуются с моими собственными мыслями. Помню, что ты мне предсказываешь судьбу Кондратьева, Булатова и tutti quanti (все прочие. — *um.* \ женатые гомосексуалы. — *А. П.*). Будь уверен, что если когда-нибудь мои замыслы осуществятся, то уж, конечно, я не пойду по стопам этих господ (то есть в отличие от них, брошу гомосексуальную практику. — *А. П.*). Потом ты говоришь, что нужно плевать на qu'en dirat'on! Это верно только до некоторой степени. Есть люди, которые не могут меня презирать за мои пороки только потому, что они меня стали любить, когда еще не подозревали, что я в сущности человек с потерянной репутацией. Сюда относится, например, Саша! Я знаю, что она о всем догадывается и все прощает. Таким же образом относятся ко мне очень многие любимые или уважаемые мной личности. Разве ты думаешь, что мне не тяжело это сознание, что меня жалеют и прощают, когда, в сущности, я ни в чем не виноват! И разве не убийственна мысль, что люди, меня любящие, иногда могут стыдиться меня! А ведь это сто раз было и сто раз будет. Словом, я хотел бы женитьбой или вообще гласной связью с женщиной зажать рты разной презренной твари, мнением которой я вовсе не дорожу, но которая может причинить огорчения людям мне близким». Итак, несмотря на то что композитор употребляет здесь в применении к своим сексуальным предпочтениям традиционное слово «порок», во всем этом письме нет ощущения собственной греховности: «в сущности, я ни в чем не виноват».

Нет ничего удивительного в том, что Чайковский одновременно объявляет себя невинным и признает в том же письме, что отдался несколько раз силе природных склонностей — суть дела в мысли о том, что он невиновен, родившись гомосексуалом (и именно потому его влечения природные). Если он считал, что эти склонности дурны лишь в общественном мнении, но не сами по себе, почему он называл их «пороками»? Вероятно потому, что в те времена именно таково было их общепринятое обозначение — Чайковский использовал его за неимением другого. Почему он полагал, что загубленная репутация, а не пороки сами по себе причиняют боль любящим его людям или вызывают у них чувства стыда? Потому что любящие люди понимают людей, ими любимых, и принимают их со всеми их проблемами, но в то же время страдают, если их не принимает общество.

С «потерянной репутацией» дело обстоит сложнее, чем может показаться. В письме своему издателю Юргенсону от 19/31 января 1879 года из Кларана по поводу газетных выпадов против Николая Рубинштейна композитор недвусмысленно заявляет: «Может быть, никому другому как мне не приличествовало бы написать по поводу этого громогласную статью, и и бы это сделал и охотно и хорошо, но есть причина, по которой полемика, особенно с анонимными фельетонистами, мне навсегда невозможна. Тебе известна тактика этих гадин. Они сплетничают и бьют противника инсинуацией, а ты знаешь, как я, к несчастью, уязвим с этой стороны. Опыт доказал, что меня может заставить замолчать всякий паршивый писака намеком на известное обстоятельство. И если я ради себя готов был бы плюнуть на подобные намеки, то ради очень близких и горячо любимых людей, носящих мою фамилию, я поставлен в необходимость бояться этого больше всего на свете».

Так называемое «общественное мнение», с его точки зрения, не заслуживает внимания. Не будучи, однако, борцом от природы, он, в конце концов, уступает «твари», как будто искренне желая жениться, при этом руководясь несравненно более возвышенными мотивами: для того, чтобы обеспечить мир и покой близких, для достижения с ними полного взаимопонимания без необходимости недоговоренностей, лжи или умолчаний. Такие стремления вкупе с уверенностью в принципиальной возможности «изменения своей природы» и побудили его заявить в письме Модесту, где он впервые касается этой темы: «Я решился жениться. Это неизбежно».

Николай Кашкин указывает и на другой фактор — потребность домашнего очага, устроенного быта: «...молодость уходила, близился зрелый возраст, и Чайковскому стал грезиться идеал семейного уюта, для которого ему необходимо было присутствие женщины, но не прислуги, а образованной, — товарища, способного понять воодушевлявшие его стремления и быть надежным спутником жизни, освобождавшим его, между прочим, от всяких домашних забот». Это томление, в котором иные биографы видят проявление «нормальности», лишь отчасти подтверждается немногими фразами в переписке. Еще в феврале 1870 года Чайковский писал сестре: «Одно меня сокрушает, то, что нет людей в Москве, с которыми у меня были бы домашние интимные отношения. Я часто думаю о том, как я был бы счастлив, если б вы здесь жили или если б что-нибудь подобное было. Я чувствую сильную потребность в детском крике, в участии своей особы в каких-нибудь мелких домашних интересах, словом в семейной обстановке. <...> Остается самому жениться, но на это

не хватает смелости». И ей же он писал 8 ноября 1876 года: «Словом, я живу эгоистической жизнью холостяка. Я работаю для себя, забочусь о себе, стремлюсь только к собственному благополучию. Это, конечно, очень покойно, но зато это сухо, мертво и узко». Разумеется, любой холостяк, особенно с неврастеническим темпераментом, как у Петра Ильича, будет иногда подвержен подобным чувствительным приступам. Однако вряд ли это повод для того, чтобы жениться единственно от тоски по уюту, тем более что Чайковский восхвалял холостяцкую жизнь чаще, чем порицал ее. Без семейного давления и сложных интроспекций, связанных с гомосексуальностью его самого и Модеста, никакая сентиментальность не привела бы композитора в женские объятия.

С психологической точки зрения, мы здесь имеем дело с многомерной коллизией. При всем сочувствии к терзаниям Чайковского и при всем понимании сложности мотивов, им руководящих, нельзя не признать, что ранние обвинения престранного супруга его несостоявшейся женой в том, что, женившись на ней, он стремился «замаскировать» свои «позорные пороки», не лишены смысла. Мы не утверждаем, что решение «замаскироваться» было принято на сознательном уровне, но из писем периода, предшествовавшего браку, совершенно очевидно: проблема эта очень и очень — не обязательно в цинически артикулированном виде, но в обличье моралистических и прочих соображений — занимала его мысли.

Все высказанные Чайковским причины: об успокоении семьи, о примере поведения для Модеста, о домашнем уюте и т. д. — были в какой-то мере средствами рационализации полусознательного желания, женившись на любящей его и недалекой женщине, подчинить ее себе до такой степени, чтобы принудить сносить его любовные похождения с мужчинами (припомним, как в одном из писем он твердо выражает свое намерение отказаться от своих привычек и тут же признает, что сделать это совершенно невозможно, ибо никакая решимость не поможет) и одновременно прикрыть их законным браком.

Чайковский проговаривается в письме Анатолию от 23 июня 1877 года: главное достоинство своей будущей жены он видит в том, что она была влюблена в него «как кошка». Психологический подтекст этого безвкусного сравнения таков: он должен быть совершенно уверен в полнейшей влюбленности в него планируемой супруги — настолько, что она позволит ему продолжать вести его обычный, то есть гомосексуальный образ жизни, не рискуя вызвать семейный скандал. Допустив это тривиальное клише, композитор совершил серьезный психологический просчет: он не учел того, что Антонина Милюкова была не только

влюблена, но и неумна, а следовательно, оказалась не в состоянии осознать его проблемы, что есть неперемненное условие и принятия, и терпения, и прощения.

В начале сентября, перед тем как возвратиться в Москву, он снова испытывал отчаянную нужду в деньгах и, презирая себя, обратился к Владимиру Шиловскому с просьбой дать ему займы две тысячи рублей. Он был склонен жить на широкую ногу и, как уже упоминалось, с самого начала их знакомства стал принимать (как в долг, так и в виде подарков) деньги у своего состоятельного ученика. Такая зависимость тяготила его, заставляла сильно раскаиваться, и постепенно в отношениях между ними возникла финансовая доминанта. Но он брал деньги, и в конце концов это обстоятельство необратимо сломало их некогда интимную дружбу.

С появлением на сцене Надежды фон Мекк денежная ситуация композитора решительно изменилась, отношения с Шиловским ухудшились, и в 1879 году последний начал распространять слухи по поводу неблагоприятных денежных дел композитора. Узнав об этом, Петр Ильич пишет ему 10 мая 1879 года письмо (и, нужно признать, что, принимая во внимание скользкость и деликатность ситуации, реагирует на нее с точно выдержанным чувством меры и собственного достоинства): «Володя! Из достоверных источников до меня дошло, что ты жалуешься во всеуслышание на мою неблагодарность и говоришь при этом, что я получил от тебя 28 тысяч рублей!!! Я бы солгал, если б сказал, что совершенно равнодушен к распространяемым тобою слухам. Мне это неприятно, но я смирюсь, ибо несу должную кару за неразборчивость к добыванию денег и за ту долю несомненного интересанства, которую проявил в моих с тобой отношениях. Существуют редкие случаи, когда между друзьями подобные денежные одолжения одного из них — богатого в пользу другого — бедного, проходят безнаказанно для одолжаемого и не приводят впоследствии к язвительным попрекам и недоразумениям. Наши с тобой отношения к числу этих редких случаев, очевидно, не подходят, и моя вина состоит не в том, что я брал деньги (в этом я не усматриваю ничего ни бесчестного, ни позорного), а в том, что я брал их от тебя, т. е. от человека, про которого я всегда отлично знал, что рано или поздно ты будешь об этом рассказывать а *qui voudra l'entendre* (каждому встречному-поперечному. — фр.). Итак, то, что ты раскрываешь теперь перед всеми наши денежные отношения, меня до некоторой степени уязвляет, но нимало не удивляет: я всегда ожидал этого. Зато меня крайне удивляет та произвольная цифра, в которую ты так щедро округлил твои даяния. Я, конечно, не могу воспрепятствовать тебе никакими законными способами,

ни вообще говорить про меня все, что тебе вздумается, ни подводить тот или иной итог деньгам, которые я в течение 10-летнего знакомства получил от тебя. Но считаю не излишним сказать тебе, что ты самым наглядным образом преувеличил как сумму твоих щедрот, так и пропорционально степень моей черной неблагодарности. На эти вещи память у меня изумительно хорошая, и я тебе сейчас скажу копейка в копейку, сколько получил от тебя. Ты можешь потом проверить мой счет с своими конторскими книгами и увидишь, что я не ошибся ни на одну йоту».

Далее следует подробное перечисление расходов Шиловского на учителя, которые (включая заграничную поездку 1871 года) составляли в целом 7550 рублей серебром. «Это и много и мало. Много, — с точки зрения абсолютной ценности денег.

Мало, — если принять во внимание все неисчислимы́е муки, которые мне эти деньги стоили; мало, — если вспомнить, что ты богатый меценат, а я бедный артист; очень мало, — если Припомнить твои бесконечные уверения в любви ко мне и готовности на всякие жертвы, наконец — совершенно нуль в сравнении с тем, что ты так часто обещал мне! Знаешь ли ты, что однажды (в мае 1872 г.) ты самым положительным образом обещал, что через несколько лет у меня будет 20 тысяч годового дохода? Ты, конечно, этого не помнишь, но это факт, несомненный факт. Скажи, пожалуйста, что в сравнении с этим 7550 р., полученные в течение 10-летнего знакомства? Тем не менее, я отдам тебе полную справедливость: давая мне деньги, ты делал это с искренним желанием оказать мне дружескую услугу; ты выручал меня из больших затруднений, и видит Бог, что я тебе за это благодарен и теперь, как тогда. Но засим предоставляю тебе судить, насколько подобает джентльмену рассказывать при всяком удобном случае, что я тобой “облагодетельствован”, и при этом, учетверяя сумму своих даяний, так сильно грешить против истины!» Письмо завершается (и это характерно) вежливо-оскорбительной просьбой назначить пожизненную пенсию Бочечкарову, а затем читаем: «Что касается моей благодарности за это, то она будет настолько велика, что я согласен нимало не обижаться, если до меня дойдет, что га продолжаешь распространяться насчет 28 тысяч и черноты души моей».

Как бы там ни было, долгое время щедрость Шиловского избавляла композитора от множества затруднительных ситуаций вроде той, что случилась летом 1876 года. Прокатившись в Усово, чтобы занять у него еще две тысячи, он в начале сентября возвратился в Москву к скучным обязанностям в консерватории. Он ждал новостей из Петербурга, где репетировали его «Вакулу». Неделя, проведенная с Анатолием, немного

улучшила настроение, но начало осени сопровождалось депрессией и тревогой за будущее, навязчивым желанием как-то, наконец, изменить свою жизнь. На него периодически нападали приступы мизантропии, и когда он узнал, что опера Антона Рубинштейна «Маккавей» может пойти раньше его «Вакулы», то внезапно, с сильным раздражением и плохо скрываемой злобой, ополчился на бывшего своего учителя в письме Анатолию от 20 сентября: «Если можешь, то скажи Антону Рубинштейну: “Брат велел Вам передать, что Вы сукин сын ... вашу мать” (le prononcer gasproueb. — прим. Чайковского); (произносится как... — фр.). Господи, как я этого человека с некоторых пор глубоко ненавижу! Он никогда, никогда не относился ко мне иначе, как с снисходительной небрежностью. Никто не оскорблял так моего чувства собственного достоинства, моей справедливой гордости (извини, Толя, за самохвальство) своими способностями, как этот петергофский домовладелец. А теперь еще он лезет с своими паршивыми операми, чтобы мешать мне! Неужели этому глупейшему и надутейшему из смертных мало его заграничной славы! Неужели ему недостаточно Берлина, Гамбурга, Вены и т. д., и т. д. Если б не уголовное уложение и XV том, поехал бы в Петергоф и с удовольствием поджег бы его поганую дачу».

Постепенно, как обычно и случалось, творческие замыслы брали верх над всем остальным. В связи с отъездом на войну в Сербию русских добровольцев Чайковский сочинил «Русско-сербский марш», а с конца сентября по 14 октября увлеченно работал над симфонической поэмой «Франческа да Римини», сообщив Модесту в день ее окончания: «.. писал я ее с любовью и любовь вышла, кажется, порядочно. Что касается вихря, то можно бы написать что-нибудь более соответствующее рисунку Доре, но не вышло так, как хотелось. Впрочем, верное суждение об этой вещи и немислимо, пока она не будет оркестрована и исполнена». По воспоминаниям Кашкина, при сочинении «Франчески» Чайковского очень впечатлила картина адского вихря работы Гюстава Доре, иллюстратора «Божественной комедии». Либретто оперы, основанное на знаменитом фрагменте из дантовского «Ада», было послано ему Ларошем еще в начале 1876 года, но работа над «Лебединым озером», а потом и поездки за границу помешали осуществить этот замысел.

Свободное время Чайковский часто проводил в компании Кондратьева, отношения с которым продолжались, хотя и с оттенком холодности после летнего инцидента в Низах с Киселевым. В Москве в октябре гостил князь Мещерский, только что вернувшийся с Сербского фронта. Сообщения о войне с турками, печатавшиеся в его газете «Гражданин», наделали тогда в России много шума.



В конце октября композитор побывал на репетициях «Кузнеца Вакулы» в Петербурге, а вскоре приехал снова, теперь уже на первое представление, где также присутствовали Николай Рубинштейн и другие консерваторские друзья. Премьера оперы состоялась 24 ноября под управлением Эдуарда Направника. Это событие Чайковский 2 декабря описал Сергею Танееву, находившемуся в Париже: «“Вакула” торжественно провалился. Первые два действия прошли среди гробового молчания, за исключением увертюры и первого дуэта, которым аплодировали. <...> После третьего и четвертого действия... меня по многу раз вызывали, но при сильном шиканьи значительной час-№ публики. Второе представление прошло несколько лучше, но все же можно с уверенностью сказать, что опера не понравилась и вряд ли выдержит более 5–6 представлений. Замечательно то, что на генеральной репетиции все, в том числе Кюи, предсказывали мне громадный успех. Тем тяжелее и огорчительнее было мне падение оперы. Не скрою, что я сильно потрясен и обескуражен. Главное, что ни на исполнение, ни на постановку пожаловаться нельзя. Все было сделано старательно, толково и даже роскошно. <...> Словом, в неуспехе оперы виноват я. Она слишком запружена подробностями, слишком густо инструментована, слишком бедна голосовыми эффектами. <...> Стиль “Вакулы” совсем не оперный: нет ширины и размаха».

Опубликованное суждение Кюи отчасти совпало с авторским: опера «представляет два капитальных недостатка: первый — стиль “Вакулы” не оперный стиль, а симфонический, второй — нет соответствия между музыкой и тем, что происходит на сцене. <...> А музыка “Вакулы” почти сплошь благородна, красива, и в тематическом и в гармональном отношении».

В середине декабря в Москву из Ясной Поляны приехал Лев Толстой. Он появился в консерватории и сказал Рубинштейну, что не уедет, пока не познакомится с Чайковским. Узнав об этом, композитор от страха попытался спрятаться от него в одной из аудиторий, но это не удалось. Пришлось спуститься вниз и пожать руку прославленному писателю. Чайковский вспоминал: «Толстой громадный и в высшей степени симпатичный мне талант. Не было возможности отделаться от знакомства, которое, по общим понятиям, лестно и приятно. Мы познакомились, причем, конечно, я сыграл роль человека очень польщенного и довольного, т. е. сказал, что очень рад, что благодарен, — ну словом, целую вереницу неизбежных, но лживых слов. “Я хочу с вами поближе сойтись, — сказал он, — мне хочется с вами толковать про музыку”. И тут же, после первого

рукопожатия, он изложил мне свои музыкальные взгляды. По его мнению, Бетховен бездарен. С этого началось. Итак, великий писатель, гениальный сердцевед, начал с того, что с тоном полнейшей уверенности сказал обидную для музыканта глупость. Что делать в подобных случаях! Спорить! Да, я и заспорил, — но разве тут спор мог быть серьезен? Ведь, собственно говоря, я должен был ему прочесть нотацию. Может быть, другой так и сделал бы. Я же только подавлял в себе страдания и продолжал играть комедию, т. е. притворялся серьезным и благодушным. Потом он несколько раз был у меня, и хотя из этого знакомства я вынес убеждение, что Толстой человек несколько парадоксальный, но прямой, добрый, по-своему даже чуткий к музыке... но все-таки знакомство его не доставило мне ничего, кроме тягости и мук, как и всякое знакомство».

По просьбе Петра Ильича Николай Рубинштейн организовал для Толстого концерт из камерных и вокальных произведений Чайковского. «Может быть, ни разу в жизни, — отмечал Чайковский позже, — я не был так польщен и тронут в своем авторском самолюбии, как когда Л. Н. Толстой, слушая *Andante* моего Первого квартета и сидя рядом со мной, залился слезами». По возвращении в Ясную Поляну автор «Войны и мира» написал ему в Москву: «Сколько я не договорил с Вами! Даже ничего не сказал из того, что хотел. И некогда было. Я наслаждался. И это мое последнее пребывание в Москве останется для меня одним из лучших воспоминаний. Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудный вечер. И какой милый Рубинштейн! <...> Он мне очень понравился». В течение этого визита Толстого в Москву писатель и композитор провели два вечера в дружеских беседах. Почти через десять лет Чайковский записал в дневнике: «Когда я познакомился с Л. Н; Толстым, меня охватил страх и чувство неловкости перед ним. Мне казалось, что этот величайший сердцевед одним взглядом проникнет во все тайники души моей. Перед ним, казалось мне, уже нельзя с успехом скрывать всю дрянь, имеющуюся на дне души, и выставять лишь казовую сторону. Если он добр (а таким он должен быть и есть, конечно), думал я, то он деликатно и нежно, как врач, изучающий рану и знающий все наболевшие места, будет избегать задеваний и раздражения их, но тем самым и даст мне почувствовать, что для него ничего не скрыто; если он не особенно жалостлив, он прямо ткнет пальцем в центр боли. И того и другого я ужасно боялся. Но ни того ни другого не было. Глубочайший сердцевед в писаниях оказался в своем обращении с людьми простой, цельной, искренней натурой, весьма мало обнаружившей того всеведения, коего я боялся. Он не избегал задеваний, но и не причинил

намеренной боли. Видно было, что он совсем не видел во мне объекта для своих исследований, а просто ему хотелось поболтать о музыке, которой он в то время интересовался».

Они больше не встретятся. Толстой в течение нескольких лет не выезжал из Ясной Поляны. Начавшаяся было дружба оборвалась. Но, как выяснилось позднее, — и к этому мы еще обратимся — Толстой интересовался Чайковским как человеком глубже, чем тому казалось, хотя так и не сумел, или не пожелал, проникнуть в его душевные тайны.

Еще в Петербурге в разговоре со Стасовым у композитора возник замысел новой оперы на основе «Отелло» Шекспира, которым он было увлекся, однако знаменитый критик его все-таки отговорил от этой идеи, хотя сам уже написал для Чайковского либретто, и на этом дело и кончилось. В декабре Чайковский работал над «Вариациями на тему рококо» для виолончели с оркестром, посвященными виолончелисту Вильгельму Фитценгагену, и сочинил несколько вещей, заказанных ему за деньги для богатой московской меценатки Надежды фон Мекк, у которой в качестве домашнего музыканта в это время служил его бывший консерваторский студент Иосиф Котек.

Ни кандидаток на женитьбу, ни любовных чувств в отношении прекрасной половины человечества в тот период в жизни Чайковского не наблюдалось. Но вот подъем желаний, направленных на собственный пол, достиг особого накала: его избранником стал упомянутый бывший студент.

Иосиф (Эдуард) Иосифович Котек приехал в Москву с Украины, отец его был чех, мать полька. В пятнадцать лет он поступил в консерваторию, учился у Федора Лауба и Ивана Гржимали по классу скрипки и у Чайковского по классу теории музыки, возглавлял квартет студентов. По окончании учебы в 1876 году он был рекомендован Николаем Рубинштейном в качестве учителя музыки в семью фон Мекк. Котек был «молодым человеком, чрезвычайно привлекательной внешности, несмотря на неправильность черт лица — добродушный, увлекающийся, одаренный большой музыкальностью и еще большим талантом виртуоза, — вспоминал Модест Ильич в биографии брата. — С первого времени поступления в класс Петра Ильича он обращал внимание последнего своей симпатичностью... и вскоре стал любимцем своего учителя. Этому немало способствовало восторженное отношение молодого человека к произведениям Петра Ильича и проявление глубокой привязанности к его личности. У профессора и ученика установились дружеские отношения, которые продолжались и вне стен консерватории».

Второго января 1877 года композитор писал Модесту: «Да еще, братец,

частехонько бывает у меня (и Ваш он тоже знакомый) г. Котек, которого очень и очень я долюбливаю». Замечание о том, что Котек «и Ваш тоже знакомый», предполагает начало отношений Котека и с Модестом. 19 января Модест получил от брата следующее, во многих отношениях примечательное письмо об этом юноше и вызванных им любовных переживаниях, заслуживающее быть здесь приведенным полностью: «Милый Модя! Благодарю за прекрасное письмо, полученное на прошлой неделе. Сел тебе писать, ибо ощущаю потребность излить свои чувства в сочувственную душу. Кому как не тебе поведать сладкую тайну моего сердца! Я влюблен, как давно уж не был влюблен. Догадайся в кого? Он среднего роста, белокур, имеет чудные коричневые (с туманной поволокой, свойственной сильно близоруким людям) глаза. Он носит рinсе-нез (пенсне. — А П), а иногда очки, чего я терпеть не могу. Одевается он очень тщательно и чисто, носит толстую золотую цепочку, и всегда хорошенькие из благородного металла запонки. Рука у него небольшая, но совершенно идеальная по форме (я говорю: но, потому что не люблю маленьких рук). Она столь восхитительна, что я охотно прощаю ей некоторые искажения и некрасивые подробности, происходящие от частого соприкосновения кончика пальцев к струнам. Говорит он сильно в нос, причем в тембре голоса звучит ласковость и сердечность. Акцент у него слегка южнорусский и даже польский, ибо он родился и провел детство в Стороне польской. Но этот акцент в течение 6-летнего пребывания в Москве сильно омосквичился. В сумме, т. е., сложивши этот акцент с ласковостью голосового тембра и прелестными губками, на которых начинают вырастать пушисто-белокурые усики, получается что-то восхитительное. Он очень неглуп, очень талантлив к музыке и одарен вообще натурой изящной, далекой от всякой пошлости и сальности...

Я его знаю уже 6 лет. Он мне всегда нравился, и я уже несколько раз понемножку влюблялся в него. Это были разбеги моей любви. Теперь я разбежался и втюрился самым окончательным образом. Не могу сказать, чтоб моя любовь была совсем чиста. Когда он ласкает меня рукой, когда он лежит, склонивши голову на мою грудь, а я перебираю рукой его волосы и тайно целую их, когда по целым часам я держу его руку в своей и изнемогаю в борьбе с поползновением упасть к его ногам и поцеловать эти ножки, — (маленькие и изящные) — страсть бушует во мне с невообразимой силой, голос мой дрожит, как у юноши, и я говорю какую-то бессмыслицу. Однако же я далек от желания телесной связи. Я чувствую, что, если б это случилось, я охладел бы к нему. Мне было бы противно, если б этот чудный юноша унизился до совокупления с состарившимся и

толстобрюхим мужчиной. Как это было бы отвратительно и как сам себе сделался бы гадоком! Этого не нужно.

Мне нужно одно: чтобы он знал, что я его люблю бесконечно, и чтобы он был добрым и снисходительным деспотом и кумиром. Мне невозможно было скрыть мои чувства к нему, хотя сначала я очень старался об этом. Я видел, что он все замечает и понимает меня. Впрочем, ты можешь себе представить, до чего я искусен в сокрытии своих чувств? Манера моя пожирать глазами любимый предмет всегда выдает меня. Вчера я себя окончательно выдал. Это случилось так. Я сидел у него. (Он живет в нумерах, очень чисто, даже не без роскоши.) Он писал *andante* из своего концерта на своем хорейском месте; я рядом с ним, сбоку, притворялся, что читаю, между тем как я был занят рассматриванием разных подробностей лица и рук. Зачем-то понадобилось ему полезть в стол, и там он нашел письмо одного своего товарища, писанное летом. Он стал его перечитывать, затем сел за пианино и сыграл какую-то минорную штучку, приложенную к письму.

Я: Что это такое? Он (улыбаясь). Это письмо Порубиновского и песнь без слов его сочинения! Я не ожидал, что П. может так мило писать? Он. Еще бы. Ведь это он воспевает свою любовь ко мне. Я. Котек! Дайте мне, ради бога, прочесть это письмо. Он (отдавая письмо и усаживаясь около меня). Читайте.

Я начал читать письмо. Оно наполнено подробностями о консерватории и его сестре, приехавшей летом сюда, чтобы поступить в консерваторию. В конце письма следующее место обратило особенное мое внимание. “Когда ты наконец приедешь? Я совсем стосковался по тебе. Все свои амурные похождения с женщинами бросил, все мне опротивело и надоело. Я думаю только об одном тебе. Я тебя люблю, как будто ты самая прелестная молодая девушка. Мою тоску и мою любовь я выразил в прилагаемой песне без слов. Ради Бога, пиши мне. Когда я читал твое ласковое последнее письмо, то испытал самое большое счастье, какое до сих пор было в моей жизни”.

Я. Я и не знал, что Порубиновский вас так любит. Он. Да. Это такая бескорыстная и чистая любовь. (Хитро улыбаясь и глядя меня рукой по коленам (это его манера).) Не то что ваша любовь!!! Я. (Восхищенный до небес тем, что он признает мою любовь.) Может быть, моя любовь и корыстная, но вы можете быть уверены, что сто тысяч Порубиновских не могут вас любить, как я!

Тут меня прорвало. Я сделал полное признание в любви, умоляя не сердиться, не стесняться, не гнать меня, если я наскучаю, и т. д. Все эти

признания были приняты с тысячью разных маленьких ласк, трепаний по плечу и щек, глажений по голове и т. п. Я не в состоянии тебе выразить всю полноту блаженства, которое я испытывал, выдавая себя с руками и ногами.

Нужно тебе сказать, что вчера был канун его отъезда в Киев, где он скоро даст концерт. После признания он предложил съездить за город поужинать. Была восхитительная лунная ночь. Я нанял тройку, и мы полетели. Я не могу рассказать тебе тысячи подробностей, причинявших мне неизъяснимое блаженство. Я его кутал, обнимал, оберегал. Он жаловался на холод в кончике носа. Я голой рукой придерживал все время воротник его шубы, чтобы согреть священный для меня кончик. Замерзание руки причиняло мне боль и вместе самое сладкое чувство сознания, что я страдаю для него. В Стрельне, в зимнем саду, я встретил компанию Ленина, Риволя и tutti quanti. Господи, до чего они показались мне жалки в своем циническом и прозаическом разврате! Оттуда мы поехали к Яру и ужинали в отдельной комнате. Ему после ужина захотелось спать, и он лег на диван, употребив мои колени как подушки. Господи, какая это была полнота блаженства! Он ласково подсмеивался над моими нежностями и все повторял, что моя любовь не то, что любовь Порубиновского. Моя, дескать, корыстна и не чиста. Его любовь бескорыстна и чиста. Мы говорили о пиэсе, которую он велел мне написать для его великопостного концерта. Он повторял, что рассердится, если я не напишу этой пиэсы. В три часа мы уехали.

Я проснулся сегодня с ощущением испытанного счастья и с полным отсутствием того отрезвления чувств, которое по утрам заставляло меня прежде так часто раскаиваться в том, что накануне зашел слишком далеко. Я чрезвычайно легко перенес сегодня свои классы, был снисходителен и ласков с учениками, к их изумлению, все время острил и шутил так, что они катались со смеху. В 11 часов он вызвал меня из класса, чтоб проститься. Мы простились, но я кончил класс раньше и полетел на Курскую дорогу, чтобы еще раз увидеть его. Он был очень ласков, весел и мил. В 1<sup>1/2</sup> поезд умчал его. Я не недоволен, что он уехал. Во-1-х, он скоро вернется, во-2-х, мне необходимо собраться с мыслями и успокоиться. Все последнее время я ровно ничего не делал и решительно ни у кого не бывал, кроме тех, у кого и он бывает. Шиловский и Кондратьев оба на меня сердятся. В 3-х, я рад, что буду иметь случай писать ему и выразить все то, что не удалось высказать.

А между тем я затеял одно очень смелое предприятие. Хочу ехать в марте в Париж и дать там концерт. Я даже вступил в прямые сношения с

Colonn'ом (президентом общества des jeunes artistes (молодых артистов. — фр.)) и другими лицами. Но на какие деньги я сделаю это! Денежные дела ужасны: в долгу как в шелку. Впрочем, плевать на это. Модя, крепко тебя целую. <...> Ради бога, чтоб письмо это не попало на глаза Алине (матери Коли Конради. — А.П). Колю прижимаю нежно к сердцу. Merci за его чудное письмо».

Он выполнил обещание, данное Котеку, и в течение февраля написал для него «Вальс-скерцо» для скрипки с оркестром, который последнему очень понравился.

Нет сомнения, что все эти симпатии и пристрастия композитора, направленные в отличие от других профессоров не на студентов, а на студентов, обращали на себя внимание его консерваторского окружения. Петр Ильич прекрасно отдавал себе отчет в том, что о его любовных предпочтениях знает довольно широкий круг людей. В припадке раздражения на Николая Рубинштейна, бывшего на самом деле его верным другом и защитником, и уже обдумывая решение уйти из консерватории, он пишет Анатолию 15 января 1878 года: «Ему все кажется, что я только и держусь его благодеяниями. Знаешь, что я вижу в основании всего этого? Опять все то же. Шантаж! Дескать, с своей позорной репутацией благодари судьбу, что я еще держу тебя. Честное слово, это так». В силу всех этих обстоятельств Чайковский оказался в крайне деликатной ситуации. Следовало что-то предпринимать. Судьба послала ему решение этих проблем в лице двух женщин. От правильного выбора зависела вся его последующая жизнь.

## **Часть третья: Встреча с судьбой (1877–1878)**



## Глава одиннадцатая. Майские иллюзии

В истории взаимоотношений с женщинами 1877 год — и в этом заключается знаменательная ирония — стал для Петра Ильича и роковым, и судьбоносным. Именно в этом году у него завязались с женщинами как разрушительная, так и необыкновенно благотворная коллизии. Так, по-видимому, реализовалась дилемма-желание «быть как все», тяжесть и сложность которой он остро переживал в этот период. Разрушительной и едва ли не губительной оказалась пресловутая женитьба на Антонине Милюковой; благотворной и даже спасительной стала необычайная и даже единственная в своем роде «эпистолярная дружба» с Надеждой Филаретовной фон Мекк, начавшаяся в то же самое время.

За две недели до Нового года, который композитор решил встретить в Москве, он получает письмо от фон Мекк, в котором она благодарит его за исполнение ее музыкальных заказов и выражает восхищение его талантом: «Милостивый государь Петр Ильич! Позвольте принести Вам мою искреннейшую благодарность за такое скорое исполнение моей просьбы. Говорить Вам, в какой восторг меня приводят Ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что Вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться Вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись, поэтому скажу только, и прошу верить этому буквально, что с Вашею музыкою живетесь легче и приятнее. Примите мое истинное уважение и самую искреннюю преданность. Надежда фон Мекк».

Чайковский вежливо ответил: «Милостивая государыня Надежда Филаретовна! Искренне Вам благодарен за все любезное и лестное, что Вы изволите мне писать. Со своей стороны я скажу, что для музыканта среди неудач и всякого рода препятствий утешительно думать, что есть небольшое меньшинство людей, к которому принадлежите и Вы, так искренне и тепло любящих наше искусство. Искренне Вам преданный и уважающий П. Чайковский».

Вежливо-формальный тон писем, которыми обменялись фон Мекк и Чайковский, в самом начале даже не намекал на серьезную будущность их отношений. Модест был одним из первых, кто подчеркнул неповторимость и значительность этих отношений и крайнее своеобразие женщины, вошедшей в жизнь композитора с куда большей основательностью, чем любая другая представительница ее пола (если не считать матери): «Они

[отношения] столь сильно отразились на всей его последующей судьбе, так в корне изменили основы его материального состояния, а вследствие этого так ярко отразились на его артистической карьере, вместе с тем, сами по себе, носили такой высоко-поэтический характер и так были не похожи на все, что происходит в обыденной жизни современного общества, что прежде чем понять их, надо узнать, что за человек был этот новый покровитель, друг, ангел хранитель Петра Ильича».

Ангел-хранитель Чайковского, Надежда Филаретовна фон Мекк, оказалась женщиной в высшей степени незаурядной. Насколько это было возможно в стесненных условиях русского «викторианства», она являла собою цельную личность с богатой внутренней жизнью, правда, несколько эксцентричную. Дочь помещика-меломана Филарета Фроловского (по архивным данным, правильно — Фраловского), в шестнадцать лет вышедшая замуж за остзейского немца Карла фон Мекка, инженера с очень скромными средствами к существованию, она испытывала в молодости, по собственному признанию, немалую материальную нужду, и это, возможно, сделало ее столь отзывчивой к бедственному положению других. Головокружительный финансовый успех ее мужа, ставшего «железнодорожным королем», принес им многомиллионное состояние. И этом браке родились 18 детей, из которых выжили 11. После смерти в 1876 году Карла Федоровича они стали предметом непрестанной заботы его вдовы, возглавившей, кроме того, по завещанию мужа, финансовую империю фон Мекков.

Казалось бы, достаточно, чтобы заполнить с избытком день даже весьма энергичной женщины. Однако душевные вопросы Надежды Филаретовны этим не удовлетворялись. Она была очень образованным человеком, и остается лишь удивляться, каким образом и когда у нее оставалось время на приобретение этого образования. Помимо ее фанатической (можно было бы даже сказать, патологической) любви к музыке, которую она изучила весьма основательно, письма Чайковскому раскрывают ее обширные познания в области литературы и истории, отличное владение иностранными языками (включая польский), умение оценить произведения изобразительного искусства. Она читала Соловьева и Шопенгауэра, часто пускалась в очень нетривиальные философские дискуссии, четко и проницательно судила о политических вопросах.

Это не означает, что Надежда Филаретовна неизменно пребывала на уровне высокой интеллектуальности — к таковому она приближалась лишь изредка, и в ее рассуждениях немало наивности и клише, но общее впечатление от ее переписки с Чайковским, которого она была девятью

годами старше, дает основания говорить о нравственной, душевной и умственной соизмеримости обоих корреспондентов, что особенно лестно для фон Мекк, тем более что Чайковский был гениальным художником, а она лишь восторженной ценительницей его искусства.

Фон Мекк стала силой в музыкальном мире Москвы благодаря богатству, а также собственному энтузиазму. Она вступила в сложные отношения с Николаем Рубинштейном, фрондируя против него и в то же время отдавая должное его дарованиям и энергии. Мы не знаем, при каких условиях и в какой момент загорелась она страстно-восторженной любовью к музыке Петра Ильича и чем было вызвано это восхищение, далеко выходящее за пределы обыденности. Надежда Филаретовна еще при жизни мужа покровительствовала молодым музыкантам, и некоторые из них постоянно состояли в ее штате, доставляя ей наслаждение исполнением ее любимых произведений. Двое из этих молодых людей, время от времени сменявшихся, сыграли решающую роль в развитии ее отношений с Чайковским: бывший ученик композитора скрипач Иосиф Котек, на первых порах служивший посредником между ними (вскорости он расстанется с ней), и Владислав Пахульский, о котором пойдет речь позже.

В письмах Чайковского, несмотря на присущую им тонкую артистическую ментальность, нет намека на снисходительность: когда он спорит с «лучшим другом», а спорит он с ней по вопросам искусства часто и со страстью, он это делает естественно и равноправно, что было бы невозможно, если бы он не считал ее равной себе: ведь в сфере творческой он не был способен на лицемерие. Со своей стороны, в ее письмах не обнаруживается ни малейшего следа социального снобизма богатой меценатки, болезненного самолюбия возгордившейся дилетантки, привыкшей поворачивать по-своему художнические судьбы и ожидать за это благодарности в качестве награды.

Эти человеческие черты делают честь им обоим, так что, несмотря на их многочисленные личные недостатки (в частности, отразившиеся и в переписке), на свойственную обоим неврастению (называемую ими мизантропией), капризность, слабодушие и двоемыслие композитора, навязчивость, непоследовательность и прямолинейность его благодетельницы, — и то и другое время от времени у постороннего читателя их переписки вызывает раздражение, — несмотря даже на загадочный и неоправданный разрыв — отношения эти составляют самую, быть может, привлекательную главу в биографии композитора и в высших своих проявлениях являются образцом отношений между духовно

высокоразвитыми людьми.

«Среди музыкантов она выделила лично ей незнакомого профессора Чайковского. Слишком ответственно утверждать со всей категоричностью, но есть много оснований предположить, что она первая объявила Чайковского выдающимся, почти гениальным композитором. Его произведения она поставила на один уровень с классическими произведениями давно признанных авторитетов. Тогда это было слишком смело, могло показаться чрезмерной экзальтированностью, увлечением консерваторской дамы. История подтвердила правильность оценки», — пишут авторы примечаний к книге «Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк».

В письме от 18 марта 1877 года Надежда фон Мекк случайно упомянула, что из царствующих особ любит баварского короля Людвига II. Как известно, король этот с восемнадцати лет был увлечен музыкой Рихарда Вагнера, оказывал композитору покровительство и даже построил для него оперный театр в Байрейте, открытый в 1876 году премьерой «Кольца нибелунга». Судя по замечанию в том же письме, фон Мекк, как и Чайковский, по-видимому, будучи еще незнакомы с друг другом, одновременно присутствовали на представлении вагнеровской тетралогии в Германии. Кроме того, согласно семейным воспоминаниям, фон Мекк заказала известному немецкому художнику Фридриху Каульбаху большой портрет Людвига II, который висел у нее в доме на видном месте. Не исключено, что именно заразительный пример меценатства баварского короля и стал движущей силой, сознательной или подсознательной, в ее решении завязать отношения с Чайковским.

Была ли фон Мекк счастлива со своим мужем, умершим лишь за несколько месяцев до ее первого письма Петру Ильичу? Об этом нет ни слова даже в самых откровенно-интимных письмах. Казалось бы, гигантское состояние и одиннадцать детей должны были бы прочно привязать их друг к другу. Одним из первых ее заказов Чайковскому еще в 1876 году был реквием, что наводит на мысль о глубоком трауре. После смерти мужа Надежда Филаретовна прекратила какую бы то ни было светскую жизнь, предпочтя полное затворничество, вплоть до отказа встречаться с родственниками тех, на ком она женила или за кого выдала замуж своих детей. По мемуарным отзывам, властная, даже деспотичная, она держала домочадцев в рамках строгой морали, в том числе и в делах любовных. Приятель Чайковского Котек, которого она пригрела одно время, попал к ней в опалу по причине его амурных походов — и до такой степени, что она не нашла даже слов соболезнования, сообщая

Чайковскому в одном из писем о его кончине. Для женщины, оказавшейся способной на столь экзальтированный «эпистолярный роман», очень необычна характеристика, данная ею самой себе в одном из писем: «...я очень несимпатична при личных сношениях, потому что у меня нет никакой женственности... <...> я не умею быть ласкова, и этот характер перешел ко всему семейству. У меня все как будто боятся быть аффектированными и сентиментальными, и поэтому общий характер отношений в семействе есть товарищеский, мужской, так сказать», — казалось бы, полная противоположность в высшей степени чувствительному складу души самого Петра Ильича.

Но случайно ли именно такая женщина оказалась предрасположенной к роли «невидимой музыки» Чайковского? Человеческие характеры, тем более значительные, бывают исполнены бесконечных противоречий и парадоксов. Та же моралистически настроенная фон Мекк в письмах драгоценному своему Петру Ильичу неоднократно разражается выпадами против брака как общественной институции и признается в своей ненависти к нему. Речь буквально идет о неприятии брака как нравственного принципа: «Вы можете подумать, дорогой мой Петр Ильич, что я большая поклонница браков, но для того, чтобы Вы ни в чем не ошибались на мой счет, я скажу Вам, что я, наоборот, непримиримый враг браков, но когда я обсуждаю положение другого человека, то считаю должным делать это с его точки зрения». И в другом контексте и в более обобщенном плане, но не менее недвусмысленно: «То распределение прав и обязанностей, которое определяет общественные законы, я нахожу спекулятивным и безнравственным».

Совместить эту ненависть с любовью к семье непросто: можно заподозрить, что собственный супружеский опыт вынуждал ее признавать семейные блага и радоваться им, отрицая в то же время сладость сексуальных отношений между мужчиной и женщиной — недаром она однажды обмолвилась: «Я мечтать перестала с семнадцатилетнего возраста, т. е. со времени выхода моего замуж». Брак, таким образом, оказывается лишь печально необходимым условием построения семьи — потому и стремилась она переженить детей своих как можно скорее, чтобы обеспечить им общественную устойчивость на случай ее смерти. Что же до сексуальных отношений мужчины и женщины, то они сводятся к взаимной эксплуатации — точка зрения, не столь уж далекая от разночинно-радикальных рассуждений Чернышевского или Писарева — последнего, между прочим, Надежда Филаретовна весьма и весьма почитала, одобряя позитивизм в принципе.

Этот узко прагматический подход, не лишенный брезгливости, по всей вероятности, ответствен за необыкновенно высокий накал платонических чувств, столь ярко характеризующих ее отношение к Петру Ильичу. Несмотря на значительный, как мы увидим, эротический компонент, она удовлетворилась негласно установленным ими правилом не видаться ни при каких условиях, хотя с ее решительным характером могла бы пересмотреть эту договоренность в любой момент. Здесь, наверное, играл роль не только комплекс ее некрасивой внешности и прошедшей молодости; гораздо более важным было понимание ею эроса в плане эмоциональном, а не физиологическом — этот последний аспект по тем или иным причинам ею выдвигался усердно, в лучшем случае, в подсознание. Сложившаяся коллизия удовлетворяла ее внутренним, но глубоко запрятанным потребностям, давая простор эмоциям и по определению исключая неприятные, глубоко-постыдные и унижительные стороны половой любви.

Быть может, такая установка даст нам ключ к постижению следующего гипотетического парадокса: для описанного умонастроения неявная мизогиния Чайковского, его отвращение к браку могли казаться даже привлекательными, а слухи о гомосексуальности (вообще часто звучащие абракадаброй для женщины викторианского воспитания) не обязательно стали бы чреваты взрывом возмущения. Психологический расклад оставлял возможность увидеть в страстной любви между мужчинами душевный эксцесс, платонический союз, исключавший недостойное сожитие с женщиной, притом что момент физиологический мог опять же игнорироваться как невозможный или непонятный. Можно предположить, что, даже если Надежда Филаретовна в какой-то определенный момент и была поставлена в известность о любовных предпочтениях обожаемого друга, из этого не следует, что лишенная предрассудков, нерелигиозная и самостоятельно мыслящая женщина должна была тут же и непременно его проклясть. Мы еще вернемся к этой теме, сейчас же заметим, что уже в одном из первых писем Чайковскому, от 7 марта 1877 года, она подчеркивает свое полное презрение к общественному мнению: «.. но ведь человек, который живет таким аскетом, как я, логично приходит к тому, что все то, что называют общественными отношениями, светскими правилами, приличиями и т. п., становится для него одним звуком без всякого смысла». И позднее, в 1882 году, она продолжает настаивать: «Об общественном мнении я не забочусь никогда». В таком духе она будет высказываться еще не раз.

В то же время относительно предмета своего внезапно вспыхнувшего

музыкального и человеческого интереса она пишет: «И потому, как только я оправилась от первого впечатления Вашим сочинением, я сейчас хотела узнать, каков человек, творящий такую вещь. Я стала искать возможности узнать об Вас как можно больше, не пропускала никакого случая услышать что-нибудь, прислушивалась к общественному мнению, к отдельным отзывам, ко всякому замечанию, и скажу Вам при этом, что часто то, что другие в Вас порицали, меня приводило в восторг, — у каждого свой вкус». И далее: «Я до такой степени интересуюсь знать о Вас все, что почти в каждое время могу сказать, где Вы находитесь и, до некоторой степени, что делаете. Из всего, что я сама наблюдала в Вас и слышала от других сочувственных и не сочувственных отзывов, я вынесла к Вам самое задушевное, симпатичное, восторженное отношение».

Именно в это время Чайковский был обеспокоен слухами о его неортодоксальных склонностях, и именно они стали одной из важных причин, приведших его к решению жениться. Как она могла реагировать на сплетни и слухи на этом этапе, неизвестно: скорее всего, не придавала им значения и изгоняла из своего сознания, что со временем вполне могло привести ее к такому внутреннему состоянию, когда оказывалось неважно, правду они содержат или ложь.

Вероятно, от Котека она узнала о финансовых затруднениях композитора и здесь впервые проявила присущий ей — по крайней мере в отношениях с ним — исключительный такт. Она решила помочь ему, заказав еще несколько несложных работ и вознаградить его с немислимой щедростью. Чайковский со свойственной ему чуткостью очень скоро догадался об этом замысле. Уже в десятом письме их переписки читаем: «Несмотря на самые решительные отнекивания одного моего друга, хорошо и Вам известного (Котека. — А. П.), я имею основание предположить, что его милому коварству я обязан тем письмом, которое получил от Вас сегодня утром. Уже при прежних Ваших музыкальных заказах мне приходило в голову, что Вы руководились при этом двумя побуждениями: с одной стороны, Вам действительно хотелось иметь в той или другой форме то или другое мое сочинение; с другой стороны, прослышав о моих вечных финансовых затруднениях, Вы приходили ко мне на помощь. Так заставляет меня думать слишком щедрая плата, которой Вы вознаграждали мой ничтожный труд».

Нужно отдать должное и композитору: при всей сложности неожиданно для него возникшего сочетания дружбы, творчества и денег, он не польстился на возможность дешевого заработка: к этому времени он уже довольно высоко ценил как личность свою корреспондентку. Это

обстоятельство, кстати, ставит под сомнение распространенную версию, исходящую, по-видимому, из кругов, близких к семейству фон Мекк (но не самой Надежды Филаретовны, которая была полностью отчуждена от окружения своих детей), согласно которой Петр Ильич сознательно и лицемерно эксплуатировал ненормальную привязанность к нему богатой меценатки, принимая от нее Деньги и мало беспокоясь о ней как о человеке и о ее делах. Получается, что вся трехтомная переписка, с десятками красноречивых страниц и уверений в преданности, с интимными признаниями и творческими откровениями, выражениями нежной заботы и поисками сочувствия оказывается якобы всего лишь ловким фасадом, выстраивавшимся заведомо циническим эгоистом в сугубо утилитарных целях. Это подтверждают будто бы и письма Чайковского братьям, где иногда тон упоминаний о фон Мекк или о тех или иных проблемах, с ней связанных или ею вызванных, действительно отличается от фразеологии в письмах к ней непосредственно. Тем не менее не следует преувеличивать эти несоответствия. Если в чувствах Чайковского к его благотельнице и имелся элемент двойственности, он был совершенно ничтожным: упомянутые несовпадения вообще редки, и даже если в них время от времени и прорывается раздражение на Надежду Филаретовну, то это неизменно раздражение по мелочам, в котором он тут же раскаивается, и оно никогда не содержит ни малейшего оттенка неуважения к ней или неприятия. Вызывается такое раздражение, как правило, непониманием со стороны «лучшего друга», и, повторяем, очень редко. Приняв во внимание неврастеничность его характера, этому не приходится удивляться: не меньше» а то и больше раздражения выпадало на долю сестры и братьев, в любви Чайковского к которым сомневаться невозможно.

Таким образом, несмотря на известные умолчания и время от времени узнаваемый налет двоедушия (всегда по вещам пустячным), никак нельзя отрицать великой сердечной признательности и искренней привязанности, которые испытывал композитор к своей благотельнице.

Нюансы, противоречащие этому впечатлению, — лишь «отдельные штрихи, выделяющиеся при кропотливом анализе». Не будет преувеличением сказать, что в духовно-психологическом плане Надежда Филаретовна стала в его жизни явлением, соизмеримым по своему значению с Бобом Давыдовым. Подобная дружба с женщиной, между прочим, характерна для высокоразвитого и гомосексуально ориентированного мужчины. Согласно Платону, мудрая Диотима была советницей в делах любви Сократа, мало интересовавшегося слабым полом. Другой пример, архетипически еще более близкий к



интересующему нас, — платонический роман Микеланджело с Витторией Колонна, маркизой Пескара (как и Надежда Филаретовна фон Мекк, вдовой на склоне лет), удалившейся в монастырь и оттуда обменивавшейся со скульптором патетическими сонетами.

Удивительный комплекс взаимоотношений всех сексуально неортодоксальных членов группы Блумсбери в Англии есть новейший и, быть может, самый яркий пример таких притяжений. Тем не менее финансовый интерес не мог не создавать некоторого эмоционального замешательства, напряженности и неловкости, проявившихся уже в выше приведенном письме — углов, которые оба они научились обходить с замечательной деликатностью.

Так, в цитированном письме, отклоняя просьбу фон Мекк об очередном музыкальном заказе (естественно, с неизбежным щедрым вознаграждением), Чайковский пишет: «На этот раз я почему-то убежден, что Вы исключительно или почти исключительно руководились вторым побуждением (денежной помощи. — А. П.). Вот почему, прочтя Ваше письмо, в котором между строчками я прочел Вашу деликатность и доброту, Ваше трогательное меня расположение ко мне, я вместе с тем почувствовал в глубине души непреодолимое нежелание приступить тотчас к работе и поспешил в моей ответной записке отдалить исполнение моего обещания. Мне очень бы не хотелось, чтобы в наших отношениях с Вами была та фальшь, та ложь, которая неминуемо проявилась бы, если бы, не внявши внутреннему голосу, не проникнувшись тем настроением, которого Вы требуете, я бы поспешил смастерить что-нибудь, послать это “что-нибудь”-Вам и получить с Вас неподобающее вознаграждение». И далее: «Вообще, в моих отношениях с Вами есть то щекотливое обстоятельство, что каждый раз, как мы с Вами переписываемся, на сцену являются деньги».

И тем не менее понуждаемый неупорядоченностью своих дел и неспособный разрешить ее как следует, он обращается к ней 1 мая 1877 года с просьбой о заимообразном долге: «Эту помощь я теперь решился искать у Вас. Вы — единственный человек в мире, у которого мне не совестно просить денег. Во-первых, Вы очень добры и щедры; во-вторых, Вы богаты. Мне бы хотелось все мои долги соединить в руках одного великодушного кредитора и посредством его высвободиться из лап ростовщиков». И в конце письма бросает (с намеренным вымыслом?) между прочим: «Теперь... я... поглощен симфонией, которую начал писать еще зимой и которую мне очень хочется посвятить Вам, так как, мне кажется, Вы найдете в ней отголоски Ваших сокровенных чувств и

мыслей». Он колебался, отправить это письмо или нет, но ответ Надежды Филаретовны разрешил его сомнения: «Благодарю Вас искренно, от всего сердца, многоуважаемый Петр Ильич, за то доверие и дружбу, которые Вы оказали мне Вашим обращением в настоящем случае. В особенности я очень ценю то, что Вы сделали это прямо ко мне, непосредственно, и прошу Вас искренно всегда обращаться ко мне как к близкому Вам другу, который Вас любит искренно и глубоко. Что касается средств возвращения, то прошу Вас, Петр Ильич, не думать об этом и не заботиться».

Этому обмену эпистолами, бывшему, в сущности, их первой деловой сделкой, предшествовали, однако, несколько достаточно красноречивых писем фон Мекк, например, письмо от 15 февраля 1877 года, начинающееся словами: «Милостивый государь Петр Ильич! Хотелось бы мне много, много при этом случае сказать Вам о моем фантастичном отношении к Вам, да боюсь отнимать у Вас время, которого Вы имеете так мало свободного. Скажу только, что это отношение, как оно ни отвлеченно, дорого мне как самое лучшее, самое высокое из всех чувств, возможных в человеческой натуре. Поэтому, если хотите, Петр Ильич, назовите меня фантазеркою, пожалуй, даже сумасбродкою, но не смейтесь, потому что все это было бы смешно, когда бы не было так искренно, да и так основательно».

Уже в следующем послании от 7 марта она просит его фотографию и признается, что две у нее уже имеются, а затем описывает свой «идеал человека», которому, как это подспудно следует из контекста, ее корреспондент соответствует полностью: «Мой идеал человека — непременно музыкант, но в нем свойства человека должны быть равносильны таланту; тогда только он производит глубокое и полное впечатление. <...> Я отношусь к музыканту-человеку как к высшему творению природы». И далее: «Мне кажется, что ведь не одни отношения делают людей близкими, а еще более сходство взглядов, одинаковые способности чувств и тождественность симпатий, так что можно быть близким, будучи очень далеким». И наконец: «Я счастлива, что в Вас музыкант и человек соединились так прекрасно, так гармонично, что можно отдаваться полному очарованию звуков Вашей музыки, потому что в этих звуках есть благородный неподдельный смысл, они написаны не для людей, а для выражения собственных чувств, дум, состояния. Я счастлива, что моя идея осуществима, что мне не надо отказываться от моего идеала, а, напротив, он становится мне еще дороже, еще милее. Когда бы Вы знали, что я чувствую при Вашей музыке и как я благодарна Вам за эти чувства!»

Такое экзальтированное представление о личности «любимого друга»

(по крайней мере, в том виде, в котором оно выражалось на бумаге) сохранится у Надежды Филаретовны до самого конца. В этом же письме в туманных фразах она намекает и на ту форму отношений, которая ее бы устроила: «Было время, что я очень хотела познакомиться с Вами. Теперь же, чем больше я очаровываюсь Вами, тем больше я боюсь знакомства, — мне кажется, что я была бы не в состоянии заговорить с Вами, хотя, если бы где-нибудь нечаянно мы близко встретились, я не могла бы отнестись к Вам как к чужому человеку и протянула бы Вам руку, но только для того, чтобы пожать Вашу, но не сказать ни слова. Теперь я предпочитаю вдали думать о Вас, слышать Вас в Вашей музыке и в ней чувствовать с Вами заодно». Такая форма отношений, разумеется, более чем устраивала Петра Ильича, но он все-таки проявляет известную сдержанность и — отдадим ему должное — мягко предупреждает ее, что не соответствует идеалу, ей привидевшемуся, хоть и предполагает наличие между ними подлинного — «избирательного сродства».

Он отвечает 16 марта: «Вы совершенно правы, Надежда Филаретовна, предполагая, что я в состоянии вполне понять особенности Вашего духовного организма. Смею думать, что Вы не ошибаетесь, считая меня близким себе человеком. Подобно тому, как Вы старались прислушаться к отзывам общественного мнения обо мне, — и я, со своей стороны, не пропускал случая узнать подробности о Вас и о строе Вашей жизни. Я всегда интересовался Вами как человеком, в нравственном облике которого есть много черт, общих и с моей натурой. Уж одно то, что мы страдаем с Вами одною и тою же болезнью, сближает нас. Болезнь эта — мизантропия, но мизантропия особого рода, в основе которой вовсе нет ненависти и презрения к людям. Люди, страдающие этой болезнью, боятся не того вреда, который может воспоследовать от козней ближнего, а того разочарования, той тоски по идеалу, которая следует за всяким сближением. Было время, когда я до того подпал под иго этого страха людей, что чуть с ума не сошел. Обстоятельства моей жизни сложились так, что убежать и скрыться я не мог. Приходилось бороться с собой, и единый Бог знает, чего мне стоила эта борьба. <...> Из сказанного выше Вы легко поймете, что меня несколько не удивляет, что, полюбив мою музыку, Вы не стремитесь к знакомству с автором ее. Вы страшитесь не найти во мне тех качеств, которыми наделило меня Ваше склонное к идеализации воображение. И Вы совершенно правы. Я чувствую, что при более близком ознакомлении со мной Вы бы не нашли того соответствия, той полной гармонии музыканта с человеком, о которой мечтаете».

Через два дня, 18 марта, на это последовала любовно-негодующая

отповедь: «В Вашем письме, так дорогом для меня, только одно меня смутило: этот Ваш вывод из моего страха познакомиться с Вами. Вы думаете, что я боюсь не найти в Вас соединения человека с музыкантом, о котором мечтаю. Да ведь я уже нашла его в Вас, это не есть больше вопрос для меня. В таком смысле, как Вы думаете, я могла бояться прежде, пока не убедилась, что в Вас именно есть все, что я придаю своему идеалу, что Вы олицетворяете мне его, что Вы вознаграждаете меня за разочарование, ошибки, тоску; да, если бы у меня в руках было счастье, я бы отдала его Вам. Теперь же я боюсь знакомства с Вами совсем по другой причине и другому чувству». Это заявление о соответствии идеалу, конечно, слишком смело, если иметь в виду, что фон Мекк могла всерьез судить о нем лишь по музыке и нескольким письмам. Вероятно, однако, что психологическая выразительность этих строк убедила Петра Ильича в особенном отношении к нему со стороны Надежды Филаретовны и, в конце концов, подтолкнула его дерзнуть попросить о займе.

Фон Мекк подарила Чайковскому четырнадцать лет полноценной творческой жизни. Чайковский ей — не только Четвертую симфонию, посвященную «лучшему другу», и счастье своего исполненного нежности и благодарности доверия, ставшего для нее источником величайшего утешения и наслаждения («Фатум, против которого я бессильна»), — но и бессмертие в исторической памяти: их имена соединены навеки.

В мае 1877 года Чайковский откровенно признавался Модесту: «Экзамены кончаются, близится отъезд (в имение Конради Гранкино возле Полтавы. — А. П.), — но у меня на душе не так легко, как бывало прежде. Мысль, что опять придется ту же канитель тянуть, опять классы, опять Николай Львович, опять разные дразги, — все это меня смущает и отравляет мысль о свободных 3 месяцах. Стар я становлюсь!»

Но еще больше омрачила его душевное состояние наконец последовавшая в конце апреля женитьба Владимира Шиловского на молодой богатой графине Анне Алексеевне Васильевой, с которой тот обручился еще несколько лет назад. Не без зависти композитор пишет Модесту 4 мая: «Свадьба Шиловского состоялась. Перед этим он пьянствовал без просыпу, целые дни ревел и падал в обморок. Теперь совершенно счастлив и доволен. Проломал жену (это совершенная правда) и ездит целые дни с визитами к аристократам. Вчера я у него обедал. Его жена ужасная рожа и кажется глупа, но очень комильфотна». Неожиданно графиня продемонстрировала всем свой твердый характер и власть над мужем. Уже через год, 10 марта 1878 года, брат Шиловского Константин пишет Чайковскому: «Я никак не ожидал, чтобы он был способен до такой

невозможной степени подпасть под влияние жены. Вообрази, она достигла того, что отдалила его ото всех его знакомых, влияния которых она опасалась для себя».

В письме Модесту от 4 мая композитор нашел место и для выражения бушевавших в нем чувств к Иосифу Котеку: «Моя любовь к известной тебе особе возгорелась с новой небывалой силой! Причиною этого ревность. Он связался с Эйбоженкой, (бывшая студентка консерватории по классу вокала. — А. П.) и они е...ся по 5 и 6 раз в день. Сначала это от меня скрывалось, но сердце мое мне еще раньше сказало правду. Я старался отдалить от себя эту мысль, выдумывая себе разные утешения. Но в один прекрасный день он мне во всем сознался. Не могу тебе сказать, до чего мучительно мне было узнать, что мои подозрения были основательны. Я даже не в состоянии был скрыть моего горя. Мною было проведено несколько ужасных ночей. И не то чтобы я сердился на него или на нее — нисколько. Но вдруг я почувствовал с необычайной силой, что он чужд мне, что эта женщина в миллионы миллионов раз ему ближе. Потом я свыкся с этой ужасной мыслью, но любовь разгорелась сильнее, чем когда-либо. Мы все-таки видимся каждый день, и он никогда так не был ласков со мной, как теперь».

Двадцать седьмого мая Чайковский информирует госпожу фон Мекк о том, что Четвертую симфонию, которую он решил посвятить в последний момент ей, он «окончил» и «в конце лета будет ее инструментовать».

После многообещающего начала его дружбы с богатой меценаткой (и неожиданного разрешения таким образом его финансовых проблем) появление на его горизонте еще одной женщины, которая просто сама шла ему в объятия, явилось, по-видимому, еще одним необычайным совпадением обстоятельств, вмешавшихся в его судьбу весной 1877 года. Свадьба Шиловского дала ему дополнительный импульс для сходного разрешения обуревавших его проблем. Чайковский снова загорелся матримониальными планами, не приняв во внимание то, что если можно сравнительно легко приспособиться к семейной жизни в 24 года, как это сделал его ученик, то следует хорошо подумать, вступая в брак в 37.

Обстоятельства женитьбы композитора нам известны не только из его переписки с родными и Надеждой фон Мекк. Наиболее исчерпывающе они предстают в изложении его консерваторского друга Николая Кашкина, которому, по его словам, Петр Ильич во время одной из их встреч (вероятно, в 1890 году) без малейшей инициативы со стороны и совершенно неожиданно рассказал в подробностях собственную версию матримониальной катастрофы. Воспоминания Кашкин написал в довольно

преклонном возрасте в 1918 году и опубликовал в 1920-м, более чем сорок лет спустя после описываемых в них событий. Они не заслуживают полного доверия, и относиться к ним надлежит осторожно. Рассказ о женитьбе, включенный в мемуары Кашкина и переданный последним, для пущей убедительности, от первого лица, то есть самого Чайковского, очевидно, является позднейшей рационализацией событий как рассказчиком, так и мемуаристом. Ясно также, что позиция в отношении происшедшего сложилась *post factum* и что с ее помощью Чайковский стремился оправдать свои поступки, сделав поведенное им своего рода официальной хроникой несчастной женитьбы. Не вызывает сомнения и то, что сам Кашкин драматизировал и приукрасил эту историю собственными, иногда нелепыми деталями. Соответственно, мы имеем дело с результатом сотрудничества двух старых друзей с целью — скорее всего не вполне осознанной — обелить поведение двадцатилетней давности одного из них, успокаивая его угрызения совести, время от времени все еще дававшие о себе знать.

В 1894 году в «Петербургской газете» были опубликованы воспоминания вдовы композитора о ее брачном опыте, которые в основных чертах совпадают с отчетом об этих событиях самого Чайковского в письмах к фон Мекк. И хотя в ее тексте преобладают легкомысленность и наивность, бывшие, надо полагать, ее отличительными качествами, искренность и непосредственность интонации, чисто житейские детали позволяют считать эти воспоминания подлинными. К сожалению, этот материал не был воспринят всерьез большинством биографов, а некоторым и вовсе остался неизвестен. Здесь сказалась тенденция к безоговорочному принятию апологетических писаний Модеста Ильича и Кашкина, с их настойчивым стремлением представить Милюкову клинически ненормальной особой «даже в то время, когда она выходила замуж за Петра Ильича». Непредвзятое прочтение ее рассказа как еще одного свидетельства о случившемся, тем не менее, не обнаружит никаких аномалий ни в логике ее повествования, ни в ее поступках, но напротив — преданность и любовь с ясным осознанием творческой значимости ее супруга.

По отцовской линии род Милюковых вел свою историю от воеводы Семена Милюка, погибшего в сражении на поле Куликовом. К одной из ветвей этого семейства относился Павел Николаевич Милюков, историк и министр иностранных дел Временного правительства. С материнской стороны род Яминских также принадлежал к потомственным дворянам, их герб был занесен в «Общий гербовник дворянских родов», и все

представители этой фамилии по мужской линии были военными.

Семья Милюковых проживала недалеко от Москвы, в Клинском уезде, и, несмотря на принадлежность к местному дворянству, ее материальное положение было далеко не благополучным. Детство Антонины Ивановны, как и двух ее братьев Александра и Михаила и сестры Елизаветы, прошло в тяжелых условиях разрыва между родителями, бесконечных ссор и судебных разбирательств. Родилась Антонина Милюкова 23 июня 1848 года, воспитывалась в частном пансионе и в имении отца, в 1865 году окончила московский Елизаветинский институт. После смерти отца, в начале 1870-х годов, между матерью и детьми произошел после многочисленных тяжб раздел фамильного имущества.

Антонина познакомилась с Чайковским в Москве в мае 1872 года на квартире ее брата Александра Милюкова, женатого на Анастасии Хвостовой, одной из дочерей Екатерины Хвостовой-Сушковой, чей салон Чайковский любил посещать на пару с Апухтиным, еще будучи правоведом. Анастасия Хвостова упомянула в разговоре, что ее свояченица Антонина «хочет в консерваторию поступить». «“Да?” — говорит он мне, — вспоминает Милюкова, — и смотрит на меня своими умными и добрыми глазами. “А лучше — замуж выходите”, — добавил он и смотрит на меня уже жалобными глазами». Мемуаристка не услышала в сказанном иронии. На самом деле композитор давал ей искренний совет не поступать в консерваторию, а начать создавать семью: в этом случае его мнение о дамском музыкальном образовании совпадало с точкой зрения Николая Рубинштейна.

Антонину поразили тогда глаза Петра Ильича: «...и я их, эти чудные, дивные глаза, всю жизнь никогда не забывала. Они грели издали меня так же, как вблизи. Вот эти-то глаза меня и покорили на всю жизнь». Она также вспоминает, что «была тогда на концерте», тотчас после знакомства с Чайковским, благодаря присланным им контрамаркам. «Я слышала тогда новую Вашу вещь». Под концертом она, вероятно, имела в виду исполнение его новой кантаты на открытии Политехнической выставки 31 мая. Знакомство это развития не получило, но влюбленность с ее стороны стала со временем очевидной и даже начала принимать несколько маниакальную форму.

В 1873 году Милюкова поступила вопреки совету композитора в Московскую консерваторию, где занималась в классе специального фортепьяно и теории у Эдуарда Лангера, время от времени наталкиваясь на Петра Ильича в перерыве между занятиями. Она пишет, что «была чрезвычайно счастлива, постоянно его встречая: он всегда был со мной в

высшей степени ласков. <...> Более четырех лет я любила его тайно. <...> Я отлично знала, что нравилась ему, но он был застенчив и никогда не сделал бы предложения. Я дала себе обещание в продолжение 6 недель ежедневно ходить за него молиться в часовню у Спасских ворот, невзирая ни на какую погоду. <...> Через шесть недель я отслужила молебен в часовне и, помолившись еще дома, взяла, и отправила ему по почте письмо, в котором вылила ему на бумаге всю свою накопившуюся за столько лет любовь. Он сейчас же ответил, и у нас завязалась переписка, которая не лишена была интереса».

Через год она бросила консерваторию, то ли потому, что не имела прилежания к учебе и талантом не блистала, то ли из-за отсутствия денег. По словам Кашкина, композитор поинтересовался у Лангера, что она собою представляет. Оказывается, тот ее «помнил и охарактеризовал... одним грубо ругательным словом, не вдаваясь ни в какие объяснения». Не следует принимать это мнение целиком на веру. Тот же Кашкин сообщает, что «у Лангера суждения об учащихся обуславливались главным образом степенью внимательности последних к занятиям вообще и к его требованиям в частности, а потому из его отзыва мы могли сделать лишь тот вывод, что по фортепьянному классу г-жа Милюкова занималась неудовлетворительно».

Ко времени написания ею первого письма предмету своей любви она уже зарабатывала на жизнь самостоятельно, но как именно, нам неизвестно. В результате раздела отцовского имения, в конце 1876 года, Антонина стала обладательницей небольшого наследства. Видимо, этот факт заставил ее подумать о замужестве, и весной следующего года она решила напомнить о себе Петру Ильичу, вероятно, совсем забывшему о их случайном знакомстве пятилетней давности. На основе косвенных данных (первые письма обоих адресатов утеряны) можно предположить, что в конце марта — начале апреля Антонина посылала ему признание в любви.

Об этом он вспоминал в письме к фон Мекк 3 июля 1877 года: «Из этого письма я узнал, что она давно уже удостоила меня своей любовью. Письмо было написано так искренно, так тепло, что я решился на него ответить, чего прежде тщательно в подобных случаях избегал. Хотя ответ мой не подавал моей корреспондентке никакой надежды на взаимность, но переписка завязалась». Далее он ясно дает понять, что девушку эту он «знал и встречал прежде». Таким образом, тезис о наглом и неожиданном появлении незнакомки, имеющий хождение в биографической литературе, можно полностью опровергнуть.

Результатом их короткой переписки стало то, что уже в мае



Чайковский получил предложение «руки и сердца». В его архиве сохранились всего 16 писем Антонины Ивановны, из них лишь три относятся к времени, о котором идет речь. В письме от 4 мая, дошедшем до нас не полностью, она пишет: «Но все-таки я вижу, что пора уже начать себя переламявать, что Вы и сами упомянули мне в первом письме. Теперь, хоть я и не вижу Вас, но утешаю себя мыслью, что Вы в одном со мной городе; тогда как через месяц, а может быть, и менее, Вы, по всей вероятности, уедете, и Бог знает, придется ли Вас увидеть, потому что и я не думаю оставаться в Москве. Но где бы я ни была, я не буду в состоянии ни забыть, ни разлюбить Вас. То, что мне понравилось в Вас, я более не найду ни в ком, да, одним словом, я не хочу смотреть ни на одного мужчину после Вас. А между тем неделю тому назад должна была выслушать признание человека, который полюбил меня чуть ли не со школьной скамьи и остался верен в продолжение 5 лет. Мне так было тяжело его выслушивать, и я думала, что Вам, верно, так же не легко читать мои письма, не имея ничего мне ответить приятного, и при всем желании не быть в состоянии более ничего мне показать, кроме полнейшего равнодушия».

По всей вероятности (письмо не сохранилось), он ответил Антонине, перечислив массу своих недостатков. 15 мая она снова написала ему, но испытала разочарование и даже смятение, узнав от посыльного об отсутствии композитора в Москве. Самообладание, совсем еще недавно поддерживаемое надеждой, покинуло ее. И тогда она пишет еще более страстно: «Целую неделю находилась в самом мучительном состоянии, Петр Ильич, не зная, писать Вам или нет? Я вижу, что письма мои уже начинают тяготить Вас. Но неужели же Вы прекратите со мной переписку, и не повидавшись даже ни разу? Нет, я уверена, что Вы не будете так жестоки! Бог знает, может быть,

Вы считаете меня за ветреницу и легковерную девушку и потому не имеете веры в мои письма. Но чем же могу доказать Вам правдивость моих слов, да и наконец так лгать нельзя. После последнего Вашего письма я еще вдвое больше полюбила Вас, и недостатки Ваши ровно ничего для меня не значат. Может быть, если бы Вы были совершенством, то я и осталась бы совершенно хладнокровной к Вам. Я умираю с тоски и горю желанием видеть Вас, сидеть и говорить с Вами, хотя и боюсь, что в первый момент не буду в состоянии выговорить ни слова. Нет такого недостатка, который бы заставил меня разлюбить Вас; это ведь не минутное увлечение, а чувство, развившееся в продолжение очень долгого времени, и уничтожить его теперь я положительно не в силах, да и не хочу.

Послав сегодня к Вам письмо рассыльного, я была очень удивлена, узнав, что Вас нет в Москве, и на меня еще более напала тоска. Сажу целый день дома, брожу из угла в угол как полоумная, думая только о той минуте, когда я Вас увижу. Я готова буду броситься к Вам на шею, расцеловать Вас, но какое же я имею на то право? Ведь Вы можете принять это за нахальство с моей стороны. Не могу не отплатить Вам за Вашу откровенность тем же и потому скажу Вам, что хотя я и высказала свои чувства, но мне было бы крайне прискорбно, если бы Вы истолковали это в дурную сторону. Могу Вас уверить в том, что я порядочная и честная девушка, в полном смысле этого слова, и не имею ничего, что бы я хотела от Вас скрыть. Первый поцелуй мой будет дан Вам и более никому в свете. До свидания, дорогой мой. Не старайтесь меня больше разочаровывать в себе, потому что напрасно истратите только время. Жить без Вас я не могу и потому скоро, может, покончу с собой. Так дайте же мне посмотреть на Вас и поцеловать Вас так, чтобы и на том свете помнить этот поцелуй. До свидания. Ваша вечно А. М. 1877 г.».

И далее постскриптум: «Уведомьте меня, пожалуйста, предварительно, когда Вы будете у меня, потому что вторник, четверг и субботу меня не бывает в Москве. Не видя Вас, смотрю на Ваш портрет; но Панов до того обезобразил Вас, что мне просто обидно за Вас. Вот и кончила свое письмо и опять не знаю, куда деться с тоски. Желая Вам веселиться в деревне. Вот уже третий день, как письмо мое написано, и только сегодня посылаю его, предполагая, что Вас нет еще в Москве. Еще раз умоляю Вас, приходите ко мне; если бы Вы знали, как я страдаю, то, вероятно, из одного сожаления исполнили бы мою просьбу. Извините, что я не могу принять Вас с тем комфортом, с каким бы желала, так как у меня в распоряжении одна только комната; но надеюсь, что от этого я не упаду в Ваших глазах. Это было мое собственное желание трудиться и жить самостоятельно. Завтра, т. е. в четверг, отправлюсь по необходимости в Ховрино, по Николаевской железной дороге, а в пятницу буду Вас ждать целый день. Целую и обнимаю Вас крепко, крепко».

Любовные излияния Антонины вовсе не грозили настоящим самоубийством и были не столько экстравагантными, сколько соответствовали контексту любовных отношений и общей атмосфере эпохи. Уже в следующем письме от 21 мая звучит извинение: «Хоть я и написала в последних письмах много глупостей, но будьте уверены, что на деле я не такая смелая и никогда не позволю себе это сделать». При этом важно помнить, что они оставались едва знакомы, в лучшем случае, формально, как профессор и студентка. Однако письма девушки исполнены

самой неподдельной тоски и томления. Нет сомнения, что она была серьезно влюблена. Сверх того, она настаивала на личной встрече, тем самым еще более усложняя эту щекотливую ситуацию. И, как явствует из переписки, сам он к этому времени послал ей как минимум два письма: «первое» и «последнее».

Уже получив от нее первое послание, Чайковский серьезно задумывается о матримониальных возможностях, открывающихся перед ним. В письме Анатолию от 4 мая 1877 года, блефуя и лукавя перед гетеросексуальным братом, он не без хвастовства написал о вдруг ни с того ни с сего появившихся многочисленных невестах: «Кандидатки на супружество со мной сменяются ежеминутно, но ни на ком не могу остановиться. Одна девица даже сама письменно предложила мне руку и сердце, объяснивши, что уже три года влюблена в меня страстно. Она в письме своем обещала быть моей “рабой” и присовокупляет, что имеет десять тысяч капитала. Я ее когда-то видел и помню, что она смазлива, но противна. Вследствие того я ей объявил решительный отказ». Совершенно очевидно, что под «смазливой, но противной» девицей, которой он сразу отказал, Чайковский имел в виду Милюкову. Но он не признался Анатолию, равно как и остальным родственникам и друзьям, что уже серьезно задумался о перспективах, которые ему сулила ситуация с Антониной в качестве потенциальной «рабы».

Модеста же, который был решительно настроен против женитьбы брата, он предпочел вообще не информировать о «кандидатках» и о своих планах. Письма Милюковой пробудили в нем прошлогодние размышления о браке, отразившиеся, однако, лишь в послании от 8 мая Ивану Клименко: «Я очень изменился за это время и физически и, в особенности, морально.

Веселости и охоты дурачиться не оказывается ни на грош. Жизнь страшно пуста, скучна и пошла. Сильно подумываю о женитьбе или другой прочной связи». Композитор, конечно, не случайно выбрал в качестве поверенного именно Клименко, о гетеросексуальных вкусах которого он хорошо знал, но и ему он все еще не сообщает о самом главном — своей предполагаемой невесте.

Чайковский сомневался, не желая в то же время упустить редкую возможность жениться, притом что отсутствовала необходимость искать, выбирать, встречаться и ухаживать, ибо инициатива исходила с противоположной стороны.

По иронии судьбы именно в это время имело место еще одно стечение обстоятельств, сыгравшее роль катализатора в том, чтобы драма Петра Ильича и Антонины Ивановны оказалась сыгранной в реальной жизни. «На

прошлой неделе я был как-то у (певицы. — А. П.) Лавровской, — писал Чайковский Модесту 18 мая 1877 года, — разговор зашел о сюжетах для оперы. Ее глупый муж молол невообразимую чепуху и предлагал самые невозможные сюжеты. Лиз[авета] Андр[еевна] молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: “А что бы взять ‘Евгения Онегина’?” Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об “Онегине”, задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина. На другой день съездил к Шиловскому, и теперь он на всех парах обделывает мой сценариум. <...> Ты не поверишь, до чего я ярюсь на этот сюжет. Как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода ходульности; Какая бездна поэзии в “Онегине”. Я не заблуждаюсь; я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменяет с лихвой эти недостатки».

Не стала ли эта внезапная увлеченность «Евгением Онегиным» (где по ходу сюжета Татьяна Ларина безнадежно влюбляется в светского льва) следствием его собственной коллизии с Милюковой и не она ли предопределила и выбор Чайковским именно этого сюжета?

По творческой глубине и силе чувств опера «Евгений Онегин» — одно из самых проникновенных произведений Чайковского. «Про музыку я Вам скажу, — писал он Сергею Танееву в январе 1878 года, — что если была когда-нибудь написана музыка с искренним увлечением, с любовью к сюжету и к действующим лицам оною, то это музыка к “Онегину”. Я таял и трепетал от невыразимого наслаждения, когда писал ее. И если на слушателе будет отзываться хоть малейшая доля того, что я испытывал, сочиняя эту оперу, то я буду очень доволен и большего мне не нужно».

Знаменитое письмо Татьяны к Онегину — ключевой момент и в романе в стихах Пушкина, и в опере Чайковского. Именно с этой сцены началось сочинение оперы. Вот что, по воспоминаниям Кашкина, поведал ему о тогдашнем своем состоянии Петр Ильич: «В это самое время я был весь захвачен исключительно мыслью о “Евгении Онегине”, т. е. о “Татьяне”, письмо которой меня прежде всего и притягивало в этой композиции. Не имея еще не только либретто, но даже какого-либо общего плана, я начал писать музыку письма, уступая неодолимой душевной потребности сделать эту работу, в жару которой не только забыл о г-же

Милюковой, но даже потерял ее письмо или запрятал его так хорошо, что не мог его найти, да и вспомнил об этом, только получивши, некоторое время спустя, второе письмо. Весь погруженный в композицию, я до такой степени сжился с образом Татьяны, что для меня она стала рисоваться, как живая, со всем, что ее окружало. Я любил Татьяну и страшно негодовал на Онегина, представлявшегося мне холодным бессердечным фатом. Получив второе письмо от г-жи Милюковой, я устыдился и даже вознегодовал на себя самого за мое отношение к ней. Во втором письме она горько жаловалась на то, что не получала никакого ответа, прибавляя, что если и второе письмо постигнет участь первого, то ей остается только покончить с собой. В моей голове все это соединилось с представлением о Татьяне, а я сам, казалось мне, поступал несравненно хуже Онегина и я искренне возмущался на себя за свое бессердечное отношение к любившей меня девушке. Так как и во втором письме был приложен адрес г-жи Милюковой, то я, немедленно, отправился по этому указанию и, таким образом, знакомство наше началось».

Чайковскому или Кашкину явно изменяет память. К Антонине он отправился не сразу после получения письма от 4 мая, где был указан адрес девушки, а через две недели. Касательно того же периода их знакомства он признается в письме к фон Мекк от 3 июля: «Не стану Вам рассказывать подробности этой переписки, но результат был тот, что я согласился на просьбу ее побывать у нее. Для чего я это сделал? Теперь мне кажется, как будто какая-то сила рока влекла меня к этой девушке. Я при свидании снова объяснил ей, что ничего, кроме симпатии и благодарности за ее любовь, к ней не питаю. Но расставшись с ней, я стал обдумывать всю легкомысленность моего поступка. Если я ее не люблю, если я не хочу поощрить ее чувств, то почему я был у нее и чем это все кончится?»

Встреча состоялась 20 мая в доме на углу Тверской улицы и Малого Гнездниковского переулка (дом не сохранился), где Антонина снимала комнату. Ее рассказ об этом свидании совпадает с тем, что композитор коротко сообщил фон Мекк. Милюкова пишет: «Раз получаю короткое письмо: “Завтра я у вас буду”. И пришел. Он всегда очаровывал всех барышень, а тогда, в особенности, взгляд его был чарующий. Между прочим говорил он:

— Но ведь я почти старик? Может быть, вам будет скучно жить со мной?

— Я так люблю вас, — отвечала я, — что только сидеть рядом с вами, говорить с вами, иметь вас постоянно около себя — наполнит меня блаженством.

Мы посидели с час.

— Дайте я подумаю до завтра, — сказал он уходя».

Антонина Милюкова под впечатлением этого свидания пишет ему еще одно письмо на следующий день, 21 мая, где, в частности, говорится: «Хоть Вы и показались вчера у меня как метеор, но все-таки сердце мое до того было переполнено, что я готова была со всеми поделиться своею радостью. Не могу дожидаться понедельника и с ужасом думаю, как я переживу эти два дня, не видевши Вас. Смотрев вчера на Вас, мне казалось, что Вы совершенно не такой, как все мужчины; ну право, я сочла бы себя совершенно счастливой быть только постоянно около Вас и охранять Вас настолько, чтобы никто не мог раздражать Вас».

Получив это письмо, уверяющее его в идиллии, возможной после заключения брака, Чайковский решил увидаться с ней еще раз. Он пишет фон Мекк: «Из следующего за тем письма я пришел к заключению, что если зайдя так далеко, я внезапно отвернусь от этой девушки, то сделаю ее действительно несчастной, приведу ее к трагическому концу. Таким образом, мне представилась трудная альтернатива: или сохранить свою свободу ценою гибели этой девушки (гибель здесь не пустое слово, она в самом деле любит меня беспредельно) или жениться. Я не мог не избрать последнего».

А вот как он же излагает эти события в передаче Кашкина:

«У меня постоянно жило в душе искреннее возмущение небрежно-легкомысленным отношением Онегина к Татьяне. Поступить подобно Онегину мне казалось бессердечным и просто недопустимым с моей стороны. Я был как бы в бреду. Все время сосредоточенный на мысли об опере, я почти бессознательно или полусознательно относился ко всему остальному. <...> Все эти смутные колебания не то чтобы очень тревожили или беспокоили меня, но они мешали сочинять, и я решил покончить лучше с этим вопросом, чтобы освободиться от него. <...> Приняв такое решение (жениться на Милюковой. —А. П.), я совершенно не осознавал его важности и даже не отдавал себе отчета в его смысле и значении; мне было необходимо устранить хотя бы на ближайшее время все, мешавшее сосредоточиться на захватившей все мое существо идее оперы, и мне казалось всего естественнее и проще поступить именно так».

Антонина Милюкова утверждала, что их вторая встреча произошла на следующий день, 21 мая, но в действительности они увидели друг друга в понедельник, 23 мая. Очевидно, Петр Ильич уже успел принять окончательное решение, как это явствует из письма «лучшему другу»: «Итак, в один прекрасный вечер я отправился к моей будущей супруге,

сказал ей откровенно, что я не люблю ее, но буду ей, во всяком случае, преданным и благодарным другом; я подробно описал ей свой характер: свою раздражительность, неровность темперамента, свое нелюбимство, наконец, свои обстоятельства. Засим я спросил ее, желает ли она быть моей женой? Ответ был, разумеется, утвердительный».

Милюкова же пишет, что Чайковский ей якобы сказал: «“Я все обдумал. Вот что я скажу вам. Я никогда в жизни не любил ни одной женщины, и я чувствую себя уже слишком немолодым для пылкой любви. Ее у меня ни к кому не будет. Но вы — первая женщина, которая сильно нравиться мне. Если вы удовлетворитесь тихой, спокойною любовью, скорее любовью брата, то я вам делаю предложение”. Конечно, я согласилась на все условия. Мы сидели все-таки очень церемонно, друг против друга, толкуя немного уже и о будущем нашем, общем. “Ну, однако, пора идти, — сказал он, встал, надел летнюю накидку (это было в июне), как-то особенно чарующе, грациозно обернулся ко мне, протянул руки во всю их длину по сторонам и произнес: Ну?..” — и я кинулась ему на шею. Этого поцелуя никогда мне не забыть. Он сейчас же ушел».

Можно усомниться в полной достоверности заключительного эпизода, но и отрицать его целиком, наверное, не стоит: нечто подобное вполне могло произойти. Подчеркивание «стариковских» качеств и любви более братской, нежели настоящей, в его случае имело серьезный смысл.

По всем признакам, Петр Ильич не рассказал Антонине Ивановне самого главного о себе — а именно, что предпочитает любить не женщин, а юношей. Этим он совершил роковую ошибку, обрекши и свою и ее жизнь на несчастья, приведшие обоих на грань безумия. С другой стороны, сомнительно, что он мог позволить себе такое признание, имея в виду невысокий интеллектуальный уровень невесты, но, если бы и позволил, оказалась ли бы она способной его понять?

Не удивительно, что настроенный на женитьбу композитор в том же июльском письме рисует Надежде Филаретовне идеализированный портрет будущей супруги: «Зовут ее Антонина Ивановна Милюкова. Ей 28 лет. Она довольна красива. Репутация ее безупречна. Жила она из любви к самостоятельности и независимости своим трудом, хотя имеет очень любящую мать. Она совершенно бедна, образованна не выше среднего уровня (она воспитывалась в Елизаветинском институте), по-видимому, очень добра и способна безвозвратно привязываться. На днях произойдет мое бракосочетание с ней. Что дальше будет, я не знаю». Создается впечатление, что за этим решением скрывается хорошо обдуманный план выбрать в жены наивную девицу, неспособную даже догадаться о его

сексуальной ориентации, но установить, скрывался ли на самом деле за всем этим холодный расчет, невозможно.

Как бы то ни было, Петр Ильич не был готов к серьезным отношениям с женщиной и в какой-то момент безусловно попал в сети самогипноза. Встречаясь с Милюковой лишь формально и обсуждая с ней брачные планы, он продолжал флиртовать с Иосифом Котеком. В тот самый день, 23 мая, когда композитор сделал предложение Антонине, он писал Модесту: «Ты спросишь: а любовь? Она опять спала почти до полного штиля. И знаешь почему? Это только ты один можешь понять. Потому что раза 2 или 3 я видел больной палец во всем его безобразии! Но не будь этого, я бы был влюблен до сумасшествия, которое опять и возвращается каждый раз, как я позабуду несколько об искаленном пальце. Не знаю, к лучшему или к худшему случился этот палец? Иногда мне кажется, что Провидение, столь слепое и несправедливое в выборе своих протекже, изволит обо мне заботиться. (Тпфу, тпфу, тпфу!) В самом деле, я начинаю иногда усматривать не пустую случайность в некоторых совпадениях обстоятельств. Кто знает, быть может, но начало религиозности, которая когда-нибудь обуяет меня, уже всецело, т. е. с постным маслом, с ватой от Иверской и т. п. Посылаю тебе карточку мою с Котиком вместе. Она была снята в самый разгар моей последней вспышки». 9 июня он опять вспоминает Котека: «Нужно несколько дней провести в Москве с Котиком».

Под впечатлением письма малознакомой девушки, случайно наложившимся на пушкинское письмо Татьяны, Чайковский оказался жертвой собственного богатого воображения.

Нельзя сказать, что он совсем не осознавал нелепости этой ситуации. В том же письме к фон Мекк читаем: «Не могу передать Вам словами те ужасные чувства, через которые я прошел первые дни после этого вечера (23 мая. — А. П.). Оно и понятно. Дожив до 37 лет с врожденною антипатиею к браку, быть вовлеченным силою обстоятельств в положение жениха, притом нисколько не увлеченного своей невестой, очень тяжело. Нужно изменить весь строй жизни, нужно стараться о благополучии и спокойствии связанного с твоей судьбой другого человека, — все это для закаленного эгоизмом холостяка не очень-то легко. <...> Я решил, что судьбы своей не избежать и что в моем столкновении с этой девушкой есть что-то роковое. Притом же я по опыту знаю, что в жизни очень часто то, что страшит и ужасает, иногда оказывается благотворным, и наоборот — приходится разочаровываться в том, к чему стремился с надеждой на блаженство и благополучие. Пусть будет, что будет».



## Глава двенадцатая. Июльские надежды

Размышления Чайковского о женитьбе на Антонине Милюковой и принятие окончательного решения заняли не более трех недель. 29 мая после экзаменов в консерватории, возложив на невесту заботы по поводу приготовлений к свадьбе и скрыв факт помолвки от всех окружающих, композитор с легкой душой отправляется в Глебово (имение Константина Шиловского) работать над либретто и музыкой к новой опере. «Через неделю он попросил у меня позволения уехать в подмосковное имение к своему приятелю, — писала Антонина об этом лете, — для того, чтобы написать скорее оперу, которая у него составила в голове уже. Эта опера была — “Евгений Онегин”, самая лучшая из всех его опер. Она хороша, потому что написана под влиянием любви. Она прямо написана про нас. Онегин — он сам, а Татьяна — я. Прежде и после написанные оперы, не согреты любовью, — холодны и отрывисты. Нет цельности в них. Эта одна хороша с начала до конца».

Здесь впервые упоминается идея, позже использованная Кашкиным в его воспоминаниях и с его же легкой руки вошедшая в музыкальную литературу, о связи оперы с реальными событиями. Не оспаривая влияния «Евгения Онегина» на решение Петра Ильича вступить в брак, заметим, что хронологически версия Кашкина плохо совпадает с реальностью. К сочинению письма Татьяны, якобы повлиявшего на его решение создать семью, Чайковский приступил лишь в первой половине июня. Скорее всего именно письмо Милюковой и встреча с ней дали толчок для написания этой сцены. Как замысел она упоминается в письме к фон Мекк 27 мая, а как законченный Стрывок — 9 июня в письме Модесту: «Всю вторую картину Первого акта (Татьяна с Няней) я уже написал и очень доволен тем, что вышло».

В Глебове, в одном из красивейших мест Подмосковья, композитор обрел замечательные условия для работы над оперой. Он писал Модесту: «Пусть моя опера будет несценична, Пусть в ней мало действия, но я влюблен в образ Татьяны, очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку, потому что меня к этому тянет. Я совершенно погрузился в сочинение оперы. Правда и то, что нельзя себе представить обстановки более благоприятной для сочинения, как та, которою я пользуюсь Здесь. В моем распоряжении целый отдельный, превосходно меблированный дом; никто, ни одна душа человеческая, кроме Алеши, не появляется ко мне,

когда я занят, а главное, у меня фортепиано, звуки которого, когда я играю, не доходят опять-таки ни до кого, кроме Алеши. Я встаю в 8 часов, купаюсь, пью чай (один) и потом занимаюсь до завтрака. После завтрака гуляю и опять занимаюсь до обеда. После обеда совершаю огромную прогулку и вечер просиживаю в большом доме. Общество здесь состоит из обоих хозяев, двух старых дев Языковых и меня. Гостей почти не бывает — словом, здесь очень покойно и тихо». И несколько позднее пишет владельцу имения Константину Шиловскому: «Воспоминания о глебовском месяце буквально представляются мне сном и притом очень сладким сном. <...> О, стократ чудный, милый, тихий уголок мира, — я никогда тебя не забуду!!!»

Можно легко себе представить, что, погрузившись в сочинение оперы в таком «чудном уголке мира», Чайковский почти не вспоминал о предложении, сделанном им Антонине. Решившись как будто на серьезный шаг, а по утверждению некоторых биографов, отважившись навсегда покончить с «пагубными привычками» и возымевши намерение изменить свою сексуальную природу и «зажить как все», в своей интимной переписке предсвадебного периода с братьями и близкими друзьями он, однако, ни словом не обмолвился об этом намерении вплоть до самой последней минуты. Можно предположить, что он желал сделать всем приятный сюрприз, но интонация его писем не свидетельствует о настроении человека, стоящего на пороге новой жизни. Возможно, он был так увлечен новой оперой, что недооценивал предстоящее событие.

Однако при внимательном чтении переписки за май и июнь 1877 года, включающей его планы на лето, где не остается места для жены, возникает впечатление, что бракосочетание (6 июля) представлялось ему событием не более важным, чем сеанс у знаменитого фотографа.

Еще до свадьбы Чайковский убедился, что невеста его «совершенно бедна», что ее доля в наследстве ничтожна и зависит от случайных продаж леса и везения, так что мнение некоторых биографов о его заинтересованности в приданом Антонины не подтверждается фактами. С появлением в его жизни госпожи фон Мекк он, чтобы расплатиться с долгами, делал пока ставку лишь на ее музыкальные заказы, не помышляя о полной поддержке с ее стороны.

Наконец, в преддверии столь важной жизненной перемены следовало бы отослать от себя от греха подальше любимого слугу Алешу. Вырисовывается парадоксальная картина: задумавший серьезно жениться композитор не серьезно относится к предстоявшей женитьбе. Он не только старался не думать о ней, но оказывался не в состоянии бросить свои

старые привязанности. Надо полагать, что Чайковский вообразил свою будущую семейную жизнь такой, какой она была у Кондратьева — с многотерпеливой женой, мирящейся даже со слугой в роли любовника ее мужа.

Сестра Саша не напрасно беспокоилась о нем, несмотря на уверения брата в осмотрительности и благоразумии. Его решение обрушилось на близких неожиданно. Они еще не знали, что сделанный им выбор был, пожалуй, наихудшим из всех возможных. Отца Чайковский известил о своем бракосочетании в последний момент — 23 июня 1877 года: «Милый и дорогой Папочка! Ваш сын Петр задумал жениться. Так как он не хочет приступить к бракосочетанию без Вашего благословения, то и просит Вас, чтоб Вы благословили его на новую жизнь. Женюсь я на девице Антонине Ивановне Милюковой. Она бедная, но хорошая и честная девушка, очень меня любящая. Милый мой Папочка, Вы знаете, что в мои годы не решаются жениться без спокойной обдуманности, а потому не тревожьтесь за меня. Я уверен, что моя будущая жена сделает все, чтобы я был покоен и счастлив. Прошу Вас, кроме Лизаветы Михайловны не говорить об этом покамест никому. Саше и братьям я сам напишу».

Папочка, разумеется, сына благословил. 27 июня он пишет сыну об Антонине Ивановне, которую никогда не видел: «Не сомневаюсь, что избранная тобою особа достойна такого же эпитета (распрекрасный. — А. П.), который ты заслужил от отца, восьмидесятитрехлетнего старца, и от всей семьи моей, да, по правде сказать, и от всего человечества, которое тебя знает.

Не правда ли, моя голубушка Антонина Ивановна? Со вчерашнего дня прошу позволения называть Вас моей Богом данной дочкой; любите избранного Вами жениха и мужа, он поистине того достоин, а ты, женише мой<sup>[4]</sup>, уведошь, в какой день и час совершишь твое бракосочетание. Я сам приеду (уведошь, согласен ли) (сын оказался не согласен. — А. П.) благословить тебя и привезу образ, которым благословила тебя крестная мать, тетка Надежда Тимофеевна, умная и добрая женщина. Затем обнимаю, целую и благословляю тебя».

Сестру Чайковский оповестил буквально накануне свадьбы — 5 июля: «Милые и дорогие мои Саша и Лева! На днях совершится мое бракосочетание с девицей Антониной Ивановной Милюковой. Сообщая вам об этом известии, я пока воздержусь от описания качеств моей невесты, ибо кроме того, что она вполне порядочная девушка и очень меня любит, я еще очень немного о ней знаю. Только когда мы несколько времени проживем вместе, черты ее характера раскроются для меня

совершенно ясно. Толя, который будет присутствовать на свадьбе, расскажет кое-что подробнее. Скажу вам одно: я ее до тех пор не свезу к вам в Каменку, пока мысль, что мои племянницы будут называть ее тетей, нисколько не будет меня шокировать. Теперь, хотя я и люблю свою невесту, но мне все еще кажется с ее стороны маленькою дерзостью то, что она сделается тетей для ваших детей, которых я люблю больше всех детей в мире».

Александра Ильинична отвечала 12 июля: «Ты женат, значит, прибыло еще существо, мне близкое, а следовательно и дорогое, почему и не скажу тебе все то, что перечувствовала я за эти дни. Дай Господи вам счастья. Если хочешь порадовать и успокоить меня, привези мне свою жену. Я хочу полюбить сознательно ту, которой выпало на долю счастье быть твоей подругой».

В тот же день было отослано извещение Модесту: «Милый Модя! Когда ты получишь это письмо, я уже буду женат. На днях произойдет моя свадьба с Антониной Ивановной Милюковой. Дело это было решено в конце мая, но я его покамест держал в секрете, чтоб не терзать тебя и всех близких мне неизвестностью и сомнениями до тех пор, пока факт не совершится. Доказательством того, что я приступаю к этому совершенно покойно и обдуманно, служит то, что в виду близкого бракосочетания я прожил совершенно покойно и счастливо целый месяц в Глеbove, где написал две трети оперы. После свадьбы, на которой Толя будет присутствовать, я поеду с женой (как это странно звучит) в Питер на несколько дней, потом проживу с ней до августа, а август пропутешествую, если хватит денег. Заеду в Каменку, но главная моя цель Ессентуки, ибо мне очень нужно полечиться. Тотчас после приезда в Питер я тебе напишу подробно, а теперь времени нет.хлопот бездна. Целую тебя крепко и Колю тоже». Было бы неудивительно, если бы Модест, полностью проигнорированный обожаемым старшим братом при принятии жизненно важного решения, смертельно обиделся на такое обращение с его стороны. Николай и Ипполит были оповещены уже после бракосочетания.

Брат Анатолий оказался единственным родственником, приглашенным на церемонию. Ему Петр Ильич сообщил о свадьбе раньше всех и заранее, в письме от 23 июня: «Милый Толя! Ты очень верно догадался, что я что-то от тебя скрываю, но этого что-то ты не угадал. Дело вот в чем. В конце мая совершилось одно обстоятельство, которое я до времени хотел скрыть от тебя и от всех близких и дорогих людей, дабы вы напрасно не тревожились о том, как, что, на ком, зачем, хорошо ли я делаю и т. д. Я хотел кончить все дело и потом уж открыться вам всем. Я женюсь. При свидании расскажу

тебе, как это случилось. Я сделал предложение в конце мая, хотел устроить свадьбу в начале июля и потом уже известить всех вас об этом. Но твое письмо меня поколебало. Во-первых, я не могу же избежать встречи с тобой, а ломать комедию, выдумывать причины, почему я не еду с тобой в Каменку, было бы трудно. Во-вторых, я сообразил, что без благословения (предварительного Папаши) неловко соединиться брачными узами. Передай Папочке прилагаемое письмо. Пожалуйста, не беспокойся обо мне, я поступил очень обдуманно, и приступая к этому важному шагу в жизни совершенно покоен. Что я совершенно покоен, это ты можешь вывести из того, что в виду близкой свадьбы я мог написать две трети оперы. Я женюсь на девушке не особенно молодой, но вполне порядочной и имеющей одно главное достоинство: она влюблена в меня как кошка. Она совершенно бедна. Зовут ее Антонина Ивановна Милюкова. <...> Итак, я не только объявляю тебе о предстоящей свадьбе, но и приглашаю на нее. Ты будешь вместе с Котеком единственным свидетелем венчания, которое должно произойти тотчас после твоего приезда».

Композитор явно пытался убедить себя в том, что слепая любовь Антонины к нему должна была гарантировать успех их брачного союза. Его большим заблуждением оказалась самонадеянная уверенность, будто женская любовь, выражающаяся в абсолютной преданности, сделает свое дело, притом что сексуальная ее сторона может вовсе не приниматься в расчет. Ему пришлось дорого заплатить за эту ошибку.

Невозмутимый тон его писем родным был по большей части напускным. На деле его страх и растерянность, несмотря на показной оптимизм, были велики и очевидны. Своими сомнениями накануне бракосочетания (3 июля) он поделился в письме Надежде фон Мекк: «Пожелайте мне не падать духом в виду той перемены в жизни, которая предстоит мне. Видит Бог, что я исполнен относительно подруги моей жизни самых лучших намерений и что, если мы будем с ней несчастливы, то я виноват в этом не буду. Моя совесть спокойна. Если я женюсь без любви, то это потому, что обстоятельства сложились так, что иначе поступить я не мог. Я легкомысленно отнесся к первому изъятию любви, полученному с ее стороны; я не должен был вовсе отвечать ей. Но, раз поощривши ее любовь ответами и посещением, я должен был поступить так, как поступил. Во всяком случае, повторяю, моя совесть чиста, я не лгал и не обманывал ее. Я сказал ей, чего она может от меня ожидать и на что не должна рассчитывать».

Скорее всего, известие о браке Петра Ильича привело Надежду Филаретовну в крайнее смущение. В день его свадьбы она; однако,

отреагировала как полагается человеку благородному — с благосклонностью, давшей ей с усилием, о чем говорят отдельные нотки, проскальзывающие в ее словах: «Я уверена, мой милый, хороший друг, что ни в Вашем новом и ни в каком положении Вы не забудете, что имеете во мне глубоко привязанного к Вам друга и будете относиться ко мне а парт (независимо от. — **фр.**) всех искусственных, напускных взглядов людских и будете видеть во мне только близкого, любящего Вас человека. Вы будете писать мне о себе все, все откровенно, не правда ли, мой дорогой Петр Ильич? И Вы не будете меня стеснять ни в чем относительно Вас».

Венчание состоялось 6 июля в церкви Святого Георгия на Малой Никитской улице. Антонина вспоминала: «Вернувшись 4 июля, Петр Ильич объявил мне, что на свадьбе от него будут только 2 человека: брат его Анатолий и приятель его, хотя много моложе его, скрипач Котек. <...> Анатолий пришел 5 июля с ним вместе (с Чайковским. — А. П.), днем. У меня сидела одна сестра (не родная) Мария. Она из близких одна была на свадьбе. Мы представились друг другу, и говорили так, разные пустяки. Через полчаса я провела их обоих к своим будущим посаженным отцу и матери. Настал день свадьбы. <...> Когда я приехала в церковь, то оказался забытым розовый атлас под ноги (дурное предзнаменование). Сейчас же поехали за мим, но привезли уже к концу венчания. Мой шафер подостлал Петру Ильичу свой белый шелковый носовой платок, а я стояла так. После венчания Анатолий Ильич опять уехал только вдвоем с Петром Ильичом на его холостую квартиру. <...> Через несколько времени за нами прислали карету и мы поехали в гостиницу “Эрмитаж”. Когда мы подъехали, то 2 лакея, как говорится, вынули меня из кареты и повели с обеих сторон под руки. Внизу лестницы встретил меня Анатолий Ильич и повел меня под руку. Комната, в которой все было приготовлено, была большая. Убрана была букетами. Яств всевозможных было очень много, но я едва прикасалась ко всему. У меня и тогда уже было предчувствие чего-то недоброго. Я просто холодела от страха. Потом мне это сестра говорила: что это за обед был, точно похоронный — так было невесело... После обеда Петр Ильич снова поехал на свою холостую квартиру с братом, а меня опять отвезли к Виноградовым (родственникам подруги Милюковой. — А. П.). К семи часам вечера мы приехали на поезд Николаевской железной дороги, и я отправилась с мужем в Петербург».

О подготовке церемонии и своем состоянии во время ее совершения Чайковский рассказывал Кашкину: «Я все продолжал быть как бы в чаду. Отправившись к Дмитрию Васильевичу Разумовскому (знакомому преподавателю по консерватории и священнику. — А. П.), я попросил его

обвенчать меня в своей церкви. С обычной своей бесконечной добротой, он как-то хорошо на меня подействовал, ободрил, освободил от каких-то формальностей и совершил таинство венчания со свойственной ему художественной красотой, которой я не мог не заметить, несмотря на важность момента. Но я все-таки оставался каким-то посторонним, безучастным лицом до тех пор, пока Дмитрий Васильевич, по окончании обряда, не заставил нас с Антониной Ивановной поцеловаться; тут меня что-то больно ударило в сердце и охватило такое волнение, что, кажется, я заплакал, но постарался поскорее побороть себя и принять спокойный вид; Анатолий, впрочем, заметил мое состояние, ибо начал мне говорить что-то ободряющее».

В день свадьбы Чайковский послал Владимиру Шиловскому: «Володя! Твоего полку прибыло. Я сегодня женюсь». Однако настроение его после церемонии было далеко от бравады. В длинном письме Анатолию от 8 июля он подробно и красноречиво описывает свои переживания в тот день: «Толя! Я бы жестоко солгал перед тобой, если б стал тебя уверять, что я уже вполне счастлив, вполне привык к новому моему положению и т. д. После такого ужасного дня, как день 6-го июля, после этой бесконечной нравственной пытки нельзя скоро оправиться. Но всякие невзгоды имеют и свою хорошую сторону;

Я невыносимо страдал, видя, как ты обо мне сокрушаешься, но вместе с тем ты виновник того, что я с таким мужеством боролся с своими мучениями. Скажи, пожалуйста, что значат все испытания, неудачи, невзгоды перед силою любви к тебе и твоей ко мне! Что бы ни случилось со мной, я знаю, что в твоей любви найду всегда опору, поддержку и утешение. И теперь ты ни на секунду не выходишь из моей головы и твой милый образ меня утешает, ободряет и поддерживает. Надежда скорого свиданья сделает то, что я ни в коем случае не упаду духом».

Итак, в самый момент свадьбы его мысли больше занимал брат, чем новобрачная. «Теперь расскажу тебе все по порядку. Когда вагон тронулся, я готов был закричать от душивших меня рыданий. Но нужно было еще занять разговором жену до Клина, чтобы заслужить право в темноте улечься на свое кресло и остаться одному с собой. На второй станции, после Химок, в вагон ворвался Мещерский. Увидя его, я почувствовал необходимость, чтоб он меня куда-нибудь поскорее увел. Он так и сделал. Прежде чем начать какие бы то ни было разговоры с ним, я должен был дать волю наплыву слез. Мещерский выказал много нежного участия и очень поддержал мой падший дух».

Появление Мещерского, также приверженного однополый любви

правоведа, узнавшего о нелепой женитьбе и поспешившего на помощь, примечательно: именно он своими разговорами привел Чайковского в относительную норму. Композитор продолжал: «Возвратившись после Клины к жене, я был гораздо покойнее. Мещерский устроил, что нас поместили в купе, и засим я заснул как убитый. Дальнейшее путешествие после моего пробуждения было не особенно тяжело. Не было секунды, чтоб я не думал о тебе. Как я объяснил выше, представление о тебе вызвало во мне слезы, но вместе с тем бодрило и утешало меня. <...> Утешительнее всего мне было то, что жена не понимала и не сознавала моей плохо скрываемой тоски. Она и теперь имеет вид вполне счастливый и довольный. Elle n'est pas difficile (Она не требовательна. — *фр.*). Она со всем согласна и всем довольна».

В Петербурге молодожены поселились в гостинице «Европейская», по словам композитора, «очень хорошо и даже роскошно». По прибытии Петр Ильич первым делом осведомился по телеграфу о душевном состоянии любимого братца: «...последний (Котек, запрошенный телеграммой. — А. П.) должен был меня успокоить о том, как ты провел время после меня. Если я узнаю, что ты успокоился и здоров, то это сильно подвинет меня к достижению нормального состояния духа». Что же до Антонины Ивановны, то с ней «вечером ездили в коляске на острова. Погода была довольно скверная и моросило. Просидели одно отделение и поехали домой, — пишет Чайковский Анатолию. — По части лишения девственности не произошло ровно ничего. Я не делал попыток, ибо знал, что пока я не войду окончательно в свою тарелку, все равно ничего не выйдет. Но были разговоры, которые еще более уяснили наши взаимные отношения. Она решительно на все согласна и никогда не будет недовольна. Ей только нужно лелеять и холить меня. Я сохранил себе полную свободу действий. Принявши добрую дозу валерьяны и упросивши конфузившуюся жену не конфузиться, я опять заснул как убитый. Этот сон большой благодетель. Чувствую, что недалеко время, когда я окончательно успокоюсь».

О чем же говорили «skonфуженные» супруги, проясняя свои отношения на будущее? Здесь, конечно, возникает простор для воображения. Из письма очевидно, что на каком-то этапе Антонина временно смирилась, но почему? Поведал ли ей Петр Ильич, что в любви он предпочитает не женщин, а юношей? Или же сослался на врожденный аскетизм (бывают же такие люди!) или на что-то еще? Провозгласить свое половое бессилие (это могло быть выходом) ему скорее всего помешало мужское самолюбие. Как бы то ни было, дальнейшее показывает, что



Антонина Ивановна лишь притворилась вразумленной его доводами. Если бы он сослался на аскетизм или импотенцию, бедняжка могла решить, что лишь от ее женских качеств зависит, пробудится ли в конце концов в нем желание. Для недалекой женщины в сексуальной сфере нет ничего принципиально непостижимого, и, вполне возможно, она усвоила еще от матери, что «настоящая женщина любого мужчину уложит».

Если же допустить, что уже на этом этапе композитор сообщил новообращенной супруге об особенностях своей сексуальной ориентации, возникает вопрос, насколько она была способна разобраться, о чем идет речь. Говоря вообще, большинство девиц ее возраста и социального положения в те времена вряд ли имели хоть какое-то представление (даже если и слыхали о таком явлении), что, собственно, означает сексуальная связь мужчин между собой.

В случае Антонины имелось дополнительное обстоятельство, обнаруженное В. С. Соколовым, а именно: документы по делу о разводе ее родителей свидетельствуют, что мать ее, Ольга Никаноровна, обвинила ее отца Ивана Андреевича в грехе мужеложства и это явилось одной из причин расторжения брака. Трудно установить, действительно ли отец Антонины был гомосексуалом. Мать ее была очень темпераментной женщиной (именно она изменила своему мужу и захотела уйти от него) и, как выяснилось в дальнейшем, отличалась склочным характером. Она вполне могла оклеветать человека, чтобы достичь своей цели. С другой стороны, принимая во внимание свободу нравов, о которой уже говорилось, особенно среди сельского дворянства в России XIX века, нельзя исключить и то, что обвинение против отца Антонины (ко времени ее замужества уже покойного) имело под собой основание.

Соколов предполагает, что до поры до времени Милюкова «вряд ли была предрасположена к драматизированию ситуации» вокруг «склонностей» своего знаменитого супруга: «Во-первых, перед ней был пример собственного отца, который (судя по материалам “дела” супругов Милюковых) не отказывал себе в “специфических” сексуальных удовольствиях, но тем не менее жил при этом обычной семейной жизнью и имел нескольких детей. Во-вторых, необходимо еще раз вспомнить о том, что влюбленная женщина невольно идеализировала предмет своей любви... и все недостатки его видела только в розовом свете. Не приходится сомневаться, что она искренне верила в связи с этим и в возможность “перерождения” мужа — под влиянием ее собственного глубокого чувства».

В конечном счете Антонина осознала, что композитор абсолютно

равнодушен к женщинам. Уже после их полного разрыва ее доверенные лица, вероятно, прожужжали ей уши насчет мужеложства мужа — отсюда иногда возникавшие в ее письмах завуалированные и незавуалированные угрозы. Но судя по языку писем, этот факт не произвел на нее особенно сильного впечатления. В лучшем случае, она пришла к убеждению (разделяемому, кстати, куда более умными женщинами), что мужчина отдает предпочтение однополый любви лишь потому, что ему не посчастливилось найти подходящей спутницы жизни, а если бы нашел, то сразу понял бы, насколько это лучше. Вполне вероятно, что Антонина была внутренне готова терпеть его периодические увлечения мужчинами — как, в конце концов, терпела их супруга Кондратьева, и даже, возможно, собственная мать, — при условии исполнения им супружеских обязанностей, до конца жизни сожалея о своей неспособности, или неумении, обратить Петра Ильича на путь истинный и устроить ему подобающую сексуальную жизнь. Именно это — то есть его отказ, или неспособность, сожительствовать с ней, а не сам факт его любовных предпочтений — сильнее всего травмировало ее сознание. Она оказалась в двусмысленном (а в ее глазах, и бессмысленном) положении «замужней женщины без мужа», что и привело ее, на наш взгляд, впоследствии в сумасшедший дом.

Так или иначе, в ту ночь выяснения отношений новобрачная, вероятно, решила, что время работает на нее, и сделала вид, что принимает условие супруга — воздержание от супружеской близости — сколь бы странным оно ни казалось. Так что длинное письмо композитора Анатолию от 8 июля 1877 года продолжается на успокоительной ноте: «Да и чего в самом деле горевать? Мы с тобой очень нервны, и оба способны видеть вещи в более мрачной окраске, чем они на самом деле есть: я до того обеспечил себе свободу действий, что, как только мы с женой привыкнем друг к другу, она не будет меня стеснять ни в чем. Не нужно себя обманывать: она очень ограничена, но это даже хорошо. Умная женщина вселяла бы во мне страх к себе. Над этой я стою так высоко, я до такой степени доминирую ее, что по крайней мере никакого страха перед ней не испытываю». Следует ли видеть в этом последнем замечании намек, в частности, на страх разоблачения «умной женщиной» истинной причины супружеских странностей? Возможно, умная женщина могла бы попытаться понять своего мужа, что привело бы к душевной (а далее, быть может, и не только к душевной) близости, а посему зря он утешался ограниченностью Антонины, — известно, что из этого вышло. Письмо завершается еще одним патетическим обращением к брату, комическим в устах

новобрачного: «Толя, если б ты был здесь, я бы тебя теперь задушил в своих объятьях. Делаю это мысленно. А ведь это хорошо, что случаются такие дни, как 6 июля. Только в такие дни можно во всей полноте измерить любовь, какая соединяет меня с тобой. Будь здоров, играй на скрипке и не беспокойся обо мне».

Итак, жениться следует для того, чтобы узнать, как сильно любишь брата? Разумеется, Модесту, который был ярким противником эксперимента с женитьбой, Чайковский не мог писать в том же тоне и с теми же откровенными подробностями, как Анатолию. Это означало бы признаться перед младшим братом в собственной неправоте. Именно этим, а не здравым смыслом объясняется более сдержанный тон письма Петра Ильича, датированного тем же числом: «Модя! Чувствую, что ты беспокоишься обо мне, и испытываю потребность успокоить тебя. Свадьба моя состоялась 6-го июля. Толя на ней присутствовал. День этот, не скрою, был довольно тяжек для меня уж хотя бы оттого, что пришлось выдержать церемонию бракосочетания, длинный свадебный завтрак, отъезд с провожаниями и т. д. Дорогой я отлично спал. Вчера мы провели день довольно приятно, вечером катались, были в каком-то увеселительном месте на Крестовском, и ночь прошла очень покойно. Лишения девственности не произошло, да может быть и не скоро еще произойдет. Но я обставил себя так, что об этом и беспокоиться нечего. У жены моей одно огромное достоинство: она слепо мне подчиняется во всем, она очень складная, она всем довольна и ничего не желает, кроме счастья быть мне опорой и утешением. Сказать, что люблю ее — я еще не могу, но уже чувствую, что буду ее любить, как только мы друг к другу привыкнем». Письмо это также оканчивается излияниями в любви братской: «Целую тебя нежно, нежно; писать покамест больше нечего. Я тебя люблю и среди маленьких треволнений, испытываемых мною теперь, с наслаждением останавливаю свою мысль на тебе». Хорошая мина при плохой игре должна была даваться ему непросто.

Лишь 20 июля Чайковский решается написать сестре, разумеется, в тоне максимальной умеренности: «Милая и дорогая моя! Извини, что оставляю тебя без известий о себе. Чувствую, что ты беспокоишься обо мне и желаешь знать, как я себя чувствую в новом положении. На этот вопрос я и сам не могу еще отвечать тебе решительно. Если б я сказал, что плаваю в океане блаженства, то соврал бы. Я слишком заматерел в холостой жизни и не могу еще без сожаления вспомнить об утрате своей свободы. Кроме того, я чувствую себя усталым от всех вынесенных треволнений и сильно соскучился обо всех вас. Иногда я не могу удержаться от злости на свою

жену, когда вспомню, что она как бы отдаляет меня от самых близких сердцу. Тем не менее нельзя не отдать справедливости моей супруге; она делает все возможное, чтоб нравиться мне, всегда всем довольна, ни о чем не сожалеет и всячески доказывает мне, что я составляю единственный интерес в ее жизни. Она во всяком случае добрая и любящая женщина». И в конце письма: «Я уже люблю свою жену, но как еще неизмеримо далека эта любовь от той, которую я питаю к тебе, братьям, Леве, детям твоим!!!»

В промежутке — несколько высокопарных писем Анатолию, где отчаяние борется с надеждой, особенно когда Чайковский пытается начать интимные отношения. Например, 9 июля: «Вчера были разные переходы от спокойного к невыносимо скверному расположению духа. Беспокойство и тоска об тебе по-прежнему меня мучили, несмотря на телеграмму Котека, который сообщил мне, что ты уехал в хорошем расположении духа... <...> [Ларош] был очень мил с моей женой и, главное, нарушил наш тягостный *tet-a-tete* (наедине друг с другом. — фр.). Впрочем, тягость только с моей стороны: она имеет вид совершенно счастливый и довольный. Вечером были в Каменноостровском театре, потом пили чай и пиво (в значительном количестве) у меня. Его присутствие сильно меня ободрило. Сегодня ночью произошла первая атака. Атака оказалась слаба; положим, сопротивления она не встретила никакого, но сама по себе была очень слаба. Однако этот первый шаг сделал очень много. Он сблизил меня с женой, ибо я предавался различным манипуляциям, которые установили между нами интимность. Сегодня я чувствую себя несравненно свободнее относительно ее. <...> Мне кажется, что самым счастливым днем моей жизни будет 1-ое августа (то есть день отъезда Петра Ильича на Кавказ. — А. П.)».

Одиннадцатого июля он продолжает в том же духе: «Осталось еще около трех недель до моего свиданья с тобой. Я живу исключительно надеждой на отпуск, данный мне супругой от 1-го августа до сентября. Вчера были в Павловске. Папаша очарован моей женой, что и следовало ожидать. Лизавета Михайловна была очень ласкова и внимательна, но я несколько раз заметил у нее на глазах слезы. Эта проникательная и добрая мачеха, должно быть, догадывается, что я переживаю критическую минуту жизни. Признаюсь, что все это было мне тяжело, т. е. нежности и ласки Папаши (столь противоположные моей ласковой холодности к жене) и проникательность Лизаветы Михайловны. Я переживаю в самом деле тяжелую минуту жизни, однако ж чувствую, что мало-помалу свыкаюсь с новым положением. Оно было бы совсем ложно и невыносимо, если б я в чем-нибудь обманул жену, но я ведь предупредил ее, что она может рассчитывать только на мою братскую любовь. Атака не возобновлялась.

После первой попытки жена моя в физическом отношении сделалась мне безусловно противна. Я уверен, что впоследствии, когда-нибудь — атаки возобновятся и будут удачнее. Но теперь попытки были бы бесполезны». И в конце письма, с характерными нюансами: «Я хочу остаться здесь до среды утра и уехать с почтовым поездом. Если понравится в имении belle-mère (тещи, — фр.), то проживу несколько дней там, потом убью как-нибудь время до 1-го августа (постараюсь несколько дней украсть) и засим лечу. У меня в мыслях провести несколько дней в Каменке и потом, взяв тебя, отправиться в самом деле на Кавказ».

Тринадцатого июля накал его писем снова возрастает в попытках самоуспокоения: «Толичка, вчера был, может быть, самый тяжелый день из всех, протекших с 6 июля. Утром мне казалось, что моя жизнь разбита и на меня нашел припадок отчаяния. К 3-м часам к нам собралось множество народа. <...> Наступил самый ужасный момент дня, когда я вечером остаюсь один с женой. Мы стали с ней ходить обнявшись. Вдруг я почувствовал себя спокойным и довольным... Не понимаю, каким образом это случилось! Как бы то ни было, но с этого момента внезапно все вокруг просветлело, и я почувствовал, что, какая бы ни была моя жена, она моя жена, и что в этом есть то-то совершенно нормальное, как и следует быть. <...> В первый раз я проснулся сегодня без ощущения отчаяния и безнадежности. Жена моя несколько мне не противна. Я к ней уже начинаю относиться, как всякий муж, не влюбленный в свою жену. А главное, я сегодня уже не стесняюсь с ней, не занимаю ее разговорами и совершенно покоен. С сегодняшнего дня ужасный кризис прошел. Я выздоравливаю. Но кризис был ужасный, ужасный, ужасный; если бы не моя любовь к тебе и другим близким, поддержавшая меня среди невыносимых душевных мук, то могло бы кончиться плохо, т. е. болезнью или сумасшествием. <...> Теперь даю слово, что беспокоиться за меня нечего. Я вошел всецело в период выздоровления».

Слова насчет восшествия в «период выздоровления» были очередной иллюзией. 14 июля Чайковский с женой возвращается в Москву и на следующий день, 15-го, обращается к фон Мекк с просьбой об очередной ссуде: «Вчера приехал я в Москву и, отправившись в консерваторию, получил письмо Ваше, дорогая Надежда Филаретовна. В том состоянии нервной возбужденности, в котором я теперь нахожусь, Ваши дружеские речи, Ваше теплое участие ко мне подействовали на меня самым благотворным образом. Надежда Филаретовна! Как это ни странно, как это ни смело, но я должен, я принужден опять обратиться к Вам за материальной помощью. Вот в чем дело. Из известной Вам суммы у меня

оставалось совершенно достаточное количество денег для путешествия на Кавказ и вообще для того, чтоб, не стесняясь в расходах, провести лето совершенно покойно. На сцену явилась женитьба. Все эти деньги ушли на свадьбу и на сопряженные с нею расходы. Между тем я был совершенно покоен. Жене моей по наследству от отца принадлежит часть леса в Клинском уезде, рублей на четыре тысячи приблизительно. Перед самой женитьбой она начала хлопотать о продаже этого леса и была вправе ожидать, что эта продажа состоится. Ей было обещано все устроить. Мы рассчитывали часть этих денег употребить на жизнь в Москве до приискания квартиры, на устройство нашего будущего жилья, наконец, на мое путешествие в Ессентуки. Как очень часто бывает в подобных случаях с людьми непрактичными, ее просто надули. Продажа леса не состоялась. Таким образом, теперь мы должны перебиваться. Нам не на что жить, не на что нанимать квартиру, не на что мне ехать в Ессентуки, а между тем уехать куда-нибудь далеко, уединиться, успокоиться и одуматься, лечиться и, наконец, работать мне необходимо, для того чтобы отдохнуть от испытанных треволнений. И вот ввиду всего этого я должен просить Вас увеличить мой долг еще рублей на тысячу. Не буду рассыпаться в извинениях. Мне тяжело писать Вам эти строки, но я делаю это потому, что Вы одни можете протянуть мне руку помощи. Вы одни в состоянии, не объясняя моей просьбы назойливостью и дурными побуждениями, вывести из крайне неприятного для меня положения». В заключение он пишет: «Позвольте мне, Надежда Филаретовна, отложить рассказ о всем пережитом мною в последнее время до следующего письма. Во-первых, я теперь так нервно раздражен, что не в состоянии сделать покойное и обстоятельное повествование, во-вторых, я еще сам хорошенько не знаю, что со мной делается. Я не могу еще решить, счастлив ли я или наоборот. Я знаю одно только: я совершенно не в состоянии теперь работать. Это признак тревожного, ненормального душевного настроения».

Надежда Филаретовна с необыкновенным тактом выполняет просьбу композитора о деньгах, как потом выяснится, благородно подавляя свою ревность по поводу его вступления в брак. С величайшей нежностью она отвечает ему 19 июля: «Получив Ваше письмо, я, как всегда, обрадовалась ему несказанно, но, когда стала читать, у меня сжалось сердце тоскою и беспокойством за Вас, мой милый, славный друг. Зачем же Вы так печальны, так встревожены? Ведь такому-то горю пособить легко, и расстраивать себя не стоит: поезжайте лечиться, пользоваться природой, спокойствием, счастьем и иногда вспомните обо мне. Я надеюсь, что следующее письмо Ваше будет пространное, что я из него узнаю об Вас

все, все, все, а это такая радость для меня, я так жду Ваших писем». И лишь в самом конце с большой деликатностью: «Я посылаю это письмо отдельно от другого пакета, потому что тот нельзя запечатать». Излишне говорить, что ни первая, ни вторая тысячи, данные «в долг», благотельнице никогда возвращены не были. В следующем письме — короткой записке от 26 июля — Чайковский патетически заявляет: «Если я выйду победителем из убийственной душевной борьбы, то буду этим Вам обязан, Вам, исключительно Вам. Еще несколько дней, и, клянусь Вам, я бы с ума сошел».

В те дни, что отделяли одно письмо от другого, Чайковский познакомился с родственниками жены. В письме сестре от 20 июля читаем: «Мне очень мало нравится ее семейная среда. Я провел теперь три дня в деревне у ее матери и убедился, что все то, что мне в жене не совсем нравится, происходит оттого, что она принадлежит к очень странному семейству, где мать всегда враждовала с отцом и теперь, после его смерти, не стыдится всячески поносить его, где эта же мать ненавидит!!! некоторых из своих детей, где сестры друг с другом пикируются, где единственный сын в ссоре с матерью и со всеми сестрами и т. д. и т. д. Ух, какое несимпатичное семейство!»

Он продолжает встречаться и с Котеком, а перед отъездом в Каменку оставляет своему издателю Юргенсону, который начинает играть в его жизни все возрастающую роль, конверт с деньгами (400 рублей), чтобы последний послал их молодому скрипачу, если тот попросит. В конце письма Юргенсону Чайковский делает приписку: «...все это между нами».

По случаю женитьбы (не без влияния Антонины) Чайковский был вынужден рассчитать слугу Михаила, к тому времени также женившегося. Расстаться же с младшим братом последнего он оказался не в состоянии. «Алеша стал опять ужасно мил, нежен и ласков. У него чудное сердце и необычно тонкая натура», — читаем в письме Модесту от 9 сентября.

Двадцать четвертого июля композитор вместе с женой сфотографировался у известного мастера Дьяговченко, в ателье на Кузнецком Мосту. После этого они зашли в кондитерскую Трамбле, расположенную прямо напротив салона. Антонина вспоминает, что «никогда ни до, ни после этого случая не видела его таким веселым, как тогда». К сожалению, он не мог назвать своей супруге причины своего хорошего настроения: через день он уезжал один в отпуск, договорившись с ней о более раннем отъезде, чем планировалось: 26 июля вместо 1 августа. Прожив бок о бок с Антониной всего 20 дней, он явно не выдерживал всей психологической нагрузки пребывания рядом с чуждым

ему как физически, так и умственно человеком.

Чайковский тщательно скрывал свои матримониальные дела от всего консерваторского окружения, за исключением нескольких близких друзей, которые помогали ему в устройстве квартиры. Кашкин пишет: «Известие (о женитьбе. — А. П.) было настолько неожиданно и странно, что я сначала просто не поверил, ибо по Москве нередко распускались самые нелепые слухи... однако в данном случае вскоре пришлось поверить, и на меня известие это повеяло каким-то холодом, когда Альбрехт подтвердил сообщение, сам грустно недоумевая относительно его смысла и значения. Неприятно поразил меня не самый факт женитьбы Петра Ильича, так как о возможности и даже желательности такого шага он... сам говорил иногда со мной, хотя и с некоторым оттенком шутливости, что, впрочем, было у него манерой, когда он предварительно хотел выпросить мнение, не поставивши прямого вопроса. Из рассказа Альбрехта я узнал, что Чайковский очень старательно скрывал свое намерение и даже ему, Альбрехту, с которым был близок и дружен, сообщил только после того, как венчание уже состоялось, а до того времени даже скрывал свой приезд в Москву.

<...> В таинственности, какою обставил свою женитьбу Петр Ильич, мне почудилось что-то угрожающее, ибо при той близости отношений, какие существовали между нами, ближайшими консерваторскими товарищами Петра Ильича, и им, такая скрытность была ничем необъяснима. Пока все, однако же, должно было оставаться темным и непонятным. <...> Встречаясь с Рубинштейном и Губертом, мы совсем почти не говорили о Чайковском и его женитьбе, так как все недоумевали, чувствовали что-то недоброе в этом событии и боялись о нем говорить. Искренне любя Чайковского и высоко ценя его значение для искусства, наш кружок был серьезно озабочен тем, какие последствия повлечет за собой изменившееся житейское положение нашего друга, сознавая, однако, что все зависит от того, кем и чем окажется неизвестная нам избранница Петра Ильича». Как мы увидим далее, композитор представил жену «московскому кружку» своих друзей лишь осенью, по возвращении в Москву из Каменки. До этого с ней познакомился лишь Николай Рубинштейн во время приема в петербургской гостинице «Европейская».

Чайковский 26 июля выезжает со слугой Алексеем в Ессентуки для лечения желудка. Антонина Ивановна осталась в Москве обустроить квартиру. По дороге на Кавказ он решает провести несколько дней у сестры в Каменке, где должны были быть также Модест и Анатолий. Наконец 28 июля, уже из Киева, он отправляет обещанный подробный и откровенный



отчет Надежде Филаретовне: «Вот краткая история всего прожитого мной с 6 июля, т. е. со дня моей свадьбы. Я уже писал Вам, что женился не по влечению сердца, а по какому-то непостижимому для меня сцеплению обстоятельств, роковым образом приведших меня к альтернативе самой затруднительной. Нужно было или отвернуться от честной девушки, любовь которой я имел неосторожность поощрить, или жениться. Я избрал последнее. Мне казалось, во-первых, что я не премину тотчас же полюбить девушку, искренне мне преданную; во-вторых, я знал, что моя женитьба есть воплощение самой сладостной мечты моего старого отца и других близких и дорогих мне людей. Но как только церемония совершилась, как только я очутился наедине с своей женой, с сознанием, что теперь наша судьба — жить неразлучно друг с другом, я вдруг почувствовал, что не только она не внушает мне даже простого дружеского чувства, но что она мне ненавистна в полнейшем значении этого слова. Мне показалось, что я или, по крайней мере, лучшая, даже единственно хорошая часть моего я, т. е. музыкальность, погибла безвозвратно. Дальнейшая участь моя представлялась мне каким-то жалким прозябанием и самой несносной, тяжелой комедией. Моя жена передо мной ничем не виновата: Она не напрашивалась на брачные узы. Следовательно, дать ей почувствовать, что я не люблю ее, что смотрю на нее как на несносную помеху, было бы жестоко и низко. Остается притворяться. Но притворяться целую жизнь — величайшая из мук. Уж где тут думать о работе. Я впал в глубокое отчаяние, тем более ужасное, что не было никого, кто бы мог поддержать и ободрить меня. Я стал страстно, жадно желать смерти. Смерть казалась мне единственным исходом, но о насильственной смерти нечего и думать. Нужно Вам сказать, что я глубоко привязан к некоторым из моих родных, т. е. к сестре, к двум младшим братьям и к отцу. Я знаю, что решившись на самоубийство и приведши эту мысль в исполнение, я должен поразить смертельным ударом этих родных. Есть много и других людей, есть несколько дорогих друзей, любовь и дружба которых неразрывно привязывает меня к жизни. Кроме того, я имею слабость (если это можно назвать слабостью) любить жизнь, любить свое дело, любить свои будущие успехи. Наконец, я еще не сказал всего того, что могу и хочу сказать, прежде чем наступит пора переселиться в вечность. Итак: смерть сама еще не берет меня, сам идти за нею я не хочу и не могу, — что ж остается? Я предупредил жену, что весь август месяц пропутешествую для своего здоровья, которое, действительно, пошатнулось и требует радикального лечения. Таким образом, моя поездка стала представляться мне каким-то освобождением, хотя и временным, из ужасного плена, и мысль, что день

отъезда не особенно далек, стала придавать мне бодрости. Проведши неделю в Петербурге, мы возвратились в Москву. Здесь мы очутились без денег, потому что мою жену ввел в заблуждение некто г. Кудрявцев, взявшийся продать ее лес и обманувший ее. Тут началась новая вереница тревог и мучений: неудобное помещение, необходимость устроить себе новое жилище и невозможность привести это в исполнение за неимением денег, невозможность мне уехать по той же причине, наконец, тоска и глупейшая жизнь в Москве без дела (заниматься я не мог и потому, что не было энергии для работы, и по неудобству жилища), без друзей, без единой минуты покоя. Не знаю, как я с ума не сошел. Тут пришлось ехать к матери моей жены. Здесь муки мои удесятились. Мать и весь *entourage* (окружение. — фр.) семьи, куда я вошел, мне антипатичны. Кругозор их узок, взгляды дики, все они друг с другом чуть не на ножах; при всем этом жена моя (может быть, и несправедливо) с каждым днем делалась мне ненавистнее. Мне трудно выразить Вам, Надежда Филаретовна, до какой ужасной степени доходили мои нравственные терзания. <...> Мы воротились в Москву. Несколько дней еще тянулась эта убийственная жизнь. У меня было два утешения. Во-1-х, я много пил вина, и оно ошеломяло меня и доставляло мне несколько минут забвения. Во-2-х, меня радовали свидания с Котеком. Не могу Вам выразить, сколько братского участия он оказал мне! Кроме Вас, это единственный человек, знающий все, что я Вам теперь пишу. Он хороший человек в самом истинном смысле этого слова. <...> Не знаю, что будет дальше, но теперь я чувствую себя как бы опомнившимся от ужасного, мучительного сна, или, лучше, от ужасной, долгой болезни. Как человек, выздоравливающий после горячки, я еще очень слаб, мне трудно связывать мысли, мне очень трудно было даже написать письмо это, но зато какое ощущение сладкого покоя, какое опьяняющее ощущение свободы и одиночества!..»

Хотя композитор и жалуется фон Мекк в этом письме на тяжелое состояние духа («Я впал в глубокое отчаяние... <...> стал страстно, жадно желать смерти. Смерть казалась мне единственным исходом»), однако подчеркивает, что «о насильственной смерти нечего и думать», поскольку он «глубоко привязан» к родным и друзьям, любовь и дружба которых неразрывно связывает его с жизнью, тем самым категорически исключая такой выход из создавшегося положения, как самоубийство. В этот тяжелый и ответственный момент своей жизни он, как многие великие люди, в первую очередь думает не о себе, а о благополучии своих близких.

Тот факт, что Чайковский мог рассказать все так подробно и искренне женщине, с которой никогда не встречался и с которой обменивался

письмами всего только полгода, сам по себе красноречиво свидетельствует о его эмоциональном состоянии. Будучи от природы очень впечатлительным, он ярко живописал свои страдания тех дней в посланиях фон Мекк, а позднее, возможно, Кашкину. И хотя он явно сгустил краски до уровня отчаянной мрачности, нет сомнения в том, что он переживал эту историю со всей свойственной ему страстью и болезненной мнительностью. Но не следует забывать, что ни фон Мекк, ни Кашкин не были такими его интимными друзьями, как Модест, Анатолий или Кондратьев. Доля неискренности, недоговоренности или сокрытия нелицеприятных деталей всегда присутствует в таких, казалось бы, искренних исповедях композитора. Как мы уже знаем, в истории с женитьбой даже Модест не стал его конфидендом, ему был предпочтителен Анатолий. Если же говорить о фон Мекк, то вместе с беспокойством о нем она должна была испытывать крайнее удовлетворение таким доверием, и особенно следующими строками из того же письма: «Я сказал Вам, что мои нервы, вся душа моя так устали, что я едва могу связать две мысли между робой. Это однако ж не мешает этой усталой, но не разбитой душе гореть самой бесконечно глубокой благодарностью к тому стократ дорогому и неоцененному другу, который спасает меня. Надежда Филаретовна, если Бог даст мне силу пережить ужасную теперешнюю минуту, я докажу Вам, что мой друг не напрасно приходил ко мне на помощь. Я еще не сказал и десятой доли того, что мне хотелось бы сказать. Сердце мое полно. Оно жаждет излияния посредством музыки. Кто знает, быть может, я оставлю после себя что-нибудь в самом деле достойное славы первостепенного художника. Я имею дерзость надеяться, что это будет. Надежда Филаретовна, я благословляю Вас за все, что Вы для меня сделали. Прощайте, мой лучший, мой неоцененный, милый друг».

Восьмого августа растроганная корреспондентка отвечает композитору: «Письмо Ваше из Киева я получила и глубоко благодарю Вас, мой несравненный друг, за сообщение мне всего, что с Вами происходило. Но как мне было больно, как жаль Вас, читая это письмо, я и сказать не могу. Несколько раз слезы застилали мне глаза, я останавливалась и думала в это время: где же справедливость, где найти талисман счастья и что за фатализм такой, что лучшим людям на земле так дурно, так тяжело живется. А впрочем, оно и логично: лучшие люди не могут довольствоваться рутинным, пошлым, так сказать, программным счастьем. А чего бы я не дала за Ваше счастье! Но я также вместе с Вами хочу надеяться, что после некоторого отдыха, некоторого времени, проведенного с людьми, у которых с Вами столько общего (когда бы Вы знали, как мне

симпатичны эти люди), Вы соберетесь с силами и тогда найдете все лучше того, чем до сих пор. Я не оптимистка, не раскрашиваю ничего дурного в жизни, но нахожу, что бывают положения, в которых необходимо *se resigner* (смириться. — **фр.**), или, вернее сказать по-русски, махнуть на них рукою, примириться, а затем привыкнуть, хотя, правда, это примирение синонимно отупению, — да что же делать, это все-таки легче, чем постоянно сознавать что-нибудь дурное и терзаться им. Впрочем, я по совести оговорюсь, что эта теория есть во мне продукт опыта, но и остается только теорией, потому что в моей натуре психологически и физиологически невозможно применение ее к практике, и только за Ваше спокойствие, за Ваше счастье я готова пропагандировать то, чему не сочувствую. Искренно говорю и желаю Вам и молю провидение, чтобы оно дало Вам чувствовать себя счастливым, и тогда все то тяжелое, что Вы испытали, будет только расплатою за хорошее, потому что ведь ничего хорошего нельзя иметь даром. Вы заметили мое расположение духа; Вы желали бы сделать мне жизнь веселее, но ведь уже и теперь Вы делаете мне ее лучше, приветнее. Ваша музыка и Ваши письма доставляют мне такие минуты, что я забываю все тяжелое, все дурное, что достается на долю каждому человеку, как бы ни казался он хорошо обставленным в жизни. Вы единственный человек, который доставляет мне такое глубокое, такое высокое счастье, и я безгранично благодарна Вам за него и могу только желать, чтобы не прекратилось и не изменилось то, что доставляет мне его, потому что такая потеря была бы для меня весьма тяжела».

Отбытием композитора в Каменку завершается первый (с 6 по 26 июля) из двух периодов совместной жизни Петра Ильича и Антонины. Разумеется, ни в каком ином смысле, кроме сожительства под одной крышей, их мезальянс нельзя назвать супружеством. Так что нет ничего удивительного в том, что, когда через год в своем письме от 2 июля 1878 года госпожа фон Мекк с несвойственной ей назойливостью попыталась вникнуть в деликатный аспект их интимных отношений («Впрочем, Вы лучше знаете и натуру известной особы и свойство Ваших отношений к ней во время сожительства. Для меня же одна статья в них покрыта мраком неизвестности, а это именно есть предмет, на который люди (только не я, — меня такое отношение...» — здесь пропуск в опубликованном тексте письма. — А. П.>), композитор предпочел этот вопрос обойти молчанием. Иллюзии и надежды на благополучный исход обладают сильной властью над воображением. Несмотря на пережитое за июль, он писал Надежде Филаретовне, и сам, возможно, все еще верил в это: «Если знание моей организации не обманывает меня, то очень может быть, что, отдохнувши и

успокоивши нервы, возвратившись в Москву и попавши в обычный круг деятельности, я совершенно иначе начну смотреть на жену. В сущности, у нее много задатков, могущих составить впоследствии мое счастье. Она меня искренно любит и ничего больше не желает, как чтоб я был покоен и счастлив. Мне очень жаль ее».

Увы, Петр Ильич снова обольщался. Именно в Каменке он вернулся к своим «природным влечениям», страстно влюбившись в лакея-подростка Евстафия. Он писал Модесту 9 сентября: «...что касается моей прелести, о которой я не могу подумать без того, чтоб х... не делал на караул и у которого я счел бы себя счастливым целую жизнь чистить сапоги, выносить горшки и вообще всячески унижаться, лишь бы хоть изредка иметь право целовать ее ручки и ножки». В таком раскладе Антонина была явно самым слабым звеном.

Он постепенно приходит в себя. 2 августа фон Мекк получает письмо из Каменки: «Я здесь уже четвертый день. Я нашел здесь в сборе всех наиболее близких и дорогих мне родных, т. е., кроме сестры и ее семейства, моих двух любимых братьев. Здешний доктор, сестра и оба брата уговорили меня пить эссендукские воды здесь. Они боятся, что в Эссендуках (очень Скучном месте) я начну хандрить, и в таком случае лечение впрок не пойдет. Мне так отраднo побыть немножко в среде этих людей, что я не мог не сдаться. Итак, я решил провести здесь недели три, а потом, совершив поездку в Крым или куда-нибудь в другое хорошее местечко, вернуться к 1 сентября в Москву. <...> Если б я сказал, что нормальное состояние духа вернулось ко мне, то солгал бы. Да это и невозможно. Одно время может только излечить меня, и я нисколько не сомневаюсь, что выздоровление придет постепенно. Но окружающие меня люди самым отраднoм образом действуют на мою душу. Я покоен, я начинаю без страха смотреть на будущее. Одно мне досадно. Я решительно не могу еще приняться за работу. Работа пугает и тяготит меня. Между тем она именно и должна быть самым могущественным средством против болезненного состояния моего нравственного индивидуума. Буду надеяться, что жажда труда возвратится». А 11 августа Петр Ильич пишет фон Мекк: «Я чувствую себя неизмеримо спокойнее и лучше. Симпатичная среда, в которой я теперь вращаюсь, тишина и мир, а также лечение водами, которое я начал в прошлую субботу, совершенно воскресили меня. Нужно признаться, что я обнаружил среди постигшего меня испытания необычайное малодушие и совершенное отсутствие мужества. Теперь мне совестно, что я до такой ужасной степени мог пасть духом и поддаться мрачной нервной экзальтации. Пожалуйста, простите, что я причинил Вам

беспокойство и тревогу. Я твердо уверен, что выйду теперь победителем из несколько тяжелого и щекотливого положения. Нужно будет побороть в себе чувство отчужденности относительно жены и оценить по достоинству ее хорошие стороны. А они у нее несомненно есть. Я до такой степени теперь оправился, что даже приступил на днях к инструментовке Вашей симфонии. Один из двух моих братьев, на суждение которого я очень полагаюсь, остался очень доволен тем, что я ему сыграл из этой симфонии. Надеюсь, что Вам она понравится тоже. Это главное».

Уже 12 августа он делится деталями, связанными с Четвертой симфонией: «Симфония наша подвинулась несколько вперед. Первая часть будет мне стоить порядочного труда в инструментовке. Она очень сложна и длинна; вместе с тем, она, как мне кажется, лучшая часть. Зато остальные три очень просты, и оркестровать их будет очень весело. Скерцо представит один новый инструментальный эффект, на который я рассчитываю. Сначала играет один струнный оркестр, и все время пиццикато; в трио вступают деревянные духовые и играют тоже одни; их сменяет группа медных, играющая опять-таки одна; в конце скерцо все три группы перекликаются коротенькими фразами. Мне кажется, что этот звуковой эффект будет интересен». Фон Мекк в ответ пишет ему: «И как я рада, дорогой Петр Ильич, что Ваше душевное состояние улучшилось и что Вы снова принялись за работу. Дай бог, чтобы это шло прогрессивно. Ваша или, как Вы так мило выразились, наша симфония меня чрезвычайно интересует. Инструментовка скерцо меня восхищает заранее: я так люблю пиццикато, оно таким электрическим током пробегает мне по всем фибрам; смена инструментов без содействия других будет очень оригинальна и, вероятно, очень красива. Какое богатство фантазии, сколько художественной изобретательности у Вас, и как же Вам не работать... ведь в мире редки такие единицы, как Вы!»

Замечательным свидетельством не только их человеческого равноправия, но и взаимопонимания в столь сложной сфере, как психология творчества, является отрывок из написанного несколькими месяцами позже письма, в котором Чайковский рассуждает о процессе созидания музыки: «Как пересказать те неопределенные ощущения, через которые переходишь, когда пишется инструментальное сочинение без определенного сюжета? Это чисто лирический процесс. Это музыкальная исповедь души, на которой многое накопилось и которая по существенному свойству своему изливается посредством звуков, подобно тому как лирический поэт высказывается стихами. Разница только та, что музыка имеет несравненно более могущественные средства и более тонкий язык

для выражения тысячи различных моментов душевного настроения. Обыкновенно вдруг, самым неожиданным образом, является зерно будущего произведения. Если почва благодарная, т. е. если есть расположение к работе, зерно это с непостижимой силой и быстротой пускает корни, показывается из земли, пускает стебелек, листья, сучья и, наконец, цветы. Я не могу иначе определить творческий процесс как посредством этого уподобления. Вся трудность состоит в том, чтоб явилось зерно и чтоб оно попало в благоприятные условия. Все остальное делается само собою. Напрасно я бы старался выразить Вам словами все неизмеримое блаженство того чувства, которое охватывает меня, когда явилась главная мысль и когда она начинает разрастаться в определенные формы. Забываешь все, делаешься точно сумасшедший, все внутри трепещет и бьется, едва успеваешь наметать эскизы, одна мысль погоняет другую. Иногда посреди этого волшебного процесса вдруг какой-нибудь толчок извне разбудит от этого состояния сомнамбулизма. Кто-нибудь позвонит, войдет слуга, прозвонят часы и — напомнят, что нужно идти по делу... Тяжелы, невыразимо тяжелы эти перерывы. Иногда на несколько времени вдохновение отлетает; приходится искать его, и подчас тщетно. Весьма часто совершенно холодный, рассудочный, технический процесс работы должен прийти на помощь. Может быть, вследствие этого и у самых великих мастеров можно проследить моменты, где недостает органического слепления, где замечается шов, части целого, искусственно склеенные. Но иначе невозможно. Если б то состояние души артиста, которое называется вдохновением и которое я сейчас пытался описать Вам, продолжалось бы беспрерывно, нельзя было бы и одного дня прожить. Струны лопнули бы, и инструмент разбился бы вдребезги! Необходимо только одно: чтоб главная мысль и общие контуры всех отдельных частей явились бы не посредством искания, а сами собой, вследствие той сверхъестественной, непостижимой и никем не разъясненной силы, которая называется вдохновением».

Тридцатого августа, раздумывая об отъезде из Каменки, Чайковский снова пишет «лучшему другу»: «Погода делается осенней, поля оголились, и мне уж пора собираться. Жена моя пишет мне, что квартира наша скоро [будет] готова. Тяжело мне будет уехать отсюда. После испытанных мной треволнений я так наслаждался здешним покоем. Но я уеду отсюда, во всяком случае, человеком здоровым, набравшимся сил для борьбы с фатумом. А главное, что я не обольщаю себя ложными надеждами. Я знаю, что будут трудные минуты, а потом явится привычка, которая, как говорит Пушкин:

...свыше нам дана,  
Замена счастию она!

Ведь привык же я к своим консерваторским занятиям, которые прежде казались мне величайшим из бедствий. Вы спрашиваете про мою оперу. Она подвинулась здесь очень немного, однако ж я инструментовал первую картину первого действия. Теперь, когда первый пыл прошел и я могу уже объективнее отнестись к этому сочинению, мне кажется, что она осуждена на неуспех и на невнимание массы публики. Содержание очень бесхитростно, сценических эффектов никаких, музыка лишенная блеска и трескучей эффектности. Но мне кажется, что некоторые избранные, слушая эту музыку, быть может, будут затронуты теми ощущениями, которые волновали меня, когда я писал ее. Я не хочу сказать этим, что моя музыка так хороша, что она недоступна для презренной толпы. Я вообще не понимаю, чтоб можно было преднамеренно писать для толпы или для избранных; по-моему, нужно писать, повинаясь своему непосредственному влечению, нисколько не думая угодить той или другой части человечества. Я и писал “Онегина”, не задаваясь никакими посторонними целями. Но вышло так, что “Онегин” на театре не будет интересен. Поэтому те, для которых первое условие оперы сценическое движение, не будут удовлетворены ею. Те же, которые способны искать в опере музыкального воспроизведения далеких от трагичности, от театральности, — обыденных, простых, общечеловеческих чувствований, могут (я надеюсь) остаться довольны моей оперой. Словом, она написана искренно, и на эту искренность я возлагаю все мои надежды. Если я сделал ошибку, выбрав этот сюжет, т. е. если моя опера не войдет в репертуар, то это огорчит меня мало. Нынешнею зимой я имел несколько интересных разговоров с писателем гр. Л. Н. Толстым, которые раскрыли и разъяснили мне многое. Он убедил меня, что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на эффект, тот, который насилует свой талант с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей, тот не вполне художник, его труды непрочны, успех их эфемерен. Я совершенно уверовал в эту истину».



## Глава тринадцатая. Сентябрьский тупик

Петр Ильич не мог решиться уехать от сестры, все откладывал свое возвращение в Москву. 2 сентября он пишет Анатолию, уже покинувшему Каменку: «Только в разлуке, думая о любимом человеке, сознаешь всю силу своей любви к нему. Толя! я ужасно люблю тебя. Но ах! как я мало люблю Антонину Ивановну Чайковскую! Какое глубокое равнодушие внушает мне эта дама! Как мало меня тешит перспектива свидания с ней! Однако ж и ужаса она не возбуждает во мне. Просто лишь одну тоску». В ответ Анатолий 8 сентября писал, что встретился случайно в поезде с Львом Толстым, который, узнав, что он брат знаменитого композитора, «начал расспрашивать... Между прочим он спросил, та ли особа твоя жена, про которую ты говорил ему год тому назад как про девушку, которая тебе нравится и на которой ты хочешь жениться. Я почему-то ответил утвердительно». Факт этот лишь увеличил страдания композитора: его женитьба быстро стала новостью в обществе, а великий писатель продолжал интересоваться его личностью.

Петр Ильич должен был вернуться к началу занятий в консерватории. Оттягивая встречу с женой, он решил на три дня остановиться в Киеве, и эти последние три дня свободы провел «вдвоем с Алешей чрезвычайно приятно». Лишь 11 сентября, за день до начала занятий, он вернулся в Первопрестольную.

Некоторое время он продолжал еще бодриться. Читаем в его письме Анатолию от 12 сентября: «Жена меня встретила. Она, бедная, много перенесла тяжелых минут при устройстве квартиры в ожидании меня, переменила уже двух кухарок, из коих с одной судилась у мирового судьи, была два раза обокрадена и последние дни сидела дома, не доверяя квартиру кухарке. Зато устройством квартиры я вполне доволен: очень изящно, мило и даже не без роскоши. В консерватории еще не был. <...> Ты, конечно, желаешь знать, что я теперь ощущаю. Толя, позволь умолчать [об э]том! Мне тяжело: вот все, что скажу. Но ведь это было неизбежно после той полноты счастья, которую я испытал в Каменке. Я знаю, что нужно еще немножко потерпеть, и незаметно явится спокойствие, довольство и, — кто знает, может быть, счастье. Теперь я мечтаю о поездке в Петербург, которая непременно состоится в скором времени, но еще не могу сказать когда!»

Такое же впечатление искусственного самоувещевания производят

воспоминания Кашкина: «Он имел преувеличенно развязный и бодрый вид, но это отзывалось деланностью; притворяться Петр Ильич совсем не умел и чем больше старался, тем более очевидным становилось его притворство. Замечая в нем нервную возбужденность, мы все с ним обращались очень осторожно, ни о чем не спрашивая, и ждали, когда он нас познакомит с женой. Чайковский, приходя в консерваторию для занятий или по делам, спешил всегда уходить, ссылаясь на хлопоты по устройству квартиры».

Наконец, на вечере у Юргенсона, издателя Чайковского, Антонина была представлена консерваторскому кругу, «...здесь я в первый раз увидел Антонину Ивановну, которая в общем произвела приятное впечатление как своею внешностью, так и скромной манерой держать себя, — продолжает Кашкин. — Я вступил с ней в какой-то разговор и не мог не заметить, что сам Чайковский почти не отходил от нас все время. Антонина Ивановна казалась не то застенчивой, не то затруднявшейся в приискании слов, и Петр Ильич по временам, во время невольных пауз, говорил за нее или дополнял сказанное ею. Впрочем, разговор наш был так незначителен, что я бы не обратил внимание на вмешательство Петра Ильича, если бы последнее не было слишком настойчивым во всех случаях, когда его жена вступала с кем-либо в разговор; такое внимание было не совсем естественно и как будто свидетельствовало об опасении, что Антонине Ивановне будет, пожалуй, трудно вести беседу в надлежащем тоне. В общем, наша новая приятельница произвела впечатление хотя и благоприятное, но довольно бесцветное. В один из следующих дней, когда некоторые из нас в промежутке между занятиями сошлись в директорском кабинете в консерватории, Н. Г. Рубинштейн, вспоминая о вечере у Юргенсона и говоря об Антонине Ивановне, сказал: “Вот ведь хорошенькая и мило себя держит, а между тем не особенно нравится: точно она не настоящая, а какой-то консерв”. При всей неопределенности такая характеристика была все-таки подходящей, так как Антонина Ивановна действительно производила впечатление какой-то “не настоящей”. Для большинства из бывших на вечере у Юргенсона первая встреча с Антониной Ивановной была и последней».

Воспоминания Милюковой о днях, которые она прожила с Чайковским, идилличны, сентиментальны и исполнены единственно бытовых деталей: о покупке ненастоящих кораллов, которые не понравились мужу, о поездке к фотографу и о посещении кафе. Страстно влюбленная в композитора, она очень искренне пишет о своих чувствах: «Я втихомолку, незаметно для него, всегда любовалась им, особенно за утренним чаем. Он так и дышал свежестью, такой красивый всегда сидел,

со своими добрыми глазами, что просто приводил меня в восторг. Я про себя все сидела и думала, глядя на него: “Слава Богу, что он мой, и больше ничей! Никто не смеет у меня отнять его, потому что он мой муж!”».

Если Антонина находила радость в совместной жизни, ее супруг все сильнее погружался в состояние полного отчаяния. Внутренняя мука, которую Чайковский испытывал с самого приезда в Москву, несмотря на показной оптимизм, ярко отразилась в его письме Надежде Филаретовне от 12 сентября 1877 года: «Домашняя обстановка не оставляет желать ничего лучшего. Жена моя сделала все возможное, чтоб угодить мне. Квартира уютна и мило устроена. Все чисто, ново и хорошо. Однако ж я с ненавистью и злобой смотрю на все это». И далее: «Глубокая и безысходная тоска... <...> звучит в совершенный унисон с тем состоянием духа, в котором и я нахожусь с самого отъезда из Каменки и которое сегодня невыразимо, несказанно и бесконечно тяжело. В конце концов, смерть есть действительно величайшее из благ, и я призываю ее всеми силами души. Чтобы дать Вам понять, что я испытываю, достаточно сказать, что единственная мысль моя: найти возможность убежать куда-нибудь. А как и куда? Это невозможно, невозможно, невозможно!»

Его сакраментальный призыв смерти, вызванный особо тяжелой минутой настроения, не должен обмануть читателя — нечто подобное часто случалось во время его депрессий. Однако следует подчеркнуть искренность интонации в желании композитора «убежать куда-нибудь». Не будет большой натяжкой предположить, что на сознательном или подсознательном уровне он хотел, чтобы фон Мекк помогла ему укрыться от всего мира. Этим объясняется следующая фраза: «А как и куда?» И в конце: «Это невозможно, невозможно, невозможно», — исступленно заклинает он в надежде услышать от своей благодетельницы: «Это возможно, возможно, возможно, о мой дорогой и любимый Петр Ильич!»

В этом состоянии, по его собственному выражению, «отчаяния и в пароксизме горя» Чайковский получил письмо от Кондратьева, «как наполненное изъявлениями самой горячей дружбы». «Опасаясь смертельно огорчить братьев», композитор еще не мог им признаться в полной неудаче matrimonальной затеи.

Кашкин в своих воспоминаниях о Чайковском 1896 года и в отдельной статье, посвященной женитьбе, заявляет, что в это время композитор находился на грани самоубийства. Вот как сохранился в памяти Кашкина рассказ самого композитора: «Я вполне сознавал, что виновным во всем был один я, что ничто в мире мне помочь не может, а потому оставалось терпеть, пока хватит сил, и скрывать от всех мое несчастье. Не знаю, чем

именно вызывалась эта последняя потребность скрытности: только ли самолюбие, или боязнь огорчить родных и набросить на них тень моего, как мне казалось, преступления? В таком состоянии было вполне естественно прийти к убеждению, что освободить меня может только смерть, ставшая для меня желанной мечтой, но я не мог решиться на явное, открытое самоубийство из боязни нанести слишком жестокий удар старику отцу, а также и братьям. Я стал думать о средствах исчезнуть менее заметно и как бы от естественной причины; одно такое средство я даже пробовал. Хотя со времени приезда от сестры прошло не более недели, но я уже утратил всякую способность бороться с тяжестью моего положения, и сознание у меня, как я сам чувствовал, по временам стало мутиться. Днем я еще пытался работать дома, но вечера мне делались невыносимы. Не смея зайти куда-нибудь к знакомым или даже в театр, я каждый вечер отправлялся на прогулку и несколько часов бесцельно бродил по дальним, глухим улицам Москвы. Погода стояла мрачная, холодная, и по ночам слегка морозило; в одну из таких ночей я пошел на пустынный берег Москвы-реки, и мне пришла в голову мысль о возможности получить смертельную простуду. С этой целью, никем в темноте не видимый, я вошел в воду почти по пояс и оставался так долго, как только мог выдержать ломоту в теле от холода. Я вышел из воды с твердой уверенностью, что мне не миновать смерти от воспаления или другой какой-либо простудной болезни, а дома рассказал, что принимал участие в ночной рыбной ловле и случайно упал в воду. Здоровье мое оказалось, однако, настолько крепким, что ледяная ванна прошла для меня без всяких последствий».

Отметим в этом рассказе все тот же решительный отказ от прямого самоубийства по причине нежелания причинить страдания родным. Чайковский искренне хотел заболеть и умереть, как того может желать обиженный ребенок. В этом инфантильном жесте настолько отсутствует отчаянная решимость человека, действительно желающего тем или иным способом свести счеты с жизнью, что не стоит серьезно расценивать его как неудачную попытку самоубийства. Конечно, воспоминания Кашкина не могут целиком восприниматься на веру. Мы уже убедились, что в его изложении события, связанные с женитьбой его друга и якобы рассказанные ему последним, страдают явной хронологической путаницей и излишним драматизмом. Более того, Кашкин никогда не принадлежал к ближайшему кругу композитора, и его рассказ прямыми документальными свидетельствами не подтвержден.

Насколько мог быть реален изложенный Кашкиным случай? В письме

Карлу Альбрехту из Кларана от 25 октября/6 ноября 1877 года Петр Ильич вроде бы намекает, пусть не без риторики, на то, что нечто подобное могло действительно произойти: «Ну что же мне оставалось делать! Все-таки лучше отсутствовать год, чем исчезнуть навеки. Если б я остался хоть еще один день в Москве, то сошел бы с ума или утопился бы в вонючих волнах все-таки милой Москвы-реки». Обратим внимание на существенное противоречие: в письме речь идет о самоубийстве путем утопления в реке, а не об обретении смертельной простуды от стояния в ней. Тон реплики в письме отчетливо иронический («вонючие воды» оскорбительны для эстетического чувства), и вообще, вся затея, как она описана у Кашкина, носит более литературный, нежели жизненный характер. Вспомним, например, совершенно аналогичный эпизод в автобиографическом романе Августа Стриндберга «Слово безумца в свою защиту» (1895). Страстное желание уйти из жизни, временами охватывавшее Чайковского, неизменно оставалось разбушевавшейся фантазией творческого человека, причем образ смерти в результате утопления, очевидно, обретал для него несколько навязчивый характер: от увертюры «Гроза» (в драме Островского героиня бросается в Волгу) до оперы «Пиковая дама», где Лиза тонет в Зимней канавке, в то время как у Пушкина она благополучно выходит замуж.

Его решимость была напускной и поверхностной, и ощущение безвыходности продолжало расти. Осознание абсолютной сексуальной и психологической несовместимости с Антониной заставило признать его не только то, что план упрочить свою общественную и личную стабильность с помощью женитьбы не удался, но напротив — оставалась опасность развала ненастоящего брака в любой момент, а это могло принести несчастье и позор его семье. История с Антониной ввергла его в состояние полной безнадежности; тем не менее он жаждал вернуться к творческой работе и привычной устойчивой жизни.

Бегством Чайковского за границу заканчивается второй — и последний — период совместной жизни супругов, продолжавшийся с 11 по 24 сентября. Обстоятельства этого побега в разных версиях и некоторых отношениях отличаются, но изложение основных событий совпадает и сомнений не вызывает. 25 октября/6 ноября композитор пишет Альбрехту из Швейцарии: «Мне очень трудно говорить о всем случившемся, и позволь мне обойти этот грустный предмет разговора. Прости меня за то, что я не мог исполнить твоего совета вытерпеть год. Помнишь? Я и двух недель не вытерпел, никто не знает все, что я выстрадал в эти две недели».

Что же именно случилось между супругами за это время? Обратим внимание на один характерный момент — яростную, бьющую через край

ненависть, которой явно или скрытно преисполнены все последующие упоминания Чайковским Антонины Ивановны. Даже в те моменты, когда разумом он понимал и пытался внушить себе или другим, что она мало в чем виновата, и в приступе раскаяния брал вину на себя, ненависть к ней, смешанная с отвращением, продолжает звучать едва ли не в каждом слове. Девушка Милюкова (ибо она все еще девушка) в его глазах — самое мерзкое из всех вообразимых созданий природы и самое подлое человеческое существо на свете. В письмах братьям он сначала называет ее «Антонина», затем «эта дама» и «супружница», но очень скоро переходит к оскорбительным интонациям и выражениям: «известная особа», «существо женского пола, носящее мое имя», и хуже — «омерзительное творение природы», «мерзавка», «гадина», «стерва» и т. д. С маниакальной настойчивостью именуется она чаще всего «гадиной» и никак иначе, словно это ее собственное имя, данное ей при рождении. (Любопытно замешательство, испытанное издателями по поводу этого эпитета — в начале, в ранних томах полного собрания писем композитора, они последовательно сохраняли это слово в применении к Антонине Ивановне, затем последовательно стали его купировать.)

В переписке с фон Мекк, где требования этикета нарушаться не могли, несчастная не менее настойчиво фигурирует под именем «известная особа», причем — и это примечательно — в письмах обоих корреспондентов. На протяжении всей дальнейшей жизни всякие известия о жене, какими бы они ни были, приводили Чайковского в состояние паники, не говоря уже о письмах от нее или случайных встречах. Единственное письмо, ею подписанное, могло вывести его из душевного равновесия на несколько дней.

Только очень серьезные причины могли вызвать такую реакцию, несоизмеримую с ничтожностью ее предмета, реакцию, идущую из глубин подсознания и принимающую характер едва ли не магических заклинаний. Мы склоняемся к предположению, что психический кризис композитора был вызван изменением тактики и стратегии Антонины в поведении с мужем. Надо полагать, что к моменту возвращения Петра Ильича в Москву «известная особа» решила, что испытательный срок длится уже достаточно долго и ему уже пора приступить к осуществлению супружеских обязанностей. Уже одна установка на это должна была создать в «семье» невыносимую атмосферу. Кокетство, всевозможные женские уловки, уговоры, требования и прочее доводили Чайковского до отчаяния. Гротескность ситуации приобретала оттенок трагический в силу ее униительности — мужское достоинство его должно было сильно страдать.

Вполне вероятно, что, в конце концов, терпение Антонины лопнуло и в один прекрасный момент она перешла в сексуальное наступление, что не могло не привести к обоюдной истерике и последовавшему за ней нервному срыву. Таким образом, нагнетавшаяся в течение лета напряженность разрядилась. Он же возненавидел жену лютой ненавистью, поскольку в его глазах она его обманула и предала, нарушив их договоренность о «братской любви», достигнутую в июле, и, кроме того, унизила его столь жестоко, как только может женщина унижить мужчину. При этом ему вряд ли приходило в голову, что он сам обманул ее и предал уже одним актом самой женитьбы на ней при отличном знании своих истинных склонностей и что в ее небогатом воображении это он постоянно унижал ее, как только может мужчина унижить женщину, отказываясь делом доказывать ее женственность и свою мужественность.

Исходя из подобного психологического расклада, становится понятным, почему Антонине уже в первых письмах из-за границы даются самые уничижительные характеристики, и проявляется реакция беглеца на робкие попытки родных высказать надежду, что у них с женой может все, в конце концов, уладиться. Из письма Петра Ильича Модесту от 17/29 октября 1877 года: «Что бы ни случилось, но никогда я не соглашусь и одного дня провести с Антониной Ивановной! Я желаю ей всякого счастья, что не мешает мне глубоко ее ненавидеть. Скорее я соглашусь на какие угодно терзания, но лишь бы не видеть ее. Поэтому ты напрасно мечтаешь переделать ее и сделать из нее подходящую для меня подругу жизни. Во-первых, опыт доказал, что мне жить вдвоем с женой — безумие. Во-вторых, уж если это и возможно, то никак не с Антониной Ивановной (два последние предложения опущены в полном собрании писем не случайно; они подтверждают нашу точку зрения, и их следует понимать так: лучше не иметь жены вовсе, а если уж иметь, то не эту «нимфоманку», а такую, которая будет строго соблюдать условия «братской любви». — А. П.). Я не встречал более противного человеческого существа. Напрасно ты воображаешь, что она добродушна. Весьма заблуждаешься. Впрочем, не буду распространяться о ней. Она мне ненавистна, ненавистна до умопомешательства».

Эти первые письма из Швейцарии представляют собой довольно жалкую смесь ярости против «гадины», ужаса перед настоящим и будущим и страстного самобичевания. 5/17 октября Чайковский откровенно пишет Модесту: «Кроме того, как я разделаюсь с Антониной Ивановной? Как решусь устроить себя впоследствии? Все это в тумане. Знаю только одно: возвратиться в Россию мне невыносимо ни теперь, ни через несколько

недель. Нужно спрятаться на год». Ему же 17/29 октября: «Вот еще, что я хотел тебе сказать. У меня засела в голове мысль, что меня все должны презирать и ненавидеть. Презрения я стою, потому что сделать такое безумие, какое я сделал, может только круглый дурак, тряпка, сумасшедший. Но мне до общего презрения дела нет. Мне только больно думать, что вы, т. е. ты, Толя, Саша с Левой сердитесь в глубине души на меня за то, что я сунулся жениться, не посоветовавшись ни с кем из вас, а потом повис на вашей шее. Мне совестно, что я причиняю вам столько забот. Скажи мне, что не сердишься нисколько и прощаешь. Я не могу хорошо выразить, что хочу сказать; ну словом, уверь меня, что ты меня любишь в самом деле по-прежнему; мне все кажется, что все теперь иначе стало».

Именно на это письмо последовал патетический ответ Модеста: «Первым делом отвечаю на твой вопрос. Я тебя люблю больше всех на свете, никогда никто не занимал большего места в моем сердце, никогда никто и не будет занимать его. С раннего детства ты для меня был воплощением всех совершенств и навсегда останешься им. Я живу тобою, да, положительно тобою, потому что всю мою жизнь подчинялся и буду подчиняться твоему влиянию. Мне было достаточно всегда одного твоего слова, движения, чтобы угадать твое недовольство и перерабатывать на твой лад всего себя. Если я сделался на что-нибудь годен, то благодаря тебе. В молодости в особенности я не имел своего нравственного критерiums, которому бы следовал, и всегда жил и буду жить так, чтобы тебе нравиться, потому что теперь уже сознательно отношусь к тебе как к образу человека». Это нетривиальное излияние двадцатисемилетнего молодого человека проливает свет на многое в их отношениях, включая, быть может, предпочтения сексуальные. В ответ Чайковский пишет с интонацией даже некоторого смущения: «Я получил твое последнее письмо за час до отъезда из Кларана. Когда увидишь Толю, спроси его, какое впечатление произвело на меня твое чудное письмо. Я был тронут до самой глубокой глубины души. Спасибо тебе за любовь; не хочу добавлять к этому спасибо, что я тебе отплачиваю тем же. Я ужасно нуждаюсь теперь в любви тех, кого и я люблю больше всех на свете».

Как было замечено, обстоятельства побега от жены, рассказанные не только самим Чайковским, но братьями и друзьями, в частностях разноречивы, как это бывает, когда нескольким людям необходимо утаить какой-либо компрометирующий факт. Истинные причины его матримониального фиаско должны были остаться в тени; огласки истории нужно было избегать, а бегство за границу — объяснить. Из воспоминаний



Кашкина мы знаем, как и в какой момент произошел последний срыв: «В конце сентября он пришел в консерваторию к началу утренних занятий с таким болезненно искаженным лицом, что оно и теперь помнится мне совершенно ясно. Он, как-то не глядя на меня, протянул мне телеграмму и сказал, что нужно уехать. В телеграмме, за подписью Направника, его вызывали немедленно в Петербург. Н. Г. Рубинштейну он сказал, что уезжает почтовым поездом и не знает, когда можно будет вернуться». Самому же Кашкину, по его словам, в уже знакомом нам длинном монологе о матримониальном эксперименте, композитор рассказал и о том, как он сам организовал свое отбытие в Петербург: «Я не успел сделать еще какого-либо опыта с той же целью (самоубийства. — А.П.), ибо почувствовал, что не могу существовать при данных условиях, и написал брату Анатолию, чтобы он телеграфировал мне от имени Направника о необходимости приезда в Петербург, что Анатолий немедленно исполнил».

Модест Ильич в биографии брата описывает его отбытие из Москвы следующим образом: «В двадцатых числах сентября Петр Ильич заболел. 24 сентября под предлогом вызова по телеграмме из Петербурга покинул Москву в состоянии, близком к безумию. По словам Анатолия, когда он вышел встретить Петра Ильича на Николаевскую платформу, последнего нельзя было узнать, до того в течение месяца его лицо изменилось. Прямо из вагона его провели в ближайшую гостиницу “Дагмара”, где после сильнейшего нервного припадка он впал в бессознательное состояние, длившееся около двух (!) недель. (В позднейших изданиях биографии к этой странице прилагалась вклейка: «следует читать около двух суток».) Когда острый кризис миновал, доктора поставили единственным условием выздоровления полную перемену обстановки жизни. <...> Полный разрыв был единственным средством не только для дальнейшего благополучия обоих, но и для спасения жизни Петра Ильича». В рассказе братьев Чайковских явно чувствуется позднейшая рука Модеста, желающего довести свое повествование о жизни брата в этом месте до трагического накала и оправдать его бегство от жены.

Сам композитор, в передаче Кашкина, прочитавшего ко времени написания своего отчета труд Модеста, также уходит от деталей: «Относительно моего пребывания в Петербурге я вспоминаю очень немного и то случайно, помню жестокие первые припадки, помню Балинского, отца, братьев и только».

Во-первых, трудно себе представить, чтобы человек столь нервный пребывал в бессознательном состоянии так долго, во-вторых, кажется странным, что врачи, не зная истории болезни Чайковского и характера

отношений между супругами (вопрос гомосексуальности мужа вряд ли обсуждался), советуют им разъехаться и не просто на некоторое время, что было бы логично, а навсегда. Причем врачебная рекомендация отправиться за границу — именно то, чего композитор, как мы знаем, страстно желал.

В правдивости этой версии, усиленно распространяемой братьями Чайковского, справедливо усомнился и сам Кашкин: «Не знаю, каким образом Балинский познакомился с общим состоянием и жизненными условиями своего пациента, но он с самого начала признал невозможность не только совместной жизни с женой, но высказался решительным образом за необходимость полной разлуки супругов навсегда и даже за недопущение каких-либо свиданий на будущее время. Вероятно, больной в своем бреде говорил что-либо, подавшее повод к такому заключению, потому что ни братья, ни отец сообщить ему ничего не могли, так как и сами ничего не знали».

По всей видимости, эта история очень серьезной нервной болезни была специально придумана самим Чайковским: в ее необходимости он смог убедить Анатолия и Модеста, дабы обрести повод уехать за границу. В. С. Соколов предполагает, что во время встречи с Модестом и Анатолием в августе в Каменке, «вероятно, был задуман и “спасительный” побег в Петербург. Во всяком случае, поездка эта планировалась заранее, как видно из сентябрьской переписки Петра Ильича». Именно серьезная психическая болезнь, а не истерический припадок, который, скорее всего, имел место и которым композитор был подвержен с детства, открывала для него возможность «убежать куда-нибудь» от случайно встреченной женщины, ставшей его женой, или от опостылевшей консерватории и сметь надеяться на понимание и поддержку госпожи фон Мекк. Как мы увидим дальше, он получил и поддержку, и понимание.

В «Автобиографии», написанной в 1889 году по заказу немецкого музыкального критика Отто Нейцеля, композитор объяснил причины своей болезни самым странным образом: «Мои московские друзья, все вместе и каждый по отдельности, охотно употребляли крепкие напитки, и поскольку меня самого всегда обуревала очевидная склонность к плодам виноградной лозы, я также вскоре стал принимать более чем допустимое участие в попойках, коих избегал до тех пор. Моя неутомимая деятельность, в сочетании с такими вакхическими развлечениями, не могла не оказать самого бедственного влияния на мою нервную систему: в 1877 году я заболел и был вынужден на какое-то время оставить мою должность в консерватории». Видимо, это и был тот минимум информации, который, с его точки зрения, и должен был знать весь остальной мир.

Уже к 1 октября Чайковский вполне оправился и написал из Петербурга Модесту (бывшему тогда вместе со своим воспитанником в имении Конради Гранкино), перед которым все еще чувствовал вину по поводу случившегося и необходимость оправдаться: «Я прихожу наконец в себя и возвращаюсь к жизни. В те минуты, в ужасные минуты, которые я пережил, меня поддерживала и утешала мысль об тебе и Толе. Только в эти минуты я понял, до какой степени люблю вас обоих. Итак, несмотря на разлуку, я жил с тобой, потому что мысль о тебе не покидала меня; вы оба были той соломинкой, за которую я ухватится, и соломинка в виде Толи вынесла меня на берег. Много пока не распространяюсь; я еще не настолько спокоен, чтобы написать целое письмо. Мне очень, очень горько, что не дождусь тебя здесь. Но ждать более нет сил, нужно поскорее уехать и вдали осмотреться и одуматься. Я удушаю тебя в моих объятиях».

Как явствует из этого признания, родственники и на сей раз снова сыграли спасительную роль. О сложных ухищрениях, на которые пришлось идти его близким для того, чтобы замять дело даже в семейном кругу, дает представление приписка Коряка (находившегося с Анатолием в Петербурге) к этому письму: «По поручению Петра Ильича делаю приписку в этом письме. Лизавета Михайловна только знает все случившееся в настоящем виде, от Ильи Петровича — тщательно скрывается. Детья просит Вас говорить, как условлено между всеми, что: Толя уехал в Москву за Петей, чтобы с ним и Антониной Ивановной отправиться за границу. Вы с Толей уговорили Антонину Ивановну остаться в Москве, потому что все-таки не совсем привык к ней, несколько стесняется ею. Отъезд совершился будто при Вас, все счастливы, и все совершенно благополучно. Пребывание Пети в Петербурге скрывается самым тщательным образом. В Москве говорится, что супруги уехали за границу из Петербурга, соединившись здесь; в Петербурге — что в Москве. Зинаида Ильинична, которая гостит (с детьми) у папаши, тоже ничего не знает. Затем Вас просят навещать почаще папашу. Вообще, нам надо бы повидаться, я могу сообщить Вам всякие подробности, да и так просто мне было бы очень приятно. Зайдите ко мне или пришлите известить о Вашем приезде. <...> Еще. Если Вы приехали сегодня, то чтобы сделать вероятным отъезд Пети еще при Вас, сходите к папаше только завтра».

Во время всех этих событий Анатолий действительно побывал в Москве и вступил в переговоры с Антониной. Кашкин рассказывает: «Главной целью приезда Анатолия Ильича было сообщение Антонине Ивановне приговора врача-психиатра и устройство имущественных и всяких других отношений, вытекавших из предстоящей разлуки супругов

навсегда. Узнавши о цели приезда своего гостя, Н. Г. Рубинштейн со свойственной ему энергией решил вмешаться в это дело, ибо не доверял Анатолию Ильичу, опасаясь, что по доброте и мягкости характера он что-нибудь не договорит, недостаточно точно определит положение и оставит повод для недоразумений. Он решил поэтому наиболее щекотливую часть объяснения взять на себя и отправился вместе с Анатолием Ильичом к Антонине Ивановне, предупредив ее о своем посещении. Я не помню, чтобы мне приходилось слышать что-либо от Н. Г. Рубинштейна о его переговорах с Антониной Ивановной, но зато Анатолий Ильич немедленно рассказал мне об этом свидании, причем речь, главным образом, шла о роли в нем Николая Григорьевича. По словам Анатолия Ильича, они были встречены очень приветливо, и Антонина Ивановна распорядилась подать чаю. Николай Григорьевич с первых же слов приступил к делу и рассказал ей о болезненном состоянии Петра Ильича, с неуклонной точностью и определенностью изложив заключение Балинского о необходимости разлуки навсегда. Анатолий Ильич говорил, что жестокая точность выражений бросала его в жар и холод, а его спутник твердо и решительно продолжал свою речь, пока не высказал все до конца. Антонина Ивановна выслушала все удивительно спокойно, сказала, что для Пети она на все согласна и предложила гостям поданный между тем чай. Выпив чашку, Н. Г. Рубинштейн поднялся и сказал, что, считая общее положение выясненным, он удаляется, оставляя своих собеседников для “родственных”, как он выразился, переговоров. Антонина Ивановна проводила его в переднюю и, вернувшись с сияющим лицом, сказала Анатолию Ильичу: “Вот не ожидала, что у меня сегодня Рубинштейн будет чай пить!” Такие слова и в такую минуту чрезвычайно поразили Анатолия Ильича, поразили они и меня по его рассказу, и я только много лет спустя нашел для них некоторое вероятное, по моему мнению, объяснение».

Для Кашкина таким объяснением, навязанным ему позднее Модестом, разумеется, была умственная и психическая неполноценность Антонины Ивановны уже тогда. Однако ссылки Кашкина на спокойствие и равнодушие, с каким она приняла от Рубинштейна весть о болезни мужа, ничего не доказывает кроме выдержки ее характера перед лицом одного из тех, кого она считала виновником происшедшего. О решительном разрыве с мужем ей еще не было сказано — только о его болезни. Братья решили объявить ей это несколько позже, когда все они, включая ее саму, окажутся за пределами Москвы. Для посторонних они хотели создать впечатление совместного путешествия молодоженов.

После встреч с новой родственницей Анатолий писал брату Модесту

12/24 октября: «Поверишь ли, после продолжительных тет-а-тетов с ней, я, когда она выходила из комнаты, чувствовал такое мучительное давление ее глупости, что с ужасом думал, что мне нужно пребывать с ней еще несколько часов. Нет, не только Петя, а я даже сошел бы с ума от сожительства с ней. <...> Ни теперь, ни через десять лет, никогда Петя с ней не будет в состоянии жить. Что мы с ней сделаем, еще неизвестно... делая ей всевозможные уступки, нужно будет ей поселиться на нашей пенсии в том из городов России, где не будет Пети».

По завершении всех этих дел Анатолий вернулся в Петербург, а ему на смену из Гранкина в Москву приехал Модест, который проводил время с Антониной, отвлекая ее в течение четырех дней, с 30 сентября по 3 октября. Тем временем в Петербурге Петр Ильич с Анатолием готовились к отъезду и 1 октября сели в поезд, следующий на Берлин. Пообещав Антонине, что она встретится с мужем в пути по дороге за границу, куда Чайковский отправился для лечения, Модест убедил ее уехать на какое-то время к их брату Ипполиту в Одессу.

Осознала ли в конце концов слепо влюбленная Антонина Ивановна, что к гибели их брака привели именно сексуальные склонности ее мужа, остается под вопросом.

На закате жизни она стала считать себя жертвой интриг, которые будто бы плели родственники и окружение композитора. Последний день, который они провели вместе, она описывает так: «И раз сказал мне, что ему нужно уехать по делам на 3 дня. Я его провожала на почтовый поезд; его глаза блуждали, он был нервен, но я была так далека в мыслях от какой-нибудь беды, которая уже висела у меня над головой. Перед первым звонком у него сделалась спазма в горле и он пошел один, неровным, сбивающимся шагом в вокзал, выпить воды. Затем мы вошли в вагон; он жалобно смотрел на меня, не спуская глаз. <...> Бодее он ко мне не приезжал». Она упорно настаивала на том, что провожала мужа на вокзал, оставаясь с ним до самого последнего момента, и это в высшей степени интересно в свете ее собственных попыток объяснить причины так быстро распавшегося брака: «Нас разлучили посредством постоянного нашептывания Петру Ильичу, что семейная жизнь убьет в нем талант. Сначала он не обращал на эти разговоры никакого внимания, затем понемногу начал вслушиваться все внимательнее и внимательнее... Утратить талант было для него ужаснее всего. Он начал верить их наговорам, сделался скучным, мрачным». Итак, по мнению Антонины, коллапс Чайковского был вызван тем, что сердце его разрывалось между нею и музыкой.

Вероятно, самой трудной задачей оказалось для него изобразить «лучшему другу» подробности бегства от жены за границу в наиболее благоприятном свете. На тот момент стиль их отношений требовал особого такта, тем более что он, очевидно, надеялся на материальную помощь с ее стороны. Он должен был тщательно обдумать, как преподнести ей происшедшие события, обходя любые намеки на подлинную их причину — свою гомосексуальность. Не удивительно поэтому в его первом отчете, посланном 11/23 октября из Швейцарии, некоторая невразумительность рассказа о пережитом, объясняемая попыткой замести следы: «Я провел две недели в Москве с своей женой. Эти две недели были рядом самых невыносимых нравственных мук. Я сразу почувствовал, что любить свою жену не могу и что привычка, на силу которой я надеялся, никогда не придет. Я впал в отчаяние. Я искал смерти, мне казалось, что она единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такою лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее. Мои занятия консерваторские и домашние стали невозможны. Ум стал заходить за разум. И между тем я никого не мог винить, кроме себя. Жена моя, какая она ни есть, не виновата в том, что я поощрил ее, что я довел положение до необходимости жениться. Во всем виновата моя бесхарактерность, моя слабость, непрактичность, ребячество! В это время я получил телеграмму от брата, что мне нужно быть в Петербурге по поводу возобновления “Вакулы”. Не помня себя от счастья хоть на один день уйти из омута лжи, фальши, притворства, в который я попался, поехал я в Петербург. При встрече с братом все то, что я скрывал в глубине души в течение двух бесконечных недель, вышло наружу. Со мной сделалось что-то ужасное, чего я не помню. Когда я стал приходить в себя, то оказалось, что брат успел съездить в Москву, переговорить с женой и Рубинштейном и уладить так, что он повезет меня за границу, а жена уедет в Одессу, но никто этого последнего знать не будет. Во избежание скандала и сплетней брат согласился с Рубинштейном распустить слух, что я болен, еду за границу, а жена едет вслед за мной».

При всей видимой искренности этого рассказа в нем присутствует элемент игры, драмы, не обязательно осознанный полностью, но позволивший Чайковскому выигрышно предстать в глазах сочувствовавшей ему меценатки. Такую интонацию диктовала сама логика и психология сложившейся ситуации. Этим вызвано и сознательное искажение отдельных фактов, особенно в последней части рассказа. При этом заметим в цитированном отрывке признание в том, что слух о его болезни ложен и

намеренно распространялся его окружением. Госпожа фон Мекк должна была поистине обожать своего корреспондента, чтобы принять столь шитую белыми нитками историю за чистую монету.

Петр Ильич понимал, однако, необходимость более удовлетворительного объяснения для нее, тем более что она ему предложила очередную субсидию. И оно прозвучало в письме от 25 октября. Здесь он дает длиннейшую из известных нам характеристик Антонине, стараясь убедить свою корреспондентку и себя самого (ведь его чувство вины нуждалось в компенсации) в том, что единственной причиной разрыва с ней была их психологическая несовместимость и более ничего.

Перед ним стояла непростая задача: нарисовать портрет своей избранницы, чтобы он, с одной стороны, выглядел, совершенно негативным, а с другой — провозгласить, как подобает рыцарю и джентльмену, ее, по существу, невинность.

«Вы желаете, чтоб я нарисовал Вам портрет моей жены. Исполняю это охотно, хотя боюсь, что он будет недостаточно объективен. Рана еще слишком свежа. Она росту среднего, блондинка, довольно некрасивого сложения, но с лицом, которое обладает тою особого рода красотой, которая называется смазливостью. Глаза у нее красивого цвета, но без выражения; губы слишком тонкие, а поэтому улыбка не из приятных. Цвет лица розовый. Вообще она очень моложава: ей двадцать девять лет, но на вид не более двадцати трех, двадцати четырех. Держится она очень жеманно, и нет ни одного движения, ни одного жеста, которые были бы просты. Во всяком случае, внешность ее скорее благоприятна, чем противоположное. Ни в выражении лица, ни в движениях у нее нет той неуловимой прелести, которая есть отражение внутренней, духовной красоты и которую нельзя приобрести, — она дается природой. В моей жене постоянно, всегда видно желание нравиться; эта искусственность очень вредит ей. Но она, тем не менее, принадлежит к разряду хорошеньких женщин, т. е. таких, встречаясь с которыми, мужчины останавливают на них свое внимание. До сих пор мне было нетрудно описывать мою жену. Теперь, приступая к изображению ей нравственной и умственной стороны, я встречаю непреодолимое затруднение. Как в голове, так и в сердце у нее абсолютная пустота; поэтому я не в состоянии охарактеризовать ни того, ни другого. Могу только уверить Вас честью, что ни единого раза она не высказала при мне ни единой мысли, ни единого сердечного движения. Она была со мной ласкова — это правда. Но это была особого рода ласковость, состоящая в вечных обниманиях, даже в

такие минуты, когда я не в состоянии был скрыть от нее моей, может быть, и незаслуженной антипатии, с каждым часом увеличивавшейся. Я чувствовал, что под этими ласками не скрывалось истинное чувство. Это было что-то условное, что-то в ее глазах необходимое, какой-то атрибут супружеской жизни. Она ни единого раза не обнаружила ни малейшего желания узнать, что я делаю, в чем состоят мои занятия, какие мои планы, что я читаю, что люблю в умственной и художественной сфере. Между прочим, более всего меня удивляло следующее обстоятельство. Она говорила мне, что влюблена в меня четыре года; вместе с тем, она очень порядочная музыкантша (ее консерваторский профессор так не думал. — А. П.). Представьте, что при этих двух условиях она не знала ни единой ноты из моих сочинений и только накануне моего бегства спросила меня, что ей купить у Юргенсона из моих фортепьянных пьес. Этот факт меня поставил в совершенный тупик (он также должен был, по идее, ошеломить и Надежду Филаретовну, восторженно влюбленную в первую очередь в музыку Чайковского, и развеять ее последние сомнения, если таковые были, по поводу причин разрыва. — А. П.). Не менее того я удивлялся, узнав от нее, что она никогда не бывала в концертах и квартетных сеансах Муз[ыкального] общ[ества], между тем как она наверное знала, что предмет своей четырехлетней любви она могла всегда там видеть и имела возможность там бывать. Вы спросите, конечно: как же мы проводили время, оставаясь с ней вдвоем? Она очень разговорчива, но весь разговор ее сводится к следующим нескольким предметам. Ежечасно она повторяла мне бесчисленные рассказы о бесчисленных мужчинах, питавших к ней нежные чувства. По большей части, это все были генералы, племянники знаменитых банкиров, известные артисты, даже лица императорской фамилии. Засим, не менее часто она с каким-то неизъяснимым увлечением расписывала мне пороки, жестокие и низкие поступки, отвратительное поведение всех своих родных, с которыми, как оказалось, она на ножах, и со всеми поголовно. Особенно доставалось при этом ее матери. У нее есть две подруги, с которыми и мне пришлось познакомиться. В течение нескольких недель, проведенных мною в сожительстве с женой, каждая из этих подруг беспрестанно падала или снова возносилась во мнении ее. При самом начале нашего знакомства была у ней еще одна подруга, про которую она говорила, что это сестра ее, так она ее любит. Не прошло двух недель, как эта сестра внезапно упала в ее глазах до самой последней степени человеческой негодности. Когда мы были с ней летом в деревне у ее матери, то мне казалось, что отношения их превосходны. Когда я вернулся из Каменки, я узнал, что у них в Москве произошла уже крупная ссора, и



вскоре я получил от матери ее письмо, где она мне жаловалась на свою непокорную дочь. Третий предмет ее неутомимой болтливости были рассказы об ее институтской жизни. Им конца не было. Чтобы дать Вам почувствовать, до чего невозможно мне было добиться от нее хоть единого искреннего душевного движения, я приведу следующий пример. Желая узнать, каковы в ней материнские инстинкты, я спросил ее однажды, любит ли она детей. Я получил в ответ: “Да, когда они умные” (это очень тонкий ход в отношении Надежды Филаретовны, матери одиннадцати детей — одновременно автор письма дает понять, что и ему не чужда идея произведения собственного потомства, но тотальная глупость жены не давала возможности этой идее воплотиться в жизнь. — А. П.). Мое бегство и известие о моей болезни, привезенное ей братом, она приняла с совершенно непостижимым равнодушием и тотчас же, тут же рассказала ему несколько историй о влюблявшихся в нее мужчинах (этим Анатолий с Кашкиным не поделился! — А. П.), засим расспросила, что он любит есть, и побежала в кухню хлопотать об обеде (Чайковский не упоминает о посредничестве Рубинштейна, которого Надежда Филаретовна недолюбливала. — А. П.). Ко всему этому справедливость требует, чтоб я прибавил следующее: она всячески старалась угождать мне, она просто пресмыкалась предо мной; она ни единого раза не оспаривала ни одного моего желания, ни одной мысли, хотя бы касавшейся нашего домашнего быта. Она искренно желала внушить мне любовь и расточала мне свои нежности до излишества. Читая все это, Вы, конечно, удивляетесь, что я мог решиться соединить свою жизнь с такой странной подругой? Это и для меня теперь непостижимо. На меня нашло какое-то безумие. Я вообразил себе, что непременно тронусь ее любовью ко мне, в которую я тогда верил, и непременно, в свою очередь, полюблю ее. Теперь я получил необоримое внутреннее убеждение: она меня никогда не любила (в свете нашей интерпретации, логика убеждения должна быть такова: если бы любила, то оставила бы меня в покое и соблюдала бы мои условия. — А. П.). Но нужно быть справедливым. Она поступала честно и искренно. Она приняла свое желание выйти за меня замуж за любовь. Затем, повторяю, она сделала все, что в ее силах, чтобы привязать меня к себе. Увы! чем больше она об этом хлопотала, тем более она отчуждала меня от себя. Я тщетно боролся с чувством антипатии к ней, которого, в сущности, она и не заслуживает; но что мне делать с своим непокорным сердцем! Эта антипатия росла не днями, не часами, но минутами, и мало-помалу превратилась в такую крупную, лютую ненависть, какой я никогда еще не испытывал и не ожидал от себя. Я, наконец, потерял способность владеть собою. Что было дальше,

Вы знаете. В настоящее время жена моя находится покамест у сестры. Затем она выберет себе постоянное местопребывание».

Именно от сестры Чайковского Антонина узнает наконец всю правду о сексуальных вкусах своего супруга и, в момент отчаяния, решается написать об этом его братьям. Реакцией на письмо Антонины Анатолию (которое не дошло до нас), где она намекает на его гомосексуальность, Петр Ильич делится и с Модестом, перефразируя обвинения жены: «Последнее письмо замечательно тем, что из овцы, умилившей тебя до того, что даже в отдаленном будущем ты предположил возможность примирения между нами, она вдруг явилась весьма лютой, коварной и хитрой кошкой. Я оказался обманщиком, женившись на ней, чтоб замаскироваться, я ежедневно оскорблял ее, она много от меня претерпела, она ужасается моему позорному пороку и т. д., и т. д. О, какая мерзость! Но черт с ней!»

Обвинения в желании «замаскироваться» и «позорном пороке» вызывали у него больше отвращения, чем страха. Несколько ее более поздних попыток шантажа ни к чему не привели, хотя и причинили ему сильные расстройства, выбивая из привычной колеи. Разумеется, в очередном письме к фон Мекк о сути обвинений со стороны Антонины не сообщается ни слова: «Вчера брат мой получил письмо от нее. Она является в нем в совершенно новом свете. Из кроткой голубицы вдруг она сделалась довольно сердитой, очень требовательной, очень неправдивой особой. Она мне делает массу упреков, смысл которых тот, что я бессовестно обманул ее. Я ответил ей. Я категорически объяснил ей, что вступать в пререкания с ней не намерен, ибо это ни к чему не ведет. Всю вину я беру на себя. Прошу у нее убедительно простить меня за зло, которое я ей все-таки причинил, и заранее склоняю голову перед всяким ее решением. Но жить с ней я никогда не буду; это я заявил ей в самой положительной форме. Засим я, разумеется, взял на себя заботы об ее нуждах и просил ее принять от меня средства к существованию. Буду ждать ее ответа. В настоящую минуту я уже обеспечил ее на несколько времени. Вот и все, что я могу сказать Вам о моих отношениях к жене. Бросая ретроспективный взгляд на наше краткое сожительство, я прихожу к заключению, что *le beau rôle* всецело принадлежит ей, а не мне. Не могу не повторить, что она поступила честно, искренно и последовательно. Она обманывала своей любовью не меня, а себя. Она была, кажется, убеждена, что в самом деле меня любит. Я же, хотя и совершенно точно объяснил ей, что любви к ней не питаю, но обещался сделать все, чтобы полюбить ее. И так как я достиг совершенно противоположного результата, то,

следовательно, обманул ее. Во всяком случае, она достойна сожаления. Судя по вчерашнему письму, видно, что в ней проснулось и очень сильно заговорило оскорбленное самолюбие».

Казалось бы, в последнем рассуждении Чайковский все же пришел к осмыслению меры своей вины. Впечатление это, однако, может быть обманчивым в силу самих формулировок, явленных в письме. Речь идет не о том, что он обманул женщину, женившись на ней при полном осознании противоположности своих сексуальных вкусов, ибо даже не очевидно, что он сам отдавал себе в этом отчет. Его признание в обмане — по сути дела — самооправдание, поскольку обещал «сделать все, чтобы полюбить ее», а в результате возненавидел: испокон веку известно, что насильно мил не будешь. Так что Надежде Филаретовне должно было быть ясно как день, что автора этого письма решительно не в чем винить. Портрет «известной особы» в нем столь убийствен, что там, где Петр Ильич пытается быть «справедливым» или «объективным», слова его воспринимаются читателем не как признание ее достоинств, а как проявление его личного благородства.

Что же касается рассуждений о невинности, честности и искренности Милюковой, то из писем братьям мы знаем его противоположное — и подлинное — мнение на этот счет: «гадина» была подлейшей особой женского пола в мире. Заметим, кстати, контраст в тоне упоминаний об Антонине в письмах братьям, с одной стороны, и в письмах сестре — с другой. В последнем случае, по понятным причинам, он должен был выражаться с преувеличенной мягкостью, в то время как в первом мог позволить себе какие угодно выражения. Госпожа фон Мекк как адресат занимала в этом смысле положение промежуточное. Следовательно, нельзя утверждать, что во всех трех случаях композитор выражал подлинные свои чувства по отношению к жене. На самом деле чувства были исключительно негативные и самого отвратительного состава. Вот наиболее характерные цитаты из писем Анатолию этого периода: «Когда я вообразу себе, что ты, может быть, путешествуешь с Антониной Ивановной, то кровь ужаса застывает в моих жилах! Что может быть ужаснее, как лицезреть это омерзительное творение природы! И к чему родятся подобные гадины! И к чему на меня нашло сумасшествие, к чему случилась вся эта пошлая трагикомедия!» (5/17 декабря 1877 года); «с этим исчадьем ада шутить нельзя; благородные чувства к ней излишни» (3/15 февраля 1878 года); «эта тварь слишком презренная, чтобы с ней церемониться» (6/18 февраля 1878 года). На протяжении нескольких лет выпады в таком духе продолжались с неуклонной последовательностью и регулярно.

Заметим, наконец, что этот накал негодования в отношении жены ни на йоту не уменьшался на протяжении последующих 13 лет, несмотря на отдельные сострадательные ноты. Уже один этот факт дает представление о мере душевного потрясения, испытанного композитором. Конфликт сознания — необходимость жениться для блага родственников и подсознания — жениться для того, чтобы прикрыть браком свои склонности — породил в нем, по нашему убеждению, очень острое и глубокое чувство вины, в котором, по большому счету, он оказался не в состоянии признаться самому себе (хотя и был способен отдавать себе в этом отчет в моменты особенной тоски). Это чувство вины не могло совместиться с присущей ему приверженностью нравственным ценностям и стало основой невроза, порой переходящего рамки обыкновенной неврастности. Именно этим, на наш взгляд, объясняется его реакция на что бы то ни было, касающееся «известной особы» = «гадины», реакция, иногда доходившая до эксцесса, принимая ничем не оправданную навязчивую форму, не лишенную в бытовом аспекте гротескности и трагикомизма. Трудно удержаться от улыбки, когда Чайковский называет «большим горем» получение очередного письма от Антонины Ивановны, от которого он в течение недели «буквально пера в руки не мог взять», и когда сообщает, как от любого, даже невинного известия о ней он теряет аппетит, сон, работоспособность, страдает поносом, геморроем, ожидает смерти, пишет завещание и т. д. Развивая мысль Кашкина, следует признать, что в отдельные периоды оба супруга бывали более или менее одинаково ненормальны. Следовательно, две составляющих определяли истерический невроз композитора в результате драматического матримониального опыта: описанное чувство вины и постоянное напряжение, не обязательно всегда осознанное, в ожидании взрывов и провокаций со стороны Антонины, имеющих отношение к сексуальным предпочтениям его самого.

Четвертого октября Петр Ильич и Анатолий прибыли в Берлин. Проведя там чуть более суток, они выехали в Женеву и поселились в ее окрестностях, в местечке Кларан, в пансионе Ришелье, где Петр Ильич довольно быстро пришел в себя. Почти немедленно после знаменитого побега из Петербурга за границу, в письме Модесту из Берлина от 5/17 октября он вопрошает брата о покинутом слуге: «Меня очень беспокоит Алеша! Как я его пристрою? Как я проживу без него так долго? Я к нему ужасно привык и ужасно люблю его. Неужели бросить его на произвол судьбы?» И 16/28 октября пишет сам предмету беспокойства: «Милый мой Леня! Получил сейчас твое письмо и сказать не могу, до чего я был рад ему.

До сих пор я не имел об тебе никаких известий и очень беспокоился об тебе. Слава Богу, что ты здоров. Пожалуйста, радость моя, береги себя и не скучай». И далее он сообщает ему: «Во всяком случае, с Антониной] Ивановной] я больше жить не буду (только ты об этом не говори никому), и когда я вернусь в Москву, то мы заживем с тобою вдвоем. Теперь, Леня, потерпи немножко и не скучай; но знай, что я тебя никогда не оставлю и что до моего последнего издыхания я буду тебя всегда любить, как своего брата родного».

Уже в первом послании к фон Мекк из-за границы, 11/23 октября 1877 года, он набирается смелости просить ее о новом вспомоществовании: «Мне нужны опять деньги, и я опять не могу обратиться ни к кому, кроме Вас. Это ужасно, это тяжело до боли и до слез, но я должен решиться на это, должен опять прибегнуть к Вашей неисчерпаемой доброте. <...> Не странно ли, что жизнь меня столкнула с Вами как раз в такую эпоху, когда я, сделавши длинный ряд безумий, должен в третий раз обращаться к Вам с просьбой о помощи! О, если б Вы знали, как это меня мучит, как это мне больно. Если б Вы знали, как я был далек от мысли злоупотреблять Вашей добротой! Я слишком теперь раздражен и взволнован, чтобы писать спокойно. Мне кажется, что все теперь должны презирать меня за малодушие, за слабость, за глупость. Я смертельно боюсь, что и в Вас промелькнет чувство, близкое к презрению. Впрочем, это результат болезненной подозрительности. В сущности, я знаю, что Вы инстинктом поймете, что я несчастный, но не дурной человек. О мой добрый, милый друг! Среди моих терзаний в Москве, когда мне казалось, что кроме смерти нет никакого исхода, когда я окончательно отдался безысходному отчаянию, у меня мелькала иногда мысль, что Вы можете спасти меня. Когда брат, видя, что меня нужно увезти куда-нибудь подальше, увлек меня за границу, я и тут думал, что без Вашей помощи мне не обойтись, и что Вы опять явитесь моим избавителем от жизненных невзгод. И теперь, когда я пишу это письмо и терзаюсь чувством совестливости против Вас, я все-таки чувствую, что Вы мой настоящий друг, друг, который читает в душе моей, несмотря на то, что мы друг друга знаем только по письмам».

Когда Петр Ильич писал эти строки, он не знал, что в предыдущем письме ему от 29 сентября, направленном еще в Москву, видимо, объясняя его затянувшееся (из-за брачной катастрофы) молчание денежными проблемами, Надежда Филаретовна сделала следующее поразительное заявление: «Но обо мне говорить не стоит, я уже кончаю жить, да и жизнь-то моя ничего миру не приносит, а вот Вы, мой милый друг, об Вас надо заботиться. Вам надо если уже не счастье, то, по крайней мере, спокойствие

и здоровье. Если для того, чтобы Вам уйти куда-нибудь еще отдохнуть, надо только некоторых материальных средств, то скажите мне это, Петр Ильич, ведь Вы же знаете, какого любящего друга имеете во мне, и поймете, что я забочусь о Вас для себя самой. В Вас я берегу свои лучшие верования, убеждения, симпатии, что Ваше существование приносит мне бесконечно много добра, что мне жизнь приятнее, когда я думаю о Ваших свойствах, читаю Ваши письма и слушаю Вашу музыку, что, наконец, я берегу Вас для того искусства, которое я боготворю, выше и лучше которого для меня нет ничего в мире, так как из служителей его нет никого так симпатичного, так милого и дорогого, как Вы, мой добрый друг. Следовательно, мои заботы о Вас есть чисто эгоистичные, и, насколько я имею права и возможности удовлетворять им, настолько они мне доставляют удовольствие, и настолько я благодарна Вам, если Вы принимаете их от меня».

Реакция измученного композитора на это изъятие любви и преданности (в ответном письме от 20 октября/1 ноября) была экстатической: «Сегодня мне прислали из Москвы несколько писем, пришедших туда в мое отсутствие. В том числе получил я и Ваше венецианское письмо, дорогая Надежда Филаретовна. Как я ни привык полагаться безгранично на Вашу дружбу, как ни твердо я верю в Вас как в какое-то орудие провидения, спасающие меня в столь бедственную пору моей жизни, но каждое письмо всегда превосходит все, чего можно ожидать от самого великодушного, доброго, безгранично снисходительного к ошибкам других человека. Хоть бы единый упрек Вы мне сделали за все мои безумства! Вы все понимаете и прощаете, Надежда Филаретовна! Вы предлагаете мне материальные средства для отдыха. <...> Сегодняшнее письмо Ваше облегчило мою душу. Вы в самом деле являетесь в нем моим провидением. Если б Вы знали, как много, много Вы для меня делаете! Я стоял на краю пропасти. Если я не упал в нее, то не скрою от Вас, что это только потому, что я на Вас надеялся. Вашей дружбе я буду обязан своим спасением. Чем я отплачу Вам? О, как бы желал я, чтоб когда-нибудь я был Вам нужен! Чего бы я ни сделал, чтоб выразить Вам мою благодарность и любовь!»

А вот ее ответ на упомянутую просьбу его о деньгах, причем сделанный, со свойственным ей тактом, не в начале, а в середине письма: «Еще, дорогой мой Петр Ильич, за что Вы так огорчаете и обижаете меня, так много мучаясь материальной стороной? Разве я Вам не близкий человек, ведь Вы же знаете, как я люблю Вас, как желаю Вам всего хорошего, а, по-моему, не кровные и не физические узы дают право, а

чувства и нравственные отношения между людьми, и Вы знаете, сколько счастливых минут Вы мне доставляете, как глубоко благодарна я Вам за них, как необходимы Вы мне и как мне надо, чтобы Вы были именно тем, чем Вы созданы; следовательно, я ничего не делаю для Вас, а все для себя. Мучаясь этим, Вы портите мне счастье заботиться об Вас и как бы указываете, что я не близкий человек Вам. Зачем же так, мне это больно... а если бы мне что-нибудь понадобилось от Вас, Вы бы сделали, не правда ли? Ну, так, значит, мы и квиты, а Вашим хозяйством мне заниматься, пожалуйста, не мешайте, Петр Ильич».

К этому посланию, помимо просимой суммы, была, вероятно, приложена записка, текст которой до нас не дошел, с уведомлением о ежемесячной субсидии, которая отныне и впредь будет ему высылаться. В великом энтузиазме 27 октября /8 ноября он сообщает Модесту: «В то время, когда ты нуждаешься в деньгах, я внезапно сделался если не богачом, то надолго совершенно обеспеченным человеком. Известная тебе особа прислала мне три тысячи франков и засим будет посылать ежемесячно полторы тысячи. Все это предложено с такой изумительной деликатностью, с такой добротой, что мне даже не особенно совестно. Боже мой! до чего эта женщина добра, щедра и деликатна. В то же время и умна удивительно, потому что она, оказывая мне такие неизмеримые услуги, делает это так, что я ни на минуту не сомневаюсь, что она делает это с радостью».

А накануне пишет пространный ответ «лучшему другу»: «Что я могу сказать Вам, чтоб выразить мою благодарность? Есть чувства, для которых слов нет, и если б я старался прибрать выражения, способные изобразить то, что Вы мне внушаете, то боюсь, вышли бы фразы. Но Вы читаете в моем сердце, не правда ли? Скажу только одно. До встречи с Вами я еще не знал, что могут существовать люди со столь непостижимо нежной и высокой душой. Для меня одинаково удивительно и то, что Вы делаете для меня, и то, как Вы это делаете. В письме Вашем столько теплоты, столько дружбы, что оно одно достаточно, чтобы заставить меня снова полюбить жизнь и с твердостью переносить житейские невзгоды. Благодарю Вас за все это, мой неоцененный друг! Я сомневаюсь, чтоб когда-нибудь случай привел меня на деле доказать Вам, что я готов принести для Вас всякую жертву; не думаю, чтоб Вы когда-нибудь могли найти надобность обратиться ко мне с просьбой оказать Вам какую-нибудь крупную дружескую услугу, и потому мне остается только услуживать и угождать Вам посредством музыки. Надежда Филаретовна! каждая нота, которая отныне выльется из-под моего пера, будет посвящена Вам! Вам буду я

обязан тем, что любовь к труду возвратится ко мне с удвоенной силой, и никогда, никогда, ни на одну секунду, работая, я не позабуду, что Вы даете мне возможность продолжать мое артистическое призвание. А много, много еще мне остается сделать. Без всякой ложной скромности скажу Вам, что все до сих пор мною написанное кажется мне так несовершенно, так слабо в сравнении с тем, что я могу и должен сделать».

Так окончательно завязались уникальные отношения, которым Суждено было продолжаться долгие годы. Побег композитора из Москвы Надежда Филаретовна оправдала безоговорочно (письмо от 17 октября): «Но я все-таки рада, что Вы сделали тот решительный шаг, который необходим и который есть единственный правильный в данном положении. Раньше я не позволяла себе высказать Вам своего искреннего мнения, потому что оно могло показаться советом, но теперь я считаю себя вправе, как человек своею душой близкий Вам, сказать мой взгляд на совершившийся факт, и я повторяю, что радуюсь, что Вы вырвались из положения притворства и обмана, — положения, не свойственного Вам и недостойного Вас. Вы старались сделать все для другого человека, Вы боролись до изнеможения сил и, конечно, ничего не достигли, потому что такой человек, как Вы, может погибнуть в такой действительности, но не примириться с нею. Слава Богу, что Ваш милый брат подоспел к Вам на спасение, и как хорошо, что он поступил так энергично. Что же касается моего внутреннего отношения к Вам, то, боже мой, Петр Ильич, как Вы можете подумать хоть на одну минуту, чтобы я презирала Вас, когда я не только все понимаю, что в Вас происходит, но я чувствую вместе с Вами точно так же, как Вы, и поступала бы так же, как Вы, только я, вероятно, раньше сделала бы тот шаг разъединения, который Вы сделали теперь, потому что мне не свойственно столько самопожертвования, сколько употребляли Вы. Я переживаю с Вами заодно Вашу жизнь и Ваши страдания, и все мне мило и симпатично, что Вы чувствуете и что делаете».

Очень скоро (в письме от 12 ноября) она сама начала обсуждать характер Антонины едва ли не с бесцеремонной доверительностью: «Мне очень больно, Петр Ильич, что Вы так обвиняете себя и тревожитесь состраданием к Вашей жене. Вы не виноваты перед нею ни в чем, и будьте вполне уверены и спокойны, что она нисколько не будет страдать в разрозненной жизни с Вами. Это одна из тех счастливых натур, вполне развитых к тому же соответствующим воспитанием, которые не могут горевать сильно и продолжительно, потому что они ничего не способны чувствовать глубоко; живут они жизнью объективной, даже просто материальной, о чем Вы и приняли заботу на себя; следовательно, идеал



жизни таких натур — хорошо поест и еще лучше выспаться — осуществляется Вами для Вашей жены, и Вы имеете право на одну благодарность с ее стороны». И снова, 18 ноября: «Ведь Вы же знаете, что Вы тут ни при чем, что эти обвинения (со стороны Милюковой. — А. П.) есть продукт все той же натуры, того же воспитания, о которые, как об стену, разбиваются справедливость, добросовестность и всякие чувства. Вы должны знать, что такие натуры во всем, что им досадно, первым долгом стараются кого-нибудь обвинить и в этом находят полное утешение и большое удовольствие. Так не отнимайте же его у Вашей жены».

И опять ее утешение с некоторой даже поэтичностью преобразует драматизм брачного эпизода Петра Ильича почти в ибсеновский конфликт между обществом и одаренным индивидом: «Где же людям, способным чувствовать так глубоко, как Вы и я, быть счастливыми; ведь если жизнь называют морем, то общество, во всяком случае, есть мелкая речонка, в которой быть хорошо только тем, которые мелко плавают, а таким имя легион! Нам же с Вами, с нашим неумением к чему бы то ни было относиться поверхностно, тешиться финтифлюшками вроде приличий, общественного мнения и чувств по заданной программе, — нам, с потребностями глубоких чувств, широких запросов, приходится только биться грудью, головою и сердцем о каменное дно этой речонки и, обессилев в неравной борьбе целой жизни, умереть, не достигнув того счастья, о котором знаешь, что оно есть, которое видишь ясно перед собою, но до которого мелкие плователи не пускают. Они не виноваты, эти плоскодонные суда, потому что им так хорошо, но зато как тяжело глубоким гребцам!»

Подобные излияния были созвучны собственному взгляду Чайковского на искусство и человеческие отношения. Безусловно, он боялся вызвать снисходительное презрение со стороны благодетельницы, которая, по его мнению, должна была осудить его за слабость характера и малодушие. Опасения эти были совершенно излишними — она не желала замечать никаких недостатков в своем идеале, а по поводу его реакции на брак одобряла, как мы видели, каждый его шаг. В глубине сердца она была довольна тем, что этот союз распался. Ее саркастические комментарии, касавшиеся Антонины, выдают невысказанную радость, а возможно, и подспудную ревность, теперь ставшую ненужной. Предлагая Чайковскому целомудренную любовь и интимную дружбу, она тем самым обещала ему абсолютную, преданную поддержку.

Психологически понятно, почему он, сравнивая мысленно собственную несостоятельность с железным характером своей

корреспондентки, мог впасть в уныние: «До какой степени в сравнении с Вами я слаб, неспособен к борьбе, нерешителен, жалок! Это я говорю вовсе не с целью кокетничать своим самоунижением, а вследствие действительного сознания всей дряблости и слабости своей души. В эту минуту мне кажется, что Вы должны были из моих признаний вывести то же самое заключение, и мне совестно перед Вами. Я испытываю перед Вами чувство, подобное тому, которое охватывает человека крошечного роста, разговаривающего с человеком огромного роста. Это не фраза. После всего... мое уважение, моя любовь к Вам сделались, если можно, еще сильнее, но вместе с тем я с неотразимою очевидностью сознаю свою ничтожность».

## Глава четырнадцатая. Финал трагикомедии

С отъездом Чайковского за границу в его семье начали происходить события, грозившие еще более осложнить ситуацию и выплеснуть скандал наружу. Сестра Александра, уже давно знавшая о нетрадиционной сексуальной ориентации брата, отнеслась к неожиданно появившейся невестке с участием и пониманием. В письме Модесту от 31 октября она резко осудила скоропалительную женитьбу: «Поступок его с Антониной [Ивановной] очень, очень дурен, он не юноша и мог понять, что в нем и тени задатков быть даже сносным мужем нет. Взять какую бы то ни было женщину, попытаться сделать из нее ширму своему разврату, а потом перенести на нее ненависть, долженствующую пасть на собственное поведение, это недостойно человека, так высоко развитого. Я почти убеждена, что в причине ненависти его к жене никакую роль не играют ее личные качества — он возненавидел бы всякую женщину, вставшую с ним в обязательные отношения».

Она приняла решение повидаться с Антониной и в конце октября отправилась в Одессу, где та гостила у их брата Ипполита. Вскоре Александра пригласила ее к себе в Каменку. Вот как описывает последствия этого сам Чайковский в письме к фон Мекк от 23 ноября: «Зная хорошо меня и сумевши сразу разгадать мою жену, она, тем не менее, принялась с невероятным увлечением перевоспитывать мою жену, а мне посылать письма, в которых старалась меня уверить, что жена моя обладает, в сущности, многими достоинствами и со временем будет для меня отличной подругой жизни. Я несколько раз писал ей, что все это весьма возможно, что я был виноват во всем, что я принимаю на себя все последствия моего необдуманного поступка, но просил, ради самого бога, никогда даже не упоминать о возможности будущего сожительства. Не знаю, что сделалось на этот раз с сестрой. Она никак не могла понять, что моя антипатия к жене, как бы она ни была незаслуженна, есть болезненное состояние, что меня нужно оставить в покое и не только не расписывать ее достоинства, но и не поминать о женщине, самое имя которой и все, что ее напоминало, приводило меня в состояние безумия. Результатом всего этого было несколько писем жены. <...> Она являлась в них то лживой и злой, то покорной и любящей; то она обвиняла меня в низости и в бесчестности, то прямо просила и умоляла возвратить ей мою любовь. Это было ужасно. Теперь сестра сама поняла свою ошибку и узнала, с кем имеет дело.

Сначала она увлекалась своим добрым сердцем и жалостью к отвергнутой жене. Она понадеялась на благотворность своего влияния и привела только к тому, что жена моя, с дороги в Одессу писавшая брату, что ей очень весело и что в нее влюбился полковник, теперь, поощренная ласками сестры, вошла в роль несчастной жертвы. А главное, несмотря на то, что я устроил ей обеспеченное существование, она и не думает уезжать от сестры, говорит, что привязалась к ней и не может жить без нее. Сестра не может удалить ее сама. <...> Конечно, это долго продолжаться не может», — и дальше выражается надежда, что Анатолий, прибывши в Каменку, преуспее в удалении оттуда «известной особы».

Переписка с родными, пока Антонина продолжала обретаться в Каменке, несомненно приносила Чайковскому страдания. Невероятная психологическая напряженность чувствуется едва ли не в каждой его строке. В том же письме к фон Мекк он точно формулирует суть затруднения: «Положение вышло самое фальшивое. Та самая женщина, которая, конечно, не намеренно сделала так много зла мне, живет у моей родной сестры в доме, который я привык считать убежищем от всех бедствий и самым теплым уголком своим». Особенно тягостным должно было быть то, что в посланиях сестре он не мог быть откровенным в той мере, как в письмах братьям, где давал волю ярости и ненависти, но, напротив, должен был глушить и скрывать эти чувства.

Сообщив Антонине правду о ее муже, Александра начала готовить ее к наихудшему сценарию ее будущих отношений с ним, «по всей видимости, сфокусировав ее внимание на “склонностях” Петра Ильича». Таким образом, с ее помощью Антонина впервые серьезно задумалась о реальных мотивах, побудивших композитора к браку. Так, 16 октября в письме Модесту она прямо заявляет об этом, отчасти повторяя цитированное мнение Александры: «За всю мою любовь и преданность Петя мне отплатил тем, что сделал меня своею ширмою пред всей Москвою, да и Петербургом. Где же эта доброта его, про которую так много говорили? Такой страшный эгоизм не может соединиться с добротою». Именно в это время были написаны ее «злые письма» братьям с угрозами, упреками и обвинениями его в бесчестии, а затем, почти сразу, «нежные» и исполненные самоуничтожения. Стремясь вернуть себе любимого человека, Антонина металась из одной крайности в другую.

Эпистолярные тексты Чайковского этого периода, исполненные гнева и ламентаций, настолько пространны, что привести их здесь невозможно, и потому удовольствуемся только несколькими фрагментами на эту тему. Из письма сестре от 26 октября/7 ноября из Кларана: «Милая и дорогая моя! И

она и ты, очевидно, полагаете, что когда-нибудь будет возможно сближение. Напрасно она старается то угрозами, упреками и обвинениями в бесчестности, то, напротив, выражениями любви и нежности (как сегодня) что-нибудь сделать. Ради бога, оставим навсегда вопрос о нашем примирении. Мы с ней не в ссоре. Она не хотела мне сделать зла, и я ни в чем ее не обвиняю. Пусть ты права, что у нее доброе сердце, пусть я кругом виноват, что не умел оценить ее, пусть это правда, что она любит меня, но жить с ней я не могу, не могу, не могу. Требуй от меня какого хочешь удовлетворения для нее; по возвращении в Россию я буду ей давать две трети моих заработков, я скроюсь в какую угодно глушь, я готов сделаться нищим, словом, что угодно, но, ради бога, никогда не намекай мне, чтобы я возвратился к Антонине Ивановне. Очень может быть, что это болезнь, но это болезнь неизлечимая. Словом, я не люблю ее во всей полноте этого выражения. Потрудись ей передать, что я умоляю ее никогда больше ни со мной, ни с братьями не вступать ни в какие угодно объяснения. <...> Но, главное, я умоляю тебя на коленях — удали ее из Каменки, сделай это ради всего святого в мире; это необходимо для твоего и моего спокойствия. <...> Скажи Антонине Ивановне, что я предлагаю ей самые искренние дружеские отношения в том смысле, что с радостью беру на себя заботы о ее благосостоянии. Я это буду делать с радостью, ибо, повторяю это с полной искренностью, признаю себя виноватым перед ней (мы уже знаем, как он понимал свою вину. — А. П.) <...> Боже мой! Что же мне сделать, чтоб вы, мои близкие, мои горячо любимые, не платились за мое безумие! Научи меня, что мне сделать! Требуй от меня всего на свете — кроме одного; я на все готов!»

В письме сестре от 12 ноября, находясь под впечатлением очередного послания от «гадины», Чайковский буквально разразился истерикой: «Она все просит меня объяснить ей, почему я не остался жить с ней, и уговаривает сказать ей **все** откровенно. Но я, ей-богу, не имею ничего сказать ей, кроме того, что уже было сказано много раз. Я себя признаю виноватым, я отдаю справедливость ее хорошим намерениям и ее искренности и честности, но я не могу с ней жить. Она выражала Толе подозрение, что мой человек Михайла (старший брат Алексея Софронова. — А. П.), лишившийся места вследствие моей женитьбы, ходил к колдунье и посредством ее чар вложил в мое сердце ненависть к ней (Антонине Ивановне временами не откажешь в изобретательности! — А. П.). Не могу же подтвердить этого! <...> А[нтонина] Ивановна] в сегодняшнем письме пишет мне, что любит меня больше всего на свете. Я ее прошу доказать мне это на деле. А доказать это она может, перестав на разные лады

растравлять мои раны. Сегодняшнее письмо написано в самом любящем тоне. Оно очень длинно, полно самых благородных чувств, но тем не менее она спрашивает, за что я так безжалостно поступил с ней, чем она это заслужила! Господи! С какой же высоты, на какой же площади нужно мне тысячу раз говорить: нё за что, нё за что, нё за что, виноват, виноват, виноват! Когда же наконец это кончится! Вот что, Саша! Я должен побороть мою скромность и сказать тебе следующее. Кроме того, что я муж Антонины Ив[ановны], безжалостно с ней поступивший, кроме того, что она ни в чем не виновата, что она бедная (несколько слов вырезано в подлиннике. — А. П.) и т. д. и т. д., а я полусумасшедший и безжалостный тиран ее, есть еще одно обстоятельство. Я артист, который может и должен принести честь своей родине. Я чувствую в себе большую художественную силу. Я еще не сделал и десятой доли того, что могу сделать. И я хочу всеми силами души все это сделать. Между тем я не могу теперь работать. Взгляни, пожалуйста, на мою историю с А[нтониной] Ивановной] с этой стороны. Скажи ей, чтобы она перестала терзать меня упреками и угрозами лишить себя жизни. <...> Я болен и, клянусь тебе, близок к сумасшествию. Заклинаю ее дать мне возможность успокоиться и начать работать как следует. <...> Она сделалась теперь самым безжалостным палачом моим (слова вырезаны в подлиннике. — А. П.) всю великость того (вырезано в подлиннике. — А. П.) ты хочешь мне сделать. Но для моего полного успокоения одно только средство: дать мне немножко позабыть все то, через что я перешел в последнее время. А для этого нужно, чтоб Антонина Ивановна перестала пытаться доискиваться до причин нашего разрыва. Пусть она будет моим другом, но не нужно, по крайней мере, теперь возвращаться все к тому же: зачем, за что, отчего и т. д. и т. д. Я сам знаю, зачем и за что. Еще просьба. А[нтонина] Ивановна] пишет мне, что если она расстанется с тобой, то ей останется только покончить с собой. Таким образом мне теперь приходится просить тебя, чтоб ты оставила ее у себя. Ведь все равно я теперь долго еще не возвращусь в Россию, и поэтому ее присутствие у тебя не повлечет отдаления моего пребывания среди вас». Последнее заявление — красивый жест. Как мы увидим, он хотел, чтобы «гадина» убралась из Каменки как можно скорее.

В начале ноября братья Чайковские путешествовали. Из Клапана они отправились в Париж, где Петр Ильич посетил врача, чтобы проконсультироваться по поводу катара желудка. Однако веселиться в Париже не смог, «...чтобы веселиться, нужно иметь более спокойное состояние духа», — писал он Модесту V14 ноября. Из Парижа братья отправились во Флоренцию, затем в Рим, Венецию и Вену. В конце ноября

к ним присоединился Котек, чье сочувственное участие в период матримониальной драмы Петра Ильича чрезвычайно усилило их взаимную привязанность. Как мы помним, именно Котек возбудил настоящий интерес фон Мекк к Чайковскому. Обрадованный его приездом композитор послал Надежде Филаретовне очередной хвалебный гимн ему из Вены 23 ноября/5 декабря 1877 года: «Здесь находится теперь наш общий приятель Котек, с которым мне очень приятно было увидеться. Я имел много доказательств его самой искренней дружбы ко мне, и в прошлом году я очень близко с ним сошелся. Мне кажется, что в нем много хорошего, и сердце у него очень, очень доброе. Он первый научил меня любить Вас, когда еще я и не думал, что буду когда-нибудь называть [Вас] своим другом».

К этому времени отношения между Котеком и Надеждой Филаретовной резко охладились. Чайковский тщетно пытается исправить положение: «Котек, хотевший сегодня уехать вечером в Берлин, чувствует себя нездоровым, и я не хочу его оставить одного. Он так много выказывал мне беспредельной дружбы, что я не могу не платить ему тем же. Мне бы очень приятно было бы когда-нибудь распространиться в письме к Вам об этом добром, милом и талантливом мальчике, но не скрою от Вас, что меня стесняет боязнь коснуться предмета разговора, быть может, неприятного для Вас. Я до сих пор хорошенько не знаю, в чем он виноват перед Вами; но из некоторых признаков заключаю, что он как будто чувствует себя виноватым. Между тем я очень привязался к нему, и мысль, что он Вам, может быть, чем-нибудь досадил, просто тяготит меня. Что касается его отношения к Вам, то достаточно сказать, что еще до того, как я познакомился с Вами, я уже питал к Вам самую горячую симпатию вследствие всего того, что он говорил мне про Вас. У него очень хорошее сердце и много искренности. Эта искренность, доходящая часто до наивности, всего более мне и нравится в нем».

Заступничество успеха не имело. Фон Мекк даже не отреагировала на этот пассаж. Причина опалы Котека заключалась в его амурных похождениях в доме его покровительницы. В переписке композитора встречаются упоминания об отчаянном донжуанстве молодого человека, который время от времени даже раздражал Чайковского, в этом отношении очень терпимого, например: «после спектакля Котик бежит за девками, а я сижу в Safe на чистом воздухе», «особенно меня злит совершенно небывалая в нем прежде женолюбивость».

Такой разгульный образ жизни молодого человека не устраивал Надежду Филаретовну — мать одиннадцати детей, окружённую множеством молодых женщин. Котек, при всем своем шарме, страдал

нервными срывами, которые вкупе с известной мнительностью и периодами мизантропии Петра Ильича, не могли не отражаться на их отношениях.

Как правило, композитор встречался с Котеком теперь за Границей, где тот пребывал почти безвыездно. В упоминаниях об этих встречах немало раздраженных и нетерпеливых нот, характерных для Чайковского, в высшей степени подверженного влиянию настроения. Впрочем, за ними немедленно следуют раскаяние и похвала. В общем же эмоциональном балансе отчетливо превалируют привязанность и симпатия: «К нам приехал из Берлина Котик, в которого я только оттого опять не влюблен до безумия, что у него изуродованный палец. Что это за милое, наивное, искреннее, ласковое, доброе создание! Это в полном смысле слова очаровательное создание! Стоило бы ему только всегда носить перчатку на больном пальце, чтобы я с ума сходил от любви к нему».

Хотя и нельзя исключить, что Котек по доброте душевной иногда мог позволять учителю по отношению к себе какие-то вольности, их отношения напоминали скорее отцовско-сыновние со всем спектром, свойственным таковым — от нежности до раздражительности и борьбы самолюбий. Вот характерный пассаж из письма Анатолию: «Знаешь, что мне приходит в голову. Живя на чужой счет, я подаю дурной пример Котику. И он это очень наивно выразил в одном из своих последних писем: “Если ты меня будешь упрекать за то, что я обратился к m-me Мекк, то я тебе скажу: а ты-то сам!!!” Эта фраза мне весьма не понравилась, так же как и следующая: “Итак, я остаюсь в Берлине и буду жить на двести пятьдесят франков, которые буду получать от той самой особы, которая тебе дает тысячу пятьдесят франков”. Эта фраза звучит как-то странно, каким-то упреком! Дескать, уж много больно тебе! Вообще, я не знаю, хорошо ли делает он, решившись остаться за границей. Придется его выписать и поговорить обстоятельно. Так трудно теперь мне давать ему советы. Он спрашивает меня, следует ли ему остаться в Берлине, чтобы учиться у Иоахима. Если бы я даже находил, что не следует, могу ли я высказать это? Ведь он скажет, что я говорю это, жалея ему денег?»

Не исключено, что одной из причин негативных эмоций Надежды Филаретовны по отношению к этому молодому человеку была ее неосознанная ревность: ведь он был едва ли не единственным предметом столь хвалебных излияний со стороны «драгоценного Петра Ильича»; к прочим лицам, удостоенным композитором особых похвал, — к его родственникам или к глухонемому ребенку Коле Конради — не имело смысла, а болезненно реагировать на привязанность его к слуге Алексею,



вероятно, было бы ниже ее достоинства.

Женитьба Чайковского и события, последовавшие за ней, еще больше сблизили братьев во время их пребывания за границей. Анатолий Ильич оказался главным действующим лицом в момент тяжелого психологического срыва композитора и неотлучно находился при нем в течение двух месяцев, пока его не сменил Алеша Софронов.

Вот письмо Чайковского, отправленное брату вслед 1/13 декабря 1877 года: «Что это был за ужасный день (отъезда Анатолия. — А.П.)! Когда мы пришли домой и твоя комната оказалась пуста, то сердце у меня болезненно сжалось, и это сжимание шло crescendo до вечера. Мы целый день просидели дома. Расставшись с Котеком и очутившись один, я впал в состояние совершенно безумной тоски, которая была тем более ужасна, что я наверное знал, что и ты тосковал обо мне. Возвратившись домой в самом отвратительном состоянии, я был встречен Алешей и тотчас же, как и следовало ожидать, подвергся сильнейшему истерическому припадку. Я целый день боролся со слезами и очень желал остаться победителем, но тут, увидя опустелые комнаты и сознавши всю великость утраты, которую я сделал с твоим отъездом, я потерял силу владеть собой. <...> Пробуждение было очень грустное. <...> Очень сожалею, что не уговорился телеграфировать тебе в Волочиск, а тебе не велел телеграфировать мне из Волочиска. Несколько строчек от тебя могли бы очень успокоить меня. <...> Толя! Мне бы хотелось словами выразить тебе, как я тебя люблю, но нет слов. Это бездонная пропасть любви. Если мои эгоистические выходки оставили в тебе неприятное воспоминание, то разгони их, ибо припадок эгоизма прошел. Я достаточно наказан всем тем, что испытал вчера, испытываю сегодня и еще буду несколько времени испытывать. <...> Вчера вечером была минута, когда я чуть было не решился ехать в Россию сейчас же: до того ужасно мне казалось остаться здесь без тебя».

В тот же день Анатолий писал старшему брату: «Когда двинулся поезд, я всячески старался уговорить свои волнения, чтоб не разреветься, и все обошлось благополучно. Немец, сидевший со мной, не был свидетелем моей позорной бабской слезливости. <...> Единственной задачей моей жизни будет теперь забота устроить возможным твое возвращение в Россию. <...> Я прекрасно знаю и понимаю, что нужно, чтоб это было возможно. Целую тебя. Как я люблю тебя, ты и представить себе не можешь».

Несмотря на эмоциональные излияния, которыми пестрят письма этому брату, Петр Ильич, как и ранее, не строит иллюзий по поводу особой одаренности Анатолия, обнаруживая в нем не столько интеллектуальные,

сколько человеческие качества. Например, он пишет ему из Флоренции 14/26 февраля 1878 года: «Пожалуйста, дорогой мой, воспрянь духом, не бойся сравнения ни с кем. Примирись с тем, что есть люди более умные и более талантливые, чем ты, но проникнись убеждением, что у тебя есть та гармония... и эта гармония ставит тебя безгранично выше большинства людей. Ну, что толку в том, что Ларош умнее нас с тобой? Что толку в том, что Апухтин остроумнее нас с тобой? Я бы бросился в реку или застрелился, если бы Ларош и Апухтин вдруг сделались моими братьями, а ты приятелем».

Любимый слуга присоединился к Петру Ильичу и Анатолию в Вене 28 ноября 1877 года, как раз накануне возвращения младшего брата в Россию. Из писем Модесту видно, как остро тосковал об Алеше композитор и как он мечтал о его приезде. Заметим, что в переписке с фон Мекк он словно стремится оправдать свое решение «выписать» слугу: «По временам мне приходит мысль, что с моей стороны не совсем благоразумно выписывать слугу из России. А с другой стороны, что же мне делать, если я знаю, что абсолютного одиночества перенести не могу? Кроме того, я знаю, что и братья будут покойны, если я буду не один. Не правда ли, что и Вы тоже советуете мне обеспечить себя от безусловного одиночества? Впрочем, Вы даже писали мне уже об этом». Этот апологетический тон объясняется двояко — с одной стороны, финансовыми соображениями (в конце концов, его слуга должен был жить за границей за счет все той же Надежды Филаретовны), с другой — угрызениями совести, что, поддаваясь любовному томлению, он поступает в отношении своей благодетельницы не слишком хорошо.

В такой мнительности нетрудно усмотреть характерную черту темперамента Чайковского: многочисленные фобии развивались у него в зависимости от настроения без всяких на то оснований. Возможно, именно этими внутренними подозрениями и заботами объясняются его навязчивые запрашивания мнений корреспондентки, если речь шла о чем-нибудь, пусть лишь отдаленно сопряженном с его секретом. Он и в данном случае опасался, как бы желание его не было истолковано ею в неподобающем смысле. Эта осторожная — и в то же время очевидная — попытка оправдаться была излишней. Фон Мекк благоволила к Алеше и спустя несколько лет даже посылала ему не только приветы, но и подарки.

Воссоединившись с любимым слугой, композитор в письмах братьям не переставал воздавать ему хвалу. Так, он пишет Анатолию сразу после его отъезда: «Если бы ты видел то нежное участие, которое выказал мне Алеша, то ты бы, может быть, более оценил его», «конечно, ты спросишь: а

что ж Алеша? Алеша очень мил, ласков, услужлив; конечно, мне было бы во сто раз хуже без него, но он не может заменить мне тебя, ибо как я его ни люблю, а все же это не то; по крайней мере в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь, мне его мало. Ах, как мне грустно», «хорошо, что я завтракаю и обедаю вместе с Алешей. Последний держит себя прелестно. Он нисколько не скучает; утешает и старается веселить меня, когда я тоскую, читает, занимается арифметикой и пишет так же много писем, как и я. Дворцом дождей он очень восхищался. Вообще, я очень, очень им доволен». При мнительных и панических боязнях возможных болезней — первая мысль: «Что тогда мне делать? Что станется с бедным Алешей?». «Что меня радует, так это то, что Алеша так мил, так весел. Об нем вовсе не приходится заботиться. Он всегда занят, нисколько не скучает, охотно остается один дома, когда я совершаю свою ежедневную одинокую прогулку. Он чрезвычайно хорошо понял, что мне от него нужно теперь, и удовлетворяет с лихвой всем моим требованиям».

Первое время, до отъезда в Европу, Чайковский держал Модеста в неведении относительно своей матримониальной катастрофы. Мотив понятен: его брачная некомпетентность с самого начала подорвала затею с женитьбой, имевшую, как мы видели, характер дидактический, с Модестом в главной роли. Однако «дидактический» маневр не удался. «Не ожидай от меня описания всего пережитого мной в истекшем месяце, — писал ему Петр Ильич 5 октября. — Я не могу еще без жгучей боли вспоминать об ужасах, через которые я перешел. Когда-нибудь расскажу. <...> Прощай, мой милый и дорогой Модя. О, как я тебя люблю и как мне тяжело будет так долго жить без тебя». Младший брат, очевидно, отговаривавший его вообще от какой бы то ни было брачной авантюры, восторжествовал.

Со временем их отношения вновь обрели доверительность. Композитору пришла в голову идея скрасить свое одиночество, предложив Модесту присоединиться к нему вместе с Колей. 27 ноября 1877 года он пишет из Рима: «Несмотря на то, что Алеша должен приехать и что я буду не один, мне этого мало. Мне нужно тебя и Колю! О многом хотелось бы поговорить с тобой, да сегодня я собрался написать разом несколько писем, и потому не хочется вдаваться в подробности. К тому же, я надеюсь, что это письмо уже последнее к тебе и что скоро увидимся. Ах, боже мой, какое это было бы для меня блаженство! Я бы совершенно воскрес духом!»

Воспламененный призывом, Модест начал уговаривать старшего Конради; одновременно и Петр Ильич обратился к Колиному отцу. Вот как сам он описывает это в письме к фон Мекк от 5/17 декабря 1877 года: «Когда брат Анатолий уехал и я, проводив его, остался в Вене, на меня

нашла отчаянная тоска. Вдруг в голове блеснула мысль, которую я тотчас же привел в исполнение. Я написал Конради письмо, прося его извинить меня, если просьба безумна, и, в случае неисполнения моего желания, ничего не говорить об этом брату. В письме этом, говоря о своем одиночестве, я прямо прошу Конради послать за границу своего сына с братом. Мальчик очень слабенький, и ему прежние зимние поездки приносили много пользы. Я употребил все свое красноречие, чтоб убедить Конради. Результатом этого была следующая телеграмма, полученная мною вчера от брата: “Tu as vaincu Conrady. Pars apres couches avec Nicolas a l’etranger” (Ты победил Конради. Отправляюсь с Колей за границу после родов, — **фр.**). Чтобы Вы знали, что означает apres couches, я должен прибавить, что m-me Конради на днях должна разрешиться от бремени. Само собою разумеется, что родители мальчика не могут отпустить его, пока у него не появится брат или сестра. Итак, недели через две-три я буду иметь возможность жить с милым братом и его учеником, которого я ужасно люблю. Нельзя себе представить, до чего этот бедный ребенок мил, умен, добр, нежен. Его привязанность к брату выше всякой меры. Видеть их вместе трогательно. Я донельзя счастлив!!!» В письмах Анатолию мера этого счастья дипломатически умалчивается.

Неделя проходила за неделей, и, поддерживаемый компанией сочувствующих Анатолия и Котека, затем Алеши, а вскоре Модеста и Коли Конради, Чайковский постепенно начал успокаиваться. Он даже смог снова приступить к работе, и, когда телеграмма Модеста возвестила о дне их с Колей прибытия, засел за оркестровку Четвертой симфонии. Тем временем из Каменки пришло хорошее известие: его сестра наконец решилась выдворить Антонину. В письме от 4/16 декабря композитор делится с «лучшим другом» радостной новостью: «Он [Анатолий] уже в Каменке. Он телеграфирует, что все устраивается как нельзя лучше и что жена моя покидает, наконец, мою бедную сестру. Последняя обрадовала меня вчера длинным письмом. Она мало-помалу пришла к заключению, что, в конце концов, всякий, имевший бы безумие сочетаться браком с моей женой, ничего другого не мог бы сделать, как убежать от нее. Сестра долго боролась. В лице моей жены она сначала видела только оскорбленную и покинутую женщину и кругом обвиняла меня, несмотря на всю свою любовь и жалость ко мне. Она даже вообразила себе сначала в моей жене разные качества и достоинства, которых в ней не оказалось при ближайшем знакомстве. Она, впрочем, не заметила в ней и каких-нибудь крупных нравственных недостатков, нет, но именно то отсутствие всякого присутствия, которое может быть хуже, чем какой-нибудь положительный

недостаток. То же самое пишет мне и мой зять. Оба эти письма доставили мне много удовольствия. Вследствие своей доброты и жалости к женщине, в самом деле жалкой, они оба сначала очень странно отнеслись ко мне, все стараясь дать мне понять, что я много наделал ей зла, точно будто я себя признавал ни в чем не виноватым. Сколько я им ни писал, что я сознаю всю неизмеримость своей, впрочем, невольной вины, они оба продолжали ставить мне на вид безумие моего поступка. Наконец теперь только они признают, что раз сделавши глупость, мне ничего другого не оставалось, как бежать. Сестра прямо говорит, что сначала она никак не могла простить мне, что, испортив свою жизнь, я испортил в то же время жизнь невинной и любящей женщины. Теперь она поняла, что любви никогда не было; было только желание выйти замуж».

О финале грустной эпопеи, разыгравшейся в Каменке, мы узнаем из письма Чайковского фон Мекк от 24 декабря 1877/ 5 января 1878 года: «Вчера я получил письмо от брата Анатолия. Он теперь уже в Петербурге. В Каменке он провел 5 дней. Он, наконец, выпроводил мою жену из Каменки! Слава Богу — у меня гора с плеч свалилась! Она изъявила желание идти в сестры милосердия. Сестра, зять и Толя очень обрадовались этому. Они не без основания предположили, что она влюбится там в кого-нибудь, захочет выйти замуж и потребует развода. Это было бы лучше всего для меня. Но желание это осталось только в течение нескольких дней. Брат начал было хлопотать, но она объявила ему (в Москве), где он провел дней 5, что более не хочет быть сестрой милосердия. Она живет теперь в Москве, дальнейшие ее планы мне неизвестны, но я молю Бога, чтобы она к будущему учебному году выбрала другую резиденцию. Встречаться с ней будет очень неловко и щекотливо».

После этого Надежда Филаретовна предложила Чайковскому вернуться в Россию. В ответ он объясняет, почему не может этого сделать: «Вы совершенно правы, что лучше всего было бы мне вернуться в Россию. И между тем, это теперь невозможно, ибо некуда. В Петербург я не хочу и не могу ехать, потому что не могу жить там, не видя отца, а видеть его теперь мне нельзя. Вы знаете, что я женился отчасти, чтобы осуществить его давнишнее желание видеть меня женатым. Когда случилось мое бегство из Москвы, моя болезнь и отъезд за границу, все это пришлось от него скрывать, и до сих пор он не знает хорошенько, в чем дело. Ему только сказали, что у меня расстроились нервы и что я уехал ненадолго за границу с братом, потому что жена моя, по своим делам, не могла уехать, хотя при первой возможности и собирается ехать. Это ему очень не понравилось, и насилу могли успокоить его. Настоящую правду едва ли он когда-нибудь

узнает. Мне трудно было бы лгать ему в глаза, и на его расспросы о жене и почему я живу без нее (она ему очень понравилась), я бы должен был, наконец, сказать правду, а говорить правду ему страшно. Бог знает, как это на него подействует. Вторая причина, почему я не хочу ехать в Петербург, это та, что мне нужно там, так же как и в Москве, прятаться от огромного количества знакомых, родных, приятелей и т. д. Это тяжело, а прятаться необходимо: я в таком состоянии, что, кроме самых близких людей, не могу без ужаса и невыносимой тоски встретиться ни с кем. Третья причина: я ненавижу Петербург, и один вид его наводит на меня хандру и уныние. Про Москву и говорить нечего. Ехать мне теперь в Москву все равно, что обречь себя на сумасшествие. Трудно передать Вам, дорогая Надежда Филаретовна, те ужасные муки, которые я там вынес в сентябре. Я был на волос от гибели. Рана слишком свежа еще. Я могу жить в Москве (которую очень люблю) только в обычной обстановке, т. е. заниматься в консерватории, видясь ежедневно с целой массой людей, имеющих до меня дело, — ко всему этому я еще не приготовился. Я еще болен, я не могу всего этого вынести».

«Внезапный отъезд Петра Ильича из Москвы, а потом и за границу произвел некоторое впечатление, и об этом событии рассуждали и вкривь и вкось, — вспоминал Кашкин. — Большинство даже консерваторского персонала, за исключением, разумеется, ближайшего к Чайковскому кружка, относилось как-то очень легко к происшедшей перемене в его жизни, видели в этом какой-то забавный анекдот. Те, кого я называю ближайшими друзьями Петра Ильича, очень мало знали сущность дела, и то по рассказам различных лиц, но так легко, как остальные, к этому делу не относились». 9 ноября 1877 года (то есть еще до своего приезда) Модест писал брату в Кларан: «Я так бываю счастлив, так доволен получать (твои письма) так часто, с такою гордостью сообщаю всему Петербургу наисвежайшие новости на твой счет. Говоря “весь Петербург”, я не преувеличиваю. Твоя болезнь страшно популярна здесь и служит вместе с военными известиями предметом разговора, начиная от гостиной вел. кн. Константина Николаевича и кончая столбцами газеток, вроде “Петербургского листка”. Почти во всех газетах было помещено, не знаю кем, опровержение слуха о том, что ты будто с ума сошел, с обозначением даже Кларанса как места твоего пребывания на зиму. Люди, с которыми я едва знаком, останавливают меня на улице и в театрах, чтобы спросить о тебе, и все, кого ни вижу из хороших знакомых, спрашивают об адресе твоём, чтобы написать тебе. Я призадумался бы писать тебе об этом шуме, наделанном твоею болезнью, зная, как ты не любишь заставлять говорить о

себе вне твоей музыкальной деятельности, если бы я в этом всеобщем интересе к тебе в большинстве случаев не находил очень много сочувствия и большого участия». Через месяц Модесту вторит вернувшийся в Россию Анатолий: «В Москве теперь, конечно, было бы тебе неприятно. Сплетен столько, что и не приведи бог. Все они, правда, в твою пользу, да что ж из этого. Я все-таки понимаю, что тебе было бы здесь неловко, неприятно».

Благодаря усилиям родных и близких настоящий скандал так и не разразился, но композитору с его горячечным воображением еще несколько месяцев на каждом шагу чудились интриги и гул осуждающей толпы, на самом же деле общественное мнение столиц (это следует из писем братьев) приняло сторону бежавшего супруга. Тем не менее он долго был убежден, что окружающие настойчиво желают выяснить действительные причины расставания супругов, догадываясь о его гомосексуальности. Кроме того, Петр Ильич оказался в весьма неудобном положении и перед Модестом, для которого он стремился быть примером поведения, и перед своими друзьями, от которых он скрыл свой брак. Понимая правоту тех, кто советовал ему не жениться, он испытывал невыразимый стыд. Эти страхи и подозрения стали причиной дальнейшего обострения его невроза, им самим называемого «мономанией». Чайковский писал Николаю Рубинштейну из Рима 9/21 ноября 1877 года: «Но ради Бога, не зови меня до будущего сентября в Москву. Я знаю, что кроме ужасных нравственных страданий ничего там теперь не найду и, несмотря на всю мою привязанность ко всем вам, буду погибать от мысли, что про меня говорят, на меня указывают и т. д. Словом, моя мономания еще не прошла».

В октябре Чайковский получил через Рубинштейна предложение стать делегатом музыкального отдела на Всемирной выставке в Париже 1878 года. Поколебавшись, он 1/13 января ответил ему отказом, сославшись на те же обстоятельства: «Ты знаешь причину моей мономании. Ведь в Париже, в каждом новом знакомом, а их у меня явилось бы там множество, я бы стал подозревать людей знающих про меня то, что я так долго и тщательно хотел скрывать. Это бы меня совершенно парализовало. Ну, словом, я болен, я сумасшедший, я не могу жить нигде, где нужно выдвигаться, лезть и обращать на себя внимание». Композитор, именуя «мономанией» навязчивое подозрение окружающих в интересе к его неортодоксальным сексуальным вкусам, видимо, отдавал себе отчет, что его состояние не отражает объективной реальности и что это психологическое расстройство временно.

Друзья пытались его приободрить. Одним из первых ему написал в Кларан все тот же Николай Рубинштейн: «Старайся успокоиться, береги

здоровье и никого и ничего не бойся, ты слишком хорошо и высоко поставлен как музыкант, чтобы что-нибудь постороннее могло тебя компрометировать».

Сохранилось также письмо Апухтина от 25 октября 1877 года, обиженного невниманием со стороны Чайковского во время пребывания последнего с женой в Петербурге. Узнав о психологических проблемах композитора (вероятно, от Кондратьева или Мещерского), он пишет: «Вообще, голубчик Петя, ты придаешь слишком большое значение разным толкам и пересудам. Я сам страшно бесился, встречая в газетах подлые инсинуации на мой счет, и это понятно, потому что меня они находили безоружным: что мог [я] противопоставить им, кроме дилетантской известности в весьма небольшом кружке? Но чтобы ты, чьим именем будет гордиться страна, в которой ты родился, преклонял голову перед разными иксами и зетами, — это непонятно и бессмысленно! Согласись, что много комичного было бы в положении орла, конфузящегося перед червяками и гадами. Да уйди от них ввысь, в твою творческую высь, откуда тебе они не только не будут видны, но где ты должен игнорировать их существование, и брось оттуда новую “Бурю” или “Ромео”: пускай тяжесть твоей славы раздавит этих прохвостов! Если ты возразишь мне, что художник не может жить исключительно в самом себе, я напому тебе, что на свете живут тысячи твоих горячих поклонников, а между ними много искренних друзей, которым дороги ты и твоя слава и которым все равно, под каким соусом ты любишь спаржу: под кислым или сладким или жирным. Приободрись, милый мой Петя, подними голову и смотри всем в глаза гордо и смело. Верю, что жить тебе тяжело, но стыдиться нечего. Ты не сделал ничего бесчестного, главная ошибка твоей жизни была уступкой для нее же, этой подлянки, называемой общественным мнением! Загляни в историю искусств: люди, как ты, никогда не пользовались счастьем, но без них человечество лишилось бы лучших своих наслаждений». Апухтин, хорошо зная Чайковского и стараясь ему помочь, точно оценил ситуацию своего друга, его боязнь толпы и общественного мнения, которому он сделал уступку, решившись вступить в брак.

Даже Надежда Филаретовна не могла не среагировать на мнительность композитора, толком не зная ее причины: «Но, милый друг мой, запаситесь твердостью и равнодушием ко всем нападкам и упрекам. <...> Сделайте как я, мой милый друг: меня не один человек, а сотни людей критикуют, осуждают и обвиняют и лично и вообще, по своим взглядам. Я несколько не смущаюсь и не волнуюсь этим, не стараюсь ни одним словом и ни одним шагом ни оправдываться, ни разуверять людей, во-первых, потому,



что понятия бывают различны, а во-вторых, для того, чтобы не отнимать у людей удовольствия. И я нисколько не в претензии на людей, потому что, осуждая меня, они правы со своей точки зрения, а разница в том, что у нас точки отправления различные». Или в другом месте: «...а уж перед общественным мнением ничто не устоит, перед фразой “что подумают об этом люди” все сводится к одной доктрине уважения общественного мнения. Ну, как же мне не тосковать, когда у меня так диаметрально противоположны взгляды общелюдским? А я бы презирала себя, если бы подделывалась под общественное мнение и изменила бы в чем бы то ни было свои поступки из боязни того, как найдут это люди». И далее в том же письме: «Я же не подкупаюсь этим ничем (общественным мнением, судом света, отношением к себе людей. — А.П.), хотя и чувствую, что один в поле не воин. Бывает жутко подчас, но моя вера поддерживает меня, я не склоняю голову ни перед несправедливостью, ни порицанием, ни даже перед насмешкою (которой так бояться все люди), я не боюсь ничьего суда, кроме своего собственного, и я уже говорила Вам, что меня даже ничто не раздражает, я не виню людей: они по-своему правы». Чайковскому, столь болезненно переживавшему свое бегство из России и ощущавшему себя едва ли не загнанным зверем, ничего не оставалось, как преклониться перед этой позицией: «Мне нравится Ваше горделивое отношение к общественному мнению. Когда я был в своем нормальном состоянии, когда я еще не был надломлен, как теперь, уверяю Вас, что мое презрение к “qu'en dira-t-on” было, по меньшей мере, так же сильно, как Ваше. Теперь, сознаюсь, я как будто стал чувствительнее в этом отношении. Впрочем, я болен, т. е. болен нравственно».

Корреспонденты, конечно, рассуждают здесь о разных вещах: Надежда Филаретовна, скорее всего, об интригах против нее в деловых кругах; Петр Ильич — видимо, об усилившихся после краха женитьбы слухах о его гомосексуальности. Тем не менее стоит отметить: фон Мекк в суждениях вопреки общепринятым взглядам была достаточно самостоятельной, чтобы во имя своих привязанностей (особенно такой сильной, как ее привязанность к Чайковскому) пренебречь, если это потребуется, его сексуальной неортодоксальностью. По всей вероятности, среди беспокойств композитора особенно мучительным должен был быть страх — как бы она не узнала правду о его сексуальных пристрастиях. Трудно, однако, представить, что на протяжении всех 13 лет их эпистолярной дружбы она пребывала в полнейшем неведении на этот счет: у него хватало недоброжелателей, а она, по собственному ее признанию, интересовалась любой информацией о нем. Как мы увидим позднее, обстоятельства их

разрыва не предполагали неожиданного и шокирующего обнаружения ею позорных фактов. Возможно, она просто в некий момент исключила эту проблему из круга своих размышлений — либо примирившись с ней в силу независимости своих взглядов, либо внутренне отказавшись уверовать в доходявшие до нее слухи, даже если они подтверждались. Конечно, было бы интересно узнать, усматривала ли она именно в этом причину брачной катастрофы. Человек проницательный (а также настроенный мыслью на соответствующую волну) мог бы вычитать немало между строк, выливавшихся из-под его пера. Хватило ли у нее такой проницательности, и были ли мысли ее настроены соответствующим образом, неизвестно.

Что же касается Чайковского, то лишь в одном из сохранившихся его писем содержится намек на томления по этому поводу (да и то на раннем этапе их отношений) — в письме Анатолию от 24 декабря 1877/5 января 1878 года. Примечателен факт отсутствия каких-либо тревог на сей счет с его стороны за весь последующий период. «Я уже вообразил, что она (Надежда Филаретовна. — А. П.) меня разлюбила, что она узнала про то и хочет прекратить всякие сношения. До сегодняшнего утра я был даже уверен в этом. Но получил именно сегодня утром письмо от нее, и такое милое, такое ласковое, с такими искренними изъявлениями любви. Хороший человек эта Филаретовна!»

Он встретился с Модестом и Колей Конради в Милане 27 декабря 1877/8 января 1878 года, о чем поспешил сообщить Анатолию: «Вчера в семь часов утра я выехал и вечером в семь часов был в объездах Модеста. Трудно пересказать, до чего это было приятно. Провели чудесный вечер, болтали, перебивали друг друга, я разузнал от него массу подробностей обо всех, и о тебе в особенности». 31 декабря 1877 года братья вместе с Колей и Алешей обосновались в Сан-Ремо, на чем, ради более благоприятного климата для сына, настаивал отец мальчика. Не обошлось, однако, без проблем: у Алеши обнаружилось серьезное венерическое заболевание. После долгих раздумий — отправлять Алешу лечиться в Россию, к Котеку в Берлин или пройти курс здесь, — братья, в конце концов, сошлись на последнем.

Весь январь прошел в тревогах и заботах по поводу лечения любимого слуги.

С приездом Модеста жизнь обрела обычный порядок, и это отразилось в письмах композитора вперемежку с периодическими панегириками глухонемому мальчику. «В девять часов воротились и присутствовали при куше (отход ко сну. — *фр.*) Коли. Остальное время провели, сидя в нашем салоне, болтая, перечитывая письма и читая. Модест с Колей составляют

пару людей, очень интересную и симпатичную. Трудно мне выразить, как я люблю Колю. Какое счастье иметь около себя такого ребенка! Как приятно его ласкать и лелеять», — писал он Анатолию 1/13 января 1878 года. «Я с каждым днем все больше и больше влюбляюсь в Колю. Ты его не знаешь так хорошо, как я, потому что тебе не приходилось с ним жить. Я не знаю ни одного ребенка с более приятным нравом, более нежного, мягкого. Ум его замечателен, но самая поразительная из его способностей — это память. Сегодня за обедом он меня положительно изумил своим знанием истории. <...> Сцены его с Модестом всегда дают ему случай выказывать его необычайную доброту, его привязанность к Модесту, желание угодить ему всячески. Он очень полюбил Алешу и целый день с ним возится и играет. Со мной он очень нежен и мил» (4/16 января).

В одном из более ранних писем к фон Мекк, от 24 декабря 1877/5 января 1878 года, Чайковский, наряду с привычными уже излияниями по поводу своего обожания Коли Конради, писал также и об отношении воспитанника к воспитателю: «А какой это чудный мальчик, Вы не можете себе представить. Я к нему питаю какую-то болезненную нежность. Невозможно видеть без слез его обращение с братом. Это не любовь, это какой-то страстный культ. Когда он провинится в чем-нибудь и брат его накажет, то мука смотреть на его лицо, до того оно трогательно выражает раскаяние, любовь, мольбу о прощении. Он удивительно умен. В первый день, когда я его увидел, я питал к нему только жалость, но его уродство, т. е. глухота и немота, неестественные звуки, которые он издает вместо слов, все это вселяло в меня какое-то чувство непобедимого отчуждения. Но это продолжалось только один день. Потом все мне сделалось мило в этом чудном, умном, ласковом и бедном ребенке».

В послании «лучшему другу» 10/22 января 1878 года Чайковский приводит фрагмент из дневника мальчика, который «брат заставляет его ежедневно писать». И воспитатель, и его брат фигурируют в нем под уменьшительными именами (например: «Позавтракав, я играл в шары, а Модя ушел нанять экипаж»; «возвращаясь после обеда, мы играли в крокет, и Петя рассказывал смешную историю»). Затем продолжает восхищаться способностями и характером ребенка, а также преподавательскими методами Модеста: «С прошлого года он сделал большие, огромные успехи. <...> Он меня изумляет своим знанием истории, т. е. лучше сказать, генеалогии и чередования всех возможных царей и королей. <...> Это не мешает ему быть большим шалуном. Но стоит Модесту нахмурить брови, чтобы он тотчас испугался, повиновался и просил прощения. Когда изредка он бывает не вполне послушен, то брат его наказывает только тем, что

несколько времени не говорит с ним. В таких случаях невозможно смотреть на него без слез. Он плачет и как-то жалостно жестом руки просит прощения. Нет худа без добра. Благодаря своему недостатку, будучи отлучен от общества других людей, он не научился ничему дурному. Он не знает, положительно не знает, что такое ложь, обман. Он не солгал ни разу в жизни. После целого ряда шалостей, беготни и возни он иногда впадает в какую-то особого рода задумчивость, из которой его трудно вывести. Здоровье его хорошо, но сложения он очень слабого и деликатного. Лицо очень симпатичное, и в глазах много ума и добродушия».

В мальчиках и юношах Чайковского привлекали особые черты, сочетание эротико-эстетических моментов. Так, во Флоренции он увлекся уличным певцом Витторио, обратив на него внимание еще в свой первый приезд с Анатолием осенью 1877 года. «Вообще в Италии я испытал два приятных музыкальных впечатления, — сообщается фон Мекк 16/28 декабря, — одно во Флоренции, — не помню, писал ли я Вам об этом. Мы с братом услышали вечером на улице пение и увидели толпу, в которую и пробрались. Оказалось, что пел мальчик лет десяти или одиннадцати под аккомпанемент гитары. Он пел чудным, густым голосом, с такою законченностью, с такой теплотой, какие и в настоящих артистах редко встречаются. Всего курьезнее было то, что он пел песню с словами очень трагического свойства, звучавшими необыкновенно мило в устах ребенка. <...> Это было прелестно».

Оказавшись во Флоренции с Модестом, в письме Анатолию от 14/26 февраля 1878 года он вспоминал об этом юном певце: «Вечером я ходил по набережной в тщетной надежде услышать где-нибудь знакомый чудный голосок. <...> Встретить и еще раз услышать пение этого божественного мальчика сделалось целью моей жизни во Флоренции. Куда он исчез? <...> Вечером я опять ходил до усталости по набережной, все в надежде увидеть моего милого мальчика. Вдруг вижу вдали сборище, пение, сердце забилося, бегу, и, о разочарование! Пел какой-то усатый человек и тоже хорошо, но можно ли сравнивать?» И 17 февраля/1 марта: «На Lung Amo я наткнулся на уличных певцов и прямо обратился к ним, не знают ли они нашего мальчика. Оказалось: знают и дали слово, что сегодня вечером он будет на Lung Amo в девять часов». 18 февраля/2 марта: «Вечером мне предстояло 1) rendez-vous и 2) встреча с певцом-мальчиком. Надежда увидеть последнего была так приятна, что превозмогла первую. Я отделался от любовного rendez-vous не без труда и весь отдался предстоящему впечатлению от пения нашего милого мальчика. Ровно в девять часов я подошел к месту, где должен был меня ожидать человек,

обещавший найти его. И этот человек был тут, и какая-то толпа других мужчин с любопытством ожидала меня, и центром всего этого был наш мальчик. Прежде всего, я заметил, что он немножко вырос и что он красив, тогда как мне с тобой показалось тогда, что он невзрачен. Так как толпа все увеличивалась и место людное, то я направился подальше по направлению к Кашино. Дорогой я изъясил сомнение, что это не он. “Вы услышите, когда я запою, что это я был. Вы мне тогда дали серебряный полфранка!” Все это говорилось чудным голосом и проникло до глубины души. Но что со мной сделалось, когда он запел? Описать этого невозможно. Я думаю, что ты не сильнее наслаждаешься, когда слушаешь пение Панаевой! Я плакал, изнывал, таял от восторга. Кроме известной тебе песни, он спел еще две новых, из которых одна *Pimpinella* — прелестная. Я вознаграждал щедро и его и аколитов его. Дорогой к дому встретил Модеста и очень сожалел, что это было без него. Впрочем, в понедельник утром мы имели в виду услышать его снова». 20 февраля: «Он явился в двенадцать часов в костюме по случаю последних дней карнавала, в сопровождении двух усатых аколитов, тоже в костюмах. Только тут я рассмотрел его. Он положительно красавец с невыразимо симпатичным взглядом и улыбкой. Слушать его на улице лучше, чем в комнате. Он стеснялся, не давал полного голоса. Я записал все его песни. Потом водил его сниматься. Карточки его будут готовы уже после нашего отъезда; одну из них я pošлю тебе». 22 февраля: «Витторио {мой певец} приходил с больным горлом и петь не мог. Это меня очень огорчило»; 25 февраля: «А Витторио? Один он сколько прелести придавал ей [Флоренции]!»

Мыслями о певце Витторио и его песенке «*Pimpinella*» Чайковский в те же дни поделился и с Надеждой Филаретовной: «Помните, я писал Вам из Флоренции про мальчика, которого слышал вечером на улице и который так тронул меня своим чудным голосом. Третьего дня, к моей несказанной радости, я нашел опять этого мальчика; он опять мне пел: “*Perche tradir mi, perche lasciar mi*” («Зачем изменять мне, зачем покидать меня». — ит.), и я просто изнывал от восторга. Я не помню, чтобы когда-нибудь простая народная песня приводила меня в такое состояние. На этот раз он меня познакомил с новой здешней песенкой, до того прелестной, что я собираюсь еще раз найти его и заставить несколько раз спеть, чтоб записать и слова и музыку. Приблизительно она следующая (воспевается какая-то *Pimpinella*, что это значит, не знаю, но узнаю непременно). <...> Как жаль мне этого ребенка! Его, очевидно, эксплуатируют отец, дяди и всякие родственники. Теперь, по случаю карнавала, он поет с утра до вечера и будет петь до тех пор, пока голос его пропадет безвозвратно. Уже

теперь в сравнении с первым разом голос слегка надтреснут. Эта надтреснутость прибавляет новую прелесть феноменально симпатичному голосу, но это не надолго. Родись он в достаточном семействе, он, может быть, сделался бы впоследствии знаменитым артистом».

Упоминание Чайковского, помимо встречи с Витторио, о «rendez-vous» снова отсылает нас к сфере его сексуальных увлечений. В письме Анатолию от 18 февраля/2 марта, написанном в форме дневника за несколько дней, говорится о знакомстве во Флоренции с молодым человеком, предлагавшим интимные услуги: «На возвратном пути домой (мы живем далеко от набережной) я был преследуем юношей необычайной классической красоты и совершенно джентльменски одетым. Он даже вступил в разговор со мной. Мы прогулялись с ним около часу. Я очень волновался, колебался и, наконец, сказав, что меня ждет дома сестра, расстался с ним, назначив на послезавтра rendez-vous, на которое не пойду». Однако перед встречей Чайковский «весь день мучился и колебался. Вечером у меня было назначено rendez-vous. Вот уж поистине: и больно и сладко. Наконец, решился идти. Провел чудеснейшие два часа, в самой романтической обстановке; боялся, млел, пугался всякого шума; объятия, поцелуи, одинокая квартирка далеко и высоко, милая болтовня, наслаждение! Воротился домой усталый и измученный, но с чудными воспоминаниями». На следующий день «после обеда шлялся в надежде встретить мою прелесть, но неудачно».

Уже к концу 1877 года сильное психическое возбуждение постепенно стихло. Композитор был способен теперь трезво осмыслить сложившуюся ситуацию. «Я знаю теперь по опыту, что значит мне переламывать себя и идти против своей натуры, какая бы она ни была», — писал он Рубинштейну 23 декабря 1877/6 января 1878 года. А 15/27 января 1878 года брату: «Толичка, мой милый! Я должен тебе сказать, что я чувствую себя превосходно; здоровье мое отлично. <...> С чисто физической точки зрения я совершенно здоров. Даже дрыганий (тпфу, тпфу, тпфу) больше нет. Сегодня мы совершили с Модей и Колей на ослах прогулку в горы, в городок Cola, где есть интересная картинная галерея. На возвратном пути я нарвал целый букет фиалок».

В начале февраля 1878 года, обращаясь к Анатолию, он подводит итог своим отношениям с Милюковой: «Я перестал трагически смотреть на А[нтонину] Ивановну] и на свою неразрывную связь с ней. Лишь бы только она оставила в покое всех моих близких и меня, пусть себе наслаждается жизнью. Но для того, чтобы она оставила нас в покое, нужно, чтобы ты перестал потворствовать ей и исполнил бы мою просьбу, изложенную в

последнем письме. <...> Платить, пожалуй, нужно все, чего она просит, но не даром, а требуя от нее, чтоб она не тревожила нас. Итак, пусть даст положительное обязательство держать себя подальше, — иначе она не получит ни х..». И в другом месте отмечает: «Чего мне еще бояться? Ее сплетен я не боюсь, да они будут идти своим чередом, во всяком случае».

Такое настроение явилось шагом к полному выздоровлению. И, несмотря на то что в дальнейшем истерические состояния, связанные даже просто с упоминанием Антонины, полностью не исчезнут, чувство непоправимости и безысходности, владевшее им в течение всей осени, уже никогда не вернется. Разумеется, Петр Ильич ненавидел сплетни о себе и часто тяжело переживал их, даже если они были самого невинного свойства. Несколькими месяцами позже, уже после возвращения в Россию, он случайно и инкогнито оказался в поезде слушателем разговора о себе самом двух попутчиков. Композитор описал этот случай фон Мекк 4—10 сентября 1878 года: «В вагоне, в котором я ехал от Киева до Курска, сидели какие-то господа, из коих один какой-то петербургский музыкант... Разговор шел о разных дрязгах и сплетнях музыкального мира. Наконец коснулись и меня. Говорили не о моей музыке, а обо мне и об моей женитьбе, о моем сумасшествии! Боже мой! До чего я был ошеломлен тем, что мне пришлось слышать. Не буду передавать Вам подробностей. Это целое море бессмыслицы, лжи, несообразностей. Дело не в том, что именно говорили. Мне невыносимо не то, что про меня лгут и говорят небылицы, а то, что мной занимаются, что на меня указывают, что я могу быть предметом не только музыкально-критических обсуждений, но и простых сплетен».

Чайковский был человеком незащищенным и ранимым, поэтому болезненно воспринимал подобного рода эпизоды. Однако он не мог не понимать, что в кругах, где он вращался, сплетни о нем были неизбежны, в том числе о его любовных связях. Это составляло неотъемлемую часть жизни. Приходилось мириться, и он мирился, впрочем, сознавая, что ситуация — эта ничем по-настоящему серьезным ему не грозит. Так, читаем в письме от 17/29 января 1878 года Петру Юргенсону: «А главное... я хочу летом жить в деревне и быть в России, ибо мне надоело, наконец, хотеть казаться не тем, что я есть! Надоело насиловать свою природу, какая она паршивая ни на есть. Вообще я теперь дошел вот до чего: хотите знайте, любите, играйте, пойте меня, украшайте меня лаврами, венчайте меня розами, курите мне фимиамы, а не хотите — насрать и наплевать! Т. е. это относится к публике, славе и т. п. дерьму».

Анатолию 6/18 февраля он признается: «Рекапитулируя (обозревая. —

фр.) все 7 недель, проведенных здесь, я не могу не прийти к заключению, что они принесли мне громадную пользу. Благодаря правильности жизни, подчас скучного, но всегда ненарушимого спокойствия, а главное, благодаря времени, которое залечивает всякие раны, я вполне выздоровел от сумасшествия. Я, несомненно, был несколько месяцев сряду немножко сумасшедшим, и только теперь, вполне оправившись, я научился объективно относиться ко всему, что наделал во время этого краткого сумасшествия. Тот человек, который в мае задумал жениться на А[нтонине] Ивановне], в июне, как ни в чем не бывало, написал целую оперу, в июле женился, в сентябре убежал от жены, в ноябре сердился на Рим и т. д. — был не я, а другой Петр Ильич, от которого теперь осталась только одна мизантропия, которая, впрочем, вряд ли когда-нибудь пройдет».

На протяжении всего этого времени — в Кларане, Венеции, Вене, Сан-Ремо и Флоренции Чайковский постепенно приходил в себя. Болезненное чувство позора, тоскливое ожидание пересудов и осуждения в конце концов притупились, хотя еще и не покинули его совсем. Приступ истерии, вызванный нелепым опытом брачной жизни, оказался весьма благотворительным: он стимулировал его творческую энергию и ускорил сильнейшую разрядку — высший предел творческого напряжения. Убежав от жены 24 сентября, уже через месяц Чайковский сообщал фон Мекк, что возвратился к работе над Четвертой симфонией.

Он писал ей 9/21 декабря 1877 года из Венеции: «Я не только усидчиво занимаюсь над инструментовкой нашей симфонии, но поглощен этой работой. Никогда еще никакое из прежних оркестровых моих сочинений не стоило мне столько труда, но и никогда еще я с такою любовью не относился к какой-либо своей вещи. Я испытал приятный сюрприз, принявшись за работу. Сначала я писал больше ради того, что нужно же, наконец, окончить симфонию, как бы это трудно ни было.

Но мало-помалу мной овладевало увлечение, и теперь мне трудно отрываться от работы. Дорогая, милая Надежда Филаретовна, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что эта симфония недюжинная вещь, что она лучшее из всего, что я до сих пор сделал. Как я рад, что она наша и что, слушая ее, Вы будете знать, что при каждом такте ее я думал о Вас. Если б не Вы, была ли бы она когда-нибудь окончена? В Москве, когда я думал, что для меня все кончено, я сделал на черновой рукописи следующую надпись, о которой забыл, и только теперь, принявшись за работу, нашел ее. Я надписал на заголовке: “В случае моей смерти поручаю передать эту тетрадь Н. Ф. фон Мекк”. Я хотел, чтоб Вы сохранили рукопись моего последнего сочинения. Теперь я не только жив, невредим, но, благодаря



Вам, могу всецело отдаться работе, сознавая, что из-под пера выходит вещь, которой, мне кажется, суждено не быть забытой. Впрочем, очень может быть, что я ошибаюсь; увлечение своим последним сочинением свойственно, кажется, всем артистам».

После этого Чайковский занялся «Евгением Онегиным» и закончил последнюю, самую трудную часть оперы. Разрядка оказалась для его физически здорового организма средством избавления от скопившейся нервной энергии. Симфония, посвященная «моему лучшему другу», окончательно была отделана и целиком инструментована в ноябре и декабре, а затем отправлена в Россию.

Десятого февраля 1878 года в Москве под управлением Николая Рубинштейна состоялась ее премьера. Присутствовавшая там Надежда Филаретовна через два дня сообщала Чайковскому: «Получили ли Вы мою телеграмму, Петр Ильич, об исполнении симфонии? Публика приняла ее очень хорошо, в особенности Scherzo; очень аплодировали, а по окончании публика требовала Вас, а должно быть, выходил Рубинштейн. Я не видала, потому что была уже на уходе. Но я думаю, что отчасти вредило сочинению плохое исполнение: оркестр на этот раз действовал так дурно, как я никогда не слыхала. Обыкновенно все он исполняет замечательно хорошо, но здесь они, вероятно, недостаточно срепетировались». И действительно, в Москве симфония большого успеха не имела. Мнения друзей и знакомых разделились. Рубинштейну, например, нравился финал, а Сергей Танеев вообще отнесся к сочинению скептически, о чем и написал автору со всей откровенностью.

В феврале 1878 года композитор вспоминал: «Я жестоко хандрил прошлой зимой, когда писалась эта симфония, и она служит верным отголоском того, что я тогда испытывал. Но это именно отголосок. Как его перевести на ясные и определенные последования слов? — не умею, не знаю. Многие я уже и позабыл. Остались общие воспоминания о страстности, жуткости испытанных ощущений».

А 17/29 февраля он предпринял попытку изложить для фон Мекк подробную программу симфонии, главной мыслью которой была тема неумолимой судьбы — фатума: «Это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как Дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет душу. Она непобедима, и ее никогда не осилишь». Однако по поводу четвертой части симфонии отозвался оптимистически: «Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри,

как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам. <...> Они даже не обернулись, не взглянули на тебя и не заметили, что ты одинок и грустен. <...> Пеняй на себя и не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все-таки можно».

Последней фразой Петр Ильич словно подводил итог своему опыту осени и зимы 1877/78 года. В музыке Четвертой симфонии он сумел выразить победу человеческого духа, сопротивляющегося ударам судьбы, не сломленного тяжкими испытаниями. «Лучший друг» безоговорочно приняла новое творение любимого композитора. «С каким восторгом я читала Ваше объяснение нашей симфонии, мой дорогой, бесценный Петр Ильич. Как счастлива я, что нахожу в Вас полное подтверждение моего идеала композитора», — писала она ему 27 февраля 1878 года. Всего полтора года спустя и оглядываясь назад, он утверждает в письме ей же 25 сентября 1879 года, что их симфония — «памятник той эпохи, когда после долго зревшей душевной болезни и после целого ряда невыносимых мук, тоски и отчаяния, чуть было не приведших меня к совершенному безумию и гибели, вдруг блеснула заря возрождения и счастья в лице той, кому посвящена симфония».

В конце концов Чайковский выдержал (хотя и с немалыми жертвами) обрушившиеся на него беды, грозившие общественным скандалом, которого он боялся более всего — не по причине стыда и внутренней муки, касающейся его гомосексуальности, а в силу своей укорененности в родственном и дружеском кругу, за спокойствие и благополучие которого он опасался. Именно эта укорененность сыграла спасительную для него роль — благодаря участию Анатолия, деликатности Модеста, заботе Алеши и финансовой помощи Надежды фон Мекк. Вырисовывается и более сложная картина: элемент страдания, разумеется, был, как и в жизни любой крупной личности, но прежде всего не в силу сексуальных особенностей композитора, как часто принято считать. Склонности эти представлялись ему естественными («природными»), вины за них он не ощущал, об общественном мнении после брачного кризиса в целом заботился мало. Человек большой души, он мучился страданиями близких по его поводу — реальными, воображаемыми или теми, что могли бы иметь место в будущем. Вера в возможность полноценных отношений с женщиной давала ему надежду на успокоение родных и установление желанной гармонии. Постыжение неосуществимости этой идеи пришло к нему во время короткой брачной жизни с Антониной Милюковой, после чего соответствующие иллюзии навсегда исчезли.

В период конфликта с супругой его опасения по поводу возможного шантажа время от времени неявно прорывались в письмах, но характерно, что ни разу он не винил в произошедшей катастрофе свои сексуальные склонности. Напротив, корил себя за решение им противодействовать, подчеркнув это 13/25 февраля 1878 года в письме Анатолию из Флоренции: *«Только теперь, особенно после истории с женитьбой, я, наконец, начинаю понимать, что ничего нет бесплоднее, как хотеть быть не тем, чем я есть по своей природе* (курсив мой. — А. П.)». Не остается сомнения, что после своего ужасного матримониального опыта Петр Ильич больше не предпринимал попыток любовных отношений с какой бы то ни было женщиной, вступив с ней «в законную или незаконную связь».

## **Часть четвертая: Изгнанник (1878–1879)**

## Глава пятнадцатая. Избирательное сродство

В течение следующих нескольких лет отношения Чайковского и фон Мекк достигли своего интеллектуального и эмоционального апогея. Эту дружбу можно было бы описать языком Гёте, если вспомнить название его знаменитого романа «Die Wahlverwandtschaften» — «Избирательное сродство». Жизнь русской аристократии XIX века была необычайно подвержена влиянию культуры. Литература служила источником не просто развлечения, но своего рода наставлением, предлагая страждущему читателю эталон поведения и образа жизни. И Чайковский, и фон Мекк знали и высоко ценили роман Гёте. И, конечно, тема «избирательного сродства» стала одной из главных в их переписке. Оба прилагали усилия к тому, чтобы дружба их была идеальной, но оба понимали, что никакая идиллия в этом мире невозможна. Не случайно, несмотря на тщетные усилия героев, идиллическое начало в развитии сюжета романа Гёте переходит в необратимый конфликт и напряженность, а завершается трагедией.

То обстоятельство, что госпожа фон Мекк была женщиной, а не мужчиной, было неодолимой преградой для ее духовного слияния с композитором. Чайковский преклонялся перед своей благодетельницей только до того момента, пока не начинал чувствовать, и не без основания, ее любовные стремления к нему — стремления, которым сопротивлялась, сознавая их, даже она сама. И как только он угадывал подобные намерения или любую угрозу его свободе, он отступал назад и отклонял ее щедрые предложения и приглашения. Относясь к фон Мекк с искренней дружбой и благодарностью, он учился обходить эти препятствия с искусством дипломата.

Существенной темой их переписки были денежные отношения. Госпожа фон Мекк продолжала регулярно высылать композитору субсидии — «lettre chargee» (ценное письмо. — **фр.**), как они стыдливо именовали денежные посылки. Из-за неисправности почты время от времени происходили недоразумения, вызывавшие беспокойство Петра Ильича, отражавшееся в его письмах братьям. Чайковский был человеком расточительным и в денежных делах беспомощным. Деньги проходили сквозь пальцы как песок, он это признавал, и временами, особенно на первых порах, каялся или неуклюже оправдывался перед благодетельницей: «Надежда Филаретовна, простите мне, что я пустил на ветер столько денег

своей поездкой в Италию! Я знаю, что Вы меня прощаете, но мне приятно просить Вас об этом. Этим я хоть несколько убавляю переполненную чашу моего гнева и злобы к самому себе. Боже мой, как это все досадно, как грустно!»

Позднее, в случаях особенно больших расходов, в практику вошло просить вспомоществования на несколько месяцев вперед, и, как правило, это удавалось. Надо отдать должное Петру Ильичу — он прилагал немалые усилия для того, чтобы никогда не выпрашивать дополнительных сумм — исключение составляет уже известная нам история с разводом, когда Надежда Филаретовна приготовила Антонине Ивановне десять тысяч отступных, так и не потребовавшихся. Впрочем, иной раз «лучший друг», интуитивно чувствуя его денежные затруднения, под разными предлогами высылала дополнительные средства. Вот отрывок из его письма Анатолию от 9 января 1878 года: «М-ме Мекк продолжает разыгрывать относительно меня роль бодрствующего и пекущегося обо мне провидения. Вскоре после того как Модя... ушел гулять с Колей, является почтальон с письмом (*lettre chargee*) от Надежды Ф[иларетовны]. Раскрываю. Прежде всего, она говорит мне, что радуется моему отказу от делегатства (на Всемирной выставке в Париже. — **А. П.**), тогда как я боялся, что она рассердится. Потом пишет по обыкновению тысячу нежностей и, наконец, посылает мне вексель в 1500 франков сверх абонементов на издание [Четвертой] симфонии. Нужно тебе сказать, что я теперь далеко не в блестящем денежном положении. Мои деньги давно уже разошлись, и остались только деньги Модеста. Эти 1500 весьма кстати. Что за непостижимая женщина! Она угадывает, когда и как мне написать, чтобы утешить меня. Модест по возвращении не мог прийти в себя от изумления деликатной утонченности ее милого письма». И ему же 31 января: «Вернувшись домой, нашел письмо от Надежды Ф[иларетовны]. На сей раз вместо трех тысяч она прислала четыре.

Хотелось бы, чтобы это была последняя присылка. Не знаю отчего, но мне на этот раз как-то тяжело было сознание своей эксплуатации изумительной щедрости этой женщины».

Угрызения совести приводили даже к тому, что Петр Ильич, мучимый противоречивыми чувствами, заставлял себя отказываться от денег, присылаемых сверх оговоренной суммы. Из письма Анатолию от 14/26 декабря 1878 года: «Вчера я показал подвиг необыкновенного гражданского мужества. Надежда Ф[иларетовна] в своем прощальном письме (она уезжает сегодня) прислала все счета по вилле Bonciapi уже уплаченные, кроме того двести франков на случай, если из-за рукописи я засижусь

здесь, и две тысячи франков золотом на издание сюиты! Хотя деньги у меня есть, но не особенно много, а именно две тысячи пятьсот франков, которых должно мне хватить до 1 февраля, а потому ох, как мне не помешала бы для Парижа эта сумма! Но меня обуяло гражданское мужество. Я нашел, что просто неприлично брать с нее, кроме всего, что она для меня делает, еще деньги на издание, которое мне не только ничего не стоит но еще приносит гонорарий от Юргенсона. <...> Ну, словом, при самом ласковом письме я возвратил ей две тысячи двести франков, а теперь (о, стыд и позор) жалею».

Но если у Петра Ильича и проявлялось «гражданское мужество», вслед за ним, увы, следовали приступы сожаления об этом. Думал ли он, что помощь от «лучшего друга» может прекратиться после его возвращения в Россию? Если да, то он заблуждался. В письме от 12 февраля Надежда Филаретовна заявляет: «Теперь я хочу поговорить о другом предмете, касающемся только нас двух, т. е. Вас и меня, и я желала бы раз навсегда разъяснить этот вопрос между нами и дать ему право гражданства в кодексе наших отношений, так чтобы и говорить об нем уже больше не надо было. В одном из Ваших последних писем Вы спрашиваете меня, не приходила ли мне в голову мысль, что Вы могли бы уже вернуться в Москву, приняться за занятия в консерватории и жить по-старому. <...> Еще раньше в другом письме Вы сказали, что надеетесь скоро перестать принимать от меня установленную ассигновку. Так вот по поводу-то этой связи, которую Вы делаете между Вашим возвращением в Москву и моим участием в Вашем хозяйстве, я и хочу говорить, но прежде чем приступить к самому предмету, я хочу еще объяснить Вам некоторые мои понятия о правах и обязанностях между людьми»... — и далее следует пространное рассуждение на нравственные темы, завершающееся известной фразой: «Я не ставлю никакого срока моей заботливости о всех сторонах Вашей жизни. Она будет действовать до тех пор, пока существуют чувства, нас соединяющие, будет ли это за границей, в России ли, в Москве, — она везде будет одинакова и даже в тех самых видах, как теперь». 26 февраля Чайковский отвечает «а это: «Относительно того, что Вы хотите и по возвращении моем в Россию продолжать Ваши заботы о моем материальном благополучии, я скажу следующее. Я нисколько не стыжусь получать от Вас средства к жизни. Моя гордость от этого ни на волос не страдает; я никогда не буду чувствовать на душе тягости от сознания, что всем обязан Вам. У меня относительно Вас нет той условности, которая лежит в основании обычных людских сношений. В моем уме я поставил Вас так высоко над общим человеческим уровнем, что меня не могут

смущать щекотливости, свойственные обычным людским сношениям. Принимая от Вас средства к покойной и счастливой жизни, я не испытываю ничего, кроме любви, самого прямого, непосредственного чувства благодарности и горячего желания по мере сил способствовать Вашему счастью».

И с не меньшей прочувзованностью он пишет Анатолию на следующий день: «Господи, сколько я должен быть благодарен этой чудной женщине и как я боюсь привыкнуть начать смотреть как на нечто должное мне на все, что она для меня делает. Никогда, никогда я не в состоянии буду доказать искренность моей благодарности. Я теперь уж стал затрудняться писать ей. В сущности, все мои письма к ней должны бы были быть благодарственными гимнами, а между тем нельзя же вечно изобретать новые фразы для выражения благодарности».

Как видим, благие намерения «не привыкнуть» налицо. Но с годами его избалованность давала о себе знать. Денежная зависимость создавала серьезные психологические сложности для Чайковского по отношению к своей меценатке, и временами интонация писем ей сильно отличается от интонации упоминаний о ней в письмах братьям. Обвинять композитора в сознательном лицемерии было бы несправедливо. Нельзя забывать, что он был натурой капризной и неуравновешенной, полностью зависел от настроения и время от времени поддавался приступам раздражения и злобы даже в отношении людей горячо любимых — братьев, сестры, племянника Боба. Письма его пестрят соответствующими высказываниями, однако раздражение это всегда оставалось поверхностным, быстро проходило, и даже самый требовательный и скрупулезный анализ не в состоянии обнаружить разницы между используемой им в подобных случаях интонацией и фразеологией и теми (заметим, кстати, весьма нечастыми) колкостями, которые он позволял себе в адрес Надежды Филаретовны.

Но все эти неприятные моменты тонут в океане благодарности, искренность которой несомненна. В тот первый год такие излияния были особенно частыми, что неудивительно, ибо «лучший друг» буквально вытащила его из безумия — многие пассажи такого рода приводились выше. Вот еще: «Я Вас люблю всеми силами души моей и благословляю ежеминутно судьбу, столкнувшую меня с Вами»; «Вам и двум милым братьям моим, именно вам троим, обязан я тем, что я не только жив, но и здоров физически и морально. <...> Много, часто думаю я об Вас, друг мой! Как бы мне хотелось, чтобы Вы были счастливы, здоровы, покойны, веселы! И как я бессилен содействовать этому! Но если моя любовь и благодарность к Вам когда-нибудь найдут случай выразиться фактически,



то знайте, что нет жертвы, которой я не принес бы Вам»; «Друг мой! благодарю Вас за всю Вашу неоцененную дружбу ко мне. В ней я почерпаю великое утешение и никогда уже не паду духом до слабости»; «Как я ни привык и ни избалован изъявлениями неоцененной дружбы Вашей, сделавшейся теперь краеугольным камнем моего счастья и спокойствия, но при каждом новом письме приходится снова удивляться изумительной доброте Вашей»; «Вы поистине мой добрый гений, и я не имею слов, чтобы выразить Вам силу той любви, которою я Вам отплачиваю за все, чем я Вам так безгранично обязан».

Что бы ни утверждали скептики, те же эмоции часто встречаются и в письмах братьям: «Боже мой! Что бы я делал без m-me Мекк! Да будет тысячу раз благословенна эта женщина!»; «Получил письмо от m-me Мекк, которая в восторге от моей симфонии. Какая она милая! Как тепло и лестно ее письмо!»

С рыцарской горячностью защищает он ее в письме Николаю Рубинштейну, время от времени с ней конфликтовавшему: «Относительно этой женщины я тебе не могу не сказать, что никогда доброта, деликатность, щедрость, безграничное великодушие ни в одном человеке не соединялись с такой полнотой, как в ней. Я ей обязан не только жизнью, но и тем, что могу продолжать работать, а это для меня дороже жизни. Мне было за нее обидно, что ты и ее так же мало понимаешь, как и меня. Она именно не взбалмошна. Для меня это просто какая-то неоскудневшая рука провидения. Нужно знать ее, как я ее теперь знаю, чтобы не сомневаться в том, что есть еще люди столь непостижимо добрые и доверчивые. Я просто эксплуатирую ее доброту, и это было бы для меня очень мучительным сознанием, если б она не умела успокаивать и заглушать упреки моей совести».

Как мы видим, накал чувств здесь — на уровне ее эмоционального отношения к нему, несмотря даже на некоторую экзальтированность интонации. Надежда Филаретовна была фанатически влюблена в своего невидимого корреспондента.

«Ваша музыка и Ваши письма доставляют мне такие минуты, что я забываю все тяжелое, все дурное, что достается на долю каждому человеку, как бы ни казался он хорошо обставленным в жизни. Вы единственный человек, который доставляет мне такое глубокое, такое высокое счастье, и я безгранично благодарна Вам за него и могу только желать, чтобы не прекратилось и не изменилось то, что доставляет мне его, потому что такая потеря была бы для меня весьма тяжела», — пишет она в одном письме; «Невозможно выразить, сколько добра доставляют мне эти милые письма,

каким благотворным бальзамом служат для моего истомленного сердца, одержанного несовладаемою тоскою. Когда я выхожу в свою гостиную и вижу на столе конверт с так знакомым милым почерком, я чувствую ощущение как от вдыхания эфира, которым прекращается всякая боль», — пишет она в другом письме; и еще: «Впрочем, моя любовь к Вам есть также фатум, против которого моя воля бессильна».

Делая скидку на условности, требования риторики и то, что они не могли узнать друг друга столь глубоко, как это происходит при личном знакомстве, невозможно не оценить возвышенность чувств, выражаемых ими обоими. Кризис в жизни композитора миновал, она вошла в свою колею. Постепенно и естественно изливания, подобные процитированным, с обеих сторон становились реже — но существенно, что пусть и не столь часто, но они продолжались. В их переписке почти до самого конца встречаются эмоциональные всплески на таком же уровне, как и в начале.

Нужно отдать Чайковскому должное: он неоднократно пытался занижить свой образ в глазах восторженной корреспондентки. Вот характерная цитата из его письма от 28 августа 1878 года уже после возвращения в Россию: «Ваша дружба есть величайшее благо для меня, и как я ни привык ощущать сознание этого счастья, но каждое новое выражение и изъявление этой дружбы причиняют мне много, много радости. Одно только меня смущает немного, и это я скажу Вам без всякой ложной скромности, в полном сознании правды моих слов. Вы гораздо лучшего мнения обо мне, чем то, которого я, в сущности, заслуживаю. Пишу я Вам это не для того, чтобы получить в ответ новые доказательства Вашего высокого мнения обо мне как о человеке. Ради бога, не отвечайте мне на это ничего. Уверяю Вас, дорогой друг мой, что я очень жалкого мнения о себе и что целая пропасть разделяет мой идеал человека от моей собственной особы». «Лучший друг» к подобным уговорам была безразлична — в своем убеждении Надежда Филаретовна оставалась непреклонной: «Читая их (письма Петра Ильича. — А. П.), я чувствую такую страстную привязанность к Вам, Вы так милы и дороги мне, что слезы выступают у меня на глазах и сердце дрожит от восторга. Боже мой, как я благодарна Вам за такие минуты, как светлее и теплее стала для меня жизнь, как многое вознаграждает мне Ваше отношение, как много искупает такая натура как Ваша!» И снова музыка: «О, боже мой! я не могу Вам передать, что я чувствую, когда слушаю Ваши сочинения. Я готова душу отдать Вам, Вы обоготворяетесь для меня; все, что может быть самого благородного, чистого, возвышенного, поднимается со дна души».

Тем не менее она часто подходила довольно близко к нарушению ею

же самую установленных границ интимности. К этим моментам относится и попытка ее вывести у него хотя бы что-нибудь о его собственном любовном опыте: «Петр Ильич, любили ли Вы когда-нибудь? Мне кажется, что нет. Вы слишком любите музыку, для того, чтобы могли полюбить женщину. Я знаю один эпизод любви из Вашей жизни (вероятно, имеется в виду Дезире Арто. — А.П.), но я нахожу, что любовь так называемая платоническая (хотя Платон вовсе не так любил) есть только полулюбовь, любовь воображения, а не сердца, не то чувство, которое входит в плоть и кровь человека, без которого он жить не может» (конец письма не сохранился).

Этот фрагмент в высшей степени примечателен — особенно рассуждением о платонической любви. Как следует понимать замечание, заключенное в скобки: «Платон вовсе не так любил»? Как же любил Платон? Читала ли Надежда Филаретовна его диалоги «Пир» и «Федр» и отдавала ли себе отчет в том, что вся сила любовных эмоций в этих диалогах, «Афродита небесная», в отличие от «Афродиты пошлой», направлена на юношей? Гимназическая премудрость тех времен категорически игнорировала телесный аспект греческой гомосексуальности, стремясь придать ей исключительно духовный характер — кстати, в известной мере, платонической пайдейе действительно присущий. Но даже при абсолютной одухотворенности гимназическая наука не могла отрицать, что у Платона «небесная любовь» соединяет пусть лиц разного возраста, но лишь мужского пола.

Что же имела в виду госпожа фон Мекк в своем рассуждении о платонической любви, которую она, как следует из контекста письма, приписывала Чайковскому? Не исключено, что именно в этом «платонизированном» виде ею осмыслились разнообразные слухи о гомосексуальности композитора, особенно отчетливо проявлявшейся, на взгляд досужей публики, в его тесных отношениях с молодыми учениками. Она могла осторожно высказывать свое мнение о том, в чем видела некий аналог платоновской пайдейе — экзальтированно-педагогической дружбе учеников с учителями. Это подтвердило бы наше предположение о том, что в некоторой форме, пусть смутной или даже в тех или иных отношениях искаженной, ей было с самого начала известно об особенностях любовной жизни композитора, но, конечно, во всей этой коллизии она, при ее идеализировании Чайковского, должно быть, и не представляла себе физиологию «содомического» акта.

Здесь уместно вспомнить фрагмент о ее понимании родственных, кровных и семейных отношений в противовес свободному выбору чувств

из письма от 12 февраля 1878 года: «Я не отрицаю, что кровные узы по своим естественным свойствам дают права и налагают обязанности, но как человек, который выше всего ставит свободу, я не могу не отдать преимущества другому, не менее естественному свойству человека: свободе чувству, личному выбору, индивидуальным симпатиям. Одно из применений такого свойства является в браке, за которым закон и общество признают все права и обязанности, но ведь брак, т. е. обряд, есть только форма, в сущности же должны быть чувства, а всегда ли в браке есть любовь, заботливость, сочувствие? <...> Из этого я вижу, что закон назначения их (прав и обязанностей. — А. П.) не всегда правилен: он предоставляет их кровным и брачным узам; первые из них я нахожу недобровольными, вторые несостоятельными, но считаются они, во всяком случае, обязательными. Есть же третий род отношений — добровольный и необязательный, т. е. необязательный в смысле срока, но дающий наибольшие права и наибольшие обязанности. <...> Этот третий род отношений есть отношения всяческих чувств, и я лично только за ними и признаю права и обязанности. Я сама ни от кого не приму ничего во исполнение законной обязанности. <...> Одним словом, только чувством и при чувствах я признаю права и обязанности, распределяя их так: моя любовь дает мне право на человека, его любовь налагает на меня обязанность, и это уже безгранично, насколько свойственно натуре каждого человека». И несколько далее: «То распределение прав и обязанностей, которое определяет общественные законы, я нахожу спекулятивным и безнравственным».

Заметим, что до этого момента по поводу отношений, связанных личным свободным выбором, речь не идет о половой принадлежности лиц, в них участвующих, и сексуальный аспект предполагается не обязательно (так, в этом контексте Надежда Филаретовна упоминает о своих взаимоотношениях с собственными детьми). Далее, однако, затрагивается и эта проблема: «У человека в любви физическая сторона, конечно, играет большую, неотразимую роль, но в ней должно быть начало, она может быть только последствием любви, вызванной только одною нравственностью, без малейшей примеси внешности и физических впечатлений, и когда человек полюбил таким образом, тогда естественною и необходимою потребностью становятся физические отношения. Платонической любви, как я Вам уже говорила, я не понимаю и не признаю; только тот любит, кто любит всем своим организмом, но везде и во всем у настоящего человека началом должна служить нравственная сторона». В последней цитате речь идет, бесспорно, уже о любви мужчины и женщины; слово

«платоническая» употребляется здесь, следовательно, в расхожем смысле — то есть лишенная физиологического выражения.

Однако, как мы видели выше, она знает, что «Платон вовсе не так любил», и если допустить, что она (как того требуют платоновские тексты) имеет в виду «пайдейю» — интимную духовно-педагогическую коллизию между учеником и учителем, то, внимательно читая текст, мы с удивлением обнаружим, что в разбираемом письме никакого осуждения такого рода отношений не содержится. Напротив, логика ее размышлений предполагает даже одобрение их как результата свободного выбора, основанного на чувстве. Такая позиция могла бы объяснить, например, неизменное поощрение фон Мекк весьма неординарных беспокойств и заботы Петра Ильича об Алеше, в выражении которых *он* иногда эмоционально (как мы видим из писем к ней) переходит пределы общепринятого отношения к слугам даже со стороны благорасположенных хозяев.

Самой Надежде Филаретовне длинные рассуждения в цитированном письме служат главным образом обоснованием ее собственных отношений с «лучшим другом»: «...имеет право на другого человека только тот, кто любит и кого любят, а так как наши отношения есть именно такие, следовательно, мы имеем взаимные права и обязанности относительно друг друга (по моим понятиям), и на основании их я не ставлю никакого срока моей заботливости о всех сторонах Вашей жизни. Она будет действовать до тех пор, пока существуют чувства, нас соединяющие, будет ли это за границей, в России ли, в Москве, — она везде будет одинакова и даже в тех же самых видах, как теперь, тем более что я убедилась в своей долголетней жизни, что для того, чтобы талант мог идти вперед и получать вдохновение, ему необходимо быть обеспеченным с материальной стороны».

Нетрудно заметить ее противоречивое отношение к «так называемой платонической любви» (то есть в расхожем смысле — эросу между мужчиной и женщиной, лишенному физиологической основы). С одной стороны, она этой любви «не признает» и «не понимает»; с другой, ее собственные излияния в своих чувствах к Петру Ильичу — при категорическом решении никогда не встречаться с ним лично — в точности соответствуют именно отвергаемой ею психологии. Это своего рода «перевернутый» вид классического архетипа, то есть «любви куртуазной» (в тех же выражениях, что и Надежда Филаретовна по отношению Петру Ильичу, какой-нибудь провансальский трубадур мог обращаться к жившей за тридевять земель принцессе, которую он никогда не видел и никогда не увидит, и знает разве что по портрету — живописному или словесному).

Особенного значения придавать логическим противоречиям фон Мекк не стоит: такая психология логике не поддается. В психологии подобное состояние достаточно хорошо известно и представляет собой один из видов защитных механизмов: отрицание и осуждение других качеств, самому индивиду неосознанно присущих, — своего рода «изгнание демона» — при полной неспособности усмотреть отвергаемые качества в самом себе (так, например, часто самыми яростными гомофобами оказываются латентные гомосексуалы).

Если добавить к этому и вожделение (которого здесь не быть не могло), загнанное вглубь ее комплексами по поводу своей некрасивости, старости, материнства и т. д., то сложный эротический набор, влекший благодетельницу к благодетельствованному ею, в данном случае, перестает быть особенно загадочным. К сожалению, решительно никакого эроса не было в обратном движении, если не считать эротического (в самом общем смысле — определяемого вдохновением притяжений) компонента, присущего любому творчеству. В этом смысле она, несомненно, была его единственной женщиной-Музой.

Между письмом от 30 января 1878 года с вопросом «любили ли Вы когда-нибудь?» в письме от 12 февраля с длинными рассуждениями о чувствах, свободном выборе и нравственной основе она получила-таки ответ Чайковского на свой вопрос. Этот ответ, часто цитируемый как злонамеренными, так и благонамеренными биографами, читаем в его письме от 9/21 февраля: «Вы спрашиваете, друг мой, знакома ли мне любовь не платоническая. И да и нет. Если вопрос этот поставить несколько иначе, т. е. спросить, испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу: нет, нет, нет!!! Впрочем, я думаю, что и в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня, понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то отвечу: да, да и да и опять так скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви. Удалось ли мне это, не знаю или, лучше сказать, предоставляю судить другим».

Трудно более тонко сказать все и не сказать ничего: мучительность и блаженство определяют, вероятно, всю суть его эротической жизни. Но, помня о мучительности, не забудем и о блаженстве — таким образом, от этой комбинации еще очень далеко до ныне популярных выводов о его терзаниях, бесконечных, безысходных и беспросветных угрызениях и страданиях, якобы приведших его к самоубийству. Кроме того, сам текст замечателен: когда дело идет об эмоциях, можно ли понимать не испытывая, а тем более не испытанное “блаженство”, чтобы выразить его

языком искусства? Очевидно, нет. Разрешение дилеммы состоит в том, что, если говорить современным языком, корреспонденты, оперируя одной и той же семиотикой, имеют в виду разную семантику — иными словами, понимают под словом «любовь» совсем не одно и то же: она спрашивает о любви мужчины к женщине, он же отвечает о любви однополой. Но это означает его неявное признание, что в любви к мужчинам он уже испытал и мучительность, и блаженство (а значит, и полноту счастья), если был в состоянии их понять и выразить в музыке. На самом же деле сочетание этих чувств уже само по себе не соответствовало представлению о том, что Чайковский мучил себя, переживая бесконечно раскаяние до такой степени, чтобы захотеть умереть. Между прочим, когда писались уже цитированные письма Модесту и фон Мекк, композитор еще не знал самой сильной и всеобъемлющей страсти своей жизни — любви к Бобу Давыдову.

Объяснимое замешательство его корреспондентки, размышлявшей на эротическую и, возможно, гомоэротическую тему, связано с общим отношением того времени к этой теме, негласно подлежавшей умолчанию. Интуитивно Чайковский мог бы опасаться, что она отвернется от него, если вдруг столкнется с разоблачением его гомосексуальности. Но, по крайней мере на этом этапе, он, по-видимому, считал, что никакие подозрения ее не поколеблют: об этом свидетельствует его письмо от 14 марта 1878 года, где он неприкрыто, хотя и в контексте консерваторского преподавания, высказался по поводу женщин: «Но женские классы? Боже мой, что это такое? <...> Иногда я теряю с ними всякое терпение, теряю способность понимать, что кругом меня делается, и впадаю в припадок невыразимой злобы на них и в особенности на себя».

Примечательно, что в глазах Надежды Филаретовны такое отношение составляет достоинство: «О Вашей антипатии к занятиям барышень в консерватории я слыхала прежде и вполне сочувствовала ей в общем смысле, и лично в Вас мне это чрезвычайно нравится, потому что в этом я вижу, что в деле искусства Вы не подкупаетесь ничем, ни даже барышнями, тогда как в то же время слыхала, что есть профессора, которые ухаживают за ними. Какая гадость! Вообще нравственность в консерватории такова, что я не только дочери, но и сына не отдала бы туда».

Этот обмен репликами снова наводит на размышления. С одной стороны, композитор не боится привлечь внимание корреспондентки к той стороне своего характера, которая могла бы повредить ему, если б она прислушивалась к циркулировавшим слухам, с другой — она одобряет поведение, которое иным из ее искушенных, склонных к передаче сплетен современников показалось бы более чем странным. Что означает последняя

фраза? Кого опасалась бы она сама в отношении своих сыновей — развратных студенток или профессоров? Скорее всего, имея представление, пусть смутное, о существовании любовных связей между мужчинами и даже, допустим, не особенно морализируя на этот счет, она, как мать, не могла допустить и мысли, чтобы эти вещи хоть как-то касались ее собственных детей. Подобная установка существует и теперь, в том числе среди вполне свободомыслящих интеллектуалов, которые понимают и даже принимают «альтернативный образ жизни» третьих лиц, но болезненно реагируют на возможность сексуальных инверсий в собственной семье.

После того как матримониальные страсти Петра Ильича улеглись, фон Мекк в письме от 5 мая 1878 года все же поинтересовалась действительными причинами разлуки супругов: «Я хотела бы, чтобы Вы это объяснили для того, что мне не нравится, чтобы каждый объяснял по-своему причины Вашего разрыва и известная особа приобретала бы ореол незаслуженного мученичества, тогда как если из двух людей кто-нибудь мученик, так это Вы». На что намекает в последней фразе Надежда Филаретовна? И намекает ли она на что-нибудь вообще? Если намек и не было, Чайковский отреагировал 9 мая так, как если бы он был: «Что касается опасения, чтобы Рубинштейн и другие не узнали настоящих причин моего разрыва с известной особой, то об этом беспокоиться нечего, друг мой. Во-первых, всем им причины эти хорошо известны. Во-вторых, с тех пор как я выздоровел и сделался человеком с нормальными умственными способностями, я опять стал на высоту, до которой *les qu'en dira-t-on* (людские пересуды. — *фр.*) не доходят».

Заметим двусмысленность этого пассажа: Надежда Филаретовна, собственно говоря, не озадачилась сокрытием «настоящих причин», которые, по словам композитора, и так всем известны (каковы же они, если он полагал, что она думает, будних надо скрывать?) — ее волновали выдуманные, по ее мнению, сплетни. Но если настоящие причины вполне уважительны, то при чем здесь людские пересуды? Если нет, то как они могут быть всем хорошо известны? Не забудем, однако, что в Этом кругу сексуальные вкусы Чайковского становились уже общеизвестным фактом. Создается впечатление, что Петр Ильич прочел в невинном замечании Надежды Филаретовны то, чего там не содержалось, усмотрев в нем опасную для него, то есть гомосексуальную, подоплеку.

Кстати говоря, шутливый тон и несколько обостренный интерес по отношению к женским персонажам, ранее характерный для писем Чайковского, почти полностью исчез в послебрачный период. На фоне событий, вызванных историей с женитьбой, его заявление в письме



Анатолию от 25 мая 1879 года, принятое некоторыми биографами всерьез, есть не более чем горькая ирония: «Что касается меня, то я нахожусь в периоде совершенного равнодушия к прекрасному полу». Не удивительно, если учесть пережитое им потрясение, едва не сведшее его с ума.

Обратимся еще раз к эмоционально-духовной стороне отношений композитора и его меценатки. Помимо рассмотренного «эротического» компонента спектр их общения был очень богат — от исповедальных тем до теоретических дискуссий. Надежда Филаретовна могла рассказывать ему о тяжелых нищенских годах своей молодости с Карлом фон Мекком, тогда никому еще не известным инженером; он — вспоминать о таких, например, интимных вещах, как его чувства к давно покойной матери и переживания после ее смерти: «Ровно двадцать пять лет тому назад в этот день умерла моя мать. Это было первое сильное горе, испытанное мною. Смерть эта имела громадное влияние на весь оборот судьбы моей и всего моего семейства. Она умерла в полном расцвете лет, совершенно неожиданно, от холеры, осложнившейся другой болезнью. Каждая минута этого ужасного дня памятна мне, как будто это было вчера» (13 июня 1879 года). Или: «Чувствую себя совершенно неспособным продолжать это письмо, — мысли у меня путаются, и перо выпадает из рук. Я нашел вчера у сестры громадные связки моих писем к отцу и матери, писанных когда-то из Петербурга, когда мне было десять и одиннадцать лет и я очутился совершенно одиноким в большом чуждом городе. Трудно передать, какое волнующее впечатление произвело на меня чтение этих писем, перенесших меня почти за тридцать лет, напомнивших мне живо мои детские страдания от тоски по матери, которую я любил какой-то болезненно-страстной любовью...

Уж двадцать пять лет прошло со дня ее смерти!.. Результатом этого чтения была совершенно бессонная ночь. Теперь я ощущаю невыразимое утомление» (24 октября 1879 года).

Подобные излияния демонстрируют глубину взаимопонимания и симпатии между Чайковским и фон Мекк. В душевной и духовной сферах, в отличие от сферы материальной, он держится с Надеждой Филаретовной непринужденно и естественно. Повторим: композитор, имея скорее склонность к самобичеванию, не старается приукрасить себя в этих письмах. Можно даже утверждать, что за исключением гомосексуальной проблемы у него не было от нее настоящих секретов, потому что он твердо знал и чувствовал: «лучший друг» принимает его таким, какой он есть (даже несмотря на патетическую идеализацию), и всегда найдет, как он верил в глубине души, оправдание его поведению. Поэтому его извинения

и покаяния, несмотря на искренность, иногда производят впечатление формальных со стороны человека, заранее уверенного, что его простят. Что же до нее, то она действительно была наделена нечастой способностью совмещать идеализацию (вплоть до экстаза) с чрезвычайно трезвым взглядом на человеческую природу. Нелегко понять, как ей это удавалось при очевидном отсутствии у нее спасительного чувства юмора. Вероятно, в отдельные моменты она умела изгонять из своего сознания неприятные истины, навязанные разумом, и на какое-то время полностью отдаваться чувствам, а затем обретать отрезвление для практических целей. Так что отнюдь не без оснований писала она в начале их знакомства: «Поверьте мне на слово, что как бы я ни любила кого-нибудь, но никогда не бываю ослеплена, но восхищаюсь безразлично, в постороннем ли человеке, как Вы, например, или в близком мне существе, одинаково горячо всем хорошим».

Все это придает их переписке особый колорит, который может раздражать читателей, настроенных к нему или к ней недоброжелательно. Так, иные авторы замечают, что некоторые страницы писем Чайковского фон Мекк больше соответствовали бы посланиям психиатру, чем платонической подруге. Упрекать его в этом — значит не понимать, что для композитора сетования на психическое состояние были естественным продолжением душевных излияний, а описания физических недугов — продолжением неврастенических жалоб. Вот несколько фрагментов их переписки на эти темы. Признания периода заграничного бегства: «А знаете что, мой друг! Слух, который ходил обо мне, что я с ума сошел, не совсем неправдоподобен. Вспоминая все, что я сделал, все безумия, которые я натворил, я не могу не прийти к заключению, что на меня нашло временное умопомешательство, из которого я только теперь окончательно вышел. Многие из недавнего прошлого представляется мне как сон, странный, дикий, как кошмар, в котором человек, носящий мое имя, мой образ и мои признаки, действовал именно так, как действуют в сновидениях: бессмысленно, бессвязно, дико. Это был не я, с сознанием своей индивидуальности и с здоровой волей, направляемой разумно и логично. Все, что я тогда делал, было запечатлено характером болезненного несоответствия разума с волей, а в этом-то и состоит сумасшествие. Среди кошмаров, омрачавших мой мозг в этот странный, ужасный, хотя и краткий период моей жизни, я хватался, чтобы спастись, за руки нескольких дорогих личностей, явившихся, чтобы вытащить меня из бездны». Чайковский раскрывается настолько откровенно, что даже пишет Надежде Филаретовне о злоупотреблении алкоголем и именно ей приносит по этому

поводу обет воздержания: «Я даю Вам самое положительное обещание отныне обращаться мысленно к Вам, когда придется бороться с искушением, и в Вашей дружбе почерпать силы, дабы устоять против соблазна», — разумеется, подобные вещи заявляются без всякой инициативы со стороны адресатки, для этого слишком деликатной. Или еще одно неврастеническое сообщение: «Я сделался крайне восприимчив ко всякого рода впечатлениям; я сделался слезоточив, беспрестанно и без всякой надобности плачу: то по поводу книги, то по поводу музыки, то просто под влиянием красоты природы». Еще: «Как ни хорошо жить среди дорогих и близких людей, но от времени до времени жить одному необходимо. Я с гораздо большим основанием, чем Глинка, могу назвать себя мимозой». Наконец, о связи физического и психического: «Вообще, чтобы покончить на этот раз о моем здоровье, я скажу, что физически я все-таки здоровый человек, но психически скорее больной, чем здоровый, и хотя то и другое находится в непосредственной связи, но про себя я могу сказать, что все-таки у меня душа влияет на тело больше, чем наоборот, т. е. я замечал, что когда я покоен, тогда я и здоров».

Письма композитора пестрят описаниями всевозможных болезненных симптомов и рассуждениями по этому поводу. Вот типичный пассаж от 4 августа 1878 года: «Хотел бы я, чтоб кто-нибудь объяснил мне, что означают и от чего происходят те странные вечерние припадки обессиления, о которых я Вам однажды писал и которые в большей или меньшей степени повторяются со мной ежедневно. Я не могу на них особенно жаловаться, так как в последнее время обычным следствием их бывает какой-то глубокий, почти летаргический сон, а крепкий сон — одно из величайших благ и наслаждений. Тем не менее, самые припадки очень тягостны и неприятны, особенно та неопределенная тоска о чем-то, желание чего-то, охватывающее всю душу с невероятной силой и оканчивающееся совершенно определенным стремлением к небытию, *soif du neant!* (жаждой небытия. — фр.). А вероятнее всего, что причины этого психологического явления самые прозаические; это совсем не болезнь души, а, как мне кажется, следствие дурного пищеварения и остатки моего желудочного катара». Скорее всего, композитор страдал соматическими проявлениями истерического невроза; письма Надежде Филаретовне — как и письма братьям — служили отдушиной, через которую он разряжал накопившуюся психическую энтропию. В этом контексте вряд ли подлежит сомнению, что фон Мекк представлялась Петру Ильичу фигурой, в каком-то смысле заменяющей ему мать, — и, возможно, с некоторого времени не в меньшей, а то и в большей мере, чем сестра Александра Ильинична.

Но чаще, чем обмен переживаниями, мы встречаем в этой переписке теоретические дебаты. Спорили Петр Ильич и Надежда Филаретовна всегда равноправно, с полной свободой и абсолютной корректностью. Обсуждали они самые разные темы: религию — причем Чайковский со страстью выступал против атеистического утилитаризма фон Мекк, литературу — Петр Ильич порицал боготворимых ею Некрасова и Писарева, противопоставляя им Пушкина, которого Надежда Филаретовна не признавала; спорили и о музыке — причем нужно отдать должное Чайковскому: он высказывал свои мнения без малейшей спеси или высокомерия, и в его интонации ни разу не промелькнуло снисходительности или снобизма. Со своей стороны, она, с величайшим почтением прислушиваясь к суждениям непререкаемого для нее авторитета, никогда не сдавала своих позиций, когда дело касалось ее личных вкусов, при этом без какой бы то ни было оскорбленности чувств: например, они так и не смогли договориться по поводу Моцарта, бывшего идолом для Петра Ильича, а для нее — видимым воплощением всего поверхностного (характерная черта ее разночинского вкуса).

«Отчего Вы не любите Моцарта? — вопрошал Чайковский. — В отношении его мы с Вами расходимся, дорогой друг. Я Моцарта не только люблю — я боготворю его. Лучшая из всех когда-либо написанных опер — для меня “ДонЖуан”. Вы, которая обладаете такую тонкой чуткостью к музыке, должны бы были любить этого идеально чистого художника. Правда, что Моцарт слишком щедро расточал свои силы и очень часто писал не по вдохновению, а ради нужды. Но прочтите его жизнеописание, превосходно написанное Otto Jahn’ом, и Вы увидите, что он не мог поступать иначе. Да ведь и у Бетховена и у Баха есть масса слабых вещей, недостойных стоять рядом с их *chef d’oeuvre*’ами (шедеврами. — А. П.). Такова была сила обстоятельств, что им приходилось иногда обращать свое искусство в ремесло. Но возьмите оперы Моцарта, две-три его симфонии, его Реквием, шесть квартетов, посвященных Гайдну, сто1Гный струнный квартет. Неужели во всем этом Вы не находите никакой прелести? Правда, что Моцарт захватывает не так глубоко, как Бетховен; размах его менее широк. Как в жизни он был до конца дней беспечным ребенком, так и в музыке его нет субъективного трагизма, столь сильно и мощно сказывающегося в Бетховене. Это однако ж не помешало ему создать объективно трагическое лицо, самое сильное, самое поразительное из всех обрисованных музыкой человеческих образов. Я говорю о Донне Анне в “Дон-Жуане”. Ах, как трудно заставить другого находить в той или другой музыке то, что сам в ней находишь! Я не в состоянии передать Вам, что я

испытывал, слушая “Дон-Жуана”, когда на сцене является величавый образ мстительной, гордой красавицы Донны Анны. Ничто ни в какой опере так сильно на меня не действует. Когда Донна Анна узнает в Дон-Жуане того человека, который не только оскорбил ее гордость, но и убил ее отца, когда ее злоба, наконец, бурным потоком изливается в гениальном речитативе и потом в этой дивной арии, где злоба и гордость чувствуется в каждом аккорде, в каждом движении оркестра, — я трепещу от ужаса, я готов закричать и заплакать от подавляющей силы впечатления. А ее плач над трупом отца? А дуэт с Дон-Оттавио, где она клянется отомстить, а ее ариозо в большом секстете на кладбище, — все это недостижимые, колоссальные оперные образцы! Я до того люблю музыку “Дон-Жуана”, что в ту минуту, как пишу Вам, мне хочется плакать от умиления и волнения. Я не могу спокойно говорить об этом. В камерной музыке Моцарт пленяет прелестью, чистотой фактуры, удивительной красотой голосоведения, но иногда встречаются и вещи, наводящие на глаза слезы. Укажу Вам на **Adagio** из **g-moirHoro** квинтета. Никто и никогда с такою красотой не выражал в музыке чувства безропотной, беспомощной скорби. Когда это **Adagio** играл Лауб, то я всегда прятался в самый отдаленный угол залы, чтобы не видели, что со мной делается от этой музыки».

Вот несколько отрывков из их интереснейшей дискуссии о природе красоты. «Отчего Вы говорите, что мы расходимся с Вами относительно человеческой красоты? — писал Чайковский фон Мекк. — Отчего Вы думаете, что я отвожу ей большое место при оценке человека? Да! красота человека, конечно, влияет на меня! Но что такое человеческая красота? Ведь это понятие чисто относительное и не имеющее ничего общего с абсолютной красотой, проявляющейся в искусстве. У французов существует вульгарное, но очень верное определение человеческой красоты: beau qui plait (прекрасен тот, кто нравится. — **фр.**). Но ведь plaire (нравиться. — **фр.**) может лицо и некрасивое, и с этим фактом мы встречаемся ежеминутно! Скажу больше. Лица, обладающие красотой в классическом смысле, редко нравятся. В лице человека, в его походке, манерах, движениях, взгляде, нравится что-то неуловимое, не поддающееся определению. В сущности, это нечто есть отражение духовной красоты. В этом смысле я, конечно, поддаюсь легко обаятельному действию внешности человека. Следовательно, относительно взгляда на красоту людей существует недоразумение в словах. Под красотой человека разумеется внешнее отражение его внутренних качеств, но слова для этой внешности не существует».

Это рассуждение — ответ на письмо Надежды Филаретовны от 29

ноября, в котором она размышляет в духе утилитаристской идеологии: «Я враг всякой внешности, начиная с красоты лица до уважения общественного мнения включительно. Все, что не имеет нравственного или существенного смысла, мне антипатично, но до такой степени, что я считаю унижительным для человеческого достоинства придавать значение его внешнему виду. <...> Но я возвращаюсь к значению и действию внешности. Я связываю ее с твердостью убеждений, потому что люди именно легко подкупаются многими внешними предметами — и красотой, и обстановкой, и приличиями, и погоней за прогрессом, либерализмом, гуманностью, реализмом, материализмом, нигилизмом, глядя по тому, что в моде, демократизмом, революционными фантазиями».

Разница в воззрениях очевидна. Чайковский, как художник, утверждает примат эстетики и тяготеет к платонизму; Мекк, как человек деловой, оперирует понятиями этики и, смешивая различные явления, подводит их под единый прагматический знаменатель. Примечательно, что даже в абстрактных и высоких сферах два таких своеобразных человека не только прекрасно понимали друг друга, но и могли искренне сопереживать один другому, почитая мнение собеседника. Культура их общения обрела не часто достижимую высоту.

Единственной областью, где позиции их двоих сходились полностью, была политика. На протяжении всей своей жизни Чайковский оставался убежденным монархистом, и его политические взгляды, как и взгляды его корреспондентки, носили резко консервативный, даже реакционный характер. В их переписке 1883 года имеется любопытный обмен мнениями, весьма пренебрежительного оттенка, о феномене коммунизма, примитивной версии доктрины утопических социалистов — сторонников отмены частной собственности, идеи которых были подхвачены русскими радикалами-нигилистами. 14/26 апреля, высказываясь на эту тему, фон Мекк страстно защищает частную собственность и порицает нигилистов: «Какое извращение самого общего человеческого свойства делают те люди, которые поклоняются Прудону и взяли себе девизом его напыщенную фразу: “la propriete c’est le vol” (собственность — воровство. — **фр.**). Ну что за абсурд! Каждому человеку, как развитому, так и совсем неразвитому, нет ничего дороже своей собственности; и поговорка сложилась: “свое все хорошо”. А ведь целое учение (если только нигилизм может быть учением) построили на этой фразе, которая сама есть только мыльный пузырь; экое печальное время!»

Чайковский отвечал: «То, что Вы говорите о коммунизме, совершенно верно. Более бессмысленной утопии, чего-нибудь более несогласного с

естественными свойствами человеческой природы нельзя выдумать. И как, должно быть, скучна и невыносимо бесцветна будет жизнь, когда воцарится (если только воцарится) это имущественное равенство. Ведь жизнь есть борьба за существование, и если допустить, что борьбы этой не будет, то и жизни не будет, а лишь бессмысленное произрастание. Но мне кажется, что до сколько-нибудь серьезного осуществления этих учений еще очень далеко». Он оказался плохим пророком — через тридцать пять лет после написания этих строк в России случился большевистский переворот, возвестивший господство коммунизма, а с ним и начало «невыносимо бесцветной жизни», которой он опасался. Но его музыка преодолела и это препятствие, донеся до нас многоцветие жизни, прожитой им самим.

Госпожа фон Мекк содержала огромный штат, включавший ее личных врачей и музыкантов. Однако навсегда в ее семействе удержался лишь один из этих молодых людей, что говорит о его недюжинной способности приспосабливаться, принимая во внимание ее нелегкий и эксцентричный характер. Это был Владислав Пахульский, выходец из бедной польской семьи, бывший когда-то учеником Чайковского по консерватории. Именно о Пахульском говорится в письме фон Мекк по поводу консерваторских дел после ухода оттуда Чайковского: «Я слышу постоянно от одного из Ваших бывших учеников, что теперь совсем не то, что Вас никто заменить не может. Да еще бы, Московская консерватория Вами держалась высоко». Если тот и в самом деле так высказывался, то, очевидно, из лести. Как преподаватель, Петр Ильич ничем не выделялся и занятие это горячо ненавидел. С другой стороны, цитированный пассаж мог быть первой неявной попыткой со стороны Надежды Филаретовны прибегнуть к ухищрению, вероятно, уже ею задуманному, а именно, заинтересовать «бесценного друга» музыкальными дарованиями того, кого она впоследствии станет неизменно называть «приемышем» и «protege». Вряд ли она всерьез думала, что Чайковский возьмет Пахульского в постоянные ученики (хотя и это не исключалось), но она наверняка желала побудить его к тщательному руководству занятиями молодого человека и этого добилась. Следование ее желаниям в этом вопросе станет со временем тяжкой обузой для Чайковского.

Чем объяснить настойчивый и не лишенный странности интерес фон Мекк (умевшей, когда нужно, судить о людях с жесткой трезвостью) к этому, по всей вероятности, ничем особенно не выдающемуся польскому юноше? Вопрос непростой и вряд ли подлежащий окончательному ответу. Во всяком случае, необходимо выделить две его стороны: отношение ее к Пахульскому как к личности и к его возможному музыкальному будущему.

Еще труднее составить представление о самооценке молодого музыканта — здесь возможны лишь более или менее вероятные догадки на основе упоминаний о нем в разных контекстах, упоминаний, удельный вес которых в переписке достаточно высок. Возникающее в конечном счете впечатление двояко: с одной стороны, Пахульский, несомненно, считал себя одаренным музыкантом, и критика Чайковского, даже если она высказывалась в мягкой форме, причиняла ему большую боль, с другой — у него должна была отсутствовать тайная и неодолимая уверенность в себе, свойственная гениям и крупным талантам даже в периоды глубокого душевного упадка. В противном случае, он предпочел бы отдаться на произвол судьбы, бедствовать, творить и бороться с твердой верой в свою звезду, вместо того чтобы прилагать гигантские усилия для своего утверждения в домашней жизни тиранической пожилой дамы в качестве личного секретаря и фактотума, кем он со временем стал — эти его обязанности, что не удивительно, часто и надолго лишали его возможности какого бы то ни было творчества. Иными словами, уже в этой психологической диспозиции намечаются известные характеристики творческого типа Сальери в противовес творческому типу Моцарта: стремление «и капитал приобрести, и невинность соблюсти»; типа, не лишенного одаренности, но и не способного к трезвому осмыслению ее пределов: Сальери, возмечтавшего стать Моцартом («ужели я не гений?») и ради этого способного отравить его (конечно, мы здесь используем психологическую мифологию Пушкина, а не взаимоотношения этих лиц в исторической реальности). Недаром Сальери стал придворным капельмейстером, а Моцарт остался «гулякой праздным» — судьба, которая вполне могла бы оказаться и судьбою Петра Ильича (с его ненавистью к хождению в присутствии и навязанному труду), не встретить он в счастливый миг своей жизни Надежду Филаретовну фон Мекк. Недаром Моцарт во всех отношениях был его идолом, в каковом он, по всей вероятности, усматривал собственное идеализированное «я».

Возвращаясь к Пахульскому, заметим, что его главное жизненное достижение было, пожалуй, в том, что он преуспел в своей незаменимости для семейства Надежды Филаретовны. В одном из писем, летом 1887 года, она признавалась: «Другого такого, как Владислав Альбертович, я не найду, потому что этот у меня же и воспитывался, у меня изучил всю систему путешествий и иностранные языки и финансовые занятия, и так как он очень способен ко всему, все очень быстро понимает и усваивает себе вполне, то из него выработался такой образцовый секретарь, что заменить его невозможно».



Время от времени в суждениях фон Мекк о Пахульском мелькают интонации владелицы и создательницы: она подсознательно должна была воспринимать его как свою собственность и свое творение (в известной степени так оно и было, причем он сам был в этом повинен). Соответственно, при всем ее благородстве и щедрости, при том, что она всячески стремилась содействовать его музыкальному развитию, вряд ли можно было ожидать от нее хоть сколько-нибудь объективного взгляда на своего «подопечного». Ее высокое мнение о его характере могло объясняться отчасти его психологической изворотливостью и способностью к адаптации. Наиболее внятно о своем отношении к нему госпожа фон Мекк высказалась 13 декабря 1878 года: «Я очень забочусь об нем, во-первых, потому что мне это свойственно по натуре, во-вторых, потому что страстно люблю музыку, и, в-третьих, потому что хочу всячески перед собою опровергнуть то обвинение, что я гублю музыканта. А так как, ко всему этому, я считаю его исключительно порядочным юношею, то я и хотела бы устроить ему хорошую будущность, которая для него вся заключается, конечно, в музыке».

Упоминание обвинений в «погублении» музыкантов характерно: может быть, оно исходило от Николая Рубинштейна, который вообще не одобрял меценатского стиля фон Мекк. Из приведенного высказывания ясно, что для нее объективный взгляд на качество музыкальных способностей протежируемого особенно труден: большинство людей (кроме исключительно требовательных художников) не в состоянии беспристрастно оценить творчество тех, кто им дорог или просто симпатичен; Надежда Филаретовна была даже не художником, а дилетантом, так что ей простительно мнение о достоинствах композиций своего любимца. Петр Ильич, однако, был художником очень требовательным и к себе, и к другим. Уже в одной этой коллизии заложена основа различных внутренних (а иногда и внешних) конфликтов по поводу Пахульского.

Надежда Филаретовна пыталась заинтересовать любимого корреспондента своим питомцем. Читаем в письме от 6 марта 1878 года: «Я могу сообщить Вам впечатление (от исполнения в Москве Четвертой симфонии. — А. П.) одного из самых умных, развитых и страстно любящих музыку учеников Ваших, Пахульского, которого я вижу часто и могу вполне судить об искренности и глубине его впечатления. Он без ума от Вашей симфонии. Несколько дней он не мог ни о чем говорить, ни думать, кроме ее, каждые пять минут садился за рояль и играл ее. У него отличная память для музыки, и ему я обязана ближайшим знакомством с нашею

симфонию, потому что он теперь постоянно мне ее играет. У этого человека очень экзальтированная страсть к музыке». И далее: «Между ними не много, кто так любит и понимает музыку, как Пахульский. К этому же, он наделен от природы очень плодovитой музыкальной фантазией), — конечно, если не судить о ней по классным задачам, а по свободным выражениям мыслей. Разумеется, это только еще сырой материал. Если бы Вы были здесь, мой милый друг, я бы попросила Вас сделать маленькое исследование его творческих способностей. Мне кажется, что они у него есть, но ведь я некомпетентный судья в этом деле, и мне интересно бы знать Ваше мнение».

И ответная фраза композитора в письме от 13 марта: «Не сомневайтесь в том, что Пахульский встретит во мне всяческое поощрение, когда я ознакомлюсь ближе с его музыкальной организацией». Чайковский изъявлял свою готовность и позже, в октябре 1878 года: «Я с величайшей охотой и удовольствием займусь решением интересующих Вас вопросов насчет музыкальной натуры Пахульского. Я помню очень хорошо, что он обладает несомненною музыкальностью, но есть ли у него композиторское дарование, об этом я пока ничего не знаю. Приехавши во Флоренцию, я увижусь с ним и тогда, после обстоятельного ознакомления с характером его таланта, скажу Вам свое откровенное мнение». В конечном счете ни к чему хорошему эти попытки музыкального попечительства так и не привели.

## Глава шестнадцатая. Одиночество и свобода

К началу 1878 года эмоциональная травма, нанесенная Антониной, стала терять свою остроту, и теперь предметом забот композитора стали проблемы практические — денежные взаимоотношения супругов запутывались все больше. В январе он определил своей жене ежемесячную пенсию, поначалу сторублевую, постоянно, однако, менявшуюся из-за ее поведения. Несколько раз он пытался договориться с ней, например, о выдаче единовременного капитала в обмен на расписку о ее отказе от дальнейших притязаний. Впрочем, деталями он старался себя не обременять. Все операции проводились либо через брата Анатолия, либо через издателя Юргенсона, которых Петр Ильич настойчиво просил беспокоить его по этому поводу как можно меньше.

С самого начала конфликта Чайковский установил авторитарный и деловой стиль общения — как своего, так и своих посредников — с Антониной. «Вообще я не могу не заметить, что ты сделала уж слишком резкий переход из роли любящей, покинутой и обманутой женщины к роли совершенно противоположной, — писал он Милюковой 8/20 января 1878 года. — Ты не только хочешь взять с меня все, что только у меня есть, но даже хочешь лишить меня свободы, требуя письменного обеспечения в сторублевой пенсии. На это я отвечу следующее. Ты будешь получать от меня 100 рублей в месяц 1) до тех пор, пока я буду жив, 2) до тех пор, пока ты будешь себя держать относительно меня так, что я не буду иметь причины быть недовольным. Как только ты позволишь себе какой-нибудь поступок относительно меня недоброжелательный или клонящийся к нарушению моего покоя, я перестану выплачивать тебе субсидию. Ты спросишь, чего нужно избегать, чтобы не причинять мне неудовольствия. Отвечу на это очень просто: жить так, чтоб я тебя не видел и не встречался с тобой, разумеется, по возможности, ибо я не имею права требовать, чтоб ты не жила в одном городе со мной. Если хочешь жить в Москве, то живи в Москве, но не пиши мне, не приходи ко мне и старайся держать себя вдалеке. После того, что случилось, нам обоим будет тяжела всякая встреча. Говорить про меня можешь все что хочешь; если до меня дойдет известие, что ты рассказываешь про меня то или другое, то сердиться я не буду. Словом для моего покоя нужно, чтоб я был далеко от тебя — и только. Вот за это-то я обязан тебя поддерживать, но письменного обеспечения не дам, ибо для моего покоя нужна так же свобода. <...> Извини за

бесцеремонный тон письма. После того, что ты не поцеремонилась, взяв с меняй ежемесячную пенсию и 2500 рублей (Чайковский согласился выплатить этот долг Милюковой. — А. П.), еще продолжать считать и мой рояль твоею собственностью, всякие церемонии излишни. Будем называть вещи, как они есть».

Антонина, однако, его в покое не оставляла. В письме Чайковского к фон Мекк от 3 февраля читаем: «А так как вообще все неприятности, как известно, всегда приходят вдруг, то я не мог не получить сегодня же еще одного очень неприятного известия. Надежда Филаретовна, я сделал все, что можно, чтобы развязаться навсегда от одной особы, носящей с июля нынешнего года мое имя. Нет никакой возможности втолковать ей, чтоб она оставила меня в покое. Брат пишет мне, что она теперь стала писать письма моему старику, которому и без того приходится переживать тяжелую минуту вследствие смерти сестры [Зинаиды]. Она опять разыгрывает из себя страдальцу, после того, что одно время самым энергическим образом стала требовать разных материальных благ и самым откровенным образом сняла с себя пошлую маску. Нет! не так-то легко разорвать подобные узы! У меня уже давно нет на совести никакого укора. Я чист перед ней с тех пор, как она раскрыла себя вполне, и с тех пор, как в материальном смысле она получила гораздо более, чем могла ожидать. Но ее ничем не проймешь. Я перестал отвечать на ее письма, так она стала теперь приставать к отцу. Брат должен перехватывать эти письма и отсылать ей их назад. Вследствие этого она пишет оскорбительные письма брату и т. д. и т. д.». В этот же день Чайковский пишет и брату: «Только что я упрекнул тебя за неписание, как получил твое письмо с известием о том, что Антонина Ивановна пристаёт с письмами к Папаше и к тебе. Это очень, очень мне неприятно. Толя! я согласен на фортепиано, но со следующим условием. Напиши ей сейчас же, что она не получит ничего, если не даст подписку о том, что получила 1) вексель в 2500 р. (который я дам, когда хочешь), 2) фортепиано и 3) обещание 100 р. субсидии, она признает себя вполне довольной и удовлетворенной, никогда не будет писать мне, ни Папаше и никому из моих родных ничего. Я это говорю совершенно серьезно. Я не дам ей ничего, если она не согласится дать этой подписки. С этим исчадьем ада шутить нельзя; благородные чувства к ней излишни, особенно после сцены с тобой в концерте, после писем к Папаше и к тебе. Решительно отказываюсь что бы то ни было дать, если она не даст подписки». И в том же письме: «Хочет она развода? Тем лучше».

Здесь впервые Чайковский со всей серьезностью говорит о возможности развода. Перипетии этого сюжета, превратившегося в

затянувшуюся на годы и так ничем и не разрешившуюся канитель, сложны и тягостны. Развод в тогдашней России был делом непростым: церковный брак мог быть расторгнутым на основании адюльтера или импотенции одного из супругов, после чего виновная сторона лишалась права вступать в новый брак. И без того психологически нелегкое испытание усложняли многие бюрократические препоны. Кроме того, факт супружеской неверности требовал подтверждения свидетелями (которых нужно было подкупать в случае фиктивного обвинения), и бракоразводные процессы тянулись, как правило, годами.

У обоих супругов отношение к идее развода было двойственным. С одной стороны, Петр Ильич страстно жаждал официально освободиться от «гадины», а с другой — боялся осложнений, которые могли бы случиться в ходе судебного разбирательства. Логически он понимал, что его социальный статус и всероссийская известность наверняка помогут предотвратить какой бы то ни было скандал. Но эмоциональная напряженность, временами под давлением коллизии с «гадиной» грозившая перейти в психоз, мешала ему принять избранную тактику единственной и неуклонно ей придерживаться. Антонина отставать от него не собиралась, и композитора временами охватывали приступы кратковременной паники и дикой ярости по ее адресу. В письме к фон Мекк от 3/15 февраля он выразил это достаточно колоритно: «Куда убежать от этой несносной язвы, которую я в пылу совершенно непостижимого безумия привил себе сам, по собственной воле, не спросясь ни у кого, неизвестно для чего. Даже пожаловаться не на кого! Я теперь только узнал, что, не будучи злым по натуре, можно сделаться злым. Моя ненависть, мое (впрочем) заслуженное презрение к этому человеческому существу бывают иногда безграничны. Я узнал теперь, что можно ощущать в себе желание смерти своего ближнего и ощущать это страстно, неистово. Это и гадко и глупо, но я называю Вам вещи их настоящими именами. Простите, в эту минуту я очень раздражен. Я очень легкомысленен. При всяком подобном напоминании о страшном призраке, который отныне будет сопровождать меня всегда, до могилы, я прихожу в состояние невыразимой злобы и ярости. Потом дни проходят; я мало-помалу забываю, успокаиваюсь... до нового щелчка, пробуждающего самым неприятным образом».

Что же до «известной особы», то в первую очередь здесь играли роль ее психическая несбалансированность, повышенная эмоциональность и умственная ограниченность, вероятно, уже в это время переходившие за рамки нормальности. Ее категорический отказ дать ложные показания о том, что именно Чайковский был виновной стороной, совершившей

супружескую измену, трудно объяснить иначе. Казалось бы, развод должен был быть ей необходим, ибо освобождал от нелепого положения безмужней жены, не задевая ее чести, и давал возможность снова выйти замуж. С другой стороны, такое положение при Петре Ильиче приносило ей и выгоды: она многое могла требовать от него, включая деньги, оказывать на него давление, грозить скандалом и вообще предъявлять на него права. В случае же развода все ее дальнейшие претензии, в том числе и финансовые, были бы юридически несостоятельными. Глупость же не исключает хитрости. Может быть, этим объясняется ее настойчивость в отказе от требовавшихся показаний и призыв ее матери к «избежанию издержек на скандальное бракоразводное дело». Если бы суд назначил ей надлежащую сумму компенсации, то после развода она не могла бы сверх того взыскать с бывшего мужа ни гроша. То, что Анатолий, профессиональный юрист, несмотря на все усилия, не смог добиться удовлетворительного разрешения проблемы, демонстрирует всю меру ее запутанности и косвенным образом свидетельствует о наличии щекотливых обстоятельств — гомосексуальности Чайковского и душевной неуравновешенности его жены.

Серьезно думать о разводе композитор начал в середине февраля, когда Надежда Филаретовна предложила «бесценному другу» выдать Антонине Ивановне на некоторое время вперед солидную сумму — десять тысяч рублей, которую она берется доставить при условии, что та согласится на развод. Петр Ильич с энтузиазмом реагирует на это предложение: «Я совершенно уверен, что сумма, о которой Вы говорите, вполне достаточна и что известная особа предпочтет ее очень непрочной пенсии, которую я обещал выплачивать ей. <...> Я могу умереть очень скоро, и она лишится тогда своей пенсии. Но я могу согласиться на эту форму контрибуции только в случае, если она даст формальное обещание на развод. В противном случае я нахожу более удобным выдавать ей ежемесячную субсидию и держать ее посредством этого в своей зависимости. В последнее время я имел случай убедиться, что известная особа ни за что не оставит меня в покое, если она не будет сдержана страхом лишиться пенсии. Пенсию эту я назначу ей условно, т. е. “веди себя хорошо, не приставай ни ко мне, ни к родным... держи себя так, чтобы я не тяготился тобой, и тогда будешь получать свою пенсию. В противном случае делай как хочешь”. Вам покажется, что этот язык слишком резок и груб. Не хочу посвящать Вас, друг мой, в отвратительные подробности, свидетельствующие, что известная особа не только абсолютно пуста и ничтожна, но вместе с тем существо, достойное величайшего презрения. С

ней нужно торговаться не стесняясь в выражениях. Итак, или развод или пенсия».

Заручившись согласием госпожи фон Мекк, композитор писал Анатолию 11/23 марта: «Узнай, пожалуйста, у специалиста: сколько времени нужно для получения развода, трудно ли это, где мне нужно хлопотать о нем: в Питере или Москве, не думаешь ли, что я должен все это покончить до моего возвращения окончательного в Москву к сентябрю? Что касается согласия А[нтонины] И[вановны], то в нем я не сомневаюсь, ибо нужно быть уж совсем идиоткой, чтобы не ухватиться руками и ногами за это предложение». И 15/27 марта: «Твое письмо меня немножко взволновало. Собственно мне в нем не понравилось сообщаемое тобой поразительное известие, что [Антонина] знает о моих отношениях к Надежде Филаретовне. Каким образом — не могу понять. То, что ты пишешь о затруднениях в деле о разводе, меня нисколько не пугает. Я знаю, что нужно, чтобы я был уличен в прелюбодеянии, и совершенно готов прелюбодействовать, когда угодно. А что лучше, если Лева примет на себя инициативу, в этом ты прав. Итак, подождем до Каменки».

Подобный отчет композитор написал и Надежде Филаретовне 24 марта/5 апреля: «Отвечу Вам прежде всего на вопрос, касающийся известного дела. Брат Анатолий пишет мне, что, прежде чем дать обстоятельный ответ, он хочет поговорить со сведущими людьми о процедуре развода и просит меня покамест не начинать решительных действий. На святой неделе мы увидимся с ним в Каменке, и он желал бы приступить к делу, т. е. отнестись к моей жене с вопросом, согласна ли она на развод, уже после обстоятельных переговоров со мной. <...>0, как я буду безгранично счастлив, когда эта ненавистная, убийственная цепь спадет с меня!»

Остаток зимы Чайковский решил провести в Кларане, куда 25 февраля/9 марта он прибыл вместе с Модестом, Колей и своим слугой Алешей Софроновым. Очень скоро он обнаружил, что домашнее спокойствие нарушено амурными приключениями Алеши. Последний завел роман с хозяйской прислугой. «Занимаясь, слушал, как в соседней комнате Алеша возился с Marie. Представь себе, что эта очаровательная девушка влюблена в Алешку; каждый раз на его аспидной доске пишет ему по-французски изъяснения в любви, и у них идет какая-то таинственная возня. Однако ж я ни за что не допущу до употребления», — сообщал он Анатолию. Не особенно склонный к ревности, тем более в ситуации столь мимолетной связи, Чайковский тем не менее испытывал раздражение.

Кроме Алеши и Модеста с воспитанником, компанию Чайковскому в

Кларане составил Котек, приехавший туда в первых числах марта. 6/18 марта композитор признавался Анатолию: «Котек часто заставляет меня призадуматься. Я его очень люблю, но уже иначе, чем прежде. Кроме того, в тайне души я не то, что сержусь на него, но мне как-то неприятно, что он приучается жить за чужие деньги. Высказать этого ему я никогда не решусь. <...> С другой стороны, я тронут его любовью ко мне, я ужасно ценю в нем доброе сердце, его простоту и наивность. Словом, во мне борются относительно его разные чувства, вследствие которых хотя я и очень ласков, но уже нет прежнего. Он это замечает и высказывает мне; меня это злит, потому что я не могу сказать ему всю правду, да и огорчать его не хочу. Словом, бывают минуты, когда я и на себя злюсь, и на него злюсь, и результатом этого — будированье (дуться. — *фр.*). Потом мне делается совестно, и я делаюсь преувеличенно нежен. Впрочем, не придавай этому значения и не думай, что я тягочусь им. Во-первых, мне очень приятно играть с ним, во-вторых, для моего скрипичного концерта он мне необходим, в-третьих, я его очень, очень люблю. Душа его самая добрая, нежная, и характер в высшей степени удобный и симпатичный». Позднее молодой человек поступил в Высшую музыкальную школу в Берлине, откуда регулярно писал Петру Ильичу.

Котек привез много нот, и перед ужином композитор часто с ним музицировал: играли и в четыре руки, и со скрипкой. Одним из первых они исполнили скрипичный концерт под названием «Испанская симфония» французского композитора Эдуарда Лало. Он понравился Чайковскому и, вероятно, вдохновил на сочинение собственного концерта для скрипки с оркестром. О последнем упоминается уже в письме к фон Мекк от 5/17 марта, где композитор делится с ней своими взглядами по поводу творческого вдохновения: «Не верьте тем, которые пытались убедить Вас, что музыкальное творчество есть холодное и рассудочное занятие. Только та музыка может тронуть, потрясти и задеть, которая вылилась из глубины взволнованной вдохновением артистической души. Нет никакого сомнения, что даже и величайшие музыкальные гении работали иногда не согреты вдохновением. Это такой гость, который не всегда является на первый зов. Между тем работать нужно всегда, и настоящий честный артист не может сидеть сложа руки, под предлогом, что он не расположен. Если ждать расположения и не пытаться идти навстречу к нему, то легко впасть в лень и апатию. Нужно терпеть и верить, и вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел победить свое нерасположение. Со мной это случилось не далее как сегодня. Я писал Вам на днях, что хотя и работаю ежедневно, но без увлечения. Стоило мне поддаться неохоте работать, и я бы, наверное, долго



ничего не сделал. Но вера и терпение никогда не покидают меня, и сегодня с утра я был охвачен тем непонятным и неизвестно откуда берущимся огнем вдохновения, о котором я говорил Вам и благодаря которому я знаю заранее, что все написанное мною сегодня будет иметь свойство западать в сердце и оставлять в нем впечатление. Я думаю, что Вы не заподозрите меня в самохвальстве, если я скажу, что со мной очень редко случаются те нерасположения, о которых я говорил выше. Я это приписываю тому, что одарен терпением и приучил себя никогда не поддаваться неохоте. Я научился побеждать себя. Я счастлив, что не пошел по стопам моих русских собратьев, которые, страдая недоверием к себе и отсутствием выдержки, при малейшем затруднении предпочитают отдыхать и откладывать. От этого, несмотря на сильные дарования, они пишут так мало и так по-дилетантски. <...> Я чувствую себя отлично и очень доволен сегодняшним днем. Работа шла очень успешно. Я пишу, кроме мелких пиэс, сонату для фортепьяно и скрипичный концерт».

Чайковский настолько увлекся идеей концерта, что на время отложил в сторону остальное. «Все утро сидел за скрипичным концертом, который начал вчера, — писал он Анатолию 6/18 марта, — хочу воспользоваться присутствием Котека здесь. Это будет для меня новая и трудная работа, но зато интересная». Из писем следует, что, несмотря на новизну формы, работа эта давалась ему неожиданно легко. Уже через пять дней композитор закончил первую часть, а 14 марта сообщил фон Мекк, что «дошел до финала и скоро он [концерт] будет готов». Не прошло и двух недель, как эскизы были закончены. Проиграв написанное вместе с Котеком, Чайковский остался доволен первой частью и финалом, а для второй части захотел написать новое анданте. К концу месяца с помощью Котека концерт был полностью оркестрован, и молодой человек восхищал Петра Ильича и Модеста исполнением нового сочинения. Автор даже собирался посвятить концерт своему ученику, но передумал: это могло породить сплетни и кривотолки. После некоторых колебаний он решил посвятить его скрипачу Леопольду Ауэру, профессору Петербургской консерватории, чья известность, как надеялся Чайковский, могла бы принести сочинению быстрый успех. С этим посвящением концерт и был напечатан Юргенсоном. Тем не менее его первое исполнение Ауэром, намеченное на 10 марта 1879 года в Петербурге, не сострялось. Знаменитый скрипач нашел его слишком трудным и отказался играть. Чайковский снял посвящение и в следующем издании перепосвятил концерт Адольфу Бродскому, с успехом исполнившему его в Вене 22 ноября/8 декабря 1881 года.

В апреле композитор возвратился в Россию. Сначала он отправился в Каменку, куда его вместе с братом, Колей и Алешей пригласила пожить Александра. Перед отъездом из Вены он воодушевленно писал фон Мекк 8 апреля: «Покидая чужие страны, в качестве совершенно здорового, нормального, полного свежих сил и энергии человека, я должен еще раз поблагодарить Вас, мой бесценный друг, за все, чем я Вам обязан и чего никогда, никогда не забуду».

В Каменке Чайковскому по его просьбе приготовили отдельный домик — «хатку», в стороне от главного дома Давыдовых. Племянник композитора Юрий Давыдов в своих воспоминаниях писал: «Петр Ильич был очень доволен своей хаткой, состоявшей из двух комнат с кухней. Лев Васильевич приобрел для него пианино, так что он мог спокойно заниматься композицией. Здесь ему не мешало многочисленное общество в доме сестры». Можно полагать, что отдельное жилье предоставляло ему известную свободу в общении со всеми понравившимися ему в Каменке молодыми людьми. Там он работал над фортепьянной сонатой, начатой еще в Кларане, и «Детским альбомом».

Теперь, в гораздо более мирном расположении духа, Чайковский смог вернуться и к бракоразводным делам, как это явствует из письма к фон Мекк, написанном уже в деловом, оптимистическом тоне, почти сразу по прибытии в Каменку: «Анатолий очень обстоятельно разузнал всю процедуру развода. Это будет очень незатруднительно, но требует времени от трех до четырех месяцев. Дело будет ведено в Петербурге, и мне необходимо будет среди лета съездить туда недели на две. Мы начнем действовать сейчас же, и началось с того, что сегодня брат написал к известной особе письмо, в котором предлагает ей на известных условиях развод и просит ее приготовить ответ к приезду его в Москву. <...> Нет никакого сомнения, что она согласится. Инициатива должна быть принята ею, т. е. она должна будет подать просьбу в консисторию о своем желании расторгнуть брак. Так как брат не имеет права ходатайствовать по делам, то необходимо будет поручить это дело специалисту по части бракоразводных дел, который будет действовать под руководством брата, подавать просьбы, заявления и т. д.». Далее оговаривается, что никто, кроме него и Анатолия, не будет знать об участии Надежды Филаретовны в этом деле.

Семнадцатого апреля Чайковский писал ей же: «Сегодня сестра получила от жены моей письмо. Чтоб не вдаваться в дразги, скажу Вам только, что более чем когда-либо в эту минуту я призываю всей душой то чудное мгновение, когда несносная цепь спадет с плеч моих. Первый шаг сделан. Письмо с предложением развода послано. Через неделю брат

получит при свидании с ней ответ ее. Вся трудность состоит в том, чтоб она дала благоприятный ответ. Все остальное — формальности. Нужно быть безумной, чтобы не согласиться на мое предложение. Но она именно безумна».

Неприятности не заставили себя ждать; в преждевременном оптимизме Петр Ильич, очевидно, переоценил интеллектуальный уровень супруги. В Москве Анатолий встретился с Антониной, но послал отчет об этом свидании не брату, чтобы не расстраивать его, а сестре. Петр Ильич пишет 1 мая: «Напрасно ты боялся, что это сильно меня расстроит. В первую очередь я конечно разозлился, но тотчас же сделался спокойнее, ибо я предвидел, что эта гадина будет несколько гадить. Так как вследствие письма я был все-таки возбужден и не мог, конечно, спать по обыкновению, то, предварительно вооружившись успокоительными каплями, пошел домой и тотчас же сел писать письмо к Антонине Ивановне. Я знал, что только написав письмо и распорядившись на счет его отсылки, я получу возможность спать. <...> Да и в самом деле, чего тут бояться? Во-первых, я почти уверен, что развод состоится, а во-вторых, если даже и нет, то что ж за особенная беда? (Здесь уже проявляется некоторая амбивалентность в отношении к самому вопросу судебного процесса. — А. П.) Можно будет жить и так. Ведь она же, стерва, будет потом раскаиваться, — но уж поздно. Денег она не получит, если ей самой вздумается впоследствии хлопотать о разводе. Я хорошо сделал, что назначил ей двухнедельный срок. В случае если она его пропустит, а уже потом скажет “да”, я буду торговаться под предлогом, что уж десяти тысяч достать больше нигде». Из письма Надежде Филаретовне от 1 мая мы узнаем еще кое-что о содержании беседы Антонины Ивановны с Анатолием: «Вы увидите из письма брата, которое я посылаю Вам целиком, что она теперь вообразила себе, что мои родные — ее враги, а я действую под влиянием их козней».

Сохранился черновик письма, отосланного Петром Ильичом 1 мая жене: «Ант[онина] Ив[ановна]! Ты считаешь посредничество самых близких и дорогих мне людей неуместным и хочешь, чтоб я сам отнесся к тебе. Изволь. Объяснюсь тебе коротко и ясно. Прежде всего я должен теперь раз и навсегда и вконец уничтожить печальную иллюзию, ослепляющую тебя. <...> Никогда, ни в каком случае, ни под каким видом, ни за что за свете я не соглашусь на сожительство с тобой. <...> Я предлагаю тебе развод на следующих условиях: 1) Ты возьмешь на себя инициативу дела, т. е. подашь куда следует просьбу Затруднений для тебя не будет, так как дело будет вести адвокат. 2) Вину я принимаю на себя, и ты сохранишь право выйти замуж. 3) Все расходы по делу я принимаю на

себя. 4) По окончании дела ты получишь от меня десять тысяч. 5) <...> Деньги до окончания дела я перешлю к третьему лицу, которому ты доверяешь. <...> Итак, потрудись хорошенько понять, я тебе предлагаю сделку, которая, как мне кажется, обоим нам удобна и выгодна. <...> Если ты согласна, то, не теряя времени, тотчас же приступим к делу, если нет, то я должен буду принять другие меры к обеспечению своей свободы действий».

Девятого мая 1878 года Чайковский сообщает фон Мекк: «Дело о разводе меня, разумеется, несколько смущает и беспокоит, но не настолько, чтобы от этого страдало мое здоровье. Конечно, придется пережить еще несколько неприятных минут, но, в конце концов, как Вы замечаете, дело должно кончиться хорошо. Да если б даже я не достиг желанной цели, то в отчаянье приходить нечего. Что бы ни случилось, а совесть моя остается чиста. Я сделал теперь все, чтобы искупить свою вину перед известной особой. Я имею теперь слишком явное доказательство того, до какой степени она совершенно лишена совокупности тех человеческих качеств, которые называются душою. Страдать нравственно она не может и никогда не будет. В ней может страдать только самая жалкая амбиция существа женского пола, одержимого мономанией, которая состоит в том, что все существа мужского пола, а в том числе и я, представляются ей влюбленными в нее. Допустить, что я в самом деле добиваюсь разрыва вследствие морального отвращения к ней, она никак не может. Убедившись же, наконец, в этом, она, пожалуй, и будет страдать, но страдания эти неспособны вызвать во мне чувства жалости, особенно ввиду того, что в материальном отношении она, во всяком случае, очень много выиграла от своего неудавшегося замужества».

Ответ «известной особы» последовал 15 мая 1878 года: «Ты просишь развода, но я не понимаю, почему же непременно требовать его судом. Ты пишешь, что принимаешь вину на себя — тут нет ничего удивительного. Ты добиваешься свободы для себя, нисколько и не думая об том, хорошо ли это или дурно для меня. С самого первого дня нашей свадьбы у тебя [во] всем проглядывал эгоизм, а теперь он проявляется все в больших размерах. Неужели тебе мало того горя, которое ты заставил меня перенести с октября, бросив меня безжалостно на посмеяние и поругание всем, и теперь еще требуешь, чтобы я на тебя же подавала прошение, приискивая несуществовавшие причины для развода? Ты уже сам выразил в одном из писем ко мне, что нисколько не заботишься о мнении, какое о тебе составят, а хочешь только остаться честным артистом, и потому тебе этот скандал будет как с гуся вода, между тем как одно то, что я буду с тобой судиться,

наложит на меня неизгладимое пятно. (На самом деле это было не так: поскольку композитор готов был признать вымышленную вину — адюльтер, то в глазах общества становился «запятнан» он, а не она. — А. П.)

Знаешь, такой эгоизм с твоей стороны становится просто обидным для меня. Где тот человек, которого я считала каким-то полубогом и который в глазах моих не мог вмещать в себе никаких недостатков! Если бы ты только знал, как горько разочарование! Ты предлагаешь мне в обеспечение 10 000 р[ублей] с[еребром], с тем чтобы их выслать до окончания дела. Да, теперь я вполне могу считать себя вправе на это. Куда же я теперь гожусь, разбитая не физически, но морально. Физический недуг излечивается медиками, а моральный — никем. Но разве эти деньги смогут считаться обеспечением, когда у меня есть долг в 2500 р., который мне скоро предстоит уплачивать, иначе мы с сестрой рискуем, что у нас отнято будет и последнее достояние. <...> Обращаюсь к тебе как человеку, в котором, верно, еще не заглохли все хорошие инстинкты: потрудись прежде всего уплатить мой долг, вместо того чтобы платить ни за что адвокатам, а 10 000 р[ублей] вышли, как и всегда, на Юргенсона. Ты пишешь, что никакие силы не могут заставить давать мне; но ведь я ни к кому и не собираюсь обращаться. Полагаюсь только на твою совесть, и верь, что, писав эти строки, я руководствуюсь не корыстолюбием, но при той тяжелой последующей жизни, которая мне предстоит, все-таки будет легче, если буду избавлена от лишений и недостатков. В тебе есть твоя гениальность, которая тебя всегда обеспечит в материальном отношении; меня же природа не одарила ничем выходящим из обыкновенного. <...> Упреки совести будут для тебя самым большим наказанием. Пусть же нас Бог [рассудит], кто прав и кто виноват Жду извещения, как приступить к делу, чтобы кончить тихо и без скандалов».

Это письмо свидетельствует, что общение между супругами было диалогом обитателей разных планет. Чего стоит уже одна первая строка: «Ты просишь развода, но я не понимаю, почему же непременно требовать его судом». Но каким же еще путем можно было получить развод? Однако Чайковский спешит поделиться новостью с «лучшим другом»: «Я получил письмо от известной особы на множестве страниц. Среди феноменально глупых и идиотических ее рассуждений находится однако же формально высказанное согласие на развод. Прочтя его, я обезумел от радости и полтора часа бегал по саду, чтобы физическим утомлением заглушить болезненно радостное волнение, которое это мне причинило. Нет слов, чтобы передать Вам, до чего я рад!»

И все же, какую бы радость он ни испытывал, надеясь на благополучный исход своей брачной драмы, его омрачало странное беспокойство по поводу едва уловимых изменений отношений с его благодетельницей. Их непростые денежные коллизии, несмотря на исключительную деликатность, присущую им обоим, не могли, конечно, не вызывать в нем всяческих психологических переживаний. Даже благодарность, ранее столь естественно звучавшая в его письмах, стала требовать изобретательности — хотя бы потому, что она по самой природе человеческого языка скатывалась к повторам. Уже 1/13 февраля 1878 года он жалуется Анатолию: «После завтрака и прогулки я написал большое письмо Н[адежде] Ф[иларетовне]. Представь себе, что чуть ли не в первый раз в нашей переписке я затруднился в выражениях. Оттого ли, что совестно, оттого ли, что трудно вечно благодарить и благодарить, только я порядком помучился, прежде чем написал».

Проблема эта углублялась, давая ему повод корить себя. Обострялось и недовольство своей зависимостью, не лишенное унижительного оттенка: «Я знаю, что Н[адежда] Ф[иларетовна] не ударит лицом в грязь. Знаю, что деньги будут, но когда, как? сколько? где? — этого ничего не знаю. Словом, нужно ждать подачки от своей благодетельницы. Положим, благодетельница так деликатна, так щедра, что благодеяния ее не в тягость. Но в подобные минуты все-таки чувствуешь ненормальность, искусственность моих отношений к ней». Эти негативные моменты чувствовались сильнее, когда фон Мекк, одержимая своей страстью и привязанностью, желала лично оказать ему гостеприимство в России или за границей — приглашала его в свой дом и свои поместья, нанимала для него квартиры во Флоренции или в Париже. Впрочем, не следует упрощать положение вещей: в большинстве случаев он не мог отказать ей, даже если иногда и брюзжал в письмах братьям, жалуясь на то, что ее вмешательством нарушались его планы и стеснялась свобода. Он бесконечно наслаждался роскошью, в которой утопал волею «лучшего друга», был совершенно счастлив и в конце концов преисполнялся к ней глубокой и искренней благодарности. Это справедливо и в отношении тех недель, которые он проводил где-нибудь поблизости от нее, пусть и не вступая в личный контакт, как это бывало во Флоренции, Париже или Браилове. Она же от одного сознания, что он пребывает рядом, впадала в необычайный экстаз (так у нее, по-видимому, проявлялся к нему своеобразный эрос) и при любой возможности упрашивала его поселиться в разных странах вблизи от нее, без тени упрека и раздражения, впрочем (по крайней мере в письмах), снося его периодические отказы.

Уже 18 ноября 1877 года Надежда Филаретовна. делает первую в этом роде попытку: «Петр Ильич, если Вы соскучитесь за границею и Вам захочется вернуться в Россию, но не показываться людям, то приезжайте ко мне, т. е. не ко мне лично, а в мой дом на Рождественском бульваре; у меня есть вполне удобные квартиры, где Вам не надо будет заботиться ни о чем. В моем хозяйстве все есть готовое, и между нами будут общими только хозяйство и наша дорогая мне дружба в том виде, как теперь, не иначе, конечно. В доме у меня ни я, и никто из моего семейства и никто в Москве и не знали бы, что Вы живете тут. У меня в доме очень легко скрываться от всего света. Вы знаете, какую замкнутую жизнь я сама веду, и вся прислуга привыкла жить на положении гарнизона в крепости. Вы здесь были бы неприступны». Он не воспользовался предложением, но год спустя, в сентябре 1878 года, на несколько дней останавливался в доме на Рождественском бульваре в отсутствие хозяйки и написал ей об этом подробно в письме, как всегда приведшем ее в восторг.

Почти сразу по приезде в Каменку Чайковский с радостью принял приглашение фон Мекк посетить ее поместье Браилов в Каменец-Подольской губернии. Расставшись с Модестом и Колей, отбывшими в Гранкино, он с 17 по 30 мая гостил в преисполненном удовольствиями Браилове. Читаем в его письме сестре от 18 мая: «Я катаюсь здесь как сыр в масле. <...> Живу я в дворце в буквальном смысле этого слова, обстановка роскошная, кроме учтивых и ласково предупредительных слуг, никаких человеческих фигур я не вижу, и никто не является со мной знакомиться, прогулки прелестные, к моим услугам экипажи, лошади, библиотека, несколько фортепьян, фисгармоний, масса нот, — словом чего лучше». Через день к нему присоединился Алеша, который пришел от Браилова в дикий восторг. Видя, как все браиловские слуги падают ниц в присутствии его хозяина, он стал обращаться с последним гораздо почтительнее обыкновенного. В память об этом визите Чайковский посвятил Браилу три пьесы для скрипки и фортепьяно — «Воспоминания о дорогом месте».

Но даже роскошная обстановка Браилова не помогла полностью отрешиться от беспокойств. Помимо хлопот с началом развода, для которого он должен был ненадолго выехать в Москву, ему пришлось столкнуться еще с одной проблемой, а именно, резким ухудшением отношений между Модестом и родителями Коли Конради, особенно с его матерью Алиной Ивановной. Помимо чисто человеческих недостатков, здесь, вероятно, имела место и простая психологическая несовместимость. Конфликт обозначился уже к марту 1878 года: «Модест меня очень

беспокоит. Он решил во что бы то ни стало устроить жизнь отдельную от Алины Ивановны, которую он видеть не может. С одной стороны, я понимаю его антипатию. Один тон ее писем к Модесту достаточен, чтобы понять его отвращение к ней. С другой стороны, как разлучить Колю с родителями?!! Положим, что они не особенно сильно к нему привязаны. Но ведь самолюбие не позволит им расстаться с сыном. Что будут говорить? А между тем Модест задался во что бы то ни стало мыслью жить или в Москве, или в Каменке или за границей, словом, где бы то ни было, лишь бы не с Конради».

Среди идей Модеста была и такая: съехаться раз и навсегда с уже знаменитым братом и жить так же, как они жили втроем за границей. Чайковский был категорически против этого плана из-за воскресших опасений насчет собственных и Модестовых любовных пристрастий, так или иначе должных проявиться при проживании вместе с подрастающим мальчиком: «Жить со мной тебе нельзя по тысяче причинам:

а) Я недостаточно (несмотря на бесчисленные предыдущие уверения. — А. П.) все-таки люблю Колю, чтобы ради него совершенно радикально изменить весь строй моей жизни;

б) Я нахожу, что лучше Коле лицедреть разные недостатки своих родителей, по поводу которых ты вывел софистическое заключение, что для его совершенствования вредно быть свидетелем различных проявлений этих недостатков (да и у кого их нет?), чем лицедреть мои пороки и мои недостатки, от которых ради него я не имею сил отделаться;

в) Ответственность, которая легла бы на меня с той минуты, как я бы сделался главой семейства, в которое попал бы Коля, мне не по силам;

г) Я не хочу, чтоб злые языки начали язвить невинного ребенка, про которого неизбежно стали бы говорить, что я готовлю себе в нем любовника, да притом немного, чтобы избежать сплетни и толков;

д) Я слишком раздражителен, слишком дорожу абсолютным покоем, чтобы не тяготиться постоянною жизнью с ребенком, да притом таким трудным и болезненно суетливым, как Коля;

е) В принципе, я вообще против сожительства с кем-либо, даже с самыми дорогими и близкими людьми».

И далее в этом пространном письме подчеркнуто: «В вопросе о переселении от Конради ты так же слеп, как я был слеп в прошлом году по поводу женитьбы. Если не так же, то почти так же. Скажи, пожалуйста, Модя, неужели ты думаешь, что я бы не почел величайшим счастьем жить с тобой при других, благоприятных, нормальных условиях? Неужели ты можешь сомневаться в моей безграничной любви к тебе? Пожалуй,



сомневаясь. Но я в твоей любви ко мне не сомневаюсь ни минуты, и вот жертва, которую я прошу у тебя для меня. Пожалуйста, в виде жертвы, ради меня, оставь, забудь свое намеренье уехать от Конради. Относительно тебя я могу быть покоен только, пока ты с Колей у них». Весь контекст этого пассажа, включая ссылку на глупость по поводу женитьбы, дает основание полагать, что гомосексуальность самого Модеста оставалась существенным невысказанным опасением. И в конце: «Пожалуйста, прости, Модя мой милый, если я что-нибудь высказал резко. Ей-богу, мною руководит единственно желание тебе блага. На твои отношения к Коле я смотрю как на крест, который ты несешь с великой христианской добродетелью (ср. ранее: «...ибо ты столько же серьезен, неподражаем, велик (sic!) в исполнении своего долга относительно Коли, сколь легкомыслен к жизни». — А. П.). Зачем все это случилось? Может быть, к лучшему, может быть, нет, но я очень хорошо понимаю всю тяжесть этого креста. И тем не менее, сердце мое чует много бед, если ты меня не слушаешь. Впрочем, делай как знаешь. Во всяком случае, ты будешь всегда занимать львиную часть моего сердца».

Следует ли понимать под «крестом» не только отношения с родителями, но и не совсем платоническое влечение воспитателя к воспитаннику? Очевидно, что эта «взаимная любовь» развивалась в явно ненормальных условиях, чреватых постоянной напряженностью.

Двадцать первого июля 1878 года, еще в разгар «тройственного романа» двух взрослых людей с глухонемым мальчиком, композитор писал Анатолию: «Зато насчет Коли у него [Модеста] явились разные сомнения, недоразумения и затруднения. Модест жалуется на его сухость сердца и боится, что он похож в этом отношении на родителей». На сей раз эти сомнения были кратковременными. Несмотря на психологические препоны, близкие отношения между воспитателем и воспитанником с завидной устойчивостью продолжались долгие годы.

Чайковский 30 мая выехал в Москву в надежде уладить дело с разводом и сразу оказался вовлеченным в тяжелую атмосферу консистории, которую описал Надежде Филаретовне 6 июня: «Консистория есть еще совершенно живой остаток древнего сутяжничества. Все делается за взятки, традиция взяток до того еще крепка в этом мирке, что они нисколько не стыдятся прямо назначать сумму, которая требуется. Для каждого шага в деле имеется своя такса, и каждая взятка тотчас же делится между чиновниками, писцами и попом увещателем». От секретаря консистории он узнал об этапах дела, которое ему предстоит. «Вот что нужно для развода: 1) прежде всего требуется разыграние одной очень

тяжелой, цинически грязной хотя и коротенькой сцены, о подробностях которой писать Вам неудобно; 2) один из свидетелей должен написать известной особе письмо с изложением подробностей сцены; 3) известная особа подает просьбу к архиерею о расторжении брака; 4) недели через две обоим супругам из консистории выдается указ; 5) с этим указом оба супруга должны явиться к приходскому священнику и подвергнуться его увещанию; 6) через неопределенное число дней и недель после получения из синода разрешения на начатие дела консистория вызывает обоих супругов и свидетелей на суд по форме (так называется процедура допрашивания супругов и свидетелей); 7) через несколько времени супруги опять вызываются для прочтения показаний и подписи под протоколом; 8) наконец потом, опять чрез неопределенный срок, супруги вызываются для объявления им решения. Кроме того, есть еще несколько формальностей».

Но поведение «известной особы» оказалось неуправляемым. Из ее письма композитор сделал вывод, что «она совершенно не понимает, в чем дело. Она принимает на себя роль несчастной жертвы, насильно доведенной до согласия. Между тем, во все время ведения дела она должна принять совершенно противоположную роль, т. е. в консистории она должна быть обвинительницей, желающей во что бы то ни стало расторгнуть брак. Малейшая неточность в роли может повести к очень плачевным результатам. <...> А так как известная особа обнаружила совершенно непостижимое отсутствие понимания, то требуется, чтобы прежде всего кто-нибудь взялся подробно и точно научить ее, что она должна говорить и как в каком случае держать себя».

Не желая проводить все лето в Москве, Чайковский решил отложить дело до осени. Разумеется, сам он не мог заняться наставлениями «известной особы». За это взялся Юргенсон. Предварительно надо было отыскать ее в Москве, что оказалось непросто: «Нарочно ли она скрывается, случайно ли это, не могу решить». Юргенсон приступил к розыскам, а Чайковский, не дождавшись результата, уехал из Москвы. 9 июня он сообщал Модесту: «Теперь прежде всего нужно обстоятельно переговорить с Антониной Ивановной и предупредить ее, в чем будет состоять ее роль во всех фазисах дела. Малейшая непрочность в роли может компрометировать все дело, а при колоссальном уме этой дивной женщины чего она не натворит, если не будет как следует промуштрована».

Шестнадцатого июня композитор получил от Юргенсона длинное письмо, из первой части которого следовало, что ему не удалось найти Антонину Ивановну, но во второй содержался отчет о их наконец состоявшейся встрече. Обширная цитата из этого отчета им приведена в

письме «лучшему другу», датированном тем же днем: «Через несколько минут вышла А[нтонина] И[вановна] и мы начали разговор о посторонних делу вещах. Я наконец прямо изложил, в чем дело. Говорили мы много, и А[нтонина] И[вановна] иногда входила в азарт и гневное воодушевление. Вначале она приняла меня за одного из агентов бракоразводного дела и решительно объявила, что ни с кем, кроме мужа, говорить не хочет, выражала сильное неодобрение тебе, бранила Анатолия и т. д. Разговор вертелся буквально, как белка в колесе, а мы все опять оказывались на исходном пункте. Не стану тебе передавать подробности, но я получил полное убеждение, что с нею каши сварить нельзя; она ни за что не хочет “лжи” и “ни за какие блага в мире не будет лгать”. Я пробовал ей объяснить, что “лжи” не будет, ибо будет доказана твоя неверность, но она невозмутимо спокойно ответила: “а я докажу противное!” Она твердо стоит на одном: пускай явится сам, и мы с ним обойдемся без окружного суда. (Никаким образом нельзя вразумить ее, что дела о разводах ведутся консисторией, а не окружным судом.) Она высказала предположение, что “все это было задумано еще до свадьбы”. Я робко заметил, что предположение это неверно, ибо зачем это могло быть нужно! Она возразила, что не знает зачем, но все это интриги Анатолия, Рубинштейна, твоей сестры и т. д.».

Петр Ильич пришел к выводу, что на данном этапе от идеи развода надо отказаться, о чем сообщил в том же письме фон Мекк: «При феноменальной, непроходимой глупости известной особы щекотливое дело развода вести с ней нельзя. Это будет возможно только в том случае, когда по каким-либо причинам она сама захочет его, для того чтобы выйти замуж или для другой какой-либо цели. В настоящее время в ней утвердилась мысль, что я, в сущности, влюблен в нее и что злые люди, т. е. брат Анатолий, сестра и т. д., — виновники нашего разрыва. Она убеждена, что я должен вернуться и пасть к ногам ее. Вообще это такое море бессмыслия, что решительно нельзя взяться за дело. Уж если она совершенно серьезно в письме ко мне утверждала, что развод был задуман ее врагами еще до свадьбы, то согласитесь, что путем убеждения ничего от нее не добьешься. Если посредством давления на нее и добиться, наконец, ее согласия начать дело, то нельзя быть уверенным, что она не скомпрометирует его во время различных щекотливых процедур, без которых обойтись нельзя. Итак, с грустью, но с полной ясностью я вижу, что мои мечты тотчас же добиться свободы тщетны».

Главный тезис, выдвинутый «гадиной» в разговоре с Юргенсоном, сообщается и Модесту 18 июня: «Про развод она решительно объявила, что

“лгать” не согласна, и потому, когда будут доказывать мое прелюбодеяние, она будет доказывать, что это неправда!!! Я пришел к убеждению, что ни теперь, ни позже нельзя приступить к делу, — она слишком глупа». Чайковский берет назад предложение Антонине десяти тысяч в случае, если она позднее потребует развода по собственной инициативе, но соглашается по прежнему платить ей ежемесячную субсидию, хотя и «по мере возможности».

Из письма Модесту от 4 июля мы узнаем подробности нового послания от «гадины»: «Что касается внутренних тревог, то они причинены длинным письмом Антонины Ивановны. Из этого письма явствует, что она окончательно сходит с ума. Глупости ее предыдущего, известного тебе письма ничто в сравнении с последним. Дерзостей, мерзостей пропасть, но они, конечно, только забавны. Беспокоит же меня мысль, что она никогда не отстанет от меня. На развод она предъявляет согласие, но требует, чтобы он был произведен так: я должен явиться к ней в Москву, потом мы с ней пойдем к людям (sic!) и предстанем на суд их, причем она выскажет бесстрашно всю правду о моих подлостях, а затем пусть люди, если хотят, разводят нас, — она готова принести эту жертву. Я отвечал на полустраничке, что она получит в августе 2500 р. для уплаты долга и будет получать по мере возможности свою пенсию. Письма же ее будут возвращены к ней нераспечатанными. Теперь я уж отделался от первого впечатления и начинаю забывать, что все это было. Но не дай бог, чтобы в дурную минуту она попала ко мне навстречу в Москве. Боюсь, как бы я не имел слабости прийти в ярость».

Надежда Филаретовна все еще лелеяла надежду на возможность развода. В длинном письме от 6 июля Чайковский разуверял «лучшего друга» в этом, повторяя уже известные аргументы: «Из последнего письма ее ясно видно, что она намерена разыгрывать роль какой-то верховной решительницы судебных моих; мои учтивые обращения к ней, мои просьбы внушили ей мысль, что она может невозбранно самодурничать надо мною. <...> Я не теряю надежды, что когда-нибудь она поймет, в чем заключается ее выгода. Тогда она сама будет просить того, чего не хочет теперь, и только тогда можно будет быть уверенным, что она сыграет сознательно ту роль, которая требуется при формальностях бракоразводного дела. <...> Вместе с тем и я, и сестра, и братья в то время слишком много твердили ей, что я виноват, что она достойна всякого сочувствия. Она решительно вообразила себя олицетворенною добродетелью, и теперь, после того, как личина с нее давно снята, она все еще хочет быть грозною карательницей моих низостей и пороков. Если б Вы прочли ее последнее письмо ко мне, Вы бы

ужаснулись, видя до чего может дойти безумие забвения правды и фактов, наглость, глупость, дерзость. В личном свидании с ней не будет никакой пользы. <...> Кроме того, я не могу ее видеть, *c'est plus fort que moi* (это выше моих сил. — **фр.**). Когда я думаю о ней, у меня является такая злоба, такое омерзение, такое желание совершить над ней уголовное преступление, что я боюсь самого себя. Это болезнь, против которой только одно средство: не видеть, не встречать и по возможности избегать всяческих столкновений. Даже теперь, когда я пишу Вам эти строки, поневоле имея перед глазами ненавистный образ, я волнуюсь, страдаю, бешусь, ненавижу и себя самого не менее ее. В прошлом году, в сентябре был один вечер, когда я был очень близок, на расстоянии одного шага от того состояния слепой, безумной, болезненной злобы, которая влечет к уголовщине. Уверяю Вас, что спасся чудом каким-то, и теперь при мысли о ней закипает то же чувство, заставляющее меня бояться самого себя».

Затем на какое-то время упоминания об Антонине становятся реже.

Во время краткого «делового визита» в Москву в начале июня 1878 года Чайковский встретился с консерваторскими коллегами, а также пообедал с «постаревшим, но очень милым» Бочечкаровым. Анатолия он нашел расстроенным, уставшим и больным от своих любовных и служебных дел. В этот раз Москва показалась ему «до того ужасна», что он «едва вынес эти три дня» и с отъездом 3 июня испытал «блаженство и наслаждение». Вместе с Анатолием они отправились в Каменку, по дороге остановившись в поместье Кондратьева Низы, где продолжали бушевать разного рода страсти. В письме Модесту от 9 июня говорится: «Алексей (Киселев, слуга Кондратьева. — А. П.) так же точно безобразничает, как и два года тому назад, но теперь это все стало еще позорнее, так как он, женившись (по примеру патрона? — А. Я.), живет здесь совершенно самостоятельным барином... <...> производит невероятные скандалы. Сегодня ночью произошло то самое, что два года тому назад заставило меня уехать, т. е. всеобщее пьянство, крики и шум в течение всей ночи, рвота, умаливание и упрашивание жены — ну, словом, такая гадость, что мы с Толей всю ночь не спали и от бешенства расстроили себе нервы. Но на этот раз никакого скандала я не сделал и решил переговорить ласково. Был сейчас разговор, из которого я вынес чувство сожаления к Николаю Дмитриевичу. Он согласился со мной на всех пунктах и дал слово уехать за границу. Мери (жена Кондратьева. — А. П.) во всем этом ведет себя превосходно, с изумительным тактом». Итак, отсылается уже не слуга, а хозяин бежит от слуги за границу!

Через несколько дней композитор прибыл в Каменку и снова

поселился в своей «хатке». 18 июня он сообщал Модесту: «Пишу тебе, мой милый Модя, вечером после ужина и не на своей бумаге, ибо Анатолий возобновил свой роман с Агафьей (крестьянской девушкой из Каменки. — А. П.) и в настоящую минуту находится в нашем домике вместе с этой туземкой». Интересное замечание: очевидно, что братья Чайковские встречались в этой «хатке» с местным населением, всяк на свой выбор. Упоминание о «нашем домике» свидетельствует о том, что он предназначался и для Модеста. 20 июля в Каменке появился и сам Модест. Судя по его рассказам, он сумел наладить хорошие отношения с матерью Коли. Кроме того, по пути из Гранкина в Каменку он посетил друзей Апухтина — Жедринских, где встречался с поэтом и его молодым другом Александром Жедринекиным. В начале августа Чайковский, на этот раз с Модестом, недолго гостил у Кондратьева, откуда Модест возвратился в имение Конради, а Петр Ильич отправился в Браилов, где провел неделю. «Ах, Модя, какая прелесть Браилов и как приятно пожить среди этой чудной обстановки. <...> Целую тебя тысячу раз». В письме к фон Мекк от 13 августа он откровенно признается: «Я — один из людей, которые очень нечасто могут сказать про себя в данную минуту: я счастлив. Здесь я могу это сказать: да, я счастлив *dans toute la force du terme* (в полном смысле слова. — **фр.**)».

Через три дня он делится соображениями, в том числе весьма интимными, с Модестом: «Пребывание мое здесь приближается к концу... я доживаю последние дни браиловского уединения уже больше по обязанности, чем по внутреннему влечению. Тем не менее я пришел к совершенно непоколебимому заключению, что я могу найти полное удовлетворение от жизни только в форме деревенской и по большей части одинокой жизни. <...> Сегодня я кричал от восторга, читая “*Les caprices de Marianne*”, и конечно, тотчас же решил написать на это оперу. Как твоё мнение? Я нахожу один большой недостаток для оперы: это то, что *Coelio* и *Marianne* ни разу не встречаются, ни разу не появляются вместе. Правда? Но зато что за прелесть; я влюблен в *Coelio*. По поводу любви я должен сказать, что теперь дошел до последней крайности е...вости и похотливости. Об Евстафий не могу думать без сумасшедшего желания... Я влюблен во всех встречающихся мальчиков. Даже в портреты сыновей Н[адежды] Ф[иларетовны]. Онанизм уже не удовлетворяет и не успокаивает меня. Так что я это бросил. Ужасно боюсь, что не утерплю в Вербовке и посягну на иммакулатную (*immacule* (**фр.**) — незапятнанный) чистоту нравов дома».

По мере приближения осени, когда Чайковский должен был вернуться

в Москву, чтобы преподавать в консерватории, настроение его все больше портилось, и он лихорадочно искал любую возможность отказаться от опостылевшей ему работы. Вскоре произошел случай, в конечном счете способствовавший осуществлению этих его желаний. Сам эпизод и охватившие в связи с ним эмоции композитора описаны в письме Модесту от 29 августа: «В Фастове я взял газету (“Новое время”) и нашел в ней Московский фельетон, посвященный грязной, подлой, мерзкой и полной клевет филиппике против консерватории. Лично про меня там почти ничего нет и даже упоминается, что я занимаюсь одной музыкой, не принимая участия в интригах и дрязгах. Но в одном месте статьи толкуется про амуры профессоров с девицами и в конце ее прибавляется: “Есть в консерватории еще амуры другого рода, но о них, по весьма понятной причине, я говорить не буду” и т. д. Понятно, на что это намек. Итак, тот дамоклов меч в виде газетной инсинуации, которого я боюсь больше всего в мире, опять хватил меня по шее. Положим, что лично до меня инсинуация на сей раз не касается, но тем хуже. Моя бугрская репутация падает на всю консерваторию, и от этого мне еще стыднее, и еще тяжелее. Я геройски и философски выдержал этот неожиданный пассаж, продолжал до Киева толковать с Лево́й о черноземе и т. п., но на душе у меня скребли кошки». И, однако, в том же письме далее: «Après tout (в конце концов. — *фр.*) все к лучшему, и в настоящую минуту я совершенно успокоился насчет всяких газет. <...> В сущности все трын-трава, когда есть люди, которых любишь, как я тебя или как ты меня (извини за самоуверенность)».

Заявление это довольно показательное. Чайковский, сильно переживающий любые публичные удары, смог выдержать направленный в его сторону выпад в прессе. И не только выдержать, но и лишний раз почувствовать, что ему все «трын-трава», когда есть люди, которые любят его и ценят. Более того, он решает воспользоваться этим фельетоном в качестве конкретного повода для объяснения фон Мекк задуманного им окончательного ухода из консерватории. Далее в том же письме читаем: «Еще в Фастове, с газетой в руках, я решил, что я должен бросить свою профессию. Я бы это сейчас сделал, т. е. не поехал бы в Москву, но квартира нанята, в консерватории на меня рассчитывают и т. д. Ну, словом, я решил выдержать до декабря, затем на праздники уехать в Каменку и оттуда написать, что болен, разумеется, предварив по секрету Рубинштейна, чтобы он искал другого профессора. Итак, *vive la liberte et surtout vive* (да здравствует свобода и особенно да здравствует. — *фр.*) Надежда Филаретовна. Нет никакого сомнения, что она опробует мое решение, — следовательно, я могу вести усладительную скитальческую

жизнь, то в Каменке и Вербовке, то в Петербурге с Вами, то за границей».

Первого сентября Чайковский приехал в Петербург и 4 сентября отправил огромное письмо своей меценатке. Отметим, что он не преминул сообщить ей и о шоке после прочтения статьи касательно консерватории в «Новом времени»: «В Фастове, где нужно долго ждать брестского поезда, я взял в руки газету, в которой нашел статью о Московской консерватории, — статью, полную грязных инсинуаций, клеветы и всякой мерзости, в которой встречается и мое имя, где немножко и мной занимаются. Не могу сказать Вам впечатления, которое эта статья произвела на меня: точно меня по голове обухом ударили! <...> Много раз прежде мне случалось терпеть от руки невидимых друзей, изображавших печатно меня как человека, достойного всякого сочувствия, или от руки невидимых врагов, бросавших грязью в мою личность посредством газетной инсинуации, но прежде я в состоянии был терпеливо переносить эти милые услуги, в состоянии был без содрогания принимать и неуместные выражения симпатии к моей личности и ядовитые нападки. Теперь, проведя год вдали от центров нашей общественной жизни, я стал невыносимо чувствителен к этого рода проявлению публичности».

Однако в статье «Нового времени» вовсе не содержалось нападок на Чайковского, он даже объявлялся одним из самых приличных людей в консерватории — намек на «амуры другого рода» приводился без указания имен. В письме же в противоречии с подчеркиваемой многочисленными биографами боязнью «дамоклова меча» он привлек внимание корреспондентки к каким-то реальным или воображаемым подтекстам, которые могли вызвать ее недоумение, в то время как иначе прошли бы незамеченными. Все это мало соответствует представлению о нем как о персонаже, маниакально желавшем всенепременно оправдаться в своем «пороке» или вообще скрыть его от всех и вся. Напротив, самым сообщением благодетельнице о газетной заметке и комментарием к ней он вполне мог приблизить удар «дамоклова меча».

На наш взгляд, все это говорит о том, что на данный момент его томления по поводу всего комплекса отношений с «лучшим другом», включая страх «разоблачения», почти сошли на нет. Он уверился в прочности сложившихся связей и привык полагаться на ее благородство. Поэтому столь естественно он в этом же письме переходит от газетного фельетона к переживанию иного рода — случайно подслушанному разговору соседей по вагону о нем самом, о его женитьбе, сумасшествии, музыке: «Это целое море бессмыслицы, лжи, несообразности». Для нервно-психологической конституции композитора характерно, что



газетный фельетон приравнивается им — по степени произведенного возбуждения — к частному разговору, а источник неистовства, негодования и боязни есть не предполагаемые гомосексуальные слухи, а любые разговоры о нем. Личность же Надежды Филаретовны априори ставится им здесь выше досягаемости каких бы то ни было сплетен. По всей видимости, в оценке этой он не ошибался.

После возмущений «московским фельетоном» он, однако, соглашается с тем, что «основная мысль статьи не лишена справедливости» и что деспотизм Рубинштейна не может не встречать протеста. Не собираясь быть в роли лакея последнего и «предметом простых сплетен», Чайковский, принимая несколько драматическую позу, пишет: «Меня охватила бесконечная, несказанная, непобедимая потребность убежать и скрыться, уйти от всего этого. Меня охватил также невыразимый страх и ужас в виду предстоящей жизни в Москве. Само собой разумеется, что я тотчас же стал строить планы окончательного разрыва с обществом. По временам находило на меня желание и жажда безусловного покоя, т. е. смерти. Потом это проходило и снова являлась жажда жить, для того чтобы доделать свое дело, досказать все, что еще не досказано. Но как примирить то и другое, т. е. уберечь себя от соприкосновения с людьми, жить в отдалении от них, но все-таки работать, идти дальше и совершенствоваться?!»

В этом письме звучит уже знакомая нам театрально-трагическая нота с вызыванием к смерти и желанием убежать. Но если осенью 1877 года, возможно, и были серьезные основания для такого состояния, то годом позже оно явно выглядит наигранным. Письмо Модесту на ту же тему, несмотря на возмущение фельетоном, выдержано во вполне спокойных тонах, как и все его последующие послания родственникам. Следовательно, он сознательно решил эксплуатировать фон Мекк, используя уже опробованное клише с вызыванием к смерти. Вечером того же дня, дабы увериться в правильном понимании его корреспонденткой, он сообщает ей, что с работой в консерватории его ожидает «приступ мизантропической хандры», и после долгих рассуждений о своей неспособности жить в русских столицах прямо спрашивает: «Итак, друг мой, что бы Вы сказали, если б я ушел из консерватории? Я вовсе еще не решился это сделать. Я поеду в Москву попытаться сжиться с нею. Но мне нужно непременно знать, как Вы смотрите на все это. Ни за что в мире я бы не хотел поступить не согласно с Вашим советом и указанием. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос». Для вящей убедительности упоминает он и об Антонине: «Только в деревне, только за границей, только будучи свободным

переменять по произволу свое местопребывание, я огражден от встреч с личностью, близость которой роковым образом будет всегда смущать и тяготить меня. Я говорю об известной особе, об этом живом памятнике моего безумия, которому суждено отравлять каждую минуту моей жизни, если я не буду от него подальше».

Петр Ильич почти не сомневался в положительном ответе фон Мекк. 11 сентября он пишет Анатолию: «Письма от Н[адежды] Ф[иларетовны] чудные, и я уверен, что она меня поощрит оставить Москву. Все дело в ней». Почему все дело в ней, понять нетрудно: уйдя из консерватории, Чайковский оказался бы почти полностью на содержании «лучшего друга», поскольку ее субсидии с того времени должны будут составлять едва ли не единственный его доход.

В Петербурге он с легким сердцем проводил время с Апухтиным и его молодыми друзьями братьями Жедринскими: Владимиром, Александром и Дмитрием. «Из них Володя ужасно подурнел, но мил, Саша очень симпатичен, а Митя был бы восхитительным произведением природы, если бы не руки», — писал он Модесту 5 сентября, в общем и целом пребывая в «хорошем расположении духа», хотя временами и «мизантропическом». Повидался он в этот раз и со своим престарелым отцом, которого нашел «здоровым и веселым», при этом отметив и негативный момент: «В первый раз в жизни я испытал неловкое ощущение от Папиного общества. Это происходит вследствие умалчивания им о моих прошлогодних катастрофах и воспоминания о том, как он восхищался [Милюковой]».

Тем временем в Париже на Всемирной выставке в зале Трокадеро начались русские концерты. Из произведений Чайковского Николай Рубинштейн исполнил дважды Первый концерт для фортепиано с оркестром под управлением Эдуарда Колонна, сам дирижировал фантазией «Буря» и произведениями для скрипки с оркестром — «Меланхолической серенадой» и «Вальсом-скерцо» в исполнении Станислава Барцевича. Французская публика отреагировала на музыку русского композитора с энтузиазмом. Тургенев удивленно писал Льву Толстому 15/27 ноября, что «имя Чайковского здесь очень возросло после русских концертов в Трокадеро; в Германии оно давно пользуется если не почетом — то вниманием. В Кембридже мне один англичанин, профессор музыки, пресерьезно сказал, что Чайковский самая замечательная музыкальная личность нынешнего времени. Я рот разинул».

Десятого сентября Чайковский уехал в Москву. Не получив пока ответа от фон Мекк, 12 сентября он написал ей новое большое письмо, где еще откровеннее высказался о желании уйти из консерватории, уже

чувствуя себя, с началом занятий, человеком, находящимся не на своем месте. 16 сентября он признался Анатолию: «Я бессмысленно скучаю и отношусь ко всему окружающему с холодным омерзением. Москва мне абсолютно противна, и так как уж окончательно решено, что я здесь не останусь, то меня это мало тяготит. Я стараюсь избегать всякого общества и всяких встреч. Все, кого я вижу, за исключением Николая Львовича, несносны мне, не исключая и Кашкина, и Альбрехта, и Юргенсона, и Лароша. <...> В консерватории я ощущаю себя гостем». Наконец, дождавшись возвращения Николая Рубинштейна из Парижа после выступлений в русских концертах на Всемирной выставке, Петр Ильич прямо осведомил его о своем желании оставить в декабре консерваторию. Удивительно, но тот довольно легко согласился его отпустить. Поскольку ответ от фон Мекк все еще не был получен, напряженность ситуации усиливалась. В положительной реакции «лучшего друга» Петр Ильич, однако, не ошибся. 20 сентября 1878 года Надежда Филаретовна одобрила его намерение: «Вчера я получила пересланное мне из Парижа Ваше письмо, дорогой мой, несравненный друг, и спешу отвечать Вам на Ваш вопрос, что я буду чрезвычайно рада, если Вы оставите консерваторию, потому что я давно уже нахожу величайшим абсурдом, чтобы Вы с Вашим умом, развитием, образованием, талантом находились в зависимости от грубого произвола и деспотизма [Рубинштейна]».

На это письмо композитор реагировал экстатически: «Счастьем моему решительно нет пределов. <...> Как я буду работать, как я буду стараться теперь доказать себе самому, что я в самом деле достоин того, что Вы для меня делаете. Часто, очень часто меня давит мысль, что Вы слишком много даете мне счастья. <...> Боже мой, что за счастье — свобода!» На радостях он смог даже преодолеть обычную панику в связи с новыми неприятностями, исходившими от жены. 24 сентября он писал о ней фон Мекк: «Известная особа изобрела новую тактику напоминать о себе. Она очень добросовестно исполняет поставленное мною условие субсидии: или переехать в другой город или устроить так, чтоб я никогда ее не видел. В настоящую минуту я даже не знаю, здесь она или куда-нибудь переехала. Но зато мать ее бомбардирует меня письмами с изъявлениями нежнейшей любви, с приглашениями навещать ее и даже с просьбой быть посаженным отцом на свадьбе ее младшей дочери, говоря, что мое благословение принесет ей счастье!!!! Она уговаривает меня также в одном письме жить с известной особой и обещает мне полное счастье. Ах, боже мой, как хорошо быть вдалеке от всего этого».

У Чайковского не хватило терпения задержаться в Москве до конца

года. Объявив 2 октября Рубинштейну о своем отъезде, он сразу же поделился с благодетельницей ближайшими планами: провести октябрь в Петербурге, а в начале ноября отправиться в Швейцарию, в свой любимый Кларан. Начались годы трудов и регулярных выездов за границу, иногда довольно длительных, с редкими возвращениями в Россию. И все на средства госпожи фон Мекк.

## Глава семнадцатая. Невидимые встречи

Эпистолярный роман Чайковского и фон Мекк вступил в новую, эмоционально-насыщенную стадию. Однажды весной 1878 года Надежда Филаретовна предложила ему нарушить ею же установленные границы их взаимоотношений. Ей вдруг захотелось перейти на дружеское «ты» в их переписке, но и это она сделала среди деликатных оговорок: «От Вас же мне не надо ничего больше того, чем я пользуюсь теперь, кроме разве маленькой перемены формы: я хотела бы, чтобы Вы были со мною, как обыкновенно бывают с друзьями, на ты. Я думаю, что в переписке это не трудно, но если Вы найдете это недолжным, то я никакой претензии иметь не буду, потому что и так я счастлива; будьте Вы благословенны за это счастье! В эту минуту я хотела бы сказать, что я обнимаю Вас от всего сердца, но, быть может, Вы найдете это уже слишком странным».

Надежда Филаретовна не ошиблась. Петр Ильич, вероятно, нашел ее предложение «уже слишком странным», отвергнув его, впрочем, с подобающим тактом и пространными рассуждениями: «Напрасно Вы предполагаете, что я могу найти что-нибудь странное в тех ласках, которые Вы мне высказываете в письме Вашем. Принимая их от Вас, я только смущаюсь одной мыслью. Мне всегда при этом кажется, что я мало достоин их, и это я говорю не ради пустой фразы и не ради скромничанья, а просто потому, что в эти минуты все мои недостатки, все мои слабости представляются мне особенно рельефно. Что касается перемены Вы на ты, то у меня просто не хватает решимости это сделать. Я не могу выносить никакой фальши, никакой неправды в моих отношениях к Вам, а между тем я чувствую, что мне было бы неловко в письме отнестись к Вам с фамильярным местоимением. Условность всасывается в нас с молоком матери, и как бы мы ни ставили себя выше ее, но малейшее нарушение этой условности порождает неловкость, а неловкость в свою очередь — фальшь. Между тем, я хочу быть с Вами всегда самим собой и эту безусловную искренность ценю выше всякой меры. Итак, друг мой, предоставляю Вам решить этот вопрос. Та неловкость, о которой я говорил выше, разумеется, пройдет по мере того, как я привыкну к перемене, но я счел долгом предупредить Вас о том, что мне придется вначале несколько насиловать себя. Во всяком случае, буду ли я с Вами на Вы или на ты, сущность моего глубокого, беспредельного чувства любви к Вам никогда не изменится от изменения формы моего обращения к Вам. С одной стороны, для меня

тяжело не исполнить тотчас же всякое малейшее Ваше желание, с другой стороны, не решаюсь без Вашей инициативы принять новую форму. Скажите, как поступить? До Вашего ответа буду писать Вам по-прежнему».

Неизменно соревнуясь с «драгоценным другом» в тактичности, теперь уже в объяснения вступает Надежда Филаретовна: «Теперь объясню Вам, почему я выразила мое желание о перемене формы. Когда я писала мое письмо, я находилась в таком ненормальном, отвлеченном состоянии, что я забывала даже, на какой планете нахожусь, я чувствовала только Вашу музыку и ее творца, В этом состоянии мне было неприятно употреблять слово Вы, это утонченное изобретение... приличий и вежливости, которыми так часто прикрывается ненависть, злоба, обман. В ту минуту для меня было жаль говорить это Вы, но на другой же день, когда я пришла в нормальное состояние, я уже раскаивалась в том, что написала, потому что поняла, что доставила Вам неудобство, и очень боялась, чтобы Вы из баловства ко мне не согласились сделать то, что Вам было бы трудно, и тем более благодарю Вас, мой бесценный друг, что Вы избавляете меня от сознания злоупотребления чужою добротою, и еще более благодарю за то хорошее мнение обо мне, которое Вы высказали Вашею откровенностью».

И тем не менее их дружба продолжала развиваться по восходящей. Так называемая «флорентийская идиллия», когда Чайковский и фон Мекк были рядом последние два месяца 1878 года во Флоренции и написали друг другу пятьдесят писем, ярко высветила все стороны их взаимоотношений.

Двадцать второго октября 1878 года фон Мекк писала композитору: «Как бы мне хотелось, мой милый, хороший, чтобы Вы немножко изменили Ваш маршрут, а именно приехали бы сперва во Флоренцию месяца на полтора, а потом в Clarens. <...> Если бы Вы решились приехать во Флоренцию сейчас, я бы Вам приготовила в городе квартиру, так что Вам не надо было бы в эти полтора месяца ни о чем заботиться и только заниматься тем, что дорого Вам и мне, — музыкою. <...> Как бы я хотела Вас соблазнить Флоренциею!»

Чайковский, находившийся в то время в Петербурге, немедленно ответил: «Получил сегодня утром письмо Ваше, бесценный друг мой, и в ту же минуту решил изменить свои проекты. Достаточно того, что Вам желательно, чтобы я пожил во Флоренции теперь, когда и Вы там, дабы я всем сердцем стал стремиться в этот город. Независимо от этого и я, со своей стороны, ни за что не хочу пропустить случая быть в течение некоторого времени вблизи Вас». И ее более чем восторженное письмо: «Что за чудный Вы человек, что за бесподобное у Вас сердце, мой дорогой, несравненный друг! Всякий искренний сердечный призыв находит всегда

отголосок в Вашем благородном, нежном сердце. Ваша готовность приехать во Флоренцию меня трогает до глубины души, но принять ее безусловно мне запрещает Ваша собственная доброта и великодушие, с которым Вы готовы доставить другому все доброе и хорошее. Поэтому я прошу Вас убедительно, бесценный друг мой, я требую, чтобы Вы не приезжали во Флоренцию, если Вам хоть немножко не захочется». И далее: «Ваша телеграмма пришла в то время, когда я была чрезвычайно расстроена разными неприятностями, которые периодически подносит мне жизнь, и, когда я прочла ее, слезы любви и благодарности к Вам выступили у меня на глазах, мне стало так хорошо, так легко, я подумала, что когда есть хотя один такой человек на свете, как Вы, так жизнь может быть хороша. О, как Вы мне дороги, как я люблю Вас, как благодарна Вам!»

Фонтан красноречия, должный ознаменовать благородные побуждения Надежды Филаретовны, при всех достойных восхищения мотивах вызывает все-таки впечатление несколько курьезное: оказывая Петру Ильичу редкую услугу, предлагая ему царские условия отдыха и работы в одном из прекраснейших городов мира, она, напротив, видит в его согласии на это его благодеяние, дарованное ей. Неудивительно, что композитор ответил ей из Каменки повторным согласием: «Предполагая, что мне здесь хорошо, Вы просите меня не стесняться обещанием и оставаться в Каменке до января. Мне здесь действительно хорошо. <...> И все-таки я Вас на этот раз не послушаюсь, все-таки через неделю я выезжаю отсюда и направляюсь во Флоренцию. И пожалуйста, дорогая моя, не думайте, что я приношу ради исполнения Вашего желания какую-нибудь жертву, хотя на последнее я готов во всякую минуту жизни. Хотя мне здесь хорошо и тепло, но ведь и во Флоренции сознание моей близости к Вам будет согревать и лелеять меня. Если б я послушался Вас и остался здесь, то мысль, что Ваше желание не исполнилось, отравила бы мне мое спокойствие».

В Петербурге, остановившись у Анатолия, Чайковский прожил до конца октября в суете: постоянных разъездах по родственникам и друзьям, что было весьма утомительно. По пути во Флоренцию он сначала заехал в Москву, где к нему присоединился Алеша, а затем отправился в Каменку, как было давно обещано сестре, но не на пару месяцев, а всего на неделю. «Мне необыкновенно приятно здесь, — признался он по прибытии в письме Анатолию от 6 ноября, — я нашел в Каменке то ощущение мира в душе, которого тщетно искал в Москве и Петербурге. Не создан я для жизни в сих столицах». Модесту же он описал еще и нескольких местных обитателей: племянник «Бобик очень подурнел, но все-таки прелестен.

Предмет моей лютой и бешеной страсти [Евстафий] очень похудел, но опять-таки изрядно аппетитен». Уезжать не хотелось, и только 15 ноября Чайковский решил покинуть гостеприимную Каменку. Он сел в поезд на Вену, куда прибыл через два дня, и, проведя там с Алешей сутки, выехал в Италию. 20 ноября/2 декабря на вокзале во Флоренции композитора встретил Пахульский и отвез на виллу Бончиани. Фон Мекк расположилась недалеко на вилле Оппенгейм.

Непосредственная близость фон Мекк немало беспокоила композитора накануне приезда. «Надежда Филаретовна уже наняла мне квартиру, и хотя, судя по описанию, квартира в прелестном месте, с чудным видом на Флоренцию, но в двух шагах от виллы, где живет Н. Ф., и я боюсь, что это будет стеснять меня», — писал он Анатолию 14 ноября. И в первый день приезда ему же: «Дорогой меня немножко беспокоила мысль, что Надежда Филаретовна будет так близко, что мы будем встречаться, и я даже минутами подозревал, что она пригласит к себе. Но письмо ее, лежавшее вчера на столе, меня совершенно успокоило. Можно очень легко устроиться так, что встреч никаких не будет. Она через три недели уже уезжает отсюда, и за это время мы, конечно, ни разу не встретимся. Вообще, насколько в Вене я грустил, настолько мне теперь весело и хорошо».

Пребывание во Флоренции «бесценного друга» Надежда Филаретовна обставила с тактом и заботой почти невероятными — вплоть до книг, газет и любимых его папирос. Переписывались они непрерывно, и его письма представляют собой поток восторгов, благодарностей и похвал, еще более превзойденный встречным потоком ее крайне экзальтированных посланий. 27 ноября он писал Модесту: «Итак, мне здесь прекрасно, и так как я знаю, что ничто мне не мешает, когда захочу переменить место и образ жизни, то я не скучаю. Но близость Надежды Филаретовны все-таки делает мое пребывание здесь как бы не свободным. Притом, несмотря на все ее бесконечные и ежедневные уверения, что она счастлива, чувствуя меня близко, мне все кажется, что и она должна ощущать нечто ненормальное. Она, бедненькая, считает своим долгом ежедневно писать мне письма, и видно, что иногда затрудняется в материале для беседы. Со своей стороны и я тоже не всегда имею, что писать, а тоже почитаю себя как бы обязанным ежедневно писать. А главное, меня все преследует мысль, что она уж не хочет ли заманить меня? Но, впрочем, ни в одном письме намека на это нет».

Ту же тему Петр Ильич продолжил 29 ноября в письме Анатолию: «Вообще ее близость от меня постоянно меня стесняет. Мне все кажется, что она желает видеть меня; например, я каждое утро вижу, как, проходя



мимо моей виллы, она останавливается и старается увидеть меня. Как поступить? Выйти к окну и поклониться? Но в таком случае почему уж кстати не закричать из окна: здравствуйте! Впрочем, в ее ежедневных длинных, милых умных и удивительно ласковых письмах нет ни единого намека на желание свидеться». Но, если его восторженным эмоциям в переписке с ней отчасти и противоречат интонация и замечания в письмах братьям, это все-таки не основание обвинять композитора в лицемерии. Чайковский, как мы знаем, в силу своей обостренной нервной конституции в одно и то же время был способен на взаимоисключающие друг друга импульсы, притом совершенно искренние. Более того, письма этого периода братьям по большому счету лишь доказывают полноту подлинного его отношения к фон Мекк.

Это отношение вскоре упрочится новостями об успешном исполнении Четвертой симфонии в Петербурге. Впервые прозвучавшая там 25 ноября под управлением Эдуарда Направника, она сразу была признана шедевром. В хвалебной статье «Петербургской газеты» отмечалось, что новая симфония Чайковского «одна из чистых работ мастера искусного, владеющего свободно палитрою роскошных музыкальных красок, способного и при помощи относительно небогатого, по изобретательности мелодической, материала, пленять и очаровывать слушателя затейливыми узорами музыкальной ткани». Герман Ларош, крайне впечатленный, писал в восторженной рецензии, что эта работа вышла за традиционные рамки симфонической формы. Модест, бывший на петербургской премьере, сообщил: «Если возможен фурор после исполнения симфонических вещей, то твоя симфония произвела его».

К началу декабря, вдохновленный успехом «их» симфонии, Петр Ильич уже перестал испытывать смущение, сменившееся не лишенной приятности привычкой. «Надежда Филаретовна перестала меня стеснять, — писал Чайковский Анатолию 5/17 декабря 1878 года, — я даже привык к ежедневной переписке, но нужно отдать справедливость этой не только чудной, но и умнейшей женщине. Она умеет так устроить, что у меня всегда есть бездна материала для переписки. <...> Мы виделись с ней раз в театре, ни малейших намеков на желание свидеться нет, так что в этом отношении я совершенно покоен. <...> Вообще говоря, мне здесь отлично и моему мизантропическому нраву ничто не препятствует».

Во время «флорентийской идиллии» осенью 1878 года важным предметом их переписки стал Пахульский. Тема эта предварялась письмом Петру Ильичу, в котором фон Мекк писала о желании узнать его мнение о своем протеже. Ознакомившись с «композициями» ее питомца, 22 ноября

1878 года Чайковский написал ей длинный ответ, суть которого заключалась в том, что он не обнаружил в сочинениях Пахульского особенного таланта, а лишь музыкальные способности, и посоветовал фон Мекк «всячески поощрять и помогать ему учиться», чтобы тот приобрел фортепьянную технику, необходимую для любого композитора. В основе своей мнение Чайковского было лишено энтузиазма, тем более в сопоставлении с избыточной восторженностью Надежды Филаретовны. Но она была благодарна и за это, отреагировав с присущей ей способностью угадывать его подспудные чувства 23 ноября: «Вы так добро и внимательно отнеслись к моей просьбе в лице Пахульского, что я уже боюсь, чтобы Вас не беспокоили его приходы. Вы только что отделались от консерватории, а тут опять приходится толковать о гармонических несообразностях и мелодических требованиях. Пожалуйста, мой милый, добрый, хороший Петр Ильич, не стесняйтесь только себя нисколько. Если Вам вчера надоело это занятие, то бросьте его сегодня, если надоест в субботу, то бросьте в воскресенье».

Петр Ильич с не меньшей церемонностью ответил в тот же день: «Пожалуйста, дорогой друг, не беспокойтесь насчет моих занятий с Пахульским. Он настолько музыкант, что мне вовсе не утомительно с ним беседовать. В следующий раз я попрошу его пофантазировать, но заранее чувствую, что он будет при мне стесняться, и с этой стороны я не узнаю его так хорошо, как Вы. Нужна очень большое и интимное знакомство, чтобы не стесняться при фантазировании». Вероятно, к этому времени композитор уже решил, что занятия с Пахульским и вообще руководство музыкальным развитием молодого человека — его долг перед ней, то небольшое, чем он мог бы воздать ей за поток благодеяний, изливающийся на него с самого начала их знакомства. Он, очевидно, осознал и то, что по мере сил и возможностей, то есть настолько, насколько это могло не противоречить его артистической совести, его отзывы о нем должны быть если и критичны, но в целом благоприятны.

И вот ее реакция: «Приношу Вам тысячу благодарностей, мой милый, бесподобный друг, за сообщение мне Вашего мнения о Пахульском. Ваш отзыв меня весьма порадовал, а Вашим словам ведь я верю как евангелию. <...> Ваши занятия с ним, мой несравненный друг, есть такое благодеяние для него, которое будет иметь самое огромное значение для всей его музыкальной карьеры». Нельзя исключить, что первое время Чайковский мог и в самом деле находить что-то в новом ученике. Так, вполне нелицемерно звучит, например, фраза в его письме от 29 ноября: «Милый друг мой! Я сегодня был очень, очень порадован работой, которую сделал

для меня Пахульский. Признаюсь, я даже не ожидал, чтобы он мог сразу вполне удачно удовлетворить всем моим требованиям». И на следующий день: «Для меня теперь несомненно, что Пахульский писать может. Внесет ли он в свое творчество что-нибудь свое, это другой вопрос, на который теперь еще ответить нельзя. Это покажет время». Реакция фон Мекк на эти добрые слова превысила всякую меру — целый поток восхвалений и благодарностей вылился из ее сердца, что характеризует ее тогдашнее особенно пылкое отношение к «несравненному другу». Однако уже вскоре после Флоренции ей, по-видимому, стало ясно, что усердие Петра Ильича в занятиях с Пахульским объясняется отнюдь не профессиональным к нему интересом, а главным образом желанием угодить ей: «Безгранично благодарю Вас, бесценный друг мой, за участие и внимание к моему приемышу Пахульскому; я все это принимаю как выражение Вашей дорогой дружбы ко мне».

А 6 декабря 1878 года Надежда Филаретовна, которой чрезвычайно по душе пришлось соседство во Флоренции со своим кумиром, предложила такую же идею и в отношении Парижа, куда она намеревалась отправиться после Вены: «Вот было бы хорошо, дорогой мой, если бы Вы также немножко переставили Ваш маршрут, поехали бы теперь в Clarens, а к февралю в Париж. Тогда мы опять пожили бы вместе, хотя, конечно, в Париже чувствовали бы себя дальше друг от друга, потому что город огромный и многолюдный, а все-таки это было бы для меня наслаждением». Композитору эта идея пришлась не повкусу, и он раздраженно писал Модесту 6/18 декабря (но, как видно, испытывая при этом и угрызения совести в отношении фон Мекк): «Представь себе, что после нескольких дней самой ужасной погоды... сегодня светлый, лучезарный день и тепло так, как бывало иногда только в Сан-Ремо... ну просто очарование. И тем не менее я не в духе! И причиной этого сегодня, кто бы ты думал? Надежда Филаретовна! Эта баснословно благодетельная для меня женщина выдумала следующее. Уже в нескольких письмах ее были намеки, что она хотела бы, чтобы всегда было, как теперь, чтобы всегда она принимала на себя все заботы обо мне. (Ты уже знаешь, что я здесь ничего не плачу, хотя, обычную сумму аккуратно 1-го декабря я получил.) Я думал, что это только так говорится. Но сегодня она пишет мне, что решила после Вены в конце января приехать в Париж, и просит меня теперь туда не ехать, и уж если я не хочу ехать в Вену (она мне это предлагала), то чтоб отправлялся теперь в Clarens, а в Париж пожаловал бы к 1 февраля. Другими словами, ей хочется, чтоб и в Париже я жил не сам по себе, а на нанятой ею и снабженной всем нужным квартире. Я отвечал, что

мне нужно достать матерьялы для оперы в Париже (что правда) и что поэтому я все-таки поеду теперь в Париж на несколько дней, но затем готов ехать в Кларан и (20 февраля) явиться в Париж. И вот, написавши это, злюсь. Ты скажешь, что я бешусь с жиру. Это правда, но правда и то, что как ни деликатно, ни нежно, а Надежда Филаретовна все-таки несколько стесняет мою свободу, что я с наслаждением отказался бы от ее квартир, если б можно было, ибо денег, даваемых ею, мне вполне достаточно для моего благополучия. Господи! Прости мое прегрешение. Мне жаловаться на Н[адежду] Ф[иларетовну]! Это ужасная подлость!»

У него действительно была веская причина не соглашаться с той программой путешествия, которую ему предложила фон Мекк — необходимость сбора материала для задуманной оперы «Орлеанская дева». Идея оперы о Жанне д'Арк захватила его за несколько недель до поездки в Каменку, когда он прочел трагедию Шиллера в переводе Жуковского. Музыку к новой опере Чайковский начал сочинять во Флоренции, несмотря даже на отсутствие либретто. В Париже он надеялся обнаружить либретто оперы Огюста Мерме «Жанна д'Арк», поставленной в 1876 году в «Гранд-опера», и взять его за основу своей работы. В тот же день, что и Модесту, он написал «благодетельнице», но, разумеется, в совершенно ином тоне: «Я поступлю со своей стороны так, как Вы мне советуете, только с той маленькой разницей, что все-таки поеду в Clarendon через Париж и останусь там дня два или три (далее следует объяснение почему. — А. П.).

<...> Итак, вот почему я все-таки съезжу в Париж, а потом с большим удовольствием готов ехать в Clarendon, хорошенько там поработать, а после того, к февралю, приехать в Париж, который, разумеется, будет вдвое милее, роднее и приятнее для меня, потому что Вы там будете. Наконец, Вы этого желаете, и этого вполне достаточно, чтобы я желал искренно того же самого». 7 декабря Надежда Филаретовна ответила с обычной патетичностью: «Мой милый, безгранично любимый друг! Не знаю, как и выразить Вам мою радость и благодарность за то, что Вы опять готовы изменить Ваш проект для меня, но только меня уже начинает мучить совесть, я думаю, не слишком ли уже я злоупотребляю Вашею готовностью всегда сделать мне добро. Написала Вам свое желание без всякой надежды на его исполнение с Вашей стороны, и вдруг Вы опять готовы меня баловать, но мне так совестно, что, несмотря на то, что мне этого ужасно хочется, я прошу Вас, мой милый, добрый друг, если Вам будет хоть немножко неудобно, не приезжайте в Париж к февралю».

Весьма примечательно, что Петр Ильич погрузился в депрессию немедленно после отъезда Надежды Филаретовны из Флоренции — здесь

опять поражает сила его «платонической» привязанности к ней, как раньше поражала мера его не менее «платонической» стесненности от ее присутствия. Все это, конечно, объясняется свойственным его характеру уникальным сочетанием застенчивости и любвеобильности. Читаем в письме Модесту от 15 декабря: «Надежда Филаретовна уехала, и сверх ожидания, я испытываю большую тоску по ней и пустоту. Я со слезами на глазах прохожу мимо ее пустынной виллы, и Viale dei Colli сделалась мрачна и скучна. Я так привык ежедневно иметь с ней общение, каждое утро смотреть на нее, проходящую мимо меня со всей своей свитой, и то, что вначале меня стесняло и конфузило, теперь составляет предмет самого искреннего сожаления. Но, господи, что это за удивительная, чудная женщина! Как трогательны были все ее заботы обо мне, доходившие до мелочей, но в общем сделавшие мою жизнь здесь в высшей степени приятной». И 16 декабря Анатолию: «В Париж я еду с тем большим удовольствием, что здесь с отъездом Н[адежды] Ф[иларетовны] стало очень пусто и грустно. Давно ли я стеснялся ее пребывания в моей близости, а теперь грущу!!!»

Снова приехав во Флоренцию два года спустя, фон Мекк будет ностальгически вспоминать об их тогдашней осенней идиллии: «Вот я и во Флоренции, в своей просторной Villa Orpenheim, но, боже мой, как скучно, как обидно, что нет здесь Вас, мой дорогой, несравненный друг. Мы приехали вчера в семь часов утра, и, сейчас же напившись кофею, я поехала по Viale dei Colli что[бы] взглянуть на милый для меня домик Bonciani, полный такими дорогими воспоминаниями, когда я чувствовала в нем Вас, невидимо видела дорогой образ Ваш, слышала звуки, вылетающие из-под Ваших пальцев, и была так счастлива. Теперь же, проезжая около этого незабвенного места, мне стало так больно, что слезы у меня выступили на глазах, сердце сжалось тоскою, которая мгновенно сменилась каким-то озлоблением от мысли, что теперь там живет кто-нибудь другой, и этот другой показался мне таким гадким, противным, что мне захотелось выгнать его сейчас оттуда и нанять эту дачу для того, чтобы в ней никто не жил, но я удержалась от этого, потому что меня и так уже считают чудачкою».

Петр Ильич 16/28 декабря выехал в Париж, где планировал заняться разработкой сюжета оперы «Орлеанская дева». Еще за неделю до этого в письме Анатолию из Флоренции он сообщал: «Так как у Котека на Рождество каникулы, так как он очень огорчен, что наше свидание не состоялось и так как мне очень хочется его видеть и поиграть с ним, то я решил выписать его на несколько дней в Париж». Композитор продолжал

финансово поддерживать молодого человека. Прибыв во французскую столицу, он получил несколько писем, в том числе от Юргенсона, который переслал ему письмо Антонины, чего было достаточно, чтобы испортить ему настроение, каковое выразилось 22 декабря/3 января в обращении к Модесту: «Я все время в отвратительном состоянии духа, и это, к сожалению, отражается на моих отношениях к милому, доброму Котику. Какая разница между нежностями, которые я расточал ему письменно, и теперешней пассивной ласковостью. Нужно было ему как раз попасть ко мне, когда я злюсь на все и на всех. Вследствие раздражительности я злюсь, когда он хватает все полученные мною письма и читает их, злюсь, когда он грубо обращается с гарсонами (называя их при этом *monsieur*), когда он громко говорит в [ресторане] “Diner de Paris”, когда он рассказывает мне бесконечные истории о берлинских музыкантах и рассыпает предо мною воспринятые им в Берлине цветы немецкого остроумия, когда в театре он каждую минуту требует, чтоб я перевел ему, что говорится на сцене. Вдобавок ко всему этому, он не имел целый год женщин, ежеминутно говорит о женских прелестях, останавливается пред каждой блядью и выпытывает, кого я употреблял и употребляю. Бедный Котик! Он так наивно все это делает, он так нежен со мной, так мил и добр, а я злюсь».

Эта тема доходит до своего апогея в письме Анатолию от 23 декабря: «Присутствие Котека не принесло мне никакого удовольствия. Он был бы очень приятный товарищ для меня в Clarens, где мы бы целый день играли с ним в четыре руки. Здесь он своей наивностью, неумением держать себя и еще одной чертой, про которую не хочется говорить, на каждом шагу раздражает меня, а так как я вследствие маленькой порции яда гадины все эти дни очень раздражителен, то в результате его общество скорее мне неприятно, чем приятно. Особенно меня злит совершенно небывалая в нем женолобивость.<...> В сущности, он тот же милый, добрый, любящий, наивно-добродушный юноша, и нужна вся моя подлость и раздражительность, чтобы тяготиться им. Меня постоянно укоряет совесть за то, что я недостаточно ласков с ним, и это мешает полноте удовольствия, которое, несмотря на все, Париж все-таки доставляет мне минутами. <...> Ах, бедный, добрый Котик! Он и не подозревает, что я жалуюсь на него! Мне даже перед тобой совестно, что я так цинически неблагодарен относительно его». И, наконец, полное раскаяние во всех предыдущих негативных эмоциях на этот счет в письме Анатолию от 26 декабря 1878 года: «Мне также ужасно стыдно, что я тебе жаловался на милого, доброго, любящего Котика!»

В декабре 1878 года произошел любопытный случай. Из письма Модесту от 12/24 декабря мы узнаем, что последнему их общий знакомый, ссужавший братьев деньгами под залог, некто Кольрейф, предложил свои услуги для наблюдения за Антониной с целью изобличения ее в супружеской измене. Модест, поблагодарив его, отказался. Гневная реакция композитора совершенно неадекватна вызвавшему ее инциденту: «Я уже немножко успокоился, а то тебе досталось бы на орехи. Я получил твое письмо и читал его... как вдруг в конце нашел пассаж со старым Кольрейфом, который меня удивил, рассердил и разозлил. <...> Ты пишешь мне, что не плюнул в рожу Кольрейфу, а, напротив, рассыпался в благодарностях. Признаюсь тебе, что хоть я и сам страдаю отсутствием того, что ты называешь гражданским мужеством, но у тебя это отсутствие переходит за границы дозволенного. Плевать в рожу Кольрейфу было, конечно, излишне, но еще более излишни благодарности. Следовало просто сказать, что то, что он предлагает, — ненужно, — и больше ничего, и сказать это тут же сейчас, а не писать на другой день. Да и написал ли ты? Ты в подобных случаях бываешь крайне легкомыслен и беспечен. Прошу и умоляю тебя, если ты не написал, то сейчас же написать, что так как о разводе я вовсе не помышляю, то его шпионничанья вовсе не нужно. Меня мороз продирает по коже, когда я подумаю, что плюгавый старичишка уже начал подбираться к этой гадине, а эта гадина (несмотря на глупость, очень хитрая) узнала об этом и всем кричит, что я подсылаю к ней шпионов. Ведь мне только то и нужно, чтобы она знала, что я думаю о ней столько же, сколько о прошлогоднем снеге. Только полным игнорированием ее я могу добиться, чтобы она лишилась всяких надежд и навсегда оставила в покое как меня, так и всех вас». Письмо заканчивается резким выпадом по ее адресу: «Очень может быть, что все это с моей стороны болезненное и пустое только раздражение. Но стоит только упомянуть имя гадины, чтоб я тотчас почувствовал себя сумасшедшим, раздраженным донельзя. Имя этой твари причиняет мне просто какую-то физическую боль, и я тебя умоляю без нужды никогда не упоминать обо всей этой пакости».

До конца года случились еще два связанные с ней события, причинившие композитору беспокойство. Об одном из них он сообщил Анатолию сразу по приезде в Париж 19/31 декабря: «Юргенсон прислал мне письмо гадины, которое при сем прилагаю. Не скрою, что испытал чувство отвращения при виде ее почерка. Юргенсон отвечал ей очень учтиво и очень умеренно. Посылаю это письмо вот с какой целью. Если гадина вздумает в самом деле обратиться к Модесту или к Саше, ради бога, попроси их от меня и скажи, что я умоляю их на коленях не отвечать

ничего и вообще не изменять того порядка, который я завел, т. е. ничего общего ни со мной, ни с моими родными». Надежде Филаретовне 22 декабря/3 января Чайковский пишет о том же: «Грозный призрак... еще раз промелькнул передо мной. Юргенсон получил от известной особы письмо, в котором она без всякого повода наносит ему целый ряд непостижимых оскорблений. Само собой разумеется, что она получила подобающий ответ, т. е. предупрежденный мною еще прежде Юргенсон просто отвечал ей, что впредь ее письма будут посылаться ей нераспечатанными. Все это, конечно, пустяки, но я вследствие свойственной мне впечатлительности грущу, тоскую и очень мало наслаждаюсь парижской веселостью».

Куда большую тревогу высказал Чайковский Надежде Филаретовне днем раньше, 21 декабря 1878/2 января 1879 года: «Пишу Вам с стесненным сердцем, с тоскою и грустью на душе. Причина следующая. Передо мной опять восстал неожиданно убийственный призрак недавнего прошлого. Известная особа опять напоминает о себе. Сегодня я получил письмо от Анатолия. К нему явился какой-то таинственный господин, назвавший себя родственником известной особы. Он сообщил брату, что известная особа обратилась к адвокату и сама теперь хочет требовать развода. Он же, хотя и не облеченный доверенностью, пришел сказать брату, что, убедившись из прочитанных моих писем в моей честности, он пожелал окончить дело миром и желает узнать мои условия. Право, можно с ума сойти от этого сумбура! То она решительно отказывается от всяких разговоров о разводе, то начинает дело и хочет заставить меня согласиться на то, что составляет самое живейшее мое желание. <...> В сущности, следует радоваться, что известная особа наконец одумалась. Но нет никакой возможности предвидеть и знать, насколько это серьезно, не выкинет ли она какой-нибудь новой штуки. А кроме того, мне просто невыносимо тяжело опять вспомнить! От времени до времени я забываю всю эту историю, и потом, когда призрак неожиданно опять восстает, мне в первое время очень тяжело».

На этот раз Антонине в свою очередь заблагорассудилось проявить инициативу на предмет развода. Из письма Анатолию 21 декабря узнаем, что в качестве ее доверенного лица к последнему явился некий господин Симонов. «Мне кажется, что *mr.* Симонов какой-нибудь пройдоха. Я считаю совершенно невозможным, чтобы ты катался в Москву или его выписывал к себе. Вообще никакой таинственности и никакого вмешательства с его стороны не нужно, а потому не отвечай ему вовсе. Мне кажется, голубчик, что ты совершенно напрасно допустил себя до серьезного разговора с человеком, который не только не вовлечен в это



дело, но даже не хочет об нем переписываться. Ты должен был ответить, что если у Антонины Ивановны есть адвокат, то разговаривать можно только с адвокатом, который имеет от нее официальную доверенность. Если же этот господин или адвокат к тебе обратятся еще раз, то скажи, что я на развод согласен во всякую минуту, но денег никаких теперь не дам, а лишь могу принять на себя расходы. <...> Не она ли отказывалась от адвокатов и ни за что не соглашалась исполнять формальности разводной процедуры? <...> А главное, вести дело, разговаривать, назначать условия можно только с человеком, облеченным официальной договоренностью. Какое дело она может затевать? Принуждать меня к разводу на основании, положим, импотентности нечего, так как я и без того согласен хотя бы именно и на этом поводе основать дело. Денег же давать в виде капитала никто заставить меня не может. Итак, ничего не отвечай и не пиши г. Симонову, который мне весьма подозрителен, а в случае если он обратится к тебе, то скажи, что: 1) денег не дам никаких, ибо я их не имею; 2) расходы на развод готов принять на себя; 3) согласен на прелюбодеяние, на импотентность, на все, что угодно; 4) дело можно начать, когда я приеду, а приеду тогда, когда мне вздумается. (Упоминание об импотентности есть косвенное свидетельство того, что супружеских отношений между ними никогда не было. — А. П.) Сообрази визит Мг. Симонова с письмом к Петру Ивановичу [Юргенсону], которое я послал тебе третьего дня, и скажи, есть ли возможность касаться этого дела, если о нем не будет говорить человек, которому по доверенности поручено его вести. Какая польза может произойти от каких-то таинственных сношений с лицом, которое не сомневается в уме Антонины Ивановны? <...> Меня немножко расстроил восставший снова омерзительный призрак гадины, и потому я не способен писать о том, что здесь делаю, как провожу время, словом, болтать». И еще раз в постскриптуме: «Но ради бога, не связывайся с Мг. Симоновым и не веди с ним бесплодных пререканий насчет ума и добродетелей гадины».

Из последующей переписки ясно, что, во-первых, Чайковского поначалу обуяла сильная паника, хотя он и пытался это скрыть, во-вторых, что в визите господина Симонова ему мерещилась угроза шантажа. Модесту 22 декабря: «Мое пребывание в Париже совершенно отравлено двумя чувствительными напоминаниями о гадине. <...> Скажи Толе, что сегодня, хорошенько выспавшись, я совершенно покойно отнесся к сообщенной им истории визита. Надеюсь, что и он теперь понимает, как мало нужно беспокоиться безвредными ужалениями раздавленной ехидны. Что такое ее адвокат? На что она может жаловаться? Могу ли я бояться

хоть единую минуту ее попыток нагадить мне? <...> Она, вероятно, не прочь бы шантажировать меня. Но нужно быть такими нервно-впечатлительными, как Толя и я, чтобы в первую минуту несколько испугаться и серьезно говорить с каким-то неизвестным о мировой сделке! Пожалуйста, скажи ему, чтоб он не отвечал ни единого слова этому болвану, а в случае его запроса отвечал бы, что дело можно будет начать, когда я приеду, и что вести его я согласен не иначе, как с адвокатом ее, ибо опыт показал, что непосредственно с ней дело вести нельзя. Приезд же мой останется в полнейшей независимости от ее капризов. Ну, довольно об этой пакости!» И снова в самом конце письма: «Скажи Толе, что я прошу его самым решительным образом не принимать мать гадины, если она у него будет. Она совсем сумасшедшая».

Упомянутым письмом госпожа Чайковская начала вторую после октября 1877 года серию неуклюжих попыток шантажа, последовательно осуществить который у нее так и не хватило духу — возможно, из-за путаницы, царившей в ее голове по поводу гомосексуальности. Не меньшую путаницу проявляют в этом вопросе и биографы, довольно плохо представляющие себе положение вещей в русской судебной теории и практике судопроизводства того времени по поводу преследований мужеложства. Для возбуждения судебного дела по соответствующему закону, тем более для успешного осуждения обвиняемого, требовались материальные доказательства состава преступления, понимаемого единственно как анальный половой акт с мужчиной. Причем доказательствами такого рода могли быть либо обнаружение виновного *in flagrante* (поймка с поличным), либо показания хотя бы двух лиц, бывших жертвами или соучастниками «преступления». Кроме того, в отношении лиц, принадлежавших к привилегированным классам общества, закон и вовсе не применялся во избежание скандала.

Чайковский, правовед по образованию и брат практикующего юриста, был прекрасно осведомлен об этом положении вещей и понимал, что шансы Антонины Ивановны на успешный шантаж равны нулю. Это он демонстрирует Анатолию в репликах по поводу поползновений: «Чего мне бояться? Ее сплетней я не боюсь, да они будут идти своим чередом, во всяком случае. <...> Хочет [она] шантажировать меня, донеся про меня тайной полиции, — ну уж этого я совсем не боюсь»; «я смотрю на посещение тебя родственником гадины как на очень грубую и неловкую попытку шантажа. Ей не хочется упустить десяти тысяч — вот и все. Очень вероятно, что в своей глупости она решила, что развод нужно основать не на прелюбодеянии, а на моей неспособности, и думает, что я этого боюсь...

Здесь я никаких других поводов для ее инициативы не могу представить, а шантаж тоже невозможен, если б она и решилась на него. В письмах моих заключаются только аргументы в мою пользу. Я был безусловно честен относительно ее (это можно понимать двояко: он или не лгал ей в письмах, или предупреждал ее, что не будет с ней жить супружески. —**АП.**) и ни одного раза не употребил ни одного могущего компрометировать меня выражения. Однако довольно об этой пакости».

Следовательно, он понимал, что с этой стороны он неуязвим. Но при свойственном ему болезненном воображении ум иногда оказывался бессилён. Несмотря на знание и веру в свою безопасность, композитора временами одолевали кошмары на эту тему, и он впадал в смятение, однако быстро приходил в себя и потешался над собственными страхами. «Еще хочу тебе сказать, что мне теперь смешно и совестно вспомнить, какую кутерьму я поднял по поводу твоего письма об Антонине Ивановне! писал он Анатолию 26 декабря/7 января 1879 года. — Я делаюсь совсем сумасшедшим, как только это дело всплывает! Чего я только не вообразил себе? Между прочим, я в своем уме уже решил, что она начинает уголовное дело и хочет обвинять меня в том, что я ее е... в задний проход! Живо я вообразил себя на скамье подсудимых и хотя громил прокурора в своей последней речи, но погибал под тяжестью позорного обвинения. В письмах к тебе я храбрился, но в сущности считал себя уже совсем погибшим. Теперь все это представляется мне чистым сумасшествием».

Все это не мешало «гадине» периодически выпускать парфянские стрелы. Много позже, через 12 лет после разрыва, 15 декабря 1889 года Милюкова написала композитору огромное, полное жалоб письмо с угрозами предать гласности правду о нем, ей известную: «Моя матушка была дружна с сестрой покойного шефа жандармов Н. В. Мезенцева. Он знал про Вас и прямо мне, лично, предлагал подать ему докладную записку, по которой он мог бы действовать против Вас. <...> Если бы я захотела, я и теперь могла бы причинить Вам зло. Но этого никогда не будет. Какое право я имею судить Вас?»

Это заявление косвенно объясняет, почему, несмотря на завуалированные угрозы, семейство Милюковых так и не прибегло к шантажу, на который несколько раз намекала Антонина, и почему она не требовала развода на основе гомосексуальности супруга. По своему социальному положению (обедневшее мелкое дворянство) Милюковы принадлежали к среднему классу, в то время как Петр Ильич, знаменитый композитор и любимец публики, вращался в самых привилегированных кругах. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что все

общественное мнение будет настроено против Милюковых и они ничего не добьются.

Так что в некотором смысле страхи композитора не были лишены основания. Разумеется, возможность шантажа была ничтожной, но во время бракоразводного процесса гомосексуальная проблема могла выплыть и вызвать осложнения. Этим отчасти объясняются бесконечные колебания обеих сторон на предмет развода, так и не приведшие к развязке. Чайковскому требовалось, чтобы во время процесса Антонина отстаивала одну определенную версию, не отклоняясь ни на шаг, и он не мог быть уверен, что она — в силу умственной или психической неполноценности — окажется способной это сделать. Именно в этом духе он писал Анатолию: «Имею ли я возможность, дав Антонине Ивановне вместо пенсии капитал, обеспечить себя навсегда от ее приставаний и денежных претензий, не прибегая при этом к разводу, которого она не хочет и которого я сам боюсь, если принять в соображение, что она может наделать скандала при ведении дела». Если бы ему было нечего скрывать, то он мог бы позволить «гадине» говорить на процессе все, что ей вздумается.

Милюкова оставалась «гадиной» прежде всего потому, что все, что о ней напоминало, выбивало композитора из колеи и мешало работать, и, с его точки зрения, время от времени требовалось ставить ее на место. 23 декабря он писал Анатолию: «Теперь, когда я немножко начинаю успокаиваться и приходить в нормальное состояние, я тебе должен признаться, что твое письмо с известием о визите г. неизвестного произвело на меня совершенно громовое впечатление. Хотя ум мой и говорил мне, что все это пустяки, но все мое существо было уязвлено напоминанием гадины. Иногда во Флоренции, среди своих размышлений и мечтаний, я вдруг припоминал всю историю и с трудом мог себя уверить, что это было в действительности, а не во сне. <...> Достаточно мне было увидеть почерк ее, чтобы почувствовать себя тотчас же несчастным и упасть духом. Таково свойство яда этой змеи. Твое письмо доконало меня. Но вчера я уже стал спокойнее, я сегодня начинаю опять забывать. Хорошо было бы, если б до моего возвращения можно было б в письмах не упоминать об этом, ибо для того, чтобы заниматься, мне нужно совершенно забыть». Неудивительно, что «вследствие маленькой порции яда гадины» он был все эти дни «очень раздражителен» и третирует ни в чем не повинного сопровождавшего его Котека. Он не забыл снова предупредить брата: «Я ужасно боюсь, что по слабости характера [ты] допустишь себя до приема всякой сволочи, которая придет к тебе говорить о моих отношениях к гадине. Я знаю, что она внушает тебе точно такое же физическое и

моральное отвращение, как и мне, и что каждое напоминание об этой истории раздражает тебя не меньше моего. Ради бога, не принимай никого, кто придет к тебе для разговора об этом деле, а главное, ее совершенно сумасшедшую мать. Если же по недоразумению Аким (слуга Анатолия. — А. П.) кого-нибудь примет, отвечай, что я тебя не уполномочивал трактовать об этом и что только по возвращении моем можно будет вступить в переговоры».

Наконец, после того как Надежда Филаретовна предположила, что при инициативе со стороны «известной особы» развод все-таки возможен, Чайковский изложил ей свою точку зрения 30 декабря 1878 года: «Разумеется, что это было бы самым желанным разрешением всех затруднений. Но в том-то и дело, что при бракоразводном процессе нужно, чтобы обе стороны ведали, что творят, а она решительно не ведает, и с ней очень страшно приступать к этому очень тяжелому по своим формальностям делу. Ведь и в прошлом году она изъявляла согласие на развод, но что же вышло, когда я, наконец, хотел начать дело? Во всяком случае, до тех пор, пока от имени ее не начнет действовать поверенный, понимающий дело, я не решусь вести серьезные разговоры».

И уже как окончательный вердикт в письме ей же из Кларана 13/25 января 1879 года: «Она продолжает желать развода, но своим совершенно своеобразным способом. Между тем тут необходимо с обеих сторон совершенно сознательное отношение к делу, иначе может разыгаться очень опасная и неприятная история (в чем именно заключалась бы в таком случае опасность, не проясняется. — А. П.). Таким образом, я теперь дошел до того, что хотя, говоря абсолютно, для меня развод был бы неоцененным благом, но, говоря относительно, в применении к обстоятельствам и характеру действующего лица, он меня пугает и страшит, и я только с крайней осторожностью вступлю в это дело, если, повторяю, инициатива будет взята той стороной. <...> Что касается той попытки, о которой мне писал Анатолий в Париж, то, судя по тому, что человек, являвшийся к нему, говорил лишь одни несообразности в pendant (дополнение. — **фр.**) ко всему тому, что о разводе говорила известная особа, — на это нельзя смотреть серьезно. Я полагаю, что это скорее всего результат раскаяния о потере десяти тысяч, которые предлагались летом, и робкая попытка узнать, что поделывают эти деньги. Но этих денег она не получит ни в каком случае».

При таких обстоятельствах идея развода композитору не импонировала. Он опасался, что адвокат может перехватить судебную инициативу, вызвав в суде нежелательные подозрения касательно определенных сторон его образа жизни. Это не значит, что ему грозило бы

в этом случае нечто серьезное\* но при его темпераменте, как мы знаем, достаточно было и неприятного намека, чтобы он впал в состояние протрации.

В конце декабря Чайковский начал успокаиваться. В Париже он, вопреки своим уверениям фон Мекк, не мог устоять перед радостями жизни, и в особенности перед театрами. Дважды он побывал в «Комеди Франсез», где воспылил страстью к молодому актеру, которого они с Модестом впервые увидели, будучи в Париже еще два года назад. Петр Ильич писал Модесту 26 декабря/7 января 1879 года: «[Актер Гот] является молодым и невероятно благородным человеком, получающим в конце пьесы плюху. Чего бы я не дал, чтоб та рука, которая наносит оскорбление Got, давала бы мне ежедневно по сто оплеух! Рука эта принадлежит божественному существу, которым мы оба с тобой восхищались в достопамятный спектакль в 1876 году. Фамилия его Boucher. Помнишь ты его? Что за очарование эта личность и какой он оказывается чудесный актер! Я был счастлив, что видел его в обеих пьесах».

Уже одного этого признания было бы достаточно, чтобы устранить всякое сомнение по поводу гомосексуальности Чайковского. В нем также отчетливо проявлен и мазохистский элемент, который мы уже затрагивали в нашем повествовании. Вспомним описанное Модестом отношение брата к Сергею Кирееву или признания его самого, унижительные для чувства собственного достоинства, в связи с его увлеченностью Евстафием из Каменки. Принимая во внимание исключительную откровенность дошедших до нас эпистолярных и дневниковых текстов композитора и редкость в них подобных упоминаний, можно с уверенностью утверждать, что мазохистские импульсы ни в коей мере не доминировали в его психике.

Чайковский приехал в Кларан 30 декабря/11 января и снова поселился в пансионе на вилле Ришелье, где гостеприимная хозяйка мадам Майор окружила его вниманием и заботой. Все напоминало ему о пребывании здесь весной с Модестом, Колей, Котеком и Алешей и навевало грустное настроение. Тем не менее на следующий же день после приезда он погрузился в работу над «Орлеанской девой»: по утрам писал музыку, вечерами — либретто. Пустой пансион как нельзя лучше подходил для этих занятий, где можно было, не стесняясь, петь и играть. Либретто Мерме ему не понравилось, и, он, заимствуя оттуда лишь некоторые детали, решил сам написать текст, воспользовавшись переводом Жуковского и драмой Поля Жюль Барбье «Жанна д'Арк». «В конце концов я пришел к заключению, — делился Чайковский с фон Мекк, — что трагедия Шиллера хотя и не согласна с исторической правдой, но превосходит все другие

художественные изображения Иоанны глубиной психологической правды».

В Кларане он неожиданно для себя самого подвел итог своим отношениям с Котеком, с которым только что расстался в Париже, хотя ранее намеревался привезти его и сюда. 2/14 января 1879 года в письме Модесту, как бы отвечая на его рассказы о влюбленностях, он вдруг признался: «В Париже, всматриваясь в куклоподобную и несколько китайскую физиономию Котека, я часто спрашивал себя: неужели я мог восхищаться ею? Какая странная вещь влюбленность и как она, даже когда не особенно серьезна, упорно сидит в сердце. Моя любовь к нему прошла очень скоро, но очень долго еще держался осадок любви. Еще не далее, как прошлой весной, здесь в Кларане я мог с ним прямо говорить о моей любви. Теперь мне просто оскорбительно думать, что я мог умиляться при виде его фигуры и считать верхом блаженства прикосновение к нему. Непостижимая вещь! Как я, однако, в сущности, люблю одиночество».

Кроме занятий Чайковский совершал ежедневные прогулки, описания которых купированы во всех изданиях писем. Его хождения по городу были связаны с поисками устраивающих его молодых людей. «Я обуреваем в настоящее время необыкновенным сладострастием, и поэтому все мои прогулки проходят в бесплодных надеждах на какие-нибудь встречи», — писал он Модесту 6/18 января; или, в понятной для братьев иносказательности, чуть ниже: «Опять была тщетная попытка пожирания глазами всех попадавшихся девиц». Но Кларан не был Парижем, и ему, надо полагать, приходилось часто возвращаться в пансион сексуально неудовлетворенным. Быть может, поэтому снились Чайковскому и забавно-эротические сны, об одном из которых он даже рассказал в письме Анатолию 9/21 января: «Сон заключался в том, что Anette Мерклинг спала со мной на одной постели и умоляла меня, рыдая, чтобы я употребил ее. Я, чтобы не показать ей невставиху, притворялся рыдающим и говорил, что мне жаль ее, но, несмотря на страстное желание удовлетворить ее, не решаюсь на кровосмешение. Тогда она начала насильно хвататься за мою позорную висюльку, и я от ужаса проснулся и решил тут же рассказать тебе или Моде в первом письме. Не правда ли курьезно?» Вероятно, переживания последних месяцев, связанные с Антониной, вкупе с его личными психосексуальными особенностями и нашли своеобразный выход в этом сне.

Алешей он по-прежнему был доволен, особенно его «ласковой нежностью», в свободное время обучал его французскому языку. Петра Ильича уже не раздражали ухаживания слуги — теперь с помощью новообетенного французского — за веселой и обаятельной служанкой

виллы Ришелье Мари, к которой сам композитор на этот раз «питал большую склонность». В письме сестре от 21 января/2 февраля 1879 года читаем: «Живу в насиженном уголке своем и живу приятно, хотя несколько монотонно, но зато у меня кипит работа. Решительно никого не вижу: общество мое состоит из Алеши, Marie (девушки той самой, которую я рекомендовал тебе и которую ужасно люблю), из книг, нот. Дела так много, что я не замечаю, как день проходит». Он ближе познакомился с сыном мадам Майор — подростком Густавом и так описывал его Модесту: «Этот Gustave находится теперь в том положении, в каком я некогда нашел Евстафия. Он вдруг вырос, невыразимо похорошел и расцвел».

Несмотря на комфортабельное существование в Кларане, композитора тянуло в Петербург, он очень скучал по братьям, отцу и «вообще милым людям». В письмах Модесту он не перестает передавать юному Конради большое количество нежных поцелуев «в глазки, губки, щечки» и даже видит во сне как целует его и обнимает.

В какой-то момент Чайковский посчитал необходимым оправдать холостяцкую жизнь младшего брата перед фон Мекк: «Вы спрашиваете, дорогой друг, отчего брат Модест не помышляет о женитьбе. Покамест он именно по принципу не думает об этом, так как ранее полного окончания Колиного образования считает невозможным вступать в брак. И мне кажется, что он прав, считая, что как бы не совсем справедливо будет, если новые, сильные интересы отвлекут его от забот о своем питомце, к которому [он] питает безграничную привязанность». Главные причины были, конечно, иными, но Надежда Филаретовна вряд ли могла догадываться.

Нелегкая роль воспитателя глухонемого мальчика и доминирующая личность гениального брата были, безусловно, препятствием к реализации литературного дарования Модеста. Сам Петр Ильич, хотя и не профессиональный литератор, но человек со вкусом, ценил его талант. Литературный дар Модеста не овеществился: повесть «Трутни» никогда не была напечатана, пьесы в театрах шли, но в художественном отношении были произведениями третьестепенными. Однако талант этот не пропал напрасно, осуществившись в главном деле жизни Модеста — написании биографии обожаемого и великого брата. Остается ответить на вопрос: могло ли постоянное общество Модеста (а часто и самого Петра Ильича) повлиять на сексуальную ориентацию его воспитанника? Биографические материалы свидетельствуют о том, что в этом плане Николай Конради не пошел по стопам обоих братьев.

Модест был сложным человеком — сам Чайковский не раз отмечал в



нем сочетание серьезности и легкомыслия, ответственности и распушенности. Несомненно, что в те годы, когда он взял на себя воспитание ребенка, а в особенности во время совместного пребывания за границей после коллапса женитьбы брата, он завоевывал все большее место в сердце композитора. Так, в письме от 30 ноября/12 декабря 1878 года читаем шутовое: «Скажи ему [Анатолию], что я тебя окончательно произвожу в чин любимчика».

Совместное пребывание фон Мекк и ее «драгоценного друга» в Париже в феврале 1879 года оказалось менее идилличным, чем во Флоренции — денежные обстоятельства вновь создавали неловкость. Чайковский поистратился и ожидал присылки «бюджетной суммы» (еще один эвфемизм денежного пособия) в Кларан, в то время как Надежда Филаретовна с нетерпением ждала их парижского воссоединения, дабы вручить эту сумму ему непосредственно: «Простите тысячу раз, мой дорогой, что не догадалась послать в Clarens lettre chargée (ценное письмо. — *фр.*) здесь: денежный перевод), но так как я предполагала, что мы оба соберемся 1 февраля в Париже, то я пришлю Вам через Ивана Васильевича, но очень глупо рассудила. Посылаю Вам тысячу франков, потому что у меня сейчас нет мелких».

По приезде в Париж из Кларана Чайковский написал благотельнице 6/18 февраля: «Благодарствуйте, милый друг, за чудную квартиру... за то, что так приятно было мое первое парижское впечатление, благодаря... уютной квартирке, в которой я нахожусь». Тем не менее возникла целая серия квартирных недоразумений. Снятые фон Мекк апартаменты он нашел непомерно дорогими (это несмотря на то, что она целиком приняла на себя их оплату), переехал в другие и жалел, что не смог снять третьи. В результате — в их переписке поток преувеличенных взаимных извинений. Можно предположить, что Петр Ильич был с самого начала в раздраженном состоянии: ему не слишком хотелось куда-то ехать единственно по настоянию своей корреспондентки. Об этом почти впрямую говорится в письме Юргенсону от 27 января 1879 года: «Как и почему [я уезжаю в Париж], долго было бы рассказывать. Но вся суть в том, что я должен это сделать, хотя, по правде, с большим удовольствием остался бы здесь». Через характерный психологический механизм «перенесения» он придал в письме фон Мекк противоположный смысл этой коллизии: «Знаете ли, милый друг, что я себя обвиняю немножко в том, что Вы теперь в Париже, который, если не ошибаюсь, совсем не подходит к теперешним требованиям Вашего здоровья. Ведь это я своими восторгам от Парижа надоемил Вас приехать из Вены сюда?» Эти строки,

конечно, следует читать: «Вам нужно обвинять себя за то, что я по Вашему настоянию должен был переехать сюда в Париж, не соответствующий теперешним требованиям моего настроения».

К этому времени он, вероятно, начал понимать, что забота бывает иногда пуще неволи. Модесту 10/22 февраля: «С Н[адеждой] Ф[иларетовной] у меня какие-то совсем новые отношения. В последнее время она совсем перестала мне писать под предлогом, что у нее так болят голова и глаза, что она не может писать. Чтобы не терзаться, получая мои письма и сознавая неспособной отвечать, она просила меня писать не более раза в неделю. Во Флоренции было как раз наоборот. Она мне писала каждый день, и я тоже. Мне кажется, что просто ей надоело вести переписку. Как бы то ни было, но оно выходит очень странно. На что ей понадобилось, чтобы я жил в Париже одновременно с нею? Во Флоренции мы ежедневно виделись и переписывались, здесь — если б не Пахульский, который приходит брать уроки, то между нами решительно ничего не было бы общего. К сожалению, нужно сознаться, что отношения наши ненормальны и что от времени до времени ненормальность эта сказывается».

Этот фрагмент — яркое свидетельство мнительности Чайковского. Фон Мекк действительно страдала головными болями («голова так расстроена, что я не могу наклониться над столом, чтобы писать Вам, а пишу стоя, держа бумагу в уровень с головою, и потому карандашом»), и отношение ее к «драгоценному другу» не изменилось нисколько. Достаточно, к примеру, прочитать ее увещевания в письме от 6 февраля: «Ну, словом, прошу Вас, мой дорогой, сказать мне вполне откровенно все Ваши желания насчет помещения, и я постараюсь устроить Вам вполне по Вашему желанию, потому что предупреждаю Вас, мой милый друг, что я не уступлю Вам ни за что моего законного права устроить Вам помещение в Париже. Я не буду вмешиваться ни в какие другие Ваши расходы, но помещение должно быть на моем попечении, и этого я Вам не уступлю, дорогой друг мой, потому что Вы приехали для меня, ко мне в гости, и я хочу, чтобы у Вас было такое помещение, какого мне хочется». Вскоре переписка по темпу, интонации и размерам приняла прежние формы.

В январе и феврале Чайковский интенсивно работал над «Орлеанской девой», регулярно оповещая об этом своих братьев. Наконец, 22 февраля/6 марта он сообщил Модесту: «Вчера был для меня весьма многозначительный день. Совершенно неожиданно для самого себя я кончил вполне оперу. <...> Что ни говори, а каждый день в течение почти

2<sup>x</sup>/<sub>2</sub> месяцев в известные часы выжимать из своей головы иногда и с большою легкостью, а иногда и с усилием музыку, — дело утомительное. Зато сколько я теперь буду отдыхать! Ведь инструментовка — это уже головной труд! Это вышивание по канве с готового узора».

При всем брюзжании насчет едва ли не «насильственной» поездки в Париж, Петр Ильич признавался Модесту еще из Кларана 4/16 февраля, что возвращается туда не столько из-за Надежды Филаретовны, но и по другим причинам: «Письма, лежащие в ожидании меня в *poste restante* (до востребования. — **фр.**), “*Assomoir*” в *Ambigu* и “*Freischutz*” в *Grand Opera* суть три вещи, которые мирят меня с поездкой в Париж. Впрочем, я немножко рад также надежде встретить там какую-нибудь хорошенькую девчонку». Кроме этого, в концерте в Шателе под управлением Эдуарда Колонна должна была исполняться фантазия Чайковского «Буря». Прочитав письма, получив удовольствие от любимой с юности оперы Вебера, но разочаровавшись в Золя, он выходил на улицы французской столицы в поисках любовных приключений.

И уже 13/25 февраля радостно рапортовал Модесту: «Вчера я познакомился с одной очень миленькой шапелезкой (шляпницей. — **фр.**). Но только познакомился. Мы уже давно встречались, многозначительно смотрели друг на друга, но только вчера произошло знакомство. Я решился... не давать *rendez-vous* (свидание. — **фр.**), а присматриваться, при встрече заговаривать и уже потом, когда окажется, что она действительно честная девушка — переночевать с ней. Прелестно, что с первого же слова она назвала меня *mon cher*, и на ты, рассказала кучу историй про свою честность. <...> Была очень довольна моими 3 фр[анками]. Лет ей 17, говорит меняющимся голосом (очень мило), одета в хорошенький сюртучок и фуражку, ломания никакого нет. Если что произойдет, напишу». «Девушка», с «меняющимся голосом», одетая в сюртучок и фуражку, производит впечатление определенно комическое.

В письме от 17 февраля/1 марта он сообщал больше подробностей: «Чуть ли не в первый день приезда, выйдя из [ресторана] *Diner de Paris*, я заметил молоденькую девочку, бедно, но чисто одетую, очень приятной наружности и в особенности с чудными большими глазами. Я обратил на нее мое внимание, она как будто тоже с интересом на меня взглянула и повторила свой маневр глазами при следующей встрече, но, когда я вышел, она за мной не последовала. Потом несколько дней сряду при выходе моем из *Diner de Paris* она мне встречалась, но я не имел духу подойти. Между тем я чувствовал, что начинаю влюбляться и что все время до обеда я

неспокоен и сердце замирает при воспоминании о ней. Я решился прекратить это и дня два не ходить в пассаж. Но на третий день, как это всегда бывает со слабохарактерными людьми, я не только пошел, но решился во что бы то ни стало познакомиться. Поэтому при встрече я ей сделал знак, чтобы она следовала за мной. Знакомство произошло тотчас, но, поговорив с ней, узнав что она шляпочница и в настоящее время без места и дав ей 3 [франка], я простился, сказав, что, вероятно, еще встретимся. Разумеется, я провел несколько томительных и мучительных дней, спрашивая себя, давать или не давать хода этой страстишке? Наконец решился, потом встретил ее, ходили с ней в кафе, где-то в глуши переулка и, увидев из разговора, что она вполне приличная девушка, а не мошенница, я, по ее совету, пошел с ней в какой-то отелик на Rue St. Denis, занял комнату и провел вечер хотя приятно, но с беспокойством: как бы не вошли, не случись ничего. Расстались очень нежно. Когда я ее спросил, не противно ли ей иметь дело с таким стариком, она отвечала: “Et bien, tenez, je vous aime comme mon pere” (что вы, я люблю вас как отца. — *фр.*). Я ей называл себя шведом: “M. Frederic Odenburg”, и мне ужасно смешно, когда она меня называет “Frederic”. Это было в среду. Сегодня суббота, и я еще ее не видел. Rendez-vous назначено на завтра, но мне до того хочется ее видеть, что я пойду сегодня в Пассаж искать ее. К сожалению, все удовольствие, которое я мог бы ощущать от общества ее (она очень мила, забавна и необыкновенно деликатна в денежном отношении), отравляется пустым, но мучительным страхом чего-то, тогда как в сущности бояться решительно нечего. <...> Хорошо, что у меня есть романчик. Если бы не это, то я, вероятно, скучал бы ужасно».

Но на следующий день юноша, уже получивший в письмах имя Луиза и ожидаемый Чайковским «с сердечным трепетом», на randevу не пришел. Композитор встретил его через несколько дней и договорился о другом свидании, уже перед самым своим отъездом из Парижа. Так совпало, что в тот же день, 25 февраля/9 марта, в Шатле исполнялась «Буря». День обещал быть насыщенным и тревожным. Вот как он описан в письме Модесту: «Вчера был день сильнейших волнений. Утром был концерт в Chatelet и исполнение “Бури”. Испытанные мною терзания служат сильнейшим доказательством того, что мне не следует жить иначе, как в деревне. Даже то, что прежде было сильнейшим для меня наслаждением, т. е. слушание своих сочинений, — сделалось источником лишь одних мучений. Условия, при которых я слушал “Бурю”, казалось бы, обеспечивали мне совершенное спокойствие. Не тут-то было. Уже накануне вечером у меня начался понос и тошнота. Вплоть до самых первых аккордов волнение мое

шло с утра crescendo, а когда играли, то мне казалось, что я сейчас, сию минуту умру, до того у меня болело сердце. И волнение было совсем не оттого, что я боялся неуспеха, а потому, что с некоторых пор каждое новое слушание какого бы то ни было моего сочинения сопровождается сильнейшим разочарованием в самом себе. Как нарочно, перед “Бурей” играли реформационную симфонию Мендельсона, и я все время, несмотря на страшную эмоцию, удивлялся чудному мастерству его. У меня нет мастерства. Я до сих пор пишу, как не лишенный дарования юноша, от которого можно многое ожидать, но который дает очень мало. Всего более меня удивляет, что мой оркестр так плохо звучит! Конечно, мой разум говорит мне, что я несколько преувеличиваю свои недостатки, но это меня плохо утешает. Исполняли “Бурю” весьма недурно, хотя и не первостатейно. Темпы были безусловно правильны. Мне казалось, что музыканты играли старательно, но без увлечения и любви. Один из них (виолончелист), с которого я почему-то ни на минуту не отводил глаза, улыбался и с кем-то как будто переглядывался, как бы говоря: “Извините, что мы вам преподносим столь странное блюдо, но мы не виноваты: велят играть — и играем!” Когда кончились последние аккорды, раздались довольно тщедушные аплодисменты, потом как будто собрался новый залп, но тут раздались 3 или 4 весьма громких свистка, и засим зала огласилась криками: Oh! Oh! имевшими значение благосклонного протеста против шиканья, и потом все замолкло. Все это я выдержал без особенного огорчения, но меня убивала мысль, что “Буря”, которую я привык считать блестящим моим произведением, в сущности так ничтожна! Я тотчас же вышел. Погода была чудная, и я ходил безостановочно часа 2, после чего пришел домой и написал Colonn’у записку, в коей наврал, что был всего один день в Париже и потому не мог быть лично. Записочка изъясляет искреннюю благодарность, и в самом деле, он разучил “Бурю” очень хорошо. Тут я уже был значительно покойнее, но решил, что мне необходимо нужно провести [время] в наслаждениях. Потому, наскоро пообедав, пошел искать Луизу. Несколько времени поиски были неудачны, как вдруг: она! Я был невообразимо рад, ибо в сущности она мне крайне симпатична. Тотчас же мы свернули на уединенную улицу, и произошло объяснение. Оказалось, что она тогда не пришла на rendez-vous, ибо с ней был случай весьма неприятного свойства. Карета колесом задела ей за ногу и значительно ушибла. Она два или три дня пролежала, а теперь прихрамывает. Она предложила мне отправиться к ней. Живет она невероятно далеко. Мы долго шли, потом сели на омнибус, потом опять шли, причем я все время упивался, как самой чудной музыкой, его

болтовней и вообще чувствовал себя невероятно влюбленным. Наконец мы пришли на rue du Maine. Это квартал мещанский. По этой улице и рядом с ней в улице de la Goite была масса гуляющего народа, кабачок за кабачком, бальные залы с отворенными окнами, из которых гремела музыка. Чтобы пройти в его mansarde (чердачная комната. — **фр.**), нужно было зайти в какой-то Assomoir (здесь: кабаk. — **фр. разг.**), выпить une mante avec de Beau frappee (алкогольный напиток, запиваемый холодной водой), потом проскользнуть в маленькую дверь, очень долго подыматься по узкой и темной лестнице, и наконец попасть в крошечную комнату с косым потолком и окном не в стене, а в потолке!!! Кровать, жалкий сундучок, грязный столик с огарком, несколько дырявых штанов и сюртучков на гвоздях, огромный хрустальный стакан, выигранный в лотерею, — вот убранство комнаты. И тем не менее мне казалось в ту минуту, что эта несчастная каморка есть средоточие всего человеческого счастья. Он (я не в силах употреблять женское местоимение, говоря про эту милую личность) тотчас же с гордостью показал мне свой паспорт, свои аттестаты, вполне доказавшие мне правдивость всего того, что он говорил про себя. Потом были разные calinerie (нежности. — **фр.**), по его выражению, потом я сделался бесноватым от любовного счастья, и были испытаны невероятные наслаждения. Я могу без преувеличения сказать, что не только давно, но почти никогда я не был так счастлив в этом смысле, как вчера. Потом мы пошли в какое-то увеселение: нечто среднее между cafe chantants (кафешантан. — **фр.**) и театром, потом были в каком-то кафе и пили много пива, потом шли ужасно долго пешком, опять пили пиво и наконец расстались в 1 [час] ночи. Я был до того утомлен от массы впечатлений, что не в состоянии был дойти до дому и взял фиакр. Придя домой, я повалился на постель и заснул мертвым сном, оставив Алеше огромными буквами записку, чтобы не будил меня ранее 10 часов.

Однако ж проснулся в 7 с страшною тяжестью в голове, с тоской, с угрызениями совести, с полным сознанием лживости и преувеличенности того счастья, которое я испытал вчера и которое, в сущности, есть не что иное, как сильная чувственная склонность, основанная на соответствии капризным требованиям моего вкуса и на симпатичности Луизы вообще. Как бы то ни было, но юноша этот имеет много хорошего в корне души. Но Боже мой, как он жалок, как он глубоко развращен! И вместо того, чтобы содействовать его поднятию, я только помогаю ему глубже опускаться. Я тебе расскажу при свидании много прелестных подробностей, свидетельствующих о его наивности, соединенной с развращенностью. Собственно говоря, ему бы следовало возвратиться в Лион, где у него отец,

мать, имеющие шляпный магазин. Но он не может возвратиться иначе как приличным молодым человеком, а для этого ему нужно по крайней мере 500 фр[анков]. Я читал письма его родителей, — видно по всему, что это порядочные люди. Как нарочно, я должен буду уехать, не быв в состоянии оказать ему настоящую помощь, т. е. снарядить в Лион. Я тебе расскажу о том, как я крайне ошибся в некоторых своих расчетах или Н[адежда] Ф[иларетовна] ошиблась в своих, но только дай Бог, чтобы у меня хватило денег добраться до Берлина. Я уже написал Юргенсону, чтобы он по телеграфу выслал мне перевод на банкира в Берлин в 500 марок, чтобы добраться до Петербурга.

Мне необходимо поскорей уехать, и безотлагательно я выезжаю послезавтра, в среду. Что касается неуспеха “Бури”, то это у меня ушло на задний план и уже сегодня мало сокрушает. Т. е. я говорю о том неуспехе, который она произвела во мне. Я помирился с этим обстоятельством на том, что после оперы и сюиты я, наконец, напишу образцовое симфоническое сочинение. Итак, до последнего моего издыхания я буду, должно быть, только стремиться к мастерству и никогда его не достигну. Чего-то мне недостает — я это чувствую, — но делать нечего. Голова больше не болит. Погода чудная, и я совершенно разгулялся. Завтракал в шикарном ресторане. Посылаю тебе вырезку из газеты о вчерашнем концерте. Газета эта *Paris-Journal*». Цитированные письма характерны для периодов пребывания Чайковского за границей — сочетание творческих музыкальных переживаний и случайного «голубого» эроса.

Он выехал из Парижа в Берлин 28 февраля/12 марта, а вскоре был уже в Петербурге, где встретился с Модестом и Анатолием и навестил своего престарелого отца. На пару дней он приезжал в Москву на представление «Евгения Онегина», который силами студентов консерватории был поставлен в Малом театре и снискал громкий успех, а все остальное время развлекался, несмотря на периодически возникающую в нем антипатию к русской столице.

Почти сразу же по возвращении из-за границы в Петербурге его настигла неутомимая супруга. Оказывается, она давно уже ходила мимо дома, где жил Анатолий, и ждала приезда мужа. Случайно впущенная в дом швейцаром, она была проведена в кабинет Анатолия. Предупрежденный в последний момент, композитор едва успел приготовиться к ее визиту. Увидев Петра Ильича, Антонина бросилась ему на шею с возгласами, что жить не может без него и согласна на любые условия, лишь бы тот вернулся к ней. На что Чайковский, стараясь быть хладнокровным, ответил, что как бы он ни был виноват перед ней, но на сожительство никогда не

согласится. Супруга рыдала, следовали новые уверения в любви. Желая прекратить эту сцену, он попросил дать ему время на обдумывание и предложил ей уйти, пообещав письмо или личное свидание в Москве. Перед уходом она захотела увидеться с его братьями, бывшими в соседней комнате. Поцеловав с ними и попутно рассказав несколько случаев о влюбленности в нее разных мужчин, Антонина удалилась.

В письме к фон Мекк от 24 марта 1879 года Чайковский резюмировал: «Сцена эта потрясла меня довольно сильно. Она доказывает, что только за границей и в деревне я обеспечен от приставаний известной особы. Что касается развода, то об этом и думать нечего. По-видимому, ничто в мире не может искоренить из нее заблуждения, что в сущности я влюблен в нее и что рано или поздно я должен с ней сойтись. Она и слышать не хочет о разводе, а про того господина, который зимой приезжал к брату от ее имени предлагать мне развод, выражается, что это подлый интриган, который в нее влюблен и действовал помимо ее желания».

Одной встречей дело не ограничилось. Уже из следующего письма фон Мекк от 31 марта узнаем, что Антонина Ивановна в Москву не уехала, а продолжала караулить мужа около дома, где он жил, и даже сняла рядом квартиру. Во время одной из встреч на его слова о том, что она напрасно ищет свиданий с ним, Антонина отвечала: она теперь не может жить вдали от него и уедет в Москву вместе с ним. А 28 марта 1879 года композитор получил от нее отчаянное письмо, в котором она объяснялась в страстной любви: «Приходи же, мой хороший, навести меня. <...> Я знаю, что ты меня не любишь, что меня мучает, терзает и не дает покоя никогда. <...> Никакие силы не заставят меня разлюбить тебя; отнесись же ко мне хотя с сожалением. Я принадлежу тебе и душой и телом, делай со мной, что хочешь. После свидания с тобой никак не могу привести в порядок свои нервы и принимаюсь плакать по нескольку раз в день. Боюсь уж теперь и просить тебя о себе, а между тем я прихожу в ужас, что мне придется снова волочить такую жизнь, какова была в продолжение всего этого времени».

Интонация искренна и впечатляет. Несчастливая женщина, осознавая всю горечь двойственного положения замужней дамы, живущей без мужа и осуждаемой толпой и родственниками, готова принести последнюю жертву ради восстановления отношений. Чайковский оказался не способен понять эту женскую психологию или даже попросту войти в ее положение. Не содействовала его пониманию и позиция близких, безоговорочно вставших на его сторону и не пожелавших отнестись с сочувствием к унижительной ситуации, в которой оказалась Антонина Ивановна.

Вероятно, на этом этапе она отчаянно пыталась вернуть себе



расположение супруга, наивно полагая, что в душе его еще теплились остатки того хорошего отношения к ней, которое было в самом начале их знакомства. Затянувшееся преследование продолжалось в Москве: «Накануне отъезда ко мне ворвалась совершенно неожиданно гадина вместе со своей сестрицей и просидела часа два. На этот раз я был менее умен, чем в Питере, горячился и раздражался и все-таки ни разу не вышел из себя. Когда я ей сказал и несколько раз повторил: никогда, никогда и ни за что на свете, то вместо слез и истерик она перешла совершенно неожиданно к вопросу об обеспечении. Я выразил удовольствие, что дело перешло к цифрам, и после разных ее намеков на m-me Мекк (которая, по ее словам, подсылала к ней с предложением больших денег) спросил решительно, сколько ей нужно. Ответ: пятнадцать тысяч. По ее словам, эти деньги ей нужно, чтобы навсегда покинуть Россию, где на нее все странно смотрят и где поэтому она не может работать. Она желает переехать за границу, дабы предаться музыке. Я отвечал, что денег этих у меня нет, но что я рад узнать, чего она желает. Она пробовала опять возвращаться к прошлому, говорила, что один камень мог не быть тронутым ее петербургскими сценами, но встретила с моей стороны энергичный отпор и совершенное нежелание выходить за области цифр. Я имел неосторожность сказать, что кроме пенсии буду иногда выдавать экстраординарные субсидии, и позволил в случае нужды обращаться ко мне. Наконец она ушла. Я был довольно расстроен, но за обедом с Кондратьевым у Патрикеева хорошо ел и пил и возвратился часов в девять домой совершенно спокойным. Здесь я нашел записку гадины, в которой она говорит, что истратилась в Петербурге и что ей нужно пятьдесят рублей. Имел слабость послать ей двадцать пять».

Почти в тех же выражениях Чайковский описал этот визит и «лучшему другу»: «Развода она не желает. Я очень волновался во время ее пребывания и говорил с излишней резкостью, ибо не имел силы сдерживать себя. Отвечал, что капитализировать пенсию не могу, ибо даже если бы и нашлись подобные деньги, то ничто не может обеспечить меня от новых попыток с ее стороны выманивать у меня деньги. Впрочем, окончательный ответ обещал дать письменный отсюда. Мне стоило большого труда выдержать до конца и не перейти в бешенство. Наконец она ушла, на этот раз уже не бросаясь в мои объятия и не пытаясь на нежные выражения чувств. <...> В сущности, я имею скорее основания радоваться всему случившемуся. Более чем когда-либо это непостижимо странное человеческое существо обнаружило свое пристрастие к презренному металлу. Сегодня я написал ей письмо, в котором выяснил,

что 1) капитализация пенсии невозможна, ибо нет возможности без формального развода раз навсегда покончить с ее приставаниями, и 2) так как развода она или не хочет или не может понять его формальной стороны, то, следовательно, все остается по-старому. <...> Вообще же говоря, я могу жить совершенно спокойно, пока я не в Москве и не в Петербурге, и, следовательно, теперь, когда уже не скоро отсюда уеду, мне нечего беспокоиться. В случае если по музыкальным делам придется все-таки бывать в Петербурге или в Москве, нужно будет просто обставить себя так, чтобы она не могла врываться ко мне неожиданно, как это случилось теперь». Итак, Антонина Ивановна стала одним из факторов, изгнавших композитора из обеих столиц.

## Глава восемнадцатая. Опасная близость

Шестого апреля вместе с Модестом, Колей и присоединившейся к ним племянницей Анной Давыдовой, которая училась в Петербурге, Чайковский выехал в Каменку. Всю дорогу он страдал крапивной лихорадкой, причинявшей ему невероятно мучительный зуд во всем теле, — это явилось последствием его нервного раздражения в Москве. Только подъезжая к Каменке, он почувствовал облегчение.

Устроился Петр Ильич очень хорошо и в одном из первых отчетов, посланных в Петербург Анатолию, писал: «Какие бывают великолепные утра, какие постижимо красивые заходы солнца и лунные ночи с соловьями, как деревья распускаются, какие иногда со мной бывают экстазы вследствие этих прелестей! <...> Я чувствую себя превосходно».

Но тревожные мысли одолевали его и здесь. Идея о капитализации пенсии и, соответствующей возможности освобождения от «гадины» без развода определенно сложилась в его сознании и подвигла обратиться к брату-юристу: «Узнай, голубчик, обстоятельно следующее. Имею ли я возможность, дав Ант[онине] Ив[ановне] вместо пенсии капитал, обеспечить себя навсегда от ее приставаний и денежных претензий, не прибегая при этом к разводу, которого она не хочет и которого я сам боюсь, если принять в соображение, что она может наделать скандала при ведении дела. Можно ли взять с нее формальную подписку в том, что она вполне удовлетворена? Спрашиваю это не потому, чтобы в моем распоряжении были деньги, но Надежда Филаретовна может мне предложить их, и я очень бы не прочь навсегда отделаться тем или иным способом от гадины. Как мне ни хорошо здесь, но это только потому, что я наверное здесь ее не встречу. Петербург и Москва, как показал опыт, для меня закрыты до тех пор, пока я не вполне покончил с ней мои расчеты».

Одного этого пассажа достаточно для сомнения в том, что он гораздо более хотел развода, чем «легальной сепарации» — раздельного проживания супругов. Однако Антонина снова сделала ход конем, проявив неожиданную инициативу. 30 апреля композитор сообщил «лучшему другу»: «Вчера Анатолий прислал мне адресованное ему письмо известной особы, в коем она сообщает, что требует развода и что пришлет к нему поверенного. При этом она говорит, что ей надоели бесчисленные оскорбления, наносимые ей! Впрочем, знаете ли что? Не будет ли Вам интересно, милый друг, чтобы получить верное понятие об этой

непостижимой личности, прочесть два письма ее? Одно писано в Петербурге месяц тому назад, другое — теперь к Анатолию. Письма эти во всяком случае курьезны. <...> Что она не понимает дела, это видно из того, что она говорит о какой-то снисходительности, как будто она вправе чего-либо от меня требовать!!! Мне стыдно признаться в моем малодушии, — но я должен сказать Вам, что всю эту ночь я не спал и сегодня чувствую себя совсем расклеенным только оттого, что видел почерк руки известной особы!»

Ход с посылкой к фон Мекк писем Антонины Ивановны был очень уместным, поскольку требовалось развеять невысказанные недоумения «лучшего друга». 5 мая Надежда Филаретовна откликнулась с энтузиазмом: «Благодарю Вас очень, дорогой мой друг, за присылку писем известной особы. Мне было очень интересно их прочесть, в своем роде они Образцовы, классичны, но вызывают такую критику, высказать которую я лучше воздержусь, а при этом прошу Вас, мой милый, бесценный друг, сделать все, чтобы освободиться от нее вполне. Не останавливайтесь перед неприятными сторонами развода; лучше пройти сквозь грязную, удушающую атмосферу и затем очутиться на чистом свежем воздухе, чем всю жизнь периодически глотать такие миазмы. А если Вы не получите развода, то никогда не будете знать покоя, и вечное бегство ведь невыносимо. Не останавливайтесь также перед денежной стороною, заплатите ей десять-пятнадцать тысяч, — ведь Вы знаете, что я с радостью их выдам, лишь бы Ваше спокойствие было обеспечено, а теперь и я постоянно за Вас боюсь. Пожалуйста, поведите это дело энергичнее».

Итак, на протяжении года тема официального развода возникла в третий раз. Петр Ильич написал ответ «гадине», но по совету Модеста не отослал его, наставив Анатолия говорить в подобном духе с ее поверенным, ежели таковой объявится. «А главное, прости, голубчик, что смущаю тебя этим подлым делом». В письме композитор еще раз разъяснил Антонине сущность дела: он соглашался «на прелюбодеяние одного из супругов или неспособность» и предоставлял ей самой выбрать тот или иной повод, то есть брал вину, а также издержки дела на себя. Он просил сообщить ему через поверенного о серьезности ее желания развестись.

Третьего мая по просьбе благодетельницы Чайковский опять выехал в Браилово, где провел десять дней, но ситуация с Антониной продолжала отравлять ему настроение. Он писал Анатолию 4 мая 1879 года: «Последние дни в Каменке я был немножко расстроен. Причина — письмо гадины. Только теперь, приехавши сюда и предаваясь отдохновительному бездействию, я понял, что в сущности следует скорей радоваться. Но

представь, что я до сих пор еще имею слабость злиться и бесноваться по поводу безумия гадины, тогда как отлично знаю, что она вполне невменяема и что мне следует только добиваться свободы, не обращая ни малейшего внимания на все ее пакости. Вот еще что я скажу тебе по этому поводу. Развод, несмотря на всю тягость процедуры, вещь столь желательная, что я даю тебе полномочие, в случае, если ты найдешь это нужным, даже отступить от моего решения не давать ей денег, то давай их, но только торгуйся. Нет сомнения, что Надежда Филаретовна даст мне сколько нужно, но я хотел бы не злоупотреблять ее бесконечной щедростью. <...> Если он [поверенный] произнесет имя m-me Мекк, то засмейся и скажи, что m-me Мекк мне делала иногда заказы и хорошо платила, но из сего не следует, что она может давать мне займы по несколько тысяч, а что деньги дает мне тот же Лев Васильевич».

Вернувшись из Браилова 13 мая, Чайковский снова окунулся в каменскую жизнь. При тесной дружбе между композитором и его сестрой Александрой не удивительно, что именно ее дети заняли в его сердце главнейшее место. Природа одарила потомство Давыдовых и незаурядной внешней красотой. По крайней мере, таково было мнение «лучшего друга». В ее письме от 7 сентября 1882 года читаем: «Не знаю, как и благодарить Вас за восхитительные фотографии, которые Вы мне прислали; это такая прелесть, что глаз отвести не хочется. Татьяна Львовна — красавица, как и всегда, Анна прелестна, как ангел Божий, залетевший на землю; ее милое, невинное выражение лица очаровательно. Юрий — это картина, что за красота! Митя и Боб — самые прелестные гимназистики, которых природа когда-либо создавала. Это замечательно, какое это семейство красавцев; природа как будто специально занялась ими, чтобы показать миру, какие чудеса она может создавать — восхитительно!» Из трех племянников лишь младший — Юрий Львович Давыдов — оставил воспоминания о прославленном дяде. Еще в Париже Петр Ильич писал зятю 22 февраля/6 марта: «Как мне хочется поскорей увидеть горделиво-изящную Татьяну, благоуханную фиалку Веру, аппетитный свежий огурчик из грядки — Тасю, воинственного и рыцарского Митю, поэтического Бобика и, наконец, несравненного Уку, а также прекрасных родителей сего юного поколения».

Племянницы быстро выросли. Тане, самой старшей из давыдовских детей, было уже восемнадцать. Еще до ее рождения Александра и Лев мечтали о сказочном будущем для своего первенца, и Таня навсегда стала любимицей семьи. Выросшая в атмосфере всеобщего обожания, она и сама уверовала в то, что ее ждет удивительная судьба. Юрий Львович вспоминал позднее, что сестра его выделялась среди окружающих с самого детства:

«Трех с половиною лет она уже читала и старалась писать свой дневник на французском языке. Учение ей давалось легко. Она много читала, особенно по истории, отличалась способностью к искусству — любила музыку, с детства играла на рояле, в Женеве училась в консерватории, неплохо лепила, очень любила рукодельничать. <...> В дополнение ко всему, в четырнадцать-пятнадцать лет Татьяна Львовна выглядела совершенной красавицей». В начале 1879 года Александра Ильинична начала вывозить ее с сестрой Верой в петербургский свет. Красавица Татьяна сразу же привлекла к себе внимание столицы. В том же году ее отправили в Ялту к тетке Вере Бутаковой, где Таня сразу же оказалась в окружении поклонников.

Нет сомнения в том, что Петр Ильич был очень привязан к детям. «Вообще цветы, музыка и дети, — писал он фон Мекк 29 апреля 1879 года, — составляют лучшее украшение жизни. Не странно ли, что такому любителю детей, как я, судьба не судила иметь своих собственных?» Эта страсть не имела ничего общего с гомоэротикой. Вероятнее всего, корнями она уходила в свойственную всему семейству Чайковских сентиментальность— состояние, переживавшееся композитором едва ли не с колыбели и, как мы видели, составлявшее основу характера его отца. Повышенная эмоциональность по мере взросления мальчиков-племянников могла постепенно приобретать и легкие эротические черты. Случилось это, однако, лишь в отношении одного из них — Владимира Давыдова. Впрочем, не он, а его брат Юрий вызывал в младенчестве наиболее бурные восторги дяди. Вот характерный пассаж: «Ах, Толичка! Если бы ты знал, что такое Юрий! Он решительно не поддается никакому описанию. Это такая оригинальная прелесть, такой невероятный юмор! <...> Вместе с тем он красоты необычной!» Таковы же описания этого ребенка, предназначенные для Надежды Филаретовны: «Я, кажется, ни разу не писал Вам, друг мой, о младшем моем племяннике Юрии, том самом, который так понравился Вам по прошлогодней карточке. Ах, что это за невыразимо чудный ребенок! В прошлом году он еще едва начинал говорить и потому далеко не был так обаятельно прелестен, как теперь\* когда он целый день без умолку болтает. Нрав его замечательный. Он необыкновенно кроткий и покорный мальчик, всегда весел, ласков и мил. Воображение у него необычайно живое, и он постоянно рассказывает о невероятных каких-то своих приключениях и удалских подвигах, совершенно искренно веря, что все, что он рассказывает, действительно было. Когда по поводу его курьезных речей смеются, он сохраняет самый серьезный вид. Вообще он совершенно невозмутим, исполнен чувством

собственного достоинства, повелителен и важен. Впрочем, нет возможности передать словами и описаниями его прелесть, но мы бесконечно им наслаждаемся».

С годами, по мере взросления мальчика, этот экстаз прошел, но композитор был по-настоящему привязан к нему до конца своих дней. Юрий отвечал ему тем же. Ничего подобного дядя не испытывал к старшему племяннику Дмитрию Юрий Давыдов вспоминал: «Петр Ильич любил своего перво го племянника меньше, чем его младших братьев и сестер Дмитрий Львович... по-настоящему музыкой не интересовался, предпочитая ей поэзию. Прослушать целиком программу симфонического концерта или всю оперу у него не хватало терпения. Вдобавок ко всему, в свои детские годы Петра Иль ича несколько раздражал шумный и подвижный нрав племянника. Он не одобрял его весьма легкомысленного отношения к учению, а потом и вообще к жизни». Дмитрий нередко давал дяде повод для раздражения. Так, Петр Ильич записал в дневнике 26 мая 1886 года: «Падение Боба с лошади из-за комедиантства этой дряни Митьки. Хорошо, что благополучно. После обеда Митя убивал ради удовольствия собак. Я возненавидел сразу мерзкого мальчишку и так был возмущен и расстроен, что с трудом принимал участие в игре в буриме».

Средний сын Давыдовых — Владимир, или Боб, — со временем стал средоточием эмоциональной жизни Чайковского. По мнению Юрия, к роли «любимого племянника» он был определен едва ли не с момента появления на свет. Александра Ильинична сразу отметила схожесть своего второго сына с братом: «Действительно Воля похож на тебя и меня это очень радует». Не эти ли слова матери предопределили любовь Петра Ильича к Владимиру Давыдову? Близкие отмечали, что Чайковский с первой встречи выказал особую любовь и внимание к этому ребенку, превознося его достоинства, хотя сомнительно, чтобы они отличались от качеств всякого другого ребенка в этом возрасте. В детстве он не мог выговорить слово «бэби, как называли его родные. Вместо этого у него выходило “боб”. Так за ним и осталось на всю жизнь прозвище Боб». Несколько другой акцент — с едва ощутимым эротическим подтекстом — делает Модест в своем введении к описанию периода с середины 1880-х годов, когда Боб Давыдов оказался в центре забот и пристрастий стареющего композитора: «Прежде чем приступить к последовательному изложению событий последнего периода жизни Петра Ильича, остается только отметить здесь возрастание одной из самых больших привязанностей его. В семье Александры Ильиничны Давыдовой было трое сыновей. Второй из них по старшинству, Владимир, с первых годов своего появления на свет... был всегда

любимцем Петра Ильича, но до восьмидесятых годов предпочтение это имело характер несерьезный. Петр Ильич баловал его больше других членов семьи и затем ничего. Но с той поры, как из ребенка стал формироваться юноша, симпатия дяди к нему стала возрастать, и мало-помалу он полюбил мальчика так, как любил близнецов-братьев в детстве. Несмотря на разницу лет, № не уставал в обществе своего любимца, с тоской переносил разлуку с ним, поверял ему задушевнейшие помыслы и, в конце концов, сделал его своим главным наследником, поручая заботу о всех, судьба которых после смерти его беспокоила».

Это описание ближе к истине: композитор восхищался Бобом в младенчестве с присущей ему эмоциональностью, вроде того как восторгался ребенком Юрием. Но и на протяжении 1870-х годов он выделял его среди прочих племянников: «Бобик... радует взор и сердце. Он теперь ужасно пристрастился к рисованию, и Модест каждое утро дает ему урок. Способности у него несомненные»; «Бобику лишний поцелуй»; «как я был счастлив, получив письмо от Бобика. Начертанные им строки были покрыты поцелуями». В это время композитор делает Бобу первое музыкальное посвящение: «Скажи Бобику, что напечатаны ноты с картинками, что ноты эти сочинил дядя Петя и что на них написано: Посвящается Володе Давыдову (речь идет о «Детском альбоме». — А. П.). Он, глупенький, и не поймет, что значит посвящается! А я напишу Юргенсону, чтобы послал в Каменку экземпляр. Меня только немного смущает, что Митюк [Дмитрий Давыдов], пожалуй, обидится немножко. Но согласись сам, можно ли ему посвящать музыкальные сочинения, когда он прямо говорит, что музыку не любит? А Бобику хоть ради его неподражаемо прелестной фигурки, когда он играет, смотрит в ноты и считает, можно целые симфонии посвящать». Эти слова оказались пророческими: последняя симфония Чайковского была посвящена Бобу. Восхищаясь ребенком Юрием, Чайковский нередко — и в выгодном свете — сопоставлял с ним Боба: «Но он не мешает нисколько Бобику производить обычное обаятельное впечатление. Бобик — маленький поэт. Он целый день рвет цветы, восхищается цветами, солнцем, птичками». И еще раз, 12 июня 1879 года: «Ты придешь в восторг от Юрия. Он так оригинален, что нет возможности письменно изобразить его прелести. Но моим фаворитом все-таки есть и всегда остается чудный, несравненный Бобик». И 7 октября: «Юрий очарователен, но Бобик все-таки был, есть и всегда будет моим любимцем».

Та же тема в письме к фон Мекк: «Володя (тот, которому я посвятил детские пьесы) делает успехи в музыке и обнаруживает замечательные



способности к рисованию. Вообще это маленький поэт. Он не любит обычных мальчишеских игр. Все свободное время он посвящает или рисованию, или музыке, или цветам, к которым он питает страсть. Это мой любимец. Как ни восхитителен его младший брат, но Володя все-таки занимает самый тепленький уголок моего сердца».

Чувства композитора к Бобу усиливались с годами. «Ах, что за восхитительное произведение природы; все больше и больше я влюбляюсь в него», — писал он 30 мая 1880 года Анатолию.

Людям свойственно создавать личную мифологию и личную символику. Часто случается, что о тех или иных тайных своих эмоциях или переживаниях они сообщают окружающим (а то и самим себе) языком кодированным, исходящим из конкретного символа, который может быть прочитан на двух уровнях — субъективно интимном и объективно профанированном. Психологические переплетения здесь сложны и не всегда осознаны самим индивидом: символ, как миф, становится посредником между потребностью высказываться и невозможностью, а то и нежеланием сделать это открытым текстом.

Есть основания думать, что в кругу Чайковского — Апухтина таким гомоэротически заряженным символом был цветок ландыша. Страсть композитора к этому растению переходила границы эстетики. Он спрашивал фон Мекк 15 января 1878 года: «Любите ли Вы цветы? Я к ним питаю самую страстную любовь, особенно к лесным и полевым. Царем цветов я признаю ландыш; к ним у меня какое-то бешеное обожание», а в одно из своих пребываний в Браилове писал Модесту: «Знаешь, еще что меня бесит? Здесь буквально нет ландышей. Я не вполне доверял утверждениям дворецкого, что во всем уезде нет ни одного ландыша, но вчера в лесу, несмотря на самые тщательные поиски, не нашел ни одного листочка».

Всмотримся в последние строфы стихотворения Апухтина 1855 года «Май в Петербурге»:

Зеленеет пышно нива,  
И под липою стыдливо  
Зреет ландыш молодой.

Лексика несколько «подозрительна»: допустимо ли с чисто поэтической точки зрения говорить, что он «молодой» и что он «зреет»? И почему «стыдливо»? Дополнительный свет на этот вопрос проливает еще

одно письмо композитора Модесту из Браилова, где он отдыхал весной 1879 года: «При доме старый тенистый сад, имеющий, между прочим, ту замечательность, что во всей здешней местности это единственный уголок, где растут ландыши. В настоящую минуту передо мной великолепный букет из нас, взятый оттуда». То есть как это «из нас»? Брат, как писал Чайковский фон Мекк, предпочитал ландышам фиалки. «Модест, тоже любитель цветов, часто спорит со мной. Он стоит за фиалки, я за ландыши; мы пикируемся. Я ему говорю, что фиалки пахнут помадой из табачной лавки.

Он отвечает мне, что ландыши похожи на ночные чепчики и т. д. Как бы то ни было, не признавая фиалку достойной соперницей ландыша, я все-таки люблю и фиалку». Между тем по поводу путешествия с Колей по Италии Модест писал Петру Ильичу 22 апреля 1880 года: «Проводником я себе взял мальчика лет 13. Это был не мальчик, а оживший бутон розы, ландыш, цветник».

Как видим, в соответствии с поэтической традицией, ландыш упоминается как символ быстро проходящей юношеской красоты. Единственное серьезное стихотворение самого Петра Ильича «Ландыши» должно восприниматься, прежде всего, в этом ключе:

Когда в конце весны в последний раз срываю  
Любимые цветы, — тоска мне давит грудь,  
И к будущему я молитвенно взываю:  
Хоть раз еще хочу на ландыши взглянуть.  
Вот отцвели они. Стрелой промчалось лето,  
Короче стали дни, умолк пернатый хор,  
Скупее солнце нам дает тепла и света,  
И разостлал уж лес свой лиственный ковер.  
Потом, когда придет пора зимы суровой  
И снежной пеленой оденутся леса,  
Уныло я брожу и жду с тоскою новой,  
Чтоб солнышком весны блеснули небеса.  
Не радуют меня ни книга, ни беседа,  
Ни быстрый бег саней, ни бала шумный блеск,  
Ни Патти, ни театр, ни тонкости обеда,  
Ни тлеющих полен в камине тихий треск.  
Я жду весны. И вот волшебница явилась,  
Свой саван сбросил лес и нам готовит тень,  
И реки потекли, и роща огласилась,

И наконец настал давно желанный день!  
Скорее в лес!.. Бегу знакомою тропою.  
Ужель сбылись мечты, осуществились сны?..  
Вот он! Склонясь к земле, я трепетной рукою  
Срываю чудный дар волшебницы-весны.  
О ландыш! Отчего так радуешь ты взоры?  
Другие есть цветы роскошней и пышней,  
И ярче краски в них, и веселей узоры,  
Но прелести в них нет таинственной твоей.  
В чем тайна чар твоих? Что ты душе вещаешь?  
Чем манишь ты к себе и сердце веселишь?  
Иль радостей былых ты призрак воскрешаешь?  
Или блаженство нам грядущее сулишь?  
Не знаю. Но меня твое благоуханье,  
Как винная струя, и греет, и пьянит.  
Как музыка, оно стесняет мне дыханье  
И, как огонь любви, питает жар ланит.  
И счастлив я, пока цветешь ты, ландыш скромный,  
От скуки зимних дней давно прошел и след,  
И нет гнетущих дум, и сердце в неге томной  
Приветствует с тобой забвенье зол и бед.  
Но ты отцвел. Опять чредой однообразной  
Дни тихо потекут, и прежнего сильней  
Томиться буду я тоскою неотвязной,  
Мучительной мечтой о счастье майских дней.

И вот, когда-нибудь весна опять разбудит  
И от оков воздвигнет мир живой,  
Но час пробьет. Меня — среди живых не будет,  
Я встречу, как и все, черед свой роковой.  
Что будет там?.. Куда, в час смерти окрыленный,  
Мой дух, веленью вняв, беззвучно воспарит?  
Ответа нет! Молчи, мой ум неутомонный,  
Тебе не разгадать, чем вечность нас дарит.  
Но, как природа вся, мы, жаждой жить влекомы,  
Зовем тебя и ждем, красавица весна!  
Нам радости земли так близки, так знакомы, —  
Зияющая пасть могилы так темна!

Если принять нашу гипотезу о значении для Чайковского ландыша как символа, то в этом довольно профессиональном по стандартам той эпохи стихотворении нетрудно усмотреть аллегорическое описание любовного чувства, слишком патетическое, если полагать, что его предметом служит всего лишь цветок, даже любимый. Здесь прослеживается динамика эроса, завуалированная под довольно тривиальное и абстрактное философствование, типичное для русской поэзии тех лет — от возникновения до угасания в томлении, муке, надеждах, ожиданиях. Причем в этот эмоциональный спектр интимно вплетены переживания быстротечности юности, юной красоты, чувства, любви и жизни вообще.

Построенное в виде монолога, стихотворение отчетливо делится на четыре интонационно-смысловых периоды: ожидание (прощание с весной, зима, ожидание весны), катарсис (приход весны, разговор с ландышем, радость общения), спад (уход весны, ожидание прихода новой весны) и светлая печаль (тщета суеты мирской и радость бытия и медитации). Обратим внимание на лексику и фразеологию, которые при всей своей риторичности и подчинении тогдашним поэтическим стандартам все-таки несут на себе отпечаток специфического эмоционального напряжения и личного опыта (не забудем, что речь идет пусть и о персонифицированных, но все же простых цветах): «тоска мне давит грудь», «молитвенно взываю», «уныло», «с тоскою новой», «не радуют меня ни книга, ни беседа», «наконец настал давно желанный день!», «ужель сбылись мечты, осуществились сны?», «трепетной рукою», «прелести... таинственной твоей», «тайна чар твоих», «душе вещаешь», «манишь ты к себе», «сердце веселишь», «радостей былых ты призрак воскрешаешь», «блаженство нам грядущее сулишь», «меня твоё благоуханье, как винная струя, и греет, и пьянит», «как музыка, оно стесняет мне дыханье», «как огонь любви, питает жар Ланит», «сердце в неге томной», «томиться буду я тоскою неотвязной», «мучительной мечтой» и т. д.

Весь этот эротический словарь здесь нельзя объяснить одной только характерной для композитора экзальтацией. Недаром Чайковский писал Модесту 15 декабря 1878 года из Флоренции, где были сочинены «Ландыши»: «Я ужасно горжусь этим стихотворением. В первый раз в жизни мне удалось написать в самом деле недурные стихи, к тому же глубоко прочувствованные. Уверяю тебя, что хотя они мне достались с большим трудом, но я работал над ними с таким же удовольствием, как над музыкой». Однако композитор решительно не желал публикации стихотворения, хотя и просил показать его, в числе прочих, Апухтину. «Как я ни горжусь “Ландышами”, а все-таки не нахожу их годными для печати и

потому отказываюсь от твоего предложения напечатать их. <...> Мое стихотворение превосходно по отношению ко мне, т. е. к человеку не специалисту. Но что оно в сравнение, например, с стихами Апухтина? Нет. Распространяй мою стихотворческую славу, труби и греми, но тиснению не предавай», — писал он Модесту 30 декабря 1878 года из Кларана. После окончательной правки 31 декабря 1878/12 января 1879 года он послал стихотворение фон Мекк с предувещанием: «Восторг мой перед ландышами воспет несколько преувеличенно и не вполне правдиво. Например, совершенно несправедливо, что: “меня не радуют книги, театр, беседа” и т. д. Все это имеет свою цену. Но мало ли чего не наклеплешь на себя ради стиха! Ради бога, простите, что навязываю Вам чтение моих пиитических опытов, но мне так хочется показать Вам произведение, стоившее мне такого труда и внушающее мне так много гордости!»

Надежда Филаретовна восторженно отвечала: «Благодарю Вас очень, очень, мой дорогой друг, за Ваши стихи: они прелестны, и сюжет их очень оригинален. Какие у Вас, однако, разносторонние таланты; если бы я не боялась за музыку, то я сказала бы, что Вам непременно следует заняться поэзией, но первое я еще больше люблю, чем второе. Если Модест Ильич не преклонится теперь перед ландышем, то, во всяком случае, Ваше стихотворение подстрекнет его так же воспеть стихами свою фиалку».

Чайковский вовсе не случайно послал это стихотворение фон Мекк. «Ландыши» были результатом их проживания во Флоренции, когда Чайковский, согласившись на совместное сосуществование в одном городе со своей богатой покровительницей, оказался — до известной степени — во власти чуждых себе обстоятельств. Он не мог не ощущать давления, которое, несмотря на его уверения в обратном, фон Мекк оказывала на него не только своим присутствием, но и эмоциональным накалом своих писем. Он чувствовал, что от этой женщины исходят токи глубокой, затаенной, пугающей его страсти. Оказавшись в столь затруднительной ситуации и боясь открыться ей напрямик, он подсознательно искал возможности объясниться и тем самым раз и навсегда расставить правильные акценты. Такой не прямой попыткой и стало стихотворение «Ландыши». Однако она пришла к выводу противоположному его намерениям, интерпретировав стихотворение если не как признание в любви, то близко к тому, в силу убеждения, что обычно стихи пишут и посылают дамам люди влюбленные. И она сделала еще несколько решительных шагов.

В начале мая Надежда Филаретовна писала Петру Ильичу: «Вот что бы мне хотелось, но это совсем в другом роде, — это устроить в Брайлове жизнь а *pous deux* (для нас двоих. — *фр.*), вроде жизни на нашей милой

Viale dei Colli — и это очень легко, зависит только от Вашего согласия. Есть у меня при Браилове фольварк Симаки. <...> Этот фольварк очень миленький, лежит в тенистом саду, в конце которого идет река, в саду поют соловьи. <...> Отстоит от Браилова этот фольварк в четырех верстах... Я уверена, что Вам понравится. Это такое уединенное поэтичное место, что если бы Вы согласились приехать туда на целый месяц или еще больше, во время моего пребывания в Браилове, то я была бы несказанно счастлива. Для меня отчасти повторилось бы самое восхитительное время моей жизни на Viale dei Colli. Хотя, конечно, в Браилове я не могла бы каждый день ходить гулять около Вашей квартиры, но я также каждый день чувствовала бы, что Вы близко, и от этой мысли мне также было бы хорошо, весело, покойно, смело; мне также казалось бы, что, когда Вы близко от меня, ничто дурное ко мне не подступится. Подумайте, мой милый, хороший, дорогой... да и проживемте все лето вместе. Боже мой, как бы это было хорошо! Я бы Вам послала лодочку легкую, прелестную, Алеша Вас возил бы кататься на ней. Лес там есть в десяти шагах очень миленький, красивые места около реки, в лунные ночи восхитительно! Милый, дорогой, приезжайте. Для здоровья там очень полезный воздух, для занятий — вдохновляющая природа, а ведь Вы свободны жить, где захотите, а там ни один человек Вас не беспокоил бы. Если бы Вы согласились переехать, то к 15 июня я все приготовлю, и если я не поеду за границу, что очень вероятно, то мы прожили бы вместе до 15 сентября. Если бы Вы согласились, мой добрый, хороший друг!.. Обрадуйте меня хорошим ответом на мое желание».

Реакция Петра Ильича на ее приглашение была в высшей степени противоречивой: «Ваше предложение пожить в Симаках невыразимо взволновало меня, мой добрый друг! С одной стороны, подобная жизнь составляет идеал того, что я могу желать, и у меня нет сил отказаться от этого. С другой же стороны, передо мной встает целый ряд препятствий, смущающих меня». Далее следует перечисление препятствий из четырех пунктов: родные в Каменке, которые могут обидеться, Анатолий, желающий провести с ним отпуск, возможность развода и приглашение Кондратьева погостить у него в Низах. «Вот, милый друг, обстоятельства, которые заставляют меня грустно поникать головой и не решаться на предложение Ваше ответить сейчас же, как того требует мое сердце: “Да! с восторгом! с блаженством!” Быть может, если б я знал раньше, что подобная комбинация возможна, я бы сумел устранить все эти препятствия. <...> Но вместе с тем то, что Вы мне предлагаете, есть такое полное осуществление моих самых заветных желаний, что я решительно не в

состоянии окончательно отказаться от надежды хоть один месяц провести в гостях у Вас. Поэтому, милый, добрый друг, позвольте мне, ради бога, отложить мой ответ на чудное предложение Ваше до возвращения в Каменку... я, может быть, в пределах между 15 июня и 15 сентября найду хоть один месяц, который можно будет отдать для осуществления страстного желания моего пожить вблизи Вас, в уютном домике, среди тенистого сада, вблизи леса, на берегу чудесной речки! Боже мой! да ведь это полнейшее осуществление самых идеальных моих мечтаний!»

Истинное же его восприятие идеи «лучшего друга» обнаруживается в письме Модесту от 9 мая 1879 года: «Историческая достоверность требует, чтобы я прибавил, что только через несколько часов по получении письма я нашел в предложении Н. Ф. соблазнительные стороны. В первую же минуту я рассердился. Мне не понравилось, что она вовсе не принимает в расчет, что я люблю своих родных и что мне приятно с ними жить. Во-вторых, мне показалось, что хотя нас будут разделять четыре версты, но все-таки будут говорить черт знает что, и ее же дети (старшие) начнут коситься на наши отношения и распространять про меня всякий вздор, подобно тому, как это было с Котеком. Вообще я увидел почему-то в этом предложении маленькое насилие и стеснение моей свободы. Но само собой разумеется, что она-то предлагает это исключительно, дабы доставить мне случай пожить в прелестной местности и одиноко. Как ты смотришь на это? Модя, что я в этот раз уже совсем не испытываю того удовольствия, которое Брайлов доставил мне в прошлом году».

Четырнадцатого мая композитор возвратился из Брайлова в Каменку, после чего последовали не лишние эмоциональной мучительности эпистолярные переговоры. Чайковскому от фон Мекк 15 мая: «Мне очень, очень печально, что я не могу сейчас же устроить для Вас резиденцию в Симаках. Ехавши из Москвы, я так мечтала об этом, так восхищалась при мысли, что это, может быть, состоится, и потому благодарю Вас еще от всей души, бесценный мой, за то, что Вы не отнимаете у меня надежды на осуществление такой роскошной мечты. Но, конечно, я прошу об этом только в том случае, если это никому и ни малейшего горя не доставит, тогда я буду счастлива». Ответ Чайковского 17 мая: «Относительно Симаков скажу Вам следующее. Конечно, Вы не сомневайтесь, друг мой, что, помимо крайней соблазнительности предлагаемого Вами, я ни за что на свете не хотел бы идти наперекор какому бы то ни было желанию Вашему. Я отлично знаю, что, приглашая меня в Симаки, Вы руководитесь желанием доставить мне возможность пожить и поработать при самой симпатичной для меня обстановке. Нужно ли говорить, как я ценю Ваши

бесконечные заботы обо мне! Но не правда ли, что Вы не рассердитесь на меня, если я и теперь все-таки не решусь попросить Вас приказать приготовить мне помещение? <...> Откровенно Вам скажу, милый друг, что меня тревожит то обстоятельство, что я не вполне сообразуюсь с выраженным Вами желанием, не отвечая решительно на предложение Ваше. Знаю, что Вы не будете сердиться на меня, и все-таки мне нужно, чтобы Вы были добры и сказали бы мне это, иначе я буду смущаться и беспокоиться. <...> Совсем отказаться от мысли пожить у Вас я теперь не в силах, а выбрать удобное время не могу до тех пор, пока не разъяснятся смущающие меня обстоятельства, и вот, чтобы примирить все это, мне хочется, чтобы Вы только сказали мне, что я свободен относительно выбора времени и что во всяком случае Вы не будете сетовать на меня!» Фон Мекк Чайковскому 23 мая: «Спешу написать Вам, чтобы относительно меня Вы были совершенно спокойны и не смущались ничем: домик в Симаках ни для кого и ни для чего другого не предназначается, и Вы совершенно свободны в выборе времени для обитания в нем. Одно только обстоятельство относительно времени меня немножко смущает, это то, что если я поеду за границу, то это будет 1 августа, и потому, если Вы согласитесь погостить у меня в Симаках, то я бы, конечно, желала, чтобы это было за достаточно длинный срок до моего отъезда, т. е. чтобы это исполнилось между 1 июня и 1 августа, хотя повторяю при этом, что вопрос о заграничной поездке далеко не решенный, и я предпочитаю, чтобы она не состоялась. Поэтому опять-таки ничем форсировать для этого не надо».

В следующем письме ее от 3 июня прелесть Симаков описана с большими подробностями, но Петр Ильич 6 июня ответил и на это: «Не скрою от Вас, что Симаки были причиной совершенно бессонной ночи, проведенной мною сегодня. Дело в том, что я не состоянии изобразить Вам, до чего мне тяжело было бы отказаться от наслаждения пожить там, а между тем я решительно не могу найти в предстоящих месяцах такой период времени, который я мог бы провести у Вас в гостях, не смущаемый никакими помехами. <...> В результате я прихожу к тому, что могу быть в Симаках или 1) от 15 июня до 1 июля, или 2) в августе или сентябре. <...> Во втором случае я мог бы остаться дольше, и мне это было бы более по душе, тем более что начало осени после весны самое приятное для меня время года. Будьте так добры, дорогой друг мой, помогите моей нерешительности и произнесите резолюцию. Если же оказалось бы, что и то и другое почему-либо неудобно, то, нечего делать, пришлось бы отложить столь горячо желанное угощение у Вас до будущего года».



Стратегема этого письма проясняется в откровениях Модесту 9 июня 1879 года: «Письмо от Н. Ф. на восьми листах, в коем она по-прежнему все толкует о том, что[бы] я приехал жить на ее фольварк. Ну как не злиться на столь прекрасную, умную женщину, когда она упорно отказывается понять, что мне не хочется жить почти рядом с ней таинственным незнакомцем? У нее, как нарочно, несколько консерватористов, которые очень бы стесняли меня, и в полном сборе все семейство. Как ей не понять, что все это неловко, стеснительно? Я написал ей в ответ, длинное письмо, в коем прихожу к заключению, что могу приехать только осенью, а так как осенью она уезжает за границу, то, надеюсь, она, наконец, поймет».

Надежды его не оправдались. «Лучший друг» предпочла за границе пребывание в соседстве со своим идолом. Читаем в ее письме от 10 июня: «Я вижу и признаю вполне, дорогой друг мой, что ни в июне, ни в июле Вам приехать ко мне невозможно, поэтому прошу Вас, мой милый, хороший, подарить август месяц, но, пожалуйста, никак не меньше месяца. Одним словом, я желала бы, чтобы Вы приехали не позже 1 августа и уехали не раньше, как я уеду из Браилова, что, вероятно, произойдет около 10 сентября. Хорошо? Так можно? Я за границу, по всей вероятности, не поеду, а если что-либо неожиданное заставит меня, тогда я Вам сообщу, милый друг мой, и Вы вместо Симаков поживете в Браилове до сентября, потому что в сентябре предполагает приехать сюда мой Володя охотиться. Итак, мой дорогой, несравненный друг, если Вы хотите меня утешить, обрадовать до глубины сердца, то приедете 1 августа в Симаки и погостите у меня до моего отъезда из Браилова». Чайковскому ничего не оставалось, как согласиться.

Даже отдыхая, он находил в себе «упорные помыслы о разводе, о гадине и т. д.», и снова начинал «желать развода во что бы то ни стало», и не прочь был даже заплатить десять тысяч, «лишь бы отделаться от гадины навеки». 2 июня он сообщал Надежде Филаретовне: «Я получил от брата Анатолия сведения относительно дела о разводе. Поверенный известной особы, тот самый, который посещал его зимой, был у него. Брат говорил ему, что нельзя вести дело с женщиной, которая упорно отказывается понимать, об чем с ней говорят (она написала недавно Анатолию письмо, которое, по совершенно полному отсутствию человеческого смысла, превосходит все прежние ее писания), и сегодня не хочет того, что хотела вчера. Поверенный этот, почему-то скрывающий свое имя и адрес, обещал, что известная особа подчинится всем формальностям и будет говорить и делать по его наущению все, что потребуется. Брат находит этого господина почти столь же тупым и непонимающим, как его доверительница. Они

пришли к тому результату, что дело начнется осенью. А покамест он передал просьбу известной особы об увеличении ее пенсии до разрешения дела. Я намерен отказать, ибо не следует потакать ее вымоганиям. Я, разумеется, сделаю со своей стороны все возможное, дабы добиться желанной цели, но почти уверен, что из всего этого опять ничего не выйдет». Накануне он отвечал Анатолию именно в этом роде: «Насчет гадины я не согласен с тобой, что мне следует исполнить ее просьбу относительно прибавления пенсии. Мне не хочется баловать ее; нужно быть кремнем, дабы она не вообразила, что внушает мне страх. Поверь, что в сущности во всех ее действиях кроется не определенное, но несомненное стремление к шантажу». При таком положении вещей позиция его представляется разумной — ее последовательность должна была дать понять Антонине, что вымогательства и потуги на шантаж не будут иметь ни смысла, ни результата.

В начале июля композитор делится с фон Мекк своими планами на осень и зиму, имея в виду и развод, и опасение, что бракоразводные дела снова закончатся провалом: «Вы спрашиваете, хочется ли мне зимой побывать за границей? Очень хочется, и я об этом часто мечтаю. Но увы! Могу ли я теперь загадывать о том, что буду делать зимой, когда осенью мне предстоит дело с известной особой? Я почти убежден, что путного из этого ничего не выйдет, но все же осенью мне нужно будет... отправиться в Москву и начать дело. Если я увижу, что на этот раз можно будет ожидать решительного исхода, то, вероятно, придется долго прожить в Москве. Если же окажется, что начинается новое толчение воды, то тотчас же уеду за границу или в Каменку. Во всяком случае, я покамест не свободен и не могу располагать будущим. Вообще я стараюсь теперь не думать о деле с известной особой, так как оно во всяком случае для меня очень тягостно. Если оно ничем не кончится, то жаль будет, что мое окончательное освобождение опять отдалилось или стало совсем невозможным. Если же оно будет серьезно, то все-таки я буду страдать нравственно по многим причинам, из коих главная та, что нужно будет злоупотреблять Вашей бесконечной добротой и щедростью».

В середине июня неожиданно пришло письмо от кларанской служанки Мари. Она сообщала, что беременна и отец ребенка — его слуга Алеша. Она ни в чем Алешу не обвиняла, писала, что любит его и что соблазнила его сама. Девушка ничего не просила, но намекала, что Алексей мог бы ей помочь. Реакция композитора на это событие была довольно неожиданной: «Странное чувство ощутил я по поводу этого известия. Ни на Алешу, ни на Marie я нисколько не в претензии, хотя предчувствую, что ребенок этот

будет меня впоследствии заботить. Я ощутил прежде всего жалость к бедной Marie, а во-вторых, порыв сильнейшей нежности к эмбриону, находящемуся в ее чреве. По этому ощущению я мог измерить силу моей глубоко вкоренившейся любви и привязанности к Алеше. Его ребенок! Мне кажется, как будто он и мой! Не знаю, прочно ли это чувство и как нам поступить. Саша [А. И. Давыдова], с которой я советовался, говорит, что не следует себя связывать и нужно только помочь деньгами теперь. Но ведь она не подозревает, до чего сильно я люблю Алешу!»

Это поразительное признание отражает известный в психоанализе феномен «перенесения», когда любящий человек как бы присваивает дитя, порожденное предметом своей любви, даже если сам он не принимал в этом акте никакого участия (так, например, мужчина может полюбить ребенка своей возлюбленной от другого мужчины). Сам Алеша отнесся к событию более предсказуемо: «Что касается Алеши, то он сильно побледнел, когда я сообщил ему это известие, но притворялся, что это ничего, и в первую минуту попытался даже предположить, что это не его ребенок и что она могла после нашего отъезда войти в связь с другим. Потом он объявил, что если сын, то он готов его взять и отдать матери на воспитание. Наконец, сейчас он сказал, что тут нет ничего неприятного и что очень весело будет через двадцать лет познакомиться с французом, который вдруг окажется его сыном. Вообще он все-таки значительно поражен известием». Чайковский написал Мари длинное утешительное письмо, в котором не дал ей формального обещания взять на себя заботу о судьбе ребенка, но сообщил, что в любом случае придет к ней на помощь. Известие это не остановило Алешу — в Каменке он продолжал предаваться «сильному донжуанству».

Тогда же композитор получил сообщение от Кондратьева: тот настойчиво звал приехать его в Низы, чтобы навестить больного водянкой Николая Львовича Бочечкарова. Болезнь и смерть Бочечкарова он переживал мучительно, и в его письмах той поры мы находим подробный, часто преисполненный натуралистическими подробностями отчет. Уже в середине июня 1879 года он узнал, что Бочечкаров серьезно, возможно, смертельно болен, и написал из Каменки Модесту 15-го числа: «Николай Дмитриевич сообщает грустные известия о Николае Львовиче. Он до того ослаб, что едва двигается и почти не встает с своей постели. <...> Неужели бедный старичок умрет? Какое счастье иметь работу, как моя, занимающую все помыслы. Не будь этого, мне кажется, что я обливался бы слезами при мысли, что человек, который даже жизнь на цепи в собачьей конуре предпочитает смерти, должен все-таки умереть, и скоро. Впрочем, я все

еще надеюсь, что это последствие оспы и что еще он поправится».

В этой ситуации Петр Ильич сделал героическое усилие и, несмотря на свой панический ужас перед смертью, 20 июня отправился в имение Кондратьева и присутствовал при агонии Бочечкарова. В Низах он пробыл до 5 июля. Оттуда он детально запрашивает сестру, славившуюся своими познаниями в области медицины, о средствах лечения водянки, а в письме Модесту на следующий день по прибытии уже не мог скрыть кошмара, с которым столкнулся: «Но через полчаса нужно, наконец, было пойти к Николаю Львовичу, и с тех пор мое пребывание здесь отравлено горечью, сожалением и страхом за бедного больного. Нельзя без ужаса смотреть на него. <...> Представь себе крошечную, худенькую стариковскую головку, изборожденную оспой, с мутными слабыми глазами при столь же исхудалых других членах тела и огромном толстом животе. Голос слабый и сопровождаемый какой-то хрипотой. Очень я был потрясен этим зрелищем и до сих [пор] захожу в его комнату каждый раз с волнением, а сидя у него, беру на себя, чтобы не отвертываться от ужаса. У него водяная. До сих пор не могу узнать, может ли он выздороветь и есть ли надежда. <...> Сам Бочечкаров, впрочем, духом не падает и нисколько не сознает опасности своего положения. <...> Болезнь и крайняя слабость нисколько не изменили его обычных приемов в разговоре, его шуток, внезапных гневов и т. д. Но все это выходит теперь уже не смешно, а невероятно жалостно».

В переписке с фон Мекк картина эта изображена гораздо более сдержанно. Бочечкаров даже не назван по имени, словно Чайковский инстинктивно подозревал, что знакомство это и его собственные экстраординарные заботы могут быть сочтены его корреспонденткой как предосудительные.

В последнем письме Модесту из кондратьевского имения 5 июля 1879 года Чайковский, говоря о перенесенных им психологических муках, добавляет: «Только то хорошо, что виделся с Николаем Львовичем, быть может, в последний раз», — и оказался прав: Бочечкаров умер 11 августа 1879 года. В это время в Симаках Петр Ильич наслаждался гостеприимством «лучшего друга». Обстановка и в особенности природа смягчили удар. Он писал Анатолию 13 августа 1879 года: «Даже сегодня, несмотря на печальное известие о бедном Николае Львовиче, я чувствую себя грустным, но покойным. Я, конечно, всплакнул о бедном старичке, но одиночество, ненужность сдерживаться и скрывать свою печаль, а главное, природа, — чудная, всепримиряющая, имели на меня самое благотворное влияние. <...> Чтоб не рассказывать тебе грустные обстоятельства о конце Николая Львовича, прилагаю кондратьевское

письмо».

В начале августа Котек, после пребывания у отца в Подольской губернии, приехал на неделю в Каменку. Он участвовал в домашних спектаклях, играл на скрипке и, как всегда, донжуанствовал. «Саша подозревает, что они все (молодые барышни. — А. П.) влюблены в него. Вот уж чего я не ожидал! Что касается героя этих бурных страстей, то он, кажется, влюблен в Веру; Анна ему очень симпатична, а Таня ему совсем не нравится. Он называет ее ломачкой. Меня это наводит на грустные размышления по поводу Тани. Несмотря на ее красоту, она мало нравится».

Чайковский 8 августа отбыл в Симаки, где прожил до конца месяца. И вот первые излияния благодетельнице после приезда туда: «Я ощущаю потребность тотчас по приезде написать Вам несколько слов, чтобы сказать, что я счастлив, что я в восторге, что нельзя придумать ничего лучше той обстановки, в которой я нахожусь здесь!» А вот из письма Анатолию от 9 августа: «Спешу тебе сообщить о первых здешних впечатлениях. Они удивительно приятны. Домик старый-престарый, густой сад с вековыми дубами и липами, очень запущенный, и именно поэтому и восхитительный, река в конце сада, удаление от завода и местечка, абсолютная тишина, необыкновенно комфортабельное помещение, состоявшее из зала, огромного кабинета, столовой, спальни и Алешиной комнаты. Все это как нельзя более соответствует моим вкусам и наклонностям. Кругом усадьбы, поля, перелески, где можно бродить, никого не встречая, что я сейчас и сделал с невыразимым удовольствием. <...> Не правда ли, чудно? Но, увы! нет такой бочки меда, куда бы не затесалась ложка дегтю! Роль дегтя играет близость Н[адежды] Ф[иларетовны] с ее семейством и свитой. Хотя я совершенно убежден, что никто беспокоить меня не будет, но все-таки эта близость несколько смущает меня». И тогда же Модесту: «Я просто привык относиться к Н[адежде] Ф[иларетовне] как к какому-то отдаленному и невидимому доброму гению, и видимость его, т. е. сознание, что она живет в трех верстах и как простая смертная, меня беспокоит».

Ее же реакция была предсказуемо противоположной: «Какое счастье, вставая каждое утро, чувствовать, что Вы находитесь так близко от меня, мой милый, бесценный друг, представлять себе Вас в так знакомом и так дорогом мне жилище, думать, что, быть может, в эту минуту Вы любуетесь тем же видом с балкончика на деревню, которую и я так люблю, быть может, гуляете в той тенистой аллее, которою я всегда восхищаюсь; чувствовать, что Вы находитесь у меня *que je Vous possede* (что я владею Вами. — *фр.*), как говорят французы, — все это есть наслаждение, которым

я пользуюсь в настоящее время и за которое я Вам безгранично благодарна, мой несравненный, добрый друг».

В тот месяц, когда Петр Ильич гостил в Симаках, там произошли три примечательных события. Одно из них — первое и единственное за все время отношений Чайковского и фон Мекк — случайное столкновение лицом к лицу. Вот его описание Анатолию от 15 августа: «Вчера случился пренеловкий казус. Я поехал в лес около четырех часов в полной уверенности, что не встречу с Н[адеждой] Ф[иларетовной], которая в это время обедает. Случилось же, как нарочно, что я выехал несколько раньше, а она опоздала, и я встретился с ней нос с носом. Это было ужасно неловко. Хотя мы лицом к лицу были на одно мгновение, но я все-таки жестоко сконфузился, однако ж учтиво снял шляпу. Она же, как мне показалось, совсем растерялась и не знала, что делать. И мало того, что она ехала в коляске с Милочкой, но сзади еще ехало два экипажа со всем семейством. <...> Вообще внимания нет предела. Что это за чудный для меня человек! Страшно иногда подумать, до чего я обязан ей и как бесконечно должна быть моя благодарность».

Тринадцатого августа композитор написал фон Мекк: «Извините, ради бога, Надежда Филаретовна, что, нехорошо рассчитав время, я попал как раз навстречу Вам и вызвал по этому случаю, вероятно, новые расспросы Милочки, а для Вас новые затруднения разьяснять ей, почему таинственный обитатель Симаков не бывает в Вашем доме, хотя и пользуется Вашим гостеприимством. Оказалось, что я выехал не в четыре часа, а несколько ранее». Фон Мекк ответила ему 16 августа: «Вы извиняетесь, дорогой друг мой, за то, что мы встретились, а я в восторге от этой встречи. Не могу передать, до чего мне стало мило, хорошо на сердце, когда я поняла, что мы встретили Вас, когда я, так сказать, почувствовала действительность Вашего присутствия в Браилове. Я не хочу никаких личных сношений между нами, но молча, пассивно находиться близко Вас, быть с Вами под одною крышею, как в театре во Флоренции, встретить Вас на одной дороге как третьего дня, почувствовать Вас не как миф, а как живого человека, которого я так люблю и от которого получаю так много хорошего, это доставляет мне необыкновенное наслаждение; я считаю необыкновенным счастьем такие случаи». Нужно признать, что контраст в их реакции на эту встречу не может не произвести несколько комического впечатления.

Вторым эпизодом было посещение им по ее просьбе ее браиловского дома, когда никого из семейства фон Мекк там не было; Об этом Петр Ильич написал Анатолию 26 августа: «Вчера был в Браилове в доме Н. Ф.

по ее просьбе. Они все уехали обедать в лес, и вот на это-то время она пригласила меня. Было очень приятно. Вообще мне кажется, что, несмотря на некоторые обстоятельства, мешавшие мне вполне наслаждаться здешней жизнью, пребывание в Симаках оставит во мне очень поэтическое воспоминание». Последняя фраза характерна для темперамента композитора: часто (и не только в отношениях с ней) он с чрезвычайным нежеланием соглашался на что-нибудь такое, что, казалось бы, обещало удовольствие, но выискивал всевозможные неприятности, грозящие произойти. Когда же проект осуществлялся, он не переставал жаловаться на раздражавшие его вещи, но зато позднее, когда и удовольствие, и раздражение были позади, вспоминал о прошедшем с ностальгией. Один из основных симптомов неврастении — сопротивление переходу из одного состояния (в самом широком смысле) в другое. Не стоит видеть в капризных комментариях Чайковского в письмах братьям противоречивых чувств по отношению к «лучшему другу» и лишний раз обвинять его в лицемерном отношении к ней.

И, наконец, третьим эпизодом стало присутствие Петра Ильича на следующий день (и снова по просьбе Надежды Филаретовны) на праздничном семейном фейерверке в Браиловском парке. В письме к ней от 26 августа читаем описание этого зрелища, которым он действительно наслаждался: «Вечером был с чаем на Скале и оттуда отправился к Вам на иллюминацию. Я видел отлично и вензель и фейерверк. Мне было удивительно приятно находиться так близко от Вас и от Ваших, слышать голоса и, насколько позволяло зрение, видеть Вас, мой милый друг, и Ваших. Вы два раза прошли очень близко от меня, особенно второй раз, после фейерверка. Я находился все время близ беседки на пруде. Но удовольствие было все время смешано с некоторым страхом. Я боялся, чтоб сторожа не приняли меня за вора; трещотка приводила меня в ужас. Не малый страх я испытал также, когда близко от меня пробежала Ваша чудная большая собака. Я боялся, чтоб она тоже не приняла меня за вора. <...> Я так искусно сумел все увидеть, не быв никем замеченный, что даже мой Алексей, все время меня искавший, нашел меня, уже когда я садился, чтоб ехать».

Задумчивый тон письма, отличающийся от искусственности, заметной с его стороны во всей их симакской переписке, дает повод предположить, что к этому времени его комплексы, рожденные присутствием рядом благодетельницы, были более или менее преодолены. Не случайно именно в этом письме прозвучало: «Но мысль о том, что я могу пережить Вас, мне невыносима», — вслед за чем Петр Ильич трогательно поручил ей

позаботиться об Алеше, если ей случится его пережить. Письмо от 28 августа фон Мекк начала с темы фейерверка: «Бесконечно благодарю Вас, мой милый, несравненный друг, за все то наслаждение, которое Вы мне доставили Вашим невидимым присутствием на наших увеселениях. Именно ходивши вечером по саду, я думала, что, быть может, где-нибудь я прохожу совсем близко от Вас, и сердце мое билось так радостно от этой мысли, мне было так хорошо, что я не знаю, как и благодарить Вас за эти минуты счастья». За этим следует экстатическая реакция на его фразу о нежелании ее пережить: «Не могу не сообщить Вам, мой несравненный друг, того глубокого, невыразимого чувства благодарности, которое вызвало во мне одна Ваша фраза, а именно: “Но мысль о том, что я могу пережить Вас, мне невыносима”. Боже мой, как я Вам благодарна за такое выражение, как мила, как невыразимо дорога мне эта фраза. Когда б Вы знали, как я сама люблю Вас. Это не только любовь, это обожание, боготворение, поклонение. Как бы ни было мне тяжело, горько и больно что-нибудь, несколько Ваших добрых слов заставляют меня все забыть, все простить. Я чувствую тогда, что я не совсем одна на свете, что есть сердце, которое чувствует как я, есть человек, который понимает меня, сочувствует мне, так добро, так человечно относится ко мне, — о, боже мой, как я Вам благодарна, и как Вы мне дороги! Я десять раз в день перечитывала эту фразу и невольно прижимала письмо к сердцу от избытка благодарности».

В Симаках Чайковский жил тихо и совершенно уединенно в маленьком домике у реки, и в этом заключалось большое преимущество: он завершил оркестровку «Орлеанской девы» и уже заканчивал Первую сюиту для оркестра. Начатая прошлым летом (композитору хотелось тогда отвлечься от симфонической музыки), но прерванная ради работы над оперой, сюита неофициально была посвящена хозяйке дома, в котором он гостил, в благодарность за ее радушие.

Август 1879 года в Симаках был пиком, кульминацией «платонического» романа Чайковского и фон Мекк (скорее, конечно, с ее стороны, чем с его). В дальнейшем он предпочитал избегать подобных оказий под различными хитроумными предложениями (впрочем, не исключено, что время от времени он не мог идти навстречу этим ее желаниям по вполне практическим и не относящимся к ней причинам). Они уговаривались вместе съездить за границу, но этого так и не случилось. Той же осенью они планировали соединиться в Неаполе, куда она истово звала его; он соглашался или делал вид, что соглашается: «С тех пор, как я узнал, что Вы будете в Неаполе, я постоянно грезил и мечтал об том, чтобы попасть туда в одно время с Вами. Судите же, до какой степени я обрадован



тем, что Вы предупреждаете меня и зовете меня приехать в Неаполь, когда я только что собирался высказать Вам мою мечту. Итак, милый друг мой, отвечаю Вам на приглашение Ваше: да! с восторгом!» Искренне ли это? Как будто да. Или Петр Ильич начал находить удовольствие в комфорте и роскоши, которыми обставляла его при их соседском пребывании «милый друг»?

Разумеется, она ответила предсказуемо: «Ваше письмо привело меня в неописанный восторг. Мысль пожить с Вами некоторое время в Неаполе до того меня восхищает, что мне хотелось бы ехать туда сейчас, сию минуту, а до этого времени я неохотно ехала за границу». В одном из ее следующих писем, от 24 сентября, читаем: «Все мои помыслы, стремления, ожидания, желания обращены к Неаполю — туда, где забьется опять воскресшее сердце, засветит солнышко, пригреет, оживит своими лучами. О, жизнь сердца, это только и жизнь!»

Ее страсть укреплялась его музыкой. Вскоре после отбытия Чайковского из Симаков фон Мекк получила экземпляр только что изданного переложения для фортепьяно Четвертой симфонии и начала сама ее проигрывать. 14 сентября она написала композитору: «Эти божественные звуки охватывают все мое существо, возбуждают нервы, приводят мозг в такое экзальтированное состояние, что я эти две ночи провожу без сна, в каком-то горячечном бреде, и с пяти часов утра уже совсем не смыкаю глаза, а как встаю на утро, так думаю, как бы скорее опять сесть играть. Боже мой, как Вы умели изобразить и тоску отчаяния, и луч надежды, и горе, и страдание, и все, все, чего так много перечувствовала в жизни я и что делает мне эту музыку не только дорогою как выражение моей жизни, моих чувств. Петр Ильич, я стою того, чтобы эта симфония была моя: никто не в состоянии ощущать под ее звуки то, что я, никто не в состоянии так оценить ее, как я; музыканты могут оценить ее только умом, я же слушаю, чувствую и сочувствую всем своим существом. Если мне надо умереть за то, чтобы слушать ее, я умру, а все-таки буду слушать».

Она 19 сентября 1879 года сообщает ему, что продолжает «упиваться музыкою» симфонии, «как опиумом». «Четвертая симфония охватила меня всю. <...> Я ночью слышу эти звуки, я не могу даже глазами их видеть равнодушно. Вся симфония удивительна, но первая часть... это последнее слово искусства, дальше этого нет дороги, это предел гения, это венец торжества, это точка божества, за нее можно отдать душу, потерять ум и ничего не будет жаль... Ну, уж теперь ни о чем другом я говорить не в состоянии больше. До свидания, мой обожаемый друг, мой бог, моя

любовь, мое счастье».

В этом состоянии Надежда Филаретовна выдает свои подлинные чувства, производя этой неожиданной откровенностью очень сильное впечатление: «Я не знаю, можете ли Вы понять ту ревность, которую я чувствую относительно Вас, при отсутствии личных сношений между нами. Знаете ли, что я ревную Вас самым непозволительным образом: как женщина — любимого человека. Знаете ли, что, когда Вы женились, мне было ужасно тяжело, у меня как будто оторвалось что-то от сердца. Мне стало больно, горько, мысль о Вашей близости с этою женщиною была для меня невыносима, и, знаете ли, какой я гадкий человек, — я радовалась, когда Вам было с нею нехорошо; я упрекала себя за это чувство, я, кажется, ничем не дала Вам его заметить, но тем не менее уничтожить его я не могла — человек не заказывает себе своих чувств. Я ненавидела эту женщину за то, что Вам было с нею нехорошо, но я ненавидела бы ее в сто раз больше, если бы Вам с нею было хорошо. Мне казалось, что она отняла у меня то, что может быть только моим, на что я одна имею право, потому что люблю Вас, как никто, ценю Вас выше всего на свете. Если Вам неприятно все это узнать, простите мне эту невольную исповедь. Я проговорила — этому причиной симфония. Но я думаю, и лучше Вам знать, что я не такой идеальный человек, как Вам кажется. К тому же это не может ни в чем изменить наших отношений. Я не хочу в них никакой перемены, я именно хотела бы быть обеспеченною, что ничто не изменится до конца моей жизни, что никто... но этого я не имею права говорить. Простите меня и забудьте все, что я сказала, у меня голова не в порядке».

Если она надеялась вызвать «лучшего друга» на ответное излияние в том же роде, ее ждало разочарование. Чайковский медлил, писал ответное письмо отрывками и очень долго — восемь дней (с 17 по 25 сентября) в Санкт-Петербурге, Москве, Гранкине. Ответ дышит глубочайшей, возможно, несколько аффектированной благодарностью и не более того: «Я содрогаюсь при мысли о том, что бы со мной было, если б судьба не столкнула меня с Вами. Я обязан Вам всем: жизнью, возможностью идти вперед к далекой цели, свободой и такою полнотою счастья, которую прежде считал невозможной».

Заметим, что в цитированном выше письме она решительно настаивает на строгом сохранении стиля их отношений и на своем категорическом нежелании менять что бы то ни было. Это еще раз доказывает редкую особенность овладевшего ею эроса: это был эрос экстатический, по всей вероятности (по крайней мере, на уровне сознания), начисто лишенный столь ненавистного ей физического аспекта, эрос

платонический в обычном понимании этого слова. Психологический факт, однако, состоит в том, что такой эрос не только не умаляет, но, напротив, во много раз увеличивает способность человека к острым переживаниям (можно вспомнить, например, переписку Цветаевой с Рильке, так никогда и не встретившихся). Слова, написанные ею 19 сентября: «До свидания, мой обожаемый друг, мой бог, моя любовь, мое счастье», — явились высшей эмоциональной точкой душевного состояния в устремленности к «драгоценному другу», нашедшей выражение в их переписке. Такие признания могли его напугать: тем не менее, хотя по разным причинам их совместный визит в Неаполь не состоялся, он не мог противиться ее желанию встретиться в ноябре в Париже во второй раз.

Вскоре у нее мелькнула мысль прославить «их» симфонию исполнением одного из лучших оркестров Европы — оркестра Колонна. Заручившись согласием композитора и приехав в Париж в начале октября 1879 года, она уполномочила Пахульского лично договориться со знаменитым дирижером. Колонн, после недвусмысленного намека на оплату со стороны «une dame russe» (одной русской дамы. — *фр.*), согласился, тем более что и он, и его оркестр были уже знакомы с произведениями Чайковского: в марте они исполняли его симфоническую фантазию «Буря». День концерта не был назначен, так как оркестру предстояло ознакомиться с партитурой. Чайковский поблагодарил фон Мекк и Пахульского за хлопоты, но все-таки усомнился, что Колонн в конце концов выполнит обещание дирижировать симфонией «ввиду огромного множества местных композиторов, добивающихся чести попасть на программу». Кроме того, он был почти уверен в неуспехе симфонии у французской публики. Сама же фон Мекк 9 октября писала ему, что не сомневается в том, что «решение будет утвердительное» и что симфония понравилась Колонну, после того как тот познакомился с ее четырехручным переложением. И снова настал период напряженного ожидания.

Между тем, как и следовало ожидать, дело, связанное с разводом, ничем не кончилось, о чем Чайковский поставил благодетельницу в известность 27 августа: «Случилось, что в одно время с Вашим письмом пришло письмо от брата Анатолия, из которого я вижу, что незачем будет оставаться в России зимой. Он сообщает мне, что получил письмо от изв[естной] ос[обы], которое не хочет посылать, дабы не нарушить моих мирных здешних радостей. Письмо это, как он говорит, есть венец бессмыслицы и безумия. Оказывается, что нечего и думать (по выражению брата) о серьезном ведении дела, по крайней мере теперь. То лицо, которое являлось несколько раз от ее имени к брату, она теперь лишает своего

доверия и называет его негодным человеком. А так как переговоры шли через него, то, следовательно, все установленные предположения насчет начатия дела канули в воду. Цель ее письма — выманивание денег. Об разводе она опять и слышать не хочет. Чем это все кончится, Бог весть, но одно ясно, что до окончательной развязки еще далеко и едва ли это когда-нибудь состоится».

Постепенно стресс отступил, и, успокоившись, Чайковский описал Надежде Филаретовне свою линию поведения в отношении Антонины Ивановны, которой он намерен придерживаться впоследствии: «У Анатолия я нашел целый ворох писем изв[естной] ос[обы], служащих несомненным доказательством ее безумия. Я прихожу только к тому заключению, что нужно предпринять меры строгости против нее. Я и все мои близкие слишком долго деликатничали в отношении ее». Как ни странно, через некоторое время эта политика начала приносить плоды. Читаем в письме ей же от 27 ноября/9 декабря: «Об известной особе я имел в Петербурге довольно утешительные сведения. Она, наконец, поняла; что улучшения своего материального благосостояния может добиться не своими феноменально глупыми приставами, а добропорядочным поведением. <...> Мне кажется, она сообразила, наконец, что для нее выгоднее держать себя так, чтобы я не имел основания быть недовольным. Мне так мало нужно от нее! Лишь бы только я никогда не встречался с ней и не видел ее почерка — вот все, что я требую».

Сентябрь и октябрь композитор провел в разъездах. Он посетил Петербург, где у Анатолия возникли осложнения по службе, встретился с Апухтиным и его возлюбленным, Александром Жедринским, побывал в Москве, где в течение трех дней предавался пьянству — в стиле уже позабытой московской жизни, затем отправился в Гранкино к Модесту и Коле. Почти весь октябрь он пробыл в Каменке, затем возвратился в Петербург.

Девятого ноября Чайковский выехал из Петербурга в Берлин. Согласно его сообщению Анатолию от 11/23 ноября, первое, что он сделал по прибытии, это, «напившись чаю, прочитав газету и одевшись, отправился к Котеку (который учился и жил тогда в этом городе. — А. П.). Этот милый человек изъясил бешеную радость при свидании со мной, и я был рад его видеть. Но, проведя с ним два часа и наслушавшись целой бездны всякого рода музыкальных сплетен и других рассказов, я до того устал, что трудно выразить, и когда мой бедный Котик пошел на репетицию какого-то концерта, то я был рад!!! Удивительное дело. Чем больше я живу, тем больше делаюсь неспособен к общечитию. Нет никакого сомнения, что я

люблю Кота, но болтовня его действует на меня, как самая трудная физическая работа».

Уже 13/25 ноября композитор был в Париже. Незадолго до этого фон Мекк писала: «Если Вам скучно, друг мой, что Пах[ульский] приедет к Вам на встречу, то прошу на это Вашего снисхождения. Я спросила его, что он, быть может, не поедет на станцию встречать Вас, — он отвечал мне: “Боже мой, если бы я был на два часа от смерти, и тогда бы поехал на встречу Петру Ильичу!” После этого ответа мне уже было жаль отнимать у него такое удовольствие». Со своей стороны, на предмет личных, не музыкальных качеств Пахульского в письмах фон Мекк композитор оставался неизменно корректен. Отзывы о нем как о человеке хвалебны, и лишь очень внимательное чтение может выявить скрытый критицизм. Любопытен, например, пассаж из письма от 29 августа: «Полнота молодой жизни, которою он проникнут и которая сказывается в каждом его слове, как всякое проявление кипучей молодости, имеет большое обаяние, но тут есть и опасность. Непременно нужно, чтобы он увлекался не только на словах, но и на деле. Не знаю отчего, мне кажется, что в Пахульском есть черты какого-то тургеневского героя, т. е. человека очень способного, имеющего совершенно искреннее и пылкое стремление к выполнению самых широких замыслов, но...»

Но мы обладаем и другим источником — перепиской с братьями, из которой с полной очевидностью следует, что на этом этапе композитор относился к молодому поляку уже с антипатией. Из письма Анатолию от 9 августа, после приезда в Симаки: «Встретил меня вчера Пахульский, чего я очень опасался, и не только встретил, но проводил меня и просидел целый вечер. Однако ж, прощаясь, я сказал ему откровенно, что дней 7 хочу остаться совсем один, а что его я приглашу. Таким образом я застраховал себя на довольно долгий срок». Надежда Филаретовна чувствовала возникавшую напряженность, это отразилось в упомянутом выше письме, где она просит у Петра Ильича «снисхождения» к тому, что Пахульский хочет его встретить. Льстивая неискренность в ответе Пахульского ей (ведь тот скорее всего замечал его скрытую неприязнь) должна была шокировать Чайковского. Хотя он и был достаточно тщеславен, но всегда опознавал грубую лесть. Тем не менее в тот же день он написал своей благодетельнице: «Очень приятный вечер! Встреча Пахульского доставила мне величайшее удовольствие. Мне приятно было видеть его и ради него, и ради Viale dei Colli, и Симаков, которые он мне напоминает, и, наконец, главное, ради сообщенных им известий об относительном благосостоянии Вашего здоровья». Заметим, в этих словах акцент все же сделан на фон

Мекк, а не на Пахульском. Постепенно этот последний становился для композитора одной из наиболее трудных проблем в отношениях с Надеждой Филаретовной, и если он не дал ей откровенно этого понять, то причиной тому прежде всего было нежелание нарушить ее душевный покой. Через десять дней после упомянутых строк он писал Анатолию: «Н[адежда] Ф[иларетовна] задержалась здесь снегами и морозом и Бог знает, когда уедет. Я рад ее соседству, но Пахульский... ох, как несимпатичен, а приходится часто с ним видаться и заниматься с ним». Позже, 24 марта 1882 года, Модест описывал брату свое впечатление от молодого поляка: «Встретился я с Пахульским, униженно просившим меня позволения прийти к нам. Я милостиво разрешил ему это, но не без страха жду этого визита. Ах, как он мало симпатичен! Вот кому я бы никогда не мог довериться, даже в пустяках. Никогда не пойму я Надежды Филаретовны!»

В Париже Петру Ильичу было приготовлено то же самое помещение, что и в феврале прошлого года, в отеле Мерис на улице Риволи. Чувствовал он себя в этом городе «совсем как дома, и любовь к нему осталась... так же сильна, как и прежде». В первый же день он навестил Кондратьева, лечившегося там от сифилиса. Общество старого друга доставило композитору «большое удовольствие». Тому было уже намного лучше, и на следующий день они вместе со слугами отправились в цирк. Поездка с фон Мекк в Аркашон была отменена из-за очевидного нежелания Чайковского; он решил прожить в Париже три недели, а потом отправиться в Рим и встретиться там с Модестом и Колей. Но, должно быть, жизнь в большом городе казалась Надежде Филаретовне недостаточно интимной — она мало отличалась от их случайного совместного пребывания в Петербурге или Москве. Они переписывались в Париже почти каждый день до ее возвращения в Россию 4/16 декабря.

Чайковский и фон Мекк жили в такое время, когда русский романтизм в его героической и революционной формах давно потерял свое культурное или общественное значение. Если раньше во главу угла ставилось чувство или страсть, то теперь акцент ставился на практической работе разума. Судя по чувствам, выраженным в ее письмах, госпожа фон Мекк скорее всего соответствовала давно ушедшей в прошлое романтической эпохе. Тем не менее судьба сделала ее властительницей громадной финансовой империи, и она сумела утвердиться в этой роли, став успешнейшей деловой женщиной и управляя своими делами трезво и эффективно. Положение делового человека заставило ее подчинить и загнать в определенные рамки присущий ей романтизм, но в увлечении музыкой (или, точнее, в страстном

разделении общности интересов с «драгоценным другом») он снова нашел свой выход.

Надежда Филаретовна придерживалась общепринятой точки зрения в понимании гениальности как высшего дара, а в том, что Чайковский был гением, у нее никогда не возникало сомнений. Она поклонялась ему и как великому художнику-творцу, и как человеку, обладающему высокими нравственными добродетелями, и ее не без основания могли обвинить в упорном игнорировании его человеческих недостатков и отрицательных черт.

Что же до композитора, то он существенно отличался от таких романтиков, как Байрон или Бетховен. Ему недоставало их тяги к титанизму, мощи, масштаба их страстей. Природа его дарования, в значительной степени определенная семейным воспитанием, была более «сентиментальной», в эстетических терминах Шиллера, и не случайно, когда в конце девятнадцатого столетия, с приходом декаданса, ценность индивидуального чувства заново утвердилась в европейской и русской культуре, музыка его стала повсеместно популярной.

В общем и целом на всем протяжении этого наиболее эмоционально окрашенного периода отношений с покровительницей линия поведения Чайковского оставалась неизменной. Он практически всегда испытывал удовольствие от их необычной дружбы, касалось ли это только простых писем или же обсуждения тех или иных предметов, начиная с абстрактных духовных вопросов и заканчивая интимными воспоминаниями о прошлом. Но если с ее стороны возникал хотя бы намек на любовное устремление, у него возникало желание убежать, в особенности если ее присутствие рядом могло нарушить его физический или психологический комфорт. Это было похоже на роль, сыгранную им с таким драматизмом во время брачного кризиса. Шок, испытанный им тогда, был настолько сильным, что навсегда убил способность радоваться близости с представительницей противоположного пола, даже с женщиной, достойной восхищения и благодарности, — независимо от того, что она была лишь замечательной подругой, которой он чувствовал себя бесконечно обязанным и от которой — в силу благоразумности их отношений — не исходило и не могло исходить никакой сексуальной угрозы.

## **Часть пятая: Время странствий (1879–1888)**



## Глава девятнадцатая. Высший свет

Париж пробудил в Чайковском денди. «Ты бы очень смеялся, увидев меня здесь, — писал он Анатолию. — Я хожу по улицам в новом сером пальто (*demi-saison*), в изящнейшем цилиндре, на шее красуется шелковый *plastron* (нагрудник, надевался вместо шарфа, — **фр.**) с коралловой булавкой, на руках лиловые перчатки. Проходя мимо зеркальных простенков на *Rue de la Paix* или на бульварах, я непременно останавлиюсь и полюбуюсь собой. В стеклах магазинов также наблюдаю отражение своей изящной особы. Вообще на меня нашла (что со мной и прежде бывало) теперь мания кокетства. Лелею сладкую мечту купить себе хорошую золотую цепочку и таковую булавку. Сделал себе новую пару платья и заказал дюжину рубашек. Деньги летят, и через несколько дней у меня не будет ни одного фр[анка] в кармане, — но это ничего не значит, ибо меня ожидает получение от Н[адежды] Ф[иларетовны]».

Но даже роскошь и очарование Парижа уступили необходимости постоянных скитаний. Когда наконец в декабре 1879 года госпожа фон Мекк покинула французскую столицу, композитор уже с нетерпением ожидал путешествия в Рим и встречи с Модестом и его воспитанником, прибывшими туда в конце ноября.

Приехав в Рим 8/20 декабря, он был приятно поражен солнечной погодой, и даже необходимость общения, которого он предпочел бы избежать, с его старинными знакомыми Голицыным и Масалитиновым, также оказавшимися в Вечном городе, не испортила ему настроения.

В такой обстановке Чайковский встречал новый, 1880 год. В конце января из Парижа в Рим приехал Кондратьев и поселился в гостинице, где жили братья Чайковские. 31 января/ 12 февраля Петр Ильич в письме Анатолию подвел итог своим впечатлениям от пребывания в Риме: «Кондратьев обратился здесь в самого отчаянного кутилку и развратника. Что ни день, у него пьянство и любовные похождения. Он клянется, что кроме Рима, нигде нельзя жить. И в самом деле, всем здесь живется хорошо и привольно. Один я никак не могу войти во вкус Рима, и все меня куда-то тянет. Могу сказать без всякого преувеличения, что мое пребывание здесь есть жертва, принесенная на алтарь братской любви. Но зато меня радует Модест, которому Рим очень нравится, и Коле, для которого римский климат оказался в высшей степени благоприятен. Боже мой, как я все более и более люблю и привязываюсь к этому мальчику!»

Еще в августе Петр Ильич закончил работу над «Орлеанской девой» и напряженно ждал первой ее постановки в петербургском Мариинском театре. В Риме он начал писать «Capriccio italien» («Итальянское каприччио») для симфонического оркестра на темы итальянских плясок и песен в характере испанских увертюр Глинки. Гуляя по карнавальному городу, он был воодушевлен «прелестными темами», которые слышал на улицах Рима. В медленном вступлении каприччио звучит военнокавалерийский сигнал, множество раз слышанный им в Риме, и выразительная песня, исполняемая струнными инструментами на мрачно-напряженном фоне фаготов и медных инструментов. Вскоре темп пьесы ускоряется, все дышит югом, поет и танцует, блещет бездумной радостью и в стремительной тарантелле уносится вдаль. Так своеобразно итальянские впечатления композитора претворились в одну из самых известных его пьес.

В письме от 31 декабря/12 января Чайковский сообщал фон Мекк: «Сейчас получил от брата Анатолия очень грустные известия. И Таня, и сестра очень серьезно больны. Дошло до того, что пришлось сзывать целый консилиум из трех очень знаменитых докторов. Эти господа решили, что страдания сестры происходят от оторвавшихся почек... которые производят давление на различные внутренние органы, вследствие чего крайнее раздражение последних, боли в боку, расстройство нервной системы. Кроме того, они признали сестру отравленной неумеренным употреблением морфина. Ее заперли, никого к ней не пускают. <...> У Тани капитальный катар желудка. А тут еще замешалась романтическая история. Сестра надеялась, что выезды в свет заставят Таню охладеть в ее увлечении. Теперь уж на это нечего рассчитывать. Она страшно упала духом. Я просто трепещу за будущее!» Незадолго до этого он писал о старшей племяннице ей же: «Нужно сказать Вам, что эта девушка, одаренная большими способностями, чудным сердцем и замечательной красотой, страдает одним довольно несносным недостатком — она вечно и всегда скучает. Натура ее какая-то надломленная, полная мучительных сомнений и недоверия к себе, беспокойная, проникнутая преждевременною разочарованностью. Созерцание этой вечной беспричинной и неестественной в молодой девушке хандры имеет свойство на всех наводить уныние и убийственно действует всегда на сестру, сознающую свое полное бессилие помочь горю».

Мать, к которой Таня «питала страстное обожание», попыталась помочь дочери давно испробованным на себе средством. В конце 1879 года, когда девушка переживала очередное сердечное разочарование и страдала

от вымышленных или реальных болезней, Александра Ильинична предложила ей тайно попробовать морфин, используемый ею самой не только как болеутоляющее средство, но и в целях поднятия настроения. Наркотик на какое-то время действовал, но оставался риск привыкания, чрезвычайно тревоживший Чайковского, сначала по отношению к сестре, а потом и к племяннице.

На этот раз, в обществе Коли и Модеста, он наслаждался Римом: побывал в Капитолийском музее, на Палатине, посетил Ватикан, где осмотрел Пинакотеку, Лоджии и Станцы Рафаэля, Сикстинскую капеллу. Модест преисполнился восторга, но Чайковского «атлетические мускулы фигур» с фресок Микеланджело в Капелле первоначально оставили холодным. Ему больше понравился Рафаэль, «этот Моцарт живописи». В одном из писем фон Мекк он признавался: «Вообще я от природы лишен чуткости в отношении пластических искусств, и только очень немногие картины и статуи производят на меня действительное впечатление. В музеях я больше устаю, чем наслаждаюсь. Я нахожу, что вообще музеи убийственны для ознакомления с искусством, ибо они дают столько пищи, сколько не может поглотить человек одним разом». Однако, посетив Сикстинскую капеллу еще раз и просидев там довольно долго, всматриваясь во фрески Микеланджело, он «испытал едва ли не первый раз в жизни настоящий художественный восторг (от живописи)».

Но 8/20 января 1880 года от Анатолия пришла весть о том, что в Петербурге серьезно заболел и слег их отец, которому перевалило за восьмой десяток. Композитор задумался о немедленном возвращении в Россию, но двумя днями позже получил телеграмму, что 9 января Илья Петрович скончался. Спустя десять дней он узнал от младшего брата подробности болезни и смерти отца и написал ответ: «Письмо твое и грустно до бесконечности и между тем от него веет чем-то невыразимо светлым. Думаю, что душа нашего дорогого покойника озаряла твои мысли, когда ты писал его». В тот же день он сообщил Надежде Филаретовне: «Сейчас получил, наконец, письмо от Анатолия. <...> Рассказ этот очень трогателен. Я много плакал, читая его, и мне кажется, что эти слезы, пролитые по поводу исчезновения из этого мира чистого и одаренного ангельской душой человека, имели на меня благотворное влияние. Я чувствую в душе просветление и примирение».

Среди этих тревожных известий были и приятные новости от Юргенсона. Издатель сообщал о растущей популярности его музыки на родине и за границей, о том, что его сочинения звучали осенью и зимой в Берлине, Нью-Йорке, Будапеште и Париже. В октябре Николай Рубинштейн с

большим успехом дирижировал Первой сюитой в Москве. Почти одновременно со смертью отца композитор был извещен об исполнении 13/25 января в Париже оркестром Колонна Четвертой симфонии, и это не могло не ублажить его творческого эго. Надежда Филаретовна испытала не меньшую радость, хотя и не могла присутствовать на концерте, поскольку оставалась в это время в Москве. Ложкой дегтя стало то, что дирижер никого заранее не оповестил о предстоящем музыкальном событии, а телеграфировал им обоим постфактум: «Симфония очень хорошо принята, большой успех имели Анданте, и в особенности Скерцо». На деле французская критика отозвалась об исполнении без энтузиазма, назвав симфонию «распущенной и дикой фантазией... искусственной и вульгарной». Опасения автора, что его музыка будет чужда парижской публике, оправдались.

И 26 февраля/9 марта Чайковский принял решение возвратиться в Петербург, посетив по пути любимые им Париж и Берлин. Кроме того, в Париже ему хотелось снова навестить Кондратьева, который приехал туда из Неаполя, но, вероятно, еще более хотелось увидеться с новым слугой последнего — Александром Легошиным, «милейшим Сашей». Об этом говорится в письме Анатолию от 20 февраля/3 марта. Его сближение со слугой друга началось скорее всего во время их совместного декабрьского пребывания в Париже. Алексея Чайковский оставил с Модестом в Риме помогать ухаживать за Колей. 28 февраля/11 марта он прибыл в Париж и поселился в той же гостинице, что и Кондратьев. На следующее утро в 9 часов Чайковский разбудил своего приятеля, «слуга которого, г. Александр, уже успел с заспанными глазами побывать у меня», — отписал он Модесту в тот же день. И через несколько дней констатировал: «Саша очень мил, ласков и услужлив». Роман со слугой Кондратьева успешно развивался, и в дальнейшем молодой человек занял довольно заметное место в письмах и дневниках Чайковского при полном отсутствии отрицательных высказываний на его счет.

Во французской столице композитор чувствовал себя неплохо, но после буйной римской весны он нашел этот город «прозаически-пошловатым», тем не менее он наслаждается театрами, обществом Кондратьева, прогулками с Легошиным и, что уже стало привычкой, гулянием в одиночку по бульвару: «В Passages des Panoramas я встретил моего Louis одетым прилично и не без шика. Оба мы обнаружили радость, и тотчас же началось гулянье с болтовней его и бесчисленными упреками. На меня напало бешеное желание, и я сгорал от страсти. Ходили к нему и решили, что я буду у него ночевать, ибо только ночью можно пройти к нему

незамеченным портерной и в совершенной безопасности. Отправились гулять, пили бесчисленное число стаканов пива и грога, ели в какой-то brasserie (пивной. — *фр.*)... и, наконец, в 1 ночи отправились к нему. Все было женственно и романтично. Взобрались на цыпочках очень высоко; вошедши тотчас потушили свет и, раздевшись, легли. Я не помню, чтобы когда-нибудь испытывал столь сильное физическое наслаждение. Но увы! Когда желания были утолены, я пожелал с невероятной силой уйти и лечь спать у себя дома. Насилу уговорил его одеться и опять потихоньку на цыпочках спуститься по лестнице и посредством имеющегося у него ключа отворить дверь и выйти. Лег спать в 3<sup>у</sup> часа, но, несмотря на неимоверное утомление, спал мало и тяжело. Когда проснулся, голова трещала». На следующий день он снова встретился с молодым человеком.

Перед отъездом, как это часто бывало и раньше, Петр Ильич поссорился с Кондратьевым, о чем уведомил Модеста 4/16 марта 1880 года: «Последнее утро в Париже провел очень приятно, т. е. без Кондратьева, который меня начинает раздражать до последней степени и с которым уж, конечно, я никогда нигде не буду проводить время иначе, как в более обширном обществе. Tete-a-tete с ним невозможен. Шуточки его утратили для меня всякую новизну. Зато его хвастливость, неожиданные переходы от одного настроения к другому, самовлюбленность, отсутствие правдивости, мелочное самолюбие, жалкий, хотя и наивный эгоизм, проявления самой отвратительной скарედности, словом, вся кондратьевская натура, которая под симпатичной тоненькой корочкой скрывает довольно дрянненькую душонку, сделались мне невыносимы. Тщетно я стараюсь себя убедить, что все это мне только кажется, что нужно быть снисходительным, что я сам, может быть, гораздо хуже его и т. д. — он мне стал тошен. Конечно, нужно было только посмеяться над его скупостью по поводу нежелания снабдить меня деньгами на дорогу (точно будто я просил его подарить мне деньги), но я, будучи раздражителен, рассердился и хотел уехать не простившись. Однако ж, погулявши... я зашел к нему, и мы расстались, по-видимому, дружески».

На несколько дней Петр Ильич остановился в Берлине, и, хотя после Италии Берлин показался ему «пошлым и смешным», а после Парижа — «жалким и провинциально-мелким», «старая слабость к нему» не исчезла. В Петербург он не торопился: Анатолий оповестил его о своем временном отсутствии там, как и о чем-то еще, упоминание о ком старательно вырезано в оригинале письма Чайковского Модесту от 4/16 марта, возможно, самым адресатом. В Берлине, как и в Париже, он много гулял.

«Познакомился с юношей изумительной красоты, хотя и чисто немецкой, — писал Петр Ильич Модесту. — Предложил в конце прогулки денег и получил отказ. Он делает это из любви к искусству и обожает людей с бородой. Пришлось дать rendez-vous и приходится ждать, ибо оно назначено на завтра, а не сегодня».

Во время своего короткого пребывания в этом городе он успел побывать в зоологическом саду Аквариум, где его привел в восторг шимпанзе, живший в величайшей дружбе с собачкой, и в оперном театре слушал «Летучего голландца» Вагнера, постановку которого нашел скучной и шумной.

Петербург произвел на Чайковского тяжелое и мрачное впечатление. «Погода была ужасная: мороз, вьюга, темнота. Ах, как это противно и грустно. Бедная Россия, бедные люди, обреченные жить в ней, бедный Толя, влачащий свою испорченную жизнь в этом могильно-мрачном городе», — писал он 8 марта Модесту. После трех зим, проведенных в теплых странах, холод русской зимы «действовал на него убийственно». Анатолий, встретивший его на перроне, был расстроен и раздражен своей ситуацией на службе. Они сразу отправились в ресторан, где их ждали Апухтин, братья Александр и Владимир Жедринские и их отец, курский губернатор. Все грустили: Александр готовился к выпуску из лицея и должен был уехать из Петербурга. Апухтин очень переживал предстоящую разлуку с возлюбленным. Нет сомнений, что отец Жедринских не мог не знать причины привязанности известного поэта к одному из своих сыновей. Апухтин дружил со всеми членами этой семьи, включая родителей, и часто гостил в их имении, что говорит если не о поощрении таких отношений, то, по крайней мере, о безразличии к ним, в значительной степени характерном для русского общества второй половины XIX века. Унылая обстановка в ресторане подействовала на композитора столь же удручающе, как и петербургская погода. После обеда он отправился с Анатолием и Владимиром Жедринскими в Волковскую баню (что располагалась на Мойке в доме 36), которая со своей «бородатой добродетелью» также показалась ему «чем-то скучным и неприветным».

На следующий день он снова увиделся с Апухтиным, который «был очень грустен и... плакал. На вопрос: отчего? — мотнул головой. Ясно, что ему страшно расстаться с Сашей. <...> Ужасно меня трогает эта прочность и сила привязанности», — отметил он в том же письме. Конец дня Чайковский провел у князя Мещерского.

Утром 9 марта вместе с мачехой и Анатолием он посетил могилу отца на Смоленском кладбище. В Петербурге Петр Ильич остановился на

квартире Анатолия, которую тот делил с Владимиром Жедринским (в это время у них жил и Жедринский-отец). Следующим утром он снова посетил мачеху и, не пробыв у нее и часу, отправился с визитом к Алине Конради (матери Коли), в это время разволившейся с мужем. Как его самого, так и Модеста очень тяготила эта ситуация, и особенно то, как преподнести предстоящий развод Коле. Из разговора с ней выяснилось, что было уязвлено только женское самолюбие, но совсем не материнское чувство. Она жаловалась на равнодушие, сухость и грубость отца Коли, решительно добивавшегося развода (Алина жила со своим любовником Владимиром Брюлловым, сыном архитектора и управляющим делами Русского музея). Позже, встретившись с ее мужем, Петр Ильич пришел к убеждению, что, несмотря на семейную катастрофу, за мальчика можно не волноваться, потому что Модест был ему «и отцом и матерью». («М-те Конради никогда не была для сына любящей и нежной матерью, и в этом отношении Коля ничего не теряет, — писал Петр Ильич фон Мекк еще из Рима. — Но он любит мать как олицетворение всего прекрасного, он питает к ней какое-то робкое обожание, и страшно подумать, как эта история может поразить его».) Во всей этой истории занятые собой родители меньше всего думали о ребенке, в то время как в Чайковском мысли о нем неизменно пробуждали самые сентиментальные чувства. В тот же день он писал Модесту: «Это удивительно, до чего я люблю его. Господи, что бы я дал, чтобы отсюда увидеть его ласковый взгляд и поцелуй на воздух, издаваемый губами боком, — знаешь его улыбку, когда он говорит: “Мылы Петя!”». Официально Алина и Герман Конради разошлись в конце мая, и Коля остался с отцом. Хотя Модест и готовил его к разводу родителей, известие это подавило ребенка — он был совершенно убит горем. Если бы он рос нормальным мальчиком, он воспринял бы это легче, но при его изолированности от общего мира ему было очень трудно примириться с мыслью, что мать по доброй воле решила бросить семью. Вскоре после развода Алина вышла замуж за Брюллова.

Все последующие дни были насыщены встречами. Друзья и родственники приглашали композитора в гости, скучать и тосковать было некогда. По его словам, чувствовал он себя, как всегда в Петербурге, усталым, неспособным ничего понять и ничем насладиться: голова пуста, правда, на здоровье не жаловался, по крайней мере, ему не досаждали бессонница и другие недомогания, обычно сопровождавшие приступы тревоги и депрессии. Его усилия немного поработать успеха не имели: с утра и до ночи носился по разным делам, связанным с постановкой «Орлеанской девы». Кроме того, пока он оставался в столице, его

произведения исполнялись в трех разных концертах. Программа одного из них целиком состояла из его сочинений — «Ромео и Джульетты», Первой сюиты, арии Ленского и сцены письма из «Евгения Онегина».

Приятной компенсацией за мучительные часы, проведенные в компании Конради, стало знакомство с юным Ваней, слугой, специально нанятым Модестом себе в помощь, но оставленным по разным причинам в Петербурге. Чайковский нашел его очень «милым мальчиком» и по обыкновению покровительствовал ему, покупая одежду и даже приглашая к себе в гости.

В этот приезд, помимо Апухтина, Петр Ильич часто и с большим удовольствием встречается с Мещерским, всякий раз оставаясь у него далеко за полночь. Очевидно, он мало заботился о том, что будут болтать на этот счет досужие языки. В петербургских салонах гомосексуальность Мещерского, так же как и Апухтина, была хорошо известным фактом. Очень резко, например, высказался по этому поводу в своих воспоминаниях один из государственных деятелей того времени Е. М. Феоктистов: «А между тем репутация его становилась все позорнее; по общему мнению, не лишенному, кажется, достаточного основания, он принадлежал к числу самых отчаянных педерастов. Негодяй, наглец, человек без совести и убеждений, он прикидывался ревностным патриотом, — хлесткие фразы о преданности Церкви и престолу не сходили у него с языка». Не менее характерны воспоминания еще более замечательной фигуры, графа Сергея Юльевича Витте: «Всю свою жизнь Мещерский только занимается своими фаворитами; из политики же он сделал ремесло, которым самым бессовестным образом торгует в свою пользу и в пользу своих фаворитов. Так что я не могу иначе сказать про Мещерского, как то, что это ужаснейший человек. Про это знают почти все, имеющие с ним сношения».

Между тем карьера Мещерского сложилась неожиданно и заслуживает особого внимания. Примечательно, что связанные с ним скандальные истории никак на нее не повлияли. Будучи внуком историка Карамзина, он, несмотря на титул, не принадлежала аристократической верхушке. Этим, возможно, и объясняется выбор Училища правоведения в качестве трамплина к продвижению вверх. Обладая немалыми дарованиями и шармом, он начал государственную службу «стряпчим полицейских дел», но уже в 1859 году, двадцати лет от роду, был назначен петербургским уездным судьей по гражданскому отделению. Однако характер и темперамент Мещерского не подходили к чиновнической деятельности, и его выход в отставку в 1876 году был, вероятно, самым умным поступком



за всю его жизнь. Как нечиновный, небюрократический деятель, он приобрел особую привлекательность в глазах государей, избежав судьбы временщиков-министров, для которых увольнение с занимаемой должности всегда означало потерю монаршего благоволения и чаще всего политический крах.

В 1861 году через свою родственницу Мещерский познакомился в Ливадии с императорской семьей и завоевывал симпатии Александра II. После этого он сблизился с цесаревичем, наследником Николаем Александровичем, и великим князем Александром Александровичем — будущим Александром III. Согласно книге В. С. Франка «Из неизданной переписки императоров] Александра III и Николая II с кн[язем] В. П. Мещерским», последний «умел нравиться без грубой лести, умел показать себя без хвастовства». Он прочно вошел в небольшой кружок, сложившийся вокруг молодых великих князей. «Николай Александрович однажды иронически назвал отношения между Мещерским и собой “чувством несчастной любви к женщине, которая отвечает на нее равнодушием”». Тем не менее он охотно встречался и переписывался с ним.

После неожиданной смерти цесаревича в 1865 году новый наследник, боготворивший брата, особенно нежно относился к его друзьям. С Мещерским он сошелся гораздо ближе, чем его покойный брат, обладавший скептическим и замкнутым характером. Дружба их в течение какого-то времени сопровождалась даже некоторой патетикой, еженощными разговорами, клятвами в преданности и т. д. Вот первое из дошедших до нас писем будущего императора Мещерскому от 14 января 1867 года: «За все Ваши мучения и неприятности, которые Вы имели из-за меня, даю Вам мою дружбу, потому что Вы вполне ее заслужили... <...> Ваш Александр».

Отношения эти складывались достаточно бурно, отчасти из-за нелегкого и неровного характера Мещерского, отчасти — из-за внешних обстоятельств. В 1873 году между ними случился разрыв, длившийся десять лет. Однако с 1872 года Мещерский на правительственную субсидию начал издавать газету «Гражданин», завоевавшую скандальную славу благодаря блестящему журналистскому таланту ее редактора и по причине ее реакционности. С этого времени и до конца жизни он являлся одним из главнейших идеологов двух последних царствований, для которых приспособил собственную концепцию самодержавия, донельзя простую, но убедительную именно в силу ее согласованности с политическими симпатиями и антипатиями российских монархов. Концепцию эту можно свести к следующим основным положениям:

самодержавный государь ответствен за свои деяния лишь перед Богом, его мысли и действия вдохновляются свыше — поэтому не людям судить его. Государь мистически связан с народом, его воля — истинная воля народа, даже если она внешним образом идет вразрез с людскими мнениями и желаниями, всегда случайными и преходящими. Поэтому всякое ограничение монаршей воли — не только путем введения конституции, но и путем личного влияния министров на государя, — есть искажение воли Бога и народа и, таким образом, едва ли не кощунство. Особенно пагубным в этом отношении он считал воздействие петербургской бюрократии.

Читаем у В. С. Франка: «За пятьдесят лет своей деятельности, с начала 1870-х годов до своей смерти в 1914 году, Мещерский благодаря своему огромному дару политической интриги, своему великолепному знанию всех тайных пружин политического мира, а главное, благодаря своим интимным связям с двумя монархами постепенно приобрел славу человека, от слова которого зависят назначения, увольнения и награды, а иногда даже и направление правительственной политики, — но нажил вместе с тем и большое количество врагов. Этот ненавидимый и презираемый всем Петербургом человек в течение очень долгого времени (правда, с продолжительными перерывами) оставался одним из ближайших советников обоих самодержцев [Александра III и Николая II]». Для человека во многих отношениях столь мало симпатичного и столь неуравновешенного — достижение немалое.

Несомненно, Петр Ильич мог и опасаться разговоров о его дружбе с Мещерским благодаря своей композиторской славе, уже дошедшей до императорского двора, и его все меньшей уязвимости для общественного мнения. В письме от 14 марта 1880 года он сообщил Модесту, что Вера Давыдова, сестра Льва, вышедшая к этому времени замуж за адмирала Бутакова, вдруг заговорила о том, что великий князь Константин Константинович желает провести с ним вечер. «Меня это привело в неописанный ужас; Апухтин подал мысль, чтобы Вера Вас[ильевна] тотчас пригласила его приехать после обеда. Насилу я уговорил отложить». Шесть дней спустя композитор писал «лучшему другу»: «Вчера мне пришлось порядочно страдать. У великого князя Константина Николаевича есть сын Константин] Константинович. Это молодой человек 22 лет, страстно любящий музыку и очень расположенный к моей. Он желал со мной познакомиться и просил мою родственницу, жену адмирала Бутакова, устроить вечер, на котором бы мы могли встретиться. Зная мою нелюдимость и несветскость, он пожелал, чтобы вечер был интимный, без фраков и белых галстуков. Не было никакой возможности отказаться.

Впрочем, юноша оказался чрезвычайно симпатичным и очень хорошо одаренным к музыке. Мы просидели от 9 часов до 2-х ночи в разговорах о музыке. Он очень мило сочиняет, но, к сожалению, не имеет времени заниматься усидчиво». В письме Модесту Петр Ильич ни словом, однако, не упомянул о своих «страданиях», напротив, отзывался о Константине Константиновиче как о «чудном юноше», которым все были «очарованы». Великий князь тоже оставил запись о встрече с композитором в дневнике: «Я провел прелестный вечер у Веры Васильевны Бутаковой; она обещала меня познакомить с Чайковским — лучшим нашим композитором, и пригласила его. Были еще брат его Анатолий, Апухтин и [князь] Щербатов. Петр Ильич на вид лет 35, хотя лицо его, седеющие волосы дают ему более пожилую наружность. Он небольшого роста, довольно худой, с короткой бородой и кроткими умными глазами. Его движения, манера говорить и вся внешность изобличают крайне благовоспитанного, образованного и милого человека. Он воспитывался в Училище правоведения, был очень несчастлив в семейной жизни и теперь исключительно занимается музыкой. Апухтин известен непомерной толщиной и прекрасными поэтическими произведениями, которые он ни за что не соглашается печатать: он помнит и говорит их наизусть. Вера Васильевна упростила его прочесть нам что-нибудь; он сказал “Венецию”, мало известное свое стихотворение. Оно так хорошо, что по мере того, как он его говорит, боишься, что оно скоро кончится, хотелось бы еще и еще слушать. Меня заставили играть; мне очень хотелось сыграть романс Чайковского, но я боялся. Брат его поет; я аккомпанировал ему “Слеза дрожит”; потом играл “Нет, только тот кто знал” и потом романс b-molle. П. Чайковского попросили сыграть что-нибудь из его новой еще не напечатанной оперы “Иоанна д’Арк”, он сел за фортепиано и сыграл хор-молитву. Мы все были в упоении от чудной музыки. <...> После ужина Апухтин прочел еще несколько стихов своего сочинения. Мы разошлись в 2 ч. Чайковский сделал мне самое приятное впечатление».

В семье Романовых великий князь Константин Константинович был фигурой необычной. С детства в нем проявлялись способности к литературе и искусствам и, кроме того, к игре на фортепиано и сочинению музыки; он был поэтом и драматургом. Писал он и позже получил известность под псевдонимом К. Р. — Константин Романов.

Неделей позже Петр Ильич провел вечер с отцом Константина Константиновича, великим князем Константином Николаевичем, братом императора и президентом Русского музыкального общества, который «был очень ласков и мил». Все это делалось ради постановки «Орлеанской

девы». Композитор писал Модесту: «Я приношу ради оперы большие жертвы. Дошло до того, что по совету Направника я делаю визиты!!! <...> Здесь во вторник состоится концерт... составленный исключительно из моих сочинений. Вчера я был приглашен в Квартетное общество, где играли Ауэр и Давыдов мой 2-й кварт[ет], и мне была сделана орация с поднесением венка. Это очень лестно, — но, боже, как я устал, до чего здесь противно, и как я воображаю об выезде из Петербурга как об каком-то невозможном счастье! Безумец, как я мало ценил за границей всю неизмеримость блаженства быть свободным! С утра до глубокой ночи я здесь все куда-то должен идти и кого-то видеть. Тирания самого омерзительного свойства».

За несколько дней до отъезда, 30 марта, он вновь встретился с великим князем Константином Константиновичем, которого нашел «очень музыкальным». Композитор пробыл у него с 11 часов вечера до трех утра. Между ними установились особенные отношения, говорящие о родстве душ и духовной близости. Этим можно объяснить предложение, сделанное Чайковскому великим князем, а именно совершить вместе с ним кругосветное путешествие, от которого, несмотря на соблазн, Петр Ильич предпочел отказаться, не решаясь лишаться свободы и заключить себя «в темницу» — в каюту корабля на три года. «Я совершенно очарован этой необычно симпатичной личностью», — признался он в письме Модесту 3 апреля. Константин Константинович также был в восторге от продолжения знакомства: «Я простился с Чайковским с видимым обоюдным радушием, как будто мы давно знакомы и дружили. Его близорукие глаза светились добрым, ласковым светом».

Приехав в Москву 2 апреля, Чайковский во время прогулки случайно встретился с великим князем Константином Николаевичем и провел еще один вечер в исключительно высоких сферах. Но почти всю следующую неделю, перед тем как 11 апреля отбыть в Каменку, он уделил время компании друзей и бывших коллег по консерватории. Между тем Анатолия перевели по службе в Москву, но до начала работы ему полагался отпуск, так что он смог вместе с братом отправиться к сестре. В конце апреля, к радости композитора, из Италии вернулись Модест, Коля и Алеша. С приездом последнего к Петру Ильичу вернулись покой и хорошее настроение. Следующие несколько недель он был занят правкой корректуры «Орлеанской девы», а в конце июня начал работать над сборником «Шесть дуэтов», посвященным племяннице Тане, и циклом из семи романсов.

Едва ли не самой любимой темой Надежды Филаретовны и Петра

Ильича (если не считать, разумеется, поощряемых ею его музыкальных произведений) был долго лелеемый ими обоими проект поженить детей из семейств фон Мекк и Давыдовых и таким образом породниться. Предсказуемым результатом этой идеи было то, что в отношениях между композитором и его благодетельницей образовался клин, значение которого нельзя недооценивать, имея в виду подготовку психологической почвы для разрыва между ними.

С самого начала фон Мекк проявляла повышенный интерес к родне своего корреспондента. Мы уже упоминали о ее внимании к семейному положению Модеста. По поводу любовных увлечений Анатолия она пишет: «Пусть лучше будет хорошо двоим, а одному временно дурно, чем двоим всегда дурно и одному тоже нехорошо с безнадежною любовью. Нигде так математика не может быть полезна, как в любви». В их переписке содержится множество информации о семье Давыдовых и обитателях Каменки, причем, судя по ее постоянным вопросам, интерес этот объяснялся не единственно вежливостью. Нельзя, впрочем, исключить, что ее разного рода хозяйственные поручения через Петра Ильича к Льву Васильевичу Давыдову делались главным образом для того, чтобы ублажить «бесценного друга». Чайковский одно время довольно неуклюже пытался протолкнуть своего зятя в управляющие Браиловом, но она отклонила эти поползновения с твердой деликатностью. Когда же над Браиловом нависла угроза продажи, Надежда Филаретовна была уже готова рассмотреть такую возможность, хватаясь, должно быть, за надежду, что рачительный Лев Васильевич Давыдов сможет спасти имение от разорения, она даже предложила ему купить Браилово. На этот раз отказался Давыдов: от первой идеи — под предлогом бремени обязанностей в Каменке, от последней — просто потому, что не имел достаточно денег. Во время всех этих переговоров ей не довелось лично встретиться ни с ним, ни с его женой.

Несмотря на уже известные нам взгляды меценатки на брак (она предпочла бы, чтобы люди размножались как амебы — путем деления, дабы избежать браков вообще), она очень заботилась об устройстве своих детей, но в первую очередь имела в виду устройство социальное. Если партия была социально приемлемой и молодые люди изъявляли соответственное желание, она, с ее упором на свободу выражения личности, давала согласие, обеспечивала детей материально и полагала, что дальнейшее должно совершаться под их собственную ответственность. Далеко не всегда союзы эти были удачными: в некоторых письмах (на эти темы достаточно сдержанных) можно обнаружить следы ее раздражения в

адрес тех или иных ее невестки или зятя. Примечательной — и характерной для стиля поведения Надежды Филаретовны — представляется ее частая готовность к согласию на брак кого-либо из детей; при этом она едва успевала узнать предмет их выбора и принципиально отказывалась от встреч с кем-либо из родственников.

Вот ее типичная тирада в письме Чайковскому во время обсуждения матримониальных планов обоих семейств: «Если Вы помните, что я Вам как-то говорила, что я заклятый враг браков, то Вы, быть может, подумаете, что я изменила свой взгляд на этот предмет, или Вы найдете нелогичным с моей стороны, при моих убеждениях насчет браков, заботиться об них для моих детей, то я скажу Вам, милый друг, что я ни на йоту не изменила своего отношения к бракам и что именно вследствие моего взгляда на них я и забочусь по этому предмету для моих детей. Я своих убеждений не навязываю никому. Перед своими старшими детьми я хотя и выражала свой взгляд на брак, но так как детей воспитывает гораздо больше общество, чем родители, то и мои три дочери вышли замуж и сын женился. Наученная теперь этим опытом, я вижу, что один в поле не воин и что я одна против всего общества бессильна даже на то, чтобы уберечь своих детей от зла и горя, поэтому перед младшими детьми я уже не развиваю своих теорий насчет брака, и так как убеждена, что они не избегут этого зла, то мне хочется, по крайней мере, оградить их от большего несчастья своей опытностью, отсутствием пустого рутинного увлечения, — одним словом, разумным выбором». Еще раз заметим, что, рассуждая подобным образом, фон Мекк так и не выдвигает позитивной альтернативы принципу брака, которому она «враг», но при этом невозможно, хотя и соблазнительно, видеть в ней сторонницу сексуальной революции и свободной любви. К плотской любви как таковой, как мы знаем, она также относилась неприязненно. Несмотря на приведенную выше декларацию, не создается впечатления, что Надежда Филаретовна особенно заботилась о «разумном выборе» младших детей. Как и в случае со старшими, только два аспекта их семейной жизни представлялись ей существенными (что также соответствовало ее натуре, поклоняющейся матриархату): их отношение к различным членам клана фон Мекк, иначе говоря, нежелательность разобщенности и ссор в этом огромном и разраставшемся семействе, и обращение супругов с выделенным им имуществом — то есть опять-таки учитываются общесемейные интересы. Единственным исключением в этой политике было устройство ею семейного будущего сына Николая, причем при видимом безразличии с ее стороны к желаниям и намерениям самого молодого человека. Именно его она хотела ввести в семью Льва

Васильевича и Александры Ильиничны Давыдовых и таким образом породниться со своим музыкальным идолом.

В письмах тех лет Надежда Филаретовна периодически обсуждает эту тему — ей хотелось найти среди дочерей Давыдовых подходящую невесту для сына. На вопрос, какая из племянниц подходит более всего, композитор дипломатично отвечал, что он любит одинаково всех четырех (хотя и каждую по-своему) и выбор сделать не может, предложив Николаю фон Мекку познакомиться с ними самому.

На фоне этих хлопот Чайковский получил утешительное известие от Антонины. В письме к фон Мекк от 30 апреля 1880 года он отмечал: «Письмо, которое я ей написал осенью, имело на нее хорошее влияние. Она наконец поняла, что чем менее будет мечтать о восстановлении своих отношений ко мне, чем менее будет напоминать мне о себе, тем для нее выгоднее. В течение этой зимы в награду за то, что она игнорировала меня, я дважды посылал ей экстраординарные вознаграждения. Послушавшись моего совета, она хочет получить место в Институте и кажется, ей это удастся».

В конце весны «известная особа» снова напомнила о себе: «Юргенсон пишет мне, что была у него ее мать (женщина столь же взбалмошная, сколько и ее дочь, но более злая) и просила его уговорить меня на развод, точно будто я когда-нибудь в принципе был против этого. Это напоминание не заставит меня ни на шаг отступить от принятой прошлой осенью программы действий. Если Вы помните, милый друг, я дал известной особе год сроку, в течение коего посоветовал ей постараться, наконец, понять, в чем заключаются ее интересы и что такое бракоразводный процесс. Если осенью я увижу из письма ее, что на сей раз она серьезно понимает, в чем дело, или если от имени ее явится ко мне деловой человек, облеченный ее полною доверенностью, тогда я только начну, может быть, помышлять о начатии дела. Судя по ее хорошему поведению в этом году (она ни разу не писала ни мне, ни родным моим), она, кажется, начинает одумываться».

Идиллия, равно как и «хорошее поведение» его супруги, внезапно закончилась, когда он получил от Антонины письмо, датированное 25 июня 1880 года. До нас дошел его текст, поражающий бессвязностью слога и неспособностью понять реальное положение вещей: «Я согласна на Ваше предложение. Я не хочу быть даже номинально женой человека, который так низко клеветает [на] женщину, не сделавшую ему никакого зла. Как же Вы и Ваши братья решаетесь рассказывать всевозможные небылицы родственнице Вашей Литке (Амалия Васильевна, урожденная Шоберт, двоюродная сестра Чайковских. — А. П.)? Да и она-то подтверждает свою

благовоспитанность, распуская эти сплетни по Петербургу. Отчего же Вы не начали с себя, не рассказав ей про Ваш собственный ужасный порок, а потом судили бы и меня. После всего этого Вы налегаете в своих письмах на свою доброту и благородство. Да и где же эти качества и чем они подтверждаются? Не трудитесь, пожалуйста, отвечать мне. Мамап была так добра, что приняла на себя переговоры с Вашим поверенным способствовать исходу этого дела. Между нами все кончено, и потому попрошу Вас, милостивый государь, не вдаваться в длинные переписки, а касаться только этого дела. Но повторяю Вам еще раз, что грязных и неправдоподобных бумаг подписывать не буду». Одновременно написала и ее мать, которая предлагала «во избежание издержек на скандальное бракоразводное дело» выдать жене постоянный паспорт и полное единовременное обеспечение. В свою очередь Антонина Ивановна должна была навсегда оставить Москву и ничем не напоминать о себе. «Вы человек гениальный, — писала Милюкова-старшая, — Вам дорого Ваше доброе имя, мы не наложим на него пятна и исполним данное Вам честное слово, как следует честному дворянскому семейству».

Об этом письме Чайковский сообщил Модесту 14 июля 1880 года: «Она пишет, что может доказать хрустальную чистоту своей дочери, что по рождению Ант[онина] Ив[ановна] в сравнении со мной аристократка, что она не позволит мне кидать грязью в ее дочь (они всегда друг друга ненавидели, и в сентябре 1877 я получил от мамыши письмо, где она в самых черных красках описывает характер своей дочки), что мои братья клеветники, что кузина Литке невежа, и т. д. и т. п. В последнее время я часто подумывал о разводе. Но скажи, Модя, возможно ли с этими сумасшедшими дело вести?»

Двенадцатого июля Петр Ильич поделился своим душевным состоянием с фон Мекк: «Свиданье с ними [каменскими родными] рассеяло отчасти отвратительное состояние духа, навеянное письмом известной особы и ее мамыши! Если б Вы только знали, милый друг, до чего может дойти безумие, соединенное с абсолютным бессердечием и отсутствием чувства человеческого достоинства»; «я вполне уже оправился от маленькой неприятности, и теперь стыжусь, что из-за пустяка, подобного письму изв[естной] ос[обы], находил возможным испытывать тоску и расстройство. В этой личности, даже в почерке руки ее, есть какой-то убийственно действующий на меня яд! От одного вида адреса, написанного ее рукой, я тотчас же чувствую себя больным и не только морально, но и физически. Вчера, например, у меня так болели ноги, что я еле двигался и чувствовал целый день невыносимую хандру и слабость, в



которой совестно было признаться Вам». Так в 1880 году была в четвертый раз и окончательно похоронена идея развода, на сей раз, впрочем, толком и не родившись.

В июле 1880 года Чайковский в последний раз гостил у Надежды Филаретовны в Браилове и Симаках — разумеется, после того, как она уже отбыла за границу. Несмотря на взаимную (и даже усугубленную) тактичность, оба корреспондента время от времени совершали психологические просчеты, более ощутимые, нежели обычная неловкость, всегда существующая при тесных отношениях, даже если они не выходят за рамки ' эпистолярных. Мы не обладаем со стороны Надежды Филаретовны коррелятом, каким являются письма Петра Ильича братьям, так что о моментах ее недовольствия судить трудно — разве что по молчанию или уклонению от вопросов и просьб с его стороны. Из писем Чайковского родственникам мы знаем о возникавшем иногда раздражении композитора, не всегда, впрочем, адекватном его причине. Вообще же он постепенно привыкал к тому, что первоначально; полагал чудесным даром судьбы, и стал считать щедрую духовную и материальную помощь «лучшего друга» чем-то само собой разумеющимся.

Читаем, например, в письме Анатолию из Парижа от 20 февраля/4 марта 1879 года: «Злился на Надежду Филаретовну. Да, на нее! Вот уж правда, что у бабы волос долог, а ум короток. Уж, кажется, умная и тонкая женщина, кажется, я достаточно ей себя описывал. Представь же, что она в своем последнем письме спрашивает меня: “Отчего вы не бываете у Тургенева и Виардо?” Меня это очень разозлило, ибо нужно снова в ответ на это изобразить ей всю мою нелюдимость, мою ненависть к знакомствам». Это, конечно, яркий пример его мимолетной ипохондрической неврастении — ему хотелось на ком-то выместить дурное настроение, и фон Мекк здесь, в сущности, ни при чем (тем более что впоследствии он с удовольствием посещал салон Виардо).

Зато в другом случае в композиторе заговорило чувство гордости, делающее ему честь, хотя благодетельница проявила лишь легкую бестактность, на мгновение позабыв разницу в психологии очень богатых и среднего достатка людей. Из письма Модесту от 21 июля 1879 года: «Удивила меня Надежда Филаретовна. Узнав, что Саше полезно было бы съездить за границу или в Крым и что встречаются тому многочисленные препятствия, она загорелась желанием помочь этому, и как ты думаешь, что она предложила? Сначала она написала мне, чтобы я привез, когда поеду к ней, Митю, Володю и Юрия и сдал их бы ей под надзор гувернеров и гувернанток, причем я бы жил в своем фольварке, а они в Браилове, и она

бы раз в неделю посылала их ко мне. На другой день пришло новое письмо, где она развивает ту же тему, воображая, что вся трудность в том, что Саше некуда сунуть детей на время отъезда, и кроме того просит меня самым деликатным образом предложить Саше на поездку три тысячи рублей!!! Непостижимо странная женщина! Как много раз я описывал ей обстановку, семейные отношения и характеры всех членов семьи, как часто в последнее время я объяснял причину затруднений к Сашину отъезду, и как странно она себе все это представляет. Конечно, нельзя не быть тронутым ее участием, но мысль, что она Бобика считает каким-то жалким ребенком, которого не знают, куда деть, и что Юрию она предлагает быть маленьким своим приживальщиком, меня сердит». Однако степень негодования и здесь не соответствует поводу: в конце концов, как признает и сам Чайковский, с ее стороны просто проявились неумеренные усердие и участие. Невольно думается, что, раздражаясь по подобным поводам, Петр Ильич подсознательно находил облегчение собственной эмоциональной энтропии, рожденной ощущением финансовой зависимости.

Временами он умел отказаться от дополнительных сумм, посылаемых ему фон Мекк. Его нелегкая борьба с собой, происходившая при этом, доказывает, с одной стороны, его врожденную порядочность (уже одно это опровергает обвинения композитора некоторыми биографами в циничном паразитизме), но с другой — демонстрирует избалованность и даже испорченность (в которых, впрочем, он сам охотно кается), вызванную постоянной уверенностью в денежном благополучии. Однако в глубине души, даже проявляя «гражданское мужество», Петр Ильич иногда хотел иметь дополнительные субсидии и делился этим желанием с братьями: «От m-me Мекк поскучаю письма и приглашение, но об каких-нибудь экстраординарных выдачах нет и помину, а между тем я прихожу в ужас, когда вспомню о своих долгах и что 1 октября у меня не будет ни копейки. Ах, как я избаловался и как отвыкаю ценить все, чем я обязан этой чудной женщине».

Деньги продолжали проматываться, их требовалось все больше и больше, и в письмах братьям Петр Ильич высказывает свое недовольство на этот счет. Некоторые из таких заявлений не делают ему чести — например, его реакция в письме Модесту от 4 июля 1880 года на роскошный подарок — драгоценные часы с изображением Жанны д'Арк, заказанные фон Мекк в Париже и оставленные в Браилове к его приезду. Письмо выдает состояние, близкое к маниакальному: «До Браилова я страдал от жары, а также от волнения: “приедут ли лошади, не сделала ли Н[адежда] Ф[иларетовна] распоряжения, когда я явлюсь, прогнать меня” —

и т. п. глупости лезли в голову... Я помешался в последнее время на мысли, что Н[адежда] Ф[иларетовна] изменила мне, или же, напротив, усугубила свою заботливость, и между прочим в тайне души я надеялся на оставленный для меня запечатанный ящичек с... несколькими тысячами, в которых чертовски нуждаюсь. Приезжаю торжественно, вхожу, спрашиваю: есть ли письма? — Есть. Иду в свой кабинет и нахожу два письма и запечатанный ящичек!.. В волнении распечатываю, раскрываю... но вместо тысяч — часы и просьба принять их в подарок. <...> Часы, наверное, стоят несколько тысяч франков. <...> Работа тончайшая, необыкновенно изящная. Господи, какая милая эта Н[адежда] Ф[иларетовна]! Но, между нами будь сказано, я предпочел бы получить не часы, а их стоимость». И Анатолию 3 июля: «Н[адежда] Ф[иларетовна] так избаловала меня предупреждением моих нужд и желаний, что я почему-то рассчитывал, что она по инстинкту узнает, что мне теперь нужно. Но я ошибся и теперь вижу, что до осени у меня ни коп[ейки] не будет».

Однако после кратких минут досады Петр Ильич превратил подаренные часы в настоящий талисман, как того и хотела «лучший друг», дорожил ими чрезвычайно и никогда с ними не расставался, пока они не были украдены у него в 1891 году. Для разрешения денежного кризиса композитор обратился не к фон Мекк, а к Юргенсону за займом или авансом в счет будущего гонорара: «В течение прошлой зимы я сильно зарвался, т. е. не только забрал вперед за много месяцев определенную месячную сумму, получаемую мною от m-me Мекк, но и сделал множество долгов! <...> Конечно, стоило бы только написать той же m-me Мекк, и она не задумываясь сделала бы это.

Но я не могу, не могу, ибо есть всему границы. Она бы дала мне эти деньги без отдачи. Иначе она никогда не делает, а я ни за что на свете не хочу злоупотреблять ее чрезмерной добротой и деликатностью. Она подарила мне недавно часы... которые обошлись ей в тысяч десять франков. О! как бы я предпочел получить эти деньги вместо часов, но что делать, — превратить это поистине художественное произведение в деньги я не могу и не хочу. Это было бы слишком бессовестно».

Чайковский еще был в Браилове, когда фон Мекк написала 10/22 июля ему из Интерлакена (Швейцария), рассказав среди прочих семейных новостей, что «два дня назад... приехал молодой пианист из Парижа, только что окончивший курс консерватории avec le 1-г ргix (с первой наградой. — *фр.*). <...> Я его выписала для летних занятий с детьми, для аккомпанирования Юле для пения и для игры со мною в четыре руки. Этот юноша играет хорошо со стороны виртуозности, техника у него блестящая,

но выражения собственного участия в том, что исполняет, нет нисколько, но он еще и слишком мало жил для этого; он говорит, что ему двадцать лет, но на вид не более шестнадцати». И только в следующем письме из французского портового города Аркашона она вскользь упоминает имя молодого французского пианиста — «М. де Бюсси». Чайковский никак не отреагировал на эту маленькую новость. В письме от 7/19 августа Надежда Филаретовна уже с бблыпим энтузиазмом рассказывала о своем новом учителе музыки: «Вчера я в первый раз решилась играть нашу симфонию с своим французиком и поэтому сегодня нахожусь в ужасно нервном состоянии. Я не могу ее играть без лихорадки во всех фибрах, не могу оправиться от впечатления целые сутки. Исполнял ее мой partner не хорошо, но разыгрывал великолепно. Это его единственное, но очень обширное достоинство; читает сочинения, даже Ваши, а *livre ouvert* (с листа. — **фр.**). Второе его достоинство, так сказать, рефлексивное, это то, что он в восторге от Вашей музыки. По теории он ученик Massenet, и, конечно, в его глазах Massenet есть великое светило, но вчера я играла с ним также Вашу сюиту, и он был в совершенном восторге от фуги и выразился так: “Dans les fugues modernes je n’ai jamais rien vu de si beau. Monsieur Massenet ne pourrait jamais faire rien de pareil” (Из современных фуг я красивее не встречал. Г-н Массне никогда бы не создал ничего подобного. **фр.**). А немцы ему не нравятся, он говорит: “Ils ne sont pas de notre temperament, ils sont si lourds, pas clair” (Они не нашего темперамента, они такие тяжелые, неясные. — **фр.**). Вообще он есть чистейшее парижское, так сказать, бульварное создание. Ему, оказывается, восемнадцать лет, и он уже окончил консерваторию avec premier prix. Блаженны те, которые учатся в Парижской консерватории. Сочиняет он, впрочем, очень мило, но и тут чистый француз».

Восемнадцатилетний «французик» показал себя не только необычайно одаренным музыкантом, но и очаровательным и Нетребовательным гостем. Фактически все семейство фон Мекк влюбилось в его чувство юмора, все называли его «Bussik», «Bussikov» или «le bouillant Achille» (горячий Ахилл. — **фр.**). Полное же его имя — Клод Дебюсси — почти никем не произносилось. Летние месяцы 1881 и 1882 годов он провел в окружении семьи фон Мекк в России и за границей. Эти три лета стали необычайно важными в становлении Дебюсси как музыканта, и наиболее значимое влияние на его будущее творчество оказали сочинения Чайковского, особенно Четвертая симфония и «Ромео и Джульетта». О его ранних работах Петр Ильич практически не имел представления. Просмотрев по просьбе фон Мекк присланный ею «Danse bohémienne» (Цыганский танец,

— *фр.*), отозвался: «Очень миленькая вещица, но уж слишком коротка. Ни одна мысль не высказана до конца, форма крайне скомкана и лишена цельности».

При всем сказанном, преобладание искренности в их переписке не подлежит сомнению. «То, что Вы делаете для меня, не может сделать никто кроме Вас, потому что надо быть Вами для того, чтобы это делать», — писала Чайковскому фон Мекк 7 августа 1880 года. Или обезоруживающее в своей непосредственности (и тем самым заранее отвергающее мысль о любой фальши) начало его письма от 26 августа того же года: «Мне что-то не спится, и я сажусь писать Вам, милый, дорогой друг! Где-то Вы теперь?» И все в той же интонации два года спустя она — ему: «Вы — мой благодетель, потому что Вы один доставляете мне светлые минуты нравственного наслаждения, Вы мирите меня с жизнью, с людьми, даете мне забывать всякое зло, поддерживаете мою веру в идеал, потому что я вижу его в Вас. В Вашем нравственном облике я вижу свое божество, Ваша музыка, Ваш гений открывают мне небо; в Вас я получаю все нравственные удовлетворения, и без Вас моя жизнь была бы непроглядная тьма. Не примите этого за увлечение, за утрировку, милый друг мой; уверяю Вас, что это буквально верно. Раскрывать перед Вами мою жизнь и ее аксессуары во всей их наготе мне не хочется, но поверьте мне на слово, дорогой мой, что в моей жизни Вы играете роль солнца, и да будете Вы благословенны за это, пусть святое провидение снизойдет на Вас свои блага и пошлет Вам все душевные наслаждения!»

В Каменке десятилетний Боб оставался предметом поклонения Чайковского, и, чувствуя это, племянник изобретал новые способы восхищать дядю. В письме Модесту Петр Ильич сообщал: «[Боб] обнимает меня и в это время в ухо мне высочайшим пискливым голосом поет: “Питуся! Отциво ты миня абизяись, мне боня, боня, боня!” Господи, до чего это у него мило выходит!»

Даже в гостях у сестры композитор находил возможности покровительствовать местным мальчишкам. Его одержимость желанием опекать и поддерживать юношей самого разного свойства и социального происхождения, конечно, основывалась на эротическом интересе. В отличие, например, от Николая Рубинштейна, в свою консерваторскую бытность и позднее Чайковский никогда не способствовал карьерному продвижению молодых женщин. В Каменке предметом его пристального любовного, с мазохистическим оттенком, внимания был, как мы знаем, слуга Давыдовых Евстафий. 9 августа он писал Модесту: «Уплатил свои долги Алеше и Евстафию, в которого влюблен больше чем когда-либо.

Господи, что за ангелоподобное существо и как бы я хотел быть его рабом, его вещью, его собственностью! Когда читал в твоём письме эпизоды с Ваней (мальчик-слуга, компаньон Коли Конради. — А. П.), то тотчас же вспылал к нему эфемерной страстью. Все эфемерно, все преходяще, и лишь... красота есть абсолютом, перед которым я пресмыкаться буду во прахе всю жизнь мою».

В это же время композитор покровительствовал пятнадцатилетнему Бонифацию Сангурскому, сыну местных жителей, которого посылал учиться живописи в Москву, выдав денежное пособие — юноша отличался большими способностями к рисованию. 12 июня Петр Ильич писал брату: «Толичка, позволь тебе дать поручение. Побывай на Мясницкой в Училище живописи и ваяния, против почты, и узнай какие условия приема и есть ли пансионы? Дело в том, что старший сын Сангурского обнаруживает громадные способности и нужно будет поместить его туда». Анатолий, вероятно, приложил усилия и устроил мальчика в училище. 16 сентября ему же: «Какой милый мальчик Бонифаций: он уже два раза писал отцу. <... > Он в высшей степени доволен, хвалит и обхождение, и еду и всю обстановку». Однако затея оказалась дорогостоящей, и композитор обратился за содействием к «лучшему другу»: «Решаюсь обратиться к Вам, дорогой друг, с нижеследующей просьбой. Здесь, в Каменке, у одного из служащих в конторе оказался сын, мальчик лет пятнадцати с замечательным дарованием к живописи. Я решил, что было бы жестоко не дать ему средств учиться, и поэтому отправил в Москву и поручил Анатолию поместить его в Училище живописи и ваяния. Все это уже устроено, но, признаться сказать, содержание мальчика оказалось гораздо дороже, чем я думал. И вот мне пришло в голову просить Вас о следующем. Не найдется ли в Вашем доме какой-нибудь уголок, где бы мальчик этот мог жить, но, разумеется, так, чтобы за ним мог быть какой-нибудь присмотр. Нет ли какой-нибудь маленькой комнатки с кроватью, комодом и стулом, где бы он мог спать и заниматься, но так, чтобы, например, Ив[ан] Васильев[ич] хотя немножко бы следил за ним и руководил бы его? Мальчик нравственности самой безупречной, прилежен, добр, послушен, чистоплотен, ну, словом, действительно хороший мальчик, и я могу ручаться, что никогда никто на него не пожалуется. Что касается его прокормления, то это мне очень легко и удобно устроить».

Надежда Филаретовна просьбу отклонила, но со свойственными ей тактом и щедростью: «Что касается второго дела, о котором Вы пишете, друг мой, т. е. помещения юноши у меня в доме, я очень жалею, что не могу именно так исполнить этот проект, и скажу Вам почему. У меня в

доме идут большие каменные работы по ремонту дома, присмотрщиком за ними кроме инженера поставлен Ив[ан] Васильевич], и ему поэтому невозможно уделить время на присмотр за мальчиком. Насчет самого помещения скажу Вам, что я сделала окончательное распоряжение, чтобы в доме никто не жил, и на это я была вынуждена тем, что когда я позволяла кому-нибудь занимать комнаты без меня, то, возвращаясь, я находила беспорядок, недочет каких-нибудь вещей, порчу их, и на все вопросы об этом всегда оказывалось, что это, вероятно, сделал тот или та, которым я позволяла жить в доме. <...> По всем этим причинам я надеюсь, милый друг мой, что Вы не упрекнете меня в эгоизме, если я не помещу у себя в доме молодого человека, а попрошу Вас усердно позволить мне принять участие в Вашем добром деле и дать квартиру юноше в виде тридцати рублей в месяц. Таким образом его можно поместить в семейство и поручить присматривать за ним. Я надеюсь, что Вы не откажете мне в этом желании, милый друг мой. Я в таком случае напишу брату, чтобы он выдавал такую сумму ежемесячно или за два месяца, как Вы найдете лучше, и попрошу Вас указать мне, кому выдавать эту стипендию».

На это последовал ответ Чайковского 27 сентября: «Мне очень совестно перед Вами, милый друг мой! Зачем я просил Вас о моем протекже? Как я не догадался, что Вам неудобно будет поместить его в Вашем доме? Между тем чувствую, что Вам все-таки неприятно было отказывать в просьбе. Что касается субсидии, которую Вы ему предлагаете, то благодарю Вас от глубины души. Я очень тронут Вашей бесконечной добротой и щедростью, но на сей раз не злоупотреблю готовностью, с которой Вы приходите на помощь всем нуждающимся. Дело в том, что мне удалось приютить теперь мальчика в очень хорошем семействе и за столь дешевую плату, что это меня нимало не тяготит. Еще раз благодарю Вас!» Завершила эту тему реплика Надежды Филаретовны: «Мне очень, очень жаль, милый друг, что Вы не захотели дать мне участие в добром деле Вашем для мальчика-художника. Мне было бы очень приятно участвовать в этом». Петр Ильич продолжал оказывать юноше материальную помощь на протяжении его учебы. Впоследствии Бонифаций стал учителем рисования. Четыре его пейзажа, подаренные композитору, и поныне находятся в дом-музее в Клину. Упоминается о Сангурском однажды и в дневнике — 10 мая 1884 года: «Перед обедом приходил Вотя Сангурский с рисунками и этюдами».

Одним из самых неординарных случаев протектирования со стороны композитора имел место зимой 1880 года. Еще в октябре 1879 года он завязал переписку с молодым человеком — Леонтием Ткаченко, который из

любви к музыке просил взять его в лакеи. В середине декабря 1880 года Петр Ильич вдруг получил пакет, в котором Ткаченко возвратил ему все его письма, «дабы они не достались в чужие руки после смерти». Поведав о глубоком и безысходном отчаянии и отвращении к жизни, юноша объявил, что «решился на самоубийство». Все это было написано в столь трогательных и искренних выражениях, что Чайковский был потрясен и плакал от сознания своего бессилия предупредить его смерть. В письме не было указано ни адреса, ни даты — казалось очевидным, что Ткаченко действительно решился на этот шаг. Однако по штемпелю на конверте можно было определить, что письмо отправлено из Воронежа, где у Анатолия оказался знакомый. Была послана срочная телеграмма с просьбой разыскать Ткаченко и предотвратить его самоубийство. Через несколько дней пришло известие, что молодой человек найден и ждет письма от композитора, которое тот незамедлительно выслал, вложив туда 50 рублей и предложив приехать 10 января в Москву для личного разговора. «Что из этого выйдет, не знаю, — писал он фон Мекк 14–17 декабря 1880 года, — но я счастлив, что удержал его от гибели. Судя по письмам, это молодой человек странный, сумасбродный, но умный и очень честный и хороший».

В конце декабря в Каменку пришло еще одно письмо от Ткаченко, которое Чайковскому очень не понравилось. Он, как бывает в подобных случаях, ожидал, что его поблагодарят за оказанную психологическую помощь. Но ошибся: молодой человек дал понять, что напрасно Петр Ильич хочет уверить его в существовании добродетели (хотя последний ни о чем подобном не писал), что ему не удастся доказать, будто на свете стоит жить, что в деньгах он не нуждается, но впрочем, он все-таки приедет 10 января и выслушает его увещевания. В письме фон Мекк от 30 декабря 1880 года Чайковский выразил свое разочарование этим странным случаем: «Казалось, что юноша гибнет оттого, что ни в ком не встретил опоры и сочувствия. Является человек, который предлагает ему и то и другое, но в ответ получает пошлые фразы о том, что добродетель в людях иссякла, и как будто из милости соглашается принять искренно протянутую руку помощи. Если г. Ткаченко окажется пустым сумасбродом, мне будет очень досадно на себя. Но что было делать? Как было не попытаться спасти человека от гибели?»

История Ткаченко была типичной для того времени. Романы Тургенева и Достоевского полны героями-разночинцами, с обостренным самомнением, которые, утерев представление о традициях и не будучи способны найти свое место в жизни, впадали в крайности. Некоторые из них обращались к религии, вплоть до ухода в монастырь, другие



присоединялись к революционным движениям. Но был и еще тип молодых людей, которые, подобно Ткаченко, находились в состоянии неопределенности и часто балансировали на грани безумия или самоубийства.

«В общем он симпатичен, — писал Чайковский фон Мекк, после встречи с Ткаченко 10 января и подводя итог этой истории. — Страдания его происходили от несоответствия его стремлений и порывов с суровой действительностью. Он умен, развит, а между тем ради куска хлеба приходилось служить кондуктором при железной дороге. Ему страстно хочется отдаться музыке. Он очень нервен, робок, болезненно застенчив, и вообще нравственно больной и надломленный юноша. <...> Мне его до крайности жалко, и я решился взять его на свое попечение. Теперь я решил на это полугодие отдать его в консерваторию, а затем увижу, нужно ли будет удерживать его в ней или обратиться к другой деятельности».

В России XIX века патронаж являлся отличительной чертой всех слоев общества. Не говоря уже о продвижении избранных по социальной лестнице, покровительство художникам и артистам способствовало процветанию культуры, как это было в случае с меценатской деятельностью Надежды фон Мекк. Иногда этим злоупотребляли, как, например, Мещерский. Равным образом щедрое даяние могло стать способом самоутверждения и освобождения от эмоциональной или даже сексуальной фрустрации, подобно тому как это неоднократно происходило с Чайковским.

## Глава двадцатая. Бедный солдатик

С наступлением осени 1880 года Чайковскому предстояло новое испытание, парализовавшее его творческую жизнь немногим меньше, чем матримониальный кризис, случившийся три года назад. Его слуге Алеше исполнился 21 год, и это означало, что он может быть призван в армию.

Когда Петр I в начале XVIII века впервые создал постоянно действующие русские вооруженные силы, военная служба была пожизненной. Титулованные дворяне в большинстве своем служили офицерами, остальные классы обязаны были обеспечить определенное количество рекрутов, сначала это были добровольцы, затем — избранные по жребию. Со временем срок действительной службы постепенно сокращался и к 1870-м годам составлял семь лет. Но существовавшая сложная система вербовки, позволявшая прибывшим к месту службы получить чин и даже освобождение от воинской повинности, неизбежно вела к взяточничеству и подкупам. В 1874 году правительство Александра II было вынуждено провести ряд назревших военных реформ. Была узаконена обязательная мобилизация для всех гражданских лиц мужского пола среднего и низшего классов по выбору, определяемому ежегодной жеребьевкой. К 1880 году срок службы сократился до четырех лет. Однако существовали некоторые привилегии, дающие право на большее сокращение срока или даже полное освобождение от службы — если потенциальный новобранец собирался учиться и получать профессию. По этой причине композитор прилагал всяческие усилия во имя любимого слуги: подготовил его к сдаче экзамена, дающего привилегии, в местной начальной школе в Каменке, вступил в контакт со всеми знакомыми в военной сфере и страстно мечтал о том, что Алешу минует жребий.

Всеми этими заботами он делился с фон Мекк, которая в конце концов начала передавать поклоны слуге «обожаемого Петра Ильича». «Лучший друг», жаждавшая видеть его во Флоренции, куда он не мог выехать в ожидании Алешиной участи, давала советы: «Вот еще что мне пришло в голову. Мне бы очень не хотелось, чтобы Вы были здесь без Алеши, и вот я вспомнила, что ведь за него может вынуть жребий кто-нибудь из его близких родных, в особенности, если у него есть мать, и ему нет надобности находиться при этом лично, и если бы жребий был вынут неудачно, ему, конечно, об этом сообщат... Подумайте об этом, милый мой, проверьте у сведущих людей то, что я Вам здесь говорю, и возьмите

Алексея с собою на Villa Bonciani».

Петр Ильич ответил: «Насчет того, чтобы взять с собой Алешу, то скажу Вам, дорогой друг, что это невозможно. Во-первых, за неделю до призыва ни в каком случае заграничного паспорта не дадут. Во-вторых, дабы получить его, нужно сначала побывать в волости и достать увольнительное свидетельство взамен прошлогоднего, которое он просрочил. В-третьих, так как он ни в каком учебном заведении не находится, то ему не будет можно поручить вынудить жребия другому. В-четвертых, ему во всяком случае по своим домашним делам надо быть у себя в деревне. А главное, нет никакой надежды, чтобы ему дали паспорт теперь, когда даже в прошлом году, за год до призыва, получение паспорта не обошлось без хлопот, и если б не один знакомый в канцелярии губернатора, то пришлось бы получить решительный отказ». А 14 октября писал: «Но у меня на душе все-таки кошки скребут. Завтра или послезавтра уезжает Алексей, и мне разлука с ним не легко дастся. Трудно лишиться (может быть, надолго) человека, с которым связывает десятилетнее сожителство. Мне и себя жаль, а главное, его жалко. Ему придется перестрадать очень много, пока не привыкнется с новым положением. Чтобы заглушить свое грустное чувство, я усиленно работаю».

Закончив третью версию увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», он погрузился в работу над двумя совершенно разными произведениями — серенадой для струнного оркестра и торжественной увертюрой «1812 год». Решительно убежденный в том, что серенада заслуживает одобрения, он писал о ней фон Мекк как о «вещи прочувствованной» и потому «не лишенной настоящих достоинств», а об увертюре «1812 год», ставшей впоследствии знаменитой, отозвался с меньшим энтузиазмом, поскольку это был заказ ко дню освящения храма Христа Спасителя, построенного в честь победы над Наполеоном, а композитор не любил заказов и сочинял ее, как отмечал сам, «без теплого чувства любви», считая эту увертюру «очень громкой и шумной».

В напряженном ожидании исхода жеребьевки он обратился 27 октября 1880 года к виновнику своих страданий, выехавшему из Каменки в Москву: «Милый и дорогой мой Леня. <...> Как нарочно, с самого твоего отъезда я все нездоров. <...> Насколько мне было бы легче все это переносить, если бы ты был со мной! Я очень благодарен Евстафию, он очень хорошо за мной ходит, но все-таки я, ежели нужно, о тебе думаю и ласкаю себя надеждой, что ты не попадешь в солдаты. <...> Получил сегодня твое письмо, оно меня очень тронуло. Милый Леня, знай, что бы ни случилось, пойдешь ты или не пойдешь в солдаты, но всегда ты будешь мой, и никогда

ни на минуту я тебя не забуду. Уж если тебе и суждено пойти в солдаты, то буду считать нетерпеливо дни и ждать, когда ты ко мне вернешься. Целую тебя крепко, крепко и нежно обнимаю. Дай Бог тебе здоровья и всяких благ!»

Одиннадцатого ноября Чайковский приехал в Москву, ожидая вестей о будущем Алексея. Через шесть дней стало известно, что жребий все же выпал на долю любимого слуги: его забрали по месту его жительства в Клину. 17 ноября Петр Ильич написал два отчаянных послания. Одно Модесту: «Алешу взяли в солдаты. Я живу сносно только потому, что приходится много пить! Если б не постоянные обеды и ужины с выпивкой, то я буквально сошел бы с ума от этой жизни». Другое «лучшему другу»: «Одно знаю, что у меня на душе очень скверно. Последнему не мало способствует известие, что мой Алексей попал в солдаты».

Лишенный привычного общества Алексея, Чайковский испытывал в Москве «странное ощущение», описав его фон Мекк 26 ноября после отъезда в Петербург: «Мне казалось, что я давно уже умер, что все то, что было прежде, кануло в бездну забвения, что я какой-то совсем другой человек, из другого мира и другого времени. Мне трудно словами выразить это ощущение, крайне болезненное и мучительное. Приходилось заглушать эту нравственную боль или усиленной работой, или усиленными возлияниями Бахусу. Я прибегал очень широко к этим двум средствам, и в результате — крайнее утомление». И в начале декабря он писал ей: «Не малое значение в моем грустном состоянии, нравственном и физическом, имеет отсутствие моего бедного Алешки!»

Все следующие недели работа в Москве и в Петербурге лишь отчасти помогла Чайковскому отвлечься от тревог. О местонахождении Алешки Петр Ильич пока ничего не знал. «Он обещал написать мне, как только его положение несколько определится, но до сих пор тщетно жду письма от него», — писал композитор 9 декабря Надежде Филаретовне, ставшей для него, как и Модест, главными поверенными в текущих делах его слуги. Наконец он нашел его: «Алеша мой, благодаря участию некоего генерала Клемма, командующего московскими войсками, которому мне случилось в прежнее время оказывать услуги в виде исправления сочиняемых им романсов, переведен в Москву и должен быть здесь если не сегодня, так завтра».

Четырнадцатого декабря 1880 года он оповестил Модеста: «Алеша оказывается здесь в Екатеринославском полку. Я ездил в казармы искать его, но меня почему-то не пустили; писал ему, чтобы он пришел сегодня ко мне, но он не пришел. Почему — не понимаю. Вот до чего я дожил, что

Алешу нужно искать. Как все это странно и непривычно». Н. Ф. фон Мекк 17 декабря адресованы следующие строки: «Бедный, бедный мой Алеша! Вчера я был у него в Покровских казармах. На меня эта душная, грязная казарма, убитый и тоскующий вид Алеши, уже одетого по-солдатски, лишенного свободы и обязанного с раннего утра до вечера быть на ученье, — все это произвело тяжелое и удручающее впечатление!» Модесту 18 декабря: «Алеша! Сколько слез пролил после того, как был у него в казарме! Он пришел в свое отделение, где я долго ждал его в числе других новобранцев, в грязной белой парусинной рубашке, с уродливым кепи на голове. В казарме так темно, что я долго искал его, пока не различил в толпе других солдат. Он имеет вид совершенно убитый. Я просидел у него около получаса, окруженный всей толпой. Фельдфебель на просьбу отпустить [его] со мной на полчаса чай пить отвечал решительным отказом. Алеша, говоря с ним, робеет, конфузится и теряется. Потом их повели в баню, причем, когда строились, я сам видел, как фельдфебель дал одному мальчику подзатыльник. Их будят в 5 часов утра, учат на плацу до 12, после обеда опять учат и т. д. и т. п. Читать и писать нельзя и думать. И так жить ему придется 4 года! Фельдфебель позволил Алеше проводить меня до ворот. Мы оба молчали, потому что оба страшно хотели плакать, и голос Алеши дрожал, когда он прощался со мной, что я едва вынес эту мучительную минуту. Приехавши домой я написал Фане (Митрофан Петрович Чайковский, двоюродный брат композитора. — А. П.) отчаянное письмо, прося его написать командиру полка, с которым он дружен, прося как-нибудь облегчить Алеше его положение. Рубинштейна просил поговорить с гр[афом] Шуваловым о том же. Без сомнения, время и привычка многое сгладят и потом будет легче, — но теперь ужасно! Завтра я опять у него буду. Мне кажется, что только теперь я настоящим образом узнаю всю силу моей привязанности к Алеше. Но об этом лучше пока не распространяться, ибо это теперь очень болезненное место моего нравственного организма».

В письме Модесту 21 декабря читаем: «Третьего дня вечером у Губертов со мной неожиданно случился страшный нервный припадок, какого еще никогда со мной не было. Я думаю, что непосредственная причина его — Алеша, у которого я в тот день был и которого мне так жаль, что нет слов. Впрочем, это было разрешение всех долго сдерживаемых терзаний, московских и петербургских. Теперь мне легко и хорошо». К этому письму сделана характерная и многозначительная приписка: «Если вздумаешь писать Алеше, помни, что письма читает начальство».

В тот же день, 21 декабря, Чайковский отбыл в Каменку, где решил встретить Новый год в кругу близких. Он уже знал, что без любимого слуги не воспользуется приглашением Надежды Филаретовны приехать в Симаки: «Я решил в Симаки не ехать и написал о том Над[ежде] Фил[аретовне]. Боюсь, что буду там слишком сильно чувствовать отсутствие Алеши. Эта рана слишком еще свежа. В Каменке я тоже буду страдать от этого, но там я не один, и легче будет переносить разлуку с моим милым, бедным солдатиком».

Письма от Алеши были исполнены «раздирающей грусти» от этой разлуки. 27 декабря «лучший друг», хотя и огорченная отказом Петра Ильича от ее очередного приглашения, с сочувствием ответила на гнетущее описание казармы: «Какое на меня грустное и тяжелое впечатление производит настоящее положение Вашего бедного Алеши. Ему, скорее товарищу, чем слуге такого барина, как Вы, развитому и понимающему неизмеримо больше той среды, в которой он теперь находится, так много и так полезно видевшему, наконец, избалованному даже материальным комфортом, настоящая обстановка должна быть невыносима, потому что ведь это на несколько лет. Ужасно жаль мне его, просто у меня слезы выступают, когда я углубляюсь мыслью в его положение».

В завершающем год большом письме к фон Мекк, начатом 30 декабря и законченном 5 января 1881-го: «Получил вчера [1 января] письмо от Алеши. Страшно тоскует и жалуется на испытываемые им страдания от общества пьяных по случаю праздников товарищей. По-видимому, вся казарма обратилась на время в кабак и в грязный вертеп всевозможных безобразий». Модесту 2 января 1881 года: «Чем дальше, тем больше и острее я страдаю от отсутствия Алеши. Много, много было пролито слез. Письма его убийственно грустные; видно, что он очень страдает и тоскует, несмотря даже на то, что вследствие Фаниного вмешательства полковой командир обратил на него внимание и оказывает ему свое покровительство».

Седьмого января Чайковский вернулся в Москву. Мысли об одиночестве и тоска по слуге навалились на него с прежней силой. В записной книжке читаем: «Господи! До чего я несчастлив, живя в Москве, именно в Москве, которую я, впрочем, так болезненно сильно люблю! Где светлое прошлое! Или оно мне кажется таким? Но все здесь отравлено для меня... Ужасно!» В конце января фон Мекк получила от него письмо, и все о том же: «Алешу вижу часто. Ради обеспечения за ним протекции высшего начальства я познакомился с полковым командиром и, согласно желанию его супруги, бываю там и целые вечера принужден сопровождать ее

пению и вести салонные разговоры. Это с моей стороны тяжелая жертва. Но зато вчера, благодаря протекции, его отпустили ко мне на весь почти день. Прощаясь со мной, бедный мальчик не выдержал и залился слезами. Это была для меня тяжелая минута. Он немножко привыкает к новому положению и обстановке, но ужасно то, что он отлучен от меня на целые четыре года! Ведь это целая вечность!»

Здесь замечательно не только то, что ради обожаемого слуги знаменитый композитор идет на такую жертву, что готов даже аккомпанировать жене какого-то «полкового командира», чье пение вряд ли было действительно пением, но и то, что в порыве отчаяния он сообщает об этом «лучшему другу», от которой, если бы он более владел собой, скорее всего скрыл бы такие подробности. И здесь же отчаянная нота: «Вы спрашиваете, друг мой, нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы освободить его? Я много об этом думал и со многими советовался. Нельзя, ничего нельзя! Если он смертельно заболеет, например, получит чахотку, то его отпустят. Но не могу же я желать этого!»

Если совсем недавно, летом, Чайковский был полон творческой энергии, сочинял романсы, работал над корректурами «Итальянского каприччио» и Второго фортепьянного концерта, переделывал «Ромео и Джульетту», редактировал церковные сочинения Бортнянского и написал три части серенады для струнного оркестра, то после 17 ноября, с уходом Алексея в армию, ничто его уже не радовало и не вдохновляло — даже успех его сочинений в концертных залах Москвы, позволивший прессе назвать конец года «сезоном Чайковского». Он безучастно реагировал на все подобное, словно отгородившись от мира невидимой стеной, хотя внешние дела складывались как нельзя лучше.

С большим успехом 21 ноября на закрытом концерте в консерватории исполнялась Литургия святого Иоанна Златоуста, сочиненная им еще в 1878 году. 6 декабря, с не меньшим резонансом — под управлением Николая Рубинштейна — «Итальянское каприччио», несколько раз затем повторенное «по востребованию публики». 15 декабря в Большом театре в третий раз был поставлен «Опричник», а в квартетном собрании сыгран Первый квартет. 11 января в Большом театре состоялась премьера оперы «Евгений Онегин», а затем, в середине февраля, в Мариинском театре ожидалась премьера «Орлеанской девы».

Критики восприняли «Евгения Онегина» противоречиво: гораздо больше бранили, чем хвалили. Так, «Московские ведомости» писали, что «прелестная музыка г. Чайковского достойна прелестных стихов Пушкина. Она вся держится на высоте пушкинского создания. <...> Композитор брал

только то, что поддавалось музыкальной иллюстрации. Он создал ряд прелестных, художественных, музыкально-драматических картинок», сопоставимых с «мастерскими тонкими акварелями». Рецензент петербургского «Нового времени» отмечал, что несмотря на «отсутствие сценичности, отсутствие эффектных музыкальных мест, растянутость и вообще неблагоприятность композитора по отношению к певцам, все это выкупается несколькими действительно красивыми нумерами и общей оригинальной, благородной оркестровкой».

Две недели спустя Чайковский выехал в Петербург, чтобы присутствовать на премьере «Орлеанской девы», а затем отправиться за границу с Модестом и Колей. Перед отъездом, 25 января, он снова побывал в казармах у Алеши. «Бедный мой Алеша очень плакал, прощаясь со мной!!!» — писал он фон Мекк.

Тринадцатого февраля состоялась премьера оперы о Жанне д'Арк. Автора много раз вызывали и аплодировали, но пресса высказалась о ней в целом негативно. Особенно отличился Кюи, который еще во время репетиций называл ее «сплошной банальностью» и позднее печатно заявил, что «Орлеанская дева» «слабое произведение способного и хорошего музыканта, ординарное, монотонное, скучное, длинное (тянется за полночь), с редкими проблесками более яркой рельефной музыки, и то представляющей воспоминания из других опер». Сам Чайковский осознал театральную неудачу несколько позже. Уже из-за границы он писал Анатолию 19 февраля/3 марта: «Странное дело, без боли в сердце не могу подумать о Петербурге и опере, как будто я потерпел фиаско. Просто сумасшествие какое-то, тщетно стараюсь себя уверить, что был серьезный успех — ум отказывается воспринять эту истину».

У Модеста же возникали очень серьезные трения с отцом Коли Германом Конради. Композитор сочувственно отнесся к этой ситуации, написав брату еще 2 января из Каменки: «Бедный Модя! ты переживаешь теперь очень трудное время и как человек связанный с таким мерзавцем как Конради, и как автор комедии. Авторство приносит самые лучшие моменты земного счастья, но ценою больших неприятностей и многих страданий. Говорю это по опыту. Но никогда не следует падать духом, и все-таки писать, писать». «Автором» Модест стал в прошлом году, написав комедию «Благодетель», не без сложностей принятую к постановке на сцене Александринского театра. 9 февраля Чайковский с братом присутствовал на премьере пьесы, прошедшей со скромным успехом.

Неприятности, связанные со старшим Конради, заставили братьев отложить совместное путешествие за границу, и на следующий день после



премьеры «Орлеанской девы» Петр Ильич выехал в Вену один. Затем была Флоренция, в которой он провёл несколько дней в тоске по Модесту, Алеше и даже по фон Мекк, так как город живо напоминал ему прошлые встречи. Он писал ей 19 февраля/3 марта 1881 года: «Боже мой, как мне сладки воспоминания об осени 1878 года! Да! именно: и сладко и больно [название романса Чайковского]. Ведь это уже не вернется! Или если вернется, то все же при другой обстановке, да и 2 1/2 года с тех пор прошло! Мы старше стали! Да! и больно и сладко! Что за свет! что за роскошное солнце! что за наслаждение сидеть, как в эту минуту я, у отворенного окна, имея перед собой букет фиалок, вдыхая свежий весенний воздух! О, чудная благословенная страна! Я переполнен ощущениями! Мне так хорошо! Но и так грустно почему-то! Хочется плакать, и не знаешь, что это за слезы: в них есть и умиление, и благодарность, и сожаление. Ну, словом, это разве только музыка может выразить!»

Однако восторженного запала хватило ненадолго. Вечером того же дня в ресторане **Bonciari** Чайковского охватила такая тоска по Алеше и «жгучее сознание о невозвратимости прошлого», что он много выпил и в 10 часов вечера выехал в Рим, где его ожидали проводящий зиму в Италии Кондратьев со слугой Александром Легошиным, любезным его сердцу Они встретили Чайковского на вокзале в 6 часов утра, В этот раз Рим произвел самое благоприятное впечатление: «Как будто я приехал домой». Но как всегда, он на каждом шагу вспоминал Модеста и Колю, поскольку обосновался в той же самой гостинице, где они жили в прошлом году.

Великий князь Константин Константинович узнав, что Чайковский в Риме, пригласил его в гости на виллу, где помимо, него обосновались еще два великих князя — Сергей Александрович и Павел Александрович.

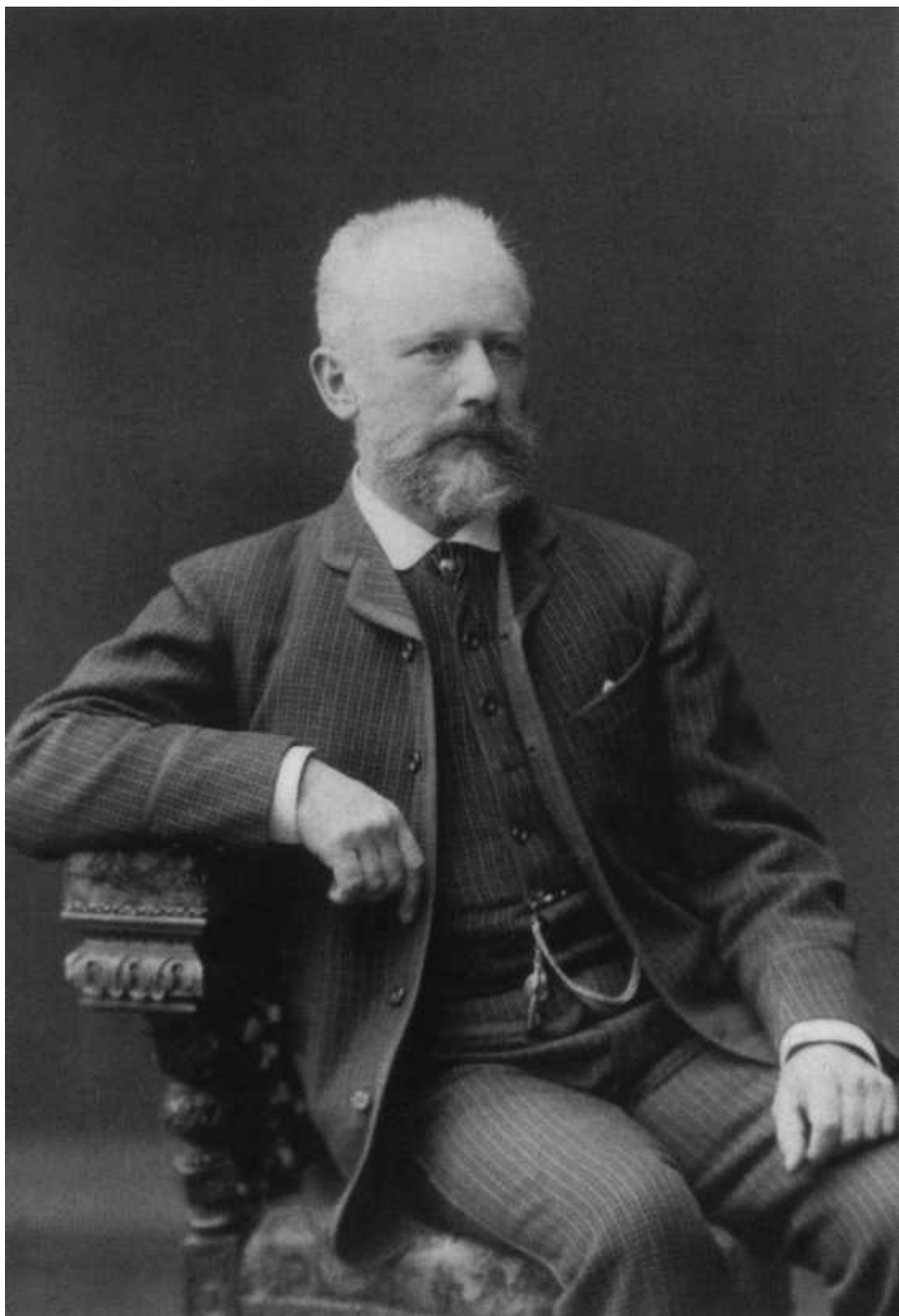
Приглашение это немедленно вызвало осложнения. У Петра Ильича не оказалось фрака, он метался по городу в поисках необходимой вещи, но в воскресенье почти все магазины были закрыты. Наконец в одной лавке обнаружил фрак — не самый лучший; но вполне сносного вида. Ровно в час дня композитор был уже на вилле **Sciarra**. Пока великие князья отсутствовали, его с «большой любезностью» принимали господа из свиты. Через полчаса появились хозяева виллы, и Чайковский был представлен обоим Александровичам, Павлу и Сергею. Тотчас начался «бесконечно длинный завтрак». Августейшие особы обошлись с ним «в высшей степени мило, ласково и внимательно». Все три великих князя были «очень симпатичны», особенно ему понравился Павел, «у которого глаза напоминают наследника», великого князя Александра Александровича, друга Мещерского. Модесту Петр Ильич написал в тот же день: «Я был

обласкан. В 3 часа вышел из виллы Sciarra и пришел домой пешком. <...> Во вторник я приглашен обедать к графу Бобринскому, где тоже будет Вел. князь Константин Константинович».

Позднее факт гомосексуальности великого князя Сергея Александровича стал широко известен, но тогда тщательно скрывался. Есть основания полагать, что его брат Павел также не был чужд этим интересам. Публикация дневника Константина Константиновича не оставляет сомнений в том, что и этот представитель дома Романовых предпочитал юношей, испытывая изрядные угрызения совести на сей счет. Нельзя исключить и того, что через «информационную службу», спонтанно возникающую в любых неформальных обществах, великие князья скорее всего знали о любовных предпочтениях композитора. Они могли узнать об этом и от Мещерского, личного друга двух наследников престола — Николая Александровича, рано умершего, и Александра Александровича, будущего Александра III.

Во вторник, 24 февраля/9 марта, во время обеда у Бобринских во фраках и белых галстуках, Константин Константинович, сам композитор-дилетант, много играл. Присутствовавшие просили сыграть и знаменитого гостя, пытались разговаривать с ним о музыке, чего тот обычно не выносил. Тем не менее великий князь и Петр Ильич подружились настолько, что августейшее лицо предложило композитору называть его по имени. 28 февраля/12 марта Чайковский, в сопровождении Кондратьева и его слуги, отбыл в Неаполь. Великие князья предложили ему присоединиться к ним в морском путешествии в Афины и Иерусалим: в Неаполе стояли три русских судна, на которых они и их свита собирались продолжить плавание. Но 1/13 марта из Петербурга пришло трагическое известие об убийстве императора Александра II террористами-народовольцами.

Русская община в Риме была шокирована этой новостью. Разумеется, все увеселительные проекты были отменены. Великие князья срочно выехали в Петербург. «До крайности, до восторга симпатичный» Павел Александрович «имел страшный припадок по получении этого известия и совершенно больной сел в вагон». Цареубийство потрясло Чайковского. Два дня спустя он писал фон Мекк: «Известие это так поразило меня, что я едва не заболел. В такие ужасные минуты всенародного бедствия, при таких позорящих Россию случаях тяжело находиться на чужбине. Хотелось перелететь в Россию, узнать подробности, быть в среде своих, принять участие в сочувственных демонстрациях новому государю и вместе с другими вопить о мщении».



Петр Ильич Чайковский



Петр Чайковский с братьями Модестом и Анатолием (стоят) и

Николаем Кондратьевым. 1875 г.



Николай Кашкин. 1877 г. Владимир Шиловский. 1870 г.



Константин Шиловский. 1874 г.



«Времена года. 12 характерных картин для фортепиано П. Чайковского». Издание М. Бернарда. 1876 г.



Сцены из оперы «Кузнец Вакула» в постановке Мариинского театра.  
Гравюра. 1876 г.





Надежда Филаретовна фон Мекк. 1876 г.



Семья фон Мекк с гостями. 1875 г.



Петр и Модест Чайковские, Коля Конради и Софья Ершова. 1876 г.



Семья Давыдовых. 1881 г.



Петр Чайковский (стоит справа) и семейство Давыдовых. Вербовка, 1875 г.



Петр Чайковский и Иосиф Котек. 1877 г.



Петр Чайковский с женой Антониной. 24 июля 1877 г.



Надежда Филаретовна фон Мекк. 1880-е г.





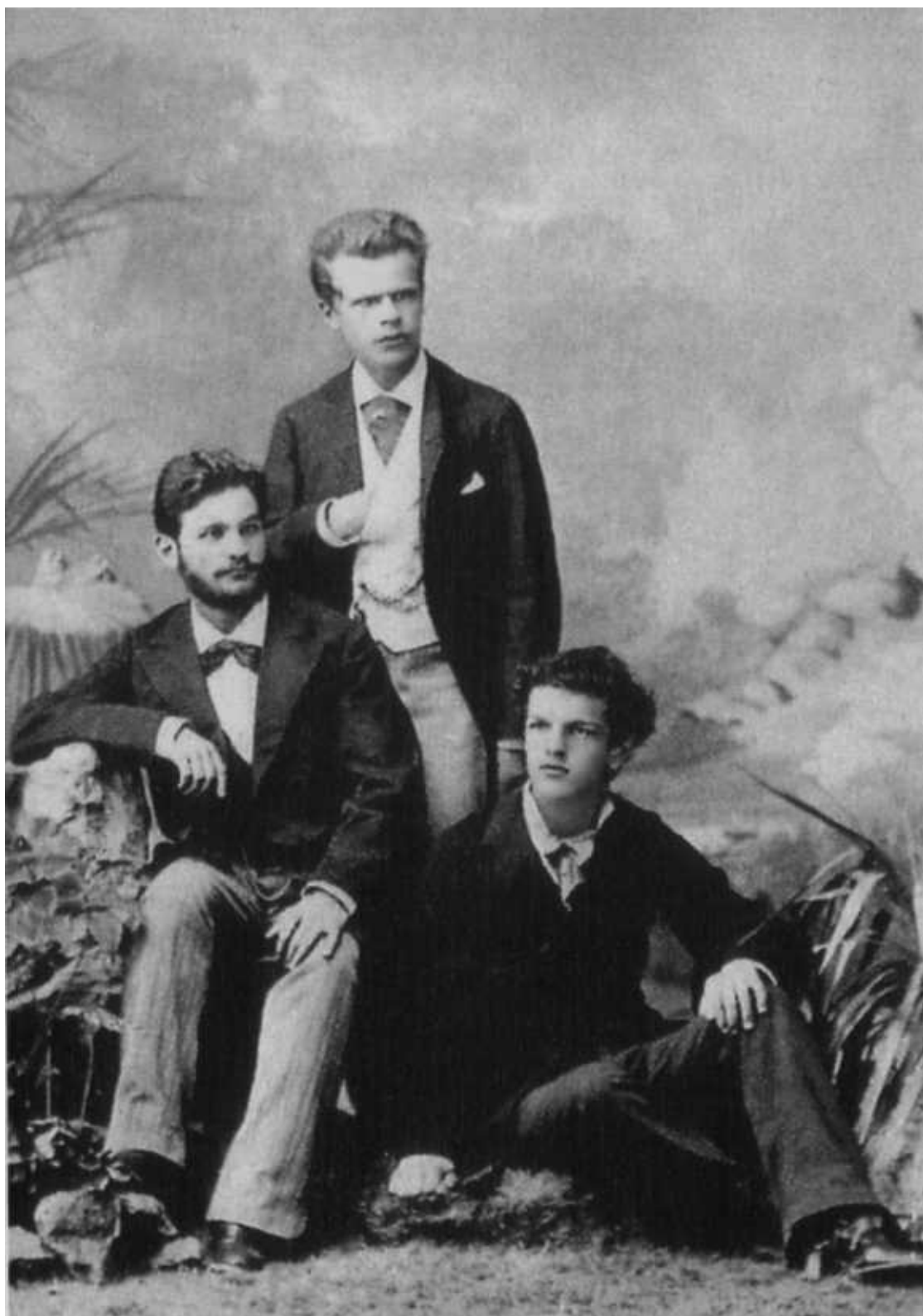
Вид Брилова. Вторая половина XIX века



Анна фон Мекк. 1880-е гг. Николай фон Мекк. 1880-е гг.



Браиловский парк



Владислав Пахульский, Петр Данильченко и Клод Дебюсси. 1880 г.



Александр Жердинский, Алексей Апухтин, Петр Чайковский и

Георгий Карпов. 1884 г.



Эдуард Направник. 1897 г.



Петр Чайковский и Александр Зилоти. 1887 г.



Памятник П. И. Чайковскому перед зданием Московской консерватории. Скульптор В. И. Мухина





Дом-музей П. И. Чайковского в Клину

В отсутствие великих князей Чайковский посетил их фрегат «Герцог Эдинбургский», где ему были оказаны всевозможные почести. Визит оставил самые приятные воспоминания. Особенно встреча с моряками, которые были все друзьями Мещерского. Кроме того, уже вместе с Кондратьевым, композитор был торжественно принят и на двух других судах: «Очень приятно было видеть эти чудные фрегаты и милые лица русских матросов».

В переписке после 1880 года Милюкова фигурирует значительно реже, и эти редкие появления сопряжены были, как правило, с какими-нибудь неожиданностями. Так, из письма Надежде Филаретовне от 21 мая 1881 года мы узнаем нечто совсем новое: «Известная особа, про которую Вы спрашиваете, держит себя в последнее время тихо и смирно и вот отчего. Она перед прошлой зимой сошлась с каким-то господином и произвела на свет ребенка, отданного в Воспитательный дом. Все это дело случайно узнал во всех подробностях Юргенсон и на всякий случай очень ловко и дипломатически достал неопровержимые доказательства истинности происшествия. Если не ошибаюсь, она и теперь в Москве и живет вместе с отцом своего ребенка». Очевидно, что доведенная до ручки своим двусмысленным положением Антонина Ивановна пустилась во все тяжкие. Заметим заодно «дипломатическое» добывание «неопровержимых

доказательств» — конечно, на случай, если в состоянии аффекта бедная «гадина» вздумает-таки прибегнуть к шантажу или обвинениям в грехе содомском своего незадачливого супруга.

Проведя в Неаполе восемь дней, Чайковский с Кондратьевым отправились в Ниццу. Не последнюю роль в согласии композитора на совместную поездку играл молодой Легошин. Читаем в письме Модесту от 3/15 марта из Неаполя: «Но что за прелесть Саша. Чем больше я узнаю его, тем больше люблю, и знаешь, я даже нахожу его очень поэтичным. Когда увидимся, напости мне, чтобы я рассказал тебе одну трогательную Сашину историю». Этот последний оборот (то есть отказ писать о чем-либо с просьбой напостить для устного рассказа) нередко встречается в письмах Модесту и почти всегда связан с гомосексуальной тематикой. Кондратьев догадывался о чувствах композитора к своему слуге и при различных расчетах делил «Сашины расходы между ними пополам».

Тем не менее Чайковский продолжал тосковать по Алеше и на этом основании отклонил приглашение «милого друга» погостить у нее в Браилове: «Отсутствие Алеши портит вообще жизнь мою, а в таких случаях, как пребывание у Вас в гостях, оно составляет для меня чистейшее бедствие. <...> Без него это будет то, да не то». И очередное письмо виновнику тоски и мучений, уже из Рима, 26 февраля с сообщениями о Кондратьеве, Легошине, о высшем свете и великих князьях. Обожаемый слуга незаменим\* и тревога за него прорывается снова: «Но если б ты знал, как мне тяжело, и трудно, и скучно без тебя. Каждую минуту я тебя, моего милого, вспоминаю и когда воображаю тебя в казарме, на ученье, то чуть не плачу. Пожалуйста, Леня, пиши мне почаще. <...> Обнимаю тебя, милый мой Леня! <...> Твой друг». И опять ему же 10/22 марта: «Милый Леня! Что-то давно от тебя нет писем, и я начинаю сильно скучать об тебе. Вероятно, ты написал уже мне в Париж: по крайней мере, я утешаю себя этой мыслью. <...> В Париже я пробуду очень недолго: меня начинает сильно тянуть в Россию: думаю, что в конце марта или в начале апреля мы с тобой увидимся, милый мой Леня! А пока прощай, голубчик! Будь здоров, не скучай и не забывай меня! Я же думаю о тебе беспрестанно. Как я вспоминал тебя часто в Неаполе и Сорренто! Обнимаю тебя». Если принять во внимание, что переписка с Алешей проходила через военную цензуру и поневоле должна была быть сдержанной, это и тем более предыдущее письмо поражают мерой выплеснувшихся и уже не контролируемых чувств.

1881 год стал для Надежды Филаретовны годом тяжелых испытаний. Сейчас невозможно с точностью установить, что же именно произошло с

громадным состоянием фон Мекков и поставило их на грань разорения. Из писем «лучшего друга» понятно, что главную роль в этих событиях играли значительные долги покойного Карла Федоровича, настоящая сумма которых выяснилась только к этому времени, и интриги в принадлежавших семейству правлениях железных дорог со стороны некогда благодетельствованных фон Мекками фон Дервизов. Посторонние лица, равно как и некоторые члены семьи, были уверены, что в случившемся немалая доля вины приходилась на экстравагантную расточительность старшего сына Надежды Филаретовны, Владимира Карловича, распорядившегося имуществом вместе с матерью — обвинение, которое она всегда отрицала со страстной категоричностью.

Чайковский был в курсе слухов, порочащих Владимира фон Мекка. Еще 4 ноября 1879 года он писал Надежде Филаретовне: «В ложе сидел Ваш старший сын с женой и еще с кем-то. Он почему-то не так близок моему сердцу, как его младшие братья. <...> Ошибаюсь я или нет? Мне кажется, что Коля и Саша ближе и дороже Вашему сердцу, чем Влад[имир] Карлович? Простите за это нескромное и, быть может, неуместное вмешательство в тайники материнского сердца». Ответ был совершенно определенным: «И теперь скажу Вам, милый друг мой, что мой Володя не меньше дорог мне, чем Коля и Саша, даже, быть может, больше, потому что кроме того, что я люблю его, но я и жалею его постоянно: он так молод, а у него так много врагов и ни одного друга. А люблю я его очень, очень. У него такое славное любящее сердце. Общество и люди употребляли и употребляют и теперь все средства, чтобы портить его, но сердца не могут в нем уничтожить никак. <...> Это такая всепрощающая душа, что его невозможно не любить».

В феврале 1881 года до композитора, находившегося тогда в Риме, начали доходить слухи о серьезных затруднениях, испытываемых семейством его благодетельницы. Ранее она сообщила ему, что вынуждена отдать Симаки в аренду и что вследствие этого переезжает в Браилов, чтобы привести в порядок хозяйство. 21 февраля он послал ей ответ, исполненный благородства: «Я слышал в Москве, что Влад[имир] Карл[ович] потерпел большие потери и что Вы пришли к нему на помощь, вследствие чего будто бы состояние Ваше сильно пострадало. Я до сих пор боялся быть indiscrete (бестактный, — *фр.*) и потому не решался просить Вас разъяснить это обстоятельство. Но теперь, так как очевидно, что Вы находите нужным заключить себя в Браилове не без серьезных оснований, то вопрос этот начинает смущать меня. Если Вы принуждены жить безвыездно в деревне, то само собой разумеется, что сознание своего долга

велит мне тоже основаться где-нибудь на одном месте. Ради бога, не забывайте, друг мой, что для меня открыты широко двери обеих консерваторий и что в этом смысле я человек вполне обеспеченный. Та свобода и то роскошное в материальном отношении существование, которое я веду, составляют драгоценные блага. Но они тотчас обратятся для меня в тягость, если я буду знать, что пользуюсь ими в ущерб слишком деликатного, слишком щедрого друга! Ради бога, будьте со мной в этом отношении совсем откровенны и знайте, лучший друг мой, что для меня будет величайшим счастьем отказаться от самых драгоценных материальных благ, если благодаря этому хоть на волос улучшится Ваше положение. Вы уже и без того слишком много для меня сделали. Говоря без всякого преувеличения, я считаю себя обязанным Вам жизнью. Если б Вас не было, если б Вы не явились моим ангелом-хранителем в страшную эпоху моей жизни, то я уверен, что у меня не хватило бы сил побороть душевную болезнь, которая начинала было увлекать меня к гибели. Итак, друг мой, ради бога, не скрываете от меня правды, и если в самом деле Вы принуждены уменьшить свои расходы, то позвольте и мне переменить образ жизни и снова пристроиться к одной из консерваторий, где меня примут с радостью. <...> Я желаю прежде всего, чтобы Вам было хорошо. Всякое наслаждение для меня отравлено, если оно приносит ущерб Вашим интересам».

Полученный пространный ответ Надежды Филаретовны от 28 февраля начинается патетически, с вопроса о Владимире Карловиче: «Сию минуту получила Ваше письмо и сию же минуту сажусь отвечать на него, потому что оно коснулось самого больного, самого чувствительного места моего сердца — моего бедного Володи. Я вижу, что злоба, зависть и клевета, которые преследуют моего бедного сына, довели и до Ваших ушей свое шипенье, поэтому скажу Вам, милый мой друг мой, что да, я действительно нахожусь в отчаянном положении, но не только не Володя довел меня до него, но, напротив, Володя один старается меня извлечь из этого положения, помочь мне выпутаться из него. Он бьется, как рыба об лед, в то время, когда другие, говорящие много о своей заботливости обо мне, о своей готовности много делать для меня, не только дают мне тонуть, не протягивая мне ни одного пальца в помощь, но еще с возмутительной черствостью и бессовестностью стараются вооружить меня против моего бедного Володи и клеветают на него самым низким образом. Во мне возмущается не одно чувство матери, но прежде того чувство справедливости, когда кидают камнями в человека, который кроме добра никому на свете ничего не сделал и который один работает и трудится, как

вол, тогда как критики его, будучи обязаны работать в моих делах, сторонятся от них и сваливают их на Володю для того, чтобы легче было критиковать его». Продолжить это письмо она оказывается в состоянии лишь 6 марта и уже достаточно подробно, хотя и довольно путано, так что ощущение бессвязности не исчезает. Она объясняет или пытается объяснить «бесценному другу» положение вещей и в завершение письма заявляет по поводу выдававшейся ему самому субсидии: «Что же касается Вас, мой милый, дорогой друг, то прошу Вас не беспокоиться нисколько моим положением и понять, что та сумма, о которой Вы говорите, так ничтожна в моем миллионном разорении, что она не может быть чувствительна ни на одной стороне весов и потому прошу Вас, если Вы не хотите огорчать меня, ничего и не поминать об этом. Я же, со своей стороны, обещаю Вам, дорогой мой, сказать Вам самой, если придет для меня такое положение, что и эта сумма будет иметь значение».

В Париже 11/23 марта умер Николай Рубинштейн, выехавший по совету докторов на лечение в Ниццу. Умер от туберкулеза кишечника, ему было всего 46 лет. За день до этого Юргенсон телеграфировал Чайковскому в Ниццу о плохом состоянии больного. Композитор немедленно решил ехать в Париж, но застать Рубинштейна живым ему было не суждено. И хотя Петр Ильич уже был готов к смерти друга, поскольку знал, что тот был давно серьезно болен, пережил эту кончину очень тяжело: «Дорога [в Париж] была для меня адским нравственным мучением. К стыду моему, я должен признаться, что страдал не столько от сознания страшной, невознаградимой потери, сколько от страха увидеть... искаженный мучительной болезнью труп бедного Рубинштейна. Я боялся, что не выдержу этого потрясения и что со мной что-нибудь случится, несмотря на усилия воли победить постыдный страх. Как бы то ни было, но в этом отношении страхи мои были напрасны. Сегодня в 6 часов утра тело Николая Григорьевича уже было перевезено в Русскую церковь». Отпевали Рубинштейна на следующий день. На панихиде присутствовали представители французской музыки и русской общины Парижа. Тургенев взял на себя хлопоты о перевозке тела в Россию. После этого свинцовый гроб отвезли на вокзал, заколотили и отправили в багажном вагоне в Москву. «Было страшно больно и жутко сознавать, что бедный Ник[олай] Григорьевич] лежит в этом деревянном ящике и в багажном вагоне поедет в Москву. Да, это было именно больно. Но, к счастью, у меня есть зачатки веры, и я нахожу утешение в мысли, что такова неизъяснимая, но святая воля Бога», — сообщал Чайковский фон Мекк 16/28 марта. О последних днях Рубинштейна в Париже он написал статью для «Московских

ведомостей».

Предшествовавшие два года «московского Рубинштейна» были омрачены грубыми и несправедливыми нападками петербургских газет, но эта травля помогла Чайковскому избавиться от прежних обид и досады и восстановить чувство глубокой дружбы к нему, «Какое странное и темное человеческое сердце, — писал Чайковский Анатолию еще 5/17 декабря 1878 года. — Мне всегда или, по крайней мере, с давних пор казалось, что я не люблю Рубинштейна. Недавно я увидел во сне, что он умер и что я был от этого в глубоком отчаянии. С тех пор я не могу думать о нем без сжимания сердца и без самого положительного ощущения любви». Эти чувства не были мимолетными. Два месяца спустя он снова писал: «Вообще после всей травли на Рубинштейна... я ужасно **за** Рубинштейна и совершенно освободился от тайного чувства враждебности, которое давно к нему питал». Отношение же Николая Рубинштейна к Чайковскому оставалось неизменным. Он был первым исполнителем, пропагандистом и чутким критиком его произведений и до последнего дня следил за его деятельностью, наставлял, поучал, радовался его успехам. Однако даже его смерть не смогла заслонить тревогу Чайковского по поводу перспективы разорения фон Мекк: «Сегодня получил Ваше письмо, в коем Вы объясняете мне положение дел Ваших. Оно произвело на меня убийственное впечатление! Бедный и милый друг! Мне несказанно тяжело, и горько, и страшно за будущее. Слезы душат меня».

Даже после заверений Надежды Филаретовны в том, что беспокоиться нечего, Чайковский ответил посланием религиозного содержания, где искренне ощущается внутреннее движение к Богу: ее неприятности совпали с глубоко потрясшей его безвременной кончиной Рубинштейна: «По поводу молитвы к Богу скажу Вам, дорогая, несравненная моя, что для меня величайшее счастье и наслаждение молиться за Вас Богу и призывать на Вас благословение его». И ее экстатическая реакция: «Вы молитесь за меня. Боже мой, да ведь этого одного достаточно, чтобы дать мне силы переносить все гонения, все удары, которые не перестают сыпаться на меня». В письме от 20 марта он повторяет свое намерение снова вернуться к преподавательской деятельности: «Я решился, дорогой, милый, добрый друг, вступить опять на службу профессором и непременно в Москву, но у меня не хватает мужества сделать это теперь, когда еще так свежа память о невознаградимой утрате. Мне хочется будущий сезон еще прожить на свободе, а через год... я или поступлю туда или же в Петербург, куда меня звали еще два г[ода] тому назад».

Но даже такие драматические обстоятельства не помешали ей

решительно возразить: «Милый, дорогой мой, зачем Вы хотите поступить опять в консерваторию? Зачем налагать на себя опять это тяжелое ярмо? Только что, быть может, нервы и здоровье начинают успокаиваться, укрепляться, а тут опять все испортится, пропадет. Вы выражали такие хорошие религиозные чувства, веру в милость Божью и покорность воле его. Зачем же Вы хотите теперь бороться с промыслом Божиим? <...> Я скажу только одно, что бы Вы ни предприняли и как бы ни поступили, я не отдам своего права заботиться о Вас, и Вы не имеете права взять его от меня до тех пор, пока я в состоянии пользоваться им, а эту-то черту Бог и укажет нам обоим». Это заявление было категорическим и, по-видимому, окончательным. Чайковскому, конечно, делает честь его желание начать работать и отказаться от субсидий, выдававшихся его покровительницей, оказавшейся теперь в тяжелых обстоятельствах. Это лишний раз говорит о его порядочности, на какие бы компромиссы с самим собой он ни шел. Однако нельзя сказать, что он принял это решение с легким сердцем и что в обращениях к ней ему не пришлось в каком-то смысле покривить душой. Читаем в письме Модесту от 17 марта 1881 года: «В моей жизни происходит крутой поворот, который будет иметь влияние на всю дальнейшую жизнь. Во 1-х, смерть Н[иколая] Г[ригорьевича] имеет для меня большое значение, а во 2-х, Н. Ф. фон Мекк почти разорена. Я слышал об этом еще в Москве и просил ее отвечать откровенно, правда ли это. Из полученного ответа вижу, что правда. Она пишет мне, что получаемая мною сумма ничтожна в сравнении с ее миллионным разорением, и желает продолжать уплату по-прежнему, просит, чтобы я не упоминал об этом, но ты понимаешь, что пенсия эта перестала быть для меня чем-нибудь прочным и верным, и по всей вероятности если не в следующем, то в предбудущем сезоне придется опять потянуть лямку где-нибудь на службе. Все это не весело».

Чайковский возвратился в Россию 25 марта и, несмотря на приведенную выше просьбу фон Мекк, снова писал ей из Петербурга 2 апреля: «Я до слез тронут Вашей бесконечной добротой, но, признаюсь, мысль, что я злоупотребляю ею, нередко терзает меня. Мне как-то совестно пользоваться по-прежнему всеми благами свободы, которою Вы меня наделили, когда Вы сами принуждены себя во всем ограничивать. <...> Прошу Вас только, друг мой, не забывать, что я совершенно обеспечен не только от нужды, но даже от ограниченности средств, в том смысле, что мне стоит сказать слово, и меня возьмут в ту или другую консерваторию за отличное вознаграждение. А что я приму профессорское место лишь по необходимости, без удовольствия, так мало ли что!» Однако в 1881 году

Надежда Филаретовна проявила недюжинную деловую хватку, которая лишней раз доказала ее незаурядность, и состояние фон Мекков было спасено, причем пришлось пожертвовать многим: были проданы Симаки, Браилово, роскошный московский дом, так что она на какое-то время даже осталась без постоянного пристанища. В конечном счете ей удалось вывернуться из финансовых тисков и потери оказались не катастрофичными.

Денег, посылаемых ею, композитору явно не хватало: он начал брать в долг, чтобы покрыть собственные расходы и расходы братьев, особенно Анатолия, зависевшего от его дотаций. В какой-то момент это стало особенно невыносимо — тогда он принял решение запросить втайне три тысячи рублей от императорской казны с постепенным погашением долга из перспективной оплаты. 19 мая, после очередной просьбы Анатолия о помощи, Чайковский обратился к Победоносцеву, обер-прокурору Синода, с просьбой ходатайствовать перед Александром III, дабы «выйти из самых сложных, затруднительных обстоятельств». Государь ответил положительно. Через десять дней композитор получает конверт с деньгами и письмом от Победоносцева, в котором тот передал желание государя, чтобы деньги эти Чайковский не выплачивал, а принял как подарок. Хотя Петр Ильич и чувствовал себя весьма неловко, но был тронут необыкновенной благосклонностью императора к своей просьбе.

На фоне всех этих событий продолжал разгораться бытовой конфликт между отцом Коли Конради и Модестом. В результате старший Конради отказался отпустить мальчика с братьями в заграничную поездку весной, несмотря на все дипломатические усилия Петра Ильича: «Милостивый государь Герман Карлович! Прежде всего, в ответ на письмо Ваше, поспешаю уверить Вас, что я нимало не оскорбился Вашим отказом отпустить со мной Колю. Объяснить этот отказ недоверием ко мне было бы слишком странно и наивно». В письме же Анатолию 6 мая этот «милостивый государь» характеризуется без всякого деликатничанья: «Но как мне жаль бедного Модю, и как трагично его положение. Не будь у него, да и у меня, сердечной привязанности к Коле, я бы потребовал даже, чтобы Модест ушел из-под подчинения этой гадины. Но ввиду Колиной пользы и их взаимной любви, что тут делать? Нужно терпеть». Он оказался прав — к середине августа кризис с Конради разрешился.

В конце апреля Чайковский выехал к сестре на Украину, по пути остановился в Москве, чтобы повидаться с Алешей. 30 апреля, уже из Каменки, он изливает свою тоску фон Мекк, причем довольно откровенно: «Я виделся с Алешей в Москве и чувствую, что горе, причиняемое мне



разлукой с ним, не только не улеглось, но еще сделалось живее и острее. Он очень огрубел физически, т. е. стал грязен (ибо иначе и быть не может в казарменной жизни), но в особенности морально. Мысль, что четыре года пребывания в солдатчине исказят все его нравственное существо, просто убивает меня. Через три с половиной года он вернется ко мне, но, увы, уже совсем другим Алешей! Между тем, более чем когда-либо я чувствую, до чего он бы мне был нужен именно теперь, когда у меня накопилось в сердце так много горечи и когда прочные привязанности и привычная обстановка так успокоительно бы могли на меня действовать. Я знаю, что одно присутствие его около меня, сознание, что у меня под рукой существо, безгранично мне преданное и много лет бывшее моим постоянным спутником, — придало бы мне много нравственной силы для побеждения грызущей меня тайной тоски и отвращения к делу. Признаюсь Вам, что я боюсь этой тоски, боюсь упасть духом и сломиться. Очень может быть, что болезненное состояние моей души кратковременно, но во всяком случае Алеша был бы мне теперь страшно нужен. Все, что мне напоминает его, действует на меня болезненно тяжело, ибо раскрывает все значение понесенной утраты. Вот почему я боюсь ехать в Симаки (тогда еще остававшееся в ее владении. — А. П.), где каждая минута жизни, каждый уголок дома будут постоянно [зачеркнуто: ежеминутно] растравлять мою рану». Однако после такого неожиданного излияния он счел необходимым сделать следующую оговорку: «Воображаю, как бы засмеялся какой-нибудь чужой мне человек, читая эти строки; как бы удивился он, что можно тосковать и страдать по лакею. Но что же делать, если этот лакей был в то же время моим другом и притом столь преданным и любящим!» Принимая во внимание сдержанный тон, в котором он в переписке с фон Мекк всегда говорит о ком бы то ни было из своих увлечений, очевидно, что письмо это — несмотря на оговорки — есть письмо влюбленного, разлученного с предметом своей любви. «Лучший друг» откликнулась на это немедленно, 4 мая: «Как мне печально было читать о Вашем Алеше, я именно этого больше всего боялась для него. Но будем надеяться, милый друг мой, что это внешняя, временная огрубелость, что хорошие семена да и на хорошей почве не пропадут, что, как только он очутится опять под Вашим влиянием, все прежнее хорошее заговорит с новою силою, и Алеша превратится опять в Вашего прежнего воспитанника, с мундиром сбросится и весь наплыв грязи». Так деликатная Надежда Филаретовна перевела молодого человека из чина лакея в чин воспитанника.

«Воспитаннику» же его барин писал 2 мая: «Ты не можешь себе представить, до чего мне тяжело думать о тебе и вспоминать тебя. Каждый

вечер, раздевшись, я сажусь к столу и начинаю грустить и тосковать, вспоминая, что тебя нет рядом со мной. Странная вещь! Осенью, когда ты уехал отсюда, я не так скучал о тебе, как теперь. Смешно сказать, что я даже каждый раз немножко плачу, когда увижу вещь, которая мне тебя напоминает. За мной ходит новый слуга Борис. Он говорит мне, что видел тебя в прошлом году у Акима. Слуга он хороший и сразу завел во всех вещах моих хороший порядок, но, увы, он всегда останется для меня чужим человеком, и никогда никто не заменит мне тебя! <...> Крепко тебя обнимаю, мой голубчик! Пиши ради бога почаще; непременно каждую неделю».

Десятого мая композитор получил от несущего свой армейский крест слуги письмо и сразу же ответил: «Голубчик мой Леня! Мне радостно и грустно было читать его. Радостно, потому что хочу иметь часто известия о тебе, а грустно потому, что письмо твое расстраивает мою рану. Если бы ты мог знать и видеть, как я тоскую и страдаю оттого, что тебя нет! Вчера ездили в лес, и там нас смочила гроза. Когда я вернулся домой и вошел переодеться в твою комнату, мне вдруг так живо вспомнилось, как бывало я радовался, возвратившись домой, что вижу твое милое для меня лицо. Мне вспомнилось, как ты, бывало, бранил меня за то, что испачкано платье, и так грустно, так грустно стало, что я заплакал, как ребенок! Ах, милый, дорогой Леня! Знай, что если б ты и 100 лет остался на службе, я никогда от тебя не отвыкну, и всегда буду ждать с нетерпением того счастливого дня, когда ты ко мне вернешься. Ежечасно я об этом думаю! А покамест, голубчик мой, буду ждать сентября, а уж очень соскучусь, так хоть в Москву приеду». Это проникновенное письмо дышит настоящим любовным отчаянием.

В июньских письмах «солдатику» читаем: «Голубчик Леня! Наконец-то я получил от тебя письмо, а то я начинал беспокоиться. Ты извиняешься, что пишешь мне подробности о вашем переселении в лагерь. Но ведь для меня всякая подробность о тебе интересна. Ты и представить себе не можешь, с каким наслаждением я читал твое письмо. <...> Напиши мне, отпускают ли вас из лагеря по воскресеньям? Если я очень по тебе соскучусь, то, может быть, съезжу в Москву».

На повторные настойчивые приглашения фон Мекк приехать в Симаки композитор упрямо отвечал в том же духе.

14 июня: «Бесконечно благодарю Вас, друг мой, но, несмотря на все пламенное желание пожить в очаровательном симацком домике, вблизи от Вас, я принужден лишить себя этого наслаждения. Увы! я слишком сильно осознаю, до чего оно будет отравлено отсутствием моего Алеши. Заранее

знаю, что буду там слишком живо чувствовать мою утрату, буду грустить и даже стесняться его отсутствием, ибо он был ведь посредником между мной и моим обычным штатом. Ну, словом, дорогая моя, я слишком мало еще привык к разлуке с Алешей, чтобы в Симаках, где мне все будет напоминать его, не страдать от этой разлуки. Ради бога, простите, что не принимаю Вашего приглашения! Если б Вы знали, как мне тяжело отказаться от него! И какое было бы для меня благодеяние побывка в Симаках, если б Алеша был со мной».

Можно только гадать, что на самом деле думала «лучший друг» по поводу столь эксцентричной причины отказа. С обычным тактом она ответила в следующем письме: «Как Вы можете извиняться, дорогой мой, за то, что не приедете в Симаки. Ведь я совершенно понимаю и Вашу тоску об Алеше и неудобство жизни без него. Ведь я сама никогда не бываю в прямых сношениях даже с своими людьми... так уж мне все Ваши ощущения вполне понятны, потому [что] они есть и мои. К тому же, Вы теперь находитесь настолько близко ко мне, что я счастлива и этим»,

«Единодушие» в ощущениях и взаимопонимание корреспондентов воистину трогательно, хотя Надежда Филаретовна вряд ли была способна столь же проникновенно сопережить любовную тоску одного мужчины о другом. А он и в следующем письме от 20 июня настойчиво возвращался к той же теме: «Конечно, если б можно было очутиться в Симаках, но с прежней обстановкой, я бы воскрес духом. Увы! Несмотря на Ваше приглашение, я туда не могу отправиться. Без Алеши это будет для меня только повод от апатии перейти к тоске о невозвратности прошлого, я бы только ежедневно наводил на Вас уныние своими письмами, в коих неминуемо стал бы изливать грустные ощущения».

Она, несколько обеспокоенная этой манией, тут же придумывает высоконравственное объяснение и, кроме того, в невольном курьезном пассаже предлагает решительную программу действий: «Я вполне понимаю Вашу тоску об Алеше, милый друг мой, Вы тоскуете не об одной только разлуке, но Вам больно, тяжело от той перемены, которую Вы заметили в нем. Вы не можете помириться с тем, чтобы в этом, так сказать, создании Вашем разрушилось то, что взлелеяно Вами, что его возвышало нас другими и тешило Вас. Это, действительно, так жаль и больно, что у меня вчуже сердце сжимается и слезы выступают на глаза, когда я думаю об этом. Было бы очень хорошо его вырвать из этой растлевающей среды, и я опять возвращусь к тому же убеждению, что можно выхлопотать ему по болезни, за которую надо заплатить, увольнение вчистую. Это убеждение во мне еще укрепила моя Саша [дочь Н. Ф. фон Мекк], которая говорила

мне, что даже очень легко избавиться от военной службы и что очень многие и пользуются этим, и между прочим приводит мне в пример своего beau-frer'a (зятя. — **фр.**) графа Беннигсена, который... поступил на военную службу отбывать повинность в гвардейскую кавалерию, но через месяц ему надоела дрессировка, которой подвергают кавалеристов, <...> Поэтому он без большого затруднения достал себе свидетельство о сильной близорукости и был освобожден совершенно от военной службы. Что бы Вам, дорогой мой, похлопотать теперь в Москве устроить такую же вещь для Алеши — это бы его спасло». Наивная и несведущая в армейских делах фон Мекк слабо представляла себе разницу между положением кавалергарда-офицера и простого солдата.

Пришла радостная весть: Алексею дадут отпуск на два месяца: «Сначала он и поедет к матери своей на несколько дней, а потом приедет ко мне!» И вот тогда приглашение «лучшего друга» принято: «Я возгорелся страстным желанием воспользоваться его отпуском, чтобы сентябрь провести в Симаках, и хочу просить у Вас позволения это сделать. Возможно ли это? Будет ли еще в Вашем распоряжении симацкая усадьба? Если бы мечта эта была осуществима, я бы был донельзя счастлив. Это было бы для меня безмерным благодеянием и самым целительным средством для расстроенного моего духа».

«Я не могу без слез думать о том, что подобное счастье может осуществиться», — писал он Модесту 5 июля. Однако счастливая встреча в будущем не отменяет несчастной разлуки в настоящем: «Вообще Алеша теперь мое больное место. Нисколько не преувеличу, если скажу, что нет секунды дня, когда я бы о нем не думал и не страдал. Даже ночью я только и вижу его во сне и недавно видел умершим». И в завершение: «Мне лучше вовсе не видеть Алешу, чем в казарме».

Атмосфера в Каменке этим летом также не способствовала душевному благополучию Петра Ильича. Причиной беспокойства было семейство Давыдовых. В этом году девятнадцатилетняя Таня получила предложение от офицера графа Василия Трубецкого, но отказала ему. В ее понимании Трубецкой оказался недостойным человеком, когда пьяным явился в ее дом и потребовал близости. Разрыв она переносила тяжело, начала злоупотреблять алкоголем, успокаивать расстроенные нервы морфином и часто устраивать скандалы без всякого повода. В доме появилась череда новых поклонников. Композитор откровенно описал свои чувства по этому поводу Модесту: «Но Таня? Есть минуты, когда я ее страшно люблю, но есть другие, когда я почти ненавижу ее. Она разливает кругом себя какой-то ад, отравляющий все и всех. Пока она не выйдет замуж, не будет ничего

хорошего в этом доме. И жалкая, и чудная девочка, но, вместе с тем, и невыносимая по своей неспособности удовлетворяться настоящим. Конечно, она не виновата в этом, но иногда досадно страшно!»

Почти целое лето племянница терзала своим поведением всю семью, на особенно Александру Ильиничну. Так, 31 августа Чайковский писал Анатолию: «Таня целый день больна; вообще, она теперь опять начинает свои безумные поступки... где-то она достала тайно морфин и больше, чем когда-либо, прыскается. С другой стороны, эта непостижимая девушка с каким-то сладострастием принялась терзать свою мать жалобами на жизнь, признаниями в страсти к Бернатовичу (один из ее местных поклонников. — А. П.) и довела ее до того, что бедная Саша опять никуда не годится: не ест, плохо спит, ходит с какими-то оловянными глазами. Я уж решительно не знаю: ненавидеть Таню или изумляться и сожалеть». Александра, как и ее дочь, также спасалась от всевозможных болей и плохого самочувствия морфином, постоянно пребывала не в духе, отыгрываясь на окружающих. В какой-то момент, не выдержав унылой каменской обстановки, Петр Ильич написал Юргенсону, чтобы тот выслал ему фиктивную телеграмму о необходимости его присутствия в Москве, чтобы найти повод уехать, не обидев родственников.

Модест, как и во всем прочем, старался подражать знаменитому брату в протезировании молодым людям. Однако объекты его внимания не всегда были удачными. Был, например, некий Моисей, мальчик-пастух из Каменки, в судьбе которого Модест Ильич принимал большое участие, видимо, подыскивая себе компаньона и слугу для путешествий с Колей Конради. Петр Ильич охарактеризовал его нелицеприятно: «Он неоткровенен, хитер и любит делать шалости исподтишка»; или: «Говорят, что этот Моисей мальчик ленивый, хитрый и вообще довольно дрянной. Представляю тебе решить, оставаться ему здесь или опять сделаться пастухом».

Внимание братьев обратилось теперь на сына главного бухгалтера Каменского сахарного завода Гришу Сангурского. Композитор уже принял участие в судьбе его брата-художника Бонифация и теперь возымел желание сделать Григория, к которому был особенно расположен, слугой при Коле. В конце сентября Модест и Коля по пути в Италию остановились в Каменке и забрали Гришу с собой.

Другим объектом композиторской филантропии был восемнадцатилетний Михаил Клименко — представитель низшего класса каменского окружения, о котором Петр Ильич писал Юргенсону 11 октября 1881 года: «Милый друг! Чувствую, что первым делом ты будешь смеяться,

прочтя это письмо, но прошу тебя отнестись к нему серьезно и по возможности сочувственно отозваться на мою просьбу. Здесь есть один молодой человек лет 18 или 19, очень талантливый, очень смысленный, тяготящийся своей теперешней жизнью потому, что семейная его обстановка скверная и неподходящая к его относительно высшему развитию, отчасти потому, что вообще его тянет туда, где больше жизни и света. Мечта его — получить какое-нибудь скромное местечко в городе. Здесь он служит счетчиком по экономии и пользуется самой безукоризненной репутацией честного, дельного малого, смекающего кое-что в бухгалтерии. Он страстный любитель чтения; я обыкновенно снабжаю его книгами и таким образом с ним познакомился. Пишет он стишки очень порядочно для юноши, учившегося только с грехом пополам грамоте. Вообще, это способный человек, очень страдающий от невозможности выйти из ограниченной теперешней сферы. Он просит меня (как ты увидишь из прилагаемого письма) помочь ему. И я не могу не попытаться содействовать его желанию. Не нужен ли тебе такого рода человек в нотопечатне или даже в магазине? Ты увидишь из письма, что он не только грамотен — но даже очень грамотен. Могу тебе достать из каменской администрации самые лучшие аттестации. Голубчик, милый, возьми его себе? А ведь это опять нечто роковое: я его ни в каком случае не оставлю и не могу оставить здесь, ибо знаю, что он погибнет, если не помочь ему. Посмейся, потом тронься и ответь что-нибудь». Михаил Клименко был взят издателем Чайковского на работу, но кроме неприятностей ничего ему не принес. Выяснилось, что молодой человек имел несносный характер, плохо работал и связался с подозрительной компанией. Юргенсон не знал, как от него отделаться, и часто жаловался на него.

Продолжали развиваться и принимали интересный оборот отношения Чайковского с другим его протеже — Леонтием Ткаченко. После их встречи зимой композитор устроил его в Московскую консерваторию. Перед отбытием в Италию он предупредил молодого человека, что уезжает и долго не будет с ним видаться, попросив «думать лишь единственно о своем учении». С чувством удовлетворения от благородного поступка он на какое-то время забыл об этом больном юноше, близком, по его мнению, «к полному сумасшествию». В консерватории Ткаченко не понравилось, благодетеля своего он не желал оставлять в покое, а последний по доброте душевной продолжал с ним переписываться.

Каково же было удивление Чайковского, когда 9 августа рано утром в Каменку явился сторож со станции и таинственным тоном сообщил, что

неизвестный молодой человек желает его видеть, не будучи в состоянии, несмотря на уговоры, объяснить, кто он. Недоумевая, композитор решил было никак не реагировать на это сообщение, но скоро догадался по описанию, что речь шла о Ткаченко, и побежал на станцию. Ему пришло в голову, что бедный юноша ждет его, чтобы при нем тотчас застрелиться. Петр Ильич действительно нашел его на станции в весьма жалком состоянии, голодного, несчастного и на грани отчаяния. Увидев Чайковского, тот невыразимо обрадовался и не мог удержаться от истерических рыданий. Композитор его успокоил, покормил и в течение целого дня уговаривал вернуться в Москву. Выяснилось, что тот пешком пришел из Харькова в Каменку, чтобы только сообщить ему о своем отказе от его стипендии из-за отсутствия музыкальных способностей, воли и вообще из-за негодности к чему бы то ни было. Наконец юноша согласился вернуться в Харьков и обещал прислать свой дневник, написанный за лето, где заключалось все, что он хотел, но не мог связно рассказать.

После пережитых волнений Ткаченко вновь стал симпатичен своему покровителю: «Это хорошая, но надломленная натура а 1а Достоевский». В конце августа он получил пакет с дневником разочарованного в жизни 24-летнего молодого человека. Прочитав его не без интереса, Чайковский убедился, что, несмотря на некоторую безграмотность, Ткаченко обладал несомненным литературным даром. «По искренности, с которой это написано, по горечи, пропитывающей каждую строчку, по отсутствию всякой рисовки и бесцеремонности, с которой он рассказывает такие вещи, о которых даже Руссо не рассказал бы, по странному и своеобразному стилю его с оттенком малороссийского, гоголевского юмора, наконец, по симпатичности самого героя рассказа, больного, раздражительного, но в сущности необычно любящего и горячего, — рукопись эта есть нечто невообразимо интересное», — писал он Модесту 29 августа 1881 года. Следует отметить, что в своем предельно откровенном дневнике Ткаченко признавался, что, помимо увлечений женщинами, он имел и гомосексуальный опыт.

Чайковский послал ему пространный ответ, написанный в течение нескольких дней, с 31 августа по 6 сентября. Моральные соображения, высказанные в нем, заслуживают особого внимания. «То, что Вы в рукописи своей называете Вашими “пакостями”, произвело на меня довольно удручающее впечатление, но не в том смысле, как Вы подозревали. Это нисколько меня не оттолкнуло от Вас, но я боюсь, что слишком обильная дань, которую Вы заплатили сладострастию в самом еще нежном возрасте, имела пагубное влияние на Ваше здоровье. Нужно

будет с Вашей стороны много усилий воли, чтобы исправить органические повреждения, причиненные этими излишествами. Впрочем, вся задача Ваша и будет теперь в том, чтобы воспитать в себе силу воли. Что касается нравственной стороны “излишеств”, то во 1-х, не имею права бросить в Вас камень, ибо и сам не без греха, а во 2-х, по моему мнению, человек в этом отношении находится в роковой зависимости от своего темперамента. Очень часто целомудренность не что иное, как отсутствие элемента сладострастности в темпераменте. Все дело в том, чтобы уметь стоять выше своих телесных вожделений и уметь сдерживать их, а это дается воспитанием. У Вас оно было плохое, или, лучше, его вовсе не было, а потому я и не назову Вас развратником. В истинном значении слова, развратник тот, кто из телесных наслаждений сделал цель жизни, у кого душа никогда не протестует против увлечений плоти. Вы же всегда хотели победить свою плоть, но силы не хватало, как и во всех Ваших хороших намерениях. <...> Несмотря на то, что Вы себя слишком жестоко казните, преувеличенно к себе строги, смотрите, как бы Ваша мания отрицать в других искренно добрые чувства не имела бы источником гордости, а ведь Вы, по-видимому, искренний христианин, хотя и не признаете божественность Христа! Говорю Вам об этой мании, чтобы Вы постарались искоренить ее в себе. Посмотрите, сколько совершенно излишних страданий Вы перенесли из-за того, что не могли сразу поверить, что я не был руководим ни сентиментальным эгоизмом, ни расчетом, когда вызвал Вас в Москву. <...> Ах, Леонтий Григорьевич, хороший, милый Вы человек, но больной нравственно, в чем виноваты, конечно, не Вы, а обстоятельства. Я очень дорожу Вашей любовью (удержитесь от поползновения объяснить эти слова сентиментальностью), меня трогает искренность и горячность Ваших чувств, я верю им безусловно и прошу Вас, если не для Вас, то для меня, делать все, что признано будет нужным для исцеления больной души Вашей. Прежде всего победите в себе то, что я назвал “гордостью”».

В письме этом композитор откровенно признался, что сам не без греха, недвусмысленно высказался против «увлечений плоти» и безличного разврата, и призывал стоять «выше своих телесных вожделений и уметь сдерживать их». До известной степени, он пытался следовать этим принципам и сам, хотя по большей части без особого успеха. Он продолжал материально поддерживать молодого человека, посылая ему 25 рублей в месяц и советуя серьезно заняться литературной работой.

«Симацкая мечта» лопнула еще до того, как Алеша должен был вырваться на свободу. Надежда Филаретовна, испытывая денежные



затруднения, вынуждена была продать браиловское имение вместе с Симаками. Выразив свое сочувствие «лучшему другу» по этому поводу, Чайковский не забыл и о своих тревогах: «Предстоящий приезд Алеши не только не утешит и не уврачуеет мои сердечные раны (замечательное выражение — как о возлюбленном. — А. П.), но, скорее, растравит их. Сознать, что он вернулся ко мне другим и притом только для того, чтобы снова оставить меня, это будет очень горько и отравит удовольствие свидания».

Уже получено известие о том, что долгожданный слуга приедет в Каменку около 10 сентября, но... Из письма Модесту 4 сентября узнаем: «Ты знаешь уже, что Симаки похерены. Я ожидал теперь Алешу сюда и думал: или остаться здесь (в случае, если б ему показалось тут весело), или ехать к тебе. Но вдруг получаю от него отчаянное письмо. Ротный командир его сюда не пускает; ему позволили только съездить к себе в деревню, куда он отправился на 10 дней, а 10 сентября вернется в Москву, и хоть свободное время будет продолжаться до 1 октября, но его никуда из Москвы не пустят». 10 сентября Чайковский приехал для свидания с Алексеем в Москву. Свидание это принесло ему мало радости. Дела и встречи постоянно отрывали его от слуги, приходилось его развлекать, сверх того он действительно несколько огрубел и часто огорчал своего хозяина «неисправимым нравом и манией спорить».

Пятого октября композитор, возвратившись в имение сестры, написал из Каменки фон Мекк все в той же интонации стенаний: «Ах! если б только мой бедный Алеша мог быть здесь со мной!»

Вскоре он узнал, что его вторая племянница, восемнадцатилетняя Вера, собирается выйти замуж за морского офицера, старше ее на десять лет, адъютанта великого князя Константина Николаевича, Николая Римского-Корсакова (однофамильца знаменитого композитора). В письме Модесту от 17 октября 1881 года, который уже находился с Колей и Гришей в Риме, говорится: «До чего он влюблен! Ну совершенно так, как я бывало. Он пожирает ее глазами; злится и тоскует, как только она на минутку уйдет. Но видно, что это не только увлечение, а настоящая нормальная любовь. Модя, какие мы с тобой бедные, ведь мы так и проживем весь век, не испытав ни на единую секунду полноты счастья в любви». Минутное настроение, здесь отраженное, знакомо многим гомосексуалам: оно приходит и уходит, не оставляя следа. Суть его, однако, очевидна — исключительная гомосексуальность, как всякая неполнота, оставляет ощущение неудовлетворенности.

К этому времени Давыдовы наняли квартиру в Киеве, где учились их

дети, и на зиму всей семьей переехали туда жить. Там же в начале ноября Вера и Николай поженились, а через несколько дней после их свадьбы Петр Ильич уехал за границу. Укладывал его вещи известный нам Евстафий, он же и провожал его на станцию, перед дорогой даже выпив с ним бутылку вина и немного коньяка. В письме Анатолию 14/26 ноября, упоминая об этом, композитор с горечью признает: «В этот день я имел случай еще раз убедиться, насколько мой бедный Леня, несмотря на все недостатки своего характера, выше в нравственном отношении, чем, например, Евстафий, который, хоть и хороший малый, но лакашка — не более».

В конце этого бесконечного и полного событиями года, когда Чайковский был фактически парализован отсутствием Алеши и тоской по нему, у него начала просыпаться «потребность к сочинительству, которой он давно не ощущал». В течение многих прошедших месяцев его главной работой стала редакция сборника духовной музыки композитора XVIII века Дмитрия Бортнянского, заказанная ему Юргенсоном. Покинув Россию в уже творческом настроении, 13/25 ноября он прибыл в Вену и, прослушав вечером следующего дня в оперном театре «Гугенотов» Мейербера, ночью выехал в Венецию.

Чайковский 16/28 ноября писал «лучшему другу»: «Венеция производит на меня какое-то совершенно особенное впечатление. Независимо от того, что она сама по себе поэтична, прекрасна и в то же время как-то печальна, она еще возбуждает во мне воспоминания и грустные и в то же время милые. Четыре года тому назад, если помните, я прожил здесь около месяца с Алешей в это же время года. Это было то время, когда в усиленной работе (я инструментовал тогда нашу симфонию) и в тишине я искал забвения перенесенных горестных дней. Работа, присутствие Алеши и, наконец, Ваши письма услаждали мое тогдашнее одиночество и принесли облегчение моей душе. И жутко и приятно вспоминать эти дни». Внутренний паралич постепенно оставлял его, и вскоре композитор совсем воспрял духом от счастья, порожденного вестями по поводу Алеши. Срок его службы сократили до трех лет благодаря сданному экзамену в начальную школу, на чем так настаивал хозяин.

Из Венеции Чайковский отправился во Флоренцию, где уже обосновалась Надежда Филаретовна. Не пробыв там и двух дней, выехал в Рим для встречи с Модестом и его воспитанником. Фон Мекк тщетно уговаривала его сменить Рим на Флоренцию. «Как я счастлива Вашим приездом, но как в то же время меня огорчает мысль, что это так ненадолго», — писала она ему 18 ноября. Его отказ не мог не оставить

горечи и разочарования в ее душе, настроенной на их еще одну «флорентийскую идиллию».

## Глава двадцать первая. Парижские страдания

Перед тем как уехать из России в ноябре 1881 года, Чайковский решил, что следующей его работой станет опера. Единственным сюжетом, который волновал его в то время, был сюжет «Ромео и Джульетты», но, к сожалению, этот замысел так и не был осуществлен. Внимание композитора сначала остановилось на повести Дмитрия Аверкиева «Хмелевая ночь», инсценировку которой под названием «Ванька-ключник» он увидел перед отъездом в Киев. Но и она не сумела пробудить в нем творческого вдохновения. В Риме композитор изменил свои планы из-за сложностей с либретто на эту тему и вскоре заинтересовался исторической поэмой Пушкина «Полтава». Следующие несколько месяцев он обдумывал оперу, основанную на трагической истории казацкого атамана Ивана Мазепы, который, пытаясь освободить Украину от России, объединился с шведским королем Карлом XII против Петра I в Северной войне и был вместе с последним разгромлен в Полтавской битве 1709 года.

Прожив в Риме две недели, Петр Ильич писал фон Мекк, что начал работу над новой оперой «Мазепа». Однако к концу декабря он неожиданно прервал этот проект, погрузившись в другое сочинение — трио для фортепиано, скрипки и виолончели «Памяти великого художника», посвященного так рано ушедшему Николаю Рубинштейну. Читаем в письме ей же от 14/26 декабря: «Знаете ли, дорогая моя, что я начал писать? Вы очень удивитесь. Помните ли, Вы однажды посоветовали мне написать *trio* для фортепиано, скрипки и виолончели, и помните ли мой ответ, в котором я высказал Вам откровенно мою антипатию к этой комбинации инструментов? И вдруг теперь, несмотря на эту антипатию, я задумал испытать себя в этом еще не затронутом мной роде музыки. У меня уже написано начало трио; кончу ли его, удачно ли выйдет, не знаю, но мне очень хотелось бы удачно окончить начатое. Надеюсь, что поверите мне, когда скажу, что главная или, лучше, единственная причина того, что я примирился с столь нелюбимой мною комбинацией фортепиано с струнными, есть та мысль, что этим трио я доставлю Вам удовольствие. Не скрою от Вас, что мне приходится делать над собой усилие, чтобы укладывать свои музыкальные мысли в новую, непривычную форму. Но хочу выйти победителем из всех трудностей, и постоянная мысль, что Вы будете довольны, ободряет и вдохновляет меня». 28 января/9 февраля трио было закончено и отослано в Москву Юргенсону. В годовщину смерти

Рубинштейна, 11 марта, в Московской консерватории оно были исполнено в первый раз и произвело сильное впечатление как на слушателей, так и на исполнителей. Получив об этом телеграмму, композитор был очень доволен.

В Риме, кроме Модеста, Коли и Гриши, обретались еще Кондратьев с семейством и Голицын. 23 ноября/5 декабря Петр Ильич сообщил своему Алексею: «Н[иколай] Дмитриевич] здесь в том же самом номере. Служащие многие все те же; вообще было бы приятно вполне, если б на каждом шагу ты бы не вспоминался. И я, и Модест беспрестанно о тебе говорим и часто грустим о тебе! При Модесте и Коле теперь живет Гриша Сангурский — очень милый мальчик; Модест им доволен, — но он какой-то скучный, он очень необщительный. У Ник[олая] Дмитриевича] живет новый камердинер итальянец. Странная вещь, Саша [Легошин] освободился от службы, а он сюда его не выписывает».

В ноябре Иосиф Котек давал концерты в Петербурге и планировал впервые исполнить скрипичный концерт Чайковского, над которым они вместе так много работали в Кларане весной 1878 года. Однако молодой человек попал под влияние знаменитого Леопольда Ауэра, который считал концерт «совершенно неудобоисполнимым», и в последний момент отказался его играть. Ауэр отговорил от этой затеи и французского скрипача Эмиля Соре. Композитор с возмущением и обидой написал Юргенсону: «Котек, мой ближайший друг, трусил и малодушно отменил свое намерение познакомить Петербург с моим концертом (между тем, это была его прямая обязанность)», и Анатолию: «Котик сплоховал и выказался с довольно мизерной стороны». С этого времени Чайковский прекратил с ним отношения. Одновременно пришли и хорошие новости: концерт, несмотря на его неодобрение частью публики, 22 ноября/4 декабря с блеском сыграл в Вене Адольф Бродский. Чайковский был «глубоко тронут тем мужеством, которое он [Бродский] выказал, взявшись перед предубежденной публикой играть вещь столь трудную». Отзывы венских критиков были самые разные: от хороших до безобразных. Автора поразили отзывы музыкального критика Э. Ганслика, который назвал музыку концерта «вонючей». Об этом курьезе он известил фон Мекк и Юргенсона.

Новый, 1882 год Чайковский встретил в Риме в кругу любимых спутников в заграничных путешествиях — Модеста и Коли. Чувствовал он себя физически и нравственно превосходно, главным образом потому, что смог вернуться к работе и она продвигалась успешно.

Из России приходили самые разные вести. В Каменке Таня продолжала вести сомнительный образ жизни — со скандалами, поисками

подходящего жениха и выпрашиванием морфина с надобностью и без. Александра, страдавшая постоянными болями из-за камней в почках, увлекалась тем же наркотиком. Петр Ильич писал Анатолию: «Конечно, все у что происходит в этом доме, ужасно, возмутительно и смертельно грустно. Конечно, Таня ведет себя непозволительно и губит не только свою собственную жизнь и репутацию, — но и свою мать и спокойствие всего семейства. <...> Дело теперь зашло так далеко, что возврата быть не может: la position est tres tendue (положение очень запутанное, — *фр.*), ни вылечить Таню, ни исправить ее нельзя».

Анатолий его, однако, порадовал: после многолетних поисков он нашел себе подходящую невесту — Прасковью Коншину, дочь богатых московских купцов, о чем 7/19 февраля композитор информировал «лучшего друга»: «Сегодня получил я письмо от брата Анатолия, дышащее такой полнотой счастья, такой пламенной любовью к своей невесте, что мне сделалось весело на душе. Все более и более мне начинает казаться, что, в самом деле, он, наконец, найдет удовлетворение тех смутных стремлений, от неудовлетворения которых он вечно страдал и тосковал. Для меня будет величайшим благом, если брат Анатолий перестанет терзать меня своим томлением и тоской; я бесплодно всегда мучился нравственно, упрекая себя за то, что не умел успокоить и утешить его. Но это было невозможно. Не братская любовь, а любовь хорошей женской души только одна может принести утоление той жажды счастья, которую он испытывал».

Брату он ответил в тот же день: «Толя, голубчик! Сейчас получил твое письмо, с подробностями о сватовстве. Я ужасно рад, что ты чувствуешь себя счастливым, и хотя никогда ничего подобного не испытывал, но мне кажется, что отлично понимаю все, через что ты проходишь. Есть известного рода потребность в ласке и уходе, которую может удовлетворить только женщина. На меня находит иногда сумасшедшее желание быть обласканным женской рукой. Иногда я вижу симпатичные женские лица (впрочем, не молодых женщин), к которым так и хочется положить голову на колени и целовать руки их. Впрочем, мне трудно это выразить».

Этот отрывок часто приводится в защиту мнения, что композитор вполне был способен любить женщин, но подобный аргумент несерьезен. Процитированный текст прагматичен и сентиментален, вполне в его стиле и соответствует вызвавшей его okazji: печали по неосуществимой любви к женщине и подсознательной тоске по жене-матери. Желание «целовать

руки» пожилым дамам имеет мало общего с постулируемым некоторыми биографами «жестоким страданием».

Свадьба была назначена на 4 апреля, и Петр Ильич, разумеется, должен был присутствовать на ней, а пока наслаждался Неаполем, куда они с Модестом перебрались из Рима в обществе неизменных Коли и Гриши.

Если на незнакомых людей Петр Ильич иногда производил впечатление нелюбезного человека, то на близких он действовал неотразимо, со свойственными ему шармом и обаянием. Он совершенно покорила сердце гувернантки дочери Кондратьевых, француженки Эммы Жентон, питавшей к нему, как он выразился в письме Анатолию, «нежные чувства, более страстные, чем я желал». Вследствие этого обстоятельства он был немного не в себе, оно тяготило его на протяжении пребывания Кондратьевых в Италии, и, несмотря на признание прелести Эммы, был рад, когда они уехали.

В Риме, Неаполе, Помпеях и Сорренто они провели много незабываемых минут. Поездку в Помпеи описал в своем дневнике Модест: «В ресторане Диомеда к нам подсел немец, надоедавший Пете. Коля жаловался на головную боль. Все неприятности — и скучная дорога, и немец, и Колина головная боль, были забыты, когда мы очутились на узких улицах Помпеи. Мы начали с базилики, прошли на форум, в храм Юпитера, в храм Венеры, Chalcidium, храм Меркурия, Фортуны, потом Via delle Terme, в термы, оттуда в дом трагика Пансы, и вдоль улицы, ведущей к Геркуланским воротам, к вилле Диомеда, оттуда вдоль стены по неизвестным улицам к ruell de Mercure, потом в дом Адониса, [мимо] маленького фонтана, винной лавочки, к месту новых раскопок. Затем взобрались наверх и в амфитеатр, откуда успели забежать в театр — взглянули на часы — 4 часа прошло! Нам всем за час показалось. К вечеру было особенно хорошо, пустынное, легче ходить... просто бы не уезжать... Так вошли во вкус этой прогулки».

Тринадцатилетний Коля, необычайно одаренный в умственном отношении ребенок, незаметно подрастал. Под руководством Модеста он начал ясно говорить и понимать, что ему говорили другие. Благодаря феноменальной памяти он обладал обширными знаниями, редкими для его возраста, почти во всех науках. Особенно его занимали история и естественные науки, и братья Чайковские нередко обращались к нему за сведениями по тому или иному предмету. Но физически Коля был слаб и развивался медленно, часто болел. Модест его показывал местным медицинским светилам, один из которых посчитал необходимым сделать мальчику обрезание, что и было произведено в конце января. После развода

родителей Коля постоянно писал и матери, и отцу; путешествуя с Модестом, он давно перестал удивляться и сокрушаться по поводу их нежелания жить вместе. Мать всегда относилась к сыну с какой-то отстраненной холодностью.

По пути в Москву на свадьбу брата Чайковский 16/28 марта остановился на несколько дней во Флоренции, где зимовала фон Мекк. И снова она писала ему почти в прежних выражениях: «Не могу воздержаться, чтобы не написать Вам, как я рада Вашему приезду, мой несравненный друг, но в то же время, как печалит меня то, что так ненадолго». Больше они никогда не жили поблизости друг от друга, если не считать российских столиц.

Анатолий и Юргенсон встретили композитора в Москве 26 марта. Петр Ильич познакомился с невестой брата, нашел ее очень милой, но довольно молчаливой, однако искренней и простой в разговоре, нежной и заботливой к жениху.

Из Киева, где Давыдовы жили теперь каждую зиму, приехала Саша с дочерьми и мужем. Все они выглядели здоровыми, но от наблюдательного глаза Петра Ильича не укрылось, что Таню беспрестанно тошнит, а сестра то и дело убегает и запирается для инъекций морфина.

Четвертого апреля состоялись свадьба и торжественный обед. В этот же день молодожены уехали за границу, чтобы провести там медовый месяц. Чайковский тяготился официальностью своего положения, ибо должен был восседать на видном месте, представляясь многочисленным родственникам невесты, постоянно обедая в компании незнакомых людей и ведя самый неупорядоченный образ жизни. Он жаловался Модесту: «И какая *amere derision* (горькая насмешка. — **фр.**) моей жизни здесь? Тот, кто мне так неописуемо дорог и мил, т. е. мой Леня, — для меня невидим, ходит и живет против меня. У них приближаются экзамены и никого их не пускают».

Петр Ильич был еще в Москве, когда 20 апреля из Каменки пришла телеграмма от племянницы Веры: «Ландыши расцветают». На следующий день Чайковский с неописуемым восторгом выехал, с остановкой в Киеве, в Каменку. В Киев вернулись и его сестра с Таней, Митей и Бобом, там отпраздновали как именины Александры, так и день рождения Петра Ильича. Ему исполнилось 42 года. 26 апреля он наконец появился в Каменке. Александра с тремя детьми осталась в Киеве, племянницы Анна и Наташа находились в Петербурге, и компанию в Каменке ему составляли только зять Лев, племянница Вера с мужем и самый младший племянник Юрий со своей гувернанткой. Ухаживал за Петром Ильичом вместо



прошлогодного Бориса каменский слуга Степан, чьим усердием он был весьма доволен. Композитор собирался засесть за «Мазепу», но 27 апреля из-за границы приехали Модест и Коля. Модест выглядел плохо: был бледный, очень похудел, последние несколько месяцев страдал от геморроя, который пришлось оперировать. «Модест кричал как теленок и получил истерику, с коей доселе не был знаком», — писал Петр Ильич Анатолию.

Шестого мая пришла телеграмма с извещением о внезапной кончине отца Коли, Германа Карловича Конради, умершего в дороге где-то в Харьковской губернии. Не оправившись от операции, Модест отбыл в Гранкино, куда съезжались родственники покойного. Он знал, что тот оставил завещание, в котором имение Гранкино доставалось Коле, а мальчик поручался ему. Кроме того, по завещанию ему полагалось десять тысяч рублей. Опекуном над имуществом Коли и его малолетней сестры Веры назначался некто А. И. Филиппов. Мать детей Конради в завещании не упоминалась. Однако она приехала в Гранкино, надеясь на то, что какая-то часть большого наследства Германа Карловича перепадет и ей, или, по крайней мере, что ей отдадут на воспитание дочь. Надежды эти не сбылись, но само появление Алины отравило Модесту пребывание там до момента вскрытия завещания — это случилось через шесть недель после смерти Конради.

Композитор продолжал редактировать «Полное собрание духовных сочинений» Д. С. Бортнянского, обещанное еще в прошлом году Юргенсону, и работал над «Мазепой». «Странная вещь, — писал он Модесту 15 мая 1882 года, — с утра до вечера, даже ночью, я думаю о том, как бы поскорее наступила граница, и вообще как будто стремлюсь отсюда уехать, а между тем чувствую, что нигде, кроме Каменки летом, я не дома, и если придется ехать, то жалко будет даже той скуки, которая меня преследует. Занимаюсь аккуратно, но не увлекаюсь, не испытываю и двадцатой доли того вдохновения и любви к своему нарождающемуся детищу, какие испытывал прежде, особенно относительно некоторых детищ».

Обстановка в семействе Давыдовых очень тяготила Петра Ильича. С одной стороны, он радовался изменениям, происходящим в жизни племянницы Анны. В этом году она, с его подачи, уже несколько раз встречалась с сыном Надежды Филаретовны Николаем. Оказалось, что она в него влюблена и молодой человек отвечал взаимностью. Мечта меценатки породниться с семьей своего музыкального идола была близка к воплощению. Однако тревожило здоровье Тани, злоупотреблявшей морфином, без которого она уже не могла прожить и дня. Чайковский писал

об этом откровенно фон Мекк 17 мая: «Просто в отчаянье приходишь, когда о ней думаешь. Было время, когда семья эта была невозмутимо и безгранично счастлива. Но с тех пор как выросла Таня и начала прежде томиться о чем-то и о чем-то неопределенно тосковать, а потом отравлять себя этим проклятым ядом, отлетело от них счастье. И болезни сестры моей суть прямой результат тревог, причиняемых Таней».

И Александра Ильинична, и ее муж были не в состоянии замедлить безудержно приближавшуюся катастрофу. Петр Ильич писал Анатолию, что «они подобны людям, которые осуждены к тяжелому наказанию, знают его неотразимость и только стараются закрыть глаза от бездны, в которую падают, и посредством всякого рода хитростей забывать грозящее им бедствие». Дабы не растревать раны Таниных родителей, он притворялся, что «ничего не замечал». Они знали о его притворстве и были признательны ему за это.

Но полностью игнорировать происходящее становилось трудно. Еще в Киеве Петр Ильич застал Таню «совершенно здоровой, каждый день едущей верхом, — но намазанной и одетой так пестро и безобразно ярко, как прежде. Женихов никаких нет, зато около нее увиваются разные господа вроде Бернатовича, Блуменфельда и т. п.». Приехав в конце мая в Каменку, Таня с ее криками, болезнями и скандалами начала его опять раздражать. Почти одновременно с ней на летние каникулы прибыл туда же и двенадцатилетний гимназист Боб. Петр Ильич писал Модесту: «Последний день ото дня делается очаровательнее и интереснее. Мне кажется, что из него выйдет что-нибудь необыкновенное, не великое, но чарующее и бесконечно симпатичное. Митя постоянно нездоров: — это представитель больного, надломленного элемента семьи; боюсь, что это Таня в панталонах». Впоследствии у Мити начали проявляться симптомы эпилепсии, доставшейся Чайковским по материнской линии. С годами она превратится для него в серьезную проблему.

Шестого июня Чайковский выехал в Гранкино с Модестом и Колей, где провел почти два месяца. Модесту была сделана вторая операция. Только после этого старший брат смог немного расслабиться и продолжить работу над оперой — своим новым музыкальным чадом, «причинявшим ему тяжелые минуты разочарования в себе самом и почти отчаяния», но постепенно все более его увлекавшим. Своему «милому Лене» Петр Ильич регулярно посылал письма, рассказывая обо всем, например: «Мне нравится Гранкино — очень привольно здесь, именно так, как я люблю: тихо, покойно. Ты, я думаю, Колю бы не узнал, — он очень теперь вырос и держит себя важно, как следует помещику с хорошим состоянием. Гриша

Сангурский стал совсем взрослым человеком; очень увлекается охотой. Купанье здесь отличное, и это мне тем более приятно, что живя в вонючей Каменке, я лишен удовольствия купаться. А помнишь, Леня, купанье в Симаках? Для меня наша жизнь в Симаках точно какой-то сладкий сон! Это было счастье и блаженство! Целую крепко и обнимаю тебя, мой голубчик».

Вместе с Модестом и Колей 26 июля Петр Ильич вернулся в Каменку.

Чайковский по-прежнему переживал шок от печальной перспективы разорения Надежды Филаретовны. В связи с покупкой ею нового имения в Плещееве он пишет ей еще 16 июня: «Еще по этому поводу не могу не прибавить следующее. Весьма может быть, что по случаю покупки имения и обзаведения Вам так много нужно наличных денег, что даже и моя бюджетная сумма стесняет Вас. Знайте, дорогая моя, что для меня совершенно убийственна мысль, что из-за меня Вы хоть одну минуту испытаете затруднение. Я могу ждать сколько угодно. И вообще для меня в бесконечной степени легче перенести всякое лишение, чем смущаться мыслью, что Вы из-за меня потерпите хотя бы малейшее стеснение. Ради Бога, поступайте в отношении меня, как с другом, столь крепко и беззаветно Вам преданным и так любящим Вас, что для меня Ваше полное спокойствие и благосостояние есть необходимое условие моего спокойствия и счастья». Надежде Филаретовне весь этот пассаж показался, вероятно, таким проявлением мнительности, что она даже не посчитала нужным на него ответить. Финансовые проблемы в ее семействе возобновились во второй половине 1880-х годов, и, хотя дело до разорения не дошло, их нельзя полностью сбрасывать со счетов при попытке объяснить их разрыв через несколько лет.

События последнего года не могли не отразиться на здоровье фон Мекк. Ее мучили острые боли в руке. 5 июля 1882 года она писала Петру Ильичу: «Милый, дорогой друг мой! Как мне больно, как тяжело, что я не могу, как прежде, в более счастливое время для меня, писать Вам часто и длинные письма, но рука моя в таком состоянии, что я после каждых двух строчек должна ей давать отойти, и я с горем убеждаюсь, что потеряю ее совсем. Никакие средства не помогают, и она приходит все в худшее и худшее состояние. И самое горькое для меня в этом положении будет лишение возможности беседовать с Вами, мой дорогой, единственный друг. С Вами я отводила душу, отдыхала\* вознаграждала себя за много, много горя, которое имею в жизни, и потерять это единственное утешение очень больно и обидно». С этого времени темп переписки заметно замедлился — вероятно, композитор оправдывал редкие теперь свои письма мыслью о

том, что тем самым он щадит больную корреспондентку, не давая ей причин и повода напрягать руку ответом на каждое, если б они были столь же частыми, как и ранее. «Прошу Вас убедительно ограничиваться в письмах Ваших ко мне несколькими строчками, дабы радость моя при получении известий от Вас была всегда полная».

Они старели; все более вовлекались в круг рутины и суетных дел; на них тяжело отражались болезни, деловые неурядицы, смерти близких. Письма, вначале писавшиеся едва ли не через день (а то и каждодневно), постепенно свелись к еженедельным. А когда композитор был особенно занят репетициями или постановочными хлопотами, то не давал знать о себе «лучшему другу» неделями и даже месяцами. А фон Мекк страдала множеством недугов, включая головные и глазные боли, боли в руке, а сверх того, должна была выдерживать натиск финансовых проблем.

Единственным утешением Надежды Филаретовны представлялась растущая близость между семействами фон Мекк и Давыдовых. Чайковский познакомился с двумя ее юными отпрысками, Николаем и Александром, когда те приезжали погостить в имение Давыдовых. Планы выдать замуж Анну за Николая фон Мекка начали приносить плоды. Увиделись они впервые в начале того же года, когда он и Александр посетили семью Давыдовых в Киеве, еще во время пребывания Чайковского в Италии. Николай серьезно увлекся племянницей Петра Ильича и стал наносить ей неожиданные визиты.

По всей вероятности, Николай и Александр в тот период были симпатичными молодыми людьми, а склонность композитора к отрокам должна была придать этой встрече особую тональность: «Вчера утром приехали сюда Ваши чудные сыновья. Мне еще вчера вечером хотелось Вам написать о том неотразимо обаятельном впечатлении, которое с первой же минуты они произвели на меня, но я нарочно удержался, чтобы, более близко познакомившись, обстоятельнее написать про испытанные впечатления. Я очень трудно знакомлюсь с людьми, хотя бы они и были юношами (здесь с его стороны, надо полагать, маленькое лицемерие. — А. П.). Но я не знаю, оттого ли, что это именно Ваши дети, или таково свойство этих милейших юношей, но только с первой же минуты я почувствовал себя с ними в какой-то общей, родственной сфере, так что мне казалось, будто они сделались здесь в доме совсем своими».

На это письмо его корреспондентка слишком пылко отреагировала 7 августа: «Милый, несравненный друг мой! Сейчас получила Ваше дорогое письмо, и хотя совсем больна, но не могу удержаться, чтобы не выразить Вам тех чувств, которые оно во мне возбудило. Со слезами благодарности

читала я все то, что Вы пишете о моих мальчиках; доброта и нежность, с которою Вы говорите о них, до того дороги мне, что я и выразить этого словами не умею. Читая Ваше письмо, я могла только проговорить: господи, что это за человек, что за сердце! В благодарность я могу только просить Бога, чтобы он как можно чаще доставлял Вам такие счастливые минуты, какие доставили Вы мне Вашим письмом, милый, дорогой, несравненный друг!» Нет ничего удивительного и в том, что знакомство с человеком уже очень знаменитым произвело сильное впечатление на сыновей Надежды Филаретовны — особенно если принять во внимание его ласковое отношение к молодежи. В следующий раз она цитировала письмо сына: «Наконец исполнилась моя заветная мечта — знакомство с Петром Ильичом. Я должен признаться, что то, что я в действительности нашел, превзошло все мои ожидания. Я думал найти человека образованного, умного, доброго, но такого светлого ума, такой безграничной доброты я никак не мог ожидать. Накопление таких высоких качеств в одном человеке ясно указывает на высшее назначение его природы».

Началась бурная переписка Петра Ильича с Николаем фон Мекком. Первое время его письма доставляли композитору удовольствие, но постепенно превратились в обузу. Он жаловался Модесту 8 ноября 1882 года: «Меня в последнее время порядочно утомляет переписка с братьями Мекк [Николаем и Александром]. Оба мне пишут письма, требующие ответов, оба так милы и симпатичны, что нельзя не отвечать, а письма для меня становятся чистой мукой, когда я тороплюсь какую-нибудь работу окончить». Однако этот «медовый» период взаимоотношений между двумя семьями (то есть до заключения брака) был действительно исполнен радостной приподнятости, взаимного идеализирования и вообще несколько экзальтированной эйфории, свойственной как эпохе в целом, так и всем этим людям в частности. Чайковский передавал своей корреспондентке экстатические отзывы о ее детях самых разных людей — от Модеста: «Над[ежда] Фил[аретовна] (после знакомства с ее детьми. — А. П.) в моих глазах сделалась человеком, равного которому я не знаю. Здесь во всем отражается ее необычайный ум и поистине изумительное сердце. Я благоговею перед ней», — до Кондратьева: «Кстати о Николае Мекк. Какой он практичный и как он все умеет, и как он сознает свою силу, так и хочется сказать: возьми ты меня, голубчик, в полное свое распоряжение, делай что хочешь и с моим именем и с временем, пусть все будет по-твоему». С Модестом Николай особенно сблизился. Слова его приведены в письме Надежде Филаретовне от 26 ноября: «Моя поддержка и во время болезни и во время всего остального был Коля Мекк. Я тебе не могу

передать в должных выражениях всю душевную красоту этого мальчика». И она написала в ответ: «Прежде всего позвольте мне, дорогой мой, просить Вас передать мою искреннейшую сердечную благодарность Модесту Ильичу за его ласки и доброту к моему бедному, одинокому Коле. Он только и отогревается около Модеста Ильича теперь, когда с ним нет брата, с которым он от колыбели привык делиться всем, и когда все семейство так далеко. Коля пишет мне с такою благодарностью, с такою любовью о Модесте Ильиче, что я не знаю, как благодарить его».

На это Петр Ильич откликнулся 12 декабря: «Вы поручаете мне благодарить Модеста за дружбу, оказываемую им Коле, Но ведь Коля Модесту ничем не обязан. Брату не удалось до сих пор оказать ему никакой дружеской услуги, но зато получил он от Коли неисчислимую массу услуг, участия, нравственной поддержки в тяжкие минуты, и уж конечно, не Коля Модесту, а Модест Коле обязан до бесконечности. Зато нет ни единого письма, где бы Модест с умилением не говорил бы об удивительной доброте и сердечности Вашего чудного сына». И 25 декабря: «Коля был его ангелом-хранителем и утешителем. Он проявил по отношению к Модесту столько ангельской доброты, оказал ему так много нравственной поддержки и самых нежных попечений, что я до слез умиляюсь, думая об этом. Отныне Коля сделался для меня не только милым, симпатичным юношей, близким мне, потому что он — Ваш сын и будущий супруг племянницы, но он для меня предмет удивления и самой нежной родственной любви. Редко случалось сталкиваться с обладателем такого золотого сердца, каким его снабдила природа и Ваше воспитание».

С племянницей Анной Чайковский был в хороших отношениях, но, как он отметил однажды в письме Модесту, «мы не сходимся, между нами нет настоящей дружбы, как было прежде с Таней и Верой. Эта девушка до того безупречно себя держит и так деятельно, с такой пользой для своего умственного совершенства располагает свою жизнь; так мила с младшими детьми, так хорошо обходится с гувернантками и с прислугой, что нет минуты, когда бы я мог чем-нибудь быть недовольным в ней. А между тем что-то такое мешает мне любить ее живой любовью».

Пятого августа композитор вместе с Модестом и Колей выехал из Каменки в Москву. Младший брат почти сразу проследовал в Петербург, а старший 8 августа присутствовал на концерте, посвященном его творчеству, на Всероссийской промышленно-художественной выставке. Программа, состоявшая из фантазии для оркестра «Буря», концерта для скрипки, нескольких романсов и торжественной увертюры «1812 год» имела большой успех. Композитора много раз вызывали, особое

восхищение публики вызвал скрипичный концерт, исполненный впервые в России Адольфом Бродским. В Москве, с первого дня приезда и появления перед публикой, Чайковский уже никак не мог жить инкогнито. Со всех сторон хлынули люди — родственники, друзья и знакомые. Выяснилось, что его Алеша уже две недели лежит в больнице, и обеспокоенный Петр Ильич стал его почти ежедневно навещать. Тяготясь суетностью московского быта, он писал Модесту: «Я так страдаю, я так глубоко несчастлив, что всякий нищий счастливее меня. Вся штука в том, что для меня немыслима жизнь вне деревни и заграницы, а отчего это, ей-богу не понимаю, ну просто чуть с ума не схожу! Я наверное, когда-нибудь перейду в лучший мир именно от этой неопределенной, ядовитой, мучительной, ужасной болезни, которую я не способен определить, но которая состоит в том, что ни единого дня, ни единого часа я не могу провести в русских столицах без лютых страданий».

Естественно, что за годы, проведенные в кругу только самых близких людей и за границей, Чайковский отвык от бурной столичной жизни. Как это бывает со всеми интровертами, он приписывал столь острую тоску единственно себе, мнительно доводя ее до болезненного состояния. Десятидневного пребывания в Москве ему вполне хватило, чтобы снова возжелать возвратиться в Каменку, даже несмотря на присутствие там Тани и семейные неурядицы. Тем не менее он успел повидаться с Кондратьевым и его «незабвенным» Алешей Киселевым, своим протеже у Юргенсона Мишей Клименко, навестить Анатолия с женой. На Пахульского у него времени не хватило, несмотря на просьбу фон Мекк. Но напористый молодой музыкант все же смог поймать его в последний день. Чайковский не без лицемерия написал фон Мекк: «Владислав] Альберт[ович] застал меня за час до отъезда, уже в состоянии душевного просветления, когда я предвкушал наслаждение бегства из Москвы. Мне невыразимо приятно было его видеть: ведь он за час до того видел Вас и говорил с Вами. Получить весточку от Вас в ту минуту, когда ко мне снова возвращалась свобода, которой я обязан Вам, моей благодетельнице, моему лучшему другу, — в этом было такое радостное, светлое чувство! Никакими словами никогда мне не высказать, как я Вас чту и как благодарен Вам».

При близком общении с Пахульским именно мысль о Надежде Филаретовне помогала композитору терпеть его: упоминания о нем переходят в излияния добрых чувств по адресу «лучшего друга», равно как эти добрые чувства читаются между строк. Надо полагать то, что посредником между ними волей обстоятельств оказался человек, ему решительно неприятный, не мог не повлиять — пусть незаметно,

постепенно и подсознательно — на отношения между всеми тремя. С музыкой, сочинявшейся Пахульским, дело обстояло не лучше. «Пожалуйста, милый друг, скажите Владиславу] Альберт[овичу], чтобы он не огорчался на мою критику. Каждый начинающий автор должен пережить много горьких минут, вроде той, которую он испытает, прочтя мое письмо. Шуман 8 раз переделывал свою Первую симфонию по указанию Мендельсона, придирчиво критиковавшего ее», — писал Чайковский своей благодетельнице уже из Каменки. Ответ Надежды Филаретовны был несколько неожиданным: «Вы поручаете мне, дорогой мой, утешить Владислава] Альб[ертовича] в Вашей критике. Да ведь он в восторге от нее, он молится на Вас, без энтузиазма, без слез он не может говорить о Вашей дивной доброте. “Как, — говорит, — такое светило, такой колосс не погнушался таким червяком, как я (это его точное выражение): не только до мельчайших подробностей обратил внимание на все, но с такою неподражаемою деликатностью объяснил мне правило сочетания ударений музыки и слов”. Он дал мне читать Ваше письмо, мой несравненный человек, и я изумлялась, и только и можешь всегда сказать: Господи, что это за человек!» Итак, Пахульский платил композитору той же монетой: лицемерием за лицемерие.

В конце августа фон Мекк сообщила, что ее «любимец Achille Debussy» приехал в ее новое имение в Плещеево. «Я ему очень рада, — писала она. — Теперь я буду много слушать музыки, и он, кроме того, оживляет весь дом. Это парижанин с головы до ног, типичный парижский *gamin* (уличный мальчишка. — *фр.*), очень остроумен, отличный подражатель, презабавно и совершенно характерно представляет Gounod, Ambroise Thomas<sup>[5]</sup> и проч., всегда в духе, всегда и всем доволен и смешит всю публику невообразимо; премилый характер». Чайковский, занятый делами в Каменке, никак не отреагировал на приезд молодого французского пианиста и на новость о его отъезде в конце ноября.

Между тем мать Коли не сдавалась и, пытаясь ограничить права Модеста на ее сына, решила начать судебное разбирательство. Композитор извещал Анатолия из Каменки о делах сфо брата-близнеца: «Модест, кажется, на пути к благополучному исходу из своих щекотливых отношений к Алине. Он предъявил ей свои условия мира, из коих главное то, что жить он хочет отдельно и где угодно, и Алина сдалась сразу. Вообще, узнав, что Модест советовался с адвокатом Герке и что теперь твердо знает сущность своих прав на Колю, она сделалась очень уступчива и смиренна».

После всех этих событий Модест писал старшему брату из Петербурга



27 августа: «Я никогда еще, Петруша, не ощущал до такой степени, что я навеки нерушимо связан с Колей. Когда я поехал в Петербург, я очень допускал мысль о моей полной разлуке с Колей, во многих отношениях это было бы полезно для меня. Я более бы обратил внимание на развитие моего литературного таланта и в конце концов раз и навсегда отделался бы от профессии педагога, к которой, я теперь ясно вижу, я очень имею мало данных. На моей совести лежит уже не одна неудача на этом поприще. Вспомни Петю, Ваню... боюсь сказать Гришу (мальчики-слуги, компаньоны Коли Конради. — А. П.). Но при всех моих недостатках воспитания я никогда еще не понимал так ясно, как теперь, что для Коли я незаменим, что несмотря на слабость, раздражительность и очень часто непоследовательность в отношениях с ним, момент, когда я его оставляю, будет моментом начала его полной гибели просто потому, что его на всей земле никто не любит так, как я, да ты. Я в ужасе при виде одиночества и беззащитности этого мальчика».

Со смертью старшего Конради Модест впервые осознал всю тяжесть ответственности за судьбу своего воспитанника.

В начале сентября из Киева в Каменку вернулась Таня. Квартира в Киеве, нанятая отчасти ради ее каприза, была сдана, мебель распродали, и зиму мать и дочь решили провести дома. До ее приезда своим пребыванием в Каменке композитор оставался вполне доволен. Даже сильная усталость не могла помешать его работе над «Мазепой», поскольку он мог не отвлекаться на посторонние дела. Теперь же ему приходилось большую часть времени проводить у себя в комнате, дабы избежать контактов со скандальной племянницей.

Ее роман с тридцатилетним пианистом Станиславом Блуменфельдом, нанятым Давыдовыми для детей в качестве воспитателя, разворачивался прямо на глазах Петра Ильича. Однажды все трое возвращались из леса в ландо. Чайковский сидел рядом с Таней, а пианист — напротив. Под предлогом сырости (а дождя не было целый месяц) Таня положила на колени себе и Блуменфельду плед. К своему великому удивлению, композитор вдруг заметил, что племянница и их спутник начали весьма сомнительного рода игру ногами, которую он «не только осязал, но видел». Молчание изредка прерывалось замечаниями девушки о погоде или о местах, мимо которых они проезжали. 11 сентября Петр Ильич раздраженно писал Модесту: «Мне непонятна наглость, с которой они при мне это делали. Вероятно, она меня считает столь невинным, что и не боится. Два дня после этого, но особенно на другой день, когда по случаю дня рождения ее были гости, я беспрестанно приходил в такое огорчение,

негодование и ужас, что чуть с ума не сходил. <...> Пасть до того, чтобы не смущаясь позволять себе вещи, которые только публичные женщины делают. С самого рождения я всегда жил исключительно среди женщин безупречно чистых, и оттого факт этот казался мне так чудовищен. С тех пор с Блуменфельдом ни сказал ни слова до самого его отъезда. Он заметил и, видимо, понимал в чем дело. А если бы ты видел, как этот слепотствующий в своей любви Лева ухаживает за Бяуменфельдом, как он всячески его удерживает и ласкает, просто больно смотреть. <...> Мои отношения к Тане совершенно портят мое пребывание здесь, и, конечно, при первой возможности я уеду. Нет середины: или я злюсь на нее и раздражаюсь, или болезненно сожалею и ее и родителей, но во всяком случае страдаю».

Однако раздражение проходило, когда он видел мучения больной племянницы. Всего лишь несколько дней спустя Петр Ильич писал тому же адресату: «Бедная Таня все последние дни страдает не прекращающейся тошнотой. Теперь я уж не злюсь, а сожалею. Вот безотрадная, жалкая жизнь!» Поведение ее менялось, когда в доме не было молодых мужчин: она не капризничала, не пользовалась вульгарной косметикой, становилась спокойнее и милее, и он снова чувствовал, как сильно к ней привязан.

Роман молодых людей тем не менее продолжался. В письме 25 октября читаем: «Всю неделю здесь прожил Блуменфельд и... постоянно пребывал с ней в *tete-a-tet'*ах, после коих она делалась красная и взволнованная. Быть может, я грешил, но подозрение, что у них происходит нечто скверное, терзало и злило меня. Но впрочем, ту постоянную злость, о которой я тебе писал, мне удалось несколько обуздать путем рассуждения, и нрав мой стал сноснее». Вскоре выяснилось, что опасения Чайковского были не напрасными.

В середине ноября он принял решение возвратиться в Москву. Племянница пожелала присоединиться к нему, и, чтобы отговорить ее от этого, пришлось прибегнуть к неприятной лжи. Покидал он Каменку со смешанным чувством, но без сожаления. С появлением многих соседей уют каменского «уголка» померк. Не имея собственного дома, не умея устроиться в России где-либо еще, боясь одиночества за границей, Петр Ильич ощущал себя «каким-то кочевником», и мысль эта начинала его все более тяготить. По большому счету, с Каменкой его связывал теперь только Боб, который с каждым годом становился все очаровательнее, и его любовь к мальчику все росла. «Он до того нежен и ласков со мной, что я постоянно тронут этим, иногда почти до слез, — сообщал он Модесту 11 октября.

Ничуть не уменьшалась и его тоска по слуге. «Ах, Леня, Леня, как

подумаю, что еще 2 года ждать, — просто плакать хочется», — писал ему Петр Ильич 2 сентября 1882 года. А его послание от 18 сентября проникнуто особенно нежной интонацией и идиллическими планами на дальнейшую жизнь: «Голубчик мой Леня! Что это ты вздумал меня расхваливать в последнем письме? Не за что, голубчик. Ведь я тебя люблю не как своего слугу, а как самого близкого родного, как брата или как сына. Так как же мне о тебе не заботиться, мой родной! Лишь бы только поскорее прошли эти несносные годы твоей службы! Я мечтаю о том, что когда ты кончишь свой срок солдатчины, то, если я буду жив, перестану жить по чужим домам, а поселюсь в Москве, где-нибудь в хорошеньком месте, и уж навсегда. Мы устроимся с тобой в миленькой, удобной квартирке и заживем припеваючи. Хорошо было бы, чтобы к тому времени [ты] женился на какой-нибудь хорошей девушке, так, чтобы было кому присмотреть за нашим бельем и вообще оказывать всякие женские услуги. Молю бога, чтобы поскорее промелькнули два года и чтобы можно было осуществить мечты эти!» Обратим внимание на контекст пожелания женитьбы — акцент сделан не на Алешином семейном счастье, а на необходимости присутствия женщины, которая ухаживала бы за ними обоими.

Прослеженные нами страдания композитора после ухода Алексея в армию ярко демонстрирует силу его чувств: в их выражении он не стеснялся даже Надежды Филаретовны, выбрав ее в качестве одного из наперсников. Однако постепенно привыкаешь даже к разлуке. Со временем он стал упоминать слугу в письмах «лучшему другу» значительно реже (впрочем, и самих этих писем стало меньше), но иногда тоска по отсутствующему Лене прорывалась по-прежнему.

После нескольких лет разрыва Чайковский неожиданно встретил в Москве Владимира Шиловского, о чем написал 8 декабря Модесту: «Из интересных подробностей моего здесь пребывания сообщу тебе, что я помирился с Волод[ей] Шиловским и уже дважды кутил с ним». Написанная им 28 ноября записка самому Шиловскому, видимо, следствие этого примирения: «Володя! У меня до такой степени заняты все часы дня и вечера, что ближайшим сроком свидания с тобой могу назначить вторник вечером, в 11 часов, не ранее. Даже утром не могу к тебе заехать, ибо все утра посвящаю скучнейшим сеансам у Маковского, который пишет мой портрет. Итак, если тебе это удобно, то послезавтра сойдемся в Эрмитаже или в другом ресторане, где хочешь. Во вторник утром дай мне знать, можешь ли ты располагать вечером вторника и где желаешь назначить rendez-vous».

Четырнадцатого декабря Чайковский отправился в Петербург повидаться с Модестом, Колей и петербургскими друзьями, но простудился и долго проболел. А в канун Нового года он был уже в Берлине. «Мне приятно быть в городе, где я не совсем известен, — писал он оттуда Модесту. Какое наслаждение гулять, не боясь встретить знакомых! Какое счастье, что у меня еще до сих пор осталась способность наслаждаться почти до блаженства сознанием, что я за границей».

Самым значимым впечатлением от пребывания в Берлине стала опера Вагнера «Тристан и Изольда», которую Чайковский давно хотел прослушать. Композитор написал об этом фон Мекк 31 декабря: «Опера эта несколько мне не понравилась, но я все-таки рад, что видел ее, ибо представление это способствовало мне уяснить себе еще более взгляд на Вагнера, об котором я уже давно имею определенное мнение, но, не слышав всех его опер на сцене, боялся, что мнение это не вполне основательно. В кратких словах мнение это такое. Вагнер, несмотря на свой громадный творческий дар, на свой ум, стихотворческий талант, образование, принес искусству вообще и опере в особенности лишь отрицательные заслуги. Он научил нас, что прежние рутинные формы оперной музыки не имеют ни эстетических, ни логических *raisons d'être* (права на жизнь. — *фр.*). Но если нельзя писать оперы, как прежде, то следует ли их писать, как Вагнер? Отвечаю решительно: нет. Заставлять нас четыре часа сряду слушать бесконечную симфонию, богатую роскошными оркестровыми красотами, но бедную ясно и просто изложенными мыслями; заставлять певцов четыре часа сряду петь не самостоятельные мелодии, а прилаженные к симфонии нотки, причем нередко нотки эти, хотя и высокие, совершенно заглушаются громами оркестра, — это уж, конечно, не тот идеал, к которому современным авторам следует стремиться. Вагнер перенес центр тяжести со сцены в оркестр, а так как это очевидная нелепость, то его знаменитая оперная реформа, если не считать вышеупомянутого отрицательного результата, равняется нулю. Что касается драматического интереса его опер, то я признаю всех их очень ничтожными и подчас ребячески-наивными, но нигде еще я не испытал такой скуки, как в “Тристан и Изольде”. Это самая томительная и пустейшая канитель, без движения, без жизни, положительно не способная заинтересовать зрителя и вызвать сердечное участие к действующим лицам. По всему видно было, что и публика (хотя и немецкая) очень скучала, но после каждого действия раздавались громы рукоплесканий. Чем объяснить это, — недоумеваю. Вероятно, патриотическим сочувствием к художнику, который, в самом деле, всю жизнь свою посвятил

поэтизированию германизма».

В течение трех дней, проведенных в Берлине, Чайковский порывался навестить Котека, с которым, как мы помним, он прервал отношения в конце предыдущего года, но так и не решился. Он опасался объяснений, взаимных упреков и «фальшивой нотки, Которая, увы, всегда будет звучать в моих отношениях с ним», как писал он Юргенсону 3/15 января 1883 года, день спустя после приезда во французскую столицу.

По уговору с Модестом он должен был ждать последнего в Париже. На этот раз брат принял решение отбыть на зиму в Рим без своего воспитанника. Расставание это было не из легких, но Петр Ильич убедил его, что им будет полезно расстаться на некоторое время. Коля подрастал и превращался в юношу с определенным характером и привычками, особенно после того, как почувствовал себя наследником большого состояния. Модест, привыкший видеть в нем лишь послушного, податливого и застенчивого мальчика, не мог с этим смириться. Их отношения начали постепенно обостряться. Кроме того, сама ситуация, возникшая после смерти Германа Конради, пока долго и болезненно решался вопрос о завещании, наследстве и опекунстве над его сыном, изрядно подпортила ему нервы, не говоря уже о здоровье. Так что их пребывание за границей только вдвоем предполагалось «ради рассеяния и нравственного успокоения» младшего брата.

Ожидая его приезда, Петр Ильич работал над «Мазепой» и посещал театры. Неожиданной оказалась встреча на представлении «Свадьбы Фигаро» Моцарта в «Опера-Комик» с великим князем Константином Николаевичем, тотчас пригласившим его в гости. Не желая отрываться от работы, к чему его принудило бы возобновление светского образа жизни, Петр Ильич предпочел прибегнуть ко лжи во спасение, сообщив августейшему лицу, что уезжает на следующий день.

Модест же извещал брата телеграммами, что непредвиденные обстоятельства задерживают его то в Петербурге, то в Берлине, вызывая у Петра Ильича недоумение и беспокойство.

Наконец 16/28 января Модест приехал, и загадка его задержки разъяснилась. Он привез с собой Таню, чтобы лечить ее от морфинной зависимости в клинике знаменитого доктора Жан-Мартена Шарко (ставшего позднее учителем Зигмунда Фрейда). Модест долго скрывал это свое решение от брата, дабы не расстраивать его раньше времени. Петр Ильич встретил их очень сухо: он был неприятно поражен неожиданным появлением Тани в Париже. Но по размышлении понял, что Модест не мог поступить иначе, что они должны пожертвовать собственным

спокойствием, чтобы попытаться спасти Таню, и не только ради нее самой, но и ради ее родителей. Преждевременная смерть или сумасшествие дочери могли их убить. Соответственно, все планы, связанные с Италией, оказались временно отложенными и они оказались вынуждены остаться в Париже на неопределенный срок, в зависимости от исхода лечения племянницы.

Шарко принял Таню, пообещал начать лечение, надеясь добиться успеха. Для этого она должна была в его заведении провести около месяца. В письме Анатолию композитор писал: «Разумеется, во всем этом нет ничего веселого и я не могу похвастать обилием счастливых ощущений. Но живет себе ничего. Продолжаю работать понемножку (над инструментовкой оперы «Мазепа». — А. П.) и по вечерам почти всегда в том или другом театре. Париж хорош тем, что всегда легко стряхнуть с себя хандру посредством тысячи приятных развлечений. Правда, что все это деньги стоит, но уж считать не буду, лишь бы все обошлось хорошо». Льву Давыдову он объяснил в письме создавшуюся ситуацию, уверив, что Татьяна в надежных руках, и Модест, проявивший так много участия в ее судьбе, продолжает о ней заботиться и оказывать «самые нежные попечения».

Лечение Тани началось с понижения дозы морфина. Реагировала она на это весьма болезненно: кричала, рвала на себе волосы, беспрестанно впадала в обморочное состояние, бредила. Врачи, чтобы ее успокоить, прописали опиум и другие успокоительные средства, но они мало помогали. Чайковский, бывший свидетелем агонии своей племянницы, писал Надежде Филаретовне, что ему пришлось вынести «много нравственной муки».

В феврале ему предстояло еще одно испытание. «Уже давно я подозревал, что мой бедный солдат — Алеша болен, так как несколько времени не было от него писем. Вдруг получаю письмо от брата Анатолия, который извещает меня, что Алеша при смерти, болен воспалением в легких, что он был у него в госпитале, но до палаты, в которой лежит Алеша, не дошел, боясь тифозной заразы (жена его в это время должна была родить), а видел лишь фельдшера. Последний сказал Анатолию, что через несколько [дней] последует кризис, и обещал дать знать, какой ход примет болезнь, а брат должен был об этом известии сообщить мне телеграм[мой]. Между письмом и телеграммой прошло два очень тяжелых для меня дня, так как я почему-то был уверен, что бедный мой слуга не останется в живых, и приготовился твердо перенести эту потерю», — писал Чайковский фон Мекк 14/26 февраля 1883 года.

Он поручил Юргенсону срочно навестить Алексея и точно выяснить, что происходит. В ответном письме от 17–20 февраля тот театрально и живо описал свое выполнение этой просьбы: «Вооружившись одним словом “Алеша”, пошел в казармы Покровские. Дорогой я был искушен духом сомнения: довольно ли пойти в казармы и спросить, где, мол, Алеша? Голос разума отвечал: да; довольно глупо. Но неистощимый запас доброго желания и дерзновенная мысль: как? людей находят, не зная вовсе ни их имя или фамилии, ни их общественного положения, ни их физиономию — находят их по оторванной пуговице от штанов. А у “нас” есть: 1) крестное имя, 2) общественное положение, 3) местонахождение, 4) состояние (болезненное), 5) знакомство с лицом.

Подошедши к первому крыльцу, я увидел страшилище в шубе невероятных размеров, караульного с лицом, лоснящимся от добродушия и вопрошающего меня:

“Вам кого?”

Юргенсон (немного конфузливо): “Скажите, как бы мне тут найти одного солдатику Алешу?”

“Как его хвамилия?”

Юргенсон (краснея): “Не знаю”.

“Какой роты?”

Юргенсон (краснее красного): “Не знаю”.

Страшилище (снисходительно): “Какого полка, тоже не знаете?”

Юргенсон (бодрясь): “Я все это знал, но все забыл. Знаю только, что его зовут Алеша, что он нечто вроде унтер-офице-ра, наверное, болен, и его бывший барин о нем сокрушается”. Страшилище (участливо): “Не Софронов ли?”

Юргенсон (восторженно): “Непременно!”

Страшилище: “Екатеринославского полка”.

Юргенсон (подавляя желание броситься караульной шубе на шею): “Это он! Это он!”

Затем караульный дал мне указания, где мне найти ундера Розанова. Я наивно сунулся в разные места и тем не малый произвел переполох. Очевидно, не полагается в будни, днем, расхаживать по казармам. Наконец в третью дверь сунулся, также испугал людей, и меня довольно ласково изгнали, но и ундера предоставили за дверь. Розанов, со славным лицом, приятель Софронова, сообщил мне, что Алеше лучше, что он в таком-то отделении госпиталя и т. д.».

В уже цитированном письме благодетельнице Чайковский продолжает: «Но, кажется, Бог и на этот раз отвратил от меня грозившую мне горечь.

Через два дня после письма я получил известие, что перелом болезни благоприятный и что Алеша вне опасности. Теперь я написал в Москву, чтобы брат и Юргенсон похлопотали о годовом отпуске для Алеши. Сильное воспаление в легких часто имеет последствием чахотку, а так как Алеша очень некрепкого сложения, то можно этого опасаться, и я хотел бы, чтобы он летом не служил, а отдыхал и укреплялся». Ей же 3 марта: «Алеша мой тоже, слава Богу, выздоровел, и я просил Анатолия похлопотать, чтобы ему дали годовой отпуск для поправки». 31 марта, еще не получив этого известия, «лучший друг» тревожно запрашивает в письме из Ниццы: «Выздоровел ли совсем Ваш Алеша, милый друг мой, и отпустят ли его к Вам на лето? Как я буду рада и за Вас и за него, если это удастся, дай Бог».

Танино лечение шло с переменным успехом и затягивалось, деньги таяли. Композитор решился после «многих мучительных колебаний» попросить Надежду Филаретовну прислать «бюджетную сумму» за июнь в конце марта, что та незамедлительно сделала. Кроме того, она пригласила его погостить у себя в Плещееве, против чего он уже не мог возразить, но предложил перенести свое пребывание на неопределенное время.

От Алексея пришло, наконец, известие, что он уволен из армии на год. В Париж приехал Кондратьев и поселился в том же отеле, что и братья Чайковские. Страсти его с возрастом не угасли, он «все такой же маньяк, как и прежде, даже еще больше», — сообщал Чайковский Анатолию 18 марта 1883 года.

Роман Николая фон Мекка с Анной тем временем продолжался. «Лучший друг», познакомившись с ней и узнав из писем Чайковского о семейной обстановке Давыдовых, поделилась с ним 18 марта 1883 года своими сомнениями: «Скажу Вам... дорогой мой, другое мое беспокойство. Этот морфин пугает меня ужасно, и я страшно боюсь, чтобы Анна также не соблазнилась им... ведь это ужасно, ведь вся жизнь погибнет. Мне очень больно лишать [Вас] надежды, но признаюсь, что я совсем не надеюсь, чтобы доктора вылечили Татьяну Львовну». В ответном письме он заверял фон Мекк, что «ничего того, что Вы страшитесь за нее, не может быть никоим образом. <...> Кроме того, пример Тани был для нее, при ее уме и здравом смысле, отрицательно полезен. <...> Это вообще здоровая, цельная натура, имеющая много родственных черт с Вашим сыном Колей, и сочетание этих двух душ будет очень отрадным явлением».

В это время пришел заказ от директора Московского отделения Русского музыкального общества и городского головы Николая Алексеева на аранжировку хора «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя» для



исполнения на Красной площади в Москве во время въезда Александра III в Кремль. Въезд входил в церемонию коронационных торжеств, намеченных на май 1883 года. Работа эта, сделанная Чайковским за несколько дней, заключалась в упрощении инструментовки хора и сочинении перехода от хора «Славься» к гимну «Боже царя храни». Кроме того, городские власти заказали ему торжественный коронационный марш, а созданная по этому случаю комиссия прислала текст Майкова с просьбой написать по нему кантату.

Обе работы должны были быть исполнены быстро. Отказать было нельзя, тем более что композитор увидел в этом возможность отблагодарить щедрого монарха за деньги, выданные ему летом 1881 года.

Модест тем временем сильно истосковался по Коле, думая вернуться в начале апреля в Петербург, но в то же время не желал оставлять брата одного. Под влиянием уговоров Петра Ильича он таки отбыл на родину 6/18 апреля.

Композитор решил во что бы то ни стало закончить «Мазепу» в Париже. Однако ему пришлось отвлечься ради сочинений Пахульского, в результате чего он «расстроил нервы», разбирая его «неудобоваримую музыкальную тарабарщину». В большом письме от 10/22 апреля с приведением примеров Чайковский подробно объяснил молодому поляку все недостатки его композиций, что не могло не вызвать разочарования и обиды у начинающего, но самолюбивого музыканта. Весной и летом 1883 года произведения Пахульского снова фигурировали в переписке с фон Мекк. Она писала «драгоценному другу»: «Влад[ислав] Альб[ертович] хотя, конечно, очень огорчен своими неудачными работами, но горячо благодарен Вам за Ваше участие и внимание к его трудам, и я также от всего сердца благодарю Вас, мой добрый, бесподобный друг, за Вашу беспримерную доброту к моему protege и за ту правду, которую Вы ему высказываете. К несчастью, он попал в Вене на профессора, которого все превозносят, но который мне с самого начала не понравился тем, что он все хвалит, что ему Пах[ульский] подносит, и ничего не поправляет. Теперь он опять занимается с ним; это хорошо только потому, что принуждает его работать, лучшего же профессора здесь и найти нельзя». 16/28 апреля Чайковский написал ответ: «Мне было очень тяжело написать длинное порицание Владиславу] Альб[ертовичу] за все труды его. Вообще, вопрос о его будущих музыкальных занятиях требует с моей стороны подробного обсуждения, и я отлагаю это до лета, когда досуга будет много, да, кроме того, нужно устное обсуждение. В письме очень трудно высказать массу технических подробностей, на которые хотелось бы указать ему».

Необходимость возиться с сочинениями Пахульского именно в это время вызывала его особое раздражение, о чем он в довольно резких выражениях поведал в письмах братьям.

В этом году госпожу фон Мекк ожидало большое горе: у одного из младших сыновей, Михаила, обнаружилась неизлечимая болезнь сердца. Безднадежность положения скрывалась только от матери. Еще 16 апреля Чайковский писал Модесту: «Убийственно грустно известие о Мише. Н[адежда] Ф[иларетовна], как вижу из письма, вовсе не ожидает такого исхода, а лишь терпеливо ждет выздоровления его. Я боюсь, как бы это не убило ее». Из-за этого переписка становилась затруднительнее, ибо композитор не мог найти подходящих слов, чтобы поддержать ее в этой материнской агонии.

Было и еще одно обстоятельство — оно касалось Тани, — о котором никто не знал, кроме Чайковского и Модеста, а также обслуживающей ее служанки, выписанной из России. Племянница была беременна, и отцом ребенка был Блуменфельд. На следующий день после дня рождения самого Петра Ильича, 25 апреля, Таня родила мальчика. В тот же день композитор известил Модеста: «Вскоре после того как я пришел, Таня позвала меня. Ребенок (мальчик) лежал около нее и спокойно спал. Я удивился его размерам. Еще со вчерашнего дня я начал чувствовать к этому ребенку, причинившему нам столько тревог, какую-то нежность, желание быть его покровителем. Тут я почувствовал это с удесятенной силой и сказал Тане, что пока я жив, она может быть спокойна на его счет». Ребенок был срочно крещен и назван **George-Leon**. Чайковскому он очень понравился: «В общем это роскошный, красиво сложенный ребенок, напоминающий формой носа отца, имеющий также и его черные волосы. Руки поразительной красоты, и Таня этим особенно довольна. Действительно, я еще никогда не видел у детей таких красивых пальцев и ногтей». Композитор даже решил позднее его усыновить. Жорж-Леон был отдан кормилице, жившей недалеко от Парижа, а затем на воспитание во французскую семью. Таня выразила «мало горести» при мысли о разлуке с сыном. Перспектива жить, вернувшись домой, в «целом омуте лжи» ее тоже мало волновала, и это поразило композитора. «Непостижимое существо, — писал он Модесту 27 апреля. — С другой стороны, конечно, следует радоваться тому, что она так покойна и весела».

Надежду Филаретовну он информировал 29 апреля/11 мая в русле изложенной ей ранее версии об операции в связи с нарывом от чрезмерного употребления морфина: «Операция, которая так страшила меня, исхода которой я боялся выше всякого описания, совершилась и вполне

благополучно. Подробностей я не буду Вам рассказывать... <...> очень — последствия морфина и что специальные женские органы были угрожаемы. Слава Богу, эта забота спала с плеч моих. Теперь дождусь, чтобы племянница несколько окрепла, и тогда уеду. А уж как мне хочется в Россию! Бедный мой Алексей давно уже ожидает меня. Я, между прочим, ужасно виноват перед Вами, милый друг! Вы как-то про него спрашивали, а я ведь, кажется, не отвечал Вам! Алеша пролежал в больнице до начала великого поста, а затем без всяких просьб и хлопот с его стороны, по причине слабости, был отпущен на год на поправку. Узнав об этом, я приказал ему ехать в деревню и к святой вернуться в Москву, в которой и я полагал тогда уже быть. Но этого не случилось, и он, бедный, ожидает меня с великим нетерпением».

Радость от предстоящего отъезда в Петербург была омрачена письмами от Модеста и фон Мекк. Первый уведомлял, что петербургская квартира Конради, где он жил, забита родственниками, так как Лев Давыдов привез в Петербург для поступления в Училище правоведения племянников Дмитрия и Боба и оставил их на попечение Модеста. Николай фон Мекк из долга вежливости продолжал наносить визиты будущему родственнику, не только один, но и со своим братом. Композитор отвечал: «Твое письмо меня привело просто в отчаянье и такое уныние, что я, ничего не делая, часа два сидел и думал об этой ужасной суете, в которой ты живешь. По-моему, все лучше, чем этакая жизнь; даже заключение в какой-нибудь темнице. Я злюсь и на Льва Васильевича, который на тебя навязал детей, и на Мекков (о! эти новые квазиродственные отношения с людьми великолепными, но все же чуждыми — это хуже всего), и на Кондратьевых, и на эту дуру Бутакову, которая не могла по крайней мере детей на себя взять. И вообще это обилие родственников и детей это ужасное бедствие. Прими какие-нибудь меры. Когда мальчики уедут? Напиши мне об этом. Я велел Алеше приехать в Петербург и ждать меня там. Придется тебе и его держать».

Новое известие от благотельницы выражало безнадежность и отчаяние: состояние здоровья Михаила фон Мекка ухудшалось, и она начала ненавидеть докторов, не смогших помочь ее сыну: они «дают и даже отчасти способствуют [ему] умирать».

Перед намеченным отъездом 10 мая композитор понял, что денег не хватает, особенно после оплаты Таниных счетов. Он стал лихорадочно искать способ выкрутиться из этого положения. Ничего в голову не приходило, как обратиться опять к благотельнице, что было в данной ситуации «ужасно, ужасно тяжело». Он попросил фон Мекк октябрьскую

бюджетную сумму вперед, которую вскоре и получил.

Главной причиной грустного настроения Петра Ильича оставалась Таня. 1/13 апреля он писал Анатолию, что цель его жизни теперь — быть подальше от нее: «Это человек, приводящий меня в ужас и страх. По-моему, она никогда не будет вполне здорова, отучится от морфина — так будет пьянствовать или иначе отравлять себя». В письме фон Мекк от 8/20 мая он продолжил эту тему: «Племянница моя Таня, вероятно, будет виновницей того, что я не буду больше постоянным обитателем Каменки. Я не беру на себя право в чем-либо обвинять ее. Всякий человек действует в жизни в силу своих природных качеств, воспитания, обстоятельств. Но одно знаю: единственное мое желание — быть всегда как можно дальше от нее. Я могу ее жалеть, — но я не могу ее любить. Жить рядом с нею для меня мука, ибо я должен насиловать себя, скрывать свои истинные чувства, лгать, а жить во лжи — выше сил моих».

При этом характерно, что Чайковский не осуждает грешную племянницу, ибо ему, как никому другому, собственный опыт подсказывал, что «человек действует в силу своих природных качеств, воспитания, обстоятельств» и что он не имеет права ее обвинять — подобного же он ожидал и от других по отношению к себе.

## Глава двадцать вторая. Загадки дневника

Уже 11/23 мая 1883 года Чайковский был в Берлине, и проведя там, как всегда, несколько дней, прибыл в Петербург. В связи с тем, что коронационные церемонии происходили в Москве, столица несколько опустела, что очень нравилось композитору. В письме фон Мекк от 19 мая он сообщал: «Признаюсь, что мне лестно и приятно быть заглазным участником этих торжеств в качестве автора кантаты. Я питаю к государю тем большую емпатию и любовь, что мне известно из достоверных источников, что он с своей стороны благоволит к моей музыке, и я очень рад, что на меня пал жребий положить на музыку кантату. Все эти приятные ощущения, соединенные с наслаждением полного отдыха... все это делает вместе то, что я давно не чувствовал себя так хорошо, как в эти дни. <...> Я намерен пробыть здесь еще несколько дней, а затем прямо поеду в деревню Подушкино, где поселился брат Анатолий с семейством и где он с нетерпением ожидает меня, так же как и Алеша. Последнего я хотел выписать в Петербург, но брат Анатолий... просил меня уступить ему Алешу, который в деревне оберегает мою *belle-sœur* (невестку, — **фр.**) и племянницу».

Тридцать первого мая Чайковский навестил Анатолия в местечке Подушкино в Подмоскovie, где тот жил с женой и трехмесячной дочерью Таней. Там его уже ждал верный слуга. «Алешу моего я нашел совершенно здоровым, — писал композитор «лучшему другу». — Все лето, осень и зиму он проживет при мне и только в марте должен будет явиться в полк и прослужить еще несколько месяцев. Вы можете себе представить, как мне приятно теперья иметь при себе этого милого моему сердцу слугу и, вместе, верного, преданного друга! С ним жить в Плещееве мне будет невыразимо приятно». В письме Модесту от 3 июля из Подушкина читаем: «Алеша, который до того идеально мил и заботлив относительно меня, что не нахожу слов, чтобы выразить свое удовольствие ощущать его близость около себя». А вот из письма к фон Мекк от 18 июля: «Алексей мой в здоровье совершенно поправился. Нельзя выразить Вам, до чего он чувствует себя счастливым, освободившись от своего солдатства. Мне вдвойне приятно видеть около себя преданного мне и притом абсолютно счастливого человека».

Несмотря на радость встречи со слугой и весть о помолвке Николая и Анны, Петру Ильичу и Надежде Филаретовне приходилось обсуждать и

печальную тему — становившееся безнадежным состояние здоровья ее младшего сына, 12-летнего Миши. «Вам теперь не до писем, дорогая моя, и я чувствую себя неспособным говорить что-либо о себе. Могу только сказать Вам, что никто живее меня не принимает участия в Ваших радостях, так же как и в горестях, ибо люблю Вас, друг мой, всей силой души моей. Молю Бога, чтобы он сохранил Вас, поддержал бы в горестях, если суждено Вам быть постигнутой ими, и дал Вам силы еще много лет жить для счастья стольких людей». «Знаю и чувствую, что Вы огорчены, встревожены, больны физически и нравственно, сокрушаюсь, что бессилен отвлечь от Вас тревоги и беспокойства, и остается только молить Бога за Вас, дорогая моя!»

Двенадцатого июня сын ее умер. Об этом Чайковский узнал 15 июня, встретившись с Пахульским. Когда он спросил его «Что Миша?» — тот ответил, что накануне Мишу похоронили. «Убийственно было получить это известие... Пахульский намекал, что переезд из Петербурга в Плещеево убил Мишу, и кажется, что чуть ли это не правда. <...> Надежда Филаретовна перенесла катастрофу с непостижимой твердостью», — писал Чайковский Модесту 20 июня.

Вот ее первое сообщение о смерти сына от 23 июня: «Дорогой друг мой! Несчастье совершилось, но я спокойна, потому что я и сама скоро умру и разлука будет непродолжительна. Я так и не видала моего бедного мальчика, меня к нему не пустили, и хорошо сделали, — слишком много было бы сразу двух смертей, а я бы не вынесла вида его смерти; теперь же я отношусь к его отсутствию как к кратковременной разлуке. <...> Я очень желала бы получить Ваши письма, дорогой друг, они были бы мне утешением в моей невыносимой тоске. <...> Больше не пишу, потому что в голове пустота, а в сердце нескончаемая тоска». Чайковский ответил 27 июня: «Дорогой, лучший друг мой! Мне не хотелось в первое время после испытанного Вами несчастья тревожить Вас своими письмами. В таких случаях обращаться с словами утешенья неуместно. Говорить о живейшем участии к горести столь дорогого человека, как Вы, излишне, ибо я знаю, что Вы в нем не сомневаетесь. Вот почему я предпочел некоторое время вовсе не писать Вам, а теперь, если позволите, снова начну от времени до времени извещать Вас о себе, прося Вас вовсе не беспокоиться отвечать мне, ибо через Колю и Владислава] Альбертовича [Пахульского] я могу иметь о Вас известия, коих, впрочем, уже давно лишен, вероятно, потому, что почта к нам ходит очень неисправно».

Не изменил ли в этом случае композитору психологический расчет, а с этим и его столь развитая интуиция? Не ожидала ли (судя по приведенной

выше цитате) она от него как раз тогда частых посланий со словами утешения и участия, которые он полагал «неуместными» и «излишними»? Не разочаровало ли ее, что «бесценный друг» показал в этом случае меньшую меру сопереживания, чем ту, что она так ждала от него, пусть даже с преувеличенными надеждами? Переписка оставляет впечатление, что реакция Чайковского на горе благотельницы не вполне адекватна, и неудовлетворенность от этого могла сохраниться в ее душе. Но и его осуждать нельзя: при его неврастеничности, страхе смерти (особенно смерти молодых) в этих строках он выжал из себя все, на что был способен, и не его вина, что она с ее извечной идеализацией своего идола могла ожидать большего.

Из Подушкина Петр Ильич часто выезжал в Москву. 15 июня он встретился с Пахульским по его просьбе, чтобы выразить свое мнение о его новой симфонии. В письме Модесту 20 июня композитор уничтожающе говорит об этом сочинении Пахульского («дрянь страшная») и его композиторских способностях: «Весьма жаль, что я не могу откровенно высказать Пахульскому всю тщету его композиторской мании. Когда я спросил Колю, советует ли он мне сказать ему правду, он отвечал: “Ради бога, не говори, это страшно огорчит маму!” Нечего делать, пришлось серьезно говорить об мерзопакостных Пахульских писаниях».

Молодой поляк не мог не чувствовать тайного раздражения и недоброжелательного отношения с его стороны, но и фон Мекк осознала свой просчет в ставке на композиторские дарования «питомца»: «Я не могу себе простить, что толкнула на композиторство бедного Владислава] Альб[ертовича]. Теперь уже он не в состоянии приняться опять за скрипку и оторваться от творчества, и столько мук, бедный, выносит от несоответствия запросов с средствами удовлетворения; вся жизнь отравляется этим». Петр Ильич утешал их обоих, ничуть не смягчая при этом сути своего приговора: «Уже давно собирался я поговорить о нем с Вами обстоятельно. Но отлагаю это до другого времени, ибо вопрос этот серьезный и требует очень подробного рассмотрения. Однако ж скажу Вам, дорогая моя, что ни на единое мгновение не могу допустить мысли, чтобы Вы тут в чем-нибудь были виноваты, как Вы говорите. Виноваты не Вы, не Владислав] Альб[ертович], не я, а просто стечение обстоятельств и самая натура Владислава] Альб[ертовича], очень музыкальная, но недостаточно определенно склонная к той или другой музыкальной отрасли».

В Москве Чайковский находил время и для отдыха, и для встреч со своими старыми друзьями. Шиловский произвел на него тяжелое впечатление. «Никогда его скарденность не была так нагло откровенна, как

теперь. Все недостатки его обострились и торчат на виду как отвратительные болячки. Но некоторые достоинства сохранились и теперь, а именно некоторая приятность как члена компании, т. е. с ним, например, было очень весело в нумерах в “Саратове” (московский ресторан. — А. П.). Однако ж все-таки радуюсь, что редко вижу с этой личностью и не намерен культивировать знакомство с ним», — писал он Модесту 8 июня. Чайковский навестил и Кондратьева, который был опять нездоров.

Между тем он получил письмо от председателя Коронационной комиссии о том, что из Кабинета Его Величества ему пожалован подарок в 1500 рублей. Композитор, как это бывало часто, несмотря на щедрые субсидии благотельницы, испытывал финансовые затруднения, поэтому ответил, что желает получить этот подарок наличными. Тем не менее ему было прислано кольцо с большим бриллиантом, «хоть и очень красивым». Продавать кольцо Чайковский не решился, а заложил в ссудной конторе за 375 рублей. Квитанцию и деньги положил в бумажник. Вечером того же дня перед сном он обнаружил, что бумажник отсутствует. Это был один из самых неприятных дней в его жизни. Но деньги были нужны, Петр Ильич снова пишет фон Мекк, и та через несколько дней присылает ему необходимую тысячу рублей. В ответном письме от 1 августа он благодарит и оправдывается: «Мне чрезвычайно совестно, что, быв благодаря Вам так широко обеспечен от денежной нужды, ухитрюсь все-таки от времени до времени путаться в финансовых делах своих. В мои годы такого рода легкомысленное отношение к материальной стороне жизни непростительно и постыдно. Единственное оправдание мое — обстоятельства, не зависящие от моей воли, заставляющие не ради себя, а ради других выходить из своей нормы и запутываться в делах своих». Через несколько месяцев Надежда Филаретовна пожелала сама выкупить перстень и решила оставить его себе на память, при обязательном условии полной выплаты его стоимости. Чайковский с радостью согласился.

В конце июля Таня вернулась из Парижа в Каменку, оставив ребенка на попечении французской семьи. Петр Ильич, несмотря на уговоры Модеста, решил до сентября никуда не выезжать, проведя конец лета у брата в Подушкине. Его недобрые предчувствия насчет Тани оправдались: даже излеченная от морфинной зависимости, она внесла в семью Давыдовых новые заботы и горести и своим страдальческим, скучающим видом отравляла жизнь окружающим. Не зная, чем ей помочь, родители тяжело переживали свое бессилие.

Второго сентября Чайковский захотел тем не менее воссоединиться с ними и, по пути в Киев, случайно встретил в поезде Апухтина и



Александра Жедринского. Размышляя о Модесте и Коле, которые его провожали в Москве, он пришел к выводу, что самая приятная компания для него — это брат и его воспитанник: «Интересно знать, будем ли жить вместе, когда Коля сделается самостоятелен, или отстранится от нас. А я бы хотел, ибо в самом деле и люблю и привык к нашему совместному жительству».

После Подушкина природа в Каменке показалась безжизненной — засуха погубила всю зелень. Комната, приготовленная для него во флигеле в соседней Вербовке, оказалась тесной, и Алеша пришел от этого в отчаяние. Таня, будучи в хорошем настроении, отнеслась к дяде очень ласково (незадолго до этого она уговорила родителей отпустить ее на зиму в Париж) и даже поведала ему сердечную тайну о своей влюбленности в доктора Ферре, который ее лечил в клинике Шарко. Доктор платил ей взаимностью, и их отношения дошли до того, что он предложил ей выйти за него замуж, но ответить она все еще не решалась. Петр Ильич был не против этого проекта, особенно ввиду ее отъезда, и даже испытал прилив дружелюбия, надеясь, что все образуется. Он с чистым сердцем принялся за работу над Второй сюитой, начатую еще в Подушкине, полагая, что «самая приятная форма жизни есть жить в деревне, в настоящей, удаленной от столиц».

В Вербовке Чайковский неожиданно получил посылку от Леонтия Ткаченко: молодой человек возвращал композитору все полученные от него письма. Жест этот, как и в первый раз, мог свидетельствовать о его намерении покончить счеты с жизнью. Обеспокоенный в первую минуту, Петр Ильич решил, что следует подождать. И, действительно, вскоре от Ткаченко пришло письмо, выдержанное как всегда в насмешливом тоне, с просьбой о деньгах безо всякого упоминания о посылке.

«Жалкий, но малосимпатичный человек», — отозвался о нем Петр Ильич в письме Модесту.

Как и в том случае, когда племянница Вера выходила замуж, от внимательных глаз Петра Ильича не укрылись различные проявления любви между Анной и Николаем фон Мекком, с нетерпением ожидавших свадьбы. 26 сентября он писал Модесту: «22-го [сентября в Каменке] было официальное обручение, за коим последовал обед с шампанским, на котором присутствовали все каменские. Коля и Анна составляют очень милую парочку. Она влюблена в него не меньше, чем он в нее; целый день сидят в уголку и без конца целуются. У Анны глаза блистают огнем, в котором, если не ошибаюсь, отражается чувственное возбуждение. Мне жаль их, когда подумаю, что так далеко от осуществления их желаний. Я

смотрю на них с завистью и все думаю о том, что ведь это и есть настоящее счастье и что я никогда его не испытал». Это уже знакомое нам мимолетное переживание, вызванное приступом сентиментальности и свойственное любому человеку независимо от любовных пристрастий. Немногим позже, 31 октября, в письме Модесту из Каменки опять мелькает похожее (но только на первый взгляд) замечание: «Вся эта неделя состояла из бесконечного ряда свадеб в прислуге. <...> Женился Кирила (о, как я страдал и завидовал!!!!!!), вышла замуж Евдоха-девка, Евдошка-прачка и, наконец, Панас».

Шесть восклицательных знаков по поводу женитьбы каменского кучера Кирилы Мушты могут несколько озадачить. Логически страдать и завидовать кучеру можно только по отношению к его, скажем, красивой невесте. Вряд ли можно допустить, чтобы Чайковский был влюблен в каменскую крестьянку, но, если принять во внимание его вкусы, напрашивается противоположный вывод: он был привязан к Кириле, потому что тот мог оказывать ему соответствующие услуги. Вспомним булатовского кучера, в которого композитор в свое время влюбился «как кошка». Зависть его, выраженная так искренне, могла быть вызвана мыслями о том, что какая-то каменская крестьянка получает в обладание молодого мужчину, об особенных достоинствах которого, возможно, незаурядных, было до сих пор известно только ему и брату.

После неудачной женитьбы отношения композитора с женщинами носили лишь эпистолярный характер. Особенный случай — гувернантка Кондратьева, Эмма Жентон, томившаяся от неразделенной любви к обоим братьям. Она постоянно писала письма, весьма тяготившие Петра Ильича. В том же письме Модесту от 31 октября читаем: «Если б она была бы не так исключительно предана любви к двум братьям (ибо хоть она действительно не в меня влюблена, но и я тоже играю роль в ее сердце), то от нее только бы приятность исходила. А теперь и жаль, и скучно, ибо уж слишком. Теперь ее письма суть одно бесконечное многоточие.....»

1883 год приближался к концу. Несмотря на сложности, вызванные болезнями Тани, он оказался более продуктивным по сравнению с предыдущим. Были закончены опера «Мазепа», кантата «Москва», коронационный марш, Вторая сюита и шестнадцать песен для детей, которые композитор начал сочинять в конце октября. В конце ноября Чайковский, приехав в Москву и затем в Петербург, погрузился в светскую жизнь. В Москве с большим успехом исполнялся его «грех милой юности», Первая симфония. Однако постановка «Мазепы» как в Петербурге, так и в Москве затягивалась.

Свадьба Николая Карловича фон Мекка и Анны Львовны Давыдовой состоялась 11 января в Петербурге. Мечта двух корреспондентов исполнилась — они породнились. Надежда Филаретовна на свадьбе не присутствовала, ее семью представляли лишь ее старшие дочери и сыновья. Сама она в это время с остальным семейством пребывала в Каннах.

Третьего февраля осуществилась первая постановка «Мазепы» в Большом театре. Утром, по этому случаю, в Москву из Петербурга приехал Модест, но застал композитора «расстроенного и унылого» от предстоящей разлуки с Алешей: отпуск слуги кончался, и он должен был вернуться на военную службу. Модест записал в дневнике, что брат даже «плакал раза два». Уставший и утомленный бесконечными репетициями, Чайковский планировал уехать в Париж «искать отдыха в дальнем путешествии». Премьера прошла удачно, автор и артисты удостоились оваций.

На следующий день композитор выехал за границу, отклонив приглашение Мариинского театра (на который он был зол в связи с отказом в увеличении перспективной платы) присутствовать 6 февраля на представлении «Мазепы». В Петербурге опера также имела некоторый успех у публики, государь остался до конца представления, выразив тем самым удовольствие от нового сочинения композитора.

Критики весьма прохладно отнеслись к этой действительно вымученной опере, над которой автор работал без особого вдохновения, поскольку сюжет, как это уже бывало, перестал его увлекать. «Неудачное либретто» как основной недостаток оперы отметил московский критик. Петербургский рецензент высказался о слабости в музыкальном отношении: «В ней нет даже того, чем прежде г. Чайковский щеголял, а именно мелодичности». Посланное вдогонку письмо от Юргенсона с деталями насчет малого успеха «Мазепы» в Петербурге сильно расстроило Петра Ильича, поскольку одновременно полученные письма от Модеста свидетельствовали об обратном.

Композитор 9/21 февраля 1884 года приехал в Париж, как всегда через Берлин, с впечатлением, будто он никогда оттуда и не уезжал. Навестив Таню, совсем не ожидавшую его увидеть, и убедившись в том, что она имеет здоровый и бодрый вид, он пошел бродить по парижским бульварам. «Все до мелочей происходит точно так же, как в прошлом году, и даже известного рода личности гуляют те же самые, — писал Петр Ильич Модесту на следующий день. — Нового было то, что, когда я сел на воздух пить грог около Cafe Americain, ко мне, откуда ни возьмись, подошел Масалитинов, а внутри кафе сидел Голицын, который меня туда

потребовал, познакомил с какой-то туземной личностью и продержал около часа. Уговорились в субботу вместе обедать. Возвратился домой в час ночи и очень хорошо спал на чудной парижской постели».

Чайковский навестил семью Оклер, взявшую на воспитание сына Тани Жоржа-Леона. Мальчик очень понравился композитору: «Мясистый, мускулистый (как ребенок с картины Рубенса), живой, сильный, тяжелый до того, что едва держать можно, — ну словом хоть на выставку». Но, к своему сожалению, он обнаружил, что в Жорже есть и нечто такое, что мешало им восхищаться: ребенок был похож на отца, Станислава Блуменфельда, особенно нос был «точно слеплен с отцовского». Тем не менее Петр Ильич подчеркнул в письме Модесту, «умилялся от мысли, что он мой и что такой жалкий по своему положению». Брать в Россию Жоржа было рано, и Чайковский решил пока оставить его во Франции.

После нескольких дней пребывания в Париже Чайковскому стало ясно, что дела у племянницы обстоят не так хорошо, как ему показалось вначале. К этому времени она порвала отношения с доктором Ферре, как это у нее обычно происходило с поклонниками. Ее физическое состояние ухудшилось, начались сильные боли в разных частях тела. Она не выходила из своей квартиры. Лечение от морфина не привело к желаемому результату. Возвращаться домой в Каменку она не хотела, жить в Париже было дорого и не имело смысла: у нее отсутствовали какие-либо интересы. Она уже перестала мечтать о замужестве.

Однако композитор делился с братом и другими переживаниями — например, связанными с театром, особенно с «Комеди Франсез». Его продолжал восхищать актер Гот. Новый артист Ламари, уже замеченный им и Модестом ранее, также вызывал эротические эмоции, поскольку «красоты он необычайной, хотя как актер малосимпатичен».

В конце концов Чайковскому захотелось покинуть Париж, но он не мог решить, куда податься — в Рим или Каменку. Желание иметь собственный дом становилось все более настойчивым, ибо Каменка по многим причинам перестала быть уютной и удобной для работы. 27 февраля/10 марта Чайковский писал фон Мекк: «Милый друг! Я начинаю мечтать о каком-нибудь прочном и постоянном устройстве своего собственного уголка. Кочующая жизнь начинает сильно тяготить меня. Будет ли это где-нибудь на окраине Москвы или где-нибудь подальше и поглуше, еще не знаю. Тысячи планов роятся в голове моей, но так или иначе, нужно, наконец, жить у себя».

Отъезд из Парижа ускорило неожиданное письмо от Направника: дирижер сообщал, что беседовал с Александром III и император сожалел об

отсутствии автора «Мазепы» в Петербурге на премьере оперы. Он заверил Направника в своей необыкновенной благосклонности к музыке Чайковского и своем интересе к композитору и даже велел поставить особенно любимого им «Евгения Онегина». Направник просил Петра Ильича срочно приехать в столицу для представления государю. Композитор, разумеется, согласился, не желая мучиться мыслью, что его могут счесть неблагодарным. Он немедленно выехал в Петербург и 3 марта уже обговаривал с дирижером детали встречи.

Официальным поводом для представления Их Величеству послужило то обстоятельство, что Петру Ильичу 23 февраля 1884 года был пожалован орден Святого Владимира 4-й степени. Представление должно было состояться 7 марта в загородной резиденции монарха. Рано утром, в «состоянии невыразимого волнения и тревоги», естественном в такой ситуации, композитор выехал в Гатчину. В письме Анатолию он описывает эту аудиенцию: «Я имел позволение явиться только государю, но Владимир Оболенский (гофмаршал двора. — А. П.) настоял на том, чтобы я явился и к императрице, которая неоднократно изъявляла желание меня видеть. Это было тотчас же устроено, и я сначала был у императрицы, потом у государя. И та и другой были необычайно ласковы и милы. Я думаю, что кто хоть раз в жизни имел случай видеть государя с глазу на глаз, тот навек сделается его страстным поклонником, ибо нельзя выразить, до чего его обращение и вся манера обаятельно симпатичны. Она тоже очаровательна. Потом мне пришлось являться к великому князю [Константину Николаевичу], а вчера я сидел всю репетицию консерваторского спектакля («Фауст» Шарля Гуно. — А. П.) у него в царской ложе».

Благоволение Александра III было очень лестно, и встреча с ним доставила Чайковскому немалую радость, которой он сразу поделился с Надеждой Филаретовной: «А что для меня в высшей степени приятно, так это то, что во главе этих сочувствующих людей сам государь. Оказывается, роптать мне не на что, а что, напротив, нужно только благодарить Бога, изливающего на меня столько милостей. <...> Государь велел в будущем сезоне поставить “Онегина”. Роли уже розданы и хоры уже разучиваются. Я чувствую в себе прилив энергии и горю нетерпением приняться за какой-нибудь новый большой труд».

Еще одна радостная весть пришла 16 марта: Алексея Софронова освободили от службы. Композитор сразу перебрался в Москву и пробыл там до окончания всех формальностей, связанных с увольнением слуги из армии. Солдатская эпопея Алеши завершилась: вместо пяти ожидаемых лет он прослужил около трех. Вновь обретенный любимец необычайно

скрашивал московскую жизнь Чайковского, несмотря на множество приглашений и визитов.

Десятого апреля Петр Ильич смог наконец отбыть в Каменку, чтобы встретить там весну и застать появление своих любимых ландышей. Там же он пытался сочинять, но процесс творчества шел медленно, и от этого он испытывал недовольство собой. Гуляя по саду 16 апреля, он, по его выражению, «изобрел семя» будущей Третьей сюиты и за неделю закончил сочинение в эскизах. Настроение ненадолго улучшилось.

Двадцать второго апреля из Петербурга приехала сестра Александра с Бобом и Митей, учившимися в Училище правоведения. С ее появлением, писал композитор Модесту, в Каменке «пошла всегдашняя суета, и тот мир, который столь отдохновительно подействовал на меня тотчас после приезда, обратился в беспокойную и преисполненную раздражающих меня подробностей жизнь. Начинаю понимать, что теперь уж я слишком стар для того, чтобы быть приживалкой. Я дошел до того, что вчера весь вечер немилосердно дулся за то, что к ужину была подана курица и отменено какое-то другое кушанье, а вместо него простокваша. Да и тысяча других мелочей было, обнаруживших во мне приживальщичий нрав, который может сделаться совсем несносным, если я не поселюсь у себя».

В Каменке наступила засуха, что плохо отражалось на самочувствии Чайковского, умирала старушка-учительница детей Давыдовых, и это омрачало и без того беспокойную атмосферу дома. Вера Бутакова, потерявшая недавно мужа и влюбленная в композитора с юности, как будто нечаянно старалась устроить встречи с ним наедине, но бывала, как он выразился, «кисла, скучна и слегка надоедна». Больше всего раздражало в ней ее гонение на игру в карты, за которой Петр Ильич регулярно отводил душу по вечерам.

Сохранившиеся дневники Чайковского представляют собой, большей частью, очень лаконичные записи о событиях и настроениях дня, лаконичных настолько, что иногда остается неясным, о ком или о чем, собственно, идет речь. Отдельные места оставляют впечатление недоговоренности, чему способствуют случаи, впрочем, немногочисленные, своего рода кодировки.

В биографической литературе о Чайковском распространено мнение, что упоминаемые в дневнике в апреле — мае 1884 года некие чувства, зашифрованные как «Z» или «X» и «ощущение», имеют прямое отношение к его гомосексуальности и свидетельствуют о тайном нравственном страдании.

Внимательное изучение соответствующих записей в контексте

событий, происходящих с Петром Ильичом в это время в Каменке, приводит, однако, к выводу, что на самом деле ничего общего с любовными переживаниями здесь нет. «Z» и «X» связаны с игровым азартом и сопряженными с ним негативными эмоциями — завистью, злобой (начинающимися, кстати, с буквы Z), раздражением, ненавистью, чувствами, которых он стыдился и которые старался подавить.

Всем было хорошо известно, что Чайковский был заядлым картежником и партию в винт находил «самым идеальным препровождением времени для человека, много работающего». Летом 1884 года он писал Анатолию из Каменки, что у него «все более и более растет страсть к винту. Мы играем каждый вечер, и я страшно злюсь, когда что-нибудь мешает составить партии». Константин де Лазари вспоминает об особенностях его поведения во время игры в карты. «Что это за оригинальный игрок был! Самую игру он любил ужасно, сердился, когда проигрывал, но когда счастье было на его стороне, он, казалось, еще более был огорчен. Ему моментально становилось жалко проигравшего, и, когда наступал момент расплаты, он ни за что не хотел брать денег, если это были свои интимные люди, и брал их только, когда не принять их значило оскорбить партнера. Рассеян он был во время игры страшно. Его внимания хватало только на первые роберы (кроме ералаша и винта, он ни в какие игры не любил играть), но чем дальше шло, тем хуже. Беда, если при этом попадался еще строптивый партнер, тогда Петр Ильич окончательно терялся и играл еще хуже, чем мог. Извинениям за каждый промах перед партнером у него конца не было, за ошибки же партнера он не только не сердился, но старался его выгораживать, если другие на него нападали».

В контексте дневниковых записей коллизия, хорошо знакомая читателям «Игрока» Достоевского. Азартная игра, как и любой другой порок, обретя масштабы, подавляющие те или иные проявления индивидуальности, превращается в зависимость (то, что по-английски называется **addiction** — алкоголизм, наркомания, промискуитет и т. д.). Игровой азарт, когда он с трудом поддается контролю, может быть чреват ощущениями вины и раскаяния, как, скажем, недозволенный секс. Приведем несколько соответствующих дневниковых записей, из которых видно, как растущее негодование Чайковского на одного из партнеров постепенно переходит на него самого.

«22 апреля. Винт впятером: мне не везло и я злился ужасно.

23 апреля. Бутаковское гонение на винт. Винт в два приема. Было много Z. Ах, какой я урод-человек!

«12 мая. Пылал приживальщицким гневом на составе ужина. За

винтом ужасно сердился, но не по поводу карт, а вообще, так себе, на что-то неопределенное, что можно назвать “Z”. Да, этот “Z” менее мучителен, и, пожалуй, более основателен, чем “X”, но тем не менее и он неприятен».

Этот фрагмент как будто посвящен различным нюансам одного и того же психологического переживания, которое склонный к интроспекции Чайковский стремился постигнуть, но испытывал трудности, пробуя выразить это в словах. По всей вероятности, «Z» означает мизантропическую злобу на окружающих, раздражение, связанное с игрой в карты или усиленное ею, однако не возникавшее непосредственно из-за нее, в то время как «X», весьма возможно, указывает на игорную лихорадку как таковую или неспособность сопротивляться ее искушению.

«13 мая. Играл довольно счастливо, но наделал в последнем робере с Ром[аном] Ефимовичем] [Дериченко, семейным врачом] ошибок и до сих пор не могу себе простить, что вместо пик пошел с червей!!!! “Z” меня сегодня особенно мучает. Да простит мне Господь столь скверные чувства».

Чайковский не до конца понимал, что с ним происходит, и искал в этом физическую причину. Так, в письме Модесту из Парижа от 14/26 апреля 1883 года он писал об этих особенностях своей психики: «Совість меня постоянно упрекает в том, что своей раздражительностью и привычкой вечно на что-то неопределенное злиться, я отравляю жизнь всем окружающим и даже тем, кого люблю больше всего на свете. Единственное оправдание, что тут какая-то физическая причина».

Надо полагать, что это душевное и нравственное состояние порождало в нем настолько острые угрызения совести, что он даже в дневнике, побаиваясь, по-видимости, что тот может быть прочитан любопытными каменскими родственниками, посчитал нужным прибегнуть к коду.

Начиная с 22 мая композитор испытывает некое «ощущение», о чем свидетельствуют записи вроде этих: «30 мая. С утра ощущение... После обеда вдруг и совершенно неожиданно ощущения как не бывало, а вечером снова вернулось. 31 мая. Целый день ощущение».

В коротких, отрывочных дневниковых заметках это может на первый взгляд показаться загадочным, но в письме Надежде Филаретовне от 7 июня 1884 года Чайковский прямо заявляет об этом «ощущении»: «У меня было нечто вроде воспаления в горле, что в течение суток я даже глоточка воды не мог проглотить». Итак, все тот же желудок, горло плюс нервозность и сильная мнительность и ничего даже отдаленно похожего на сексуальные переживания. Так же прозаично объясняется и часто цитируемая вне контекста как доказательство страданий композитора на



предмет гомосексуальности фраза из дневника от 26 марта 1887 года: «Что мне делать, чтобы нормальным быть?» Как явствует из записей этого и предыдущих дней, а также из письма, посланного в тот же день жене драматурга Ипполита Шпажинского Юлии, композитор был озабочен не сексуальными проблемами, а проблемами желудка. Читаем в дневнике несколькими строками выше: «Желудок, несмотря на невероятную умеренность, плох, и все что-то не по себе, тоскливо и странно, а по временам даже и страшно». В письме к Шпажинской: «Очень я недоволен здоровьем своим. Уже давно страдаю я катаральным состоянием желудка! Теперь это недомогание становится несносным. Трудно сказать: нервное ли расстройство отзывается на плохой деятельности желудка или, наоборот, желудок расстраивает нервы». Под катаральным расстройством желудка он имел в виду диарею, или понос.

Средний сын Давыдовых, племянник Володя, или просто Боб, стал центром внимания, удовольствия и радости для Чайковского в Каменке, о чем он поведал, например, в письме Модесту от 2 мая: «Бобик играет в моей здешней жизни большую роль; дружба у нас страшная, и впервые он выказывает в отношении меня сильную симпатию. Прежде он только позволял себе обожать, а теперь как будто начинает ценить мое обожание. А я действительно его обожаю и чем дальше, тем сильнее. Ну, что это за восхитительный экземпляр человеческой породы! Он беспрестанно заходит ко мне поболтать, но, однако ж, соблюдает часы моих занятий, т. е. когда я утром работаю, приходит только на минутку. <...> Бобик, сюита и английский язык составляют три украшения и притягательные каменские силы». Подобных цитат, касающихся Боба, можно привести множество.

Уехав из Каменки 9 июня, Чайковский почти все лето провел у братьев: у Модеста в Гранкине, у Анатолия в Скабееве, под Москвой. В начале сентября он обещал фон Мекк быть в Плещееве.

В их переписке этого года многократно упоминается Пахульский, чья роль в семье фон Мекков продолжала расти. Несмотря на пространные письма и личные встречи, во время которых Петр Ильич деликатно давал понять молодому человеку, что все его композиторские потуги тщетны, тот никак не мог успокоиться, но судя по всему, начал искать признания и похвал у других музыкантов. Последние, из желания угодить Надежде Филаретовне, иногда были благосклонны. Читаем в ее письме от 8 февраля 1884 года: «Недавно мы слушали его сочинения на маленьком оркестре. Мне очень нравятся многие его мысли, но инструментовка, насколько я ее понимаю, конечно, оставляет многого желать. Здешние музыканты (письмо написано из Канн. — А. П.) его очень расхвалили, и один из них,

замечательный скрипач, который у Colonn'a, и играл в Лондоне у Вагнера, очень пристаёт к Владиславу] Альб[ертовичу], чтобы он приехал летом в Aix-les-Bains (Эксле-Бен — городок на юго-востоке Франции, недалеко от Гренобля), где всегда бывает и Colonne со своим оркестром, и qu'il lui garantit (что он ему гарантирует. — **фр.**), что Colonne поставит некоторые из его сочинений на свой оркестр».

Реакция Петра Ильича была краткой и сухой: «Очень, очень рад успехам Владислава] Альб[ертовича]». Наконец, 23 августа 1884 года он послал Надежде Филаретовне последнее пространное рассуждение о Пахульском — в связи с ее жалобами на недостаточную внимательность Губерта, рекомендованного Чайковским в частные преподаватели для «приемыша»: «По поводу Владислава] Альб[ертовича] и упадка духа, в коем он находится по отношению к своим музыкальным занятиям, я скажу Вам, что нередко думал о нем и нередко жалел его, ибо по инстинкту знал и был уверен, что он часто должен мучительно страдать от несоответствия своих стремлений к композиторству с степенью достижения его целей. <...> В музыкальном организме Вл[адислава] Альб[ертовича] есть что-то болезненное, ненормальное. Какая-то пружинка отсутствует в механизме, и я нередко старался себе уяснить в чем дело, но всегда безуспешно. Я никогда не сомневался в его талантливости. <...> Между тем я больше критиковал, чем одобрял его. Что из всего этого следует? То, что в Вл[адиславе] Альб[ертовиче] есть талант, есть охота, есть рвение, ум, теплое чувство, но нет должного равновесия между всеми этими свойствами, вследствие какого-то для меня загадочного, можно сказать, органического порока его музыкальной натуры».

Третьего сентября честолубивый музыкант встретил своего сурового критика в Плещееве и показал ему дом, парк и важнейшие достопримечательности поместья. Фразеология благодарностей композитора хозяйке поместья привычна, но интонация кажется уже несколько заученной: «Хотя я ожидал самых приятных впечатлений, но действительность бесконечно превзошла мои ожидания. <...> Не могу выразить Вам, до чего я тронут Вашей заботливостью и беспредельной добротой. Ничего более чудного и идеального для меня придумать нельзя, как все то, чем я пользуюсь в Плещееве». Преувеличения не нуждаются в комментариях: Брайлово было наверняка и чудеснее, и идеальнее. Надежда Филаретовна могла даже почувствовать ненужную приподнятость тона, но излишнее это было ей все равно приятно: «Хотя я написала уже сегодня два письма, но все-таки я хочу еще сказать Вам, что я безгранично рада, если Вам действительно нравится мое маленькое Плещеево».

В Плещееве Петр Ильич хотел быть только с Алешей, прочие слуги, по договоренности с фон Мекк, были удалены из дома. Но оставался управляющий, которым оказался отец Пахульского. Именно с ним у композитора произошло неприятное столкновение. Он боялся спать в отдалении от своего слуги и, поскольку в огромном доме их было только двое, через несколько дней после приезда по старой привычке перевел его поближе к себе, в уборную Надежды Филаретовны. На следующее утро отец Пахульского, непонятно как узнавший об этом, явился к Алексею и «в самых грубых выражениях» запретил ему спать в этой комнате. Это сильно разозлило и расстроило Чайковского, поскольку сама хозяйка множество раз повторяла в письмах, что он может распоряжаться в Плещееве, как в собственном доме. Он решил не сообщать ей о случившемся, боясь ее расстроить, но обо всем написал Пахульскому-сыну. Наутро управляющий пытался добиться приема у композитора, но ему было отказано. Через несколько дней пришел ответ, в котором Пахульский-младший просил не сердиться на старика, объясняя инцидент недоразумением, но настроение Чайковского от этого не улучшилось. «Мое пребывание в Плещееве совершенно отравлено: я дотяну как-нибудь месяц и перееду в Москву или не знаю сам куда. А жаль! Не будь ляха, чудесно бы было», — писал он 7 сентября Модесту. Нельзя не признать, что негодование его — в сравнении с достаточно ничтожным поводом — выглядит неадекватным (не исключено, что именно из-за этого инцидента он впоследствии уклонялся от новых приглашений Надежды Филаретовны погостить).

Пятого октября Чайковский выехал в Петербург, где начинались репетиции оперы «Евгений Онегин», назначенной к постановке 19 октября на сцене петербургского Большого (Каменного) театра. Спектакль прошел с огромным успехом, автору устроили овацию с поднесением венка. От волнений и эмоций с композитором «в театре случился страшный нервный припадок», от которого он не мог оправиться три дня. Отзывы петербургской прессы были противоречивы: Кюи в «Неделе» объявил, что «как опера “Евгений Онегин” — произведение мертворожденное, безусловно несостоятельное и слабое», а М. Иванов в «Новом времени» утверждал, что «с музыкальной стороны “Евгений Онегин” следует признать не только за один из chef-d’œuvre’ов грации, но и вообще за chef-d’œuvre оперного творчества Чайковского».

Император, которого ожидали на первом представлении оперы, так и не появился, оставив Петра Ильича в тревожном недоумении. Чайковский ждал до четвертого представления и только потом решил возвращаться в Москву. Как выяснилось позднее, государь не приехал на спектакль из-за

соображений безопасности: в Северной столице опасались террористических актов.

Однако вместо Москвы Чайковскому пришлось отправиться из Петербурга прямо в Швейцарию. Причины этой неожиданной поездки объясняются Надежде Филаретовне в письме от 28 октября 1884 года: «Я еду за границу, а не в Москву. Случилось это по той причине, что я дал слово навестить бедного Котека, страдающего чахоткой, живущего в Швейцарии, в Граубюнденском кантоне и умолявшего навестить его. Я хотел посетить его по дороге в Италию, но на днях я узнал, что он очень плох, и, боясь не застать его уже в живых, хочу поехать прямо туда, дабы впоследствии не мучиться укором совести, что я не исполнил желания умирающего. Бедный Котек! Летом еще я получил от него письмо, что у него чахотка, но что он надеется совершенно поправиться здоровьем, ибо болезнь захвачена вовремя. Я верил этому, но оказалось, что, как все чахоточные, он считает себя вне опасности, тогда как смерть на носу. Я видел на днях одну из здешних музыкантш, встретившую Котека в Тироле летом, и от нее только я узнал истинную правду. А в то же время пришло письмо от бедного больного, живущего в полном одиночестве и просящего как милости, чтобы я приехал. Я хочу и должен ехать, хотя это и очень тяжело».

Путешествие заняло десять дней. Всю дорогу Чайковский думал о предложении Милия Балакирева написать симфонию «Манфред» по драматической поэме Байрона. «Мне как раз придется быть на альпийской вершине, и обстоятельства для удачного музыкального воспроизведения “Манфреда” были бы очень благоприятны, если бы не то, что я еду к умирающему. Во всяком случае, обещаю Вам во что бы то ни стало употребить все усилия, чтобы исполнить Ваше желание», — писал он Балакиреву перед отъездом 31 октября.

В Давос Чайковский приехал 11/23 ноября. Он подробно описал Модесту встречу, которую ожидал «с большим волнением, думая увидеть тень прежнего Котека»: «Удовольствию моему не было пределов, когда он оказался сильно потолстевшим, с великолепным цветом лица и, по-видимому, совершенно здоровым. Но это только по-видимому. Когда он заговорил, то я увидел, что грудь у него очень расстроена. Вместо голоса какой-то неприятный хрип, причем беспрестанно кашель самого раздражающего свойства. Тем не менее болтал он совершенно как прежде, т. е. без конца, так что я беспрестанно уговаривал его помолчать и отдохнуть. <...> Ходит свободно, но подыматься может с большим усилием. <...> Мне ужасно его жаль».

Пробыв в Давосе около недели и побывав с Котеком в театре и у нескольких светских знакомых, он покинул больного. «Я уехал из Давоса с сознанием, что превосходно поступил, навестивши бедного Котека. Ты не поверишь, до чего он воспрянул духом и как он счастлив. Что касается его здоровья, то первое впечатление было обманчиво; состояние его очень серьезно и на этой неделе были три дня ужасные, когда он не переставал кашлять (самым убийственным образом) и совсем лишился того ужасного хрипа, который заменял ему голос; <...> я сделал все возможное для него: был тайно от него у доктора и просил в случае, если он найдет Давос неподходящим, отправить его на Ривьеру, Котеку дал запасную сумму и вообще оказал ему нравственную и материальную помощь и уехал из Давоса с сознанием исполненного долга дружбы».

Из Давоса Чайковский писал Балакиреву: «Прочел “Манфреда” и думал о нем очень много, но еще не начинал проектирования тем и формы. Да и не буду торопиться, но даю Вам положительное обещание, что если останусь жив, то не позже лета симфония будет написана». Спускаясь с высокогорного курорта в долину, он «испытал большое наслаждение от дикой природы этой горной дороги». Сильное эмоциональное потрясение от встречи с безнадежно больным другом, обещание, данное Балакиреву, демонический пейзаж Альпийских гор начали составляться в звуки и мелодии, пока еще не совсем ясные, но настойчиво требующие своего воплощения.

Из Швейцарии Петр Ильич отправился в любимый Париж отвлечься от давосских впечатлений, от которых веяло болезнью и смертью. Там он навестил Жоржа-Леона и, стараясь рассеяться, обедал в шикарных ресторанах, ходил в театр, покупал много одежды, проводил время с Александром и Владимиром Жедринскими, оказавшимися в это время в Париже.

В начале декабря, уставший и стосковавшийся по родине, по Модесту, Коле и Бобу, композитор возвратился в Петербург, чтобы присутствовать на представлении пьесы Модеста «Лизавета Николаевна» в Александринском театре, а 17 декабря выехал в Москву, где по просьбе Юргенсона был срочно вынужден заняться корректурой Третьей сюиты.

Восемнадцатого декабря Петр Ильич сообщил фон Мекк грустные новости: «От Котека письма не имею, но зато получил письмо от одной русской дамы, живущей тоже в Давосе. Она сообщает, что Котек вновь заболел воспалением, что он очень плох, что надежды мало и что необходимо, чтобы кто-нибудь из родных приехал для ухода за ним. Но я очень хорошо знаю, что ни мать, ни сестры его ехать не могут, даже если

снабдить их деньгами. Не буду говорить Вам, как тяжело подействовало на меня это известие. Сознание своего бессилия оказать ему существенную помощь, мысль, что он, может быть, умирает один, среди чужих людей, — все это удручает меня. Самому ехать? Это, быть может, следовало бы, но я чувствую, что у меня просто не хватит мужества снова совершить отдаленную поездку для того, чтобы видеть агонию человека, молодого, которому все начинало улыбаться, которому так хочется жить! Послал депешу и жду ответного известия о ходе болезни».

О смерти друга Чайковский узнал в конце декабря вначале из телеграммы, затем из письма фон Мекк от 28 декабря: «Вам, вероятно, уже известно, милый друг мой, что Котек скончался; у меня здесь прочли это в какой-то немецкой газете». 1 января 1885 года он ей ответил: «В самый сочельник утром я получил телеграмму о смерти Котека. Кроме того, что это известие поразило и сильно опечалило меня, на меня легла тягостная обязанность уведомить несчастных родителей о потере любимейшего старшего сына, бывшего уже и в материальном отношении поддержкой бедной семьи». И далее: «На меня все это произвело бы подавляющее впечатление, если бы не случилось, что вследствие спешной потребности и неимения хороших корректоров, я не принужден был в течение нескольких дней делать труднейшую корректуру моей новой сюиты. <...> Я сердился, негодовал... утомлялся до чрезвычайности, но зато не имел времени постоянно думать и сокрушаться о смерти бедного Котека». Как видим, столь сдержанная реакция не похожа на взрыв искренней скорби. Это, однако, не помешало Петру Ильичу позже, 27 июля 1886 года, сделать в дневнике запись: «Письма Котека. Слезы».

Позиция фон Мекк по отношению к Котеку, который был по сути дела непосредственным зачинателем ее личного знакомства с «бесценным другом», проявляет не лучшие стороны ее характера. Составив себе представление о нем как о человеке развращенном, она изгнала его из своего окружения и лишила своей поддержки, несмотря на попытки заступничества со стороны своего корреспондента. Она никак не реагировала на многократные упоминания о нем композитором, даже тогда, когда тот информировал ее о своей поездке к смертельно больному ученику и другу в Давос. По поводу смерти молодого музыканта она ограничилась единственной сухой фразой, даже без выражения соболезнования, и отклонила просьбу Петра Ильича помочь устроиться на работу мужу сестры покойного, находившемуся в бедственном положении. Невольно возникает вопрос, было ли это проявлением ее подсознательной ревности, ведь из всех известных ей лиц в окружении Чайковского только Котек

пользовался его особым расположением — композитор не уставал подчеркивать свою любовь к нему вплоть до кризиса в их отношениях, случившегося в конце 1881 года.

Сдержанность ее реакции могла отразить и увеличивающуюся дистанцию между ними. Постоянные упоминания в Каменском дневнике неопределенного, но в то же время сильного недовольства самим собой, окружающими и образом жизни, который он вел, не случайны. Чайковский устал быть зависимым, неважно от кого — от Надежды фон Мекк или от сестры Александры. Он устал от странствий.

## Глава двадцать третья. Тифлисские страсти

В Москве композитор поселился у Анны и Николая фон Мекк. 2 января 1885 года он писал Модесту: «Вообще я здесь по большей части не в духе. Причиной тому то, что я живу с Анной, к которой мое недоброе чувство растет, а высказывать его нельзя. Молчу и злюсь и жду не дождусь, когда можно будет уехать из их дома. С ужасом думаю о предстоящем завтра возвращении Тани. Я не могу ее видеть без злобы и отвращения».

Как только эти двое молодых людей поженились, в отношениях между Чайковским и фон Мекк прибавилось острых камней и подводных ям, которые нужно было обходить. Ситуация приобрела особую деликатность, тем более что Надежда Филаретовна, следуя своим правилам, не пожелала лично знакомиться с семьей невестки, так что время от времени Петр Ильич оказывался меж двух огней. Брак этот оказался удачным и даже счастливым, но в отношениях родственников супругов (в особенности двух корреспондентов, главным образом за этот брак ответственных) экзальтация улетучилась очень быстро, уступив место раздражению и взаимной неловкости. Стало ясно, что со стороны обоих — если они стремились через этот брак укрепить свою духовную связь — его заключение оказалось психологическим просчетом. Тесное сосуществование, в отличие от отношений на расстоянии, не оставляет места для идеализации. Нужно обладать немалой житейской мудростью и тренированной психикой (чего у молодых, как правило, нет), чтобы научиться относиться терпимо к неприемлемым для нас чертам тех, в близком общении с которыми мы вынуждены жить. Поэтому мечты о слиянии душ при взаимном сожительстве неосуществимы: наоборот, именно постоянное сожительство часто оказывается фактором, настраивающим друг против друга членов семьи.

Несмотря на массу достоинств, в общежитии Надежда Филаретовна была человеком нелегким. Возможно, именно от этой молодой супружеской пары, счастье которой подготавливалось столь любовно, она ожидала какого-то особенного нежно-благодарного отношения к себе. Если так, то разочарование ее должно было быть жестоким. Обыкновенно тактичная, она прилагала все усилия, чтобы избежать в переписке с «несравненным другом» острых и щекотливых моментов. Однако из того, что удастся почерпнуть из писем, вырисовывается несколько обстоятельств, нарушивших ее душевный покой.



Анна оказалась женщиной с сильным деспотичным характером (вполне под стать своей свекрови), болезненным самолюбием и смогла полностью подчинить себе слабовольного мужа. Оказавшись в фантастически богатой семье фон Мекков, она начала испытывать комплекс неполноценности и поэтому всем своим поведением и разговорами стремилась подчеркнуть значение и влияние семьи Давыдовых, что раздражало пожилую даму, в другое время и при других обстоятельствах просто бы не обратившую на это внимания. Кроме того, Анна энергично вмешивалась в дразги, бушевавшие в семье фон Мекков, присоединившись, по-видимому, к фракции, враждебной Владимиру Карловичу (нелюбимому ее мужем), по-прежнему фанатически защищаемому матерью. Таким образом, с точки зрения последней, Анна стала принадлежать к числу тех, кто сеет семейный раздор. В письме Модесту от 2 января композитор с гневной горечью пишет о результатах пагубного влияния Анны на мужа: «Она не только интриганка, старающаяся отдалить мать от дочерей, но бесчестная, злая, никому не нужная. <...> Коля Мекк ежедневно на все лады повторяет, что 1) Надежда Фил[аретовна], в сущности взбалмошная и несносная старуха; 2) Влад[имир] Мекк мошенник, а жена его распутная баба; 3) что Юлия [дочь фон Мекк] злая фурия; 4) Саша Беннигсен [другая дочь] сплетница; 5) Сашок [Александр фон Мекк] злой, мстительный, бездушный. <...> Помнишь этого добряка — Колю, который носился с карточками членов семьи. Что из него сделала Анна!»

Наконец, Лев Давыдов, вопреки мнению самой Надежды Филаретовны (и, как показали дальнейшие события, оказавшейся правой), убедил своего зятя купить имение Копылово, на которое тот потратил большую часть выделенного ему богатства. Имение оказалось бездоходным, и Николай так и не смог справиться с его управлением. Это обстоятельство обострило отношения Надежды Филаретовны уже не только с самой Анной, но с каменскими родными композитора.

Бедный Петр Ильич оказался, таким образом, в самом неприятном положении. «Только недавно, в Петербурге, я, к величайшему моему огорчению, узнал, что между Вами и каменскими моими родными произошли недоразумения; что Вы недовольны ими, что Вы имели причины огорчаться по поводу их отношений к Вам, — писал он фон Мекк. — Ах, Боже, как это для меня убийственно грустно и неприятно. Мог ли я ожидать чего-нибудь подобного! Ведь косвенным образом вина в этих недоразумениях на меня падает, ибо ведь я был посредником между ими и Вами. Что сделать, что предпринять, чтобы рассеять неудовольствие? Знаю

только одно: умышленной вины с их стороны тут не может быть. Они слишком любят и уважают Вас, чтобы сознательно огорчать Вас».

В своем ответе 11 ноября 1884 года она явно щадила обожаемого друга: «Мне очень, очень жаль, несравненный друг мой, что Вас беспокоили сообщением некоторых шероховатостей, происшедших между мною и Каменкою. Все ведь так ничтожно, что об этом совсем и думать не стоит, и уже я никак не желала бы тревожить Вас этим. Мои отношения к каменским жителям отличные, и никаких следов промелькнувшей горечи не осталось»;

Обоих корреспондентов беспокоило положение вещей в семье Николая фон Мекка, но Надежда Филаретовна продолжала оберегать чувства своего корреспондента. Несколько месяцев спустя, 20 апреля 1885 года, он отвечал на одно из ее писем: «Догадываюсь о некоторых причинах Вашей грусти и, вместе, благодарен Вам за то, что Вы не входите в подробности о них. Мне в самом деле убийственно тяжело было бы читать их... Будучи обессилен и не властен помочь и поправить дело, я, конечно, предпочитаю не видеть и не знать. Много, много мог бы и я Вам сказать про горькие разочарования мои, про отчаяние, которое владеет мной, когда думаю о некоторых близких, но и мне не хочется смущать и расстраивать Вас. Боже мой! Боже мой! Могли я ожидать всего, что теперь происходит!»

Со временем трения перестали вызывать особое раздражение; к ним привыкли. Но у обоих от этих перипетий не могло не остаться горького осадка, в некоторой степени отдалившего их друг от друга. Этим же отчасти объясняется и заметное охлаждение композитора в последние годы жизни к своим каменским родным.

Двенадцатого января Чайковский посетил Пятое симфоническое собрание Русского музыкального общества в Петербурге, где были впервые исполнены Третья сюита под управлением Ганса фон Бюлова. Вечер этот стал его «настоящим триумфом». «Так восторженно не встречалось еще ни одно первое исполнение вещи русской симфонической музыки ни в Петербурге, ни в Москве», — вспоминал Модест Ильич. В письме фон Мекк 18 января композитор отмечал: «Подобного торжества я еще никогда не испытывал; я видел, что вся масса публики была потрясена и благодарна мне. Эти мгновения суть лучшее украшение жизни артиста. Ради них стоит жить и трудиться». «Новости и Биржевая газета» восторженно писали: «По богатству воображения, мелодическому размаху, мастерству и легкости, с которыми композитор распоряжается средствами новейшего оркестра, сюита может быть поставлена в ряду лучших произведений». «Санкт-Петербургские ведомости» полностью соглашались: «Несомненно истинно

мастерское и талантливое произведение».

Александр III, 16 января присутствовавший на пятнадцатом представлении «Евгения Онегина», пожелал лично увидеть автора оперы и долго с ним беседовал. Как последний сообщил своей меценатке, государь был «в высшей степени ласков и благосклонен, во всех подробностях расспрашивал о моей жизни и музыкальных делах моих, после чего повел меня к императрице, которая в свою очередь оказала мне очень трогательное внимание».

Нет никаких сомнений в том, что Петр Ильич относился к императору с большой симпатией. Мягко возражая «слишком мрачному и отчаянному» взгляду фон Мекк на российскую действительность, двумя месяцами позже он замечает: «Теперь спрашивается: есть ли у нас человек, на которого можно возлагать надежды? Я отвечаю: да, и человек этот государь. Он произвел на меня обаятельное впечатление как личность, но я и независимо от этих личных впечатлений склонен видеть в нем хорошего государя. Мне нравится осторожность, с коей он вводит новое и ломает старое. Мне нравится, что он не ищет популярности, мне нравится его безупречная жизнь и вообще то, что это честный и добрый человек».

С течением времени становилось все более трудно выдерживать напряжение, связанное с возрастающим успехом, и быть в центре внимания столичной публики. Вернувшись в Москву на следующий день после представления «Евгения Онегина», Чайковский признавался в цитированном письме фон Мекк: «Желание куда-нибудь скрыться, жажда свободы, тишины, одиночества брали верх над ощущением удовлетворенного артистического самолюбия».

Как никогда до сих пор, он чувствовал необходимость изменения своего образа жизни, чтобы творить и наслаждаться творимым. Если первые годы его скитаний были вызваны обстоятельствами неудачной женитьбы и желанием быть подальше от Антонины, то все последующие стали следствием глубокой внутренней потребности существовать одному или в окружении лишь близких ему людей: Модеста, Коли, Алеши — при этом имея возможность много и регулярно работать. Однако по разным причинам, связанным то со слугой, то с племянницей, то с другими факторами, ему это не всегда удавалось. Испытания были позади, и скитальческая жизнь все более его раздражала. Пребывание в Каменке на правах приживала также становилось малоприятным. Потребность иметь собственный угол заставила Чайковского наконец снять запущенный барский дом на берегу реки Сестры в деревне Майданово под Клином.

«Мечта моя поселиться на весь остальной век в русской деревне не

есть мимолетный каприз, а настоящая потребность моей натуры», — писал он фон Мекк 16 февраля 1885 года. Перелом совершился. Как бы далеко теперь ни уезжал Чайковский и как бы долго ни длилось его отсутствие, он больше не «кочевал», ему было куда вернуться. Места его проживания в Московской губернии — Майданово, Фроловское, опять Майданово и, наконец, тихая окраина Клина — вот географические пределы, в которых передвигался его «дом», неизменно сохранявший во время этих передвижений привычную расстановку мебели, безделушек, немногих картин и бесчисленных фотографий.

Отныне его день был строго распределен, и распорядок этот не менялся уже до конца жизни. Композитор вставал между семью и восемью часами утра, после чая короткое время занимался английским языком или серьезным чтением. Затем совершал прогулку, длившуюся не более трех четвертей часа. С половины десятого до часу дня он работал, ровно в час обедал. Затем опять шел гулять, какая бы ни была погода. Где-то он прочитал, что человеку полезны для здоровья два часа ходьбы, и строго соблюдал это правило. Одиночество во время прогулок было для него так же необходимо, как и в часы занятий. Потребность в уединении усиливалась тем, что во время прогулки он большей частью сочинял. К четырем часам возвращался домой к чаю, просматривал газеты и оживленно беседовал с гостями, а с пяти до семи снова работал. Летом до ужина совершал еще одну прогулку, на этот раз в обществе друзей, осенью же и зимой он обычно играл на рояле, а если у него гостили музыканты — в четыре руки. После ужина до одиннадцати — партия в винт, чтение или писание писем, которых было всегда очень много.

Неудивительно, что сразу после обретения своего дома Чайковский испытал творческий подъем, несмотря на то что сам дом и его обстановка ему не очень нравились. «Погода стоит изумительно чудная, — писал он фон Мекк 16 февраля 1885 года. — Днем, несмотря на морозный воздух, почти весеннее солнце заставляет снег таять, а ночи лунные, и я не могу Вам передать, до чего этот русский зимний пейзаж для меня пленителен!!! Я начал с горячим, пламенным усердием работать над “Вакулой” (переработкой оперы, получившей новое название «Черевички». — А. П.). Головная боль почти прошла. Я совершенно счастлив».

Почти весь 1885 год Петр Ильич прожил в Майданове, иногда поездом выезжая в Петербург или Москву. Как член дирекции Музыкального общества, он в начале апреля в столице присутствовал вместе с великим князем Константином Николаевичем на консерваторском оперном спектакле. По просьбе Модесы композитор посетил бенефис французского

актера Люсьена Гитри (отца будущего драматурга Саша Гитри), ставшего впоследствии их хорошим другом.

Первым сочинением Петра Ильича, написанным в Майданове, стала симфония «Манфред» по драматической поэме Байрона. Над ней он работал урывками в течение всего лета и сентября. «Все лето под впечатлением мрачного сюжета симфонии... я хандрил и нервничал», — сообщал он 13 сентября Анне Мерклинг. Воспоминания зимнего визита в Давос к умирающему Котеку, заснеженные Альпы и переживания Манфреда, связанные со смертью Астарты, постепенно вернулись к нему. Он настолько сроднился с мрачным образом одинокого страдальца, что в одном из писем с грустным юмором заметил: «Я работаю над очень трудной, сложной симфонической вещью... <...> имеющей притом столь трагический характер, что я обратился временно в какого-то Манфреда».

По случаю 50-летнего юбилея Училища правоведения Чайковский сочинил «Правоведскую песнь» и «Правоведский марш», но решил не присутствовать на торжествах, а в конце октября, в связи с 25-летним свадебным юбилеем Давыдовых, отправился на несколько недель в Каменку. «Все в ней как было прежде, когда я был здесь постоянным жителем, а между тем я чувствую, что я уж теперь чужой и что порвалась всякая вну-?ренная связь моя с этим прошлым. Оно ушло куда-то в бездну прошедшего», — написал он Модесту 30 октября.

Свои книги, портреты и вещи, находившиеся в Каменке, Чайковский отправил в Майданово. Он знал, что, несмотря на его любовь к каменским родственникам, полной гармонии больше не будет — отношение его к семье Давыдовых изменилось, и отныне он может там пребывать лишь в качестве гостя.

В конце года Петр Ильич задумался о сочинении оперы.

27 сентября в письме к фон Мекк читаем высказывание об оперном жанре: «Милый друг! Мне нравится высокомерное отношение Ваше к опере. Вы правы, относясь к этому, в сущности, ложному роду искусства недоброжелательно. Но есть нечто неудержимое, влекущее всех композиторов к опере: это то, что только она одна дает Вам средство сообщаться с массами публики. Мой “Манфред” будет сыгран раз-другой и надолго скроется, и никто, кроме горсти знатоков, посещающих симфонические концерты, не узнает его. Тогда как опера, и именно только опера, сближает Вас с людьми, роднит Вашу музыку с настоящей публикой, делает Вас достоянием не только отдельных маленьких кружков, но при благоприятных условиях — всего народа. Я думаю, что в этом стремлении нет ничего предосудительного, т. е. что не тщеславие

руководило Шуманом, когда он писал “Геновефу”, или Бетховеном, когда он сочинял своего “Фиделио”, а естественное побуждение расширить круг своих слушателей, действовать на сердца по возможности большего числа людей. Не следует только при этом гоняться за внешними эффектами, а выбирать сюжеты, имеющие художественную цену, интересующие и задевающие за живое».

Из всех предложенных ему сюжетов Чайковский выбрал либретто Ипполита Шпагинского «Чародейка». Взятый из русской жизни, этот сюжет привлек его внимание трагической любовью колдуньи Насти к князю Юрию. Об этом он писал певице Эмили Павловской 12 апреля 1885 года: «Прельстившись “Чародейкой”, я нисколько не изменил коренной потребности моей души иллюстрировать музыкой то, что Гёте говорил: *das Ewig-Weibliche zieht uns hinan* (вечная женственность тянет нас к ней. — **нем.**). То обстоятельство, что могучая красота женственности скрывается у Настасьи очень долго в оболочке гулящей бабы, скорее усугубляет сценическую привлекательность ее. Отчего Вы любите роль Травиаты? Отчего Вы должны любить Кармен? Оттого, что в этих образах под грубой формой чувствуется красота и сила».

Ссылка на гётевское «вечноженственное» лишний раз подчеркивает культурно-творческий, а не интимно-пережитой характер этого рассуждения. Как всякий нормальный человек, композитор был способен эстетически наслаждаться женской прелестью и преобразать это наслаждение в одну из составных частей своего творчества. Эстетическое наслаждение, основанное на восхищении, — большая эмоциональная сила. Оно может быть даже эротически окрашенным, но быть тем эросом, который тяготеет не к плоти, а к духу.

Любая ненависть не к отдельной особи, а к целой группе (по признаку, скажем, пола, расы, класса) есть признак больного сознания. Чайковский не был болен психически и потому не мог быть женоненавистником. Его могли раздражать глупые молодые консерваторки, которых, по воспоминаниям его бывшей студентки Марии Гурье, он «прямо преследовал», или болтливые спутницы на пароходе, но нельзя не признать, что он высоко ценил идею женственности и к женской красоте относился иногда и с восхищением. Женский образ был в его глазах недостижимым идеалом — ситуация, свойственная определенному настрою гомоэротической ориентации.

Как и многие люди со сходными вкусами, он был способен на глубокую и интимную дружбу с женщинами — именно дружбу, в которой если эрос и участвует, то чрезвычайно сублимированно. В его жизни эта

способность воплотилась в переписку с фон Мекк, Анной Мерклинг и с женой драматурга Шпагинского Юлией. Композитор близко к сердцу принял нараставший разлад в семье Шпагинских и взял сторону жены. Вся их переписка, продлившаяся шесть лет, со стороны композитора была вызвана чувством сострадания и стремлением помочь советом «несчастной женщине» найти свое место в жизни. Возможно, в уникальности и прочности таких отношений играет роль некая особенная душевная чувствительность, часто присущая людям гомоэротического строя. (Марсель Пруст, исключительный гомосексуал, написал целый роман «Под сенью девушек в цвету», с удивительной верностью передавший тончайшие нюансы женской психологии.)

Всю осень композитор работал над инструментовкой «Манфреда» и первым действием оперы «Чародейка». Работал тяжело, напряженно, но постоянные выезды в Москву, визиты друзей, масса писем, на которые он отвечал без исключения, отвлекали его от занятий. Пару недель, с 29 декабря по 13 января 1886 года, он провел в Петербурге в кругу близких ему людей: Модеста, Коли и племянника Боба. Правда, уже после трех дней столичной суеты он пришел в такое сильное нервное расстройство, что не мог двигаться и пролежал целый день в постели. Модест вызвал доктора Василия Бертенсона, посоветовавшего композитору полный покой. Лишь вернувшись в Майданово, он обрел тишину и свободу, в которых так нуждался в Петербурге, и продолжил работу над оперой, периодически выезжая в Москву на концерты и заседания дирекции Русского музыкального общества, а у себя принимал близких друзей и родственников.

Одиннадцатого марта в Москве состоялась премьера симфонии «Манфред» под управлением немецкого дирижера Макса Эрмансдёрфера. Послушать новую вещь прибыл из Петербурга Модест. Исполнение было превосходное. Автора вызывали на сцену, устроили овацию, но в дневнике он написал: «Мое волнение. Полууспех, но все-таки овации». А Балакиреву Чайковский 13 марта написал, что у него создалось впечатление, что «публике... “Манфред” не понравился. Зато музыканты с каждой репетицией все более проникались сочувствием. <...> Между моими ближайшими друзьями одни стоят за “Манфреда” горой, другие остались недовольны и говорят, что я тут не сам собой, а прикрытый личиной какой-то. Сам же я думаю, что это мое лучшее симфоническое сочинение».

Пятнадцатого марта Чайковский приехал в Петербург, где присутствовал на исполнении Гансом фон Бюловым Первого фортепьянного концерта. В дневнике читаем: «Концерт. Овация». Даже

Кюи в «Музыкальном обозрении» не поскупился на некоторого рода похвалу: «Концерт Чайковского одно из самых удачных произведений симпатичного и талантливой автора. В нем нет высших музыкальных качеств, нет силы мысли, нет глубины чувств, но он красив, мил, грациозен и слушается с большим удовольствием... тематически свеж, гармонически красив, написан легко, ясно».

Композитор вернулся в Майданово 20 марта, а затем отправился в Тифлис с целью навестить Анатолия, служившего там прокурором судебной палаты. Несмотря на неприязнь брата и невестки к любимому слуге, он решил взять его с собой. После этого визита в его планах была поездка во Францию морем и, по прибытии в Париж, встреча с женой старшего брата Николая, который принял решение усыновить внебрачного сына Тани Жоржа-Леона, до тех пор жившего во французской семье.

Он долго добирался до Тифлиса, проездом навестив в Таганроге другого брата, Ипполита, и восторгаясь природой Кавказских гор, а прибыв в грузинскую столицу, сразу оказался в водовороте светской жизни. Это был сплошной праздник — встречи, приемы, званые обеды, любительские спектакли, игра в карты.

Модест Ильич сообщает, что за время своего пребывания там композитор завязал знакомство с неким Иваном Вериновским: «Молодой артиллерийский офицер, с которым Петр Ильич познакомился в Тифлисе, выказал необыкновенную симпатию, почти обожание к нему, и за все время пребывания последнего в этом городе не разлучался с ним. Через несколько дней после отъезда Петра Ильича он застрелился». Обратим внимание на курьезный (и неправильный) синтаксис Модеста, из которого не ясно, кто к кому испытывал обожание. Больше материала содержат письма и дневники, но и они все же не проясняют эту странную историю до конца. Первое упоминание в опубликованной переписке об Иване Вериновском — в письме Модесту из Тифлиса от 17 апреля 1886 года: «Из ближайшего *entourage*'а (окружения. — **фр.**) их [Анатолия и его супруги] мне особенно симпатичны некто Свинкин (товарищ прокурора, правовед) и офицерик Вериновский». Ему же 23 апреля: «Сколько у меня здесь новых приятелей! С иными, напр[имер] с неким симпатичным офицериком Вериновским, я испытываю ощущение, как будто всю жизнь был с ним коротко знаком». Неожиданное слово «офицерик» может означать либо возраст очень молодого человека, либо смесь нежности и снисходительности, характерную для начинающегося романа, либо и то и другое вместе — презрительный оттенок по тону этих писем исключается вовсе. В дневниках Чайковского события, связанные с Вериновским, отрывочны и



не всегда понятны.

«14 апреля. Опять преувеличенный манифестант любви со стороны И[вана Вериновского].

15 апреля. Вериновский, приглашенный мною для винта, и капризы Пани [жены Анатолия]. Винт... Симпатичность Вериновского».

«19 апреля. <...> У Пани. Ее безобразничание по поводу Вериновского».

«26 апреля. За завтраком спор с Паней из-за Вериновского.

27 апреля. Встретил Вериновского. <...> Веселье и бесконечное удовольствие, прерванное безобразной выходкой Прасковьи Владимировны [Пани]. <...> Кутеж. Карты. Ужин. Бесконечно жаль Вериновского и злюсь на дрянь.

28 апреля. Встал с тяжелым воспоминанием о вчерашнем».

Вот, собственно, и все. Через несколько дней, уже после отъезда Петра Ильича, Вериновский покончил с собой, причем официальной (и неправдоподобной) причиной этого был объявлен провал экзаменов в военную школу.

Что же все-таки произошло? На это вряд ли можно ответить с определенностью. Очевидно лишь, что возник любовноэмоциональный треугольник, участниками которого были композитор, Прасковья Владимировна Чайковская, еще до замужества известная своей красотой и кокетством, и молодой офицер. Судя по словам Модеста, некоторым фразам в приведенных записях, а также по тому ошеломлению, которое произвело на Чайковского это самоубийство, композитора и офицера связывали крепкие эмоциональные узы, возможно обещавшие, по крайней мере в воображении одного из них, перейти в интимную близость. С другой стороны, похоже, что Вериновский увлекался (или делал вид, что увлекался) свояченицей Чайковского, которая в силу прирожденного кокетства хотела его в себя влюбить. В таких ситуациях женщины часто дразнят робких ухажеров и всячески издеваются над ними. Резвая Паня могла даже позволить себе некоторые двусмысленные намеки. Это объяснило бы приступы ярости Чайковского (который от природы был не слишком ревнив) и то, что в произошедшей трагедии он усматривал долю ее вины. Много позднее, уже в эмиграции, Прасковья рассказала о тех событиях Берберовой: «“Я у него поклонника отбила в Тифлисе, когда он у нас гостил”, весело улыбаясь, сказала она мне. “Это был Вериновский, — ответила я. — Да, это был Вериновский, и Петя никогда не мог простить мне этого”».

История допускает три возможных варианта: 1) влюбленность

Вериновского в Чайковского и его притворные ухаживания за Паней; 2) влюбленность его в Паню и лишь подсознательное увлечение Чайковским, которое тот поощрял; 3) любовное увлечение Вериновского ими обоими на осознанном уровне. Как дела обстояли на самом деле, выяснить теперь невозможно. Читаем запись композитора в дневнике от 7 июня: «Письмо Степана [слуга А. и П. Чайковских] к Алексею, нечаянно мною открытое, и в коем я прочел известие о бедном Вериновском. Сильно огорчен и расстроен». Через 10 дней он пишет Прасковье: «Жду с лихорадочным нетерпением подробностей о Вериновском. Я много плакал по поводу этого случая и до сих пор, несмотря на всю хлопотню и суету путешествия, постоянно, ежечасно думаю о нем, и все мне кажется, что останься я еще неделю в Тифлисе, этого бы не случилось». Модесту 4 июля: «Паня мне почти ничего не пишет, и я знаю почему: у нее совесть не чиста. Напомни мне при свидании рассказать тебе трагическую историю некоего Вериновского, молодого офицера, с которым я в Тифлисе очень подружился. В этой истории она очень вдновата. Долго и грустно писать про это, Модинька!» Запись в дневнике от 14 июля: «Но заниматься все-таки не мог. Завтракал без всякого аппетита. Причиною тому и нездоровье и то, что я наконец получил подробности о смерти Вериновского и так сильно, с рыданиями, почти до истерики плакал — что совсем не до еды было. После завтрака вздумал прочесть “Рубку леса” Толстого и — снова плакал». 18 июля он отвечает Пани: «Спасибо тебе, голубушка, Паничка, за письмо с подробностями о смерти Вериновского. Странное дело! До твоего письма я имел безумную надежду, что я не так прочел в письме Степана, что это правда, что милая бомба (прозвище Вериновского. — А. П.) жив и здоров. Теперь я, с одной стороны, рад, что имею, наконец, верные сведения, а с другой, не могу тебе выразить, до чего мне его жаль, до чего трудно мне привыкнуть к мысли, что бомба уж давно зарыта в земле. Целые дни я об этом все думаю, и досаднее всего то, что смерть его покрыла флером лучезарные мои воспоминания о Тифлисе. Теперь я переносюсь туда с мыслью с сжиманием сердца, со страхом и глубокой грустью». Модесту в тот же день: «Я надеюсь, что мы с тобой в августе увидимся, и потому ничего не буду говорить тебе об одной вещи, занимающей, по крайней мере, половину всех моих помыслов. Слишком долго и сложно было бы на письме все это рассказывать. История в том, что один мой тифлисский знакомый, саперный офицер Вериновский, с которым я удивительно быстро и близко сошелся и сильно полюбил его, через 3 дня после моего отъезда застрелился. От меня это долго скрывали, и я случайно из письма Степана к Алеше узнал об этом. Теперь я наконец имею все

подробности. У Пани совесть не чиста в этом деле. Она без причины ненавидела и обижала его, и была одна история незадолго до моего отъезда, после которой я даже поссорился с Паней из-за Вериновского. Ближайший повод к самоубийству был — неудавшийся экзамен. На меня эта смерть произвела ужасное впечатление. Он был молод, крайне симпатичен, весел, здоров, всеми любим и вдруг взял и застрелился. Не могу решительно привыкнуть к этой мысли и вот уж скоро два месяца неотступно и постоянно думаю о нем».

В этом письме Чайковский ближе всего подходит к изложению собственного прочтения событий, поступков и мотивов действующих лиц. Его предположение, что Паня изводила Вериновского из-за беспричинной ненависти, демонстрирует слабое знание женской психологии: у женщин беспричинной ненависти не бывает. Либо она внутренне чувствовала, что несмотря на те или иные внешние признаки (или благодаря им) завоевать молодого человека не получится, либо различала (или интуитивно ощущала) в нем гомосексуальный компонент, который автоматически вызывает негативную реакцию у многих женщин. Как бы то ни было, версия Чайковского также может быть понята в рамках трех возможных сценариев случившегося, предложенных выше.

Неудовлетворенный разъяснениями Пани, он запрашивает дополнительную информацию из независимого источника — у тифлисского музыкального деятеля и композитора Михаила Ипполитова-Иванова. И тот сообщает ему следующее: «Причина его смерти до сих пор осталась для нас загадкой. В записке, оставленной им на имя старшего офицера Васильева, он ничего не объяснил, сделал только кое-какие распоряжения относительно устройства своих дел. Я виделся с ним в 12 часов, т. е. за час до смерти — встретил его возвращающимся из штаба с экзамена по истории. На мой вопрос: “Что, как экзамены?” — ответил предположением: “Кажется, провалился”. Настроение его было обычное, веселое, так что заподозрить что-нибудь подобное я никоим образом не мог. Мы прошли до Эриванской площади, прощаясь, он сказал мне, что зайдет в штаб окончательно узнать результат экзаменов. Через час он застрелился... Очевидно, для него эти экзамены были чем-то решающим. Говорят, что так как он жил, он продолжать жить не мог — средства были небольшие, а с родными не ладил — единственным исходом из этого положения было поступление и отъезд из Тифлиса в академию; с провалом же на экзамене ему и этот путь к спасению его невероятного самолюбия был отрезан — ну и покончил».

Петр Ильич ответил 23 июля: «От души благодарю Вас за подробности

о смерти Вериновского. Хотя в них нет ничего хотя бы сколько-нибудь примиряющего с мыслью об исчезновении с лица земли молодого и симпатичного человека, но все же я рад, что хоть какой-нибудь внешний повод к самоубийству был, т. е. провал на экзамене. Иначе просто было бы привыкнуть к грустному сознанию, что он погиб от недостатка сочувствия, в коем его мягкая и добрая натура нуждалась и которого не нашел там, где искал. Всякая смерть молодого хорошего человека действует на меня сильно: еще более, когда смерть — самоубийство. Мне все кажется, что останься я еще неделю в Тифлисе, он бы остался жив. Я очень полюбил его; он это признавал, и весьма может статься, что мое участие и нравственная поддержка удержали [бы] его от мысли посягнуть на свою жизнь. Ах боже мой, боже мой, до чего мне жаль его!»

Двадцать девятого июля он писал Анатолию: «Я наконец с разных сторон имею подробности о смерти Вериновского. Никак не могу помириться с мыслью, что бомбы уже нет на свете, и до сих пор нередко плачу, думая о нем. А главное, меня терзает мысль, что останься я еще неделю, я бы не допустил его до этого. Иногда я сержусь на него и осыпаю упреками: зачем не написал мне? зачем не искал поддержки и нравственной опоры в моей дружбе? Одним словом, давно уж чья-нибудь смерть не производила на меня такого сильного впечатления, как эта». И завершающий аккорд в дневниковой записи от 2 октября: «Позднее без конца плакал о Ване Вериновском». Случай с Вериновским был вторым подобным после смерти Эдуарда Зака самоубийством человека, к которому композитор был определенно равнодушен. Поразительно, что и другой тифлисский знакомец Чайковского, несколько раз упомянутый в его дневнике Свинкин, последовал в декабре 1888 года примеру Вериновского: «Отлично помню, что по поводу Вериновского Свинкин писал мне, что самоубийство глупость. И вот сам то же сделал! Что это они все с ума сошли!»

Едва ли не каждый день в его тифлисском дневнике фигурирует имя Николая Переслени. Родственники по линии Давыдовых, братья Переслени — Николай и Вадим — упоминаются им всегда со смесью притяжения и отталкивания. Некоторые намеки дают основание предполагать, что оба юноши не были лишены гомоэротических склонностей. Вадим Переслени отчетливо выступает как личность декадентская и сомнительной нравственности. Например: «Дима, с которым я уже виделся в Киеве, тоже наводит на грустные размышления. Представь, что он без всякого стыда признался мне в присутствии Толи (в оригинале зачеркнуто. — А. П.). Цинизму его нет никаких границ, и все-таки я не могу не питать к этому

безобразному мальчишке что-то вроде симпатии».

О его брате Николае, по прозвищу Кокодес, из письма Чайковского от 1878 года узнаем и другую подробность: «В Сумах виделся с Колей Переслени. Представь, что он с Алешей Киселевым уже несколько раз обедал в трактире и они на ты». Алеша Киселев был, как мы знаем, слуга и любовник Кондратьева, с точки зрения Чайковского, совершенно непотребный. Близость с ним молодого человека дает основание предполагать, что его вкусы развивались в том же направлении. Оба племянника, как это следует из дневниковых записей, не стеснялись постоянно выпрашивать у композитора денежные «субсидии».

Двадцать девятого апреля, незадолго до трагедии, случившейся с Вериновским, Петр Ильич с Алешей отправились в отличном расположении духа из Тифлиса в Батум, где на следующий день погрузились на пароход, следующий в Марсель. Чайковский должен был прибыть в Париж к середине мая для устройства дел с Жоржем-Леоном. Провожали их Анатолий с женой и Николай Переслени. Перед самым отбытием Анатолий непонятно почему «сделал страшную сцену Алексею, даже полез драться». Последнего младший брат недолюбливал: ему не нравилось, что слуга может так сильно влиять на хозяина. Хотя он и усердствовал ранее в касавшихся Алешиного блага различных делах, но не из симпатии к нему, а из любви к брату, в переписке с которым он не раз высказывал сомнения в характере его фаворита и, по всей вероятности, пытался посеять раздор между ними.

По дороге из Батума на первой же остановке в Трапезунде они отправились осматривать город. О впечатлениях Петр Ильич написал Модесту: «Очень симпатичен, по-моему, народ. Не знаю, как женщины, но мужчины, и особенно мальчишки, сплошь красивы». Простояв сутки в Константинополе, корабль направился к берегам Франции, минуя вулкан Этну, который именно в это время начал извержения, продолжавшиеся целый месяц. 11 мая путешественники прибыли в Марсель, где провели несколько дней. Город понравился Чайковскому, он много гулял, посетил ***Palais de Cristal***. В дневнике есть короткая, но многозначительная запись: «Шлялся по городу. <...> Искание без успеха».

Уже 16/28 мая композитор был в Париже. Сразу же по прибытии за ненадобностью отправил Алексея на родину, а сам решил остаться на четыре недели и, встретившись с женой брата Ольгой, начал оформлять документы для вывоза мальчика в Россию. Ни Лев, ни Александра, как и все остальные родственники, включая Анатолия, не должны были знать о Танином ребенке и о его усыновлении семьей старшего брата. Но Петра

Ильича беспокоило сходство ребенка с Таней. «Как мы сделаем, чтобы сходство его не поразило Л[еву] и С[ашу]?» — спрашивает он в дневнике.

Помимо встреч с французскими музыкальными деятелями, Чайковский развлекался в компании Анатолия Брандукова, молодого виолончелиста, его бывшего студента по классу гармонии, который в Париже давал концерты. «Брандуков со мной почти неразлучен. Он очень мил и симпатичен», — писал Петр Ильич Модесту. С Брандуковым он навестил Полину Виардо, князя Голицына в обществе его миньонов (это наводит на мысль, что Брандуков не был чужд гомосексуальной среде), салон Богомолец (богатой дамы, постоянно жившей в Париже). Иногда Чайковский прогуливался около определенных кафе и завязывал знакомства с французами.

Шестнадцатого июня вместе с Жоржем-Леоном и Ольгой он прибыл в Петербург, где мальчика крестили по православному обычаю и дали имя Георгий. Петр Ильич стал его крестным отцом. 18-го он уже возвратился в Майданово и сразу же принялся описывать свои парижские впечатления «лучшему другу»: «Я невероятно рад своему возвращению в Россию, хотя с удовольствием думаю и о своем путешествии. Пребывание в Тифлисе и путешествие на пароходе представляются мне каким-то приятным сном. Что касается Парижа, то, несмотря на все утомление и напряжение, испытанное там, я рад, что выдержал целый месяц шумной столичной жизни. Мне кажется, что для упрочения моих сочинений во Франции я много теперь сделал, перестав быть для тамошних музыкантов каким-то отдаленным мифом, а — живым человеком. Сочувствия я видел там много. Мне очень советуют в будущем сезоне устроить une audience (здесь: концерт. — *фр.*), посвященную исключительно моим произведениям. Конечно, в массу парижской публики я еще вовсе не проник, но в более развитых музыкальных кружках меня знают, и многие проникнуты теплым сочувствием. Из наиболее выдающихся деятелей меня особенно тронуло внимание Ambroise Thomas и Leo Delibes [Амбруаза Тома и Лео Делиба]. Как странно после Парижа очутиться внезапно в июне в Петербурге. Зимой он так оживлен и блестящ, теперь это совершенная пустыня. Что касается “белых ночей”, то красоты в них много, но я во всю сегодняшнюю ночь, несмотря на трехдневное путешествие, не мог глаз сомкнуть. Не спится при этом непостижимом сочетании ночной тишины с дневным светом».

Яркое впечатление от Парижа оставили встреча с певицей Полиной Виардо («старушка Виардо очаровала меня») и подлинная партитура «Дон Жуана» Моцарта, хранившаяся у нее. В дневнике Чайковский записал в восторге: «Видел партитуру Дон Жуана Моцарта, писанную ЕГО

РУКОЙ!!!!!!!!!!!!!» Позднее он выразил переполнявшие его тогда эмоции в письме фон Мекк: «Писал ли я Вам, милый друг, что я провел два часа у Виардо в перелистывании подлинной партитуры Моцарта (“ДонЖуан”), которую еще лет тридцать тому назад муж Виардо случайно и очень дешево приобрел? Не могу выразить чувства, которое охватило меня при просмотре этой музыкальной святыни! Точно будто я пожал руку самого Моцарта и беседовал с ним».

В этом году в Майданове недалеко от его дома снял на лето дачу Кондратьев с семьей. Чайковский по-прежнему пытался смягчить их постоянные конфликты: во время этих многолетних перипетий дело не раз доходило до разрыва супругов. В письме Анатолию еще от 29–30 апреля 1885 года читаем: «У Кондратьевых произошел окончательный разрыв. Нужно теперь как-нибудь устроиться им, чтобы разъехаться мирно, но Ник[олай] Дмитриевич так капризничает, что ничего с ним не поделаешь. Мэри призывала Модеста, но он ничего не мог сделать. Теперь вся их надежда на меня, и все мне пишут и умоляют приехать». По словам дочери Кондратьева, Надежды,

Чайковский «всех вдохновлял, утешал, мирил ссорящихся, давал мудрые советы... был добрым гением окружающих». Его миротворческая миссия, однако, имела успех, и в этот раз супруги даже стали его соседями в Майданове, а с ними — Саша Легошин и гувернантка Эмма Жентон. Он посещал их почти ежедневно: играл в винт и общался с Кондратьевым, здоровье которого за последнее время заметно ухудшилось.

Эмма так и не смогла понять, что композитор, предмет ее воздыханий, предпочитал общество молодых мужчин. Ее неудачные попытки флирта вызывали у него смесь сочувствия, жалости и раздражения. Она настойчиво домогалась Петра Ильича. «Мучился, что жесток к Эмме и Anette [Анна Мерклинг]», — писал он в дневнике 9 июля 1886 года и добавлял: «Но что мне делать? Эмма просто невыносимой становится. И чем более она заслуживает сочувствия, тем менее она его возбуждает во мне».

В конце июля Кондратьевы вернулись в Петербург, их гувернантка с ними, и Чайковский с облегчением написал Модесту 31 июля: «Последние два дня своего пребывания Мэри с барышнями (Дина, дочь Кондратьевых, и Эмма Жентон) и обедали и ужинали у меня. А впрочем, нет худа без добра. Эмма стала до того навязчива и жеманна, что в последнее время я просто ее выносить не мог и жаждал, чтобы ее не было, а вместе с тем и стыдился своих дурных чувств по отношению к ней. Но должно признаться, что собственно ее отсутствию очень радуюсь». Молодая

женщина тем не менее не теряла надежды: оказавшись в Клину проездом, она оставила подарки, книгу и письмо «с обычными приторностями». От этого он чувствовал себя очень неловко. «Право стыдно так отвечать на столь хорошее чувство. Но ничего с собой не сделаешь. Злюсь», — написал он 8 августа. Два месяца спустя Эмма снова была в Клину проездом. «После чая ушел на станцию для свидания с Эммой. Злился ужасно на помеху [занятиям]. Но был с ней ласков. Пересадил ее в почтовый поезд» — запись от 3 октября. Ситуация яснее ясного, и нет никаких оснований видеть здесь любовный роман, как делают некоторые биографы.

Неожиданно композитор получил известие от Антонины. Реакцией на это (после девяти лет разрыва и ее пятилетнего молчания!) стала истерика. Вот дневниковая запись от 28 июня 1886 года: «Перед обедом письма. Одно от Ант[онины] Ив[ановны] совершенно расстроило меня. Ничего есть не мог и весь день было не по себе. Только вечером лучше стало. Что с этой безумной делать???» И в следующие дни: «Я все время не в духе. Письмо Ант[онины] Ив[ановны] тому причиной. Боли геморроидальные. По временам днем казалось, что умираю.

Написал завещание»; «Все утро и все время от чая до вечера писал проекты писем к Ант[онине] Ив[ановне]. Ничего не мог решительного написать. Мучения нравственные, сильные. И ненависть, и жалость. <...> Ах, сколько мучений мне от Ант[онины] Ив[ановны]! Вот что меня уморит окончательно»; «Наконец написал письмо Ант[онине] Ив[ановне] (ох как трудно, чтобы и не оскорбить, и не дать поблажки)».

Первого июля 1886 года, в коротком письме своей новой корреспондентке Юлии Шпажинской, извиняясь за молчание, Чайковский признался, что у него было «большое горе и в течение недели... буквально пера в руки не мог взять... Теперь тяжелое впечатление сгладилось. В чем горе — не пишу, ибо не могу сказать. Оно только косвенно мое». Суть инцидента проясняется в письме композитора Юргенсону от того же дня: ссылаясь на конфликт с сожителем, «гадина» снова просила денег, изливая при этом на бумагу всякие нелепости. «Антонина] Ив[ановна] бомбардирует меня письмами. Она выдумала новую штуку: объясняется в безумной любви, дает rendez-vous и в то же время рассказывает, что у нее есть сожитель, который ее страстно обожает, но так как у него раздражительный характер, то она снова влюбилась и готова дать мне какие-то невероятные любовные наслаждения. Она, по-моему, совершенно сумасшедшая. Письма ее невыразимо расстроили меня: вот уже неделя, что я ничего не пишу, недомогаю, потерял аппетит, хандрю и т. д. Главное, не знаешь, что отвечать такой сумасшедшей. Попробовал откупиться и



предложил ей снова получать 600 р. в год, обещав прибавить, если оставит меня в покое. Просил ее мне не писать, а обращаться за деньгами прямо к тебе. Предоставил ей получать помесечно или по третям. Итак, прими это, пожалуйста, к сведению».

А 3 июля Чайковский записал в дневнике: «Инцидент с Ант[ониной] Ивановной] начинает уходить в область прошедшего. Совесть моя чиста, но мне все же, несмотря на все, даже на то, что это в самом деле самая дрянная личность, какая есть на свете, жаль ее. Не посчастливилось бедной». В это время между ним и Юргенсоном была установлена договоренность, о которой композитор напомним ему три года спустя в письме от 2 апреля 1889 года: «Года три назад у нас с тобой по поводу приставаний ко мне Ант[онины] Ив[ановны] было решено, что ты никаких писем от нее передавать мне не будешь, что ты будешь постоянным посредником между нами, причем я тебя уполномочил решать всякие ее просьбы по своему произволу». Уладив таким образом дело, Петр Ильич удовлетворенно сообщил Модесту 18 июля 1886 года: «С Ант[ониной] Ивановной] покамест покончил. Она приняла деньги и очень довольна. Петр Ив[анович] видел ее: она очень постарела, но молодится и носит какие-то коки. Она запуталась в таких противоречиях и ложных сообщениях о себе, что решительно нельзя разобрать, с кем, где и как она жила в последнее время». Можно полагать, что бедная Антонина пустилась во все тяжкие. Оказавшаяся волей судьбы в ужасной ситуации: покинутая мужем и при явно ухудшившемся психическом здоровье, она все более опускалась. Несомненно, женщина эта заслуживала сожаления и действенной помощи, на которые Чайковский был по-настоящему не способен.

Финальным аккордом этого эпизода стала дневниковая запись 23 июля: «Утром в числе писем было... еще бесконечно больше странное и дикое от Ант[онины] Ив[ановны], в коем она просит посвятить ей что-нибудь, а также чтобы я взял на воспитание ее детей». Об этом Петр Ильич сообщил Модесту 6 августа: «После последних известных тебе писем Антонины Ивановны было (несмотря на строжайшее запрещение) еще одно, в коем она уведомляет меня, что у нее трое детей, все в Воспита[тельном] доме, один из них в мою честь, кажется, Петром назван, и она предлагает всех или одного из них взять мне на воспитание (???). Кроме того, прислала мне вышитую рубашку и просит что-нибудь посвятить ей. Совсем, окончательно сумасшедшая. Но, впрочем, держит себя агнцем. Слава Богу, она уехала, взяв порядочный куш у Юргенсона».

Петр Ильич продолжал заботиться о Брандукове, которому обещал

помочь в устройстве на работу в консерваторию, отправив ему 20 июля 1886 года письмо, исполненное заботы и трогательной нежности: «Милый мой Толичка! Очень рад был получить известие от тебя. Но, признаюсь, что твой бронхит немного беспокоит меня. Неужели после меня ты все еще продолжал кашлять, быть бледным и вообще недомогающим? <...> Поправляйся и приезжай в Москву. Напиши мне обстоятельно, когда ты думаешь попасть в первопрестольную и заедешь ли ко мне? Я буду очень, очень рад увидеть твою глупую, но все-таки симпатичную рожу. <...> Нежно обнимаю тебя и целую, мой милый Толичка!»

С 19 августа по 8 сентября Чайковский сочинил двенадцать романсов, которые посвятил императрице Марии Федоровне. С просьбой содействовать перед ней принять это посвящение он обратился к великому князю Константину Константиновичу, с которым у него с конца 1886 года завязалась активная переписка, продолжавшаяся в течение семи лет, вплоть до самой смерти Петра Ильича. На слова К. Р. Чайковский написал шесть романсов и хор «Блажен, кто улыбается». В его личной библиотеке сохранились три книги стихотворений К. Р. На первых двух дарственные надписи великого князя, а на полях второй, вышедшей в 1886 году, много нотных эскизов и различных пометок, отражающих работу композитора над романсами.

В письме Надежде Филаретовне от 10 ноября 1886 года он описал свои отношения с двором: «В высших сферах, кроме благоволящих ко мне государя и государыни, у меня есть особенный, специальный покровитель, а именно Вел[икий] кн[язь] Константин Константинович. В это пребывание в Петербурге я нередко с ним виделся и бывал у него. Личность его необыкновенно обаятельна. Он талантливый поэт, и недавно, под обозначением букв К. Р., вышел сборник его стихотворений, имеющий большой успех и расхваленный всеми газетными и журнальными рецензентами. Он также и музыкой занимается и написал несколько очень миленьких романсов. Жена его — очень симпатичная молодая женщина, замечательная, между прочим, тем, что в два года она выучилась совершенно свободно говорить и читать по-русски. Несмотря на всю мою застенчивость, особенно с людьми из высоких сфер, я чувствовал себя в среде этих симпатичнейших августейших особ совершенно свободно и в беседе с ними находил истинное удовольствие».

Официальное разрешение на посвящение было получено, а в ответном письме великий князь написал, что «государыня приказала мне очень Вас благодарить за романсы, которые нашла “прелестными”». В знак признательности императрица в марте 1887 года прислала Чайковскому

«свой портрет с надписью в роскошной раме». Петр Ильич был очень тронут этим вниманием.

## Глава двадцать четвертая. Барские шалости

Сравнив раздраженные высказывания Чайковского в дневнике о гувернантке Кондратьевых Эмме Жентон, которая его постоянно «злила», с записями тех же дней об Александре Легошине, можно заметить, что последний редко упоминается без эпитета «милый». В дневниках композитора Легошин занимает едва ли не больше места, чем его хозяин Кондратьев. Во время соседства в Майданове летом 1886 года композитор проводил много времени с этим слугой. Прочитируем запись от 23 июня, часто приводимую как свидетельство прогрессивных взглядов композитора: «Легошин. Варенье. Какое удовольствие доставляет частое присутствие Легошина; это такая чудесная личность. Господи! и есть люди, которые поднимают нос перед лакеем, потому что он лакей. Да я не знаю никого, чья душа была бы благороднее и чище, чем этот Легошин. А он лакей! Чувство равенства людей относительно их положения в обществе никогда не давало себя знать столь решительно, как в данном случае». Впоследствии Легошин женился (как и Алеша Софронов) и несколько раз навещал Чайковского во Фроловском с женой и дочерью.

Другой слуга Кондратьева, Алексей Киселев, был тенью и Кондратьева, и Чайковского. Его имя также встречается в дневниковых записях этого лета: «Появился Киселев на станции и послал за Сашей Легошиным» (7 июля); «Темно и вдобавок боялся Киселева, который опять появился и посылал за деньгами ко мне и Н[иколаю] Дмитриевичу]. Я ничего не послал» (20 июля). Помимо Алеши, композитору иногда прислуживали и другие молодые люди — в частности, состоявший при Модесте Назар Литров. «Очень симпатичный» и отлично склеивавший бумажного змея, он упоминается в дневнике 25 августа 1886 года. 5 сентября он снится ему в эротическом сне: «Спал я беспокойно и видел странные сны (летание с Назаром в голом виде, необходимость и вместе невозможность что-то сделать при посредстве Саши, дьяконова сына и т. д.)».

Неравнодушен был композитор и к семнадцатилетнему Василию Филатову, приехавшему в Майданово с семьей Кондратьевых. Мальчиком он был взят в услужение Анатолием, а после переезда последнего в Тифлис его пристроили к Кондратьевым. Тогда Петр Ильич буквально сходил по нему с ума, о чем поведал Модесту 23 июля 1884 года: «Вася... но лучше не буду говорить. Я способен сделать безумные поступки, если какой-

нибудь случай не охладит бешеной симпатии. У него голос переменялся и эти петушинные интонации действуют на меня как спичка на порох, а тут еще Ларош, с голодухи должно быть (скорее дразня композитора. — А. Я), все об его прелести говорит с увлечением». И неделей позже: «А моя страсть к В[асе] совсем не проходит, и это очень неприятно, ибо мешает мне быть покойным». Спустя три года, в Майданове, Петр Ильич отметил, что «Вася безобразно подурнел», но продолжал отношения с ним. Композитор писал 13 августа 1887 года: «Милый мой Вася! Спасибо тебе, голубчик, за милое письмо; очень рад был узнать кое-какие подробности про тебя. Не отвечаю тебе подробно, ибо скоро надеюсь увидеть тебя. Вероятно, 25 августа я выеду в Петербург и, конечно, побываю в Петергофе. Обнимаю тебя».

Достоверно неизвестно, состоял ли Легошин в интимной связи со своим хозяином или его знаменитым другом. Принимая во внимание нравы среды и формы отношений между хозяином и слугой, этого исключать нельзя. Во всяком случае, в отношении Кондратьева и Чайковского к умному и привязчивому Легошину ощущается любовное томление. Обретала ли когда-нибудь эта страсть физическое выражение? С точки зрения социальной, разница как в статусе, так и поведении между помещиком Кондратьевым и его слугой Легошиным была очевидной. Отдельные лица, например Чайковский, посвященные в эти отношения, по крайней мере теоретически признавали всеобщее равенство людей перед Богом, независимо от их социального положения. Но традиции, закрепленные психологически, чрезвычайно живучи, и столетия крепостного права не могли так просто исчезнуть из сознания людей в течение всего нескольких десятилетий после его отмены. Это особенно немаловажно в отношении социально низких слоев населения, лишенных преимущества просвещенного мышления, характерного для аристократии и разночинцев. Как ни парадоксально это звучит, угнетенным бывает значительно труднее прийти к убеждению о всеобщем человеческом равенстве, чем угнетателям (не забудем, что эгалитарные идеи в истории почти всегда порождались интеллектуальной элитой). В применении к нашей теме это означает, что для бедных и необразованных людей, как до отмены крепостного права, так и после, богатые, знатные и просто интеллигентные люди всегда оставались «барами» в традиционном и позитивном значении этого слова, требующими беспрекословного благоговения и, более того, повиновения своим желаниям и капризам. Эта ситуация не могла не привести к злоупотреблениям, в частности по линии эротической, со стороны помещиков над слугами. Иначе говоря, имела

место так называемая «сексэксплуатация», что не могло не отразиться и на гомосексуальной сфере. Несмотря на определенные совпадения на сей счет с ситуацией, сложившейся в Западной Европе, в России того периода подобные отношения имели свою особенность, о чем свидетельствуют многие современники.

Один из первых исследователей этого феномена петербургский врач Владислав Мержеевский, рассуждая о российских гомосексуалах, отмечает, что «активные педерасты весьма нередко у нас, в Европе, принадлежат к образованному и даже высшему классу общества; зато лица, на которых они удовлетворяют свою страсть, обыкновенно вербуются ими из самых низших слоев народа». Юрист Вениамин Тарновский развивает эту тему: «Вообще русский простолудин, по отзывам всех известных мне педерастов, относится крайне снисходительно к порочным предложениям, “барским шалостям”, как он их называет. Отказывая или соглашаясь, он одинаково не считает предложения для себя оскорбительным, и по собственному побуждению не станет жаловаться, преследовать, а тем менее обращаться к правосудию».

Даже много лет спустя после отмены крепостной зависимости мало что изменилось в отношении низших слоев к господским прихотям. Никто не жаловался. Большой разницы не было, желал ли господин женщину или мужчину. Василий Розанов в свое время писал: «Мне один извозчик сказал о своей деревне (Новгородской губернии)... будто деревенские девушки или женщины легко отдаются за рубля три... “У нас на деревне всякая за три рубля (отдастся). Да хоть мою жену захочет кто взять”».

Московский купец П. В. Медведев описал в своих дневниках гомосексуальные контакты с извозчиками, которые за 30–50 копеек соглашались оказать подгулявшему пассажиру «услуги» по взаимной мастурбации. Так, в октябре 1861 года Медведев, «возвращаясь домой из театра (через трактир), “до пяти раз” вступал [с ними] в интимные связи». Причем «некоторые извозчики откликались на нестандартные предложения купца-бисексуала и без материального стимулирования».

Извозчик по имени Иван был единственным человеком, о котором на основании дневниковых записей Чайковского можно говорить, что он в течение нескольких месяцев состоял с ним в любовных отношениях. 18 сентября 1886 года композитор писал Модесту: «Еще кое-что про это московское пребывание можно бы сказать, да лучше при свидании. Одним словом, на старости лет я довольно сильно попался в сети амура»; Обрывочность и закодированность дневниковых записей не всегда позволяют судить о деталях. Относительно каких-то событий можно только

догадываться, но в основных чертах ход их достаточно ясен.

Первое упоминание обнаруживаем в записи от 12 января 1886 года: «Извозчик, знающий Ивана». Следующее — только летом: «29 июля. С Иваном поехал за покупками. <...> Иван едва довез до Ланина и объявил, что болен и не может ехать дальше. Бедный мой Ваня». «12 августа. Все эти дни [в Москве] катался в коляске с Иваном». «28 августа. Я с Ваней к Юргенсону за покупками». 2 сентября важная запись: «Неожиданно Иван. Рад. Парк. Большая прогулка в лесу. <...> Влюблен в В[анюш]у. Колебание. Добродетель торжествует». «14 сентября. Мой Ваня. Всевозможные заходы в кабаки. До безобразия». И на следующий день смятение чувств: «Недоразумение с Ваней. Нахожу его у подъезда при возвращении. Очень приятная и счастливая минута жизни. Зато бессонная ночь, а уж что за мучение и тоску я испытывал в утро... то этого я выразить не в силах». «16 сентября. Ощущение тоски. Поиски Вани около гостиницы. <...> Поехал за Триумф[альные] ворота и прошелся. Убыль в любовных чувствах. Загадочное явление, ибо, казалось бы, наоборот». «4 октября. В окно Ваня. С Ваней за Юргенс[оном]». «5 октября. С Ваней домой... Ваня получил вчера и сегодня по беленькой». «20 ноября. К Юргенсону. Ваня». «28 ноября. Дорогой разговоры с Ваней. Прилив. Разговоры с Ваней. Он как-то особенно сегодня разговорчив». «1 декабря. Ваня». «2 декабря. Ванюша. Руки» (как известно, Чайковский имел пристрастие к красивым рукам). 9 декабря еще раз: «Ваня. Рука», и на следующий день: «Ваня. Руки». «11 декабря. Пьяный Ванька». «12 декабря. Вчера Ваня вызвал гнев. Сегодня растаял». «18 декабря. Иван извозчик и 15 р.». «16 января 1887 года. Дома. Ваня... Я их [Лароша и Губерта] отправил на Ване домой». «22 января. Ваня». И через два месяца перерыва: «21 марта. Охлаждение к Ване. Желание от него отделаться». Последнее упоминание о любовнике-кучере в доброй интонации — через полгода: «24 сентября. Встретил Ваньку-извозчика. Рад».

Выше уже приводились некоторые характеристики круга людей, которых можно отнести к гомосексуальной субкультуре, в том числе специфические черты поведения соответственно ориентированных представителей социальных низов. Впрочем, «низы» здесь — понятие относительное, скорее, речь может идти о деклассированных элементах разного происхождения. Вот как Михневич в книге «Язвы Петербурга» описывает молодую публику, вышедшую в основном из среднего класса: «Быть может, это была только шалость — весьма, впрочем, характерная, — извиняемая легкомыслием юности; но вот перед нами целый, правильно организованный кружок юных “шалунов”, образ действий которых трудно

поддается какому бы то ни было оправданию. Все они — почти мальчики, едва вышедшие из отроческого возраста. Самому старшему из них — 20 лет. Их обвиняли в том, что они систематически, компанией, занимались, по выражению одного из них, “прибыльным ремеслом”, заключающемся в педерастии, которую они к тому же нередко эксплуатировали и для наглого шантажа в тех случаях когда попавшую в западню жертву можно было запугать угрозой скандального обличения и, на этом основании, сорвать с нее деньги. После каждой удачной ловитвы, честно потрудившиеся молодые люди нанимали лихачей и беззаботно катили в аристократические рестораны Дюссо и Бореля, где заканчивали свои похождения веселым, роскошным ужином с шампанским. Конечно, и остальные свои досуги и заработки они утилизировали на забавы и наслаждения, не менее “шикарные” и комфортабельные... Кто ж эти сибариты, с такими аристократическими вкусами? Один из них — сын унтер-офицера, другой — мещанин, третий — сын коллежского регистратора, остальные два — рижские граждане”. На суде обнаружилось, что все они не получили никакого образования, не имели никаких занятий и ни гроша за душой и были, так сказать, питомцами петербургской улицы, представителями подонков общества».

В. Мержеевский в книге «Судебная гинекология» описывает организованный педерастический разврат в номерных банях, бывших, наряду с ресторанами, опорными точками гомосексуальной жизни в обеих столицах.

Петр Ильич был не чужд банным «радостям». Читаем в письме Модесту из Москвы от 8 декабря 1880 года: «Помнишь банщика, что мыл нас (тебя, Колю, Анатолия и меня) в Чельшевских банях? Анатолий писал мне в Каменку, что он видел его в других банях и был даже предметом приставаний со стороны банщика. Вследствие этого я всю дорогу думал о нем. Так как Анатолий ожидал меня не вчера, а сегодня, но я не мог провести вечер с ним и по этому случаю отправился в баню. Увы, меня мыл другой. Но, уходя, я его увидел и был приглашен приехать в тот же вечер, что я и сделал. Провел часа три в бане а la Володя Шиловский, т. е. пил, пел, угощал весь персонал, начиная с приказчика и, наконец, остался с Васей наедине. Что это за прелесть! Ничего, ничего, молчанье...»

Бани изредка фигурируют и в дневниках: «Баня. Моховая» (28 февраля 1887 года). И запись от 16 мая 1887 года во время его пребывания в Петербурге: «Знаменские [бани]. Тимофей». Банщик Тимофей упоминается еще в двух записях 1886 года, первая от 16 июня: «У Тимоши. Как-то невесело было. Не то уж». И вторая от 18 июля: «...письма, коих Алеша не



должен знать (к Тим[офею])». Сколь ни ничтожны эти сведения, они проливают дополнительный свет на теневые стороны жизни композитора.

Друг и августейший покровитель его великий князь Константин Константинович тоже не был равнодушен к прелестям молодых банщиков. Будучи человеком нравственным, женатым, отцом девяти детей, он всю жизнь пытался бороться с гомосексуальными желаниями, но не преуспел в этом, оставив соответствующие признания в своих дневниках, лишь недавно ставших доступными исследователям: «Мой тайный порок совершенно овладел мною»; «на душе опять не хорошо, снова преследуют меня грешные помыслы, воспоминания и желания. Мечтаю сходить в бани на Мойке или велеть затопить баню дома, представляю себе знакомых банщиков — Алексея Фролова и, особенно, Сергея Сыроежкина. Вождения мои всегда относились к простым мужикам, вне их круга я не искал и не находил участников греха. Когда заговорит страсть, умолкают доводы совести, добродетели, благоразумия»; «На Морской, не доезжая до угла Невского, отпустил кучера и отправился пешком к Полицейскому мосту и, перейдя его, свернул налево по Мойке. Два раза прошел мимо дверей в номерные бани взад и вперед; на третий — вошел. И вот я опять грешен в том же».

Как в Петербурге, так и в Москве были места встреч, где собирались приверженцы однополрой любви. В Северной столице таким местом стал Зоологический сад на Петербургской стороне, куда, особенно в субботу и воскресенье, стекались свободные от занятий юнкера, кадеты, солдаты, кавалергарды, казаки, полковые певчие, гимназисты и мальчишки-подмастерья. Выбрав себе партнера по вкусу, практикующие гомосексуалы («тетки») отправлялись в ближайшую номерную баню или на квартиру. Кроме этого сада, они прогуливались, в поисках желающих разделить с ними «удовольствие», по Конно-Гвардейскому бульвару, Александровскому саду, Невскому проспекту, где особенно популярными местами для встреч были Пассаж, ватерклозет на Знаменской площади, писсуары у Аничкова моста, Публичной библиотеки и Михайловского сквера. Зимой они предпочитали встречаться в Михайловском и Малом театрах, иногда в Мариинском, особенно на балетных представлениях, в цирке и в определенных ресторанах, считающихся «как бы клубом теток». «Здесь они пользуются большим почетом, как выгодные гости, и имеют даже к постоянным услугам одного лакея, который доставляет в отдельные кабинеты подгулявшим теткам молодых солдат и мальчиков», — читаем в книге В. В. Берсенева и А. П. Маркова «Полиция и геи. Эпизод из эпохи Александра III». Таковую репутацию в Петербурге конца 1880-х годов имел

ресторан Палкина на Невском проспекте.

Встретившись в июне 1883 года в Москве с Владимиром Шиловским, Чайковский пообедал с ним в компании князя Голицына и Кондратьева в ресторане «Саратов», где бывший ученик заставил уставшего Петра Ильича слушать свои композиции на ресторанном органе, чем вызвал неудовольствие как его самого, так и оставленного без внимания Кондратьева, который их быстро покинул. После обеда, сообщается в письме Модесту, «силой он потащил меня на Стр[астной] бульвар, и тут я совершенно забыл свою тайную злобу, ибо он познакомил меня с одной личностью, необычайно подходящей к моим вкусам, так что я был очарован. Поехали все вместе (Шил[овский], Голицын, я, личность, которая мне по вкусу, другая, которая по вкусу Шил[овского]) в номера, и я три раза жуировал (имел оргазм. — **фр.**), чего со мной, кажется, сроду не бывало. За сим ужин в “Саратове”. <...> Володя Шиловский произвел на меня тяжкое впечатление», но с ним «было очень весело в номерах в “Саратове”».

Из писем и дневников Чайковского явствует, что в Москве, кроме «Саратова», было еще несколько подобных заведений, где в отдельных кабинетах происходили гомосексуальные контакты — «Эрмитаж», «Большой Московский» и в особенности «Брюс». Нет сомнения, что, поселившись в Майданове, композитор бывал в Москве не только по профессиональным делам, но и встречался с молодыми людьми, предлагавшими сексуальные услуги. В ноябре 1885 года он признался Модесту, что в последнее время «очень много занимался любовью. Теперь по этой части Москва стала для меня гораздо обильнее и лучше Петербурга».

Словно характеризуя одной фразой природу его симпатий к юношам из народа, начиная с Алеши Софронова, и сознательно затушевывая гомоэротический аспект, Нина Берберова пишет: «Как любовь его к Бобу посторонние люди принимали за любовь к детям вообще, так и его любовь к Алеше (иная, будничная, но тоже сладостная) могла быть принята за любовь к простому народу. На самом деле он любил не народ, а то простое, здоровое и веселое, что было в таких молодцах, как московский извозчик Ваня, банщик Тимоша, слуга Кондратьева Легошин... и что в Алеше соединилось с бесконечной преданностью».

В этом, безусловно, есть доля истины, но помимо психологической стороны вопроса была еще и социальная: по личным склонностям и, вероятно, в соответствии со стилем эпохи Петр Ильич определенно сопротивлялся плотским контактам с теми людьми своего круга, которые имели сходные с его собственными представления о приличиях и

дозволенном. Но так же, как и великий князь Константин Константинович, он гораздо охотнее давал себе волю в связях с представителями низшего класса, чьи красивые тела, а отнюдь не только присущее им нечто «веселое и здоровое», были причиной «эротического демократизма» и источником любовных наслаждений.

Мемуаристы сообщают о своеобразных отношениях, установившихся между Чайковским и окрестными крестьянскими детьми, после того как он стал жить в Подмосковье. Дети без конца требовали от композитора подачек и подарков. Вот что сообщает Модест Ильич: «В первые годы майдановского пребывания Петр Ильич сам себе сумел отравить прелесть прогулок. Как всякий добродушный “дачник” он давал “на чай” детям и, как не всякий, — с большой щедростью. Сначала это забавляло его, но вскоре обратилось в настоящее бедствие. Дети ждали его прохода по селу, а потом, заметив, что он стал избегать их, в других местах следить за его прогулками и появляться в таких уголках леса, где он никого не ожидал. Мало-помалу от детей удовольствие получать двугривенные и пятиалтынные сообщилось подросткам, бабам, мужикам, и Петр Ильич не мог сделать ни шагу, чтобы не встретить попрошайек. Начали устраиваться настоящие облавы, травли щедрого барина. Он изощрялся в придумывании способов избежать преследователей, а они — в способах поймать его и разрушить его хитроумнейшие комбинации. Все удовольствие прогулки было испорчено, и на некоторое время Петр Ильич должен был ограничиться майдановским парком для своего обязательного двухчасового моциона».

Дневниковые записи подтверждают эту картину, но Модест Ильич слухавил в одном: определенный интерес его брата вызывали мальчишки и, главным образом, подростки. В наибольшем фаворе был у композитора некий Егорка Табачок, о котором он упоминал даже в письмах, например, тому же Модесту четыремя годами позже: «Сегодня из-за кустов уже появляется таинственный Табачок 3-й, очень выросший и похорошевший». Возникают, впрочем, и другие имена. Для него эта ситуация вначале представлялась комбинацией игры, забавы и притягательности, но со временем стала раздражать. Вот несколько примеров из дневника: «После обеда ходил через Праслово (стороной, боясь мальчишек) нареку» (8 февраля); «Саша просвирник» (9 февраля); «приставание попрошайек всех возрастов и полов... Осип и Саша» (13 февраля); «возвратившись (злился на приставанье мальчиков), обедали» (26 февраля). Затем летом, по возвращении из поездки: «Осип и Гаврила» (30 июня); «встреча с мальчишками... и их новая пристань» (19 июля); «Саша, дьяконский сын (как

мы помним, фигурировавший во сне вместе с голым Назаром. — А. Я), и его стратегические приемы для получения мзды» (30 июля).

Седьмого августа появляется Егорка Табачок, которого он тотчас начинает развращать подачками. Теперь он с удовольствием ходит через Праслово, которое раньше из-за приставаний избегал: «После обеда ходил в город через Праслово, надеясь видеть интересующую меня личность» (8 августа). Интересующую личность — то есть юного Табачка — он увидел на следующий день: «Видел Егорушку, просил и получил вдвойне» (9 августа); «после обеда ходил в лесок и вернулся через Праслово. Егорку не видел, а старался видеть» (16 августа); «ходил (все что-то к Праслову меня тянет) через эту деревню в Клин, оттуда по дороге к кирпичному заводу, а вернулся все-таки через Праслово. Видел пускание змея Егоркой Табачком. Разговоры с ним и с другими мальчишками и девчонками. Эти дети, хотя все уроды, до того симпатично-очаровательны в их проявлениях чисто великорусского духа, что я не мог не умиляться» (23 августа).

Мы не случайно остановились на этом забавном «флирте» между знаменитым композитором и деревенскими мальчишками, порожденном его сентиментальным пристрастием к детям, инфантильностью его характера, жалостью к обездоленным, свойственной эпохе вообще, а со стороны мальчишек — любопытством, тягой к барам, но, самое главное, невинной эксплуатацией его доброты. Но при этом здесь проглядывают и черты эротического архетипа, воплощенного Томасом Манном в истории Тадзио и Густава фон Ашенбаха. Однако ни в коей мере из этого не следует, что Чайковский был педофилом в современном понимании этого слова, то есть испытывал вожделение к детям, не достигшим половой зрелости. Его привлекала их естественная грация, андрогинность, присущая возрасту и воспетая Томасом Манном в «Смерти в Венеции», а не желание сексуального обладания. Эротизм в этих случаях носил эстетически-умозрительный характер, именно в том смысле, в каком трактовал эротическое влечение к красоте Платон. Гетеросексуальной параллелью в этом смысле может послужить Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес» — оксфордский профессор-математик, отличавшийся безупречной нравственностью и в то же время страстью к фотографированию обнаженных девочек двенадцати — четырнадцати лет. Сходным образом, нет решительно никаких свидетельств о хоть сколько-нибудь предосудительном поведении Петра Ильича по отношению к малолетним детям.

Восемнадцатого октября он приехал в Петербург на премьеру оперы Направника «Гарольд», постановку которой, после нескольких репетиций,

отменили из-за болезни ведущей певицы. Остановился он на квартире Конради и Модеста на Фонтанке. Как всегда, часто встречается с Кондратьевым (уже серьезно больным), Апухтиным (постоянно грустным и не в настроении) и князем Мещерским. К этому времени влияние Мещерского на Александра III заметно усилилось, хотя император и журналист предпочитали не столько встречаться, сколько переписываться. Переписка эта была очень интенсивной: Мещерский начал вести еженедельный политический дневник происходящих событий со своими оценками и регулярно высылал его на прочтение государю. Кроме близких друзей, композитор то и дело сталкивался на улице со множеством консерваторских, светских Знакомых. Нужно было наносить визиты. Он дважды виделся с К. Р., навестил старшего брата Николая и маленького Жоржа и почти каждый вечер играл в винт у Кондратьевых.

Пятого ноября состоялся концерт Петербургского общества камерной музыки, полностью посвященный Чайковскому. Исполняли его «Трио памяти великого художника», Второй квартет, «Меланхолическую серенаду» и несколько романсов. Об этом событии он не без удовольствия сообщил Надежде Филаретовне: «Я, однако ж, не могу не замечать, как много выиграл я или, лучше сказать, моя музыка, в русском общественном мнении за последние годы. Отовсюду, на каждом шагу я встречал в Петербурге так много изъявлений сочувствия и любви, что нередко умилялся до слез. Высшим проявлением симпатий ко мне было устроенное в мою честь в Квартетном обществе торжество. Вечер состоял из двух больших сочинений (квартета и трио) и мелких вещей. Энтузиазм был искренний, и я вышел оттуда подавленный чувством умиления и благодарности. Даже дня два после того был совершенно болен от испытанных волнений».

На следующий день после приезда брата Модест пригласил двух племянников — Володю и Митю — из Училища правоведения на обед. Боб стремительно менялся и хорошел, о чем Чайковский написал жене Анатолия 10 ноября: «Боб до того изумительно быстро вырос, что ты бы удивилась, увидев его. Он уже выше Модеста и одного роста со мной, а ему всего 15 лет. Что же это будет!» Сохранились дневниковые записи, короткие, но очень выразительные, говорящие о растущем интересе композитора к племяннику. «18 октября. У нас обедали Боб, Митя, Анна Мерклинг»; «21 октября. Утром... Обед... Ужин... Все это с Бобом»; «22 октября. Снимал с Боба фотографию». «25 октября. Обед с Бобом у Бутаковой»; «26 октября. Боб»; «27 октября. Боб (моя радость!) нездоров и остался на весь день дома. <...> Боб»; «28 октября. После домашнего

завтрака (Боб опять остался дома) гулял»; «29 октября. Ходил за Бобиным портретом»; «30 октября. Хотел к Бобу, но не мог, ибо не здоровилось. Появление Тани и Боба. Они обедали»; «1 ноября. Сердился, что Боб не пришел к Литке, и ревновал его»; «2 ноября. Завтрак дома с Колей и Бобом. Я скрываю, что ревную Боба к Тане, и сержусь на него»; «7 ноября. С Модей к Бобу... В училище»; «8 ноября. Опоздали Таня и мальчик. Моя злость и сцены. Обед. Когда все ушли, я долго болтал с Бобом. Проводил его до Литейной. Странное чувство у меня, когда я с Бобом. Я чувствую, что он меня не только не любит, но просто питает ко мне нечто вроде антипатии. Ошибаюсь я или нет?»; «9 ноября. Боб фыл; уходя, простился и сказал, что не придет меня провожать. Бог с ним! <...> Бобик... <...> бездушный, но ласковый».

Девятого ноября в двойственном настроении из-за безответственности со стороны предмета своих нежных чувств Чайковский уехал из столицы и в Майданове попытался вернуться к опере «Чародейка», но в течение недели чувствовал себя больным. Вернулись проблемы со здоровьем, начавшиеся еще до отъезда в Петербург. Мнительный от природы, композитор еще 13 октября записал в дневнике: «При малейшем напряжении показывается гвоздь в голове. Желудок отказывается служить. А умирать ох как не хочется». Промучившись еще несколько дней, он стал лечиться касторкой, приведшей к некоторому улучшению, весь следующий день, 14 ноября, посвятил письмам — написал сразу восемнадцать из необходимых двадцати, стремясь ответить всем корреспондентам. Вскоре болезнь снова дала себя знать — «поносом и невыносимой, бешеной головной болью», по непонятным причинам внезапно прошедшими незадолго до отъезда в Москву, где он должен был присутствовать 19 ноября на репетиции оперы «Черевички». Премьера была назначена на середину января, причем с автором в качестве дирижера. В Москве Чайковский пробыл до конца декабря, встречаясь с коллегами, посещая репетиции и беря уроки дирижирования у Ипполита Альтани. В этот раз он остановился в Большой Московской гостинице. Симптомы болезни исчезли. 25 декабря композитор вернулся в Майданово, где продолжал успешно работать над «Чародейкой», но болезненные приступы периодически возвращались.

Встречать Новый год в Майданово приехали Модест и Ларош. «Последний, как Вам неизвестно, — писал Чайковский фон Мекк 5 января, — страдает болезнью Обломова. Он обленился и опустил до того, что принужден был оставить консерваторию, а статьи пишет, только если его заставляют, т. е. не дают ему спать, а он спать может безостановочно

целыми сутками. Каждый день я посвящал полтора часа на то, что заставлял его диктовать статью о “Каменном госте” Даргомыжского, и в результате вышла очень хорошая статья, которую Вы прочтете в следующем номере “Русского вестника”. Модест тоже приводил в порядок свою комедию, так что мы все трое работали и сходились только к вечеру все вместе и занимались музыкой и чтением. Я сохраню об этом деревенском отдыхе самое приятное воспоминание. Послезавтра, седьмого числа, мы все едем в Москву».

Там Петра Ильича нашел его бывший стипендиат Самуил Литвинов, очень нуждавшийся в деньгах, и попросил помочь ему купить хорошую скрипку. Вот как описана эта встреча в письме «лучшему другу»: «Дорогая моя! В Москве приходил ко мне скрипач Литвинов и обратился с просьбой, которую мне совестно передавать Вам, но, Вы простите меня, не передать ее я тоже не могу. Он желает купить скрипку; денег у него нет, и он почему-то питает слабую надежду, что Вы, если я Вас о том попрошу, поможете ему скрипку купить или же подарите одну из превосходных скрипок, которые у Вас есть. Я отвечал, что попросить — попрошу, но не обнадежил его, что просьба будет исполнена. Скрипач он очень талантливый; только оттого я и не мог ему отказать в посредничестве. Но, ради бога, не стесняйтесь несколько моим посредничеством. Я ведь отлично знаю, что нет возможности удовлетворять все бесчисленные просьбы, Вам приносимые».

Ответ фон Мекк оказался жестким, несмотря на ее попытки его смягчить, и продемонстрировал, что и эта столь свободомыслящая женщина, как, впрочем, и ее корреспондент, отнюдь не была лишена предрассудков: «По поводу просьбы г-на Литвинова о том, чтобы я подарила ему скрипку, мне очень, очень жаль, дорогой мой, что я не могу исполнить ее, и жаль потому, что эта просьба передана через Вас. Но простите, милый, хороший друг мой, исполнить не могу, потому что это было бы совершенно против моих принципов и навлекло бы мне очень много неприятных последствий. Не знаю, как бы объяснить Вам это, но попытаюсь. В деле подарков я никак не могу предоставить инициативу их тем, которым они делаются, потому что иначе у меня не хватило бы предметов для подарков, так как человечество слабо и очень многим хочется получать их; следовательно, как побуждение, так и исполнение в деле подарков я предоставляю только себе. Сама же я руководствуюсь очень простым и логичным чувством, чувством, так сказать, благодарности за художественное наслаждение, которое мне доставят. Я раздала несколько скрипок, виолончель, арфу (которую специально выписала из

Лондона), но это все тем людям, которых я слушала и знала, г-на же Литвинова я никогда не слышала и совершенно не знаю. Я удивляюсь только тому, зачем он беспокоил Вас своею просьбою, тогда как он очень хорошо знаком в доме у моего брата Александра, и уже если хотел, то мог обратиться через него. Простите, дорогой мой, но это жидовский расчет, потому что ведь он жид. Но не стоит об этом говорить так много. Пожалуйста, милый, дорогой, только не сердитесь на меня».

Девятнадцатого января 1887 года в Москве Чайковский дирижировал на премьере собственной оперы «Черевички» в Большом театре. Это был его первый опыт работы с оркестром, прошедший несмотря на страх и неуверенность в себе вполне гладко. 5 марта под его управлением с успехом состоялся благотворительный концерт Филармонического общества в Петербурге. 10 марта он сообщил фон Мекк: «Наслаждение этого рода до последнего времени было мне неизвестно; оно так сильно и так необычайно, что выразить его словами невозможно. И если мне стоили громадной, тяжелой борьбы с самим собой мои попытки дирижирования, если они отняли от меня несколько лет жизни, то я о том не сожалею. Я испытал минуты безусловного счастья и блаженства».

Сразу после концерта в Москве композитор получил известие из Петербурга о неожиданной смерти Тани. И хотя он часто думал, что для несчастной девушки, замученной своей пагубной страстью к наркотику, лучший и желанный исход — смерть, он был, тем не менее, глубоко потрясен. Как выяснилось, Таня была в Дворянском собрании на маскараде и, видимо, ее сердце не выдержало слишком большой дозы морфина, она умерла мгновенно. На следующий день он записал в дневнике: «Какое-то странное состояние. Танина смерть, как нечто трагическое, ворвавшееся в мою жизнь, преследовала меня».

На это горестное известие Надежда Филаретовна ответила в своем неподражаемом стиле: «Милый, дорогой друг мой! Как ужасно поражена я несчастьем, постигшим Александру Ильиничну. Бедная, бедная мать, сама такая слабая, так много страдает, а тут еще такое страшное горе; пошли ей, Господи, сил перенести его. Бедная и Татьяна Львовна. Слишком рано рассчиталась с жизнью, хотя, с другой стороны, ей Бог послал самую лучшую форму смерти, быструю; я всегда говорю, что так умирать могут только праведники, что это награда, которую Бог дает им за безобидную жизнь».

Похороны прошли в Петербурге, но Чайковский туда не поехал, ибо должен был отстоять за дирижерским пультом во время еще двух представлений оперы. Только после этого он смог вернуться в Майданово и



лишь 7 марта, во время очередного визита в столицу, побывал на могиле Тани. Много лет спустя его племянник Юрий вспоминал, что Чайковский вместе с ним еще раз навестил могилу его сестры в Александро-Невской лавре. «Над могилой в мраморной раме висела икона, и я впервые от Петра Ильича узнал, что это копия знаменитой Мурильевской Мадонны».

Смерть дочери была сильным ударом для семейства Давыдовых. Больше всего композитор беспокоился о психологическом состоянии своего любимца, который был сильно привязан к старшей сестре. Боб послал телеграмму дяде в Москву: «О мне не беспокойся переносу горе твердо ждем папу Боб». Петр Ильич написал фон Мекк: «Брат Модест телеграфирует, что племянник Володя, за которого я очень боялся, так как он болезненно впечатлителен и нервен, слава богу, здоров». И позже: «Мой любимец Володя до сих пор еще, однако ж, не оправился от впечатления, которое произвела на него смерть племянницы Тани. Моя горячая любовь к этому чудному мальчику все растет. Трудно высказать, до чего у него чудная, тонкая, богатая симпатичностью натура. Но он до такой степени непохож на других мальчиков его возраста, он так болезненно впечатлителен, что иногда я боюсь за него».

В феврале 1887-го Петр Ильич снова приехал в Петербург и продолжал восторгаться племянником. «25 февраля. Боб (моя радость!)»; «26 февраля. Боб»; «28 февраля. Волнение. Боб. <...> Восхитительная болтовня Боба»; «1 марта. Боб и его извозчик»; «5 марта. Боб»; «7 марта. Боб. <...> Дома. Боб в ванне»; «8 марта. Дома. Боб. С ним пешком до Н. Д. Конд[ратьева]»; «11 марта. У Боба». 1 апреля Боб появляется в Майданове: «Приехал Боб!!! Пили чай вместе. Ходили в Клин по насыпи в Собор. <...> Гулянье с Бобом опять. <...> Невыразимо милая болтовня Боба. <...> С Бобом пересматривание рисунков и разговоры до 11 у<sub>2</sub>»; «2 апреля. С Бобом прогулочка... Навстречу с Бобом... Прогулка к сооружениям Боба и в Праслово. <...> После ужина винт с Бобом»; «3 апреля. После обеда с Кашк[иным] и Бобом в церкви и прогулка в лесок. <...> Играли с Бобом в 4р[уки]!!!»; «4 апреля. Разбудил в 6 Боба. Проводил его на почт[овый] поезд».

Обожаемый племянник часто фигурировал и в письмах Модесту: «Боже мой, как я люблю Боба! И как он мил!»; «не приедешь ли с Бобом и Колей на масленицу?» (все предложение написано заглавными буквами); «Боб уехал сегодня утром. Нельзя и выразить до чего мне было приятно и усладительно его пребывание и до чего я восторгаюсь им. Мы вели себя как дети: строили водопроводы, проводили каналы из тающей воды и

постоянно болтали как сороки. К сожалению, наш tete-a-tete был прерван на второй день его пребывания неожиданным приездом двух гостей, хотя, положим, и не неприятных, Альбрехта и Кашкина. Зато Боб превосходно выучился подражать Альбрехту. Сегодня мне очень грустно без Боба, которого я проводил утром на почтовый поезд»; в тот же день жене Анатолия: «Погода была чудная... <...> и в довершение удовольствия приехал Боб и провел у меня несколько дней. Боб становится все милее и милее».

И опять в Петербурге: «10 мая. Боб и Коля встретили»; «11 мая. Бобушка мой дорогой»; «16 мая. У Николая] Дмитриевича] с Бобом. <...> Провожали Боб, Коля, Модест». Когда в начале сентября Чайковский несколько дней гостит в Петербурге в связи с празднованием 25-летия основания Петербургской консерватории, встреча с Бобом не принесла удовлетворения, так как тот третировал дядю «изумительным равнодушием».

Жизнь в Майданове, несмотря на массу удобств и благоприятных условий для творчества, теряла свою прелесть. 16 марта 1887 года, уставший от работы над корректурой «Чародейки» композитор записал в дневнике: «Нечего скрывать от себя, что в сущности вся поэзия жизни в деревне и в одиночестве почему-то пропала. Я нигде так скверно себя не чувствую как дома. Вечно желудок не в порядке; вечно голова болит; и притом как только не работаю, — тоска, страх за будущее и т. д. Уж полно, так ли что мне следует жить в одиночестве? Когда я в городе, мне кажется блаженством быть здесь, а здесь я не испытываю никаких радостей. Впрочем, сегодня я вообще хандрю». Опять знакомые жалобы, как и во время пребывания за границей.

Между тем Чайковскому предстояло потерять еще одного друга. Кондратьев находился в критическом состоянии. Жизнь его приближалась к фатальному концу. Консилиум врачей обнаружил у него болезнь Брайта (нефрит) в последней стадии. 22 апреля Петр Ильич узнал из письма о смертельном диагнозе: «Боткин признал положение Ник[олая] Дмитриевича] очень плохим, — он неизлечим». Приехав в 10 мая в Петербург, Чайковский сразу после завтрака направился к Кондратьевым. «Страшное впечатление. Он изменился до неузнаваемости». «16 мая. Надежды никакой. <...> Тягостное прощание обошлось лучше, чем я ожидал».

Двадцатого мая Чайковский отбыл к Анатолию в Тифлис. Как и в прошлый раз, его сопровождал верный слуга. В Нижнем Новгороде они сели на пароход, шедший вниз по Волге. Для Петра Ильича, привыкшего

путешествовать в основном на поезде, плавание по реке было новым и необычным приключением. Чувствовал он себя плохо, постоянно болел желудок, он испытывал слабость, но тем не менее старался наслаждаться красотами русского пейзажа. Меньше всего ему нравились соседи по пароходу, и он старался избегать встреч с людьми, которые могли бы его узнать. Особенно его раздражала «музыка двух мало симпатичных барышень, из коих одна мерзко поет (хотя и хороший репертуар), а другая на фортепьяно дудит». Но были и приятные исключения: «Вчера я сдружился с симпатичным кадетиком, очень забавным собеседником. Вечером я так забеседовался с ним, что и не заметил, как Алеша перенес все наши вещи в I класс» (24 мая); «моя дружба с необычайно симпатичным гимназистиком идет все *crescendo*» (26 мая); «Астрахань. Встреча с нашим кадетиком (его зовут Мих[аил] Алексеевич] Шелемятев)» (27 мая). 28 мая по Каспийскому морю Чайковский с Алексеем прибыли в Баку, который понравился композитору своим персидским колоритом. Там они провели около суток и на следующий день сели на тифлисский поезд. Утром их встретили Анатолий с женой и Николай Переслени.

Второго июня пришла грустная весть: «Дома телеграмма от Мод[еста]. Н[иколай Дмитриевич] Кондр[атьев] умирает. Бедный Модя. Моя энигматическая (от *фр.* *enigmatique* — загадочный) бессердечность». Через несколько дней вместе с семьей брата Чайковский отправился в Боржом. По рекомендации осмотревшего его врача он начал пить минеральную воду и принимать ванны, чтобы привести в порядок здоровье, особенно желудок. Петр Ильич оказался в центре внимания местных музыкантов, представителей интеллигенции и просто курортников, которые стали осаждать его почти каждый день, причем настолько, что ему приходилось от них прятаться и уходить окольными путями. Но несмотря на это, светская жизнь продолжалась, с бесконечными визитами, обедами, общением со знакомыми и коллегами и, как обычно, игрой в винт по вечерам.

В Боржоме, тем не менее, он нашел время для сочинения сюиты по произведениям Моцарта. Эту идею он вынашивал еще с 1884 года. Работа ладилась, и после некоторых сомнений он решил назвать ее «Моцартианой».

Восемнадцатого июня композитор написал государю ходатайство о выделении фондов на завершение строительства нового Оперного театра в Тифлисе вместо старого, сгоревшего в 1874 году. Просьба эта возымела эффект, через какое-то время средства были отпущены и театр достроен.

В Тифлис 21 июня прибыли Модест с Колей и добавили суеты и

беспокойств. Любимый слуга Чайковского как всегда был не в ладах с семьей Анатолия и часто хандрил. «Сцена с Алексеем, который на что-то дуется, черт бы его взял», — читаем в одной из дневниковых записей. Тревожные мысли об умирающем Кондратьеве, укоры совести не оставляли Чайковского. Из писем он узнал, что последнего каким-то чудом довели до Аахена: местные воды, как полагали врачи, могли на несколько месяцев продлить его печальное существование. Беспокоил Петра Ильича и тот факт, что больной был оставлен лишь на попечение местных сиделок и камердинера Саши Легошина, который не знал ни одного иностранного языка. Он решил ехать в Аахен. Чтобы не обидеть родственников и иметь причину для отъезда, он тайно посылал телеграмму Кондратьеву, чтобы тот выслал ему другую — с просьбой его навестить.

И 30 июня из Аахена пришло сообщение: «*Supplie venir, votre arrivee peut me ressusciter* (Прошу приехать, Ваш приезд может меня воскресить. — **фр.**)». Несмотря на признание в «энигматической бессердечности», Чайковский отправился к смертному ному ложу старого друга, собираясь провести там больше месяца (здесь невольно вспоминаются его прощальные поездки к Бочечкарову и Котеку).

Запросив от фон Мекк бюджетную сумму на месяц раньше в связи с неожиданно возникшими непредвиденными обстоятельствами, он выехал из Тифлиса 11 июля. Несмотря на привычку иметь рядом слугу, Петр Ильич покинул его не без тоски, что случалось в последнее время не столь часто. Так, он писал Коле Конради 10 июля: «С Алексеем мне ужасно тяжело расставаться, и я отложил отъезд до завтра, чтобы хоть немножко отдалить минуту расставания». Хотя ему было известно, что в Аахене его дожидался другой симпатичный слуга — Легошин, он отметил в дневнике 11 июля: «Мучительная, до горячих слез тоска... грустно с Алешей расставаться». И на следующий день: «Тоска до слез. Отъезд. Жутко было с Алешей расставаться».

Умирающий Кондратьев встретил друга восторженно, изъявив «невероятную радость». «Он плакал и целовал меня бесконечно», — читаем в письме Модесту от 16/28 июля. А спустя несколько дней 20 июля он объяснил фон Мекк: «Сознание исполненного долга дружбы мирит меня со всеми печальными сторонами моего здешнего пребывания». Эти печальные стороны становились все более тяжкими и нестерпимыми, психологическая напряженность нарастала. Записи, сделанные в Аахене, демонстрируют двойственность, присущую его отношениям с Кондратьевым, особенно в сравнении с непрерывными похвалами в адрес Легошина. Он мучительно жалел страдальца, испытывая при этом

отвращение к натуралистическим деталям болезни и лечения (которые не преминул занести в дневник). Он то был способен развлекаться всевозможными пустяками, то приходил в отчаяние; впадал в панический ужас перед идеей смерти и хотел бежать; плакал по поводу состояния больного и в то же время чрезвычайно раздражался из-за его поведения и характера. Его записи раскрывают не только конкретные переживания Чайковского в связи с происходившим, но и оттенки его личности и состояния, способность к беспощадному самоанализу и эмоциональные противоречия, его обуревавшие. Например, характерна запись от 16 августа: «Не могу описать сцен, которые произошли, да я их никогда [и] не забуду. <...> Невообразимое расстройство нервов. <...> Мучительные часы. Странное дело! — Я был весь под давлением ужаса и тоски, но не жалости!!! Быть может оттого, что Н[иколай] Дмитриевич] вызывает страх и малодушие перед смертью и, хотя я и сам, быть может, столь же труслив по отношению к смёрти, но когда он начинает как ребенок или баба выть с отчаяния, мне скорее страшно, чем жалко. А между тем, Боже, как он страдает!!! И от чего я так ожесточен — не понимаю. Нет! Я знаю, что я не зол и не бессердечен. А это мои нервы и эгоизм, который все громче и громче шепчет мне в ухо: “Уезжай, не терзай себя, береги себя!” <...> А об отъезде еще и думать не смею».

В день приезда в Аахен, сетуя на состояние друга, Чайковский, тем не менее, записал в дневнике: «Когда он ушел спать, пошли ужинать и болтать с Сашей. Вернулись в 1-м часу. Симпатичная комната» (15 июля 1887 года). На следующий день он сообщает Модесту: «Мы пошли с Сашей ужинать, причем милый Саша выражал мне самым трогательным образом свою радость и благодарность за то, что я приехал. Видно было, что ему было страшно и жутко одному и что мой приезд принес ему большое облегчение от его забот и страхов». Конечно, виделись они ежедневно, и установился своего рода обычай их встреч по вечерам. 29 июля он пишет о Кондратьеве: «Особенная нежность к Саше». И 1 августа: «Я с Сашей в кафе. Шведский пунш. Саша какой-то странный».

После краткой поездки Чайковского в Париж возобновляется тот же образ жизни: «7 августа. Шведский пунш дома с Сашей. Неловко»; «11 августа Легошин заболел желудком»; «17 августа. Саша приходил. Саша беспокоит меня. Он смертельно печален; видно, что он ужасно страдает. Ну как он заболеет, — это самая ужасная трагедия будет!!!» 22 августа разболелся сам композитор: «Саша навещал много раз». В письмах брату он продолжал петь панегирики Легошину: «Я все более ценю Сашу. Я бы желал, чтобы между господами мне указали на более чистую, безупречную,

светлую личность»; «сейчас мы долго беседовали с Сашей. Он бедный ужасно печален, ужасно утомлен. Ах, какая это чудная личность! Чем больше его знаю, тем больше удивляюсь ему!»

В Аахене, несмотря на мрачность обстановки, композитор продолжал работать над сюитой «Моцартиана» и до отъезда успел ее закончить. 23 августа приехал племянник Кондратьева Дмитрий Засядко, вызванный незадолго до этого телеграммой. В тот день Петр Ильич записал в дневнике: «Все время сегодня я как в кошмаре. Неистовый эгоизм терзал меня. Одна мысль: уехать!!! Терпению больше нет границ. <...> Господи! Неужели наступит время, что я больше не буду мучиться! Бедный Н[иколай] Дмитриевич! Бедный Митя! Что ему предстоит». 25 августа в день отъезда: «Прощание без особенных слез. Митя провожал, Я болен и пьян».

Чайковский возвратился в Петербург 28 августа и на следующий день посетил Петергоф, чтобы утешить жену Кондратьева и повидать Васю Филатова. 30 августа он был уже в Майданове. Воспоминания последних недель долго не отпускали его, но в дневнике он записал: «Клин. Алеша. Дурная погода. А все-таки ужасно приятно было видеть рожу моего Алеши. Дома. Все кажется мне сегодня потускневшим, маленьким, недостаточно обжитым, что ли... В первый раз аппетит за чаем. Ведь я целую неделю или ничего не ем, или с некоторым отвращением. <...> Необычайный наплыв нежности к Алеше. <...> Прогулялся по полю. Погода осенняя, но не без приятности. Дома. Писал дневник за много дней. Гулял. Играл Геневефу Шумана. После ужина опять играл. Написал завещание».

Петру Ильичу больше не суждено было встретиться с Кондратьевым. Через три недели, 22 сентября, он сделал о нем последнюю лаконичную запись: «Известие о смерти Н[иколая] Дмитриевича] Кондр[атьева], случившейся накануне». Кондратьеву было всего 55 лет. Комментируя аахенскую эпопею, Модест Ильич писал: «Отдавая должное возвышенности и трогательности Петра Ильича, надо сказать также, что он не рассчитывал соразмерности предпринятого дела с личностью своих сил. <...> Отвлеченно — никто живее его не сочувствовал ближнему, на деле — никто не мог сделать меньше. <...> И вот, это сознание своей неумелости, горячее сочувствие при полной неспособности хоть как-нибудь облегчить страдание, — ненаходчивость при самых маленьких затруднениях — делало бесполезное пребывание Петра Ильича в Аахене еще более мучительным. Он страдал и за больного и за себя. <...> И в конце концов, сделав “слишком много” для дружбы, сделал “слишком мало” для

больного, сравнительно с той колоссальной затратой сил, которых потребовал его великодушный поступок». Укажем на еще один аспект, вряд ли осознаваемый композитором или его биографами: двойственное отношение к личности самого Кондратьева, которое на глубинном уровне могло соединяться в его переживаниях с теми или иными проявлениями гомосексуальной жизни.

В каком-то отношении аахенский опыт оказался, однако, целительным. 21 сентября, накануне известия о смерти друга, композитор записал: «А что-то в Аахене? Страшно и подумать!» Но в тот же день в другой тетради появились более связные размышления: «Моя религия обозначилась бесконечно яснее; я много думал о Боге, о жизни и смерти во все это время, и особенно в Аахене роковые вопросы: зачем? как? отчего? нередко занимали и тревожно носились передо мной. <...> Но жизнь с ее суетой приносится, и не знаю, успею ли я высказать тот символ веры, который выработался у меня в последнее время».

Петр Ильич 29 сентября вновь приехал в Петербург, где проходили репетиции «Чародейки». 20 октября состоялась премьера оперы, которой дирижировал он сам. Его вечный критик Цезарь Кюи откликнулся на постановку в нескольких изданиях. Например, в «Музыкальном обозрении» он отмечал: «Чайковский преимущественно лирик мягкий, женственный, чаще всего меланхолический, но искренний и симпатичный; <...> в его музыке мало страсти, силы, энергии...<...> драматические сцены — самая слабая сторона “Чародейки”, а так как они занимают значительно более половины оперы, то они именно и делают оперу несостоятельной».

Это сильно задело авторское самолюбие, так что в Москву Петр Ильич прибыл усталым и расстроенным. 13 ноября он жаловался фон Мекк: «Милый, дорогой друг мой! Простите, ради бога, простите, что так редко пишу Вам! Я переживаю очень бурную эпоху своей жизни и нахожусь постоянно в таком возбужденном состоянии, что не имею возможности даже с Вами по душе побеседовать. Продирижировавши четыре раза своей оперой, я приехал пять дней тому назад сюда в состоянии духа очень меланхолическом. Несмотря на овации, сделанные мне на том представлении, опера моя мало нравится публике и, в сущности, успеха не имела. Со стороны же петербургской прессы я встретил такую злобу, такое недоброжелательство, что до сих пор не могу опомниться и объяснить себе — за что и почему. Ни над какой другой оперой я так не трудился и не старался и, между тем, никогда еще я не был предметом такого преследования со стороны прессы». Неприятности и успехи чередовались.

Так, 14 ноября он дирижировал перед восторженной московской публикой концертом из своих произведений, куда впервые была включена сюита «Моцартиана». «Все нумера концерта имели блестящий успех», — писали на следующий день «Русские ведомости».

А семья фон Мекк снова жила в тревоге, на этот раз в связи с Пахульским. В июле Чайковский получил от Надежды Филаретовны письмо, исполненное трагических интонаций: «Милый, дорогой друг мой! Пищу Вам под самым тяжелым впечатлением: вчера совершенно неожиданно явился Владислав Альбертович, и в таком ужасном нервном состоянии, что я не могу без слез смотреть на него. Он все боится, ему все кажется, что против него все что-то замышляют, что его арестуют; равнодушен и безучастен ко всему, тих, молчалив, словом, неузнаваем, и смотреть на него мне надрывает душу. Он оставался во Франции, чтобы пользоваться водами внутрь и ваннами в Lamalou-les-Bains, это на юге Франции, около Montpellier. Взял там двадцать ванн, но брал их каждый день, без отдыха. Воды очень сильные, и это произвело ему такую ужасную *excitation thermale* (возбуждение от горячих минеральных ванн. — *фр.*), как называет это его доктор во Франции, что и привело его в такое состояние, о котором я сказала выше. Как судьба жестока ко мне; она не только отнимает у меня человека, который берег меня и заботился обо мне как родной сын, но еще об нем теперь надо заботиться, и на него смотреть ужасно. Его болезнь вообще давно готовилась, потому что при врожденной нервности судьба еще его толкнула на музыку, а это искусство убийственно для нервов».

Ответ композитора был вполне соболезнующим, но не столько Пахульскому, сколько самой Надежде Филаретовне: «Недавно только получил я письмо Ваше, адресованное в Боржом. Из него я узнал, что бедный Вл[адимир] Альб[ертович] Пахульский болен серьезно. Бедный друг мой! Я отлично понимаю, какую бездну неприятных минут Вы претерпели по этому поводу. Но я надеюсь, что, если только причина его болезни — одни нервы, он в более или менее отдаленном будущем совсем поправится. Пожалуйста, потрудитесь передать ему мое живейшее участие».

Иногда Чайковский понимал, что, ушедший в собственные дела и избалованный привычкой, он, быть может, рискует привязанностью «лучшего друга». «Я стосковался по Вас. Обстоятельства складываются так, что я все последнее время пишу Вам очень редко, общение между нами не так постоянно, и по временам мне кажется, как будто я стал несколько чужд Вам. Между тем никогда я так часто и много не вспоминал



о Вас, как в эти самые последние дни», — писал он 25 ноября 1887 года. Отвечала она 7 декабря с обычной страстностью: «Как могли Вы подумать, дорогой мой, чтобы Вы стали мне более чужды, чем были прежде? Напротив, чем больше уходит времени, чем больше я испытываю разочарований и горя, тем более Вы мне близки и дороги. В Вашей неизменной дружбе и в Вашей неизменно божественной музыке я имею единственное наслаждение и утешение в жизни. Все, что идет от Вас, всегда доставляет мне только счастье и радость».

И действительно, если внимательно прочесть летопись жизни и творчества Чайковского, можно убедиться, что по мере возрастания славы занятость его увеличилась чрезвычайно: зарубежные поездки с напряженным графиком, необходимость частого появления в светском обществе и при дворе. Добавим к этому его решение посвятить себя еще и дирижерской деятельности, которая отнимала оставшееся время. Но написанием писем Надежде Филаретовне он пренебрегал лишь тогда, когда действительно был перегружен или когда знал, что она в очередной раз больна, и не хотел ее тревожить. Переписка продолжалась все с той же взаимной доверительностью. Композитор по рассеянности мог теперь не поздравить ее с днем ангела или Новым годом (она — никогда), но привычные обращения «милый», «дорогой», «бесценный», «несравненный друг» сохранились до самого конца их эпистолярного общения.

Выступив в симфоническом концерте в Петербурге 14 декабря 1887 года с «Моцартианой», Чайковский на следующий день отправился в свою первую заграничную гастрольную поездку. В течение зимних трех месяцев он побывал в Лейпциге, Гамбурге, Берлине, Праге, Париже, Лондоне, давая под собственным управлением концерты из своих произведений, всюду вызывая горячий отклик слушателей, дружеские приветствия музыкантов и разноголосый, но в целом хвалебный хор критических статей и заметок. Не успел он посетить только Вену и Копенгаген, куда его также настоятельно приглашали. Поездка была насыщена разнообразными впечатлениями и встречами.

Новый, 1888 год Чайковский встречал в гостиничном номере в Любеке. На этот раз без любимого слуги — Алексей не изъяснялся ни на одном иностранном языке, что создавало определенные трудности, и сильно тосковал по дому, когда приходилось часто переезжать из одного города в другой.

А 2/14 января 1888 года пришла телеграмма от Ивана Всеволожского, директора Императорских театров, который сообщал, что Александр III пожаловал Чайковскому пожизненную пенсию в три тысячи рублей

серебром. В тот же день Петр Ильич написал фон Мекк: «Меня это не столько еще обрадовало, сколько глубоко тронуло. В самом деле, нельзя не быть бесконечно благодарным царю, который придает значение не только военной и чиновничьей деятельности, но и артистической». Она незамедлительно откликнулась: «От всего сердца поздравляю Вас также, дорогой мой, с монаршею милостью и горячо радуюсь, что Вы имеете такого покровителя и поклонника; пошли Господь и ему здоровья за то, что он умеет ценить и награждать таланты».

Дарование пенсии имело для композитора большое значение. При очевидной разнице обстоятельств это столь же связывало императора с Чайковским, как и денежная дотация «Гражданину», что навсегда скрепило отношения Александра III с князем Мещерским. Подобная денежная поддержка налагала на получателей печать монаршего расположения, что делало невозможным какую бы то ни было дискредитацию облагодетельствованных: любой сопряженный с ними эксцесс отбросил бы тень и на царя. В судьбе Мещерского все это сыграло спасительную роль.

В июле 1887 года с князем случился громкий скандал. Увлеченный красотой трубача лейб-стрелкового батальона, он похвалил его царю и стал хлопотать о зачислении в придворный музыкальный хор. Александр III исполнил просьбу и приказал графу Келлеру, командиру стрелкового батальона, перевести молодого человека в придворное ведомство. Догадываясь об истинных причинах перевода трубача, граф Келлер не только не исполнил царского приказа, но даже застиг Мещерского и его протеже на месте их встречи, после чего обратился к прокурору. Последний не осмелился начать дело, не заручившись разрешением министра юстиции, который, в свою очередь, распорядился хода делу не давать. Тогда Мещерский, веруя в несокрушимость своего влияния на царя, пожаловался ему, что командир батальона не только не исполнил государева приказа, но даже стал преследовать юношу. Граф Келлер был уволен, но у него, как оказалось, имелись большие связи, и отставка наделала много шума в высшем обществе. История с трубачом выплыла наружу и разнеслась по всему Петербургу. Расследовать дело уполномочили обер-прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева, установившего истинную причину протекции, оказанной молодому трубачу. Келлера восстановили в должности, и вскоре он был назначен директором Пажеского корпуса.

Этот скандал имел последствия: родные публично отреклись от Мещерского, Победоносцев предал его анафеме и пытался настроить против него двор. Однако тот отчаянно защищался, и император принял его сторону. Скандал был не только замят без всяких последствий для

виновника, но, более того, именно в этот момент он стал доверенным советником одного из самых добродетельных властителей, когда-либо занимавших российский трон. Двадцатью годами позже министр иностранных дел Николай Гире отмечал, что весьма «поражен идентичностью речей государя с тем, что пишется в газете князя Мещерского “Гражданин”». Наиболее точные сведения о том, что происходит при дворе, читатели также получали из этой газеты. В 1889 году пресловутый князь снова попал в беду, оказавшись замешанным в историю, в которой участвовало почти 200 лиц, в том числе гвардия и актеры Александринского театра. Ходили слухи, что Мещерскому будет предложено покинуть Петербург, но он благополучно выдержал и это испытание.

Несомненно, Чайковский вынес урок из этих событий. В своих любовных связях он стал осторожнее и разборчивее. Хотя по большому счету ему бояться было нечего, так как он искал такого рода партнеров среди низших слоев общества, в то время как Мещерский славился своими пристрастиями к военным, особенно к юнкерам, которые, как правило, были выходцами из высших социальных слоев. При этом, несмотря на общественное мнение, осуждавшее зарвавшегося царедворца, композитор не прекратил с ним встречаться. Он знал, что страсти улягутся и все образуется.

Процессуальные сложности, иногда непреодолимые в установлении факта, состава преступления, послужили для ряда русских юристов конца XIX века одним из существенных аргументов в пользу отмены антигомосексуального законодательства. В. Д. Набоков писал в порядке дискуссии о новом проекте уголовного уложения: «При условии публичного порядка преследования, установление состава преступления здесь представляет громадные затруднения, в особенности — при допущении наказуемости покушения. Какое огромное и богатое поле для шантажа, для безнаказанного вымогательства, если вспомнить, что судебные доказательства в этой области, по самому существу, весьма редко могут иметь характер непреложных фактов! Какой соблазн для врагов, легко могущих злостной сплетней погубить противника». И далее: «Нужно ли еще указывать на неудобства и злобредность необходимого в этой области предоставления широких, почти неограниченных, полномочий в деле возбуждения преследования полиции? На невозможность гласного и неудобство тайного процесса, лишаящего подсудимого возможности в глазах всего общества обелить себя от, быть может, незаслуженного павшего на него подозрения?» В качестве главного аргумента для отмены антигомосексуальной статьи в России Набоков-старший приводил «одно из

наиболее крупных зол: фантастическое неприменение закона, случайный и неправомерный характер репрессии, обрушивающейся на одних, но щадящей других, сильных своим положением, влиянием, связями. Указывать на все это — значит говорить о том, что давно известно всем наблюдателям нашей общественной жизни».

«Позорному пороку предавались многие известные люди Петербурга: актеры, писатели, музыканты, великие князья. Имена их были у всех на устах, многие афишировали свой образ жизни. Скандалы, сопровождавшие открытие за кем-нибудь таких походов, тянулись непрерывно, но до суда грязные дела обычно не доходили», — сообщает заслуживающий доверия автор. Как свидетельствуют разнообразные источники того времени, государь относился к подобным вкусам вполне терпимо, поскольку на вершине «гомосексуальной пирамиды» стоял его родной брат, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. При Александре III, и особенно при Николае II, он был едва ли не главным руководителем внешней и внутренней политики России. Склонность великого князя к мужчинам ни для кого не была секретом, об этом открыто говорили в столичных салонах, рассказывали анекдоты. Всезнающая генеральша Александра Богданович записала в своем дневнике: «Сергей Александрович живет со своим адъютантом Мартыновым, а жене предлагал не раз выбрать мужа из окружающих ее людей. В одной иностранной газете было даже напечатано, что “приехал в Париж le grand duc Serge avec sa maitresse m-r un tel (великий князь Сергей со своей любовницей г-ном таким-то. — *фр.*)”. Вот подумаешь, какие скандалы». Другой современник вспоминает, что Сергей Александрович «более всего славен был своими противоестественными наклонностями, расстроившими его семейную жизнь и сотворившими служебные карьеры окружавших его красивых адъютантов. Были и штатные возлюбленные; один из них и доселе не скрывает своих бывших отношений с великим князем и показывает на своих выхоленных пальцах перстни, заработанные худшим из видов разврата».

Злые языки поговаривали, что великий князь даже основал в Петербурге особый клуб такого рода, просуществовавший до 1891 года, пока он не был назначен генерал-губернатором Москвы. По поводу его назначения в столице ходил анекдот: «Москва стояла до сих пор на семи холмах, а теперь должна стоять на одном бугре». (Игра слов: русское «бугор» созвучно французскому *bougre*, обозначавшему активного гомосексуала.)

Чайковский был лично знаком с Сергеем Александровичем, как и с

другими августейшими особами, включая великих князей и самого императора. Апухтин открыто вел гомосексуальный образ жизни, ничем не смущаясь, ничего не боясь и делая его предметом шуток. Если враги ничем не могли повредить таким повсеместно ненавидимым людям, как Мещерский, то тем более нечего было опасаться таким известным деятелям культуры, как Апухтин, не говоря уже о всеобщем любимце Петре Ильиче.

Соблюдение двух условий делало их позицию неуязвимой: принадлежность к привилегированному классу и сопряженная с ней образцовость политических воззрений (оба отличались своей консервативностью), а также разумность поведения, избегавшего эксцессов, знающего должную меру такта и вкуса. При таком положении вещей известность, связи и влиятельное покровительство предотвращали какой бы то ни было скандал, даже если паче чаяния он мог возникнуть из-за неосторожности, недоразумения или иных обстоятельств.

## **Часть шестая: Слава (1888–1893)**

## Глава двадцать пятая. Творческий подъем

Чайковский стал одним из первых русских композиторов, кому было суждено лично познакомить Запад со своими произведениями. До него это довелось сделать лишь Глинке концертом в Париже да Антону Рубинштейну, которого благодаря его виртуозному фортепианному исполнению приглашали во многие европейские страны. Трехмесячное концертное путешествие по Германии, Чехии, Франции и Англии стало для Петра Ильича одним из благих последствий его решения стать дирижером. Эта поездка окончательно утвердила его славу в Европе. В Лейпциге, считавшемся музыкальной столицей Германии, в знаменитом Гевандхаузе 24 декабря 1887/6 января 1888 года он дирижировал Первой сюитой, а на следующий день в обществе Листа исполнял трио «Памяти великого художника» и Первый квартет. «Это был настоящий большой успех», — писал он фон Мекк. С шумным успехом прошли выступления в Гамбурге и Берлине. Первый концерт **для** фортепьяно, Струнная серенада, увертюры «Ромео и Джульетта» и «1812 год» произвели настоящий фурор среди консервативной немецкой публики.

В Лейпциге Чайковский завязал знакомство с «очаровательно-симпатичным» Эдвардом Григом, ответившим ему взаимной приязнью. Несколькими годами позже их симпатия друг к другу запечатлелась в посвящении Григу увертюры «Гамлет». Кроме того, Чайковский познакомился с Иоганнесом Брамсом. Это был «красный небольшой человек с большим брюхом», «страшный пьяница», но «очень милый и вовсе не такой гордый, как я воображал». В Берлине, спустя много лет, он встретился с Дезире Арто. Они общались как старые друзья.

«Я был невыразимо рад ее видеть, — писал Петр Ильич Модесту 23 января/4 февраля. — Мы немедленно подружались, не касаясь не единым словом прошлого. Муж ее Падилла душил меня в своих объятиях. <...> Старушка столь же очаровательна, сколько и 20 лет тому назад».

Из Германии Чайковский отправился в Прагу, где в течение десяти дней выступил дважды. Первый концерт в чешской столице состоялся в Рудольфинуме 7/19 февраля со следующей программой: «Ромео и Джульетта», Первый концерт для фортепьяно с оркестром в исполнении Александра Зилоти, Концерт для скрипки с оркестром и увертюра «1812 год». Второй был в Оперном театре, где Чайковский дирижировал Струнной серенадой, «1812 годом» и вторым актом из «Лебединого озера».

Это был триумф. Юргенсон, специально прибывший, чтобы поддержать композитора, оказался свидетелем его невиданного восторженного чествования. Пребывание Чайковского в Праге превратилось в большой музыкальный праздник. Его принимали не только как представителя русской музыки, но вообще всей России. Он подружился с Антонином Дворжаком, подарившим ему экземпляр партитуры своей Второй симфонии, и с другими чешскими композиторами и музыкантами, одного из которых, скрипача Карела Галиржа, исполнившего его скрипичный концерт, он назвал гением.

Такого приема композитор не ожидал. Чтобы поделиться с русской музыкальной общественностью всем увиденным и пережитым за время этих гастролей, он по возвращении в Россию написал «Автобиографическое описание путешествия за границу», но, в последний момент, испугавшись саморекламы, не стал его печатать. Мемуары эти были опубликованы лишь после смерти автора.

Как всегда за границей, Чайковский вначале страдал от «невыносимой, смертельной тоски», но в Лейпциге, в семействе скрипача Бродского и у молодого пианиста Зилоти, нашел «такое живое, родственное сочувствие и любовь, что это обстоятельство придало ему много силы и бодрости». Зилоти, его бывший студент по классу гармонии, по окончании Московской консерватории стал учеником Листа.

Во время европейского турне Зилоти не только участвовал в концертах, но и заботился о своем бывшем профессоре, оказывал ему всевозможную помощь. Цитаты из писем Петра Ильича Модесту, Юргенсону, Губертам и другим корреспондентам говорят сами за себя: «Если б не Бродский и Зилоти — умереть. Ночь была ужасна»; «если бы не Бродский с милейшей русской женой и Зилоти, который как нянька за мной ухаживает, я бы бросил все и уехал»; «я как в тумане, единственно что меня поддерживает, это заря освобождения, которая вдали начинает брезжить, и еще Саша Зилоти, который ни на минуту не покидает меня».

Первого января 1888 года Чайковский пишет В. Третьяковой, теще пианиста: «Я всегда очень любил Сашу Зилоти; в последние годы, узнав его ближе, стал любить еще больше, а теперь, после нескольких дней, проведенных в Лейпциге, стал любить еще больше. Теперь узнал я вполне, как много я ему обязан за его энергичную пропаганду моей музыки в Лейпциге и какое благородное, высокое, горячее чувство лежит в основе всей его бесконечной хлопоты из-за меня. К теплой симпатии, которую он всегда внушал мне, прибавилось теперь чувство благодарности. Нужно ли Вам говорить, что я сделаю для блага все, все, все, что только в моей



власти. Увы! Покамест власть эта еще очень ограничена».

За весь этот период только однажды благодарность Чайковского вылилась в нечто большее, и в письме молодому другу появились нотки, похожие на его обращение к Брандукову. В письме от 27 декабря 1887 года из Берлина, подробно описав свой разговор с концертным агентом в Германии Вольфом о будущем Зилоти, композитор пишет: «Беспрестанно вспоминаю тебя и скучаю, что нет около меня милой физиомордии. Обнимаю тебя!!!» И в конце письма: «Еще раз крепко целую тебя». Напрашивается мысль, что поскольку миссия Вольфа успеха не имела, композитор постарался сгладить это впечатление изливанием особой нежности к адресату. Заметим также, что многочисленные упоминания Зилоти в дневниковых записях этого времени не несут в себе решительно никакого скрытого любовно-платонического контекста. Отчасти это объясняется тем, что последний, несмотря на молодость, был женат, и к жене его Чайковский относился с уважением и симпатией.

Совсем иначе складывались у композитора отношения с другим участником концертов, двадцатилетним пианистом Василием Сапельниковым, о котором он сообщил Модесту из Лейпцига 12/24 января 1888 года: «Сапельников произвел в Гамбурге настоящую сенсацию. <...> Он в самом деле большой талант. По душе — это прелестный, добрейший юноша». Ему же 20 января/1 февраля: «Сапельникова я покамест вожу с собой. Здесь я перезнакомил его со многими лицами из музыкального мира, и везде, где он играет, он производит сенсацию. Это огромный талант, я в этом все больше и больше убеждаюсь. Из Берлина он поедет прямо в Петербург и посетит тебя. Я ужасно его полюбил; трудно выдумать более симпатичного, доброго мальчика». И, наконец, 23 января/4 февраля: «Я с ним неразлучен вот уже почти три недели и до того полюбил его, до того он стал мне близок и дорог, что точно будто самый близкий родной. Со времен Котека я еще никогда никого так горячо не любил, как его. Более симпатичной, мягкой, милой, деликатной, благородной личности нельзя себе представить. <...> Я считаю его (да и не я один) будущим гением-пианистом».

В дневниковых записях с 6 по 28 января Сапельников также занимает исключительное место: «Завтракал с Сапельниковым»; «Сапельников, бедняжка, приходил за деньгами. Добрый, славный мальчик!»; «на вокзале. Сапельников и его родственник (нигилист). Я ему дал 50 марок»; «милейший этот Сапельников»; «отъезд. Болтал с Васей. Что за милая личность! <...> С Васей в Cafe Bauer. Я на седьмом небе»; «провода моего милого Васи».

«После отъезда Васи (которого я решительно обожаю)...» — начинает он абзац в очередном письме Модесту 2 февраля из Праги. В этих отношениях, как кажется, эротический элемент более или менее присутствовал и сознавался самим Чайковским. Однако нет ни малейших оснований сомневаться в их целомудренности: эрос приобрел в них сентиментально-эстетический характер, и привязанность была взаимной.

Можно предположить, что молодые люди заботились о Петре Ильиче и льнули к нему, утаивая корысть и резонно ожидая от него могущественной и влиятельной поддержки, на которую тот был неизменно щедр и которая могла заметно ускорить музыкальную карьеру обоих пианистов. Но, с другой стороны, Чайковский всегда легко завоевывал сердца, поэтому не стоит видеть корысть там, где ее, скорее всего, вовсе не было, тем более что сам он, человек болезненно мнительный, ни разу ни заподозрил ее в своих любимцах и имел все причины видеть в них преданных друзей.

Петр Ильич 10/22 февраля выехал из Праги в Париж, где 21 февраля/4 марта и 28 февраля/11 марта дважды дирижировал оркестром Колонна в Шаттле. Французская публика была более сдержанна, но главным достижением этих концертов стало то, что ее предубеждение против музыки русского композитора было преодолено. На концертах присутствовал Ромен Роллан, оставивший в своем дневнике запоминающийся портрет Чайковского-дирижера: «Голова дипломата или русского офицера. Бакенбарды и квадратная бородка. Открытый лоб, костистый, углубленный посередине большой поперечной морщиной; выпуклые надбровные дуги; взгляд пристальный, неподвижно устремленный прямо перед собой и в то же время как бы внутрь себя. Высокий, худощавый. Безупречно корректный, в белых перчатках и галстуке. Когда он дирижирует, его высокая фигура не шелохнется, в то время как правая рука твердо, сухо, резко отбивает такт, иногда (в финале Третьей сюиты) подчеркивает ритм, отталкиваясь тяжело и сильно, с неистовой энергией, благодаря чему трясется правое плечо, а все остальное тело неподвижно. Кланяется автоматически, стремительно, сухо, всем туловищем, три раза подряд».

С 7/19 по 12/24 марта Чайковский находился в Лондоне. 10/22 марта под его управлением прозвучали «Серенада для струнного оркестра» и финал Третьей сюиты. Затем он отправился в Вену, оттуда ненадолго в Таганрог, к брату Ипполиту и, наконец, 26 марта — в Тифлис, где смог отдохнуть и привести в порядок мысли.

В конце марта 1888 года Алеша известил своего хозяина, что снял

небольшую усадьбу недалеко от Клина, в селе Фроловском. В Майданове жилось неплохо, но Петру Ильичу не нравилось огромное количество дачников, приезжавших на лето, — они постоянно отвлекали от работы и мешали его одиноким прогулкам. Спустя месяц он возвратился из Тифлиса в Москву и, пробыв там несколько дней, 24 апреля появился во Фроловском, в своем новом доме, где его уже с нетерпением ждал Алексей.

Домом композитор остался доволен, а особенно садом, из которого можно было попасть прямо в лес. Дачников ожидалось мало — усадьба находилась достаточно далеко от Клина. В этом деревенском уединении Чайковский вступил в новый период своей жизни, наполненный творческими планами и свершениями. Кроме того, его идиллическое видение жизни со слугой вдали от всех, о чем он мечтал, пока тот был в армии, начало обретать конкретные черты. В отсутствие хозяина, но с его полного одобрения, Алексей женился. Подобные поползновения с его стороны были и раньше, даже дата свадьбы назначалась, и более того, барин, по его просьбе, отбыл в Москву, чтобы не мешать праздновать, но в последний момент невеста передумала и дело окончилось ничем. В этот раз, однако, бракосочетание состоялось, и композитор по приезде познакомился с женой Алеши, Феклой, которую нашел «хорошенькой и симпатичной».

Не успев как следует отдохнуть и привыкнуть к новому дому, Чайковский 28 апреля выехал в Петербург, чтобы предстать перед императором и поблагодарить его за пенсию. Александр III был к нему как и прежде очень милостив и внимателен, но на этот раз торопился и побеседовать с ним подробно не смог. Тогда же Петру Ильичу была выдана положенная пенсия за четыре месяца. Он встретился в столице с сестрой Александрой, которую не видел уже два года, и был потрясен тем, как она постарела, поседела и болела на протяжении всего его визита. «Кроме горести, свидание это ничего не принесло, — писал он 9 мая Юлии Шпажинской. — У этой женщины были, да и теперь еще есть, все условия для счастья, а между тем ничего ужаснее ее жизни представить себе нельзя. Во 1-х, у нее мучительная болезнь печени (камни), от коей она так страдает по временам, что в течение многих дней не перестает кричать от боли. Во 2-х, она отчаянная морфинистка, и чем дальше, тем больше предается она этому своеобразному, ужасному виду пьянства... Ох этот морфин!!! Знаете ли, говорил ли я Вам когда-нибудь про старшую дочь моей сестры, красавицу, умницу, погибшую от морфина, к которому по несчастию приучила ее мать». От племянницы Веры, уехавшей в Париж лечиться от чахотки, также приходили самые неутешительные известия — она умирала.

И любимый Боб не радовал Петра Ильича: он обладал какой-то болезненной, ненормальной тучностью. Один Модест в ожидании лета был в хорошем настроении. Старший брат рассказал ему о своем новом тифлисском друге — четырнадцатилетнем князе Владимире Аргутинском-Долгоруком, и Модест с Колей решили ехать в гости к Анатолию, чтобы воочию увидеть все достоинства этого юноши. В письме к Пане Чайковский шутливо замечал: «Модя с Колей собираются в Боржом только в том случае, если и Аргутинский там будет, в противном случае будут жить в Петергофе». Кроме Модеста и родственников он повидался с сыном Эдуарда Направника, Володей, с которым подружился в Петербурге.

Незабываемый опыт, вынесенный из аахенской агонии друга, и уверенность в себе как творце, родившаяся после успехов заграничной поездки, настоятельно требовали воплощения в музыке. В Тифлисе Петр Ильич начал работать над Пятой симфонией. В записной книжке сохранились эскизы ее тем, датированные 15 апреля. Там же он зафиксировал и программу своей новой работы, подразумевая под ней скорее содержание произведения, чем подробный сценарий: «Интр[одукция]. Полнейшее преклонение перед судьбой, или> что то же, перед исповед[имым] предначертанием провидения. Allegro I) ропот сомнения, жалобы, упреки к ХХХ. II) не броситься ли в объятия Веры??? Чудесная программа, лишь бы выполнить». И рядом с эскизом не вошедшей в симфонию темы Чайковский пишет над нотными знаками: «Consolation. Луч света». Под эскизом — слова: «Внизу ответ: нет, нет надежды!»

Эти записи определяют идею симфонии как глубоко психологическую, отражающую состояние души человека в момент серьезного кризиса — в этом, вероятно, отразилось и недавно пережитое. 16 августа 1887 года композитор сообщал Модесту из Аахена, что один раз застал Кондратьева «в полном отчаянии, и это отчаяние у него выражается как-то совсем по-детски. Неужели мы, умирая, так боимся!!». 21 августа 1887 года он записал в дневнике: «По временам он [Кондратьев] жаловался и плакал. Томительные, ужасные часы! О, никогда я не забуду всего здесь выстраданного». В 1889 году, во время гастрольной поездки в Германии, он хотел снова заехать по пути в Аахен: «Меня тянет посмотреть место, где я был столь несчастлив и где приятно будет поплакать о Н[иколае] Дмитриевиче».

Полтора месяца, проведенных в обществе обреченного, страдающего человека, несомненно, отложили глубокий след в душе Петра Ильича. После отъезда оттуда он признавался фон Мекк 31 августа 1887 года: «Это

одна из самых мрачных полос моей жизни. Я очень постарел и похудел за это время. У меня какая-то усталость от жизни, какая-то печальная апатия, такое чувство, как будто и мне скоро умереть нужно, и ввиду этой близости все, что составляло важное и существенное в моей личной жизни, представляется мне мелким, ничтожным и совершенно бесцельным». Сколь бы ни были противоречивы отношения с Кондратьевым, Петр Ильич помнил, что тот всегда верил в его талант, восхищался им, поощрял и утешал его в сомнениях и бедах. Бывших правоведов сближала не только схожесть в любовных предпочтениях, но и страсть к картежной игре, препятствием для которой не стала даже смертельная болезнь: они играли в винт до последней минуты пребывания композитора в Аахене.

Над Пятой симфонией Чайковский работал почти все лето. Сочинение давалось с трудом. Он хандрил, часто простужался, порой скучал, жаждал общества и развлечений, однажды даже поехал в Майданово на один день. Модесту он писал: «Как-то меланхолично и грустно все показалось мне там, и нигде так живо я не почувствовал печаль об исчезновении из этого мира Н. Д. Кондратьева, как там, особенно в его аллейке. Вообще в Майданово мне было болезненно жаль прошлого и жутко сознавать стремительность и невозвратимость прошлого». Тема судьбы и смерти, забирающей безвозвратно близких, торжествующей, но не сломившей волю человека, и оставляющей ему несмотря ни на что надежду, проходит через всю симфонию.

Во Фроловском гостил Легошин, так же, как и Алеша, женившийся к этому времени, но из-за смерти Кондратьева потерявший работу. Чайковский обещал помочь ему с устройством и разрешил привезти жену и дочку. Он чувствовал себя обязанным и другому бывшему лакею Кондратьева, Василию Филатову, и 13 июля 1888 года писал, впрочем, безрезультатно, Юргенсону: «Не хочешь взять к себе в лакеи Васю, служившего долго у Анатолия, а потом у Кондратьева? Это очень умный и ловкий слуга. Лет ему немного, не более 18 или 19». Обращался с этим и к Анатолию 14 сентября: «Толя! Вася без места и сегодня был у меня (он живет покамест в деревне у отца). Не взял ли бы ты его? Я очень этого бы желал. Напиши мне насчет этого сейчас же. Только прими во внимание, что в будущем ноябре он на призыве, так что мог бы остаться всего на год. Я сохранил к нему такое чувство, как будто он свой, но только раскаявшийся изменщик». Ему же 1 октября в ответ на отказ: «Я вполне понимаю резоны, по которым ты Васю не хочешь брать. Скорее уже по отбытии воинской повинности».

Время от времени Чайковский выезжал в Петербург и Москву,

несколько раз лишь для того, чтобы не создавать проблем слуге и его жене, которым нужно было по разным делам отбыть на несколько дней в деревню, а Алексей не хотел оставлять барина одного во Фроловском. Так, в начале июля Петр Ильич, не планируя для себя, приехал в столицу, хотя денег не хватало и работать над симфонией предстояло немало, но — родственники Алеши пригласили его с женой в деревню на храмовый праздник.

В начале августа во Фроловском нашли приют Ларош и его супруга, оказавшиеся в финансово-бедственном положении. По дороге в Петербург на два дня заехал Коля Конради, а еще несколько дней спустя Модест и гостил у брата четыре дня. 14 августа композитор окончил инструментовку симфонии и сразу стал работать над увертюрой «Гамлет», но сделал перерыв и 23 августа выехал в Каменку, где давно уже не бывал. За день до отъезда он написал фон Мекк письмо, в котором, сетуя на свою «непостижимую расточительность и ребяческое неумение устраивать дела», просит у нее «остающиеся две трети всей бюджетной суммы за будущий год, т. е. 4000 рублей, к 2 сентября». Приехав в этот день в Москву из Каменки, он получил от нее письмо и чек на необходимую сумму, и 3 сентября снова был во Фроловском.

Этой же осенью он узнал о совершенно неожиданном для него обстоятельстве, связанном с Пахульскими. В письме Надежды Филаретовны от 22 сентября читаем: «У меня вообще расстройство в моей обстановке: Владислав Альбертович уже больше недели уехал за границу и находится в Дрездене, хочет позаняться музыкою, но, конечно, это не главный мотив его отъезда, а есть другая причина, которую я Вам, как моему единственному другу, скажу: мне готовится большое горе — моя Юля хочет выйти замуж за Владислава Альбертовича, и ввиду этого он поехал поправить свои нервы. Я говорю, что это большое горе для меня не потому, чтобы я имела что-нибудь против выбора Юли, — нет, Владислав Альбертович прекрасный человек, но для меня это доставляет огромную и незаменимую потерю, я теряю мою дочь, которая мне необходима и без которой мое существование невозможно. Конечно, она жаждет и просит меня об одном, чтобы я позволила ей остаться при мне, но ведь это будет не то, не то, — и ей, быть может, самой окажется слишком трудным иметь двоих на своем попечении. Это очень давний роман, он тянется уже семь лет с разными перипетиями, при которых я надеялась, что при моей жизни эта чаша не коснется моих уст, но, однако, вышло иначе, и это-то одна из главных причин моего нервного расстройства».

В этом письме многое непонятно: если роман продолжался так долго,

как это соотносить с пресловутой нравственностью Надежды Филаретовны, что стоило, например, места Котеку, к которому она одно время благоволила? Объяснение можно найти в той степени влияния, которое на нее оказывала старшая дочь, а с какого-то времени — и Пахульский. Юлия всегда была любимой дочерью, и главное — единственной ее наперсницей в семье. Видимо, Юлия уже свыклась с мыслью, что таковой будет и ее окончательная судьба — остаться при матери старой девой. Роман с Пахульским изменил ее будущее, и на это, возможно, подсознательно надеялась Надежда Филаретовна, несмотря на высказанное ей расстройство, ибо тот сумел стать для нее столь же незаменимым. Это двойное влияние привело к серии компромиссов. Примечательно, что она, если судить по тону ее писем, уступила этому браку не только ради дочери, но и потому, что «приемыш» занял уже прочное место в ее сердце.

Петр Ильич с пониманием отреагировал на сообщение «лучшего друга» 24 сентября: «Ваша дочь Юлия Карловна выходит замуж за человека, уже более десяти лет постоянно живущего около Вас, они оба при Вас останутся, и, тем не менее, Вы тоскуете и предаетесь почти отчаянию. Дело в том, что оба эти столь необходимые и привычные человека, соединившись узами брака, делаются другими; отношение Ваше к ним принимает другое значение. Освещение, обстановка — другие, и этого достаточно, чтобы Вам, живущей так давно в тесной домашней сфере, было больно и жутко».

Добившись Юлии Карловны (к этому времени уже довольно перезрелой девы — ей было 35 лет), Пахульский должен был пережить ощущение подлинного триумфа: бедный поляк, снисходительно терпимый социально высшим кругом, прорвался в члены семьи миллионеров. Уже одно это, как и роман с Юлией, доказывает, что его амбиции не сводились только к музыке — он успешно перестроился из артистической сферы в сферу денежную, отделившись нервным заболеванием. Однако мысль о музыке не покидала его: об этом свидетельствуют отдельные фразы в переписке Чайковского и фон Мекк: «Если Владислав] Альберт[ович] захочет мне теперь послать на просмотр что-нибудь свое, то буду очень рад» (27 марта 1890 года); «На днях я напишу Владиславу Альбертовичу подробное письмо о его партитурах» (30 июня 1890 года). Со стороны композитора это были жесты доброжелательности по отношению теперь уже к зятю, а не «приемышу» «лучшего друга». Новоявленные молодожены, казалось, тоже вели себя соответственно: в письмах фон Мекк регулярно передает приветы от них и поклоны, например: «Юля и Влад[ислав] Альб[ертович] свидетельствуют Вам их глубочайшее

почтение. Влад[ислав] Альбертович] в восторге от переписки с Вами» (30 марта 1890 года). В конце сентября умер Николай Губерт, старый консерваторский друг Чайковского, и тот на несколько дней выехал в Москву. Весь октябрь он занимался инструментовкой увертюры «Гамлет» и правкой корректур Пятой симфонии. 1 ноября он был уже в Петербурге, а 5-го дирижировал премьерой новой симфонии в концерте Петербургского филармонического общества, состоящего из его собственных произведений и увертюры-фантазии Лароша. Сыграть Второй фортепьянный концерт он специально пригласил Василия Сапельникова. «Музыкальное обозрение» писало, что «концерт этот сопровождался... шумными овациями со стороны публики и оркестра. <...> После симфонии началось подношение цветов под гром рукоплесканий и троекратный туш оркестра, затем депутация Филармонического общества поднесла Петру Ильичу адрес... об избрании его в почетные члены общества».

Несмотря на большой успех у публики, пресса отзывалась о новом произведении скорее недоброжелательно. Многоголосие ее финала воспринималось как недосказанность, незаконченность произведения. По всей видимости, именно эта необычная структура стала причиной крайне разноречивых суждений критики, а потом и историков музыки о замысле и объективном содержании Пятой симфонии. Неблагоприятными, за редким исключением, были и отзывы, последовавшие за первыми ее исполнениями. Кюи, вечный противник Чайковского, нашел, что «в целом симфония отличается безыдейностью, рутинной и преобладанием звука над музыкой». Некоторые слушатели возражали против замены обычного скерцо вальсом: рецензент газеты «День» даже назвал ее «симфонией с тремя вальсами и... с инструментовкой, рассчитанной на самый пошлый эффект». Музыкальный критик из «Петербургской газеты», похвалив, тем не менее отметил, что она «производит впечатление неполноты, урывочности мысли, носит на себе следы торопливости, особенно две последние части». Рецензентам же «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Новостей» это произведение понравилось полностью.

Тринадцатого ноября Чайковский и Василий Сапельников выехали в Прагу на премьеру «Евгения Онегина». По договоренности 18/30 ноября Петр Ильич дирижировал концертом, состоящим из Пятой симфонии и Второго концерта для фортепьяно с оркестром, который блестяще сыграл Сапельников. Гастроли прошли с большим успехом. Исполнение оперы было «мало того, что хорошее, но и в некоторых отношениях просто превосходное. О такой Татьяне, как пражская, я никогда и мечтать не мог. Овациям не было конца», — писал Чайковский Шпажинской 26 ноября/8



декабря, но впечатления от поездки были омрачены (в Вене, уже на пути домой) известиями о кончине племянницы Веры в Ницце. После исполнения новой симфонии в Петербурге и Праге композитор пришел к выводу, что симфония неудачна, и 2 декабря написал фон Мекк: «Есть в ней что-то такое отталкивающее, какой-то излишек пестроты и неискренность, деланность. И публика инстинктивно сознает это». Однако автор ее оказался не прав — буквально через несколько лет симфония завоевала сердца слушателей и вошла в репертуар российских и зарубежных дирижеров.

Чайковский снова оказался в Петербурге 12 декабря, где в Четвертом русском симфоническом концерте дирижировал своей фантазией «Буря», встретив Рождество в кругу близких — Модеста, Боба и Коли Конради. В это время пришло известие о том, что Анатолия назначили тифлисским вице-губернатором, означавшее значительный сдвиг в его служебной карьере. 14 декабря Петр Ильич познакомился с Антоном Павловичем Чеховым, который дружил с Модестом. Они сразу нашли общий язык, тем более что композитор высоко ценил творчество писателя. Год спустя они вновь встретились в Москве и договорились о том, что Чехов напишет либретто для будущей оперы «Бэла» по повести Лермонтова, но эти планы так и не были осуществлены.

Но 26 декабря Чайковский возвратился во Фроловское, и теперь его мысли занимал балет «Спящая красавица». Еще весной 1888 года Иван Всеволожский, директор Императорских театров, предложил идею балета по сказке Шарля Перро, Петр Ильич не сразу ответил на это предложение, нужно было заканчивать работу над Пятой симфонией и увертюрой «Гамлет». Лишь осенью он стал серьезно думать о новом проекте и увлекался им все больше и больше. Встретившись 6 ноября в Петербурге с Всеволожским и балетмейстером Мариусом Петипа и получив от них либретто вместе с детальным планом начала балета, он решил полностью отдаться любимому, со времен «Лебединого озера», жанру. 9 января 1889 года Петр Ильич сообщал в письме Модесту: «[Я] так погрузился в писание балета, что на письма уж решительно не остается времени».

Он на день выбрался в Москву, чтобы после семнадцатилетней разлуки повидаться с Иваном Клименко, и 19 января съездил в Петербург, где провел четыре дня. Больше всего ему хотелось встретиться с Бобом, который отправился в Москву на встречу Нового года к сестре Анне, но к этому времени должен был уже вернуться. 23 января композитор записал в дневнике: «Чай у Боба (сто раз божественного)». Кроме того, он навестил актера Гитри и Сапельникова.

Из Петербурга Чайковский отправился 24 января во вторую гастрольную поездку, закончившуюся в середине апреля. Теперь он выступал в Кельне, Франкфурте, Дрездене, Берлине, Женеве, Гамбурге, Лондоне. По личной просьбе, переданной через Ивана Всеволожского, он получил за свой балет от императорского двора аванс в три тысячи рублей. Как всегда в начале заграничной поездки он затосковал, о чем жаловался в письмах Модесту. 30 января/11 февраля, будучи в Кельне, думает о любимом племяннике: «Сегодня всю ночь видел во сне Боба при необычно поэтической обстановке, и беспрестанно его сегодня вспоминаю». Последнему из Женевы, где Петр Ильич навещал семью Давыдовых зимой 1875 года, он посылает 20 февраля/14 марта письмо в поэтических тонах: «Так живо вспомнил Таню и Веру с красными от беганья в школу по холоду руками и всех вас, и тебя с маленьким носиком, а не с той башней, которая у тебя теперь вместо носа, и себя самого не столь седым, на целых 13 лет более молодым!!! Ужасно грустно стало! Впрочем, не думай, что башня причиняет мне грусть; что бы у тебя ни выросло, я все-таки всегда буду восхищаться тобой вообще и скверными подробностями твоей особы в частности (напр[имер] этими ужасными, омерзительными руками), — нет, но вообще

Nessun dolor maggiore  
Che ricordarsi del tempo felice  
Nella miseria!

(Dante, L'Infemo, V)<sup>[6]</sup>

Хотя мое путешествие с одной стороны вовсе не miseria, ибо везде я имел большой успех (не исключая и Берлина, где часть публики за “Франческу” сильно шикала), но я до того скучаю и тоскую, что нет слов выразить это. Особенно ужасно, что я здесь никогда не бываю один. Вечно в гостях и вечные гости у меня. И еще как долго мне терпеть!»

Чайковский 3/15 марта дирижировал Пятой симфонией в Гамбурге. Каково было его удивление, когда он узнал, что Брамс остался там на целый лишний день, чтобы ее услышать. После репетиции Петр Ильич завтракал с ним и они «порядочно кутили». По этому поводу он писал Модесту 28 февраля/ 12 марта: Брамс «очень симпатичен, и мне нравится его прямота и простота». Однако творчество этого мастера ему было чуждо. «Глубоко уважаю артистическую личность Брамса, преклоняюсь перед девственной чистотой его музыкальных стремлений; восхищаюсь его

твердостью и горделивым отречением от всяких поправок в сторону торжествующего Вагнеризма, или, по крайней мере, Листьянизма — но не люблю его музыки», — признавался он в «Автобиографическом описании путешествия за границу».

Три недели Чайковский провел в Париже, главным образом, чтобы отдохнуть, и ожидая Сапельникова, обещавшего присоединиться к нему для гастролей в Лондоне. Там он развлекается с Брандуковым, который, как всегда, фланировал по парижским бульварам, останавливаясь у определенных кафе. 22 марта в дневнике Петра Ильича появилась любопытная запись: «Один домой. Негр. Они зашли ко мне». С приездом Сапельникова они возобновили ежедневное общение, не менее тесное, чем в прошлом году, с завтраками, обедами, ужинами, в которых нередко участвовал Брандуков.

Посредине этого времяпровождения Чайковский получил письмо от Антонины. С 1886 года он ежемесячно выдавал ей через Юргенсона 50 рублей пенсии и через два года, по ее просьбе, увеличил сумму до 100. 9/21 марта 1889 года он консультировался с Юргенсоном уже в значительно более спокойном, по сравнению с предыдущими прецедентами, тоне: «Посоветуй мне, пожалуйста, что мне отвечать Ант[онине] Ив[ановне]? Посылаю тебе ее письмо. Это совершенное подобие сказки Пушкина о рыбаке и рыбке. Год тому назад я ей удвоил пенсию: теперь она просит опять удвоить! В сущности, лишь бы от нее отделаться, я готов, пожалуй, исполнить ее просьбу: но кто поручится, что через год она не попросит 400 р.? Женщина, столь глупая, столь ничтожная, способная нескольких детей отдать в воспитательный дом и нисколько об них не беспокоиться, не заслуживает ни малейшего сочувствия, и веры в ее нужду я не имею, ибо на сто рубл[ей] можно порядочно жить. А с другой стороны, чем более я буду сознавать, что я ее осчастливил, тем лучше для меня, тем я покойнее. Ведь бывают минуты, когда мне эту дуру жаль. Что она виновата, что она глупа, жалка, лишена всякой гордости, всякой порядочности? Одним словом, есть много за и много против удовлетворения ее просьбы. Будь так добр, вели ей зайти к тебе и поговори с ней. <...> Я нахожу совершенно возможным подарить ей теперь 200 р. в виде поощрения».

Ему же 21 марта/2 апреля 1889 года: «Спасибо за хлопоты по части ходатайства Ант[онины] Ив[ановны]. Каково разговаривать с этой невероятной пустоголовой особой? Предоставляю тебе выдать ей на лечение сколько хочешь. Я думаю, что 200 р. сер[ебром] было бы на первый случай достаточно. Жаль, что ты с ней слишком серьезно разговаривал и в чем-то убеждал. Ее убедить ни в чем нельзя, ибо раз

вообразивши какую-нибудь глупость, — она принимает ее за факт и ничего знать не хочет. Ей просто нужно было сказать, что ввиду быстроты, с которой она, получив удвоение пенсии, пришла к убеждению, что опять нужно удвоение, — нельзя поручиться, что через месяц и этого покажется мало, что она таких жертв с моей стороны вовсе не заслуживает, что праздная женщина, бросившая троих детей, не заслуживает ни малейшего сожаления, и т. д. Одним словом, с ней нельзя разговаривать, а нужно вещать. А впрочем, мне не жалко давать ей денег больше, чем она заслуживает, и я представляю тебе в случае ее просьб об экстренных выдачах выдавать ей сколько заблагорассудишь». И в тот же день снова: «По зрелом размышлении я пришел к тому, что можно назначить Ант[онине] Ив[ановне] 150р. Богсней! Вэтом смысле я тебе телеграфировал. Если ты станешь бранить меня, то я объясню тебе следующее (далее идет приведенное ранее напоминание о их договоренности на предмет формы отношений с А. И. — А. П.). <...> Ей было тогда объявлено, чтобы она не смела мне писать. Года 2 она повиновалась, а теперь снова начала обращаться ко мне прямо. Согласно нашему уговору ты не должен был вовсе передавать мне ее писем, а распечатывать, читать и решать. Дело в том, что во 1-х, письма Ант[онины] Ив[ановны] буквально делают меня больным, — до того мне неприятно всякое напоминание об этой личности, а, во 2-х, по слабости характера я всегда в конце концов исполню ее просьбу. В данном случае так и вышло. Говорю это не в виде упрёка, но в виду будущего времени. Всякие ее письма открывай, читай, решай и не говори мне ничего про нее до тех пор, пока я не попрошу тебя дать о ней сведения».

В Лондон Чайковский с Сапельниковым приехали 28 марта/9 апреля. Через два дня в Сент-Джеймс-холле состоялся концерт, в котором композитор дирижировал Первой сюитой и Первым концертом для фортепьяно с оркестром, солистом был Сапельников. Концерт прошел с успехом. Знаменитый лондонский туман и темнота улиц города уже в полдень поразили воображение Петра Ильича и оставили не самое благоприятное впечатление от английской столицы.

Несмотря на большое желание вернуться во Фроловское, ему снова пришлось отправиться в Тифлис, к Анатолию, выполняя обещание у него погостить. Узнав об этом, Алеша расстроился и даже расплакался: в этот раз он особенно старался подготовить дом к приему хозяина. Путешествовать было решено морем: через Марсель, Константинополь и Батум и 31 марта/12 апреля, поцеловав спящего Сапельникова, Петр отправился из Лондона в Париж, а оттуда в Марсель.

На пароходе он завязывает случайное знакомство, оставившее глубокий след в его памяти. Читаем в письме Модесту 8/20 апреля из Константинополя: «Вместе со мной ехали двое русских: 14-летний мальчик Владимир Склифосовский (сын оператора (так называли тогда хирургов. — **А. Л.**) и состоящий при нем студент Московского университета Германович, оба прелестные субъекты, с которыми я страшно сдружился». В биографии брата Модест отмечает, что Володя Склифосовский «был феноменальным по очарованию и по способностям, но, к несчастью, смертельно болезненным мальчиком». С 1 по 9 апреля композитор записал в дневнике: «Симпатичный юноша Склифосовский и студент»; «Склифосовский и его студент были все время больны; только днем недолго было им лучше»; «Склифос[овский] и студ[ент] гуляли по палубе»; «Склифос[овский]. Студент. Оба здоровы»; «Константинополь. С Германовичем и Володи в город... На пароходе. Болтовня Володи среди ночной тишины»; «проснулся с головной болью и весь день был[о] не по себе. Перевоз вещей Вол[оди] и Герм[ановича] на Цесаревича (русский корабль. — **А. П.**). На русском пароходе. Позволено ночевать моим юным друзьям. <...> На Цесаревиче. Шампанское. Прощание с милыми двумя друзьями»; «мне и хорошо и как-то грустно. Жаль, не слышать более болтовни Володи, его веселого смеха и фистулы Германовича».

Из этих скупых заметок явствует, что между ними завязалась искренняя, хотя и кратковременная, дружба. Позднее, в 1893 году, Чайковский посвятит случайно встреченному им на пароходе сыну знаменитого хирурга «Элегическую песню», одну из 18 пьес для фортепьяно. «Как бы в предчувствии, — писал Модест Ильич, — что ему не суждено более видаться на земле с необычайным по развитию и симпатичности Володи Склифосовским (он скончался 25 января 1890 года), Петр Ильич после прощания с ним вернулся на пароход и там долго плакал. <...> Узнав о его кончине, он тосковал, как по родному».

В Тифлисе, куда он прибыл 12 апреля, работать над балетом оказалось практически невозможно. У Анатолия беспрестанно толпился народ, желавший познакомиться с его знаменитым братом, а на последнего обрушивались со всех сторон приглашения в гости. Во всей этой суете отрадой для него стал сын тифлисского городского головы юный Владимир Аргутинский. 26 апреля Петр Ильич сообщал Модесту: «Милейший Володя Аргутинский часто навещает меня. Вчера он подарил мне букет (!) и рисунок». В эти тифлисские дни в его дневнике имя Аргутинского встречается четыре раза, например, 30 апреля: «Ждал Вол[одю] Аргутинского». Как и в прошлые свои приезды, он много играл в карты и

кутил с Николаем Переслени.

От Модеста из Петербурга пришло расстроившее его известие: Министерство просвещения отказало Коле Конради в праве держать экстерном экзамены за гимназический курс на аттестат зрелости. По этой причине младший брат был в мрачном состоянии духа и даже ездил в Москву, чтобы рассеяться. Госпожа фон Мекк сообщала, что 16 апреля Юлия вышла замуж за Пахульского, свадьба состоялась в Париже. Всеволожский извещал, что постановка балета «Спящая красавица» назначена на декабрь и композитору следует поторопиться, дабы успеть вовремя закончить балет.

Седьмого мая Чайковский был уже в Москве, где сразу попал в гущу событий, связанных с уходом Сергея Танеева с поста директора консерватории, а 14 мая выехал в Петербург, чтобы встретиться с Петипа и Всеволожским для обсуждения постановки балета, и пробыл там до 18 мая. Кроме того, он побывал у Модеста и Коли в их новой квартире на Фонтанке. Обедая в ресторане **Contant**, Петр Ильич встретил Шиловского, который в своей обычной манере начал выяснять отношения, устроив пьяный дебош. Тогда же он навел на семью Кондратьева; обедал со своей кузиной Анной Мерклинг, виделся с Сапельниковым, Ларошем, Глазуновым и Римским-Корсаковым.

Все лето композитор безвыездно прожил во Фроловском, если не считать однодневных визитов в Москву. Он завершил «Спящую красавицу» 6 мая и тотчас принялся за ее инструментовку, которую довел до конца к середине августа. Однако ему постоянно приходилось отвлекаться, например, заниматься трудоустройством некоего Лукьяна Колганова, брата няни дочери Анатолия. Этот «отличный, но очень впечатлительный, нервный мальчик» со слезами на глазах попросил помочь найти ему работу. Растроганный Чайковский решил было дать ему денег, но, подумав, что «деньги, получаемые даром, только развращают человека», оставил его на несколько дней у себя, а затем снабдил рекомендательным письмом к родственникам жены Анатолия. И через какое-то время Лукьян оказался устроен.

В эти же дни из Москвы к Чайковскому снова приехал Легошин с дочкой Клерочкой, приведшей его в восторг, и на время оставил ее у Алексея и Феклуши. К обществу женатого Алеши Чайковский уже привык, Фекла стала их прачкой. Но между слугой и его барином иногда возникали недоразумения, недовольства, охлаждение в отношениях и даже ссоры, совершенно обычные в ежедневной жизни. Погорячившись, Петр Ильич, как всегда, уступал. В дневнике есть несколько записей,

свидетельствующих об этом. 1 января (в довольно раздраженном тоне, на английском языке — видимо, из-за недоверия к Алексею, который мог заглянуть в дневник барина): «I am not satisfied with thy domestic. I think he is not very honest<sup>[7]</sup> (900!)!!!» Очевидно, речь идет о деньгах. Или запись от 18 января на макаронической смеси трех языков, что само по себе комично: «После ужина une querelle avec der Diener. He is not delicate»<sup>[8]</sup>. «29 мая. Алексей вернулся из города пьяный. Чуть было не произошел скандал между им и старостой». Однако летом между ними снова установилась полная идиллия: «12 июня. Как обыкновенно, после своего чая у Алексея». Их обоих очень беспокоило состояние здоровья часто болевшей Феклуши. В дневниковых записях ярко отразилось течение повседневной жизни, со свойственными ей подъемами и падениями взаимной терпимости. Нет ни малейших признаков, указывающих на то, что взаимная привязанность хозяина и слуги могла хоть сколько-нибудь серьезно пострадать.

На несколько дней 31 мая приехал Боб. С ним Петр Ильич провел много времени: гулял, беседовал и даже обнаружил в нем музыкальные способности. Он записал в дневнике: «Боб уехал с курьерским. Я стоял с белым флагом при проходе поезда». 13 июня композитор отметил печальную годовщину — 35-летие со дня смерти матери в Петербурге от холеры. 18 июня приехал Модест. Они предавались разговорам, прогулкам, игре в четыре руки Пятой симфонии Рубинштейна и обсуждению новой пьесы младшего брата «Симфония», который наделил главного ее героя чертами старшего.

Закончив работу над балетом, 20 августа композитор отправился на неделю в Каменку, где обретался в последние летние дни его любимый Боб. 31 августа он пишет Модесту: «Совместное жительство с Бобом доставило мне неизъяснимую отраду. Увы! Это продолжалось слишком недолго. Видя, как значение Боба в моей жизни все увеличивается, я решился окончательно с будущего года поселиться в Петербурге. Видеть его, слышать и ощущать в своей близости, кажется, скоро сделается для меня самым первостепенным условием благополучия». Навсегда в столицу он так и не переехал — при таком количестве знакомых и петербургском стиле светской жизни это означало бы для него отказ от творчества.

С середины сентября и до самого начала января жизнь Петра Ильича была насыщена музыкальной деятельностью. 18 сентября после долгого перерыва в Москве в Большом театре была возобновлена опера «Евгений Онегин». В Петербурге под управлением автора начались репетиции «Спящей красавицы». В октябре предполагался целый ряд симфонических

мероприятий, в том числе концерты в связи с 50-летием творческой деятельности Антона Григорьевича Рубинштейна, которыми Чайковский согласился дирижировать. Кроме того, в планах были зарубежные гастроли. 1 октября он перебрался из Фроловского в Москву, сняв для удобства небольшую квартиру на Пречистенке в Троицком переулке.

Двадцать пятого октября композитор получил очередное письмо от великого князя Константина Константиновича со стихотворением, ему посвященным: «О люди, вы часто меня язвили так больно». Петр Ильич испытал чувство «горделивого сознания, что превосходное стихотворение... создано отчасти вследствие моих прошлогодних писем». Об этом эпистолярном общении он сообщал Надежде Филаретовне еще 22 июня 1888 года: «Все это время я находился в очень оживленной переписке с вел. кн. Константином] Константиновичем, который прислал мне недели три тому назад свою поэму “Св. Севастьян” с просьбой высказать ему свое мнение. Я похвалил в общем, но откровенно раскритиковал некоторые частности. Это ему очень понравилось, но он заступился за себя, и, таким образом, вышла целая переписка, которая рисует этого человека с необычайно симпатичной стороны. Он не только талантлив и умен, но удивительно скромн, полон беззаветной преданности искусству и благородного честолюбия отличиться не по службе, что было бы так легко, а в художественной сфере. Он же и музыкант прекрасный — вообще, редкостно симпатичная натура».

Интересно обратить внимание на некоторые моменты в критике композитором поэмы его августейшего друга: «Но я должен признаться, что при первом чтении полноте художественного удовольствия препятствовало несколько то обстоятельство, что вѣсьма живой образ Вашего Севастиана никак не мог ужиться в моем воображении с Севастьяном Гвидо Рени. На этой чудной картине он изображен слишком юным; когда читаешь у Вас про “года, промчавшиеся стрелой”, про “победные лавры вождя” и т. д., то представляешь себе молодого, но зрелого мужа, а память между тем назойливо представляет давно запечатлевшийся в ней образ юноши или даже отрока, каким его представил итальянский художник». Гомоэротический подтекст живописного образа святого Себастьяна вряд ли подлежит сомнению — он и поныне соответствующим образом эксплуатируется в художественной литературе.

Переписка Чайковского и К. Р. отличается, помимо подлинного дружелюбия, заметным интеллектуальным уровнем, характерным для писем композитора коллегам и госпоже фон Мекк. В ней, что



неудивительно, присутствовал и политический компонент.

Двадцать пятого октября 1889 года великий князь сообщал своему корреспонденту: «Государь спрашивал меня сегодня, не играю ли я чего-нибудь нового из Ваших произведений и не написали ли Вы за последнее время мелких фортепьянных вещиц, отвечал отрицательно». На это 29 октября следует восторженная реакция: «Известие, что государь удостоил спросить обо мне, глубоко радует меня!!! Как понять вопрос государя о мелких пиесах? Если это косвенное поощрение меня к сочинению подобных вещей, то при первой возможности я займусь ими». И далее он искренне делится с великим князем более чем верноподданническим проектом: «Мне ужасно хочется написать какую-нибудь грандиозную симфонию, которая была бы как бы завершением всей моей сочинительской карьеры, и посвятить ее государю. Неопределенный план такой симфонии давно носится у меня в голове, но нужно стечение многих благоприятных обстоятельств для того, чтобы замысел мой мог быть приведен в исполнение. Надеюсь не умереть, не исполнивши этого намерения».

Во время юбилейных концертов Антона Рубинштейна в царской резиденции в Гатчине имела место любопытная сцена, лишний раз свидетельствующая о музыкальных предпочтениях Александра III. Великая княгиня Александра Иосифовна велела своему сыну Константину вручить государю записку, в которой старалась убедить его, что для Рубинштейна пенсия в три тысячи рублей в год недостаточна, раз Чайковский, его ученик, получает столько же. Тот ответил: «Во-первых, Чайковский не ученик Рубинштейна, во-вторых, я его считаю выше Рубинштейна, в-третьих, я к назначенной пенсии прибавлять не желаю», — и трах-трах, разорвал бумагу. Этот эпизод запечатлел 18 ноября в своем дневнике Владимир Ламздорф, старший советник министра иностранных дел (позднее министр). Реакция императора не была удивительной, его мнение о Рубинштейне совпадало с мнением Мещерского, незадолго до этого опубликовавшего в «Гражданине» статью против чествования знаменитого пианиста, что очень разозлило Петра Ильича. Мещерского он назвал «сукиным сыном» и посоветовал Ларошу «отщелкать» его с «остроумием» в ответных статьях, что последний и сделал. Отношения же с князем он на время решил прервать.

Во время рубинштейновского юбилея Чайковский дирижировал двумя концертами, один из которых включал исполнение хором в 700 человек оратории юбиляра «Вавилонское столпотворение». Труд этот дался ему тяжело, о чем говорится в письме к фон Мекк: «1 ноября по 19 я был

настоящим мучеником, и теперь удивляюсь, что мог все это перенести. <...> Перед тем, как надо было начинать эту ораторию, у меня сделался сильный нервный припадок, и несколько минут опасались, что я не в состоянии буду выйти на эстраду, но, может быть, благодаря именно этому кризису я мог сделать над собой усилие, и все кончилось вполне благополучно».

Конец 1889 года стал для Чайковского бесконечной чередой концертов, репетиций, встреч. Их было так много, что у него физически не хватало времени и сил, чтобы задуматься о проблемах Надежды Филаретовны, как денежных, так и связанных с ее здоровьем, а о них она все настойчивее упоминала в письмах. Осенью этого года ее семья столкнулась с серьезными финансовыми затруднениями. 14/26 ноября фон Мекк известила своего друга: «Теперь, к тому же, я нахожусь в самом тяжелом, удрученном нравственном состоянии; на этот раз дело идет о моем материальном состоянии. Вы знаете, дорогой мой, что мои средства и все состояния моих детей заключаются в акциях Рязанской железной дороги, и в настоящее время министр так притесняет все частные и, в особенности, хорошие железные дороги, что нам предстоит лишиться своих доходов, т. е. иными словами, лишиться своего состояния. Для меня это тем более ужасно, что мои дети лишаются средств к жизни и я не могу прийти им на помощь, потому, что сама их теряю, а в мои лета и с моим разбитым здоровьем слишком тяжело терпеть лишения. И вот это ожидание, это положение удручает меня до изнеможения, до отчаяния».

Двадцать второго ноября композитор ответил: «Очень печально, что Вас беспокоит теперь страх за будущее Ваше и детей Ваших, и ужасно жаль Вас, милый друг мой! Но я все еще надеюсь, что дела Ваши устроятся и что Вы слишком напуганы известиями о враждебности министра к Вашей жел[езной] дороге. Дай Бог, чтобы Вы вскоре получили успокоительные известия! Я понимаю, как Вам будет тяжело, если средства Ваши уменьшатся; Вам нужно богатство, и Вы едва ли не единственный из всех мне известных богачей, которые заслуживают его, которым оно необходимо, для которых судьба была бы слишком несправедлива, если бы она отняла его от Вас. Буду ласкать себя надеждой, что дела Ваши не так безнадежны, как Вам в эту минуту кажется. <...> Ради Бога, не падайте духом, милый, добрый, дорогой друг!»

Здесь обращает на себя внимание отсутствие предложения прекратить в связи с кризисом выдачу субсидии — он неизменно делал такой благородный жест в прежние, тяжелые для нее времена. Поскольку по его просьбе бюджетная сумма была уже выплачена до июля 1890 года,

повторить ее не представлялось возможным, а идея возвращения денег выглядела бы смешно. Кроме того, он привык, что его попытки отказаться от субсидии Надеждой Филаретовной с негодованием отвергались. Оптимистические ожидания оправдались: семья фон Мекк справилась и с этой финансовой бурей, но победа стоила стоявшей во главе ее женщине тяжелой болезни, во время которой Петр Ильич получал сведения о «лучшем друге» только через Пахульского. Их личная переписка возобновилась лишь в марте следующего года.

Во время репетиций «Спящей красавицы» (премьера была назначена на середину декабря, а затем перенесена на начало января) Чайковский и Всеволожский вели переговоры о возможности постановки в Петербурге в следующем сезоне новой оперы. Поскольку пока таковой не было даже в замысле, пришла идея положить на музыку неиспользованное либретто Модеста «Пиковая дама», написанное им для композитора и дирижера Николая Кленовского. Идея понравилась, роли срочно начали распределяться, а перед Чайковским встала нелегкая, но желанная задача всецело отдаться сочинению. Он отказался от дирижирования на зиму и весну и задумался об отбытии за границу, скорее всего в Италию, для спокойной и сосредоточенной работы.

Обстоятельства следующих нескольких дней лишь подстегнули его к скорому отъезду из России: довольно резко напомнила о себе Антонина. Поводом послужил отказ Юргенсона в просьбе дать ей билет на концерт Рубинштейна 9 января 1890 года. Оскорбленная супруга написала 15 декабря большое письмо Чайковскому, в котором опять вспоминала историю их неудачного супружества и упрекала его во всевозможных интригах. Кроме того, демонстрируя собственное благородство, она упоминала в этом письме о своих связях десятилетней давности в жандармском управлении, где якобы знали о его «пороке», и о том, что она могла ему навредить, но никогда этого не сделала. Наконец, она, в крайне оскорбительных тонах, писала о Юргенсоне. Ее адресата письмо привело в бешенство. Сообщая об этом эпизоде фон Мекк 26 декабря, он еще пытался сдержаться: «У меня была большая неприятность и виновница этой неприятности — госпожа, которую в переписке с Вами я называл когда-то известной особой. Не буду об этом распространяться, ибо слишком отвратительно все это. Уезжать поскорее, уезжать куда-нибудь! Никого не видеть, ничего не знать, работать, работать и работать... вот чего теперь жаждет душа моя». Интересно, что именно отъезд за границу опять стал его первой реакцией на острую ситуацию в жизни, в которую снова ворвалась Антонина, но, понимая, что это уже старый и нелепый трюк,

знакомый его корреспондентке, он добавил — «работать»!

Юргенсону он писал в выражениях гораздо более грубых: «Милый друг! Я раздумал устраивать свидание с А[нтониной] И[вановной]. Ей-богу не в силах. Боюсь, что она скажет что-нибудь такое, что я выйду из себя и в пылу ненависти, которую ее письмо раздуло, — я задушу ее. Право, это возможно. Уж слишком она мне отвратительна. Пожалуйста, прочти посылаемое ей мной письмо и если ничего против него не имеешь, то пошли вместе с билетом на концерт Рубинштейна. <...> Пошли ей билет, какой она просит; прилагаю для сего 3 рубля». Столь пустячный повод (из-за трехрублевого билета), раздутый Юргенсоном, не делает чести обоим — ни издателю, ни композитору, но доказывает, что любое напоминание Милюковой о себе вызывало в Чайковском взрыв неуправляемых эмоций, особенно когда Антонина касалась его неортодоксальных вкусов. Впрочем, через несколько дней жизнь снова вошла в привычное русло.

Двадцать восьмого декабря Петр Ильич выехал в Петербург, чтобы встретить новый, 1890 год с Модестом, Люсьеном Гитри и его женой Анжеле (оба были актерами Михайловского театра) в ресторане Лейнера. 2 января состоялась генеральная репетиция балета в присутствии Александра III. Роскошно поставленный спектакль, с великолепными декорациями, костюмами и лучшими артистами в сочетании с совершенной музыкой Чайковского произвел на зрителей неотразимое впечатление. Это был настоящий зрелищный праздник. Император, видимо, несколько ошеломленный увиденным, смог сказать композитору только, что это «очень мило». Тот, ожидавший большего, был разочарован и записал в дневнике: «Его Величество третировал меня очень свысока. Господь с ним». На следующий день представление балета прошло с небывалым успехом, что сразу было отмечено всеми петербургскими газетами. Петр Ильич, не колеблясь, поставил «Спящую красавицу» в ряд лучших своих творений. Он воспринимал этот балет как некую симфонию в танце, в которой выразил свои чувства по отношению к судьбе, человеку, к жизни и где смог ярко показать, что в поединке судьбы и жизни победа остается на стороне последней.

Четвертого января Чайковский уехал в Москву уставший, беспокойный, озабоченный новым оперным заказом, а 11 января вернулся в столицу, на этот раз уже проездом в Берлин, и отправился затем во Флоренцию, куда прибыл 18 января. Он выбрал Флоренцию, вспоминая о зиме 1878 года, когда в спокойной, идеальной для сосредоточенной работы обстановке заканчивал Первую сюиту и начинал «Орлеанскую деву». Красота и памятники искусства города на реке Арно были ему сейчас

безразличны. Он поселился в гостинице «Вашингтон». В его распоряжении были четыре небольшие комнаты с окнами, выходящими на реку, и молодой слуга Модеста Назар Литров, с удовольствием согласившийся ухаживать за баринном и безбоязненно последовавший с ним за границу (Алеша не мог его сопровождать из-за того, что жена его умирала от туберкулеза и дни ее были сочтены).

Рабочий день композитора во Флоренции почти не отличался от обыкновенного: он вставал около восьми утра, работал в два приема, разделяя их полдником и длительной прогулкой, обедал в семь вечера, затем отдыхал — читал, посещал театр, писал письма или, что с ним тоже случалось, просто скучал. «Иногда пишется очень легко, иногда не без усилия. Впрочем, усилие есть, быть может, последствие желания написать как можно лучше и не довольствоваться первой попавшейся мыслью», — писал он Модесту 6/18 февраля. Сочинение оперы «Пиковая дама» длилось сорок четыре дня. 3/15 марта в дневнике появилась деловая, но ликующая запись: «Проснулся в 6 час[ов]. После чая кончил интродукцию. Перед обедом все кончил». Он много гулял с Назаром, ухаживал за ним, когда тот серьезно ушиб ногу и какое-то время не мог ходить, слушал мальчика-певца Фердинандо, певшего под его окнами, и развлекался, как обычно развлекался в Италии. В дневнике среди ежедневных записей встречается одна весьма любопытная, причем написанная по-французски: «Я думаю, что Назар, этот славный парень, очень любопытен и забавляется тем, что разбирает то, что пишет на этих страницах его случайный хозяин. Впредь я буду писать по-французски». Впрочем, это намерение он не осуществил.

Во Флоренции, по примеру барина, и сам Назар вел дневник, где записывал не только свои впечатления о городе, но и разговоры с Чайковским и наблюдения за ним. Этот дневник, написанный малограмотным, но очень внимательным молодым человеком, представляет собой незаурядный бытовой документ, отобразивший немало интересных деталей и атмосферу создания оперы. Приводим запись от 29 января: «П[етр] И[льич] сегодня в хорошем расположении. Еще вчера начали другую картину, и, как вижу, идет хорошо. Модеста Ильича хвалят за либретто. Каждый день перед окончанием занятий вхожу в комнату и говорю, что пора обедать или ужинать. Я не знаю, может, этим мешаю, но, по-видимому, неудовольствия не высказывают. Если бы я заметил, конечно бы не входил. Вот в чем задача. П[етр] И[льич] может думают, что я от скуки вхожу, что им это время свободно, и делают вид ласковый и добродушный! Но нет, я ничуть покудова не скучаю. А вхожу, чтобы рассеять их самих, и если б я это не делал, то, может, и они подумали, что я

чем-нибудь недоволен ими, но все равно, покудова хорошо, и слава Богу. В 7 часов я вошел. П[етр] И[льич] еще не кончил. Я сказал “пора кончать”. Уже отозвались и сам еще продолжают делать крючки. “Да, — я говорю, — скоро семь часов”. “Сейчас”, — говорят и еще сделали один крючок, рукой ударили по клапану рояля. Я стою. Вынули часы, открывают. “Еще без двадцати минут, еще могу десять минут работать”. Я что-то сказал. А они: “Да позволь только десять минут”. Я ушел. Через десять минут подходят ко мне. “Ну, я кончил”, — и стали расспрашивать, что я делал (я писал; как они взошли, тетрадь закрыл я), и пошли в его комнату. П[етр] И[льич] стали ходить взад и вперед по комнате, а я стою у стола. Заговорили про Феклушу, Алексея и проч. Первый раз услышал я от П [етра] И [льича], чтоб они с лестью отозвались про будущее свое сочинение. “Опера будет, если Бог даст, так хорошо пойдет, что ты расплачешься, Назар”. Я сказал: “Дай Бог, чтобы хорошо шло, и мысленно сказал себе: и дай Бог Вам здоровым быть”».

В конце января Петру Ильичу пришлось пережить очередное вторжение Антонины в свою жизнь. Из письма Юргенсона от 23 января выясняется, что «известная особа» как бы на правах супруги знаменитого композитора написала Антону Рубинштейну письмо на восьми страницах, прося дать ей место в консерватории. Реакция композитора в ответном письме от 30 января была предсказуемой: «Как ты жесток ко мне, друг мой! Конечно, только невольно можно причинять приятелю столько огорчения, как ты мне сегодняшним письмом. Ради бога, не пиши мне никогда без особой надобности об Антонине] Ив[ановне], всякое известие о ней, о какой-нибудь новой ее штуке, без всякой пользы для кого бы то ни было, раздражает, убивает меня! Это ужасная рана моя, до которой, умоляю, не касайся, если это не необходимо. Я сегодня весь день, как сумасшедший, не могу ни есть, ни работать (главное убийственно, что я теперь несколько дней не в состоянии буду работать), ни читать, ни гулять — словом, я глубоко несчастлив. Конечно, во всем этом какое-то болезненное преувеличение дела. Ну что в том, что сумасшедшая новое безумие учинила. Но тут уж играет роль ненормальность, истеричность моей натуры. Нужно что-нибудь сделать, чтобы эта сумасшедшая перестала скандалничать. Но что? Я целый день сочинял письмо к ней, но злоба заставляла меня вдаваться в мелочные попреки и в споры с ней, а этого отнюдь не следует. Наконец, одно письмо написал и посылаю тебе его. Если ты найдешь нужным, пошли его; если же оно слишком мягко или вообще не так, как следует, то брось. Всего бы лучше было, чтобы кто-нибудь растолковал ей всю глупость ее поведения и все безумие его. Но я

ведь очень понимаю, что с ней тебе говорить нельзя, ибо ты уже научен горьким опытом, что значит с ней разговаривать».

Текст этого неотправленного предназначенного для Антонины письма сохранился. В нем он довольно резко заявлял супруге, что за «целую серию поступков детски неосмысленных» он «принужден наказать» ее, как наказывают детей лишением какого-либо материального блага, «Я лишаю Вас одной трети Вашей пенсии, — писал он ей, — отныне, впредь до изменения, Вы будете получать 100 рублей». Далее композитор напоминал ей, что в 1878 году она отказалась от развода, тем самым заслужив его справедливое негодование за преследование; затем вступила в нелегальную связь с неизвестным ему человеком и, будучи тогда женщиной состоятельной, поместила своих детей в воспитательный дом. Несмотря на то, что за такое поведение она была достойна отказа в денежной помощи, он сжалился и назначил ей 50 рублей в месяц. Став богаче вследствие дарованной ему пенсии, он удвоил ей ежемесячное пособие. Через год по просьбе Милюковой он снова увеличил сумму, но теперь всему пришел конец, поскольку она начала беспокоить Рубинштейна. Это ставшее последним в переписке супругов письмо кажется в целом жестоким (хотя Чайковский жестоким человеком не был)\* но даже в нем ощутимы и ноты жалости, которые почти всегда (несмотря на чрезвычайное раздражение) проглядывают в его упоминаниях о Милюковой. Юргенсон это письмо не отправил, но пенсию сократил до ста рублей.

Доведенная до отчаяния, Антонина прилагала последние усилия, чтобы чудо совершилось и обожаемый Петр Ильич к ней вернулся. Ситуация складывалась трагическая. Отдав детей в сиротский дом, где они все вскоре умерли, и похоронив в 1888 году гражданского мужа Александра Шлыкова, скончавшегося от туберкулеза, она начала скитаться меж двух столиц, медленно, но верно теряя разум. Она стала искать хоть какую-то жизненную нишу, безуспешно пытаясь устроиться на работу. Ежемесячной пенсии в 100 рублей, назначенной Чайковским, едва хватало; она просила ее увеличить, но безрезультатно. Все эти годы Антонина Ивановна имела дело лишь с Юргенсоном, личных контактов с мужем больше у нее не возникало.

История с ее обращением к Рубинштейну не могла не отразиться на психическом состоянии Чайковского. В тот же день, 30 января, в дневнике он записал: «Письмо П[етра] Ивановича] Ю[ргенсона] с известием об А[нтонине] И[вановне] страшно расстроило меня. Весь день был как сумасшедший. Спал скверно. Не работал». Его состояние отчетливо проявилось и в письмах, отправленных в этот день — не только своему

издателю и несчастной супруге, но и адресованном молодому композитору Александру Глазунову, с которым он познакомился несколько лет назад и подружился. Начало этого письма, отразившее минутное настроение автора по причине коллизии с Антониной, часто цитируется биографами вне контекста, как иллюстрация якобы его личностного кризиса в конце жизни: «Переживаю очень загадочную стадию на пути к могиле. Что-то свершается в моем нутре, для меня самого непонятное; какая-то усталость от жизни, какое-то разочарование; но временами безумная тоска, но не та, в глубине которой предвидение нового прилива любви к жизни, а нечто безнадежное, финальное и даже, как это свойственно финалам, — банальное. А вместе с этим охота писать страшная. Черт знает что такое: с одной стороны, как будто чувствую, что песенка моя уже спета, а с другой — непреодолимое желание затянуть или все ту же, или, еще лучше, новую песенку».

Уже на следующий день запись в дневнике звучит совершенно иначе: «Работалось лучше; вечером перед обедом посетило настоящее вдохновение». И через три месяца в письме Анатолию: «Я теперь в периоде особенной любви к жизни. Ношусь с сознанием удачно оконченного труда». Как и прежде, депрессия, вызванная неприятным событием, прошла довольно скоро. Его творческое эго, стремление созидать всегда перевешивало жизненные неурядицы.

От Алеши пришло сообщение, что 19 февраля его жена скончалась, и композитор провел несколько дней в очень грустном настроении. Читаем в дневнике запись от 2 марта: «Ужасно плакал, когда Герман [герой «Пиковой дамы»] испустил дух. Результат усталости, а может быть, того, что в самом деле это хорошо». Сравним со сделанным в тот же день описанием Назара: «В 7 часов П. И. кончили заниматься. Во время мытья Петр Ильич рассказывал, как они кончили оперу. Петр Ильич за последнее время делятся со мной всем — положим и то, что, кроме меня, и не с кем. “Ну, Назар”, — обратились ко мне и начали рассказывать, как кончили последние слова Германа и как Герман покончил собой. Петр Ильич говорили, что они плакали весь этот вечер, глаза их были в это время еще красны, они были сами совсем измучены. Усталый, и, несмотря на эту усталость, им еще, кажется, хотелось плакать... Я эти слезы люблю, да и думаю, каждый, кто это испытывал. Вот и с Петром Ильичом то же самое. Им жаль бедного Германа, и на что им было довольно грустно. Когда П[етр] И[льич] проиграли сочиненную им кончину Германа, и тогда у них полились слезы, которые во время сочинения наполняли их душу. <...> Мне дорого пометить слезы П[тра] Ильича. Если, бог даст, также хорошо



П[тр] И[льич] кончат, и придется видеть и слушать на сцене эту оперу, то, наверное, по примеру П[тра] Ильича многие прольют слезы».

Весь март Чайковскому нездоровилось, он простудился, ослабел и хандрил. Малоприятные новости о двух его протеже расстроили его еще больше. В 1889 году он усердно добивался назначения Анатолия Брандукова преподавателем консерватории. Он был еще во Флоренции, когда стало ясно, что хлопоты безуспешны — непреодолимым препятствием явился директор консерватории Василий Сафонов. Потерпев неудачу, композитор в знак протеста решил уйти с поста директора Музыкального общества и отказался от дирижирования шестью концертами в будущем году. Обо всем этом он сообщил 17 февраля/1 марта из Флоренции в большом письме московскому отделению Русского музыкального общества.

Со своей стороны Юргенсон известил его о новых осложнениях с Михаилом Клименко, который работал у него в типографии и не прижился из-за строптивости характера: в любом требовании администрации он усматривал желание его унижить. Уйдя из типографии, Клименко очень нуждался, у него развился туберкулез. Композитор ответил издателю в феврале из Флоренции: «Клименко действительно неблагодарен, но многое ему можно простить, когда он умирает. Это человек с большими способностями и с большой амбицией, которому не везло. Отсюда страшное озлобление, но в последнее наше свидание он так трогательно просил у меня прощения, что я все забыл».

С каждым днем Флоренция казалась Чайковскому все более невыносимой. 27 марта/8 апреля он переехал в Рим и в тот же день написал Модесту: «По радостному чувству, которое охватило меня сегодня, когда я вышел на улицу и понюхал знакомый римский воздух, увидел столь когда-то знакомые места, я понял, что сделал величайшую глупость, поселившись не сразу в Риме. Впрочем, не буду бранить бедную, ни в чем не повинную Флоренцию, которую, сам не знаю почему, возненавидел и которой между тем я должен быть благодарен за то, что без помехи написал “Пиковую даму”. Рим ужасно изменился. <...> Но, несмотря на все эти переломы, я испытываю необыкновенное удовольствие, снова находясь в милом городе. К этому чувству примешивается меланхолическое сознание канувших в вечность годов, канувшего в вечность Н. Д. Кондратьева. <...> Николая Дмитриевича вспоминаю ежеминутно; оно и грустно до слез, и вместе почему-то приятно. <...> Милый, милый Рим!»

Чтобы увидеть знаменитую статую Антиноя, возлюбленного римского императора Адриана, он поехал в Ватикан, не испытывая, однако,

особенного желания бродить по музеям. Вскоре появился неизменный атрибут Рима — Голицын, которого, как писал Петр Ильич в письме Модесту, он продолжал «очень любить» и в этот раз «был рад его видеть». Приехав из Флоренции больным и усталым, композитор быстро поправился и все три римские недели не встречался ни с кем, кроме близких знакомых, успев инструментовать три первые картины «Пиковой дамы». В конце марта Чайковский и Мекк после почти четырехмесячного перерыва одновременно написали друг другу: он из Рима, она — из Ниццы, их переписка возобновилась, и ничто не предвещало шок, который ему предстояло пережить несколько месяцев спустя.

## Глава двадцать шестая. Горькое расставание

Свое пятидесятилетие Чайковский отметил с Модестом и близкими друзьями уже в Петербурге, а в первых числах мая отправился во Фроловское. К этому времени, по его просьбе, Алексей подыскал новую усадьбу. Дом был приготовлен и убран в соответствии со вкусом хозяина, но особенной радости ему не принес. Алешу он нашел похудевшим и изменившимся после смерти жены. Лес, в котором он любил гулять, был продан и вырублен до последнего дерева. Все это его сильно расстроило, и зрелище уничтоженных деревьев преследовало его еще долго.

Лето Петр Ильич посвятил сочинению секстета для струнных инструментов «Воспоминание о Флоренции» и инструментовке оперы «Пиковая дама». Фон Мекк писала, что высылка очередной бюджетной суммы задерживается до ее возвращения из Висбадена в Москву. В конце мая проездом в Гранкино у Чайковского остановились Модест и Коля, которым он пообещал приехать в августе в гости. Вскоре появился Боб. Чайковский писал Модесту: «Видел я сегодня во сне Боба и вследствие этого сна у меня непреодолимое желание его видеть. Может быть, в самом конце мая я приеду, чтобы повидать его, а то ведь он проскользнет». Ему же 12 июня 1890 года: «После вашего отъезда через 2 дня приехал Боб и провел у меня 3 суток. Было необыкновенно приятно и погода благоприятствовала. Мы с ним читали; оказывается, Боб обожает читать вслух вещи, которые он знает и которые ему нравятся, другому, если другой их не знает. <...> Мы ежедневно гуляли с ним, а в последний день пребывания были в дальнем казенном лесу, куда Алексей приезжал с чаем. Впоследствии я узнал из письма miss Eastwood (английская гувернантка младших детей Давыдовых. — А. Я.), что Боб свободно мог остаться у меня еще дня 3, но он уверял, что не может. Из чего я заключаю, что его приезд ко мне — жертва, хотя и не тягостная. Я только отмечаю этот факт, но нисколько не обижаясь, ибо по себе знаю, что можно любить человека, но не особенно любить провести у него более известной порции времени». Он шутливо писал племяннику 5 июня 1890 года: «День твоего отъезда был для меня печальный. <...> Будь ты мальчик интересный, умный — можно было бы еще как-нибудь убить время, но взяв во внимание твою отчаянную тупость и глупость, я прихожу в ужас о том, что бы я испытал в течение трех дней. Пришла телеграмма от Мити, из которой я усматриваю, что или ты напутал или он, но только из-за этой путаницы ты уехал двумя сутками

ранее, чем можно было».

Приведенный фрагмент характерен для переписки Чайковского с племянником: в ней поражает смесь патетики, дидактики, иронии и самоуничижения. Композитор проходил трудную эмоциональную школу: он имел дело с существом юным, неопытным и безответственным. Он понимал, что в отношениях такого рода нельзя навязывать свое общество племяннику, подчеркивать свою жизненную заинтересованность в нем. Много приходилось сносить, на многое стараться не обращать внимания. Нужно было считаться и с его друзьями, как явствует из письма Модесту: «Боб мне наконец написал. Его поездка в Гранкино — в зависимости от приезда Рахманова».

Первого июля во Фроловское прибыл слуга фон Мекк Иван Васильев и передал письмо хозяйки с вложенными в него шестью тысячами рублями серебром — бюджетной суммой на весь год. Петр Ильич поблагодарил ее короткой запиской, но тотчас почувствовал себя обязанным ответить Пахульскому, незадолго до этого приславшему свои сочинения. Как обычно, он раскритиковал их, порицая любительский уровень и технику, которая продолжала страдать «какой-то незрелостью, отсутствием чистоты», и посоветовал вместо писания произведений, «пропитанных современностью», «позаняться бесхитростными симфоническими формами в духе классицизма».

Пахульский ответил 6 июля, прося разрешения приехать 14-го и поговорить о своих сочинениях. В оговоренный день он появился во Флоровском с фотографом, который по заказу фон Мекк сделал множество снимков усадьбы и ее обитателя. Позднее Чайковский получил альбом с фотографиями.

Кроме того, Петр Ильич планировал повидаться с Пахульским в конце августа в Подольске по дороге в Тифлис, о чем сообщил Надежде Филаретовне 31 июля. Неизвестно, состоялась ли эта встреча, как неизвестно и то, было ли отправлено письмо самому Пахульскому по поводу этих планов. 7 августа он выехал к Анатолию, по пути навестив Модеста и Колю в Гранкине, где должен был гостить и Боб. Они решили все вместе отправиться в Каменку, а затем повидаться с Анной в ее поместье Копылово. Приятно проведя время в Гранкине, Чайковский был потрясен контрастом с положением дел в имении Давыдовых — его сестра не переставала «болеть», дозы морфина увеличивались, у нее начались припадки, близкие к эпилептическим, и обнаружилась все растущая страсть к алкоголю. Вдобавок из Москвы к родителям вернулся умирать его протеже Михаил Клименко, и нужно его было часто навещать. В первых

числах сентября только Петр Ильич и Коля отправились в Тифлис: Боб остался с матерью в Каменке, а Модест уехал в Петербург.

Тифлис как всегда располагал к отдыху, развлечениям и меньше всего — к работе. Володю Аргутинского композитор нашел ужасно погрубевшим и подурневшим, но, несмотря на это, очаровательным. К тому времени Коля подружился с молодым князем, причем инициатива исходила больше от последнего. Появился неизменный гид Чайковского по тифлисским значным местам — Кокодез, и стремительно понеслись дни, заполненные встречами, разговорами, ресторанами и винтом.

В Тифлисе Петр Ильич получил два письма от фон Мекк. Первое датировано 13/25 сентября и по тону решительно ничем не отличается от всех ее предыдущих писем. Начинается оно обычным ласковым обращением: «Милый, дорогой друг мой!» и завершается в еще более экзальтированной манере: «Будьте здоровы, дорогой, несравненный друг мой, отдохните хорошенько и не забывайте безгранично любящую Вас Надежду ф. Мекк», и в постскрипуме указание, предполагающее дальнейшую переписку: «Адресовать покорно прошу в Москву».

Письмо это касалось больной для Надежды Филаретовны темы: о том, как ее дети растрачивают свое состояние. Наибольшая часть упреков адресована Николаю в связи с его неудачной покупкой имения Копылово и неспособностью (вызванной невозможностью) управиться с ним. Как мы помним, купить Копылово, вопреки ее мнению, Николаю посоветовал его тесть. Поэтому Льву Давыдову тоже досталось в этом письме: «Я не могу обвинять в этом Колю, потому что он был очень молод и совершенно неопытен, но я удивляюсь, что Лев Васильевич так мало заботился о благосостоянии своей собственной дочери, что мог толкнуть юного и неопытного мальчика на такой скользкий путь, как возня с имением». Обычно Надежда Филаретовна щадила родственников Петра Ильича, и то, что на этот раз прозвучала горечь, свидетельствует, что нервы ее были на пределе. «Боже мой, боже мой, как это все ужасно! Кладешь всю свою жизнь, все способности на то, чтобы доставить своим детям обеспеченную, хорошую жизнь, достигаешь этого, но для того, чтобы очень скоро увидеть, что все здание, воздвигнутое тобою с таким трудом и старанием, разрушено как картонный домик. Как это жестоко, как безжалостно!»

Акцент на Николае и на имении Копылово был сделан потому, что именно оттуда Петр Ильич писал «лучшему другу» предшествующее письмо (4 сентября), где были такие слова: «Я уверен, дорогой друг, что и Вы вынесете из посещения Копылова отрадное впечатление». В имении этом она так и не побывала. Другие ее дети преуспевали не лучше Николая:

«Сашок на своем мясном экспорте также потерял уже половину состояния и теперь рискует потерять остальное. <...> Вот и тоже разорение, и Вы не можете себе представить, милый друг мой, в каком я угнетенном, тоскливом состоянии». И, наконец, главное бельмо на глазу — князь Андрей Ширинский-Шихма-тов, муж младшей дочери Милочки: «Состояние продолжает уменьшаться, князь по-прежнему сумасшествует, неистовствует, а она любит [его] без ума и, как ребенок, ничего не понимает, подписывает все, что он ей подкладывает, и не видит, что идет к гибели». И уже с интонацией отчаяния: «Поправить я нигде ничего не могу и боюсь только, чтобы самой не сойти с ума от постоянной тревоги и постоянно ноющего сердца. Но простите, дорогой мой, что я докучаю Вам своими жалобами; никому не весело их слушать».

Письмо это производит тяжелое впечатление, но в нем нет ни малейшего указания на то, что все эти обстоятельства могли хоть как-то отразиться на их отношениях. Надежда Филаретовна часто делилась с композитором, в котором видела единственного друга, своими финансовыми трудностями, и он, как умел, оказывал ей моральную поддержку.

Это письмо последнее из дошедших до нас писем фон Мекк Чайковскому. Еще одно, полученное им 22 сентября и сообщавшее о потере состояния и прекращении денежной субсидии, утрачено. Разрыв их отношений произошел совершенно неожиданно и представляет собой, пожалуй, куда более загадочное обстоятельство в биографии композитора, чем его породившая бесконечные дискуссии смерть.

Не только в интонации, но и в содержании предпоследнего письма Надежды Филаретовны нет ничего необычного, никакого намека на грядущий разрыв. Напротив, оно обращено к любимому и любящему человеку, о котором знаешь, что он поймет и разделит твои тревоги, и с которым, не таясь, делятся глубоко личными переживаниями. Одного этого факта достаточно, чтобы отвергнуть мнение, поддерживаемое рядом биографов, будто одной из причин разрыва было с годами накопившееся чувство неудовлетворенности уровнем и качеством их отношений. Предпоследнее письмо датировано 13 сентября; то же, которым она извещает о прекращении субсидии, получено 22-го, а значит, написано тремя-четырьмя днями раньше. Допустить, что в течение недели произошло «прозрение», «осознание» ею его измены, на 180 градусов изменившее саму природу ее чувств к нему, невозможно.

Много лет назад она действительно писала, что будет помогать ему, пока отношения между ними сохранятся на устраивающем ее уровне, и

биографы ухватились за эту цитату. В ее характере было бы высказаться по этому поводу прямо. В таком случае он должен был прибегнуть к самооправданию, но ничего подобного мы в его ответе не обнаружим. Итак, единственной причиной прекращения субсидии Надежда Филаретовна объявила постигший ее финансовый крах.

Еще раз подчеркнем тот факт, что между цитированным письмом — теплым, интимным, доверительным, любящим — и последовавшим за ним разрывом прошло около недели. Один из первых интерпретаторов происшедшего, комментатор «Переписки с фон Мекк» (изд. 1934–1936) и «Писем кровным» (изд. 1940) Владимир Жданов предполагает: «Постепенно в течение последних лет переписка сама собой замирала — было много искусственного в обязательном обмене писем двух лиц, ничем в жизни не связанных; он должен был прерваться, что и случилось, наконец. Но и это объяснение нельзя считать правильным. Все дело в том, что произошел неожиданный разрыв, — и в оскорбившей Чайковского форме».

Первое невольно возникающее впечатление: решение о разрыве было внезапным. Отсюда делается вывод, что причиной стала неожиданно ею раскрытая информация какого-то катастрофического свойства, вроде гомосексуальности композитора, и — как следствие — предполагается, что благодетельница, поставленная перед неопровержимостью фактов, вознегодовала и поступила согласно присущим ей строгим представлениям о морали. Такова концепция, явно или молчаливо положенная в основу большинства попыток биографов объяснить разрыв. Наиболее ярко это выражено Берберовой: «Что-то, казалось, переполнило внезапно чашу ее знания о нем. Наступил день, когда она, тринадцать лет его знавшая, узнала о нем последнюю правду — от собственного брата — и вычеркнула Чайковского из своего сердца».

Эта точка зрения проистекает из комментариев советского издания переписки, где сказано, хотя и более осторожно, но в том же смысле: «... возможно, что дети (а может быть, и ее брат) раскрыли Н. Ф. фон Мекк факты, порочащие личную жизнь Чайковского. <...> При этой гипотезе становятся понятными развернувшиеся события: разрыв без объяснений и без формального разрыва, обострившаяся нервная болезнь Мекк, смущенно-любезные письма Пахульского. Чайковский мог догадываться о такой причине разрыва, и это было самое для него страшное. Всю жизнь боялся он огласки, его преследовала возможность скандала. Сплетен было много. Если они доходили, то нервировали и пугали, но гроза разразилась с неожиданной стороны и без шума — молчаливым отходом близкого

человека».

Мы надеемся показать, что подобное объяснение при внимательном прочтении текстов и имеющихся в распоряжении фактов оказывается невозможным, даже если не иметь в виду высказанное нами убеждение, что по логике вещей фон Мекк должна была узнать об этом или догадаться из светских сплетен уже вскоре после их эпистолярного знакомства. Обратимся к текстам, важнейший из которых — последнее письмо композитора «лучшему другу», ответ на ее извещение о банкротстве и прекращении субсидии. Чайковский писал из Тифлиса 22 сентября:

«Милый, дорогой друг мой! Известие, сообщаемое Вами в только что полученном письме Вашем, глубоко опечалило меня, но не за себя, а за Вас. Это совсем не пустая фраза. Конечно, я бы солгал, если бы сказал, что такое радикальное сокращение моего бюджета вовсе не отразится на моем материальном благосостоянии. Но отразится оно в гораздо меньшей степени, нежели Вы, вероятно, думаете. <...> Дело в том, что Вам, с Вашими привычками, с Вашим широким масштабом образа жизни предстоит терпеть лишения! Это ужасно обидно и досадно; я чувствую потребность на кого-то сваливать вину во всем случившемся (ибо, конечно уж, не Вы сами виноваты в этом) и между тем не знаю, кто истинный виновник. Впрочем, гнев этот бесполезен и бесцелен, да я и не считаю себя вправе пытаться проникнуть в сферу чисто семейных дел Ваших. Лучше попрошу Владислава Альбертовича написать мне при случае, как Вы намерены устроиться, где будете жить, в какой мере должны подвергать себя лишениям. Не могу высказать Вам, до чего мне жаль и страшно за Вас. Не могу вообразить Вас без богатства!..

Последние слова Вашего письма немножко обидели меня, но думаю, что Вы не серьезно можете допустить то, что Вы пишете. Неужели Вы считаете меня способным помнить о Вас только пока я пользовался Вашими деньгами! Неужели я могу хоть на единый миг забыть то, что Вы для меня сделали и сколько я Вам обязан? Скажу без всякого преувеличения, что Вы спасли меня и что я, наверное, сошел бы с ума и погиб бы, если бы Вы не пришли ко мне на помощь и не поддержали Вашей дружбой, участием и материальной помощью (тогда она была якорем моего спасения) совершенно угасавшую энергию и стремление идти вверх по своему пути! Нет, дорогой друг мой, будьте уверены, что я это буду помнить до последнего издыхания и благословлять Вас. Я рад, что именно теперь, когда уже Вы не можете делиться со мной Вашими средствами, я могу во всей силе высказать мою безграничную, горячую, совершенно не поддающуюся словесному выражению благодарность. Вы,



вероятно, и сами не подозреваете всю неизмеримость благодеяния Вашего! Иначе Вам бы не пришло в голову, что теперь, когда Вы стали бедны, я буду вспоминать о Вас иногда!!! Без всякого преувеличения я могу сказать, что я Вас не забывал и не забуду никогда и ни на единую минуту, ибо мысль моя, когда я думаю о себе, всегда и неизбежно наталкивается на Вас. Горячо целую Ваши руки и прошу раз навсегда знать, что никто больше меня не сочувствует и не разделяет всех Ваших горестей. Ваш П. Чайковский».

Несмотря на важность этого текста, извлечь из него можно немного, но существенное: в ее письме прекращение субсидии объяснялось финансовым крахом семейства, и содержалась фраза, приблизительно восстанавливаемая как: «Не забывайте и вспоминайте\* иногда». Эта фраза опровергает мотивацию, предложенную Берберовой и другими: когда в порыве праведного негодования на сексуальные пороки порывают с человеком и «вычеркивают его из своего сердца», его не просят «не забывать и вспоминать иногда».

Даже если фон Мекк лишь теперь узнала об ориентации композитора, это не могло явиться определяющим мотивом ее поступка. Версия эта возникла у ее внуков в 1930-е годы после ознакомления с перепиской. Не зная об истинной причине разрыва, они строили догадки и делали выводы на основе собственных представлений о морали, так как из-за свойственной Надежде Филаретовне скрытности в личных делах лишь немногие из большого семейства имели представление о ее отношениях с Чайковским.

Правнуки оказались проницательнее. Георгий Римский-Корсаков в своей статье, посвященной истории семейства фон Мекк, совершенно справедливо замечает: «Трудно допустить, что, живя в Москве уже многие годы, будучи знакома со многими музыкантами и тесно связана с консерваторскими кругами, она не знала о том, что, конечно, не могло быть тайной в этих кругах, — об особых вкусах Чайковского. В какую бы “цитадель” ни замыкалась, под какой бы стеклянный колпак от общества ни пряталась, все же она интересовалась по-женски многим, что окружало ее, чем и как живут другие люди, и особенно те, которые принадлежали к миру искусства музыки».

Наконец, не следует полагать, что она избрала денежный кризис в качестве придуманного ею предлога: несмотря на то, что фон Меккам снова удалось справиться с угрозой банкротства, она была и на этот раз вполне реальной. Таким образом, тезис об отвращении Надежды Филаретовны к сексуальной стороне жизни ее многолетнего корреспондента как причине разрыва принять нельзя.

Столь же несостоятельно впечатление, будто разрыв произошел внезапно — как если бы ее постигло неожиданное «откровение» или «разочарование». О том, что отношения рано или поздно закончатся, она должна была знать, по крайней мере, с середины 1889 года. Это можно вывести из ее предпоследнего письма. Зная ее характер, невозможно предположить, что она была способна на столь глубокое лицемерие: упомянутое письмо — еще раз подчеркнем — письмо человека любящего человеку любимому. Если она, не желая прерывать отношения (как явствует из его тона и содержания), тем не менее пошла на это, то, следовательно, была вынуждена так поступить.

Прежде чем принять такой вывод, необходимо обосновать и другую его предпосылку. Итак, ни в день написания письма, ни неделю спустя она не могла по собственной воле стремиться к разрыву. Из чего же тогда следует, что она уже в течение некоторого времени знала о его неизбежности и готовилась к нему? На это есть важное указание, привлекающее внимание еще Жданова: «Но в то же время очень странный поспешность Мекк в выплате последней “бюджетной суммы” (без его просьбы и за целый год вперед), а также ее нежелание делать кого-либо посредником при этой уплате». То есть она на год вперед обеспечила «несравненного друга» из-за боязни, что в дальнейшем не сможет посылать ему регулярные суммы. Так не поступают по отношению к человеку, с которым намереваются порвать по моральным соображениям.

По мнению Жданова, обстановка сильно изменилась к середине лета 1890 года, когда Надежда Филаретовна выслала ему тайком последнюю бюджетную сумму. Разрыв произошел в сентябре и должен был быть вызван каким-то конкретным событием, которое парализовало ее волю. На денежных авансах Петру Ильичу следует остановиться подробнее. Попадая из-за своей расточительности в стесненное положение, он время от времени просил у нее регулярную субсидию авансом за несколько месяцев сразу. Однако прежде этого никогда не случалось по ее инициативе. Впервые подобное произошло 24 июля 1889 года: «Милый дорогой друг мой, я хочу просить Вас, не позволите ли Вы мне послать Вам теперь чек на бюджетную сумму от 1 октября 1889 до 1 июля 1890 года, т. е. четыре тысячи пятьсот рублей, потому что мне было бы удобнее перейти к сроку посылки Вам на 1 июля, так как в это время я обыкновенно бываю в России. Если Вы мне это разрешите, дорогой мой, то нельзя ли Вам, будучи в Москве, зайти ко мне в дом и получить от Ивана Васильева пакет с чеком, который я бы ему и дала для передачи Вам? Если так можно, то не откажите сообщить мне, милый друг мой».

Предложение было принято с энтузиазмом: «Предложение Ваше выдать мне теперь чек на бюджетную сумму до 1 июля 1890 г. принимаю с глубочайшей благодарностью. Это тем более для меня приятно, что именно в самом непродолжительном времени я должен приняться за устройство своей московской квартиры, и в деньгах буду сильно нуждаться. Да и вообще, я бываю в некотором финансовом кризисе именно всегда в конце лета, и поэтому Ваше предложение является для меня удивительно кстати! Благодарю Вас, милый, добрый, дорогой друг мой! <...> Еще и еще благодарю Вас!»

Чайковский был доволен и ни о чем не беспокоился. Но необходимо задать вопрос: почему фон Мекк, человек с установившимися привычками и всегда следовавший в делах определенному порядку, вдруг решила его таким образом изменить?

Еще более показательны ее поведение через год. Письмо от 28 мая 1890 года: «Дорогой мой, у меня есть к Вам просьба. Срок высылки бюджетной суммы есть 1 июля, а я приеду в Москву только 1 июля, то не позволите ли Вы мне несколько дней опоздать высылкою чека, так как мне не хочется поручать этого кому-либо в Москве и предпочитаю сделать [это] сама, когда вернусь. Не откажите, мой милый друг, сообщить мне Ваш ответ, и [если] моя просьба доставит Вам хотя малейшее затруднение, то усердно прошу нисколько не стесняться сказать мне этого, и я тогда прикажу из Москвы сейчас выслать». Письмо заканчивается так: «Всею душою безгранично Вас любящая и преданная Вам». Он отвечал 2 июня: «Поспешаю ответить на письмо Ваше, только что мной полученное. Я был до слез тронут Вашей заботливостью и памятью обо мне. Само собою разумеется, дорогая моя, что как Вам угодно и удобно, так пусть и будет!» И 1 июля: «Сейчас приехал Иван Васильев и передал мне письмо со вложенными в него 6000 рублей серебром бюджетной суммы. Бесконечно глубоко благодарен Вам, дорогая моя!»

По всей видимости, он не ожидал, что на этот раз субсидия будет выдана на целый год вперед. На следующий день после получения денег он снова обращается к ней: «Боюсь, что я недостаточно выразил Вам благодарность свою. Да, впрочем, никакими словами я и не могу выразить, сколько я благодарен Вам, сколько тронут Вашим вниманием и заботливостью! Согласно Вашему совету, я отдам две трети бюджетной суммы на текущий счет в банке. Я твердо решился с этого года откладывать часть получаемых мной денег и со временем приобрести все-таки какую-нибудь недвижимость, весьма может быть, Фроловское, которое мне, несмотря на вырубку леса, очень нравится».

До нас не дошло письмо, которым Надежда Филаретовна сопровождала последний бюджетный чек, но из вышеприведенной цитаты можно сделать вывод, что в нем содержался совет положить большую часть денег в банк: иначе говоря, этим она снова выдавала свои опасения о будущем: если она будет вынуждена прекратить субсидию, положенные в банк деньги растянутся на более долгий срок.

На первый взгляд причиной этих событий могли быть финансовые дела: опасаясь краха, она высылала вперед крупные суммы, чтобы выполнить принятые обязательства и на некоторое время обеспечить «бесценного друга» в случае своего банкротства. Однако это объяснение кажется недостаточным. По опыту своих прежних отношений с благотельницей Чайковский полагал, что при любом обороте событий субсидия останется в неприкосновенности: при масштабе мекковских капиталов, как за несколько лет до этого уверяла она сама, даже в случае разорения эта сумма была бы слишком ничтожной. К тому же, если бы угроза лишения субсидии из-за разорения существовала реально, она с присущей ей честностью должна была об этом предупредить, раз уж заранее начала принимать меры — иначе следовало бы обвинить ее в безответственности, пороке отнюдь ей не свойственном. Значит, не финансовые обстоятельства, а другая причина более года побуждала фон Мекк к разрыву Единственным логичным объяснением произошедшего становится предположение о внезапном ухудшении ее здоровья. О том, что это может случиться в любой момент, она должна была знать на протяжении последних полутора-двух лет, что проясняет установленную ею практику выдачи композитору субсидии на год вперед; и нельзя исключить, что именно в дни, предшествовавшие разрыву, ей был вынесен смертельный диагноз, который вкупе с катастрофическими финансовыми новостями и неизлечимой болезнью сына полностью парализовал ее морально и физически.

О ее очень серьезной болезни знали к этому времени все члены большого семейства фон Мекк. Об этом были хорошо осведомлены многие их друзья и знакомые. Только Петр Ильич почему-то отказывался в это верить.

Обратимся сначала к свидетельству племянницы композитора Анны, жены Николая фон Мекка, хотя некоторые могут обвинить ее в отсутствии объективности в отстаивании семейных интересов. Она, как мы знаем, не принадлежала к числу фаворитов Надежды Филаретовны, хоть и старается убедить читателей своих воспоминаний в обратном, но тем не менее должна была пребывать в курсе событий, узнавая о них от мужа. Читаем

написанное ею о свекрови: «Она стала сильно хворать, безумные головные боли по несколько дней делали ее совершенно неспособной принимать участие в жизни, она сильно оглохла, не могла посещать концерты, у нее сделалась сухотка правой руки, и писать дяде она могла только ведя правую руку левой или она диктовала нам письма. Туберкулезный процесс в легких усиливался, а в 1889–1890 году она заболела тяжелым нервным заболеванием, глубоко взволновавшим нашу семью».

Николай Кашкин в комментариях к жизнеописанию композитора сразу после его появления в 1902 году сообщает: «На Чайковского всего сильнее подействовало в этом случае то обстоятельство, что на свое, единственное письмо, написанное в ответ на уведомление о прекращении субсидии, он не получил уже никакого ответа. <...> Если бы Петр Ильич навел основательные справки, то он мог бы узнать, что письмо от 13 сентября 1890 года было вообще последним, написанным Надеждой Филаретовной в жизни, ибо давнишняя, застарелая чахотка осложнилась у нее острым воспалением легких, и хотя организм и выдержал это сочетание болезней, но силы больной упали и она почти потеряла возможность владеть руками, так что когда ее подпись была нужна для деловых бумаг, то она делала это обеими руками, то есть поддерживая правую левой. Сверх того, помимо опасений конечного разорения и собственной тяжкой болезни, над бедной женщиной разразился еще страшный удар, сильнее которого она не могла испытать в жизни, а именно: почти одновременно с ней заболел ее старший сын Владимир Карлович, которого она любила более всего на свете, — и заболел страшным недугом, сведшим его после нескольких лет страданий в могилу. Со смертью сына личная жизнь Надежды Филаретовны окончилась, и остальное время она уже не жила, а только угасала, теряя постепенно зрение и слух; глубоко мистическое настроение овладело ею, и она лишь в нем искала утешения и поддержки. Тем не менее, как нам пришлось слышать от наиболее близких к ней лиц, родственников и посторонних, — она постоянно вспоминала о Петре Ильиче, имела о нем подробные сведения и говорила, что их дружба остается лучшим воспоминанием ее жизни, которую она почитала оконченной».

О том, что ей было трудно писать, упоминается и в предпоследнем письме Чайковского от 4 сентября: «Мы очень много говорили с Анной и Колей про Вас. Между прочим, Коля рассказывал мне, как Вам отяготительна бывает корреспонденция. Я давно уж знаю, что вследствие частых головных болей Вам трудно писать письма; между тем Вы так добры, так бесконечно внимательны, что почти на каждое письмо мое отвечаете. Мысль, что из-за меня Вы утруждаете и расстраиваете себя, для

меня невыносима. Умоляю Вас, добрый, милый друг, никогда не стесняться ответами на мои письма. Как ни радуюсь я, получая Ваши письма, но предпочитаю, чтобы Вы ради меня никогда не утруждали и не расстраивали себя. Известия же о Вас, я надеюсь, не откажет сообщать мне от времени до времени Владислав Альбертович». Занятый своими делами, Чайковский, может, и не обратил особого внимания, что начиная с конца 1889 года письма Пахульского стали все подробнее описывать состояние ее ухудшающегося здоровья.

Но, как отмечают комментаторы, одним физическим состоянием фон Мекк также невозможно объяснить происшедшее: «Мекк, конечно, прямо бы объявила об этом Чайковскому, и разрыв не был бы разрывом, а был бы только прекращением личного общения, отнюдь не сопряженным с отменой материальной поддержки. Мотивы такого разрыва были бы известны Чайковскому и не могли бы оскорбить его».

Помимо стороны физической, Анна рассказывает о нравственном аспекте, делая упор на смертельной болезни, прогрессивном параличе Владимира Карловича как важном факторе, повлиявшем на ее душевное состояние: «Но самое тяжелое — это было заболевание ее старшего, любимого сына. Он умирал на ее глазах от длительной, мучительной болезни. В ней что-то надорвалось, она оглянулась на свою жизнь, и ей показалось, что все эти невзгоды — наказание за то, что она слишком долго и интенсивно жила личной жизнью; дружба ее с Петром Ильичом отнимала ее от семьи и дома, и, может быть, она виновата, что так ужасно гаснет ее талантливый сын. “Мой грех, — сказала она себе, — я должна его искупить”. Она вернулась к вере и стала молиться, просила меня заказывать молебны и разные другие обряды». Это подтверждается и другой родственницей, женой ее внука, оставшегося от старшего сына, Варварой фон Мекк.

Угроза здоровью Владимира Карловича действительно являлась в это время главным источником страданий больной матери. В ее письме композитору от 22 июля говорится: «Вчера у меня был мой сын Володя — это всегда большая радость для меня видеть его, но его здоровье меня очень беспокоит. У него так расстроились нервы от этой напряженной борьбы с министром и многих неприятностей в жизни, что я со страхом и тоскою смотрю в будущее». Именно в это время она освободила Владимира от ведения своих дел и передала их неопытному Николаю (заметим, не опытному Пахульскому, который теперь был уже зятем и членом семьи). Последний год жизни Владимир был прикован к постели. Он умер в 1892 году в Висбадене, куда был привезен вместе с матерью. Тогда же от

передозировки морфина скончалась и его жена Елизавета.

В поддержку своих слов о причинах разрыва Анна сообщает об эпизоде, произошедшем некоторое время спустя: «Также запечатлелся в моей памяти и мой разговор с мамой в Висбадене. Я сидела в сумерках у ее ног на покато́й кушетке. Глаза у нее горели каким-то красным блеском. Говорить в то время она могла только шепотом, так как туберкулезный процесс перешел на горло. И тогда я тоже впервые поняла, как тяжело она пережила разрыв с дядей. Ее чувство восторженного поклонения дяде не изменилось. “Я знала, что я ему больше не нужна и не могу больше ничего дать, я не хотела, чтобы наша переписка стала для него обузой, тогда как для меня она всегда была радостью. Но на радость для себя я не имела права. Если он не понял меня и я ему была еще нужна, зачем он мне никогда больше не написал? Ведь он обещал! Правда, я отказала ему в материальной помощи, но разве это могло иметь значение?” Вот что она мне сказала».

Но как он мог понять душевное смятение и мотивы ее поступка, если она ни словом не намекнула на это ни в одном из своих писем? О том, что там не было сказано решительно ничего о личном, можно судить по ответу Чайковского: если бы там содержались хотя бы какие-то субъективные моменты, он не преминул бы в свою очередь их коснуться. Очевидно, в последнем, недошедшем до нас письме, судя по всему, речь шла только о финансовых проблемах, на что композитор и отреагировал со страстностью и пониманием, на какие был способен. Можно возразить, что с присущей ей откровенностью она должна была поделиться с «бесценным другом» терзавшими ее нравственными или религиозными муками — тогда прекращение личных контактов опять же обрело бы достойную и оправданную форму, не способную оскорбить композитора. Но, видимо, в тот момент, осознав, что ей скоро предстоит умереть, она была полностью деморализована.

Развивая свою версию, другой дальний родственник Чайковского, французский писатель Владимир Волков, предпринял методологически верную попытку взглянуть на дело согласно логике характера Надежды Филаретовны, проступающего из ее переписки и мемуарных свидетельств: «То, что мадам фон Мекк была тираничной, достаточно очевидно, но она не была жестокой, глупой, вульгарной, умственно больной, детски тщеславной или легко поддающейся влиянию, какой ее иногда представляют. Чайковский не видел ее капризной женщиной. Она была страстной, гордой, бескомпромиссной. Нет оснований предполагать, что ее мотивы были легкомысленными или низкими. Если благородный мотив

может быть найден, при прочих равных обстоятельствах он должен быть принят как более вероятный, чем любой другой. А жертва — самый благородный из мотивов или полагался таковым нашими предками. Литература восемнадцатого и девятнадцатого столетий исполнена образами возлюбленных, жен, матерей, жертвовавших собой, если какая-либо нация была особенно привержена самопожертвованию, то это, безусловно, Россия».

Жертвенные и религиозные решения принимаются в момент внутренней экзальтации и приводятся в исполнение тут же, не ожидая и дня, не только месяцев. Этим, скорее всего, и следует объяснить внезапность произошедшего.

На письмо, извещавшее о прекращении выплаты субсидии, Петр Ильич ответил, по выражению Берберовой, «немного высокопарно, но хорошо». Этого нельзя, к сожалению, сказать о его реакции на случившееся в письмах Модесту и особенно Юргенсону. Необходимо отвергнуть мнение многих биографов о якобы боязни его, что ее поступок был вызван разоблачением его сексуальных особенностей. Никаких, даже самых косвенных доказательств того, что композитор мог догадываться о подобной причине разрыва, привести невозможно, тем более принимая во внимание его привычку к полной конфиденциальности в переписке с Модестом (Юргенсон, как мы знаем, был в курсе его сексуальных предпочтений). В письмах брату и издателю, отразивших его непосредственную реакцию на прекращение субсидии, нет и намек на гомосексуальные страхи — мысль об этом предмете как причине разрыва даже не приходила ему в голову, иначе он непременно поделился бы ею по крайней мере с братом. Все указывает на признание им того, что фон Мекк уже с давних пор была осведомлена или догадывалась об обстоятельствах его личной жизни, молчаливо не придавая им значения.

Задержка в сообщении о произошедшем разрыве Юргенсону и Модесту объясняется тем, что композитор продолжал тешить себя надеждой и в течение нескольких дней ожидал ответа от фон Мекк. Отсутствие реакции с ее стороны не могло не вызвать у него сильнейшего раздражения и обиды. Явленное самолюбие проявилось в письмах Модесту и Юргенсону, и упор был сделан не на нравственной, а именно на денежной стороне дела. 28 сентября он писал Юргенсону: «Теперь сообщу тебе весьма для меня неприятную вещь. У меня отныне шестью тысячами в год будет меньше. На днях получил от Н. Ф. фон Мекк письмо, в коем она сообщает, что к крайнему своему прискорбию, вследствие запутанности дел и разорения почти полного, принуждена прекратить выдачу ежегодной



субсидии. Я перенес этот удар философски, но тем не менее был неприятно поражен и удивлен. Она так много раз мне писала, что я обеспечен в отношении получения этой субсидии до последнего моего издыхания, что я в это уверовал и думал, что на сей предмет у нее устроена такая комбинация, что, несмотря ни на какие случайности, я не лишусь своего главного и, как я думал, самого верного дохода. Пришлось разочароваться. Теперь я должен совершенно иначе жить, по другому масштабу, и даже, вероятно, придется искать какого-нибудь занятия в Петербурге, связанного с получением хорошего жалованья. Очень, очень, очень обидно; именно обидно. Отношения мои с Н. Ф. фон Мекк были такие, что я никогда не тяготился ее щедрой подачкой. Теперь я ретроспективно тягочусь; оскорблено мое самолюбие, обманута моя уверенность в ее безграничную готовность материально поддерживать меня и приносить ради меня всяческие жертвы. Теперь мне бы хотелось, чтобы она окончательно разорилась, чтобы нуждалась в моей помощи. А то ведь я отлично знаю, что с нашей точки зрения она все-таки страшно богата; словом вышла какая-то банальная, глупая штука, от которой мне стыдно и тошно».

Тягостное впечатление производит желание Чайковского окончательного разорения фон Мекк, и вообще в этом пассаже нет ни ноты сочувствия «лучшему другу». Но все же не стоит судить его слишком строго — в мгновения злобы и вспыльчивости он мог сказать или написать несправедливые вещи о близких людях, а переживаемая здесь после четырнадцати лет столь тесных душевных отношений горечь должна была быть особенно болезненной.

Юргенсон ответил 4 октября: «Несказанно поразила меня весть про Надежду Филаретовну. Я наравне с тобою думал, что она все устроила и наладила и обеспечила! Я помню то письмо 1881 года в Париже, которое она писала после твоего отказа от субсидии по случаю плохих ее дел. Она и тогда утверждала, что твоя доля никоим образом не может пострадать, и т. д. Черт ее знает! Я не знаю, что у них случилось, действительно ли крах или умопомрачение, но мне было очень, очень обидно за тебя, слезы как-то сидят в горле и хочется реветь, но — не могу. Надлежащим образом ничего не могу сообразить».

Несколько дней Чайковский находился в состоянии депрессии, и это отразилось в письме Бобу: «Ты не можешь себе представить, Боб, до чего я изленился на письма; почти совсем перестал их писать. <...> Это письмо я адресую тебе, но, пожалуйста, дай его прочесть и Моде, ибо лень писать ему отдельно. Скажи Моде, что ввиду изменившихся материальных условий моего существования я не хочу теперь нанимать в Петербурге

отдельную квартиру, а просто помещусь в более или менее комфортабельном номере в бывшей “Знаменской гостинице”. Итак, пусть Модя прекратит свои поиски роскошной квартиры». Только через две недели он написал об изменившихся материальных условиях Модесту, и короче, нежели в письме своему издателю: «Не знаю, говорил ли тебе в Москве Юргенсон о радикальном сокращении моего бюджета? Может быть, мое письмо к нему не дошло; я именно поручил ему сообщить тебе известие о себе, ибо писать тебе не мог по незнанию адреса. Н. Ф. фон Мекк написала мне, что разорилась и не может более посылать мне свою субсидию. Вот уж чего я никак не ожидал, ибо имел полнейшее основание считать эту субсидию навсегда для меня обеспеченной! Я мало огорчился уменьшением доходов, но... впрочем, о чувствах, возбуждаемых поступком Надежды Филаретовны, поговорю устно. Хочу, во всяком случае, попробовать жить менее *en grand* (на широкую ногу. — *фр.*)». Модест отреагировал 13 октября в той же растерянной интонации, что и Юргенсон: «Известие о твоём новом материальном положении немало способствовало тому, что я был в меланхолии. Само собой, не шесть тысяч рублей мне жаль (по-моему, эта беда невелика, потому что стоит тебе уничтожить субсидии вроде моей, и ты будешь почти в прежнем положении). Тяжел укол гордости, сделанный тебе».

Укол этот не заживал. Печально, что Чайковский не задумался (во всяком случае, это не отразилось в известных нам письмах) о том, что ее могли вынудить к этому решению ее непреодолимые обстоятельства. Ведь формально никакого разрыва не произошло. В прежние времена бывало, что при обострении болезни, когда Надежде Филаретовне становилось трудно писать самой, ее временно заменял Пахульский. Так случилось и на этот раз. Не получив ответа, Петр Ильич снова обратился к ее зятю-секретарю.

Письма Чайковского к Пахульскому за этот период утрачены. Они известны лишь в кратких выдержках и переложениях в комментариях советского издания «Переписки с фон Мекк», и судить о их общем характере трудно. Ответные письма, опубликованные в новом издании переписки, представляют собой подробные отчеты о ее состоянии, о визитах врачей, предписанном режиме и некоторых деталях болезни. Так, например, 28 октября 1890 года Пахульский сообщил Чайковскому: «Мы все до настоящего времени в Москве по причине болезни Надежды Филаретовны, которая уже больше трех недель страдает бронхитом. В прошлом году в Ницце была у Надежды Филаретовны инфлюэнца, которая заставила ее в продолжение трех месяцев оставаться в комнате. Хотя

теперешнее ее состояние и менее серьезно, чем прошлогоднее, однако, так как мы находимся в суровом московском климате... опасения наши больше и желание одно, как только состояние Надежды Филаретовны позволит, уезжать в Ниццу. <...> Угрожает нам опасность зимовать в Москве, и при этом болезнь Надежды Филаретовны затянется и излечение сильно затруднится. Надежда Филаретовна преимущественно в постели. Пользует ее доктор Шаталов, и лечение пока идет как следует. Очень может быть, что Захарьин будет приглашен для того, чтобы его взгляд на состояние Надежды Филаретовны был известен. Вы понимаете, глубокоуважаемый Петр Ильич, что вся жизнь наша крайне тревожная, и простите, что раньше не писал. <...> Николай Карлович теперь здесь».

Постоянное присутствие доктора и детей в доме, постельный режим, приглашение знаменитого московского врача Григория Захарьина и замечание о «тревожной жизни» дают представление о серьезности болезни фон Мекк. Упоминание в письме Николая свидетельствует о том, что его жена Анна могла обладать информацией из первых рук, что придает ее воспоминаниям большую достоверность.

Три ноябрьских письма Пахульского представляют собой бюллетени о ходе болезни его тещи. 3/15 ноября он сообщал композитору, что два врача, Захарьин и Пospelов, «признали положение Надежды Филаретовны очень серьезным. <...> Теперь лечение... взял на себя Захарьин, и потому есть надежда, что оно будет ведено безупречн[о]. <...> Только что Юлия Карловна поручила от Надежды Филаретовны сказать Вам, многоуважаемый Петр Ильич, что, со слов Надежды Филаретовны, она чувствует себя очень больной и что состояние моральное ее очень скверное!» В двух остальных письмах, написанных в более приподнятых тонах, говорится, что после визитов врачей настроение ее несколько улучшилось, она обрела веру в возможное выздоровление и даже начала слушать музыку. Пахульский сыграл ей на рояле ее любимые вещи: «Не можете себе представить, Петр Ильич, как тронула Надежду Филаретовну музыка. Она расплакалась и пришла в дивное состояние. Мы боялись, как бы это не повредило, но оказалось наоборот — после музыки Надежда Филаретовна стала себя много лучше чувствовать». И далее: «Надежда Филаретовна передает Вам самый сердечный привет и глубокую благодарность за внимание».

Сохранилось семь писем Пахульского композитору за 1891 год о здоровье фон Мекк. 3/15 января он уведомляет композитора, что лишь весной они смогут, в сопровождении врача, выехать в Ниццу. Захарьин бывает у них раз в неделю, его ассистент навещает каждый день.

Надежда Филаретовна «почти весь день в кресле, что и составляет большой успех в лечении, так как было время большого ослабления, что Надежде Филаретовне казалось, что не будет больше в состоянии встать с кровати. Распределивши дневные занятия, тоже за исключением прогулки и катания, т. е. Юлия Карловна и я много читаем вслух». Отвечая на его вопросы, Пахульский отметил: «Прошу Вас сердечно извинить меня, что моей оплошностью и неаккуратностью довел Вас до предположения, которое совершенно противоположно тому, что чувствуют к Вам все, кто имеет счастье быть Вам близким. Надежда Филаретовна, которой я дал читать Ваше письмо, велела передать Вам, “что это невозможная вещь, чтобы она когда-нибудь на Вас сердилась и что отношение ее к Вам неизменно”. Виноват во всем я, а относительно меня — обстоятельства жизни, которые суеят меня и выбивают из седла. <...> Что касается 3-го вопроса в Вашем письме, то ответ на него очень прост: все у нас любят Петра Ильича и удивляются и восхищаются величайшим русским композитором. Успех “Пиковой дамы” радует нас всех бесконечно, и хотя, по нашему мнению, он является и весьма обыкновенной вещью, потому что это есть только должная дань Вашему гению, но приятно видеть, что публика дорастает до понимания Ваших произведений. Одним словом, все и непременно так же, как всегда, и дай Бог, чтобы Вы не переменили Вашего доброго отношения». 8 января Пахульский писал, что «состояние Надежды Филаретовны все такое же, т. е. не хуже, а улучшение получится только в Ницце», поклон от Петра Ильича он, разумеется, передал, и она шлет в ответ «душевное приветствие». Приветы и поклоны следуют и на протяжении нескольких следующих писем.

Весь конец года и начало следующего Чайковский прожил под впечатлением разрыва. В его письмах появилась какая-то усталость, нотки разочарования в жизни и людях. Заехав в конце октября на несколько дней вместе с Колей Конради к брату Ипполиту в Таганрог, к 1 ноября он возвратился домой во Фроловское, а 10 ноября отправился в Петербург на репетиции «Пиковой дамы», премьеры которой состоялась месяц спустя, 7 декабря. Почти все критики нашли в его новом творении перевес частных над общим и крайнюю неравноценность музыкального материала, отмечая эффектность инструментовки, но сожалея о незначительности сюжета и антипатичности образа Германа. Через три дня он присутствовал на репетициях оперы в Киеве. 19 декабря она прошла там с большим успехом. Затем композитор отправился на праздники в Каменку, где гостил Боб. На следующий день после встречи нового, 1891 года он покинул имение Давыдовых. Во Фроловском его ждала срочная работа над

музыкой к трагедии Шекспира «Гамлет», которую он обещал написать для бенефиса Люсьена Гитри в Михайловском театре.

Пятнадцатого января Петр Ильич получил приглашение весной совершить поездку в Америку, устроенную ему берлинским концертным агентом Германом Вольфом. Кроме того, он согласился дирижировать оркестром Колонна в концерте из собственных произведений 24 марта/5 апреля в Париже. Все остальные сходные предложения он отклонил, ссылаясь на больную правую руку, но в первую очередь имея в виду новые творческие планы: к этому моменту Дирекция Императорских театров заказала ему одноактную оперу «Дочь короля Рене» («Иоланта») и балет «Щелкунчик».

В Петербурге, несмотря на большие сборы, была снята с репертуара «Пиковая дама» в связи с отказом тенора Фигнера (от него была без ума петербургская публика), исполнявшего роль Германа, петь без своей жены, певицы Медеи Мей-Фигнер, не имевшей возможности выступать из-за беременности. Со свойственной ему мнительностью композитор истолковал это как нежелание администрации ставить оперу, якобы не пользующуюся успехом у государя, который и в самом деле не удостоил своим посещением ни одного представления «Пиковой дамы», побывав лишь на генеральной репетиции. Он пишет по этому поводу раздраженное письмо директору Императорских театров Ивану Всеволожскому и изливает свой гнев в письмах близким. В своем ответе Всеволожский успокоил автора, уверив его в том, что опера очень понравилась Александру III на генеральной репетиции. Министр двора граф Воронцов-Дашков, прочитав резкое письмо Чайковского Всеволожскому, заметил, что император очень ценит композитора, часто высказывался с великой похвалой о «Пиковой даме» и дал распоряжение своему оркестру каждое воскресенье исполнять мелодии из «Спящей красавицы».

Девятого февраля Чайковский посетил бенефис Гитри, с успехом исполнившего «Гамлета» в сопровождении его музыки, затем отбыл домой, но 19 февраля был вынужден вернуться в Петербург. Алексей женился во второй раз и просил хозяина не смущать его своим присутствием. По иронии судьбы, он венчался в годовщину смерти своей первой жены, поэтому утром была заупокойная обедня, а вечером — свадьба. По словам Петра Ильича из письма Модесту от 25 февраля, новая супруга любимого слуги Екатерина «оказалась очень миленькая и пикантная, страшно во вкусе Лароша, но, — добавляет он, — я на нее всякий раз сержусь, когда вхожу в комнату Алексея во время их чаепития и вижу, как этот человек страшно влюблен в свою жену. Вспоминаю бедную, добрейшую Феклушу,

которая гниет в нескольких саженьях от нас. Должно быть, оттого, что я часто вспоминаю о Феклуше, мне эти дни здесь грустно и я с удовольствием помышляю об отъезде. <...> Алексей был ужасно огорчен, узнав, что я скоро уеду [на гастроли в Америку]. Как я рад, что он женился и влюблен в жену. Не будь этого, я бы уезжал с мучительным чувством».

Чайковский 6/18 марта выехал из Петербурга в Берлин, провал там несколько дней, после чего отправился в Париж, чтобы выполнить обязательства, данные оркестру Колонна.

Во французской столице его ждали Модест и Сапельников. 16/28 марта 1891 года Пахульский сообщал, что фон Мекк, увезенная родными на отдых в Ниццу, «слава Богу, выходит на воздух и понемножку как будто поправляется». В письме Чайковского из Парижа от 26 марта 1891 года большей частью говорится о делах музыкальных, но есть и теплые слова о ней: «Радуюсь, что Надежда Филаретовна так хорошо перенесла путешествие, и надеюсь, что чудеса ниццкого климата скоро совершенно восстановят ее здоровье». В конце письма ей и жене Пахульского передаются «приветствия и поклоны».

Боль от разрыва не утихала. В жизни его образовался вакуум, который нельзя было заполнить никем и ничем. Ситуация не теряла остроты и лишь нагнетала напряженность. Наконец, 6 июня 1892 года, после возвращения из американских гастролей, в ответ на не дошедшее до нас письмо Пахульского Чайковский пишет с затаенной горечью: «Получил сейчас Ваше письмо. Совершенно верю, что Надежда Филаретовна больна, слаба, нервно расстроена и писать мне по-прежнему не может. Да я ни за что на свете не хотел бы, чтобы она из-за меня страдала. Меня огорчает, смущает и, скажу откровенно, глубоко оскорбляет не то, что она мне не пишет, а то, что она совершенно перестала интересоваться мной. Ведь если бы она хотела, чтобы я по-прежнему вел с ней правильную корреспонденцию, то разве это не было бы вполне удобоисполнимо, ибо между мной и ей могли бы быть постоянными посредниками Вы и Юлия Карловна? Ни разу, однако ж, ни Вам, ни ей она не поручила просить меня уведомлять ее о том, как я живу и что со мной происходит. Я пытался через Вас установить правильные письменные сношения с Н[адеждой] Ф[иларетовной], но каждое Ваше письмо было лишь устным ответом на мои попытки хотя бы до некоторой степени сохранить тень прошлого. Вам конечно известно, что Н[адежда] Ф[иларетовна] в сентябре прошлого года уведомила меня, **кто**, будучи разорена, она не может больше оказывать мне свою материальную поддержку. Мой ответ ей, вероятно, также Вам известен. Мне хотелось, мне нужно было, чтобы мои отношения с Н[адеждой] Ф[иларетовной]

нисколько не изменились вследствие того, что я перестал получать от нее деньги. К сожалению, это оказалось невозможным вследствие совершенно очевидного охлаждения Н[адежды] Ф[иларетовны] ко мне. В результате вышло то, что я перестал писать Н[адежде] Ф[иларетовне]; прекратил почти всякие с нею сношения, после того, как лишился ее денег. Такое положение унижает меня в собственных глазах, делает для меня невыносимым воспоминание о том, что я принимал ее денежные выдачи, постоянно терзает и тяготит меня свыше меры. Осенью, в деревне, я перечел прежние письма Н[адежды] Ф[иларетовны]. Ни ее болезни, ни горести, ни материальные затруднения не могли, казалось бы, изменить тех чувств, которые высказывались в этих письмах. Однако ж, они изменились. Быть может, именно оттого, что я лично никогда не знал Н[адежду] Ф[иларетовну], — она представлялась мне идеалом человека: я не мог себе представить изменчивости в такой полубогине; мне казалось, что скорее земной шар может рассыпаться в мелкие кусочки, чем Н[адежда] Ф[иларетовна] сделается в отношении меня другой. Но последнее случилось, и это перевертывает вверх дном мои воззрения на людей, мою веру в лучших из них; это смущает мое спокойствие, отравляет ту долю счастья, которая уделяется мне судьбой. Конечно, не желая этого, Н[адежда] Ф[иларетовна] поступила со мной очень жестоко. Никогда я не чувствовал себя столь приниженным, столь уязвленным в своей гордости, как теперь. И тяжелее всего то, что, ввиду столь расстроенного здоровья Н[адежды] Ф[иларетовны], я не могу, боясь огорчить и расстроить ее, высказать ей все то, что меня терзает. Мне невозможно высказаться, — а это одно облегчило бы меня. Но довольно об этом. Быть может, буду раскаиваться в том, что написал все вышеизложенное, — но я повиновался потребности хоть сколько-нибудь излить накопившуюся в душе горечь. Конечно, ни слова об этом Н[адежде] Ф[иларетовне]. Не отвечайте мне на это письмо».

Тем не менее Пахульский ответил ему 13/25 июня с взволнованной интонацией: «Дорогой, глубокоуважаемый Петр Ильич! Только что получил Ваше письмо от 6 июня и поспешил сию же минуту ответить Вам и доложить, что Вы не так понимаете Надежду Филаретовну и совершенно ошибаетесь на ее счет. Если при том, что она сама писать не могла, многое изменилось, то главною причиною, повторяю, есть и было состояние ее здоровья, тревога за которое отодвигала на задний план все, что не было связано с ее лечением. Вы не знаете, до какой степени лечение Нервнобольных закабаляет их в массу мелких забот и как при этом собственное благополучие делается их единственным кумиром. Благодаря

ее состоянию, да и моему тоже, мои отношения к Надежде Филаретовне сильно изменились тоже, и неудивительно при этом, что у нее нет желания делать меня посредником между ею и Вами. Вас никак и ничто, что исходит от Надежды Филаретовны, оскорблять не должно. Нет человека на Божьем свете, который меньше ее был способен оскорбить. Вам нечего высказывать что бы то ни было Надежде Филаретовне, а если бы Вы по-старому написали ей о себе, да о ней спросили, то ручаюсь, что она тогда откликнется всей душою, и тогда Вы удивитесь, как ничуть ее отношение к Вам не переменялось; но не надо ничуть спрашивать, почему она переменялась, потому что этого нет. Не считаю вправе себе оставлять Ваше письмо от 6 июня и прошу усердно позволения отослать его Вам обратно. Вы очень скоро убедитесь, что я не имел права оставлять его у себя. Простите меня за то, что позволяю себе точно Вам советовать, и верьте, глубокоуважаемый Петр Ильич, что все у нас преданнейшие друзья Ваши и что на эти отношения можно опираться, как на каменную стену. Дай Бог, чтобы мое письмо застало Вас в более мажорном настроении. Всей душой преданный Вам слуга В. Пахульский».

Письмо это крайне невразумительно: с одной стороны, здесь сказано, что композитору «нечего высказывать что бы то ни было Надежде Филаретовне», с другой — предлагается написать ей «по-старому о себе» и «спросить о ней», после чего она «откликнется всей душою». Наконец, в нем присутствует загадочная фраза: «Вы очень скоро убедитесь, что я не имел права оставлять его [письмо Чайковского] у себя». Последовал ли Петр Ильич противоречивым советам Пахульского, неизвестно, но с этого момента их переписка, по всей видимости, оборвалась: не исключено, что Чайковский попросту перестал ему доверять.

Такова, в общих чертах, история прекращения этих удивительных отношений, которая — в ином смысле — стоила композитору, быть может, не меньше нервов и переживаний, чем последствия его женитьбы на Антонине Милюковой. Но несмотря на все изложенное, приходится признать, что — в силу состояния наших источников, отчасти из-за чрезвычайной скрытности самой Надежды Филаретовны — в ней [истории] сохраняются непонятности и белые пятна. Так, например, о том, почему он вместо оставляющей странное впечатление переписки с Пахульским не обратился к Анне и Николаю фон Мекк. Непонятно, чем были вызваны — если принять на веру воспоминания Анны — жалобы свекрови на отсутствие писем от Петра Ильича, в то время как он с сочувствием и достоинством написал ей после получения извещения об отмене субсидии и не получил ответа, а затем долго переписывался с



Пахульским. Можно ли допустить, что этот честлюбивый персонаж, по каким-то своим соображениям, или просто возненавидев знаменитого композитора за снисходительное третирование его самого и его музыкальных сочинений в прошлом, предпочел утаить факт их продолжавшегося эпистолярного общения от своей свекрови, с тем чтобы восстановить бывших корреспондентов друг против друга и сделать возникшее между ними недоразумение непоправимым? Нельзя исключить и того, что у постели умирающей члены ее семьи вели различные интриги в борьбе за наследство, не имевшие отношения к Чайковскому, но косвенно на нем отразившиеся. Как бы то ни было, нам кажется предпочтительней признаться в невозможности на данный момент ответить на эти и подобные вопросы за отсутствием информации, чем высказывать необоснованные предположения, способные лишь запутать существо дела.

До конца жизни Чайковский не мог преодолеть горечь и обиду, вызванную «предательством». В иные минуты даже вскипала злоба — к этому его побуждало и положение финансовых дел: несмотря на полную обеспеченность, он привык к широким тратам и время от времени попадал в денежный цейтнот. Затри месяца до собственной кончины, 3 августа 1893 года, он в последний раз упомянул о фон Мекк в письме Юргенсону, с которым он в выражениях не стеснялся: «Кстати, мне хотелось бы знать состояние моих жалких финансов. Попроси Павла Ивановича составить счет и прислать! О, Надежда Филаретовна, зачем, коварная старуха, ты изменила мне?! А в самом деле, я недавно перечитывал письма Надежды Филаретовны фон Мекк и удивлялся изменчивости женских увлечений. Можно подумать, читая эти письма, что скорее огонь обратится в воду, чем прекратится ее субсидия, а также скорее можно удивляться, что я удовольствуюсь такой ничтожной суммой, тогда как она готова чуть ли не все мне отдать. И вдруг — прощайте! Главное, что я ведь было поверил, что она разорилась. Но, оказывается, ничуть не бывало. Просто бабье непостоянство. Досадно, черт возьми! А впрочем, плевать!..»

Менее всего Надежду Филаретовну можно было упрекнуть в «бабьем непостоянстве», и приведенный пассаж лишь свидетельствует о том, что композитор так и не научился, по большому счету, постигать психологию и характер женщин — ни той, на которой необдуманно женился, ни той, с кем четырнадцать лет вел интенсивную переписку, ознаменовавшую один из самых необыкновенных за последние столетия союзов между мужчиной и женщиной.

## Глава двадцать седьмая. «Четвертая сюита»

Концертный зал в Париже был переполнен, когда 24 марта/5 апреля 1891 года Чайковский дирижировал оркестром Колонна. Исполнялись Третья сюита, симфоническая фантазия «Буря», «Меланхолическая серенада для скрипки с оркестром» (солист Иоганнес Вольф), «Славянский марш» и Второй концерт для фортепьяно с оркестром (солист Владимир Сапельников). Концерт прошел с громким успехом. Игра Сапельникова произвела на зрителей сильное впечатление. Композитора несколько раз вызывали и преподнесли лавровый венок, почти все газетные отзывы были одобрительными. Международная слава неуклонно росла.

Но радость была недолгой: нужно было срочно писать новую оперу и новый балет. Кроме того, тяготила мысль о предстоящих заокеанских гастролях и сильно раздражали бессмысленные визиты и обеды. Его не могли утешить ни Модест, уже месяц находившийся в Париже, ни Сапельников со своей подругой Софией Ментер. Чайковскому очень хотелось уединиться и начать работать. Он отправился в Руан, пытаясь там приступить к выполнению заказов. 29 марта/10 апреля в Париж пришла телеграмма о кончине сестры Александры. В тот же день Модест поехал в Руан, но известить брата об этом так и не осмелился, решив, что эта новость может разрушительным образом отразиться на его и без того плохом состоянии, и даже на его поездке в Америку. Вместо этого он заявил ему, что возвращается в Россию, а Италию, где он собирался отдыхать, решил отложить до следующего раза. Петр Ильич одобрил намерение брата: ему никогда не нравилось отсутствие у Модеста ностальгии по дому, столь развитое у него самого, и он усмотрел в этом желании пробуждение как бы собственных мыслей и чувств.

После отъезда Модеста мучения, вызванные тщетными усилиями над сочинением балета «Щелкунчик» и оперы «Иоланта», превратились в отчаяние. Композитор понял, что к сезону 1891/92 года не успеет «хорошо исполнить взятый на себя труд». Перспектива жить в постоянном напряжении, как перед поездкой в Америку, так и по возвращении, стала, по его словам, «грозным убийственным призраком». Тоска по родине, постоянно сопутствующая ему в заграничных путешествиях, и отсутствие Алеши усугубляли невыносимость его положения. После тяжких раздумий он отправил письмо Всеволодскому с просьбой перенести постановку балета и оперы на следующий сезон. После этого гора свалилась с плеч и

напряжение исчезло. Чтобы развеяться перед гастроями, он несколько дней провел в Париже.

Гуляя по улицам французской столицы, Чайковский зашел в читальный зал, рядом с Гранд-опера, где обычно просматривал русскую прессу. На последней странице «Нового времени» за 31 марта он неожиданно увидел сообщение о смерти Александры. Из читального зала он выбежал «как ужаленный». Потрясенный известием, Чайковский хотел было отказаться от поездки за океан, но потом одумался, иначе пришлось бы возвращать большой аванс, который он успел уже получить. 4/16 апреля он писал Модесту: «Я очень страдаю нравственно. Боюсь ужасно за Боба, хотя и знаю по опыту, что в эти годы подобные горести переносятся сравнительно легко». На удивление, сам он перенес эту смерть легче, чем можно было ожидать: беспокойство за Боба и предстоящее трансатлантическое путешествие перевесили. Вызвано это было тем, что Александра отдалась в последние годы от брата, которому были неприятны ее потворство Таниной наркомании и ее собственная пагубная страсть, доведшая обеих до гибели. По словам брата-биографа, в это время сестра оставалась для Петра Ильича лишь «священной реликвией его детства, юности, молодости и казенского периода его жизни». Читаем в письме Модесту, написанном несколькими днями позже: «Смерть Саши и все, что сопряжено мучительного с помыслами о ней, является как бы воспоминанием из очень отдаленного прошлого, которое я без особенного] труда стараюсь отогнать и вновь думать об интересах минуты того не я, который во мне едет в Америку».

Боб пережил смерть матери спокойно. Он написал дяде: «Проект скрыть от тебя смерть мамы, как я и ожидал, оказался несостоятельным. Да что тут скрывать — рано или поздно ведь узнаешь. Да, как ты пишешь, в мои годы горе переносится легко — если это годы, а не мой особенный характер тому причиной. Но я предполагал, что такое страшное событие совсем иначе на меня подействует, и был удивлен, убедившись, что я не заболел или что-нибудь в этом роде. Так уж сотворен, но ведь и Папа молодцом и не предается отчаянию».

Композитор отплыл на пароходе «Британия» из Гавра в Нью-Йорк 6/18 апреля в 5 часов утра. На протяжении путешествия он грустил, будучи мысленно с Бобом и Модестом в Петербурге. Но за девять дней плавания несколько рассеялся, познакомился с пассажирами и стал терпеливо ожидать прибытия в Новый Свет. Свои впечатления он фиксировал в дневнике, и еще детальнее в письмах Модесту, Бобу и Анатолию. «Пароход удивительно роскошен; настоящий плавающий дворец. Пассажиров не

особенно много. <...> После обеда я бродил по палубе, и жажда общения была так сильна, что я пошел во второй класс и отыскал там commis-voyageur'a (коммивояжер. — **фр.**), с которым ехал вчера из Руана и который был очень весел и разговорчив. Отыскал и поболтал с ним. Но от этого мне не легче. <...> Будь со мной кто-нибудь... — то можно было бы только наслаждаться этим путешествием. <...> Вид моря очень красив, и в те часы, когда я свободен от страха, я наслаждаюсь дивным зрелищем. <...> Я весь день читал, ибо кроме чтения, ничего не мог выдумать. Сочинять противно. Тоска продолжает грызть меня. Мой приятель commis-voyageur, когда я попытался излить ему, что я чувствую, сказал: “Et bien a votre age c'est assez naturel (Ну, в вашем возрасте это вполне естественно. — **фр.**)”, на что я обиделся. Впрочем, он премилый и превеселый малый. <...> Я воображал, что я неуязвим в отношении морской болезни. Оказывается уязвим... У меня из ящика над постелью украли кошелек с 460 франками золотом. Подозреваю прислуживающего гарсона. <...> Дует жесточайший ураган; <...> Страдаю я больше нравственно, чем физически: попросту — трушу и ужасаюсь. <...> Остальное путешествие совершилось совершенно благополучно. Чем ближе я подъезжал к Нью-Йорку, тем более волновался, тосковал, страшился, а главное раскисал в этой безумной поездке. <...> Перед Нью-Йорком бесконечные формальности с пропуском парохода и с таможней. Происходит целый допрос. Наконец в 5<sup>1/2</sup> часов дня [14/26 апреля] мы пристали. Меня встретили очень любезные четыре господина и одна дама и сейчас же отвезли в отель».

Оказавшись, наконец, на суше и оставшись в гостинице «Нормандия» один, Чайковский дал волю слезам, как это часто бывало с ним в одиночестве на новом месте. Придя в себя, отправился осматривать город. Бродвей произвел на него самое неожиданное впечатление: одноэтажные и двухэтажные дома чередовались с девятиэтажными — сочетание, невиданное тогда в Европе. Он делился с Бобом мыслями о Нью-Йорке: «Это громадный город, скорее странный и оригинальный, чем красивый. Есть длинные дома в один этаж и есть дома в 11 этажей, а один дом (новая, только что отстроенная гостиница) в 17 этажей. Но в Чикаго пошли далее. Там есть дом в 21 этаж!!! Что касается Нью-Йорка, то это явление объясняется просто. Город расположен на узком полуострове, с трех сторон окружен водой, и расти в ширину он не может; поэтому растет вверх. Говорят, что лет через 10 все дома будут не меньше как 10 этажей».

Через несколько дней Чайковский с восторгом писал: «Удивительные люди эти американцы! Под впечатлением Парижа, где во всяком авансе, во

всякой любезности чужого человека чувствуется попытка эксплуатации, здешняя прямота, искренность, щедрость, радушие без задней мысли, готовность услужить и приласкать — просто поразительны и вместе трогательны. Эта, да и вообще американские порядки, американские нравы и обычаи очень мне симпатичны, — но всем этим я наслаждаюсь, подобно человеку, сидящему за столом, уставленным чудесами гастрономии, но лишенному аппетита. Аппетит во мне может возбудить только перспектива возвращения в Россию».

Насыщенные встречами и репетициями дни летели незаметно. 18/30 апреля Петр Ильич сообщает Бобу: «Меня здесь всячески ласкают, честят, угощают. Оказывается, что я в Америке вдесятеро известнее, чем в Европе. Сначала, когда мне это говорили, я думал, что это преувеличенная любезность. Теперь я вижу, что это правда. <...> Я здесь персоне гораздо более, чем в России. Не правда ли, как это курьезно!!! Музыканты на репетиции... приняли меня с восторгом».

Американский образ жизни пришелся ему по вкусу. Его поразила грандиозность размеров, а нравы и порядки вызвали живую заинтересованность; особенно ему понравилось, что вопреки сосредоточенности американцев на бизнесе они оказались очень внимательны к искусству, свидетельством чего он считал появление Карнеги-холла, в открытии которого его пригласили участвовать. Ему доставил удовольствие комфорт номера в гостинице: электрическое и газовое освещение, уборная с ватерклозетом, умывальником и ванной, масса чрезвычайно удобной мебели, телефон — всего этого тогда еще не было в Европе, не говоря уже о России.

Эндрю Карнеги, знаменитый богач, на деньги которого был только что построен мюзик-холл, оказался «похожим на Островского старичком» и вызвал особое расположение Чайковского прежде всего тем, «что обожает Москву, которую посетил два года тому назад». 28 апреля/10 мая он был приглашен к Карнеги на обед: «Архибогач этот живет, в сущности, нисколько не роскошнее, чем другие. <...> Carnegie, этот удивительный оригинал, из телеграфных мальчишек обратившийся с течением лет в одного из первых американских богачей, но оставшийся простым, скромным и ничуть не подымающим носа человеком, внушает мне необыкновенную симпатию, может быть, оттого, что и он преисполнен ко мне сочувствия. В течение всего вечера он необыкновенно своеобразно проявлял свою любовь ко мне. Хватал меня за руки, крича, что я некоронованный, но самый настоящий король музыки, обнимал (не целуя: здесь никогда мужчины не целуются), выражая мое величие, поднимался на

цыпочки и высоко вздымал руки и, наконец, привел все общество в восторг, представив, как я дирижирую. Он сделал это так серьезно, так хорошо, так похоже, что я сам был восхищен».

Первый концерт в Нью-Йорке состоялся 23 апреля/5 мая, в день открытия Карнеги-холла, восхитившего гостя из России необыкновенно эффектным и грандиозным видом. Появление его за дирижерским пультом сопровождалось фанфарами оркестра и овацией всего зала. Был исполнен торжественный коронационный марш, сочиненный им в 1883 году. Дирижируя,

Чайковский, как всегда, очень волновался, но все обошлось благополучно. Публика была в восторге, его вызывали снова и снова, он четырежды выходил под гром аплодисментов и в знак благодарности отвешивал поклоны.

На следующий день газеты писали: «Чайковский — высокий, седой, хорошо сложенный мужчина лет шестидесяти. Он кажется немного смущенным и отвечает на аплодисменты отрывистыми резкими поклонами. Но как только он сжимает палочку, к нему возвращается уверенность. В нем не чувствуется и следа нервозности, когда он постукивает, требуя тишины. Чайковский дирижирует с внушительной силой мастерства, и оркестр повинуетя ему как один человек».

Американская пресса несколько шокировала его тем, что писала не только о музыке, но и о нем самом. Он испытывал неудовольствие от упоминаний его смущения и «отрывистых поклонов». Некоторые газеты сообщали, что он приехал с женой, что звучало глупо, потому что встречавшая его дама была дочерью Мориса Рено, президента Нью-Йоркского мюзик-холла. Огорчило его и то, что репортер заметил его старообразность, тем более что это было в канун его дня рождения, 25 апреля/7 мая. Когда Чайковский сказал Карнеги, что ему только что исполнился 51 год, тот был крайне удивлен: всем казалось, что композитор гораздо старше. Впечатлительный Петр Ильич после таких разговоров видел страшные сны: «По гигантскому каменному скату я неудержимо катился в море и цеплялся за маленький уголок какой-то скалы. Кажется, все это отголосок вечерних разговоров о моей старости». Но все без исключения газеты превозносили его дирижерское искусство и музыку, так что он сам, будучи невысокого мнения о своих дирижерских достоинствах, на мгновение усомнился в объективности репортеров.

Чайковский 25 апреля/7 мая снова появился на подмостках Карнеги-холла и на дневном концерте дирижировал Третьей сюитой. «Страшно волнуясь в утро этого дня... Удивительная вещь этот своеобразный страх.

Уж сколько раз этой самой сюитой я дирижировал! Идет она прекрасно; чего бояться? А между тем невыносимо страдаю! Страдания мои шли все *crescendo*. Никогда я, кажется, так не боялся. Не оттого ли это, что здесь обращают внимание на мою внешность и что моя застенчивость тут даст себя знать? Как бы то ни было, но переживши несколько тяжелых часов, особенно последний... я наконец вышел, был опять превосходно принят и произвел, как говорится в сегодняшних газетах, сенсацию». После концерта композитор почувствовал необходимость остаться один: «Продравшись сквозь толпу дам, окружавших меня в коридоре и пучивших на меня глаза, в коих я невольно и с удовольствием читал восторженное сочувствие, отказавшись от приглашений семейства Рено, я побежал домой... и затем... счастливый отправился фланировать, обедать, заходить в кафе, словом предаваться наслаждению молчания и одиночества».

Следующий день ознаменовался исполнением его хоров «Отче наш» и «Легенда»: «Хорики прошли хорошо, но если бы я меньше конфузился и волновался, прошли бы лучше».

По утрам Чайковского осаждали посетители, репортеры, музыканты, авторы либретто, он получал пачки писем со всех концов Америки с просьбой об автографе и должен был добросовестно на них отвечать. Ему дарили сувениры, в том числе маленькую копию статуи Свободы, а он даже не был уверен, «пропустят ли в России эту штуку». Приходят и русские, живущие в Америке. Об одной такой встрече он записал в дневнике: «Так как впервые мне пришлось разговориться по душе с русской женщиной, то случился скандал. Вдруг подступили слезы, голос задрожал, и я не мог удержать рыданий. Выбежал в другую комнату и долго не выходил. Сгораю от стыда, вспоминая этот неожиданный пассаж».

А 27 апреля/9 мая состоялось еще одно волнующее событие: под управлением автора исполнялся Первый концерт для фортепьяно. «Концерт мой, в отличном исполнении [немецкой пианистки] Адель Аус дер Оэ, прошел великолепно. Энтузиазм был какого и в России никогда не удавалось возбуждать. Вызывали без конца, кричали “upwards” (еще. — **англ.**), махали платками — одним словом, было видно, что я полюбился и в самом деле американцам. Особенно же ценны были для меня восторги оркестра».

Проведя еще несколько дней в бесконечных приемах посетителей и визитах, Чайковский отправился взглянуть на Ниагарский водопад, красота и величественность которого его весьма поразили. 1/13 мая он вернулся в Нью-Йорк и сразу отбыл в Балтимор, где дирижировал Серенадой для струнного оркестра и Первым концертом в исполнении все той же Аус дер

Оэ. Концерт прошел без особых восторгов со стороны слушателей. Он успел осмотреть город, посетил институт Пибоди, в котором ему особенно понравилась местная консерватория. Следующей остановкой стал Вашингтон. «Погулял по городу, который очень мил. Он весь утопает в роскошной весенней зелени. <...> Был у знаменитого обелиска (величайшее здание в мире после башни Эйфеля) (Мемориал Джорджу Вашингтону. — А. П.), в Капитолии, оттуда открывается чудный вид на Вашингтон». Композитор присутствовал в русском посольстве на музыкальном вечере, в программе которого были его собственное Трио и квартет Брамса. Поездка была несколько омрачена потерей переднего зуба, давно шатавшегося и выпавшего после поцелуя при встрече с секретарем русского посольства Боткиным. Он записал в дневнике: «Я наслаждался счастьем говорить исключительно по-русски, хотя счастье это омрачалось констатированием печального факта, что мои ч, ш, щ шипят и свистят по старчески». 6/18 мая композитор выступал в Филадельфии с той же программой, что и в Балтиморе. На следующий день он вернулся в Нью-Йорк, где продолжил светскую жизнь.

В последний день его пребывания в Америке клуб композиторов устроил в его честь прием, сопровождавшийся концертом в помещении «Метрополитен-оперы». Петр Ильич занял почетное место в первом ряду; исполняли Третий квартет, Трио и пели романсы. «Программа была слишком длинная. В середине вечера М. Smyth читала мне адрес; я отвечал кратко по-французски; разумеется овации. Одна дама бросила мне прямо в лицо великолепный букет из роз».

Рано утром 9/21 мая он взошел на борт парохода «Князь Бисмарк», отправлявшегося в Гамбург, последний раз взглянув на статую Свободы. Он мечтал о той минуте, когда наконец увидит Боба. В письме, отосланном ему несколькими днями раньше, читаем: «Это представляется мне недостижимым, баснословным счастьем; стараюсь поменьше об этом думать, дабы иметь силы выдержать еще несколько томительных дней. И тем не менее, я предвижу, что буду вспоминать Америку с любовью. Уж очень меня хорошо здесь принимают».

Его артистическому самолюбию льстило, что в течение двадцати пяти дней он слышал от окружающих музыкантов и простых американцев исключительно выражение восхищения и похвалу. Но было важно и другое: снова, как и во время пражского триумфа, он чувствовал себя посланником России. Русская музыка начинала получать поистине мировое признание. Американская пресса очень высоко оценила значение гастролей Чайковского, ставших вехой и в музыкальной истории Соединенных



Штатов.

Когда композитор пересекал океан, переживая впечатления от Америки, газета «Нью-Йорк геральд» 24 мая опубликовала статью, в которой подводился итог его пребывания в этой стране: «Если мы зададимся целью перечислить всех гениальных мужчин и женщин, украшающих современный мир, то каким же длинным будет этот список? Сможем ли мы назвать двенадцать, десять или шесть человек? Людей, чье притязание на высокую честь не будет оспорено даже большими скептиками или вообще равнодушными? Давайте попытаемся. Во главе списка мы должны, конечно, поставить Эдисона и Толстого, Сару Бернар и, наверное, Ибсена с Гербертом Спенсером и двух великих композиторов — Дворжака и Чайковского. Мы думаем, трудно будет отрицать право Чайковского занять место в списке».

Он прибыл в Гамбург 17/29 мая, оттуда сразу выехал в Берлин и затем, 20 мая — в Петербург. Он сильно соскучился по Бобу, и в этот раз испытывал особенный прилив любви к нему. После столицы, проведя в обществе брата и племянника неделю, Петр Ильич отправился к себе, на этот раз в Майданово, куда в его отсутствие успел переехать из Фроловского Алексей. 2 июня его навестили Боб, Модест и двоюродный племянник Александр Литке.

Чтобы заполнить психологическую пустоту, возникшую после ухода из его жизни Надежды Филаретовны, Чайковскому требовался интимный собеседник, которому бы он мог поверять душевные переживания и творческие планы, делиться впечатлениями от музыкальной жизни и зарубежных поездок. Модест к этому времени всерьез занялся писанием пьес и театром, был слишком привычен и предсказуем. Анатолий после женитьбы полностью отдался карьере, семейной жизни и все более отдалялся. Стареющий композитор почувствовал необходимость в близких человеческих отношениях. Он писал Анне Мерклинг 7/19 февраля 1890 года, в период сокращения объема переписки с фон Мекк, вызванного ее болезнями и его постоянными разъездами: «Прелесть жизни... в том, чтобы у себя дома иметь было кого любить, чем интересоваться, за кого страдать и радоваться. <...> Мне мое одиночество надоело ужасно, моя скитальческая жизнь мне противна, отсутствие твердой почвы под ногами делает мою жизнь какой-то ненастоящей, непрочной, пустой!»

Чтобы хоть как-то возместить отсутствие такого корреспондента, Чайковский меняет стиль переписки с Бобом, отправляя ему подробные письма, как раньше близнецам, подчас забывая, что двадцатилетний племянник слишком юн, чтобы понять душевные потребности дяди. Весь

этот год проходит в постоянных размышлениях композитора о нем. Желание его постоянного присутствия, жажда ласкать и баловать никогда еще не были столь сильны. Он продолжает изливать Бобу свои чувства, и бывает очевидно, что отдельные интонации сдерживаются сознательно, вероятно, из педагогических соображений, как, например, 8 марта 1891 года в письме из Берлина, написанного по дороге в Париж: «На следующий день началась та ужасная, невыразимая, мучительная до сумасшествия тоска, которая иногда на меня нападает, когда я один на чужбине. В такие минуты чувствуешь особенно сильно любовь к близким. Больше всего я думал, конечно, о тебе и так жаждал увидеть тебя, услышать твой голос, и это казалось мне таким невероятным блаженством, что, кажется, отдал бы десять лет жизни (а я жизнь, как тебе известно, очень ценю), чтобы ты хоть на секунду появился. <...> Боб! Я обожаю тебя. Помнишь, я говорил тебе, что не столько наслаждаюсь твоим лицемерием, сколько страдаю, лишаясь тебя». В конце следует любопытная приписка: «Адресую письмо в училище, чтобы Коля [Конради] не читал его»; Или 8 июля 1891 года: «Подобно юноше, получившему письмо от своей возлюбленной, я даже нещадно исцеловал следы твоей паршивой, омерзительной руки. Милый, чудный, я тебя обожаю».

Эта формула — влюбленный и возлюбленная — лежит в основе музыкальной шутки, сочиненной Чайковским годом позже и адресованной ему же, стилизованной под народный напев любовной жалобы. В нем автор отождествляет себя с девушкой, страдающей по возлюбленному:

От милого нету вести,  
Уже стало невмочь мне ждать,  
Хоть маленькую писульку  
Ему бы ко мне написать.  
А как бы знать  
Хотелось, что делает миленький мой,  
И грустно мне и скучно мне,  
Увы, би-би, га-га!!!  
И кушать мне охоты нет —  
Ни щей, ни пирога.

По обыкновению, влюбленный находит в своем предмете множество талантов и достоинств, которых у того не было. «Если ты иногда сомневаешься, что ты натура избранная, что ты не как все, то это

совершенно напрасно, — писал он племяннику 11 июля. — Самое твое стремление в какую-то пока неопределенную высоту уже есть доказательство неординарности. Наконец поверь мне на слово: ты положительно и на весьма почтенную дистанцию вылезает из ряда обыкновенных смертных. Нисколько не боюсь, что сбиваю тебя с толку этими уверениями и вбиваю в твою голову преувеличенное понимание себя. <...> Я склонен думать, что [ты] будешь или писателем-художником или писателем-философом. Давно уж я замечал, что ты склонен к серьезному умствованию».

В ответ молодой человек здраво заявляет: «Ну как же я тебе теперь напишу? В качестве будущего писателя — художника или философа — боюсь ляпнуть глупость, неприличную даже 19-летнему правоведа! Ты прав — я не буду “преувеличенно понимать себя”, но не по той причине, которую ты предполагаешь. Ты для меня страшный авторитет, и твое мнение, хотя бы я даже не был с ним согласен, буду всегда иметь в виду, но исключение составляет моя собственная персона — во-первых, потому что ты меня любишь и желаешь видеть лучше (я допускаю, что на мне можно ошибиться: я прекрасный футляр для того, что ты предполагаешь, и только), во-вторых, я на тебя очень похож (нравственной внешностью), и ты ошибочно видишь во мне то, что есть и было твоим достоянием. Поверь, что это не поза».

Композитор возражает ему 22 июля: «Ты совсем не футляр. В тебе содержания очень много, только все заключающееся в футляре сложено пока в беспорядке и нужно время, чтобы усмотреть чем преимущественно футляр наполнен. А впрочем, пожалуйста, не думай обо всем этом; все само собой устроится. Наслаждайся своей молодостью и учись дорожить временем; чем больше живу, тем более ужасаюсь бестолковой трате этого драгоценнейшего элемента жизни. Это несколько велеречивая фраза есть не что иное, как совет как можно больше читать. <...> Обнимаю тебя, мой идол! <...> Милый, хороший, голубчик, дорогой! Обожаемый футлярчик!»

Накал любовного томления не ослабевал. Вот очередное эпистолярное признание 29 декабря 1891 года: «Ты постоянно в моих мыслях, ибо при каждом ощущении печали, при каждом омрачении мысленного горизонта подобно лучу света является мысль, что ты существуешь и что я тебя... увижу». Обожая детские фотографии племянника, он писал ему 19 июля 1892 года: «Боб! У меня к тебе огромная просьба. Есть ваша семейная группа, снятая в Киеве должно быть в 1881 году. Ты на этой группе божественно очарователен и напоминаешь мне одну из самых восхитительных пор твоего расцвета. Итак, я хочу, чтобы мне сделали

большой, увеличенный в 20 раз снимок с тебя. <...> Это моя *idee-fixe* (навязчивая идея. — **фр.**)».

Об отношении же самого племянника к дяде (которого он называл, будучи ребенком, «Питуся» и «Пепик», а затем — «ПИЧ» и «дядя Петя»), отразившемся в их переписке, В. Соколов справедливо замечает: «В них можно найти элементы и любви и равнодушия, высокую оценку творческого гения композитора и трезвый взгляд на себя (как предмет обожания), но, пожалуй, определяющим чувством племянника, как показывают его письма, было беспредельное уважение к знаменитому дяде». К примеру: «Я никак не могу примириться с тем, что ты меня любишь не за то, что я хороший, а за то, что я — Я, и что если я окажусь дурным (как и есть в действительности), то ты не перестанешь меня любить, потому что я не перестану быть самим собой. Если бы ты меня любил за то, что я тебя обожаю, то было бы понятно, но, по твоим словам, ты меня полюбил, когда я еще не был в состоянии любить кого бы то ни было. <...> Почему ты не хочешь приехать теперь на несколько дней? <...> Ведь я же приехал к тебе!!! Мне страшно хочется тебя видеть».

Как и братья Чайковские, Боб Давыдов осознал свою неортодоксальную сексуальную ориентацию в Училище правоведения. Его любовь к однокласснику Рудольфу Буксгевдену растянулась на несколько лет. О своих предпочтениях в этой сфере он упоминает в 1890 году в письме Модесту Ильичу: «Мое извращение (как называют это другие) или мои склонности выработались совершенно самостоятельно, и хотя во многих случаях [ты] можешь назваться смело моим Прометеем, в этом же [надо] признать виновницей одну мою природу!»

Конфидентом и поверенным племянника стал Модест, что и понятно, поскольку в Петербурге они главным образом жили вместе. В приведенном письме ему Боб замечает, что «давно уже знал» о гомосексуальности последнего, и вряд ли можно усомниться в его (как, собственно, и прочих членов семейства Чайковских — Давыдовых) осведомленности на этот же счет по поводу Петра Ильича. В свою очередь, тот сразу узнал от младшего брата об интимных предпочтениях своего любимца. Его интерес к нему резко вырос начиная именно с 1890 года, и в их переписке проскальзывает связанная с этими вкусами некоторая двусмысленность, а затем возникает и взаимопонимание. Новые друзья Боба Александр Литке и его брат Константин нравились Чайковскому на правах родственников, однако он был встревожен знакомством молодого человека с Апухтиным. В сентябре 1890 года Боб писал о встречах с поэтом в Петербурге: «Вернувшись сегодня из училища, я собирался поехать к Юрию (младший брат,

поступивший в военное училище. — А. П.), но, к моему удивлению, вдруг входит Апухтин, который с некоторых пор ужасно ко мне благоволит, и мне пришлось с ним провести 2 часа в *tete-a-tet'e*, что не всегда бывает весело. Дядя Модя, как тебе известно, уехал вчера и наказал строго-настрого, чтобы я никого не пускал к себе, пока он не вернется (как козлята). И вдруг Апухтин — я думал, что он именно волк и хотел меня съесть — пока он этого еще не сделал, но попытка была».

Ответное письмо от 5 октября 1890 года исполнено негодованием: «Мне страшно не нравится твое сближение с Апухтиным. Я тебя убедительно прошу быть от него подальше. Причины говорить мне не хочется, ибо придется высказать давно уже установившееся у меня в глубине души мнение об Апухтине, которое я никогда не высказываю, ибо оно не вяжется с моими, по-видимому, дружественными к нему отношениями. Апухтин — человек очень приятный в обществе, и ты можешь сколько угодно наслаждаться его остроумием в многочисленном обществе. Но до дружбы и до частых *tete-a-tet'ов*, ради Бога, не доходи. Ничего хорошего от этого выйти не может, да и приятного мало, ибо Апухтин интересен только в обществе. Если во время моего пребывания в Петербурге ты будешь часто с ним видаться, то это совершенно отравит мою жизнь там». В этом письме выражается очевидное беспокойство о возможности не только духовного, но, как видно, и телесного соращения Апухтиным юного адресата.

Однако композитора не устраивала и главная, судя по всему, очень пылкая привязанность Боба к его сверстнику барону Буксгевдену. «Для того чтобы я решился ехать в Каменку, нужно, чтобы ты этого очень пожелал. А ты вовсе этого особенно не желаешь; тебе лишь бы твой противный Рудька приехал — больше ничего не нужно», — писал он ему 11 июля 1891 года.

27 сентября 1893 года он спешит оправдаться перед Бобом, давшим ему понять, что обижен за ближайшего друга, обвиненного дядей в глупости: «Если я в самом деле выразился, что Рудя глуп — то беру это слово назад. Нет, он не то, что глуп, а мало интересен, безличен. Возьми, нап[ример], Саню Литке. По всей вероятности, они равны в отношении ума, но у Сани есть много своеобразности, пикантности, тонкости, — словом, он нередко может проявить известную прелесть своей индивидуальности. Но какая прелесть в Руде? Ровно никакой. Просто добрый, изящный, деликатный и смазливый (а не красивый) малый. Впрочем, честное слово, я люблю очень Рудю, я только не понимаю твоей канители с ним. Прости, ради бога, никогда больше не буду, не сердись,

миленький мой! <...> Пожалуйста, не сердись за мнение о Руде». Ревность его к Буксгевдену забавно отразилась в письме самого племянника Модесту в 1891 году: «Я, между прочим, придумал карикатуру, могущую охарактеризовать наши отношения с Рудей. — Пьедестал, на пьедестале стоит он, под пьедесталом разведен костер, в который я поминутно подкладываю топливо, состоящее из билетов в театр, меню обедов, и кусочки дяди Пети и тебя — между прочим, дядя Петя иногда оказывается сырым и шипит».

Вместо Чайковского, страстно его любившего, молодой человек ставит на пьедестал одноклассника. Как свидетельствуют архивные материалы, Модест, опекавший Боба в Петербурге, пользовался бблйшим доверием племянника, чем его знаменитый брат. Как отмечает Соколов, «со временем среди посвященных оказался и Петр Ильич, но степень интимности в общении с ним у Боба была неизмеримо ниже — этого композитор не мог не чувствовать, как не мог, наверное, не переживать по поводу его влюбленности [в Буксгевдена].<...> Вряд ли Чайковский испытывал ревность к Модесту Ильичу, с которым был связан узами взаимной братской любви и творческой дружбы, но, несомненно, композитор понимал, что у самого его дорогого человека — Боба есть люди более близкие, чем он».

Двоюродный племянник братьев, Александр Литке, близко подружившийся (как и его брат Константин) с Модестом и Бобом, также принадлежал к его фаворитам. Юрий Давыдов вспоминал: «Второй сын Амалии Васильевны (Литке, в девичестве Шоберт, кузины Чайковского. — А. П.) Александр Николаевич, был любимец Петра Ильича. Он считался хорошим актером-любителем, и его нарасхват приглашали участвовать в домашних спектаклях. Литке в совершенстве владел французским языком, титул графа открывал ему все двери, и потому круг его знакомств был необычайно широк, он знал положительно всех. Вот поэтому Петр Ильич им “злостно” (как он говорил) пользовался для поручений в обществе, преимущественно для вежливых отказов от приглашений.

— Санечка, душечка, сходи к Х и наври ему, что я уже умер или еще что-нибудь в этом роде, словом, чтобы он не обиделся, что я к нему обедать не поеду.

И Санечка, безгранично преданный Петру Ильичу, бежал исполнять эту не всегда приятную миссию».

Одиннадцатого июня 1891 года Чайковский писал на время уехавшему от них Бобу о своем времяпровождении с Саней и Модестом в Москве: «Мы с Модестом и Саней были в... Успенском соборе за всенощной.

Служба до того прекрасна, что даже еретик Саня до слез тронут. Обедали у старика Коншина (отец жены Анатолия. — А. П.). Саня сердился, что Коншин называл его не граф, а молодой человек».

В конце июня 1891 года он отправился в Петербург, где предаётся праздной жизни. «В Питере ежедневно почти бывал в Зоологическом и вообще вел себя как кутящий купчик, получивший наследство, Саня Литке услаждал меня своим милым сообществом. Он у меня тоже страшно в последнее время повысился. Теперь он уже свитский генерал. Недалеко и до генерал-адъютантства», — писал Петр Ильич Бобу 8 июля. Упоминание о «свитском генерале» говорит и о явном его расположении к Александру Литке — молодые родственники и их друзья постоянно сопровождали композитора, когда он бывал в Петербурге, и в шутку назывались «свитой».

Зоологический сад, где он проводил время с молодежью, был известен на рубеже веков не только как увеселительный центр, но и как место встреч для платных сексуальных удовольствий. Вот что писалось о нем в петербургской печати: «Зоологический сад может вполне справедливо обижаться на Крестовского за то, что тот не включил его в свои “Петербургские трущобы”. Войдя туда, вы сразу попадаете в кашу мелких сутенеров и дешевых кокоток. Небольшой процент обыкновенной публики смотрит на все дико и держится осторожно. Завсегдатаи — разные громкие немцы, веселые приказчики и тощие аптекарские мальчишки, держащие себя крайне фармацевтически... <...>

Ленивый, жадный, легкомысленный, бедный до нищенства, богатый до пресыщения, скупой, щедрый и бестолковый — вот веселящийся Петербург — Петербург шампанского, матчиша, кружевной, бриллиантовый, веселый — той особой петербургской скукой, которую какой-то ошалевший от собственной гениальности декадент назвал “зеленой”».

В такую обстановку и попадал Чайковский со своей новой свитой молодых людей. Мир этот вряд ли казался ему, не раз проводившему время на Елисейских Полях в районе очень схожих кафешантанов, столь уж удивительным. При всей возвышенности его творчества и никогда не покидавшего нравственно-эстетического чутья, его не переставал притягивать этот веселый, безвкусный и похотливый мир.

Через Саню Литке Петр Ильич познакомился с привлекательным итальянским юношей Эмилио Коломбо, выступавшим в Зоологическом саду с неаполитанским оркестром. Шестнадцатилетний Эмилио играл на мандолине и покорило его сердце, не равнодушное к знойной итальянской красоте. Они настолько сблизились, что Чайковский, подчеркнув талант

Эмилио, дал рекомендацию для выступлений этого оркестра в Москве. Сохранилось написанное годом позже его письмо к Коломбо в Италию с надеждой снова увидиться в Москве: «Саня Литке... скучает в Петербурге и будет рад с Вами повидаться. <...> Как здоровье? Вы все такой худой, как были в Петербурге?» Для самого Коломбо встреча со знаменитым русским композитором оказалась судьбоносной. Отец отдал его учиться к знаменитому скрипачу Эжену Изай в Брюссель, и впоследствии он стал известным музыкантом.

Двадцать второго июля, вернувшись в Майданово, Чайковский посылает Литке шутовское музыкальное письмо: «Не знаю! Позвольте и нам получать письма от Бобика! Да! Мы получили их целых три, да еще каких милых! Не знаю! Прежде Вы находили удовольствие в посещениях Зоологического сада. Вы тогда не называли себя идиотом! Обнимаю Вас. П. Чайковский».

Этим летом он настолько погрузился в сочинение оперы «Иоланта», что уже не находил времени на письма. Либретто Модеста было основано на пьесе датского писателя Генрика Герца «Дочь короля Рене», вдохновленной в свою очередь сказкой Андерсена. Это история о слепой дочери властителя Прованса, обретающей зрение через любовь к молодому рыцарю, графу Водемону. Опера шла с трудом, вызывая у ее автора приступы неверия в свои возможности. Законченный в июне «Щелкунчик» первоначально также ему не нравился, но во время инструментовки его отношение к балету изменилось к лучшему.

Двадцать четвертого июля в Майданове у Петра Ильича украли часы с изображением Жанны д'Арк и Аполлона с двумя музами, подаренные ему фон Мекк в июле 1880 года на память об опере «Орлеанская дева». Это повергло композитора в сильнейшее расстройство, но мысли об «Иоланте» заставили взять себя в руки и продолжить работу.

Тринадцатого августа он сделал перерыв, чтобы погостить некоторое время у брата Николая в Уколове Курской губернии, а затем отправился в Каменку.

Тогда же пришла телеграмма от организаторов концертов Чайковского в Америке: его приглашали во второй раз, но предлагали гонорар почти втрое меньший, чем полученный весной. Это показалось обидным, и он ответил решительным отказом, однако безденежье тревожило. По инерции он продолжал жить, как и в былые времена, — мало задумываясь о расходах. Теперь, лишившись шеститысячной ежегодной дотации от фон Мекк, он как никогда остро ощутил нехватку денег. Присутствие Лароша, приехавшего гостить в очередной период своей творческой



бездеятельности, веселья не прибавляло.

Чайковский составил новое завещание. Поводом к этому стали правила, введенные Дирекцией Императорских театров: автору давалась возможность на случай смерти распорядиться своими доходами от перспективной платы за свои произведения в пользу наследников. 30 сентября он подписал «духовное завещание», где постарался упомянуть всех близких и родных ему людей, которым хотел помочь.

Сложные денежные отношения послужили причиной конфликта между Колей Конради, уже 23-летним молодым человеком, и его бывшим наставником. Модест оказался в сложном положении: как воспитатель Коли, он привык мыслить себя членом семейства, считая средства воспитанника своими — по праву дружбы и по заслугам. Однако Коля тяготился расточительностью Модеста и излишними расходами. «У меня с Модей вечные стычки на почве о “чаях”. Недаром я их смертельно ненавижу, в них корень таяния денежек Модя», — жаловался он Чайковскому.

Взросшая практичность Коли, очевидно, не без влияния его матери Алины Брюлловой, недолголюбивавшей Модеста, начала раздражать братьев Чайковских, привыкших жить широко. Осенью 1891 года положение вещей обострилось настолько, что Петр Ильич вынужден был откровенно написать об этом брату. Сохранилось два документа, связанных с этой темой: длинный и резкий по формулировкам черновик письма, так Модесту и не отосланного, и отправленное письмо, гораздо более сдержанное и короткое. В черновике от 22 октября 1891 года читаем: «В мае месяце 1889-го года, живя у вас в Петербурге, я сидел однажды вечером, часов около 11, у себя в комнате, в халате, и читал, как вдруг вошла Нара (служанка Конради. — А. П.) и сказала мне, что с Колей что-то странное происходит, что он вернулся домой, лег в темной комнате на свою постель, лежит одетый и не то стонет, не то рыдает. Я немедленно побежал со свечой туда и нашел Колю действительно в состоянии человека, глубоко страдающего нравственно, доведенного каким-то неожиданным несчастьем до полного и безграничного отчаяния. Разумеется, я расчувствовался до слез, и на мои ласки и просьбы облегчить себя откровенным объяснением я выслушал его исповедь. Это было нечто до того неожиданное, странное, обидное для меня (в качестве твоего брата), цинически бессердечное и бессовестное, что я был приведен в состояние какого-то столбняка. Подробностей передавать не стану. Смысл был тот, что ты его тяготишь и что он не знает, как разделаться с тобой; что ты ему в сущности вовсе не нужен, а между тем он платит тебе деньги, что ты напрасно думаешь, что он к тебе

привязан, что он не может позабыть, как ты когда-то оскорблял его мамашу и т. д. и т. д. Я же это слушал, ровно ничего не сказал, кроме, кажется, совета поскорей высказаться тебе и отделаться, и ушел к себе. Затем помню, что ты тоже вернулся и что я тебе для зондирования сообщил о признании Коли, разумеется, лишь в самом смягченном виде. Ты сказал тогда, что он и тебе делал намеки в этом духе и смысле, но что ты из жалости к нему же решаешься оставаться при нем. С таким воззрением я был совершенно не согласен, но решил не высказывать тебе моего искреннего желания, чтобы ты действовал сообразно с твоим достоинством, и стал ждать, что будет дальше. На другой день я уехал в деревню с очень неприятным чувством к Коле и с смутным сознанием, что ты унижаешь себя, перенося пассивно проявления Колиного тайного нерасположения к тебе. В первое время мне мучительно тяжело было думать об этом, и помню, что я Колю совершенно выбросил из своего сердца, где он занимал очень высокое место. Но он уехал на Кавказ, я его долго не видел, а когда увидел вас вместе в Петербурге, то оказалось, что между вами самое лучшее, ничем не смущенное единение. Время уходило, про новые выходки в неприязненном к тебе духе ничего не было слышно, и мало-помалу майская история ушла в глубь забвения, так что не прошло и года, как я стал Колю любить и относиться к нему совершенно по-прежнему, старательно отгоняя от себя отвратительное воспоминание. Нынче летом я узнал, что он опять начинает повсюду, где возможно, жаловаться, что ты тяготишь его. Эти слухи дошли, по-видимому, и до тебя. <...> По-моему, тебе следует сейчас же расстаться с Колей навсегда. Неужели ты не видишь, не понимаешь, что он не в состоянии понять, что ты для него сделал и чем он тебе обязан? Если теперь он имел бесстыдство жаловаться на твою эксплуатацию его кармана, что через месяц он пожалеет точно так же о той комнате, в которой ты живешь, и тех пирожках с морковью, которые ты вкушаешь за его обедами. Он смотрит на тебя как на наемного человека, в свое время получавшего деньги и содержание на всем готовом за известное дело. Теперь дела нет; следовательно, все, что ты имеешь от него, тобой не заслужено. <...> Он не хочет или не может понять, что ты, как бы то ни было, отдал ему лучшие годы жизни и что не только двумя тысячами, но и половиной своего состояния он не может заплатить за ту жертву, которую ты ему принес, за те отеческие и материнские ласки, которых он был лишен, если б не ты, за тот элемент света и теплоты, который ты при всех своих недостатках и ошибках внес в его детство, отрочество и юность. И бог с ним — пускай себе живет один как ему заблагорассудится. Ваши отношения будут только тогда

совершенно правильные и могут даже оставаться дружескими, когда ты перестанешь пользоваться от него материальными какими бы то ни было благами. <...> Пока есть остатки молодости, ты должен как-нибудь так устроить себе жизнь, чтобы не быть в зависимости от капризов Коли. <...> Сделай все это, не ссорясь с ним, и останься в наилучших отношениях, не особенно сокрушаясь насчет его бессердечия по отношению к тебе. Он не виноват, что смотрит на вещи иначе, чем следовало бы, — уж таков от природы. Но может быть, и твоей вины есть немного в том, что он не умеет ценить тебя и твои заслуги как следует. Очень может быть, что я слегка преувеличиваю и что требую слишком крутого и быстрого переворота. Но в сущности в глубине души я прав. Ты отныне не должен никогда и ничем быть ему обязанным и (должен) жить на свой счет, на свои труды, довольствуясь хотя бы малыми средствами, лишь бы не чувствовать несноснейшего ярма благодарности перед человеком, который сам недоступен чувству благодарности. Между тобой и Колей есть то же стихийное несоответствие характеров и всего душевного строя. <...> Коля, как и его отец, человек с большими качествами, — но рано или поздно внутренняя рознь должна была сказаться и образовать между вами пропасть. Лучше же оставить его теперь, когда диссонанс еще не дошел до болезненности. Я вовсе не хочу его обвинять, чернить, унижать в твоих глазах — я просто констатирую факт, что вы не сходитесь. <...> Но главное, мне кажется, что ты обретишь мир души, свободу в лучшем смысле слова, спокойствие — только когда будешь жить сам по себе. Ей-богу, мне неприятно думать, что ты и Боб (который в этот период жил вместе с Модестом на квартире Конради. — А. П.) едите Колин хлеб. Лучше будет все же иногда принимать его приглашения на обеды и вообще остаться с ним друзьями — но на новых началах! Мы все делали ту ошибку, что считали его как бы кровным. Нет, он нас всех по-своему, конечно, любит, — кровь влечет его к Васильевскому острову (к матери. — А. Я.), т. е. к миру, в сущности нам чуждому, как бы ни казались близки внешние отношения. <...> Целую тебя, бедный мой Модя!»

Конфликт между воспитателем и воспитанником оказался в каком-то смысле схожим с уже ранее известным Чайковскому — между ним и его учеником Шиловским. В обоих случаях денежная зависимость играла если не главную, то существенную роль.

Несмотря на увещевания брата, разезд Модеста и Коли не состоялся. Тяготившие всех троих отношения продолжались вплоть до августа 1893-го, когда, наконец, многолетнее сожительство воспитанника и учителя закончилось решением Модеста и Боба снять отдельную квартиру в

Петербурге.

С 21 октября по 10 ноября 1891 года композитор пребывал в Москве. Все это время он проводил с дирижером Колонном, репетировал «Пиковую даму» в Большом театре (премьера состоялась 4 ноября и прошла с большим успехом) и дирижировал концертом, на котором впервые исполнялась его симфоническая баллада «Воевода», написанная в сентябре 1890 года. После исполнения он нашел это сочинение крайне неудачным и разорвал партитуру.

В Майданове Чайковский закончил инструментовку «Иоланты» и 24 ноября выехал в Петербург. На 1 декабря был назначен симфонический концерт в пользу голодающих, в котором он должен был участвовать. С 5 по 7 декабря он гостил в Ревеле у Анатолия, назначенного туда вице-губернатором после Тифлиса, а затем через невскую столицу вернулся в Майданово, чтобы поработать над второй редакцией секстета «Воспоминание о Флоренции», написанного им в 1890 году. В конце декабря он отбыл в Киев, где дирижировал концертом из своих произведений. На Рождество остановился в Каменке, откуда направился в Варшаву для дирижирования своим концертом, там много общался со своим бывшим учеником скрипачом Станиславом Барцевичем и в первый раз прослушал оперу Пьетро Масканьи «Сельская честь», которая ему понравилась, особенно «удивительным удачным выбором сюжета».

Новый, 1892 год Чайковский встретил в польской столице, а на следующий день, 2 января, состоялся его концерт, «блестящий во всех отношениях». 3 января он сообщал Модесту: «Оркестр (который очень полюбил меня) играл прекрасно. Барцевич с необычайным блеском сыграл мой концерт, а Фриде чудно пела».

А 4/16 января он уже был в Берлине, по пути в Гамбург, где готовилась постановка «Евгения Онегина», намеченная на 7/19 января. Успех был значительный, автора вызывали после каждой картины, но по-немецки сдержанно, без всяких восторгов. Композитор относил этот успех на счет капельмейстера, который был «не какой-нибудь средней руки, а просто гениальный и сгорающий желанием дирижировать» «Евгением Онегиным». Капельмейстера звали Густав Малер.

На следующий день Чайковский отправился в Париж, где пожелал немного развлечься перед концертом в Голландии. Остановился как всегда в отеле «Ришпанс», хозяева и слуги которого очень обрадовались, снова его увидев. К приятному удивлению, в гостинице он встретил Александра Зилоти с женой. Десять дней в Париже были заполнены посещением театров, кафешантана *Folie-Bergeres* и чтением романа Золя «Человек-

зверь». Но театры были скучны, Золя раздражал, и композитор очень обрадовался, когда выяснилось, что гастроли в Амстердаме и Гааге не состоятся. После этого он вернулся в Петербург. Проведя неделю с Модестом, Бобом и Колей,

28 января он, уже в Майданове, взялся за инструментовку «Щелкунчика». К Петру Ильичу приехал гость — сын Эдуарда Направника Володя. 23-летний молодой человек попросил разрешения некоторое время пожить у него в Майданове, чтобы подготовиться к государственному экзамену на юридическом факультете.

Они познакомились еще в 1884 году. «Для меня же с пятнадцатилетнего возраста он представлялся каким-то кумиром», — вспоминал позднее Владимир Направник. «Несмотря на то, что он был одних лет с моим отцом, т. е. на тридцать лет старше меня, он “всерьез” относился ко мне, познакомил меня со своим братом Модестом Ильичом, у которого обычно останавливался во время наездов в Петербург, свел меня также с компанией своих племянников и их товарищей», составлявших его окружение во время пребывания в столице.

Младший Направник прожил в Майданове с 29 января по 26 февраля. Гостеприимный хозяин писал Анатолию 9 февраля: «Проживает у меня теперь Володя Направник, оказавшийся очень приятным сожителем. Он серьезно готовится к экзамену и занят еще большее число часов дня, чем я, а музыкальность его для меня большое удовольствие, ибо с ним по вечерам с наслаждением играю в четыре руки, а иногда просто заставляю его играть себе мои любимые вещи». Эдуарду Направнику 19 февраля: «Бесконечно рад, что Володя доволен своим пребыванием у меня, но поверь, что я, наверное, еще более чем он, доволен нащим, к сожалению, временным сожительством. Более милого, приятного, ровного нравом, симпатичного сожителя нельзя себе и представить. <...> Просто трогательно видеть, как он усердно работает, не теряя ни одной минуты дня. Таким прилежанием он вполне заслужил право в Москве повеселиться, и кажется, что ему там в самом деле было весело». Последняя фраза относится к их совместной поездке в Москву с 12 по 20 февраля. «Только что вернулись с Володи из Москвы, где провели целых 5 дней. Володе Москва очень понравилась. Кутили мы ужасно», — писал он Модесту 20 февраля из Майданова.

Двадцать шестого февраля Чайковский отправился с Володи в Петербург и 3 марта дирижировал оркестром Училища правоведения, исполнявшим вальс из балета «Спящая красавица» и «Песню без слов». 7 марта на 9-м симфоническом собрании петербургского отделения Русского музыкального общества под управлением автора были исполнены

увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и в первый раз — сюита из балета «Щелкунчик», предназначенного к постановке осенью того же года.

Девятого марта Чайковский уже в Майданове и опять не один: в этот раз он привез с собой Александра Литке. После упоминания об этом в письме к Зилоти от 13 марта 1892 года сразу же говорится: «Я в восторге от русской весны!» 17 марта он описывает Модесту происходящее: «Мы с Саней ведем весьма приятную жизнь. Работа у меня кипит, и скоро уже предстоит ставить знаки, а к Страстной питаю надежду окончить партитуру (инструментовки балета «Щелкунчик». — А. П.). Ежедневно по утрам ожидаем тщетно Боба». Тот приехал через день, и оба юноши начали готовиться к экзаменам.

Двадцать второго марта Модест вместе с Колей уехал во Францию, на воды в Виши. По совету Алеши Петр Ильич присмотрел дом в Клину, где они решили обосноваться. Дом был большой, красивый, удобный, с садом и без соседей, что очень радовало Чайковского. Переезд Алексей обещал устроить в отсутствие своего хозяина, который 27 марта с обоими племянниками выехал сначала в Петербург, где присутствовал на заупокойной службе по сестре в день ее смерти 29 марта, затем, в начале апреля, перебрался на месяц в Москву, чтобы дирижировать своими и чужими операми в Оперном товариществе Прянишникова.

Московская газета «Новости дня» 13 апреля опубликовала интервью под названием «У П. И. Чайковского». По словам репортера, композитор был «как европеец до конца ногтей, обворожительно любезен, мил и охотно говорил о своем излюбленном предмете — музыке. В частности Чайковский заявил, что теперь задумывает новую симфонию». За неделю до этого интервью в письме к Зилоти он также сообщал: «Я уже помышляю о новом будущем сочинении, т. е. о симфонии с тайной программой».

Еще возвращаясь в Россию из Америки на пароходе «Князь Бисмарк», Чайковский отметил в дневнике 10/22 мая 1891 года: «Хожу... по нижней палубе, занимаюсь, читаю. Под занятием разумею эскизы к будущей симфонии». Тогда же на обороте нотного наброска к секстету записал: «Дальнейшая суть скиццы (набросок, эскиз. — *ит.*) к симфон[ии] Жизнь! Первая часть — все порыв, уверенность, жажда деятельности. Должна быть краткая (финал смерть — результат разрушения); 2 часть любовь; 3 разочарование; 4 — кончается замиранием (тоже краткая)». На отдельном листе есть и нотный набросок первой части симфонии: «Жизнь. I) Юность», далее на обороте «II) Препятствия!» и над следующим тактом: «Вздор!» На второй странице: «Coda. Вперед! вперед!»

Эти заметки позволяют отчетливо представить замыслы композитора и

круг его интересов в то время. Он всегда стремился через музыку осмыслить общие проблемы жизни. Идея обобщения основных ступеней человеческого бытия была для него настолько важной, что едва ли он мог отказаться от нее в дальнейшем, когда по разным причинам сочинение этой симфонии (Es-dur) приостанавливалось. Работа над «Иолантой» и «Щелкунчиком» надолго оторвала его от задуманного сочинения, и он вернулся к нему только в апреле 1892 года. В конце мая были уже закончены в эскизах первая часть и финал. После перерыва, вызванного работой над корректурами партитур оперы и балета, он завершил черновые эскизы всей симфонии, а в конце октября перешел к инструментовке первой части.

Жизнь в Москве была сопряжена с репетициями, гостями, приглашениями и встречами, от которых на него неизменно нападала тоска: Обосноваться в Клину он все еще не мог: по просьбе Алеши до родов его жены присутствие хозяина (в собственном же доме!) было нежелательно. Наконец 23 апреля у них родился мальчик, названный Георгием. По пути из Москвы в Петербург композитор остановился в Клину, чтобы присутствовать на крестинах ребенка и посмотреть на свое новое обиталище. Оно очень ему понравилось, и поэтому, не долго задерживаясь в столице, 5 мая он возвратился домой и занялся корректурами: переложением для фортепьяно балета «Щелкунчик» и Торжественной увертюры на датский гимн.

Тридцать первого мая, после окончания экзаменов в Училище правоведения, Чайковский планировал побывать с любимым племянником и Саней Литке на водах в Виши, с целью лечения застарелого катара желудка, как своего, так и Боба, но Литке не отпустила мать. «Саню мать не пускает, я очень об этом сожалею, несмотря на то что Сашина поездка очень отяготила бы мой бюджет», — писал он Коле Конради 20 мая 1892 года.

Это путешествие оказалось неожиданным испытанием: к ним пожелала присоединиться Паня, жена Анатолия. 31 мая композитор сообщал Модесту из Петербурга: «Боб кончил экзамены благополучно, и все было бы прекрасно, если бы не случилось, что здесь теперь Толя с Паней. <...> Генеральша [Паня], невзирая на отвратительное нравственное состояние Толи, едет с нами в Виши. Я этим очень недоволен, Боб чуть не в отчаянии. И в самом деле, это нам и неудобно и во всех отношениях отравило ту ничтожную часть удовольствия, которое и Боб, и я испытывали от предстоящей поездки. Она страшно стеснит нас во всех отношениях. Погода подлец; поездки в зоологию и т. п. не удаются, обедать приходится с

постоянно печальными Анатолием и постылой Панькой. (По моему глубокому убеждению, она влюблена в Боба и едет ради него.) Словом, невесело».

Петр Ильич, еще со времен Тифлиса, отдавал себе отчет, что его свояченица любила кокетничать с молодыми мужчинами и влюблять их в себя. В этот раз она избрала в качестве объекта флирта Боба, полагая, что именно она, как женщина, предназначена освободить его от пагубных страстей, о которых была наслышана. В письме от 9 октября 1892 года она призналась ему в любви и поделилась своими мыслями по поводу гомосексуальности юноши: «Один из твоих друзей говорил мне, что ты рожден таким что это несчастье; но что безнравственным ты не можешь быть и что женщина тебе не может никогда понравиться. Я же убеждена, что ты таким не рожден, и я знаю, что женщина тебе может нравиться, потому что я чувствовала, что ты не притворяешься, а что правда я тебе нравилась. <...> После отъезда твоего я узнала, что 2 или 3 года назад... ты говорил, что не можешь понять любовные отношения мужчины с мужчиной или женщины с женщиной, что ты такому человеку не подал бы руки. Так и должно бы быть, зная твою натуру. Я узнала также, что дядя Петя боялся и старался, чтоб ты не был таким. <...> И не трудно догадаться, чье общество и какой *entourage* имел на тебя пагубное влияние, чьи друзья сосланы за границу и кто нашел, когда ты был почти еще ангелом, что ты будешь такой (Паня имеет в виду Модеста и круг его друзей. — А. П.). <...> Я бы многое дала, чтоб излечить тебя; но увы! Что я могу сделать — только молиться о тебе. Если бы я была свободна — ручаюсь, что излечила бы тебя».

Чайковский информировал Модеста из Парижа 11/23 июня 1892 года: «Паня, однако же, отложила по просьбе Анатолия свой отъезд. Берлин Бобу понравился. В Париже мы проводим уже шестой день. Вчера вечером явилась Паня. Боб очень огорчен, я тоже весьма враждебно к ней настроен. Сегодня едем в Виши с вечерним поездом. Боюсь, что пребывание Пани с нами (если мы с ней не помиримся) уничтожит всю пользу вод. Но надеюсь, что как-нибудь удастся привыкнуть к этому неизбежному злу. (Бобу она невыносима вследствие особых обстоятельств, о которых неловко писать)». Совершенно очевидно, что Паня делала любовные авансы молодому человеку. И снова Модесту из Виши 19 июня/1 июля: «С Паней отношения установились правильные, но... лучше, кабы ее здесь не было. Она, несомненно, влюблена в Боба и только ради этого приехала сюда. Ну, а ему это не ахти как приятно. Мне же досадно за него, а ей не могу простить, что она бросила Анатолия и Таню (их дочь. — А. П.) в такое



время, когда этого никак не следовало делать».

Писал он и об опасениях врачей по поводу здоровья племянника: «Доктор находит, что Боб серьезно нездоров, что у него печень в отвратительном состоянии и что независимо от Виши он должен всегда вести строго-гигиеническую жизнь. В противном случае ему угрожают всяческие болезни, но больше всего тучность и сахарная болезнь. Боб нисколько не мнителен и очень мало испугался этих докторских угроз. Вообще Бобу, кажется, решительно все — все равно, ничто его не увлекает и ничто не пугает. <...> Впрочем, никак нельзя сказать, чтобы Боб особенно томился и тосковал. Совершенно как я: минутами бывает очень весел, но большею частью ни то ни се, и мы оба только и думаем об отъезде».

Другими заботами он поделился с Анатолием 16 июля 1892 года: «Боб вообще очень беспокоит меня. Если можно, я кажется за эту поездку полюбил его еще больше прежнего, но зато начинаю с тревогой и беспокойством думать о его будущности. Очень болезненная, неуравновешенная, ненормальная натура, во многом напоминающая Танину (покойная племянница. — А. П.)». Композитор проявил проницательность, выделив эти качества характера юноши. Именно они начнут играть в жизни любимого племянника все возрастающую роль.

Расставшись с Паней в Виши, в начале июля они вдвоем возвратились в Россию. Об этом 9 июля сообщили Коле Конради: «Третьего дня мы с Бобом приехали в Питер и остановились у тебя. Были встречены Саней и Рудей и провели очень приятный вечер. Вчера тоже весь день провели вместе. Вечером были в Зоологии и Аквариуме. <...> Сейчас Боб уехал в Ораниенбаум. Завтра он уезжает в Каменку, а я по делу останусь еще три дня. И Боб и я очень довольны, что вернулись в Россию. В Аквариуме мне неожиданно сделали овацию».

Появившись в Клину, Петр Ильич засел за срочные корректуры оперы «Иоланта», балета «Щелкунчик» и его переложений. Но уже в начале сентября, нуждаясь в отдыхе, он с радостью отправился в Вену, дав согласие дирижировать на международной музыкально-театральной выставке. Кроме того, ему хотелось повидать Сапельникова и Зилоти, которые могли быть там в это время. В Австрии его ждало, однако, разочарование: обещанная роскошная зала для концерта оказалась, как он выразился в письме к Зилоти от 23 октября, «кабаком, а оркестр, хотя очень старательный, но по количеству артистов плюгавый (8 первых скрипок)». Из-за недовольства Чайковский сослался на болезнь и после второй репетиции уехал в Иттер, в Тироль, где его ждали Сапельников и София

Ментер. Последняя, пианистка и композитор, была ученицей Бюлова и Листа, с 1883 по 1887 год преподавала в Петербургской консерватории. В замке Ментер он замечательно провел две недели и в конце сентября перебрался в Прагу, чтобы увидеть постановку «Пиковой дамы».

Третьего октября Петр Ильич вернулся в Петербург, пробыв там с Модестом и Бобом несколько дней, а затем в Клин, где погрузился в работу над новой симфонией и корректурами. Три недели спустя, 27 октября, он снова приехал в столицу, уже на целый месяц. Среди прочих дел участвовал в нескольких репетициях «Щелкунчика» и «Иоланты». Жил он в этот раз в «Гранд-отеле» на Малой Морской, из-за неурядиц в квартире Конради, где уже и без того обитали Модест и Боб.

А 15 ноября из Франции пришла приятная новость: на общем собрании всех отделений Парижской академии изящных искусств большинством голосов Чайковского избрали членом-корреспондентом l'institut de France (Французский институт. — **фр.**). Петр Ильич был чрезвычайно польщен, тем более что из русских такого звания до тех пор был удостоен лишь один человек — скульптор Марк Антокольский, и, кроме того, сознание, что еще заслуги в искусстве признаются в мире, наполняло его ликованием.

Двадцать третьего ноября Чайковский присутствовал на премьере очередной пьесы Модеста «День в Петербурге» в Александринском театре. Она ему не понравилась, и он ожидал неприятия ее публикой. После первого же представления пьеса провалилась, раз и навсегда сойдя со сцены.

Пятого декабря состоялась генеральная репетиция «Иоланты» и «Щелкунчика» в присутствии Александра III. «Государь был в восхищении, призывал в ложу и наговорил массу сочувственных слов. Постановка того и другого великолепна, и в балете даже слишком великолепна, — глаза устают от этой роскоши», — писал Петр Ильич Анатолию на следующий день. Однако ни прессу, ни собратьев-композиторов опера и балет не впечатлили. Почти все петербургские газеты ополчились на его «последние детища», обвиняя «Иоланту» в том, что «мелодическое вдохновение композитора далеко не оказалось на обычной своей высоте», а в «Щелкунчике» «нет никакого творчества». Римский-Корсаков нашел его «Иоланту» слабейшим произведением. В «Летописи музыкальной жизни» он писал, что «все в этой опере неудачно — от беззастенчивых заимствований, вроде мелодии “Отворите мне темницу” Рубинштейна, до оркестровки, которая на этот раз сделана Чайковским как-то шиворот-навыворот». У Римского-Корсакова были свои причины быть недовольным:

его опера «Млада», только что поставленная на сцене Мариинского театра, была временно снята с репертуара ради постановки «Иоланты». Кроме того, в опере Чайковского пели Фигнеры, очень популярные в Петербурге, а царская фамилия удостоила своим присутствием даже репетиции.

Выпады прессы на этот раз мало подействовали на композитора. «Я к этому вполне равнодушен, ибо не впервой, и я знаю, что в конце концов возьму свое», — писал он Анатолию 10 декабря. Расстраивало его другое — собственное психологическое состояние. Эта премьера ожидалась им как нечто важное, но по ее осуществлению, как бывало и ранее, возникли апатия, отвращение к труду и ощущение тщеты всех устремлений. Юные друзья стремились отвлечь его от малоприятных мыслей самыми разными способами. Они распространяли его культ по всему городу, содействовали его знакомству с многообещающими в области искусства молодыми людьми.

Двенадцатого декабря композитор отбыл в Берлин: в Германии он должен был принять участие в постановке «Иоланты», а затем дать концерт в Брюсселе.

В феврале постоянные и неразлучные молодые спутники Чайковского в Петербурге в составе Боба и Юрия Давыдовых, Сани и Константина Литке, Владимира Направника, Николая Конради, Руди Буксгевдена и присоединившего к ним сразу по приезде в Петербург князя Владимира Аргутинского-Долгорукова, с Модестом во главе, сфотографировались всей группой, о чем Петр Ильич узнал от младшего брата и обиделся на то, что они не пожелали дождаться его приезда в столицу, чтобы сняться вместе. В Петербурге он получил эту фотографию от Модеста с таким комментарием: «Зачем писать Четвертую сюиту, когда у тебя уже есть Четвертая свита». Так за ними это прозвище и закрепилось. Фотографию он поместил у себя в гостиной в Клину, где она находится и поныне. В письмах 1893 года Петр Ильич посылает «4-й сюите бесчисленные нежности». Нет сомнения, что эта живая и симпатичная молодежь должна была озарять жизнь композитора теплым и радостным светом, и уже потому последние годы его вряд ли были годами мрака и отчаяния, как это пытаются представить некоторые исследователи.

## Глава двадцать восьмая. «Патетическая» симфония

«Я буквально не могу жить не работая, — писал Чайковский великому князю Константину Константиновичу, — ибо как только кончен какой-нибудь труд и хочется предаться отдыху, как вместо отдыха наслаждения утомившегося труженика, заслужившего право на заманчивое *dolce far niente* (сладкое безделье. — *ит.*), является тоска, хандра, мысли о тщете всего земного, страх за будущее, бесплодное сожаление о невозвратимом прошлом, мучительные вопросы о смысле земного существования, одним словом все то, что отравляет жизнь человеку, не поглощенному трудом и вместе склонному к ипохондрии, — и в результате является охота немедленно приняться за новый труд. Понятно, что при таких обстоятельствах не всегда этот новый труд вызван настоящей творческой потребностью». Должно быть, сочинение новой симфонии, разочаровавшей его, не было вызвано, как он считал, «настоящей творческой потребностью».

В начале декабря Чайковский получил от вице-канцлера Кембриджского университета профессора Джона Пейла запрос, согласен ли он принять звание почетного доктора этого университета и приехать на празднование 50-летия их Академического музыкального общества в июне следующего года.

Приглашение он принял, хотя и не без внутренних сомнений. Этой зимой его ждали в Гамбурге, Шверине, Брюсселе и Одессе. Поездки за границу, ставшие утомительной рутинной, уже не только не радовали его, но и стали внушать отвращение. После петербургских премьер ему опять предстояла Германия. Во время пребывания в Берлине ему захотелось провести какое-то время в Париже, «который один может до некоторой степени утишить любую тоску», одолевшую его снова.

Недовольство критиков «Иолантой» и «Щелкунчиком», несмотря на браваду, ранило его, но имелись и другие важные обстоятельства. Играло роль не только уязвленное самолюбие, но и недовольство собой и почти законченной новой симфонией. 16/28 декабря композитор сообщал Бобу: «Я до сих пор сижу в Берлине. У меня не хватает мужества тронуться, благо, торопиться не нужно. Эти дни я предавался важным и чреватым последствиями помышлениям. Просмотрел я внимательно и, так сказать, отнесся объективно к новой своей симфонии, которую, к счастью, не успел

инструментовать и пустить в ход. Впечатление самое для нее не лестное, т. е. симфония написана просто, чтобы что-нибудь написать, — ничего сколько-нибудь интересного и симпатичного в ней нет. Решил выбросить ее и забыть о ней. Решение это бесповоротно, и прекрасно, что оно мной принято. Но не следует ли из этого, что я вообще выдохся и иссяк? Вот об этом-то я и думал все эти три дня. Может быть, сюжет еще в состоянии вызвать во мне вдохновение, но уж чистой музыки, т. е. симфонической, камерной писать не следует. Между тем жить без дела, без работы, поглощающей время, помыслы и силы, очень скучно. Что же мне остается делать? Махнуть рукой и забыть о сочинительстве? Очень трудно решиться. И вот я думаю, думаю и не знаю, на чем остановиться. Во всяком случае невеселые провел я эти три дня. Однако ж, совершенно здоров».

Ответ Боба несколько удивил композитора. «Читая твое письмо, — писал племянник, — переполненное саморазочарования, я, во-первых, нисколько не удивился, что ты мне это пишешь, а во-вторых, улыбнулся — как и вообще его содержанию, так и тому, что ты не можешь писать иначе, как возбуждив себя искусственно сюжетом, либретто и пр. <...> Твое состояние само по себе меня бы обеспокоило, если бы оно не было следствием нравственного утомления, вызванного пребыванием в Петерб[урге]. Жаль, конечно, Симфонию, которую ты, как в Спарте детей, бросил со скалы, потому что она показалась тебе уродом. Между тем, наверное, она так же гениальна, как и первые 5. Тщетно ты будешь стараться обобъективиться, тебе это никогда не удастся». Впечатленный этим рассуждением, Чайковский не уничтожил написанное и позднее использовал эскизы первой части в Третьем концерте для фортепьяно с оркестром.

Тем не менее разочарование было настолько сильным, что вызвало затяжную полосу тоски, продолжившуюся до февраля, когда композитор начал работать над другим симфоническим проектом, но уже с удовольствием.

На этот раз в его заграничную поездку входили и личные планы. Еще в начале года он получил письмо с просьбой о встрече от своей бывшей гувернантки Фанни Дюрбах, которая жила в городке Монбельяр, недалеко от Базеля. Так что из Берлина он — еще до Парижа — отправился в Швейцарию. Продолжая страдать от хандры, описывал свои чувства Модесту из Базеля 19/31 декабря: «Ничего не хочется писать, кроме слезных излияний. Поистине изумительно, что я не схожу с ума и не болеваю от феноменальной, чудовищной тоски. Так как это психопатическое явление повторяется с каждым моим путешествием за

границу и все сильнее и сильнее, то, конечно, теперь я уже один никогда не поеду хотя бы на самый короткий срок. С завтрашнего дня это чувство пройдет и сменится другим, все-таки гораздо менее мучительным. Завтра я еду в Mont-beliard и, признаюсь, с каким-то болезненным страхом, почти ужасом, точно в область смерти и давно исчезнувших со сцены мира людей. Затем в Париже буду делать официальные визиты со-академикам и, вероятно, заверчусь в вихре суеты. Это все же лучше. В Брюсселе опять будет не до тоски, а затем Одесса, где все-таки уж дома и где меня радует свидание с Васей [Сапельниковым]. Только разлука научает познавать степень любви к близким людям. Помнишь, как я недавно равнодушно отзывался об Алексее Ивановиче [Софронове]. Ну а теперь, если бы он передо мною появился, я бы, кажется, умер от радости. Как я тебе завидую! Как, должно быть, тебе хорошо отдохнуть от Петербурга (Модест отдыхал в доме Чайковского в Клину. — А. П.). <...> Какая пакость и тоска этот Базель!!!»

В этом письме любопытны самонаблюдения — оценка ипохондрии как психологического явления, лишний раз говорящая о его внутреннем здоровье: душевно больной человек не замечает и не оценивает своего состояния.

Свидание с Фанни Дюрбах 20 декабря/1 января оказалось незабываемым переживанием: оно было «и отрадно и в то же время жутко». Читаем в письме тому же Модесту из Парижа несколькими днями позже: «Впечатление я вынес необыкновенно сильное и странное, волшебное: точно будто на 2 дня перенесся в сороковые годы. Fanny страшно моложава, похожа на прежнюю как две капли воды, и так как она положительно только и живет воспоминаниями о Воткинске... то оно [имение] ожило в моей памяти с поразительной реальностью. <...> Рассказам не было конца. <...> Fanny не сделала при приходе моем никаких сцен, не плакала, не удивлялась моей перемене, — а просто, точно будто мы только год тому назад расстались. Но в оба дня, перебирая старые воспоминания и читая письма, мы оба постоянно удерживались от слез».

В Париже, помимо официальных встреч, Петр Ильич повидался с Эммой Жентон, бывшей гувернанткой Кондратьевых, недавно перебравшейся во французскую столицу из России, и обрадовался тому, что она была весела, здорова и как будто потеряла к нему интерес. В конце декабря он отправился в Брюссель на репетиции и, встретив там этот новый год, как и прежний, в одиночестве, 2/14 января 1893 года дирижировал концертом из своих произведений. На следующий день он снова появился в Париже, прожил там около недели и вернулся в Россию,

но не в Клин, а в Одессу, согласно обязательству дать там несколько концертов в середине января.

Двенадцатого января Чайковского встречали на вокзале члены одесского отделения Русского музыкального общества, артисты и музыканты, и вдруг он с удовольствием обнаружил среди ликующей толпы незнакомых людей лица Сапельникова и Софи Ментер. С этого дня почти две недели он стал предметом такого восторженного поклонения одесситов, что в сравнении бледнел даже когда-то совершенно потрясший его пражский прием 1888 года. 24 января он писал Анне Мерклинг: «Никогда я не испытывал еще ничего подобного тому, что теперь происходит. Меня чествуют здесь как какого-то великого человека, чуть не спасителя отечества, и тормозат во все стороны до того, что я не имею возможности свободно вздохнуть. Вот уже почти две недели что я здесь и за это время успел дирижировать в пяти концертах, сделать бесчисленное количество репетиций, съесть массу обедов и ужинов, даваемых в мою честь. Все это меня очень утомляет, но жаловаться было бы смешно, ибо в конце концов мне приятно будет вспомнить эти небывалые овации и восторги».

Одесские газеты едва ли не все номера посвящали отчетам о каждом шаге знаменитого композитора, его биографии, описанию его личности, рассказам о торжественных обедах в его честь и восхищались концертами и «Пиковой дамой», впервые поставленной в Одессе. Настроение его заметно улучшилось, тоска прошла, но ежедневная суэта сильно утомляла. Очевидец вспоминал: «Когда публике стало известно, что в одной из лож сидит Чайковский, театр огласился шумными, долго не смолкающими аплодисментами. Прятавшийся за спинами своих соседей композитор вынужден был высунуться из ложи и раскланяться. Антрепренер театра Иван Греков тщетно просил Петра Ильича показаться публике».

В его номере постоянно толпились люди, являвшиеся с желаниями самого разного свойства — начиная с автографа и заканчивая просьбой о слушании игры вундеркиндов. Петр Ильич терпеливо принимал их, но родители юных музыкантов не удовлетворялись устными одобрительными отзывами и требовали письменных аттестаций. Ипполит Чайковский, тогда же оказавшийся в Одессе, также попросил брата прослушать 15-летнюю дочь своего старого знакомого. В этот день в то же время и с той же целью был приглашен 13-летний Костя Думчев, уже начинавший с успехом концерттировать и серьезно решивший посвятить себя музыкальной карьере. Еще до начала их игры Ипполит был очарован милой девочкой и раздражен испорченным успехами мальчишкой и этого же ожидал от брата.

Девочка добросовестно исполнила одну из фантазий Листа. Когда Чайковский попросил ее сыграть что-нибудь наизусть или по звуку определить соответствующую ноту, сделать она этого не смогла. Сконфуженный отец тотчас увез дочь домой. Ипполит вспоминал, что его брат выбрал из репертуара Кости Думчева «очень серьезную вещь. Я сидел и слушал с предубеждением, но, по мере игры его, я, невольно поражаясь чудной игрой мальчика, стал всматриваться в брата, лицо которого ясно выражало удовольствие». Сам Думчев писал позднее: «Петр Ильич отнесся ко мне с чарующей приветливостью и задушевностью и взял с меня слово посещать его ежедневно и пить с ним утренний чай. И вот я каждый день утром, к девяти часам, был у него в “Северной гостинице” и наслаждался беседой с ним».

Здесь же в Одессе, в эти утомительные, но счастливые дни, был написан лучший и единственный из дошедших до нас живописный его портрет. Художник Николай Кузнецов в короткие часы между репетициями, встречами и спектаклями сумел запечатлеть Чайковского-творца, глубоко и напряженно мыслящего и чувствующего музыканта. Находящийся ныне в Третьяковской галерее, портрет этот сохранил для нас облик композитора последних лет жизни, лет высшего расцвета его дивного дара.

Двадцать пятого января Чайковский выехал из Одессы в Каменку, где пробыл до 30 января. На обратном пути был вынужден остановиться в Харькове, решив, что он заразился тифом. В поезде у него начался «страшный жар», он «все время, к ужасу всех пассажиров, бредил», все это сопровождалось тошнотой, головной болью и «отвратительным состоянием». Сняв номер в гостинице и приняв касторки и хинина, он проспал двенадцать часов и проснулся здоровым. Недомогание не помешало ему договориться с харьковским руководством музыкального общества о мартовских гастролях. По дороге в Москву в поезде произошла комическая история: кондуктор выгнал его из отделения, оказавшегося женским, несмотря на согласие единственной ехавшей в купе дамы.

В Клину Чайковского ждала гора писем. Одно из них — от молодого скрипача Юлия Конюса, которому (как и его брату Георгию, композитору) Петр Ильич покровительствовал последние несколько лет. В письмах он называл его Жуликом (от французского Жюль. — А. П.), искренне беспокоился о судьбе двадцатитрехлетнего скрипача и интересовался его профессиональными успехами в Европе и Америке.

Пребывание в Одессе стало решающим моментом в реализации его творческих планов. Вдохновленный успехами и изъятиями всеобщей любви, он взял себя в руки, и в нем родилось сильное желание вернуться к



симфонии «Жизнь», первая попытка создания которой в прошлом году оказалась неудачной. Встреча с Фанни Дюрбах всколыхнула целый мир самых заветных воспоминаний детства и юности. В сочетании с безмерной, всеобъемлющей и, как он, наверное, уже понимал, последней его любовью к племяннику замысел поначалу абстрактной симфонии вдруг наполнился глубоко личным смыслом. Он испытал настойчивое желание с помощью звуков рассказать возлюбленному историю своей жизни, историю своей души, которую можно было выразить только в музыке.

В начале февраля Чайковский начал лихорадочно работать. 9 февраля уже был готов черновик первой части и на следующий день начата третья часть. Он писал Анатолию: «Я теперь весь полон новым сочинением (симфонией), и мне очень трудно отрываться от этого труда. Кажется, что у меня выходит лучшее из всех сочинений». 11 февраля он прервал работу в связи с отъездом в Москву, сделав перед этим Бобу очень важное признание, касающееся симфонии: «Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии, на этот раз программной, но с такой программой, которая останется для всех загадкой, — пусть догадываются, а симфония так и будет называться “Программная симфония” (№ 6). Программа эта самая что ни на есть проникнутая субъективностью, и нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал. Теперь, возвратившись, сел писать эскизы, и работа пошла так горячо, так скоро, что менее чем в четыре дня у меня совершенно готова была первая часть и в голове уже ясно обрисовались остальные части. Половина третьей части уже готова. По форме в этой симфонии будет много нового, и между прочим финал будет не громкое аллегро, а наоборот, самое тягучее *adagio*. Ты не можешь себе представить, какое блаженство я ощущаю, убедившись, что время еще не прошло и что работать еще можно».

Содержание симфонии охарактеризовано самим автором как «субъективное», поэтому в исключительно личном импульсе ее происхождения сомнений нет. В декабре 1878 года он делился с фон Мекк своим пониманием программной музыки: «Я нахожу, что вдохновение композитора-симфониста может быть двоякое: субъективное и объективное. В первом случае он выражает в своей музыке свои ощущения радости, страдания, словом, подобно лирическому поэту, изливает, так сказать, свою собственную душу. В этом случае программа не только не нужна, но она невозможна. Но другое дело, когда музыкант, читая поэтическое произведение или пораженный картиной природы, хочет выразить в музыкальной форме тот сюжет, который зажег в нем вдохновение. Тут программа необходима. <...> Во всяком случае, с моей

точки зрения, оба рода имеют совершенно одинаковые *raisons d'être* (права на существование. — **фр.**). <...> Само собой разумеется, что не всякий сюжет годится для симфонии, точно так же как не всякий годится для оперы, но программная музыка, тем не менее, может и должна быть, подобно тому как нельзя требовать, чтобы литература обошлась без эпического элемента и ограничилась бы одной лирикой».

Для него сочинение в таком жанре было «лирическим процессом», как было сказано однажды в письме к фон Мекк в связи с Четвертой симфонией: «Это музыкальная исповедь души, на которой много накопилось и которая по существенному свойству своему изливается посредством звуков, подобно тому как лирический поэт высказывается стихами. Разница только в том, что музыка имеет несравненно более могущественные средства и более тонкий язык для выражения тысячи различных моментов душевного настроения».

Программа Шестой симфонии до сих пор вызывает самые разноречивые толкования. Сам автор письменно нигде ее не изложил. Существуют лишь свидетельства родственников и друзей о том, какое содержание он в ней усматривал. По воспоминаниям певицы Александры Панаевой-Карцовой, после первого исполнения Шестой симфонии композитор, провожая свою кузину Анну Мерклинг, согласился с ее предположением о том, что он описал в ней свою жизнь, подробно объяснив, что первая часть — это детство и смутные стремления к музыке; вторая — молодость и светская веселая жизнь; третья — борьба и достижение славы. «Ну а последняя, — добавил он весело, — это *De profundis* (Из глубины. — **лат.**) (Молитва об умершем), чем все кончаем, но для меня это еще далеко, я чувствую в себе столько энергии, столько творческих сил; я знаю, что теперь создам еще много, много хорошего и лучшего, чем до сих пор». Племянник Юрий настаивал, что Шестая симфония, по его «глубокому убеждению, является произведением автобиографическим. Помню, что такого мнения придерживались Модест Ильич Чайковский и мой брат Владимир, которому Петр Ильич посвятил эту симфонию». Музыкальный критик В. Стасов также соглашался, что это сочинение — «своего рода биография».

Все имеющиеся данные не оставляют сомнений в том, что, помимо ухода из жизни нескольких родных и друзей, в последние годы жизни композитора не произошло никаких катастрофических событий. Он пребывал на пике своих творческих возможностей, был знаменит и любим теми, кого любил. Несмотря на старение, он не испытывал желания повернуть время вспять, как это явствует из письма, написанного после

очередного дня рождения Анне Мерклинг 27 апреля 1884 года: «Я без всякой горечи принимаю поздравительные приветствия по поводу того, что год прибавился. Умирать я нисколько не желаю и даже хочу достигнуть глубокой старости, но не согласился бы, если бы мое согласие испрашивали сделаться молодым и снова целую жизнь переживать. Довольно и одной. Прошедшего... конечно жаль и [никто] более меня не любит погружаться в воспоминания; никто живее меня не чувствует тщету и мимолетность жизни, и тем не менее все-таки не хочу молодости. Всякий возраст имеет свою прелесть и свои хорошие стороны, и дело не в том, чтобы вечно быть молодым, а чтобы как можно меньше страдать физически и нравственно. Не знаю, каков я буду стариком, а покамест не могу не сознавать, что сумма благ, которыми пользуюсь теперь, гораздо больше той, кою я был наделен в молодости». Несмотря на высказанное им здесь довольство своим возрастом, он сопротивлялся старению и всей душой тянулся к юности, к вступающей в жизнь молодежи. В юности Боба он усматривал возрождение собственной молодости.

Творческий гений Чайковского в конечном его смысле был проникнут трагизмом. Некоторое трагическое начало присуще самой природе искусства — в человеческом восприятии смертности и ничтожества земного жребия, в непрестанной борьбе добра и зла, в неустойчивости отношений человека с Богом, миром, обществом, с самим собой. Этот взгляд на удел человеческий был полностью созвучен мировоззрению Чайковского, отразившемуся в его письмах и воспоминаниях тех, кто его хорошо знали. Широчайший спектр чувств, воплощенных его музыкой, несмотря на сложность их критического осмысления, простирается от невинной простоты «Щелкунчика» до необратимо трагической силы «Ромео и Джульетты», трио «Памяти великого художника» и Шестой симфонии. И, однако, трагическое в искусстве лишь иногда непосредственно соотносится с собственными внешними или даже внутренними обстоятельствами художника. основополагающий конфликт духа и плоти неизбежно накладывал трагический отпечаток на мрачный колорит Шестой симфонии.

В 1907 году, в письме чешскому музыковеду Рихарду Батке, Модест Ильич Чайковский писал: «Вы хотели узнать программу Шестой симфонии, но я ничего не могу Вам сообщить, так как брат держал ее в своих мыслях. Он унес эту тайну с собой в могилу. Но если Вы все-таки хотите знать, что я могу об этом сказать, я сообщу Вам то небольшое, что я узнал от брата. <...> Первая часть представляет собой его жизнь, сочетание страданий, душевных мук с непреодолимым томлением по Великому и

Возвышенному, с одной стороны, борьбу со страхом смерти, с другой — божественную радость и преклонение перед Прекрасным, перед Истиной, Добром, всем, что сулит вечность и небесное милосердие. Так как мой брат большую часть своей жизни был ярко выраженным оптимистом, он закончил первую часть возвращением второй темы. Вторая часть, по моему мнению, представляет собой ту радость его жизни, которая не может сравниться с переходящими мимолетными радостями нашей повседневной жизни, радость, музыкально выраженную необыкновенным пятидольным размером. Третья часть свидетельствует об истории его развития как музыканта. Это не что иное, как шалость, игра, развлечение в начале его жизни до двадцатилетнего возраста; но потом все это делается серьезнее и кончается достижением мировой славы. Ее и выражает триумфальный марш в конце. Четвертая часть — состояние его души в последние годы жизни — горькие разочарования и глубокие страдания. Он приходит к мысли, что слава его как художника преходяща, что сам он не в силах побороть свой ужас перед вечным Ничто, тем Ничто, где всему, что он любил и что в течение всей жизни считал вечным, угрожает бренность». В этом описании программы симфонии Модест, будучи одним из самых близких ему людей, несомненно сумел артикулировать какие-то настроения ее автора.

Построение симфонии, ее динамика и смысловое звучание напоминают композиционное деление его единственного большого стихотворения (приведенного нами ранее) «Ландыши», построенного в форме монолога, где так же отчетливо звучат темы жизненного цикла человека: ожидания, проходящей молодости, заката и смерти. Оно, как и симфония, заканчивается уходом в вечность:

Что будет там?.. Куда в час смерти окрыленный  
мой дух, веленью вняв, беззвучно воспарит?  
Ответа нет! Молчи, мой ум неугомонный,  
тебе не разгадать, чем вечность нас дарит.  
Но как природа вся, мы жаждой жить влекомы,  
зовем тебя и ждем, красавица весна!  
Нам радости земли так близки и знакомы, —  
зияющая пасть могилы так темна!

Несмотря на искренние религиозные устремления, часто уживающиеся в нем с приступами сомнений, страх смерти сопровождал

его на протяжении всей жизни. Читаем, например, в уже цитированном письме Анне Мерклинг от 27 апреля 1884 года: «А еще что нужно, это чтобы не было страха смерти. Вот в этом отношении не могу похвастать. Я не настолько проникнут религией, чтобы в смерти видеть начало новой жизни, и не философ, чтобы примириться с той пучиной небытия, в которую придется погрузиться».

Герман Ларош вспоминает: «Здоровьем он пользовался отличным, но необычайно боялся смерти, боялся даже всего, что только намекает на смерть; при нем нельзя было употреблять слова: гроб, могила, похороны и т. п.; одно из величайших его огорчений в Москве состояло в том, что подъезд его квартиры (в 1860 годах)... находился рядом с лавкой гробовщика». Далее Ларош признает, что позднее друг его стал к этой неизбежности относиться «гораздо спокойнее, так что не только позволял другим сообщать ему сведения, что умер или собирается умирать такой-то, но даже сам заводил разговор на эту тему и, например, подробно рассказывал, как в Аахене, на его руках, умирал один из его друзей».

Отсюда яркая и впечатляющая тема смерти в первой части симфонии, где звучит похоронное песнопение «Со святыми упокой», и в четвертой, проникнутой настроениями реквиема (о чем сам он упомянет в письме великому князю Константину Константиновичу). Интонации финала с глубоко волнующими рыданиями, то отчаянно безумными, то, в конце, сдавленными и глухими, создают правдивый и потрясающий образ расставания с жизнью, со счастьем, с надеждами на будущее, после чего наступает затишье. Жизнь прожита. Таково впечатление от этой музыки, но был ли творческий его замысел именно таким, мы — по причине отсутствия надежно документированной авторской программы, — вероятно, не узнаем никогда.

Шестнадцатого февраля Чайковский вернулся в Клин, но работу над симфонией не продолжил. Она брала у него много эмоциональных сил, и он хотел немного отдохнуть. В это время случился странный поворот судьбы: возобновилось сердечное сближение между бывшими учеником и учителем. Модест вспоминает: «В январе 1893 года до меня дошел слух, что Владимир Степанович [Шиловский] тяжело болен. Я посетил его и застал медленно умирающим. Он сам мне сказал, что приговорен. Я написал об этом Петру Ильичу. При побывке в Москве в середине февраля 1893 года он навел на своего бывшего ученика и, тронутый изъявлением радости последнего при встрече, еще более, величавым спокойствием, с которым он относился к безнадежности своего положения, вернулся к прежней интимной дружбе, которая порвалась только со смертью графа в

июне 1893 года». Чайковский писал Модесту 5 февраля: «На будущей неделе придется посетить Володю Шиловского. Это меня волнует и пугает. Скажи, страшно он изменился? В чем проявляется водяная? Боюсь слез и вообще страшусь этого свидания. Неужели нет никакой надежды?»

В феврале и марте он дважды был в Москве, где навестил умирающего. Их снова сблизила музыка. Шиловский, несмотря на смертельный диагноз, занялся странным делом — сочинением вальсов для трактира на предмет улучшения эстетического вкуса его посетителей. Для проигрывания вальсов и переложения их для механического органа композитор порекомендовал ему своего нового молодого друга, виолончелиста Юлиана Поплавского, будущего отца поэта Бориса Поплавского.

Второго марта 1893 года он писал Шиловскому: «Голубчик Володя! Пишу тебе коротко. <...> Недоволен тем, что ты недостаточно скоро поправляешься, но, впрочем, нимало не сомневаюсь, что так или иначе, а все-таки ты скоро будешь совсем здоров. <...> Поплавский — чудесный симпатичный юноша, но если он уж больно плох для фортепьяно, то ты, пожалуйста, не стесняйся, я тебе достану другого. Мне казалось, что тебе приятно будет часто видеть не только хорошего музыканта, но и симпатичного человека». 9 марта: «В “Саратове” с Поплавским прослушали твои новые вальсы. Бруггер (настройщик инструментов. — А. 77.) исполнил свое дело необыкновенно добросовестно. Есть много очень эффектных и интересных мест, но в общем для посетителей трактира музыка несколько тяжеловесна». 19 марта: «Милый друг Володя, как твоё здоровье? <...> Поплавскому скажи, что я на него злюсь, мог бы вчера утром зайти ко мне, я его тщетно все утро прождал и уехал».

Какова бы ни была в разные периоды степень близости между ними, общая оценка Модеста этой связи сохраняет свою силу: «Привязанность эта (Чайковского к Шиловскому. — А. П.) была так глубока и прочна, что через многие годы, когда у учителя давно уже пропала вера в артистическое будущее ученика, а по симпатиям и образу жизни не осталось ничего общего, благодарность к этому необыкновенному и трогательному чувству все-таки поддерживала хорошие отношения с Владимиром Шиловским до смерти последнего».

Одиннадцатого марта курьерским поездом Петр Ильич приехал в Харьков. Чтобы встретить знаменитого композитора, на вокзале собралось множество людей. Под громкие аплодисменты он сел в ожидавший его фаэтон. Последовали репетиции и концерт. 14 марта 1893 года он дирижировал «Бурей», Второй симфонией и увертюрой «1812 год».

Реакция публики оказалась совершенно экстатической — не только аплодисменты, цветы, приветствия, но и крики «ура» и «браво» не смолкали очень долго. Восторженная толпа ожидала выхода его из зала, и только появившись в дверях, он был мгновенно подхвачен на руки и перенесен в экипаж, куда вместо лошадей впряглись студенты Харьковского университета и повезли его в гостиницу. Это было настоящее триумфальное шествие по городу.

В Харькове он встретился со своим старым другом Иваном Клименко, специально приехавшим из Полтавы и обнаружившим его в ложе оперного театра «в обществе дамы (!!), чего [я] никак не ожидал», — простодушно вспоминал Клименко.

Статус мировой знаменитости делал Чайковского неотразимым для молодых людей, разделявших его сексуальные пристрастия, но Петр Ильич позволял себе лишь невинные (однако не лишённые эротического подтекста) выражения симпатии к юношам, нередко даже не подозревавшим о природе интереса к ним с его стороны. И в Одессе, и в Харькове он всегда безошибочно выделял из оркестра или толпы наиболее привлекательное лицо, знакомился с ним и начинал интересоваться судьбой молодого человека, его положением, игрой или сочинительством. Часто, тронутый положением начинающих музыкантов, он помогал им деньгами, советом или рекомендацией. Сохранились воспоминания о его гастролях в Киеве, Одессе, Харькове и Петербурге таких случайных знакомых, польщённых вниманием великого человека, для которых встречи эти отпечатались в памяти навсегда. Но этот статус имел и обратную сторону, к чему на тот момент он должен был уже привыкнуть: о нем говорили, его обсуждали в масштабе страны, и при этом неизбежно касались его личной жизни. Двусмысленное положение как будто женатого человека, но не живущего с женой, давало богатую пищу для домыслов, измышлений и сплетен.

Не будет преувеличением сказать, что к этому времени значительная часть русского общества была осведомлена о сексуальных предпочтениях композитора. Мстислав Добужинский вспоминал, что в 1890-е годы, будучи студентом, он часто навещал мать, жившую в провинции, где она начала его образовывать по части музыки. «Больше всего моя мама любила Бетховена и Баха. <...> К Чайковскому — мне это было странно и огорчительно — у нее была какая-то неприязнь, она находила, что его музыка была чрезмерно слезлива и утрированно сентиментальна — чего она вообще не терпела. И это ее мнение неожиданно для меня повторилось в позднейшей критике многих французов. “Впрочем, — говорила она, имея

в виду известную его извращенность, — он больной человек”, о чем тогда шептались с неким ужасом».

По иронии судьбы, именно во время его харьковских концертов, всезнающий издатель «Нового времени» Алексей Суворин записал в дневнике 14 марта: «Маслов (сотрудник «Нового времени». — А. П.) говорил, что Чайковский и Апухтин оба — педерасты, жили, как муж с женой на одной квартире. Апухтин играл в карты. Чайковский подходил и говорил, что идет спать. Апухтин целовал у него руку и говорил: “Иди, голубчик, я сейчас к тебе приду”». Сплетня была нелепая, поскольку они хотя и были близкими друзьями, особенно в юности, но никогда не жили вместе и имели довольно разные вкусы по части того, что они считали привлекательностью в объектах их предпочтений.

В отличие от Апухтина, Мещерского или Кондратьева, известных гомосексуальными похождениями, Петр Ильич никогда не бравировал своими увлечениями и отличался чувством такта и вкусом. В своих политических взглядах он был консервативен и официозен. Известность, покровительство и связи во властных сферах надежно охраняли его от любого скандала, даже если, паче чаяния, он бы и возник в силу неосторожности, недоразумения или любого другого несчастного стечения обстоятельств. И, разумеется, как крайнее средство, всегда был в запасе побег за границу, как это случилось после неудачной женитьбы. Наконец еще раз подчеркнем, что к этому времени он окончательно примирился с особенностями собственной любовной конституции и успешно приспособил обстоятельства своей внутренней жизни к условиям общества, в котором вращался. Выработалась привычка не замечать болтовню досужей толпы, ограничив свой мир лишь любимыми и близкими друзьями, не способными ранить его чувствительную душу. А со смертью отца и сестры отпала мучившая его обязанность давать кому бы то ни было отчет о своей личной жизни. Предположения некоторых биографов о том, что не наказания боялся Чайковский, а потери чести или возможности вынесения своих вкусов на суд публики, не выдерживают никакой критики. Во-первых, исторически к XIX столетию у русских, за исключением очень узкого круга дворянской аристократии, развитый кодекс чести не сложился (в западном понимании этого феномена). Во-вторых, на протяжении большей части жизни композитор не заботился о чести, часто опускаясь до сердечных отношений со слугами, извозчиками и уличными проститутками. В-третьих, любое общественное разоблачение такого рода могло быть сделано лишь открытым заявлением в печати или громким судебным процессом, а это представить в тогдашних условиях



было практически невозможно, особенно в отношении всеми любимого человека, считавшегося гордостью национальной культуры.

Вечером 18 марта Чайковский вернулся из Харькова домой, а 19-го возобновил работу над Шестой симфонией. К 24 марта черновик был закончен: сначала дописан финал, а под конец — вторая часть произведения. В этот же день он отправился, желая развеяться, в Петербург, к своей любимой «четвертой свите». Модест все больше погружался в театральные дела; его пьесы вызывали теперь интерес, и их начали ставить с переменным успехом. На бытовом уровне младший брат жаловался, что их любимый слуга Назар стал много пить и пропадать из дома; к этому прибавились дерзость и непослушание, напоминающие кондратьевскую историю с Алешей Киселевым.

Пятого апреля Петр Ильич снова в Клину, а уже 7-го приступил к сочинению 18 пьес для фортепьяно, заказанных ему Юргенсоном. 11 апреля он сообщал Бобу: «Каждый день рожаю по музыкальному чаду. Чада эти весьма скороспелые и неважные: у меня нет никакой охоты их творить, а творю для денег. Стараюсь только, чтобы не слишком скверно выходили». Далее он успокаивает племянника, не сдавшего экзамен по уголовному праву, сочувствует его другу Руде в том, что хозяйка квартиры, где тот жил, влюбилась в него и не дает ему покоя.

Симфония, пьесы для фортепьяно, создаваемые одновременно, свидетельствуют о творческом подъеме. Известно несколько оперных замыслов, относящихся к 1893 году. «Венецианский купец», предложенный Колей Конради, был отвергнут композитором, так как он хотел «что-нибудь оригинальное, глубоко трогательное». Не понравилась Чайковскому и тема, посоветованная Модестом, — «Наль и Дамаянти» по Жуковскому (переложившему эпизод из древнеиндийского эпоса «Махабхарата»): «Слишком далеко от жизни, мне нужен сюжет вроде “Сельской чести”». Последней была идея оперы по повести Джорджа Элиота «Любовь мистера Гильфиля», сюжет которой, согласно Ларошу, «особенно пленил его пафосом содержания».

Несмотря на увлеченность работой над ними, фортепьянные пьесы были все же не более чем творческим отдыхом. Было задействовано его мастерство, бодрствовала его композиторская фантазия, но сердце чаще всего молчало. Большинство пьес этого цикла позволяет думать, что Чайковский сознательно отвлекался от уже написанной Шестой симфонии, продлевая логический перерыв в работе.

Закончив пьесы, он на несколько дней уехал в Москву, где побывал в Синодальном училище, посмотрел консерваторский спектакль, обедал с

Кашкиным и Поплавским и начал работу над романсами на стихи Даниила Ратгауза, молодого поэта из Киева, который написал ему несколько писем в прошлом году, приложив свои стихотворения. 28 апреля Чайковский навестил Анатолия в Нижнем Новгороде, куда тот был к этому времени переведен вице-губернатором. Вернувшись 2 мая в Москву, он в тот же вечер приехал в Клин, где за несколько дней закончил шесть романсов на присланные Ратгаузом тексты.

Вечером 5 мая Чайковский отбыл в Петербург, чтобы оттуда отправиться в Англию. В последние годы в столице он все чаще встречался с другими композиторами: Глазуновым, Лядовым, Римским-Корсаковым. Но если с Глазуновым и Лядовым он сошелся легко, то с последним это было сделать сложнее. Чайковский чувствовал тайную недоброжелательность Римского-Корсакова, видевшего в нем лишь удачливого придворного сочинителя, к музыке которого благоволили высшие сферы, что, по его мнению, наносило ущерб его собственным сочинениям. По привычке они продолжали проводить время в ресторанах, иной раз засиживаясь до 3–4 часов ночи. Римский-Корсаков раздраженно писал об одном из таких вечеров в конце 1890 года: «Чайковский мог много пить вина, сохраняя при этом полную крепость силы и ума, не многие за ним угонятся в этом отношении. Глазунов, напротив, был слаб, быстро хмелел, становился неинтересным. <...> Я... крайне редко проводил время в ресторанах, обыкновенно ранее других уходя домой». И далее — «Начиная с этого времени... обожание Чайковского и склонность к эклектизму... все растут. Нельзя не отметить также проявившуюся с этих пор... наклонность к итальянско-французской музыке времени париков и фижм, занесенную Чайковским в его “Пиковой даме”, а позже в “Иоланте”».

Композитор провел в столице неделю и 1 мая отбыл в Англию для получения почетного доктората в Кембридже. Едва покинув Россию, он пережил привычный приступ тоски по племяннику, готовящемуся к выпускным экзаменам в Училище правоведения. Любое расставание с ним становилось для него тяжелым испытанием, которое он переживал со свойственной ему страстностью. 15/27 мая он писал ему из Берлина: «На этот раз, вероятно оттого, что слишком часто вспоминал наше прошлогоднее путешествие, я тосковал, страдал и плакал больше, чем когда-либо. Просто психопатия какая-то. <...> Мне непременно нужно знать в Лондоне наиположительнейшим образом: едешь ли ты в Гранкино или желаешь ли, чтобы я приехал? <...> Но уж больно хочется с тобой в Гранкине побыть вместе». Переживания достигли точки, когда Петр Ильич

уже не мог ни спать, ни есть, и лишь невозможность возвратиться с пустыми руками удерживала его от решения повернуться спиной к Кембриджу и умчаться назад, в Россию.

Вскоре по прибытии в Лондон он так описывал свое состояние любимому племяннику: «Я пишу тебе с каким-то сладострастием. Мысль, что эта бумажка будет в твоих руках, дома, наполняет меня радостью и вызывает слезы. Не курьезно ли в самом деле, что я добровольно подвергаю себя этим пыткам? Ведь на кой мне черт все это? Несколько раз вчера во время дороги я решался бросить и удрать, но как-то стыдно вернуться ни с чем. Вчера мои мученья дошли до того, что пропал сон и аппетит, а это у меня великая редкость. Я страдаю не только от тоски, не поддающейся выражению словом (в моей новой симфонии есть место, которое хорошо, кажется, ее выражает), но и от ненависти к чужим людям, от какого-то неопределенного страха и черт знает еще от чего. Физически это состояние выражается в боли нижней части живота и в ноющей боли и слабости в ногах». Отрывок этот, цитируемый иногда как доказательство душевного кризиса Чайковского, дает ясное представление о симптомах любовного невроза в его соматическом выражении. Нет решительно никаких оснований видеть в этом нечто более трагическое. «Лондон препротивный город, — сообщал он Бобу далее, — я не умею здесь ничего находить; писсуаров нет, меняльных лавок нет, шляпу по своей голове насилу нашел!!!»

В Новом филармоническом обществе 20 мая/1 июня состоялся концерт, в первом отделении которого композитор дирижировал Четвертой симфонией. «Дейли телеграф» писала: «За исключением одной части, симфония Чайковского поражает своим славянским элементом... <...> и произвела большое впечатление, а судя по долгим упорным аплодисментам, — восторг». Все дни были расписаны, и только благодаря появлению Сен-Санса, также приглашенного на торжества, Петр Ильич воспрял духом. Оба они присутствовали на обеде в Вестминстерском клубе и дирижировали в одном концерте. Сен-Санс даже слегка пострадал вследствие успеха Четвертой симфонии Чайковского — он выступал во втором отделении, и публика сдержанно встретила его Второй концерт для фортепьяно с оркестром и симфоническую поэму «Прялка Омфалы».

Первые впечатления от Лондона сгладились, и город начал нравиться Петру Ильичу больше, чем в прошлые приезды. В письме Модесту от 22 мая/3 июня говорится: «Париж положительно деревня в сравнении с Лондоном. Во время катания на Риджент Стрит и в Гайд-парке столько экипажей, такая роскошь и красота запряжки, что глаза разбегаются. <...>

Вообще, что я тут вижу народу! И как все это утомительно! По утрам я сильно страдаю нравственно, потом нахожусь в каком-то чаду, но мысль у меня только одна: поскорее бы все кончилось!!»

Он 31 мая/12 июня прибыл в Кембридж и поселился в доме профессора права Фредерика Уильяма Мейтланда. Вначале это стесняло композитора, но «профессор оказался «милейшим человеком и притом русофилом», а жена «очаровала» его «симпатичностью» настолько, что он успокоился. Город «со своими колледжами, похожими на монастыри, своими особенностями в нравах и обычаях, сохранивших много средневекового, своими зданиями, напоминающими очень далекое прошлое, производит очень симпатичное впечатление», — писал он Юргенсону 3/15 июня.

В Кембридже будущие почетные доктора музыки, как было предписано правилами, исполняли свои сочинения, и Чайковский дирижировал «Франческой да Римини». Затем последовал парадный обед и представление собравшихся. На следующий день состоялись церемония возведения в докторскую степень, завтрак и прием у супруги канцлера. Во время церемонии Петр Ильич шел рядом с итальянским композитором Арриго Бойто, позади Сен-Санса. Кроме названных, звания доктора *honoris causa* (во имя чести. — *лат.* здесь: почетный) были удостоены композиторы Макс Брух и Эдвард Григ, не смогший приехать из-за болезни.

В тот же день Чайковский вернулся в Лондон, а на следующее утро — в Париж. Только там он расслабился от трехнедельного нервного напряжения. После английской столицы город показался ему пустыней — «до того велико лондонское движение на улицах». Композитор сходил в театр и кафешантан, уже утратившие прелесть новизны, но гулянье по бульварам продолжало доставлять ему «большое удовольствие». Еще в Лондоне он получил несколько писем и лишь одно «из всей пресловутой 4-й сюиты» — от Володи Направника, которому ответил подробным отчетом о кембриджских торжествах. В Париж ему писали Анатолий и Эмма Жентон, вернувшаяся в Россию в качестве гувернантки в его семье. Поэтому как сам Петр Ильич, так и Модест не испытывали особенного желания гостить у брата, опасаясь возрождения неумеренных восторгов француженки и ее любовных притязаний.

Уже 7/19 июня композитор выехал в Иттер к Софье Ментер и Сапельникову и прожил у них неделю. «Его духовные и физические силы находились в полном расцвете, — вспоминал пианист. — Он надеялся создать еще много музыкальных произведений и горел жаждой творчества и труда. В его воображении уже носились звуки и мелодии, которые

должны были найти в себе выражение в новых симфониях и опере, которые он собирался написать. Несмотря на то, что весь мир считал его великим композитором, Петр Ильич совершенно не признавал своих прошлых заслуг. Он говорил, что ему страшно хочется написать действительно хорошую оперу. <...> Петр Ильич — этот высокообразованный и интеллигентный человек, не был и не мог, конечно, быть суеверным; этот человек был — сама искренность. Тем загадочнее, конечно, является предчувствие близкой смерти, которое появилось у него за несколько месяцев до кончины. Это предчувствие как-то сразу охватило все существо Петра Ильича и сделало его неузнаваемым. Из веселого и жизнерадостного он сразу превратился в человека, подавленного мыслью о близкой смерти. <...> Вечером, накануне отъезда в Каменку (Гранкино. — А. П.), П[етр] И[льич] был необыкновенно оживлен и хорошо настроен. Но затем, за чаем, Петр Ильич внезапно сделался серьезным и молчаливым. Он прекратил разговор и задумался. Я взглянул на него и испугался. Глаза его были устремлены в одну точку. Выражение лица стало печальным и сосредоточенным. Так неподвижно он смотрел несколько минут. На завтра был назначен его отъезд. Всю дорогу Петр Ильич был задумчив. На вокзале, в буфете Петр Ильич попросил принести бутылку сельтерской воды. Налив два стакана — себе и мне, — Петр Ильич поднес свой стакан к губам, но вдруг опустил руку со стаканом, не прикоснувшись к нему. Опять лицо его приняло вчерашнее грустное выражение и он глубоко задумался. Раздался второй звонок. Пора было занять место в вагоне. Мы встали. Петр Ильич взял мою руку и долго держал ее в своей руке. “Прощай, — сказал он, наконец, — может быть, мы видимся в последний раз”. В звуке его голоса я почувствовал как бы последний привет дорогого мне человека. На его добрых глазах показались слезы».

С одной стороны, соображения мемуаристов не всегда следует слепо принимать на веру, ибо они тяготеют к ретроспекции. Тем более что такие воспоминания, как правило, пишутся после смерти протагонистов. Мы знаем, однако, что Чайковский действительно тогда был полон бодрости и широких творческих планов. С другой стороны, мрачные предчувствия вполне здорового человека перед возможной кончиной, в том числе и вызванной несчастным случаем, — хорошо известный психологический феномен; вокруг этой темы существует целый антропологический фольклор. Причем чем одареннее и утонченнее человек, тем с большей силой, по многочисленным свидетельствам, его обуревают похожие предчувствия (ср. «черный человек» в «Моцарте и Сальери» Пушкина). Тем более что во время своего пребывания в Иттере Чайковский узнал о

смерти в Москве Карла Альбрехта, с которым они когда-то были близкими друзьями, кроме того, помнил о скором уходе Шиловского и Апухтина. Что состояние их безнадежно, он знал еще до возвращения в Россию. Наконец, как нам известно, он изначально был натурой невротической, в течение всей жизни ему были свойственны приступы тяжелой депрессии, часто без малейших, по крайней мере определенных, на то причин.

Через четверо суток после отъезда из Иттера, 18 июня, он был уже в имении Конради. «Странное дело, — писал он Анатолию, — красоты Тироля, среди коих я прожил неделю у Менгер, не доставили мне и половины того удовольствия, какое доставил вид бесконечной степи, по которой я вчера ехал сюда от железнодорожной станции. Нет, решительно, русская природа мне бесконечно более по душе, чем все хваленые красоты Европы». В Гранкине, кроме хозяина, он застал Боба и Рудю. Модест в это время жил в Оптиной пустыни при мужском монастыре, в Калужской губернии, и работал над новой пьесой. Петр Ильич писал ему, что «все три юноши очень загорели и имеют здоровый и веселый вид. Конечно, Боб иногда впадает в мерлехлюндию, но ведь, к несчастью, она повсюду его преследует. Впрочем, это в виде исключений, в общем и он в хорошем расположении духа. Что касается Коли, Руди, меня, Нары (служанки Конради. — А. Я), Назара и т. д., то все сияют».

Реакции Боба на знаменитого дядю, на жизненные обстоятельства были непредсказуемыми, и последнему приходилось бороться с настроениями и предубеждениями любимца. «Мне только неприятно было читать, что ты с таким ожесточением относишься к Гранкину. Судя по тому, что ты говорил мне в Гранкине, я понял, что оно тебе противно вследствие сердечной канители [Модеста с Колей], а в письме, как будто оказывается, что оно само по себе так ненавистно. Мне ж, напротив, Гранкино ужасно мило», — писал он племяннику 19 июля.

26 июля он жаловался Модесту на невнимание Боба: «Удивительно, как Боб ленив на письма, — хоть бы плюнул на почтовую бумагу и послал. Я, было, хотел ему сегодня написать, но вдруг почувствовал, что слишком много чести для субъекта, которому и плюнуть на меня лень». 2 августа на это же он сетует и в письме к самому предмету нежных чувств: «Мне просто грустно, что ты до такой степени мало интересуешься мной. Неужели ты подчеркнутый, сугубый эгоист?» Модест старался открыть брату глаза на странный характер молодого человека, которого он знал, несомненно, лучше: «Жизнь для него какая-то давно зачитанная, скучная книга, никаких страшных и интересных тайн впереди, никакой завесы чего-то еще неизведанного и очаровательного. Может быть, так лучше, не

предстоит, по крайней мере, никаких разочарований... но вместе с тем, мне все время жаль его, и вместе с ним как-то скучно жить» (письмо от 16 мая).

Приведенные свидетельства не оставляют сомнений, что композитор не только его обожал, но был в него влюблен со всею страстью, на которую был способен. Был ли Боб его любовником, а не просто желанным спутником последних лет? С одной стороны, нам неизвестно об увлечениях Владимира Давыдова женщинами, он сам был гомосексуален (об этом говорит его любовная связь с Рудей Буксгевденом). Но этого далеко не достаточно для того, чтобы делать вывод о существовании интимных отношений также между ним и его знаменитым дядей. Более того, если принять точку зрения, что в посвященной Бобу Шестой симфонии Чайковский воплотил самую трагическую в своей жизни тему неразделенной любви, то логично увидеть в ее трагизме конфликт между платонической страстью и плотскими желаниями, которые было необходимо обуздать, дабы заземлением и профанацией не унизить высокое чувство. Картина жизни последних лет не дает решительно никаких оснований видеть какую бы то ни было иную трагичность (кроме той, о которой мы сейчас говорим) в обстоятельствах его личной жизни: окруженный преданной ему обаятельной молодежью, он, конечно, без труда должен был удовлетворять свои плотские желания, если этого хотел. Следовательно, речь может идти не об отсутствии возможности этого или, еще менее, такой (всегда второстепенной для него) вещи, как общественное мнение, но о сознательном сопротивлении им по соображениям этического, эстетического, составляющим историко-психо-логически наиболее идеалистический аспект гомосексуального спектра. Очевидно, что для личности такого масштаба внутренняя борьба ни в коем случае не должна была обернуться внешней катастрофой. Напротив, то была борьба гордая и таляя инстинктивная, в высшей степени творческая, и не удивительно, что патетика ее (в изначальном греческом смысле — страдания) вылилась не в безрассудные акты, а в прекрасную музыку Шестой симфонии.

Как бы то ни было, вопрос о их физической близости не так уж важен. Важнее, что в коллизии с «обожаемым существом» Петр Ильич, вероятно, того не ведая, повторил эллинскую пайдею по образцу, преподанному в платоновских «Пире» и «Федре». Самоограничение во имя любимого, сочетание ролей влюбленного и ментора, строгий и нравственный воспитательный пафос и стремление в первую очередь к достоинству отношений — все это выгодно отличает их ситуацию от множества жалких и несчастных историй о том, что Томас Манн называл «унижением величия», которого не избежали ни Леонардо да Винчи, ни Бетховен, ни

Марсель Пруст.

Двадцатого июля композитор наконец приступил к инструментовке Шестой симфонии и два дня спустя сообщал Модесту: «Только дома я могу работать как следует. Я погрузился теперь по горло в симфонию. Инструментовка чем дальше, тем труднее мне дается. Двадцать лет тому назад я валял во все лопатки, не задумываясь, и выходило хорошо. Теперь я стал труслив, неуверен в себе. Сегодня целый день сидел над двумя страницами — все что-то не то выходит, чего бы хотелось. Но все-таки работа подвигается и во всяком другом месте я бы не сделал того, что делаю дома».

Трудность работы, однако, его не слишком смущала, ибо в нем зрела уверенность, что новая симфония будет успешной. В письме Бобу от 3 августа читаем: «Я очень доволен ее содержанием, но не доволен или, лучше сказать, не вполне доволен ее инструментовкой. Все что-то не так выходит, как я мечтал. Мне совершенно будет обычно и неудивительно, если эту симфонию обругают или мало оценят, — ибо не в первой. Но я положительно считаю ее наилучшей и в особенности “наискреннейшей” из всех моих вещей. Я ее люблю, как никогда не любил ни одно из других моих музыкальных чад».

За два дня до этого, отвечая Даниилу Ратгаузу и подводя своеобразный итог последним месяцам, он отмечал: «Я имею претензию быть в музыке своей очень искренним — между тем ведь я тоже преимущественно склонен к песням печальным и тоже, подобно Вам, по крайней мере в последние годы, не знаю нужды и вообще могу считать себя человеком счастливым!»

Двенадцатого августа Петр Ильич закончил инструментовку «Патетической» симфонии и привел в порядок партитуру. Это название вместе с посвящением Владимиру Давыдову впервые появилось, как полагают исследователи, уже в июле. Об этом свидетельствует и недавно найденное в Клинском архиве письмо Юргенсона от 20 сентября 1893 года. Подготавливая симфонию к публикации, он спрашивал: «Насчет “pathetique” и “W. Davidoff или Dawidow” как быть?» В русском языке, как и во французском и немецком, «патетический» означало «страстный, взволнованный, эмоциональный, исполненный пафоса», что как нельзя лучше подходило к трагическому звучанию симфонии. Только в английском языке это слово имеет нежелательный иронический оттенок — «печальный», «жалкий», «трогательный», о чем, видимо, автор не подозревал.

Из обеих столиц приходят грустные новости о друзьях: пока он был в



отъезде, 24 июня скончался Владимир Шиловский, а незадолго до этого, неожиданно, его брат Константин. Вернувшись в Клин после короткого визита к брату Николаю в Уколово Курской губернии, 19 июля композитор пишет Анатолию: «Знаешь ли ты, что и Костя и Володя Шиловские умерли один вслед за другим в это лето? Володя оставил все свое состояние жене, которая, впрочем, этого и заслуживала, ибо была едва ли не единственным преданным ему другом». Своеобразным эпилогом истории стало его письмо Модесту по поводу вдовы бывшего ученика: «Получил я прекурьезное письмо от графини Васильевой-Шиловской. Она называет меня в нем “мой друг”, спрашивает, люблю ли я ее по сродству душ, сообщает, что она “toute fondue en larmes” (вся залилась слезами. — *фр.*) по своему “лапке” и в конце письма между прочим жалуется, что много дела, ибо “лапка” m’a tout donne (все мне отдал. — *фр.*). Так и чувствуешь, что она в сущности безумно рада, что получила большое состояние. А с другой стороны мне сообщают, что семья Константина Шиловского в страшной нужде, и просят хлопотать за них. Неужели она им ничего не даст?»

Все лето поступали тревожные сообщения из Петербурга о все ухудшающемся состоянии больного водянкой Апухтина. В течение последних лет Петр Ильич редко виделся с ним, но это не означало, что они разошлись. В письмах Модесту, Бобу, Коле Конради и другим жителям столицы он постоянно интересовался здоровьем старого друга. Последние десятилетия жизни поэта не были богаты внешними событиями. Он страдал тяжелой формой ожирения, которой заболел, когда ему еще не было тридцати. Несмотря на тучность, он был человеком очень живым и любил даже подшучивать над своей фигурой, «рассказывая, например, про маленькую девочку, которая, войдя в гостиную матери, где он сидел, спросила, указывая на него пальчиком: “Мама, это человек или нарочно?”».

Печатался Апухтин по-прежнему мало, иногда под давлением финансовой необходимости, и его первый сборник вышел только в 1886 году, за семь лет до смерти; он выдержал десять изданий. Апухтин определенно испытывал отвращение к идеологической борьбе, развернувшейся в русской литературе в 1870—1880-е годы. С его точки зрения, не только проза, но и поэзия превращались в злободневную журналистику. Отсюда — принятая им поза «дилетанта», отказывающегося превратиться в литературного «профессионала». Позиция, не лишенная благородного достоинства. Идеалом в современной ему литературе для него остался навсегда Лев Толстой.

Эмоциональная напряженность, вызванная эротическими переживаниями, продолжала сохраняться и нашла отражение в его лирике,

становившейся все более и более зрелой. За исключением очень немногих стихотворений (таких как «Сухие, редкие, нечаянные встречи...»), его любовная поэзия лишена конкретно гомоэротического характера, ибо в подавляющем большинстве случаев пол адресата установить невозможно, или же им предполагается женщина по вполне понятным причинам, поскольку до появления Михаила Кузмина откровенно гомосексуальных произведений, как поэтических, так и прозаических, в русской литературе практически не существовало. Не вызывает, однако, сомнений, что по крайней мере в ряде стихотворений Апухтина, обращенных по форме к женщине, отразились его влюбленности в юношей, но это положение не может быть с точностью доказано без привлечения биографических документов и подробного стиховедческого анализа. Тем не менее есть основания считать, что поэт — в отличие от своего друга-композитора — был способен испытывать очень пылкие и при этом эротически окрашенные чувства к женщинам, в первую очередь к певице Александре Панаевой, которой он посвятил стихи, исполненные подлинной страсти (например, «Я ее победил, роковую любовь»). Считается даже, что она «была предметом многолетней неразделенной любви поэта». Насколько это было так, и в какой мере сочетались в его обожании ее поэтический миф, платонический пафос и чувственное желание, судить трудно. В любом случае, оно представляется много глубже кисло-сладкого романа Чайковского с другой певицей — Дезире Арто. Не забудем, однако, что в 1885 году Панаева вступила в брак с молодым другом Апухтина — Георгием Карцовым (двоюродным племянником братьев Чайковских), к которому он также был равнодушен. Создавшаяся коллизия должна была в нем породить целую гамму эмоций, отчасти отразившуюся в его творчестве, не без влияния «своего рода культа» Панаевой-Карцовой, царившего в его ближайшем окружении. Чайковский посвятил ей Семь романсов (оп. 47).

Основные интонации, возникшие еще в юношеские годы, не исчезли из поэзии Апухтина до самого конца: душевные терзания, пристальный самоанализ, одиночество, ностальгия по прошлому, сплин. К этому добавились религиозные поиски, связанные с конфликтом плоти и духа и вызывающие в памяти аналогичные метания Петра Ильича. Сам поэт выразился о таком состоянии афористично:

**И нет в тебе теплого места для веры,  
И нет для безверия силы в тебе.**

Об этом же — быть может, вершинная его поэма «Год в монастыре» (1883). В конце 1880-х он приступил к работе над широко задуманным

романом «без всякой тенденции», к сожалению, оставшимся незаконченным; за ним последовали две повести из современного быта и философско-фантастический рассказ, с успехом читавшиеся им в светских салонах. Проза Апухтина, впервые опубликованная после его смерти, выдает настоящего мастера, умного наблюдателя, точно описавшего формы людских отношений в различных кругах общества, равно как и перипетии любви между мужчиной и женщиной. Она не случайно вызвала восхищение Михаила Булгакова: «Апухтин — тонкий, мягкий, ироничный прозаик. <...> Какой культурный писатель!»

Узнав, что Чайковский удостоен звания почетного доктора Кембриджского университета и едет в Англию на торжественную церемонию, Апухтин написал стихотворение «К отъезду музыканта-друга», в котором подводит своеобразный итог их многолетним отношениям:

К отъезду музыканта-друга  
Мой стих минорный тон берет,  
И нашей старой дружбы fuga,  
Все развивался, растет...  
Мы увертюру жизни бурной  
Сыграли вместе до конца,  
Грядущей славы марш бравурный  
Нам рано волновал сердца, —  
В свои мы верили таланты,  
Делились массой чувств, идей...  
И был ты вроде доминанты  
В аккордах юности моей.  
Увы, та песня отзвучала,  
Иным я звукам отдался,  
Я детонировал немало  
И с диссонансами сжился, —  
Давно без счастья и без дела  
Дары небес я растерял,  
Мне жизнь, как гамма, надоела,  
И близок, близок мой финал...  
Но ты — когда для жизни вечной  
Меня зароят под землей, —  
Ты в нотах памяти сердечной  
Не ставь бекара предо мной.

Известный русский юрист и общественный деятель Анатолий Федорович Кони вспоминал: «Последний раз в жизни я видел Апухтина за год до его смерти, в жаркий и душный летний день у него на городской квартире. Он сидел с поджатыми под себя ногами, на обширной тахте, в легком шелковом китайском халате, широко вырезанном вокруг пухлой шеи, — сидел, напоминая собой традиционную фигуру Будды. Но на лице его не было созерцательного буддистского спокойствия. Оно было бледно, и глаза смотрели печально. От всей обстановки веяло холодом одиночества, и казалось, что смерть уже тронула концом крыла душу вдумчивого поэта».

Семнадцатого августа 1893 года поэта не стало. Известие о кончине старейшего друга не затронуло композитора столь глубоко, как можно было ожидать. «Несколькими годами раньше, — отмечает Модест, — одна подобная весть подействовала бы на Петра Ильича сильнее, чем все эти вместе взятые теперь. <...> Об Апухтине он тоже говорил иначе, чем прежде об умирающих; чувствовалось, что теперь он не поедет, как бывало... за несколько тысяч верст, чтобы повидать друга перед вечной разлукой. Смерть точно стала менее страшна, загадочна и ужасна. Было ли это результатом того, что чувствительность с годами и опытом огрубела или испытанные им моральные страдания последних лет приучили видеть минуты в смерти избавительницу — не знаю».

Когда несколько недель спустя великий князь Константин Константинович попросил Чайковского написать «Реквием» на стихи Апухтина, тот отказался: «Меня немножко смущает то обстоятельство, что последняя моя симфония, только что написанная и предназначенная к исполнению 16 октября (мне ужасно бы хотелось, чтобы Ваше высочество услышали ее), проникнута настроением, очень близким к тому, которым преисполнен и “Реквием”. Мне кажется, что симфония эта удалась мне, и я боюсь, как бы не повторить самого себя, принявшись сейчас же за сочинение, родственное по духу и характеру к предшественнику». Означает ли это, что, создавая Шестую симфонию, он писал реквием по себе, как полагают некоторые авторы?

В письме от 26 сентября, окончательно отклонившем просьбу К. Р., сказано: «Есть и еще причина, почему я мало склонен к сочинению музыки на какой бы то ни было реквием, но я боюсь неделикатно коснуться Вашего религиозного чувства. В Реквиеме много говорится о Боге — судии, Боге — карателе, Боге — мстителе (!!!). Простите, Ваше высочество, но я осмелюсь намекнуть, что в такого Бога я не верю, или, по крайней мере, такой Бог не может вызвать во мне тех слез, того восторга, того преклонения перед создателем всякого блага, которые вдохновили бы

меня». В этом письме прочитывается высокая степень расположения, оказываемая Константином Константиновичем композитору, и обаятельная манера Петра Ильича держать себя с высоким покровителем на равных.

Он настолько был занят симфонией, проблемами, связанными с Модестом и Бобом, гастролями, что весь остальной мир казался ему не важен, не существен, оставаясь неким фоном, декорацией. Внутренняя реакция на смерть Апухтина могла быть очень глубокой, но внешне оставалась сдержанной, во всяком случае, истерик не было. «В ту минуту, как я пишу это, — писал Чайковский Бобу Давыдову из Клина 20 августа 1893 года, — Лелю Апухтина отпевают!!! Хотя и не неожиданна его смерть, а все жутко и больно. Когда-то это был мой ближайший приятель».

В Петербург он приехал, когда Апухтина хоронили, и остановился на Английской набережной у Лароша. Жить в квартире Конради он больше не мог — Модест с Бобом наконец решили поселиться отдельно. Вызвано это было длительным кризисом в отношениях, усугубившимся в последние годы. Расточительность Модеста давала себя знать, пьесы денег почти не приносили, а с прекращением субсидии от фон Мекк брат уже не мог помогать ему как раньше. Тот это хорошо понимал\* но научиться жить скромнее так и не сумел. Коля, долго терпевший то, что воспитатель привык считать его деньги своими, решил положить этому конец. Сославшись на неурожай в имении, он недвусмысленно дал понять ему, что больше не может его содержать. 20 августа Чайковский писал брату: «Касательно Коли\* — то что бы ты ни писал\* а я все-таки считаю его большой свиньей, но постараюсь по возможности не показывать ему моих чувств. Вопрос о Вашем устройстве меня очень беспокоит. Все это прекрасно, но деньги, деньги'!! У меня их, как нарочно, теперь немного». В письме Анне Мерклинг от 29 сентября он также касается этой проблемы: «Чем больше думаю о низости и свинстве Коли Конради, тем более возмущаюсь и оскорбляюсь. Но, боже мой, нужно по правде сказать: ведь только такого рода люди как Коля Конради... и живут счастливо на свете. Черствое сердце, посредственный, никогда в суть вещей не проникающий ум, эгоизм — вот условия для благополучного прозябания на этом свете». Защищая интересы Модеста, он, конечно, не мог сохранить объективность.

Сезон 1893/94 года обещал быть очень насыщенным. Иван Греков, импресарио Оперного театра в Одессе, умолял Чайковского приехать снова. Именно Грекову адресовано его последнее дошедшее до нас письмо от 21 октября. Композитору трудно было найти время: 27 ноября должны были состояться концерты в Петербурге, 4 декабря — в Москве, 15 и 29 января — снова в Петербурге, в марте предполагался Амстердам, в апреле —

Гельсингфорс<sup>[9]</sup>, в мае — Лондон. Приглашали его в Харьков, Варшаву, Франкфурт-на-Майне и другие города.

Он ненадолго выехал в Гамбург 23 августа, где должен был появиться по случаю представления «Иоланты», и 26 августа/

7 сентября слушал свою оперу, которой дирижировал Густав Малер. Затем тотчас же возвратился в Петербург, встретился с Модестом, только вернувшимся из Каменки, и через Москву поехал в Нижегородскую губернию, в село Михайловское, где отдыхал Анатолий с семьей.

Семнадцатого сентября Чайковский был уже в Москве, но остановился в гостинице — ехать в Клин он не мог, поскольку в ближайшие дни у жены Алексея ожидалась очередная роды. Он побывал в Малом театре на спектакле по пьесе Модеста «Предрассудки». Постановка ему понравилась, и он был огорчен отрицательными рецензиями, появившимися в газетах. Из Москвы он ответил великому князю Константину Константиновичу: «Чрезвычайно обрадован бесконечно милым письмом Вашим. Как Вы добры, что среди многосложных и многообразных обязанностей и занятий не забываете меня! Собственно говоря, я не заслуживаю Вашего драгоценного внимания, ибо непростительно забывчив в тех случаях, когда можно своевременно доказать свое памятование о всем, касающемся лица, к коему питаешь такое теплое и живое чувство любви и преданности, как то, коим я преисполнен по отношению к Вам. Каждый раз перед 21 маем и 10 августом я даю себе слово не забывать Вас поздравить и почти каждый раз вследствие различных обстоятельств вспоминаю о данном себе слове, когда уже поздно. Долго потом эта невольная вина перед Вами терзает меня, — но относительно рассеянности и забывчивости подобного рода я, кажется, неисправим».

Модест писал из Петербурга, что их новая квартира — на углу Малой Морской и Гороховой и они с Бобом надеются переехать туда к 1 октября. По договоренности с братом на эти нужды он занял у Федора Мюльбаха, владельца фортепьянной фабрики в Петербурге, тысячу рублей, которую Петр Ильич обязался в ближайшее время вернуть.

Наконец любимый слуга сообщил о рождении дочери, но попросил прибыть не ранее 25 сентября. 30 сентября композитор узнал о смерти еще одного старого друга, профессора Московской консерватории Николая Сергеевича Зверева. На похоронах Зверева ему хотелось присутствовать, но поскольку он узнал о них слишком поздно, то решил не ехать. 3 октября он закончил инструментовку Третьего концерта для фортепьяно с оркестром и через день послал телеграмму Брандукову, жившему в это время в Москве, о том, что ожидает его у себя завтра с Юлианом Поплавским. Они должны

были вместе посмотреть виолончельный концерт Сен-Санса, который Брандуков вскоре собирался играть.

Шестого октября двое приглашенных приехали в Клин. Поплавский вспоминал, что на станции они «были встречены курчавым разбитным ямщиком, доставившим нас к подъезду деревянного дома со стеклянным крытым балконом, последнего по Московскому шоссе». Чайковский был очень рад их видеть, они вместе разучивали концерт, много шутили, композитор рассказывал о своих зарубежных гастролях, знакомствах и всячески развлекал гостей. «До одиннадцати часов, когда Петр Ильич обыкновенно ложился в постель, время прошло незаметно. Радушный наш хозяин сам осмотрел приготовленные для нас комнаты, чтобы удостовериться все ли необходимое приготовил Алексей; он собственноручно принес нам пледы и пальто, боясь, как бы ночью не было холодно».

На следующий день, в половине девятого, Поплавский «застал Петра Ильича за чаем. Он читал газеты, сидя подле маленького круглого стола у окна в зале». Все утро они проговорили о музыке и перед обедом отправились прогуляться по Клину. Чайковский с удовольствием знакомил молодых друзей с красотами местной природы. Но подул сильный ветер, все промерзли и решили возвратиться домой. «Алексей с недовольным лицом доложил, что обед еще не готов, и чтобы занять время, Петр Ильич предложил посмотреть увертюру Лароша к “Кармозине”. За обедом Петр Ильич говорил о своей последней симфонии. Мы, видя его особенно хорошее расположение духа, приступили к нему с постоянной нашей просьбой — написать концерт для виолончели. <...> Петр Ильич тогда ожидал либретто, чтобы начать оперу, — какую, он не сказал; в октябре он рассчитывал написать задуманный уже концерт для флейты... потом несколько мелких пьес для скрипки и уже затем обещал взяться за виолончельный концерт».

Потом композитор показал гостям «свое несложное хозяйство» в доме и вокруг. В пятом часу они с хозяином стали собираться в Москву. Поплавский отмечал: «Содержимое двух... <...> чемоданов [Чайковского] было просмотрено и пополнено Алексеем. Явился Егорка, двухлетний сынишка Алексея, хозяйский крестник. Прощаясь с ними, Петр Ильич расцеловался с сыном и отцом. Алексей, вручая барину шестьдесят рублей, наказывал купить в Москве сукна на пальто и еще какие-то статьи гардероба. Мы сели на извозчиков и через двадцать минут уже весело входили в вагон вечернего поезда».

Утром 8 октября Чайковский присутствовал на заупокойной службе по

Звереву и встречался с Сергеем Танеевым. На следующий день отправился в консерваторию. Как вспоминал Кашкин, студенты класса Елизаветы Лавровской «ему спели аранжированный им отрывок из c-moll'ной фортепьянной фантазии Моцарта для четырех голосов с аккомпанементом на текст, им же самим написанный. Петр Ильич сидел в зале возле меня и восторгался так, что готов был, по его словам, плакать; квартет спели два раза, и он сам предложил исполнить его в одном из симфонических собраний. <...> Тут же в консерватории он сказал мне, между прочим, что красота мелодии [Моцарта] для него — тайна и что он сам не может объяснить неотразимой прелести простой мелодии этого квартета».

Вечером того же дня Чайковский отбыл в Петербург.



## Глава двадцать девятая. Роковая случайность

Ранним утром 10 октября Чайковский приехал в Петербург. На перроне Николаевского вокзала его встретили Модест и Боб в военной форме. Любимый племянник решил сменить карьеру и вместо гражданской службы поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Преображенский полк под командованием великого князя Константина Константиновича. Петр Ильич был в приподнятом состоянии духа, и новая квартира, нанятая братом, ему сразу понравилась. «Хорошее настроение не покидало его и далее, в особенности в первые дни, когда присутствие его еще не огласилось в городе и он мог свободно располагать своим временем».

Герман Ларош ярко описал прогулки со своим другом по Невскому проспекту еще в консерваторские времена. Он же подчеркнул контраст в его внешности и поведении, ставший очевидным почти тридцать лет спустя. «Из безвестного столоначальника департамента юстиции он успел сделаться всесветною знаменитостью, а знакомых у него, по-видимому, стало вдесятеро меньше. В 90-х годах мне опять... случалось ходить с ним по Невскому, но бывало так, что знакомого не встречалось ни одного. Сделавшись элегантным и даже щепетильным по части туалета, он давно перестал быть светским человеком в прежнем смысле слова, в аристократических салонах бывал изредка в качестве “звезды”, обыкновенно же знался и дружил только с музыкантами, с которыми его связывали сотни деловых нитей, а во многих отдельных случаях и теплые, сердечные отношения».

Множество фотографий и свидетельств современников сохранили облик композитора этого времени. Он казался много старше своих пятидесяти трех лет. Виолончелист Михаил Букиник вспоминал несколько репетиций сезона 1891/92 года: «Несмотря на свои, сравнительно не старые годы... Чайковский выглядел тогда почти стариком. Среднего роста, совершенно седой, редкие волосы, множество морщин на лице и пожелтевшие зубы; говорил он сипловатым голосом; подкупал Чайковский своими чистыми, ясными, доверчивыми глазами, теплой улыбкой и таким искренним смехом. Он был довольно бодр и строен. От его фигуры веяло артистичностью. Приходил он на репетиции всегда аккуратно одетым, застегнутым на все пуговицы и производил впечатление европейца».

Дни до концерта, когда под управлением автора должна была исполняться Шестая симфония, проходили в репетициях. Еще до

появления композитора в Петербурге в музыкальных кругах уже обсуждалось его новое необычное по форме творение, по поводу которого он писал племяннику еще в феврале: «Финал будет не громкое аллегро, а, наоборот, самое тягучее *adagio*». По свидетельству Юрия Давыдова, бывшего тогда воспитанником Военно-кавалерийского училища, репетиций было четыре. Симфония не произвела впечатления на музыкантов. Это огорчало ее создателя. Модест Ильич отмечал, что «холодное выражение лиц, равнодушный взгляд, зевок оркестрового исполнителя, понятные при полном незнакомстве с вещью, связывали его, он терялся, небрежно относился к отделке подробностей и старался скорее кончить репетицию, чтобы избавить музыкантов от скучного дела». По словам одного из музыкантов, «на репетициях он беспокоился, не слишком ли трудно написаны партии, и жадно читал в глазах артистов, понимают ли они, что он хотел сказать в этой музыке. Но П[етр] И[льич] не был дирижер, и нам оставалась темна сущность этой музыки: мы... совершенно не прочувствовали той смертельной скорби, которой проникнута симфония. Истина открылась нам вскоре».

После репетиций оставалось время для общения с друзьями и посещения театров. Юрий Давыдов сообщал, что его дядя в то время весьма любил французский Михайловский театр: «Не помню, как называлась пьеса, изрядно скабрзная, но знаю, что артисты Андрие и Лортер нас бесконечно смешили. <...> После театра, по обычаю, пошли ужинать в ресторан одной из гостиниц, либо “Гранд-отель”, либо “Отель де Франс”, так как нас, учащихся, было много и могли бы не пустить в обычный ресторан <...> [Компания] состояла... из молодежи, главным образом племянников, и очень ограниченного числа самых близких друзей. Начался так называемый Петром Ильичем “кутеж”. <...> Пили за здоровье виновника торжества, нас собравшего, за присутствующих, и этот вечер прошел очень оживленно. Петр Ильич был несколько возбужден, очень весел, шалил как никогда, и шутки сыпались как из рога изобилия».

Тогда же на квартире Модеста побывал молодой актер Юрий Юрьев. Незадолго до этого он окончил Театральное училище в Москве и был принят в петербургский Александринский театр. Он претендовал на одну из ролей в новой комедии Модеста Ильича «Предрассудки», премьера которой должна была состояться в конце октября. И хотя роли он не получил, но зато начал сближаться с братьями Чайковскими. Он вспоминал: «Модест своей исключительной мягкостью, предупредительностью, чуткостью и свойственной ему какой-то особой деликатностью подействовал на меня успокоительно и вскоре я

почувствовал совершенно свободно. <...> Когда миссия моя была окончена, я собрался было уходить, но Модест Ильич непременно хотел, чтобы я остался отобедать. Надо сказать, что тогда по молодости лет, я еще очень дичился от непривычки бывать в незнакомом обществе и поэтому стал отговариваться. <...> Только я кончил, как дверь отворилась и на пороге комнаты показалась так хорошо знакомая мне фигура Петра Ильича в сопровождении юноши в военной форме. Этот юноша был Владимир Львович Давыдов. <...> Мы познакомились. — “А мы с дядей Петей подслушивали вас, — лукаво заявил Владимир Львович. — Дядя стоял на коленках и смотрел в замочную скважину”. <...> Завязалась беседа. Петр Ильич расспрашивал меня о моей работе в театре, о моих первых петербургских впечатлениях. — “Посмотрите, какой у нас прекрасный вид”, — с этими словами он взял меня за руку и повел на балкон. Перед нами в лучах заката вырисовывался величественный фронтон Исаакиевского собора. Оба брата стали упрашивать меня остаться на обед. По застенчивости я упорно отказывался. Однако неотразимое радушие хозяев победило, и я вынужден был согласиться. Я сидел напротив Петра Ильича, которого привык чтить и раньше, хотя знал его лишь по фотографиям и портретам, в то время имевшим большое распространение. “Неужели, — думал я, — это тот самый знаменитый П[етр] И[льич] Чайковский, казавшийся мне всегда каким-то недостижимым существом, не похожим на простых смертных, а вот я, самый обыкновенный и совсем еще молодой человек, нахожусь в его доме\* сижу против него за столом? <...> А он такой простой, скромный, говорит о самых обыкновенных вещах и, как это ни странно, часто обращается ко мне”».

Встреча и взаимная симпатия этих людей была не случайной. Александринский театр в 1890-е годы имел соответствующую репутацию. Еще в 1889 году в Петербурге чуть не разразился скандал, в котором оказались замешанными ведущие актеры театра Давыдов и Варламов и князь Мещерский. Историю замяли, но в октябре 1900 года главный режиссер Евтихий Карпов вышел в отставку, по-видимому, не выдержав давления со стороны Дирекции Императорских театров во главе с князем Волконским. Суворин в своем дневнике отмечал: «Князь Волконский окружает себя миньонами. Дирекция императорских театров с этим ничтожным князьком какая-то мужская бордель. Князь Волконский “со слезами умоляет” Юрьева, чтобы он уступил Самойлову роль, и Юрьев это объявляет громогласно. Давыдов в этой компании. Он и взялся режиссировать. [Актриса] Савина о нем говорит: “Он больной человек, давно уж”, т. е. больной тем же, чем и князь Волконский».

Гомосексуальность Юрьева, ставшая позднее хорошо известной, не помешала ему пережить революцию и получить почетное звание народного артиста СССР.

Сохранилось мало сведений о том, чем, кроме репетиций, в эти дни занимался Чайковский, но можно предположить, что неделя, проведенная в обществе Боба и его молодых друзей, была приятной; соответственно, он позволил себе игнорировать свирепствовавшую в Петербурге в ту осень холерную эпидемию. Тем более что, по признанию Модеста, он «из всех болезней менее всего боялся холеры».

События последних дней его жизни детально описаны в подробном отчете Модеста Ильича, составленном 31 октября по горячим следам и появившемся в главных петербургских газетах сразу после роковой болезни композитора и поэтому внушающем доверие. Течение болезни с достаточной полнотой изложено в двух интервью лечащих врачей, Льва Бертенсона и Николая Мамонова, взятых репортерами «Нового времени» и «Новостей и Биржевой газеты», а также в кратких бюллетенях о состоянии здоровья больного.

Азиатская холера впервые появилась на востоке страны в 1823 году. Через семь лет она начала довольно быстро распространяться по всей территории Российской империи и затем перекинулась в Европу. Перед лицом эпидемии паника и так называемые холерные бунты охватили население, которое стало обвинять врачей в отравлениях источников воды. С интервалом в десять лет холера начала в массовом порядке косить население Европейского континента. Особенно сильной оказалась четвертая волна эпидемии, возникшая летом 1892 года и унесшая с собой четверть миллиона человек в одной только России. В течение зимних месяцев болезнь несколько отступила, но вернулась на территорию страны летом 1893 года. Она достигла столицы позднее, чем в предыдущем году, — не летом, как ожидалось, а в начале осени. И хотя несколько первых случаев заболевания были зарегистрированы еще в конце августа, именно в сентябре холера неожиданно активизировалась. «Теперь все, кажется, способствует, чтобы задушить эпидемию, — недоумевали 6 сентября «Новости и Биржевая газета», — наступили чуть ли не зимние холода, осадков выпадает такая масса... что нет причины для развития инфекций. Между тем и поступление больных, и смертность от холеры все увеличивается». К 12 сентября в больницах насчитывалось 292 больных.

К моменту приезда Чайковского Петербург продолжал считаться одним из городов, где существовала опасность заражения. Этому способствовали болотистый климат, большая скученность бедного

населения и неудовлетворительная водная и канализационная системы, о чем всем хорошо было известно. И, хотя общее число жертв по стране к этому времени стало резко снижаться, здесь дело обстояло иначе. Только в 1893 году было произведено 2353 дезинфекции квартир по причине холеры. Как свидетельствовали ежедневные «Ведомости о движении холерных больных», эпидемия периодически вспыхивала и затихала в течение почти всей осени и зимы того года. Одна из таких вспышек случилась в сентябре (к 20 сентября было зарегистрировано 310 случаев), в октябре число заболевших хотя и постепенно понижалось, но оставалось достаточно высоким, и это говорит о том, что эпидемия по своей интенсивности не ослабевала (к 1 октября было 212 случаев, к 10 октября — 163, а к 20-му — 103). К концу ноября в Петербурге произошла новая вспышка эпидемии, анализ воды выявил наличие холерных возбудителей в Неве.

Эпидемия безжалостно поражала в основном низшие, наиболее бедные и в гигиеническом отношении неблагополучные слои населения. «Жертвами холеры, — по наблюдениям «Новостей и Биржевой газеты», — были рабочий на судах, чернорабочий, штукатур, мусорщик, извозчик». К концу 1893 года в Европе накопился значительный объем знаний по борьбе с этой болезнью. Решающим событием стали открытие холерного вибриона Робертом Кохом в 1883 году и последовавшие за этим дальнейшие изыскания в области этиологии эпидемий. Был установлен основной способ распространения холеры — через зараженную воду.

Как стало ясно, даже при близком контакте с больным (с соблюдением, разумеется, элементарных гигиенических предосторожностей) заражение было весьма маловероятным. Об этом сообщалось в газетах, журналах и энциклопедиях того времени. Так, например, в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона о холере говорится следующее: «При знакомстве со способами передачи холерной заразы и возможности выполнять вытекающие отсюда гигиено-диетические предписания, можно **почти с уверенностью** избежать заболевания холерой (курсив наш. — А. Я). Гигиено-диетические меры сводятся к избеганию всего того, что может занести в пищеварительный канал холерные зародыши и всего того, что может повысить индивидуальное предрасположение к заболеванию холерой».

Семейный врач Чайковских в Петербурге Василий Бертенсон в статье «О холере» (напечатанной в 1905 году) назвал факторы, определяющие заболеваемость холерой: «1) заражение холерой происходит только через рот, холерные микроорганизмы могут попасть в организм человека при не

соблюдении мер чистоплотности; 2) инфекция передается с водой и всем, что соприкасалось с ней, то есть через пищевые продукты, напитки, посуду; 3) мухи часто заражают пищу; 4) холерный микроб размножается в щелочных условиях; 5) возбудитель холеры неустойчив при нагревании, высушивании, дезинфекции, к действию кислот».

Петербургские газеты тревожно вопрошали: «Можно ли с полной уверенностью сказать, что зараза не пойдет дальше, не проникнет в более состоятельные слои общества?» 30 сентября в «Ведомостях о движении больных холерой в больницах С.-Петербурга», публикуемых ежедневно в главных столичных газетах, впервые появилась секция «На частных квартирах», сообщившая читателям о двух холерных больных, которые уже умерли. Это было свидетельством того, что эпидемия начала затрагивать и состоятельный класс; бедноту, заболевшую холерой, помещали обычно в специально отведенные для нее больницы. К 24 октября число умерших на частных квартирах составило шесть человек. Тем не менее высшие слои общества не желали принимать холеру во внимание и продолжали вести привычный образ жизни. Так же поступал и Петр Ильич.

Шестнадцатого октября в белоколонном зале Дворянского собрания состоялось Первое симфоническое собрание Русского музыкального общества. Новый сезон открывался концертом под управлением Чайковского, в программе первого отделения была премьера его новой симфонии, а во втором исполнялись его Первый концерт для фортепьяно с оркестром, «Испанская рапсодия» Листа с солисткой Аус дер Оэ, увертюра Лароша «Кармозина» и танцы из оперы Моцарта «Идоменей».

Музыкальный критик Виктор Коломийцов вспоминал: «Когда на концерте он — по обыкновению несколько конфузясь и преувеличенными уверенными движениями скрывая свое волнение — появился на эстраде, полный зал Дворянского собрания встретил его долгой, восторженной овацией, а оркестр несколько раз сыграл туш, хотя, казалось бы, никакого внешнего, особого повода к такому торжеству и ликованию не было: привет вырвался произвольно, стихийно. Когда все смолкло, Петр Ильич надел пенсне, все тем же “уверенным” жестом раскрыл на дирижерском пульте большую партитуру-рукопись, постучал палочкой — и впервые полились звуки Патетической симфонии. Она, видимо, понравилась, после каждой части горячо аплодировали, но все-таки чрезвычайного впечатления на большинство слушателей новинка не произвела. Виной тому был главным образом сам автор, дирижерский талант которого был не из особо блестящих». Репортер «Петербургского листка» с грустью констатировал, что «симфония прошла с средним успехом, и г. Чайковский,

против обыкновения, не был вызван по ее окончании».

Великий князь Константин Константинович тоже присутствовал в зале Дворянского собрания и в тот же день записал в дневнике впечатление о Шестой симфонии: «Она мне очень понравилась. Первое вступительное Adagio очень мрачно и таинственно и звучит прелестно; оно переходит в Allegro, в котором есть прекрасные места. Вторая часть Allegro con crazia написано в такте 5/8 или 5/4 и очень ясна и хороша. Третья, род Scherzo с громким маршем в конце. И финал в темпе Adagio; в нем есть места, напоминающие панихиду. Виделся с Чайковским в антракте».

«Помню в антракте, — читаем в «Летописи музыкальной жизни» Римского-Корсакова, — после исполнения симфонии я спросил его — нет ли у него какой-либо программы к этому произведению? Он ответил мне, что есть, конечно, но объявлять ее он не желает. В этот последний приезд я виделся с ним только в концерте».

Впечатление, произведенное музыкой на присутствующих, было двойственным. И хотя сам автор утверждал, что «лучше этой симфонии никогда не писал и не напишет», как заметил позже Модест Ильич, «заставить верить в это и исполнителей и публику в концерте 16 октября ему не удалось». Композитор Анатолий Лядов вспоминал, что по окончании концерта он «зашел в артистическую комнату в тот момент, когда один из директоров Императорского Русского музыкального общества, Климченко, старался под разными любезностями скрыть, что симфония ему не понравилась. “А вот Анатолию симфония понравилась”, — обратился ко мне Чайковский, хорошо почувствовавший, что, несмотря на аплодисменты, публика осталась холодна к его новому произведению. Я мог от чистого сердца высказать свое мнение автору, так как на меня Шестая симфония произвела сильное впечатление».

Александр Глазунов отмечал, что после концерта Петр Ильич «с горечью жаловался... на то, что его последнее произведение недостаточно имело успеха и, по-видимому, мало понравилось музыкантам. При этом он сказал, что всегда бывал разочарован после первого исполнения своих последних сочинений, но [на] этот раз он был своим детищем доволен».

Через два дня после премьеры Чайковский писал Юргенсону: «С этой симфонией происходит что-то странное! Она не то чтобы не понравилась, но произвела некоторое недоумение. Что касается меня самого, то я ей горжусь более чем каким-либо другим моим сочинением. Но об этом мы вскоре поговорим, ибо я буду в субботу в Москве».

Рецензии в прессе оказались довольно сдержанными. «Сын Отечества» утверждал, что, «как и во всех последних произведениях

Чайковского, изящество и внешняя изобретательность берут верх над глубиной творчества». «Петербургский листок» отмечал, что «новое произведение г. Чайковского... ничего не прибавило к его славе как выдающегося симфониста, но дало повод собравшейся публике высказать лишний раз свои симпатии любимому композитору, которому была поднесена цветочная лира». Только «Биржевые ведомости» остались довольны симфонией, но отметили слабость дирижера.

Согласно воспоминаниям Модеста Ильича, на следующий день, выйдя к утреннему чаю, он застал старшего брата уже давно вставшим, с партитурой Шестой симфонии перед ним и в раздумьях над ее названием. Далее утверждается, что именно Модест предложил сначала назвать ее «Трагической», а затем — «Патетической». Последнее предложение было принято композитором с восторгом: «Он надписал при мне на партитуре оставшееся навсегда название. Цитирую этот факт не для того, чтобы пристегнуть свое имя к этому произведению. Кончая этот труд (трехтомную биографию брата. — А. П.), я уверен только в одном, — что упрекнуть себя в обычной слабости всех воспоминателей впутывать без необходимости свое маленькое имя в большое воспоминаемого — не даю повода».

Однако Модест Ильич дал здесь именно подобный повод, ибо название «Патетическая» было утверждено автором еще в августе, сразу после окончания работы над симфонией. И хотя в программе концерта 16 октября название еще отсутствует, он не скрывал его от музыкальных коллег. Эдуард Направник в «Памятной книге», дневнике музыкальных событий его жизни, записал в день концерта в Дворянском собрании: «В 1-м Симфоническом собрании Императорского Русского музыкального общества под управлением П. И. Чайковского его новая 6-я h-moll патетическая (!?) и пианистка Aus der Ohe». Модест же в третьем томе биографии при публикации письма Чайковского Юргенсону от 18 октября, в котором тот объясняет издателю, как оформить титульный лист партитуры, убирает из его текста название «Патетическая» — «Symphonie Pathétique», оправдывая это тем, что, «послав в Москву партитуру с новым заглавием, Петр Ильич однако раздумал дать его».

В оригинале эта часть письма выглядит так: «Пожалуйста, голубчик, на заглавном листе симфонии выставь следующее: Владимиру Львовичу Давыдову Symphonie Pathétique (№ 6)

Ор.???

Соч. П. Чай[ковского]

Надеюсь, что не поздно!»



Семнадцатого октября Чайковский в компании Модеста, Лароша и адвоката Герке завтракал у Направников. Владимир Направник вспоминал: «“Странная вещь, многие из моих произведений мне самому не нравятся, — говорил Петр Ильич, — но последняя симфония совсем наоборот — я нахожу ее очень удачной и она мне, ей-богу, нравится. Что публика отнеслась к ней сдержанно — мне совсем все равно, но я чувствую, и мне это очень обидно, что она не нравится оркестру...” Разговор этот происходил еще до завтрака. До завтрака же он прошел в мою комнату и здесь, приведя в порядок свой туалет, он спросил меня: “Володя, скажи мне откровенно, нравится тебе моя симфония или нет?” На мой восторженный утвердительный ответ, он, целуя меня, сказал: “Меня это страшно радует и успокаивает”.

Несколько раз за завтраком он повторял, что его ужасно радует, что Володя похвалил его симфонию: “Ведь он ужасно строг; он так часто меня бранит, так много говорит мне неприятных вещей, что я ценю его похвалу”. Хотя и нескромно, но я передаю весь разговор, каким он был. Когда речь зашла о его дальнейших планах, он сказал: “Хотелось бы снова приняться за оперу, но пока не отыскал сюжета”». «За завтраком Петр Ильич совсем повеселел, вероятно, на него подействовали слова отца, безусловно одоббившего симфонию; мнением же отца Чайковский очень дорожил, тот был скуп на комплименты».

Остаток дня композитор провел с Ларошем, гуляя по городу, где случайно встретил старого знакомого Константина де Лазари, который вспоминал: «Я ехал по Морской, вдруг слышу громкий голос: “Костя, Костя, куда?” Смотрю, около магазина стоят Чайковский и Ларош. Я соскочил с извозчика. Начались объятия, поцелуи, взаимные расспросы. <...> Меня особенно поразила необыкновенная бодрость и свежесть его. Давно уже он не был таким энергичным и здоровым на вид».

Утром 18 октября Чайковский написал несколько писем: Юргенсону, дирижеру Иосифу Прибику и Георгию Конюсу, с просьбой срочно прислать хоровые голоса его сюиты «Из детской жизни», которую он включил в программы своих концертов в Петербурге. Затем состоялся обед в честь немецкой пианистки Адель Аус дер Оэ. После этого, по сообщению петербургского издателя Василия Бесселя, он отправился в Центральную музыкальную библиотеку Императорских театров, где взял партитуру первого действия оперы «Опричник», над которой собирался поработать в самое ближайшее время. В планах была также переделка оперы «Орлеанская дева» — с этой целью Чайковский купил собрание сочинений переводчика Шиллера В. А. Жуковского.

Вечером он присутствовал на генеральной репетиции оперы «Евгений Онегин» в доме Кононова. В один из этих дней композитор успел переговорить с директором Императорских театров Погожевым об изменениях во второй части «Орлеанской девы», а певец Николай Фигнер рассказал о тогдашней с ним встрече: «Он был по обыкновению весел, говорил о последнем симфоническом концерте, о нашей проектированной поездке в Париж (Петр Ильич должен был ехать туда вместе с моею женой и мной на ряд концертов)».

Во вторник, 19 октября, Чайковский послал письмо голландскому дирижеру Вилему Кесу, объявив о своем намерении посетить Амстердам весной следующего года. Днем к нему пришли представители оперного товарищества, ставившего спектакли в зале Кононова, и вели переговоры о постановке «Опричника», на что композитор согласился с трудом, поскольку противился появлению его на сцене. Вечер он провел в доме Кононова, где слушает оперу Рубинштейна «Маккавеи». Вероятно, тогда же он уступил желанию брата, изменив свои планы: вместо того чтобы возвращаться в Клин 21 октября, как предполагалось, он остался в Петербурге, чтобы присутствовать на премьере его комедии «Предрассудки», назначенной на 26 октября.

В среду утром, 20 октября, он принял у себя Герке, который привез проект нового договора с фирмой «В. Бессель» (взамен существовавшего с 1874 года) на авторские права оперы «Опричник». Зная недружелюбное отношение композитора к себе, Бессель выбрал бывшего правоведа Герке из дипломатических соображений в надежде, что при его посредничестве Петр Ильич, в конце концов, подпишет контракт.

По свидетельству доктора Мамонова, уже в этот день у Чайковского было дурное самочувствие, но он не обратил на это никакого внимания.

По словам Модеста Ильича, после визита Герке он, «гуляя с одним из наших племянников графом А. Н. Литке, очень много рассказывал ему про Бочечкарова, про его причуды, словечки, шутки и говорил о том, что скучает по нем почти так же, как в первое время. после кончины в 1876 [году]. <...> В этот день он обедал у старого друга своего, Веры Васильевны Бутаковой, урожденной Давыдовой. На вечер у него была ложа в Александринский театр, где давали “Горячее сердце” А. Островского». Юрьев вспоминал, что видел Чайковского в хорошем настроении на представлении именно этой пьесы: «Шла новая постановка “Горячего сердца” Островского. Это был спектакль, совершенно исключительный по своему составу: играли Давыдов, Варламов, Савина, Медведев, В театре я увидел Петра Ильича, со всей его “свитой” родных и друзей. Все были в

восторге от спектакля. “А какая пьеса! — восхищался Петр Ильич. — Что ни слово, то золото”».

У Модеста Ильича читаем: «...в антракте он вместе со мной пошел в уборную Константина Варламова. Он всегда очень ценил удивительное дарование последнего, а в девяностых годах, познакомившись с ним, полюбил его лично. Разговор зашел о спиритизме. Константин Александрович со свойственным ему юмором, не передаваемым на бумаге, выразил свою нелюбовь ко всей “этой нечисти”, как вообще ко всему, напоминающему ему смерть. Ничем нельзя было лучше угодить Петру Ильичу; он с восторгом согласился и от души смеялся своеобразной манере, с которой это было высказано. “Успеем еще познакомиться с этой противной курносой”, — сказал он и затем, уходя, обратясь к Варламову: “Впрочем, нам с вами далеко еще до нее! Я знаю, что я буду долго жить”».

День закончился ужином в ресторане Лейнера в обществе обоих графов Литке, барона Буксгевдена, актера и писателя Ивана Горбунова, Александра Глазунова и владельца фортепьянной фабрики Федора Мюльбаха; двух последних композитор позвал в гости на следующий день. Модест Ильич, задержавшийся в театре, присоединился позднее. Из его отчета неясно, присутствовал ли в ресторане Боб: «Из театра Петр Ильич поехал вместе с нашими племянниками графами Литке и бароном Буксгевденом в ресторан Лейнера. Я должен был прийти туда позже и когда приблизительно через час пришел, то застал всех названных лиц». Во всяком случае, на ужине был друг племянника Рудольф Буксгевден, с которым тот почти не расставался. Скорее всего, главный любимец приехал туда с Модестом. Позднейшие воспоминания Юрия Давыдова, актера Юрия Юрьева, Владимира Направника и других якобы свидетелей этого ужина в ресторане Лейнера следует признать плодом их собственной фантазии, основанным на чтении биографии Модеста Ильича, как совершенно справедливо отмечает публикатор материалов о болезни композитора В. С. Соколов.

Ужин прошел буднично, «продолжался очень недолго». Как сообщает Модест, «Петр Ильич ел макароны и запивал их, по своему обыкновению, белым вином с минеральной водою; <...> во втором часу мы вдвоем вернулись пешком домой. Петр Ильич был совершенно здоров и спокоен».

В четверг утром, 21 октября, Чайковский жаловался уезжавшему на репетиции в театр Модесту «на плохо проведенную ночь вследствие расстройства желудка». Младшего брата это не особенно беспокоило, поскольку такие расстройства случались часто, «проявлялись всегда очень сильно и проходили очень скоро». Касторового масла, помогавшего в таких

случаях, под рукой не оказалось, и Петр Ильич выпил горькой воды «Гуниади-Янош», действовавшей как слабительное.

Несмотря на недомогание, он все же продолжал следовать распорядку этого дня, написал два деловых письма: Николаю Конради и Ивану Грекову, антрепренеру Одесского оперного театра. До нас дошло лишь второе из них, в котором он пишет о планируемом дирижировании концертом в Петербурге 15 января 1894 года и о поездке в Одессу в срок между 15 декабря и 5 января. К 11 часам он отправился в гости к Эдуарду Направнику, но, почувствовав себя плохо, вернулся домой на извозчике. В квартире его, расстроенного начавшейся диареей и болью в желудке, встретил Александр Литке. По его воспоминаниям, «дядя вернулся домой очень взволнованным, что в таком состоянии было довольно естественно».

Около часа дня к позднему завтраку возвратился Модест, приехал Мюльбах, приглашенный накануне. Хотя «отвращения к пище не было», композитора начало тошнить сразу же после еды, и он покинул гостиную, чтобы прилечь у себя в комнате, положив согревающее на живот. Модест на всякий случай спросил, не вызвать ли врача, на что брат ответил отрицательно, после чего Модест снова уехал по своим делам.

«Но уже к 4 часам дня у Чайковского обнаружили все признаки холеры: непрерывная тошнота, рвота, общий упадок сил, вызвавшие естественную тревогу в близких ему лицах», — писал позднее «Петербургский листок» со слов родственников больного. К 5 часам в квартиру на Малой Морской зашел Глазунов. Позднее он вспоминал, что Петру Ильичу «было очень плохо, и он попросил оставить его, сказав, что может быть и на самом деле у него холера, хотя он этому не верил, так как подобные приступы с ним бывали не раз».

Когда и при каких обстоятельствах он заразился холерой, вопрос довольно сложный. Одна из причин путаницы, как обстоятельственной, так и психологической, — тот печальный факт, что спасти его не удалось. Суть дела в некоторой степени отражена в ключевом замечании Модеста Ильича о его собственной реакции на первые признаки заболевания брата: «Меня не особенно беспокоило это, потому что очень часто бывали у него подобные расстройства». И далее (рассказывая о первом отказе Петра Ильича вызвать доктора): «Я не настаивал, зная, как он привычен к подобного рода заболеваниям и как всегда удачно отделяется от них без чьей-либо помощи. Обыкновенно в этих случаях ему помогало касторовое масло. Убежденный, что и на этот раз он прибегнет нему, и зная, что оно, во всяком случае, вреда не сделает, я, совершенно спокойный насчет его состояния, занялся своим делом и до часу дня не виделся с ним».

Модеста Ильича можно понять: он тогда не слишком беспокоился, потому что его брат действительно всю жизнь страдал желудочными расстройствами, отчасти нервного происхождения; письма и дневники последнего пестрят записями по этому поводу. Только в этом году он дважды перенес приступы желудочной болезни, сходной по признакам с холерой: в первых числах февраля в Харькове и в середине июля, гостя у брата Николая в Уколове, «от большого употребления холодной воды».

Обратим внимание на оправдательный тон процитированных фрагментов, связанный с очевидными угрызениями совести их автора. Последствия невнимательности Модеста Ильича к плохому самочувствию композитора оказались фатальными: было упущено время не только для спасительного лечения, но и для правильного диагноза болезни. Отсюда вольное или невольное стремление его к постоянному оправданию собственного поведения, которое только затемняет картину.

С этим могут быть связаны и несообразности известной версии о стакане сырой воды с холерным вибрионом, якобы выпитом Чайковским. Модест Ильич настаивал, что это произошло за завтраком 21 октября: «Мне кажется, что этот завтрак имеет фатальное значение, потому что именно во время разговора о принятом лекарстве он налил стакан воды и выпил из него. Вода была сырая. Мы все были испуганы: он один отнесся к этому равнодушно и успокаивал нас. Из всех болезней всегда он менее всего боялся холеры». Попытка Модеста Ильича увидеть именно в этом стакане воды «фатальность», то есть начало заболевания, с медицинской точки зрения несостоятельна. Конечно, на его совесть должна была успокоительно действовать мысль о том, что его благодушие по поводу состояния здоровья брата утром 21 октября было простительным; ведь «фатальный» стакан еще не был выпит, а значит, по его вине не были потеряны драгоценные часы для правильного диагностирования и лечения. Однако тревожные симптомы начались именно утром, еще до завтрака и упомянутого стакана: «Утром, в четверг, 21 числа, когда я вышел из моей спальни, брат был не в гостиной за чаем по обычаю, а у себя в комнате и жаловался мне на плохо проведенную ночь вследствие расстройства желудка». Этот момент точно соответствует описанию первых признаков заболевания холерой: «...болезнь начинается сразу без предвестников и в большинстве случаев в первые часы ночи. <...> Холерный понос... начинается ночью. Больной, легший спать совершенно здоровым, просыпается от урчаний в животе и сильного позыва на низ» (ср. у Модеста Ильича: накануне вечером «брат был совершенно здоров и спокоен»).

Медицинские данные заставляют отвергнуть мнение Модеста Ильича

о «фатальности» выпитой за завтраком в четверг сырой воды. Здесь, естественно, вспоминается другая, казалось бы, медицински более правдоподобная версия по поводу пресловутого стакана. Чайковский якобы выпил сырую воду накануне вечером, на ужине в ресторане Лейнера. Этот широко известный «эпизод», вошедший даже в литературу, сообщается нам, однако, лишь теми, кто сам при этом не присутствовал, почерпнув информацию из вторых рук. Это объяснение так же сомнительно с точки зрения медицины: инкубационный период холеры продолжается от 12 часов как минимум и максимум до трех дней. Следовательно, в случае Чайковского *terminus ante quem*<sup>[10]</sup> приходится на утро понедельника 18 октября, а *terminuspost quem* — на середину дня 20 октября.

Таким образом, ни один, ни другой варианты, связанные с выпитым стаканом, не укладываются в медицинские представления. Вывод отсюда простой: если, как утверждает Модест Ильич, Чайковский вообще не боялся заболеть холерой и мог без колебаний пить сырую воду за завтраком 21 октября, уже плохо себя почувствовав, ему ничего не мешало выпить «фатальный» стакан в любой момент в течение обсуждаемых трех дней, а раз так, то вопрос о том, имел или не имел место соответственный случай с сырой водой в ресторане Лейнера, теряет какое бы то ни было значение.

После эпидемии холеры в Гамбурге в 1892 году было научно установлено, что сырая вода является главным носителем холерного вибриона, о чем широко извещалось во всех газетах и научных статьях. Водопроводная система Санкт-Петербурга всегда оставляла желать лучшего: вибрион был обнаружен даже в водопроводе Зимнего дворца. Анализ воды, подаваемой в ресторанах, показал, что кипяченая вода разбавлялась некипяченой и в таком виде подавалась на столы посетителям. Как бы то ни было, действительные обстоятельства заражения композитора холерой остались неизвестны или не были замечены его близкими.

К полудню 21 октября — день, когда Чайковский почувствовал себя больным, — в Петербурге было зарегистрировано 80 случаев заболеваний, семь из них новых. За время его болезни (21–25 октября) 32 человека умерли. Между 23 и 25 октября смертность значительно повысилась: из 28 холерных больных умерло 22 человека (если сравнить с 40 случаями холеры и 15 смертями, случившимися несколько дней назад). Все это, несомненно, свидетельствует об интенсификации эпидемии в этот период.

Другим обстоятельством в развитии болезни, кроме его хорошо известной предрасположенности к желудочным заболеваниям, был факт, упомянутый как в отчете Модеста Ильича, так и в газетных интервью с

родными и певцом Николаем Фигнером: утром в четверг Чайковский выпил «горькой» минеральной воды «Гуниади-Янош», тем самым вызвав в кишечнике щелочную реакцию, благоприятную для развития холерных бактерий, что подчеркивает Василий Бертенсон — врач, лечивший композитора. «Санкт-Петербургские ведомости» резюмировали 27 октября: «Краткая история болезни покойного — ужин у Лейнера и два стакана воды, сырой невской и горькой Гуниади-Янош».

До полудня и после до пяти часов вечера Модест Ильич занимался «своими делами», вообще уехав из дома. Что же это были за дела? В отчете об этом не говорится ни слова, что и понятно: все эти дни, включая и роковой четверг, Модест Ильич целиком отдавался заботам, связанным с премьерой его пьесы «Предрассудки», которая должна была состояться 26 октября и затем перенесена на 28-е, день, когда на самом деле будут хоронить композитора, что, кстати, премьеры не отменило и многими было воспринято как бестактность со стороны младшего брата. То, что именно в тот день он долго занимался своим спектаклем, несмотря на начало болезни Петра Ильича, оказавшейся смертельной, вероятно, лежало тяжелым грузом на его совести. Отсюда и стремление умолчать, вызвавшее дополнительную путаницу при попытках восстановления событий рокового дня. Таким образом, несмотря на то, что к вечеру состояние больного резко ухудшилось, рядом с ним не оказалось ни одного компетентного и ответственного человека. «Как водится на холостой квартире, — писала хорошо знавшая образ жизни обоих братьев мать Коли Конради, Алина Брюллова, — все разбрелись, никого не было дома, кроме лакея, который стал применять все знакомые ему домашние средства». Драгоценное для диагноза и лечения время между тем безвозвратно уходило.

К пяти часам вечера возвратился Модест Ильич и, увидев, что болезнь прогрессирует, вопреки новому протесту брата, послал Назара к их «любимому врачу», Василию Бертенсону, с запиской следующего содержания: «Петя нездоров. Его все время тошнит и слабит. Бога ради, заезжайте посмотреть, что это такое». Бертенсона, как потом выяснилось, не оказалось дома. Однако скверное самочувствие Чайковского и посылка за врачом показались Модесту Ильичу недостаточными основаниями для того, чтобы остаться дома, и около шести часов он снова уехал, положив больному на живот согревающий компресс. Назар, которому пришлось за ним ухаживать, перевел его из маленькой спальни в более просторную гостиную комнату. Состояние его, однако, продолжало ухудшаться и в промежутке между шестью и восемью часами, не дождавшись Бертенсона,

слуга «послал за первым попавшимся доктором, но о холере все-таки никто не думал».

Василий Бертенсон появился лишь в начале девятого. С его визитом связан очередной фатальный момент в истории болезни. Читаем в отчете Модеста Ильича: «Доктор первое время не мог констатировать холеры, но сразу убедился в крайне серьезном и тяжелом характере болезни». Сам этот врач в воспоминаниях, написанных гораздо позднее и, очевидно, в свое оправдание, утверждал, однако, что будто он «сразу убедился, что у него [Чайковского] не обострившийся катар желудка и кишок, как предполагали не только домашние, но и сам Петр Ильич, но нечто худшее». И хотя он далее сам признает, что настоящей холеры до этого времени ему самому видеть не приходилось, все же настаивает: «Тем не менее, по освидетельствовании выделений больного у меня не осталось сомнений, что у Петра Ильича форменная холера. Когда я вышел в соседнюю комнату и заявил брату Петра Ильича и его племянникам о серьезности заболевания и о том, что такую болезнь я не берусь и не могу лечить один, говорил о своей нравственной ответственности, то в первую минуту мои добрые друзья мне не поверили».

Возможно, в этом контексте следует доверять именно отчету Модеста Ильича, написанному сразу по свежим воспоминаниям, чем поздним мемуарам не имевшего до тех пор опыта лечения холеры врача. Как показывает практика, распознавание этой болезни на ранних стадиях всегда затруднено, ибо она напоминает другие пищевые отравления и диагноз всегда должен быть подтвержден бактериологически.

В конце концов, каковы бы ни были первые впечатления доктора, равно как и последующие попытки извинений и оправданий, остается факт: пока Бертенсон говорил о «своей нравственной ответственности», правильный диагноз все еще не был поставлен, а время продолжало идти. Прописав «все необходимое», он, однако, счел нужным немедленно вызвать своего старшего брата — Льва Бернардовича Бертенсона, считавшегося в петербургском свете очень опытным специалистом.

Последний появился лишь в одиннадцатом часу и поставил, наконец, роковой диагноз — холера, причем уже в последней стадии. С появления первых симптомов и до постановки диагноза прошло, следовательно, около суток, и уже одно это обстоятельство могло привести к смертельному исходу, ибо болезнь не захватили вовремя. По поводу времени возвращения Модеста Ильича в тот день домой существуют разногласия. Сам он говорил, что вернулся к восьми часам — то есть еще до появления Василия Бертенсона. Но как заявляла Алина Брюллова, его «разыскали в театре»



уже после того, как врач обследовал больного. Как бы там ни было, день начала трагедии закончился сообщением диагноза, почти не оставлявшим надежд. Позднее Лев Бертенсон прямо заявил в интервью газете «Новое время» (иногда неправильно называемом отчетом): «Я застал покойного в состоянии так называемого альгидного периода холеры. Картина болезни была безусловно характерной, и холеру сразу же пришлось признать тяжелой». Николай Фигнер также вспоминает, что старший Бертенсон «констатировал самую злую форму азиатской холеры; он уверял, что подобной формы холеры ему ни разу еще не приходилось встречать».

Опытный врач немедленно «начал применять все указываемые при таком состоянии наукой средства», вызвал фельдшера и в предохранительных целях попросил всех надеть белые фартуки. На Чайковского это подействовало угнетающе, он воскликнул: «Так вот она, холера!» «Налицо нас с докторами было при больном восемь человек: два брата Литке, племянник Давыдов, мой слуга Назар Литров, фельдшер и я», — писал Модест Ильич. Около двенадцати часов ночи у Петра Ильича появились судороги, на которые он с криком жаловался. «Общими усилиями мы начали растирать его. Судороги, при полном сознании больного, проявлялись разом в разных частях тела, и больной просил растирать то ту, то другую часть тела. Голова и конечности начали резко синеть и совершенно похолодели». По словам Бертенсона, «к двум часам ночи удалось добиться того, что судороги почти прекратились. Приступы же поноса и рвоты стали значительно реже и слабее. Я уехал ночью, оставив при больном брата». Вскоре судороги возобновились.

«Вплоть до 5 часов утра это была одна непрерывная борьба с судорогами и коченением, которые чем дальше, тем менее уступали энергетическому трению и искусственному согреванию тела». Утром, по свидетельству Льва Бертенсона, наступил сильный упадок жизнедеятельности сердца, так что брат его «вынужден был сделать подкожное впрыскивание мускуса и камфары». Модест Ильич сообщает последствия этой меры: «Болезнь стала уступать, больной относительно успокоился, жалуясь только на подавленное состояние духа. <...> Рано утром, как только можно было оставить уход за больным, Василий Бертенсон через меня устно дал знать полиции о случившемся». К полудню композитор был включен в официальную сводку заболевших холерой.

«Прошли три четверти часа полного покоя», — написал Модест в отчете.

В девять часов утра в пятницу 22 октября Василия Бертенсона заменил ассистент старшего брата — доктор Николай Мамонов. Лев Бертенсон

приехал к 11 часам. К этому времени случилось первое облегчение, припадки, сопровождающиеся судорогами, окончательно прекратились к полудню. Самочувствие Чайковского становилось лучше, он считал себя спасенным и даже сказал Бертенсону: «Спасибо Вам, Вы меня вырвали из когтей смерти. Мне неизмеримо лучше, чем в первую ночь».

В три часа Мамонов сменил другой ассистент, Александр Зандер. Казалось, что лечение уже одолевает болезнь; страдания композитора выражались лишь в неутолимой жажде. Состояние настолько улучшилось к ночи, что доктор Мамонов, сменивший к этому времени Зандера, не предвидя угрожающих изменений, настоял на том, чтобы все легли спать. По мнению Льва Бертенсона, в пятницу резко выраженных припадков уремии, которые могли последовать за судорогами, еще не было: «Судорожный период холеры можно было считать оконченным. К сожалению, второй период — реакционный — не наступил. Надобно сказать, что в таких тяжелых формах холеры, какая была у Петра Ильича, почки обычно перестают функционировать. Происходит это вследствие быстрого перерождения. Со времени начала болезни у [Чайковского] явилось полное прекращение отправления почек. Явление это весьма опасно, ибо влечет за собою отравление крови составными частями мочи. Однако в пятницу резко выраженных признаков этого отравления еще не было».

В пятницу вечером о состоянии больного начали извещать родственников и близких друзей. В этот день Эдуард Направник записал в своей «Памятной книге»: «Захворал опасно находящийся в С.-П[етер]б[ур]ге Петр Ильич Чайковский». О болезни сообщили старшему брату Николаю и племяннику Юрию.

Газета «Русская жизнь» информировала читателей, что в субботу «23 октября с раннего утра по городу стала циркулировать печальная весть, что наш знаменитый композитор П. И. Чайковский заболел холерой и находится при смерти. Передавали, что П. И. Чайковский выпил за ужином стакан сырой воды и тотчас почувствовал себя плохо. Как велика симпатия и любовь к Чайковскому, видно из того, что — едва стало известно о его болезни — к квартире его стали подъезжать и подходить сотни знакомых и незнакомых, чтобы справиться о его положении. Всем этим лицам сообщали, что положение было очень опасное, но теперь больному лучше».

В течение последующих дней в петербургских изданиях регулярно появлялись сведения о больном композиторе. «Весь музыкальный мир встревожен известием о серьезной болезни П. И. Чайковского. К счастью, по последним известиям, болезнь (по предположению — тиф) принимает

благоприятное течение», — сообщали «Новости и Биржевая газета». «Биржевые ведомости» писали: «Нам передают, что композитор П. И. Чайковский серьезно заболел третьего дня. У него обнаружили в резкой форме припадки острой желудочной болезни. Вчера [22 октября] положение больного было крайне опасно; сегодня же [23 октября] последовало некоторое улучшение. К дому на Малой Морской, где живет П[етр] И[льич], то и дело подъезжали сегодня знакомые композитора и посторонние лица справлялись о здоровье больного».

Поздно вечером в субботу 23 октября великая княгиня Александра Иосифовна, президент Русского музыкального общества, послала телеграмму вице-президенту Николаю Стояновскому: «Только что узнала с ужасом и печалью о тяжелой болезни Чайковского, прошу Вас известить меня о состоянии его здоровья, а также его адрес. Мои дети и я его очень ценим. Да хранит его Бог. Александра». Сохранилась докладная записка Стояновскому секретаря РМО, написанная в тот день: «Имею честь довести до сведения Вашего превосходительства, что Петр Ильич Чайковский заболел холерой с четверга и находится в крайне опасном положении. Ждут кризиса». Сам Стояновский вместе с Августом Герке посетил вечером квартиру Модеста Ильича. С этого дня Герке начал вести записи о ходе болезни, по всей видимости, для написания отчета августейшей покровительнице: «Был вечером 23 у больного, видел Давыдова, Литке и потом со Стояновским поехал в квартет».

Репортер «Петербургской газеты» отмечал: «В субботу утром все холерные признаки действительно исчезли, и от холеры собственно он был отвоеван. Настолько отвоеван, что после дезинфекционного процесса явилась возможность безопасно впускать в комнату к больному друзей. Они приходили, жали ему руки, и он, улыбаясь, отвечал им легким рукопожатием. <...> Врачи заставляли посетителей при выходе вытирать руки раствором сулемы, больше формальности ради, и были совершенно спокойны, что зараза, изгнанная из больного, окончательно уничтожена».

Сохранилась дневниковая запись музыкального критика Василия Ястребцева о его встрече вечером 23 октября с Римским-Корсаковым: «На вопрос мой, правда ли, что Чайковский так опасно болен, [Римский-Корсаков] сообщил мне, что он заходил сегодня к Петру Ильичу... на дом и узнал, что действительно слухи верны; что в прошлую среду (20 октября) Чайковский был в Камерном обществе, после чего зашел к Лейнеру, где и выпил, поевши макарон, стакан сырой воды; что той же ночью заболел симптомами азиатской холеры, с корчами и судорогами, что в настоящее время — кризис, на что доктора (Бертенсон и другие) опасаются, как бы

холера не бросилась на почки, тогда все кончено. Впрочем, есть, по словам докторов, маленькая надежда на то, что образуется тиф, и тогда, Бог даст, он выживет, хотя — кто знает? — ведь эта изнурительная болезнь может пагубно отразиться на его духовной организации». «Вы знаете, — продолжал Римский-Корсаков, — ведь и Бородин года за два до своей смерти перенес эту отвратительную болезнь, холеру; и что же, по выздоровлению его едва можно было узнать: он почти совершенно лишился творческого дара. Что будет?» Очевидно, что Римский-Корсаков разговаривал с кем-то из докторов или родных Чайковского, а не с ним самим, поскольку, как он отмечал в своей «Летописи музыкальной жизни», видел его в последний раз на концерте в Дворянском собрании. Любопытны в этой связи два упоминания: о «стакане сырой воды», выпитом в ресторане Лейнера, и о холерном тифоиде, названном Римским-Корсаковым «тифом», обычно следующем за альгидной стадией холеры, что полностью соответствовало ожиданиям лечащих врачей композитора.

В тот же день великий князь Константин Константинович записал в дневнике: «В полку мне сказали, что у П. И. Чайковского настоящая азиатская холера, начавшаяся в четверг, и что он находится в опасном положении. Племянник его Давыдов состоит вольноопределяющимся в 4-й роте. Я очень беспокоюсь за Петра Ильича». Утром следующего дня, в воскресенье, 24 октября, он посылал Модесту телеграмму: «Великая княгиня и я очень беспокоимся за Петра Ильича. Были бы искренне Вам благодарны за сообщение известия о его здоровье. Простите за это нескромное обращение. Константин».

Для самого больного вся суббота 23 октября прошла сносно, но отсутствие мочи продолжало беспокоить (врачи опасались наступления второго периода холеры, воспаления почек). Были применены все возможные средства, чтобы восстановить деятельность почек, но безуспешно. Вечером того же дня Лев Бертенсон намеревался погрузить больного в ванну, дабы возбудить почечную активность. Согласно Модесту, «в этот вечер ванны сделать не пришлось по той причине, что понос снова усилился, сделался произвольным, и больной ослабел. Лев Бернардович уехал после 2 часов ночи, недовольный положением вещей».

Утром в воскресенье Модесту Ильичу доставили письмо от Герке: «Как наш бедный дорогой больной? Прошли ли все опасности холеры и улучшается ли здоровье его? Вчера на квартетном собрании с кем я ни заговорю о Петре Ильиче — все с горем и сожалением относились к нему! Черкните словечко на каком-нибудь клочке бумаги. Не нужна ли помощь сидеть у больного? Охотно буду сиделкой у него. Хорошо бы внизу у

швейцара оставить бюллетени; попросите об этом д-ра Бертенсона или Мамонова. Еду сейчас в церковь, помолюсь сердечно за Петра Ильича». Ответ был лаконичен: «Положение почти то же. Испражнения сгустились. Ждем тщетно мочи».

Беспокойство врачей относительно бездеятельности почек все возрастало. В воскресенье утром, 24 октября, как вспоминал доктор Мамонов, «появились вполне яркие признаки отравления мочой». В час дня снова появился Лев Бертенсон. Он сразу же признал необходимым прибегнуть к ванне. Чайковский находился в забытьи, пока ее готовили в той же комнате. В 2 часа ванна была готова. Его разбудили. Больной вполне сознательно отвечал на вопросы, пока его сажали в ванну, но «через некоторое время, жалуясь на слабость, стал просить, чтобы его вынули», — отмечал Бертенсон в интервью. Модест Ильич пишет, что «по словам врачей, [ванна] на некоторое время ослабила признаки отравления мочевиной». Но сильный пот и испарина ослабили пульс, поэтому «ванна ожидаемого действия не произвела».

«Петербургская газета» сообщила, что «печальная весть о болезни Петра Ильича очень быстро распространилась по городу, и многочисленные его друзья и почитатели нахлынули в дом, где он живет. Большинство, несмотря на сопротивление швейцара, поднималось по лестнице до квартиры и, звоня у ее дверей, тревожила страдальца. Вследствие этого врачи решили писать о ходе болезни бюллетени, поручив швейцару показывать их всем осведомляющимся, но никого до квартирному звонка не допускать».

В половине третьего был спущен вниз первый бюллетень, составленный Львом Бертенсоном: «Угрожающие припадки продолжаются и не уступают лечению; полное задержание мочи при сонливом состоянии и значительной общей слабости, понос хоть и слабее прежнего, но еще очень сильный». В этом бюллетене изложено состояние Чайковского до применения ванны — в тот момент, когда ее только готовили. Маловероятно, чтобы Бертенсон мог одновременно его составлять и наблюдать за ее действием. Сохранилась запись Герке: «Была ванна, вследствие сильного упадка сил делали впрыскивание камфары и мускуса».

После этого Петру Ильичу стало лучше: «...пульс поднялся, больной успокоился». В таком положении Лев Бертенсон и покинул больного. У него, судя по интервью, осталось впечатление, что «непосредственное действие ванны было благоприятно: явился теплый пот, а вместе с ним и надежда на ослабление явлений мочевого отравления и на восстановление деятельности почек». «До восьми часов, — писал Модест Ильич, —

положение, казалось нам, улучшалось», Мамонов тоже отметил, что «после этого [ванны] положение, казалось нам, улучшилось». Разумеется, признаки временного улучшения в состоянии больного не могли найти отражения в уже обнародованном бюллетене.

В половине пятого Герке опять посетил квартиру на Малой Морской, 13: «Прочтя бюллетень д-ра Л. Б. Бертенсона... прошел наверх, где видел Н[иколая] И[льича] Ч[айковского] и кузину его. <...> Внизу были [певица] Каменская, Варламов, Глазунов».

К восьми часам вечера уехал Мамонов, его сменил Зандер. Модест Ильич указывает, что «часов так в восемь с четвертью... Зандер заметил снова сильное ослабление пульса и встревожился». Внезапный упадок сердечной деятельности был настолько сильным, что врач снова сделал инъекцию мускуса и послал за Львом Бертенсоном.

В половине девятого Герке снова поднялся на пятый этаж. В этот раз он разговаривал с Модестом, который ничего нового сообщить не мог: «Все слабость, опять припадок упадка сил, ванна, новое впрыскивание. Ждут Л. Б. Бертенсона».

По временам больной впадал в болезненный сон. Доктор позвал Модеста Ильича и посоветовал ему больше ни на минуту не покидать брата. «После 10 часов с небольшим доктор Зандер констатировал начало отека легких». В это время возвратились Мамонов и Бертенсон. Несмотря на то что (как отметили и Модест Ильич, и Лев Бертенсон) положение Чайковского до восьми часов «казалось улучшавшимся», общая картина в сравнении с предыдущей выглядела как необратимое ухудшение. Отсюда понятен язык следующего бюллетеня, вывешенного в десять тридцать: «Отделение мочи не восстановилось, признаки отравления крови составными частями мочи чрезвычайно резко выражены. С 3-х час. дня быстро возрастающий упадок деятельности сердца и помрачения сознания. С 10-ти час. вечера почти неощутительный пульс и отек легких».

Лев Бертенсон позднее говорил в интервью: «Я застал П[етра] И[льича] в коматозном состоянии и с крайним упадком работы сердца, из которого его удавалось выводить лишь на самое короткое время. <...> В десять с половиной часов вечера все надежды на возможность благоприятного поворота течения болезни совершенно исчезли. Спячка становилась все глубже, пульс оставался неощутимым, несмотря на повторные и частые впрыскивания под кожу возбуждающих средств».

Поздно вечером Эдуард Направник сделал в своей «Памятной книге» запись: «Состояние здоровья П. И. Чайковского безнадежно!!»

Следуя желанию брата Николая, в одиннадцать часов послали за

священником Исаакиевского собора, «но Петр Ильич находился в забытии и не мог приобщиться Св. Тайн». «Батюшка... прочел только громко и ясно отходные молитвы, из которых, по-видимому, ни одного слова не доходило до его сознания».

Согласно свидетельству доктора Мамонова, «в 8 часов вечера началась уремия», с 10 часов силы умирающего поддерживались искусственным дыханием, кислородные подушки «пришлось менять каждые пять минут». Начиная с 12 часов ночи он «мало говорил», «сознание его было подавлено», он впал в агонию, которая «не была очень мучительная, но продолжалась очень долго... до 3 часов утра».

В половине второго швейцару был отнесен третий и последний бюллетень: «Состояние больного ухудшилось настолько, что санитарный врач и чины полиции явились в дом».

Словно ожидая чуда, Бертенсон продолжал употреблять все возможные средства, чтобы стимулировать работу сердца. По словам Фигнера, было «невозможно передать тех мучений, какие испытывали окружающие, в особенности брат покойного, Модест Ильич, и Л. Б. Бертенсон». Расстроенный и измученный Бертенсон нашел скопление людей в небольшой комнате чрезмерным. Допущенные ранее к Чайковскому сам Фигнер и виолончелист Дмитрий Бзуль уехали. Отворили окно. В половине третьего Бертенсон и Зандер, признав положение безнадежным и поручив наблюдение за последними минутами больного Мамонову, тоже покинули квартиру на Малой Морской.

Сын Льва Бертенсона, Сергей, известный артист и театральный деятель, написал в своих мемуарах: «Я совершенно ясно помню (ему было тогда восемь лет. — А. Я.), какое у нас в семье поднялось волнение, когда брат моего отца... прислал за отцом с известием, что у Чайковского холера. <...> С этой минуты до самого момента безвременной кончины композитора у нас в доме царило такое подавленное настроение, как будто умирающий находился среди нас. Я до сих пор не могу забыть лица отца, когда он вернулся домой, сказал, что все кончено, и разрыдался».

У постели умирающего, кроме врача, собрались к этому времени братья Модест и Николай, племянники Боб Давыдов, Александр и Николай Литке, Рудольф Буксгевден, Назар Литров с женой и приехавший из Клина Алексей Софронов. Младший брат оставил подробное описание последних минут его жизни: «...появилось особого рода движение в пальцах, как будто он чувствовал зуд в разных частях тела... Дыхание становилось все реже, хотя все-таки вопросами о питье можно было его как бы вернуть к сознанию: он уже не отвечал словами, но только утвердительными и

отрицательными звуками. Вдруг глаза, до тех пор полузакрытые и закатанные, раскрылись. Явилось какое-то неопишное выражение ясного сознания. Он по очереди остановил свой взгляд на трех близ стоявших лицах, затем поднял его к небу. На несколько мгновений в глазах что-то засветилось и с последним вздохом потухло. Было 3 часа утра с чем-то».

Неназванный родственник композитора, вероятно, Николай, сказал репортеру «Новостей»: «Не далее как за десять минут до кончины он открыл глаза: взор его остановился на племяннике и брате. В этом взоре так и читалась беспредельная любовь, тоскливое прощание». Чуть позже, в одном из писем, Модест Ильич напишет: «Он умер как святой. Выражение его глаз за минуту до кончины было столь любовно и бесстрашно, что, казалось, даже в эту минуту он не думает о себе, а только будто просит прощания, что причинил нам смертельное горе».



## Глава тридцатая. Смерть в Петербурге

В понедельник, 25 октября, во всех главных петербургских газетах появились первые объявления о смерти Чайковского. В этот же день Эдуард Направник сделал запись в «Памятной книге»: «В 4-м часу утра скончался наш лучший из современных русских композиторов Петр Ильич Чайковский после 4-дневной болезни от азиатской холеры».

Ранним утром Модест Ильич послал телеграмму великому князю Константину Константиновичу: «Петр Ильич в 3 часа ночи скончался». Великий князь тотчас ответил также телеграммой: «Сердце больно сжимается, утрата Петра Ильича нами горестно оплакивается. Мы давно привыкли искренне его любить. Да упокоит Господь душу его и да пошлет Вам утешение. Константин. Елизавета». В дневнике он оставил следующую запись: «В эту минуту принесли телеграмму от Модеста Чайковского. <...> Сердце больно сжимается. Я любил его и почитал как музыканта. Мы были в хороших, сердечных отношениях, мне будет недоставать его. Я долго не мог в себя прийти, получив горестную весть о кончине Чайковского. Еще одним человеком, дорогим для русского искусства меньше. Мы с ним переписывались, у меня хранится немало его писем». И днем позже: «Вчера утром я был сам не свой. Все оплакивал безвременную кончину Чайковского, все поражены ею. Порывался... написать стихи на смерть Чайковского, но ничего не удавалось. <...> Смерть Чайковского очень огорчила Царя и Царицу».

Никто не ожидал, что болезнь Чайковского окажется смертельной. Весть о его кончине вызвала в столице естественное недоумение и замешательство. «Еще вчера, — писали петербургские газеты на следующий день, 26 октября, — даже поздно вечером никто не хотел верить, что его не стало. Из уст в уста передавались тревожные вести; но ни в ком не было сознания ужасной близости роковой развязки... <...> Все надеялись!» «Нет, не хочется верить, что он умер!.. В четверг на прошлой неделе в Петербурге заболело от холеры всего 8 человек, — с горечью отмечали «Новости», — и восьмой был П. И. Чайковский!.. Среди миллионного населения столицы беспощадная эпидемия не могла себе найти более подходящей жертвы!» «Петербургская газета» констатировала, что «печальная весть о кончине П. И. Чайковского произвела в городе впечатление, равного которому трудно подыскать за целое десятилетие. Так потрясла Петербург только смерть Тургенева».

Двадцать пятого октября Лев Бертенсон прислал Модесту соболезнования по поводу ухода композитора: «Дорогой мой Модест Ильич, хотелось бы мне Вас горячо обнять и сказать Вам, как глубоко я потрясен нашим общим страшным горем, да не в состоянии этого сделать, потому что сам еле хожу и не могу выезжать из дому. Страшная болезнь, от которой погиб Ваш незабвенный брат, сроднила меня с ним, Вами и всеми теми, кому он был дорог. Я не могу прийти в себя от страшной драмы, которую мне пришлось пережить, и решительно не в силах передать Вам всех мук, которые я испытываю! Одно могу Вам сказать, что я живу Вашими чувствами. Преданный Вам сердечно и глубоко Лев Бертенсон». Прислал телеграмму и Василий Бертенсон, уехавший в пятницу к своей пациентке в Смоленск: «Нет слов выразить мою горесть. Да поддержит вас Господь выдержать столь страшную утрату». Антона Рубинштейна весть о смерти Чайковского застала на гастролях в Дрездене. 11 ноября он писал сестре Софье: «Неужели и это воля Божья? Какая потеря для музыки в России! И ведь это во цвете лет — ему всего было 50 лет, и все это из-за стакана воды. Что за чушь вся эта штука, и жизнь, и творение, и все и вся!»

Газетные репортажи позволяют восстановить картину пред похоронных дней. С самого раннего утра квартира была переполнена желающими проститься, среди них было немало неутешно рыдающих. Некоторым удалось увидеть покойного, помещенного в небольшой комнате на оттоманке. «Ввиду того, что Петр Ильич скончался не от холеры (холера была прекращена в пятницу), а от заражения крови, и о заразе поэтому не может быть и речи, гроб его оставался открытым некоторое время», — писал корреспондент «Петербургской газеты».

По описанию репортеров, «почивший лежит... как живой, и кажется как бы уснувшим». Тогда же скульптор Целинский снял с его лица маску, а фотограф Императорских театров Гундризер сделал его последнюю фотографию. «Лицо композитора, — отмечает «Новое время», — сохранило неизменно свое выражение и носило отпечаток полного спокойствия».

Ко времени первой панихиды, состоявшейся в два часа дня, тело Чайковского, уже одетое в черный костюм, перенесли в угловую залу, откуда специально вынесли всю мебель. Комнату украсили тропическими растениями и многочисленными венками. Петр Ильич возлежал на невысоком, драпированном белым атласом катафалке. «Покойный одет в черную пару и прикрыт по шею прозрачным саваном; совсем открытое лицо его не отражает страданий от мучительной болезни: оно пергаментной желтизны, но спокойное, бесстрастное — лицо

истомленного, безмятежным сном спящего человека, и только присутствие у изголовья одного лица, поминутно прикасающегося к губам и ноздрям покойного куском светлой материи, пропитанной карболовым раствором, напоминает о страшной болезни, которая сразила умершего», — писала «Петербургская газета».

«Новости и Биржевая газета» сообщали: «Довольно большой зал... еле вмещал в себя ближайших друзей и хор. Лицо Петра Ильича сильно изменилось. При виде покойного здесь и там слышатся всхлипывания, переходящие в громкие рыдания. С несколькими дамами сделалось дурно. Брат покойного, М. И. Чайковский, до такой степени убит горем, что вынужден отсутствовать на панихиде; в обществе нескольких преданных лиц он находится в отдельной комнате; к нему никто, кроме Н. Н. Фигнера, не входит». Репортер московских «Новостей дня» одним из первых утром 25 октября побывал на Малой Морской: «Толстенький и добродушный швейцар смотрел, совершенно растерявшись: “Такой скромный господин, — ужинать ходили к Лейнеру, — и такое стечение публики. И даже не генерал, а всего лишь надворный советник в отставке”. <...> Внизу я встретил музыкального критика одной газеты. Он заговорил со мной и заплакал. “Боже мой!” — повторяли его засохшие уста, а красные от слез глаза тупо смотрели в пространство... Вверху все было готово к панихиде. На крытом атласной материей катафалке лежал покойный со спокойным — я бы сказал — с лирическим выражением лица. Прозрачный, восковой, без всяких следов страдания или, лучше, — со следами примеренного страдания. Он был одет во фрак и покрыт прозрачным саваном из тюля. Два студента принесли венок. <...> Две дамы, в черном, стояли и плакали в углу. Тут же с напряженным выражением лиц стояли певцы, музыканты, критики — целое сонмище людей, питавшихся великой музой покойного. <...> Среди тишины фельдшер прикладывал к устам и ноздрям покойного платок с дезинфицирующей жидкостью. <...> Что такое жизнь? Все заключается одним безнадежным аккордом».

Панихиду совершил причт Пантелеймоновской церкви, пел мужской хор Русской оперы под управлением Федора Беккера. Желавших присутствовать оказалось столь много, что далеко не все могли поместиться в сравнительно большой квартире, среди них — заметные общественные и культурные деятели, а также чиновники, военные, актеры, студенты и гимназисты; из представителей музыкального мира присутствовали Иван Всеволожский, Эдуард Направник, Герман Ларош, Анатолий Лядов, Александр Глазунов, Николай Римский-Корсаков, Александр Архангельский, Федор Стравинский и многие другие. Из

официальных лиц газеты отметили директора Училища правоведения Александра Пантелеева и бывших правоведов — помощника Петербургского градоначальника Ивана Турчанинова, статского советника Августа Герке. Из родственников — вдову гофмейстера Его величества Веру Бутакову и многих других дам. Из Москвы прибыл издатель композитора Петр Юргенсон. Сергей Лифарь вспоминал, что Сергей Дягилев одним из первых появился у смертного ложа Чайковского и первым принес венок.

Римский-Корсаков, за десять лет многое подзабывший, особенно факт, что покойный по шею был закрыт прозрачным саваном, а лицо его протиралось каждую минуту карболовым раствором, напишет в отрывке, вставленном им в 1904 году в его «Летопись моей музыкальной жизни»: «Неожиданная кончина поразила всех, и затем последовали панихиды и похороны. Как странно, что хотя смерть последовала от холеры, но доступ на панихиды был свободный. Помню, как Вержбилович (известный виолончелист, преподаватель Петербургской консерватории. — А. Я), совершенно охмелевший после какой-то попойки, целовал покойника в голову и лицо».

Недоумение, выразившееся в этих строках, по поводу свободного доступа на панихиды и целования покойника, свидетельствует лишь о медицинском невежестве и личных предрассудках Римского-Корсакова. Если бы их автор углубился в медицинскую литературу того периода, он бы узнал, что холерный больной может быть заразен только в первую, альгидную стадию болезни. Что же касается санитарной обработки помещения, где находился больной, то все надлежащие меры предосторожности были приняты. «Новое время» указывало, что во время панихид проводили дезинфекцию воздуха квартиры путем разбрызгивания необходимых веществ с помощью пульверизатора. «Сын Отечества» подчеркивал: «Вся квартира тщательно дезинфицирована». Меры эти были скорее формальностью, так как к этому времени, по представлениям врачей, «полное обеззараживание комнаты, где был холерный больной, может быть вполне достигнуто одновременным высушиванием, проветриванием и отапливанием такой комнаты». То, что при умиравшем в течение трех дней постоянно находились врачи, а также несколько родственников и слуги, и никто из них не был инфицирован — доказательство того, что болезнь эта при соблюдении определенных гигиенических правил перестала считаться слишком опасной для здоровья окружающих.

После первой панихиды проститься с усопшим прибыли сотни

поклонников его таланта. Как писала газета «Свет» 26 октября, их не могло не охватить сильнейшее чувство горечи при попадании в квартиру, где «в угловой комнате, с пятью окнами, белые шторы которых опущены, стоит невысокий катафалк, сбитый на скорую руку и отделанный белым атласом с бахромой; на нем, обращенное головой к углу, где перед распятием теплится восковая свечка, — тело покойного Петра Ильича, одетое в черную пару. Вокруг в высокий шандалах, отделанных траурным крепом, стоят зажженные свечи. В стороне, у аналоя, читает псалтырь певчий из капеллы Исаакиевского собора. Стены невысокой комнаты увешаны гравюрами и несколькими холстами библейского сюжета. Тут же помещается портрет покойного композитора, самый последний портрет, сохранивший потомству его черты, на котором Петр Ильич изображен в позе глубоко задумавшегося человека. Не верится, глядя на этот портрет, что он снят так недавно с того самого скорбного, со следами страшного страдания лица, — которое принадлежит покойному. <...> В комнате душно от прибывающей толпами публики».

В семь часов вечера отслужили вторую панихиду, вновь собравшую многочисленную публику. Корреспондент «Новостей» отметил: «У ног покойного лежит на подушке орден Св. Владимира, высочайше пожалованный ему за коронационную кантату, написанную им в 1883 году»<sup>[11]</sup>.

В девять часов тело композитора, в присутствии полиции, родных и близких друзей, было положено в гроб с соблюдением всех полагающихся в случае смерти от холеры мер: оно было обернуто в пропитанную сулемой простыню, гроб нижний, металлический, запаян, верхний, дубовый, завинчен.

Все утренние газеты 26 октября вышли с официальным извещением о смерти П. И. Чайковского и некрологами на первых страницах. Начиная с двенадцати часов у гроба состоялись четыре панихиды: «от Императорского училища правоведения», на которой присутствовали «настоящие и некоторые из бывших правоведов», «от Императорской Русской оперы, когда собрались артисты оперы, актеры, музыканты, и две общие, во время которой пели хоры Архангельского, Шереметева и русской оперы», После окончания вечерней панихиды в квартиру явился священник, не назвавший своего имени, но попросивший разрешения помолиться за упокой души раба Божьего Петра. Желание его было удовлетворено, тут же образовался импровизированный хор любителей, отлично пропевший панихиду. Таким образом, состоялась пятая панихида, на которой присутствовали Николай Фигнер, Цезарь Кюи, известный

адвокат Владимир Герард. Вечером из Москвы прибыла делегация, представляющая Московскую консерваторию, ее директор «Василий Сафонов и старейший профессор Николай Кашкин» возложили «большой изящный металлический венок из роз».

Репортер «Нового времени» описал свои впечатления этого дня: «По лестнице, ведущей в квартиру брата покойного, непрерывно движутся два встречных потока публики. Дверь в квартиру отперта постоянно. За нынешний день в ней перебивало тысячи народа. Условия залы, в которой стоит гроб, носят своеобразный отпечаток: от всей ее тропической обстановки, опущенных белых занавесей и венков, развешанных по стенам, веет тихой и молчаливой грустью. <...> Кругом полумрак: в углах горят две лампы и вокруг гроба тускло теплятся толстые восковые свечи. Соседние с залой комнаты также наполнены публикой, и в них также вся обстановка, начиная от повернутого лицом к стене зеркала до пианино с закрытой клавиатурой, напоминает о печальном событии. Оттоманка, на которой умер покойный, стоит на том же месте, но на нее никто не садится, и тот край ее, который служит для сидения, защищен подушками». Комната с гробом композитора «представляет сплошную массу венков, которыми увешаны и обставлены сверху донизу стены и самый гроб. Огни свечей и люстр заливают этот пестрый ковер ярким светом. Публика плотной стеной жмется в узком коридоре и трех небольших комнатах.

Под низким потолком глухо слышится пение клира “Со святыми упокой”\*и с его печальной мелодией смешивается рыдание дам, изредка доносится громкое неудержимое рыдание».

Как уже упоминалось, премьера пьесы Модеста «Предубеждения», назначенная на 26 октября в Александринском театре, была перенесена на 28 октября. Тогда же в «Новостях и Биржевой газете» появились три интервью, уже цитированных выше: с доктором Мамоновым, певцом Фигнером и другими под общим названием «Болезнь и последние минуты П. И. Чайковского», проясняющие детали этой трагической случайности. Занятия в консерватории прекратились на три дня. Второе симфоническое собрание, назначенное на 31 октября, перенесли на 6 ноября, чтобы посвятить его памяти ушедшего. Дирижировать концертом будет Эдуард Направник, а в программу войдут только произведения композитора. Торжественные панихиды прошли в Училище правоведения, консерватории, Мариинском театре.

Двадцать седьмого октября поток посетителей не прекращался. Как докладывали репортеры, «весь вчерашний день замечалось необычайное движение около дома, где скончался незабвенный композитор. Экипажи то

и дело подъезжали к подъезду, около которого с раннего утра толпилась публика, то убывавшая, то вновь прибывавшая, подобно морским валам; по лестнице, ведущей в пятый этаж квартиры, где покоится П[етр] И[льич], образовалась живая, бесконечно движущаяся лента. <...> Депутации с венками едва могли прокладывать себе путь к гробу Чайковского, который уже успел скрыться под массой всевозможных художественно исполненных металлических венков, возложенных еще накануне. Стены комнаты до самого потолка увешаны венками, венки лежат и на окнах, и на стульях, словом, везде, где только есть свободное место. К 2 часам дня, т. е. началу панихиды, уже не было физической возможности добраться до квартиры, откуда едва доносилось пение чудного оперного хора».

За три дня было возложено множество роскошных металлических венков, перевитых траурными лентами: от служащих и Дирекции Императорских театров, от супругов Фигнер, от Римского-Корсакова, Лядова и Глазунова, от графа Н. А. Беннигсена, от госпожи Н. Ф. фон Мекк, оркестра Колонна и многих других. Корреспондент «Луча» удивленно заметил и еще один: «Общее внимание привлек венок с надписью “От боготворившей его жены”. Это обстоятельство возбудило толки, причем выяснилось, что Чайковский, живя в Москве, в конце 1860-х годов был женат, но супружеская жизнь его продолжалась лишь несколько месяцев».

О смерти мужа Антонина узнала в Москве и, естественно, приехала на похороны. Родные и близкие покойного ожидали ее с тревогой. Об этом был проинформирован Герке, принимавший участие в организации похорон, он пытался держать ситуацию под контролем: «Милый Модест, поспеши тебя успокоить насчет могущей появиться “больной особы”: по полиции сделано распоряжение, чтобы при первом появлении ее “беспокойства” ей было круто заявлено, что требуется спокойствие и ненарушение тишины, иначе последует удаление от кортежа, а затем обеспечено и призрение больной, если не угомонится. Я буду около печальной колесницы, когда установлю все депутации». Беспокойства были напрасными: никаких инцидентов, связанных с Антониной, не произошло. В этот же день в Петербург из Нижнего Новгорода прибыл Анатолий.

На последней, вечерней службе, отличавшейся особенной торжественностью, собралось огромное количество народа. Посетители стояли сплошной стеной, начиная от квартиры на пятом этаже и заканчивая подъездом. Все комнаты до отказа заполнились людьми настолько, что стало практически невозможно передвигаться. Лишь к десяти часам вечера квартира постепенно освободилась от неимоверного наплыва скорбящих,

но перед входом в дом некоторые оставались до полуночи.

В этот день, 27 октября, газета «Новое время» опубликовала интервью Льва Бертенсона «Болезнь П. И. Чайковского», к которому мы еще вернемся. Тогда же возник спор и о месте похорон композитора. Москвичи, со слов Анатолия Брандукова и Сергея Танеева, заявили свои права на то, чтобы он был похоронен в Москве или в Подмоскowie, утверждая, что такова была воля покойного. Родственники распорядились иначе. В интервью «Новостям» Модест Ильич заявил, что, в Петербурге «прошли лучшие годы брата, здесь он получил свое образование сначала в Училище правоведения, а затем в консерватории, здесь впервые встретили успех его оперы, симфонии, здесь у него столько артистических привязанностей! Но не одним этим Петру Ильичу был всегда дорог Петербург. Здесь, в Петербурге, умерли и похоронены наши родители, а не далее как в прошлом году на Александровском кладбище погребена его сестра».

Для участия следующим утром, 28 октября, в траурной процессии и для входа в Казанский собор, где должны были отпевать почившего, а также для доступа на кладбище Александро-Невской лавры были учреждены специальные билеты. Однако желающих проститься с Петром Ильичом оказалось намного больше. «Чтобы судить о том, какое громадное число осталось разочарованных, довольно сказать, что Казанский собор вмещает всего шесть тысяч человек, а заявивших желание по записям и письменным заявлениям было 60 тысяч», — утверждали петербургские газеты.

Александр III, узнав о смерти Чайковского, как это следует из дневника великого князя Константина Константиновича, был «очень огорчен» и взял на себя все расходы по его погребению, поручив Дирекции Императорских театров распорядиться похоронами. Сохранилась резолюция на письме министра Императорского двора Иллариона Воронцова-Дашкова к императору, в котором тот спрашивает разрешения на это: «Конечно, можно. Как жаль его и что за досада!» Такие знаки внимания говорят об исключительном отношении монарха к композитору. До тех пор было известно только два примера особой высочайшей милости к отошедшим в лучший мир деятелям науки и искусства, оба случая связаны с Николаем I, который написал письмо умиравшему Пушкину и почтил посещением похороны Карамзина.

«Чайковского хоронила вся интеллигенция столицы, — сообщало «Новое время», — все, что способно чувствовать, ценить, воспринимать музыкальные впечатления, — все стремилось поклониться праху великого композитора, взглянуть на его гроб, вздохнуть горько о ранней утрате. И



сановники, и студенты, и художники слова и мысли, и многие из простонародья, — все массой провожали Чайковского до могилы, все творили крестное знамение за упокой угасшего “светоча русского музыкального искусства”, как написано на одном из венков». На основании отчетов, сообщений и коротких заметок, опубликованных в петербургских и московских газетах, стало возможным восстановить более полную картину похорон композитора.

Рано утром был возложен роскошный венок из живых белых роз, посланный императором. В девять часов начали съезжаться родственники и знакомые. Некоторые учреждения, чтобы отдать последний долг усопшему, прибыли в полном составе. Представители Дирекции Императорских театров выстраивали собравшихся вдоль Малой Морской в одну линию, растянувшуюся более чем на километр. Движение по улице было полностью прекращено. По прибытии принца Александра Петровича Ольденбургского в квартире в присутствии родственников и близких друзей была совершена заупокойная лития.

Гроб с телом покойного с пятого этажа на улицу вынесли братья Николай, Модест и Анатолий, принц Ольденбургский, певцы Фигнер, Мельников, Яковлев. Под пение «Святый Боже» он был поставлен на колесницу, внутрь задрапированного светлой тканью балдахина, на углах которого висели четыре лиры с буквами из лиловых цветов «П.Ч.». Царский венок и венки от родных решено было поместить на колеснице, все остальные были разложены на следующих за ней ландо. Воспитанники Училища правоведения встали вокруг, держа в руках свисающие киста балдахина. Скорбная процессия медленно направилась по Гороховой и по Большой Морской через Поцелуев мост к Мариинскому театру.

Открывал шествие распорядитель похорон, за ним шли три правоведа, которые несли на черной бархатной подушке орден Святого Владимира. Потом — певчие и духовенство, а за ними печальная колесница, запряженная шестью лошадьми в черных ажурных попонах с гербами, за которой следовали родные, друзья и массы народа, и среди всего этого — пять белых островков — повозки с венками. Мариинский театр был в трауре, задрапированный черным сукном и с зажженными фонарями. Над фронтоном была установлена окутанная прозрачным черным флером лира. Здесь же выстроились делегации с венками, чтобы возложить их во время короткой остановки процессии перед зданием театра. Затем, объехав еще строящееся здание консерватории, шествие повернуло на Офицерскую улицу и снова — на Большую Морскую. По ней похоронная колонна вышла на Невский проспект и направилась к Казанскому собору.

Около полудня гроб пронесли через строй скорбящих в храм и поставили там на невысокий катафалк, окруженный свечами. Были возложены венки, дежурство у тела композитора несли по шесть правоведа, сменявшиеся каждые пятнадцать минут. На клирос поднялись хор Русской оперы в полном составе и певчие Казанского собора. Преосвященный Никандр, епископ Нарвский, начал заупокойную литургию, которая продолжалась до двух часов дня. Во время службы хор исполнил «Херувимскую» Глинки и «Верую», «Отче наш», «Тебе поем» и «Свете тихий» Чайковского. «Глубоко трогательно, вполне выражая и щемящую грусть, и покорность воле Господней, звучали похоронные напевы и, казалось, что при пении “Со святыми упокой” и мысль молящихся как бы тоже переносится в “жизнь бесконечную”. Тихо, тихо, после высоких нот, замирала последняя “вечная память”. Многих до слез растрогало пение», — вспоминал очевидец.

На службе присутствовали великий князь Константин Константинович, принц Ольденбургский, член Государственного совета Стояновский, министр Императорского двора Воронцов-Дашков, высокопоставленные чиновники и представители музыкального, артистического и литературного мира. Константин Константинович так описал в дневнике свои впечатления: «Вчера был месяц, как я получил последнее письмо от Чайковского, а его уже похоронили. Я нарочно поехал в город, чтобы отстоять в Казанском соборе заупокойную литургию и отпевание. <...> Церковь была полна, впускали только по билетам. Давно я не видел такого торжественного богослужения. Пели “Верую” и “Тебе поем” из литургии, сочиненной покойным. Мне хотелось плакать и думалось, что не может мертвый не слышать своих звуков, провожающих его в другой мир. Уж я не видел его лица; гроб был закрыт. И больно, и грустно, и торжественно, и хорошо было в Казанском соборе».

По окончании богослужения траурный кортеж снова выстроился на пути к Александро-Невской лавре. Под хоровое пение друзья и артисты вынесли гроб из собора и, поставив его на колесницу, вышли на Невский между двумя людскими потоками, заполнившими проспект по всему пути следования. Военный оркестр, впервые разрешенный на похоронах штатского чина, играл похоронный марш, а в перерывах под пение «Святой Боже» похоронная процессия медленно двигалась к последнему пристанищу Петра Ильича. «Это была поистине грандиозная картина! — вспоминал Юрий Юрьев. — Такого стечения народа не помнили петербуржцы, да едва ли оно когда-либо допускалось. Весь Невский до самой лавры был заполнен народом». Великий князь Константин

Константинович и принц Ольденбургский некоторое время шли за гробом.

Около четырех часов дня траурное шествие подошло к лавре. У ворот его встретили преосвященный Никандр вместе с наместником лавры архимандритом Исайей, иеромонахами и хором братии. На кладбище всех желающих не пустили: как и в Казанский собор, допускались только по билетам. Однако народа собралось столь много, что едва можно было протолкнуться. Место погребения, приготовленное для Чайковского на Тихвинском кладбище, находилось близ ограды, в той его части, где уже покоились Бородин, Мусоргский и Серов. Могилу внутри выложили кирпичом, стенки ее до самого дна обили золотой парчой, а сверху ее должен был закрывать кирпичный свод.

Ровно в четыре часа к месту погребения подошли питомцы Училища правоведения, за ними — хор певчих и священник. Через пять минут по узкому проходу и деревянному настилу пронесли тяжелый гроб, вокруг которого моментально образовался тесный кружок близких покойному людей. Была отслужена последняя лития, хор у могилы композитора отвечал «аминь» и затем при провозглашении ектении «Господи, помилуй» второй хор, находившийся за плотной толпой присутствовавших, откликнулся далеким эхом. После этого пели все. Архиерей благословил прах, гроб опустили в могилу и бросили по горсти земли. «В это время публика прорвала цепь и в одну секунду заполонила всю площадку, колыхаясь сплошною волною взад и вперед, влезая на цоколи фамильных памятников и держась за решетки их», — писал корреспондент «Нового времени». Начались прощальные речи, чтение стихов.

Одним из первых говорил директор Московской консерватории Василий Сафонов: «Велико горе, постигшее музыкальное искусство, тяжела утрата, понесенная этим искусством. Над свежую могилу гениального человека, еще так недавно бывшего среди нас жизнерадостным, полным сил, полным замыслов, обещавших человечеству не одну минуту высоких и чистых наслаждений, можно ли, нужно ли говорить что-нибудь? Да, можно и нужно, потому что смерть открывает смысл жизни человека. <...> Чайковский был истинным сыном своего народа. <...> Он дорог ему... как немногие. <...> Он прославил русское имя далеко за пределы родины. <...> Он был первым плодом первой русской консерватории. <...> Он видел свет истинный, он приял духа небесного. Вечная ему память!»

Среди выступавших был друг Чайковского времен училища Владимир Герард: «Все, что в России мыслит, особенно все, что в России чувствует, глубоко потрясено. Музыка Чайковского по преимуществу музыка тихой

грусти, глубокой скорби — всегда находила отголосок в русских сердцах; это понятно: в русских сердцах так много места, так много предметов для тихой грусти, для глубокой скорби. Но среди большой русской семьи есть ничтожная по количеству, но крепкая сердечным единением семья товарищей Чайковского по училищу. Эта семья понесла еще большую утрату — она хоронит любимого товарища. Мы, которые росли с ним, делили с ним и радости и огорчения детства, знали, какой это был человек. Не думаю, чтобы такой проницательный сердцевед умел бы так хорошо определить характер человека, как определили его товарищи в закрытой школе; и мы все любили его потому, что среди нас не было более милого, более сердечного, более доброго и симпатичного, нежели Петр Чайковский. Эти отличительные черты его характера, привлекавшие к нему всех его товарищей, остались и окрепли у Петра Ильича, и привлекали к нему всех, кто сближался с ним; эти же отличительные черты ярко светят и в его творениях. Прощай, милый, дорогой товарищ; земля будет тебе легка, я в этом не сомневаюсь: она всегда легка тому, кто оставляет по себе вечную, добрую память; а для Чайковского вечная память в его творениях, в любви знавших его. Прощай».

Как сообщал репортер «Нового времени», «когда все речи и стихи были закончены, артист Императорских театров Н. Фигнер, со слезами на глазах, растроганным голосом только и мог сказать: “Прости дорогой учитель! Вечная тебе память!” Все набожно перекрестились и комя сырой земли застучали о крышку гроба». Похороны закончились около пяти часов вечера. Присутствовавшие расходились медленно, могила композитора опустела нескоро.

Александр III не мог бы приехать на похороны, даже если бы и пожелал. В этот день он в Гатчине вместе с семьей отмечал годовщину брака, о чем записал в «Памятной книжке за 1893 год»: «Четверг, 28. Занимался. Доклад. В половине первого молебен в комнате. 27 [лет] нашей свадьбы». Об этом же и запись в дневнике его сына, будущего Николая II: «День свадьбы дорогих Папа и Мама. В 1272 был молебен наверху».

На следующий день были повсеместно опубликованы подробные репортажи с места событий. Накануне, вечером того же дня, что и похороны, в Александринском театре состоялась премьера комедии Модеста Чайковского «Предрассудки»: «автор... не пожелал, чтобы пьесу отложили». Судя по некоторым газетным отзывам, комедия даже вызвала некоторый ажиотаж, несомненно из-за событий последних дней, а не содержания спектакля, бывшего во всех отношениях ординарным. Рецензент «Санкт-Петербургских ведомостей» писал: «В четверг, в день

похорон П. И. Чайковского... <...> была похоронена комедия брата покойного, М. И. Чайковского “Предрассудки”. Мы не хотим этим сказать, что пьеса была очень дурна или чтобы ее плохо играли. Ни то, ни другое. Но это комедия с червоточиной в начале, и чем ближе к развязке, тем яснее, что это умирающая пьеса, что жизни в ней нет, есть только одна вспышка агонии». Другие критики согласились с этим мнением, отметив, что, несмотря на прекрасную игру актеров, сюжет остался неясен, характеры героев не развиты, а автор так и не смог ответить на поставленные в ней вопросы. Комедия выдержала еще несколько представлений и сошла со сцены.

Тридцатого октября Модест поместил в ведущих газетах письмо от лица братьев Петра Ильича, в котором он поблагодарил всех, «кто выразил нам лично сочувствие по случаю понесённой нами утраты».

Однако уже на этом этапе многие, все еще пребывавшие под влиянием потрясения от неожиданной смерти, стали задавать себе вопрос — была ли эта смерть действительно неизбежностью или просто следствием плохого лечения? Как осторожно сформулировал один современник, «тяжесть утраты увеличивалась сознанием ее случайности и уверенностью, что ее легко было отворотить». Возбужденное общественное мнение «жаждало крови», и в этой ситуации козлами отпущения могли легко сделаться врачи. Именно это имеет в виду Алина Брюллова, заявляя в своих воспоминаниях: «Как всегда при такой почти внезапной смерти, люди не могут в нее поверить, сочиняют разные небылицы и первым делом ищут виновных. И тут все громы петербургских салонов грянули на Бертенсона». Сам Бертенсон не мог не предвидеть этого. Он всегда особенно болезненно реагировал даже на воображаемые сомнения в его компетентности, что было хорошо известно его друзьям и коллегам. Так, например, невинное упоминание музыкального критика Михаила Иванова в 1881 году о «щемящем чувстве», испытанном им при посещении больницы, в которой умер Мусоргский, устроенный туда по протекции врача, вызвало публикацию в газете «Голос» специального письма за подписью Бородина, Римского-Корсакова и Кюи, в котором они приносили публичную благодарность как всей администрации госпиталя, так и Бертенсону лично.

Как известно, еще 26 октября Лев Бертенсон дал интервью газете «Новое время» по настоятельной просьбе редакции. Оно было опубликовано на следующий день под названием «Болезнь П. И. Чайковского». Оно (неверно называемое некоторыми биографами отчетом и уже много раз цитированное нами выше) — единственное печатное заявление главного врача, лечившего композитора. Внимательное

сравнение этого документа с другими опубликованными — интервью доктора Мамонова (днем раньше) и подробным отчетом Модеста Ильича (четырьмя днями позже) — выявляет «потерю» Бертенсоном целого дня. С его слов невозможно понять, почему после возгласа Чайковского «Бросьте меня, не мучайтесь; все равно мне не поправиться...», который, как мы знаем, имел место в субботу, он сразу и без предупреждения переходит к описанию событий воскресенья (когда, в частности, Петру Ильичу и была, наконец, сделана ванна) — в то время как создается впечатление, что он продолжает повествовать о той же субботе. За исключением этой, чисто хронологической детали, интервью Бертенсона, тем не менее, в основном совпадает как с отчетом Модеста Ильича, так и с заявлением доктора Мамонова. Это дало брату композитора основание назвать рассказ Бертенсона «кратким, но совершенно точным». Кроме того, наивно предполагать, что в подобных обстоятельствах люди, потрясенные трагической потерей, были способны восстановить ход событий с точностью до мельчайших деталей и в согласии друг с другом. Каждый наблюдатель видит любые события под своим углом зрения.

Главным гонителем врача оказался влиятельный издатель «Нового времени» Алексей Суворин, известный антисемит. Будучи в момент смерти композитора в Берлине, 29 октября он записал в своем интимном дневнике: «Чайковский погребен вчера. Страшно жаль его. Лечили его Бертенсоны, два брата, и не сажали в ванну. По-моему, это чисто жидовская репутация этих Бертенсонов, которой они совсем не заслуживают».

При таком положении вещей, чтобы рассеять образовавшийся туман, Модест Ильич вынужден был выступить сам. В интервью Бертенсона не было даже дат и вообще ничего не говорилось о том, где, когда и при каких обстоятельствах больной мог заразиться холерой. Брат покойного должен был прийти на помощь врачу не только из чувства приличия и дружбы, но еще и потому, что он сам мог испытывать некоторые угрызения совести по поводу своей роли в произошедшем, включая историю с ванной. Так, 1 ноября появился его знаменитый отчет, «Письмо в редакцию», напечатанный во всех крупнейших газетах столицы.

Публикация этого документа, детального, расписанного по дням и изобилующего большим количеством медицинских подробностей, как будто удовлетворила публику и наконец сняла некоторые вопросы о лечении композитора. О безоговорочном принятии истинности отчета Модеста Ильича в художественных кругах можно судить по письму Льва Толстого Николаю Страхову из Ясной Поляны 3 ноября 1893 года: «Сегодня читал описание Чайковского о болезни и смерти его знаменитого

брата. Вот это чтение полезно нам: страдания, жестокие физические страдания, страх: не смерть ли? сомнения, надежды, внутреннее убеждение, что она, и все-таки и при этом не перестающие страдания и истощение, притупление чувствующей способности и забытие, и перед самым концом какое-то внутреннее видение, уяснение всего “так вот что” и... конец. Вот это для нас нужное, хорошее чтение. Не то, чтобы только об этом думать и не жить, а жить и работать, но постоянно одним глазом видя и помня ее, поощрительницу всего твердого, истинного и доброго».

Толки об обстоятельствах смерти Петра Ильича затихли, но горечь от сознания того, что врачи не смогли его спасти, не проходила. Суворин снова выступил в печати, резко поставив вопрос о компетентности лечивших Чайковского врачей, тем самым начав газетную кампанию, направленную против Льва Бертенсона.

Сергей Бертенсон вспоминает, что в те дни к ним приезжал Модест Ильич, чтобы «выразить отцу сочувствие от лица всей семьи Чайковских по поводу появившейся тогда в газете “Новое время” статьи А. С. Суворина, в которой он обвинял отца в недостаточно компетентном и внимательном лечении умершего композитора. Статью эту подхватили некоторые другие журналисты мелкой прессы, падкой на сенсации, и началась целая травля отца. Модест *Ильич* положил этому конец, напечатав во всех петербургских газетах открытое письмо от имени семьи Чайковских, с выражением отцу и его помощникам глубокой благодарности за проявленные исключительные заботы о почившем».

Это открытое письмо было обнародовано Модестом Ильичом 7 ноября: «М[илостивые] Г[осудари]! От имени всех лиц, бывших неотлучно при моем покойном брате в течение последних дней его жизни, прошу вас напечатать в “Новом времени”, что мы считаем безусловно несправедливым какие бы то ни было упреки, направленные на лечение смертельной болезни Петра Ильича. Несмотря на то, что горечь этой утраты мы чувствуем сильнее, чем кто-либо, никто из нас не питает ничего к Л. Б. Бертенсону, к его брату В. Б. Бертенсону и ассистентам Н. Н. Мамонову и Зандеру, кроме чувства признательности за их сердечное и безупречно-тщательное отношение к болезни покойного».

Это опровержение произвело впечатление на газетчиков. «Новости и Биржевая газета» начали оправдывать Бертенсона, и только «Новое время», возможно, из антисемитских соображений, сохранило осудительный тон.

Писатель и журналист Влас Дорошевич в «Петербургской газете» с горечью иронизировал: «А. С. Суворин находит, что отношение г. Бертенсона было не безусловно тщательным. М. И. Чайковский находит,

что отношение г. Бертенсона было, наоборот, “безусловно-тщательным”. С г. Бертенсоном случилось то же, что с покойным П. И. Чайковским. Чайковского лечили от холеры три специалиста по грудным болезням. Г. Бертенсона критикуют как врача... два литератора. Мы желаем г. Бертенсону одного. Если эта критика расстроит ему нервы, — не дай Бог, чтоб лечить г. Бертенсона от нервного расстройства взялись... три акушера. Всяк хорош на своем месте».

Добавим, что, по утверждению Сергея Бертенсона, несколько лет спустя на одном из больших обедов Литературного фонда Суворин публично принес его отцу извинение за несправедливые обвинения. Это должно означать, что издатель понял, что в обстановке бушевавших страстей он поддался собственным предрассудкам, обвинив Бертенсона не по существу.

Осенью 1893 года произошло еще одно событие, ответственное, по большому счету, за новый виток драматических слухов вокруг великого композитора на целое столетие вперед. В предыдущей главе описано, как 16 октября 1893 года, за восемь дней до смерти автора, была впервые исполнена Шестая «Патетическая» симфония. Реакция публики, как мы знаем, была неопределенной. Однако три недели спустя, 6 ноября, во время траурного концерта под управлением Эдуарда Направника, она же произвела на аудиторию сильнейшее, но исключительно мрачное впечатление. Отчасти тому способствовало и необычное распределение ее частей, что до тех пор не имело прецедентов в этом музыкальном жанре. Симфония начинается с адажио и им же заканчивается. «Это действительно своего рода лебединая песня, предчувствие близкой кончины, а от этого и впечатление получается трагическое. <...> Симфония кончается точно плачем, рыданием», — посчитала после этого концерта «Русская музыкальная газета». Читаем в дневнике великого князя Константина Константиновича: «Было невыносимо слушать эти звуки, точно предсмертный завет, прощание с жизнью». Публика услышала в этой музыке не только реквием, написанный автором по самому себе, не только пророчество о скорой своей гибели, но также и трагическое решение лишить себя жизни от безысходного отчаяния. А поскольку симфония посвящалась Владимиру Давыдову, то вывод, по крайней мере со стороны некоторых, напрашивался сам собой.

Нужно отдать должное проницательности Римского-Корсакова, позднее написавшего: «Полагаю, что внезапная кончина автора, вызвавшая всевозможные толки, а также рассказы о предчувствии им близкой смерти, до которых так падок род человеческий, и склонность связывать мрачное



настроение последней части симфонии с таковым предчувствием, обратили внимание и симпатии публики к этому произведению, и прекрасное сочинение быстро стало прославленным и даже модным».

То, что Чайковский, как всякий большой художник, был натурой трагической, не подлежит сомнению. Однако попытки экстраполяции аспектов творчества на биографию, предпринятые разными авторами в отношении Шестой симфонии, с выводом о том, что ее содержание якобы отражает суицидные намерения ее создателя, совершенно неправомерны. Это не означает, что отношения между Петром Ильичом и Бобом Давыдовым вовсе не имели касательства к творческому процессу, но связь эта должна была быть столь интимной, сокровенной и невыразимой, что нет никаких способов определить качество и значение ее для музыкального сочинения с помощью какого бы то ни было формального или иного анализа. Это и есть именно то таинство, которое позволяет искусству, высвобождаясь из-под власти создателя, обретать независимое значение во все времена.

Смерть великого человека часто оказывает мощное влияние на умы современников. Известно немало случаев, когда даже очевидные обстоятельства трагического исхода порождают в возбужденном людском воображении многочисленные слухи и легенды. Классический пример тому — кончина Моцарта, в связи с которой и доныне тысячи любителей музыки обвиняют ни в чем не повинного Сальери, несмотря на то, что множество исследователей опровергли эту версию, имея в руках неопровержимые факты. Такой феномен массовой психологии понятен: разум не всегда в состоянии справиться с тем, что гениальные люди, намного превосходящие каждого из нас своим дарованием и заслугами, так же, как и мы, подвержены тривиальным и необратимым жизненным обстоятельствам — болезням, старению, смерти. В древности факты эти отрицались вовсе: великие и полубогатые поэты и музыканты Орфей, Мусей и Гомер мыслились обретшими реальное бессмертие и вознесшимися к богам на Олимп. Элемент сверхъестественности продолжал сохраняться в восприятии современниками выдающихся личностей и, в частности, обстоятельств их смерти в Средние века (ср. эпизоды «Золотой легенды» или цикл преданий о докторе Фаусте).

В Новое время рационализм стал успешно бороться с суевериями, но психологическую потребность, о которой идет речь, побороть не смог. Сверхъестественное замещается в нашем сознании обстоятельствами таинственными и романтическими, долженствующими оправдать тот чрезвычайно глубокий, по сравнению с нашим собственным, ценностный

статус, каковой в историческом аспекте обретает политический или творческий гений. Некоторые события из жизни великих (гибель Байрона в борьбе за свободу Греции или драматический уход Льва Толстого из Ясной Поляны) столь впечатляющи сами по себе, что в романтическом ореоле не нуждаются. Хотя и здесь, даже при наличии исчерпывающего количества свидетельств, воображение время от времени пытается одолеть преграду здравого смысла — такова, например, появившаяся сравнительно недавно версия о том, что Лермонтов был убит на дуэли не Мартыновым, а агентом, посланным лично Николаем I и затаившимся с ружьем где-то в кустах у места поединка. Разумеется, не во всяком случае возможно подобное — сколько угодно раз великие люди покидали мир при ярком свете общественного внимания, окруженные толпой родственников, друзей и почитателей. Именно такой на первый взгляд была безвременная кончина Петра Ильича Чайковского.

Воображение и тайная страсть толпы к сенсациям какое-то время безмолвствовали, ибо биография Чайковского казалась открытой книгой и столь же доступной всеобщему обозрению, как и обстоятельства его смерти, поскольку личность его представляла — в общественном плане — ясной и лишенной загадок, в его творчестве отсутствовал заметный уклон в иррациональность, и трагизм его произведений никакие увязывался с известными фактами его личной жизни. Очевидность не есть доказательство — Гоголь, как известно, умер при свете дня, и факт этот засвидетельствован медиками. Но легенда о том, что писателя положили в гроб живым, тем не менее родилась. Понятно, что подобная идея отлично сочеталась с автором «Вия» и «Страшной мести», но при любых обстоятельствах нечто подобное было б вряд ли возможно связать с именами, скажем, Герцена, Чехова или Владимира Соловьева. В жизни Петра Ильича имело, однако, место неординарное и многим непонятное обстоятельство — его гомосексуальность. Вне специфической, связанной с этой формой любовных чувств субкультуры представление о ней у обычного человека, надо полагать, было туманным и сопряженным с брезгливостью или жалостью. Ассоциации, вызываемые ею, касались лишь предметов медицинских или криминальных. И это притом что присутствие в повседневной жизни достаточного количества гомосексуально ориентированных людей было фактом общеизвестным и специального интереса не вызывало: о нем не задумывались, а если и задумывались, то игнорировали или мирились с ним как с нелепостью и неизбежным, но невинным и не совсем постижимым злом.

Совсем иначе обстояло дело, если подобное сексуальное поведение

приписывалось лицу выдающемуся, кумиру многих тысяч, обретшему не только национальную, но и мировую славу. Гомосексуальность и связанная с ней секретность волей-неволей окружали Чайковского ореолом невысказанности и значительности. «Частная жизнь его вообще была окружена каким-то туманом, дымкой таинственности», — отмечал один из современников. Известно, что слухи эти доходили как до великосветских гостиных, так и до прессы. Мы помним, как композитора расстроила заметка о консерватории в «Новом времени», где намекал ось на «амуры другого рода» во взаимоотношениях между профессорами и студентами.

Проблема эта существовала и на другом сознательном уровне, более высоком, чем путаница в голове обычного человека. Вполне возможно, что нечто похожее отразилось (хотя бы косвенно и в куда более сложной форме) в письме Льва Толстого жене сразу после смерти композитора, 27 октября 1893 года: «Мне очень жаль Чайковского, жаль, что как-то между нами, мне казалось, что-то было. Я у него был, звал его к себе, а он, кажется, б[ыл] обижен, что я не б[ыл] на Евг[ении] Он[егине]. Жаль как человека, с к[оторым] что-то б[ыло] чуть-чуть не ясно, больше еще, чем музыканта. Как это скоро, и как просто и натурально, и ненатурально, и как мне близко».

Прежде всего нужно признать, что содержание этого текста довольно странно. Не совсем понятно, что же именно Толстой имел в виду. Сам по себе факт сумбурности примечателен: он должен отражать эмоциональное состояние писавшего — очевидно, что письмо это говорит не менее, если не более о его авторе, чем об усопшем музыканте. «Как-то между нами, мне казалось, что-то было» — отражает ли это глубинные интуиции писателя, идущие вне и помимо обыкновенных светских условностей? Человек, «с которым что-то было чуть-чуть не ясно» — что же именно хотел дать понять (и в то же время не понять?) жене яснополянский мудрец? «Как это скоро, и как просто» — здесь речь идет, очевидно, о кончине. Но как же тогда — «и как мне близко»? Значит ли это, что Лев Николаевич тоже хотел умереть в момент написания этих строк? Мысль автора здесь скачет, притом что одни, недостаточно оформленные представления накладываются на другие, очевидно, ясные для него самого, но совершенно не конкретизированные. Софья Андреевна, если она вообще обратила внимание на эти фразы, должна была немало удивиться. Мы осмелимся лишь усмотреть в этом излиянии невысказанное и неосуществленное поползновение разобраться в соотношении отклонений и декорума: слова «и натурально, и ненатурально» (не забудем, что с ними следует «и как мне близко») почти непременно соотносятся с

гомосексуальной проблемой, которая в тот момент могла занимать мысли писателя. Толстой любил его музыку: уже упоминалось, что однажды он плакал при ее звуках в присутствии самого композитора. И однако взаимопонимания между ними не было. Подтекст приведенной цитаты позволяет предположить, что писатель был в курсе носившихся слухов о «ненормальности» композитора и был склонен видеть в ней источник чего-то трагического в его судьбе и творчестве, чего-то достойного сожаления и жалости. Если уж столь проницательный ум, как Толстой, обнаружил «неясности» во всем этом, то чего можно было ожидать от людей обыкновенных?

Слухам о самоубийстве Чайковского более ста лет. В разных вариантах и версиях они уже всплывали в России и за ее пределами. Родственники и близкие друзья композитора, жившие по обеим сторонам «железного занавеса», как и многие серьезные биографы, всегда отрицали их правдоподобность. Тем не менее они продолжали существовать. В условиях Советского Союза, где устная традиция передачи «запретных фактов» из жизни знаменитых соотечественников составляла иногда единственный источник информации, они обрели вторую жизнь.

При невозможности проверки (табу, наложенное в печати на любые упоминания об однополром сексе) подобные слухи часто принимались там на веру, почти всегда следуя принципу «испорченного телефона» и при этом трансформируясь порой самым причудливым образом.

Медицинские и криминальные ассоциации, связанные с гомосексуальностью и очевидные на повседневном уровне, было трудно увязать с человеком, столь высоко вознесенным своей деятельностью над толпой. Перед заурядным сознанием вставала необходимость разрешения парадокса, и именно таким образом, чтобы всеми признанный гений не упал, но напротив — вырос бы в общественном мнении. И более того — приобрел бы еще больший масштаб всеобщих сочувствия и любви. Единственным решением казалась недосказанная предпосылка о тяжелом кризисе, на протяжении всей почти жизни переживаемом им по поводу своих неортодоксальных — а тем самым заведомо компрометировавших его — сексуальных склонностей. В этом случае гениальная личность, оказавшаяся волею судьбы игрушкой запретных страстей, заслуживала бы лишь патетического сострадания, но не осуждения, и, приобретя столь неожиданным образом желанный романтический ореол, разрешила бы коллизию катарсисом. А что может быть трагичнее в этих обстоятельствах, чем самоубийство?

Такая трактовка образовавшегося в биографии композитора «темного

пятна» более всего импонировала людям, глубоко любящим его музыку и связанным с нею профессионально, людям артистическим: композиторам, художникам, музыкантам, хореографам, артистам балета и музыковедам, оказавшимся неспособными примирить в своем сознании два движущих творческих начала в жизни Петра Ильича — его необычные сексуальные вкусы и его гениальность.

Близкие родственники композитора, безусловно знавшие о его любовных предпочтениях, смущенно хранили молчание, боясь огласки, дальние же — пробовали их опровергнуть, но без ссылок на архивные документы, не говоря уже об официальном запрете на самый сюжет, не могли этого сделать. Так — вне зависимости от реальных событий — массово-психологические механизмы в случае с Чайковским уже предрасполагали к созданию архетипической мифологемы, которая должна была разрядить эмоциональную напряженность, возникшую вокруг его личности и поведения. Тем более что он был отнюдь не элитарным художником, к судьбе которого огромное большинство людей безразлично. Напротив — он, как никто другой, был всенародным композитором, имевшим и при жизни и после смерти громадную популярность в России и в Советском Союзе — похороны его, как и похороны Достоевского, вылились в многотысячную манифестацию скорби.

Если некое событие кажется нам чрезвычайно странным, это не может само по себе быть основанием для отрицания того, что оно имело место на самом деле. Жизнь, равно как и история, исполнена странных происшествий. Стремясь отличить фактическое прошлое от вымысла, его следует поместить в должный контекст, воссоздавая, насколько мы в состоянии это сделать, до мельчайших деталей культурную и историческую обстановку, в которой оно произошло. И только затем, логически рассматривая ситуацию и анализируя мотивы поведения ее участников, задаться вопросом: могли произойти обсуждаемый эпизод? Иными словами, проблему нужно изучать как в плане вероятностей, так и в плане возможностей, причем последний фактор должен стать решающим. Шерлок Холмс не случайно полагал, что расследование начинается с исключения невозможного.

Слухи о смерти Чайковского можно суммировать в четыре версии. Первая: композитор выпивает стакан сырой воды во время эпидемии холеры, зная о риске, — так называемая «русская рулетка». Вторая: он вступает в интимные отношения с молодым членом царской семьи, и сам император ему ставит ультиматум — суд или самоубийство. Третья версия (получившая в последние двадцать лет хождение на Западе) похожа на

вторую: угроза разоблачения его связи с сыном аристократа вынуждает бывших правоведов устроить ему судилище и приговорить к смерти через принятие яда. В четвертой версии доктор Бертенсон убивает композитора по приказу царя, назначая ему смертельные дозы яда, чтобы его наказать за гомосексуальную связь с мифическим племянником.

Материал, собранный в этой книге, с очевидностью показывает, что хроника событий в течение последних недель жизни Чайковского не оставляет места для «заговора правоведов» или «суда чести». Тщательное исследование общественного и культурного климата эпохи равным образом приводит к убеждению, что ничего подобного произойти не могло, а если бы паче чаяния и произошло, то не могло быть столь успешным образом сокрыто. В этом смысле Россия конца XIX века очень отличалась от Советского Союза. Невозможно определить и мотивы поведения участников этого якобы имевшего место события, могшего привести к самым неожиданным последствиям, никакой логике они не поддаются. Даже если бы Чайковскому угрожал сексуальный скандал (что никак доказано), то поведение, приписываемое легендой его участникам, лишено здравого смысла. Любой из них обладал неограниченной возможностью избрать образ действий несравненно более легкий и менее опасный. Что касается оскорбленной (предположительно) стороны, несомненно, в ее собственных интересах было бы спокойно договориться с композитором через посредничество кого-нибудь из правоведов. Самому же обвиняемому, человеку с мировым именем, даже в самом худшем случае (если бы угроза обличения и публичности действительно существовала), ничего не стоило на некоторое время уехать из России под предлогом гастролей и выждать, пока угроза минует.

Один из решающих аргументов против версии отравления — вопрос о действии яда. В условиях России XIX века не существовало экзотических ядов, способных продлить агонию жертвы на протяжении полных четырех дней без их введения в организм маленькими дозами. В случае Чайковского это было совершенно невозможным. Один этот факт опровергает не только фантазию о «суде чести», но и само предположение о том, что композитор совершил самоубийство, добровольное или вынужденное, приняв яд.

Самоубийство по определению (не говоря уже о казни, а именно к ней, согласно легенде, «суд чести» приговорил композитора) вопрос юридический. Исходя из принципа презумпции невиновности, бремя доказательства «преступления» лежит на обвинении, а не на защите, в нашем случае — на тех, кто обвиняет бывших одноклассников Чайковского в совершении целой серии преступлений — в заговоре, шантаже и

побуждении к самоубийству. Любой суд присяжных, действующий в наши дни, разбирая это странное «дело чести мундира», бесспорно объявил бы слухи и спекуляции совершенно недостаточными не только для вынесения приговора, но даже и для предъявления обвинения. Что же касается смерти композитора, то судебное следствие после тщательного рассмотрения всех «за» и «против» неизбежно пришло бы к выводу: «смерть от естественных причин».

У сторонников теории самоубийства остается лишь версия (которую, среди прочих, поддерживал, например, знаменитый американский балетмейстер Джордж Баланчин), что композитор сознательно заразил себя холерой, играя в русскую рулетку. Теоретически это возможно. Но чтобы серьезно отнестись к этой идее, необходимо сначала доказать, что накануне смерти Чайковский пережил тяжелый кризис, любовный или какой-то другой, приведший его в состояние столь великого отчаяния, что оно оказалось сильнее присущих ему жажды жизни и инстинкта самосохранения. В наших источниках, однако, пока не обнаружено ни малейшего намека на что-либо подобное. Напротив, как мы видели, есть все основания считать, что к моменту смерти композитор не только достиг вершины признания и творческих возможностей, но и в немалой степени испытывал чувство эмоционального благополучия.

В силу любви к искусству у человечества иногда возникает соблазн создавать из художественного произведения жизненный факт. Как правило, это чаще всего результат нашего воображения. Искусство не может быть объяснено через факт, и факт далеко не всегда порождает произведение искусства. Жизнь во имя искусства есть отчасти сознательное принесение себя в жертву, притом что импульс к совмещению того и другого более привычен и, быть может, по последнему счету, более благороден.

Чайковский 23 ноября /5 декабря 1877 года поделился с Надеждой фон Мекк очень сокровенными мыслями о себе самом и о своих взглядах на смысл творчества: «Итак, Вы видите, мой милый друг, что я весь состою из противоречий и что, доживши до очень зрелого возраста, я ни на чем не остановился, не успокоил своего тревожного духа ни на религии, ни на философии. Право, было бы от чего с ума сойти, если б не музыка. Вот, в самом деле, лучший дар неба для блуждающего в потемках человечества. Она одна только просветляет, примиряет и успокаивает. Но это не соломинка, за которую только едва хватаешься, этр верный друг, покровитель и утешитель, и ради его одного стоит жить на свете. Ведь на небе, может быть, не будет музыки. Давайте же жить на земле, пока живется!»

## Эпилог

Петр Ильич «очаровывал всякого приходившего с ним в соприкосновение, — писал в некрологе Герман Ларош, — объяснить это личное очарование так же трудно, как передать или описать его. Высшая прелесть избранной человеческой натуры так же малодоступна анализу, как красота гениального музыкального произведения. Можно разобрать технические достоинства партитуры, можно указать и перечислить нравственные качества и таланты избранной личности: но не технические достоинства, по крайней мере, не одни они составляют прелесть музыки, и не таланты, не добродетели придают личности притягательную силу. Как в художественном произведении, так и в человеческой личности, после всех усилий критики и анализа, остается нечто неразгаданное, некая тайна, и эта тайна составляет важнейший элемент, истинную суть предмета. Отказавшись от притязания объяснить явление, мы, однако же, не можем не упомянуть о самом явлении, не можем забыть того, как, без всякого старания или намерения со своей стороны, Петр Ильич одним своим присутствием вносил повсюду свет и теплоту. И если Европа оплакивает в нем крупную художественную силу, одну из величайших во второй половине девятнадцатого века, то одни лишь люди, имевшие счастье знать его близко, знают — какого человека не стало с его смертью».

Двадцать седьмого октября, еще до похорон композитора, состоялось заседание Петербургской городской думы, где обсуждались возможности города по увековечиванию его памяти. Было предложено учредить стипендию в его честь, открыть подписку на установку памятника на могиле и назвать Театральную улицу, где находилась консерватория, его именем. На заседании 3 ноября Комиссия по народному образованию представила доклад, на основании которого было принято постановление лишь об учреждении стипендий имени Чайковского в консерватории, открытии мраморной доски на доме, где он умер, установлении бюстов композитора и присвоении его имени двум начальным городским училищам. В переименовании улицы, как и в проведении подписки на памятник и надгробие, было отказано, поскольку эту инициативу комиссия нашла преждевременной. Однако, чуть позже, по настоянию Музыкально-исторического общества в Петербурге и с личного дозволения Александра III, сбор денег по подписке на надгробие и памятник был проведен.

Общий замысел композиции на могиле Чайковского был предложен



Дирекцией Императорских театров и разработан Иваном Всеволожским. Надгробие представляло собой бюст композитора на гранитном пьедестале, окруженный плачущей музой и гордо расправившим крылья ангелом с большим крестом в руках. Автором памятника стал скульптор Павел Каменский, работавший в Мариинском театре и лично знавший Петра Ильича. Торжественное открытие состоялось на четвертую годовщину со дня смерти, 25 октября 1897 года. Год спустя скульптура работы Владимира Беклемишева, изображающая сидящего и погруженного в свои мысли композитора, была также торжественно установлена в фойе Большого зала Консерватории.

На личностном уровне неожиданная смерть Чайковского породила множество новых проблем. Если для самого композитора теперь начиналась вечность, то для его близких жизнь продолжалась, со всеми ее ежедневными заботами и тревогами.

Было вскрыто завещание, составленное Чайковским 30 сентября 1891 года, где он назначил своими душеприказчиками издателя Юргенсона и его сына Бориса. Однако по непонятным причинам старший Юргенсон от роли душеприказчика отказался. Всему недвижимому имуществу, которого почти не оказалось, надлежало отойти десятилетнему сыну племянницы Тани, Жоржу, равно как и всему капиталу, но с условием, что седьмая его часть будет передана слуге Алексею Софронову. Поспектакльная плата с опер «Пиковая дама» и «Иоланта» была завещана Бобу, за вычетом пятой части в пользу Модеста, но не менее тысячи рублей в год, с обязательством ежегодной выдачи из этих сумм Жоржу тысячи двухсот рублей, и Алеше — шестисот. Антонине Милюковой также причиталась тысяча двести рублей в год. Авторские права закреплялись за Владимиром Давыдовым, а в случае его смерти передавались Жоржу. Все движимое имущество было завещано слуге. Такова была воля покойного композитора.

В первые дни после смерти брата Модест Ильич принял решение сохранить в неприкосновенности дом и обстановку в Клину. Однако когда он поделился этими планами с Алексеем Софроновым, тот запросил за мебель, полученную им по завещанию, гигантскую сумму — пять тысяч рублей. Когда же Модест Ильич заплатил, оказалось, что бывший слуга приобрел у владельца, купца Сахарова, сам дом за 8300 рублей и поставил брата покойного в безвыходную ситуацию, предложив съехать. Лишь в 1897 году дом, наконец, был выкуплен Модестом Ильичом у предприимчивого Алеши на средства, предоставленные ему для этой цели Бобом из доходов от исполнения произведений композитора.

Чайковский находил в племяннике разнообразные таланты и считал

его незаурядной личностью. В действительности же у него никаких выдающихся качеств не оказалось. Немного склонный к музыке, немного к живописи и даже к поэзии, он остался во всех областях дилетантом. Сам юноша отдавал себе в этом отчет и трезво оценивал собственные возможности, признаваясь в письме обожавшему его дяде: «Я подобен белке, но не она двигает колесо, а колесо — ее, но, результат конечно, тот же, т. к. все же остается на одном и том же месте».

Боб присутствовал при предсмертной агонии композитора, и не исключено, что именно эта смерть оказалась для него травмой настолько тяжелой, что он так и не сумел ее преодолеть, как и не смог побороть пагубную страсть к морфину, унаследованную им от матери и старшей сестры. После трехлетнего, с 1893 по 1896 год, быстрого продвижения по службе в Преображенском полку, которым командовал великий князь Константин Константинович, он по состоянию здоровья ушел в отпуск, а затем в 1900 году вообще уволился с действительной военной службы, уехал в Клин и поселился в комнатах, пристроенных к дому в 1898 году. Свою зависимость от морфина, опиума, а затем и добавившегося к ним алкоголя он оправдывал, так же как его сестра и мать, невыносимыми болями, вызванными многочисленными заболеваниями. Модест самоотверженно старался помочь племяннику всеми мыслимыми способами: возил его лечиться в Италию, Германию, Австрию и Швейцарию, но без успеха. Он стал постоянным и невольным свидетелем мучительных «ломок» молодого человека, галлюцинаций, белых горячек, которые им обоим становилось со временем все труднее выносить. Это был период, «связанный с непрерывными физическими страданиями, нравственными муками, духовным опустошением и постепенной деградацией» любимого племянника Чайковского.

Тринадцатого декабря 1906 года Модест Ильич задержался на сутки в Москве, уступив просьбам Брандукова послушать в его исполнении один из квартетов Петра Ильича. Вернувшись в Клин, он узнал, что Боб застрелился, положив таким образом конец семилетней агонии. В жандармском донесении сообщалось, что «в городе Клину произошел следующий случай: поручик запаса гвардии Владимир Львович Давыдов, 35 л [ет], лишил себя жизни выстрелом из браунинга; до этого он страдал расстройством умственных способностей». Нельзя исключить, что это событие, наложенное на известное всем посвящение ему Шестой симфонии, способствовало возникновению или распространению слухов о том, что и сам композитор якобы также покончил с собой.

Отношения Чайковского с двумя женщинами, сыгравшими в его жизни

непохожие, но очень яркие роли, преисполнены печали. По свидетельству Модеста Ильича, в последние часы своей жизни брат его «немного бредил и постоянно повторял имя Надежды Филаретовны фон Мекк, гневно упрекая ее». Звучит драматически, но здесь следует проявить осторожность. Модест Ильич — не беспристрастный свидетель: он глубоко переживал «обиду» обожаемого брата, а возможно, подсознательно ревновал его к его «лучшему другу». Нет ничего невероятного в том, что в бреду Чайковский упрекал Надежду Филаретовну за «измену». Слово «проклятая», упомянутое младшим братом, в применении к ней в устах Петра Ильича кажется психологически невозможным: самый сильный эпитет, направленный против нее, встречается в письме Юргенсону 3 августа 1893 года — «коварная старуха». До «проклятой» очень далеко. Очевидно, это слово — последнее, услышанное собравшимися вокруг него, — относилось не к ней, а к смерти. Композитор бредил: если слово «надежда», согласно Модесту, возникло на его устах незадолго до слова «проклятая», то он должен был иметь в виду надежду на выздоровление или ее потерю из-за приближения «проклятой курноски»; он никогда не называл госпожу фон Мекк просто по имени, без отчества — сам ход его мысли не был приспособлен к тому и не выработал соответствующей привычки, а сложное отчество «Филаретовна» вряд ли могло прозвучать в предсмертной агонии.

Представая перед Богом и расставаясь с жизнью, человек проклиная смерть, а не тех, кто оказывал ему благодеяния, даже если они оборвались загадочным письмом с просьбой «не забывать и вспоминать иногда». Анна фон Мекк писала: «На похороны Петра Ильича Надежда Филаретовна не приезжала. Она уже была абсолютно больным человеком. Передвигаться ей было очень трудно. Но если бы даже она была близко, она все-таки не поехала бы, вероятно, на его похороны. Надежда Филаретовна жила исключительно со своими детьми и их семьями — мужа дочерей и жены сыновей, и больше она никого не видела, она была очень застенчива, у нее была даже боязнь людей и боязнь выйти на люди. Поехать на похороны, чтобы ее могли видеть и знать, что она тут, — она никогда бы этого не сделала, даже если бы могла». И еще: «Дядя скончался 25 октября, — и меня спросили, как пережила его смерть Надежда Филаретовна. Она ее не перенесла. Ей стало сразу значительно хуже, и она умерла через три месяца после его кончины, 13 января 1894 года в Ницце».

Муж Анны, Николай фон Мекк, стал жертвой первой волны сталинского террора, его расстреляли в 1929 году как «врага народа» в связи с Шахтинским делом, когда группа инженеров была обвинена в

саботаже. Александр Солженицын выразил восхищение его стойким характером в художественном исследовании «Архипелаг ГУЛАГ». Летом 1941-го Анна с дочерью Галиной и внуками были на даче под Москвой, в Малоярославце, который вскоре был занят гитлеровскими войсками. В январе 1942 года Малоярославец был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, но родственники Чайковского и фон Мекк решили бежать на Запад. «Слухи о том, как наступающая Красная армия наказывала всех, кто имел контакты с немцами, были ужасными», — писала Галина позднее в воспоминаниях. Анне Львовне было далеко за семьдесят, и тяготы дороги подкосили ее здоровье. Она умерла на пути в Варшаву, в районе Смоленска, в родных для семейства Фроловских местах, в 1942 году. Галина фон Мекк с детьми в феврале того же года добралась до Берлина, где пройдя через все трудности военного времени, в конце войны перебралась в Баварию. В 1948 году она воссоединилась в Англии с дочерью Анной, уехавшей еще в 1923 году жить к отцу, английскому подданному. В 1973 году она написала книгу воспоминаний «Как я их помню» и перевела на английский язык «Письма к близким» своего дяди.

Антонина Милюкова, после короткого пребывания в столице на похоронах мужа, снова приехала из Москвы, чтобы присутствовать на панихиде в Александро-Невской лавре на девятый день. Последние годы жизни она непрерывно скиталась по чужим углам. Положение «замужней женщины» без мужа все более усугубляло ее угнетенное психическое состояние. Пенсии в 100 рублей в месяц, оставленной ей по завещанию, не хватало. 8 декабря 1893 года она обратилась к министру Императорского двора Воронцову-Дашкову с отчаянной просьбой о назначении ей пенсии за умершего мужа, но результата не последовало. В письме к министру она подробно рассказала обо всей своей недолгой жизни с Чайковским и упоминала, что якобы осенью 1892 года в Александровском саду в Москве тот поджидал ее и молча шел за ней следом — несомненный плод ее несчастного воображения.

Она переехала в Петербург и поселилась недалеко от лавры, куда часто ходила навещать могилу мужа. В декабре 1893 года петербургские газеты напечатали интервью с ней, а в апреле следующего года появились ее воспоминания о покойном. Через два года у нее резко обострилась мания преследования: она искала духовной помощи у Иоанна Кронштадтского, но пастырь ее не принял, очевидно, по причине ее ярко выраженного клинического состояния. В октябре 1896 года Антонина попала в больницу для душевнобольных Святого Николая Чудотворца, где ей поставили диагноз «хроническая паранойя». Там она провела четыре года. Выйдя в

феврале 1900 года, она возвратилась туда же в июле 1901-го. Вскоре, после вмешательства Анатолия, ее перевели в более комфортабельное загородное учреждение — дом призрения душевнобольных на станции Удельная. Судя по сохранившейся истории болезни, острые приступы бреда, галлюцинаций часто сменялись периодами спокойного и вполне разумного поведения. Модест до конца своих дней периодически навещал ее в лечебнице. Антонина Чайковская умерла 18 февраля 1917 года от воспаления легких, могила ее на Северном кладбище не сохранилась. Так окончились для нее отношения, начавшиеся с невинного любовного письма к молодому консерваторскому профессору. В своих воспоминаниях она не позволила себе ни единого дурного слова о покойном муже, уже обретшем бессмертие.

Изогранных и высокотворческих интеллектуалов часто тянет в мир менее развитых простых людей. Как правило, такое сближение не обретает благополучия и смысла, даже там, где тяга взаимна и подвижна мощным эросом — обычно за этим следует взаимное страдание, но и созидание, на нем построенное, и шедевры, из него извлеченные. Увы — если страдания и бывают обоюдными, то творчество претворяется в жизнь скорее за счет «голубоглазых» и «темных разумом», как об этом писал Томас Манн. Потому последним, сколь бы убогими личностями они время от времени ни оказывались, принадлежит справедливое и законное место в биографии великого человека.

Чувство вины и сомнений в правильности шагов, предпринятых в отношении Антонины Милюковой после расставания с ней, сопровождали Петра Ильича всю его оставшуюся жизнь. Он называл жену своей «ужасной раной». И, несмотря на все наши симпатии к нему, оправдать его трудно. Обвиняя его в обмане и предательстве, она была, в сущности, права — хотя бы потому, что ему надлежало с самого начала сказать ей правду о своих склонностях, и, если бы она не смогла этого понять, а следовательно, принять ответственное решение, надо было отказаться от самой идеи брака. В этом смысле он, конечно, сломал ей жизнь — безответственностью, экстравагантностью, эгоизмом, — \* что не так уж удивительно, ибо личности гениальные уже в силу собственных, находящихся выражение в их творчестве страстей обречены губить людей, близких и далеких. Гениальность, однако, не оправдание, и то, что он, хотя и не часто, но испытывал угрызения совести по поводу загубленной им женщины, делает ему некоторую честь. Избрав себе другого супруга, столь же умственно и эмоционально ограниченного, как она сама, Антонина могла бы превратиться в ничем не примечательную домохозяйку и без труда обрести

покой и безбедность.

Можно ли, в свою очередь, сказать, что если бы и Петру Ильичу посчастливилось связать себя с умной, тонкой, способной понять, принять и простить, во всех отношениях достойной его женщиной — такой, например, как Арто, — сумел ли бы он в таком случае достигнуть семейного счастья, несмотря на свои «амуры другого рода»? Вопрос проблематичный и даже несколько праздный. Желанный альянс мог закончиться как слиянием душ, так и катастрофой, притом что второе, имея в виду ипохондрический его темперамент, кажется вероятней. Быть может, Арто знала, что делала, когда, убежав в Варшаву от своего жениха, вышла замуж за баритона Падиллу. Как бы то ни было, вряд ли оказалось случайностью, что женщиной, с которой он установил свои самые глубокие, самые возвышенные, поистине уникальные отношения, стала та, с которой он беседовал только в письмах и с которой ему ни разу не пришлось (из знания, уверенности, боязни?) общаться очно.

Модест Ильич нелегко переживал как смерть брата, так и разъезд с Колей Конради. Его бывший воспитанник, оставивший заметный след в жизни обоих братьев, вскоре после их разрыва, в 1894 году, женился, помирившись с Модестом лишь через несколько лет. Умер Конради в 1922 году в Петрограде.

Несмотря на все уговоры, Ларош отказался писать биографию композитора, поэтому в 1895 году младший брат сам приступил к ее созданию. Начиная с 1898 года она выходила отдельными выпусками в издательстве Юргенсона. К 1902 году было составлено три солидных тома «Жизнь Петра Ильича Чайковского, по документам, хранящимся в архиве покойного композитора в Клину».

В последние годы Модест Ильич продолжал писать пьесы и переводил сонеты Шекспира. Но главным его занятием этих лет явились основание Дома-музея Чайковского и обработка архива, оставшегося от покойного. В 1905 году, опасаясь пожаров, которых в окрестностях Клина становилось все больше вследствие революционных событий в стране, он вывез архив в Москву.

Модест Ильич часто бывал в Риме, полюбившемся ему с тех пор, когда они жили там втроем с Колей и братом. Князь Сергей Волконский вспоминал, что хотя и знал Модеста еще по Петербургу, но «по-настоящему узнал его в Риме», где они вместе провели много зим. Модест с племянником снимали квартиру у Пьяцца де Спанья, на левой стороне площади, в доме, где некогда жил Мендельсон. Римская концертная жизнь была близка Модесту: «...большинство учеников симфонического оркестра

были его знакомые, а первая скрипка и первая виолончель, можно сказать, были его птенцы. <...> И сколько таких музыкальных карьер началось и продолжалось благодаря помощи Модеста Ильича! Кому инструмент, кому фрак для первого концерта, кому плата за уроки».

Подражая знаменитому брату, он и в России до конца своей жизни помогал талантливой молодежи найти свое призвание. Так, поэт Сергей Клычков, друг Есенина и Клюева, был обязан ему своей литературной карьерой. Память о брате композитора он «хранил как святыню». Модест Ильич не только помог окончить гимназию талантливому крестьянскому мальчику, но и в 1907 году способствовал опубликованию его стихов и рассказов. После этого 19-летний юноша вместе с ним и Александром Литке уехал в Италию, где на Капри познакомился с Горьким и Луначарским.

В конце жизни, словно предчувствуя упреки потомков за все умолчания и недоговоренности в биографии Чайковского, сознательно им сделанные в угоду времени, Модест Ильич написал, но не успел закончить «Автобиографию», где большую часть отводит интимным деталям жизни композитора. В самом начале он писал: «Если когда-нибудь заглянут в эту рукопись, на что я рассчитываю, но почти не надеюсь, — за интерес к моему тусклому существованию пусть будут вознаграждены тем, что я могу сказать о брате Петре».

Умер он 2 января 1916 года в Москве, покойся рядом с Бобом на Демьяновском кладбище, близ Клина. Князь Волконский вспоминал, что получил телеграмму о его кончине от единственного бывшего при нем человека — молодого скрипача, сына клинского мещанина, которого Модест устроил в консерваторию. Дом композитора он завещал Русскому музыкальному обществу. 26 августа 1921 года постановлением СНК РСФСР дом Чайковского в Клину был национализирован и стал государственным музеем. С 1919 года, вплоть до своей смерти в 1927 году, в нем работал брат композитора Ипполит.

Старший брат Николай скончался еще в 1911 году в Москве и там же похоронен на Новодевичьем кладбище. Анатолий ушел из жизни в Петербурге на год раньше брата-близнеца, в чине сенатора. Он нашел упокоение на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Его жена Прасковья и дочь Татьяна после революции эмигрировали. Прасковья умерла в Париже в 1956 году.

«Бывший слуга композитора Алеша Софронов прожил в Клину вплоть до своей смерти в 1925 году. В 1898 году в Петербурге на могиле Алексея Апухтина, похороненного на Никольском кладбище в лавре, была

поставлена гранитная стела с бронзовым бюстом поэта, работы скульптора Р. Р. Баха. В 1956 году прах и памятник были перенесены на Литераторские мостки Волковского кладбища.

Оставшиеся родственники продолжили начатую Модестом традицию по созданию Дома-музея Чайковского в Клину. Так, в 1945 году главным хранителем его стал младший племянник композитора Юрий Давыдов (умер в 1965 году), затем его дочь Ксения приняла своеобразную эстафету от отца и, вплоть до ухода на пенсию в 1989 году, работала во славу знаменитого родственника.

Из более дальних друзей верность композитору всегда хранил его ученик, композитор и музыкант, Сергей Танеев (1856–1915), часто мысленно возвращавшийся к спорам со своим учителем о смысле творчества. Летом 1896 года он побывал в гостях у Льва Толстого в Ясной Поляне, где много беседовал с ним о религии, музыке, литературе. После отъезда Танееву приснился странный сон, произведший на него сильное впечатление. Сон был о музыке, и он тотчас же записал его в дневнике: «Я видел Петра Ильича, который вспоминал что-то из своих сочинений и не мог припомнить. Алексей и еще какой-то его слуга играет в четыре руки, но все, что они играют, совсем не то, что П. И. вспоминает. Я подхожу к фортепиано и тоже не могу припомнить. П. И. говорит, что Вторая симфония его не удовлетворяет; я отвечаю, что считаю ее финал одним из *chef-d'oeuvre* нашей музыки и начинаю играть вторую *Assur'Ну*ю тему. Фортепиано имеет две клавиатуры. Затем мне представились музыкальные мысли Петра Ильича в виде живых существ, носящихся по воздуху. Похожи они на кометы — они сияют и живут. Под ними люди, про которых я знаю, что это будущие поколения. Мысли эти входят в голову этих людей, движутся, извиваются и, несмотря на протекающие века (мне казалось, что передо мной проходят столетия), остаются такими же живыми и сияющими, но это только некоторые из музыкальных мыслей Петра Ильича: 2-я тема “Ромео”, “Нет, только тот кто знал” — других не помню. Прочие же не остались жить, я сознаю, что они исчезли, и понимаю, что это не истинные создания, — произведения, написанные не по вдохновению; вижу, что разным мыслям суждена разная долговечность. В стороне направо я видел, что движутся мои собственные мысли, в одеждах античных, как ряд призраков бескровных и безжизненных. Я понимаю, что они существуют в таком виде потому, что я создавал их не с достаточным участием, и в создании их было мало искренности, что это не из души вышедшие мысли. Я припоминаю слова Льва Николаевича о значении искренности в художественном произведении и просыпаюсь,



страшно потрясенный, и начинаю рыдать, вспоминая о своем сне».

Две глубинные темы контрапунктом проходят через этот довольно необычный текст. Первая из них — о значении Чайковского для будущего. Одной из примечательных черт его композиторской судьбы было, как мы видели, недопонимание и недоценка современниками, при первой реакции на них, именно тех его созданий, которые ныне признаны безусловными шедеврами — Первого фортепьянного концерта, опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» и, наконец, Шестой симфонии. Эстетически Чайковский опережал свое время по крайней мере на поколение, и не случайно ряд музыковедов, как в России, так и за рубежом, по существу, относят его творчество уже к эпохе Серебряного века, и по сей день остающейся для нас центральной в новейшей истории русской художественной культуры. И еще одна важная мысль явствуется из танеевского описания сна, с которой нельзя не согласиться, тем более сегодня, когда «искусственное» становится определяющим в нашем представлении об искусстве. Благородным контрастом с этой сомнительной установкой выступает «живая и сияющая» музыка Петра Ильича Чайковского, способная взволновать даже самого неподготовленного слушателя, ибо ее источником служила предельная искренность переживаний. Отсюда — универсальность его гения, который по праву может быть назван «гением чувств».

Творчество композитора в России удостаивалось признания, но медленно, и процесс этот был сложным, долгим, не лишенным теневых сторон, даже в исполнении музыка его нередко искажалась в угоду времени, моде или плохому вкусу. «Девяностые годы наложили на творчество Чайковского печать ложного крикливого пафоса, — полагал композитор и критик Борис Асафьев. — Столичные салоны и провинция окончательно утвердили и еще утрировали этот “фишеровский” стиль. Трагизм музыки Чайковского исчез бесследно, заслоненный патокой сентимента, ее чисто русская задушевность и простота подавлены были никчемным “цыганским пошибом”». Это неверное и неполное восприятие музыки Чайковского отпадало постепенно, и посмертная судьба его претерпела в XX веке неожиданные повороты.

В начале столетия в расцвет деятельности «Мира искусства» его сознательно стремились забыть, представляя недавнее прошлое русской музыки как «культ Чайковского, культ исключительный, пристрастный до нетерпимости» и выдвигая ему в противовес композиторов-националистов «Могучей кучки». Поэт Михаил Кузмин претенциозно рисовал облик композитора как «пассивно интеллигентский, элегически чиновный, очень

петербургский 90-х годов, немного кислый». Слышались, впрочем, и другие голоса из того же лагеря. Так, Александр Бенуа восхищался «глубоко романтическим оттенком оперы “Пиковая дама”» и «магической, нежнейшей и тончайшей музыкой» «Спящей красавицы» и «Щелкунчика». Скрябин, сам отдавший некогда дань влиянию Чайковского, отверг его по достижении зрелости. Музыка, по его глубокому убеждению, должна была выражать только состояние чрезвычайное, особенное, экстатическое. «У Чайковского слишком обывательская натура», — утверждал автор «Поэмы экстаза(». «Чайковский любит, ценит, чрезвычайно рельефно выражает оформленные чувства... <...> он не берет эмоций слишком возвышенных, ни слишком низменных, но всегда останавливается на “среднечеловеческих” переживаниях», — вторил Скрябину критик В. Г. Каратыгин.

Борьба с Чайковским в дореволюционный период порой принимала формы настолько крайние, что вызвала в свою очередь протесты и обвинения в пристрастности. Однако существенно, что сказанное относится главным образом к музыкально-критической оценке творчества композитора. Мнение же основной массы его слушателей оставалось иным, и концерты из его произведений посещались с прежним энтузиазмом. Поостережемся совершать привычную ошибку и увидеть в массовой популярности непеременимое явление массовой культуры. В таком случае, масскультурой пришлось бы объявить и Шекспира, отвергнутого высоколобой критикой классицизма и Просвещения, а в относительно недавние времена — такими корифеями, как Лев Толстой или Бернард Шоу, притом что во все эпохи Шекспир ставился с великим успехом в любом провинциальном театре. Разрыв между оценками Чайковского с двух сторон — публикой в концертном зале и теоретиками-музыковедами — факт, однако, сам по себе примечательный. Разрыв этот, сложная природа которого в принципе заслуживает специального рассмотрения, сопровождает представление о нем и по сегодняшний день.

После революции 1917 года композитор так же пришелся не ко двору. Он был объявлен идеологом гибнущего русского дворянства, его музыка — пессимистичной, а влияние ее — разлагающим. «Музыка Чайковского гнетет и расслабляет душу. Напряженный симфонизм Чайковского и напряженность колебаний революции — какие несовместимые понятия! — писали о нем критики в 1923 году. — Одно ясно: сейчас, в наше время, в век напряженной героической борьбы... содержание творчества Чайковского кажется таким далеким, чуждым и неприемлемым». В постановлении Совета народных комиссаров от 30 июля 1918 года о

памятниках великим деятелям социализма и революции в графе «композиторы» указывались лишь три фамилии: Мусоргский, Скрябин и Шопен. В этой ситуации появление улицы в Петрограде, названной в честь композитора, было каким-то недоразумением.

Тем не менее в справочных изданиях сообщается, что 6 октября 1923 года Сергиевская улица была переименована в улицу «Композитора Чайковского», просуществовавшую до 1931 года, когда слово «композитор» было удалено из ее названия. Надо признать, что в доме 41 хоть и жили в 1852–1853 годах родители Чайковского, переехавшие в Петербург из Алапаевска, но единственным местом на Сергиевской улице, имевшим хоть какое-либо отношение к композитору, было здание Училища правоведения на углу с Фонтанкой, но обо всем этом вряд ли был тогда осведомлен рабочий класс.

В этот период господства РАППа и Пролеткульта творчество Петра Ильича предлагалось с корнями вырвать из советской музыкальной культуры, как вообще отрицалась необходимость культуры буржуазной, под которой часто понималось все художественное наследие прошлого. Но в это же время, несмотря на все выпады в советской печати, музыка его продолжала завоевывать все большее и большее число слушателей, звучать в концертных залах, вызывая энтузиазм среди самых широких слоев населения. К началу 1930-х годов официальная критика начала отступать и обнаруживать в его произведениях черты реализма и профессионализма, был предпринят кардинальный пересмотр отношения к нему всего советского музыковедения. После известного постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года, когда «упрощенческий» и «вульгарно-социологический» подход был отброшен и заменен установкой на зачисление более или менее значительных деятелей литературы и искусства в разряд «реалистов», начали выходить серьезные работы, переосмысливающие музыкальное наследие композитора. В 1934–1936 годах появилось трехтомное издание переписки Чайковского с фон Мекк, где он предстал в новом свете, как «великий музыкант-реалист», «прямой ученик Бетховена», черпавший «свою мелодику из мелодического источника окружавшей его русской действительности». Там же впервые был обнародован и факт его нетрадиционной сексуальной ориентации: «Чайковский был очевидно гомосексуален от природы, почему его попытка изменить характер своей половой жизни и оказалась безрезультатной». Так в конце концов «упаднический» и «реакционно-романтический» Чайковский «реалистически» восторжествовал, как восторжествовали Пушкин и Достоевский, которых предполагалось сбросить с корабля

современности.

В преддверии столетнего юбилея в 1940 году было обнародовано постановление Совета народных комиссаров Союза ССР, в котором он впервые был назван «великим русским композитором», и в ознаменование этой даты предлагалось ему «воздвигнуть памятник в г. Москве в 1942 году», «издать полное собрание музыкальных и литературных произведений», «присвоить имя П. И. Чайковского музыкальному училищу в г. Воткинске, музыкальной школе в г. Клину, вновь построенному концертному залу в г. Москве», «переименовать Новинский бульвар в улицу П. И. Чайковского, учредить 10 стипендий имени П. И. Чайковского в Московской, Ленинградской, Киевской и Тбилисской консерваториях, а также выпустить юбилейные почтовые марки с изображением композитора».

В день юбилея, 7 мая 1940 года, состоялось торжественное собрание в Большом театре в Москве, а Московской консерватории было официально присвоено имя П. И. Чайковского. Имя его начало шествие по городам и селам Советского Союза: переименовывались улицы, школы и даже города.

Этим постановлением правительства ознаменовалась официальная канонизация Чайковского в СССР, и лишь парадоксальная суть советской системы повинна в том, что с трудом достигнутое это признание имело для биографов композитора самые печальные последствия. Он стал предметом культа со стороны властей. С этого момента оказались невозможны высказывания о нем, хоть как-то предосудительные с официальной точки зрения. Массы одержали победу над профессиональной музыкальной критикой, но с точки зрения подлинно культурных интересов победа обернулась пирровой. Все, писавшееся о Чайковском, подпадало теперь под жесточайшую цензуру. Его биографии и политические взгляды подгонялись под приемлемый для властей, часто идиотический, стандарт. Тексты его, особенно писем, при публикации немилосердно купировались, а доступ к опубликованным в более полных версиях затруднялся. Его архивы — и главнейший из них, в Клинском доме-музее — оказались закрыты для всех, кроме горстки идеологически натренированных «специалистов». Единственным исключением стал подготовленный к печати еще до официальных торжеств первый том писем Чайковского к родным, где, несмотря на цензуру, тема его неортодоксальных сексуальных вкусов прозвучала достаточно явственно. Книга была отправлена в спецхран, ссылки на нее в статьях не допускались, редактору В. А. Жданову был сделан строгий выговор. В 1955 году он выпустил другой сборник — «Письма к близким», где упоминания о личной жизни

композитора были сведены к необходимому минимуму.

Создание памятника Чайковскому в Москве поручили знаменитой Вере Мухиной. Проект его она представила на заседании Комитета по делам искусств в 1949 году. Композитор был изображен сидящим перед нотами и разведшим руки в стороны. Рядом стояла фигура молодого очарованного пастушка. Как объяснила сама Мухина в письме И. В. Сталину 5 марта 1952 года, «образ Чайковского задуман мною в момент высшего творческого напряжения: он прислушивается к рождающейся в нем прекрасной мелодии; левая рука как бы нащупывает ритм, правая готова записать найденное. <...> Фигура пастушка, играющего на свирели, [была представлена] как воплощение народных истоков музыки Чайковского». Однако, во время обсуждения, «один из участников мероприятия решительно заметил, что подобная, невинная на первый взгляд деталь даст пищу для предположений совершенно ненужных. Более определенно высказаться не осмелился никто». Фигура пастушка была снята по указанию комитета. В остальном, проект утвердили, но когда скульптура была окончательно отлита в 1952 году, она вызвала нарекания принимавшей его комиссии: «много пафосной романтики», памятник «носит больше камерный, а не монументальный характер», «выражение лица композитора вызывает чувство протеста», поэтому предлагалось установить его в фойе какого-либо концертного зала или в усадьбе дома-музея в Клину. Смерть Мухиной 6 октября 1953 года помешала осуществить эти замыслы, и в знак признательности скульптору памятник по решению Совета Министров Союза ССР было приказано установить к 25 октября 1954 года перед зданием Московской консерватории, где он стоит и по сей день.

## Основные даты жизни и творчества П. И. Чайковского

1840, 25 апреля — родился в поселке Боткинского завода (ныне город Воткинск в Удмуртии).

1842 — рождение сестры Александры.

1843 — рождение младшего брата Ипполита.

1845 — начало занятий музыкой с М. М. Пальчиковой.

1848 — отъезд семьи из Воткинска в Москву, затем в Петербург. Учеба в пансионе Шмеллинга. Занятия музыкой с пианистом Филипповым. 1849, май — переезд семьи в Алапаевск.

1850, 1 мая — рождение младших братьев-близнецов Анатолия и Модеста. Сентябрь — поступление в подготовительный класс Училища правоведения в Петербурге.

1852, май — переезд семьи Чайковских в Петербург.

Сентябрь — поступление в младший класс Училища правоведения. Начало дружбы с поэтом Алексеем Апухтиным.

1854, 13 июня — смерть матери от холеры.

Август — написал первое музыкальное произведение *Anastasie-valse*.

1855 — начало занятий с пианистом Рудольфом Кюндингером.

1856 — знакомство с певцом Луиджи Пиччиоли; дружба с товарищем по училищу Сергеем Киреевым, которому посвятил романс «Мой гений, мой ангел, мой друг».

1859–1863 — служба в Министерстве юстиции.

1861–1862, июль — август — первое заграничное путешествие: Берлин, Гамбург, Антверпен, Остенде, Лондон и Париж.

Сентябрь — занятия в Музыкальных классах Русского музыкального общества.

1862, 8 сентября — поступление в Петербургскую консерваторию. Опубликован романс *Mezza notte*.

1863 — посещает концерты Рихарда Вагнера в Петербурге.

1864, весна — лето — сочиняет первое симфоническое произведение — увертюру «Гроза» к опере на сюжет драмы А. Н. Островского.

1865, 30 августа — исполнение в Павловске «Характерных танцев», под управлением И. Штрауса.

29 декабря — исполнение кантаты «К радости» (на слова Шиллера) на

первом публичном экзамене Петербургской консерватории.

*31 декабря* — окончание Петербургской консерватории.

*1866, 6 января* — переезд в Москву.

*Январь — май* — преподавание теории музыки в Музыкальных классах.

*4 марта* — первое исполнение симфонического произведения Чайковского (увертюра F-dur) в Москве под управлением Н. Г. Рубинштейна.

*Март — август* — сочинение первой симфонии «Зимние грезы» (первое исполнение 3 февраля 1868 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

*1 сентября* — открытие Московской консерватории.

*1866–1877* — преподавание теоретических предметов в Московской консерватории.

*1867, март — 1868* — пишет оперу «Воевода» (первая постановка 30 января 1869 года в Большом театре в Москве).

*Декабрь* — знакомится с Гектором Берлиозом.

*1868, январь* — знакомство с главой «Могучей кучки» М. А. Балакиревым. *Лето* — поездка с В. Шиловским в Берлин и Париж.

*Сентябрь* — увлечение певицей Дезире Арто.

*Ноябрь* — создание шести романсов.

*1869* — сочиняет оперу «Ундина», дружба со студентом консерватории Эдуардом Заком.

*Октябрь — ноябрь* — создание увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» по трагедии Шекспира (первое исполнение 4 марта 1870 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

*1870, февраль — 1872, апрель* — сочиняет оперу «Опричник» (первая постановка 12 апреля 1874 года в Мариинском театре в Петербурге). *Июнь — июль* — путешествует с Шиловским по Франции, Германии и Швейцарии.

*1871, февраль* — сочиняет Первый квартет D-dur.

*Март* — концерт из произведений Чайковского в Москве.

*Июль* — составляет «Руководство к практическому изучению гармонии» — первый русский учебник гармонии.

*1872, июнь — декабрь* — работает над Второй симфонией (первое исполнение 26 января 1873 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

*1873, март* — пишет музыку к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка» (первая постановка 11 мая 1873 года на сцене Большого театра в Москве).

*Август* — сочиняет симфоническую фантазию «Буря» по пьесе Шекспира (первое исполнение 7 декабря 1873 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

*1874, апрель* — поездка в Италию.

*Июнь — август* — работа над оперой «Кузнец Вакула».

*Октябрь — декабрь* — сочинение Первого концерта для фортепиано с оркестром (первое исполнение в России 1 ноября 1875 года Г. Г. Кроссом, под управлением Э. Ф. Направника, в Петербурге. Премьера в Бостоне 13 октября того же года с Г. Фон Бюловом).

*1875, июнь — август* — работает над Третьей симфонией (первое исполнение 7 ноября 1875 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

*1876, январь* — путешествие с братом Модестом в Париж.

*Апрель* — сочиняет балет «Лебединое озеро» (первая постановка 20 февраля/4 марта 1877 года в Большом театре, в Москве).

*Июль — октябрь* — сочиняет симфоническую фантазию «Франческа да Римини» (первое исполнение 25 февраля 1877 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

*Август* — присутствует на премьере «Кольца нибелунга» в Байрейте.

*Ноябрь* — встреча с К. Сен-Сансом в Москве.

*Декабрь — ноябрь* — сочиняет двенадцать фортепианных пьес «Времена года».

*Декабрь* — знакомится с Л. Н. Толстым. Начало четырнадцатилетней переписки и заочного знакомства с Н. Ф. фон Мекк.

*1877, январь* — начало дружбы со скрипачом Иосифом Котеком.

*Март* — получает первое письмо от бывшей студентки консерватории Антонины Милюковой.

*Май — декабрь* — работает над Четвертой симфонией (первое исполнение 10 февраля 1878 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

*1878, март* — написан концерт для скрипки с оркестром (первое исполнение 22 ноября/4 декабря 1881 года А. Д. Бродским, под управлением Г. Рихтера, в Вене).

*1878, май — 1879, январь* — сочиняет оперу «Евгений Онегин» (первая постановка 17 марта 1879 года силами учащихся Московской консерватории, в Малом театре).

*6 июля* — женится на А. И. Милюковой. Поездка в Петербург, Каменку.

*28 августа/9 сентября* — исполнение Н. Г. Рубинштейном Первого



фортепьянного концерта в Париже.

*Сентябрь* — разрыв с женой, окончательный уход из Московской консерватории и отъезд за границу.

*1879, апрель* — создание Первой сюиты для симфонического оркестра (первое исполнение 11 ноября/23 ноября 1879 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

*1879, декабрь — 1880, август* — работа над оперой «Орлеанская дева» (первая постановка 13 февраля 1881 года в Мариинском театре в Петербурге).

*1880, октябрь — 1881, апрель* — создание Второго концерта для фортепиано с оркестром (первое исполнение 18 мая 1882 года С. И. Танеевым в Москве, под управлением А. Г. Рубинштейна).

*1880, 9 января* — умер отец Ильи Петрович.

*Январь — май* — создание «Итальянского каприччио» для симфонического оркестра (первое исполнение 6 декабря 1880 года в Москве, под управлением Н. Г. Рубинштейна).

*Сентябрь* — создание Серенады для струнного оркестра (первое исполнение 16 января 1882 года в Москве, под управлением М. Эрдмансдёрфера).

*Сентябрь — октябрь* — пишет Торжественную увертюру «1812 год» (первое исполнение 8 августа 1882 года в Москве, под управлением И. К. Альтани).

*1881, ноябрь — 1883, апрель* — создание оперы «Мазепа» (первая постановка 3 февраля/15 февраля 1884 года в Большом театре в Москве).

*1881, декабрь — 1882, январь* — создание трио «Памяти великого художника» (первое исполнение 18 октября 1882 года в Москве).

*1883, март* — создание кантаты «Москва» на слова А. Н. Майкова (первое

исполнение 15 мая 1883 года в Москве, под управлением Э. Ф. Направника).

*Октябрь* — написана Вторая сюита для симфонического оркестра (первое исполнение 4 февраля 1884 года в Москве, под управлением М. Эрдмансдёрфера).

*1884, апрель — июль* — создана Третья сюита для симфонического оркестра (первое исполнение 16 января 1885 года в Петербурге, под управлением Г. фон Бюлова).

*19 октября* — постановка «Евгения Онегина» в Большом театре в Петербурге.

*1885, 10 февраля* — избрание Чайковского членом дирекции

Московского отделения Русского музыкального общества.

*14 февраля* — переезд на жительство в Майданово. С этого времени окрестности Клина (Майданово, Фроловское) и Клин становятся местом постоянного пребывания композитора, прерываемого только концертными и деловыми поездками.

*Март* — переработка оперы «Кузнец Вакула» (новое название «Черевички») (первая постановка 19 января 1887 года в Большом театре в Москве, под управлением автора).

*Июнь — сентябрь* — создание симфонии «Манфред» (первое исполнение 11 марта/23 марта 1886 года в Москве, под управлением М. Эрдмансдёрфера).

*Декабрь* — смерть И. Котека.

*1886, март — июнь* — поездка в Тифлис, затем по морю во Францию, в Париж.

*Сентябрь* — создание двенадцати романсов.

*1887, сентябрь* — смерть близкого друга Н. Д. Кондратьева.

*Октябрь — ноябрь* — знакомство с А. П. Чеховым.

*1887, декабрь — 1888, май* — работа над оперой «Чародейка» (первая постановка 20 октября 1887 года в Мариинском театре в Петербурге, под управлением автора).

*1888, 11 февраля* — триумфальное чествование композитора в Праге.

*Май — август* — создана Пятая симфония (первое исполнение

5 ноября 1888 года в Петербурге, под управлением автора).

*Июнь — октябрь* — создание увертюры-фантазии «Гамлет» (первое исполнение 12 ноября 1888 года в Петербурге, под управлением автора).

*1888, декабрь — 1889, март* — первая концертная поездка по Западной Европе (Лейпциг, Берлин, Гамбург, Любек, Прага, Париж, Лондон, Вена).

*1888, декабрь — 1889, август* — работает над балетом «Спящая красавица» (первая постановка 3 января 1890 года в Мариинском театре в Петербурге).

*1890, январь — июнь* — сочиняет оперу «Пиковая дама» (первая постановка

7 декабря/19 декабря 1890 года в Мариинском театре в Петербурге).

*Сентябрь* — прекращает переписку с фон Мекк.

*1891, февраль — 1892, март* — работа над балетом «Щелкунчик» (первая

постановка 6 декабря 1892 года в Мариинском театре в Петербурге).

*Март* — умерла сестра Александра.

*Апрель — май* — триумф в Соединенных Штатах Америки.

*Июль — декабрь* — сочиняет одноактную оперу «Иоланта» (первая постановка 6 декабря 1892 года в Мариинском театре в Петербурге).

*1892, май* — переезжает в новый дом в Клину.

*1893, январь — март* — гастроль в Брюсселе, Одессе, Харькове.

*Февраль — август* — сочиняет Шестую, «Патетическую» симфонию.

*Апрель — май* — написаны последние шесть романсов на слова Д. М. Ратгауза (Соч. 73).

*Май — июнь* — путешествие в Англию, где получает почетную степень доктора музыки в Кембриджском университете.

*Август* — смерть А. Апухтина.

*Сентябрь — октябрь* — сочинение Третьего концерта для фортепиано с оркестром (первое исполнение С. И. Танеевым 1 июля 1895 года в Петербурге, под управлением Э. Ф. Направника).

*16 октября* — первое исполнение Шестой симфонии в Петербурге.

*21 октября* — заболел холерой.

*22–24 октября* — интенсивное лечение болезни под руководством доктора Льва Бернардовича Бертенсона.

*25 октября* — скончался. Похоронен в Александро-Невской лавре в Петербурге.

## **Основные источники (переписка, дневники, семейные воспоминания, хронология жизни и творчества)**

*Чайковский П. И.* Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Т. II, III, V–XVII. М., 1953–1981. Тома I, IV — не опубликованы.

*Чайковский П. И.* Письма к родным. Т. I (1850–1879) / Ред. и прим.

В. А. Жданова. М., 1940. Т. II — не опубликован.

*Чайковский П. И.* Переписка с Н. Ф. фон Мекк (1876–1890) / Ред. и прим. В. А. Жданова, Н. Т. Жегина. Т. I–III. М.; Л., 1934–1936.

*Чайковский П. И., фон Мекк Н. Ф.* Переписка. 1876–1890 / Сост., науч. — текстол. ред., коммент. П. Е. Вайдман. В 4 т. Челябинск, 2007. Т. 1.

*Чайковский П. И.* Переписка с П. И. Юргенсоном (1877–1893) / Ред. писем и коммент. В. А. Жданова, Н. Т. Жегина. Т. 1–2. М., 1938–1952.

*Чайковский П. И.* Письма к близким. Избранное. М., 1955.

Письма П. И. Чайковского без купюр. Неизвестные страницы эпистолярной Публ. В. С. Соколова / П. И. Чайковский. Забытое и новое. Альманах. Сост. П. Е. Вайдман, Г. И. Белонович. М., 1995. Вып. 1.

*Чайковский П. И.* Автобиография Публ., пер. с нем. А. Н. Познанского / П. И. Чайковский. Забытое и новое. Альманах. Сост. П. Е. Вайдман, Г. И. Белонович. М., 1995. Вып. 2.

*Чайковский П. И.* Дневники (1873–1891). М.; Пг., 1923.

*Чайковский П. И. Танеев С. И.* Письма. М., 1951.

*Чайковский П. И.* Новое полное собрание сочинений. М.; Майнц, 1993–2003. Т. 39-с.

Чайковский и зарубежные музыканты. Избранные письма иностранных корреспондентов. Л., 1970.

*Чайковский М. И.* Жизнь Петра Ильича Чайковского. Т. I–III. М.; Лейпциг, 1900–1902.

*Чайковский М. И.* Из семейных воспоминаний Публ. П. Е. Вайдман / П. И. Чайковский. Забытое и новое. Альманах. Сост. П. Е. Вайдман, Г. И. Белонович. М., 1995. Вып. 1.

*Чайковский М. И.* [Автобиография], ГДМЧ, Б2, № 21. В настоящее время готовится к печати.

*Чайковский М. И.* Последние дни жизни П. И. Чайковского (письмо в

редакцию) // Новости и Биржевая газета. 1893. 1 ноября.

Чайковская А. Из воспоминаний вдовы П. И. Чайковского // Петербургская газета. 1894. 3 апреля; Чайковская А. Воспоминания вдовы П. И. Чайковского // Русская музыкальная газета. 1913. 20 октября; Воспоминания А. И. Чайковской // Соколов В. Антонина Чайковская. С. 263–271.

[Чайковская П. В.] *Recollections of Tchaikovsky by Mme. Anatol Tchaikovsky, Music & Letters, XXI, 1940.*

Чайковский И. И. Эпизоды из моей жизни // Исторический вестник. 1913. Т. 131. № 1. С. 83.

Письма В. Л. Давыдова к П. И. Чайковскому Публ. и коммент. В. С. Соколова / Чайковский. Новые документы и материалы. Сборник статей. (Петербургский музыкальный архив. Вып. 4). СПб., 2003.

Давыдов Ю. Л. Записки о П. И. Чайковском. М., 1962.

Давыдов Ю. Л. Клинические годы творчества Чайковского. М., 1965.

Белонович Г. И. Эпизоды для вечности. Фотографии П. И. Чайковского. М., 2005.

Дни и годы П. И. Чайковского. Летопись жизни и творчества. М., 1940. *Tchaikovsky P. I. Letters to his Family. An Autobiography. London, 1981.*

### **Воспоминания современников**

Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1962. 4-е изд. М.; Л., 1980.

Бертенсон В. Б. За 30 лет. Листки из воспоминаний. СПб., 1914.

[Бертенсон Л. Б.] Болезнь П. И. Чайковского // Новое время. 1893. 27 октября.

Витте С. Ю. Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. В 2 т. СПб., 2003.

Глама-Мещерская А. Я. Воспоминания. Л., 1937.

Де-Лазари К. Отрывки из воспоминаний Публ. А. С. Розанова / Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1996. М., 1998.

Де-Лазари К. Воспоминания о Петре Ильиче Чайковском // Россия. 1900. 25 мая, 31 мая, 12 июня.

Добужинский М. В. Воспоминания. В 2 т. Т. 1. Нью-Йорк, 1976.

Кашкин Н. Д. Воспоминания о П. И. Чайковском. М., 1954.

Кашкин Н. Д. Из воспоминаний о П. И. Чайковском // Прошлое русской музыки. Материалы и исследования. I. П. И. Чайковский. Пг., 1920.

Кашкин Н. Д. П. И. Чайковский и его жизнеописание // Московские ведомости. 1902. 11 января.

Клименко И. А. Мои воспоминания о Петре Ильиче Чайковском. Рязань, 1908.

Клименко И. А. Мои воспоминания о Петре Ильиче Чайковском Публ.

*П. Е. Вайдман / П. И. Чайковский. Забытое и новое. Альманах. Сост. П. Е. Вайдман, Г. И. Белонович. М., 1993. Вып. 1.*

*Коломийцов В. П. Статьи и письма. Л., 1971.*

*Ларош Г. А. Памяти П. И. Чайковского // Ежегодник Императорских Театров. Сезон 1892/93 г. СПб., 1894.*

*[Мамонов КН.] У доктора Н. Н. Мамонова // Новости и Биржевая газета. 1893. 26 октября.*

*Мекк Галина фон. Как я их помню. М., 1999.*

*Направник В. Э. Эдуард Францевич Направник и его современники. Л., 1991.*

*[Одоевский В. Ф.] Дневник В. Ф. Одоевского // Литературное наследство. Т. 22–24. М., 1935.*

*Р[аич] А. К биографии А. Н. Апухтина // Исторический вестник. 1907. Т. 107. № 2.*

*Рубинштейн А. Г. Литературное наследие. В 3 т. М., 1986.*

*Соколова А. Комический случай с П. И. Чайковским // Исторический вестник. 1910. Т. 119.*

*Сапельников В. Воспоминания о П. И. Чайковском // Театр. 1909. № 539.*

*Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем. М., 1959.*

*Танеев С. И. Из дневников С. И. Танеева. (Дневник за 1896 год) // История русской музыки в исследованиях и материалах / Под ред. К. А. Кузнецова. Т. 1. М., 1924.*

#### **Книги и статьи**

*Альшванг А. П. И. Чайковский. М., 1970.*

*Анненкова Э. А. Императорское училище правоведения. СПб., 2006.*

*Апухтин А. Н. Сочинения. СПб., 1900.*

*Апухтин А. Н. Сочинения. М., 1985.*

*Апухтин А. Н. Полное собрание стихотворений. СПб., 1991.*

*Арсеньев К. К. Воспоминания об Училище правоведения, 1849–1855 // Русская старина. 1886. Т. 50. № 4.*

*Белонович Г. Я. П. И. Чайковский и французский драматический театр // Сборник «Театр в жизни и творчестве П. И. Чайковского». М., 1985.*

*Бенуа А. Мои воспоминания. В 2 т. М., 1980.*

*Берберова Н. Чайковский. История одинокой жизни. СПб., 1997.*

*Berberova Nina. Tchaikovski. Biographie. Arles. 1987.*

*Берсеньев В. В., Марков А. П. Полиция и геи. Эпизод из эпохи Александра III // Риск. 1998. Вып. 3.*

*Бертенсон С. Л. Вокруг искусства. Холливуд, 1957.*

Бессель В. В. Мои воспоминания о П. И. Чайковском // Ежегодник Императорских театров. Сезон 1896/97. СПб., 1897. Приложение. Т. 1.

Бессель В. В. Несколько слов по поводу возобновления «Опричника» П. Чайковского на сцене Мариинского театра // Русская музыкальная газета. 1897. № 12.

Блинов Н. О. Последняя болезнь и смерть П. И. Чайковского / В. С. Соколов. До и после трагедии. М., 1994.

Богданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990.

[Бурнашев В. П.] Летописец слухов. Неопубликованные воспоминания В. П. Бурнашева / Предисловие, публикация и комментарии А. И. Рейтблата И Новое литературное обозрение. 1993. № 4.

[Бычков С., МIRONENKO С.] Голубая кровь великого князя Публ. С. Бычкова и С. МIRONENKO / Московский комсомолец. 1998. 6 декабря.

В. А. Из воспоминаний о Н. Г. Рубинштейне и Московской консерватории // Русский архив. 1897. № 11.

Вайдман П. Е. Начало. Новые материалы из архива П. И. Чайковского // Наше наследие. 1990. № 2.

Вайдман П. Е. Творческий архив П. И. Чайковского. М., 1988.

Вайдман П. Е. Биография художника: жизнь и произведения. По материалам к биографии П. И. Чайковского // Петербургский музыкальный архив. Вып. 3. С. 178–179.

Вальтер В. Г. П. И. Чайковский. К 10-й годовщине со дня смерти // Мир Божий. 1903. № 11.

Вальц К. Ф. Шестьдесят пять лет в театре. Л., 1928.

Volkoff V. Tchaikovsky: a self-portrait. Boston, 1975.

Герцен А. И. Сочинения. В 9 т. Т. 4. М., 1956.

Глама-Мещерская А. Я. Воспоминания. Л., 1937.

Городские имена сегодня и вчера. Петербургская топонимика. Справочник-путеводитель. 2-е изд. СПб., 1997.

25 дней в Америке. К 100-летию гастрольной поездки П. И. Чайковского. М., 1991.

Догель И. М. Азиатская холера, предупреждение и лечение ее. Казань, 1905.

Eros Russe. Русский Эрот не для дам. Женева, 1879.

Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890—1910-х годов. Записки очевидцев. Л., 1991.

Захарова Л. Г. Кризис самодержавия накануне революции 1905 года // Вопросы истории. 1972. № 8.

Илья Петрович Чайковский. Жизнь и деятельность. Ижевск, 1976.

- Ипполитов-Иванов М. М.* Письма. Статьи. Воспоминания. М., 1986.
- К. Р.* (Великий князь Константин Романов). Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма. М., [1998].
- Карлинский С.* «Ввезен из-за границы?..» Гомосексуализм в русской культуре и литературе. Краткий обзор *Эротика в русской литературе. От Баркова до наших дней. Тексты и комментарии* / Литературное обозрение. Специальный выпуск. М., 1992.
- Клейн Л. С.* Другая любовь. Природа человека и гомосексуальность. СПб., 2000.
- Клейн Л. С.* Другая сторона светила: необычная любовь выдающихся людей. Российское созвездие. СПб., 2002.
- Кобак А. В., Пирютко Ю. М.* Исторические кладбища Санкт-Петербурга. СПб., 2009.
- Кон И. С.* Лики и маски однополрой любви. Лунный свет на заре. 2-е изд. М., 2006.
- Кони А. Ф.* Воспоминания о писателях. М., 1989.
- Конисская Л. М.* Чайковский в Петербурге. Л., 1974.
- Кузмин М. А.* Чехов и Чайковский // Условности. Статьи об искусстве. Томск, 1996.
- Кузнецова Г. В.* Модест Ильич Чайковский как сурдопедагог // Ученые записки Московского педагогического института им. В. И. Ленина. Вып. 16. М., 1964. С. 200–201.
- Кунин И. Ф.* Петр Ильич Чайковский. М., 1958.
- Куприянов А. И.* «Пагубная страсть» московского купца // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1997.
- Ламздорф В. Н.* Дневник. 1886–1890. М.; Л., 1926.
- Ламздорф В. Н.* Дневник. 1891–1892. М.; Л., 1934.
- Ларош Г. А.* Собрание музыкально-критических статей. М., 1922. Т. 2. Ч. 1.
- Лифарь С. М.* Дягилев и с Дягилевым. Париж, 1939.
- Малинин Ф. Н.* Заметки о поэтическом наследии П. И. Чайковского // Новый мир. 1940. № 7.
- Мержеевский В.* Судебная гинекология. Руководство для врачей и юристов. СПб., 1878.
- Михайлов А. В.* Из прошлого. Воспоминания правоведа // Русская школа. 1900. № 1.
- Митрофанов Алексей.* Прогулки по старой Москве. Большая Никитская. М., 2007.
- Михневич В.* Язвы Петербурга. СПб., 1886.



Музыкальное наследие Чайковского. Из истории его произведений. М., 1958.

Набоков В. Д. Плотские преступления по проекту Уголовного уложения // Сборник статей по уголовному праву. СПб., 1904.

Обнинский В. П. Последний самодержец. Берлин, 1912.

Орлова А. А. Тайна жизни и смерти Чайковского. Континент (Париж). 1987. № 53.

Орлова Е. Петр Ильич Чайковский. М., 1980.

Пашенный Н. Императорское училище правоведения и правоведы в годы мира, войны и смуты. Мадрид, 1967.

Петр Ильич Чайковский / Сост. П. Е. Вайдман, К. Ю. Давыдова, И. Г. Соколинская. М.; Лейпциг, 1978.

Познанский А. К вопросу об авторе либретто «Лебединого озера». Рукопись. Государственный дом-музей П. И. Чайковского в Клину.

Познанский А. Самоубийство Чайковского. Миф и реальность. М., 1993.

Познанский А. Смерть Чайковского. Легенды и факты. СПб., 2007.

Познанский А. Петр Чайковский. Биография. В 2 т. СПб., 2009.

Попов П. Послание А. Н. Апухтина П. И. Чайковскому // Голос минувшего. 1919. Т. 7. № 1/4.

Пролеева В. И. К родословной П. И. Чайковского: жизнь и деятельность П. Ф. Чайковского. Ижевск, 1990.

Протопопов М. А. Писатель-дилетант // Русское богатство. 1896. № 2. С. 58.

Римский-Корсаков Г. А. Н. Ф. фон Мекк и ее семья // П. И. Чайковский — Н. Ф. фон Мекк. Переписка. В 4 т. Т. 1. Челябинск, 2007.

Римский-Корсаков Н. А. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. М., 1955–1982. Т. I.

Розанов В. В. Избранное. Мюнхен, 1970.

Розанов В. В. Уединенное. М., 1990.

Розенберг И. С. «...Я отношусь к стихам как музыкант...» // Чайковский и русская литература. Ижевск, 1980.

Ротиков К. К Другой Петербург. СПб., 1998.

Ротиков К. Эпизод из жизни «голубого» Петербурга // Невский архив. Вып. 3. СПб., 1997.

Руадзе В. И К суду! Гомосексуальный Петербург. СПб., 1908.

«Сам Петр Ильич горячо отверг бы...» // Источник. 1994. № 1.

Санкт-Петербургская консерватория. Документы и материалы из фондов Библиотеки и Музея. СПб., 2002.

Соболевский В. И. Императорское училище правоведения в 1885–1910 годах. СПб., 1910.

Соколов В. С. Антонина Чайковская. История забытой жизни. М., 1994.

Соколов В. С. Родословная Чайковского: новые имена // Петербургский музыкальный архив. Вып. 4; Чайковский. Новые документы и материалы. СПб., 2003.

Соколов В. С. Петербургские «тайны» в родословной и биографии Чайковского // П. И. Чайковский. Забытое и новое. Альманах. Сост. П. Е. Вайдман, Г. И. Белонович. М., 1995. Вып. 2.

Соколов В. С. Жизнь и смерть Владимира Львовича Давыдова. (Материалы к биографии Чайковского) // Чайковский. Новые документы и материалы. Сб. статей (Петербургский музыкальный архив. Вып. 4.) СПб., 2003.

Соловьев В. С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974.

Стасов В. В. Училище правоведения сорок лет назад // Стасов В. В. Избр. соч. Т. 2.

Столица России. (Нечто вроде монографии.) СПб., 1913.

Суворин А. С. Дневник Алексея Сергеевича Суворина. Лондон; М., 1999.

Суперанский М. Ив. Ал. Гончаров и новые материалы для его биографии // Вестник Европы. 1908. № 11.

Сюзор Г. Ко дню LXXV юбилея Императорского училища правоведения. СПб., 1910.

Тарновский В. М. Извращение полового чувства. Судебно-психиатрический очерк. СПб., 1885.

Токаревич К. Н., Грекова Т. И. По следам минувших эпидемий. Л., 1986.

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. М., 1929–1964.

Травский В. К. Современники о П. И. Чайковском // Театр и жизнь. 1913. № 170.

Туманина Н. В. Чайковский. Великий мастер. 1878–1893. М., 1968.

Урицкая Б. С. Ромен Роллан — музыкант. М.; Л., 1971.

[Урусов С. Д.] Господа Романовы и тайны русского двора. Лондон, 1909.

Федосюк Ю. Чайковский в родном городе. М., 1960.

Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. Воспоминания. М., 1991.

Франк В. С. Из неизданной переписки императора] Александра III и Николая II с кн[язем] В. П. Мещерским // Современные записки. 1940. №

70.

*Фукс И. Б.* Гомосексуализм как преступление. СПб., 1914.

*Хили Д.* Гомосексуальное влечение в революционной России. М., 2008.

Холера // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1907.

*Шестакова Л.* Мои вечера // Ежегодник Императорских Театров. Сезон 1892/93. СПб., 1895. Т. 2.

*Юрьев Ю.* Записки. В 2 т. М.; Л., 1939–1945.

*Яковлев В. В.* Чайковский и Апухтин // Избранные труды о музыке. В 2 т. М., 1964.

*Ястребцев В. В.* Николай Андреевич Римский-Корсаков. Воспоминания. В 2 т. Л., 1959–1960.

## **Использованы материалы из следующих архивов**

Государственный дом-музей П. И. Чайковского в Клину.  
Государственный архив Российской Федерации.

Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки.

Российская национальная библиотека. Отдел рукописей. Санкт-Петербург.

Российский институт истории искусств. Кабинет рукописей. Санкт-Петербург.

Российский государственный архив литературы и искусства. Москва.  
Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. Отдел рукописей и редких изданий.

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга.  
Bibliothèque Nationale de France, Paris, France.

Beinecke Library at Yale University, New Haven, Connecticut, USA.

Александр Познанский — автор многочисленных статей и монографий о Петре Ильиче Чайковском, изданных в США, Великобритании, Германии и Японии. Кропотливые архивные поиски последних лет нашли отражение в новой биографии композитора, основанной на документальных материалах — многотомной переписке и малодоступных мемуарах его современников, в результате чего сложился совершенно иной, не похожий на устоявшийся в XX веке образ гения русского музыкального искусства.

УДК 78.03(47X092) ББК 85.317-8

Познанский Александр Николаевич ЧАЙКОВСКИЙ

Редактор И. И. Никифорова

Художественный редактор А. В. Никитин Технический редактор В. В. Пилкова  
Корректоры Т. И. Маляренко, Л. М. Марченко

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 26.01.2010. Подписано в печать 21.05.2010. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Уел. печ. л. 40,32+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 10223

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Суцеская ул., 21

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994,

Москва, Сущевская ул., 21  
ISBN 978-5-235-03347-4

---

<b>notes</b>
--------------

## Примечания

В советское время вышли только две биографии композитора в серии "Жизнь замечательных людей" — брошюра О. и Е. Черных (М., 1944) и книга И. Ф. Кунина (М., 1958). Из музыковедческих работ следует отметить идеологически выверенные исследования А. Альшванга (М., 1959), Н. Туманиной (М., 1962—1968), Е.М. Орловой (М., 1980).

Вопиющим примером недобросовестной и невежественной западной биографической литературы является книга английского журналиста Энтони Холдена, сравнительно недавно изданная в России: *Холден Э. Петр Чайковский*. М., 2003. не зная русского языка и российской истории, став биографом композитора буквально на час, автор биографий принцессы Дианы и принца Чарлза создал совершенно фантастический, совершенно не соответствующий действительности, карикатурный образ композитора, согласно бытующим в Европе и Америке представлениям о "сумасшедших русских".



Даты в книге приведены по старому стилю за исключением периодов, иногда очень длительных, когда композитор находился за границей. В последних случаях даты даются в старом и новом стиле. Сокращения, сделанные нами, обозначены многоточием и угловыми скобками <...>, сделанные другими публикаторами - прямыми скобками [...]

Цитата из тропаря "Мученице единой": "Тебе, женише мой, люблю, / и Тебе ищущи страдальчество..." (*Прим. ред.*)

*Шарль Франсуа Гуно (1818—1893), Шарль Луи Амбруаз Тома (1811—1896)* — французские композиторы.

Тот страждет высшей мукой,  
Кто радостные помнит времена  
В несчастьи.

(Данте, "Ад", 5-я песнь). — *Пер. М. Л. Лозинского.*

Я не доволен своим слугой, думаю, что он неочень честен (*англ.*)

После ужина ссора со слугой. он не почтителен (*фр., нем., англ.*).

Ныне Хельсинки

Термины относительной хронологии, обозначающие наиболее ранний и наиболее поздний момент того или иного возможного события.



Репортер ошибся — за торжественный коронационный марш (не кантату) композитору был пожалован перстень.